Фенимор Купер

3

Фенимор Купер

Государственное
Издательство
ДЕТСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Министерства
Просвещения
РСФСР
Москва 1962

Джеймс Фенимор Купер

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 3

Государственное Издательство
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1962

Джеймс Фенимор Купер

ПРЕРИЯ

ШПИОН

Государственное Издательство
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1962

И (Амер.)
К92

Издание выходит под наблюдением
А. А. Аникста

Оформление художника
Л. П. Зусмана

ПРЕРИЯ

Перевод с английского
Н. Вольпин

Редактор *И. Гурова*

Рисунки *И. Ильинского*

ВВЕДЕНИЕ

Геологическое строение той части Америки, что лежит между Аллеганами и Скалистыми горами, породило немало остроумных теорий. В самом деле, обширный этот край представляет собой сплошную равнину. Пройдите ее вдоль и поперек — полторы тысячи миль с востока на запад, шестьсот с севера на юг,— и вы едва ли встретите хоть одну высоту, достойную назваться горой. Высокие холмы и те здесь в редкость, хотя значительную часть равнины отмечает характерная «волнистость», как это описано на первых страницах нашей повести.

Есть основания думать, что территория, включающая сейчас Огайо, Иллинойс, Индиану, Мичиган и значительную часть страны к западу от Миссисипи, некогда лежала под водой. Почва перечисленных штатов представляет собой аллювиальные отложения; и немало найдено здесь одиноких каменных глыб, природа которых и расположение не позволяют с легкостью отбросить мысль, что они принесены сюда плавучим льдом. Эта теория считает, что Великие озера были яминами на дне огромного пресноводного озера, настолько глубокими, что их не мог осушить катаклизм, обнаживший сушу.

Не следует забывать, что французы, пока владели Канадой и Луизианой, претендовали и на всю означенную территорию. Их охотники и передовые отряды войск первыми заводили сношения с дикими ее обитателями, и самые ранние дошедшие до нас описания этих земель принадлежат перу французских миссионеров. Вот почему в этой части Америки вошло в обиход немало французских слов и за многими местами прочно утвердились наименования, данные им на французском языке. Когда первые

проникшие сюда искатели приключений открыли в сердце лесов необозримые равнины, поросшие кустарником или буйными травами, они, естественно, назвали их лугами. Когда же на смену французам пришли англичане и встретили местность, отличную от всего, что видели они в Европе, и уже обозначенную словом, на родном их языке не выражавшим ничего, они оставили за этими природными «лугами» их условное наименование. Так — в этом особом значении — французское слово «prairie» вошло в английский язык.

В Америке есть два вида прерий. Те, что лежат на восток от Миссисипи, сравнительно невелики, чрезвычайно плодородны и всегда окружены лесами. Они поддаются культурной обработке и быстро заселяются. Ими изобилуют штаты Огайо, Иллинойс, Индиана и Мичиган. Здесь дает себя знать скудость леса и воды — тяжкое зло там, где люди своим искусством еще не исправили природу. Но так как вся эта местность, говорят, богата каменным углем и, как правило, повсюду можно дорыться до воды, предприимчивые поселенцы постепенно одолевают эти трудности.

Луга второго типа лежат к западу от Миссисипи, в нескольких сотнях миль от реки, и получили название Больших прерий. Из всего, что нам известно в мире, они наиболее походят на степи Татарии: это обширные земли, где за отсутствием двух указанных выше жизненных условий не может прокормиться многочисленное население. Правда, рек здесь много; но местность почти лишена отрады земледельца — ручьев и родников, так способствующих плодородию почвы.

Когда и как образовались американские Большие прерии — одна из самых сложных загадок природы. Высокое плодородие есть общее свойство, отличающее почву Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Трудно найти на земном шаре другую столь же протяженную площадь, где было бы так мало непригодной земли, как в обитаемых частях нашей страны. Склоны гор по большей части поддаются вспашке; и даже почва прерий в этой части республики есть не что иное, как мощный слой наносов. То же можно справедливо отнести и к землям между Скалистыми горами и Тихим океаном. Здесь широкой полосой лежит полупустыня, на которой разыгрывается действие настоящей повести и которая поначалу, оче-

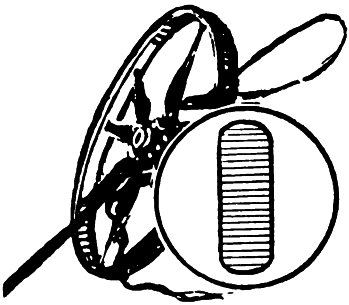
видно, служила преградой для дальнейшего проникновения американцев на запад. Впрочем, со времени первого издания книги пределы республики расширились вплоть до Тихого океана, и поселенец, следуя за траппером [1], уже водворился на самых его берегах.

Большие прерии стали, видимо, последним пристанищем краснокожих. Остаткам могикан и делаваров, криков, чокто и чероков суждено доживать свой век на этих широких равнинах. Общая численность индейцев в нашей стране составляет, по сильно расходящимся подсчетам, от ста до пятисот тысяч душ. Большая часть их населяет земли к западу от Миссисипи. В ту пору, о которой пойдет наш рассказ, они непрестанно воевали между собой и племенная вражда передавалась из поколения в поколение. Республика много сделала для замирения этого дикого края, и ныне можно безопасно путешествовать там, куда лет двадцать пять назад цивилизованный человек не отваживался заехать без охраны.

Недавние события доставили Большим прериям широкую известность, и мы сейчас читаем о путешествиях по ним, как полвека назад жадно читали рассказы переселенцев, пробравшихся в Огайо и Луизиану. Отметим, как знамение времени, что уже идет деловое обсуждение, по каким местам провести железную дорогу через эти просторы, и такой проект больше не кажется людям химерой.

Этой книгой мы заключаем повесть о Кожаном Чулке. Отягченный годами, он уже не зверобой и не воин, он становится траппером, то есть звероловом, каких немало на Великом Западе. Стук топора прогнал его из его любимых лесов, и в безнадежной покорности судьбе он ищет прибежища на голой равнине, протянувшейся до Скалистых гор. Здесь он проводит свои последние годы и умирает, как жил, философом-отшельником, обладавшим лишь немногими недостатками, не знавшим пороков, честным и искренним, как сама природа.

[1] См. ниже, примечание автора на стр. 24.



Глава 1

Прошу пастух: из дружбы иль за деньги —
Нельзя ли здесь в глуши достать нам пищи?
Сведи нас, где бы нам приют найти..

Шекспир «Как вам угодно»

Одно время много и говорилось и писалось о том, стоит ли присоединять обширные земли Луизианы[1] к территориям Соединенных Штатов, и без того огромным и лишь наполовину заселенным. Но, когда горячность споров поостыла и разные партийные соображения уступили место более широким взглядам, разумность этой меры получила общее признание. Вскоре даже для самых ограниченных умов стало очевидно, что если по воле природы пустыня положила предел продвижению нашего народа на запад, то эта мера отдала в наши руки полосу плодородных земель, которую иначе, в круговороте событий, мог бы захватить другой какой-либо народ из числа наших соперников. Она сделала нас единовластными хозяевами всей обширной внутренней области и поставила под наш контроль бесчисленные племена дикарей, жившие у наших границ. Она уладила старинные споры и дала народу чувство уверенности. Она открыла тысячу дорог для внутриматериковой торговли и выход к водам Тихого океана. А если со временем явится необходимость в мирном разделении нашего огромного госу-

[1] В 1803 году Франция за 15 миллионов долларов продала США Луизиану, которую получила от Испании по мирному договору 1801 года.

дарства, то она обеспечивает нам соседа, у которого будет общий с нами язык, одна религия, одни и те же учреждения и, можно надеяться, те же понятия о справедливости в политике.

Купля совершилась в 1803 году, однако лишь на следующую весну осторожный испанский губернатор, управлявший областью от лица своего монарха, решился признать права новых владельцев или хотя бы разрешить им въезд в провинцию. Но, едва свершилась формальная передача, толпы беспокойных людей, всегда переполняющих американские окраины, хлынули в лесные дебри по правому берегу Миссисипи с той же беспечной отвагой, какая в свое время столь многих из них толкала на неустанное продвижение от приатлантических штатов до восточных берегов Отца Рек [1].

Прошло немало времени, пока многочисленные богатые колонисты из южной провинции слились со своими новыми соотечественниками; зато редкое бедное население более северной области оказалось чуть ли не сразу же втянуто в водоворот эмиграции с востока. Безудержная после первых успехов, она была затем приостановлена, но теперь неожиданно прорвалась в новой буйной вспышке. Труды и опасности прежнего продвижения были забыты, когда открылись перед предприимчивыми искателями эти бескрайние и неисследованные земли с их воображаемыми и действительными богатствами. Последствия были те самые, каких можно ожидать, когда перед народом, закаленным в трудностях и новых начинаниях, возникает соблазнительная перспектива.

Тысячи людей старшего поколения из штатов, которые в те годы назывались новыми [2], отказывались от радостей так тяжело завоеванного покоя и во главе вереницы сыновей и внуков, родившихся и выросших в лесах Огайо и Кентукки, пускались дальше, в глубь материка, ища того, что можно бы, не ударяясь в поэзию, назвать естест-

[1] Так именуется Миссисипи на некоторых индейских языках. Читатель составит себе более правильное понятие о значительности этой реки, если вспомнит, что Миссури с Миссисипи являются, собственно, одной рекой Общая их длина составляет без малого четыре тысячи миль. *(Примеч. автора.)*

[2] Новыми назывались штаты, принятые в Американский Союз после революции, за исключением Вермонта: тот имел права независимости и до войны, хотя признание они получили лишь позднее. *(Примеч. автора.)*

венной и родственной атмосферой. Был в их числе один выдающийся человек, старый, решительный лесовик, некогда первым проникший в дебри второго из названных штатов. Этот отважный и почтенный патриарх совершил теперь свое последнее переселение на противоположный берег реки, оставив ее между собою и толпой, которую притягивал к нему его же успех: потому что старое пристанище потеряло цену в его глазах, стесненное узаконенными формами человеческого общежития [1].

В такие предприятия люди обычно пускаются, либо следуя своим привычкам, либо прельщенные соблазном. Единицы в жажде быстрого обогащения гнались за призраком надежды и искали золотые жилы в девственных землях. Но куда большая часть эмигрантов оседала вдоль рек и ручьев, довольствуясь богатым урожаем, каким илистая приречная почва щедро награждает даже не слишком трудолюбивого пахаря. Так с волшебной быстротой возникали новые поселения; и те, на чьих глазах происходила покупка пустынной области, в большинстве своем дожили до того, что увидели, как суверенный штат со всем своим уже немалым населением был принят в лоно национального Союза на основе политического равноправия.

События и сцены, описанные в этой повести, относятся к поре, когда делались еще первые шаги в предприятии, давшем столь быстрый и успешный результат.

Шел первый год нашего вступления в права. Давно снята была жатва и пожухлая листва на разбросанных редких деревьях уже начала принимать осенние краски, когда вереница фургонов выбралась из русла пересохшей речки и двинулась дальше по всхолмленной равнине — или, говоря языком того края, о котором идет наш рассказ, по «волнистой прерии». Повозки, груженные домашним скарбом и земледельческими орудиями, небольшое разбредающееся стадо овец и коров, обтрепанная одежда и бездумные лица крепких молодцов, вышагивающих подле медленно плетущихся упряжек,— все указы-

---

[1] Речь идет о полковнике Буне, кентуккийском патриархе. Этот почтенный и бесстрашный пионер цивилизации на девяносто втором году своей жизни перебрался в новые владения, в трехстах милях на запад от Миссисипи, потому что его стала стеснять чрезмерная густота населения — десять человек на одну квадратную милю! *(Примеч. автора.)*

вало, что это караван переселенцев, потянувшихся на Запад в поисках Эльдорадо. Но вразрез с обычаем людей такого разбора они бросили плодородные земли Юго-Востока и пробрались (а как, то ведомо только таким отважным искателям новых путей) через лощины, через бурные потоки, через топи и сухие степи далеко за обычные пределы заселения. Перед ними лежала та широкая равнина, что тянется, столь на вид однообразная, до подошвы Скалистых гор; и много долгих и страшных миль уже легло между ними и бурными водами стремительного Платта.

Увидеть подобный поезд в этом унылом, нелюдимом месте было тем неожиданней, что природа вокруг предлагала мало соблазнов для жадности торговца, и еще того меньше могла она обещать простому поселенцу-фермеру.

Тощие травы прерии мало говорили в пользу твердой, неподатливой почвы, по которой колеса катились легко, как по убитой дороге; ни повозки, ни скот не оставляли на ней отпечатка — след сохраняла только эта чахлая и жухлая трава, которую животные вяло пощипывали, временами и вовсе ее отвергая как слишком терпкую пищу, какую и с голоду не сжуешь.

Куда держали путь эти смелые авантюристы? По какой тайной причине, забравшись в эту даль, они, по-видимому, чувствовали себя в безопасности? Вы не подметили бы в них и тени озабоченности, неуверенности или тревоги. Считая с женщинами и детьми, их было свыше двадцати человек.

Несколько впереди остальных шагал человек, чей вид и осанка позволяли признать в нем предводителя отряда. Это был высокий мужчина, загорелый, немолодой, с угрюмым лицом и вялый с виду. Он казался расхлябанным и сутулым, но был широк в плечах и на деле чудовищно силен. Лишь временами, когда какая-нибудь небольшая помеха вставала вдруг на его пути, в его походке, только что казавшейся ленивой и развинченной, сразу проявлялась та энергия, что таилась в его существе, как сонная и неуклюжая, но грозная сила слона. Лицо было тупое, с резкой складкой рта, с тяжелым подбородком; а лоб, который, как принято думать, отражает наш духовный облик, был низкий, покатый и узкий.

Одежда на человеке была смешанная: грубошерстный крестьянский костюм и к нему те кожаные принадлеж-

ности, какие мода и удобство сделали необходимым отличием переселенца в походе. Но к этому разнородному одеянию кое-что было добавлено причудливо и безвкусно, для украшения. Вместо обычного ремня из оленьей кожи он был опоясан линялым шелковым шарфом немыслимой расцветки; роговая рукоять его ножа была усажена серебряными бляхами; куний мех на шапке был так мягок и пушист, что носить его хоть королеве; на грубом и засаленном кафтане ворсистого сукна блестели пуговицы из мексиканского золота; ложа ружья была вырезана из отличного красного дерева и скреплена заклепками и кольцами того же ценного металла; здесь и там на своей широкой груди великан нацепил дешевые, с брелоками часы — штуки три, не меньше. В добавление к ружью и мешку, заброшенным на спину вместе с дополна набитыми и тщательно оберегаемыми сумкой с пулями и рогом с порохом, он небрежно вскинул на плечо острый и широкий топор. И весь этот груз он нес на себе, казалось, так легко, как если бы шел, ничем не стесненный, безо всякой ноши.

За этим человеком, немного позади, шли гурьбою несколько юношей в точно таком же наряде и настолько похожих между собой и на своего вожака, что нельзя было не признать в них членов одной семьи. Хотя младший из них едва ли достиг тех лет, когда, по мудрому суждению закона, человек входит в разум, он не посрамил свой род и ростом уже не уступал остальным. Впрочем, были в отряде и люди иного склада, но тех мы опишем после, по ходу нашего рассказа.

Взрослых женщин было только две, хотя из первой повозки каравана выглядывало немало оливковых личиков в белых кудрях и с горевшим в глазках понятным возбуждением и живым любопытством. Старшая из двух взрослых — увядшая, вся в морщинах — была матерью девочек и юношей, составлявших большинство отряда. Младшая же была подвижной и веселой девушкой восемнадцати лет, лицо которой, и одежда, и манеры, казалось, говорили, что по общественному положению она стоит на несколько ступеней выше всех ее видимых спутников. На втором крытом фургоне парусиновые боковины были наглухо задернуты, тщательно скрывая от взоров, что в нем находится. Остальные повозки гружены были грубой мебелью и прочим домашним скарбом, каким могла

Впереди остальных шагал человек, чей вид и осанка позволяли признать в нем предводителя отряда.

располагать семья, готовая во всякий час и в любую пору года сняться с обжитого места и двинуться в дальний путь.

И в самом караване, и во внешности его владельцев, пожалуй, мало было такого, чего не встретишь каждодневно на больших дорогах страны, где все переменчиво, все в движении. Но своеобразие и безлюдье местности, куда они вторглись, наложили на переселенцев отчетливую метку дикости и авантюризма.

В небольших долинах, какие по самому строению равнины встречались путникам на каждой миле, вид был ограничен с двух сторон теми пологими подъемами, по которым прерии этого типа и получили название «волнистых», тогда как в две другие стороны уныло тянулась длинная, узкая ложбина, там и сям оживляемая зарослями довольно густой, но жесткой травы. А с гребней подъемов открывался ландшафт, утомлявший глаза своим однообразием и до жути угрюмый. Земля напоминала здесь океан, когда его беспокойные валы тяжело вздымаются после ярости еще не улегшейся бури: та же равномерно колеблемая поверхность и та же необозримая ширь. В самом деле, так было разительно сходство между двумя пустынями — вод и земли, — что, как ни смешна покажется геологу эта простая гипотеза, поэту невольно хочется объяснить необычайную формацию равнины сменой владычества этих двух стихий. Здесь и там вставало из глубины ложбины, широко раскинув голые ветви, высокое дерево, как одинокий корабль; и в подкрепление обмана появлялась в туманной дали зеленым овалом рощица, рисуясь на краю кругозора, точно остров среди океана. Нет нужды указывать читателю, если он бывалый человек, что однообразие поверхности увеличивает расстояние, особенно когда смотришь с низкой точки; но, по мере того как проплывали бугор за бугром и остров за островом, крепла печальная уверенность, что придется пройти длинную и по виду нескончаемую полосу земель, покуда смогут осуществиться хотя бы самые скромные желания хлебопашца.

Все же вожак переселенцев упорно продолжал свой путь, определяя его только по солнцу, и, решительно обратясь спиной к цивилизованным поселениям, с каждым шагом все дальше — чтобы не сказать бесповоротно — углублялся в страну, где кочуют охотники-индейцы. Но

надвигался вечер, и в его уме, быть может не способном выработать связную систему мер предосторожности, помимо тех, какие требуются в данный час, все же зашевелилось беспокойство: как тут устроиться с ночлегом?

Поднявшись на гребень холма, чуть более высокого, чем другие, он постоял с минуту и кинул полулюбопытный взгляд налево и направо, высматривая по общеизвестным признакам место, где были бы налицо все три важнейших предмета — вода, топливо, корм для скота.

Попытка, как видно, осталась безуспешной, потому что после нескольких секунд небрежно-нерадивого осмотра великан поплелся вниз по отлогому склону тем вялым шагом, каким побрело бы раскормленное животное, приняв тяжелый вьюк.

Его примеру молча последовали все, кто шел за ним, хотя молодые люди, проделывая каждый в свой черед тот же осмотр, выказывали куда больше заинтересованности, если не волнения. По медлительным движениям и животных и людей было ясно, что подходит час, когда отдых становится необходим. Кустистая трава в ложбинах представляла препятствие, которое усталость делала все более трудным; и все чаще приходилось прибегать к кнуту — иначе лошади в упряжках отказывались идти дальше. И вот, когда усталость овладела всеми, кроме вожака, отряд замер на месте перед зрелищем внезапным и нежданным.

Солнце закатилось за гребень ближайшей «волны», как всегда оставив после себя широкую пылающую полосу. Посреди огненного потока возникла фигура человека, рисовавшаяся на позолоченном фоне так четко и так осязаемо, что, казалось, руку протянуть — и схватишь. Она была огромна; поза выражала раздумье и печаль; и стояла она перед людьми прямо на их пути. Но в этой яркой световой оправе было невозможно распознать истинные ее размеры.

Впечатление от зрелища было мгновенным и сильным. Вожак переселенцев сразу остановился и глядел на таинственное существо с тупым любопытством, вскоре перешедшим в суеверный страх. Его сыновья, как только справились с волнением, медленно окружили отца; а когда подошли и те, кто управлял упряжками, весь отряд сгрудился в одну безмолвную и удивленную группу. Но, хотя путешественники все, как один, вообразили, что перед

ними нечто сверхъестественное, тотчас послышалось щелкание замков, а двое или трое юношей, самые смелые, уже вскинули ружья.

— Вели мальчикам зайти справа! — решительно закричала резким, хриплым голосом мать.— Эйза или Эбнер уж наверное смогут разобраться, что это за тварь!

— Не мешало бы сперва пощупать пулей,— проворчал угрюмый человек, очень похожий лицом на ту, что заговорила первой: те же черты, тот же взгляд; свои слова он подкрепил действием: поднял ружье к плечу и прицелился.— Говорят, по равнине сотнями бродят охотники из племени Волков-паунн. Если подстрелить одного из них, они не скоро хватятся.

— Стойте! — раздался тихий возглас, сорвавшийся, как можно было без труда понять, с дрожавших губ младшей из двух женщин.— Мы здесь не все еще в сборе; это, может быть, друг!

— Кто тут шпионит? — крикнул отец и покосился сердито на ватагу своих молодцов.— Отставить, говорю, отставить! — продолжал он, богатырским пальцем сбив с прицела ружье своего сородича, и взгляд его сказал, что лучше с ним не спорить.— Мое дело еще немного не доделано, дай нам мирно довести его до конца.

Человек, проявивший такую воинственность, как видно, понял намек вожака и молча подчинился. Сыновья смотрели растерянно, ожидая от девушки пояснений; но, как будто удовольствовавшись полученной для незнакомца отсрочкой, она опустилась на свое сиденье и предпочла, как полагается девице, скромно промолчать.

Между тем окраска неба непрестанно менялась. Блеск, слепивший глаза, уступил место более серому, обыденному свету, и, по мере того как закат утрачивал пламенность, размеры фантастической фигуры становились менее преувеличенными и наконец определились.

Устыдившись своего колебания — теперь, когда выявилась истина,— вожак переселенцев двинулся дальше; но все же, спускаясь по отлогому склону, он принял меры, чтобы себя обезопасить: снял ружье с ремня и держал его наготове.

Но, видимо, в такой предосторожности не было нужды. С того мгновения, как между небом и землей возникла столь непостижимо фигура незнакомца, он ни разу не пошевельнулся, не проявил ни малейшей враждебности. Да

если бы он и таил злые намерения, у него не было бы сил их исполнить.

Человек, перепесший тяготы восьмидесяти и более зим, не мог возбудить опасения в таком великане, как наш переселенец. Однако, несмотря на преклонные лета, на его пусть не дряхлость, но крайнюю худобу, было что-то в одиноком этом старике, говорившее, что не хворь, а время наложило на него свою тяжелую руку. Он казался иссохшим, но не расслабленным. Еще различимы были мышцы, когда-то, видно, обладавшие большою силой; и весь его облик создавал впечатление такой стойкости, что, если бы забыть о человеческой бренности, казалось бы, тело его уже не может поддаться дальнейшему одряхлению. Одежда на старике была большей частью из шкур мехом наружу; через плечо свешивались у него сумка для пуль и рог; и стоял он, опершись на ружье, необычно длинное, но прожившее, видно, как и его владелец, долгий и трудный век.

Когда путешественники подошли к одинокому старику на расстояние оклика, из травы у его ног донеслось тихое рычание, и лежавшая в ней высокая, тощая, беззубая собака лениво поднялась, встряхнулась и показала, что намерена воспротивиться, если те вздумают подойти еще ближе.

— Лежать, Гектор, лежать! — сказал ее хозяин старческим, дребезжащим голосом.— Что ты, песик, вяжешься к людям, которые мирно едут по своим делам?

— Старик! Если ты знаком с этим краем,— заговорил вожак,— не укажешь ли переселенцу, где тут найти что нужно для ночлега?

— Разве тесно стало на земле по ту сторону Большой реки? — веско спросил старик, как будто не расслышав вопроса.— А нет, так почему передо мною то, чего я уже не думал увидеть еще раз?

— Нет, сказать по правде, земли там еще хватает для тех, кто с деньгами и непривередлив,— ответил переселенец.— Но на мой вкус там стало слишком людно. Как ты прикинешь, сколько будет отсюда до самой близкой излучины Большой реки?

— Гонимый олень, чтоб охладить свои бока в Миссисипи, пробежит не менее пятисот томительных миль.

— А как зовешь ты здешнюю округу?

— Каким именем,— ответил старик, подняв торже-

ственно палец,— обозначишь ты место, где ты видишь вон то облако?

Переселенец поглядел недоуменно, словно не понял и заподозрил, что над ним смеются, но ограничился замечанием:

— Ты здесь, видно, как и я,— недавний житель, а не то с чего бы ты отказывался помочь человеку советом: слова недорого стоят, а могут иной раз доставить полезную дружбу.

— Совет — не подарок, а долг, который старик выплачивает молодому. Что ты хочешь узнать?

— Где я могу разбить лагерь на ночь? В смысле еды и постели я неприхотлив; но всякий бывалый путешественник вроде меня знает цену пресной воде и доброй траве для скота.

— Тогда ступай за мной, и будет у тебя и то и другое; а сверх того я мало что мог бы предложить в этой голодной степи.

Сказав это, старик вскинул на плечо свое громоздкое ружье с легкостью, примечательной для человека его лет, и, не добавив ни слова, повел пришельцев через пологий бугор в соседнюю ложбину.

Глава II

Сюда — шатер! Я нынче здесь ночую.
А завтра — где? Ну ладно, все равно.

Шекспир, «Ричард III»

Путешественники вскоре убедились по обычным и безошибочным признакам, что необходимые условия для стоянки имелись совсем неподалеку. На склоне бил чистый и звонкий ключ и, сливаясь поблизости с другим подобным же источником, образовывал поток, который глаз на мили и мили легко прослеживал в прерии по зарослям кустов и травы, возникшим здесь и там под действием его влаги. К нему и шел незнакомец, а лошади следом дружно тянули кладь, потому что инстинкт подсказывал им, что здесь их ждут обильный корм и отдых.

Дойдя до подходящего места, старик остановился и молча, глазами, спросил вожака переселенцев, все ли здесь

есть, что нужно. Вожак понял его и обвел ложбину придирчивым взглядом знатока. Его обычная тяжелая, медлительная повадка не оставила его и тут.

— Да, пожалуй, подойдет,— сказал он наконец, удовлетворенный осмотром.— Мальчики, солнце скрылось, пошевеливайтесь.

Молодые люди подчинились по-своему. Приказ — отец сказал свои слова тоном приказа — был принят почтительно; однако с делом никто не спешил. Правда, с плеч на землю упали два-три топора, но их владельцы все еще поглядывали вокруг. Между тем вожак, как видно привыкший к нраву своих сыновей, скинул с плеч ружье и поклажу и вдвоем с уже знакомым нам человеком — тем, что так рвался пустить в ход ружье,— принялся спокойно распрягать лошадей.

Наконец старший из сыновей тяжелым шагом выступил вперед и, казалось, без всякого усилия до обуха вонзил топор в тело могучего тополя. Он постоял полминуты с презрением во взгляде, выжидая результатов своего удара. Так мог бы смотреть великан на бессильное сопротивление карлика. Потом, красиво и ловко занося топор над головой, как мог бы действовать испытанный рубака своим благородным, но не столь полезным оружием, он быстро перерубил ствол и принудил гордую вершину пасть к своим ногам. Остальные с беспечным любопытством наблюдали, покуда не увидели дерево простертым на земле, и тут, приняв это как сигнал к общей атаке, все разом приступили к делу. С четкостью в работе, поразительной на непривычный глаз, они очистили от леса нужный им небольшой участок так основательно и почти так же быстро, как если бы здесь пронесся ураган.

Незнакомец безмолвно, но внимательно следил за их действиями. Каждый раз, как под свист топора одно за другим падали наземь деревья, он поднимал к новому просвету в небе печальный взор и наконец отвернулся, с горькой улыбкой что-то пробормотав про себя — как будто почитал недостойным высказать свое недовольство вслух. Затем, пробившись сквозь толпу хлопотливо трудившихся девочек, уже разведших веселый костер, старик стал наблюдать за вожаком переселенцев и его угрюмым помощником.

Они вдвоем уже распрягли лошадей, принявшихся тут же ощипывать с поваленных деревьев прекрасную и соч-

ную их листву, и теперь приступили к той повозке, содержимое которой, как мы описали, было тщательно скрыто от глаз. Хотя в этой повозке было тихо, как и во всех остальных, и как будто в ней не ехал никто, мужчины, вручную подталкивая колеса, откатили ее в сторону на сухое, высокое место у самого края леска. Они принесли сюда несколько шестов, как видно давно приспособленных для этой цели, и, основательно воткнув их более толстыми концами в землю, тонкими концами прикрепили к ободам, на которых держалась парусина. Затем высвободили концы парусины, заложенные складками в борта повозки, распялили ее на шестах, а края пришпилили колышками к земле, так что образовался довольно просторный и очень удобный шатер. Проверив свою работу зорким, придирчивым взглядом, тут расправив складку, там крепче забив колышек, мужчины принялись тянуть повозку за дышло из-под шатра, пока она не появилась на открытом воздухе, лишенная своего покрова и свободная от всякой клади, кроме кое-какой легкой мебели. Мебель вожак тотчас своими руками снял и отнес в шатер, как будто входить под него было особой привилегией, каковую с ним не разделял даже его доверенный друг.

Любопытство — такая страсть, которую жизнь в уединении не гасит, а усиливает, и старый обитатель прерии невольно поддался ей, наблюдая за этими загадочными предосторожностями. Он подошел к шатру и уже хотел раздвинуть его полы с откровенным намерением в точности установить, что в нем содержится, когда тот из мужчин, который уже раз покушался на его жизнь, перехватил его руку и с силой отшвырнул от облюбованного им места.

— Есть честное правило, друг,— сказал он сухо, но с угрозой в глазах,— а иногда и спасительное, и оно говорит: «В чужие дела не суйся».

— В этот пустынный край люди редко привозят что-нибудь такое, что надо прятать,— возразил старик, точно хотел как-то оправдаться в едва не совершенной вольности.— Я не думал, что нанесу вам обиду, если погляжу на ваши вещи.

— По-моему, сюда вообще мало кто заезжает. Край как будто бы старый, но, как я погляжу, заселен не сплошь.

— Эта земля, я думаю, не моложе и не старше, чем все остальное в творении господнем; а насчет ее обитателей

ты заметил правильно. Я много месяцев, покуда не встретился с вами, не видел лица того же цвета, что мое. Скажу еще раз, друг: у меня не было дурного умысла, я подумал только, что за этой парусиной есть что-нибудь такое, что мне могло бы напомнить былые дни.

Досказав свое простое объяснение, незнакомец смиренно побрел прочь, как человек, постигший глубокий смысл закона, по которому каждый вправе спокойно пользоваться своим добром без назойливого вмешательства со стороны соседа: полезное и справедливое правило, тоже, возможно, усвоенное им вместе с привычкой к уединенной жизни. Подходя к небольшому лагерю переселенцев — прогалина и впрямь приняла вид лагеря,— он услышал, как вожак громким, хриплым голосом выкрикнул имя:

— Эллен Уэйд!

Уже представленная читателю девица, вместе со старухой и ее дочками хлопотавшая у костра, радостно кинулась на зов и, с легкостью лани проскользнув мимо старика, мгновенно скрылась за неприкосновенным пологом. Ни внезапное ее исчезновение, ни вся возня с разбивкой шатра не вызвали ни малейшего удивления ни в ком из остальных. Юноши, управившись с рубкой, отложили топоры и с той же своею беспечной, ленивой повадкой взялись за другие дела: кто задавал корм скоту, кто толок в тяжелой ступе кукурузу; двое или трое занялись прочими повозками: откатывали их и расставляли таким образом, чтобы из них образовался хоть какой-то заслон вокруг ничем, по существу, не защищенного лагеря.

Все эти работы были быстро закончены, и, так как прерия вокруг уже тонула в темноте, сварливая хозяйка, чьи резкие окрики с первой минуты привала непрестанно подстегивали нерадивых сыновей, громогласно, не остерегшись, что ее могут услышать издалека, стала созывать семью: ужин готов, объявила она, и ждет тех, кто должен с ним расправиться. Каковы бы ни были прочие качества жителя пограничной полосы, он редко бывает недостаточно гостеприимен. Едва услышав громкий крик жены, переселенец стал искать глазами незнакомца, чтобы предложить ему почетное место за ужином, к которому их так бесцеремонно позвали.

— Благодарю тебя, друг,— ответил старик на грубоватое приглашение подсесть поближе к полному

котлу.— От души благодарю. Но я сегодня уже поел достаточно, а я не из тех, кто роет себе могилу зубами. Раз ты этого хочешь, я охотно посижу с вами у костра, потому что я давно не видел, как едят свой хлеб люди одного со мною цвета кожи.

— Ты, значит, давно обосновался в этих местах? — скорее отметил, чем спросил переселенец, набив рот кукурузной кашей, превосходно приготовленной его женой, отличной поварихой, несмотря на отталкивающую внешность.— Нам говорили там у нас, на востоке, что поселенцев мы почти и не встретим, и я должен сказать, молва была в общем верна, потому что, если не считать канадских торговцев по Большой реке, ты первый белый человек, какого я встречаю, пройдя добрых пятьсот миль: так оно выходит по твоему же счету.

— Хоть я и провел в этом краю несколько лет, меня едва ли можно назвать поселенцем. У меня нет постоянного жилья, и я редко провожу больше месяца кряду на одном месте.

— Охотник, что ли? — продолжал допрос переселенец и скосил глаза, как бы проверяя экипировку своего нового знакомца.— Для такого промысла ружьецо у тебя не больно хорошее.

— Оно состарилось, как и его хозяин, и ему тоже давно пора на покой,— сказал старик и посмотрел на свое ружье со странной смесью нежности и сожаления во взгляде.— И должен сказать, оно мне и не очень-то нужно. Ты ошибся, друг, назвав меня охотником. Я всего лишь траппер [1].

— Пусть ты больше траппер, но, посмею сказать, ты, значит, немного и зверобой, потому что в здешних местах эти два промысла всегда связаны один с другим.

— К стыду, сказал бы я, для человека, еще способного заниматься более благородным из двух! — возразил траппер, которого далее мы так и будем именовать по его промыслу.— Больше полувека я проскитался с ружьем по лесным дебрям, ни разу не поставив ловушки даже на

---

[1] Это слово означает в Америке человека, который ловит дичь капканом. У пограничных жителей этот промысел в большом ходу. Бобра, животное слишком умное, чтобы его легко было убить, чаще добывают этим способом, чем каким-либо иным. *(Примеч. автора.)*

птицу, что летает в небе, не то что на зверя, наделенного только ногами.

— А по мне, разница невелика, ружьем ли добывать шкуры или капканом,— ввернул угрюмый помощник вожака переселенцев.— Земля создана нам на потребу, а значит, и всякая тварь на земле.

— Ты далеко забрался, старик, а разживы у тебя как будто маловато,— перебил товарища вожак, видно желая по какой-то своей причине перевести разговор на другое.— Хоть со шкурами-то дело у тебя идет неплохо?

— Много ли мне надо? — спокойно возразил траппер.— Чего желать человеку в мои годы? Был бы сыт да одет. А деньги мне тут и вовсе почти не нужны — только чтоб от поры до поры набить порохом рог да запастись свинцом.

— Стало быть, родом ты, приятель, не здешний,— продолжал пришелец, отметив про себя, что собеседник не понял ходкого словца «разжива», которое в его краях употреблялось в значении «домашний скарб» или «имущество».

— Я родился у моря, но бóльшую часть своей жизни провел в лесах.

Теперь все воззрились на него, как иной раз люди спешат обратить глаза на предмет общего любопытства.

Двое из юношей повторили: «У моря!» А хозяйка, обычно не слишком радушная, стала выказывать гостю некоторую, пусть неуклюжую, учтивость, как бы из уважения к его дальним странствиям. Переселенец долго молчал, что-то, видно, обдумывая, но не считая нужным приостановить работу своего жевательного аппарата; наконец он снова завел разговор:

— Слышал я, не близкий это путь — от западных рек до большого моря.

— Да, в самом деле, друг, это трудная тропа, и немало повидал я в дороге и всякого натерпелся.

— Тяжело потрудится человек, покуда пройдет такой конец.

— Семьдесят пять лет шел я этой дорогой, а не насчитать и ста миль на всем пути за Гудзоном, где бы я не отведал подстреленной своей рукою дичи... Но я расхвастался впустую. Что проку в былых свершениях, когда твой век на исходе?

— Я как-то встречал человека, который плавал по

этому самому Гудзону,— негромко заметил старший из сыновей, как будто не очень доверяя собственным сведениям и полагая приличным принять неуверенный тон перед таким бывалым человеком.— По его словам выходило, что это значительная река и глубокая — по ней можно пройти на барже от верховья до устья.

— Гудзон — широкая и глубокая река и немало выросло красивых городов по его берегам,— возразил траппер,— а все же он жалкий ручей по сравнению с водами бесконечной реки!

— Если поток можно объехать вокруг, я не назову его рекой,— вмешался недобрый спутник переселенца.— Если река настоящая, человек ее не обходит, а тут же переплывает: идет на нее в лоб, а не берет в облаву, как медведя на большой охоте [1].

— А на закат ты заходил далеко? — перебил переселенец, точно нарочно не давая своему грубому спутнику принять участие в разговоре.— Забрел я тут на голую равнину, и ей конца-краю не видно!

— Здесь можно ехать неделями, и будет перед глазами все то же. Я часто думаю, что господь простер перед Штатами голую прерию в предостережение людям: пусть видят, до чего они могут довести землю в своем безумии! Да, вы проедете много недель, много месяцев этими открытыми полями и не встретите ни поселения, ни обиталища для человека или для скота. Даже дикий зверь прорыщет тут много миль, пока найдет себе логово; и все же, мне чудится, ветер с востока редко когда не донесет до моих ушей стук топора и падающего дерева.

Старик говорил с той проникновенностью и достоинством, какие преклонный возраст придает словам, даже если они выражают и не столь глубокое чувство. Слушатели внимали ему, храня мертвое молчание. Они почтительно ждали, когда траппер сам возобновит беседу, что́ тот вскоре и сделал, обиняком задав вопрос, как это в обычае у пограничных жителей:

— Нелегко тебе это досталось, друг, пересечь столько

---

[1] В новых землях принято, чтобы люди с большой округи — иногда со всего края — сходились вместе на охоту для истребления хищников. Они выстраиваются по кругу протяжением в несколько миль и постепенно стягивают кольцо, все перед собою убивая На такую облаву и намекается здесь: травимый зверь мечется в кольце от стрелка к стрелку. *(Примеч. автора.)*

рек и пробраться так глубоко в прерию на конских упряжках да с целым стадом рогатого скота!

— Покуда я не увидел, что Большая река забирает слишком далеко на север,— объяснил переселенец,— я держался левого берега, а тут мы сколотили плоты и переправились без особых потерь: жена недосчиталась двух-трех овец, да девчонкам приходится доить одной коровой меньше. Ну, а дальше мы что ни день наводим мост через речку.

— Ты, похоже, намерен двигаться на запад, пока не набредешь на землю, более удобную для поселения?

— Пока не надумаю остановиться или же повернуть назад,— сказал переселенец и встал, резким своим движением обрывая беседу.

Его примеру последовали траппер и вся семья. Потом, не смущаясь присутствием гостя, путешественники стали устраиваться на ночлег. Из обрубленных древесных вершин, из грубых одеял домашней работы да из бычьих шкур они еще до ужина успели наспех соорудить несколько навесов или, вернее сказать, шалашей, только и рассчитанных на кратковременный приют. Под их кров вскоре заползли дети со своей матерью и, по всей вероятности, тут же и заснули крепким сном. Мужчинам же, перед тем как отправиться на боковую, еще предстояло кое-что доделать: достроить ограду вокруг лагеря, тщательно загасить костер, еще раз задать корм скоту и выставить караул для охраны спящих.

Чтобы выполнить первую задачу, заложили стволами промежутки между фургонами и по всей открытой полосе между фургонами и леском, среди которого, говоря военным языком, был разбит их лагерь; так с трех сторон позиции образовались своего рода chevaux de frise[1]. В этих тесных границах собрались (если не считать того, что укрывал холщовый шатер) весь люд и скот; усталые животные были рады отдыху и не доставили большого беспокойства загонщикам, умом недалеко ушедшим от них. Двое из юношей взяли свои ружья; и первым делом сменив затравку, а затем проверив кремень, они проследовали один в правый, другой в левый конец лагеря, где и заняли свои посты в тени деревьев, но избрав такое положение, чтобы можно было охватить взглядом какую-то часть прерии.

---

[1] Рогатки (франц.).

Траппер, отклонив предложение разделить с переселенцем соломенную подстилку, подождал, пока в лагере не покончили с устройством, а потом, попрощавшись, медленно побрел прочь.

Шли первые ночные часы. Бледный, трепетный и обманчивый свет молодого месяца играл над бесконечными волнами прерии, бросая яркие блики на бугры, а в ложбинах между ними оставляя густую темь. Привычный к такой нелюдимой глуши, старик, покинув лагерь, двинулся одинокий в пустыню, как отважный корабль покидает гавань и пускается бороздить бездорожную степь океана. Некоторое время он шел, казалось, без намеченной цели или, вернее, брел, сам не замечая куда. Наконец, достигнув очередного гребня, он остановился. И в первый раз с той минуты, как расстался с людьми, из-за которых его захлестнуло потоком воспоминаний и раздумий, старик сообразил, где он находится. Уткнув ружье прикладом в землю, он стоял, опершись на ствол, и опять на несколько минут ушел в свои мысли, а тем временем подбежала его собака и улеглась у его ног. Глухое, угрожающее ворчание верного пса вывело старика из задумчивости.

— Что там, песик? — Он поглядел на своего спутника, обращаясь к нему, точно к равному, и с большою нежностью в голосе.— Ну что, собачка моя? А, Гектор? Что там неладно? Плохо дело, собака, плохо дело! Оленята и те преспокойно резвятся у нас перед носом, не обращая внимания на таких дряхлых псов, как мы с тобой. Тут говорит инстинкт: они поняли, что нас уже нечего бояться, Гектор, поняли, да!

Собака задрала голову и в ответ на слова своего хозяина протяжно и жалобно заскулила, не смолкнув и тогда, когда снова зарылась мордой в траву: она как будто хотела продолжить разговор с тем, кто так хорошо понимал бессловесную речь.

— Теперь ты явно предостерегаешь, Гектор! — продолжал старик, понизив голос до шепота, и опасливо поглядел вокруг.— В чем дело, песик? Скажи яснее, собака, в чем дело?

Гектор, однако, уже припал носом к земле и молчал, видно задремав. Но острый, быстрый взгляд его хозяина вскоре различил вдалеке фигуру: в обманчивом свете она как будто плыла по гребню того же холма, где стоял и он сам. Но вот ее очертания обрисовались отчетливей, и

можно было уже разглядеть легкий девичий стан. Девушка остановилась в нерешительности, как бы раздумывая, благоразумно ли будет идти дальше. Глаза Гектора теперь поблескивали в лунных лучах — было видно, как он то откроет их, то лениво зажмурит опять,— однако он больше не выказывал недовольства.

— Подойди. Мы твои друзья,— сказал траппер, по давней привычке объединяя в одно себя и своего спутника.— Мы твои друзья; от нас тебе не будет обиды.

Мягкий тон его голоса, а может быть, и важность ее цели помогли женщине пересилить страх. Она подошла ближе, и старик узнал в ней молодую девушку, уже знакомую читателю Эллен Уэйд.

— Я думала, вы ушли,— сказала она, робко и тревожно озираясь.— Мне сказали, что вы ушли и что мы никогда вас больше не увидим. Я не думала, что это вы!

— Люди — редкая диковина в этой голой степи,— возразил траппер.— Я храню смиренную надежду, что я хоть и долго общался со зверями пустыни, а все ж не утратил человеческого облика.

— Нет, я поняла, что передо мной человек, и даже подумала, что различаю тявканье собаки,— ответила она торопливо, точно хотела что-то объяснить, но осеклась в страхе, не наговорила ли больше чем надо.

— На стоянке твоего отца я не видел собак,— заметил траппер.

— Отца! — с жаром перебила девушка.— У меня нет отца! Я чуть не сказала — нет ни единого друга.

В лице старика, загрубелом от непогоды, читались прямота и добродушие, а ласковый и сочувственный взгляд, каким он встретил ее слова, и вовсе успокоил девушку.

— Как же ты пустилась в края, куда дорога только сильному? — спросил он.— Разве ты не знала, что, перейдя Вольшую реку, ты на том берегу оставишь друга, чей долг всегда оберегать таких, как ты,— юных и слабых.

— О ком вы это?

— О законе. Плохо, когда он давит нас, но иногда мне думается, что еще того хуже, когда его нет вовсе. Годы и слабость временами наводят меня на эту горькую мысль — мысль слабого человека. Да, да, когда требуется забота о тех, кто не наделен ни силой, ни разумением, тут бывает нужен закон. Однако, девушка, если нет у тебя отца, то, верно, есть хоть брат?

Девушка услышала скрытый в этом вопросе упрек и, смешавшись, молчала. Но, взглянув украдкой на доброе и серьезное лицо собеседника, который смотрел на нее все так же участливо, она ответила твердо, и тон ее не оставил сомнения, что она правильно поняла тайный смысл его слов.

— Боже избави, чтобы кто-нибудь, схожий с теми, кого вы там видели, был мне братом или кем-либо еще близким и дорогим! Но скажите мне, добрый старик, вы в самом деле живете один в этом пустынном краю? Тут и вправду нет никого, кроме вас?

— Здесь бродят сотни... нет, тысячи законных владельцев страны, но людей с нашим цветом кожи очень немного.

— А встретили вы здесь хоть одного белого, кроме нас? — нетерпеливо перебила девушка, не давая старику закончить его медлительные объяснения.

— Никого за много дней... Тихо, Гектор! — добавил он в ответ на глухое, еле слышное ворчание своего друга.— Собака чует недоброе в наветренной стороне. Черные медведи с гор иной раз спускаются и ближе. У пса нет привычки скулить из-за безобидной дичи. Я уже не бью из ружья так быстро и метко, как бывало, но и сейчас, на склоне лет, в этой прерии мне не раз доводилось уложить самого лютого хищника; бояться тебе, девушка, нечего.

Эллен посмотрела вокруг с той особой манерой, которую так часто можно подметить у девушек: сперва глянуть себе под ноги, а потом охватить глазами все, что доступно взору человека; но ее лицо выражало скорее нетерпение, чем тревогу.

Вскоре, однако, отрывистый лай собаки заставил обоих обратить взгляд в другую сторону, и теперь они смутно различили, на кого в самом деле указывало повторное предостережение.

Глава III

Еще бы! Ты один из самых вспыльчивых малых во всей Италии. Чуть тебя задснут — ты сердишься; а чуть рассердишься — всех задеваешь

Шекспир, «Ромео и Джульетта»

Траппер, хоть и удивился, завидев еще одну человеческую фигуру — тем более что приближалась она не оттуда, где заночевал переселенец, а как раз с противной стороны,— однако остался спокоен, как человек, издавна привыкший ко всякого рода опасностям.

— Мужчина,— сказал траппер.— И в жилах у него кровь белого, иначе поступь его была бы легче. Будем готовы к самому дурному, потому что метисы, какие попадаются в этой глуши, худшие варвары, чем чистокровные индейцы.

С этими словами он поднял ружье и проверил на ощупь, в порядке ли кремень и затравка. Но, едва он прицелился, быстрые и трепетные девичьи руки схватили его за локоть.

— Ради бога, не спешите! — сказала Эллен Уэйд.— Это, может быть, друг... знакомый... сосед!

— Друг? — повторил старик, решительно высвободившись из ее цепких рук.— Друзья повсюду редкость, а в здешнем краю их встретишь, пожалуй, реже, чем где-нибудь еще. Соседи же селятся здесь так далеко один от другого, что едва ли к нам идет знакомый.

— Пусть незнакомый... но ведь вы не захотите пролить его кровь!

Траппер вгляделся в ее лицо и прочел в нем тревогу и страх. Тогда, как будто круто изменив свое намерение, он уткнул ружье прикладом в землю.

— Нет,— сказал он, обратившись скорее к самому себе, чем к своей собеседнице,— девушка права: не дело проливать кровь ради спасения жизни, такой бесполезной и

близкой к концу. Дам ему подойти: пусть забирает мои капканы, меха, даже мое ружье, если захочет.

— Ничего он не потребует, ему ничего не нужно,— возразила девушка.— Если он честный человек, с него довольно и собственных, он не станет отбирать чужое...

Удивленный траппер не успел ничего возразить на эти бессвязные, противоречивые слова, потому что незнакомец был уже в пятидесяти шагах от места, где они стояли. Гектор между тем не остался безразличным свидетелем происходящего. Заслышав далекие шаги, он поднялся с нагретого места у ног своего хозяина; а теперь, когда фигура незнакомца оказалась на виду, он медленно пополз ему навстречу, прижимаясь к земле, как барс перед прыжком.

— Отзови собаку,— сказал мужской голос, твердый и низкий, скорей дружелюбно, чем тоном угрозы.— Я люблю собак, и мне будет жалко причинить вред твоему псу.

— Слышишь, песик? О тебе говорят! — отозвался траппер.— Поди сюда, глупыш. Лай да вой — вот и все, что осталось ему в защиту. Подходи, друг, собака беззубая.

Незнакомец не заставил себя долго просить. Он бросился вперед, и не прошло секунды, как он уже стоял рядом с Эллен Уэйд. Глянув на нее и убедившись, что это впрямь она, он внимательно оглядел ее спутника: видно, ему было совсем не безразлично, что это за человек.

— Ты откуда свалился, приятель? — сказал он, и его беззаботный, открытый тон показался таким естественным, что тут не могло быть притворства.— Или ты и впрямь живешь в прериях?

— Я давно живу на земле, и, надеюсь, никогда я не был ближе к небу, чем сейчас,— отвечал траппер.— Мое жилье, если можно так его назвать, здесь неподалеку. А теперь я позволю себе ту же вольность, какую ты так легко позволяешь себе с другими. Откуда ты пришел и где твой дом?

— Тише, тише; когда я кончу задавать свои вопросы, придет твой черед. На кого можно охотиться при лунном свете? Неужели ты выслеживаешь буйволов в этот час?

— Я иду, как видишь, со стоянки путешественников, вон за тем бугром, в свой вигвам. Этим я никому не врежу.

— Да уж, наверное, никому. А молодую женщину ты прихватил показывать тебе дорогу, потому что она хорошо знакома с местностью, а ты, бедняга, плохо?

— Я повстречал ее, как и тебя, случайно. Десять дол-

гих лет я прожил в этих широких степях и ни разу до нынешней ночи не набрел в такую пору на белокожего. Если мое присутствие кому-то в помеху, извини, и я пойду своим путем. Выслушай, что тебе скажет твоя подружка, и тогда, наверное, ты и меня станешь слушать не так недоверчиво.

— «Подружка»! — сказал юноша и, сняв меховую шапку с головы, запустил пальцы в копну черных кудрей.— Я в глаза ее не видал до нынешнего вечера, разрази меня...

— Хватит, Поль! — остановила его девушка, зажав ему рот ладонью с такой свободой, что было трудно поверить в правдивость его утверждения.— Честный старик не выдаст нашу тайну. Я это поняла по его глазам и ласковой речи.

— «Нашу тайну»! Эллен, ты, видно, забыла...

— Нет, я не забыла ничего, что мне положено помнить. И все-таки говорю, что мы можем довериться этому честному трапперу.

— Трапперу! Так он траппер? Руку, отец! Твой промысел сродни моему.

— В этом краю охотнику не требуется большого искусства,— возразил старик и оглядел сильную и энергичную фигуру юноши, небрежно, но не без изящества опершегося на ружье.— Чтобы брать божью тварь в капкан или сеть, нужна скорее хитрость, чем отвага; я стар и должен заниматься этим делом! Но такой молодец, как ты, мог бы как будто выбрать для себя промысел получше.

— Я? Да я ни разу в жизни не поймал в ловушку ни увертливую норку, ни ловкую ныряльщицу выдру, хотя, признаться, мне не раз случалось подстрелить бурую черновку, хоть и неумно расходовать на нее порох и свинец. Нет, старик, ни за чем, что ползает по земле, я не охочусь.

— Чем же ты, друг, добываешь свой хлеб? Мало пользы человеку забираться в эти края, если он отказывает себе в законном праве охотиться на полевого зверя.

— Ни в чем я себе не отказываю. Перейдет мне дорогу медведь, и он у меня тут же превратится в мишку с того света. Олени знают мой запах. Ну, а буйволы — я больше уложил быков, незнакомец, чем самый здоровенный мясник во всем Кентукки.

— Так ты умеешь стрелять? — спросил траппер, и скрытый огонь замерцал в его глазах.— Твердая у тебя рука и верный глаз?

— Рука как стальной капкан, а глаз быстрее дроби. Хотел бы я, чтобы сейчас был жаркий день, дедушка, и над нашими головами тянулся к югу косяк-другой черноперых уток или здешних белых лебедей, а ты или Эллен облюбовали бы самого красивого в стае — и ставлю свою добрую славу против рога с порохом, что через пять минут птица повисла бы вниз головой, да не иначе как с первой же пули. Дробовик я не признаю! Никто не скажет, что видел меня с дробовиком в руках!

— Парень хороший! Сразу видно по повадке,— одобрительно молвил траппер, обратившись к Эллен и как бы желая ее подбодрить.— Не побоюсь сказать: можешь и дальше встречаться с ним — худа не будет. Скажи-ка мне, малый: а случалось тебе всадить пулю между рогов скачущему оленю?.. Гектор! Тихо, песик, тихо! У собаки при одном упоминании дичины разгорается кровь. Случалось тебе уложить таким манером оленя на полном скаку?

— Ты еще спросил бы: «Едал ли ты в жизни мясо?» Я иначе и не бью оленя, старик, разве что подберусь к нему спящему.

— Да, да, у тебя впереди долгая и счастливая жизнь — и честная! Я стар и, кажется, могу добавить — одряхлел и проку от меня никакого, но, если бы дано мне было заново избрать для себя возраст и место — как то никогда не бывало во власти человека и быть не должно, но все же, когда бы дали мне такое в дар,— я назвал бы: двадцать лет и лесные дебри. Но скажи мне: куда ты сбываешь меха?

— Меха? Да я в жизни своей не убил оленя ради шкуры, ни гуся ради пера! Я их при случае стреляю на еду или чтоб рука не потеряла сноровку; но, когда голод утолен, остальное получают волки прерии. Нет, нет, я держусь своего промысла: им я зарабатываю больше, чем дали бы мне все меха, сколько бы я их ни сбыл по ту сторону Большой реки.

Старик призадумался и, покачав головой, продолжал:

— По здешним местам я знаю только одно прибыльное занятие...

Не дав ему договорить, юноша поднес к глазам собеседника висевшую у него на шее жестяную фляжку. Затем отвинтил крышку, и нежный запах чудеснейшего цветочного меда защекотал ноздри траппера.

— Значит, бортник! — заметил тот с живостью, пока-

завшей, что этот промысел ему знаком.— Поглядеть — горячий человек, а вот же избрал для себя такое мирное занятие!.. Да,— продолжал он,— за мед в пограничных поселениях платят хорошо, но здесь, в степных краях,— это, сказал бы я, сомнительное дело.

— Скажешь, нет деревьев, негде пчелам роиться? Но я что знаю, то знаю; вот и подался миль на полтысячи подальше на запад, чем другие,— за добрым медом! А теперь, когда я удовлетворил твое любопытство, старик, отойди-ка ты в сторону, покуда я скажу, что хотел, этой девице.

— Нет нужды, право же, нет ему нужды оставлять нас,— поспешила вмешаться Эллен, как будто требование юноши показалось ей несколько странным и даже не совсем приличным.— Вы не можете сказать мне ничего такого, чего нельзя говорить громко, на весь свет.

— Нет, пусть меня до смерти изжалят трутни, если я понимаю женский ум! Что до меня, Эллен, я не посмотрел бы ни на кого и ни на что: я хоть сейчас сошел бы в ложбину, где стреножил своих копей твой дядя — если уж ты зовешь дядей человека, который, поклянусь, никакой тебе не родственник! Да, сошел бы и открыл старику, что у меня на уме, и не стал бы откладывать на год! Скажи только слово — и дело сделано, хочет ли он или не хочет!

— Вы вечно так рветесь вперед, Поль Ховер, что я с вами никогда не чувствую себя спокойной. Вы же знаете, как это опасно, чтобы нас увидели вдвоем, а хотите показаться на глаза старику и его сыновьям.

— Он совершил что-то такое, чего должно стыдиться? — спросил траппер, так и не двинувшись с места.

— Боже упаси! Но есть причины, почему сейчас его не должны здесь увидеть. Когда бы все стало известно, его никто не тронул бы, но сейчас рано открывать... Так что, отец, если вы подождете там, у ракитового куста, пока я выслушаю, что мне скажет Поль, то после, перед тем как вернуться на стоянку, я непременно подойду к вам и пожелаю вам спокойной ночи.

Траппер медленно отошел, как будто удовлетворившись не совсем вразумительными доводами Эллен. На расстоянии, откуда уже никак нельзя было услышать быстрый и взволнованный диалог, тут же завязавшийся между молодыми людьми, старик опять остановился, терпеливо ожидая минуты, когда можно будет возобновить разговор

с теми, кто возбудил в нем такой горячий интерес, и не столько из-за таинственности, с какой они вели свою беседу, сколько в силу естественного сочувствия к юной чете, вполне заслуженного, как верил он в сердечной своей простоте. Собака, его ленивая, но преданная спутница, опять легла у его ног и вскоре задремала, как обычно, почти совсем спрятав голову в густой осенней траве.

Видеть людей среди пустыни, где он жил, было так непривычно, что траппер в волнении не мог отвести глаза от туманных фигур своих новых знакомцев. Их присутствие всколыхнуло воспоминания и чувства, какие в последние годы лишь редко волновали его душу, стойкую и честную, и в мыслях его проносились разнообразные картины из его многотрудной жизни, странно перемежаясь с другими, дикими, но по-своему сладостными. Воображение уже далеко увело его в некий идеальный мир, когда верный пес, внезапно встрепенувшись, заставил его вернуться к действительности.

Собака, которая до сих пор в покорности годам и немочи выказывала решительную склонность ко сну, вдруг вскочила и, выступив из тени, отбрасываемой высокой фигурой своего хозяина, уже несколько секунд вглядывалась в даль, как будто чутье сообщило ей о появлении нового гостя. Потом, видно успокоенная проверкой, она вернулась на теплое место и опять улеглась, так удобно расположив свои усталые члены, что было ясно: забота о своем покое ей не внове.

— Что, Гектор, опять? — ласково сказал траппер, но из осторожности вполголоса.— В чем дело, песик? Расскажи своему хозяину, дружок. В чем дело?

Гектор еще раз тявкнул в ответ, но встать не счел нужным. Это означало: «Ты оповещен, будь начеку». Траппер знал по опыту, что таким предупреждением нельзя пренебрегать. Он опять заговорил с собакой, тихим, осторожным свистом поощряя ее к бдительности. Но собака, как бы сознавая, что уже исполнила свой долг, упрямо отказывалась поднять голову.

«Указание такого друга стоит больше, чем совет иного человека! — говорил про себя траппер, медленно двинувшись к юной чете, слишком увлеченной горячим своим разговором, чтобы заметить его приближение.— Только какой-нибудь самонадеянный поселенец, услышав, не посчитался бы с ним, как должно...»

— Дети,— добавил он, когда подошел достаточно близко,— мы не одни в этом сумрачном поле; тут бродит кто-то еще, а значит, скажу я к стыду для рода человеческого, опасность близка.

— Если кто из ленивцев, сыновей бродяги Ишмаэла, вздумал рыскать ночью вдали от лагеря,— горячо, с прямой угрозой в голосе вскричал молодой пчеловод,— его путешествие, чего доброго, закончится быстрей, чем рассчитывает он или его отец!

— Голову отдам на отсечение,— поспешила вставить девушка,— они все у повозок. Я сама видела, что они все заснули, кроме двух, которых поставили сторожить. Да и те, если верны своей натуре, тоже, наверное, задремали и сейчас охотятся во сне на индюков или ввязались в уличную драку.

— С наветренной стороны прошел какой-то зверь с сильным запахом, и собака забеспокоилась; или, может быть, ей тоже что-то снится. У меня у самого был в Кентукки пес, который, бывало, заспится и вдруг как вскочит и кинется в погоню, потому что ему приснилась охота. Подойди к собаке и дерни ее за ухо, чтоб она очнулась.

— Не то, не то! — возразил траппер и покачал головой: он знал достоинства своей собаки.— Молодость спит и видит сны; старость же бдительна и во сне. Гектора никогда не обманет пюх, и долгий опыт научил меня принимать предостережения старого пса.

— Ты когда-нибудь пробовал поохотиться с ним не за красным зверем?

— Признаться, меня иной раз брал соблазн натравить его на волков — они в охотничью пору не меньше человека жадны до дичи,— но я знал: собака разумна, она поймет, что к чему! Нет, нет, Гектор особенная собака, он знает человечью повадку и никогда не пойдет по ложному следу, когда нужно вынюхать правильный!

— Ага, вот ты и выдал свой секрет! Ты вышел с собакой на волчий след, но память у нее получше, чем у ее хозяина,— рассмеялся бортник.

— Бывало, Гектор у меня часами спит и не шелохнется, когда волчьи стаи одна за другой пробегают на виду. Волк может есть с ним из одной миски, и он не заворчит, если не голоден. Вот если голоден, тут уж он заявит свои права.

— С гор спустились пантеры. Я видел на закате

солнца, как одна набросилась на большую лань. Ступай, ступай назад к собаке, отец, и скажи ей правду. А я сию же минуту...

Его перебил громкий и протяжный вой собаки. Он поднялся в ночном воздухе, точно жалоба некоего духа прерии, и понесся раскатами в степь, вздымаясь и падая, как ее волнистая поверхность. Траппер молчал, напряженно вслушиваясь. Даже на беззаботного бортника угнетающе подействовали эти звуки, дикие и жалобные. Выждав немного, старик свистом подозвал собаку к себе и, повернувшись к молодой чете, заговорил со всей серьезностью, какой, по его разумению, требовал случай:

— Кто думает, что в удел человеку досталось все знание, отпущенное тварям господним, тот поймет, что это самообольщение, если дотянет, как я, до восьмидесяти лет. Не возьмусь сказать вам, какая нависла над нами угроза, и не поручусь, что и собака знает это точно, но о том, что опасность близка и что, следуя голосу разума, надо ее избегать, я услышал от друга, который никогда не солжет. Сперва я подумал, что собака отвыкла от поступи человека и ее взбудоражило ваше присутствие, но она весь вечер что-то чуяла, и я ошибся, полагая, что причиной тому вы двое. Дело, видно, серьезней. Если совет старика хоть что-то значит для вас, дети, разойдитесь поскорей и поспешите каждый в свое убежище.

— Если я в такую минуту брошу Эллен,— воскликнул юноша,— пусть меня...

— Хватит! — перебила девушка и опять прикрыла ему рот нежной и белой рукой, которой позавидовала бы любая знатная дама.— Мне больше нельзя, нам и так пора расставаться... Спокойной ночи, Поль... и вам, отец, спокойной ночи!

— Тс-с!..— сказал юноша, ухватив девушку за локоть, когда она уже хотела убежать.— Тс-с!.. Вы ничего не слышите? Это буйволы играют свои шутки, и неподалеку! Топот такой, точно мчится вскачь целый табун бешеных чертей!

Старик и девушка напряженно прислушивались, стараясь разгадать значение каждого подозрительного шороха, как старался бы всякий в их положении, особенно после стольких настойчивых и тревожных предостережений. Да, несомненно — какие-то необычные звуки, хотя пока еще слабо слышные. Молодые люди высказывали на-

перебой сбивчивые догадки об их природе, когда порыв ночного ветра так явственно донес до ушей стук бьющих о землю копыт, что уже не могло быть ошибки.

— Я прав,— сказал бортник.— Стадо буйволов убегает от пантеры. Или, возможно, идет драка между быками.

— Твой слух — обманщик,— возразил старик, который с той минуты, как его собственные уши стали различать далекий шум, стоял, точно статуя, изображающая глубокое внимание.— Прыжки для буйвола слишком длинные и слишком мерные — это не испуганное стадо. Ш-ш... Теперь поскакали оврагом, где высокая трава, она приглушила топот!.. Ага, опять по твердой земле... А теперь поднимаются вверх по склону... прямо на нас! Сейчас будут здесь, вы не успеете укрыться!

— Живо, Эллен! — крикнул юноша, схватив ее за руку.— Бегом до лагеря, успеем!

— Поздно! Не успеть! — остановил их траппер.— Их уже, проклятых, видно. Это шайка сиу — их сразу узнаешь по воровскому обличью и по тому, как они скачут безо всякого строя!

— Сиу ли, черти ли, но они узнают, что мы-то мужчины! — сказал бортник и принял такой грозный вид, точно вел за собой большой отряд отважных, как он сам, бойцов.— Ты при ружье, старик,— согласен пощелкать из него, чтоб защитить беспомощную девушку?

— Ничком! Ложитесь ничком в ту траву!.. Оба! — шептал траппер, указывая на более густую заросль бурьяна неподалеку от них.— Бежать не успеете, а для драки, парень, у тебя нет солдат. В траву ничком, если тебе дорога эта девушка или собственная жизнь!

Он требовал так настоятельно и сам так решительно двинулся к заросли, что те подчинились приказу, казалось внушенному необходимостью. Луна зашла за гряду курчавых легких облаков на краю небосклона; в неверном, тусклом свете едва можно было различить предметы, но их очертания и размеры рисовались смутно. Траппер успешно спрятал товарищей в траве (они беспрекословно подчинились, потому что в минуту опасности опыт и твердость всегда внушают доверие), и теперь бледные лучи луны позволили ему разглядеть беспорядочную орду всадников, бешено несшихся прямо на него.

В самом деле, стая существ, похожих не на людей, а на демонов, предавшихся на унылой равнине своему ночному

разгулу, стремительно надвигалась, держась такого направления, что неминуемо хоть один из них должен был обнаружить место, где укрылись траппер и его товарищи. Временами ночной ветер доносил стук копыт, то отчетливо слышный прямо перед ними, то почти бесшумный, когда всадники быстро неслись по всходам поздней травы, что придавало зрелищу еще более колдовской вид. Траппер, уже давно подозвавший собаку, велел ей лечь подле него, а сам, привстав на коленях, внимательно следил из укрытия за движением индейцев и попутно то успокаивал напуганную девушку, то осаживал нетерпеливого юношу.

— Их тут, как ни считай, тридцать душ наберется,— сказал он, как бы между прочим.— Ага, забирают к реке... Тихо, песик, тихо... Нет, опять повернули на нас... Подлые воры, скачут, сами не зная куда! Было б нас хоть шестеро, малец, мы бы могли устроить на них засаду в этом самом месте!.. Так не годится, малец, не годится, пригнись пониже, не то видно будет твою голову... Впрочем, я не очень уверен, что перестрелять их было бы законно — ведь они нам не сделали зла... Опять подались к реке... Нет, свернули на бугор. Теперь надо сидеть тихо-тихо, как будто душа рассталась с телом.

С этими словами старик лег в траву и замер, точно и впрямь не дыша; еще мгновение, и несколько диких всадников вихрем промчались мимо так бесшумно и стремительно, что воображение могло бы их принять за вереницу призраков. Едва их летучие темные тени исчезли из виду, траппер попробовал поднять голову настолько, чтобы глаза были на одном уровне с метелками травы, и в то же время сделал знак своим товарищам молчать и не шевелиться.

— Скачут вниз по откосу, на лагерь,— продолжал он тем же чуть слышным шепотом.— Нет, задержались в ложбине, сбились в кучу, как олени,— держат совет... Господи, опять поворачивают, мы еще не избавились от этих негодяев!

Он опять спрятался в спасительной траве, а минутой позже черный беспорядочный отряд уже несся по гребню пологого холма, где лежали траппер и его новые знакомые. Вскоре стало ясно, что всадники поднялись сюда в намерении обозреть с высоты темный горизонт.

Одни спешились, другие сновали взад и вперед, занятые, как видно, осмотром ближних лощин. К счастью для

спрятавшихся, бурьян не только скрывал их от глаз индейцев, но вдобавок явился препятствием для коней, таких же необученных и диких, как сами наездники: мечась по сторонам, кони чуть не потоптали их.

Наконец один из индейцев — угрюмый, мощного сложения человек и, судя по властной осанке, предводитель — собрал вокруг себя вождей, и они, не сходя с седла, начали совещаться. Группа эта остановилась у самого края той заросли, где укрылись траппер и его сотоварищи. Бортник поднял глаза. Вид у индейцев был свирепый, и отряд их казался все более грозным по мере того, как подъезжали новые и новые всадники, один другого страшнее. Следуя естественному побуждению, юноша выхватил из-под себя ружье и стал его заряжать. Девушка подле него зарылась в траву лицом и, трепеща от страха, предоставила другу делать то, что ему подсказала его горячность; но умудренный годами и более осторожный советник строго шепнул ему на ухо:

— Щелканье курка так же знакомо негодяям, как звук трубы солдату! Клади ружье, клади, говорю! Если луч лупы тронет ствол, черти сразу его заметят, глаз у них зорче, чем у самой черной змеи! Только шевельнись, и в тебя полетит стрела.

Бортник как будто послушался — он не двигался и молчал. Но свет, хоть и тусклый, позволил трапперу убедиться — по сдвинутым бровям и яростному взору юноши,— что, если их убежище откроют, победа для дикарей не будет бескровной. Видя, что его совет отвергнут, траппер принял свои меры и ждал дальнейших событий с характерной для него спокойной покорностью судьбе.

Между тем сиу (старик правильно назвал своих опасных соседей) кончили совещаться и опять поскакали врассыпную по холму, видимо что-то разыскивая.

— Черти слышали мою собаку! — шепнул траппер.— А слух у них верный, и они точно рассчитали расстояние. Ниже, малец, прижмись головой к земле, как собака, когда спит.

— Лучше встанем на ноги и доверимся своему мужеству,— возразил его нетерпеливый товарищ.

Он не успел ничего добавить: крепкая рука легла ему на плечо, и, подняв глаза, он увидел прямо над собой темное и дикое лицо индейца. Захваченный врасплох, юноша, несмотря на невыгодное свое положение, все-таки не был

склонен сдаться так легко. Он вскочил и так сдавил противнику горло, что схватка сразу пришла бы к концу, если бы вокруг его тела не обвились руки траппера и с силой, почти не уступавшей его собственной, не принудили его ослабить хватку. Не успел он укорить товарища в мнимой измене, как человек двенадцать сиу окружили их, и они трое оказались вынужденными признать себя пленниками.

Глава IV

Страшней сторицей
Мне видеть битву, чем тебе — сразиться.

Шекспир, «Венецианский купец»

Злополучный бортник и его товарищи оказались во власти людей, которых по справедливости можно назвать измаильтянами [1] американских пустынь. С незапамятных времен племя сиу враждовало со своими соседями, и даже в наши дни, когда вокруг уже начинает ощущаться влияние цивилизованного правления, они слывут опасным и склонным к предательству племенем. А в ту пору, когда развертывались события нашей повести, дело обстояло куда хуже; мало кто из белых отваживался забираться в далекие земли, не защищенные законом и населенные, как говорили, крайне вероломным народом.

Трапперу, хоть он и выказал готовность мирно подчиниться, было хорошо известно, в чьи руки он попал. Но даже самому проницательному судье было бы трудно решить, какие тайные побуждения владели стариком — страх ли, хитрость или покорность судьбе. Почему он безропотно позволил ограбить себя? Он не только не противился грубому насильственному порядку, в каком сиу проводили обычную процедуру разоружения, но даже всячески потакал их жадности, сам отдавая вождям те вещи, которыми, по его соображению, им особенно хотелось завладеть. Напротив, Поль Ховер и в плен сдался только после борьбы и сейчас с явным возмущением, лишь уступая силе, сносил чрезмерную вольность победителей в обращении с ним и его имуществом. Не раз он недву-

[1] Здесь «измаильтяне» означает: воинственные кочевники.

смысленно выражал свое неудовольствие и порывался дать прямой отпор. От такой отчаянной попытки его удерживали уговоры и мольбы перепуганной девушки, которая беспомощно льнула к нему, как бы показывая юноше, что вся ее надежда только в нем; но одного желания помочь недостаточно, он должен быть благоразумен!

Индейцы, отобрав у пленников оружие с амуницией и стянув с них кое-что из одежды — не очень нужное и не самое дорогое,— решили как будто дать им передышку. Их ждало неотложное дело, заниматься пленниками было некогда. Вожди опять принялись совещаться, и было ясно по горячему, резкому тону некоторых из них, что воины не думают ограничиться достигнутой скромной победой.

— Хорошо, если эти мерзавцы,— шепнул траппер, изрядно знавший их язык и уяснивший себе, о чем шла у них речь,— не наведаются в гости к путешественникам, которые заночевали в ивняке, и не нарушат их сон. Они хитры и поймут, что, если бледнолицая женщина повстречалась им в такой дали от поселений, значит, есть поблизости разные приспособления, которые белый человек придумал для ее удобства.

— Ну, я прощу негодяям,— сказал со злорадной усмешкой бортник,— если они уволокут бродягу Ишмаэла со всей его семьей в Скалистые горы.

— Поль, Поль! — с укором воскликнула Эллен Уэйд.— Вы опять забыли? А к каким привело бы это последствиям?

— Нет, Эллен, только мысль об этих самых, как ты говоришь, «последствиях» помешала мне прикончить на месте того краснокожего дьявола — ударить бы покрепче, и дух вон! Эх, старикан, если мы повели себя, как трусы, то это твой грех! Но уж такое у тебя занятие, я вижу: заманивать в ловушку не только зверя, но и человека.

— Умоляю, успокойтесь, Поль, наберитесь терпения.

— Хорошо, раз ты этого желаешь, Эллен,— ответил юноша, заставляя себя проглотить обиду,— я попытаюсь; хотя, как ты должна бы знать, у кентуккийцев есть святой закон: позлиться, когда вышла неудача.

— Боюсь, твои друзья в соседнем логу не ускользнут от глаз этих чертей! — продолжал траппер так хладнокровно, точно не слышал ни полслова из их разговора.— Они учуяли поживу; а как не отогнать от дичи гончую, так подлого сиу не собьешь со следа.

— Неужели ничего нельзя сделать? — спросила Эллен с мольбой в голосе, показавшей, как искренна ее печаль.

— Дело нетрудное: гаркнуть во всю силу, и старик Ишмаэл подумает, что в его загон забрался волк,— ответил Поль.— Если я подам голос, меня в открытом поле будет слышно на добрую милю, а от нас до его лагеря рукой подать.

— И заработаешь ты за труды удар по макушке,— возразил траппер.— Нет, нет, с хитрецами надо по-хитрому, а не то эти собаки убьют всю семью.

— Убьют? Это уж не годится! Правда, Ишмаэл так любит путешествовать, что не беда, если он прогуляется до второго моря. Но на тот свет? Для такого дальнего пути старик, боюсь, плохо подготовлен. Я сам поиграю ружьем, прежде чем дам убить его до смерти.

— Их там немало, и оружие у них хорошее: как ты думаешь, станут они драться?

— Я крепко не люблю Ишмаэла Буша и семерых его лоботрясов, но знай, старик: Поль Ховер не из тех, кто хулит ружье, если оно из Теннесси [1]. Отважные люди найдутся и там, как есть они в каждой честной семье из Кентукки. Буши — крепкое племя, длинноногое и двужильное. И скажу тебе: чтобы с ними потягаться в драке, надо иметь увесистые кулаки.

— Ш-ш!.. Дикари кончили разговор, и сейчас мы увидим, что они там надумали, окаянные! Подождем терпеливо — возможно, дело обернется не так уж плохо для ваших друзей.

— Друзей? Не зови их моими друзьями, траппер, если хочешь сохранить мое доброе расположение! Я им отдал должное, но не из любви, а лишь справедливости ради.

— А мне-то казалось, что эта девушка из их семьи,— ответил с некоторым раздражением старик.— Не принимай за обиду, что не в обиду сказано.

Эллен опять зажала Полю рот ладонью и сама за него ответила, как всегда,— в примирительном тоне:

— Надо, чтобы все мы были как одна семья и, чем только можно, помогали бы друг другу. Мы полностью полагаемся на вашу опытность, добрый, честный человек: она вам подскажет средство, как оповестить наших друзей об опасности

[1] Штат Кентукки постоянно враждовал со штатом Теннесси. Отсюда поговорка: «Хулить теннессийское оружие».

— Было бы очень кстати,— усмехнулся бортник,— если б эти молодые люди всерьез схватились с краснокожими и...

Общее движение в отряде помешало ему договорить. Индейцы все спешились и отдали коней под присмотр трем-четырем из своих товарищей, на которых возложили, кстати, и охрану пленников. Потом построились вокруг воина, как видно облеченного верховной властью, и, когда тот подал знак, медленно и осторожно двинулись от центра круга, каждый прямо вперед — то есть по расходящимся лучам. Вскоре почти все их темные фигуры слились с бурым покровом прерии, хотя пленники, зорко следя за малейшим движением врага, порой еще различали обрисовавшийся на фоне неба силуэт человека, когда кто-нибудь из индейцев, не столь выдержанный, как другие, вставал во весь рост, чтобы видеть дальше. Но еще немного, и пропали даже и эти смутные признаки, что враг еще движется, непрестанно расширяя круг, и неуверенность рождала все более мрачные догадки. Так протекло немало тревожных и тяжких минут, и пленники, вслушиваясь, ждали уже, что вот-вот ночную тишину нарушит боевой клич нападающих, а за ним — крики их жертв. Но, казалось, разведка (это была несомненно разведка) не принесла плодов: прошло с полчаса, и воины-тетоны[1] начали поодиночке возвращаться, угрюмые и явно разочарованные.

— Подходит наш черед,— начал траппер, примечавший каждую мелочь в поведении индейцев, малейшее проявление враждебности.— Сейчас они примутся нас допрашивать; и если я хоть что-то смыслю в таких делах, то нам лучше всего сделать так: чтобы наши показания не пошли вразброд, доверим вести речь кому-нибудь одному. Далее, если стоит посчитаться с мнением беспомощного, дряхлого охотника восьмидесяти с лишним лет, то я сказал бы: выбрать мы должны того из нас, кто лучше знаком с природой индейца; и надо еще, чтобы он хоть как-то говорил на их языке. Ты знаешь язык сиу, друг?

— Да уж управляйся сам с твоим ульем! — пробурчал бортник.— Не знаю, годен ли ты на другое, старик, а жужжать умеешь.

---

[1] Тетоны — одно из племен дакотов; наименования «сиу», «дакоты», «тетоны» Купер употребляет как синонимы.

— Так уж положено молодым: судить опрометчиво,— невозмутимо ответил траппер.— Были дни, малец, когда и у меня кровь не текла спокойно в жилах, была быстра и горяча. Но что пользы в мои годы вспоминать о глупой отваге, о безрассудных делах? При седых волосах человеку приличен рассудительный ум, а не хвастливый язык.

— Вы правы, правы,— прошептала Эллен.— Идет индеец, хочет, верно, учинить нам допрос.

Девушка не обманулась, страх обострил и зрение ее и слух. Она не успела договорить, как высокий полуголый дикарь подошел к месту, где они стояли, с минуту безмолвно вглядывался в них, насколько позволял тусклый свет, затем произнес несколько хриплых гортанных звуков — обычные слова приветствия на его языке. Траппер ответил, как умел, и, видно, справился неплохо, потому что тот его понял. Постараемся, не впадая в педантизм, передать суть и по мере возможности форму последовавшего диалога.

— Разве бледнолицые съели всех своих бизонов и сняли шкуры со всех своих бобров? — начал индеец, немного помолчав после обмена приветствиями, как требовало приличие.— Зачем приходят они считать, сколько осталось дичи на землях пауни?

— Одни из нас приходят сюда покупать, другие — продавать,— ответил траппер,— но и те и другие не станут больше приходить, если услышат, что небезопасно приближаться к жилищам сиу.

— Сиу — воры, и они живут в снегах; зачем нам говорить о народе, который далеко, когда мы в стране пауни?

— Если владельцы этой земли — пауни, белые и краснокожие пользуются здесь равными правами.

— Разве бледнолицые недостаточно наворовали у индейцев, что вы приходите в такую даль со своею ложью? Я уже сказал, что это земля, где ведет охоту мое племя.

— У меня не меньше права жить здесь, чем у тебя,— возразил траппер с невозмутимым спокойствием.— Не буду говорить всего, что мог бы,— лучше помолчать. Пауни и белые — братья, а сиу не смеет показать свое лицо в деревне Волков.

— Дакоты — мужчины! — яростно вскричал индеец, позабыв, что выдает себя за Волка-пауни, и назвавшись самым гордым из наименований своего племени.— Дакоты

не знают страха. Говори, для чего ты оставил селения бледнолицых и зашел так далеко от них?

— Я на многих советах видел, как восходит и заходит солнце, и слышал слова мудрых людей. Пусть придут ваши вожди, и мой рот не будет сомкнут.

— Я великий вождь! — сказал индеец, напустив на себя вид оскорбленного достоинства.— Или ты принял меня за ассинибойна?[1] Уюча — воин, которого знают, которому верят!

— Не так я глуп, чтобы не узнать чумазого тетона! — сказал траппер с хладнокровием, делавшим честь его нервам.— Брось! Темно, и ты не видишь, что у меня седая голова!

Индеец, видно, понял, что пустил в ход слишком неуклюжую выдумку, которая не могла обмануть бывалого человека, и призадумался, на какую новую уловку ему пойти, чтобы достичь своей подлинной цели, когда легкое движение в отряде спутало все его намерения. Он боязливо оглянулся, точно опасаясь помехи, и, отбрасывая притворство, сказал более естественным голосом:

— Дай Уюче молока Длинных Ножей[2], и он будет петь твое имя в уши большим людям своего племени.

— Ступай! Ваши молодые воины говорят о Матори. Мои слова для ушей вождя.

Дикарь метнул взгляд на старика, даже при тусклом свете выдавший непримиримую ненависть. Потом потихоньку отступил в толпу своих товарищей, торопясь скрыть свой безуспешный обман (и свою бесчестную попытку оттягать незаконную долю добычи) от того, чье имя, названное траппером, проносилось по толпе — верный знак, что сейчас он будет здесь. Едва исчез Уюча, перед пленниками, выступив из темного круга, встал могучего сложения воин, судя по величавой осанке — прославленный вождь. За ним приблизился и весь отряд, выстроившись вокруг него в глубоком и почтительном молчании.

— Земля широка,— начал вождь, выдержав паузу с тем достоинством, которое тщетно силился изобразить его жалкий подражатель.— Почему дети моего великого белого отца никак не найдут себе места на ней?

---

[1] То есть за кочевника-сиу.

[2] Длинными Ножами (или Большими Ножами) индейцы называли американцев по их шпагам. Молоко Длинных ножей — водка.

— Иные из них слышали, что их друзья на равнинах нуждаются во многом, и они пришли посмотреть, правду ли им говорили. Другие же нуждаются в предметах, которые краснокожие хотят продать, и они приходят богато наделить своих друзей порохом и одеялами.

— Разве торговцы переходят Большую реку с пустыми руками?

— У нас пустые руки, потому что твои молодые воины подумали, что мы устали, и освободили нас от ноши. Они ошиблись: я стар, но еще силен.

— Не может быть! Вы уронили вашу ношу среди равнин. Покажи место моим воинам, и они подберут ее, пока ее не нашли пауни.

— Тропа к тому месту не прямая, а сейчас ночь. Время спать,— с полным спокойствием сказал траппер.— Вели твоим воинам пройти вон к тому холму; там есть вода и есть лес; пусть они разведут огни и спят в тепле. Когда встанет солнце, я буду опять говорить с тобой.

Тихий, но гневный ропот прошел среди слушающих, и старик понял, что допустил неосторожность, предложив нечто такое, что, по его замыслу, должно было указать заночевавшим в ивняке на присутствие опасного соседа. Однако Матори ничем не выдал возмущения, так откровенно высказанного другими, и продолжал разговор все в том же невозмутимом тоне.

— Я знаю, что мой друг богат,— сказал он,— что у него невдалеке отсюда много воинов и что лошадей у него больше, чем собак у краснокожих.

— Ты видишь моих воинов и моих лошадей.

— Как! Разве у женщины ноги дакотов, что она может пройти равниной тридцать ночей и не упасть? Я знаю, индейцы лесного края делают большие переходы на своих ногах. Но мы, живущие там, где из одного жилища глазу не видно другого, мы любим своих лошадей.

Траппер медлил с ответом. Он понимал, что обман, если раскроется, может оказаться пагубным; да и природное его правдолюбие, не всегда удобное для человека его рода занятий и образа жизни, восставало против лжи. Но, вспомнив, что сейчас от него зависит не только его собственная, но и чужая судьба, он решил предоставить делу идти своим ходом и позволить дакотскому вождю самому себя обманывать, коль так ему угодно.

— Женщины сиу и женщины белых не одного

вигвама,— сказал он уклончиво.— Захочет ли воин-тетон поставить женщину выше себя? Я знаю, что нет; однако уши мои слышали, что есть страны, где в совете решают скво.

Новое легкое движение в кругу показало траппперу, что его слова приняты, хоть и без недоверия, но с большим удивлением. На одного лишь вождя они не произвели впечатления — или он не пожелал уронить свое величавое достоинство.

— Мои белые отцы, что живут на Больших озерах, говорили,— сказал он,— будто их братья в стране, где восходит солнце, не мужчины; и теперь я знаю, что они мне не солгали! Оставь, что же это за народ, вождем у которого скво? Или ты не муж этой женщины, а пес?

— Не пес и не муж. Я до этого дня никогда не видел ее лица. Она пришла в прерии, потому что ей сказали, что здесь живет великий и благородный народ дакотов, и она пожелала увидеть их мужчин, потому что женщины бледнолицых, так же как женщины сиу, любят открывать свои глаза на все новое. Но она бедна, как беден я сам, и будет терпеть недостаток в зерне и мясе, если вы отберете то малое, что еще имеет она и ее друг.

— Мои уши услышали много подлой лжи! — крикнул воин-тетон таким грозным голосом, что все, даже индейцы, содрогнулись.— Или я женщина? Разве нет у дакоты глаз? Скажи мне, белый охотник, кто те люди одного с тобою цвета кожи, что спят среди поваленных деревьев?

С этими словами вождь в негодовании повел рукой в сторону лагеря Ишмаэла, и траппер уже не мог сомневаться: вождь, более настойчивый и проницательный, чем его воины, провел разведку успешно и открыл то, что от тех ускользнуло. Но, как ни страшно было думать, что его открытие может принести гибель спящим, как ни обидно сознавать, что в разговоре дакота его перехитрил, внешне старик сохранил неколебимое спокойствие.

— Может быть, и правда, что в прерии ночуют белые. Раз мой брат так сказал, значит, это правда; но какие люди доверились великодушию тетонов, я не знаю. Если там спят иноземцы, пошли своих молодых воинов разбудить их, и пусть пришельцы скажут, зачем они здесь; у каждого бледнолицего есть язык.

Вождь с жестокой улыбкой покачал головой и, отвернув лицо в знак того, что кончает разговор, ответил:

— Дакоты мудрый народ, и Матори их вождь! Он не станет громко звать чужеземцев, чтобы они встали и заговорили с ним карабинами. Он будет тихо шептать им на ухо. А потом пусть люди одного с ними цвета кожи попробуют их разбудить.

Когда он договорил и повернулся на пятках, тихий одобрительный смех пробежал по темному кругу и долго еще звучал вслед вождю, когда он отошел от пленников и остановился поодаль. Здесь те, кому позволялось обмениваться мнениями со столь великим воином, снова собрались вокруг него на совещание. Уюча, пользуясь случаем, опять принялся выпрашивать водку, но траппер, убедившись, что тот лишь прикидывается одним из вождей, досадливо от него отмахнулся. Однако бесчестный дикарь не прекращал своих приставаний, и конец им положил только приказ всему отряду сесть на коней и перейти на новое место. Движение совершалось в мертвом молчании и таком порядке, который сделал бы честь и солдатам регулярной армии. Вскоре, однако, опять приказано было остановиться; и, когда пленники перевели дух и огляделись, они увидели невдалеке темное пятно той ивовой рощи, близ которой спал лагерь Ишмаэла.

Здесь вожди еще раз посовещались — коротко, но деловито.

Коней, видимо обученных для таких бесшумных налетов, опять оставили под присмотром стражи и ей же поручили караулить пленников. Все возраставшая тревога траппера отнюдь не утихла, когда он увидел, что рядом с ним стоит Уюча и что он же, как показывал его победоносно-надменный вид, возглавляет охрану. Однако тетон, несомненно следуя тайному приказу, пока ограничился тем, что грозно замахнулся томагавком на Эллен. Показав этим выразительным жестом, какая судьба мгновенно постигнет девушку, если кто-нибудь из них троих попробует поднять тревогу, он застыл в суровом молчании. Неожиданная сдержанность Уючи дала возможность траппера и молодой чете со всем вниманием наблюдать, насколько позволяла темнота, за необычайными маневрами индейцев.

Всем распоряжался Матори. Сообразуясь с личными качествами своих людей, он каждому точно указал его место и задачу, и ему повиновались с почтительной готовностью, как всегда воин-индеец принимает в час испытания приказы вождя. Одних он послал вправо, других влево.

Каждый уходил особенной поступью индейца, бесшумной и быстрой, пока все не заняли назначенные им посты, кроме двух избранных воинов, которых предводитель оставил при себе. Когда остальные скрылись из виду, Матори повернулся к этим избранным соратникам и подал им знак, что настал миг приступить к выполнению задуманного.

Каждый из них отложил легкое охотничье ружье (оно называлось у них карабином и считалось почетным отличием) и, сняв с себя из одежды все лишнее или тяжелое, стоял, похожий на темную статую, грозный, в свободной, естественной позе и почти нагой. Матори проверил, на месте ли томагавк, цел ли нож в кожаных ножнах, хорошо ли затянут пояс из вампумов, крепки ли завязки на узорных с бахромою гетрах и не представят ли они помехи при движении. И вот, готовый к своему отчаянному предприятию, тетон дал сигнал выступать.

Три воина продвигались к лагерю переселенцев, пока их темные фигуры в этом тусклом свете не стали едва различимы для глаз. Тут они остановились и поглядели вокруг, как бы затем, чтобы в последний раз взвесить все последствия, прежде чем кинуться очертя голову вперед. Потом, пригнувшись, они исчезли в бурьяне.

Нетрудно представить себе, с каким волнением, тревогой и отчаянием каждый из пленников следил за этими зловещими маневрами. Каковы бы ни были причины, не позволявшие Эллен Уэйд порвать связь с семьей, в кругу которой читатель впервые увидел ее, чувства, свойственные ее полу, или, может быть, не заглохшие семена доброты одержали верх над всем другим. Несколько раз она едва не уступила искушению пренебречь угрозой мгновенной смерти и поднять в предостережение свой слабый, беспомощный голос. Так силен и так естествен был этот порыв, что она, вероятно, ему поддалась бы, если бы не увещания Поля Ховера, которые он все время нашептывал ей. Им самим владели странно противоречивые чувства. Первая и главная забота бортника была, конечно, о девушке, отдавшейся под его защиту; но тревога за нее в его сердце сочеталась с острым, диким и, по сути, радостным возбуждением. Хотя он отнюдь не питал к переселенцам дружбы — еще меньше, чем Эллен,— он все-таки жаждал услышать выстрелы из их карабинов и, представься такая возможность, сам первый бы кинулся им на выручку. И то сказать, в иные минуты он ощущал почти неодолимое

желание броситься вперед и разбудить сонливцев, но ему довольно было взглянуть на Эллен, чтобы тотчас образумиться и вспомнить, что этим он погубил бы ее. Один траппер держался спокойным наблюдателем, как будто лично ему ничто не грозило. Он зорко примечал малейшую перемену с невозмутимым видом человека, который издавна привык к опасностям; но отражавшаяся на его лице холодная решимость выдавала его тайное намерение использовать любую оплошность своих сторожей.

Между тем тетонские воины не медлили. Укрываясь в высокой траве по лощинам, они ползли бесшумно, точно змеи, подкрадывающиеся к добыче, пока не добрались до места, где дальше нужно было двигаться с сугубой осторожностью. Один только Матори время от времени поднимал над травой свое угрюмое лицо, чтобы прорезать взглядом темноту, укрывавшую лесок. Несколько таких мгновенных осмотров — в добавление к тому, что дала предварительная разведка,— и расположение лагеря его намеченных жертв обрисовалось для него со всею ясностью, хотя он все еще не знал ничего ни о численности их, ни о средствах защиты.

Однако, как ни хотел он выяснить и это, его старания оставались тщетными: в лагере стояла поистине мертвая тишина. Слишком недоверчивый и осторожный, чтобы в таких неясных обстоятельствах положиться на людей, менее стойких и находчивых, чем он сам, дакота велел своим двум товарищам оставаться на месте и дальше пополз один.

Теперь Матори подвигался медленней. Для человека менее привычного такой способ продвижения был бы мучительно труден. Но и змея не подобралась бы к жертве верней и бесшумней. Пядь за пядью он, приминая траву, продвигал свое тело и после каждого движения замирал, прислушиваясь к шорохам: не укажут ли они, что бледнолицые знают о его приближении? Наконец ему удалось выбраться из полосы бледного лунного света в тень леска, где было легче самому укрыться от чужого глаза и где отчетливее различал предметы его собственный острый глаз.

Здесь тетон, прежде чем двинуться дальше, долго стоял и всматривался во мглу. Лагерь лежал перед ним как на ладони — темный, но четко вычерченный, с холщовым шатром, фургонами и двумя шалашами. По такому ключу опытный воин мог довольно точно рассчитать, с какими

силами ему придется встретиться. Но его все еще смущала неестественная тишина: казалось, люди задерживают даже сонное свое дыхание, чтобы придать правдоподобие своей показной беспечности. Вождь пригнул голову к земле и вслушался. Он уже хотел, разочарованный, опять ее поднять, когда ухо его уловило глубокое и прерывистое дыхание задремавшего человека. Индеец был сам слишком изощрен в искусстве обмана, чтобы сделаться жертвой обычной хитрости. Но по особенной его вибрации он признал звук естественным и отбросил свои опасения.

Человек менее крепкого закала, чем суровый и воинственный Матори, верно, ощутил бы некоторый страх перед опасностью, которой сам добровольно подвергался. Он ли не знал, как смелы и сильны белые переселенцы, нередко проникавшие в дикий край, где жил его народ! И все же, когда он подбирался к цели, в его душе опасливое уважение, какое всегда внушает храбрый враг, заглушила мстительная злоба краснокожего, распаленная вторжением чужеземцев.

Свернув с прежнего пути, тетон пополз к краю леска. Благополучно достигнув намеченной цели, он приподнялся, чтобы лучше осмотреть расположение лагеря. Одного мгновения было ему достаточно, чтобы точно узнать, где лежит беспечный часовой. Читатель, конечно, уже угадал, что дакоте удалось подобраться так близко к одному из нерадивых сыновей Ишмаэла, поставленных в ночную стражу.

Убедившись, что остался незамеченным, дакота опять привстал и склонил свое темное лицо над лицом сонливца, грациозно изогнувшись, как змея, когда она раскачивается над жертвой, перед тем как ее поразить. Узнав что хотел — спит ли человек и каков он,— Матори начал уже отводить голову, когда легкое движение спящего показало, что он сейчас проснется. Дикарь выхватил висевший у пояса нож. Миг, и острие сверкнуло над грудью юноши. Потом, изменив свое намерение, дакота так же быстро, как быстро работала его мысль, опять нырнул за ствол поваленного дерева, к которому прислонился спящий, и лежал в его тени, такой же темный, недвижимый и с виду такой же бесчувственный, как этот ствол.

Нерадивый часовой разомкнул тяжелые веки и, глянув в мглистое небо, тяжелым усилием приподнял с бревна свой могучий торс. Потом посмотрел вокруг, как будто бы

и бдительно, обвел тусклым взглядом темневший рядом лагерь и уставился в смутную даль прерии. Там не было ничего привлекательного, все те же унылые очертания пологих холмов — бугор, лощина и опять бугор — вставали везде перед сонными его глазами. Он изменил положение, повернувшись и вовсе спиной к опасному соседу; потом весь обмяк и опять растянулся на земле. Долго стояло полное безмолвие — мучительно напряженное для тетона,— пока тяжелое дыхание часового не возвестило вновь, что он заснул. Но индеец, слишком сам приверженный притворству, не поверил первой же видимости сна. Однако усталость после необычно трудного дня крепко сморила часового, и Матори сомневался недолго. Все же движения индейца, пока он стал опять на колени, были так осторожны, так бесшумны, что даже внимательный наблюдатель не понял бы, шевелится он или нет. Наконец постепенный переход в нужную позу совершился, и снова дакота склонился над врагом, произведя не больше шума, чем листик тополя, зашелестевший рядом на ветру.

Матори глядел на спящего и чувствовал себя хозяином его судьбы. Исполинский рост и могучее тело юноши внушали ему то почтение, каким неизменно исполняется дикарь при виде физического превосходства. И в то же время дакота спокойно готовился угасить в этом теле жизнь, потому что только живое оно было грозным. Чтобы верней поразить в самое сердце, он раздвинул складки одежды — ненужную помеху, занес свой нож и уже был готов вложить в удар всю силу свою и сноровку, когда юноша небрежно откинул обнаженную белую руку, на которой круто налились при этом мощные мускулы.

Тетон застыл. Расчетливая осторожность подсказала, что сон великана сейчас верней устраняет опасность, чем могла бы это сделать его смерть. Глухая возня, судорога предсмертной борьбы... такое тело легко не расстанется с жизнью! Много повидавший воин мгновенно все сообразил и отчетливо представил себе, как бы это было. Он оглянулся на лагерь, всмотрелся в рощу и метнул горящий взор в безмолвную прерию. Потом еще раз склонился над своей пощаженной до времени жертвой и, увидев, что сон ее крепок, воздержался от убийства, чтобы не повредить своему хитрому замыслу.

Удалился Матори так же тихо, так же осторожно, как явился. Сперва он двинулся вдоль лагеря, крадучись

опушкой рощи, чтобы при первой тревоге нырнуть в ее тень. Завеса уединенного шатра, когда он полз мимо, привлекла его внимание. Осмотрев все снаружи и прислушавшись с томительной настороженностью, дикарь отважился приподнять завесу и просунуть под нее свое темное лицо. Так он пролежал не меньше минуты, потом попятился и замер, скрючившись, перед шатром. Несколько секунд он сидел в недобром бездействии, раздумывая над своим открытием. Затем опять лег ничком и еще раз просунул голову под холст.

Второй визит тетонского вождя в шатер был длительней первого и, если это возможно, еще более зловещ. Но ничто не длится вечно, и дикарь отвел наконец свой жгучий взор от тайны шатра.

Теперь Матори начал медленно подкрадываться к группе предметов, черневших в центре лагеря. Он уже отполз на много ярдов от шатра, когда снова, сделав остановку, оглянулся на оставленное им уединенное маленькое жилище и как будто заколебался, не вернуться ли туда. Но рогатки были рядом — только руку протянуть,— а такая ограда самым видом своим говорила, что за нею

спрятано что-то ценное. Соблазн был слишком силен. Матори двинулся дальше.

Так пробраться, извиваясь, сквозь ломкие тополевые ветви могла бы только змея, у которой тетон научился этому бесшумному скольжению. Успешно миновав препятствие и быстрым глазом осмотрев все внутри ограды, он предусмотрительно открыл лаз, которым мог бы, если будет надобность, быстро отступить. Потом, выпрямившись, он зашагал по лагерю, точно злобный демон, высматривая, с кого или с чего начать выполнение своего черного замысла. Он уже наведался в шалаш, где разместились женщина с младшими детьми, и прошел мимо нескольких великанов, растянувшихся кто здесь, кто там на куче ветвей — к счастью для тетона, в полном бесчувствии,— когда добрался наконец до места, где расположился Ишмаэл. Матори сразу понял, что перед ним самый главный человек в стане бледнолицых. Он долго стоял, наклонившись над спящим атлетом, раздумывая, осуществим ли его замысел и как извлечь из него наибольшую выгоду.

Он сунул в ножны нож, который выдернул сгоряча, и прошел было мимо, когда Ишмаэл повернулся на своем ложе и, приоткрыв глаза, хрипло окликнул: «Кто там?» Только индеец с его выдержкой и находчивостью мог найти выход из создавшегося положения. Подражая услышанной интонации и звукам, Матори буркнул что-то нечленораздельное, плюхнулся на землю и сделал вид, что засыпает. Хотя Ишмаэл и видел это сквозь сон, выдумка тетона так была дерзка и так мастерски исполнена, что не могла она кончиться неудачей. Отец закрыл глаза и крепко уснул, так и не сообразив, какой коварный гость проник в лагерь.

Теперь тетону пришлось, хочешь не хочешь, пролежать много долгих минут, пока он не уверился, что за ним не наблюдают. Но, если тело было неподвижно, мысль не оставалась праздной. Матори использовал задержку, чтобы до мелочей обдумать план, который должен был полностью отдать в его власть лагерь со всем, что в нем было: скотом, имуществом и их владельцами. Едва миновала опасность, неутомимый индеец двинулся дальше. Теперь он подбирался ползком — все так же тихо, так же осмотрительно — к маленькому загону, где находился скот.

Подле первого животного, на которое он наткнулся, произошла долгая небезопасная задержка. Пугливое со-

здание, может быть сознавая в силу тайного инстинкта, что среди бескрайных равнин самый верный защитник ему человек, с удивительной послушливостью дало себя осмотреть. Кочевник-тетон с ненасытным любопытством ощупывал пушистую шерсть, мягкую морду и тонкие ноги неведомой твари; но наконец отбросил мысль о такой добыче — в грабительских набегах проку от нее не будет, а брать на нищу тоже соблазн невелик. Но, очутившись среди упряжных лошадей, он восхитился и несколько раз с трудом сдержал возглас восторга, готовый сорваться с губ. Тут он забыл, с каким риском пробрался сюда; и осторожность хитрого, опытного воина едва не утонула в буйной радости дикаря.

Глава V

Но почему, отец? Что нам терять?
Хотел он погубить нас. Ведь закон
Нам не защита — так ужель мы станем
Сносить его угрозы малодушно
Иль ждать, чтобы кусок спесивый мяса
Судьею нашим стал и палачом?

Шекспир, «Цимбелин»

Пока тетон так тонко и умело выполнял свою задачу, ничто не нарушало безмолвия прерии. Сиу лежали каждый на своем посту и с неизменным терпением туземцев ждали сигнала, который должен был призвать их к действию. С вершины холма, где велено было держаться пленникам, перед взволнованными наблюдателями открывался угрюмый степной простор в тусклом свете месяца сквозь облака. Место лагеря обозначилось более густою чернотой, чем та, что заполняла узкие долины, а здесь и там более светлая полоса отмечала вершины волнистых подъемов. Кругом лежал глубокий, торжественный покой пустыни.

Но для тех, кто знал, что́ затевалось под покровом тишины и ночи, зрелище было захватывающим. Их тревога все росла, по мере того как проходила за минутой минута, а ни единого звука не доносилось из тишины и тьмы, обнявшей ивовую рощу. Поль дышал глубоко и шумно, Эллен, беспомощно припав к его плечу, ощущала, что он весь дрожит, и ее пронизывал безотчетный страх.

Мы уже видели, как жаден и бесчестен был Уюча. Поэтому читателя не удивит, что начальник стражи сам же первый забыл утвержденные им условия. Как раз в ту минуту, когда мы расстались с Матори, еле сдерживающим свой восторг перед лошадьми бледнолицых, человек, на которого он возложил охрану пленников, вздумал потешить свою злобу, мучая тех, кого должен был оберегать. Нагнувшись к трапперу, дикарь не прошептал, а скорее проворчал ему на ухо:

— Если тетоны потеряют своего великого вождя от руки одного из Длинных Ножей, умрут и старые и молодые.

— Жизнь есть дар Ваконды,— последовал равнодушный ответ.— Воин-тетон, как и его другие дети, должен склоняться перед его законом. Человек умирает, только если захочет Ваконда; и ни один дакота не властен изменить назначенный час.

— Гляди! — возразил дикарь и провел обнаженным ножом перед лицом пленника на волосок от его глаз.— Для пса Уюча сам Ваконда.

Старик остановил взгляд на злобном лице своего сторожа, и было мгновение, когда в их глубине загорелся огонь честной ненависти; но он тут же угас, уступив место выражению сочувствия, если не горести.

— Разве тому, кто создан по истинному подобию божьему, пристало поддаваться гневу из-за жалких измышлений разума? — сказал он по-английски куда громче, чем с ним говорил Уюча.

Усмотрев в этом неумышленном проступке нарушение условий, сторож схватил пленника за редкие седые волосы, ниспадавшие из-под шапки, и уже хотел в злобном торжестве полоснуть под их корнями острием ножа, когда резкий, протяжный вопль разорвал воздух и, подхваченный эхом, прокатился по простору прерии, как будто тысяча демонов разом отозвалась на призыв. Уюча с возгласом исступленного восторга разжал руку.

— А ну! — закричал Поль, не в силах сдерживать дольше свое нетерпение.— А ну, старый Ишмаэл, пора! Покажи, что в твоих жилах течет кровь кентуккийца! Ниже огонь, ребята,— целься по кочкам, краснокожие жмутся к земле!

Голос его, однако, утонул в вое, криках, воплях, рвавшихся уже со всех сторон из пятидесяти глоток. Сторожа

еще оставались на посту подле пленников, но и им не терпелось ринуться вперед, точно скаковым коням у старта. Они махали руками и прыгали на месте, похожие больше на расшалившихся детей, чем на взрослых мужчин, и не прекращали неистового крика.

Среди этого буйного беспорядка вдруг раздался гул, какой можно услышать, когда надвигается стадо бизонов, а затем пронеслись перепуганные, сбившиеся в кучу овцы, коровы и лошади Ишмаэла.

— Угнали у скваттера скот! — сказал зорко наблюдавший траппер.— Что наделали, мерзавцы! Он теперь без копыт, как бобер!

Старик еще не успел договорить, когда весь табун в ужасе взбежал вверх по склону и понесся по гребню холма, где стояли пленники, а следом бешено мчались темные демоноподобные фигуры.

Кони тетонов, приученные разделять горячность своих владельцев, рвались вперед, и караульщики с большим трудом сдерживали их нетерпение. В этот миг, когда все глаза были направлены на пролетающий вихрь людей и животных, траппер с неожиданной для его возраста силой выхватил нож из руки своего зазевавшегося сторожа и одним взмахом перерезал ремень, который связывал вместе всех животных. Обезумевшие лошади заржали в радости и страхе и, взрывая копытами землю, понеслись во все стороны по степному простору.

Быстрый и лютый, как тигр, Уюча обернулся к пленнику. Он схватился за пустые ножны, в бессильной спешке нащупывал и не мог нащупать рукоять томагавка, а глаза его в это время глядели вслед уносящимся лошадям — глаза жадного до коней западного индейца. Борьба между алчностью и жаждой мести была жестокой, но недолгой. Первая быстро одержала верх. Прошло не более секунды, и стража пустилась в погоню за умчавшимися лошадьми. Траппер в то напряженное мгновение, что последовало за его дерзкой выходкой, спокойно смотрел в лицо врагу; и сейчас, когда Уюча побежал вслед за остальными, старик рассмеялся своим глухим, почти беззвучным смехом и сказал:

— Краснокожий верен себе, что в прерии, что в лесу! В награду за такую вольность часовой-христианин самое малое хватил бы прикладом по башке, а тетон погнался за своими конями, точно думает, что в такой скачке две

ноги не уступят четырем! А ведь черти еще до света переловят лошадок всех до одной, потому что у тех инстинкт, а у этих разум. Жалкий разум, согласен, а все же и индеец человек... Эх, делавары — вот были индейцы! Гордость Америки! А где сейчас этот сильный народ? Почти весь рассеян, истреблен. Так-то! Придется путешественнику осесть на этом месте: хотя природа откажет ему здесь в удовольствии беззаконно оголять землю от деревьев, зато воды будет вволю. Но своих четвероногих ему уж не видать — или я плохо знаю хитрую повадку сиу.

— А не пойти ли нам к Ишмаэлу? — сказал бортник.— Он им не уступит без доброй драки: едва ли старик вдруг обратился в труса.

— Не надо, не надо! — закричала было Эллен.

Но траппер мягко зажал ей рот ладонью.

— Шш!..— остановил он ее.— Будем громко говорить — попадем в беду. А твой друг,— обратился он к Полю,— достаточно ли храбр?

— Не зовите скваттера моим другом! — перебил юноша.— Я не вожу дружбу с человеком, если он не может показать купчую на землю, которая его кормит.

— Ладно, ладно. Скажем — твой знакомый. Стойкий он человек? Пустит он в ход свинец да порох, чтоб отстоять свое добро?

— Свое добро? Го-го! Он отстоит и свое и не свое! Можешь ты сказать мне, старый траппер, чье ружье расправилось с помощником шерифа, который собирался согнать поселенцев, захвативших землю у Буффало-Лик в старом Кентукки? Я в тот день выследил отличный рой до дупла сухого бука, а под буком лежал помощник шерифа с дыркой в тех «милостью господней» [1], которые он держал при себе в кармане куртки, точно думал, что лист бумаги послужит ему щитом против скваттерской пули! Ничего, Эллен, тебе не о чем беспокоиться: дальше подозрений дело не пошло — в округе, кроме Ишмаэла, еще с полсотни хозяев поселились на тех же птичьих правах, подозревай любого!

Девушка вздрогнула, и тяжкий вздох, как ни силилась она подавить его, вырвался словно из глубины ее сердца.

Старик узнал довольно: после рассказа Поля, корот-

---

[1] То есть в исполнительных листах (с этих слов обычно начинались постановления суда и прочие официальные документы).

кого, но выразительного, не оставалось сомнений, захочет ли Ишмаэл мстить за свою обиду. То, что он услышал, вызвало у него новый ход мыслей, и он продолжал:

— Каждый знает сам, какие узы крепче всего связывают его с близкими,— сказал он.— Но очень печально, что цвет кожи, и собственность, и язык, и ученость так глубоко разделяют людей, когда люди все в конечном счете дети одного отца! Но как бы то ни было,— продолжал он с внезапным резким переходом, характерным для него и в чувствах и в действиях,— сейчас не до проповеди: видно, будет драка, и надо к ней приготовиться. Шш... Внизу какое-то движение,— верно, увидели нас.

— В лагере зашевелились! — воскликнула Эллен и так задрожала, точно приход друзей был ей сейчас не менее страшен, чем недавнее появление врагов.— Ступай, Поль, оставь меня. Чтоб они хоть тебя-то не увидели!

— Если, Эллен, я тебя оставлю раньше, чем ты будешь в безопасности, хотя бы и под кровом Ишмаэла, пусть я в жизни своей не услышу больше жужжания пчелы. Или хуже того — пусть ослепнут мои глаза и не смогут выследить пчелу до улья!

— Ты забываешь об этом добром старике. Он меня не покинет. Хотя, сказать по правде, Поль, в прошлый раз мы с тобой расстались в пустыне похуже этой.

— Ну нет! Индейцы, того и гляди, прибегут назад, и что тогда станется с вами? Уволокут, и, покуда разберешься, куда за ними гнаться, они уже будут с тобою на полпути к Скалистым горам. Как по-твоему, траппер, сколько времени пройдет, пока твои тетоны вернутся забрать у старого Ишмаэла остальной его скарб?

— Их теперь бояться нечего,— ответил старик с особенным своим глухим смешком.— Знаю я этих чертей, они будут носиться за своими лошадьми часов шесть, не меньше! Слышите? Топот под холмом в ивняке! Это они! У сиу каждый конь такой, что не отстанет в беге от долгоногого лося. Тсс... Ложись опять в траву — оба, живей! Я слышал щелк курка — это верно, как то, что я горстка праха!

Траппер не дал своим товарищам раздумывать: говоря это, он потянул их за собой в высокую — чуть ли не в рост человека — заросль. К счастью, старый охотник сохранил еще острое зрение и слух и не утратил своей былой быстроты и решимости. Едва они все трое пригнулись

к земле, как раздались три так хорошо им знакомых коротких раската — три выстрела из кентуккийских ружей,— и тотчас же в опасной близости от их голов прожужжал свинец.

— Неплохо, молодцы! Неплохо, старик! — прошептал Поль. Ни опасность, ни трудное положение не могли, казалось, окончательно подавить в нем бодрость духа.— Залп такой, что лучшего не пожелаешь услышать, когда ты сам под дулом. Что скажешь, траппер? Похоже, начинается трехсторонняя война! Послать и мне в них свинец?

— Нет! Отвечать, так не свинцом, а разумным словом,— поспешил остановить его старик,— или вы оба погибли.

— Не уверен я, что добьюсь большего, если дам говорить своему языку, а не ружью,— сказал Поль скорее зло, чем шутливо.

— Ради бога, тише. Еще услышат! — вмешалась Эллен.— Уходи, Поль, уходи! Теперь ты можешь спокойно оставить меня.— Раздалось несколько выстрелов, пули падали все ближе, и она умолкла — не так со страху, как ради осторожности.

— Пора положить этому конец,— сказал траппер и поднялся во весь рост с достоинством человека, думающего только о взятой на себя задаче.— Не знаю, дети, почему вам приходится опасаться тех, кого вы должны бы любить и чтить, но, так или иначе, нужно спасать вашу жизнь. Протянуть на несколько часов больше или меньше — какая разница для того, чей век насчитывает так много дней? Поэтому я выйду им навстречу. Путь перед вами свободен на все четыре стороны. Пользуйтесь, покуда можно и как вам будет угодно. Дай вам бог побольше счастья, вы заслуживаете его!

Траппер не стал ждать ответа и смело зашагал вниз по склону в сторону лагеря ровным шагом, не позволяя себе ни ускорить его, ни со страху замедлить. Свет месяца в эту минуту упал на его высокую, худую фигуру, так что переселенцы должны были его увидеть. Но, не смутившись этим неблагоприятным обстоятельством, старик твердо и безмолвно продолжал свой путь прямо на лесок, пока не услышал грозный оклик:

— Кто идет — друг или враг?

— Друг! — был ответ.— Человек, проживший слишком долго, чтобы омрачать остаток жизни ссорами.

— Но не так долго, чтобы забыть хитрые уловки своих юных лет,— сказал Ишмаэл и, чтобы встретиться с траппером лицом к лицу, вышел из-за низкого куста.— Старик, ты навел на нас свору краснокожих чертей и завтра пойдешь получать свою долю добычи.

— Что у тебя забрали? — спокойно спросил траппер.

— Восемь лучших кобыл, какие только ходили в упряжке, да еще жеребенка — ему цена тридцать мексиканских золотых с головой испанского короля. А жене не оставили ни одной хотя бы самой захудалой скотинки — ни коровы, ни овцы. Свиньи, даром что хромоногие, и те, поди, роют рылом прерию. Скажи мне, старик,— добавил он, стукнув прикладом по твердой земле с такой силой, что легко мог бы устрашить человека, менее стойкого, чем траппер,— сколько из моих животных придется на твою долю?

— До лошадей я не жаден и не ездил на них никогда, хоть и мало кто больше моего странствовал по широким просторам Америки, как ни стар и ни слаб я на вид. Но мало пользы от коня среди гор и лесов Йорка — то есть того Йорка, каким он был: ныне он, боюсь, совсем не тот. А что до шерсти и коровьего молока — это женское дело. Степные звери доставляют мне пищу и одежду. По мне, нет лучшей одежды, чем из оленьих шкур, ни мяса вкусней, чем оленина.

Простодушные оправдания траппера, их искренний тон оказали некоторое действие. Скваттер, преодолевая свою природную вялость, все сильней распалялся. Но тут он заколебался и бормотал себе под нос обвинения, которые минутой раньше он собирался выкрикнуть во весь голос, перед тем как приступить к задуманной расправе.

— Хорошо говоришь,— пробурчал он наконец,— но, на мой вкус, что-то слишком по-адвокатски для честного охотника.

— Я всего лишь траппер,— смиренно сказал старик.

— Что охотник, что траппер — разница невелика! Я пришел, старик, в эти края, потому что меня утеснял закон и мне не по душе соседи, которые не умеют уладить спор, не потревожив судью и с ним еще двенадцать человек [1]. Но не затем я пришел, чтобы тут у меня отбирали мое добро, а я бы смотрел и говорил грабителю спасибо!

---

[1] То есть присяжных заседателей.

— Кто решился забраться в глубь прерий, должен приноравливаться к обычаям ее владельцев!

— «Владельцев»! — усмехнулся скваттер.— Я такой же полноправный владелец земли, по которой хожу, как любой губернатор Штатов. Можешь ты указать мне, где тот закон, который утверждал бы, что один человек вправе забрать в свое пользование полгорода, город, целую область, а другой должен выпрашивать пядь земли себе на могилу? Это противно природе, и я такой закон не признаю — ваш узаконенный закон!

— Не могу сказать, что ты неправ,— ответил траппер, чье мнение по этому важному вопросу (хоть исходил он совсем из других предпосылок) было до странности сходно с мнением Ишмаэла.— Я всегда и всюду, если думал, что голос мой будет услышан, говорил то же самое. Но твой скот угнали те, кто считают себя хозяевами прерии и всего, что в ней есть.

— Пусть-ка они попробуют сказать это мне! — возразил скваттер грозно, хотя его низкий голос был так же вял, как вся его манера.— Я считаю себя честным купцом: что получил, за то плачу. Ты видел тех индейцев?

— Видел. Они держали меня в плену, когда пробирались в твой лагерь.

— Белый человек, да еще христианин, должен бы вовремя меня предупредить,— укорил Ишмаэл и опять искоса глянул на траппера, как будто еще не оставив своего злобного умысла.— Я не больно склонен в каждом встречном привечать сородича, а все же, что ни говори, цвет кожи кое-что значит, когда двое белых встречаются в таком месте. Но что сделано, то сделано — словами не поправишь. Выходите из засады, ребята, здесь только старик. Он ел мой хлеб и должен быть нашим другом, хотя кое-что наводит на мысль, что он спелся с нашими врагами.

Траппер не стал отвечать на обидное подозрение, которое скваттер не постеснялся высказать вопреки всем его разъяснениям и отрицаниям. Сыновья неучтивого скваттера сразу отозвались на призыв отца. Четверо или пятеро из них высунулись каждый из-за своего куста, где они укрылись, приняв фигуры, замеченные ими на склоне холма, за часть отряда сиу. Они подходили один за другим с ружьем под мышкой и бросали на траппера недоуменные взгляды, хотя ни один не полюбопытствовал, откуда он

взялся и зачем пришел. Впрочем, такая сдержанность только частично объяснялась обычной их апатией: в жизни им не раз приходилось присутствовать при самых неожиданных сценах, и давний опыт научил их благоразумной осторожности. Траппер выдерживал их угрюмые взгляды с твердостью столь же бывалого человека и с тем спокойствием, какое дает сознание своей невиновности. Удовлетворенный осмотром, старший из подошедших — тот самый оплошавший часовой, чьей нерадивостью так успешно воспользовался коварный Матори,— повернулся к отцу и грубо сказал:

— Если этот человек — все, что уцелело от отряда, который я приметил на холме, то мы не зря израсходовали свинец.

— А ведь верно, Эйза,— сказал отец и быстро повернулся к траппер: замечание сына напомнило ему то, о чем он подумал было и чуть не забыл.— Как же так? Вас только что было трое — или свет луны ничего не стоит.

— Видел бы ты, как тетоны, точно стая чертей, метались по прерии в погоне за твоими кобылами, друг! Тут могло бы почудиться, что их вся тысяча.

— Да, городскому парнишке или пугливой бабе! Впрочем, баба бабе рознь. Взять хоть Истер: индеец ей не страшнее, чем слепой щенок или волчонок. Верно тебе говорю: когда бы твои черти попробовали сыграть свою шутку при свете дня, моя старуха не дала б им спуску и показала бы им, что не привыкла отдавать задаром сыр и масло. Но придет час, старик, скоро придет, когда правда возьмет свое — и тоже без помощи твоего хваленого закона. Мы, можно сказать, народ неторопливый — нам это часто ставят в укор; но мы делаем дело медленно, да верно; и нет на свете человека, который мог бы похвалиться, что нанес Ишмаэлу Бушу удар и тот не ответил ему таким же крепким ударом.

— Значит, Ишмаэл Буш следует больше побуждениям, присущим зверю, чем правилам, которым должны бы следовать люди,— возразил неуступчивый траппер.— И я в своей жизни немало нанес ударов, но, если я не нуждаюсь в мясе или шкуре, я не смог бы с легким сердцем уложить оленя. А ведь я без угрызений оставлял непохороненным в лесу проклятого минга, убив его на войне открыто и честно.

— Как! Ты был солдатом, траппер? Мальчишкой я и

сам раза два участвовал в схватке с чероками. Одно лето я продирался с Полоумным Энтони сквозь буковые леса; но служба у него пришлась мне не по нраву — больно много муштры; я ушел от него, не наведавшись к казначею, чтобы получить, что мне причиталось. Впрочем, Истер сумела, как она потом хвалилась, столько раз получить за меня пенсион, что государство не много выгадало на моем упущении. Вы, если долго пробыли в солдатах, слышали, конечно, о Полоумном Энтони? [1]

— В моем последнем, как я надеюсь, бою я сражался под его началом,— ответил траппер, и в тусклых его глазах зажегся солнечный луч, словно вспомнить это было ему приятно; но тотчас свет пригасила тень печали, точно внутренний голос запрещал ему останавливаться в мыслях на сценах убийства, в которых так часто он сам бывал одним из действующих лиц.— Я шел из приморских Штатов к этим дальним окраинам, когда натолкнулся в пути на его армию — на тыловые части. И я последовал за ними просто как наблюдатель. Но, когда дошло до драки, мое ружье заговорило вместе со всеми другими ружьями, хотя я толком не знал, на чьей стороне была правда в этом споре,— в чем признаюсь со стыдом, потому что в семьдесят лет человек должен знать, почему он отнимает у ближнего жизнь — дар, который он никогда не сможет вернуть!

— Ладно, дед,— сказал переселенец, который сразу подобрел к старику, когда услышал, что они с ним сражались на одной стороне в диких западных войнах,— чего там вдаваться в причины неладов, когда христианин стоит против дикаря. Утром разберемся получше в этом деле с кражей коней; а сейчас ночь, и самое будет разумное, если мы ляжем спать.

С этими словами Ишмаэл решительно повернул назад к своему ограбленному лагерю и ввел гостем в свою семью того самого человека, которого за несколько минут перед тем, озлившись, едва не убил. Не глядя на жену, он буркнул в объяснение несколько коротких слов, перемежая их руганью в адрес грабителей, ознакомил ее таким образом с положением дел в прерии и объявил свое решение вознаградить себя за прерванный покой, отдав остаток ночи сну.

[1] Энтони Уэйн — пенсильванец, отличившийся в войне за независимость, а затем и в действиях против западных индейцев. Произведенный в генералы, он за свои рискованные операции получил от подчиненных прозвание «Полоумный Энтони».

Траппер одобрил такое решение и растянулся на предложенной ему куче ветвей так спокойно, как мог бы опочить в своей столице какой-нибудь монарх под охраной своих лейб-гвардейцев. Старик, однако, не смежил глаз, пока не уверился, что Эллен Уэйд уже вернулась в лагерь и что ее жених или сородич — кем бы он ни был — благоразумно скрылся; после чего он заснул насторожённым сном человека, издавна привыкшего сохранять бдительность даже поздней ночью.

Глава VI

Он чересчур чопорен, чересчур франтоват, чересчур жеманен, чересчур неестествен и, по правде, если смею так выразиться, чересчур обыновенен

Шекспир, «Бесплодные усилия любви»

Англо-американцы склонны хвастать — и не без основания,— что могут с бо́льшим правом притязать на почтенное происхождение, чем всякий другой народ, чья история достоверно установлена. Каковы бы ни были слабости первых колонистов, их добродетели редко подвергались сомнению. Они были пусть суеверны, зато искренне благочестивы и честны. Потомки этих простых, прямодушных провинциалов отказались от общепринятых искусственных способов, какими честь закреплялась за семьями на века, и в замену им установили обычай, что человек может снискать к себе уважение только личными своими заслугами, а не заслугами своих отцов и дедов. И вот за эту скромность, самоограничение, здравомыслие — или каким еще словом угодно будет обозначить такой порядок — американцев объявили нацией «неблагородного происхождения»! Если бы стоило тратить труд на подобное исследование, было бы доказано, что весьма значительную часть фамилий старой доброй Англии можно ныне встретить в бывших ее колониях; и тем немногим, кто не пожалел времени на собирание этих никому не нужных сведений, хорошо известен факт, что прямые потомки многих вымирающих родов, которые политика Англии считала нужным сохранить путем передачи титула младшей ветви, ныне

живут и трудятся в Штатах, как простые граждане нашей республики. Улей стоит, где стоял, и те, кто кружит над дорогою их сердцу прелой соломой, все еще гордятся ее древностью, не замечая ни ветхости своего жилья, ни счастья бесчисленных роев, собирающих свежий мед девственного мира. Но это предмет, интересный скорее для политика или историка, нежели для скромного рассказчика, пишущего о событиях обыденной жизни, а потому оставим его в стороне, как и все, что не относится к нашей повести.

Если гражданин Соединенных Штатов вправе притязать на происхождение от древней знати, он отнюдь не свободен от расплаты за ее грехи. Как известно, сходные причины приводят к сходным следствиям. Та дань, которую народы должны платить в виде тяжелого труда на нивах Цереры, чтобы наконец заслужить ее милость, в известной мере выплачивается в Америке вместо предков потомками. У нас о лестнице цивилизации можно сказать, что она подобна тем явлениям, которые, как говорится, «отбрасывают тень вперед». В Америке мы можем наблюдать весь ход развития общества — от состояния расцвета, именуемого утонченным, до состояния настолько близкого к варварству, насколько это возможно при тесной связи с образованной нацией. Такое «обратное развитие» прослеживается в нашей стране от сердца старых Штатов, где начинают приживаться богатство, роскошь, искусство, к тем отдаленным и все отодвигающимся границам, где царствует мрак невежества и где культура сквозь него лишь еле брезжит: так рассвету дня предшествует наползающий туман.

Здесь и только здесь еще сохраняется широко распространенный, но отнюдь не многочисленный класс людей, которых можно сравнить с теми, кто проложил дорогу духовному прогрессу народов Старого Света. Существует удивительное, хоть и неполное сходство между жителем американской окраины и его европейским прототипом. Оба во всем необузданны: один — поскольку он стоит выше закона, другой — поскольку недосягаем для него: они отчаянно храбры, потому что закалены в опасностях; безгранично горды, потому что независимы; и не знают удержу в мести, потому что сами расправляются за свои обиды. Несправедливо будет в отношении американца вести дальше эту параллель. Он не религиозен, потому что с

молоком матери впитал убеждение, что смысл религии не в соблюдении обрядов, а всякую подделку под религию разум его отвергает. Он не рыцарь, нет, потому что не имеет власти устанавливать отличия; а власти он не имеет, потому что он порождение системы, а не создатель ее. В ходе нашей повести будет показано, как перечисленные свойства выявились в нескольких ярко выраженных представителях этого класса людей.

Ишмаэл Буш всю свою жизнь — пятьдесят с лишним лет — прожил вне общества. Он хвалился, что никогда не засиживался в таких местах, где не мог спокойно повалить любое дерево, какое высмотрит со своего порога; что закон лишь редко когда наведывался на его вырубку; и что церковный звон претит его ушам. Трудился он в меру своих нужд, а нужды его не превышали того, в чем обычно нуждается человек его класса, и он их легко удовлетворял. Он не уважал образованности, делая исключение лишь для лекарского искусства, потому что по своему невежеству не видел смысла в умственном труде, если он не дает чего-то осязаемого. Из уважения к вышеназванной науке он склонился на уговоры некоего врача, которому страстная любовь к естественной истории подсказала мысль присоединиться к скваттеру в его странствиях. Скваттер от чистого сердца принял естествоведа в свою семью, верней — под свое покровительство, и они в дружеском согласии проделали вместе весь дальний путь по прериям. Ишмаэл не раз объяснял жене, как он рад, что есть у них этот спутник, чьи услуги будут весьма полезны на новом месте, куда бы их ни занесло, пока семья «не освоится». Но частенько натуралист в своих изысканиях исчезал на много дней кряду, уклонившись от взятого скваттером прямого пути — только по солнцу, вперед и вперед на восток. Мало кто не признал бы за счастье оказаться вдалеке от лагеря в час опасного налета сиу, как оказался Овид Бат (или Батциус — такое обращение больше льстило ему), доктор медицины, член ряда ученых обществ по сю сторону Атлантики, наш предприимчивый медик.

Хотя Ишмаэл, по природе медлительный, еще не вполне пробудился и не ощутил всю тяжесть своей беды, все же такая вольность в отношении его собственности глубоко возмутила скваттера. Тем не менее он крепко уснул — раз уж сам отвел этот час для отдыха и раз уж знал, как безнадежны были бы попытки разыскивать скот в ночной

темноте. К тому же, понимая всю опасность своего положения, он не хотел в погоне за потерянным рисковать тем, что еще сохранил. Как ни сильна любовь обитателей прерий к лошадям, их жадность до многого другого, чем еще владел путешественник, ей не уступала. Сиу прибегли к довольно обычной уловке — сперва угнать скот, а потом, когда поднимется переполох, довершить ограбление. Но тут Матори, видимо, недооценил проницательности человека, которого ограбил. Мы уже видели, как флегматично скваттер принял поначалу потерю; покажем, к чему он пришел, когда додумал свою думу.

Хотя в лагере было немало глаз, не желавших смежиться, немало ушей, готовых уловить легчайший признак новой тревоги, до конца ночи в нем царил глубокий покой. В конце концов тишина и усталость сделали свое дело, и под утро все, кроме часовых, опять заснули. Честно ли после налета индейцев выполняли свой долг беспечные сторожа, осталось вовек неизвестным, поскольку не произошло ничего такого, что могло бы послужить проверкой их бдительности.

Однако, чуть занялась заря и серый полусвет разлился над прерией, Эллен Уэйд приподняла взволнованное, полуиспуганное и все-таки румяное лицо над спавшими вповалку девочками, среди которых она прикорнула, вернувшись украдкой в шалаш. Она осторожно встала, тихонько перешагнула через лежавших на земле и с той же осторожностью пробралась в самый конец лагеря. Здесь она остановилась, прислушиваясь и как будто колеблясь, не слишком ли будет смело двинуться дальше. Впрочем, задержалась девушка лишь на одно мгновение; и задолго до того, как сонный взгляд часового, окинув место, где она только что стояла, успел различить ее мелькнувший силуэт, она уже проскользнула низом и взбежала на вершину ближайшего холма.

Эллен напряженно вслушивалась, надеясь уловить иной какой-то звук, кроме шелеста травы у ее ног на утреннем ветру. Она хотела уже повернуть назад, разочарованная в своем ожидании, когда ее ухо различило хруст стеблей под тяжелыми шагами. Она радостно побежала навстречу и вскоре разглядела очертания фигуры, поднимавшейся на холм по противоположному склону. Она уже проронила: «Поль!» — и заговорила быстро и оживленно тем взволнованным голосом, каким говорит только влюбленная жен-

щина при встрече с другом, как вдруг осеклась и, отступив, добавила холодно:

— Не ждала я, доктор, увидеть вас тут в такой неподходящий час!

— Все часы и все времена года, милая Эллен, равно хороши для истинного любителя природы,— возразил маленький, щуплый, довольно пожилой, но очень энергичный человек, одетый в нечто странное из сукна и меха. Он подошел к ней не чинясь, с видом старого знакомого.— Кто не умеет и в тусклой полутьме выискать предметы, достойные удивления, тот лишен весьма существенной части доступных человеку радостей.

— Верно, очень верно! — согласилась Эллен, вдруг спохватившись, что и ее появление здесь в неурочный час надо бы как-то объяснить.— Я от многих людей слышала, что ночью у земли более привлекательный вид, чем при ярком солнечном свете.

— Ага! Значит, их органы зрения были слишком выпуклы. Если же человек желает изучить поведение животных из семейства кошек или повадки любого животного-альбиноса, то ему действительно следует быть на ногах до зари. Впрочем, замечу, имеются люди, которые предпочитают рассматривать предметы в сумерки по той простой причине, что в это время суток они видят лучше.

— А вы сами тоже по этой причине так часто бродите по ночам?

— Я брожу по ночам, моя милая, потому, что Земля при вращении вокруг своей оси подставляет каждый данный меридиан под солнечный свет лишь на половину срока суточного оборота, а мое дело не выполнишь, работая всего по двенадцать — пятнадцать часов подряд. Сейчас я двое суток не возвращался к вам, разыскивая растение, которое, как думают, произрастает только по притокам Платта, а не увидел ни одной травинки, не значащейся в ботанических каталогах.

— Вам, доктор, не посчастливилось, но, право...

— Не посчастливилось? — переспросил маленький человечек и, придвинувшись поближе к девушке, вытащил свои записи с торжеством, в котором утонула вся его напускная скромность.— Нет, нет, Эллен! Едва ли это так. Разве можно назвать несчастливцем человека, чья судьба обеспечена, чья слава, можно сказать, утвердилась навеки, чье имя потомки будут называть рядом с именем Бюф-

фона... Впрочем, кто такой Бюффон? Всего лишь компилятор, пожинавший плоды чужих трудов. Нет, pari passu [1] с Соландером, приобретшим свою известность ценой мук и лишений.

— Вы открыли золотую жилу, доктор Бат?

— Больше, чем жилу: сокровище, клад чеканной монеты, милая, ходкой золотой монеты! Слушай! После своих бесплодных поисков я пошел, взяв наискось, чтобы выйти на маршрут твоего дяди, когда вдруг услышал звуки, которые могло произвести только огнестрельное оружие...

— Да,— перебила Эллен.— У нас тут была тревога...

— ...и вы подумали, что я заблудился,— продолжал ученый муж, следуя лишь ходу своих мыслей и потому неверно поняв ее слова.— Но нет! Я принял за основание треугольника пройденный мною конец, вычислил высоту, и теперь, чтобы провести гипотенузу, оставалось только определить прилежащий угол. Полагая, что стрельбу открыли нарочно для меня, я свернул с этого пути и пошел на выстрелы — не потому, что считал показания своих ушей более точными,— нет, я опасался, не нуждается ли кто-то из детей в моих услугах.

— Они все благополучно избежали...

— Послушай,— перебил ученый, тотчас забыв своих маленьких пациентов ради занимавшего его сейчас более важного предмета.— Я прошел по прерии длинный путь — ведь там, где мало преград, звук разносится очень далеко,— когда услышал такой топот, как будто били копытами в землю бизоны. Потом я увидел вдали стадо четвероногих, носившихся по холмам,— животных, которые так и остались бы неизвестны и не описаны, если бы не счастливейший случай! Один самец, благороднейший экземпляр, бежал, несколько отбившись от прочих. Стадо повернуло в мою сторону, и соответственное уклонение сделал и отбившийся самец, который, таким образом, оказался в пятидесяти ярдах от меня. Я не упустил открывшейся мне возможности и, прибегнув к огниву и свече, тут же на месте сделал его описание. Я дал бы тысячу долларов, Эллен, за один ружейный выстрел одного из наших молодцов!

— Вы носите при себе пистолет, почему же, доктор, вы им не воспользовались? — сказала девушка. Она слушала

---

[1] Как равный, наряду (лат.).

вполслуха, окидывая прерию беспокойным взглядом, но все не уходила, радуясь, что может не спешить.

— Да, но в нем-то всего лишь крошечный шарик свинца — им можно убить пресмыкающееся или какое-нибудь крупное насекомое. Нет, я не стал завязывать бой, из которого не мог бы выйти победителем, и поступил достойней: я сделал запись происшедшего, не вдаваясь в подробности, но со всею точностью, необходимой в науке. Я прочту ее тебе, Эллен, потому что ты хорошая девушка, стремящаяся к образованию; и, запомнив то, что узнаешь от меня, ты сможешь оказать науке неоценимую услугу, если со мною что-нибудь произойдет. В самом деле, дорогая Эллен, мой род занятий так же сопряжен с опасностью, как профессия воина. Этой ночью,— продолжал он,— этой страшной ночью во мне едва не угасло жизненное начало. Да, мне грозила гибель!

— От кого?

— От чудовища, открытого мною. Оно все приближалось и, сколько я ни отступал, надвигалось снова и снова. Я думаю, только фонарик и спас меня. Я, пока записывал, держал его между нами двумя, используя его с двоякой целью — для освещения и для обороны. Но ты сейчас услышишь описание этого зверя, и тогда ты сможешь судить, какой опасности мы, исследователи, подвергаем себя, радея о пользе всего человечества.

Натуралист торжественно поднял к небу свои записи и при смутном свете, уже падавшем на равнину, собрался приступить к чтению, предпослав ему такие слова:

— Слушай внимательно, девушка, и ты узнаешь, каким сокровищем счастливый жребий позволил мне обогатить страницы естественной истории!

— Вы, значит, сами же и создали эту тварь? — сказала Эллен, прервав бесплодное наблюдение, и в ее голубых глазах зажегся озорной огонек, показавший, что она умела играть на слабой струнке своего ученого собеседника.

— Разве во власти человека вдохнуть жизнь в неодушевленную материю? Хотел бы я, чтоб это было так! Ты вскоре увидела бы Historia Naturalis Americana [1], которою я посрамил бы жалких подражателей француза Бюффона. Можно было бы внести значительное усовершенствование в сложение всех четвероногих, особенно тех, что славятся

[1] Американская естественная история (лат.).

быстротой. В одну пару их конечностей был бы заложен принцип рычага — возможно, она приняла бы вид современных колес; хотя я еще не решил, применить ли это усовершенствование к передней паре конечностей или же к задней, так как еще не определил, что требует большей затраты мускульной силы — волочение или отталкивание. Преодолению трения помогало бы естественное выделение животным влаги из пор, что помогло бы созданию инерции. Но, увы, все это безнадежная мечта — по крайней мере, в настоящее время,— добавил он, снова подняв свои записи к свету, и начал читать вслух: — «Шестого октября 1805 года (это, как ты, надеюсь, знаешь не хуже меня, дата памятного события). Четвероногое, виденное (при свете звезд и карманного фонаря) в прериях Северной Америки — широту и долготу смотри по дневнику. Genus [1] неизвестен; а потому по воле автора открытия и в силу того счастливого обстоятельства, что оное открытие было сделано вечером, получает наименование Vespertilio horribilis americanus [2]. Размеры (по оценке на глаз) — громаднейшие: длина — одиннадцать футов, высота — шесть футов. Посадка головы — прямая; ноздри — расширенные; глаза — выразительные и свирепые; зубы — зазубренные и многочисленные; хвост — горизонтальный, колышущийся, близкий к кошачьему; лапы — большие, волосатые; когти — длинные, изогнутые, опасные; уши — незаметные; рога — удлиненные, расходящиеся и грозные; окраска — пепельно-свинцовая, в рыжих подпалинах; голос — зычный, воинственный и устрашающий; повадка — стадная, плотоядная, свирепая и бесстрашная...» Вот оно! — воскликнул Овид.— Вот оно, животное, которое, по-видимому, станет оспаривать у льва его право называться царем зверей!

— Я не все у вас поняла, доктор Батциус,— возразила юная насмешница, знавшая маленькую слабость философа-натуралиста и часто награждавшая его званием, которое так ласкало его слух,— но теперь я буду помнить, что это очень опасно — уходить далеко от лагеря, когда по прериям рыщут такие чудовища.

— Ты выразилась совершенно правильно: «рыщут»! — подхватил натуралист, придвинувшись к ней поближе и

---

[1] Род (лат.).

[2] Страшилище вечернее американское (лат.).

снизив голос до снисходительно-конфиденциального шепота, отчего его слова приобрели значительность, какую он не намеревался в них вложить.— Никогда еще моя нервная система не подвергалась такому суровому испытанию; признаюсь, было мгновение, когда fortiter in re [1] содрогнулся перед столь страшным врагом; по любовь к естествознанию придала мне бодрость, и я вышел победителем.

— Вы говорите на каком-то особенном языке,— сказала девушка, сдерживая смех.— Он так рознится с тем, какой в ходу у нас в Теннесси, что, право, не знаю, уловила ли я смысл ваших слов. Если я не ошибаюсь, вы хотите сказать, что в ту минуту у вас было цыплячье сердце?

— Невежественная метафора, проникшая в язык из-за незнакомства с анатомией двупогих! Сердце у цыпленка соразмерно с его прочими органами, и отряду куриных в естественных условиях свойственна отвага. Эллен, пойми,— добавил он с торжественным выражением лица, произведшим впечатление на девушку,— я был преследуем, был гоним, мне грозила опасность, которую я не удостаиваю упоминания... Но что это?!

Эллен вздрогнула, потому что собеседник говорил так убежденно, с такой простодушной откровенностью, что при всей игривости ума она невольно поверила его словам. Посмотрев, куда указывал доктор, она в самом деле увидела несущегося по прерии зверя, который быстро и неуклонно надвигался прямо на них. Еще не совсем рассвело, и нельзя было различить его статей, но то, что можно было разглядеть, позволяло вообразить в нем свирепого хищника.

— Это он! Он! — закричал доктор, инстинктивно потянувшись опять за своими таблицами, между тем как его ноги выбивали дробь в отчаянном усилии устоять на

[1] В действительности неустрашимый (лат.).

месте.— Теперь, Эллен, раз уж судьба дает мне возможность исправить ошибки, сделанные при свете звезд... Смотри, пепельно-свинцовый... без ушей... рога огромнейшие!

Голос его осекся, руки опустились при раздавшемся реве или скорее рыке, достаточно грозном, чтобы устрашить и более храброго человека, чем наш натуралист. Крики животного странными каденциями раскатились по прерии, и затем наступила глубокая, торжественная тишина, которую вдруг нарушил взрыв безудержного девичьего смеха — звук куда более мелодический. Между тем натуралист стоял как истукан и без ученых комментариев, безоговорочно и беспрепятственно позволял рослому ослу, от которого он уже не пытался оградиться своим хваленым фонарем, обнюхивать его особу.

— Да это же ваш собственный осел! — воскликнула Эллен, как только смогла перевести дух и заговорить.— Ваш терпеливый труженик!

Доктор пялил глаза на зверя и на пересмешницу, на пересмешницу и на зверя, совсем онемев от изумления.

— Вы не узнаёте животное, столько лет работавшее на вас? — со смехом продолжала девушка.— А ведь я тысячу раз слышала, как вы говорили, что оно верой и правдой несло свою службу и что вы его любите, как брата!

— Asinus domesticus [1],— выговорил доктор, жадно, как после удушья, глотая воздух.— Род сомнению не подвергается; и я утверждаю и буду утверждать, что это животное не принадлежит к виду Equus [2]. Да, Эллен, перед нами бесспорно мой Азинус; но это не веспертилио, открытый мною в прерии! Совсем другое животное, уверяю тебя, милая девушка, характеризуемое совершенно отличными признаками по всем важным частностям. Тот — плотоядный,— продолжал он, водя взглядом по раскрытой странице,— а этот травоядный. Там: п о в а д к а — свирепая, опасная; здесь: п о в а д к а — терпеливая, воздержанная. Там: у ш и — незаметные; здесь: у ш и — вытянутые; там: р о г а — расходящиеся и так далее, здесь: р о г а — отсутствуют.

Он осекся, так как Эллен опять разразилась смехом, и это заставило его до некоторой степени опомниться.

[1] Осел домашний (лат.).
[2] Лошадь (лат.).

— Образ веспертилио запечатлелся на моей сетчатке,— заметил, как бы оправдываясь, незадачливый исследователь тайн природы,— и я, как это ни глупо, принял своего верного друга за то чудовище. Впрочем, я и сейчас в недоумении, каким образом Азинус оказался бегающим на воле!

Эллен наконец смогла рассказать о набеге и его последствиях. С точностью очевидца, которая в менее простодушном слушателе могла бы вызвать основательные подозрения, девушка описала, как животные вырвались из лагеря и разбежались стремглав по равнине. Не позволяя себе высказать это напрямик, она все же дала понять натуралисту, что он скорее всего обознался и принял испуганный табун за диких зверей. Свой рассказ она закончила жалобой об утрате лошадей и вполне естественными сожалениями о том, в какое беспомощное положение эта утрата поставила семью. Натуралист слушал в немом изумлении, ни разу не перебив рассказчицу и ни единым возгласом не выдав своих чувств. Девушка, однако, приметила, что, пока она рассказывала, важнейшая страница была выдрана из записей судорожным жестом, показавшим, что их автор в то же мгновение расстался с обольстительной иллюзией. С этой минуты никто в мире больше не слыхал о Vespertilio horribilis americanus, и для естествознания оказалось безвозвратно потерянным важное звено в цепи развития животного мира, которая, как говорят, связует землю с небом и в которой человек мыслится столь близким сородичем обезьяны.

Когда доктор Бат узнал, при каких обстоятельствах в лагерь проникли грабители, его сразу встревожило совсем другое. Он отдал на сохранение Ишмаэлу увесистые фолианты и несколько ящиков, набитых образцами растений и останками животных. И в его проницательном уме тотчас же вспыхнула мысль, что такие хитрые воры, как сиу, никак не упустили бы случая овладеть столь бесценным сокровищем. Сколько Эллен ни уверяла его в обратном, ничто не могло унять его тревогу, и они разошлись, он — спеша успокоить свои подозрения и страхи, она — проскользнуть так же быстро и бесшумно, как раньше прошла мимо него, в одинокий и тихий шатер.

Глава VII

Куда девалась половина свиты?
Их было сто, а стало пятьдесят!

Шекспир, «Король Лир»

Уже совсем рассвело над бесконечной ширью прерии, когда Овид вступил в лагерь. Его неожиданное появление и громкие вопли из-за предполагаемой утраты сразу разбудили сонливую семью скваттера. Ишмаэл с сыновьями и угрюмый брат его жены поспешили встать и при свете солнца, теперь уже достаточном, постепенно установили истинные размеры своих потерь.

Ишмаэл, крепко стиснув зубы, обвел взглядом свои неподвижные перегруженные фургоны, поглядел на растерянных девочек, беспомощно жавшихся к матери, сердитой и подавленной, и вышел в открытое поле, как будто в лагере ему стало душно. За ним последовали сыновья, стараясь в мрачных его глазах прочитать указание, что́ им делать дальше. Все в глубоком и хмуром молчании поднялись на гребень ближнего холма, откуда открывался почти безграничный вид на голую равнину. Ничего они там не увидели — только одинокого бизона вдали, уныло пощипывающего скудную жухлую траву, а неподалеку — докторского осла, который, очутившись на свободе, спешил усладиться более обильной, чем обычно, трапезой.

— Вот вам! Оставили, мерзавцы, смеха ради одну животину,— сказал, поглядев на осла, Ишмаэл,— да и то самую никчемную. Трудная здесь земля, молодцы, не для пахоты, а все-таки придется добывать тут пищу на два десятка голодных ртов!

— В таком месте больше толку от ружья, чем от мотыги,— возразил старший сын и с презрением пнул ногой твердую, иссохшую почву.— В этой земле пусть ковыряется тот, кто привык есть на обед не кукурузную кашу, а нищенские бобы. Пошли ворону облететь округу — наплачется она, пока что-нибудь сыщет.

— Как по-твоему, траппер,— молвил отец, показывая, какой слабый след оставил на твердой земле его здоровенный каблук, и рассмеялся злым и страшным смехом,— выберет себе такую землю человек, который никогда не утруждал писцов выправлением купчих?

— В лощинах земля тучней,— был спокойный ответ старика,— а ты, чтобы добраться до этого голого места, прошел миллионы акров, где тот, кто любит возделывать землю, может собирать зерно бушелями взамен посеянных пинт, и вовсе не ценою слишком уж тяжелого труда. Если ты пришел искать земли, ты забрел миль на триста дальше, чем нужно, или на добрую тысячу не дошел до места.

— Значит, там, у второго моря, можно выбрать землю получше? — спросил скваттер, указывая в сторону Тихого океана.

— Можно. Я там видел все,— отвечал старик. Он уткнул ружье в землю и, опершись на его ствол, казалось, с печальной отрадой вспоминал былое.— Я видел воды обоих морей! У одного я родился и рос, пока не стал парепьком вот как этот увалень. С дней моей молодости Америка сильно выросла, друзья. Стала огромной страной — больше, чем весь мир, каким он мне когда-то мнился. Около семи десятков лет я прожил в Йорке — в провинции и штате. Ты, наверное, бывал в Йорке?

— Нет, не бывал, я в города не наведываюсь, но я часто слышал о месте, которое ты назвал. Это, как я понимаю, широкая вырубка.

— Широкая! Слишком широкая. Там самую землю покорежили топорами. Такие холмы, такие охотничьи угодья — и я увидел, как их без зазрения совести стали оголять от деревьев, от божьих даров! Я все медлил, пока стук топоров не стал заглушать лай моих собак, и тогда подался на запад, ища тишины. Я проделал горестный путь. Да, горестно было идти сквозь вырубаемый лес, неделю за неделей дышать, как мне довелось, тяжелым воздухом дымных расчисток! Далекая это сторона, штат Йорк, как посмотришь отсюда!

— Он лежит, как я понимаю, у той окраины старого Кентукки; хотя, на каком это расстоянии, я никогда не знал.

— Чайка отмахает по воздуху тысячу миль, пока увидит восточное море. Но для охотника это не такой уж тяжелый переход, если путь лежит тенистыми лесами, где вволю дичи! Было время, когда я в одну и ту же осень выслеживал оленя в горах Делавара и Гудзона и брал бобра на заводях верхних озер. Но в те дни у меня был верный и быстрый глаз, а в беге я был легок, что твой лось! Мать

Гектора,— он ласково глянул на старого пса, прикорнувшего у его ног,— была тогда щенком и так и норовила броситься на дичь, едва учует запах. Ох и выпало мне с ней хлопот!

— Твоя гончая, дед, стара. Пристрелить ее — самое было бы милосердное дело.

— Собака похожа на своего хозяина,— ответил траппер, как будто пропустив мимо ушей жестокий совет.— Ей придет пора умереть, когда она больше не сможет помогать ему в охоте, и никак не раньше. На мой взгляд, в мире есть для всего свой порядок. Не самый быстроногий из оленей всегда уйдет от собаки, и не самая большая рука держит ружье тверже всякой другой. Люди, взгляните вокруг: что скажут янки-лесорубы, когда расчистят себе дорогу от восточного моря до западного и найдут, что рука, которая может одним мановением все смести, уже сама оголила здесь землю, подражая им в их страсти к разрушению. Они повернут вспять по своей же тропе, как лисица, когда хочет уйти от погони; и тогда мерзкий запах собственного следа покажет им, как они были безумны, сводя леса. Впрочем, такие мысли легко возникают у того, кто восемьдесят зим наблюдал людское безумие,— но разве они образумят молодца, еще склонного к мирским утехам? Вам, однако, надо поспешить, если вы не хотите изведать на себе всю ловкость и злобу темнолицых индейцев. Они считают себя законными владельцами края и редко оставляют белому что-нибудь, кроме его шкуры, которой он так похваляется, если смогут нанести ему ущерб. Если смогут! Пожелать-то они всегда пожелают!

— Старик,— строго спросил Ишмаэл,— к какому ты принадлежишь народу? По языку и по лицу ты белый, а между тем сердцем ты, похоже, с краснокожими.

— Для меня что один, что другой — разница невелика. Племя, которое я любил всех больше, развеяно по земле, как песок сухого русла под натиском осенних ураганов; а жизнь слишком коротка, чтобы наново приноровиться к людям чуждого уклада и обычая, как некогда я свыкался с племенем, среди которого прожил немало лет. Тем не менее я человек без всякой примеси индейской крови, и воинским долгом я связан с народом Штатов. Впрочем, теперь, когда у Штатов есть и войска ополчения, и военные корабли, им нет нужды в одиночном ружье старика на девятом десятке.

— Раз ты не отказываешься от своих соплеменников, я спрошу напрямик: где сиу, которые угнали мой скот?

— Где стадо буйволов, которое не далее как прошлым утром пантера гнала по этой равнине? Трудно сказать...

— Друг! — перебил его доктор, который до сих пор внимательно слушал, но тут нашел необходимым вмешаться в разговор.— Для меня огорчительно, что венатор, или, иначе, охотник, столь опытный и наблюдательный, как вы, повторяет распространенную ошибку, порожденную невежеством. Названное вами животное принадлежит в действительности к виду Bos ferus или Bos sylvestris [1], как счастливо назвали его поэты,— вид совершенно отличный от обыкновенного Bubulus [2], хотя и родственный ему. Слово «бизон» здесь более уместно, и я вас настоятельно прошу его и применять, когда в дальнейшем вам понадобится обозначить особь этого вида.

— Бизон или буйвол — не все ли равно? Тварь остается та же, как ее ни называй, и...

— Позвольте, уважаемый венатор: классификация есть душа естествознания, ибо каждое животное или растение непременно характеризуют присущие ему видовые особенности, каковые и обозначаются всегда в его наименовании...

— Друг,— сказал траппер немного вызывающе,— разве хвост бобра станет невкусным, если вы бобра назовете норкой? И разве волчатина покажется вкусней оттого, что какой-нибудь книжник назовет ее олениной?

Так как вопросы ставились вполне серьезно и с некоторой запальчивостью, между двумя знатоками природы, из коих один был чистым практиком, а другой горячо привержен теории, мог бы разгореться жаркий спор, если бы Ишмаэл своевременно не положил ему конец, напомнив о предмете более важном для него в тот час.

— О бобровых хвостах и мясе норки можно вести разговор на досуге перед очагом, когда разгорятся в нем кленовые поленья,— вмешался скваттер без всякого почтения к оскорбленным чувствам спорщиков.— Иностранными словами не поможешь — и вообще словами. Скажи мне, траппер, где они прячутся, твои сиу?

---

[1] Bos ferus — дикий бык (лат.), принятое в научной классификации обозначение бизона. Bos sylvestris — лесной бык (лат.).

[2] Буйвол (лат.)

— Проще сказать, какого цвета перья у ястреба, что повис вон под тем белым облачком! Когда краснокожий нанес удар, он не станет дожидаться, пока ему уплатят за обиду свинцом.

— Когда твои нищие дикари переловят весь скот, посчитают ли они, что этого с них довольно?

— Природа у людей одна, что у белых, что у краснокожих. Замечал ты, чтобы тяга к богатству после того, как ты снял обильный урожай, стала у тебя слабей, чем была раньше, когда ты имел лишь горсть зерна? Если замечал, значит, ты не таков, каким опыт долгой жизни научил меня считать человека, наделенного обычными страстями.

— Говори попросту, старик,— крикнул скваттер и с силой стукнул о землю прикладом ружья, потому что его тяжелый ум не находил удовольствия в разговоре, ведущемся неясными намеками.— Я задал простой вопрос — и такой, что ты, конечно, можешь на него ответить.

— Ты прав, ты прав! Я могу ответить, потому что слишком часто наблюдал, как люди, подобные мне, не верят, что умышляется зло. Когда сиу соберут весь скот и уверятся, что ты не идешь по их следу, они вернутся забрать, что оставили, как голодные волки — к недоеденной туше; или, может быть, они проявят нрав больших медведей, что водятся у водопадов на Длинной реке, и не станут мешкать, обнюхивая добычу, а сразу хлопнут лапой.

— Так вы их видели, названных вами животных? — воскликнул доктор Батциус, не вступавший вновь в разговор, пока хватало силы сдерживать свое нетерпение; но теперь он приготовился приступить к обсуждению важного предмета и раскрыл свои записи, держа их наготове, как справочник.— Можете вы мне сказать: встреченный вами зверь принадлежит к виду Ursus horribilis? [1] Обладал ли он следующими признаками: у ш и — закругленные, л о б — сводчатый, г л а з а — лишены заметного дополнительного века, з у б ы — шесть резцов, один ложный и четыре вполне развитых коренных...

— Продолжай, траппер, мы ведем с тобой разумный разговор,— перебил Ишмаэл.— Так ты полагаешь, мы еще увидим грабителей?

— Нет, нет, я их не зову грабителями. Они поступают

[1] Медведь ужасный (лат.) — видовое обозначение американского серого медведя, или гризли.

по обычаю своего народа; или, если хочешь, по закону прерии.

— Я прошел пятьсот миль, чтоб дойти до места, где никто не сможет зудеть мне над ухом про законы,— злобно сказал Ишмаэл.— И я не расположен спокойно стоять у барьера в суде, если на судейском кресле сидит краснокожий. Говорю тебе, траппер, если я когда-нибудь увижу, как рыщет у моей стоянки сиу, он почувствует, чем заряжена моя старая кентуккийка,— скваттер выразительно похлопал по своему ружью,— хотя бы он носил на груди медаль с самим Вашингтоном[1]. Когда человек забирает, что ему не принадлежит, я его зову грабителем.

— Тетоны, и паупи, и конзы, и десятки других племен считают эти голые степи своим владением.

— И врут! Воздух, и вода, и земля даны человеку природой как свободный дар, и никто не властен делить их на части. Человеку нужно пить, и дышать, и ходить, и потому каждый имеет право на свою долю земли. Скоро государственные землемеры станут ставить вешки и проводить межи не только у нас под ногами, но и над нашей головой! Станут писать на своем пергаменте ученые слова, в силу каковых землевладельцу (или, может быть, он станет называться воздуховладельцем?) нарезается столько-то акров неба с использованием такой-то звезды в качестве межевого столба и такого-то облака для вращения ветряка!

Свою тираду скваттер произнес тоном дикого самодовольства и, кончив, презрительно рассмеялся. Усмешка, веселая, но грозная, искривила рот сперва одному из великанов-сыновей, потом другому, пока не обежала по кругу всю семью.

— Брось, траппер,— продолжал Ишмаэл более благодушно, словно чувствуя себя победителем,— что я, что ты, мы оба, думаю, всегда старались иметь поменьше дела с купчими, с судебными исполнителями или с клейменым деревьями, так не будем разводить глупую болтовню. Ты давно живешь в этой степи; вот я и спрашиваю тебя, а ты отвечай напрямик, без страха, без вилянья: когда бы тебе верховодить вместо меня, на чем бы ты порешил?

Старик колебался; видно, ему очень не хотелось давать

[1] Американское правительство назначало вождей среди западных индейских племен и выдавало им серебряные медали с изображением разных президентов Наиболее ценилась медаль с портретом Вашингтона. *(Примеч. автора.)*

совет в таком деле. Но, так как все глаза уставились на него и куда бы он ни повернулся, всюду встречал взгляд, прикованный к его собственному взволнованному лицу, он ответил тихо и печально:

— Слишком часто я видел, как в пустых ссорах проливалась человеческая кровь. Не хочу я услышать опять сердитый голос ружья. Десять долгих лет я прожил один на этих голых равнинах, ожидая, когда придет мой час, и ни разу не нанес я удар врагу, более человекоподобному, чем гризли, серый медведь...

— Ursus horribilis,— пробормотал доктор.

Старик умолк при звуке его голоса, но, поняв, что это было только мысленное примечание, сказанное вслух, продолжал, не меняя тона:

— Более человекоподобного, чем серый медведь или пантера Скалистых гор, если не считать бобра, мудрого и знающего зверя. Что я посоветую? Самка буйвола и та заступается за своего детеныша!

— Так пусть никто не скажет, что Ишмаэл Буш меньше любит своих детей, чем медведица своих медвежат!

— Место слишком открытое, десять человек не продержатся здесь против пятисот.

— Да, это так,— ответил скваттер, обводя глазами свой скромный лагерь.— Но кое-что сделать можно, когда есть повозки и тополя.

Траппер недоверчиво покачал головой и, указывая в даль волнистой прерии, ответил:

— С тех холмов ружье пошлет пулю в ваши шалаши; да что пуля — стрелы из той чащи, что у вас с тылу, не дадут вам высунуться, и будете вы сидеть, как сурки в норах. Не годится, это не годится! В трех милях отсюда есть место, где можно, как думал я не раз, когда проходил там, продержаться много дней и недель, если бы чьи-нибудь сердца и руки потянулись к кровавому делу.

Снова тихий смешок пробежал по кругу юношей, достаточно внятно возвестив об их готовности ввязаться в любую схватку. Скваттер жадно ухватился за намек, так неохотно сделанный траппером, который, следуя своему особому ходу мыслей, очевидно, внушил себе, что его долг — держаться строгого нейтралитета. Несколько вопросов, прямых и настойчивых, позволили скваттеру получить добавочные сведения; потом Ишмаэл, всегда мед-

лительный, но в трудную минуту способный проявить необычайную энергию, безотлагательно приступил к выполнению задуманного.

Хотя каждый работал горячо и усердно, задача была нелегкая. Надо было пройти по равнине изрядный конец, самим волоча груженые повозки, без колеи, без дороги, следуя только скупому объяснению траппера, указавшего лишь общее направление. Мужчины вкладывали в работу всю свою исполинскую силу, но немало труда легло также на женщин и детей. В то время как сыновья, распределив между собой тяжелые фургоны, тянули их вверх по ближнему склону, их мать и Эллен Уэйд, окруженные напуганными малышами, плелись позади, сгибаясь под тяжестью разной клади, кому какая была по силам.

Сам Ишмаэл всем распоряжался лишь при случае подталкивая своим могучим плечом застрявшую повозку, пока не увидел, что главная трудность — выбраться на ровное место — осилена. Здесь он указал, какого держаться пути, остерег сыновей, чтобы они потом не упустили преимущества, приобретенного таким большим трудом, и, кивнув своему шурину, вернулся вместе с ним в опустевший лагерь.

Все это время — добрый час — траппер стоял в стороне, опершись на ружье, с дремлющим псом у ног, и молча наблюдал происходившее. Порой его исхудалое, но сильное, с твердыми мышцами лицо освещала улыбка — как будто солнечный луч скользил по заброшенным руинам,— и тогда становилось ясно, что старику доставляло истинную радость, если кто-нибудь из юношей вдруг показывал свою богатырскую силу. Потом, когда караван медленно двинулся в гору, облако раздумья и печали снова легло на лицо старика, и явственней проступило обычное для него выражение тихой грусти. По мере того как повозки удалялись одна за другой, он с возрастающим волнением отмечал перемену картины и всякий раз с недоумением поглядывал на маленький шатер, который вместе со своей пустой повозкой все еще стоял в стороне, одинокий и словно забытый. Но, видно, как раз ради этой забытой было часть обоза Ишмаэл и отозвал сейчас своего угрюмого помощника.

Подозрительно и осторожно осмотревшись, скваттер с шурином подошли к маленькой подводе и вкатили ее под полы шатра тем же манером, как накануне выкатили ее

из-под них. Потом оба они скрылись за завесой, и последовало несколько минут напряженного ожидания, во время которых старик, втайне толкаемый жгучим желанием узнать, что означала вся эта таинственность, сам того не замечая, подступал все ближе и ближе, пока не оказался ярдах в десяти от запретного места. Колыхание парусины выдавало, чем были заняты укрывшиеся за ней, хотя они работали в полном молчании. Казалось, оба делают привычное дело, каждый точно исполняя свою задачу: Ишмаэлу не приходилось ни словом, ни знаком подсказывать хмурому своему помощнику, что и как ему делать. Вдвое быстрей, чем мы об этом рассказали, работа по ту сторону завесы была завершена, и мужчины вышли наружу. Слишком поглощенный своим делом, чтобы заметить присутствие траппера, Ишмаэл принялся укреплять полы завесы от земли и закладывать их за борта подводы таким образом, чтобы недавний шатер снова превратился в верх фургона. Парусиновый свод подрагивал при каждом случайном толчке легкой повозки, на которую, по всей очевидности, опять поместили тот же секретный груз. Едва закончена была работа, беспокойный помощник Ишмаэла заметил неподвижную фигуру наблюдателя. Уронив оглоблю, которую поднял было с земли, чтобы заменить собой животное, менее, чем он, разумное и, конечно, менее опасное, он закричал:

— Может, я и глуп, как ты часто говоришь, так сам посмотри: если этот человек не враг, я покрою срамом отца и мать, назовусь индейцем и пойду охотиться с сиу!

Туча, готовая метнуть коварную молнию, не так черна, как тот взгляд, которым Ишмаэл смерил старика. Он посмотрел в одну, в другую сторону, точно ища достаточно грозное орудие, чтоб одним ударом уничтожить дерзкого; потом, верно вспомнив, что ему еще понадобятся советы траппера, он, чуть не задохнувшись, принудил себя спрятать злобу.

— Старик,— сказал он,— я думаю, что лезть не в свои дела — это занятие для баб в городах и поселениях, а мужчине, привыкшему жить там, где места хватает на каждого, не пристало вынюхивать тайны соседей. Какому стряпчему или шерифу ты собираешься продать свои новости?

— Я не обращаюсь к судьям, кроме одного, и только по собственным своим делам,— отвечал старик без тени страха и выразительно поднял руку к небу: — К судье

— Старик,— сказал Ишмаэл,— я думаю, что мужчине не пристало вынюхивать тайны соседей.

судей. Мои донесения ему не нужны, и мало вам пользы что-нибудь таить от него — даже в этой пустыне.

Гнев его неотесанных слушателей улегся при этих простых, искренних словах. Ишмаэл стоял задумчивый и мрачный, а его помощник невольно глянул украдкой на ясное небо над головой, широкое синее небо, как будто и впрямь ожидая разглядеть в его куполе всевидящий божий глаз. Скваттер, однако, быстро отбросил свои колебания. Все же спокойная речь старика, его твердая, сдержанная манера защитили его от новых нападок, если не от худшего.

— Хотел бы ты показать себя добрым другом и товарищем,— начал Ишмаэл, и голос его был достаточно суров, хотя уже и не звучал угрозой,— ты помог бы толкать один из тех возов, а не болтался здесь, где не нуждаются в непрошеных помощниках!

— Малые остатки моей силы,— возразил старик,— я могу приложить и к этому возу не хуже, чем к другому.

— Мы что, по-твоему, мальчишки? — злобно рассмеялся Ишмаэл и без особого усилия рванул небольшую повозку, которая покатилась по траве, казалось, с той же легкостью, как раньше, когда ее тащили лошади.

Траппер стоял, провожая глазами удаляющуюся повозку, и все удивлялся, что же в ней скрыто, пока и она не достигла гребня подъема и не исчезла в свой черед за холмом. Тогда он отвел глаза и оглядел опустевшее место стоянки. Что вокруг не видно было ни души, едва ли бы смутило человека, издавна свыкшегося с одиночеством, если бы покинутый лагерь всем своим видом не говорил так живо о своих недавних постояльцах — и об оставленном ими опустошении, как тут же отметил старик. Качая головой, он поднял взгляд к голубому просвету над головой, где вчера еще шумели ветвями деревья, те, что сейчас, лишенные зелени, лежали у него в ногах,— ненужные, брошенные бревна.

— Да,— прошептал он,— я мог бы знать заранее! Я и раньше часто видел то же самое. И все-таки я сам привел их сюда, а теперь указал им единственное прибежище по соседству на много миль вокруг. Вот он, человек,— гордец и разрушитель, беспокойный грешник... Он приручает полевого зверя, чтоб утолить свои суетные желания, и, отняв у животных их естественную пищу, учит их губить деревья, обманывать свой голод листьями...

Шорох в низких кустах, уцелевших поодаль по краю заболоченной низины (остатки той рощи, где расположил свой лагерь Ишмаэл), донесся в этот миг до его ушей и оборвал его разговор с самим собой. Верный привычкам долголетней жизни в дремучих лесах, старик вскинул ружье к плечу чуть ли не с той же бодростью и быстротой, как, бывало, в молодости; но, вдруг опомнившись, он опустил ружье с прежней безропотной грустью в глазах.

— Выходи, выходи! — окликнул он.— Птица ли ты или зверь, эти старые руки не принесут тебе гибели. Я поел и попил: зачем я стану отнимать у кого-то жизнь, когда мои нужды не требуют жертвы? Недалеко то время, когда птицы выклюют мои незрячие глаза и опустятся на мои оголившиеся кости: потому что, если все живое создано, чтобы погибнуть, как могу я ожидать, что буду жить вечно? Выходи, выходи же! Эти слабые руки не причинят тебе вреда.

— Спасибо на добром слове, старик! — сказал Поль Ховер и весело выскочил из-за куста.— Когда ты выставил дуло вперед, мне твой вид был не очень по вкусу: он как будто говорил, что ты когда-то мастерски стрелял.

— Что правда, то правда,— сказал траппер и рассмеялся, вспоминая с тайным удовольствием свое былое искусство.— Были дни, когда мало кто лучше меня знал цену вот такому длинному ружью, как это, даром что сейчас я кажусь беспомощным и дряхлым. Да, ты прав, молодой человек. И были дни, когда небезопасно было шевельнуть листок на таком расстоянии, что я мог бы услышать шелест, или красному мингу,— добавил он, понизив голос и нахмурив взор,— выглянуть краем глаза из своей засады. Слышал ты о красных мингах?

— О миногах слышал,— сказал Поль, взяв старика под руку и мягко подталкивая его к чаще; при этом он беспокойно озирался, точно хотел увериться, что никто за ним не следит.— О самых обыкновенных миногах; а вот о красных или там зеленых не слышал.

— Господи, господи! — продолжал траппер, качая головой и все еще смеясь своим лукавым, но беззвучным смехом.— Мальчик спутал человека с рыбой! Впрочем, минг не многим лучше самой жалкой бессловесной твари; а поставь перед ним бутылку рома, да так, чтоб можно было до нее дотянуться,— тут он и вовсе превращается в скота... Ох, не забуду я того проклятого гурона с верхних

озер! Моя пуля сняла его с уступа скалы, где он притаился. Это было в горах, далеко за...

Голос его заглох в густой поросли, куда он позволил Полю себя завести: увлеченный воспоминаниями о делах полувековой давности, он шел, не противясь, за юношей.

Глава VIII

Вот это так сцепились! Пойду-ка посмотрю поближе Этот наглый пройдоха Диомед привязал-таки себе на шлем рукав влюбленного троянского молокососа

Шекспир, «Троил и Крессида»

Чтобы не утомлять читателя, мы не станем затягивать нашу повесть и попросим его вообразить, что протекла неделя между сценой, заключившей последнюю главу, и теми событиями, о которых поведаем в этой.

Все сильнее чувствовалась осень; летняя зелень все быстрее уступала место бурым и пестрым краскам поры листопада. Небо заволакивали быстрые облака, громоздились туча на тучу, а буйные вихри гнали их и кружили или вдруг разрывали, и тогда на минуту открывался просвет в безмятежную, чистую синеву, такую прекрасную в своем извечном покое, что ее не могли смутить суета и тревоги дольнего мира. А там, внизу, ветер мел по диким и голым степям с такою бешеной силой, какую он не часто показывает в менее открытых областях на нашем континенте. В древности, когда слагались мифы, можно было бы вообразить, что бог ветров позволил подвластным ему служителям ускользнуть из их пещеры и вот они разбушевались на раздолье, где ни дерево, ни стена, ни гора — никакая преграда не помешает их играм.

Хотя преобладающей чертою местности, куда мы переносим действие рассказа, была все та же пустынность, здесь все же некоторые признаки выдавали присутствие человека. Среди однообразного волнистого простора прерии одиноко высился голый зубчатый утес на самом берегу извилистой речушки, которая, проделав по равнине длинный путь, впадала в один из бесчисленных притоков Отца Рек. У подножия скалы лежало болотце, а так как его еще

окаймляли заросли сумака и ольхи, тут, как видно, рос недавно небольшой лесок. Однако самые деревья перебрались на вершину и уступы соседних скал. Там, на этих скалах, и можно было увидеть признаки присутствия здесь человека.

Если смотреть снизу, были видны бруствер из бревен и камня, уложенных вперемежку с таким расчетом, чтобы сберечь, по возможности, труд, несколько низких крыш из коры и древесных ветвей, заграждения, построенные здесь и там на самой вершине и по склону — в местах, где подъем на кручу представлялся относительно доступным,— да парусиновая палатка, лепившаяся на пирамидальном выступе с одного угла скалы и сверкавшая издалека белым верхом, точно снежное пятно или, если прибегнуть к метафоре, более соответствующей сущности предмета, как незапятнанное, заботливо оберегаемое знамя над крепостью, которое ее гарнизон должен был отстаивать, не щадя своей жизни. Едва ли нужно добавлять, что эта своеобразная крепость была местом, где укрылся Ишмаэл Буш, когда лишился скота.

В тот день, с которого мы возобновляем наш рассказ, скваттер стоял, опершись на ружье, у подошвы утеса и глядел на бесплодную почву у себя под ногами. Не скажешь, чего больше было в его взгляде — презрения или разочарования.

— Нам впору изменить свою природу,— сказал он шурину, как всегда вертевшемуся подле него,— и из людей, привыкших к христианской пище и вольному житью, превратиться в жвачную скотину. Как я посужу, Эбирам, ты вполне бы мог пропитаться кузнечиками: ты проворный малый и догнал бы самого быстрого их прыгуна [1].

— Да, край не для нас,— ответил Эбирам, которому невеселая шутка зятя пришлась не по вкусу.— Надо помнить поговорку: «Лепивый ходок будет век в пути».

— Ты что хочешь, чтобы я сам впрягся в возы и неделями... какое — месяцами тащил их по этой пустыне? — возразил Ишмаэл. Как все люди этого разбора, он умел, когда понадобится, крепко потрудиться, но не стал бы с неизменным прилежанием изо дня в день выполнять тяжелую работу; предложение шурина показалось ему

[1] Кузнечиками Буш называет саранчу, намекая на библейских акрид, которыми будто бы питались отшельники.

мало соблазнительным. -- Это вам, жителям поселений, нужно вечно спешить домой! А у меня, слава богу, ферма просторная, найдется где вздремнуть владельцу.

— Если тебе нравятся здешние угодья, чего ждать: паши да засевай!

— Сказать-то легко, а как ее вспашешь, эту землю? Говорю тебе, Эбирам, нам надо уходить, и не только по этой причине. Я, ты знаешь, такой человек, что редко вступаю в сделки; но уж если вступил, я выполняю условия честней, чем эти ваши торговцы с их болтливыми договорами, записанными на листах бумаги! По нашему уговору мне осталось пройти еще сотню миль, и я свое слово сдержу.

Скваттер скосил глаза в сторону палатки на вершине его суровой крепости. Шурин перехватил этот взгляд; и какое-то скрытое побуждение — корыстный расчет или, может быть, общность чувства — помогло утвердиться между ними согласию, которое чуть было не нарушилось.

— Я это знаю и чувствую всем своим существом. Но я не забываю, чего ради я пустился в это чертово путешествие, и помню, какая даль отделяет меня от цели. Нам обоим, что мне, что тебе, придется несладко, если мы после удачного начала не доведем наше дело до конца. Да, весь мир, как я посужу, стоит на этом правиле! Еще давным-давно я слышал одного проповедника, который бродил по Огайо; он так и говорил: пусть человек сотню лет жил праведно, а потом на один денек забыл о благочестии, и все идет насмарку: добро ему не зачтут, зачтут только дурное.

— И ты поверил голодному ханже?

— Кто тебе сказал, что я поверил? — задиристо ответил Эбирам, но взгляд его отразил не презрение, а страх.— Разве повторить слова мошенника — значит им поверить?!. А все-таки, Ишмаэл, может быть, он проповедовал честно? Он сказал нам, что мир все равно как пустыня и есть только одна рука, которая может по ее извилистым тропам вести человека, хоть бы и самого ученого. А если это верно в целом, оно, может быть, верно и в частности...

— Брось ты хныкать, Эбирам, говори прямо! — хрипло рассмеялся скваттер.— Ты еще станешь молиться! Но что пользы, как сам ты учишь, служить богу пять минут, а черту — час? Послушай, друг, я не бог весть какой хозяин, но что знаю, то знаю: чтобы снять хороший урожай

даже с самой доброй земли, нужен тяжелый труд; твои гнусавцы любят сравнивать мир с нивой, а людей — с тем, что на ней произросло. Так вот, скажу тебе, Эбирам: ты чертополох или коровяк... хуже — трухлявое дерево: его и жечь-то без пользы.

Злобный взгляд, который Эбирам метнул исподтишка, выдал затаенную ненависть. Но, сразу угаснув перед твердым, равнодушным лицом скваттера, этот взгляд показал вдобавок, насколько смелый дух одного подчинил трусливую природу другого.

Довольный своим верховенством и не сомневаясь в прочности его (не в первый раз он вот так проверял свою власть), Ишмаэл спокойно продолжал разговор, прямо перейдя наконец к своим намерениям.

— Ты ведь не будешь спорить, что за все надо платить сполна,— сказал он.— У меня угнали весь мой скот, и я составил план, как мне получить возмещение и стать не бедней, чем я был. Мало того: когда при сделке человек несет один все хлопоты за обе стороны, дурак он будет, если не возьмет кое-что в свою пользу, так сказать за комиссию.

Так как скваттер, распалившись, заявил это во весь голос, трое-четверо его сыновей, которые стояли без дела под скалой, подошли поближе ленивой походкой всех Бушей.

— Эллен Уэйд сидит дозорной на верхушке скалы,— сказал старшин из юношей.— Я ей кричу, спрашиваю, не видно ли чего, а она не отвечает, только помотала головой. Эллен для женщины слишком уж неразговорчива. Не мешало бы ей научиться хорошим манерам, это не испортит ее красоты.

Ишмаэл глянул туда, где невольная обидчица несла караул. Она примостилась на краю самого верхнего выступа, возле палатки, на высоте по меньшей мере двухсот футов над равниной. На таком отдалении можно было различить только общие очертания ее фигуры да белокурые волосы, развевавшиеся по ветру за ее плечами; и видно было, что она неотрывно смотрит вдаль, на одну какую-то точку среди прерии.

— Что там, Нел? — крикнул Ишмаэл громовым голосом, перекрывшим свист ветра.— Ты увидела что-нибудь побольше суслика?

Эллен разжала губы. Она вытянулась во весь свой

маленький рост, все еще, казалось, не сводя глаз с неведомого предмета, но голос ее, если она и говорила, был недостаточно громок, чтобы услышать его сквозь ветер.

— Девочка и вправду видит что-то поинтересней буйвола или суслика,— продолжал Ишмаэл.— Нел, ты что, оглохла, что ли? Отвечай же, Нел!.. Не видать ли ей оттуда краснокожих? Что ж, я буду рад уплатить им за их любезность под защитой этих бревен и скал!

Так как свою похвальбу скваттер сопровождал выразительными жестами и поглядывал поочередно на каждого из сыновей, таких же, как он, самоуверенных, он отвлек все взоры от Эллен на собственную свою особу; но сейчас, когда и он и юноши разом повернулись посмотреть, какой знак подаст им девушка-часовой, на месте, где она только что стояла, никого уже не было.

— Ей-богу,— закричал Эйза, обычно чуть ли не самый флегматичный из братьев,— девчонку сдуло ветром!

Какое-то подобие волнения поднялось среди юношей, свидетельствуя, что смеющиеся голубые глаза, льняные кудри и румяные щеки Эллен оказали свое действие на их вялые души. В тупом недоумении они глазели на опустевший выступ и переглядывались растерянно, даже немного огорченно.

— Вполне возможно! — подхватил другой.— Она сидела на треспутом камне, и я больше часа все думал сказать ей, что это опасно.

— Это не ее лента болтается там? — закричал Ишмаэл.— Вон, внизу на склоне! Гэй! Кто там шныряет вокруг палатки? Разве я вам всем не говорил...

— Эллен! Это Эллен! — перебили его в один голос сыновья.

И в ту же минуту она опять появилась, чтобы положить конец различным их догадкам и избавить не одну вялую душу от непривычного волнения. Вынырнув из-под парусины, Эллен легким бесстрашным шагом прошла к своему прежнему месту на головокружительной высоте и, указывая вдаль, быстро и горячо заговорила с каким-то невидимым слушателем.

— Нел сошла с ума! — сказал Эйза немного пренебрежительно и все же не на шутку встревожившись.— Она спит с открытыми глазами, и ей чудятся во сне лютые твари с трудными названиями, о которых рассказывает с утра до ночи доктор.

— Может быть, девочка обнаружила разведчика сиу? — сказал Ишмаэл, всматриваясь в степную ширь.

Но Эбирам многозначительно шепнул ему что-то. Ишмаэл опять поднял глаза на вершину скалы — и как раз вовремя, чтобы заметить, как парусина заколыхалась, но явно не от ветра.

— Пусть только попробуют! — процедил сквозь зубы скваттер.— Не посмеют они, Эбирам. Они знают, что со мной шутки плохи!

— Сам посмотри! Завеса отдернута, или я слеп, как днем сова.

Ишмаэл яростно стукнул оземь прикладом ружья и закричал так громко, что Эллен сразу бы его услышала, не будь ее внимание все еще занято тем предметом вдали, который неизвестно почему притягивал к себе ее взгляд.

— Нел! — кричал скваттер.— Отойди, дуреха, или худо будет! Да что это с ней?.. Девчонка забыла родной язык! Посмотрим, не будет ли ей понятней другой.

Ишмаэл вскинул ружье к плечу, и секундой позже оно уже было наведено на вершину скалы. Никто не успел вмешаться, как раздался выстрел, сопровождавшийся, как всегда, яркой вспышкой. Эллен встрепенулась, точно серна, пронзительно взвизгнула и кинулась в палатку так быстро, что нельзя было понять, ранена она или только напугана.

Скваттер выстрелил так неожиданно, что его не успели остановить; но, когда дело было сделано, каждый на свой лад показал, как отнесся он к его поступку. Юноши обменивались злыми, сердитыми взглядами, и ропот возмущения пробежал среди них.

— Что такого сделала Эллен, отец? — сказал Эйза с несвойственной ему горячностью.— За что в нее стрелять, как в загнанного оленя или голодного волка?

— Ослушалась,— сказал с расстановкой скваттер; но его холодный, вызывающий взгляд показал, как мало его смутило плохо скрытое недовольство сыновей.— Ослушалась, мальчик. Если кто еще возьмет с нее пример, плохо ему будет!

— С мужчины и спрос другой, а тут пискливая девчонка!

— Эйза, ты все хвастаешь, что ты-де — взрослый мужчина. Но не забывай: я твой отец и над тобой глава.

— Это я знаю. Отец, да — но какой?

— Слушай, парень, я сильно подозреваю, что это ты тогда проспал индейцев. Так придержи свой язык, усердный часовой, или придется тебе держать ответ за беду, которую ты навлек на нас своей нерадивостью.

— Уйду от тебя! Не хочу, чтоб надо мной командовали, как над малым ребенком! Ты вот говоришь о законе, что ты-де не хочешь его признавать, а сам так меня прижал, точно я не живой человек и нет у меня своих желаний! Я больше тебе не позволю мною помыкать, как последней скотиной! Уйду, и всё!

— Земля широка, мой храбрый петушок, и на ней немало полей без хозяина. Ступай; бумага на владение для тебя выправлена и припечатана. Не каждый отец так щедро оделяет сыновей, как Ишмаэл Буш; ты еще помянешь меня добрым словом, когда станешь богатым землевладельцем.

— Смотри! Смотри, отец! — хором закричали сыновья, хватаясь за предлог, чтобы прервать разгоревшийся спор.

— Смотри! — подхватил Эбирам глухим, встревоженным голосом.— Больше тебе нечего делать, Ишмаэл, как только ссориться? Ты посмотри!

Ишмаэл медленно отвернулся от непокорного сына и нехотя поднял глаза, в которых все еще искрилась злоба. Но, едва он увидел, на что неотрывно смотрели все вокруг, его лицо сразу изменилось. Оно выражало теперь растерянность, чуть ли не испуг.

На месте, откуда таким страшным способом прогнали Эллен, стояла другая женщина. Она была небольшого роста — такого, какой еще совместим с нашим представлением о красоте и который поэты и художники объявили идеальным для женщины. Платье на ней было из блестящего черного шелка, тонкого, как паутина. Длинные распущенные волосы, чернотой и блеском споривше с шелком платья, то ниспадали ей на грудь, то бились за спиной на ветру. Снизу трудно было разглядеть ее черты, но все же было видно, что она молода, и в минуту ее неожиданного появления ее лицо дышало гневом. В самом деле, так юна была на вид эта женщина, хрупкая и прелестная, что можно было усомниться, вышла ли она из детского возраста. Одну свою маленькую, необычайно изящную руку она прижала к сердцу, а другой выразительно приглашала Ишмаэла, если он намерен выстрелить еще раз, целить ей прямо в грудь.

Скваттер и его сыновья, пораженные, молча смотрели на удивительную картину, пока их не вывела из оцепенения Эллен, робко выглянув из палатки. Она не знала, как быть: страх за себя самое удерживал ее на месте, страх за подругу, не менее сильный, звал выбежать и разделить с ней опасность. Она что-то говорила, но внизу не могли расслышать ее слов, а та, к кому она с ними обратилась, не слушала.

Но вот, как будто удовольствовавшись тем, что предложила Ишмаэлу сорвать свой гнев на ней, женщина в черном спокойно удалилась, и место на краю утеса, где она только что показалась, вновь опустело, а зрители внизу только гадали, не прошло ли перед ними сверхъестественное видение.

Минуту и более длилось глубокое молчание, пока сыновья Ишмаэла все еще изумленно смотрели на голый утес. Потом они стали переглядываться, и в глазах у них зажигалась искра внезапной догадки. Было ясно, что для них появление обитательницы шатра оказалось совершенно неожиданным. Наконец Эйза на правах старшего — и вдобавок подстрекаемый неутихшим раздражением ссоры — решил выяснить, что все это означает. Но он поостерегся гневить отца, потому что слишком часто видел, как лют он бывает в злобе, и, обратившись к присмиревшему Эбираму, заметил с издевкой:

— Так вот какого зверя взяли вы в прерию «на приманку»! Я и раньше знал вас за человека, который не скажет правду, где можно солгать. Но в этом случае вы превзошли самого себя. Кентуккийские газеты сотни раз намекали, что вы промышляете черным мясом, но им и не снилось, что вы распространяете свой промысел и на семьи белых.

— Это меня ты назвал похитителем? — вскипел Эбирам.— Уж не должен ли я отвечать на каждую лживую выдумку, которую печатают в газетах по всем Штатам? Посмотрел бы лучше на себя, мальчик, на себя и на всю вашу семейку! Все пни в Кентукки и Теннесси кричат против вас! Да, мой языкастый джентльмен, а в поселениях я видел расклеенные на всех столбах и стволах объявления о папеньке, маменьке и трех сынках — один из них ты: за них предлагалось в награду столько долларов, что честный человек мог бы сразу разбогатеть, если бы он...

Его заставил замолчать удар наотмашь тыльной сторо-

ной руки, о весе которой говорила хлынувшая кровь и вспухшие губы.

— Эйза,— строго сказал отец,— ты поднял руку на брата своей матери!

— Я поднял руку на негодяя, очернившего всю нашу семью! — гневно ответил юноша.— И, если он не научит свой подлый язык говорить умней, придется ему с ним распрощаться. Я не так уж ловко орудую ножом, но при случае смогу подрезать язык клеветнику.

— Сегодня, мальчик, ты забылся дважды. Смотри не забудься в третий раз. Когда слаб закон страны, надо, чтобы силен был закон природы. Ты понял, Эйза; и ты меня знаешь. А ты, Эбирам,— мой сын нанес тебе обиду, и на мне лежит обязанность возместить ее тебе,— запомни: я расплачусь по справедливости — этого довольно. Но ты наговорил дурного обо мне и моей семье. Если ищейки закона расклеили свои объявления по всем вырубкам, так ведь не за какое-нибудь бесчестное дело, как ты знаешь, а потому, что мы держимся правила, что земля есть общая собственность. Эх, Эбирам, если б я мог так же легко омыть руки от сделанного по твоему совету, как я омыл бы их от совершенного по наущению дьявола, я спокойно бы спал по ночам и все, кто носит мое имя, могли бы называть его без стыда. Уймись же, Эйза, и ты тоже, Эбирам. Мы и так наговорили много лишнего. Пусть же каждый из нас хорошенько подумает, прежде чем добавит слово, которым ухудшит наше положение: и без того нам не сладко!

Ишмаэл, договорив, властно махнул рукой и отвернулся, уверенный, что ни сын, ни шурин не посмеют ослушаться. Было видно, что Эйза через силу сдерживается, но природная апатия взяла свое, и вскоре он уже опять казался тем, чем был на деле: флегматиком, опасным лишь минутами, потому что даже страсти были в нем вялы и недолго держались на точке кипения. Не таков был Эбирам. Пока назревала ссора между ним и великаном племянником, его физиономия выражала все возраставший страх; теперь, когда между ним и нападающим встала власть и вся грозная сила отца, бледность на лице Эбирама сменилась трупной синевой, говорившей о глубоко затаенной обиде. Однако он, как и Эйза, смирился перед решением скваттера; и если не согласие, то видимость его вновь восстановилась среди этих людей, которых сдерживала не родственная любовь и не понятие о долге, а только

страх перед Ишмаэлом, сумевшим подчинить своей власти семью: непрочные, как паутина, узы!

Так или иначе, ссора отвлекла мысли молодых людей от прекрасной незнакомки. Спор разгорелся сразу вслед за тем, как она скрылась, и с ним угасла, казалось, самая память о ее существовании. Правда, несколько раз между юношами возникало таинственное перешептывание, причем направление их взглядов выдавало предмет разговора; но вскоре исчезли и эти тревожные признаки; разбившись на молчаливые группы, они уже вновь предались своей обычной бездумной лени.

— Поднимусь-ка я на кампи, мальчики, посмотрю, как там дикари,— сказал подошедший к ним немного погодя Ишмаэл тем тоном, который, как он полагал, должен был при всей своей твердости звучать примирительно.— Если бояться нечего, мы погуляем в поле, не будем тратить погожий день на болтовню, как вздорные горожанки, когда они судачат за чаем со сладкими хлебцами.

Не дожидаясь ни согласия, ни возражений, скваттер подошел к подошве утеса, склоны которого первые футов двадцать везде поднимались почти отвесной стеной. Ишмаэл, однако, направился к тому месту, откуда можно было взойти наверх по узкой расселине, где он предусмотрительно построил укрепление — бруствер из стволов тополя, а перед ним — еще рогатки из сучьев того же дерева. Это был ключ всей позиции, и здесь обычно стоял часовой с ружьем. Сейчас тоже один из юношей стоял там, небрежно прислонившись к скале, готовый в случае нужды прикрывать проход, покуда прочие не займут свои посты.

Отсюда скваттер поднялся наверх, убеждаясь, что подъем достаточно затруднен различными препятствиями, где природными, а где искусственными, пока не выбрался на нечто вроде террасы, или, точнее говоря, на каменную площадку, где он построил хижины, в которых разместилась семья. Это были, как уже упоминалось, того рода жилища, которые можно так часто увидеть в пограничной полосе: сооруженные кое-как из бревен, коры и шестов, они принадлежали к младенческой поре архитектуры. Площадка тянулась на несколько десятков футов, а высота расположения делала ее почти недосягаемой для индейских стрел. Здесь Ишмаэл мог, как полагал он, оставлять малышей в относительной безопасности под присмо

тром их отважной матери; и здесь он застал сейчас Эстер за ее обычными домашними делами в кругу дочерей, которых она поочередно отчитывала с важной строгостью, когда маленькие бездельницы навлекали на себя ее неудовольствие. Она так была захвачена вихрем собственного красноречия, что не слышала бурной сцены внизу.

— Уж и выбрал ты место для стоянки, Ишмаэл,— прямо на юру! — начала она, или, вернее, продолжала, оставив в покое разревевшуюся десятилетнюю девчурку и набрасываясь на мужа.— Честное слово, я тут должна каждую минуту пересчитывать малышей, чтобы знать, не крутит ли их ветром в поднебесье вместе с утками и сарычами. Ну, чего ты, муженек, жмешься к утесу, как ползучий гад по весне, когда небо так и кишит множеством птиц? Думаешь, сном да ленью можно накормить голодные рты?

— Ладно, Истер, поговорила, и хватит,— сказал супруг, произнося ее библейское имя на свой провинциальный лад и глядя на свою крикливую подругу не с нежностью, а скорее с привычной терпимостью.— Будет тебе дичь на обед, если ты не распугаешь всю птицу шумной бранью. Да, женщина,— продолжал он, стоя уже на том самом выступе, откуда недавно так грубо согнал Эллен,— и птица будет у тебя и буйволятина, если мой глаз верно распознал вон то животное за испанскую лигу отсюда.

— Слезай, слезай, говорю, и берись за дело, хватит слов! Болтливый мужик — что брехливый пёс. Нел, как покажутся краснокожие, вывесит тряпку, чтобы вас предостеречь. А что ты тут подстрелил, Ишмаэл? Я несколько минут назад слышала твое ружье, если я не разучилась распознавать звуки.

— Фью! Пугануп ястреба — вон там, видишь? — парит над скалой.

— Еще что! Ястреба! Стрелять с утра по ястребам да сарычам, когда надо накормить восемнадцать ртов! Погляди ты на пчелу или на бобра, милый человек, и научись у них быть добытчиком... Да где ты, Ишмаэл?.. Провалиться мне,— продолжала она, опустив нить, которую сучила на своем веретене,— если он не ушел опять в палатку! Чуть ли не все свое время тратит подле этой никудышной, никчемной...

Нежданное возвращение мужа заставило ее примолкнуть, и, когда он снова уселся рядом с ней, Эстер верну-

лась к прерванному занятию, только что-то проворчав и не выразив своего неудовольствия в более внятных словах.

Диалог, возникший теперь между нежными супругами, был достаточно выразителен. Эстер отвечала сперва несколько угрюмо и отрывисто, но мысль о детях заставила ее перейти на более мирный тон. Так как дальнейший разговор свелся к рассуждениям о том, что надо-де не упустить остаток дня и пойти на охоту, мы не станем задерживаться на его пересказе.

Приняв это решение, скваттер сошел вниз и разделил свои силы на два отряда, назначив одному оставаться на месте для охраны крепости, а другому — следовать за собою в степь. Эйзу и Эбирама он предусмотрительно включил в свой отряд, отлично зная, что ничто, кроме его отцовской власти, не обуздает дикую ярость его отчаянного сына, если уж она пробудится. Покончив с приготовлениями, охотники выступили все вместе, но, несколько отойдя от скалы, рассыпались по прерии, рассчитывая обложить далекое стадо бизонов.

Глава IX

Пригиан получил пощечину,
ничего, стерпится

Шекспир, «Бесплодные усилия любви»

Показав читателю, как Ишмаэл Буш устроился со своей семьей при таких обстоятельствах, когда другой пришел бы в уныние, мы опять перенесем сцену действия на три-четыре мили в сторону от только что описанного места, сохраняя, впрочем, должную и естественную последовательность во времени. В тот час, когда скваттер с сыновьями, как рассказано в предыдущей главе, спустились со скалы, на той луговине, что тянулась по берегам речушки, невдалеке от крепости — на расстоянии пушечного выстрела,— сидели два человека и обстоятельно обсуждали достоинства сочного бизоньего горба, зажаренного на обед с полным пониманием всех свойств этого лакомого блюда. Деликатнейший этот кусок был предусмотрительно отделен от прилегающих менее ценных частей туши и, завернутый в обрезок шкуры с мехом, запечен по всем правилам

на жару обыкновенной земляной печи, а теперь лежал перед своими владельцами шедевром кулинарии прерий. Как в смысле сочности, нежности и своеобразного вкуса, так и в смысле питательности этому блюду следовало бы отдать предпочтение перед вычурной стряпней и сложными выдумками самых прославленных мастеров поварского искусства, хотя сервировка была самая непритязательная. Двое смертных, которым посчастливилось насладиться этим изысканным лакомством американской пустыни, к коему здоровый аппетит послужил превосходной приправой, по-видимому вполне оценили свою удачу.

Один из двоих — тот, чьим познаниям в кулинарном деле другой был обязан вкусным обедом,— казалось, не торопился отдать должное произведению своего мастерства. Он, правда, ел, и даже с удовольствием, но и с той неизменной умеренностью, которой старость умеет подчинить аппетит. Зато его сотрапезник был отнюдь не склонен к воздержанию. Это был человек в расцвете юности и мужественной силы, и шедевру старшего друга он воздал дань самого искреннего признания. Уничтожая кусок за куском, он поглядывал на своего товарища, как бы высказывая благодарным взглядом ту признательность, которую не мог выразить словами.

— Режь отсюда, ближе к сердцу, мальчик,— приговаривал траппер, ибо не кто иной, как старый наш знакомец, житель этих бескрайних равнин, так угощал своего гостя — бортника.— Отведай из сердцевины куска; там природа откроет тебе, что такое поистине вкусная пища, и не требуется придавать ей какой-то посторонний привкус при помощи всяких подливок или этой вашей едкой горчицы.

— Эх, когда бы к жаркому да чашку медовой браги,— сказал Поль, волей-неволей остановившись, чтобы перевести дыхание,— это был бы, клянусь, самый крепкий обед, какой только доводилось есть человеку!

— Да, да, это ты верно сказал,— подхватил хозяин и засмеялся своим особенным смешком, радуясь от души, что доставил удовольствие гостю.— Он именно крепкий и дает силу тому, кто его ест!.. Ná, Гектор, бери! — Он бросил кусок мяса собаке, терпеливо и грустно ловившей его взгляд.— И тебе, как и твоему хозяину, нужно, друг мой, на старости лет подкреплять свои силы. Вот, малец, ты видишь собаку, которая весь свой век и ела и спала разумней и лучше — да и вкусней, скажу я,— чем любой король.

А почему? Потому что она п о л ь з о в а л а с ь, а не злоупотребляла дарами своего создателя. Она создана собакой и ест по-собачьи. Он же создан человеком, а жрет, как голодный волк! Гектор оказался хорошей и умной собакой, и все его племя было такое же: верный нюх, и сами верны в дружбе. Знаешь, чем в своем стрянне житель пустынь отличается от жителя поселений? Нет, вижу ясно по твоему аппетиту, что не знаешь. Так я тебе скажу. Один учится у человека, другой — у природы. Один думает, что может что-то добавить к дарам своего создателя, в то время как другой смиренно радуется им. Вот и весь секрет.

— Вот что, траппер,— сказал Поль, мало что усвоивший из нравственного назидания, которым собеседник почел нужным сдобрить обед.— Каждый день, пока мы с тобой живем в этом краю (а дням этим не видно конца), я буду убивать по буйволу, а ты — жарить его горб!

— Не согласен, ох, не согласен! Животное доброе, какую часть ни возьми, и создано оно в пищу человеку; но не хочу я быть свидетелем и пособником в таком деле, чтоб каждый день убивали по буйволу! Слишком это расточительно.

— Да какое же это, к черту, расточительство? Если он весь такой вкусный, я берусь, старик, один съесть его целиком, с копытами вместе... Эге, кто там идет? Кто-то с длинным носом, могу сказать, и нос навел его на верный след, если человек охотился за хорошим обедом.

Путник, чье появление прервало их разговор и вызвало последнее замечание Поля, шел размеренным шагом по берегу речки прямо на двух сотрапезников. Так как в его наружности не было ничего устрашающего или враждебного, бортник не только не отложил ножа в сторону, а, пожалуй, еще усердней налег на еду, как будто опасался, что бизоньего горба, чего доброго, не хватит на троих. Совсем иначе повел себя траппер. Более умеренный в еде, он был уже сыт и встретил вновь прибывшего взглядом, которым ясно говорил, что гостю рады и явился он вовремя.

— Подходи, друг,— сказал он, видя, что путник приостановился в нерешительности.— Подходи, говорю. Если твоим проводником был голод, он тебя привел куда надо. Вот мясо, а этот юноша даст тебе поджаренного кукурузного зерна белее нагорного снега. Подходи, не бойся, мы не хищные звери, которые пожирают друг друга, а христиане, принимающие с благодарностью, что дал господь.

— Уважаемый охотник,— ответил доктор, ибо это и был наш натуралист, вышедший на свою ежедневную прогулку,— я чрезвычайно рад столь счастливой встрече: мы оба любители одного и того же занятия и нам следует быть друзьями.

— Господи! — сказал старик и, не заботясь о приличии, рассмеялся в лицо философу.— Это же тот человек, который хотел меня уверить, что название животного может изменить его природу! Подходи, друг, мы тебе рады, хотя ты прочел слишком много книг и они тебе затуманили голову. Садись, и, когда отведаешь от этого куска, ты скажешь мне, известно ли тебе, как называется создание, доставившее нам мясо на обед.

Глаза доктора Батциуса (окажем почтение доброму человеку и назовем его именем, самым приятным для его слуха), глаза доктора Батциуса, когда он услышал это предложение, выразили искреннюю радость. Долгая прогулка и свежий ветер возбудили его аппетит; и вряд ли сам Поль Ховер был больше склонен отдать должное повар-

скому искусству траппера, чем любитель природы, когда выслушал приятное это приглашение. Рассмеявшись мелким смешком, перешедшим в какую-то ухмылку, когда он попробовал его подавить, доктор сел на указанное место рядом со стариком и без дальнейших церемоний приготовился приступить к еде.

— Я осрамил бы свое ученое звание,— сказал он, с явным удовольствием проглотив кусочек мяса и в то же время стараясь исподтишка разглядеть опаленную и запекшуюся шкуру,— да, осрамил бы свое звание, если бы на американском континенте нашлось хоть одно животное или птица, которых я не мог бы распознать по одному из многочисленных признаков, какими они охарактеризованы в науке. Это... гм... Мясо сочное и вкусное... Разрешите, приятель, нельзя ли горсточку вашего зерна?

Поль, продолжавший есть с неослабным усердием и поглядывавший искоса на других, совсем как собака, когда она занята тем же приятным делом, бросил ему свою сумку, не посчитав нужным хоть на миг приостановить свой труд.

— Ты сказал, друг, что у вас есть много способов распознавать животное? — заметил траппер, не сводивший с него глаз.

— Много... много, и безошибочных. Скажем, плотоядные животные определяются прежде всего по резцам.

— По чему? — переспросил траппер.

— По резцам. То есть по зубам, которыми природа снабдила их как средством защиты и чтобы рвать ими пищу. Опять же...

— Так поищи зубы этого создания,— перебил его траппер, желая во что бы то ни стало уличить в невежестве человека, который вздумал тягаться с ним в знании дичи.— Поверни кусок, и увидишь свою рисцу.

Доктор последовал совету и, конечно, без успеха, хотя и воспользовался возможностью разглядеть шкуру,— и снова тщетно.

— Ну, друг, нашел ты, что тебе нужно, чтоб различить, утка это или лосось?

— Полагаю, животное здесь не целиком?

— Еще бы! — усмехнулся Поль. Он так наелся, что вынужден был наконец сделать передышку.— Я отхватил от бедняги, поручусь вам, фунта три на самом верном безмене к западу от Аллеганов. Все же по тому, что

осталось,— он с сожалением смерил взглядом кусок, достаточно большой, чтобы накормить двадцать человек, но от которого вынужден был оторваться, так как больше не мог проглотить ни крошки,— вы можете составить себе правильное понятие. Режьте ближе к сердцу, как говорит старик, там самый смак.

— К сердцу? — подхватил доктор, втайне радуясь, что ему предоставляют для осмотра определенный орган.— Ага, дайте мне взглянуть на сердце — это сразу позволит установить, с какого рода животным мы имеем дело... Так! Это, конечно, не сог [1]. Ясно — животное, учитывая его тучность, следует отнести к отряду Belluae [2].

Траппер залился благодушным, но по-прежнему беззвучным смехом, крайне неуместным в глазах оскорбленного натуралиста. Такая неучтивость, считал он, не только мгновенно обрывает течение речи, но и в ходе мыслей вызывает застой.

— Послушайте, у него животные бродят отрядами, и все они сплошь белые! Милый человек, хоть вы одолели все книги и не скупитесь на трудные слова (скажу вам наперед — их не поймут ни в одном народе, ни в одном племени к востоку от Скалистых гор!), вы отошли от правды еще дальше, чем от поселений. Животные эти бродят по прерии десятками тысяч и мирно щиплют траву, а в руке у вас никакая не корка: это кусок буйволова горба, такой сочный, что лучшего и пожелать нельзя!

— Мой добрый старик,— сказал Овид, силясь подавить нарастающее раздражение, которое, полагал он, не вязалось с его докторским достоинством,— ваша система ошибочна как в своих предпосылках, так и в выводах; а классификация ваша такая путаная, что в ней смешались все научные различия. Буйвол отнюдь не наделен горбом; и мясо его не вкусно и не сочно, тогда как предмет нашего обсуждения, не могу отрицать, характеризуется именно...

— Вот тут я против вас и за траппера,— перебил Поль Ховер.— Человек, который посмел заявить, что мясо буйвола не вкусно, не достоин его есть [3].

---

[1] Сердце (лат.).

[2] Крупный зверь, чудовище (лат.).

[3] Едва ли нужно объяснять читателю, что животное, так часто упоминаемое в этой книге и в просторечии именуемое буйволом, есть на самом деле бизон. Отсюда постоянные недоразумения между обитателями прерий и людьми науки. *(Примеч. автора.)*

Доктор, до той минуты едва удостоивший бортника лишь беглым взглядом, при этом дерзком вмешательстве воззрился на юношу и как будто узнал его.

— Главные отличительные признаки вашего лица, приятель,— сказал он,— мне знакомы. Или вас, или другую особь вашего класса я где-то видел.

— Мы с вами как-то встретились в лесах к востоку от Большой реки. Вы еще меня подбивали выследить шершня до его гнезда. Точно я плохо вижу и могу среди бела дня принять другую тварь за медоносную пчелу! Помните, мы с вами проблуждали целую неделю? Вы гонялись за вашими жабами и ящерицами, я — за дуплами и колодами, и каждый из нас поработал не зря! Я наполнил свои бадейки самым сладким медом, какой мне случалось посылать в поселения, да еще повез домой с дюжину ульев [1]. А у вас прямо лопалась сумка с вашим ползучим зверинцем. Я ни разу не посмел спросить вас напрямик, приятель, но вы, я полагаю, содержатель музея?

— Да! Вот вам еще одна их злая прихоть! — воскликнул траппер.— Они умертвят оленя, и лося, и дикую кошку, и всякого зверя, что рыщет в лесу, и набьют его старым тряпьем, и вделают ему в голову пару стеклянных глаз, а потом выставят напоказ и назовут его именем твари господней. Как будто изделье смертного может равняться с тем, что создал бог!

— Как же, как же, помню! — отозвался доктор, на которого жалоба старика, видимо, не произвела впечатления.— Как же, как же! — Он дружески протянул руку Полю.— Это была очень плодотворная неделя, как покажут когда-нибудь мой гербарий и каталоги. Да, молодой человек, я помню вас отлично. Ваша характеристика: класс — млекопитающее, отряд — приматы, род и вид — homo, разновидность — кентуккийский.— Натуралист умолк, чтоб улыбнуться собственной шутке, и продолжал: — После того как мы расстались, я совершил далекое

[1] Бортничество довольно распространено в Америке по окраинам. Когда охотник за пчелами видит пчел на цветах, он старается поймать их хотя бы две. Потом, избрав подходящее место, он выпускает одну из пойманных пчел, и та непременно летит к своему улью. Затем ловец опять переходит на другое место, подальше или поближе, как подскажут обстоятельства, и выпускает еще и вторую. Проследив направление полета той и другой пчелы, он по углу определяет точку пересечения двух линий, где и должен находиться улей.

путешествие, ради которого вступил в компактум, или соглашение, с неким Ишмаэлом...

— Бушем! — перебил Поль, нетерпеливый и опрометчивый.— Ей-богу, траппер, это же тот самый кровопускатель, о котором мне рассказывала Эллен!

— Значит, Нелли не умела отдать мне должное,— поправил доктор,— ибо я не принадлежу к флеботомической школе и предпочтительней прибегаю к средствам очищения крови там, где другие спешат отворять кровь.

— Я просто оговорился, приятель. Нелли назвала вас искусным врачом.

— Если так, она преувеличила мои заслуги,— скромно сказал доктор Батциус и поклонился.— Все-таки Эллен славная, добрая девушка — и умная к тому же. Да, да, я всегда находил Нелли Уэйд очень доброй и милой девушкой!

— Вот как, черт возьми! Находили! — закричал Поль, отбросив наконец кусок, который обсасывал, потому что никак не мог оторваться от вкусного блюда, и уставив свирепый взгляд прямо в рот ничего не подозревавшего доктора.— Кажется, любезный, вы хотите и Эллен запихнуть в свою сумку?

— За все сокровища растительного и животного мира я не тронул бы и волоска на ее голове! Дорогая малютка! Я к ней питаю то чувство, которое можно назвать «амор натуралис» или, вернее, «патернус», что значит «отцовская любовь».

— Так... Это еще куда ни шло при такой разнице в годах,— холодно заметил Поль и опять потянулся за отброшенным куском.— А то вы были бы точно старый трутень в одном улье с молодыми пчелками.

— Да, он говорит разумно, потому что подсмотрел это в природе,— заметил траппер.— Но, друг, ты упомянул, что живешь у некоего Ишмаэла Буша?

— Именно. В силу нашего компактума...

— Кто такие компакты, я не знаю и не могу судить о них, а сиу — этих я видел своими глазами, как они врывались в ваш лагерь и угнали скот; не оставили бедняге, которого ты зовешь Ишмаэлом, ни лошади, ни коровы — ни одной скотины.

— За исключением Азинуса,— пробурчал доктор, который в это время расправлялся со своею порцией буйво-

лова горба, забыв и думать о том, существует ли таковой по данным науки.— Азинус доместикус американус — это все, что у него осталось!

— С радостью слышу, что у него сохранилось их столько, хоть я и не знаю, много ли пользы приносят названные тобой животные; да и неудивительно: я ведь так давно живу вне поселений. Но ты не скажешь мне, друг, какую кладь везет переселенец под белым холстом? Он так ее стережет! Готов зубами грызться за нее, точно волк за оставленную охотником тушу.

— Вы об этом слышали? — закричал доктор и от удивления уронил поднесенный ко рту кусок.

— Нет, я ничего не слышал, но я видел холст, а когда я захотел узнать, что за ним укрыто, меня за эту вину чуть не загрызли!

— Чуть не загрызли? Значит, животное плотоядное! Для Ursus horridus оно слишком тихое; будь это Canis latrans [1], его выдал бы голос. Впрочем, нет: если бы он принадлежал к роду *verae* [2], Нелли Уэйд не могла бы так безбоязненно входить к нему. Почтенный охотник! Одинокий зверь, запираемый на день в повозке, а на ночь — в палатке, больше смущает мой ум, чем весь прочий список quadrupedium, и по весьма простой причине: я не могу дознаться, как его классифицировать.

— Вы думаете, это хищник?

— Я знаю, что это квадрупедис; опасность же, которой вы подверглись, указывает на то, что это плотоядное.

Пока шло это сбивчивое объяснение, Поль Ховер сидел молчаливый и задумчивый и с глубоким вниманием поочередно поглядывал на каждого из них. Но что-то в тоне доктора вдруг его взволновало. Тот едва успел договорить свое утверждение, как молодой человек выпалил вопрос:

— Скажите, друг, что значит «квадрупедиум»?

— Каприз природы, в коем она меньше, чем во всем другом, проявила свою бесконечную мудрость. Если бы одну пару конечностей можно было заменить парой вращающихся рычагов — в согласии с усовершенствованием, которое имеется в моем новом отряде фалангакрура (в просторечии — рычагоногие), несомненно, вся конструк-

---

[1] Латинское название койота, американского лугового волка.
[2] Хищный зверь (лат.).

ция сильно выиграла бы в гармоничности и жизнеспособности. Но, поскольку квадрупедиум сформирован таким, как есть, я зову его капризом природы. Да, ничем иным, как капризом природы.

— Знаешь, любезный, мы в Кентукки не мастаки по части книжных слов. «Каприз природы» для нас так же невразумительно как квадрупедиумы.

— Квадрупедиум означает «животное о четырех ногах» — то есть «зверь».

— Зверь! Так вы полагаете, что Ишмаэл Буш возит за собою зверя в клетке?

— Я это знаю. Склоните ко мне свой слух — нет, не буквально, друг,— добавил он, встретив недоуменный взгляд Поля,— а фигурально, через посредство уха, и вы кое-что услышите. Я уже поставил вас в известность, что в силу некоего компактума я путешествую с вышеозначенным Ишмаэлом Бушем; но, хотя я обязался исполнять известные функции, пока путешествие не придет к концу, не было такого условия, что оное путешествие должно быть сempитернум, то есть вечным. Далее, хотя про этот край едва ли можно сказать, что он всесторонне изучен, ибо, в сущности, он представляет для естествоведа девственную область, все же нельзя не признать, что он крайне беден сокровищами растительного царства. А посему я давно удалился бы на несколько сот миль к востоку, если бы некое внутреннее побуждение не склоняло меня ознакомиться с животным, о котором шла у нас речь, и, должным образом описав его, внести в классификацию. И я питаю некоторую надежду,— он понизил голос, как будто собираясь сообщить важную тайну,— что я смогу уговорить Ишмаэла Буша, чтобы он позволил мне ради этой цели произвести диссекцию.

— Вы видели это существо?

— Я с ним ознакомился не через органы зрения, а менее обманчивым путем умозрения: через заключения разума и дедуктивные выводы из научных предпосылок. Я наблюдал привычки животного, молодой человек, и смело могу утверждать — на основе доказательств, какими пренебрег бы рядовой наблюдатель,— что оно крупных размеров, малоподвижно, возможно, находится в состоянии спячки, весьма прожорливо и, как установлено сейчас прямым свидетельством уважаемого охотника, свирепо и плотоядно.

— Хотел бы я, приятель,— сказал Поль, на которого выводы доктора произвели сильное впечатление,— узнать наверняка, вправду ли это зверь!

— На этот счет сомнения отпадают: помимо многочисленных доказательств, явствующих из привычек животного, мы имеем утверждение самого Ишмаэла Буша. Каждое мельчайшее звено в моей дедукции вполне обосновано. Молодой человек, мною движет отнюдь не праздное любопытство, ибо мои изыскания, как я скромно надеюсь, во-первых, служат прогрессу науки, а во-вторых, приносят пользу моим ближним. Я томился желанием узнать, что содержится в палатке, которую Ишмаэл так заботливо охраняет и от которой по нашему договору в течение известного срока я должен держаться не ближе чем на расстоянии стольких-то локтей, в чем меня заставили свято поклясться юраре пер деос [1]. Всякий обет — юс юрандум — дело непуточное, нельзя легко относиться к клятве. Но, так как мое участие в экспедиции зависело от этого условия, я дал согласие, сохранив за собой возможность в любое время наблюдать издалека. Дней десять назад Ишмаэл, видя мое состояние, сжалился над скромным служителем науки и сообщил мне как факт, что в повозке содержится за завесой некое животное, которое он везет в прерию как приманку: он рассчитывает, используя его, подманивать других животных того же вида или даже рода. С этого часа моя задача упростилась: оставалось наблюдать привычки животного и записывать результаты наблюдений. Когда мы прибудем в намеченное место, где эти животные водятся, говорят, в изобилии, я буду допущен к свободному осмотру данной особи.

Поль слушал по-прежнему в глубоком молчании, пока доктор не довел до конца свое странное объяснение; только тогда бортник недоверчиво покачал головой и счел удобным возразить:

— Эх, приятель! Старик Ишмаэл запихнул вас в дупло, на самое дно, где вам от ваших глаз не больше пользы, чем трутню от жала. Я тоже кое-что знаю об этой крытой повозке. Ваш скваттер просто лжец, и я вам сейчас это докажу. Посудите сами, разве стала бы такая девушка, как Эллен Уэйд, водить дружбу с диким зверем?

— А почему? Вполне могла бы!— сказал естество-

[1] Поклясться богами (лат.).

вед,— Нелли не лишена любознательности и часто с удовольствием подбирает те сокровища знаний, которые я поневоле разбрасываю в этой пустыне. Почему она не может изучать привычки какого-либо животного, пусть даже носорога?

— Полегче, полегче! — осадил бортник, столь же уверенный в себе и если не столь образованный, как доктор, то все же не хуже его осведомленный в затронутом вопросе.— Эллен храбрая девушка и такая, что имеет собственное мнение, или я в ней ошибаюсь! Но при всем своем мужестве и смелости суждений она все-таки только женщина. Точно я не видел частенько, как она плачет!..

— Так вы знакомы с Нелли?

— Черт возьми! Конечно, нет! Но женщина, я знаю, всегда женщина; и, прочти она все книги в Кентукки, Эллен Уэйд не войдет одна в палатку к хищному зверю!

— Мне думается,— спокойно сказал траппер,— что тут что-то нечисто. Скваттер, я сам тому свидетель, не терпит, чтобы кто-либо заглядывал в палатку, и у меня есть верное доказательство — куда вернее ваших,— что в повозке нет клетки со зверем. Вот вам Гектор. Он собака из доброго рода, и нюх у него такой, что лучшего не бывает. Будь там зверь, уж Гектор давно бы сказал об этом своему хозяину.

— Вы решитесь противопоставить собаку человеку? Невежество — знанию? Инстинкт — разуму? — вспылил доктор.— Каким способом, смею спросить, гончая может распознать привычки, вид или хотя бы род животного, как распознает их мыслящий, образованный человек, оснащенный научными знаниями, покоритель природы?

— Каким способом? — хладнокровно повторил старый лесовик.— Прислушайтесь. И, если вы думаете, что школьный учитель может научить уму-разуму лучше господа бога, вы увидите сами, как вы глубоко ошибаетесь. Слышите, в заросли что-то шевелится? Уже минут пять доносится хруст ветвей. Скажите же мне, кто там таится?

— Полагаю, кровожадный зверь! — воскликнул доктор, еще не забывший свою недавнюю встречу с веспертилио хоррибилис.— Вы при ружьях, друзья: не зарядите ли их осторожности ради? На мой дробовик надежда плохая.

— Тут он, пожалуй, прав! — отозвался траппер и взял ружье, отложенное в сторону на время обеда.— А все-таки назовите мне эту тварь.

— Это лежит вне пределов человеческого познания! Сам Бюффон не сказал бы, принадлежит ли это животное к четвероногим или к отряду змей! Овца это или тигр!

— Так ваш Бюффон дурак перед моим Гектором! Ну-ка, песик! Кто там, собачка? Погонимся за ним или дадим пройти?

Собака, уже известившая траппера подрагиванием ушей, что почуяла приближение какого-то животного, подняла покоившуюся на передних лапах голову и слегка раздвинула губы, как будто собираясь оскалить остатки зубов. Но вдруг, отбросив свое враждебное намерение, она потянула носом, широко зевнула, отряхнулась и вновь мирно улеглась.

— Ну, доктор,— сказал, торжествуя, траппер,— я уверен, что в чаще нет ни дичи, ни хищного зверя; знать об этом очень существенно для человека, когда он слишком стар, чтобы зря растрачивать свои силы, а все же не хочет пойти на обед пантере!

Собака перебила хозяина громким ворчанием, но и сейчас не подняла головы.

— Там человек! — пояснил траппер и встал.— Там человек, если я хоть что-то смыслю в повадке моей собаки. С Гектором у нас разговоры недолгие, но редко бывает, чтобы мы друг друга не поняли!

Поль Ховер вскочил с быстротою молнии и, вскинув ружье, крикнул угрожающе:

— Если друг, подходи; если враг, не жди добра!

— Друг, белый человек и, посмею утверждать, христианин! — отозвался голос из чащи. В тот же миг кусты раздвинулись, и секундой позже говоривший вышел на поляну.

Глава X

Отойди в сторону. Адам: ты услышишь, как он на меня накинется

Шекспир. «Как вам это понравится»

Известно, что еще задолго до того, как бескрайние просторы Луизианы во второй и, будем надеяться, последний раз переменили хозяев, на ее никем не охраняемую территорию часто проникали всевозможные искатели приклю-

чений. Едва знакомые с цивилизацией охотники из Канады, люди того же разбора, только чуть просвещенней, из Штатов, да метисы, то есть полубелые-полуиндейцы, причислявшие себя к белым, жили, затерявшись среди различных индейских племен, или же добывали себе скудное пропитание, селясь в одиночестве на угодьях бобра да бизона — по-местному, буйвола [1].

Поэтому не так уж было необычно встретить незнакомца на пустынных равнинах Запада. По признакам, которых не заметил бы ненаметанный глаз, житель окраинных земель узнавал о появлении по соседству соотечественника и, сообразно своему нраву или интересам, либо искал сближения с непрошеным гостем, либо уклонялся от встречи. По большей части такая встреча проходила мирно; белым следовало опасаться общего врага — исконных и, пожалуй, самых законных хозяев страны. Нередки бывали и случаи, когда зависть и жадность приводили к печальной развязке — к прямому насилию или безжалостному предательству. Поэтому два охотника при встрече в Американской пустыне (как мы находим иногда удобным называть эту область) обычно приближались друг к другу подозрительно и настороженно, подобно двум кораблям в кишащем пиратами море: ни одна из сторон не желает выдать свою слабость, выказав недоверие, ни одна не склонна сделать первый дружеский шаг, который ее свяжет и затруднит отступление.

В известной степени такова была и описываемая встреча. Незнакомец довольно решительно двинулся вперед, но при этом зорко следил за каждым движением трех сотрапезников и то и дело замедлял шаг, опасаясь, как бы приближение не оказалось излишне поспешным. А Поль между тем стоял, поигрывая курком ружья: гордость не позволяла ему дать незнакомцу заподозрить, что они трое могут бояться одного, но в то же время благоразумие не позволяло ему вовсе пренебречь обычными мерами предосторожности. Заметное различие в приеме, какой устроители пира оказали двум своим гостям, было обусловлено различием в облике первого и второго пришельца.

---

[1] В добавление к признакам, устанавливающим в науке различие между двумя этими видами, следует отметить (с должной ссылкой на доктора Батциуса) как едва ли не важнейшую особенность, что, в то время как мясо бизона вкусно и питательно, буйволятина малосъедобна. *(Примеч. автора.)*

Если натуралист казался рассеянным чудаком и безусловно мирным человеком, то вновь прибывший был с виду силен, а по выправке и поступи нетрудно было признать в нем военного.

На голове он носил синюю суконную шапочку военного образца, украшенную замусоленной золотою кистью и почти тонувшую в копне курчавых, черных как смоль волос. Вокруг шеи была небрежно обмотана полоска черного шелка. Тело облегала темно-зеленая охотничья блуза с желтой бахромой и позументом, какие можно было иногда увидеть на солдатах пограничных войск. Из-под блузы, однако, выглядывали воротник и лацканы куртки того же синего добротного сукна, что и шапка. На ногах у незнакомца были длинные, оленьей кожи гетры и простые индейские мокасины. Прямой и грозный, с богатой отделкой кинжал был заткнут за шелковый вязаный красный кушак; второй пояс или, точнее, сыромятный ремень нес пару совсем маленьких пистолетов в пузатых кобурах. А за плечом висело короткое, тяжелое военное ружье; сумка для пуль и рог для пороха занимали свое обычное место — под левой и правой руками. На спине у него был ранец, помеченный всем известными инициалами, из-за которых позже правительство Соединенных Штатов стали в шутку именовать дядей Сэмом [1].

— Я не враг,— сказал незнакомец, слишком привычный к виду оружия, чтобы испугаться нелепой воинственной позы, какую счел нужным принять доктор Батциус.— Я пришел как друг; как человек, чьи цели и намерения не помешают вашим.

[1] Соединенные Штаты — United States, или в сокращении U S, что и расшифровывалось в шутку как «Uncle Sam» — то есть «дядя Сэм».

— Слушай, приятель,— резко сказал Поль Ховер,— сумеешь ты выследить пчелу от этого открытого места до ее лесного улья, может быть, в двенадцати милях и больше?

— За такою птицей, как пчела, у меня еще не было нужды гоняться,— рассмеялся незнакомец,— хотя и я в свое время был в некотором роде птицеловом.

— Так я и подумал! — воскликнул Поль и дружески протянул руку с истинной свободой обращения, по которой сразу узнаешь американца из пограничной полосы.— Значит, пожмем друг другу лапы! Делить нам с тобою нечего, раз ты не ищешь меда. А теперь, если найдется у тебя в животе пустой уголок и если ты умеешь глотать росу, когда она каплет прямо в рот, так вот перед тобой лежит недурной кусок. Отведай, приятель, и если, отведав, ты не скажешь, что это самый вкусный обед, какой ты едал со времени... Скажи-ка, ты давно из поселений?

— Уже много недель, и, боюсь, назад попаду не так-то скоро. Во всяком случае, я принимаю приглашение, потому что пощусь со вчерашнего дня; к тому же я знаю, как хорош бизоний горб, и от такой еды не откажусь.

— Ага, тебе это блюдо знакомо! Значит, ты оценил его раньше меня, хотя сейчас, полагаю, я тебя нагнал. Я был бы счастливейшим парнем на весь край от Кентукки до Скалистых гор, когда б имел уютную хижину поближе к старому лесу, где полно дуплистых деревьев, да каждый день вот такой горбок, да охапку свежей соломы для ульев, да крошку Эл...

— Крошку чего? — спросил пришелец; откровенность и общительность бортника казались ему забавными.

— А уж это никого, кроме меня, не касается,— ответил Поль и занялся кремнем своего ружья, беспечно насвистывая мелодию, широко известную на берегах Миссисипи.

Пока шел этот разговор, пришелец подсел к бизоньему горбу и уже успел произвести решительное вторжение в то, что от него оставалось. Между тем доктор Батциус наблюдал за сей операцией с настороженностью куда более удивительной, чем радушие, проявленное простосердечным Полем.

Однако беспокойство натуралиста или, вернее, его опасения были порождены причинами совсем другого рода, нежели дружеская доверчивость бортника. Его поразило,

что пришелец назвал животное, чье мясо он получил на обед, его правильным наименованием; и так как сам он чуть не первый воспользовался исчезновением препятствий, какие политика Испании ставила на пути всем исследователям ее трансатлантических владений, вела ли тех коммерческая выгода или, как его самого, благородный интерес к науке, то его практическая сметка (ибо он не был вовсе лишен таковой) подсказала ему, что побуждения, увлекшие его в такое путешествие, могли толкнуть на то же и другого естествоиспытателя. Итак, он стоял перед возможностью неприятного соперничества, грозившего отнять у него по меньшей мере половину справедливой награды за все перенесенные здесь лишения и опасности. А потому, если знать душевный склад натуралиста, не покажется удивительным, что его природная мягкость и благодушие сейчас изменили ему и он стал бдительно следить за действиями незнакомца, дабы проникнуть в его злокозненные намерения.

— А ведь и впрямь восхитительное блюдо! — объявил ничего не подозревавший молодой пришелец (его с полным правом можно было назвать не только молодым, но и красивым).— Или голод придал мясу этот особенный вкус, или же бизон вправе занять первое место во всем бычьем семействе!

— Натуралисты, сэр, если уж прибегают к просторечью, то считают более правильным называть род по корове,— сказал доктор Батциус, решив, что его подозрения подтверждаются, и кашлянул для прочистки горла, перед тем как заговорить, подобно тому как дуэлянт ощупывает острие рапиры, перед тем как вонзить ее в грудь противника.— Такая фигура речи более совершенна, ибо, конечно, «bos» (что значит на латыни «вол») неспособен служить продлению племени; но в своем расширенном значении слово «bos» вполне применимо и к «vacca» [1], а это куда более благородное животное.

Тон, каким доктор произнес свое суждение, показывал его готовность немедленно приступить к ученому спору, ибо он не сомневался, что пришелец не сходится с ним во взглядах, и теперь выжидал ответного удара, дабы отвести таковой еще более убедительным выпадом. Но молодой человек предпочел налечь на угощение, так вовремя

[1] Корова (лат.).

ему предложенное, и отнюдь не спешил ухватиться за спор по этой или другой запутанной проблеме, которая могла бы доставить ревнителям науки повод для умственного поединка.

— Весьма возможно, что вы правы, сэр,— ответил он с оскорбительным безразличием к важности сдаваемой им позиции.— Да, вы совершенно правы, сэр, и слово «vacca» было бы здесь более уместно.

— Извините, сэр, но вы крайне ошибочно толкуете мое замечание, если полагаете, что я включаю Bibulus Americanus в семейство vacca, ибо, как вам хорошо известно, сэр... или, возможно, я должен назвать вас доктором? У вас несомненно имеется медицинский диплом?

— Вы оказываете мне незаслуженную честь,— перебил незнакомец.

— Значит, студент?.. Или вы посвятили себя изучению другой науки — возможно, из гуманитарной области?

— Опять неверно.

— Но не могли же вы, молодой человек, приступить к столь важному... я сказал бы, даже грозному служению без всякого свидетельства о вашей к тому пригодности! Без какого-либо документа, который подтверждал бы ваше право заниматься таким делом и держаться на равной ноге с коллегами, посвятившими себя тем же благим целям.

— Не понимаю, на каком основании или в каких видах вы вмешиваетесь в мои дела! — вспылил молодой человек. Он весь покраснел и вскочил с живостью, показавшей, как мало значат для него более грубые нужды, когда задет близкий его сердцу предмет.— И ваш язык мне непонятен, сэр. То, что в отношении других можно назвать «благою целью», для меня — высший долг. И со свидетельством тоже не менее странно: признаюсь, не понимаю, кто его может спрашивать. И зачем я должен его предъявлять?

— Обычай предписывает запасаться таким документом,— веско возразил доктор.— И в соответственных случаях принято предъявлять его с тем, чтобы родственные и дружественные умы сразу отметали недостойное подозрение и, пренебрегая, так сказать, простейшими вопросами, могли сразу же начать с тех статей, которые являются desiderata [1] для обеих сторон.

---

[1] Желательное, наиболее интересное (лат.).

— Странное требование! — пробормотал молодой человек, переводя взгляд с одного на другого, как будто изучая, что представляют собою эти трое, и взвешивая, на чьей стороне сила. Потом, пошарив у себя на груди, он извлек маленькую пикатулочку и, с достоинством подав ее доктору, сказал: — Из этого вы увидите, сэр, что я имею достаточное право путешествовать по стране, которая ныне находится во владении Американских Штатов.

— Посмотрим! — провозгласил натуралист, разворачивая большой, сложенный в несколько раз пергамент.— Ага, подпись философа Джефферсона![1] Государственная печать! Вторая подпись — военного министра! Вот как! Свидетельство о присвоении Дункану Уикасу Мидлтону звания капитана артиллерии.

— Кому, кому? — подхватил траппер, который в продолжение всего разговора сидел и жадно вглядывался в незнакомца, в каждую черточку его лица.— Какое имя? Вы назвали его Уикасом? Уикас? Там написано — Уикас?

— Так меня зовут,— несколько высокомерно отозвался юноша.— Это имя индейского вождя, которое с гордостью носим мой дядя и я. Оно нам дано в память большой услуги, оказанной нашей семье одним воином в давних войнах.

— Уикас! Вы его назвали Уикасом! — повторил траппер и, подойдя к юноше, откинул с его лба черные кудри без малейшего сопротивления со стороны их изумленного обладателя.— Ага! Глаза мои стары и не так остры, как в ту пору, когда я и сам был воином, но я узнаю в сыне облик отца! Его лицо мне сразу напомнило кого-то, едва он подошел. Но многое, многое прошло с тех далеких лет перед моими слабеющими глазами, и я не мог припомнить, когда и где я встречал человека, похожего на него! Скажи мне, мальчик, под каким именем известен твой отец?

— Он был офицером Штатов в войне за независимость и носил, понятно, то же имя, что и я,— Мидлтон; а брата моей матери звали Дункан Уикас Хейворд.

— Снова Уикас! Снова Уикас! — отозвался старик.— А его отца?

— Точно так же, но без индейского имени. Ему с моей

[1] Томас Джефферсон (1743—1821) — американский государственный деятель и философ. С 1801 по 1803 год был президентом США.

бабушкой и была оказана та услуга, о которой я упомянул.

— Я знал! Я так и знал! — закричал дрогнувшим голосом старик, и его обычно неподвижное лицо задергалось, как будто названные юношей имена пробудили давно дремавшие чувства, связанные с событиями былых времен.— Я так и знал! Сын или внук, не все ли равно — та же кровь, то же лицо! Скажи мне, тот, кого зовут Дунканом, без «Уикас»... он еще жив?

Молодой человек печально покачал головой и ответил:

— Он умер в преклонных годах, уважаемый всеми. Был любим и счастлив и дарил счастье другим!

— В преклонных годах? — повторил траппер и оглядел свои иссохшие, но все еще мускулистые руки.— Да, он жил в поселениях и был мудрым лишь на их особый лад. Но ты часто виделся с ним; тебе случалось слышать от него рассказ об Уикасе и о жизни в глухих лесах?

— О, не раз! Он был в свое время королевским офицером; но, когда разгорелась война между Англией и ее колониями, мой дед не забыл, где он родился, и, отбросив пустую приверженность титулу, сохранил верность родной стране: был с теми, кто сражался за свободу.

— Он рассудил правильно, а главное — послушался голоса крови! Сядь рядом со мной и перескажи мне все, о чем говаривал твой дед, когда уносился мыслью к чудесам лесов.

Юноша улыбнулся, дивясь не так настойчивости старика, как его волнению; но, видя, что всякая тень враждебности исчезла, он, не колеблясь, подчинился.

— Да-да, рассказывай траппер у все по порядку, с «фигурами речи»,— сказал Поль, преспокойно подсаживаясь к капитану с другого бока.— Старость любит перебирать предания былых времен, да и я тоже не прочь послушать.

Мидлтон опять улыбнулся — на этот раз, пожалуй, несколько насмешливо. Однако, ласково поглядев на траппера, он так повел свою речь:

— Это длинная и во многом печальная повесть. Придется рассказывать о всяких ужасах и кровопролитии, потому что индейцы на войне жестоки и беспощадны.

— Ладно, выкладывай все как есть, приятель,— настаивал Поль.— Мы у себя в Кентукки привыкли к таким делам, и мне, скажу вам, история не покажется хуже, если в ней снимут два-три скальпа.

— И он тебе рассказывал об Уикасе, да? — твердил траппер, не обращая внимания на замечания бортника, представлявшие своего рода аккомпанемент.— Что же он думал, что рассказывал он о юном индейце там, в своем богатом доме, окруженный всеми удобствами городской жизни?

— Я уверен, что говорил он тем же языком, к какому прибегал бы в глуши лесов и когда бы стоял лицом к лицу со своим другом...

— Вспоминая дикаря, он называл его своим другом? Нищего, нагого, разрисованного воина? Значит, гордость не мешала ему называть индейца другом?

— Он даже гордился этой дружбой! И, как вы уже слышали, дал его имя своему первенцу; и теперь, вероятно, это имя будет передаваться из поколения в поколение до самого последнего потомка в роду.

— Он правильно сделал! Как настоящий человек. Да, как человек и христианин! А рассказывал он, что делавар был быстроног, упоминал он об этом?

— Как серна! В самом деле, он не раз называл его Быстроногим Оленем — это прозвище дали индейцу за его быстроту.

— И что он был смелый и бесстрашный? — продолжал траппер, заглядывая в глаза собеседнику и грустно и жадно: ему хотелось еще и еще слушать похвалы молодому индейцу, которого некогда он, как видно, горячо любил.

— Смелый, как гончая в драке! Бестрепетный Уикас и его отец, Великий Змей, прозванный так за мудрость, были образцом героизма и постоянства. Так всегда говорил о них дед.

— Он отдавал им должное! Только отдавал им должное! Вернее не сыщешь людей ни в одном племени, ни в одном народе, какого бы цвета ни была их кожа. Вижу, твой дед был справедливый человек и внука воспитал как надо. Тяжело ему тогда пришлось там, в горах, и вел он себя куда как благородно! Скажи мне, малый... или капитан? Ведь ты же капитан?.. Это все?

— Нет, конечно. Это страшная история, и много в ней было трагического. Дед и бабка, когда вспоминали...

— Да, да! Ее звали Алисой.— Траппер закивал головой, и его лицо просветлело при воспоминаниях, пробуж-

денных этим именем.— Алисой или Эльси; это одно и то же. В счастливые часы она была резва и так звонко смеялась! А в горе плакала и была такая кроткая! Волосы были у нее блестящие и желтые, как шубка молоденькой лани, а кожа светлее самой чистой воды, падающей с утеса. Я ее помню! Помню очень хорошо!

Губы юноши чуть изогнулись, а взгляд, направленный на старика, притаил улыбку, наводившую на мысль, что в памяти внука почтенная старая дама была совсем не такова. Он, однако, не счел нужным это высказать и ограничился ответом:

— Перенесенные опасности так живо запомнились им, что оба они до конца своих дней не забывали никого из участников тех приключений.

Траппер смотрел в сторону, словно борясь с каким-то глубоким, естественным чувством; потом опять повернулся к собеседнику и, глядя ему в лицо своими честными глазами, но уже не отражавшими прежнего откровенного волнения, спросил:

— Он вам рассказывал о них обо всех? Они были все краснокожие, кроме него самого и дочерей Мунро?

— Нет. Там был еще один белый, друг делаваров. Он служил разведчиком при английской армии, но родом он был из колоний.

— Наверное, пьяница, никчемный бродяга! Как все белые, которые живут среди дикарей!

— Старик! Твои седые волосы должны бы тебя остеречь от злословия! Я говорю о человеке большой душевной простоты и самого истинного благородства. Живя такой жизнью, он соединил в себе не все наихудшее, как другие, а все добрые свойства двух народов. Человек этот был одарен самым удивительным и, может быть, редчайшим даром природы — умением различать добро и зло. Его добродетели были добродетелями простоты, потому что возникали из его образа жизни, как и его недостатки. В храбрости он не уступал своим краснокожим союзникам; в военном искусстве он их превосходил, так как лучше был обучен. Словом, «он был благородным отпрыском рода человеческого и, если не достиг полной своей высоты, то лишь по той причине, что рос он в лесу» — так звучали, старый охотник, подлинные слова моего деда, когда он говорил о человеке, который вам представляется столь ничтожным!

Траппер опустил глаза и слушал эти страстные слова, в которые пришелец вложил весь пыл великодушной юности. Он то играл ушами собаки, то проводил рукой по своей грубой одежде, то открывал и закрывал полку своего ружья, и руки его при этом так дрожали, что, казалось, они уже не способны спустить курок.

— Так твой дед не вовсе позабыл того белого? — сказал он хрипло, когда капитан договорил.

— О нет, он его помнил, и настолько, что в нашей семье трое носят имя того разведчика.

— Имя, говоришь ты? — вздрогнул старик.— Как! Имя одинокого неграмотного охотника? Неужели такие люди, богатые, чтимые и, что лучше всего, справедливые, носят его имя? Его подлинное имя?

— Его носят три моих брата — родной и два двоюродных, хотя не знаю, заслуживают ли они вашего лестного отзыва.

— Его подлинное имя, говоришь ты? И пишется оно так: в начале буква «Н» и в конце буква «Л»?

— Точно так,— ответил с улыбкой юноша.— Нет, нет, мы не забыли ничего, что было связано с ним. Моя собака, которая гонится сейчас за оленем тут неподалеку, происходит от гончей, которую тот разведчик прислал в подарок своим друзьям. У него всегда были собаки той же породы. Превосходная порода! Тончайший нюх и самые быстрые ноги — лучших не сыщешь, хоть пройди вдоль и поперек все наши штаты!

— Гектор! — молвил старик, силясь подавить душившее его волнение, и заговорил с собакой в том тоне, каким говорил бы он с ребенком.— Слышишь, песик? У тебя есть в прерии кровная родня! Имя... Нет, это чудесно! Просто чудесно!

Больше он выдержать не мог. Сломленный наплывом чувств, растроганный воспоминаниями, пробужденными к жизни так странно и так неожиданно, старик не стал сдерживаться. Он только добавил глухим, неестественным голосом, которым с трудом овладел:

— Я и есть тот разведчик; когда-то — воин, теперь — жалкий траппер! — По его впалым щекам покатились слезы, хлынув из источников, казалось бы давно иссякших. Зарывшись лицом в колени, он приличия ради накрыл голову полами своей оленьей куртки и громко зарыдал.

Эта сцена не могла не взволновать ее свидетелей. Поль Ховер жадно ловил каждое слово разговора, внимая поочередно обоим собеседникам, и чувства вскипали в нем все сильней по мере того, как нарастала напряженность объяснения. Непривычный к таким волнениям, он поочередно поворачивал лицо то в одну, то в другую сторону, чтобы избежать — он сам не знал чего, пока не увидел слезы старика и не услышал его рыдания. Тут он сразу вскочил и, яростно схватив гостя за горло, спросил, по какому праву он заставляет плакать его престарелого друга. Но в тот же миг опомнился, разжал свою крепкую хватку и, простерши другую руку, как бы в буйной радости, вцепился доктору в волосы, которые сразу же раскрыли свою искусственную природу и точно прилипли к его пальцам, оставив голое сияющее темя натуралиста стыть на холодном ветру.

— Что вы об этом скажете, господин Собиратель букашек? — не закричал, а прямо завопил он.— Эту пчелку выследили до дупла!

— Замечательно! Удивительно! Поучительно! — со слезами на глазах и растроганным голосом изрек любитель природы, добродушно водворяя свой парик на место.— Редкостное и достохвальное происшествие! Хотя для меня несомненно, что оно отнюдь не выпадает из обычной связи причин и следствий.

Однако после этого внезапного взрыва потрясение сразу улеглось, и трое свидетелей этой сцены тесней окружили траппера. Слезы такого старого человека вызвали у них благоговение.

— Это, конечно, правда, а то откуда бы он так хорошо знал всю историю, мало кому известную, помимо нашей семьи,— наконец заметил капитан и откровенно отер глаза, не стыдясь показать, что и сам сильно взволнован.

— Правда ли? — подхватил Поль.— Если вам нужны еще свидетельства, я всё подтвержу под присягой! Я знаю, что тут каждое слово — святая правда!

— Мы считали, что и он давно умер,— продолжал молодой человек.— Мой дед скончался в преклонных годах, а ведь он был, по его счету, много моложе своего друга.

— Не часто доводится юности взирать на слабость старческих лет! — заметил траппер и, подняв голову, по-

глядел вокруг с видом спокойного достоинства.— Если я еще здесь, молодой человек, значит, так угодно господу, который щадил меня ради своих сокрытых целей и дал мне прожить восемь десятков долгих и трудных лет. Что я тот самый человек, тебе нечего сомневаться: чего бы ради сошел я в могилу с такою глупой ложью на губах?

— Я вам поверил с первой же минуты. Только мне странно, что это так! Но почему же я нахожу вас, уважаемого и благородного друга моих родителей, в этой пустыне, в такой дали от восточных областей, где жизнь удобней и безопасней?

— Я пришел в эти степи, чтобы не слышать стука топора; потому что сюда, конечно, никогда не забредет лесоруб! Но и я могу задать тебе тот же вопрос. Ты не из того ли отряда, который Штаты послали сюда, в свои новые земли, посмотреть, так ли выгодна покупка?

— Нет, я не с ними. Льюис совершает свой путь вверх по реке, в сотнях миль отсюда. Меня привело сюда мое частное дело.

— Когда человеку изменили сила и зрение и он не может больше стрелять дичь, не диво, если он, сменив ружье на капкан, селится поближе к владениям бобра. Но как не подивиться, что молодой и цветущий юноша, да еще со свидетельством от самого президента, рыщет по прериям — и даже без слуги!

— Мое появление здесь не покажется вам странным, когда вы узнаете его причину; а вы ее узнаете, если склонны выслушать мою историю. Вы все, я вижу, честные люди и, наверное, захотите помочь человеку, преследующему достойную цель, и, уж конечно, не предадите его.

— Рассказывай, рассказывай спокойно,— молвил траппер, усаживаясь поудобней и кивком приглашая юношу последовать его примеру.

Тот охотно принял приглашение. И, когда Поль и доктор устроились каждый по своему вкусу, пришелец приступил к рассказу о необычайных обстоятельствах, завлекших его в глубину пустынной прерии.

Глава XI

В тяжелых тучах небо: грянет буря
Шекспир, «Король Джон»

Между тем трудолюбивые минуты неуклонно выполняли свое дело. Солнце, весь день пробивавшееся сквозь толщу тумана, медленно скатилось в полосу ясного неба и отсюда во всем великолепии стало погружаться в мглистую степную даль, как ему привычно садиться в воды океана. Огромные стада, бродившие по диким пастбищам прерий, постепенно скрылись во мгле, и бесчисленные стаи водяных птиц, совершая свой ежегодный перелет от девственных северных озер к Мексиканскому заливу, уже не колебали веерами крыльев воздух, теперь отягченный росой и туманом. Сказать короче, ночная тень легла на скалу, добавив к другим суровым преимуществам этого места покров темноты.

Едва начало смеркаться, Эстер в своей уединенной крепости собрала вокруг себя дочерей и, примостившись на выступе, терпеливо ждала возвращения охотников. Эллен Уэйд держалась поодаль от их встревоженного круга, будто нарочно его сторонясь, как если бы хотела подчеркнуть, что они ей не ровня.

— Твой дядя как не умел считать, так никогда и не научится, Нел,— заметила скваттерша после долгой паузы в разговоре, вертевшемся вокруг домашних дел.— Где надо подвести итог да заглянуть вперед, тут он туп и ленив, наш Ишмаэл Буш! Проваландался здесь на скале с рассвета до полудня, ничего не делал — только всё планы, планы, планы! — когда при нем семеро самых благородных молодцов, каких только дарила женщина мужчине. И что же получается? Ночь на носу, а самое нужное дело так и не сделано!

— Конечно, это неразумно, тетя,— ответила Эллен, и ее отсутствующий вид показал, что она говорит, сама не зная что.— И плохой пример для его сыновей.

— Но-но, девочка! Кто тебя поставил судьей над старшими? Да еще над теми, кто получше тебя? Найдется ли по всей границе человек, который подавал бы своим детям более достойный пример, чем тот же Ишмаэл Буш? Покажите вы мне, мисс Ко-всем С-укором, другую такую

семерку молодцов, как мои сыновья! Чтоб они, когда надо, могли так же быстро расчистить в лесу поляну под пашню, хоть, может, мне и не к лицу самой о том говорить. Или найдите вы мне землепашца, который бы лучше, чем мой муж, умел пройти пшеничное поле во главе жнецов, оставляя за собой самое чистое жнивье. Как отец, он щедрей иного лорда: его сыновьям довольно назвать место, где они хотели бы обосноваться, и он тотчас отводит им во владение целое поместье — и безо всяких купчих и расписок.

Заключив так свою речь, жена скваттера рассмеялась хриплым язвительным смехом, и за ним, точно эхо, раздался смешок маленьких подражательниц, которых она учила жить той же беззаконной и необеспеченной жизнью, какой жила сама. Полная опасностей, эта жизнь имела, однако, свою особую прелесть.

— Эгей! Истер! — донесся с равнины внизу знакомый окрик.— Ты что там, празднуешь лентяя, пока мы рыщем для тебя за дичью и буйволятиной? Сходи вниз, сходи, старушка, со всеми птенцами и помоги нам притащить провизию. Что, обрадовалась, старая? Сходите, сходите вниз, мальчики сейчас подойдут, так что работы тут хватит на вас на всех!

Ишмаэл мог бы доставить своим легким вдвое меньше труда, и все-таки его услышали бы. Едва окликнул он по имени жену, как девочки, сидевшие вокруг нее на корточках, вскочили все, как одна, и, сбивая друг дружку с ног, кинулись в необузданном нетерпении вниз по опасному проходу в скалах. За ватагой девочек более умеренным шагом следовала Эстер. И даже Эллен не нашла нужным, хотя бы из благоразумия, остаться наверху. Итак, вскоре они все до одной собрались на открытой равнине у подножия цитадели.

Здесь они увидели скваттера, пошатывающегося под тяжестью превосходной оленьей туши, и при нем двух или трех младших его сыновей. Почти сейчас же показался и Эбирам; а несколько минут спустя подошли и прочие охотники — кто по двое, кто в одиночку, но каждый с трофеями своей охотничьей доблести.

— Равнина чиста от краснокожих — во всяком случае, на этот вечер,— сказал Ишмаэл, когда сумятица встречи немного улеглась.— Я своими ногами исходил по прерии много долгих миль — а уж я ли не знаток в следах индей-

ского мокасина! Так что, хозяйка, зажарь нам по куску дичины, и можно будет поспать после трудового дня.

— Я не присягнул бы, что поблизости нет дикарей,— сказал Эбирам.— Я тоже кое-как умею распознать след краснокожего; у меня ослабли глаза, но я готов поклясться, что неподалеку затаились индейцы. Подождем, пока не подойдет и Эйза. Он проходил в том месте, где я как будто нашел следы, а мальчик тоже знает толк в этом деле.

— Да, мальчик во многом знает толк, даже слишком во многом,— угрюмо ответил Ишмаэл.— Было бы лучше для него, когда бы он думал, что знает не так уж много! Но что нам тревожиться, Истер! Пусть все племена этих сиу, сколько их есть к западу от Большой реки, соберутся в миле от нас! Не так-то просто им будет залезть на эту скалу, когда ее обороняют десять смелых мужчин.

— Уж скажи двенадцать, Ишмаэл! Скажи прямо — двенадцать! — крикнула его сварливая подруга.— Если уж ты причислил к мужчинам своего друга-приятеля, ловца мотыльков и букашек, то меня посчитай за двоих. Дайте мне в руки мушкет или дробовик, и я не уступлю ему в стрельбе. А уж в храбрости... Годовалый телок, которого у нас угнали ворюги тетоны, был среди нас самым первым трусом, а вторым после него — твой пустомеля доктор. Эх, Ишмаэл! Ты редко когда идешь на торговые сделки и еще ни разу не был в барыше. А уж самое твое убыточное приобретение, скажу я,— этот человек! Подумай только! Когда я ему пожаловалась на боль в ноге, он мне присоветовал наложить припарку на рот!

— Очень жаль, Истер,— спокойно ответил муж,— что ты не наложила: от этого, верно, был бы прок. Вот что, мальчики! Если индейцы и впрямь неподалеку, как думает Эбирам, то нам, чего доброго, придется залезть на скалу, бросив тут свой ужин. Так что унесем-ка скорее дичь, а о том, хорош наш доктор или плох, поговорим, когда у нас не будет другого дела.

Спорить никто не стал, и через несколько минут вся семья перебралась с открытого места наверх, где она была в относительной безопасности. Здесь Эстер принялась за стряпню, с равным усердием трудясь и бранясь, пока не поспел у нее ужин; тут она кликнула мужа к костру тем зычным голосом, каким муэдзин призывает правоверных к молитве.

Когда каждый занял свое привычное и установленное место вокруг дымящегося блюда, скваттер, подавая пример другим, облюбовал и принялся отрезать для себя кусок превосходной оленины, приготовленной не хуже, чем тот бизоний горб, ибо и здесь искусная стряпуха постаралась не скрыть, а усилить естественные особенности дичи. Художник охотно избрал бы этот момент, если бы задумал перенести на холст эту дикую и своеобразную сцену.

Читатель, конечно, помнит, что своим убежищем Ишмаэл избрал одинокую скалу, высокую, иззубренную и почти неприступную. Яркий костер, разложенный посреди площадки на ее вершине, с тесной группой, деловито расположившейся вокруг него, придавал ей вид как бы высокого маяка, воздвигнутого среди пустынных степей чтобы светить скитающимся в их просторе искателям приключений. Отсветы пламени перебрасывались с одного загорелого лица на другое; и каждое было отмечено своим особенным выражением; от невинной простоты на личиках детей со странной примесью дикости (оттенок, приданный полуварварской жизнью) до тупой и недвижной апатии, лежавшей на лице скваттера, когда он не был возбужден. Минутами порыв ветра налетал на догоравший костер; и, когда выше вскидывалось пламя, в его свете была видна одинокая палатка, как будто повисшая в воздухе где-то выше в полумгле. А вокруг все ушло, как всегда в этот час, в непроницаемую толщу тьмы.

— Не пойму, с чего это Эйза вздумал бродить один в такую пору! — сердито сказала Эстер.— Когда отужинаем и приберемся, тут он явится, голодный, как медведь после зимней спячки, и заревет, чтобы его накормили. У него желудок, как самые точные часы в Кентукки: день ли, ночь ли, всегда без ошибки укажет время, и заводить не надо. Наш Эйза умеет налечь на еду, особенно как малость поработает и проголодается!

Ишмаэл строго обвел глазами круг своих примолкших сыновей, точно хотел проверить, осмелится ли кто из них что-нибудь сказать в защиту отсутствующего бунтаря. Но сейчас, когда не было ничего, что могло пересилить их обычную вялость, ни один из них не пожелал превозмочь свою лень, чтобы вступиться за мятежного брата. Зато Эбирам, который после примирения все время проявлял — то ли искренне, то ли притворно — великодушную заботу

о своем недавнем противнике, счел нужным и сейчас выразить беспокойство, не разделяемое другими.

— Хорошо, если мальчик не натолкнулся на тетонов! — пробурчал он.— Эйза в нашем отряде чуть ли не самый стойкий — он и смел и силен; мне будет очень жаль, если он попался в лапы краснокожих дьяволов.

— Сам не попадись, Эбирам! Да придержи язык, если он у тебя только на то и годен, чтобы пугать женщину и ее суматошных девчонок. Смотри, какого ты страху нагнал на Эллен Уэйд: она совсем белая! Уж не на индейцев ли она сегодня загляделась, когда мне пришлось поговорить с ней при помощи ружья, потому что мои слова не доходили до ее ушей? Как это вышло, Нел? Ты нам так и не объяснила, с чего ты вдруг оглохла.

Щеки Эллен изменили свой цвет так же внезапно, как раздался тот выстрел, о котором скваттер напомнил сейчас. Жгучего жара хватило на все лицо, даже на шею лег его отсвет, нежно ее зарумянив. Девушка в смущении понурила голову, но не нашла нужным ответить.

Лень ли было Ишмаэлу продолжать допрос или ему показалось достаточно и сказанных колких слов, но он поднялся на ноги и, потянувшись всем грузным телом, как раскормленный бык, объявил, что намерен лечь. В семействе, где каждый жил только ради еды и сна, такое намерение не могло не встретить того же одобрения и у остальных. Один за другим все разбрелись по своим незатейливым спальням; через несколько минут Эстер, уже успевшая отругать перед сном детвору, осталась, если не считать часового внизу, совсем одна на голой вершине скалы.

Какие бы иные не всегда благородные качества ни развила в этой необразованной женщине ее кочевая жизнь, материнское чувство слишком глубоко угнездилось в ее душе, чтобы что-нибудь могло его искоренить. Нрав ее был буен, чтобы не сказать свиреп, и, когда она разойдется, унять ее было нелегко. Но, если она и склонна была иногда злоупотреблять правами, какие ей давало ее положение в семье, все же любовь к своим детям, нередко дремавшая, никогда окончательно не угасала в ней. Мать смущало затянувшееся отсутствие Эйзы. Она сидела на камне, со страхом вглядываясь в темную бездну. Но страшно ей было не за себя — она не колеблясь пошла бы одна в ночную степь, однако хлопотливое воображение,

подчиняясь неугасшему чувству, принялось выдумывать для сына всевозможные злые несчастья. Может быть, он и вправду, как намекнул Эбирам, взят в плен индейцами, вышедшими поохотиться в окрестностях на буйволов; или могла его постичь еще более страшная участь! Так думала мать, а мрак и тишина придавали силу тайному голосу сердца.

Взволнованная этими думами, отгонявшими сон, Эстер оставалась на своем посту и с той остротой восприятия, которую у животных, стоящих в смысле интеллекта не многим ниже этой женщины, мы зовем инстинктом, прислушивалась к шумам, какие могли бы указать на приближение шагов. Наконец ее желания как будто сбылись: послышались долгожданные звуки, и вот уже она различила у подножия скалы силуэт человека.

— Ну, Эйза, ты вполне заслужил, чтоб тебя оставили ночевать на голой земле! — заворчала женщина с резкой переменой в чувствах, ничуть не удивительной для всякого, кто давал себе труд изучать противоречивость и разнообразие человеческих характеров.— Да хорошо бы еще, чтоб на самой твердой! Эй, Эбнер, Эбнер! Ты что там, Эбнер, уснул? Посмей только открыть проход, пока я не сошла вниз! Я хочу посмотреть сама, кто это там вздумал беспокоить среди ночи мирную — да, мирную и честную семью!

— Женщина! — рявкнул голос, которому говоривший старался придать внушительность, хотя и опасался неприятных последствий.— Женщина, именем закона запрещаю тебе метать с высоты какой-нибудь адский снаряд! Я свободный гражданин и землевладелец, имеющий диплом двух университетов, и я требую уважения к своим правам! Поостерегись совершить покушение или же убийство, непреднамеренное или предумышленное. Это я — ваш amicus [1], ваш друг и спутник. Это я! Овид Бат!

— Кто? — спросила Эстер срывающимся голосом, едва донесшим ее слова до ушей человека, тревожно ловившего их внизу.— Так ты не Эйза?

— Нет, я не Эйза, я доктор Батциус! Разве я не сказал тебе, женщина, что тот, кого ты держишь за порогом, имеет все права на дружеский и даже почетный прием? Или ты вообразила, что я животное из класса амфибий и могу раздувать легкие, как кузнец свои мехи?

[1] Друг (лат.).

Натуралист еще долго понапрасну надрывал бы грудь, если бы Эстер была единственной, кто его слышал. Разочарованная и встревоженная, женщина уже улеглась на своей соломенной подстилке и в безнадежном равнодушии приготовилась отойти ко сну. Зато Эбнера, поставленного внизу на часах, крики разбудили, и так как теперь он уже настолько очнулся, что узнал голос врача, тот незамедлительно был пропущен в крепость. Доктор Батциус, вне себя от нетерпения, прошмыгнул в тесный проход и уже начал трудный подъем, когда, оглянувшись на привратника, остановился, чтобы сделать ему наставление, весьма, как полагал он, солидным тоном:

— Эбнер, у тебя наблюдаются опасные симптомы сонливости! Они явственно проступают в склонности к зевоте и могут оказаться губительными не только для тебя, но и для всей семьи твоего отца.

— Ох, ошибаетесь доктор, очень даже ошибаетесь,— возразил юноша, зевая, как сонный лев.— У меня этого вашего симптома не было и нет, а что касается отца с детьми, так, по-моему, от кори и ветряной оспы наша семья уже много месяцев, как окончательно отделалась.

Натуралист удовольствовался своим коротким предостережением и уже одолел половину крутого подъема, а юноша еще продолжал обстоятельно оправдываться. Добравшись до вершины, Овид приготовился к встрече с Эстер: он не раз получал самые ошеломительные доказательства неисчерпаемых возможностей ее речи и в благоговейном трепете ожидал, что сейчас навлечет на себя новую атаку. Но, как, может быть, предугадал читатель, он был приятно разочарован. Тихонько ступая и робко поглядывая через плечо, как будто он опасался, что сейчас на него хлынет поток чего-нибудь похуже ругани, доктор пробрался в шалаш, назначенный ему при распределении спальных мест.

Спать он, однако, не лег, а сидел и раздумывал над тем, что видел и слышал за день, пока в хижине Эстер не послышалась возня и ворчанье, показавшие, что ее обитательница не спит. Понимая, что ему не осуществить своего замысла, пока он не обезоружит этого цербера в юбке, доктор, хоть и очень не хотел услышать вновь ее речь, почел необходимым завязать разговор.

— Вам как будто не спится, моя любезнейшая, моя достойнейшая миссис Буш? — сказал он, решив прибег-

нуть для начала к испытанному средству — к пластырю лести.— Вы не находите себе покоя, добрая моя хозяюшка? Не могу ли я помочь вам в этой беде?

— А что вы мне дадите? — проворчала Эстер.— Наложите на рот припарку, чтобы мне заснуть?

— Лучше говорить не «припарка», а «катаплазм». Но если у вас боли, так есть у меня сердечные капли — я вам их накапаю в рюмочку своего лекарственного коньяка: они сразу усыпят боль, и вы уснете, если я хоть что-нибудь смыслю в медицине.

Доктор, как он хорошо знал, задел слабую струну Эстер и, не сомневаясь в соблазнительности своего средства, принялся безотлагательно его изготовлять. Когда он явился с полной рюмкой, она была принята с ворчанием и даже угрозами, но осушена с легкостью, ясно показавшей, что капли пациентке по вкусу. Эстер пробурчала какие-то слова благодарности, и врач молча сел наблюдать, как подействует его снотворное. Не более как через полчаса дыхание пациентки стало таким глубоким и, как мог бы выразиться сам натуралист, таким ненормально затяжным, что он, пожалуй, усомнился бы в силе своего лекарства и подумал бы, что женщина только прикинулась спящей, если бы не знал, что именно так должно было сказаться действие изрядной дозы опиума, добавленной им к коньяку. Наконец, когда уснула и бессонная мать, тишина стала полной и нерушимой.

Теперь, решил доктор Батциус, можно было начинать. Он встал осторожно и тихо, как ночной грабитель, и прокрался из своей хибарки, или, вернее, конуры (лучшего названия она не заслуживала), к соседним. Здесь он за несколько минут убедился, что все их обитатели спят крепким сном. Установив этот важный факт, он отбросил колебания и начал трудный подъем на самую вершину скалы. Как ни осторожно он ступал, его шаги не были совсем бесшумны. Когда он уже поздравлял себя с благополучным достижением цели и занес ногу на верхний уступ, чья-то рука схватила полу его кафтана, и это так решительно пресекло всякую попытку с его стороны двинуться дальше, как если б его пригвоздила к земле богатырская сила самого Ишмаэла Буша.

— Разве в шатре больны,— шепнул ему на ухо нежный голосок,— что доктор Батциус приглашен туда в этот поздний час?

Едва сердце натуралиста после своей поспешной экспедиции к пяткам, куда оно направилось при этом непредвиденном вмешательстве, благополучно вернулось на место (как мог бы выразиться человек, недостаточно знакомый с анатомией), доктор Батциус нашел в себе силы ответить, равно из страха и благоразумия понижая голос:

— Моя добрая Нелли! Я чрезвычайно рад убедиться, что это не кто иной, как ты. Тише, дитя, ни звука! Если Ишмаэл проведает о наших планах, он не поколеблется сбросить нас обоих со скалы на равнину у ее подножия. Тише, Нелли, тише!

Свое наставление доктор произносил частями — при каждой передышке на трудном подъеме — и договорил как раз к той минуте, когда оба, он и его слушательница, добрались до верхней площадки.

— А теперь, доктор Батциус,— серьезно спросила девушка,— могу я узнать, чего ради вы, не запасшись крыльями, пошли на риск слететь с утеса и сломать себе шею?

— Я все тебе открою, моя дорогая, честная Нелли... Но ты уверена, что Ишмаэл не проснется?

— Его бояться нечего; он будет спать, пока солнце не опалит ему веки. Куда опасней тетя.

— Эстер почиет крепким сном! — торжественно ответил доктор.— Эллен, это ты сегодня дежурила здесь на утесе?

— Так мне было приказано.

— И ты видела, как обычно, бизона, и антилопу, и волка, и оленя — животных из отрядов Pecora, Pellulae и Ferae? [1]

— Животных, которых вы назвали по-нашему, я видела; а индейских языков я не знаю.

— Ты видела представителя еще одного отряда, мною не названного,— отряда приматов, не так ли?

— Не знаю, право. Такое животное мне незнакомо.

— Не отпирайся, Эллен, ты же говоришь с другом! Из рода homo, дитя?

— Что бы я там ни видела, это, во всяком случае, не был вespертилио хорриби...

— Потише, Нелли, твоя горячность нас выдаст!

---

[1] Жвачные, ветвисторогие и хищники (лат.).

Скажи мне, деточка, ты не видела никаких бродивших по прерии двуногих, точнее сказать — людей?

— Как же, видела! После полудня мой дядя со своими сыновьями вышел поохотиться на буйвола.

— Я вынужден перейти на просторечие, или меня так и не поймут! Эллен, я говорю о виде, именуемом «Кентукки».

Эллен зарделась как роза, но мрак не выдал ее румянца. Она колебалась один только миг, потом собралась с духом и сказала решительно:

— Если вам угодно говорить загадками, доктор Батциус, ищите себе другого слушателя. Задавайте ваши вопросы просто, без обиняков, и я вам буду честно отвечать.

— Я, как ты знаешь, Нелли, пустился в путешествие по этой пустыне в поисках животных, которые были доныне сокрыты от глаз науки. Среди прочих я открыл примата из рода homo, вида Кентукки, коего я именую Полем...

— Тсс!.. Умоляю вас,— сказала Эллен,— говорите тише, доктор, или вы нас погубите!

— ...Полем Ховером. Род занятий — собиратель apium, то есть пчел,— продолжал натуралист.— Мой язык теперь достаточно близок к просторечию? Ты меня поняла?

— Поняла, вполне поняла,— ответила девушка, едва переводя дух от удивления.— Но что с ним? Это он велел вам взобраться на скалу?.. Он и сам ничего не знает: дядя взял с меня клятву молчать, и я молчу.

— Да, но есть одна особа, не связанная клятвой, и она все нам открыла. Хотел бы я, чтобы покров, окутывающий тайны природы, был бы так же успешно сорван и перед нами явились бы ее сокрытые сокровища! Эллен, Эллен! Человек, с коим я, по своему неведению, вступил в компактум, то есть в договор, оказался прискорбно бесчестен! Я говорю, дитя, о твоем дяде!

— Об Ишмаэле Буше, о втором муже вдовы брата моего отца! — несколько высокомерно поправила оскорбленная девушка.— Нет, в самом деле, разве не жестоко попрекать меня узами, создавшимися так случайно? Когда я и сама была бы рада порвать их навсегда!

Эллен не могла больше выговорить ни слова и, упав на колени на самом краю скалы, разрыдалась так отчаянно, что их положение стало вдвойне опасным. Доктор что-то бурчал, путано извиняясь, но не успел догово-

рить, как девушка поднялась и сказала решительным тоном:

— Я пришла не затем, чтобы проводить время в глупых слезах и чтоб вы меня тут утешали. Так что же вас привело сюда?

— Я должен увидеть обитателя палатки.

— Вы знаете, что в ней?

— Думаю, что знаю, ибо мне это открыли; и мне вручено письмо, которое я должен лично передать из рук в руки. Если животное окажется четвероногим, Ишмаэл — честный человек; если двуногим — безразлично, пернатым или иным,— он лжец, и наш договор расторгается!

Эллен сделала доктору знак не двигаться с места и молчать. Затем она проскользнула в палатку, где провела много долгих минут, которые для ожидающего показались томительно тревожными; но, выйдя наконец наружу, она тут же схватила его за руку, и они нырнули вдвоем за таинственную завесу.

Глава XII

Дай бог, чтоб герцог Йорк мог оправдаться.
Шекспир, «Король Генрих VI»

На другое утро переселенцы сходились молчаливые, хмурые и угрюмые. За завтраком не слышно было негармонического аккомпанемента, каким его неизменно оживляла Эстер: действие снотворного, преподнесенного врачом, еще туманило ей ум. Юношей смущало отсутствие старшего брата; а Ишмаэл, сдвинув брови, поглядывал то на одного, то на другого, готовый пресечь всякую попытку восстать против его отцовской власти. В этой обстановке семейной неурядицы Эллен и ее полуночный сообщник, доктор Батциус, сели, как всегда, между девочек, не вызвав ни подозрений, ни колких замечаний. Единственным явным следствием их ночной проделки были взгляды, то и дело бросаемые доктором ввысь, но те, кто их подметил, ошибочно истолковали их как созерцание неба в научных целях, тогда как на деле ученый муж следил украдкой за колыханием неприкосновенной завесы.

Наконец скваттер, не дождавшись явных проявлений

ожидаемого бунта сыновей, решил объявить им свои намерения.

— Эйза еще ответит мне за свое непозволительное поведение,— начал он.— Всю ночь прошлялся где-то в прерии, когда и рука его, и ружье могли понадобиться в схватке с сиу! Не мог же он знать заранее, что нападения не будет.

— Побереги свою глотку, отец,— возразила жена,— побереги глотку: может быть, тебе еще долго придется кликать сына, пока он отзовется!

— Конечно, иной мужчина так похож на бабу, что позволяет детям командовать над старшими! Но тебе то, Истер, пора бы знать, что в семье Ишмаэла Буша такое никак невозможно.

— Вот-вот! Когда приходится круто, ты мальчиков просто тиранишь! Это-то я знаю, Ишмаэл! Своим норовом ты одного своего сына уже прогнал от себя — и как раз о такую пору, когда у нас в нем нужда.

— Отец,— вмешался Эбнер, чья прирожденная лень понемногу уступила место возбуждению, позволив юноше отважиться на этот дерзкий шаг,— мы тут с братьями сговорились выйти всем вместе разыскивать Эйзу. Не нравится нам, что он заночевал в степи, а не пришел, не лег в свою постель,— уж мы-то знаем, что она ему больше по вкусу.

— Вздор! — буркнул Эбирам.— Мальчик, верно, убил оленя или даже буйвола, ну, и улегся спать подле туши, чтоб ее не сожрали за ночь волки. Скоро мы его увидим или услышим, как он заорет, чтоб мы ему помогли приволочь ношу.

— Мои сыновья не зовут на помощь, когда надо взвалить на плечо оленя или разделать бычью тушу,— возразила мать.— И зачем ты говоришь надвое, Эбирам? Ведь только вчера после ужина ты сам твердил, что по округе рыщут индейцы...

— Я? Ну да! — подхватил брат, торопясь исправить ошибку.— Я и вечером говорил и сейчас повторю; и вы скоро все увидите, что так оно и есть: тетоны бродят по соседству с нами. Большое будет счастье, если мальчик сумел хорошо от них укрыться.

— Мне думается,— заговорил доктор Батциус веско, с чувством собственного достоинства, как говорят, когда по зрелом размышлении приходят к определенным выво-

дам,— думается мне, человеку малоискушенному в обычаях индейской войны, особенно на этих далеких окраинах, но все же, скажу без тщеславия, умеющему заглянуть в таинства природы,— мне при моих скромных знаниях думается, что, если в связи с неким важным вопросом возникают сомнения, благоразумие безусловно требует их разрешения.

— Хватит с меня ваших лекарских советов! — рассердилась Эстер.— Хватит, вы и так совсем залечили здоровую семью, говорю я! Была я здоровешенька, только немного расстроилась, наставляя девочек, а вы меня напоили микстурой, которая легла мне на язык, как фунтовая гиря на крылышко колибри!

— Микстура еще не вся вышла? — едко спросил Ишмаэл.— Замечательное, видно, снадобье, если смогло придавить язык старухе Истер!

— Мой друг,— продолжал доктор, пытаясь движением руки унять разгневанную даму,— что средство оказалось не таким уж сильным, достаточно явствует из самой жалобы нашей доброй миссис Буш... Но вернемся к Эйзе. Имеются сомнения касательно его судьбы, и есть предложение их разрешить. В естественных науках всегда наиболее желательное, самое desideratum,— выявить истину; и я склонен думать, что это равно желательно и в настоящем случае, где наличествует неуверенность в домашнем деле, каковую мы можем сравнить с пустотою, или вакуумом, возникшим там, где, по законам физики, должны быть налицо ощутимые материальные доказательства...

— Да ну его совсем! — крикнула Эстер, увидав, что остальные с глубоким вниманием слушают натуралиста, то ли потому, что согласны с предложением, то ли потому, что не могут уловить его смысл.— В каждом его слове та же лекарственная кислость!

— Доктор Батциус хочет сказать,— скромно вставила Элдон,— что раз один из нас думают, что Эйза в опасности, а другие думают наоборот, то вся семья должна потратить час-другой на его розыски.

— Он так и сказал? — перебила мать.— Значит, доктор Батциус умнее, чем я думала! Девочка права, Ишмаэл; надо сделать, как она говорит. Я сама выйду с ружьем, и горе краснокожему, если он попадется мне на глаза! Не впервой мне будет спускать курок. Да! И не впервой я услышу, как взвыл индеец!

Настроение Эстер передалось другим и, подобно боевому кличу, воодушевило ее сыновей. Они встали все, как один, и объявили о своей готовности последовать смелому решению матери. Ишмаэл благоразумно уступил порыву, которому не в силах был противиться, и пять минут спустя женщина явилась с ружьем на плече, чтобы самой стать во главе их отряда.

— Кто хочет, пусть остается с детьми,— сказала она.— У кого не цыплячье сердце в груди, те пусть идут за мной!

— Нехорошо, Эбирам, оставлять жилье без стражи,— шепнул Ишмаэл, поглядывая наверх.

Тот, к кому он обратился, вздрогнул и подхватил с необычайной горячностью:

— Вот я и останусь охранять лагерь.

Юноши стали хором возражать Эбираму. Он нужен не здесь — пусть показывает места, где видел вражеские следы. А его сестра съязвила, что не ждала таких слов от такого храброго мужчины. Эбирам нехотя сдался, и тогда Ишмаэл попробовал распорядиться по-другому. Во всяком случае — это каждый понимал,— лагерь нельзя было оставлять без охраны.

Пост коменданта крепости он предложил доктору Батциусу, но тот бесповоротно и несколько высокомерно отклонил сомнительную честь, обменявшись при этом понимающим взглядом с Эллен Уэйд. Скваттер вышел из затруднения, назначив смотрителем замка самоё Эллен, но, оказав ей столь высокое доверие, не поскупился на всяческие наставления и предостережения. Затем юноши принялись готовить средства защиты и сигналы на случай тревоги, какие отвечали бы силам и составу гарнизона. На

верхнюю площадку натаскали камней и сложили их грудами по самому краю таким образом, чтобы Эллен и ее подопечные могли, если понадобится, скинуть их своими слабыми руками на головы непрошеным гостям, которым, затей они вторжение, неизбежно пришлось бы подниматься на скалу по тесному и трудному проходу, уже не раз упомянутому в нашем рассказе. Затем усилены были рогатки и сделаны почти непроходимыми. Припасли также множество камней помельче, таких, что их могли бы швырять и меньшие дети, но, пущенные с большой высоты, эти камни должны были оказаться крайне опасными. На самом верхнем уступе сложили кучу сухих листьев и щепок для сигнального костра, и теперь даже на придирчивый взгляд скваттера крепость могла бы выдержать серьезную осаду.

Как только было сочтено, что цитадель достаточно укреплена, отряд, составленный, так сказать, для вылазки, двинулся в путь. Впереди шла Эстер. В полумужской одежде, с оружием в руках, она казалась вполне подходящим предводителем шедшей за нею толпы мужчин — жителей границы в их диком наряде.

— Ну, Эбирам,— крикнула вожательница голосом хриплым и надтреснутым, потому что она слишком часто его напрягала,— ну, Эбирам, уткни нос в землю и беги! Покажи, что ты легавая доброй породы и что тебя неплохо натаскали. Ты же видел отпечатки индейского мокасина, так дай и другим увидеть их. Ступай! Ступай вперед, ты нас поведешь!

Брат всегда, казалось, склонялся перед властным нравом сестры; подчинился он и сейчас, но с такою явной неохотой, что вызвал усмешку даже у ненаблюдательных и беспечных сыновей скваттера. Сам Ишмаэл шагал среди юных своих великанов с видом человека, который ничего не ждет от поисков и с равным безразличием примет успех и неудачу. Таким порядком они продвигались, пока их крепость не стала вдали совсем маленькой и едва различимой — туманное пятнышко на горизонте. До сих пор они шли довольно быстро и в полном молчании, потому что, по мере того как они оставляли позади бугор за бугром, а степь была все та же и не встретилось на ней ни одного существа, которое бы оживило однообразие ландшафта, Эстер все сильней овладевало беспокойство, сковавшее ей язык. Но теперь Ишмаэл решил сделать оста-

новку, спустил ружье с плеча и, уткнув его прикладом в землю, сказал:

— Довольно. Следов, и буйволовых и оленьих, сколько хочешь, но где, наконец, следы индейцев, Эбирам?

— Дальше! Еще дальше на запад,— возразил его шурин, указав рукою направление.— Здесь я как раз напал на олений след, а на отпечатки тетонского мокасина я натолкнулся позже, когда уже подстрелил оленя.

— Да! А уж какую он доставил тебе кровавую работу, приятель! — усмехнулся скваттер, кивнув на измазанную одежду шурина, а потом с торжеством указав на свою собственную, сохранившую вполне опрятный вид: — Я вот перерезал горло двум быстрым ланям да резвому молодому оленю, и на мне ни пятнышка крови; а ты, бестолковый пентюх, столько доставляешь работы Истер с ее девчонками, как если бы нанялся в мясники. Пошли, ребята, хватит с нас. Я уже не молод и всяких навидался следов в пограничных краях: с последнего дождя тут не проходил ни один индеец. Ступайте за мною; я поверну туда, где мы хоть добудем доброго буйвола за свои труды.

— Ступайте за мной! — крикнула Эстер и неустрашимо двинулась дальше.— Сегодня я вас веду, и вы пойдете за мной. Скажите, кому, как не матери, идти вожаком, когда ищут ее пропавшего сына?

Ишмаэл с улыбкой жалостливого снисхождения посмотрел на свою несговорчивую подругу. Он увидел, что она уже выбрала путь — не туда, куда вел Эбирам, и не туда, куда наметил повернуть он сам; и, не пожелав как раз теперь слишком туго натягивать вожжи, он подчинился воле жены. Но доктор Батцпус, всю дорогу молчаливо и задумчиво следовавший за женщиной, тут почел уместным поднять свой слабый голос.

— Я согласен с вашим спутником жизни, достойная и добрая миссис Буш,— сказал он,— и полагаю, что ignis fatuus[1] воображения обманул Эбирама и ему привиделись те признаки и симптомы, о которых он нам говорил.

— Сам ты симптом! — оборвала Эстер.— Сейчас не время для книжных слов, и здесь не место делать привал и глотать лекарства. Если ослабли колени, так и скажи просто и по-людски, садись среди степи и отдыхай на здоровье, как охромевшая собака.

---

[1] Блуждающий (или обманчивый) огонь (лат.).

— Разделяю ваше мнение,— невозмутимо ответил натуралист; и, приняв насмешливое предложение Эстер в его буквальном смысле, он преспокойно уселся подле куста какой-то местной разновидности и тут же занялся его обследованием, дабы наука получила должный вклад.— Я, как вы видите, принимаю ваш превосходный совет, миссис Эстер. Иди, женщина, на розыски своего чада, а я останусь на месте, преследуя более высокую цель: раскрыть перед людьми неизвестную им страницу в книге природы.

Эстер ответила презрительным смехом, глухим и неестественным; и каждый из ее сыновей, медленной поступью проходя мимо сидевшего подле куста и уже погрузившегося в свои мысли натуралиста, не преминул наградить его надменной улыбкой. Через несколько минут все поднялись на округлую вершину очередного бугра, и, когда они скрылись за ней, доктор получил возможность продолжать плодотворное исследование в полном одиночестве.

Минуло еще полчаса. Эстер шла вперед и вперед, продолжая свои, по-видимому безуспешные, поиски. Но теперь она все чаще останавливалась и взгляд ее делался все неуверенней, когда вдруг послышался в ложбине легкий топот, а мгновением позже все увидели, как вверх по склону взметнулся олень и пронесся перед их глазами туда, где сидел натуралист. Животное появилось слишком внезапно и непредвиденно, а неровность почвы была для него так благоприятна, что не успел ни один из лесовиков вскинуть свое ружье, как уже оно было недостижимо для пули.

— Теперь жди волка! — закричал Эбнер и покачал головой в досаде, что опоздал на миг.— Что ж, и волчья шкура сгодится в зимнюю ночь. А! Вот и он, голодный черт!

— Стой! — гаркнул Ишмаэл и ударил снизу по наведенному ружью своего сына, некстати вдруг разгорячившегося.— Это не волк, а собака, и неплохой породы. Эге! Поблизости бродят охотники: тут две собаки!

Он еще говорил, когда пара гончих большими прыжками промчалась по следу оленя, норовя в благородном рвении обогнать друг дружку. Одна была совсем старая; казалось, силы ее иссякли и только пыл состязания еще поддерживал их. Вторая была еще щенком, склонным

проявить игривость даже в горячей погоне. Обе, однако, бежали ровными и сильными прыжками и нос поднимали высоко — повадка животного с острым и тонким чутьем. Они пронеслись мимо, а минутой позже они увидели бы оленя и устремились бы за ним с раскрытой пастью, когда бы молодая собака вдруг не отскочила в сторону и не затявкала, точно в удивлении. Старая по ее примеру тоже остановилась и, запыхавшись, обессиленная, затрусила назад, туда, где молодая носилась по кругу быстро и как будто бессмыслепно все на одном и том же месте, продолжая отрывисто тявкать. Но, как только подбежала старая гончая, молодая села на задние лапы и, высоко задрав нос, испустила протяжный, громкий и жалобный вой.

— Запах, наверное, очень крепкий,— заметил Эбнер, вместе с остальными членами семьи недоуменно наблюдавший за поведением гончих,— если сманил с верного следа двух таких собак!

— Пристрелить их! — крикнул Эбрам.— Старую, клянусь, я знаю: это собака траппера, а он ведь наш заклятый враг!

Однако, дав этот совет, брат Эстер отнюдь не изъявил готовности сам привести в исполнение свой злобный замысел. Изумление, овладевшее другими, отразилось и в его собственном пустом, блуждающем взгляде так же отчетливо, как и на каждом неподвижном лице вокруг него. Никто не обратил внимания на его жестокий призыв. Собакам без поощрения, но и без помехи предоставили следовать их таинственному инстинкту.

Долго ни один из наблюдателей не прерывал молчания; наконец скваттер, вспомнив о своем отцовском авторитете, решил снова взять власть в свои руки.

— Идемте, мальчики! Идемте, и пускай собаки поют в свое удовольствие! — сказал он с самым равнодушным видом.— Не в моих это правилах убивать животное только за то, что его хозяин вздумал поселиться слишком близко от моей заимки. Идемте, идемте, мальчики, у нас и своих хлопот не оберешься, нечего шнырять по сторонам и делать дело за каждого соседа.

— Никуда вы не пойдете! — закричала Эстер, и слова ее прозвучали, как прорицание Сивиллы.— Говорю вам: вы никуда не пойдете, дети! Здесь что-то кроется, нас предостерегают, и я, как женщина, как мать, хочу узнать всю правду.

Сказав это, непокорная жена подняла свое ружье и, потрясая им с диким и властным видом, воодушевившим и других, пошла вперед — к тому месту, где собаки все еще кружили, наполняя воздух своим протяжным, заунывным воем.

Весь отряд последовал за ней: одни — не противясь по своей беспечной лености, другие — подчинившись ее воле, и все в большей или меньшей мере возбужденные необычайностью происходящего.

— Скажите вы мне, Эбнер, Эбирам, Ишмаэл,— закричала мать, склонившись над местом, где земля была прибита и утоптана и явно окроплена кровью,— скажите вы мне, ведь вы же охотники: какое животное встретило здесь свою смерть?.. Говорите! Вы мужчины, вы привычны к знакам, какие показывает степь! Скажите, волчья это кровь? Или кровь кугуара?

— Кровь буйвола — и был он благородным и могучим зверем,— ответил скваттер, спокойно глядя под ноги, на роковые знаки, так странно взволновавшие его жену.— Здесь вот видно, где он, борясь со смертью, бил копытами в землю; а вон там он вскопал рогами глубокую борозду. Да, это был буйвол-самец необыкновенной силы и мужества!

— А кем он был убит? — не отступала Эстер.— Муж, где туша?.. Волки?.. Но волки не сожрали бы и шкуры! Скажите вы мне, мужчины и охотники, вправду ли это кровь животного?

— Тварь укрылась за тем бугром,— сказал Эбнер, проследший немного дальше, когда все другие остановились.— Эге! Вы его найдете вон у того болотца, в ольшанике. Гляньте! Тысяча птиц слетелась на падаль!

— Животное еще не сдохло,— возразил скваттер,— а не то сарычи уже рвали бы свою добычу! Судя по поведению собак, это хищник. Не забрел ли сюда серый медведь с верхних порогов? Серые медведи, я слышал, живучие.

— Повернем назад,— сказал Эбирам.— Небезопасно и уж вовсе бесполезно нападать на хищного зверя. Взвесь, Ишмаэл: дело рискованное, а барыш не велик!

Юноши с улыбкой переглянулись при этом новом доказательстве всем давно известного малодушия их дяди. А старший из них не постеснялся даже открыто выразить свое презрение и сказал напрямик:

— А неплохо бы засадить его в клетку вместе со зверем, которого мы везем с собой; мы тогда могли бы с выгодой вернуться в поселение — разъезжали бы по всему Кентукки и показывали свой зверинец на судейских дворах да у тюрем.

Отец насупил брови и грозным взглядом поставил дерзкого на место. Юноша злобно переглянулся с братьями, однако же предпочел смолчать. Пренебрегая осторожным советом Эбирама, все двинулись вперед, но, не дойдя несколько ядров до густой заросли ольшаника, опять остановились.

Дикое и впечатляющее зрелище предстало их глазам. Оно поразило бы не только таких неотесанных людей, как скваттер с его семьей, а и человека образованного, не склонного поддаваться суеверному страху. Небо, как обычно в эту пору года, покрывали темные, быстро бегущие тучи, а под ними тянулись нескончаемыми стаями водяные птицы, опять пустившиеся в свой трудный перелет к далеким рекам юга. Поднялся ветер; он то мел у самой земли такими сильными порывами, что временами трудно было устоять на ногах, то, казалось, взвивался ввысь, чтобы там гонять облака, взвихривая и громоздя друг на друга их черные, истерзанные гряды в угрюмом величественном беспорядке. А над ольховой рощицей попрежнему кружила стая сарычей и коршунов, била тяжелыми крыльями все над тем же местом; временами сильный порыв ветра отгонял их, но, нырнув, они опять упрямо нависали над зарослью, ни разу не подавшись в сторону и крича в испуге, как будто зрение или инстинкт подсказывали им, что час их торжества, хоть и близок, но еще не настал.

Ишмаэл, его жена и дети, сбившись в кучу, стояли несколько минут, охваченные удивлением с примесью тайного трепета, и глядели в мертвом молчании.

Наконец голос Эстер вывел наблюдавших из оцепенения и напомнил им, что они мужчины и должны смело разрешить свои сомнения, а не стоять без дела и тупо глазеть.

— Подзовите собак! — сказала она.— Подзовите этих гончих и пустите их в чащу; если вы не растеряете всю отвагу, с которой, я знаю, вы родились на свет, у вас достанет духу укротить любого норовистого медведя к западу от Большой реки. Зовите же собак, говорю,

эй вы, Энок! Эбнер! Габриэль! Или все вы оглохли от удивления?

Один из юношей подчинился и, не без труда оторвав собак от места, где они все еще непрестанно кружили, подвел их к ольшанику.

— Запускай их в рощу, мальчик! Запускай! — кричала мать.— А вы, Ишмаэл и Эбирам, если там обнаружится что-то недоброе или опасное, покажете, что пограничный житель не зря ходит с ружьем. Если у вас не хватит храбрости, я вас пристыжу перед моими детьми!

Юноши, придерживавшие собак, спустили их с сыромятных ремней, которыми заменили сворку, и стали их науськивать. Но, казалось, старшую собаку что-то удерживало — то ли она учуяла нечто необыкновенное, то ли опыт предостерегал ее от авантюры. В нескольких шагах от заросли она вдруг остановилась, дрожа всем телом, и, видимо, была не в силах двинуться ни вперед, ни вспять. Она не слушала поощрительных криков молодых людей или отвечала только жалобным повизгиванием. С минуту щенок вел себя подобным же образом; но, менее опытный и более горячий, он наконец сдался, сделал два-три прыжка вперед, затем ринулся в чащу. Послышался тревожный, испуганный вой, а минутой позже кобелек вынырнул из чащи и вновь принялся кружить на месте в таком же смятении, как и прежде.

— Неужели нет среди моих детей ни одного мужчины? — спросила Эстер.— Дайте-ка мне ружье повернее вместо этого детского дробовика, и я вам покажу, на что способна храбрая женщина из пограничных земель!

— Стой, мать! — крикнули Эбнер и Энок.— Если уж ты хочешь видеть зверя, дай нам выгнать его на тебя!

Даже и в более важных случаях юношам не доводилось произнести столько слов за один раз, но, дав столь веский залог серьезности своего намерения, они уже не склонны были отступиться. Тщательно проверив ружья, они твердо направились к роще. Нервы менее испытанные, чем у жителей границы, могли бы содрогнуться перед неведомой опасностью. Чем дальше они продвигались, тем пронзительней и жалобней делался вой собак. Коршуны и сарычи спустились совсем низко, чуть не задевая за кусты своими тяжелыми крыльями, а ветер с хрипом мел по голой степи, как будто духи воздуха тоже захотели стать свидетелями надвинувшейся развязки.

Обл смельчака вышли бледные и сами почти бесчувственные и вынесли из кустов недвижное тело Эйзы.

На одно мгновение у бесстрашной Эстер прервалось дыхание и вся кровь отлила от лица, когда она увидела, что ее сыновья раздвинули изломанные ветви кустов и скрылись в их гуще. Настала торжественная тишина. Потом быстро один за другим взвились два громких, пронзительных крика, а затем опять безмолвие, еще более грозное и жуткое.

— Назад, дети, назад! — закричала Эстер. Материнская тревога переполнила все другое.

Но голос ее оборвался и кровь застыла от ужаса, когда в тот же миг кусты опять раздвинулись и оба смельчака вышли бледные и сами почти бесчувственные и положили у ее ног закостенелое и недвижное тело Эйзы. Отпечаток насильственной смерти явственно обозначился в каждой черте его посинелого лица.

Собаки протяжно завыли — в последний раз; потом дружно сорвались с места и скрылись, пустившись опять по оставленному оленьему следу. Птицы, кружа, поднялись ввысь, наполняя небо жалобами, что отняли у них облюбованную жертву: страшная, омерзительная, она еще сохраняла в себе слишком много от человеческого облика, чтобы стать добычей их мерзкой прожорливости.

Глава XIII

Лопата и кирка, кирка,
И саван бел как снег;
Ах, довольно яма глубока,
Чтоб гостю был ночлег.

Шекспир, «Гамлет»

— Отодвиньтесь! Отойдите все! — хрипло сказала Эстер в толпу, слишком тесно обступившую мертвеца.— Я его мать, у меня больше прав, чем у вас у всех! Кто это сделал? Скажите мне, Ишмаэл, Эбирам, Эбнер! Раскройте ваши рты и ваши сердца, и пусть только божья правда изойдет из них и ничто другое. Кто совершил это кровавое дело?

Муж не ответил. Он стоял, опершись на ружье, и печальными, но не изменившимися глазами глядел на тело убитого сына. Иначе повела себя мать. Она кинулась на

землю и, положив к себе на колени холодную и страшную голову, молча вглядывалась в это мужественное лицо, на котором еще лежала печать предсмертной муки. И ее молчание говорило больше, чем могли бы выразить жалобы.

Горе точно льдом сковало голос женщины. Ишмаэл напрасно пробовал говорить скупые слова утешения. Она не слушала, не отвечала. Сыновья окружили ее и стали неуклюже, на свой лад выражать сострадание к ней в ее горе и печаль о собственной утрате. Но она нетерпеливо взмахом руки отстранила их. Пальцы ее то перебирали спутанные волосы мертвого, то пытались разгладить мучительно напряженные мускулы его лица, как порою материнская ладонь в медленной ласке скользит по личику спящего ребенка. А временами руки ее, точно спугнутые, бросали жуткое свое занятие. И тогда она слепо водила ими вокруг, как будто в поисках средства от смертельного удара, так нежданно сразившего сына, который был ее лучшей надеждой, ее материнской гордостью. В одну из таких минут, по-своему истолковав эти странные движения, всегда сонливый Эбнер отвернулся и с непривычным волнением, проглотив подкативший к горлу комок, сказал:

— Мать показывает, что надо поискать следы, чтобы нам узнать, как Эйза нашел свой конец.

— Опять проклятые сиу! — отозвался Ишмаэл.— Я с ними не расчелся и за первую обиду, это — вторая. Будет третья, расплачусь разом за все!

Объяснение было правдоподобно, но, не довольствуясь им, а может быть и радуясь втайне, что можно отвести глаза от зрелища, будившего в их закоснелых сердцах такие необыкновенные, непривычные ощущения, сыновья скваттера, все шестеро, отвернулись от матери и от мертвеца и пошли рассматривать следы, о чем она, как им вообразилось, настойчиво их просила. Ишмаэл не стал противиться; он даже помогал им, но без видимого интереса, как будто только подчинившись желанию сыновей, потому что было бы неприлично спорить в такой час. Выросшие в пограничных землях, юноши, как ни были вялы и тупы, все же обладали изрядной сноровкой во многом, что было связано с укладом их трудной жизни; а так как розыски отпечатков и улик имели много общего с выслеживанием зверя на охоте, можно было ожидать,

что их проведут умело и успешно. Итак, юноши с толком и рвением приступили к своему печальному делу.

Эбнер и Энок сошлись в своем рассказе о том, в каком положении было найдено тело брата: он сидел почти прямо, спину подпирал густой косматый куст, и одна рука еще сжимала надломленную ольховую ветку. Вероятно, как раз первое обстоятельство — сидячая поза — послужило мертвецу защитой от прожорливого воронья, кружившего над чащей; а второе — ветка в руке — доказывало, что в эти кусты злополучный юноша попал, когда жизнь еще не покинула его. Теперь все сошлись на предположении, что Эйза получил смертельную рану на открытой равнине и дотащился из последних сил до зарослей, ища в них укрытия. Ряд сломанных кустов подтверждал такое мнение. Далее выяснилось, что у самого края заросли происходила отчаянная борьба. Это убедительно доказывали придавленные ветви, глубокие отпечатки на влажной почве и обильно пролитая кровь.

— Его подстрелили в открытом поле, и он пришел сюда, чтобы спрятаться,— сказал Эбирам.— Все следы как будто ясно на это указывают. На него напал целый отряд дикарей, и мальчик бился, как истинный герой, пока его не осилили, и тогда они затащили его сюда, в кусты.

С таким объяснением, довольно правдоподобным, не согласился только один человек — тугодум Ишмаэл. Скваттер напомнил, что следует осмотреть и тело, чтобы получить более точное понятие о нанесенных ранах. Осмотр показал, что погибший был ранен навылет из ружья: пуля вошла сзади у его могучего плеча и вышла через грудь. Нужно было кое-что смыслить в ружейных ранах, чтобы разобраться в этом щепетильном вопросе, но жизнь на пограничных землях дала этим людям достаточный опыт; и улыбка дикого и странного, конечно, удовлетворения показалась на лицах сыновей Ишмаэла, когда Эбнер уверенно объявил, что враги напали на Эйзу сзади.

— Только так и могло быть,— сказал скваттер, слушавший с угрюмым вниманием.— Он был доброго корня и слишком хорошо обучен, чтобы нарочно повернуться спиной к человеку или зверю! Запомните, дети: когда вы смело, грудью идете на врага, вам, как бы ни был он силен, не грозит, как трусу, нападение врасплох. Истер,

женщина! Что ты все дергаешь его за волосы и за одежду? Ничем ты теперь ему не поможешь, старая.

— Смотрите! — перебил Энок, вытаскивая из продранной одежды брата кусок свинца, сразивший силу молодого великана.— А вот и пуля!

Ишмаэл положил свинец на ладонь и долго, пристально его разглядывал.

— Ошибки быть не может,— сказал он наконец сквозь стиснутые зубы.— Пуля-то из сумки проклятого траппера. Он, как многие охотники, метит свои пули особым знаком, чтобы не было спору, чье ружье сделало дело. Вот здесь вы ясно видите: шесть дырочек наперекрест.

— Присягну на том! — закричал, торжествуя, Эбирам.— Он мне сам показывал свою метку и хвастался, сколько оленей убил в прерии этими пулями. Ну, Ишмаэл, теперь ты мне веришь, что старый негодяй — шпион краснокожих?

Свинец переходил из рук в руки; и, к несчастью для доброй славы старика, некоторые из братьев тоже припомнили, что видели особую метку на пулях траппера, когда они все с любопытством осматривали его снаряжение. Впрочем, кроме той раны навылет, на теле оказалось еще много других, правда не столь опасных, и было признано, что все это подтверждает вину траппера.

Между местом, где пролилась первая кровь, и зарослью, куда, как никто теперь не сомневался, Эйза отступил, ища укрытия, были видны следы вновь и вновь завязывавшейся борьбы. То, что она прерывалась, как будто указывало на слабость убийцы: он быстрей расправился бы с жертвой, если бы сила юного богатыря, даже иссякая, не казалась грозной перед немощью древнего старика. Снова прибегнуть к ружью убийца, как видно, не желал, опасаясь, как бы повторные выстрелы не привлекли в рощу кого-либо еще из охотников. Ружья при убитом не нашли — его вместе с некоторыми другими предметами, не столь ценными, которые Эйза обычно носил при себе, убийца захватил как трофеи.

Не менее красноречиво, чем пуля, говорили и самые следы, позволяя с полной уверенностью приписать кровавое дело траппера: по ним было ясно, что юноша, смертельно раненный, был еще в силах оказывать долгое отчаянное сопротивление новым и новым усилиям своего убийцы. Ишмаэл напирал на это обстоятельство со стра-

ной смесью печали и гордости: печали — потому что он ценил утраченного сына в те часы, когда с ним не ссорился; и гордости — потому что тот до последнего издыхания оставался стойким и сильным.

— Он умер, как подобало умереть моему сыну,— сказал скваттер, черпая в своем неестественном торжестве это тщеславное утешение,— до последнего вздоха оставаясь грозным для врага и не взывая к помощи закона! Что ж, дети, мы его похороним, а потом поохотимся за убийцей!

В безмолвной скорби совершали сыновья скваттера свое печальное дело. Вырыли яму в твердой земле, потратив на это немало времени и труда; тело завернули в ту одежду, какую смогли снять с себя могильщики. Когда кончили с приготовлениями, Ишмаэл подошел к оцепеневшей Эстер и объявил ей, что хочет положить сына в могилу. Она выслушала и, покорно выпустив прядь волос, зажатую в стиснутых пальцах, молча поднялась, чтобы проводить погибшего к его тесному месту упокоения. Здесь, в головах могилы, она опять села наземь и неотрывно ревнивыми глазами следила за каждым движением юношей. Когда на мертвое тело Эйзы было навалено достаточно земли, чтоб защитить его от обидчиков, Энок и Эбнер прыгнули в яму и плотно утоптали землю, используя для трамбовки тяжесть собственных тел, и делали они это со странной, дикарской смесью старательности и равнодушия. Эта обычная мера предосторожности принималась, чтобы тело тотчас же не вырыли какие-нибудь степные звери, чей нюх непременно привел бы их к свежей могиле. Даже хищные птицы, казалось, понимали смысл происходившего: извещенные какими-то таинственными путями, что теперь злополучная жертва будет скоро оставлена людьми, они опять слетелись и кружили в воздухе над местом погребения и кричали, точно желали напугать могильщиков, чтобы они отступились от сородича.

Ишмаэл стоял, скрестив руки, и внимательно следил, как исполняется печальный долг; а когда все было закончено, обнажил голову и поклонился сыновьям в знак благодарности за их труды с таким достоинством, какое было бы к лицу и более воспитанному человеку. Да и за все время церемонии, всегда торжественной и впечатляющей, скваттер сохранял степенную и важную осанку. Его

тяжелые черты были явственно отмечены выражением глубокого горя; но они так и не дрогнули ни разу, пока он не обратился спиной — как он думал, навеки — к могиле своего первенца. Тут природа дала себя знать, и мускулы его сурового лица начали заметно подергиваться. Сыновья не сводили глаз с отца, точно искали указаний, надо ли следовать тем незнакомым чувствам, которые зашевелились и в них, когда борьба в груди скваттера вдруг прекратилась, и, взяв жену под локоть, он, как ребенка, поднял ее на ноги и сказал ей твердым голосом, хотя от внимательного наблюдения не укрылось бы, что прозвучал он мягче, чем обычно:

— Истер, мы сделали все, что могут сделать отец и мать. Мы вскормили мальчика, вырастили его таким, что не много нашлось бы равных ему на границах Америки; и мы опустили его в могилу. Пойдем же дальше своим путем.

Эстер медленно отвела глаза от свежей земли, положила руки на плечи мужа и стояла, глядя с тревогой ему в глаза:

— Ишмаэл! Ишмаэл! — сказала она.— Ведь ты расстался с мальчиком в гневе?

— Господь да отпустит ему грехи так же легко, как я простил сыну его проступки! — спокойно ответил скваттер.— Женщина, возвращайся на скалу и почитай свою библию: глава-другая из этой книги всегда идет тебе на пользу. Ты, Истер, умеешь читать — это большое благо. Я-то его лишен.

— Да, да,— пробормотала жена, сдаваясь перед его силой и позволяя ему, хоть все в ней восставало, повести себя прочь от могилы сына.— Да, я умею читать; а как я пользуюсь своим уменьем? Но ему, Ишмаэл, ему не придется отвечать за грехи оставленных втуне знаний. Хоть от этого мы его смогли избавить! Не знаю, из милосердия или по нашей жестокости.

Муж не ответил, но твердо продолжал вести ее в направлении их временного убежища. Когда они дошли до последнего гребня, откуда еще можно было видеть место погребения Эйзы, все обернулись, как по уговору, чтобы на прощание взглянуть на могилу. Холмик уже не был различим, но его означила жуткая примета — круживших над ним стая крикливых птиц. В противоположной стороне, на горизонте, вырисовывался невысокий голубой

бугор, напоминая Эстер об оставленных там малолетних детях и призывая ее к себе от могилы старшего сына. Громче заговорила природа, и, поступаясь правами умершего, мать потянулась к живым, которые сейчас настоятельней нуждались в любви и заботе.

Удары судьбы выбили искру из сердец людей, зачерствевших в тяготах их бродячей жизни, и от этой искры жарче затеплился еле тлевший под золою жар родственного чувства. Сыновей давно уже привязывали к семье лишь непрочные узы привычки, и скваттер видел впереди большую опасность: рой сыновей покинет родимый дом и оставит отца поднимать своими силами всю ораву беспомощных малых детей — без поддержки старших сыновей. Дух неповиновения, сперва появившийся у злополучного Эйзы, охватил затем его братьев; и скваттер волей-неволей с тяжелым сердцем вспоминал то время, когда он в цвету и силе своевольной молодости сам вот так же покинул в нужде стариков родителей, чтобы свободным, без обузы вступить в жизнь. Теперь опасность хоть на время отступила, и его отцовская власть если и не восстановилась во всей своей прежней силе, то все же вновь получила признание и, окрепнув, могла продержаться еще какое-то время.

Однако, хотя последнее событие оказало свое действие на сыновей Ишмаэла, в их медлительных умах вместе с тем зародилось и недоверие к отцу. Их мучили подозрения относительно того, как Эйза нашел свою смерть. Смутные картины вставали в мозгу двух или трех старших братьев; отец рисовался им готовым последовать примеру патриарха Авраама [1],— только он не мог бы, как тот, совершая кровавое дело, сослаться в свое оправдание на приказ всевышнего. Но образы были так туманны, мысли так неотчетливы, что не оставили заметного следа; и, в общем, происшедшее, как мы уже сказали, не пошатнуло, а, напротив, укрепило отцовскую власть Ишмаэла.

В таком душевном настроении семья продолжала свой путь к тому месту, откуда этим утром вышла на поиски, увенчавшиеся столь горестным успехом.

Напрасный долгий путь под водительством Эбирама,

---

[1] По библейской легенде, бог повелел Аврааму принести ему в жертву своего сына.

страшная находка, погребение — все это заняло добрую половину дня, так что к тому времени, когда они прошли, возвращаясь, широкую равнину, лежавшую между могилой Эйзы и скалой, солнце уже клонилось к закату. Скала по мере их приближения поднималась все выше, как башня, возникающая над морскою гладью, и, когда расстояние сократилось до мили, стали смутно различимы отдельные предметы на ее вершине.

— Невеселая будет встреча для девочек! — вздохнул Ишмаэл; всю дорогу он время от времени говорил что-нибудь такое, что, по его мнению, должно было утешить его подавленную горем жену.— Наши меньшие все любили Эйзу, и он всегда, приходя с охоты, приносил что-нибудь приятное, чем их побаловать.

— Да, всегда, всегда,— подхватила Эстер.— Мальчик был гордостью семьи. Все другие мои дети ничто против него!

— Не говори так, Истер,— возразил отец, не без гордости оглядев вереницу великанов, которые шагали сзади, немного поотстав.— Не говори так, жена: немногие отцы и матери могут с бо́льшим правом хвалиться своими детьми.

— Быть благодарными за них, благодарными! — смиренно выговорила женщина.— Не хвалиться, Ишмаэл, а быть за них благодарными...

— Пусть так, если это слово тебе больше по вкусу, родная... Но что там с Нелли и девчонками? Негодница забыла мое поручение и не только позволила детям заснуть — она и сама-то сладко спит и, наверное, гуляет сейчас во сне по лугам Теннесси. У твоей племянницы, я знаю, только и мыслей, что о тех местах!

— Да, она нам не под стать, я и сама так думала и говорила, приютив ее у нас, когда смерть отняла у нее всех близких. Смерть, Ишмаэл, чинит в семьях злую расправу! Эйзе девочка была мила, и, сложись по-иному, они вдвоем могли бы когда-нибудь занять наши с тобою места.

— Нет, не годится она в жены пограничному жителю! Разве так надо смотреть за домом, пока муж на охоте? Эбнер, пальни из ружья, пусть узнают, что мы возвращаемся. Боюсь, там все спят, и Нелли и девчонки.

Юноша повиновался с живостью, сразу показавшей, как он будет рад увидеть на вершине зубчатой скалы

быструю и крепкую фигурку Эллен. На минуту братья замерли, выжидая, потом одна и та же мысль одновременно подсказала всем выстрелить из ружья. На таком небольшом расстоянии залп не мог не дойти до слуха каждого, кто был на скале.

— Ага! Вот и выходят! — закричал Эбирам, как обычно, спеша первым отметить обстоятельство, избавляющее от неприятных опасений.

— Это юбка на веревке развевается,— сказала Эстер.— Я ее сама повесила сушиться.

— Верно. А вот сейчас выходит и Нел. Негодница! Нежилась преспокойно в палатке!

— Нет, не то,— сказал Ишмаэл, чьи черты, обычно неподвижные, выразили зашевелившуюся тревогу.— Это холстина самой палатки хлопает вовсю на ветру. Глупые дети! Сорвали полы с колышков, и, если вовремя не укрепить их, палатку снесет вниз!

Он едва успел договорить, как ветер промел чуть не у них под ногами, закручивая мелкими клубами пыль; потом, как будто послушный умелой руке, он оторвался от земли и полетел прямо на ту точку, к которой прикованы были все глаза. Незакрепленная холстина почувствовала его натиск и затрепыхалась; затем унялась и с полминуты висела неподвижно. Далее туча листьев, играя, закружилась над этим же местом, быстро, точно ястреб с высоты, ринулась вниз и умчалась вдаль, как стая ласточек, когда они стремительно летят вперед на недвижных крыльях. А за ними следом пронеслась и белоснежная палатка, которая, однако, упала вскоре где-то за скалой, оставив ее вершину такой же голой, какой она стояла раньше в нерушимом одиночестве пустыни.

— И здесь побывали убийцы! — простонала Эстер.— Мои девочки! Маленькие мои!

Была минута, когда даже Ишмаэл содрогнулся под тяжестью такого нежданного удара. Но, встряхнувшись, как разбуженный лев, он кинулся вперед и, точно перышки, разбрасывая на пути преграды и рогатки, взбежал вверх по круче в неудержимом порыве, который показал, каким грозным может стать вялый по природе человек, когда совсем пробудится.

Глава XIV

На чьей вы, горожане, стороне?
Шекспир, «Король Иоанн»

Чтобы события нашей повести шли по порядку одно за другим, нам следует обратиться к тому, что случилось, пока Эллен Уэйд несла стражу на скале.

Первую половину дня добрая, честная девушка отдавала свое время и заботы младшим девочкам: кормила их и поила и ублажала те капризы, какими дети в своей привередливости и эгоизме обычно докучают взрослым. Едва ей удалось на минуту отделаться от их назойливости, она проскользнула в палатку, где больше нуждались в нежном ее внимании; но тут среди детей поднялся шум и напомнил ей о забытых на короткий миг обязанностях.

— Смотри, Нелли, смотри! — кричали наперебой пять или шесть голосов.— Там внизу люди, и Фиби говорит, что это индейцы сиу!

Эллен обратила взгляд в ту сторону, куда протянулось столько рук, и, к своему ужасу, увидела каких-то людей, быстро шагавших прямо к скале. Она насчитала, что их четверо, но кто они, разглядеть не могла — видела только, что среди них нет ни скваттера, ни кого-либо из его сыновей. То была страшная для Эллен минута. Посмотрев на девочек, хватавшихся в испуге за ее одежду, она старалась что-нибудь припомнить из слышанных когда-то многочисленных рассказов о женском героизме, украшающих историю западной границы. В одном случае какой-то мужчина при поддержке трех-четырех женщин несколько дней успешно отбивался от неприятельского отряда в сто человек, осаждавшего их блокгауз. В другом женщины одни в отсутствие мужчин сумели защитить своих детей и все свое имущество; вспомнился и третий случай, когда одинокая женщина, взятая в плен, перебила спящих сторожей и добыла таким путем свободу не только себе, но и всем своим малолетним детям. Этот ближе всех подходил к ее собственному случаю. С огнем в глазах и на щеках, Эллен оглядела свои скудные средства обороны.

Девочек постарше она поставила к рычагам — сбрасывать на нападающих камни; самых маленьких, поскольку

им не под силу было нести настоящую службу, она наметила использовать, чтобы создать у врага впечатление многочисленного гарнизона; а сама она, как всякий полководец, намеревалась руководить боевыми действиями и поддерживать в войске бодрость. Произведя такую расстановку сил, она ждала первого приступа, стараясь внешне сохранять спокойствие, чтобы вселить уверенность в своих помощниц — необходимое условие успеха.

Эллен значительно превосходила дочерей Эстер силой духа, почерпнутой в нравственных качествах, однако двум старшим из них она бесспорно уступала в одном важном воинском достоинстве — в пренебрежении к опасности. Выросшие среди трудностей переселенческой жизни, на окраинах цивилизованного мира, давно свыкшиеся со всякими опасностями, эти девочки обещали сравниться с матерью и удивительным бесстрашием и тем необычным сочетанием дурных и добрых свойств, которое, когда бы довелось ей действовать на более широкой арене, вероятно, позволило бы жене скваттера оказаться зачисленной в список замечательных женщин ее времени. Эстер уже случилось раз отстоять бревенчатый дом Ишмаэла от вторжения индейцев; был и такой случай, когда ее не тронули, приняв за убитую, после упорной защиты, которая дала бы ей право на почетную капитуляцию, имей она дело с более цивилизованным противником. Эти две истории и десятки других в том же роде она не раз с торжеством рассказывала в присутствии дочерей; и теперь сердца юных воительниц колебались между естественным страхом и честолюбивым желанием совершить что-нибудь достойное детей такой матери. Наконец они дождались возможности так же отличиться!

Незнакомцы были уже в пятистах ярдах от скалы. То ли по природной осторожности, то ли убоявшись грозного вида двух защитниц крепости, выставивших из-за каменного заграждения дула двух старых мушкетов, пришельцы остановились в ложбинке, где могли бы спрятаться в густой траве. Отсюда несколько тревожных — а для Эллен нескончаемых — минут они осматривали крепость. Потом один из них двинулся вперед, желая, видимо, начать переговоры.

«Фиби, стреляй!» — «Нет, Хэтти, стреляй ты!» — подстрекали друг друга оробевшие, но радостно взволнованные дочки скваттера, когда вмешалась Эллен и, быть

может, избавила подходившего парламентера от сильного испуга, если не от худшего.

— Положите мушкеты! — закричала она.— Это доктор Батциус!

Ее подчиненные повиновались лишь наполовину: они отняли пальцы от курков, но грозные дула по-прежнему смотрели на непрошеных гостей. Натуралист, подходивший достаточно осмотрительно, примечая малейшее враждебное движение гарнизона, поднял на конце дробовика белый платок и подошел к крепости настолько близко, чтобы его могли хорошо расслышать. Тут, приняв, как он воображал, внушительный и властный вид, он рявкнул так громко, что его услышали бы и на вдвое большем расстоянии:

— Внимайте! Именем Конфедерации Соединенных Суверенных Штатов Северной Америки призываю вас всех подчиниться ее законам!

— Доктор или нет, а он наш враг, Нелли. Слышишь, слышишь? Он говорит о законе.

— Постойте! Дайте мне послушать, что он скажет! — закричала, почти задыхаясь, Эллен и отвела дула мушкетов, опять наведенные на отпрянувшего вестника.

— Предостерегаю вас и во всеуслышание заявляю,— продолжал напуганный доктор,— что я мирный гражданин вышеназванной Конфедерации, или, говоря точнее, Союза, сторонник общественного договора, друг мира и порядка.— Затем, увидев, что опасность если не вовсе, то на время миновала, он снова задиристо повысил голос: — А посему я требую от всех вас подчинения законам.

— А я-то думала, что вы нам друг,— возразила Эллен,— и что вы путешествуете вместе с моим дядей, заключив с ним соглашение...

— Оно расторгается. Я оказался обманут в самых его предпосылках, а потому объявляю известный компактум, заключенный между Ишмаэлом Бушем, скваттером, с одной стороны, и Овидом Батциусом, доктором медицины,— с другой, аннулированным и утратившим силу... Нет, нет, дети, быть аннулированным есть свойство негативное, оно не влечет за собою ни материального, ни иного ущерба для вашего достойного родителя, так что отбросьте огнестрельное оружие и внемлите внушению разума. Итак, я объявляю, что договор нарушен... то есть

аннулирован... отменен. Что касается тебя, Нелли, мои чувства к тебе отнюдь не враждебны; поэтому выслушай, что я имею тебе сказать, не закрывай своих ушей, полагая себя в безопасности. Ты знаешь нрав человека, у которого ты живешь, и ты знаешь, юная девица, как опасно дурное общество. Расстанься с сомнительным преимуществом своей позиции и мирно сдай скалу на волю тех, кто меня сопровождает,— целому легиону, юная девица, заверяю тебя, непобедимому и могучему легиону. А посему сдай владение этого преступного и бессовестного скваттера... Ах, дети, такое пренебрежение к человеческой жизни ужасно в существах, которые сами лишь совсем недавно получили ее в дар! Отведите эти опасные орудия — я молю вас не ради себя, а ради вас самих! Хетти, разве ты забыла, кто успокоил боль, терзавшую тебя, когда после ночевок на голой земле, сырой и холодной, ты получила воспаление аурикулярных нервов? А ты, Фиби, неблагодарная, беспамятная Фиби! Когда бы не эта рука, которую ты хочешь навеки поразить параличом, твои верхние резцы до сих пор причиняли бы тебе страдания и муки. Так положите же оружие, последуйте совету человека, который был всегда вашим другом! А к тебе, молодая девица,— продолжал он, не сводя, однако, зоркого взгляда с мушкетов, которые девочки соблаговолили слегка отвести,— к тебе, девица, я обращаюсь с последним и, значит, самым торжественным увещеванием: я требую от тебя сдать эту скалу немедленно и без сопротивления, ибо так повелевают власть, справедливость и...— он хотел сказать «закон», но, вспомнив, что это одиозное слово может опять рассердить дочек скваттера, вовремя осекся и заключил свою тираду менее опасным и более приемлемым словом: — и разум.

Эти необычайные призывы не оказали, однако, желательного действия. Младшие слушатели ничего в них не поняли, кроме нескольких обидных выражений, отмеченных выше, и на Эллен, хоть она и лучше понимала, что говорил парламентер, его риторика произвела не больше впечатления, чем на ее товарок. Когда он полагал, что речь его звучит трогательно и чувствительно, умная девушка, несмотря на тайную свою тревогу, едва удерживалась от смеха, а к его угрозам она была глуха.

— Я не все поняла в ваших словах, доктор Батцпус,— спокойно ответила она, когда он кончил,— но в одном я

твердо уверена: если они меня учат обмануть оказанное мне доверие, то лучше бы мне их не слышать. Остерегу вас: не пытайтесь врываться силой, потому что, как бы я ни была к вам расположена, меня, как вы видите, окружает гарнизон, который, в случае чего, расправится и со мной. Вы знаете — или должны бы знать — нрав этой семьи, так нечего вам шутить в таком деле с кем-либо из ее членов, ни с женщинами, ни с детьми.

— Я не совсем уж несведущ в человеческой природе,— возразил естествоиспытатель, благоразумно отступив немного от стойко до сих пор занимаемой им позиции у самой подошвы скалы.— Но вот подходит человек, который, может быть, лучше меня знает все ее тайные прихоти.

— Эллен! Эллен Уэйд! — закричал Поль Ховер, который выбежал вперед и стал бок о бок с Овидом, не выказав и тени боязни, так явно смущавшей доктора.— Не думал я, что найду в вас врага!

— И не найдете, если не будете меня просить, чтобы я пошла на предательство. Вы знаете, что дядя поручил свою семью моим заботам, так неужто я так грубо обману его доверие — впущу сюда его злейших врагов, чтобы они перебили его детей и, уж во всяком случае, забрали у него все, на что не польстились индейцы?

— Разве я убийца?.. Разве этот старик, этот офицер американских войск (траппер и его новый друг уже стояли с ним рядом),— разве похожи они на людей, способных на такие преступления?

— Чего же вы хотите от меня? — сказала Эллен, ломая руки в тяжелом сомнении.

— Зверя! Не больше и не меньше, как укрываемого скваттером опасного хищного зверя!

— Благородная девушка,— начал молодой незнакомец, лишь незадолго до того нашедший себе товарищей в прерии.

Но он тотчас замолк по властному знаку траппера, шепнувшего ему на ухо:

— Пусть уж он ведет переговоры. В сердце девушки заговорит природа, и тогда мы скорей добьемся нашей цели.

— Правда выплыла наружу, Эллен,— продолжал Поль,— и мы, как пчелу до дупла, проследили скваттера в его тайных преступлениях. Мы пришли исправить причиненное зло и освободить его узницу. Если сердце у тебя

чистое, как я всегда считал, ты не только не будешь ставить нам палки в колеса, а и сама примкнешь к нашему рою и бросишь старика Ишмаэла — пусть живут в его улье пчелы одного с ним корня.

— Я дала святую клятву...

— Договор, заключенный по неведению или по жестокому принуждению, в глазах каждого моралиста является недействительным! — провозгласил доктор.

— Тише, тише! — опять зашептал траппер.— Юноша сам с ней столкуется.

— Я поклялась всем святым, всем, что люди чтут на земле, в том числе и ваши моралисты,— продолжала Эллен,— никому не открывать, что заключено в палатке, и не помогать побегу узницы. Мы с ней обе поклялись нерушимой страшной клятвой; этой клятвой мы, может быть, откупились от смерти. Правда, вы не с нашей помощью проникли в тайну, но все же я не знаю, позволяет ли мне совесть хотя бы оставаться в стороне, пока вы вот так ломитесь, как враги, в жилище моего дяди.

— Я берусь,— горячо вмешался натуралист,— неопровержимо доказать с ссылкой на Пэйли, Беркли и на бессмертного Бинкерсхука, что если при заключении договора одна из сторон, будь то государство или частное лицо, находилась под давлением, то оный договор...

— Вы только выведете девушку из терпения своими бранными словами,— сказал осмотрительный траппер,— тогда как у него, если предоставить дело человеческим чувствам, она станет кроткой, как лань. Нет, вы, как и сам я, мало знакомы с природой добрых побуждений!

— Значит, ты дала только эту единственную клятву, Эллен? — продолжал Поль, и в голосе веселого, беспечного бортника прозвучали укор и печаль.— Больше ты ни в чем не клялась? Разве слова, подсказанные скваттером, для тебя как мед во рту, а все другие твои обещания — как пустые соты?

Бледность, покрывшая было всегда веселое лицо Эллен, исчезла под жарким румянцем, ясно видным даже на таком далеком расстоянии. Девушка боролась с собой, как будто силясь сдержать раздражение; потом ответила со всей свойственной ей горячностью:

— Не понимаю, по какому праву меня спрашивают о клятвах и обещаниях, которые могут касаться только той, которая их дала, если она в самом деле, как вы намекаете,

связала себя словом! Я обрываю всякий разговор с человеком, который так много о себе возомнил и считается только со своими желаниями.

— Вот, старый траппер, ты слышал? — сказал простосердечный бортник, круто повернувшись к своему седому другу.— Ничтожное насекомое, скромнейшая из тварей небесных, взяв свой взяток, прямо и честно летит к улью или гнезду, а женский ум!.. Его пути ветвисты, как разлапый дуб, и кривей, чем изгибы Миссисипи!

— Нет, дитя мое, нет,— молвил траппер, простодушно вступаясь за обиженного Поля.— Ты должна принять в соображение, что молодой человек опрометчив и не любит долго раздумывать. А обещание есть обещание. Его нельзя отбросить и забыть, как рога и копыта буйвола.

— Спасибо, что напомнили мне о моей клятве,— сказала все еще раздраженно Эллен и прикусила с досады свою хорошенькую нижнюю губку.— Я ведь забывчивая!

— Эх! Вот и проснулась в ней женская природа,— сказал старик и в явном разочаровании покачал головой.— Только проявляется она в обратном духе.

— Эллен! — закричал молодой незнакомец, до сих пор державшийся молчаливым слушателем переговоров.— Раз все вас называют Эллен...

— Не только «Эллен». Называют меня, как ни странно, и по фамилии моего отца.

— Зовите ее Нелли Уэйд,— буркнул Поль,— это ее законное имя, и, по мне, пусть оно остается при ней навсегда!

— Я должен был добавить «Уэйд»,— сказал молодой капитан.— Вы убедитесь, что, хотя я сам не связан клятвой, я, во всяком случае, умею уважать клятвы, данные другими. Вы сами свидетельница, что я говорю тихо, а ведь я уверен, что, стоило бы мне позвать, мой зов был бы услышан и принес бы кому-то бесконечную радость. Позвольте же мне одному подняться на скалу. Обещаю вам, что сполна возмещу вашему родственнику весь убыток, какой он может понести.

Эллен почти сдалась, но, глянув на Поля, который стоял, горделиво опершись на ружье, и с видом полного безразличия насвистывал песенку лодочников, она вовремя опомнилась и сказала:

— Дядя, уходя с сыновьями на охоту, назначил меня

на скале комендантом. Комендантом я и останусь, пока он не вернется и не освободит меня от этой обязанности.

— Мы теряем невозвратимое время и упускаем возможность, которая, может быть, не представится нам вторично,— решительно сказал офицер.— Солнце уже клонится к закату, и с минуты на минуту скваттер со всем своим диким племенем может вернуться на ночлег в свой лагерь.

Доктор Батциус боязливо поглядел через плечо и снова отважился заговорить:

— Совершенство как в животном организме, так и в мире интеллекта достигается не иначе, как в зрелости. Размышление — мать мудрости, а мудрость — мать успеха. Я предлагаю удалиться на приличное расстояние от этой неприступной позиции и там держать совет о том, не начать ли нам — и какими путями — правильную осаду; или, возможно, мы предпочтем, отложив осаду до более благоприятной поры, обеспечить себе помощь вспомогательных войск из обитаемых областей и тем самым оградить достоинство закона от опасности его ниспровержения.

— Штурм предпочтительней,— ответил с улыбкой офицер, смерив взглядом высоту подъема и оценив его трудность.— В худшем случае нас ждет перелом руки или шишка на лбу.

— Валяй! — рявкнул бортник, рванувшись вперед, и с одного прыжка оказался вне достижения для пуль под нависшим краем выступа, на котором разместился гарнизон.— Теперь показывайте, на что вы способны, дьяволята, у вас секунда сроку, чтобы нам навредить.

— Поль, Поль, сумасшедший! — крикнула Эллен.— Еще шаг, и глыбы придавят тебя. Они висят на волоске, и девочки уже готовы их столкнуть!

— Так отгони от улья окаянный рой! Я все равно взберусь на утес, хотя бы его сплошь покрывали шершни.

— Пусть она только сунется к нам! — усмехнулась старшая из девочек и потрясла мушкетом так решительно, что в пору бы ее бесстрашной матери.— Знаем мы тебя, Нелли Уэйд, ты в душе заодно с законниками; осмелься только подойти на полшага ближе, и тебя накажут, как наказывают на границе. Подсуньте-ка здесь еще один кол, девочки! Живо! Посмотрю я на человека, который посмеет подняться в лагерь Ишмаэла Буша, не спросив позволения у его детей!

— Ни с места, Поль! Держитесь под скалой, или вас убьют!

Эллен умолкла: то же нежданное видение, которое накануне вызвало такой переполох, показавшись здесь же, на краю уступа, явилось и сейчас их взорам.

— Именем создателя заклинаю вас, остановитесь! Все остановитесь! Вы, подвергающие себя безрассудному риску, и вы, девочки, готовые отнять у людей то, чего не сможете вернуть! — сказал голос с легким иностранным акцентом, при звуке которого все устремили глаза на вершину скалы.

— Инес! — закричал офицер.— Неужели я вновь тебя вижу? Теперь ты моя, хотя бы тысяча дьяволов охраняла эту скалу. Подвиньтесь, мой храбрый товарищ, дайте дорогу другому!

При неожиданном появлении пленницы гарнизон цитадели на миг оцепенел. При достаточной выдержке это было бы быстро исправлено, но, услышав голос Мидлтона, Фиби сгоряча разрядила по незнакомке свой мушкет, едва ли ясно сознавая, в кого стреляет — в человека из плоти и крови или в существо иного мира. Эллен с криком ужаса бросилась в палатку вслед за своей подругой, не зная, ранена та или только напугана.

Пока разыгрывалась эта опасная интермедия, снизу отчетливо доносился шум решительного штурма. Поль, воспользовавшись замешательством наверху, продвинулся дальше, а место под выступом освободил для Мидлтона. Следом за Мидлтоном кинулся натуралист, который был так ошарашен выстрелом, что подскочил к самой скале, инстинктивно ища прикрытия. Только траппер остался на прежнем месте невозмутимым, но внимательным наблюдателем происходящего. Однако, не принимая пря-

мого участия в военных действиях, старик все же оказывал штурмующим существенную помощь. Удобная позиция дала ему возможность предупреждать друзей о каждом движении неприятеля, грозившего им сверху гибелью, и указывать им, как продвигаться дальше.

Между тем Фиби и Хетти показали, что они не только по крови, но и по духу истинные дочери неустрашимой Эстер. С той минуты, как Эллен и ее таинственная подруга исчезли в палатке, девочки все свое внимание перенесли на двух более мужественных и бесспорно более опасных противников, которые к этому времени успели скрыться среди выступов на склоне. Поль грозным голосом, желая вселить ужас в юные сердца, снова и снова предлагал девочкам сдаться, но они не слушали его, как не слушали и призывов траппера прекратить сопротивление, которое могло оказаться для них роковым, не давая притом хотя бы слабой надежды на успех. Подбадривая друг дружку, они подкатили тяжелые глыбы ближе к краю, приготовили для немедленного использования камни полегче и выставили вперед дула мушкетов с деловитостью и хладнокровием испытанных бойцов.

— За выступ! Не высовываться! — говорил траппер, указывая Полю, как ему продолжать подъем.— Ногу к ноге, мальчик... Ага! Видишь, не зря поостерегся! Задень этот камень твою ступню, пчелы без опаски могли бы летать над прерией. А ты, тезка моего друга, Ункас по имени и по духу, если ты так же быстр, как Легконогий Олень, делай смелый прыжок вправо, и ты безопасно продвинешься на двадцать футов. За куст не хватайся, нельзя — он обманет, не выдержит!.. Ага! Сумел!.. Сделал точно и смело!.. Теперь ваша очередь, мой друг, искатель даров природы. Подайтесь влево и отвлеките на себя внимание детей... Ладно, девочки, палите, мои старые уши привыкли к свисту свинца; да и с чего мне трусить, когда за спиной восемьдесят с лишним лет! — Он с печальной улыбкой закивал головой, но ни один мускул не дрогнул на его лице, когда пуля просвистела рядом: это Хетти вне себя от злости выстрелила в старика.— Когда курок спускают такие слабенькие пальцы, надежней стоять на месте и не увертываться,— продолжал он.— Но горько видеть, что и у таких молоденьких человеческая природа склонна к злу!.. Отлично, мой любитель зверей и трав! Еще один прыжок, и ты посмеешься над всеми оградами и рогатками

скваттера! Доктор как будто распалился! Вижу по его глазам. Теперь от него больше будет толку!.. Жмитесь теснее к скале, мой друг... теснее!

Траппер не ошибся — доктор Батциус и впрямь распалился; но старик сильно заблуждался относительно причины, вызвавшей это состояние духа. Неловко подражая движениям своих товарищей и очень осторожно, с тайным содроганием карабкаясь кое-как вверх по круче, натуралист краем глаза увидел неизвестное растение в нескольких ярдах над своей головой и на месте, вовсе уж не защищенном от камней, которые девочки непрестанно обрушивали на штурмующих. Мгновенно забыв обо всем на свете, кроме славы, ожидающей того, кто первым занесет это сокровище в ботанические каталоги, он жадно, как птица за бабочкой, ринулся за своим трофеем. Каменная глыба, тотчас прогрохотав вниз по круче, возвестила, что он замечен. Его фигуру скрыло облако пыли и осколков, поднятое грозной глыбой, и траппер уже считал его погибшим, но минутой позже увидел, что доктор цел и невредим: примостившись в выемке, образованной на месте одного из каменных уступов, сбитого лавиной камней, он с торжеством сжимал в руке свою драгоценную находку и пожирал ее восхищенным взглядом знатока. Поль не замедлил воспользоваться случаем. Свернув со своего пути, он быстро, как мысль, перенесся на удобную позицию, занятую Овидом. И, когда ученый нагнулся над своим сокровищем, бортник бесцеремонно ступил, как на ступеньку, ему на плечо, проскочил в брешь, оставленную сброшенным камнем, и оказался на площадке. Его примеру последовал Мидлтон, и они схватили и обезоружили девочек. Так была одержана бескровная и полная победа, передавшая в руки врага цитадель, которую Ишмаэл полагал неприступной.

Глава XV

Пусть небо этот брак благословит,
Чтоб горе нас потом не покарало.

Шекспир, «Ромео и Джульетта»

Приостановим течение нашего рассказа и обратимся к событиям, приведшим в своем развитии к неожиданной схватке, описанной в предыдущей главе. Перерыв будет

настолько краток, насколько это совместимо с нашим желанием удовлетворить тех читателей, которые не терпят, чтобы лицо, взявшее на себя обязанность историка, оставляло какой-то пробел и понуждало их бесплодное воображение этот пробел заполнять.

В войсках, направленных правительством Соединенных Штатов принять во владение новоприобретенную территорию на Западе, имелся отряд, возглавляемый тем молодым офицером, которому довелось играть такую заметную роль в последних картинах нашей повести. Мирные, бездеятельные потомки колонистов прежнего времени приняли своих новых соотечественников без недоверия, ибо им было известно, что передача несет для них завидную перемену: из подданных монарха они превращались в граждан республики, где царствует закон. Новые правители держались очень скромно, не злоупотребляя предоставленной им властью. Однако при таком нежданном смешении питомцев свободы с угодливыми ставленниками абсолютной монархии, протестантов — с католиками, предприимчивых людей — с бездеятельными должен был пройти известный срок, пока совершилось бы слияние исходных элементов общества. Как всегда, достижению желанной цели должно было способствовать благотворное влияние женщины. Неодолимая сила владычицы-любви опрокидывала преграды, воздвигнутые предубеждением и религией, и вскоре брачные союзы стали закреплять рожденную обстоятельствами политическую связь между двумя национальностями, столь различными по воспитанию, обычаям и образу мыслей.

Среди новых хозяев края Мидлтон был одним из первых, кто подпал под чары коренной луизианки. В непосредственном соседстве с местом, куда он был назначен, проживал глава одной из тех старинных колониальных семей, которые уже не первый век мирно прозябали в покое, праздности и богатстве испанских провинций. Когда-то он был офицером на службе испанской короны, но покинул Флориду и перебрался в соседнюю провинцию, к французам, так как там получил в наследство богатое поместье. Имя дона Аугустина де Сертавольос было мало кому известно за пределами городка, где он обосновался. Зато он находил для себя тайную утеху, показывая своей единственной дочери это имя в больших заплесневелых свитках старинных грамот, где оно значи-

лось среди имен вельмож и героев Старой и Новой Испании. Этот факт, столь важный для него и незначительный для всякого другого, был основной причиной его одиночества. В то время как его соседи, живые и общительные галлы, с готовностью открывали свои двери перед каждым новым гостем, дон Аугустин предпочитал держаться от всех в стороне, видимо вполне довольный обществом дочери, девушки, едва вышедшей из детских лет.

Однако юная Инес не была так равнодушна к окружающей жизни. И, когда она слышала военную музыку, вечерами разливавшуюся в воздухе, когда видела новое знамя, реющее над холмами неподалеку от обширного имения ее отца, в ней пробуждалось любопытство, которое не зря признается отличительным свойством ее пола. Все же прирожденная застенчивость и та особенная отчуждающая томность, которая в тропических провинциях Испании придает женщинам своеобразное очарование, держала ее в своих, казалось бы, нерасторжимых узах; и более чем вероятно, что, если бы Мидлтону не случилось оказать какую-то услугу ее отцу, молодые люди долго бы еще не встретились и девушка, уже вступившая в тот возраст, когда сердце тянется к любви, отдала бы свои чувства другому.

Но провидению или, если угодно, року (прибегнем к не столь торжественному, но более классическому слогу) угодно было иначе. Надменный и недоступный дон Аугустин все же слишком гордился своей принадлежностью к свету, чтобы преступить его закон. Из признательности к Мидлтону он открыл офицерам гарнизона двери своего дома и завязал с ними хоть и сдержанные, но учтивые отношения. Сдержанность эта постепенно отступала перед любезностью и чистосердечием молодого, неглупого капитана, и вскоре богатый землевладелец не меньше своей дочери радовался всякий раз, когда знакомый стук в ворота возвещал о желанном госте — командире форта.

Нет нужды распространяться о впечатлении, произведенном на солдата чарами Инес, или затягивать рассказ подробным отчетом о том, как его образованность, изящные манеры, мужественная красота и безраздельное внимание все сильнее действовали на чувствительную душу романтической и пылкой шестнадцатилетней затворницы. Для наших целей достаточно будет сказать, что они полюбили друг друга; что юноша не замедлил открыться

в своих чувствах; что он без особого труда рассеял сомнения девушки и с немалым трудом — сомнения ее отца; и что не прошло и полугода с передачи Луизианы во владение Соединенных Штатов, как офицер американской армии стал женихом богатейшей наследницы на берегах Миссисипи.

Хотя читателю, мы полагаем, известно, как делаются такие дела, не надо думать, что Мидлтон с легкостью одержал победу над предрассудками как отца, так и дочери. В глазах обоих различие вероисповеданий составляло серьезное, почти неустранимое препятствие. Влюбленный терпеливо выдерживал отчаянный натиск отца Игнасио, на которого была возложена задача обратить его в католичество. Свои попытки достойный священник предпринимал методично, упорно и безуспешно.

Раз двадцать (бывало это в те минуты, когда в глубине комнаты, где шла их беседа, легкой тенью проплывала фигурка Инес) священнику казалось, что он вот-вот восторжествует над ложной верой; но все его надежды оказывались тщетными из-за нежданного сопротивления со стороны предмета его благочестивых трудов. Пока наступление на его веру велось издалека и было не слишком энергичным, Мидлтон, не искушенный в богословских спорах, принимал его безропотно и терпеливо, как мученик; но, как только добрый священник в заботе о его будущем блаженстве пытался укрепить свою исходную позицию и призвать на помощь аргументацию, почерпнутую в арсеналах собственной своей религии, молодой человек, как хороший солдат, тотчас сам кидался в контратаку. Правда, он вступал в бой вооруженный только здравым смыслом и некоторым знанием обычаев своей родной страны, столь несходных с испанскими; но этим незамысловатым оружием он легко отбрасывал противника. Так упрямая дубинка в руке запальчивого крепыша берет верх над рапирой искусного фехтовальщика, чьи тонкие выпады оказываются бессильны перед неотразимым аргументом пробитого черепа и переломленного клинка.

Спор еще не завершился, когда на помощь солдату пришло нашествие протестантов. С тревогой взирал на них почтенный священник и видел вокруг либо безбожников, помышляющих только о земных благах, либо людей, искренне верующих и притом терпимых. Он видел,

что зараза вольнодумства просачивается и в его собственную паству, которую, казалось ему, ничто не могло совратить с пути истинного. Пришла пора переходить от наступления к обороне и подготовлять своих приверженцев к сопротивлению беззаконным влияниям, грозившим опрокинуть устои их веры. Как разумный полководец, убедившийся, что занял для своих сил слишком пространную территорию, он начал отводить свои аванпосты. Священные реликвии были укрыты от нечестивых взоров; прихожанам внушалось, чтобы они не толковали о чудесах перед иноверцами, отрицающими самую возможность чудес и дерзающими брать под сомнение их достоверность; и даже на Библию налагался с грозными заклятьями запрет под тем вразумительным предлогом, что ей могут дать ложное истолкование.

Между тем пришла пора дать отчет дону Аугустину о воздействии увещеваний и молитв на еретическую душу молодого солдата. Никто не любит признаваться в своей слабости, да еще в такое время, когда обстоятельства требуют крайнего напряжения сил. И вот, оправдываясь сам перед собой чистотою своих побуждений, достойный священник пошел на благочестивый обман и объявил, что, хотя Мидлтон окончательно еще не изменил свой образ мыслей, все же есть все основания надеяться, что неопровержимые доводы оставили в его уме глубокие борозды, на которых легко будет взойти благословенному посеву веры, особенно если обращаемому будет дана счастливая возможность постоянного общения с католиками.

Теперь самого дона Аугустина охватил прозелитский пыл. И даже нежная и кроткая Инес возмечтала сделаться смиренным орудием обращения своего возлюбленного в истинную веру. Предложение Мидлтона было наконец принято; и если отец с нетерпением ждал дня назначенной свадьбы, видя в ней залог своего собственного успеха, то его дочь думала об этом дне с глубоким волнением, в котором рвение истой католички переплелось с более нежными помыслами юной невесты.

В утро ее свадьбы солнце поднялось в таком ясном и безоблачном небе, что Инес приняла это как предзнаменование будущего счастья. Отец Игнасио совершил обряд бракосочетания в домашней церкви дона Аугустина, и задолго до того, как солнце начало клониться к закату, Мидлтон прижал к своей груди стыдливо зардевшуюся

юную креолку как свою законную жену, которую никто не вправе у него отнять. По обоюдному согласию день свадьбы решено было провести в уединении, посвятив его только искренним чистым чувствам, а не шумному и принужденному веселью многолюдного пиршества.

Когда начало смеркаться, Мидлтон, навестив по долгу службы лагерь, возвращался назад владениями дона Аугустина, как вдруг он заметил мелькнувшее сквозь листву уединенной беседки платье, похожее на то, в котором его невеста стояла перед алтарем. Он подошел поближе — нерешительно, потому что полученное им право во всякий час нарушить одиночество жены, казалось, требовало от него особой деликатности; но, услышав, что жена его молится и в своей молитве нежно упоминает его как своего любимого супруга, он отбросил излишнюю щепетильность и стал так, что мог слышать и дальше, оставаясь незамеченным. Мужа, конечно, не могло не порадовать, когда душа жены таким образом раскрылась перед ним, незапятнанно чистая, и он увидел, что все думы любимой заполняет его собственный образ, озаренный светлыми надеждами. Это было так лестно для его самолюбия, что он не поставил ей в вину непосредственный предмет ее молитвы. А молилась она о том, чтобы ей дано было сделаться смиренным орудием воли господней и обратить супруга в истинную веру; и еще она испрашивала прощения самой себе, если она по самонадеянности и равнодушию к наставлениям церкви переоценила силу своего влияния и в опасном заблуждении сама ступила на путь погибели, выйдя замуж за еретика. В ее порыве благочестие католички сочеталось с таким жаром земного чувства, что, назови его Инес хоть язычником, Мидлтон простил бы ей и это за любовную горячность ее молитвы.

Молодой человек подождал, когда новобрачная встанет с колен, и подошел к ней, как будто не подозревая, зачем она уединилась здесь.

— Уже вечереет, моя Инес,— сказал он,— и дон Аугустин мог бы упрекнуть вас, что вы не бережете свое здоровье, оставаясь в этот поздний час на воздухе. Как же должен поступить я, на которого возложена та же ответственность и который любит вас вдвое сильней?

— Будьте похожи на него во всем,— ответила она, подняв на мужа полные слез глаза, и повторила с чувст-

вом: — Во всем! Берите с него пример, Мидлтон, и больше мне нечего будет желать от вас.

— От меня? А для меня, Инес? Не сомневаюсь, что, если бы я мог стать таким хорошим человеком, как достойный дон Аугустин, большего вы и желать не могли бы. Но вы должны оказать снисхождение к слабостям и привычкам солдата. Пойдем же вместе к вашему доброму отцу.

— Немного погодя,— сказала Инес, мягко отстранив его руку, которой он уже обвил ее легкий стан, собираясь увести ее в дом.— Хоть вы и командир, я, перед тем как стану беспрекословно подчиняться вашим приказаниям, должна исполнить другой свой долг. Я дала одно обещание доброй Инесилье, моей верной кормилице, которая, как вы знаете, Мидлтон, долго заменяла мне мать. Я пообещала сегодня вечером навестить ее. Она думает, что больше ей не доведется видеть у себя свою питомицу, и я не хотела бы ее огорчить. Пойдите же к дону Аугустину, а через час приду и я.

— Так не забудьте: через час, не позже.

— Через час,— повторила Инес, послав ему воздушный поцелуй и тут же вспыхнув, как будто устыдившись своей смелости, кинулась вон из беседки, и с минуту он видел ее, бегущую к хижине кормилицы, где еще через миг она скрылась.

Медленно, в задумчивости Мидлтон шел, часто обращая взгляд туда, где он в последний раз видел свою жену, как будто надеялся в вечернем полумраке увидеть опять ее милый образ.

Дон Аугустин обрадовался ему, и на полчаса ему удалось занять свой ум, излагая тестю свои планы на будущее. Старый надменный испанец слушал страстный, но верный рассказ о процветании и о счастье молодой республики, совсем незнакомой ему, хотя он прожил полжизни в соседстве с ней, и слова зятя вызывали у него отчасти удивление, но больше недоверие, с каким слушают люди восторженное описание, когда им кажется, что рассказчик пристрастен и приукрасил картину.

За разговором час, испрошенный новобрачной, истек быстрее, чем мог надеяться муж. Но к концу этого срока Мидлтон начал все чаще поглядывать на часы, а потом считать и минуты, по мере того как они проходили одна за другой, а Инес не являлась. Когда минутная стрелка

обежала по циферблату половину нового круга, Мидлтон встал и объявил свое решение пойти за опоздавшей и проводить ее к отцу.

Уже совсем стемнело, и небо заволокло густой тучей, что в этих местах безошибочно предвещает бурю. Подгоняемый грозной приметой чуть ли не больше, чем тайной своей тревогой, он широким и быстрым шагом поспешал к хижине Инесильи. Двадцать раз он останавливался, когда ему чудилось, что Инес, воздушная, легкая, спешит ему навстречу, и двадцать раз, поняв, что обманулся, должен был продолжать свой путь. Он дошел до хижины, постучался, открыл дверь, переступил через порог и уже стоял перед старой кормилицей, а все еще не встретил ту, кого искал: она уже ушла отсюда домой. Подумав, что разминулся с нею в темноте, Мидлтон прошел обратно тот же путь, но лишь для нового разочарования: Инес домой не приходила.

Никому не сказав о своем намерении, новобрачный с трепетом сердца направился к той уединенной беседке, где недавно подслушал молитву жены. Здесь его опять постигло разочарование. И дальше все поплыло в мучительной неясности сомнений и догадок.

Первые часы Мидлтон, втайне не очень уверенный, каким побуждениям следовала его жена, искал ее сам, никому ничего не говоря. Но, когда день угас, а она так и не вернулась к отцу и мужу, он отбросил стеснение и объявил во всеуслышание о ее непонятном исчезновении. Теперь о пропавшей Инес расспрашивали прямо и открыто; но по-прежнему без успеха. Никто ее не видел, и никто не слышал о ней с той минуты, как она вышла от кормилицы.

Проходил день за днем, а немедленно начатые розыски не приносили ничего нового, и наконец большинство друзей и родственников отказались от надежды когда-нибудь свидеться с нею.

Такое необычайное происшествие, понятно, не могли быстро придать забвению. Оно породило всяческие слухи, нескончаемые пересуды и немало диких измышлений. Наводнившие страну новые поселенцы — то есть те из них, у кого среди множества хлопот еще оставалось время подумать о чужой беде,— в большинстве своем пришли к бесхитростному заключению, что исчезнувшая новобрачная покончила с собой. Отец Игнасио терзался сомнениями

и тайными угрызениями совести; но, как разумный полководец, он постарался обратить печальное событие к своей выгоде в предстоящем походе за веру. Повернув свою батарею, он стал нашептывать на ухо то одному, то другому из вернейших своих прихожан, что он-де в Мидлтоне обманулся, ибо душа молодого человека, как ныне он с прискорбием убедился, окончательно увязла в зыбучих песках ереси. Воинствующий священник опять стал показывать священные реликвии и снова начал заговаривать на щекотливую тему о том, что и в наши дни возможны чудеса. И вот среди верующих пошел слух, постепенно превратившийся в местное поверье, будто Инес живою вознеслась на небо.

Дон Аугустин, конечно, по-отцовски горевал, но скорбь его, пылкая поначалу, быстро отгорела — недаром же он был креолом. Как и его духовный наставник, он начал думать, что с их стороны было ошибкой отдать еретику такую чистую, юную, прелестную, а главное, такую благочестивую девушку! Отец готов был уверовать, что несчастье, поразившее его на старости лет, явилось карой за его самонадеянность и недостаточную приверженность к вековым обычаям. Правда, когда дошла до него ходившая среди прихожан молва, их простодушная вера принесла ему утешение; но природа брала свое, и в уме старика закипала мятежная мысль, что все же его дочь рановато обрела сокровище небесное взамен земных богатств.

Но Мидлтон, так неожиданно утративший возлюбленную, невесту, жену,— Мидлтон был почти раздавлен тяжестью внезапного и страшного удара. Сам воспитанный в более рационалистической вере, он, гадая о судьбе Инес, поддавался лишь тем опасениям, какие подсказывала мысль об известном ему суеверном взгляде девушки на его «ересь». Не к чему останавливаться на его душевных терзаниях, на всяческих предположениях, надеждах, разочарованиях, выпавших ему на долю в первые недели его горя.

Ревнивые подозрения об истинных побуждениях Инес и тайная уверенность, что она еще будет найдена, не позволяли ему ни усердней повести поиски, ни вовсе от них отказаться. Но время шло, и все менее вероятной становилась гнетущая догадка, что Инес умышленно покинула его — хотя, возможно, лишь на время,— и он постепенно склонялся к более мучительному убеждению, что ее уже

нет в живых, когда новое странное происшествие возродило его надежды.

Молодой начальник гарнизона медленно и печально возвращался с вечернего смотра к себе, в уединенный дом неподалеку от лагеря, на том же холме, когда его блуждающий взгляд задержался на фигуре человека, хотя в этот поздний час посторонним заходить сюда не разрешалось. Неизвестный был в обтрепанной одежде, и весь его вид говорил о неопрятной бедности и самых дурных привычках.

Горе смягчило офицерское высокомерие Мидлтона, и, когда он, проходя мимо, заговорил с нарушителем правил, который, скрючившись, сидел на земле, в голосе его звучала снисходительность, даже доброта:

— Если вас застанет здесь патруль, вам, дружок, придется просидеть ночь на гауптвахте; вот вам доллар, ступайте куда-нибудь, где можно получить ужин и ночлег.

— Мою пищу, капитан, жевать не приходится,— ответил бродяга и схватил монету с жадностью законченного негодяя.— Подкиньте-ка еще таких мексиканцев, чтобы стало их двадцать, и я продам вам тайну.

— Ступайте живо,— сказал офицер, приняв свой обычный строгий вид.— Уходите, пока я не велел вас схватить.

— Могу и уйти. Но, если я уйду, капитан, я, что знаю, унесу с собой, и жить вам тогда соломенным вдовцом до вашего смертного дня.

— Что вы хотите сказать? — закричал Мидлтон и быстро повернулся к оборванцу, который уже поплелся прочь, еле волоча свои распухшие ноги.

— Что? А вот что: куплю я на весь ваш доллар испанской водки, а потом вернусь и продам вам свою тайну за такие деньги, чтоб хватило на целый бочонок.

— Если вам есть что сказать, говорите сейчас! — крикнул Мидлтон, от нетерпения едва не выдав свои чувства.

— Всухую не поговоришь, капитан,— я не могу изящно выражаться, когда у меня першит в горле. Сколько вы дадите, чтоб узнать от меня то, что я могу рассказать? Тут нужно предложить что-нибудь приличное, как подобает между джентльменами.

— По справедливости будет лучше всего взять вас под стражу, любезный. К чему относится ваша хваленая тайна?

— К браку... Есть жена — и нет жены. Хорошенькое личико, богатая невеста. Теперь ясно вам, капитан?

— Если вы что-нибудь знаете насчет моей жены, говорите сразу: наградой вы останетесь довольны.

— Эх, капитан, я заключал на своем веку немало сделок. Бывало, что мне платили чистоганом, бывало, что и обещаниями. А ими, скажу я вам, сыт не будешь.

— Назовите вашу цену.

— Двадцать... нет, черт возьми, уж продавать, так за тридцать долларов или не брать ни цента!

— Вот вам ваши деньги. Но запомните: если вы мне не скажете ничего такого, что стоило узнать, у вас их отберут, да в придачу вас еще накажут за наглость.

Оборванец придирчиво осмотрел полученные банковые билеты и, убедившись, что они не фальшивые, положил их в карман.

— Люблю я эти северные кредитки,— сказал он преспокойно.— Они, как сам я, дорожат своею репутацией. Не бойтесь, капитан, я человек чести и врать не стану; скажу только то, что знаю сам, и все это будет верно от слова до слова!

— Говорите же без задержки, а не то я передумаю и прикажу, чтоб у вас отобрали все, что вы от меня получили, — и банкноты, и мексиканский доллар.

— А как же честь? Разве она не дороже жизни? — возразил пропойца, воздев руки в притворном ужасе перед столь коварным предательством.— Так вот, капитан, вам, конечно, известно, что джентльмены получают средства к жизни не все одним путем: те берегут, что имеют, эти добывают где что могут.

— Значит, вы вор?

— Презираю это слово. Я в свое время занимался охотой на человека. Вы знаете, что это значит? Это толкуют по-разному. Одни считают, что кудлатые головы очень несчастны, должны работать на знойных плантациях под палящим солнцем... и всякое такое! Так вот, капитан, я в свое время как добросовестный человек охотно занимался благотворительностью, внося разнообразие в жизнь чернокожих — хотя бы в смысле перемены места. Вы меня поняли?

— Вы, попросту говоря, похититель негров?

— Был, достойный капитан, был таковым! Но как раз сейчас я немного сократил свое дело, как иной купец

свертывает оптовую торговлю и открывает табачную лавочку. Был я в свое время и солдатом. Что в нашем ремесле считается самым главным, можете вы мне сказать?

— Не знаю,— ответил Мидлтон, изрядно наскучив его болтовней.— Храбрость, по-моему.

— Нет, ноги! Ноги, чтоб идти в драку, и ноги для бегства. Так что, видите, два моих занятия кое в чем сходны. Ноги у меня стали плохи, а похитителю, если он обезножел, барыша в его деле не будет! Но осталось немало людей, кто покрепче стоит на ногах, чем я.

— Ее похитили! — простонал пораженный муж.

— И увезли. Это верно, как то, что вы стоите на этом месте.

— Негодяй! Откуда вы знаете, что это так?

— Руки прочь... Прочь руки! Вы думаете, мой язык будет лучше делать свое дело, если сдавлено горло? Имейте терпение, и вы узнаете все. Но, если вы еще раз попробуете обойтись со мною так неучтиво, я буду вынужден обратиться за помощью к законникам.

— Говорите. Но, если вы не скажете мне всю правду или хоть в чем-нибудь солжете, я с вами тут же расправлюсь.

— Не такой вы дурак, чтобы верить на слово пройдохе вроде меня, если ему нечем подтвердить свои россказни. Нет, капитан, вы умный человек, так что я выложу вам, что я знаю и что соображаю, и оставлю вас: сидите и раздумывайте, а я пойду и выпью за вашу щедрость. Так вот, я знавал человека, по имени Эбирам Уайт. Думаю, мерзавец взял себе такую фамилию, чтобы показать свою нелюбовь к чернокожим![1] Этот человек, как мне достоверно известно, не первый год занимается перевозкой краденых невольников из штата в штат. Я в свое время вел с ним дела — ох, и собака! Хоть кого надует! Чести в нем не больше, чем жратвы в моем желудке. Я видел его здесь, в этом самом городе, как раз в день вашей свадьбы. Он был тут вместе с мужем своей сестры и выдавал себя за переселенца, собравшегося в новые земли. Неплохая компанийка для любого дела — у зятя семеро сыновей, каждый ростом с вашего сержанта, считая с шапкой на голове. Так вот, когда я услышал, что

[1] Уайт (white) — по-английски «белый».

у вас пропала жена, я мигом сообразил: угодила она в лапы Эбирама.

— Вы... вы это знаете? Вздор! Какое у вас основание так думать?

— Основание самое верное: я знаю Эбирама Уайта. Так что не прибавите ли вы чуток, чтобы в горле не пересохло?

— Ступайте, ступайте! Вы и без того пьяны, несчастный, и не знаете, что говорите. Ступайте, пока я не отдал вас под стражу!

— Опыт — добрый вожак! — крикнул оборванец вслед удаляющемуся Мидлтону, потом повернул с самодовольным смешком и направил свои стопы к лавке маркитанта.

Сто раз в течение той ночи Мидлтону представлялось, что слова бродяги все же заслуживают внимания, и столько же раз он отвергал эту мысль как нечто дикое, бредовое, о чем лучше и не вспоминать. Так провел он беспокойную, почти бессонную ночь, а рано утром его разбудил ординарец, пришедший с донесением, что на плацу, неподалеку от квартиры Мидлтона, найден мертвец. Поспешно одевшись, Мидлтон пошел туда и увидел того самого бродягу, с которым говорил накануне Он лежал простертый на земле, как его здесь застали.

Несчастный пал жертвой собственной невоздержанности. Об этом убедительно говорили его выпученные глаза, распухшее лицо и исходивший от трупа невыносимый запах винного перегара. В ужасе и омерзении Мидлтон отвернулся, приказав унести тело, когда вдруг его глаза привлекло положение правой руки мертвеца. Приглядевшись, он обнаружил, что указательный палец вытянут и упирается в песок, где чуть заметно, но все же различимо была нацарапана следующая незаконченная фраза: «Капитан, это верно, как то, что я джентл...» Он, видно, умер

или впал перед своим концом в глубокий сон, не успев дописать последнее слово.

Не посвящая других в свое открытие, Мидлтон повторил приказ и ушел. Он подумал о том, как упорно настаивал на своем несчастный бродяга, взвесил все обстоятельства и решил втайне навести некоторые справки. Он выяснил, что в день его свадьбы в окрестностях проезжала семья переселенцев, отвечавшая описанию. Удалось проследить их путь по берегу Миссисипи; затем они наняли баржу и поднялись вверх по реке до ее слияния с Миссури. Здесь след обрывался: люди исчезли, как сотни других, устремившихся в новые земли за сокрытыми в них богатствами.

Собрав эти сведения, Мидлтон взял с собою для охраны небольшой отряд из самых верных своих людей, простился с доном Аугустином, не делясь с ним ни надеждами своими, ни страхами, и, прибыв в указанное место, пустился в погоню в неразведанную глушь. Такой караван поначалу можно было без труда проследить, но дальше выяснилось, что Ишмаэл наметил осесть далеко за обычными пределами поселений.

Обстоятельство это само по себе укрепило Мидлтона в его подозрениях и оживило его надежду на конечный успех.

Когда поселения остались позади и некого стало расспрашивать, Мидлтон продолжал погоню за беглецами по обычным следам на земле. Это тоже было нетрудной задачей, пока следы не завели его в «волнистую прерию», где твердая почва не сохраняла никаких отпечатков. Тут он совсем растерялся.

В конце концов он счел наилучшим разделить свой отряд и назначил место, где им всем сойтись в условленный день, чтобы повести поиски в разных направлениях. Он уже неделю бродил один, когда случай свел его с траппером и бортником. Как произошла их встреча, читатель уже знает и легко представит себе объяснения, которые последовали за рассказом Мидлтона и привели к тому, что молодой офицер, как мы видели, наконец нашел свою жену.

Глава XVI

Она бежала — в том сомненья нет.
Молю вас попусту не тратить слов.
Скорее на коней.

Шекспир, «Два веронца»

Незаметно прошел час торопливых и довольно бессвязных расспросов, когда Мидлтон, с восторгом и тревогой глядевший на жену, как смотрит скупец на возвращенные ему сокровища, оборвал сбивчивый рассказ о том, как он сам добрался сюда, и обратился к жене со словами:

— Но вы, моя Инес... как они обходились с вами?

— Если не говорить о самом главном — что меня без всякого права насильно разлучили с друзьями,— похитители старались устроить меня как можно лучше. Мне думается, что глава их семьи только недавно ступил на путь злодейства. Он не раз в моем присутствии страшно бранил негодяя, который меня схватил, а потом они заключили нечестную сделку, принудив к ней и меня: они связали меня клятвой и сами поклялись... Ах, Мидлтон, боюсь, еретики не так блюдут свои обеты, как мы, дети истинной церкви!

— Оставьте, тут религия ни при чем! Для этих подлецов нет ничего святого. Так они нарушили клятву?

— Нет, не нарушили... Но разве это не кощунство — призывать бога в свидетели, заключая такой грешный договор?

— В этом Инес, мы, протестанты, согласимся с самым ревностным католиком. Но как они соблюдали договор? И в чем была его суть?

— Они обязались не трогать меня и не навязывать мне свое гнусное присутствие, если я поклянусь, что не буду делать попыток к бегству и что я не буду даже никому показываться на глаза до известного срока, который они сами назначили.

— До какого же срока? — спросил в нетерпении Мидлтон, знавший, как щепетильна его жена во всем, что связано с религией.— Он еще не скоро...

— Он уже истек. Я поклялась святою, чье имя я ношу, и была верна своей клятве, пока человек, которого они зовут Ишмаэлом, не нарушил условия. Тогда я открыто показалась на скале — тем более, что и срок миновал.

Впрочем, я думаю, отец Игнасио все равно разрешил бы меня от обета, раз мои тюремщики нарушили слово.

— Если бы не разрешил,— процедил сквозь зубы капитан,— я бы навеки освободил его от духовной опеки над вашей совестью.

— Вы, Мидлтон? — возразила жена, увидев, как он побагровел, и, сама залившись румянцем, сказала: — Вы можете принимать мои обеты, но никак не властны разрешать меня от них!

— Конечно, конечно не властен! Вы правы, Инес. Не мне разбираться в этих тонкостях, и я уж никак не священник. Но скажите мне, что толкало этих злодеев вести такую опасную игру... так шутить моим счастьем?

— Вам известно, как мало я знаю жизнь, как не способна понимать побуждения людей, столь отличных от всех, с кем я встречалась раньше. Но не правда ли, жадность к деньгам толкает иногда людей и на худшие злодеяния? Вероятно, они думали, что мой старый и богатый отец будет рад уплатить немалый выкуп за свою единственную дочь; а может быть,— добавила она, сквозь слезы глянув украдкой на внимательно слушавшего Мидлтона,— они в какой-то мере рассчитывали и на горячие чувства молодого мужа.

— Они могли бы выцедить по капле всю кровь моего сердца!

— Да,— продолжала робкая его жена, сразу отведя взгляд, на который отважилась, и поспешила подхватить нить беседы, как будто хотела, чтобы он забыл ее смелые слова.— Мне рассказывали, будто некоторые мужчины так низки, что приносят ложную клятву у алтаря ради того, чтобы завладеть золотом доверчивых девушек; так если жажда денег толкает иных на такую низость, неудивительно, если настоящий преступник ради денег совершает злодейство, все-таки не столь коварное.

— Так это, верно, и есть. А теперь, моя Инес, хотя я с вами и буду защищать вас, покуда жив, и хотя мы завладели скалой, еще не все завершено, впереди немало трудностей, а возможно, и опасностей. Можете ли вы призвать все ваше мужество, чтобы встретить испытание и показать себя, моя Инес, женой солдата?

— Я готова в путь хоть сию минуту. Ваше письмо, посланное с доктором, подало мне надежду, и у меня все собрано для побега.

— Так пойдем же к нашим друзьям.

— К друзьям! — перебила Инес, оглядываясь и глазами ища в палатке Эллен.— У меня тоже есть друг, есть подруга... Мы не вправе ее забывать, она согласилась остаться с нами до конца своей жизни. Неужели она ушла?

Мидлтон с мягкой настойчивостью вывел ее из палатки.

— Может быть, ей, как и мне,— сказал он с улыбкой,— надо было кое с кем поговорить наедине.

Однако молодой офицер был несправедлив к Эллен Уэйд, покинувшей палатку по совсем иной причине. Чуткая и умная девушка сразу поняла, что ее присутствие при описанном нами свидании будет лишним, и удалилась с тем внутренним тактом, который, видимо, свойствен женщинам больше, чем мужчинам. Сейчас она сидела на выступе скалы, так старательно закутавшись в шаль, что не видно было ее лица. Она просидела здесь больше часа, и никто к ней не подходил, не заговаривал с нею и как будто даже не хотел на нее смотреть. Но на этот счет быстроглазая Эллен при всей своей наблюдательности все-таки обманулась.

Когда Поль Ховер почувствовал себя хозяином крепости, он первым делом испустил победный клич на особый потешный лад жителей западной границы: он похлопал себя ладонями по бокам, точно крыльями петух, победивший в бою, и забавно изобразил петушиную песнь ликованья — громогласный крик, который мог бы их всех погубить, окажись поблизости кто-нибудь из сыновей Ишмаэла.

— Неплохо сработано! — закричал он.— Свалили дерево, вынули мед из дупла — и кости у всех целы. Ну, старый траппер, ты был в свое время на военной службе, обучался строю — тебе ведь не раз доводилось штурмовать форты и батареи, правда?

— Как же, как же, доводилось! — ответил старик, все еще стоявший на своем посту у подножия скалы и так мало взволнованный всем, чему он был сейчас свидетелем, что даже усмешку Поля принял с простодушной снисходительностью и с обычным своим беззвучным смешком.— Вы все вели себя достойно, как храбрые воины.

— А теперь скажи, ведь по правилам после каждой

кровавой битвы полагается как будто делать перекличку живым и хоронить павших?

— Одни это делают, другие нет. Когда сэр Вильям гнал немца Дискау по лощине...

— Твой сэр Вильям против сэра Поля просто трутень и ни черта не смыслит в воинском уставе. Итак, приступаю к перекличке... Кстати, старик, за пчелиной охотой да буйволовым горбом и прочими делами я так захлопотался, что забыл спросить, как тебя зовут. Я, понимаешь, хочу начать со своего арьергарда, так как знаю, что в авангарде человек у меня слишком занят и отвечать не может.

— Эх, парень, у меня в свое время столько было имен, сколько есть народов, среди которых я живал. Делавары прозвали меня за мою зоркость Соколиным Глазом. Ну, а поселенцы в горах Отсего окрестили меня наново — по моей обуви; и много носил я других имен за свою долгую жизнь. Но когда выйдет срок для всех предстать пред господом, немного будет значить, какие были у них прозвания, лишь бы жизнь они прожили честно. Я смиренно надеюсь, что откликнусь громко и смело на любое свое имя, как бы меня ни назвали.

Поль почти не слушал его, да половина ответа за дальностью расстояния до него и не дошла; но, продолжая свою затею, он строгим голосом окликнул натуралиста. Доктор Батциус, так и не поднявшись на вершину, сидел в уютной нише, которую счастливый случай столь своевременно образовал, чтобы доставить ему прибежище, и отдыхал после долгих трудов, ощущая двойную радость: от того, что чувствовал себя в безопасности, и от того, что овладел новым ботаническим сокровищем.

— Залезай, залезай-ка сюда, почтенный ловец козявок! Обсудим, как нам быть с бродягой Ишмаэлом. Смело загляни в лицо природе, довольно тебе рыскать в траве да в степном бурьяне, ты все-таки не индюк, чтоб гоняться за кузнечиками! — Но тут, завидев Эллен Уэйд, веселый и беспечный бортник мгновенно закрыл рот и сделался так же нем, как раньше был шумлив и разговорчив. Когда девушка, как уже рассказано, грустно уселась на выступе, Поль сделал вид, что очень занят осмотром пожитков скваттера. Он бесцеремонно рылся в сундуках Эстер, разбрасывал по земле деревенские наряды ее дочек без всякого уважения к их добротности и элегантности и

расшвыривал ее горшки и котлы так легко, точно они были не чугунные, а деревянные. Однако он усердствовал явно без цели. Он ничего не отбирал для собственной надобности и, видно, даже не замечал, что́ за вещи он так безжалостно портил. Обшарив каждую конуру, оглядев еще раз место, где свалил в кучу детей, крепко связанных веревками, а затем ударом ноги, точно мяч, подбросив зачем-то в воздух на полсотни футов одно из ведер Эстер, он вернулся к краю скалы и, заткнув обе ладони за свой пояс из вампумов, стал насвистывать «Кентуккийских охотников» так старательно, точно ему платили почасно, чтобы он развлекал слушателей музыкой. Так продолжалось, пока Мидлтон, как мы рассказывали, не вывел Инес из шатра и не заставил свой отряд вспомнить о деле. Он подозвал к себе Поля, положив конец его музыкальным упражнениям, оторвал доктора от изучения его находки и как признанный предводитель отдал приказ готовиться к выступлению.

Хлопоты и суматоха, естественно поднявшиеся после такого приказа, не оставляли времени на жалобы и раздумья. Победители были, конечно, заранее подготовлены к успеху своего предприятия, и теперь каждый взял на себя те обязанности, какие лучше всего отвечали его положению и силам. Траппер успел привести терпеливого Азиниуса, мирно пасшегося неподалеку от скалы, и теперь водружал ему на спину сложное сооружение, которое доктор Батциус гордо именовал седлом собственного изобретения. Сам натуралист занялся своими папками, гербариями и коллекциями насекомых. Он торопливо таскал их вниз и раскладывал по карманам вышеназванного хитроумного сооружения, а траппер неизменно выбрасывал их оттуда, едва лишь доктор поворачивался к нему спиной. Поль проворно снес к подножию цитадели всю легкую поклажу, какую заранее собрали для себя Инес и Эллен, а Мидлтон, угрозами и обещаниями убедив связанных детей лежать спокойно и не вырываться, помог женщинам сойти вниз по круче. Времени оставалось мало, Ишмаэла можно было ждать с минуты на минуту, а потому все приготовления проводились деловито и спешно.

Траппер отобрал из собранного те предметы, какие, по его соображениям, были женщинам всего нужнее в пути, и засунул их в те самые карманы седла, из которых столь бесцеремонно выбросил сокровища не подозревавшего о

том натуралиста, а затем отошел в сторону, предоставив Мидлтону усадить Инес на одно из сидений, прилаженных на спине осла для нее и для ее спутницы.

— Скорее, девочка,— сказал старик, подавая знак Эллен последовать примеру молодой креолки и с некоторым беспокойством вглядываясь в даль.— Еще немного — и хозяин вернется в лагерь осмотреть свое хозяйство, а не такой он человек, чтобы без спора уступить свою собственность, каким бы путем он ее ни добыл.

— Вы правы,— сказал Мидлтон,— мы потратили много драгоценного времени и должны торопиться.

— Да, да, я так и подумал и сам сказал бы то же, капитан. Но я помню, как ваш дед в дни его юности и счастья любил глядеть в лицо той, которую он потом взял в жены. Такова природа, такова природа, и разумнее посторониться перед естественными чувствами, чем пытаться остановить их своевольный поток.

Эллен подошла, стала подле осла и, схватив Инес за руку, сказала горячо, стараясь подавить душившее ее волнение:

— Да благословит вас бог, добрая госпожа! Надеюсь, вы простите и забудете обиды, причиненные вам моим дядей...

Девушка, опечаленная и подавленная, не могла добавить ни слова и только горько разрыдалась.

— Как же так! — вскричал Мидлтон.— Ведь вы говорили, Инес, что эта великодушная девушка отправится с нами вместе и будет жить у нас до конца своей жизни или хотя бы до тех пор, пока не устроит собственное гнездо.

— Да, говорила и надеюсь, что так это и будет. Как могу я думать иначе? Она проявила ко мне в моем горе такое сострадание, такую дружбу! Неужели же она покинет меня в дни счастья?

— Я не могу... не должна,— продолжала Эллен, преодолев минутную слабость.— Такая уж моя судьба — жить среди этих людей, и я не вправе уйти от них сейчас. Мой дядя, при его образе мыслей... ему и так мое поведение покажется достаточно дурным... Не хочу я, чтобы он считал меня еще и предательницей. На свой грубый лад он был добр ко мне в моем сиротстве, и я не могу сбежать от него тайком в такой час...

— Она такая же родственница Ишмаэла-скваттера,

как я — епископ! — сказал Поль и громко кашлянул, точно должен был прочистить горло.— Если старик делал доброе дело, давая ей сегодня кусочек жаркого, а завтра ложку кукурузной каши, так разве же Нел не уплатила ему за все сполна, обучив его дьяволят читать Библию или помогая старой Эстер придать ее тряпкам фасонистый вид? Скажите мне, что у трутня есть жало, и я вам скорее поверю, чем если вы станете уверять, что Эллен Уэйд в долгу перед кем-нибудь из Бушей!

— Не в том дело, я ли кому должна или мне должны. У девушки нет ни отца, ни матери, кому о ней позаботиться? Остались у нее только такие родственники, что среди честных людей им не место. Нет, нет, поезжайте, милая госпожа, и да благословит вас бог! Мне же лучше оставаться здесь, в пустыне, где никто не видит моего позора.

— Ну вот, старый траппер,— возмутился Поль,— как тут поймешь, откуда ветер дует! Ты много видел в жизни и знаешь, что к чему. Так рассуди: разве не в природе вещей, чтобы рой улетал из улья, когда молодь подросла? А раз уж и дети уходят от родителей, так неужели безродной сироте...

— Тсс!..— перебил его старый философ природы.— Гектор чем-то недоволен. Говори прямо, собака: что там такое, песик, что ты учуял?

Старая гончая поднялась с земли и жадно ловила носом свежий ветер, который по-прежнему буйно мел по прерии. При последних словах своего хозяина она заворчала и оскалилась, точно грозя кому-то остатками своих зубов. Молодой кобелек, отдыхавший после утренней охоты, тоже забеспокоился — как видно, и он что-то учуял; затем оба пса опять задремали, как будто сделали все, что от них требовалось.

Траппер взял осла под уздцы и закричал:

— Довольно слов, время не ждет! Скватгер с сыновьями в миле-другой отсюда.

Мидлтон совсем забыл об Эллен, думая только об опасности, угрожавшей сейчас его вновь обретенной жене. И надо ли добавлять, что доктор Батциус тоже не стал ждать особых приглашений, чтобы начать отступление?

Следуя указаниям старика, отряд обогнул скалу и под ее прикрытием со всей доступной быстротой двинулся вперед по прерии.

Но Поль Ховер не тронулся с места и стоял, угрюмо опершись на ружье. С минуту Эллен не замечала его: она спрятала лицо в ладони, чтобы скрыть от себя свое мнимое одиночество.

— Почему вы не бежали? — спросила, всхлипывая, девушка, как только увидела, что она не одна.

— Бежать не в моем обычае.

— Дядя вот-вот вернется! А он, вы знаете, вас не пощадит.

— Как и его племянница, не так ли? Ну и пускай приходит: что он мне сделает? Пристукнет меня по черепу, и только!

— Поль, Поль! Если вы любите меня, бегите!

— Один? Если я так поступлю, разрази меня...

— Или вам жизнь не дорога? Бегите!

— Мне она не дороже, чем ты!

— Поль!

— Эллен!

Она протянула к нему руки и разразилась новым, еще более бурным потоком слез. Бортник крепко обвил ее стан. Еще секунда, и, увлекая ее за собой, он пустился догонять друзей.

Глава XVII

Войдите,
И в спальне вы лишитесь глаз при виде
Горгоны новой. У меня нет слов.
Взгляните лучше сами.

Шекспир, «Макбет»

Ручей, снабжавший семью скваттера водой и питавший кусты и деревья, что росли у подножия скалы, брал начало неподалеку от нее, в роще канадского тополя, перевитого диким виноградом. Сюда и направился траппер, потому что только здесь можно было найти убежище в этот трудный час. Напомним, что старику его предусмотрительность, в силу долгого опыта превращавшаяся при внезапной опасности чуть ли не в инстинкт, подсказала избрать именно это направление, так как теперь между ним и партией охотников стояла гора. Под ее защитой он успел вовремя достичь рощицы. Поль Ховер тоже подо-

спел с еле дышавшей Эллен и нырнул с нею в чащу в ту самую минуту, когда Ишмаэл, как читатель уже видел, поднялся на вершину утеса и, точно очумелый, застыл на месте, глядя то на раскиданную утварь, то на детей, которые лежали, связанные, с кляпом во рту, под навесом из березовой коры, куда свалил их в кучу предусмотрительный бортник. С высоты, на которой стоял теперь скваттер, пуля из длинноствольного ружья легко могла бы настигнуть беглецов, учинивших это злое дело, когда бы они не укрылись в кустах.

Траппер заговорил первым, как человек, на чье разумение и опытность они все твердо положились. Он пересчитал взглядом собравшихся вокруг него, проверяя, все ли на месте, и сказал:

— Эге, природа, она природа и есть, и, конечно, взяла свое! — Он с улыбкой одобрения кивнул в сторону ликующего Поля.— Я так и думал, что тем, кто встречался так часто в дождь и в вёдро, в ясную ночь и в туманную, будет нелегко расстаться, да еще не примирившись. Но не время для разговоров, пора приниматься за дело. Скоро Буш с семьей отправятся на розыски, и уж если они нападут на наш след — а они, конечно, нападут на него и заставят нас потягаться с ними,— то спор разрешат только ружья — не дай того бог!.. Капитан, можете вы отвести нас туда, где мы встретим один из ваших отрядов? Скваттер и его великаны сыновья будут храбро драться, или я ничего не смыслю в воинственном нраве.

— Место нашей встречи лежит за много миль отсюда, на берегах Платта.

— Плохо дело! Если уж дойдет до драки, то в бой хорошо вступать, когда силы равны. Но впору ли человеку на краю могилы слушать голос разгоряченной крови! Все же послушайте, что скажет седой старик, а там, если кто из вас может подсказать более разумный выход, мы последуем его советам и забудем сказанное мною. Эта заросль тянется от подошвы скалы вниз по косогору на добрую милю — и не к поселениям, а на запад.

— Довольно, довольно слов,— перебил Мидлтон, не собираясь ждать, пока рассудительный траппер доведет до конца свое обстоятельное разъяснение,— время слишком дорого!

Траппер знаком показал, что согласен, и, свернув со своего пути, он повел Азинуса по зыбкому кочкарнику и

вскоре выбрался на твердую землю у его противного конца, оставив болото между собою и лагерем скваттера.

— Если старый Ишмаэл наткнется на эту проезжую дорогу,— заметил Поль, оглядывая широкую полосу следов, которая тянулась за ними,— ему не понадобится указательного знака, чтоб увидеть, куда идти. Но пусть он только сунется сюда! Я знаю, старый бродяга был бы рад примешать к своей крови другую, почестнее, но, если кто-нибудь из его семи сыновей станет мужем моей...

— Молчите, Поль, молчите! — прошептала в испуге девушка и теснее прильнула к нему.— Вас могут услышать!

Бортник замолк; однако, пока они шли вдоль ручья, он по-прежнему то и дело бросал через плечо угрюмый взгляд, красноречиво говоривший о его воинственном настроении. Каждый ушел в свои мысли, и прошло всего лишь несколько минут, когда отряд поднялся вверх по холму и, не задерживаясь ни на миг, начал спуск по его другому склону. Теперь им уже не грозила опасность, что сыновья скваттера увидят их прежде, чем нападут на след. Под прикрытием холма старик свернул в сторону, чтобы тем верней избежать преследования, как меняет корабль свой курс в темноте и тумане, чтобы обмануть бдительность врага.

Два часа они шли безостановочно и быстро в обход скалы и, сделав половину круга, пришли к точке, диаметрально противоположной той, на которую взяли направление в начале своего побега. Большинство отряда не представляло себе, где они находятся, как несведущий пассажир не знает положения судна среди океана; но старик шел вперед и вперед, делая повороты и вступая в ложбины с твердой уверенностью, и спутники без боязни следовали за ним, доверившись опытности проводника. Собака траппера, останавливаясь временами, чтобы заглянуть ему в глаза, бежала всю дорогу впереди так же уверенно, как ее хозяин, как будто, превосходно понимая друг друга, они заранее условились о выборе дороги. Но, когда прошли эти два часа, собака вдруг остановилась среди прерии, села на задние лапы, потянула воздух и начала тихо и жалобно повизгивать.

— Да, Гектор, да, мне место знакомо, и я недаром запомнил его! — Старик стал подле своего испуганного спутника и выждал, пока не подошли остальные.— Перед

нами чаща кустарника,— продолжал он, указывая вперед.— Здесь мы можем стать на стоянку, и, просиди мы тут хоть до той поры, когда эти голые поля зарастут высокими деревьями, ни сам скваттер и никто из его родни не потревожат нас.

— Это то самое место, где лежал мертвец! — воскликнул Мидлтон, оглядевшись вокруг, и взгляд его показал, как неприятно ему это воспоминание.

— То самое, да! Однако надо еще посмотреть, похоронили ли мертвого его родные. Собака узнала запах, но ее как будто что-то сбило с толку. Так что придется тебе, друг бортник, пойти посмотреть, а я тем временем послежу, чтобы собаки не выдали нас слишком громким визгом.

— Мне? — воскликнул Поль и запустил пальцы в свои косматые кудри, как будто считая нужным поразмыслить, перед тем как отважиться на такое страшное дело.— Вот что, старый траппер, я не раз стоял в тоненькой полотняной рубашке в самой гуще роя, потерявшего матку, и, бывало, глазом не моргну, а уж поверь мне, кто способен на такое, тот не побоится ни одного из живых сыновей бродяги Ишмаэла. Но возиться с костями мертвеца — это занятие не по мне; благодарю за доверие, как говорит у нас в Кентукки человек, когда его выбирают в капралы, и позвольте мне отклонить эту честь.

Старик перевел разочарованный взгляд на Мидлтона, но тот был занят своей Инес и не заметил его затруднения, которое, однако, сразу разрешилось благодаря вмешательству человека, казалось бы наименее способного проявить такую стойкость духа.

На протяжении всего пути доктор Батциус, как ни странно, превосходил своих товарищей необыкновенным усердием в достижении намеченной цели. В самом деле, рвение его было так горячо, что он, казалось, забыл все прежние свои наклонности. Почтенный натуралист принадлежал к того рода исследователям, которых никак не выбрал бы в попутчики человек, имеющий основание торопиться. Ни один камень, ни один куст, ни одна былинка на пути не ускользнет от их внимательных глаз, и, греми тут гром, разразись тут ливень, ничто не отвлечет их, когда они погрузятся в раздумье среди своих изысканий. Но совсем иначе повел себя ученик Линнея в те трудные часы, когда пред судом его разума неразрешенным стоял вопрос, не будут ли склонны могучие отпрыски Буша оспаривать

его право свободно путешествовать по прерии. Самая чистокровная, превосходно обученная гончая, видя перед собою дичь, не могла бы так неуклонно бежать вперед, устремив глаза в одну точку, как бежал доктор по своей дуговидной тропе. Может быть, он проявил бы меньше твердости, если бы знал, что траппер хитрости ради повел их в обход цитадели Ишмаэла. Но, к счастью, у натуралиста создалось успокоительное впечатление, что с каждой пядью земли, пройденной ими по прерии, на ту же пядь увеличивалось расстояние между его собственной особой и ненавистной скалой. Правда, он испытал потрясение в тот миг, когда обнаружил свою ошибку; но тем не менее сейчас он добровольно вызвался войти в чащу, где, как можно было думать, все еще лежало тело убитого Эйзы. Возможно, он потому и поспешил проявить в этом случае храбрость, что втайне опасался, как бы его чрезмерное усердие во время отступления не было ложно истолковано. И не подлежит сомнению, что, каково бы ни было его отношение к опасностям, грозящим от живых, его познания и образ его мыслей ставили его выше предрассудков, будто мертвецы могут причинять вред живым.

— Если нужно исполнить задачу, где требуется полное владение нервной системой,— сказал ученый муж, приняв несколько надменный вид,— то перед вами вполне подходящий для этого человек: дайте должные указания его уму, а на его телесные силы вы можете положиться.

— Любит же человек говорить притчами! — проворчал простодушный траппер.— Но, сдается мне, в его словах скрыто всегда какое-то значение, хотя выискать в этих речах каплю здравого смысла так же трудно, как увидеть трех орлов на одном дереве. Будет благоразумно, друг,— добавил он,— укрыться в этих зарослях на случай, если сыновья скваттера идут по нашему следу; а между тем, как вы знаете, есть причина опасаться, что там, в чаще, можно наткнуться на зрелище, которое напугает женщин. Вот я и спрашиваю: настолько ли вы мужчина, чтобы не попятиться перед покойником, или же мне придется пойти туда самому, а собаки пускай подымают лай? Вы видите, кобелек так и рвется вперед и уже разинул пасть.

— Настолько ли я мужчина?! Почтенный траппер, наше с вами знакомство слишком недавнего происхожде-

ния, иначе вы не задавали бы вопросов, которые могут привести к жаркому спору между нами. Настолько ли я мужчина! Я притязаю на принадлежность к классу mammalia — то есть млекопитающих, к отряду приматов, к роду homo! Таковы мои физические атрибуты; что касается моих моральных свойств, об этом пусть судит потомство, мне же надлежит хранить молчание.

— Не знаю, что за лекарство «трибута», но на мой суд от всех ваших снадобий ни здоровья, ни сытости! А вот от морали еще не бывало вреда ни одному живому человеку, привык ли он жить в лесах или среди дымящих труб и застекленных окон. Нас-то с вами, друг, разделяют только два или три трудных слова. Я и сам держусь того мнения, что привычка и свобода научат нас лучше понимать друг друга и мы станем, в общем, одинаково судить о роде человеческом и о жизни... Тихо, Гектор, тихо. Чем ты недоволен, песик? Не привык к запаху человеческой крови?

Удостоив философа природы благосклонно-сострадательной улыбкой, доктор, чтобы при ответе меньше напрягать голос, а жестам и позе придать больше величия и свободы, снова выступил на два шага из чащи, куда его уже завел избыток мужества.

— Homo есть homo,— сказал он, простирая для вящей убедительности руку.— Что касается животных функций организма, то в них неизменно наличествуют гармония, порядок, соразмерность, объединяющие в одно целое весь род, или genus; но на этом сходство кончается. В силу своего невежества человек может деградировать настолько, что займет место у самой черты, отделяющей его от животного; и, напротив, познание может возвысить его до сближения с великим Творящим духом; скажу больше: если бы ему были даны достаточный срок и возможность, кто знает, не овладел ли бы он всей совокупностью знаний и, следственно, не стал ли бы равен самому Движущему началу?

Старик долго стоял в глубоком раздумье, опершись на ружье; потом покачал головой и ответил с той прирожденной твердостью, перед которой жалкой показалась напускная внушительность его противника:

— Это все от гордыни! Я прожил на земле восемь десятков лет и все эти годы видел, как растут и умирают деревья. И все же я не знаю, почему раскрывается под летним солнцем почка и почему опадает лист, когда его

схватит морозом. Ученость, сколько ни хвалися ею человек, ничтожна в глазах вседержителя, который в скорби смотрит с облаков на гордость и суетность своих созданий. Вот вы думаете, что так это легко подняться на место всевышнего судьи! Ну, а можете вы мне что-нибудь рассказать о начале и о конце? Вы, знаток по части болезней и лекарств, можете вы мне сказать, что есть жизнь и что такое смерть? Почему орел живет так долго и почему бабочке отпущен такой короткий срок? Скажите мне совсем простую вещь: почему собака беспокоится, когда вы, хотя и провели все свои дни, уткнувшись в книги, не видите причин для беспокойства?

Доктор, несколько смущенный достойным видом старика и силой его слов, перевел дух, как борец, только что освободившийся от мертвой хватки противника, и, спеша воспользоваться паузой в его речи, провозгласил:

— В собаке говорит инстинкт.

— А что это за особый дар — инстинкт?

— Низшая ступень разума. Своего рода таинственное сочетание мысли и материи.

— А что такое, по-вашему, мысль?

— Достопочтенный сенатор, такая манера вести спор делает невозможным какие бы то ни было определения, и она, смею вас уверить, не допускается ни одной школой.

— Если так, то ваши школы похитрее, чем я думал до сих пор: ведь при такой манере легче всего показать всю их тщету,— возразил траппер, сразу обрывая диспут, едва лишь доктор вошел во вкус. Нагнувшись к своей собаке, он принялся играть ее ушами, чтобы успокоить ее тревогу.— Не дури, Гектор, что ты ведешь себя как необученный щенок? Ты же у меня разумный пес! Ты всему научился на собственном тяжком опыте, а не бегая, уткнувшись носом в след других собак, как мальчишка в поселениях идет по тропе, указанной школьным учителем, правильна она или неправильна... Так как же, приятель, раз вы так много можете, способны вы заглянуть в чащу? Или мне идти туда самому?

Доктор опять напустил на себя решительный вид и без дальнейших разговоров снова, как его просили, углубился в чащу. Собаки до сих пор слушались уговоров старика и не поднимали лая, а только время от времени тихо скулили. Но, когда они увидели, что естествоиспытатель

пошел вперед, молодой кобель, как его ни удерживали, сорвался с места и быстро обежал круг, обнюхивая землю; потом стал рядом со старым Гектором и громко завыл.

— Скваттер со своими оставил на земле крепкий запах.— Он стоял и смотрел, ожидая, что ученый разведчик подаст знак следовать за собой.— Может, этот грамотей хоть чему-то научился в школе и не забудет, по какому делу послан.

Доктор Батциус уже исчез в кустах, и траппер начал выказывать признаки нетерпения, когда увидел, что натуралист, пятясь, возвращается из чащи, не отводя завороженных глаз от места, только что покинутого им.

— Доктор совсем ошалел: наскочил, должно быть, на какую-то нечисть! — сказал, отпуская Гектора, старик и подошел к натуралисту, который, казалось, ничего не видел и не слышал.— Что там такое, приятель? Уж не открылась ли вам новая страница в книге мудрости?

— Василиск! — пробормотал доктор, и каждая черта его искаженного лица выразила смятение.— Животное из отряда серпенс, то есть змей. Я полагал до сих пор по его атрибутам, что оно принадлежит к области легенд, но, как видно, творческая сила природы не слабее человеческой фантазии.

— Ну и что такого! В прериях все змеи безобидные; разве что гремучая, если ее раздразнить, может иногда броситься на человека, но и она, прежде чем пустить в ход свои ядовитые зубы, сперва погремит хвостом. Господи, как смиряет гордыню страх! Взять хоть этого ученого: он обычно так и сыплет длинными словами, которые у простого человека не уместились бы во рту, а сейчас он сам не свой, и голос стал у него пронзительным, как свист козодоя. Мужайся! Что там еще, приятель?.. Ну что?

— Чудовище! Лузус натурэ! Диво, которое природе вздумалось создать в доказательство своего могущества! Никогда раньше мне не приходилось наблюдать такого смешения ее законов или видеть особь, которая бы так решительно опровергала своим существованием установленное разделение на отряды и семейства. Я должен записать, как оно выглядит...— Доктор шарил уже по карманам, ища свои записи, но руки его дрожали и не слушались.— Пока есть время и возможность это сделать... Глаза — завораживающие; окраска — переливчатая, многоцветная, интенсивная...

— Скажешь, с ума сошел человек! Какой там еще замораживающий взгляд или многоцветная краска? — заворчал траппер, начиная уже беспокоиться, что его отряд так долго стоит на открытом месте.— Когда в кустах и впрямь притаилась змея, покажи мне эту тварь, и, если она не удалится по доброй воле, что ж, придется затеять спор, и он решит, кому владеть местом.

— Вон там! — Доктор указал на густую поросль шагах в двадцати от них.

Траппер с полным спокойствием направил взгляд, куда ему показывали, но, как только его наметанный глаз различил предмет, опрокинувший всю философию натуралиста, он и сам вздрогнул, вскинул было ружье, но тут же опустил его, как будто рассудив, что стрелять не следует. Ни первое инстинктивное движение, ни быстрая перемена намерения не были беспричинны. У самого края зарослн прямо на земле лежал ж и в о й ш а р, такой в самом деле страшный и страшный, что оправдывал смятение естествоиспытателя. Трудно было бы описать форму и цвет этого необычайного предмета; скажем только, что был он почти правильной формы и являл все цвета радуги, перемешанные без заботы о гармонии или четко выраженном рисунке. Преобладающими цветами были черный и кроваво-красный. Но эти два главных тона странно и дико перемежались белыми, желтыми и лиловыми полосами. Если бы дело было только в этом, было бы трудно утверждать, что предмет обладает жизнью, ибо лежал он неподвижно, как камень. Но пара темных, горящих, медленно вращаемых глаз, зорко наблюдавших за малейшим движением траппера и его товарища, неоспоримо доказывали, что шар наделен жизнью.

— Ваша змея не что иное, как лазутчик, если я хоть что-то смыслю в индейской росписи и в индейских хитростях! — проворчал старик. Он оперся на свое ружье и твердо, с невозмутимым спокойствием смотрел на страшный предмет.— Он хочет нас одурачить, вот и придал себе такой вид, чтобы мы приняли голову краснокожего за камень, покрытый осенними листьями. А может, у него на уме иная какая-нибудь чертовщина?

— Это животное — человек? — спросил доктор.— Оно из рода homo? А я-то вообразил, что открыл новый, не описанный доныне вид!

— Такой же человек, такой же смертный, как всякий

воин в этих степях. Эх, в былые дни... Был бы глуп краснокожий, если бы посмел показаться вот так одному охотнику, которого я назвал бы вам по имени... но который теперь слишком стар и близок к концу своих дней, а потому он уже не охотник — только жалкий траппер! Надо бы заговорить с чертенком: пусть узнает, что перед ним не безбородые мальчишки, а мужчины. Вылезай-ка, приятель,— продолжал он на языке дакотов, принятом у множества индейских племен,— в прерии найдется место еще для одного воина.

Глаза, казалось, загорелись свирепей, чем раньше, но шар (который, по догадке траппера, был не чем иным, как человеческой головой, начисто обритой, по обычаю западных воинов) лежал по-прежнему неподвижно и не подавал других признаков жизни.

— Вы ошиблись! — воскликнул доктор.— Это животное даже не из класса млекопитающих и уж никак не человек.

— Так оно выходит по вашей науке,— усмехнулся траппер, откровенно торжествуя.— Да, так судит человек, который глядел в такое множество книг, что его глаза уже не могут отличить, где лось, где рысь! А вот Гектор, он собака по-своему образованная; и, хотя его грамотности не достало бы, чтобы разобрать хоть один стих в молитвеннике, а уж такою шуткой вы мою собаку не обманете! Коли вы думаете, что эта тварь не человек, я покажу вам ее сейчас во весь рост, и тогда неграмотный старый траппер, который за всю жизнь и дня не просидел по доброй воле рядом с букварем, скажет, как ее назвать! Не бойтесь, я не собираюсь учинить насилие — только припугну чертенка, чтобы он вылез из своей засады.

Траппер с самым спокойным видом поднял ружье, осмотрел затвор и проделал все необходимые эволюции, постаравшись при этом выказать как можно больше враждебности. Когда он решил, что индеец достаточно встревожен, он так же медленно и внушительно поднял ружье к плечу и громко крикнул:

— Вот что, друг, я, как говорится, несу либо мир, либо войну. Нет, перед нами в самом деле не человек, как здесь утверждал более мудрый из нас, так что не будет никому вреда, если пальнуть в эту кучу листьев!

Он еще не договорил, а ствол ружья уже начал клониться, и постепенно старик взял верный и, как могло бы

оказаться, роковой прицел, когда стройный, высокий индеец выскочил из-под покрова листьев и ветвей (которые он сгреб на себя при появлении белых) и, выпрямившись во весь рост, громко крикнул:

— Уэг!

Глава XVIII

Кров Филемона маска эта — под ним Юпитер
Шекспир

Трапнер, и не думавший стрелять, снова опустил ружье и рассмеялся, радуясь своей счастливой выдумке. Натуралист отвел глаза от дикаря и уставился на старика.

— Эти черти,— ответил тот на его удивленный взгляд,— часами лежат вот так, точно спящие аллигаторы, которые во сне измышляют всякие дьявольские подвохи; но, когда им покажется, что надвинулась настоящая опасность, они, как все прочие смертные, думают только о том, как бы вернее спастись. Но это лазутчик в боевой раскраске; значит, поблизости есть еще воины из его племени. Надо бы выведать у него правду, потому что отряд враждебных индейцев окажется для нас опасней, чем скваттер со всей своей семьей.

— Перед нами поистине весьма отважная и опасная разновидность! — сказал доктор, когда его оцепенение прошло и он наконец вздохнул всей грудью.— Это буйная порода, ее нелегко отнести к определенному разделу по общепринятым признакам различия. Поговорите с ним, но пусть ваши слова будут вполне миролюбивы.

Старик бросил острый взгляд в одну сторону, в другую, вперед и назад, чтоб увериться, в самом ли деле незнакомца не сопровождают другие индейцы, и, подняв раскрытую ладонь — обычный знак мирных намерений,— смело двинулся вперед. Индеец между тем не выдавал своего беспокойства — и лицо, и осанка, и весь его вид выражали удивительное достоинство и бесстрашие. Он дал трапперу подойти совсем близко — возможно, осторожный воин полагал, что при различии в оружии сокращение расстояния между ним и пришельцами ставило его в более равные с ними условия.

Так как обрисовка этого человека может дать некоторое

представление о внешнем облике целой расы, пожалуй, стоит задержать течение нашего рассказа и предложить читателю хотя бы несовершенное его описание. Когда бы Олстон или Гриноу[1] хотя бы ненадолго отвели свой взор от образцов античного искусства и присмотрелись к этому гонимому народу, тогда немного бы осталось сделать таким, как мы, неискусным художникам.

Индеец этот, высокий и статный, каждой своей чертою был воин и поражал удивительной соразмерностью сложения. Сбросив свою маску — наспех собранные разноцветные листья,— он, как и подобало воину, явил важный, достойный и, мы добавим, грозный вид. Его лицо было на редкость благородно и приближалось к римскому типу, хотя кое-какие второстепенные черты указывали скорей на азиатских предков. Своеобразный оттенок кожи был как будто от природы предназначен создавать впечатление воинственности, чему немало способствовала особая военная раскраска, придававшая лицу выражение дикой жестокости. Но, словно презирая обычные ухищрения своего народа, он не изуродовал лицо свое шрамами, как обычно делают дети лесов для поддержания славы храбрецов — подобно тому как гордятся шрамами на лицах наши усачи кавалеристы. Он ограничился тем, что навел на щеки широкие черные полосы, резко и красиво оттенившие яркий отлив его смуглой кожи. Голова его была, по обычаю, обрита до самой макушки, а с макушки свешивался, как вызов врагам, широкий рыцарский чуб — так называемая «скальповая прядь». Подвески, продеваемые

[1] Олстон Вашингтон (1779—1843) и Гриноу Горацио (1805—1832) — американские художники.

в уши, были сейчас сняты — разведчику они могли помешать. Несмотря на позднюю осень, тело его было почти обнажено; всю одежду составлял плащ из тонко выделанной оленьей шкуры, покрытый красивой, хоть и безыскусственной росписью, изображающей некие славные подвиги. Этот плащ был накинут небрежно — как будто ради красоты, а не в заботе о тепле, постыдной для мужчины. На ногах у него были суконные красные гетры — единственное свидетельство, что он поддерживает некоторое общение с бледнолицыми торговцами. Но, как будто затем, чтоб искупить эту единственную уступку женственному тщеславию, они от завязок у колен до мокасин на ступнях были сплошь отделаны страшной бахромой из человеческих волос. Одной рукой он придерживал короткий лук из гикори, в другой же, почти не опираясь на него, сжимал длинное, с изящным ясеневым древком копье. За спину был закинут колчан из шкуры кугуара, украшенный хвостом этого зверя, а с шеи на шнуре, свитом из сухожилий, свешивался щит в причудливых рисунках, повествующих о других его воинских подвигах.

Когда траппер подошел к нему, воин сохранил ту же спокойную, горделивую позу, не выказывая ни нетерпеливого желания выяснить, что представляет собой приближающийся, ни хотя бы тень намерения укрыться самому от пытливого осмотра. Только глаза его, темней и ярче, чем у лани, метали взгляд то на одного, то на другого пришельца, не успокаиваясь ни на миг.

— Мой брат далеко ушел от своей деревни? — спросил старик на языке пауни, вглядевшись в раскраску и приметив другие признаки, по каким наметанный глаз распознает в американских пустынях воинов разных племен, как моряк различает далекий парус.

— До городов Больших Ножей еще дальше,— был лаконический ответ.

— Почему Волк-пауни зашел так далеко от излучин родной реки и странствует без коня в пустынном месте?

— Разве у бледнолицых женщины и дети могут жить без бизоньего мяса? В моем вигваме голод.

— Мой брат слишком юн, чтобы владеть вигвамом,— возразил траппер, неотрывно глядя в недвижное лицо молодого воина.— Но он, я вижу, смел, и, конечно, многие вожди предлагали ему в жены своих дочерей. Только он взял по ошибке (старик указал на стрелу, зажатую в паль-

цах руки, опиравшейся на лук) стрелы с зазубренным наконечником — такие не годны в охоте на буйвола. Разве пауни, убивая дичь, любят сперва истерзать ее ранами?

— Хорошо быть наготове против сиу. Их не видно, но каждый куст может их скрывать.

— Слова этого человека дышат правдой,— тихо сказал траппер по-английски.— И посмотреть на него — он крепкий паренек и храбрый. Только слишком молод — едва ли какой-нибудь важный вождь. Все-таки разумней будет говорить с ним по-хорошему; если дойдет до схватки со скваттером и его семейкой, лишняя рука на той или другой стороне может решить исход. Ты видишь, мои дети устали,— продолжал он на языке прерий, указывая на свой маленький отряд, уже подошедший поближе.— Мы хотим сделать привал и поесть. Мой брат считает это место своим?

— Скороходы от народа с Большой реки говорили нам, что ваше племя сговорилось со смуглолицыми, которые живут за Соленой водой, и что прерии теперь стали полем охоты Длинных Ножей!

— Это правда; я слышал то же самое от охотников и звероловов на Платте. Но мой народ вступил в сделку с французами, а не с теми людьми, которые завладели Мексикой.

— И воины идут вверх по Большой реке посмотреть, не обманули ли их при продаже?

— Боюсь, и это отчасти верно; пройдет немного времени, и проклятые шайки лесорубов и дровосеков двинутся за ними по пятам, чтобы покорить леса и степи, которые раскинулись так привольно на запад от вод Миссисипи; и тогда земля превратится в населенную пустыню от берегов Большой воды до подошвы Скалистых гор; она наполнится всем, что создали мерзость и ловкость человека, и потеряет приятность и красоту, какою ее одели руки творца!

— А где были вожди Волков-пауни, когда заключена была сделка? — вдруг спросил молодой воин, и смуглое его лицо на мгновение зажглось яростью.— Разве можно продать народ, как шкуру бобра?

— Верно, очень верно! И где были честность и правда? Но так повелось на земле, что сила всегда права; и что угодно сильному, то слабый должен называть справедливым. Если бы законы Ваконды так же чтились пауни, как законы Длинных Ножей, ваши права на пре-

рию были бы столь же тверды, как право самого великого вождя в поселениях на дом, где он спит.

— У путника белая кожа,— сказал молодой индеец и подчеркнул свои слова, приложив палец к жесткой, сморщенной руке траппера.— Может быть, сердце его говорит одно, а язык другое?

— Ваконда белого человека имеет уши, и они у него закрыты для лжи. Взгляни на мою голову: она как покрытая инеем сосна, и скоро лежать ей в земле. Неужели я захочу, чтобы Великий дух, когда я буду стоять перед ним, обратил ко мне пасмурное лицо?

Пауни грациозным движением перекинул щит на плечо и, положив руку на грудь, склонил голову в знак почтения к сединам траппера, после чего его глаза стали спокойней, а лицо смягчилось. Все же он сохранял прежнюю настороженность, как будто недоверие только убавилось, но не было вовсе отброшено. Когда установилась эта сомнительная дружба между степным воином и бывалым звероловом, последний стал объяснять Полю, как располагаться на привал.

Пока Инес и Эллен сходили с осла, а Мидлтон с борт-ником помогали им устроиться поудобнее, старик возобновил свою беседу с индейцем, говоря на языке пауни, но то и дело переходя на английский, когда ее перебивали своими замечаниями Поль или доктор. Между пауни и траппером шло своеобразное соревнование: оба изощрялись как могли, стараясь каждый выяснить цели другого, не подав при этом виду, что стремятся их узнать. Как это бывает обычно, когда борьба идет между равными противниками, ни тот, ни другой ничего не добились. Чтобы уяснить себе, в каком положении находится племя Волков, старик задал все вопросы, какие ему подсказали его изобретательность и опыт: каков был урожай, большие ли сделаны запасы на зиму и как сложились у Волков отношения с различными воинственными соседями,— но не получил ни одного ответа, который хоть сколько-нибудь объяснил бы ему, почему одинокий воин забрел так далеко от поселений своего народа. Не менее изобретательны были и вопросы индейца, хотя он задавал их с бо́льшим достоинством и деликатностью. Он высказал свои соображения о торговле мехами, поговорил об удачах и неудачах белых охотников — тех, с какими он встречался лично, или тех, кого знал лишь понаслышке; и даже упомянул

о непрестанном вторжении народа «его великого отца» (как он осторожно именовал правительство Соединенных Штатов) в земли, где ведет охоту племя Волков-пауни. Однако странная смесь любопытства, презрения и негодования, временами пробивавшихся сквозь его индейскую сдержанность, позволяла угадать, что чужеземцев, посягающих на права его племени, он знает больше по рассказам. Его незнакомство с белыми подтверждалось также и тем, как он глядел на обеих женщин, и короткими, энергическими возгласами удивления, порою вырывавшимися у него.

Юный воин говорил с траппером, а сам то и дело отводил взгляд, чтобы полюбоваться одухотворенной полудетской красотой Инес. Так мог бы смотреть человек на неземное, неизъяснимо прелестное существо. Было очевидно, что сейчас он впервые в жизни видит одну из тех женщин, о которых часто рассказывали старейшины племени, описывая их как самое прекрасное, что может вообразить человек. На Эллен он глядел не так восторженно, но все же суровый взор молодого воина отдавал должное и ее красоте, более зрелой и, пожалуй, более живой. Однако это восхищение так умеряла привычная сдержанность, так приглушала воинская гордость, что оно не ускользнуло только от опытного взгляда траппера. Слишком хорошо знакомый с нравом индейцев и слишком ясно понимая, как важно правильно понять характер незнакомца, старик самым пристальным образом следил за каждой черточкой его лица, за малейшим его движением. Между тем сама Эллен, ничего не подозревая, с обычным своим усердием и нежностью хлопотала вокруг слабенькой и нерешительной Инес, и на ее открытом лице отражались то радость, то внезапное смущение — в зависимости от того, надежду или сомнения внушала ей мысль о совершенном шаге. Как понятны эти колебания в юной девушке, попавшей в такое положение!

Другое дело Поль. Осуществились два его заветных желания: во-первых, Эллен была с ним, во-вторых, он одержал верх над сыновьями Ишмаэла! И теперь, успокоенный, он исполнял порученное ему дело с таким легким сердцем, как если бы уже вел свою любезную после торжественного брачного обряда в свой дом, где никто бы не мог на нее посягнуть. Те долгие месяцы, пока семейство Бушей находилось в дороге, бортник следовал за

ними, скрываясь днем, а ночью (как видел однажды читатель) пользуясь каждой возможностью повидаться со своей возлюбленной, пока наконец судьба и собственное бесстрашие не позволили ему достичь успеха в тот самый час, когда он уже совсем потерял надежду. Теперь ему не страшны были ничьи угрозы, никакая даль и никакие трудности. Его беззаботному воображению и смелой решимости все прочее представлялось легко достижимым. Так он чувствовал, и такими его чувства ясно отражались на его лице. Сдвинув шапку набекрень, тихо что-то насвистывая, он крушил кусты, расчищая место, чтобы женщины могли отдохнуть поудобней, и то и дело бросал влюбленный взгляд на быструю Эллен, когда она пробегала мимо, занятая своими хлопотами.

— Итак, племя Волков из народа пауни и их соседи конзы зарыли в землю томагавк? — сказал траппер, возвращаясь к разговору, которому не давал угаснуть, хотя порой и прерывал его, чтобы дать необходимые указания. (Читатель, вероятно, не забыл, что если с пауни он вел беседу на его родном языке, то к своим белокожим спутникам он должен был, конечно, обращаться по-английски.) — Волки и светлокожие индейцы снова стали друзьями... Доктор, вы, я полагаю, часто читали про это племя, о котором невежественным людям в поселениях нашептывают немало пустой лжи. Рассказывают, например, будто в прерии проживают выходцы из Уэльса и будто бы они явились сюда в незапамятные времена, когда тому беспокойному человеку, который первым привел христиан в эту землю, чтобы отнять у язычников их наследие, еще и во сне не снилось, что земля, где заходит солнце, столь же обширна, как и та, где оно восходит. И будто люди эти знают белые обычаи и говорят на белых языках — и тысячи других подобных глупостей и праздных выдумок...

— Слышал ли я об этом племени! — воскликнул натуралист и выронил из рук кусок вяленой бизонины, с которым довольно грубым образом расправлялся в эту минуту.— Я был бы круглым невеждой, когда бы не задумывался часто и с превеликим удовольствием над этой прекрасной теорией, к тому же блистательно подтверждающей два положения, которые я неоднократно объявлял бесспорными даже независимо от этого живого свидетельства в их пользу: первое — что наш континент приобщился к цивилизации задолго до времен Колумба, и второе —

что цвет кожи является следствием климатических условий, а не установлением природы. Будьте так любезны, спросите у нашего краснокожего джентльмена, почтенный охотник, каково его мнение на этот счет: у него самого кожа лишь чуть красноватая, и его соображения позволят нам, так сказать, взглянуть на этот спорный предмет с противоположной точки зрения.

— Вы думаете, пауни читал книги и, подобно городским бездельникам, верит в печатную ложь? — усмехнулся старик.— Но почему бы не исполнить прихоть доктора? В ней, очень возможно, сказались его природные наклонности, а им нужно следовать, хотя они и кажутся нам жалкими. Что думает мой брат? Все, кого он видит здесь вокруг, имеют бледную кожу, а у воинов пауни она красная; не полагает ли он, что человек изменяется вместе с временем года и что сын бывает несхож с отцом?

Молодой индеец уставил на говорившего задумчивый взгляд; потом поднял палец и с достоинством ответил:

— Ваконда льет дождь из своих облаков; когда он говорит, он сотрясает горы, и огонь, сжигающий деревья, есть гнев его глаза; но детей своих он лепил обдуманно и бережно. То, что он сотворил, никогда не изменится!

— Да, доктор, так оно и должно быть по разуму природы,— добавил траппер, переведя ответ индейца разочарованному натуралисту.— Волки-пауни — великий и мудрый народ, и у них есть немало благородных преданий. Охотники и трапперы, пауни, те, с какими я встречаюсь иногда, много рассказывают об одном великом воине из вашего народа.

— Мое племя не женщины. Смелый человек в моей деревне не в редкость.

— Да. Но тот, о ком мне столько говорили, славится выше обычных воинов; он таков, что им мог бы гордиться некогда могущественный, а ныне почти исчезнувший народ — делавары с озер.

— Такой воин должен носить имя.

— Его называют Твердым Сердцем — за его стойкость и решительность; и он заслужил это имя, если верно все, что я слышал о его делах.

Незнакомец посмотрел старику в лицо, как будто читая в его бесхитростной душе, и спросил:

— Видел бледнолицый великого вождя моего народа?

— Ни разу. Я теперь не тот, каким был лет сорок

назад, когда война и кровопролитие были моим занятием и дарованием.

Его перебило громкое гиканье беспабашного Поля, а секундой позже бортник показался и сам у другого края зарослей, ведя на поводу индейского боевого коня.

— Ну и скотинка! Только краснокожему и скакать на ней,— закричал он, заставив коня пройтись различными аллюрами.— Во всем Кентукки ни один бригадир не похвалится таким гладким и статным жеребцом! Седельце-то испанское, как у какого-нибудь мексиканского вельможи! А на гриву поглядите да на хвост — сплошь перевиты и переплетены серебряными бусами; Эллен и та не убрала бы лучше свои блестящие волосы, собираясь на танцы или к соседям на вылущивание кукурузы! Ну скажи, старый траппер, разве пристало такому красавцу коню есть из яслей дикаря?

— Не дело говоришь! Волки славятся своими лошадьми, и в прериях ты часто встретишь воина на таком коне, какого не увидишь под конгрессменом в поселениях. А впрочем, жеребец и впрямь куда как хорош и принадлежит, наверное, важному вождю! Ты прав, в этом седле сидел в свое время большой испанский офицер, и он потерял его вместе с жизнью в одном из боев с пауни — они ведь постоянно воюют с южными провинциями. Конечно, конечно, этот юноша сын какого-нибудь великого вождя; может быть, того славного воина, прозванного Твердым Сердцем!

Пауни не выказал ни тени нетерпения или досады, когда их так грубо перебили; но, когда он нашел, что о его коне поговорили достаточно, он преспокойно, как человек, привыкший, чтобы его желаниям подчинялись, взял у Поля поводья и, закинув их через шею коня, вскочил в седло с легкостью опытного берейтора. Его посадка была на диво тверда и красива. Пышно разукрашенное громоздкое седло, казалось, служило не так для удобства, как для парада. В самом деле, оно больше мешало, нежели помогало ногам, не искавшим опоры в стременах — приспособлении, годном лишь для женщин! Конь, такой же, как наездник, дикий и необученный, сразу взвился на дыбы. Но если в их движениях и мало чувствовалось искусства, зато была в них свобода и прирожденная грация. Своими превосходными качествами жеребец, возможно, был обязан примеси арабской крови, пронесенной через

всю его длинную родословную, где были и мексиканский иноходец, и берберийский скакун, и боевой сарацинский конь. Добыв его в провинциях Центральной Америки, всадник овладел изяществом посадки и уменьем смело управлять конем,— два свойства, которые в своем сочетании создают самого бесстрашного и, может быть, самого искусного наездника на свете.

Оказавшись так нежданно в седле, индеец, однако же, не поспешил ускакать. Почувствовав себя в безопасности, он спокойно гарцевал на своем коне, вглядываясь в новых своих знакомцев куда более непринужденно, чем до сих пор. Но всякий раз, как пауни подъезжал к краю заросли и старый траппер ждал уже, что сейчас он умчится прочь, он тут же поворачивал коня и скакал обратно то с быстротой убегающего оленя, то медлительно, со спокойным достоинством в чертах лица и в осанке. Наконец, желая увериться в некоторых своих догадках, чтобы сообразно с ними действовать дальше, траппер решил продолжить прерванный разговор. Поэтому он сделал рукою жест, выражавший одновременно и миролюбие, и приглашение возобновить беседу. Зоркий глаз индейца уловил это движение; но далеко не сразу, лишь мысленно взвесив, так ли это будет безопасно, всадник отважился снова подъехать к отряду, который значительно превосходил его силой, а значит, в любую минуту мог посягнуть на его жизнь или свободу. Когда он все же подъехал достаточно близко, чтобы вновь повести беседу, весь его вид говорил о гордости и недоверии.

— До деревни Волков далеко,— сказал он, указывая совсем не в ту сторону, где, как известно было траппер у, жили пауни,— и дорога к ней извилиста. Что хочет сказать Большой Нож?

— Да, куда как извилиста,— по-английски проворчал старик,— если ехать тем путем, как ты показываешь, но далеко не так извилиста, как замыслы индейца... Скажи, брат мой, вожди племени пауни любят видеть чужие лица в своих жилищах?

Молодой воин грациозно склонил голову над лукой седла.

— Когда мой народ забывал дать пищу пришельцу?

— Если я приведу моих дочерей в селение Волков, возьмут ли их ваши женщины за руки? И станут ли ваши воины курить трубку с моими молодыми друзьями?

— Страна бледнолицых у них за спиной. Зачем они прошли так далеко в сторону заходящего солнца? Они потеряли свою тропу? Или это женщины тех белых воинов, которые, я слышал, поднимаются вверх по реке с бурными водами?

— Ни то и ни другое. Те, что поднялись вверх по Миссури,— воины моего великого отца, который послал их по своему поручению; мы же мирные путешественники. Белые люди и красные люди — соседи и желают быть друзьями. Разве омахи не навещают Волков, когда томагавк зарыт на тропе между двумя народами?

— Омахов мы встречаем приветом.

— А янктоны и темнолицые тетоны, живущие в излучине реки с мутной водой? Разве не приходят они в дома к Волкам выкурить трубку?

— Тетоны лжецы! — воскликнул индеец.— Они не смеют ночью закрыть глаза. Не смеют; они спят при солнце. Видишь,— добавил он, указывая с лютым торжеством на страшное украшение своих гетр,— с них столько снято скальпов, что пауни их топчут! Пусть сиу уходят жить в горные снега; равнины и бизоны — для мужчин!

— Ага, вот тайна и раскрылась,— сказал траппер Мидлтону, который внимательно следил за их беседой — ведь, как-никак, дело касалось и его.— Красивый молодой индеец выслеживает сиу — это видно по наконечникам его стрел и по тому, как он себя раскрасил; и еще по глазам: потому что у краснокожего всё его существо согласуется с делом, которым он занят, будь то мир или война... Тише, Гектор, спокойно! Разве ты впервые чуешь запах пауни, дружок? Лежать, песик, лежать! Брат мой прав: сиу — воры. Так о них говорят люди разного цвета и племени, и говорят справедливо. Но люди из страны, где восходит солнце, не сиу, и они хотят быть гостями Волков.

— У моего брата седая голова,— возразил пауни, смерив траппера взглядом, полным и недоверия, и гордости, и понимания; потом, указывая вдаль на восток, добавил: — И глаза его видели многое. Может он назвать мне, что он видит вдалеке? Не бизон ли там?

— Это больше похоже на облако: оно поднимается над границей равнины, и солнце освещает его края. Это дым неба.

— Это гора на земле, и на ее вершине — жилища бледнолицых! Пусть женщины моего брата омоют ноги среди людей одного с ними цвета.

— У пауни зоркие глаза, если он в такой дали различает бледнолицых.

Индеец медленно повернулся к говорившему и, помолчав, строго спросил:

— Мой брат умеет охотиться?

— Увы, я не более, как жалкий зверолов, и зверя я беру в капканы.

— Когда равнину покроют бизоны, он различит их?

— Конечно, конечно!.. Увидеть быка легче, чем уложить его на бегу.

— А когда птицы улетают от холодов и облака становятся черными от их пера,— это он тоже видит?

— Еще бы! Не так уж трудно подстрелить утку или гуся, когда их миллионы и небо от них черно.

— Когда падает снег и покрывает хижины Больших Ножей, видит чужеземец его хлопья в воздухе?

— Сейчас мое зрение не очень хорошо,— чуть печально ответил старик,— но было время, когда мне дали прозвание по зоркому глазу.

— Краснокожие различают Больших Ножей так же легко, как вы, чужеземцы, видите бизонов, и перелетную птицу, и падающий снег. Ваши воины думают, что Владыка Жизни создал всю землю белой. Они ошибаются. Они сами бледны и видят во всем свое собственное лицо. Оставь! Пауни не слеп и сразу видит людей твоего племени!

Воин вдруг замолк и склонил голову набок, как будто напряженно к чему-то прислушиваясь. Потом, круто повернув коня, проскакал в ближний конец зарослей и стал внимательно всматриваться в сумрачную прерию, но глядел он не туда, откуда явился отряд, а в противоположную сторону. Его поведение показалось наблюдавшим и странным и непонятным. Он вернулся, пристально поглядел на Инес, опять ускакал, снова вернулся, и так несколько раз — как будто мысленно вел какой-то трудный спор с самим собой. Он натянул поводья, сдерживая разгоряченного коня, и, казалось, хотел заговорить, но опять склонил голову на грудь, напряженно прислушиваясь. С быстротой оленя он проскакал в тот конец, откуда вглядывался в даль, потом описал несколько стремительных малых

кругов, точно все еще не сделал выбора, и наконец понесся, точно птица, которая вот так же кружила над гнездом, перед тем как улететь. С минуту было видно, как всадник мчится по степи, затем бугор скрыл его из глаз.

Собаки, уже некоторое время проявлявшие беспокойство, побежали было вслед за индейцем, но быстро прекратили погоню: сели, как обычно, на задние лапы и жалобно завыли, как будто предостерегая о близкой опасности.

Глава XIX

Что, если он не устоит?
Шекспир

Рассказанное в конце последней главы было проделано так быстро, что старик, хоть и приметил каждую подробность, не успел ни с кем поделиться своими догадками о намерениях незнакомца. Но, как только пауни исчез из виду, траппер стал и сам потихоньку пробираться к тому краю зарослей, откуда только что ускакал индеец.

— В воздухе носятся запахи и звуки,— покачивая головой, ворчал он на ходу,— да только мои старые уши и нос не способны уловить и распознать их.

— Ничего не видно,— сказал Мидлтон, последовавший за ним.— У меня и зрение и слух отличные, но смею вас уверить, что и я ничего не вижу и не слышу.

— Глаза у вас хорошие! И вы, конечно, не глухой! — ответил старик чуть презрительным тоном.— Нет, друг мой, нет! Они, может, и хороши, чтобы в церкви увидать из одного угла, что творится в другом, или чтоб услышать набат. Но, пока вы не проживете в прерии хотя бы год, вы то и дело будете принимать индюка за буйвола, а рев буйвола-самца — за божий гром! В этих голых равнинах природа обманывает глаз: воздух как будто набрасывает на них изображение воды, и тогда бывает трудно распознать, прерия ли перед тобой или море. Но вот вам знак, который никогда не обманет охотника!

Траппер указал на стаю коршунов, плывшую невдалеке над равниной, и, видимо, в ту самую сторону, куда так пристально глядел пауни. Сперва Мидлтон ничего не видел, кроме пятнышек на хмурых облаках; пятнышки, однако, быстро приближались, и вот уже стали отчетливо

различимы сперва общие очертания птиц, а затем и взмахи их тяжелых крыльев.

— Слушайте,— сказал траппер, после того как Мидлтон разглядел наконец вереницу коршунов,— теперь и вы услышите буйволов, или бизонов: ваш ученый доктор считает, что надо их называть бизонами, хотя у охотников в этих краях они зовутся буйволами. По-моему,— добавил он, подмигнув молодому солдату,— охотнику и судить о животном и о том, как правильней его называть, а не тому человеку, который только и делал, что рылся в книгах, вместо того чтобы странствовать по земле, знакомясь с повадками ее обитателей.

— Если говорить о привычках животного, я с вами готов согласиться,— вмешался натуралист, редко упускавший случай поднять дискуссию по какому-либо спорному вопросу его любимой науки.— Но, конечно, лишь при неизменном соблюдении правильного применения определений и при условии, что наблюдение над животным будет производиться глазами ученого.

— Скажите — глазами крота! Как будто просто человеческого глаза мало и, чтобы давать имена, нужен какой-то особенный глаз! А кто дал название божьим тварям? Могут мне это сказать ваши все книгочеи с их школьной премудростью? Не первый ли человек в райском саду? И не от него ли его дети унаследовали дар давать всему названия?

— Так, конечно, рисует это событие Библия,— сказал доктор,— хотя прочитанное в ней вы толкуете слишком буквально.

— Прочитанное! Нет, если вы думаете, что я терял свое время на школу, то вы возвели на меня обидную напраслину. Мои знания не из книг.

— Но неужели вы так-таки верите,— начал доктор, несколько раздраженный догматизмом своего упрямого противника, а может быть, втайне слишком уверенный в превосходстве своих знаний, более глубоких, но едва ли приносивших столь же ощутимую пользу,— так-таки верите, что все эти животные были собраны в одном саду, чтобы первый человек занес их в свою классификацию?

— А почему мне не верить? Я понимаю вашу мысль — не надо прожить всю жизнь в городах, чтоб узнать все дьявольские ухищрения, посредством которых человек в своей самонадеянности разрушает собственное счастье.

Но что следует из ваших доводов? Только одно: что тот сад был создан не по образцу жалких садов нашего времени. И разве не ясно отсюда, что цивилизация, которой кичится мир, есть пустая ложь? Нет, нет, сад господень был тогда лесом; он и ныне лес, в котором растут плоды и распевают птицы по мудрому установлению господню. А сейчас вы поймете, почему слетелись коршуны! Вот и сами буйволы — превосходное стадо! Поручусь вам, что где-нибудь неподалеку прячутся в лощине товарищи нашего пауни. Они скоро погонятся за стадом, и вы тогда увидите славную охоту. Будет очень кстати: скваттер со своим семейством не посмеет сунуться сюда, нам же бояться нечего. Пауни, может быть, дикари, но они не коварны.

Все жадно глядели на открывшуюся необычайную картину. Даже робкая Инес, охваченная любопытством, подбежала к Мидлтону, а Поль отозвал Эллен от ее кулинарных трудов, чтобы и она полюбовалась живописной сценой.

Пока происходило то, о чем мы здесь рассказали читателю, прерия пребывала в величественном и нерушимом покое. Правда, небо почернело от перелетных птиц, но, кроме двух собак и докторского осла, ни одно четвероногое не оживляло широкого простора лежавшей под этим черным пологом равнины. Теперь же ее вдруг заполнили животные, и мгновенно, как по волшебству, все вокруг изменилось.

Сперва показались несколько огромных бизонов-самцов. Они неслись по гребню самого дальнего холма; за ними тянулась длинная вереница одиночных животных, а за теми темной массой тел катилось все огромное стадо. Оно заливало равнину, покуда она не сменила свою осеннюю желтизну на темно-бурый тон их косматых шкур. По мере приближения стадо делалось шире и гуще и стало наконец похоже на бесчисленные птичьи стаи, которые, как из бездны, одна за другой выносятся из-за горизонта, пока не охватят все небо, и кажется — птицам нет числа, как тем листьям в лесах, над которыми они машут крыльями в своем нескончаемом перелете. Над темной массой то и дело столбом поднималась пыль: это какой-нибудь бык, более яростный, чем другие, бороздил рогами землю на равнине; да время от времени ветер доносил глухой протяжный рев, как будто из тысячи глоток нестройным хором вырывалась жалоба.

Все долго молчали, залюбовавшись дикой и величавой картиной. Наконец тишину нарушил траппер. Больше, чем другие, привыкший к подобным зрелищам, он меньше поддался впечатлению; или, верней, эта картина подействовала и на него, но не так сильно, как на тех, кому она представилась впервые.

— Бегут единым стадом десять тысяч быков без пастуха, без хозяина, кроме того, кто их создал и назначил им в пастбище эту степь! Да, вот где человек видит доказательство своей суетности и безумия! Разве мог бы самый гордый губернатор в Штатах выйти в свои поля и уложить такого благородного быка, какого здесь легко берет самый скромный охотник? А когда подадут ему филей или бифштекс, разве обед покажется ему таким же вкусным, как тому, кто хорошо потрудился и добыл свою пищу согласно закону природы, честно осилив тварь, которую господь поставил на его пути?

— Если на тарелке в прерии будет дымиться буйволовый горб, я отвечу тебе: «Конечно, нет»! — перебил, облизнувшись, бортник.

— Да, мальчик, ты его попробовал и можешь судить, правильно я говорю или неправильно!.. Но стадо забирает в нашу сторону, нам пора приготовиться к встрече. Если мы спрячемся, буйволы все пронесутся здесь и затопчут нас копытами, как червей; отведем тех, кто послабее, в сторонку, а сами, как подобает мужчинам и охотникам, займем посты в авангарде.

Так как времени на подготовку оставалось мало, весь отряд ревностно взялся за дело. Инес и Эллен укрыли в самом конце зарослей. Азинуса, как слишком нервное создание, поместили в середине; затем старик и трое его товарищей разделились и стали в таком порядке, чтобы вернейшим образом отпугнуть головную колонну животных и заставить ее свернуть в сторону, если она приблизится к месту их привала. Полсотни передних быков приближались не по прямой, а все время делая зигзаги, так что несколько минут оставалось неясным, какой путь они изберут. Но вот из-за облака пыли, поднявшегося в центре стада, раздался страшный рев — рев боли; тотчас мерзким хриплым криком отозвалась на рев стая коршунов, повисшая жадно над стадом, и вожаки побежали быстрей, словно приняв наконец решение. Казалось, перепуганное стадо обрадовалось этому подобию леса и двинулось

прямо на небольшую заросль кустов, которая так часто здесь упоминалась.

Гибель представлялась почти неминуемой, и нужны были поистине крепкие нервы, чтобы глядеть ей в лицо. Темная живая лавина катилась вперед, образуя вогнутую дугу, и каждый злобный глаз, горевший сквозь косматую шерсть на лбу самца, был с бешеной тревогой устремлен на чащу. Каждый бизон как будто норовил перегнать соседа, чтобы скорее достичь леска; и, так как на бегущих впереди накатывались сзади тысячи обезумевших животных, легко могло случиться, что вожаки слепо ринутся прямо на людей в кустах, и те в этом случае непременно будут растоптаны. Наши друзья понимали опасность, и каждый отнесся к ней сообразно своим личным свойствам и сложившемуся положению.

Мидлтон колебался. Он склонен был кинуться сквозь кусты, подхватить Инес и попытаться спастись с нею бегством. Но, тут же сообразив, что бешено мчащийся испуганный бизон неминуемо догонит его, он вскинул ружье, готовый выйти один на один против бесчисленного стада. Доктор Батциус был в таком смятении, что поддался полному обману чувств. Темные тела бизонов потеряли для натуралиста четкость очертаний, и ему померещилось, будто он видит дикое сборище всех животных мира, устремившихся на него единым строем в жажде отомстить за всевозможные обиды, которые он в продолжение целой жизни, полной неутомимого труда на ниве естествознания, наносил тому или другому виду или роду. Несчастный оцепенел, как под взглядом горгоны. Равно неспособный ни спасаться бегством, ни двинуться вперед, он стоял, как прикованный к месту, пока иллюзия не овладела им настолько, что достойный натуралист, презрев опасность во имя науки, принялся за классификацию отдельных особей. Поль же поднял отчаянный крик и даже подзывал Эллен, чтобы и она кричала вместе с ним; но рев и топот стада заглушили его голос. Охваченный яростью, но при этом страшно возбужденный упрямством животных и дикостью зрелища, вне себя от тревоги за любимую и в естественном страхе за собственную жизнь, он чуть не надорвал глотку, требуя, чтобы траппер что-нибудь предпринял.

— Ну, старик! — кричал он.— Придумай что-нибудь, пока нас всех не раздавила целая гора буйволовых горбов!

Траппер протянул вперед обе руки и двинулся навстречу обезумевшему стаду.

Траппер, который все это время стоял, опершись на ружье, и напряженно следил за движением стада, решил наконец, что пора перейти к действиям. Прицелившись в вожака, он сделал выстрел с меткостью, какой не постыдился бы и в молодые годы: пуля попала быку в лохматую челку меж рогов, и он рухнул на колени, но тотчас, встряхнув головой, поднялся, как будто боль только удвоила его силу. На раздумье не осталось времени. Траппер отбросил ружье, протянул вперед обе руки и, раскрыв ладони, двинулся навстречу обезумевшему стаду.

Человек, когда есть в нем та твердость и стойкость, какую может придать только интеллект, самым видом своим непременно внушит уважение каждому низшему существу.

Бизоны-вожаки попятились и на одно мгновение остановились, а лавиной катившиеся за ними сзади сотни животных рассыпались по прерии, мечась в беспорядке. Но опять донесся из задних рядов тот же гулкий рев, и стадо снова ринулось вперед. Однако оно раздвоилось: неподвижная фигура траппера как бы рассекла его на два живых потока. Мидлтон и Поль тотчас переняли его прием, и втроем они создали слабый заслон из собственных тел.

Однако отпугнуть бизонов от рощи удалось лишь на несколько секунд. Вожаки отступили, но быстро надвинулась сзади основная масса стада, и вскоре фигуры защитников рощи скрыла густая пыль. Стадо в любую минуту могло теперь свернуть на рощу, разорвав заслон. Траппер и его товарищам становилось все труднее увертываться от тяжелых туш; и они постепенно подавались назад перед стремительной живой лавиной. Уже один разъяренный бизон так близко пронесся мимо Мидлтона, что едва не сбил его с ног, а в следующее мгновение с быстротою ветра помчался сквозь кусты.

— Сомкнуться и стоять насмерть! Ни на шаг не отступать,— крикнул старик,— не то за ним по пятам устремится еще тысяча чертей!

Однако им едва ли удалось бы справиться с живым потоком, если бы среди этой сумятицы не поднял свой голос Азинус, возмущенный столь грубым вторжением в его владения. Самые могучие и разъяренные быки задрожали при этом грозном незнакомом крике, и уже можно было видеть, как каждый отдельный бизон бешено ринулся

прочь от той самой рощи, куда секундой раньше они все рвались, как убийца к священному убежищу.

Стадо разделилось, и два темных потока, огибая рощу с двух сторон, снова затем сливались в один за милю от нее. Траппер, как только увидел, какое неожиданное действие произвел голос Азинуса, начал спокойно заряжать ружье, смеясь от всей души своим беззвучным смешком.

— Ишь, бегут — ни дать ни взять собаки, когда им привяжут к хвосту мешочек с дробью. И уж не бойтесь, назад не повернут, потому что чего животные в задних рядах не услышали своими ушами, они вообразят, что услышали. К тому же, если они вздумают изменить свое намерение, мы без труда заставим осла допеть свою песню!

— Осел заговорил, а Валаама не слышно! — сказал бортник сквозь такой громкий хохот, что, возможно, его раскаты устрашили бизонов не меньше, чем крик осла.— Совсем человек онемел, точно целый рой пчелиной молоди сел ему на кончик языка и он не смеет слова вымолвить в страхе, как бы те не ответили по-своему.

— Как же это, друг,— продолжал траппер, обратившись к неподвижному натуралисту, еще не вышедшему из оцепенения,— как это, друг: вы же тем и живете, что заносите в книгу названия всех зверей полевых, всех птиц небесных, а так испугались стада бегущих буйволов! Впрочем, вы, пожалуй, завяжете спор и станете доказывать, что я не вправе называть их тем словом, каким их зовет каждый охотник, каждый торговец в пограничной полосе.

Старик, однако, ошибся, полагая, что заставит доктора очнуться, вызвав его на спор. С этого часа доктор, насколько известно, больше ни разу в жизни, за исключением одного-единственного случая, не выговорил слова, коим означается вид или хотя бы род животных, так напугавших его. Он упрямо отказывался принимать в пищу мясо четвероногих из семейства быков; и даже сейчас, когда он занимает почетное положение среди ученых в одном приморском городе, он на званых обедах в ужасе отворачивается от вкуснейших и непревзойденных мясных блюд, с коими не сравнится ничто подаваемое под тем же названием в хваленых харчевнях Лондона или в самых прославленных парижских ресторанах. Словом, неприязнь достойного натуралиста к говядине весьма напоминает то

отвращение к мясу, которое пастух иногда нарочно прививает провинившейся собаке: он кладет ее связанную в намордник около овчарни, чтобы каждая овца, проходя в ворота, наступила на нее. Говорят, преступница после этого воротит нос даже от самого нежного ягненка. К тому времени, когда Поль и траппер наконец подавили смех, вызванный видом их ученого сотоварища в состоянии столь длительного столбняка, доктор Батциус уже отдышался, как будто задержка в работе его легких была устранена путем применения искусственных мехов, и в последний раз выговорил слово, на которое впредь наложил для себя запрет.

Это и был тот единственный случай, о котором мы упомянули выше.

— Boves Americani horridi! [1] — воскликнул доктор, сильно выделяя последнее слово, и вновь онемел, как будто погрузившись в глубокое раздумье над странным и необъяснимым явлением.

— Да, что правда, то правда — глаза у них так и горят,— отозвался траппер.— Да и вообще на буйвола страшновато бывает глядеть человеку, непривычному к охотничьей жизни; однако эти животные далеко не так храбры, как можно подумать по их виду. Эх, приятель, подержала бы вас в осаде медведица-гризли со всем своим отродьем, как это случилось изведать нам с Гектором у Больших порогов на Миссу... Ага, вон и последние буйволы, а следом за ними — стая голодных волков! Так и ждут, чтоб напасть на какую-нибудь хворую скотину или такую, что в сутолоке сломала себе шею. Го-го! А за волками-то люди верхом на конях, это верно, как то, что я грешен!.. Видишь, малый? Вон там, где ветер разогнал пыль! Они скачут вокруг раненого буйвола, хотят прикончить упрямого черта своими стрелами.

Мидлтон с Полем наконец разглядели несколько темных фигур — хотя старик заметил их много раньше: человек пятнадцать — двадцать всадников быстро скакали на конях вокруг бизона, который стоял, приготовившись защищаться, слишком тяжело раненный, чтобы бежать, и слишком гордый, чтобы упасть, хотя его мощное тело уже послужило мишенью для сотни стрел. Но вот рослый индеец ударом копья довершил наконец победу, и благород-

[1] Быки американские страшные (лат.).

ное животное рассталось с жизнью, громко взревев на прощанье. Рев прокатился над рощей, где стояли наши знакомцы, и, услышав его, перепуганное стадо понеслось еще быстрей.

— Ого, наш пауни превосходно знает охоту на буйволов! — сказал старик, который несколько минут стоял неподвижно, с откровенным удовольствием наблюдая живописное зрелище.— Помните, как он метнулся, точно ветер, прочь от стада? Это для того, чтобы его не учуяли, а потом он сделал круг, присоединился к сво... Что такое? Да эти индейцы вовсе не пауни! На головах у них совиные перья — из крыльев и хвостов! Эх! Я жалкий, слепой дурак! Это шайка проклятых сиу! Прячьтесь, дети, прячьтесь! Им только глянуть в нашу сторону, и мы останемся без единой тряпки на теле. Это верно, как то, что молния опаляет деревья... Впрочем, я не поручусь не только за нашу одежду, но даже за нашу жизнь.

Мидлтон уже давно скрылся, предпочитая смотреть на предмет, более приятный его глазам,— на свою красивую молодую жену. Поль схватил за руку доктора, и, так как за ними, задержавшись лишь на миг, последовал и трапер, вскоре весь отряд оказался в гуще кустов. Коротко разъяснив друзьям, какая им грозит новая опасность, старик продолжал:

— В этом краю, как вы, конечно, знаете, сильная рука стоит больше, чем право, и белый закон здесь неизвестен, да и не нужен. Так что теперь все зависит от силы и сообразительности. Хорошо бы,— продолжал он, приложив палец к щеке и как бы глубоко, всесторонне обдумывая создавшееся положение,— хорошо бы нам придумать какую-нибудь штуку, чтобы заставить сиу схватиться с семейкой скваттера. А потом тут как тут явились бы и мы, точно сарычи после драки между зверями. Нам тогда легко досталась бы победа... Да поблизости еще и пауни! На этот счет можно не сомневаться: тот юный воин не ушел бы так далеко от своей деревни без особой цели. Итак, имеются четыре стороны на расстоянии пушечного выстрела друг от друга, и ни одна из сторон не доверяет вполне другой. Значит, трогаться с места опасно, тем более что здесь не часто встретишь заросли, где можно спрятаться. Но нас тут трое хорошо вооруженных мужчин, и я смело могу сказать: трое твердых духом...

— Четверо,— перебил Поль.

— Откуда? — сказал траппер, в недоумении подняв глаза на товарища.

— Четверо,— повторил бортник, кивнув на естествоиспытателя.

— В каждом войске есть обозники и лежебоки,— возразил упрямый старик.— Придется, приятель, убить осла.

— Убить Азинуса? Но это явилось бы актом вонию-щей антигуманной жестокости.

— Не разбираюсь я в ваших длиннющих словах, которые прячут свой смысл за множеством звуков; жестоко, по-моему, жертвовать человеческой жизнью ради животного. А это я назову разумным милосердием. Безопасней было бы загудеть в трубу, чем позволить ослу еще раз подать голос; уж проще прямо позвать сюда тетонов.

— Я отвечаю за поведение Азинуса; он не заговорит без разумной причины.

— Значит, по пословице: «С кем повелся, от того и набрался»,— сказал старик.— Что ж, может, она применима и к животному. Мне однажды пришлось проделать трудный поход, подвергаясь всяческим опасностям, и был у меня спутник, который, бывало, если откроет рот, так только чтоб запеть. Ох и доставил он мне хлопот! Это было, когда я встретился с вашим дедом, капитан. Но у того певца было все же человеческое горло, и он умел иной раз с толком применить свое искусство, хотя не всегда соображал, будет ли это ко времени и к месту. Эх, был бы я сейчас таков, как тогда! Не так-то просто шайка воровatых сиу выгнала б меня из этой чащи! Но что хвастаться, когда и зрение и сила давно изменили! Воину, которого делавары некогда прозвали Соколиным Глазом, теперь скорее подошло бы имя Слепого Крота! Осла, по-моему, надо убить.

— Верно и вполне разумно,— подхватил Поль.— Музыка есть музыка, и от нее всегда шум, производит ли ее скрипка или осел. Так что я согласен со стариком и говорю: прикончим осла!

— Друзья,— сказал натуралист, печально глядя то на одного, то на другого своего кровожадного товарища,— не убивайте Азинуса, ибо о данной особи осла можно сказать много хорошего и очень мало дурного. Он выполив и послушен, даже для своего подрода genus equi [1], неприхот-

[1] Рода лошади (лат.).

лив и терпелив даже для своего безропотного вида — специес Азини. Мы много странствовали с ним вдвоем, и смерть его меня опечалит. Не омрачится разве твоя душа, почтенный венатор, если тебя вот так преждевременно разлучить с твоей верной собакой?

— Пусть его живет,— сказал старик и закашлялся, потому что у него вдруг запершило в горле: как видно, призыв подействовал.— Но только голос его придется заглушить. Обмотайте ему морду поводьями, а в остальном мы, я думаю, можем положиться на божью волю.

Так вдвойне обеспечив рассудительное поведение Азинуса (ибо Поль Ховер сейчас же основательно стянул ослу челюсти), траппер, казалось, успокоился и направился к опушке на рекогносцировку.

Шум, поднятый стадом, затих, вернее сказать — было слышно, как он катится по прерии на милю в стороне. Ветер уже развеял тучи пыли, и там, где за десять минут перед тем развертывалась перед глазами такая буйная сцена, вновь простиралась пустыня.

Сиу добили бизона и, как видно удовольствовавшись этим добавлением к взятой прежде богатой добыче, позволили остальному стаду благополучно уйти. Человек двенадцать осталось подле туши, над которой покачивались на неподвижных крыльях с десяток сарычей и не сводили с нее жадных глаз. Основной же отряд индейцев поскакал вперед — за добычей, какою всегда можно поживиться, идя по следу такого огромного стада. Траппер вгляделся в фигуру и снаряжение каждого индейца, приближавшегося к роще. В одном из них он распознал Уючу и указал на него Мидлтону.

— Вот мы и узнали, кто они такие и что их сюда привело,— продолжал старик, задумчиво качая головой.— Они потеряли след скваттера, а теперь ищут его. На своей тропе они наткнулись на буйволов и в погоне за ними, в недобрый час, увидели перед собой ту гору, на которой обосновался Ишмаэл с семьей. Видите вы этих птиц — они ждут, чтобы им бросили потроха убитого быка. Такова мораль, которой учит прерия. Отряд пауни подстерегает этих сиу, как коршуны высматривают сверху свою пищу; а нам предостережение: гляди в оба и на пауни и на сиу. Эге, зачем эти два мерзавца вдруг остановились? Не иначе, как нашли то самое место, где сын скваттера встретил, бедняга, свою смерть.

Старик не ошибся. Уюча и сопровождавший его тетон подъехали к месту, где, как мы знаем, свершилось кровавое дело. Здесь, не сходя с коней, они принялись разглядывать хорошо знакомые им знаки с той быстротой соображения, которая так свойственна индейскому уму. Смотрели они долго и, казалось, не верили своим глазам. Затем они подняли вой, чуть ли не такой же заунывный, как подняли раньше две собаки, напав на эти же роковые следы. И тотчас на этот вой собрался вокруг них весь отряд индейцев. Так, говорят, шакал своим истошным лаем созывает товарищей на мерзкую их охоту.

Глава XX

Добро пожаловать, прапорщик Пистоль!
Шекспир, «Генрих IV»

Вскоре траппер высмотрел среди индейцев внушительную фигуру их предводителя Матори. Вождь одним из последних явился на громкий призыв Уючи, но, едва подъехав к месту, где уже собрался весь его отряд, он сразу соскочил с коня и принялся разглядывать необычные следы с тем вниманием и достоинством, какие подобали его высокому положению. Воины (они все до одного явно были воины, бесстрашные и безжалостные) терпеливо и сдержанно ждали, чем кончится осмотр. Никто, кроме немногих самых уважаемых вождей, не осмеливался заговорить, пока их предводитель был занят этим важным делом. Прошло несколько минут, прежде чем Матори поднял голову — по-видимому удовлетворенный. Затем он осмотрел землю в тех местах, где недавно Ишмаэл по тем же страшным знакам прочитал подробности кровавой борьбы, и кивнул своим людям следовать за собой.

Отряд в полном составе направился к зарослям и остановился ярдах в двадцати от того самого места, где Эстер понуждала своих медлительных сыновей углубиться в кусты. Читатель сам поймет, что траппер и его товарищи не стали праздно наблюдать за приближением грозного врага. Старик подозвал к себе всех, кто был способен носить оружие, и вполголоса, чтобы не услышали опасные соседи, спросил, намерены ли они сразиться за свою свободу или

предпочтут попытать более мягкое средство — договориться с врагом. Так как в этом деле все были равно заинтересованы, он обратился со своим вопросом как бы к военному совету, и чувствовалось в его тоне что-то от былой, почти угасшей ныне воинской гордости. Поль и доктор высказали два диаметрально противоположных мнения. Бортник призывал немедленно взяться за оружие, доктор же горячо отстаивал политику мирных мер. Мидлтон, видя, что между двумя сотоварищами грозит разгореться многословный спор, взял на себя обязанность арбитра; или, вернее сказать, сам решил вопрос на правах третейского судьи. Он тоже склонялся к политике мира, так как ясно видел, что при численном перевесе противника попытка применить оружие неминуемо приведет их к гибели.

Траппер внимательно выслушал доводы молодого солдата; и так как он их высказал твердо и решительно, а не как человек, ослепленный страхом, то они произвели достаточное впечатление.

— Правильно говоришь,— подтвердил траппер, когда Мидлтон изложил свое мнение.— Очень правильно. Где человек не может положиться на силу, там он должен прибегнуть к уму. Ничто, как разум, делает его сильнее буйвола и быстрее лося. Оставайтесь здесь и затаитесь. Моя жизнь и мои капканы не имеют большой цены, когда дело идет о спасении стольких людей; к тому же, скажу не хвастая, я хорошо разбираюсь в индейских хитростях. Поэтому я выйду в прерию один. Возможно, мне удастся отвлечь тетонов от рощи и открыть вам свободную дорогу для бегства.

Как будто решив не слушать возражений, старик спокойно закинул ружье за плечо и, неторопливо пройдя сквозь заросли, вышел на равнину под прикрытием бугра, чтобы сиу, когда он им попадется на глаза, не заподозрили сразу, что он вышел из кустарника.

Едва тетоны увидели фигуру человека в охотничьей одежде с хорошо им знакомым и страшным ружьем, в их отряде почувствовалась тревога, хоть они и постарались скрыть ее. Трапперу вполне удалась его хитрость: индейцы недоумевали — пришел ли он откуда-то из открытой степи или все-таки из рощи, хотя они все время подозрительно вглядывались в кусты. До сих пор они держались от зарослей на расстоянии полета стрелы; но, когда незнакомец

настолько приблизился, что, несмотря на красно-бурый тон его обветренной, загорелой кожи, в нем можно было распознать бледнолицего, они отъехали подальше и стали там, где пуля едва ли достала бы их.

Старик между тем продолжал спокойно приближаться, пока не подошел настолько близко, что индейцы уже могли бы расслышать его речь. Тут он остановился и, положив ружье на землю, поднял обе руки ладонями наружу — в знак мирных намерений. Сказав несколько слов укоризны своей собаке, глядевшей на дикарей такими глазами, точно она их узнала, он обратился к сиу на их языке:

— Я рад моим братьям,— начал он, хитро представляясь хозяином этих мест и как бы встречая гостей.— Они далеко ушли от своих деревень и голодны. Не хотят ли они пройти в мое жилище, чтобы поесть и поспать?

Едва индейцы услыхали его голос, радостный крик, вырвавшийся из двенадцати глоток, убедил сообразительного траппера, что его тоже узнали. Понимая, что отступать уже поздно, он воспользовался суматохой, поднявшейся среди тетонов, когда Уюча стал им объяснять, кто он такой, и продолжал идти вперед, пока не оказался лицом к лицу с грозным Матори. Вторую встречу этих двух людей, из которых каждый был в своем роде замечателен, отличала обоюдная настороженность, обычная для жителей пограничных земель. С минуту они стояли молча, разглядывая друг друга.

— Где твои юноши? — сурово спросил тетонский вождь, убедившись, что застывшие черты траппера не выдадут под его устрашающим взглядом ни единой тайны старика.

— Длинные Ножи не выходят целым отрядом ставить капкан на бобра! Я один.

— Голова у тебя белая, но язык раздвоен. Матори был в вашем стане. Он знает, что ты не один. Где твоя молодая жена и юный воин, которых я захватил на равнине?

— У меня нет жены. Я говорил моему брату, что женщина и ее друзья для меня чужие. Слова седой головы следует слушать и не забывать. Тетон застал путешественников спящими и подумал, что им не нужны их кони. Женщины и дети бледнолицего не привыкли далеко ходить на своих ногах. Ищи их там, где ты их оставил.

Глаза дакоты метали огонь, когда он ответил:

— Они ушли, но Матори мудрый вождь, и взор его видит далеко!

— Разве великий воин тетонов видит людей в этих голых полях? — возразил траппер, и ничто не дрогнуло в его лице.— Я очень стар, и глаза мои стали мутны. Где же люди?

Вождь молчал с минуту, как будто считал ниже своего достоинства настаивать дальше на своей правоте. Потом, указав на отпечатки на земле, он вдруг заговорил более мягким тоном:

— Мой отец много зим учился мудрости; может он мне сказать, чей мокасин оставил этот след?

— В прериях бродили волки и буйволы, могли тут побывать и кугуары.

Матори покосился на рощу, как будто считал последнее предположение вполне возможным. Указав на кусты, он велел молодым воинам тщательно провести разведку и, бросив на траппера суровый взгляд, предостерег их против коварства Больших Ножей. Выслушав приказ, трое или четверо полуголых юношей, подстегнув коней, ринулись выполнять его. Старик проводил их взором и подумал со страхом, что у Поля, пожалуй, не достанет выдержки. Тетоны раза три проскакали вокруг рощи, с каждым кругом все ближе подступая к ней, затем понеслись обратно с донесением, что в кустах никого, по-видимому, нет. Траппер глядел вождю в глаза, стараясь разгадать его мысли, чтобы вовремя отвести подозрение. Но при всей его проницательности, при всем опыте, научившем старика проникать за холодную маску индейца, ни единый признак, ни одно движение в лице Матори не открыли ему, поверил ли тот донесению. Вождь ничего не ответил разведчикам, только сказал что-то ласковое своему коню и, сделав одному из юношей знак принять поводья — точнее говоря, ремень с петлей, посредством которого он управлял скакуном,— взял траппера за руку и отвел его в сторону.

— Был мой брат воином? — сказал хитрый сиу как будто самым миролюбивым тоном.

— Есть ли на деревьях листья в пору плодов? По́лно! Дакота не видел столько живых воинов, сколько я их видел истекающих кровью! Но много ли стоят праздные воспоминания,— добавил он по-английски,— когда руки костенеют и зрение ослабело?

Вождь сурово глядел на него, как будто желал уличить

во лжи; но, встретив твердый и спокойный взор траппера, подтвердивший правду его слов, он взял руку старика и мягко положил ее себе на голову в знак уважения к его годам и опыту.

— Так зачем же Большие Ножи говорят красным братьям, чтоб они зарыли томагавк,— сказал он,— когда их собственные молодые люди никогда не забывают, что они отважные воины, и часто расходятся после встречи с кровью на руках?

— Людей моего племени больше, чем буйволов на равнинах, чем в воздухе голубей. Между ними часто происходят ссоры; но воинов среди них немного. На тропу войны выходят только те, кто отмечены свойствами храброго, и такие видят много битв.

— Это неверно, отец мой ошибся,— возразил Матори и самодовольно улыбнулся, радуясь своей проницательности; однако во внимание к годам и заслугам столь старого человека он поспешил любезностью загладить свою резкость: — Большие Ножи очень мудры, и они мужчины; каждый из них желает быть воином. И они хотят, чтобы краснокожие собирали коренья и сажали кукурузу. Но дакота не родился жить, как женщина; он должен бить в бою пауни и омахов, или он запятнает имя своих отцов.

— Владыка жизни смотрит открытыми глазами на своих детей, умирающих в правом бою; но он слеп и уши его не внемлют воплям индейцев, убитых, когда они грабили соседа или причиняли ему другое зло!

— Отец мой стар,— сказал Матори и смерил седоволосого собеседника насмешливым взглядом, показавшим, что вождь тетонов принадлежит к тем, кто позволяет себе нарушать стеснительные правила благовоспитанности и склонен злоупотреблять приобретенной таким образом свободой суждения.— Он очень стар; может быть, он уже совершил свой путь в далекие луга и не поленился вернуться назад, чтобы рассказать молодым о том, что он увидел?

— Тетон,— возразил траппер, с неожиданной горячностью ударив о землю прикладом ружья и устремив на индейца твердый и ясный взгляд,— я слышал, что есть в моем народе люди, которые изучают великие знахарства, пока не вообразят себя богами; и которые смеются над всякой верой, кроме тщеславной веры в собственную власть. Может быть, это и правда. Это, конечно, правда!

— Отец мой стар,— сказал Матори,— может быть, он уже совершил свой путь в далекие луга и вернулся назад, чтобы рассказать молодым о том, что он увидел?

Потому что я сам видел таких. Когда человек заперт в городах и школах один на один со своими безумствами, ему легко вообразить себя превыше Владыки Жизни. Но воин, живущий в доме, где крышей над ним облака, где он в любую минуту может поглядеть на небо и на землю и где каждый день видит могущество Великого Духа, такой человек научается смирению. Вождь дакотов должен быть мудрым, ему не пристало смеяться над тем, что правильно.

Лукавый Матори, видя, что его свободомыслие не произвело на старика благоприятного впечатления, поспешил перейти к непосредственному предмету разговора. Ласково положив руку на плечо траппера, он повел его вперед, к роще, пока они не оказались футах в пятидесяти от нее. Здесь он уставил в честное лицо старика пронзительный взор и начал так:

— Если мой отец спрятал своих молодых людей в кустарнике, пусть он прикажет им выйти. Ты видишь, что дакота не знает страха. Матори великий вождь! Когда у воина седая голова и он готов отправиться в страну духов, не может его язык быть двойным, как у змеи.

— Дакота, я не солгал. С тех пор, как Великий дух сделал меня мужчиной, я жил в дремучих лесах или на этих голых равнинах, и не было у меня ни жилья, ни семьи. Я охотник и выхожу на свою тропу один.

— У моего отца хороший карабин, пусть он наведет его на кусты и выстрелит.

Одну секунду старик колебался, потом медленно приготовился дать это опасное подтверждение правды своих слов: он видел — иначе ему не усыпить подозрений своего коварного собеседника. Пока он клонил дуло, глаза его, хоть и сильно затуманенные и ослабевшие с годами, вглядывались в смутную мглу за многоцветной листвой кустарника и наконец сумели различить бурый ствол тоненького деревца. Выбрав его мишенью, он прицелился и выстрелил. Только когда пуля вылетела из дула, руки траппера охватила дрожь; случись это мгновением раньше, он не позволил бы себе произвести столь отчаянный эксперимент. Эхо выстрела стихло. Стрелок ждал с минуту в напряженной тишине, что сейчас раздастся женский вопль. Потом, когда ветер развеял дым, старик увидел взвившуюся полосу коры и уверился, что не вовсе лишился своего былого искусства. Поставив ружье прикладом на

землю, он опять с невозмутимо спокойным видом повернулся к индейцу и спросил:

— Мой брат доволен?

— Матори — вождь дакотов,— ответил хитрый тетон, положив руку на грудь в знак того, что поверил искренности собеседника.— Он знает, что воин, куривший трубку у многих костров совета, покуда волосы его не побелели, не стал бы водить дружбу с дурными людьми. Но мой отец, наверное, ездил прежде верхом на коне как богатый вождь бледнолицых, а не странствовал пешком подобно голодному конзе?

— Никогда! Ваконда дал мне ноги и дал желание пользоваться ими. Шестьдесят весен и зим я скитался по лесам Америки, десять долгих годов прожил в этих открытых степях — и не видел нужды обращаться к силе других господних созданий, чтобы они меня переносили с места на место.

— Если мой отец так долго жил в сени лесов, зачем он вышел в прерию? Солнце его опалит.

Старик печально поглядел вокруг и, вновь повернувшись к тетону, заговорил доверительно:

— Весну, и лето, и осень моей жизни я провел среди деревьев. Пришла зима моих дней и застала меня там, где мне было любо жить в тиши и одиночестве — да, в моих честных лесах! Тетон, тогда я спал счастливый: там мой взор проникал сквозь ветви сосен и буков далеко в высоту, до жилища Великого духа бледнолицых. Если я желал открыть перед ним свое сердце, когда его огни горели над моей головой, у меня была перед глазами незакрытая дверь. Но меня разбудили топоры лесорубов. Долгое время уши мои ничего не слышали, кроме треска падающих деревьев. Я сносил это как воин и мужчина; была причина, почему я должен был это сносить; но, когда причины не стало, я надумал идти туда, куда не доносится стук топоров. Большое нужно было мужество, чтобы переломить свои привычки; но я услышал про эти широкие и голые поля и вот пришел сюда, чтоб уйти от любви моего народа к разрушению. Скажи мне, дакота, разве не правильно я поступил?

Траппер, умолкнув, положил свои длинные, сухие пальцы на обнаженное плечо вождя и с жалкой улыбкой, в которой торжество странно сочеталось с грустью об утраченном, казалось, ждал похвалы за свою решимость

и мужество. Матори, внимательно выслушав, ответил в характерной индейской манере:

— Голова моего отца совсем седая; он жил всегда среди мужчин и видел многое. Что он делает — хорошо; что говорит он — мудро. Пусть он скажет теперь: вполне ли он уверен, что он чужой для Больших Ножей, которые ищут по всей прерии своих коней и не могут найти?

— Дакота, я сказал правду: я живу один и сторонюсь людей белой кожи, если только...

Он вдруг закрыл рот, принужденный к тому самой обидной неожиданностью. Едва эти слова слетели с его языка, кусты у ближнего края зарослей раздвинулись, и те, кого он там укрыл, ради кого наперекор своему правдолюбию кривил душой, вышли на открытую равнину! Все онемели, пораженные этим зрелищем. Но, если Матори и удивился, он не позволил своему лицу отразить удивление и пригласительно махнул рукой приближавшимся друзьям траппера с напускной любезностью и с улыбкой, которая осветила его темное злое лицо, как луч заходящего солнца пробивает свинцовую тучу, насыщенную электричеством. Он счел, однако, ниже своего достоинства словами или как-нибудь иначе выразить свои намерения — только подозвал к себе стоявший в отдалении отряд. Индейцы тотчас кинулись на зов, готовые повиноваться.

Друзья старика между тем приближались. Впереди шел Мидлтон, поддерживая Инес. Она казалась совсем прозрачной, а он нежно поглядывал на ее испуганное лицо. как мог бы при таких обстоятельствах глядеть отец на дочь. Следом за ними Поль вел Эллен. Бортник не сводил глаз со своей красавицы невесты, однако глядел он исподлобья и так сердито, что был похож не на счастливого жениха, а скорей на медведя, когда он угрюмо пятится от охотника. Шествие замыкали Овид и Азинус, причем доктор вел своего друга не менее любовно, чем молодые люди — своих юных спутниц.

Натуралист приближался, сильно отстав от двух первых пар. Казалось, ноги его не желают ни шагать вперед, ни стоять на месте; таким образом, положение его было весьма похоже на положение гроба Магомета [1], с той лишь разницей, что тот в состоянии покоя удерживало притя-

[1] По преданию, гроб Магомета висел в воздухе между двумя огромными магнитами.

жение, тогда как здесь действовало скорее отталкивание. Впрочем, сила, действующая сзади, казалось, получила некоторый перевес, и, являя, как мог бы отметить он сам, странное исключение изо всех естественных законов, она с расстоянием не слабела, а, напротив того, возрастала. Так как глаза натуралиста все время смотрели в сторону, противоположную той, куда несли его ноги, то те, кто наблюдал за процессией, получили ключ к загадке и поняли, почему друзья траппера вдруг решились оставить свой тайник.

В некотором отдалении показалась еще одна группа крепких, хорошо вооруженных людей, которая сейчас огибала дальний край рощи и осторожно двигалась прямо к месту, где стояли сиу. Так иногда флотилия каперов подбирается через пустыню вод к богатому, но надежно охраняемому каравану торговых судов. Это семья скваттера, или, вернее, те из его семьи, кто был способен носить оружие, вышли в степь с намерением отомстить за свои обиды.

Едва завидев пришельцев, Матори со своим отрядом стал медленно отступать от рощи, пока не достиг гребня холма, откуда открывался широкий, ничем не заслоняемый вид на голую равнину, где появился неприятель. Здесь дакота, видимо, решил остановиться и выждать, какой оборот примут события. Несмотря на отступление индейцев, увлекших за собой и траппера, Мидлтон продолжал подвигаться вперед и остановился лишь тогда, когда поднялся на тот же гребень и приблизился настолько, что можно было начать переговоры с воинственными сиу. Буш и его семья тоже заняли выгодную позицию, но на изрядном расстоянии. Три отряда напоминали теперь три эскадры в море, которые осмотрительно легли в дрейф, стараясь, чтобы их не опознали прежде, чем сами они не убедятся, кого из незнакомцев должны считать друзьями, кого врагами. В эту минуту напряженного выжидания Матори переводил угрюмый взгляд с одного чужого отряда на другой, быстро и торопливо изучая их. Потом, уничтожающе посмотрев на траппера, вождь сказал со злой издевкой:

— Большие Ножи глупцы! Легче захватить кугуара спящим, чем найти слепого дакоту. Или белоголовый думал ускакать на коне тетона?

Траппер, успевший собраться с мыслями, уже сообра-

зил, что произошло: очевидно, Мидлтон, увидев, что Ишмаэл их выследил, предпочел довериться гостеприимству дикарей, нежели попасть в руки скваттера. Поэтому старик решил подготовить для своих друзей благосклонный прием. Он был убежден, что только этот противоестественный союз может спасти их жизнь или по меньшей мере сохранить им свободу.

— Мой брат выходил когда-нибудь на тропу войны, чтобы сразиться с моим народом? — спокойно спросил он возмущенного вождя, который все еще ждал его ответа.

Воин-тетон, как будто несколько остыл, и свирепость на его лице уступила место торжествующей усмешке, когда он широко взмахнул рукой и ответил:

— Какое племя, какой народ не чувствовал на себе удара дакотов? Матори — их вождь!

— И он считает Больших Ножей женщинами? Или он нашел их мужчинами?

Сумрачное лицо индейца отразило борьбу различных чувств, жестоких и бурных. Одну секунду казалось, что одержала верх неугасимая ненависть; но затем в его чертах проступило выражение более благородное и более подобавшее прославленному воину. Вождь распахнул легкий, покрытый рисунками плащ из оленьей шкуры, и, показав на груди шрам от штыка, он ответил:

— Удар был честный: мы сошлись лицом к лицу.

— Этого довольно. Брат мой храбрый вождь, и он, конечно, мудр. Пусть он посмотрит: разве это воин бледнолицых? Таков был тот, кто нанес рану великому дакоте?

Матори посмотрел туда, куда указывала протянутая рука старика, и остановил свой взгляд на поникшей фигурке Инес. Долго тетон не мог отвести от нее восторженный взгляд. Как недавно юный пауни, он, казалось, узрел небесное видение. Но затем, точно укорив себя в забывчивости, индеец перевел глаза на Эллен, задержал их на ней с более земным восхищением, потом поочередно оглядел их спутников.

— Брат мой видит, что мой язык не раздвоен,— продолжал траппер, наблюдая за отражавшимся на лице тетона движением чувств с проницательностью, в которой почти не уступал самому индейцу.— Большие Ножи не посылают на войну своих женщин. Я знаю, дакоты будут курить трубку с чужеземцами.

— Матори — великий вождь, Большие Ножи — его

гости,— сказал тетон и положил руку на грудь с видом горделивой учтивости, которому мог бы позавидовать иной аристократ.— Стрелы моих юношей лежат в колчанах.

Траппер подал знак Мидлтону подойти ближе, и через короткое время две группы смешались в одну, причем мужчины обменялись дружеским приветом по этикету воинов прерии. Но, даже исполняя требования гостеприимства, дакота ни на миг не упускал из виду вторую, более отдаленную группу белых, как будто все еще подозревал ловушку или ждал дальнейших разъяснений. Старик со своей стороны тоже понимал, что должен объясниться прямее и закрепить уже достигнутый небольшой и довольно шаткий успех. Всматриваясь в отряд скваттера, все еще стоявший на прежнем месте, и делая вид, будто еще не знает этих людей, он быстро сообразил, что Ишмаэл замыслил немедленное нападение. Исход столкновения на открытой равнине между десятком храбрых пограничных жителей и почти безоружными индейцами, даже если тех поддержат их белые союзники, представлялся ему достаточно сомнительным. Если бы дело касалось его одного, он был бы, пожалуй, не прочь ввязаться в драку; однако старый траппер посчитал, что человеку его лет и его занятий будет приличней предотвратить столкновение. Его чувства разделяли и Поль и Мидлтон, так как оба они должны были оберегать не только собственную жизнь, но и две другие, более для них драгоценные. Стоя перед трудным выбором, они принялись совещаться, как бы им вернее избежать страшных последствий, какие неминуемо повлекла бы за собой первая же враждебная попытка со стороны Бушей. Траппер не забывал, что индейцы с ревнивым вниманием следят за выражением их лиц; поэтому он сделал вид, будто в разговоре с друзьями пытается уяснить, по какой причине эти путешественники могли забраться так далеко в прерию.

— Я знаю, что дакоты мудрый и великий народ,— начал наконец старик, снова обратившись к Матори.— Но разве их вождь не знает среди своих братьев ни одного, кто был бы низок?

Матори гордо осмотрел свой отряд и на секунду нехотя задержал взгляд на Уюче.

— Владыка жизни создал вождей, воинов и женщин,— ответил он, полагая, что охватил все ступени человеческого общества, от наивысшей до самой низкой.

— Вот так же и некоторых бледнолицых он создал дурными. Таковы те, кого мой брат видит вдали.

— Они всегда ходят на своих ногах, когда хотят чинить зло? — спросил тетон; но искра торжества в его глазах выдала, как хорошо он знает, почему бледнолицые не на конях.

— Они лишились своих лошадей, но у них еще есть порох, и свинец, и много одеял.

— Они носят свои богатства с собой, как жалкие конзы? Или они смелы и оставляют их на женщин, как должны поступать мужчины, когда знают, где найти потерянное?

— Видит мой брат синее пятно на краю прерии? Гляди, солнце сегодня коснулось его в последний раз.

— Матори не крот.

— Это скала; на ней имущество Больших Ножей.

Выражение злобной радости озарило темное лицо тетона. Повернувшись к старику, он, казалось, читал в его душе, точно хотел проверить, не лжет ли тот. Потом он перевел глаза на отряд Ишмаэла и сосчитал, сколько в нем людей.

— Недостает одного воина,— сказал он.

— Видит мой брат сарычей? Там его могила. Видел он кровь на земле прерии? То была его кровь.

— Довольно! Матори — мудрый вождь. Посади своих женщин на коней дакотов; мы сами все увидим, наши глаза широко открыты!

Траппер не стал тратить лишние слова на объяснения. Зная, как быстры и кратки в своих речах индейцы, он немедля сообщил товарищам, чего добился. Мгновением позже Поль уже вскочил на коня, а у него за спиной устроилась Эллен. Мидлтон немного замешкался, стараясь поудобней усадить Инес. Пока он хлопотал вокруг нее, к коню с другой стороны подошел Матори. Он отдал для гостьи собственного своего скакуна и теперь выказал намерение занять свое обычное место на его спине. Молодой офицер схватил поводья, и мужчины обменялись быстрым, гневным и высокомерным взглядом.

— Никто, кроме меня, не сядет в это седло,— твердо объявил по-английски Мидлтон.

— Матори — великий вождь,— возразил тетон.

Но ни тот, ни другой не понял смысла сказанных ему слов.

— Дакота опоздает,— шепнул вождю не отходивший от него старик.— Смотри, Большие Ножи испугались. Они скоро побегут назад.

Вождь тетонов сразу отступился от своих притязаний и вскочил на другую лошадь, приказав одному из всадников отдать свою старику. Спешившиеся воины пристроились за спинами своих товарищей. Доктор Батциус уже восседал на Азинусе, и, несмотря на заминку, отряд приготовился двинуться в путь чуть ли не вдвое быстрее, чем мы рассказали об этом.

Убедившись, что все в порядке, Матори подал знак к выступлению. Несколько воинов, сидевших на лучших конях, в том числе и сам вождь, с угрожающим видом поскакали вперед, как будто собираясь напасть на пришельцев. Скваттер, начавший было в самом деле медленно отходить, тотчас же остановил свой отряд и с готовностью повернулся лицом к врагу. Однако хитрые дикари не приблизились на расстояние ружейного выстрела, а двинулись в обход, пока не описали полукруг, держа противника в постоянном ожидании нападения.

Убедившись, что цель достигнута, тетоны подняли громкий крик и понеслись вереницей по прерии к далекой скале, так прямо и чуть ли не так же быстро, как летит сорвавшаяся с тетивы стрела.

Глава XXI

Ступай, не мешкай средь богов.

Шекспир

Едва обнаружились истинные намерения Матори, залп изо всех ружей дал знать, что скваттер разгадал их. Но дальность расстояния и быстрый лет коней обезвредили огонь. Дакота, чтобы показать, как мало он боится чужеземцев, ответил на залп боевым кличем; и, размахивая над головой карабином как бы в насмешку над бессильной попыткой врага, он в сопровождении своих отборных воинов сделал круг по равнине.

Остальной отряд продолжал между тем нестись вперед, а эта небольшая группа избранных, выразив на свой дикарский лад презрение к бледнолицым, повернула назад

и составила арьергард. Маневр, очевидно предусмотренный заранее, был проделан ловко и четко.

Залп быстро следовал за залпом, пока взбешенный скваттер не был принужден с досадой отказаться от мысли нанести неприятелю ущерб такими слабыми средствами. Оставив эту бесплодную попытку, он пустился в погоню, время от времени стреляя из ружья, чтобы поднять тревогу в гарнизоне, который он на этот раз благоразумно оставил под грозным начальством самой Эстер. Погоня велась таким порядком несколько минут, но постепенно всадники заметно оторвались от преследователей, хоть те и подвигались с невероятной для пеших быстротой.

Синее пятнышко все более отчетливо обрисовывалось в небе, словно вынырнувший из пучины остров, и дикари время от времени оглашали степь воплем торжества. Между тем восточный край неба уже тонул в вечернем сумраке. Тетоны еще не одолели и половины пути, когда смутные очертания скалы растаяли во мгле. Не смущаясь этим обстоятельством, нисколько не вредившим его замыслам — скорее даже благоприятным для них,— Матори, уже опять скакавший впереди, продолжал путь с уверенностью доброй гончей. Он только слегка осаживал коня, так как к этому времени все лошади в его отряде устали. Тут старик, улучив минуту, подъехал к Мидлтону и заговорил с ним по-английски:

— Сейчас пойдет грабеж, а я в таком деле не хотел бы участвовать.

— Как же мы поступим? Отдаться в руки негодяю скваттеру будет просто гибелью.

— Не поминай негодяев: ни красных, ни белых! Гляди вперед, мальчик, как будто бы ты говоришь о наших колдунах или, скажем, хвалишь тетонских скакунов. Эти воры любят, когда хвалят их коней,— совсем как глупая мать в поселениях бывает рада слушать похвалы своему балованному ребенку. Так! Потрепал по шее — хорошо, теперь перебирай рукою бусы, которыми краснокожие украсили его гриву; направь глаза на одно, а мысли — на другое. Слушай же: если повести дело умно, мы сможем расстаться с тетонами, пусть только совсем стемнеет.

— Отлично придумано! — воскликнул Мидлтон, не забывший, каким восторженным взглядом смотрел Матори на юную Инес и как он дерзко попробовал взять на себя роль ее покровителя.

— Боже, боже, как становится слаб человек, когда его природная сообразительность притуплена книжной наукой да женской изнеженностью! Еще раз так вот вздрогни, и эти черти подле нас сразу поймут, что мы сговариваемся против них, с такой же ясностью, как если бы мы шепнули им об этом прямо в ухо на дакотском языке. Да, да, я знаю этих дьяволов: они смотрят, как безобидные оленята, а ведь все до одного следят в оба за каждым нашим движением! Значит, то, что мы задумали, надо сделать с умом!.. Вот так, правильно: поглаживай гриву да улыбайся, как будто хвалишь коня, а ухо открой пошире для моих слов. Только осторожно, не разгорячи жеребца,— я хоть и не большой знаток по части лошадей, но разум учит меня, что в трудном деле требуются свежие силы и что на усталых ногах далеко не ускачешь. Сигналом будет визг Гектора. По первому визгу — приготовиться; по второму — выбраться к краю из толпы; по третьему — скакать. Ты меня понял?

— Вполне, вполне! — сказал Мидлтон. Он задрожал, так не терпелось ему скорей привести план в исполнение, и прижал к сердцу маленькую руку, обвившуюся вокруг его стана.— Понял вполне. Торопись!

— Да, конь не ленивый,— продолжал трапер на дакотском языке, как бы продолжая разговор, и, неприметно лавируя между тетонскими всадниками, подобрался к Полю. Таким же осторожным образом он и ему сообщил свой план. Бортник, горячий и бесстрашный, выслушал старика с восторгом и тут же объявил, что готов схватиться один со всею шайкой дикарей, если это будет нужно для выполнения замысла. Затем, отъехав и от этой пары, старик стал глазами искать натуралиста.

Доктор, пока оставалось хоть малейшее основание думать, что одна из посланных Бушами пуль придет в неприятное соприкосновение с его особой, с превеликим трудом для себя и Азинуса держался позиции в самой середине отряда сиу. Когда же такая опасность уменьшилась или, верней, исчезла вовсе, его храбрость ожила, а храбрость его скакуна пошла на убыль. Этой двоякой, но существенной перемене нужно приписать то обстоятельство, что осел и наездник оказались теперь, так сказать, в арьергарде. Туда-то и подъехал к нему трапер, причем сумел это сделать, не возбудив подозрений ни в одном из своих проницательных спутников.

— Друг,— начал старик, когда нашел возможным завести разговор,— хотите вы провести среди дикарей лет десять с обритой головой, с раскрашенной физиономией, да с парочкой жен, да с пятью-шестью ребятами-полукровками, которые будут называть вас отцом?

— Ни в коем случае! — испугался натуралист.— Я отнюдь не расположен к браку. К тому же я не терплю скрещения разновидностей, ибо оно вносит путаницу в научную номенклатуру.

— Да, да, вы правы в своем отвращении к такой жизни; но если сиу заманят вас в свое селение, то именно такова будет ваша участь. Это так же верно, как то, что солнце всходит и заходит по господней воле.

— Женить меня! Да еще на дикарке! — продолжал доктор.— За какое преступление я должен понести столь тяжкую кару? Разве можно женить человека наперекор его воле? Это же нарушение всех законов природы!

— Ну вот, теперь, когда вы заговорили о природе, я начинаю надеяться, что в вашем мозгу сохранилась хоть некоторая доля разума,— сказал старик, и в уголках его запавших глаз заиграла искорка, выдававшая, что он не лишен был юмора.— Впрочем, если тетоны захотят излить на вас всю свою доброту, то вы получите не одну жену, а пять или шесть. Я в свое время знавал вождей, у которых было бесчисленное множество жен.

— Но почему они замыслили такую месть? — спросил доктор, и вся его шевелюра поднялась дыбом, как будто каждый отдельный волосок был глубоко оскорблен.— Что дурного я совершил?

— Это не месть, это особый вид любезности. Когда они узнают, что вы — великий лекарь, они вас примут в свое племя, и какой-нибудь могущественный вождь даст вам свое имя и, может быть, свою дочь, а то и парочку своих собственных жен, которые долго жили в его доме, так что он может судить по опыту об их добронравии.

— Да оградит меня тот, кто создал естественную гармонию и управляет ею! — возгласил доктор.— Я не склонен иметь и одну супругу, а не то что двух или трех особей этого к л а с с а! Я, право, попробую убежать от такого гостеприимства, прежде чем позволю подвергнуть себя насильственному супружеству.

— Вы рассудили разумно. Но раз уж вы заговорили о побеге, почему не совершить его сейчас же?

Натуралист боязливо поглядел вокруг, как будто собравшись немедленно осуществить свою отчаянную мысль; но темные фигуры всадников со всех сторон, казалось, вдруг утроились в числе, а уже сгущавшаяся над равниной ночь представилась его глазам светлой, как летний день.

— Это было бы, пожалуй, преждевременно и, я сказал бы, не совсем разумно,— отвечал он.— Оставьте меня, почтенный венатор, посовещаться с собственными мыслями, и, когда мои планы будут должным образом классифицированы, я доложу вам свой вердикт.

— Вердикт! — повторил старик, презрительно тряхнув головой, и, ослабив поводья, смешался с толпою всадников-тетонов.— Вердикт! Это слово часто произносят в поселениях, и оно очень дает себя чувствовать на границах. Знает ли мой брат, на каком животном едет этот бледнолицый? — обратился он на дакотском языке к угрюмому воину и кивнул на Овида и кроткого Азинуса.

Тетон смерил взглядом осла, но не позволил себе выказать и тени удивления, хотя и он и все его товарищи были поражены, узрев это невиданное животное. Траперу было известно, что ослы и мулы если и знакомы племенам, живущим по соседству с Мексикой, то к северу от Платта они встречаются редко. Поэтому он легко прочитал на медном лице дикаря немое, глубоко запрятанное изумление и сумел использовать его.

— Может быть, мой брат думает, что этот всадник — воин бледнолицых? — спросил он, когда решил, что дикарь хорошо рассмотрел невоинственную физиономию натуралиста.

Даже при тусклом свете звезд можно было различить пробежавшую по лицу тетона презрительную тонкую усмешку.

— Разве дакота бывает глупцом? — был ответ.

— Дакоты — мудрый народ, и глаза их всегда открыты. Я очень удивлен, что они никогда не видели великого колдуна Больших Ножей.

— Уэг! — не удержался его спутник, и удивление вдруг откровенно загорелось на темном, суровом его лице, как вспышка молнии, озарившая сумрак ночи.

— Дакота знает, что язык у меня не раздвоен. Пусть мой брат шире откроет глаза. Он никогда не видел великого колдуна?

Дикарю не нужно было света, чтобы припомнить каждую мелочь в действительно необычайном одеянии и снаряжении доктора Батциуса. Как и все воины Матори и как это вообще свойственно индейцам, тетон, хоть и не позволил себе глазеть на незнакомца с праздным любопытством (мужчине это не пристало!), все же приметил каждый отличительный признак их новых спутников. Он запомнил фигуру, рост, одежду, каждую черту лица, цвет глаз и волос каждого из Больших Ножей, так странно встретившихся им на пути; и он недоумевал, какая же причина побудила чужеземцев искать пристанища у грубых обитателей его родных степей. Он успел оценить физическую силу каждого в отряде и отряда в целом и тщательно соразмерял ее с возможными их намерениями. Они, конечно, не воины, потому что Большие Ножи, как и сиу, оставляют женщин в селениях, когда выходят на кровавую тропу. То же соображение не позволяло принять их за охотников или хотя бы за торговцев — два вида, под какими белые обычно появляются в дакотских деревнях. Он слышал, будто менахаши, то есть Длинные Ножи, и вашпеомантиквы, то есть испанцы, вместе курили трубки на великом совете и последние продали первым свои необъяснимые права на обширные земли, где его народ свободно кочевал из века в век. Простой его ум не мог постичь, почему один народ может вот так приобрести власть над владениями другого народа. Неудивительно, что при сделанном траппером намеке у тетона разыгралась фантазия, и, сам твердо веря в колдовство, он вообразил, что Длинные Ножи выслали в прерию «великого колдуна», чтобы тот своими волшебными чарами помог осуществлению этих загадочных прав. Почувствовав себя беспомощным невеждой, отбросив всякую сдержанность, не заботясь о достоинстве осанки, он простер руки к старику, как бы взывая к его милосердию, и сказал:

— Пусть мой отец поглядит на меня. Я простой дикарь прерии; тело мое голо, мои руки пусты; кожа красна. Я убивал пауни, и конзов, и омахов, и оседжей и даже Длинных Ножей. Я мужчина среди воинов, но среди колдунов я женщина. Пусть мой отец говорит: уши тетона открыты. Он будет слушать его слова, как олень шаги кугуара.

– Мудры и неисповедимы пути того, кто один лишь отличает добро от зла! — воскликнул по-английски

траппер.— Иным он дает хитрость, других наделяет мужеством! А все-таки грустно смотреть, как такой благородный воин, сражавшийся во многих кровавых битвах, покоряется суеверию и выпрашивает, точно нищий, кость, которую ты хотел швырнуть собаке. Да простится мне, что я пользуюсь невежеством дикаря! Но я это делаю не в издевку над ним и не забавы ради, а для того, чтобы спасти людям жизнь и, разбив дьявольские козни злобных, оказать справедливость обиженным!.. Тетон,— сказал он, вновь переходя на язык своего слушателя,— я спрашиваю тебя, разве это не удивительный колдун? Если дакоты мудры, они не станут дышать одним с ним воздухом, не станут прикасаться к его одежде. Они знают, что Ваконшече, злой дух, любит своих детей и обратит свое лицо против каждого, кто нанесет им вред.

Старик произнес эти слова зловеще-наставительным тоном и тут же отъехал, как бы подчеркивая, что сказал достаточно. Его расчеты оправдались. Воин, к которому он обратился, не замедлил передать новость всему арьергарду, и через самое короткое время естествоиспытатель сделался предметом всеобщего почтительного любопытства. Траппер знал, что туземцы часто поклоняются злому духу, стараясь его умилостивить, и с видом полного безразличия ждал результатов своего хитроумного обмана. Вскоре он увидел, как индейцы один за другим, подстегнув коня, поскакали вперед, к центру отряда, и наконец подле Овида остался только Уюча. Тупость этого низкого человека, продолжавшего с каким-то глупым восхищением смотреть на мнимого колдуна, представляла теперь единственное препятствие к успешному свершению замысла.

Насквозь понимая этого индейца, старик легко избавился и от него. Скача с ним рядом, он сказал выразительным шепотом:

— Уюча пил сегодня молоко Больших Ножей?

— Хуг! — отозвался дикарь, и все его мысли при этом вопросе сразу вернулись с неба на землю.

— Великий вождь моего народа, скачущий впереди, имеет корову, у которой вымя никогда не бывает пустым. Я знаю, пройдет немного времени, и он скажет: «Не пересохло ли в горле у кого-нибудь из моих красных братьев?»

Только он вымолвил эти слова, Уюча в свою очередь подстегнул коня и вскоре смешался с остальною группой

краснокожих, ехавших ярдах в сорока впереди. Траппер, зная, как быстры и внезапны перемены в настроении дикарей, поспешил использовать благоприятный случай. Он дал волю своему горячему жеребцу и в одно мгновение опять оказался рядом с Овидом.

— Видите вы ту мигающую звездочку над прерией на высоте четырех ружейных стволов, к северу отсюда?

— Да, это Альфа из созвездия...

— Не толкуйте вы мне про ваших альфов, приятель! Я спрашиваю, видите ли вы ту звезду? Скажите ясно: да или нет?

— Да.

— Как только я повернусь к вам спиной, вы натянете поводья и будете придерживать осла, пока не потеряете индейцев из виду. Тогда положитесь на бога и возьмите в проводники звезду. Не сворачивайте ни вправо, ни влево и пользуйтесь временем со всем усердием, потому что ваш осел не слишком быстроног, а каждый лишний шаг, какой вы успеете сделать, удлинит срок вашей жизни или свободы.

Не дожидаясь вопросов, которыми готов был засыпать его натуралист, старик опять ослабил поводья и вскоре тоже смешался с группой скакавших впереди.

Овид остался один. Азинус охотно подчинился воле своего хозяина (хотя тот, не очень поняв указания траппера, натянул поводья скорее с отчаяния) и соответственно замедлил бег. Но так как тетоны скакали полным галопом, то не прошло и минуты после того, как осел сменил бег на шаг, как его хозяин потерял их из виду. Не зная, какого держаться плана, чего ожидать, на что надеяться, помышляя только об одном — как бы верней избавиться от опасных соседей,— доктор проверил на ощупь, что сумка с жалкими остатками его образцов и записей спокойно висит у седла, повернул осла в указанном направлении и, молотя яростно пятками, заставил своего терпеливого друга побежать довольно резвой рысью. Едва успел он спуститься в лощину и подняться на ближний холм, как услышал — или подумал, что слышит,— свое имя, вырвавшееся на чистейшей латыни из двадцати тетонских глоток. Этот обман слуха еще больше распалил его рвение. Никогда ни один учитель верховой езды не применял свое искусство с таким усердием, с каким натуралист барабанил каблуками по ребрам Азинуса. Его

борьба с терпеливым ослом длилась несколько минут и, по всей вероятности, продлилась бы и дольше, если бы кроткое животное в конце концов не возмутилось. Переняв у хозяина способ, коим тот выражал нетерпение, Азинус в свою очередь решил по-новому использовать свои каблуки: вознегодовав, он вскинул их в воздух все четыре сразу, чем и решил спор в свою пользу. Овид оставил седло как позицию, которую стало невозможно удерживать, однако несколько мгновений продолжал нестись вперед, все в том же направлении, тогда как осел, одержав верх, начал мирно щипать сухую траву — плод своей победы.

Когда доктор Батциус вновь поднялся на ноги и собрался с мыслями, приведенными в расстройство слишком спешной сдачей позиции, он вернулся за своими образцами и ослом.

Азинус, проявив великодушие, встретил хозяина подружески, и с этого часа натуралист продолжал путь с похвальным усердием, но все же обуздав излишнюю свою ретивость.

Между тем старый траппер, ни на секунду не упуская из виду своего замысла, внимательно следил за всем происходящим. Овид не ошибся, когда предположил, что его уже хватились и разыскивают, хотя его воображение преобразило крик дикарей в латинизированную форму его имени. Истина же была проста: воины арьергарда не замедлили предупредить авангард о таинственной силе, которой траппер вздумал наделить ничего о том не ведавшего натуралиста. То же безграничное изумление, которое при этом известии погнало индейцев из арьергарда вперед, теперь побудило многих двинуться из авангарда назад. Доктора, разумеется, не оказалось на месте, и поднявшийся крик был всего лишь возгласом разочарования.

Но, к радости траппера, властный окрик Матори быстро прекратил опасный шум. Когда был восстановлен порядок и вождь узнал, почему его молодые воины так недостойно себя повели, старик, державшийся подле вождя, с тревогой подметил огонек недоверия, вспыхнувший на его темном лице.

— Где ваш колдун? — спросил вождь, вдруг обратившись к трапперу и как бы возлагая на него вину за исчезновение Овида.

— Могу ли я сказать моему брату, сколько в небе звезд? Пути великого колдуна несходны с путями других людей.

— Слушай хорошо, седая голова, и считай мои слова,— продолжал Матори, склонившись к нехитрой луке своего седла, точно какой-нибудь средневековый рыцарь, и говоря высокомерным тоном самодержца.— Дакоты не выбрали своим вождем женщину. Когда Матори почувствует силу чар, он затрепещет; а до тех пор он будет смотреть вокруг своими глазами, а не глазами бледнолицего. Если ваш колдун не вернется до утра к своим друзьям, мои молодые воины пойдут его искать. Твои уши открыты. Довольно!

Такая большая отсрочка ничуть не огорчила траппера. Он и раньше подозревал, что предводитель тетонов принадлежал к тем смелым вольнодумцам, которые умеют перешагнуть границы, в каких воспитание держит умы людей во всяком обществе, цивилизованном или нецивилизованном; и теперь старик ясно видел, что если он хочет обмануть вождя, надобно придумать что-нибудь потоньше, чем тот прием, при помощи которого он так успешно провел его людей. Но возникновение скалы — угрюмой зубчатой громады, вдруг выплывшей перед ними из мрака,— положило конец разговору, так как Матори забыл обо всем, кроме своего замысла завладеть оставшимся у скваттера имуществом. Радостный ропот пробежал по отряду, когда каждый темнолицый воин завидел пред собой желанную цель, а потом и самый тонкий слух напрасно пытался бы уловить какой-либо шум громче легкого шороха шагов в высокой траве.

Но не так было просто обмануть бдительность Эстер. Старуха уже давно тревожно вслушивалась в подозрительный шум, приближавшийся по равнине; да и крик индейцев при исчезновении Овида тоже не ускользнул от внимания недремных часовых на утесе.

Дикари, спешившись невдалеке, едва успели бесшумно окружить его подножие, как раздался громкий оклик Эстер:

— Кто там внизу? Отвечай, если жить не надоело! Сиу вы или черти, я вас не боюсь!

Ответа не последовало. Каждый воин замер на месте, уверенный, что темная его фигура сливается с тенями на равнине. Эту минуту траппер и выбрал для побега. Его

с товарищами оставили под надзором тех, кому поручено было стеречь лошадей, и, так как никто из них не сошел с седла, казалось, все благоприятствовало его замыслу. Внимание сторожей было приковано к скале, а туча, проплывшая над их головами, затемнила и слабый свет звезд. Пригнувшись к шее своего коня, старик проговорил вполголоса:

— Где мой дружок? Где он, Гектор?.. Где он, мой песик?

Собака уловила хорошо знакомые ей звуки и ответила дружеским повизгиванием, грозившим перейти в протяжный вой. Траппер хотел уже выпрямиться после этого успешного начала, когда почувствовал на своем горле руку Уючи: сиу, как видно, решил принудить старика к молчанию, попросту удушив его. Пользуясь этим обстоятельством, траппер вторично тихо подал голос, как будто с хрипом ловя воздух, и верный пес взвизгнул вторично. Уюча мгновенно отпустил хозяина, чтобы сорвать злобу на собаке. Но тут опять раздался голос Эстер, и все прочее было забыто — индеец весь обратился в слух.

— Ладно, войте и скулите, меняйте голоса на все лады, вы, исчадья тьмы! — крикнула она с хриплым, но гордым смехом.— Я вас знаю! Погодите, вам сейчас дадут свет для ваших разбойных дел. Подкинь-ка угольку, Фиби; подкинь угольку: твой отец и братья увидят костер и поспешат домой привечать гостей.

Только она договорила, на самой вершине утеса вспыхнул звездой сильный свет; затем появилось пламя, показало двойной язык, завихрилось в огромной куче хвороста и, взвившись вверх одним сплошным полотнищем, заколыхалось на ветру, бросая яркий отблеск на каждый предмет в освещенном кругу. С высоты донесся раскат язвительного смеха, к которому присоединились все дети, как будто они ликовали, что им удалось так успешно раскрыть коварные намерения тетонов.

Траппер поглядел на друзей, проверяя, все ли они готовы. Повинуясь сигналам, Мидлтон и Поль отъехали немного в сторону и теперь, видимо, ждали только третьего визга собаки. Гектор, ускользнув от Уючи, лег опять на землю, поближе к хозяину. Но круг света постепенно ширился, становился ярче, и старик, которому так редко изменяли рассудительность и зоркость, терпеливо ждал

более благоприятной минуты, чтобы исполнить свой замысел.

— Ну, Ишмаэл, мой муж, если глаз и рука тебе верны, как всегда, самое время сейчас ударить по краснокожим, задумавшим отнять у тебя все, чем ты владеешь, даже жену и детей. А ну, мужчина, покажи им, каков ты есть и каково твое племя!

Издалека, с той стороны, откуда подходили скваттер с сыновьями, донесся отклик, возвестивший женскому гарнизону, что помощь близка. Эстер ответила новым хриплым криком и встала во весь рост на вершине скалы у всех на виду. Не думая об опасности, она ликующе замахала было руками, когда Матори темной тенью взметнулся в кругу света и скрутил ей руки. Еще три воина мелькнули на вершине скалы — три силуэта, похожие на обнаженных демонов, скользящих в облаках. В воздух взметнулись головни сигнального костра; затем надвинулась густая темнота, напоминающая то жуткое мгновение, когда последние лучи солнца угасают, затемненные надвинувшимся на него диском луны. Индейцы в свою очередь издали вопль торжества, и за ним — не вторя, а скорее в виде аккомпанемента —

раздалось громкое, протяжное подвывание Гектора. Старик в одно мгновение очутился между лошадьми Мидлтона и Поля и схватил их обе под уздцы, чтобы удержать нетерпеливых всадников.

— Тихо, тихо,— шепнул он.— Сейчас их глаза ничего не видят, как если бы господь поразил их слепотой; но уши у них открыты. Тихо! Ярдов пятьдесят по меньшей мере мы должны двигаться только шагом.

Последовавшие пять минут неизвестности всем, кроме траппера, показались веком. Когда понемногу к ним вернулось зрение, каждому чудилось, что мрак, водворившийся после того, как был погашен костер на вершине скалы, сменился ярким полуденным светом. Все же старик позволил лошадям понемногу ускорить бег, пока отряд не оказался в глубине одной из лощин на прерии. Тогда, тихо рассмеявшись, он отпустил поводья и сказал:

— А теперь пусть скачут во всю прыть; но держитесь жухлой травы, она приглушит топот копыт.

Не нужно объяснять, с какой радостью молодые люди подчинились указанию. За несколько минут беглецы поднялись на вершину очередного холма и, перевалив через него, поскакали со всей быстротой, на какую были способны их кони. Чтоб не уклониться в сторону, они смотрели на путеводную свою звезду, как в море барк идет на маяк, отмечающий путь к безопасной гавани.

Глава XXII

Безмолвный, безмятежный день:
И луч, и облаков гряда,
Даривщие и свет, и тень,
Сокрылись без следа.

Монтгомери

Над местом, только что оставленным беглецами, лежала та же глубокая тишина, что и в угрюмых степях впереди. Даже траппер, как ни прислушивался, не мог открыть ни единого признака, который подтвердил бы, что между Матори и Ишмаэлом завязалась драка. Кони унесли их так далеко, что шум сражения уже не достиг бы их ушей, а еще ничто не указало, что оно и впрямь началось.

Временами старик что-то недовольно шептал про себя, однако свою возрастающую тревогу он выражал только тем, что подгонял и подгонял коней. Проезжая мимо, он указал на вырубку подле болотца, где семья скваттера разбила свой лагерь в тот вечер, когда мы впервые представили ее читателю, но после этого хранил зловещее молчание — зловещее, потому что спутники достаточно узнали его нрав и понимали, что лишь самые критические обстоятельства могли бы нарушить его невозмутимое спокойствие.

— Может быть, довольно? — спросил через несколько часов Мидлтон, боясь, не слишком ли устали Инес и Эллен.— Мы ехали быстро и покрыли большое расстояние. Пора поискать места для привала.

— Ищите его в небесах, если вам не под силу продолжать путь,— проворчал старый траппер.— Когда бы скваттер схватился с тетонами, как должно тому быть по природе вещей, тогда у нас было бы время подумать не только о том, чтоб уйти подальше, но и об удобствах в пути; но дело повернулось иначе, а потому я считаю, что если мы заснем, не укрывшись в самом надежном убежище, то привал обернется для нас смертью или же пленом до конца наших дней.

— Не знаю,— возразил молодой капитан, думая о своей измученной спутнице и полагая, что траппер излишне осторожен,— не знаю; мы проехали много миль, и я не вижу никаких признаков опасности; если же ты страшишься за себя, мой добрый друг, то, поверь мне, напрасно, потому что...

— Был бы жив твой дед и попади он сюда,— перебил старик, протянув руку и выразительно положив ладонь на плечо Мидлтону,— не сказал бы он таких слов. Он-то знал, что даже в весну моей жизни, когда глаз мой был острей, чем у сокола, а ноги легки, как у оленя, я никогда не цеплялся за жизнь слишком жадно; так с чего бы сейчас я вдруг по-детски полюбил ее, когда она представляется мне такою суетной, полной печали и боли? Пусть тетоны причинят мне все зло, какое только могут: не увидят они, что жалкий, старый траппер жалуется и молит о пощаде громче всех других.

— Прости меня, мой достойный, мой неоценимый друг! — воскликнул, устыдившись, Мидлтон, в горячем порыве пожимая руку траппера, которую тот пытался от-

пять.— Я сказал, сам не зная что... или, верней, я думал только о наших спутницах — они слабее нас, мы не должны об этом забывать.

— Довольно, в тебе говорит природа, а она всегда права. Тут твой дед поступил бы точно так же. Увы, сколько зим и лет, листопадов и весен пронеслось над бедной моей головой с той поры, как мы с ним вместе сражались с приозерными гуронами в горах старого Йорка! И немало быстрых оленей сразила с того дня моя рука; да и немало разбойников мингов! Скажи мне, мальчик, а генерал (я слышал, он стал потом генералом) когда-нибудь рассказывал тебе, как мы подстрелили лань в ту ночь, когда разведчики из этого окаянного племени загнали нас в пещеры на острове, и как мы там преспокойно ели и пили всласть, не помышляя об опасности?

— Он часто со всеми подробностями рассказывал про ту ночь, только...

— А про певца? Как он, бывало, разинет глотку и поет и голосит, сражаясь! — добавил старик и весело засмеялся, точно радуясь силе своей памяти.

— Обо всем, обо всем,— он не забыл ничего, даже самых пустячных случаев. А ты не...

— Как! И он рассказал про того черта за бревном?.. И о том, как минг свалился в водопад?.. И об индейце на дереве?

— Обо всех и обо всем, о каждой мелочи, связанной с этим. Я полагаю...

— Да,— продолжал старик, и голос его выдал, с какою четкостью те картины запечатлелись в его мозгу,— семь десятков лет я прожил в лесах и в пустыне и уж кто, как не я, знает мир и много страшного видел на веку, но никогда, ни раньше, ни после, не видывал я, чтобы человек так томился, как тот дикарь. А все же гордость не позволила ему сказать хоть слово, или крикнуть, или признать, что ему конец! Так у них положено, и он благородно соблюдал обычай!

— Слушай, старый траппер! — перебил Поль, который все время ехал в необычном для него молчании, радуясь про себя, что Эллен одной рукой держится за него.— Глаза у меня днем верны и остры, как у колибри, зато при свете звезд ими не похвастаешь. Что там шевелится в лощине — больной буйвол? Или какая-нибудь заблудившаяся лошадь дикарей?

Все остановились посмотреть, на что указывает бортник. Почти всю дорогу они ехали узкими долинами, прячась в их тени, но как раз сейчас им пришлось подняться на гребень холма, чтобы затем пересечь ту самую лощину, где заметили незнакомое животное.

— Спустимся туда,— сказал Мидлтон.— Зверь это или человек, мы слишком сильны, чтобы нам его бояться.

— Да! Не будь это в моральном смысле невозможно,— молвил траппер, который, как, вероятно, отметил читатель, не всегда правильно применял слова,— да, невозможно в моральном смысле, я сказал бы, что это тот человек, который странствует по свету, собирая гадов и букашек,— наш спутник, ученый доктор.

— Что тут невозможного? Ты же сам указал ему держаться этого направления, чтобы соединиться с нами.

— Да, но я не говорил ему, чтобы он обогнал лошадь на осле... Однако ты прав.... ты прав,— перебил сам себя траппер, когда расстояние понемногу сократилось и он убедился, что в самом деле видит Овида и Азинуса.— Ты совершенно прав, хоть это и настоящее чудо! Чего только не сделает страх!.. Ну, приятель, изрядно же вы постарались, если за такое короткое время покрыли такой длинный путь. Дивлюсь я на вашего осла, как он быстроног!

— Азинус выбился из сил,— печально отвечал натуралист.— Ослик, что и говорить, не ленился с того часа, как мы расстались с вами, но теперь он не желает слушать никаких приглашений и уговоров следовать дальше. Надеюсь, сейчас нам не грозит непосредственная опасность со стороны дикарей?

— Не сказал бы, ох, не сказал бы! Между скваттером и тетонами дело пошло не так, как нужно бы, и я сейчас не поручусь, что хоть один из нас сохранит скальп на голове! Бедный осел надорвался; вы заставили его бежать быстрее, чем ему положено по природе, и теперь он как выдохшаяся гончая. Человек никогда, даже спасая свою шкуру, не должен забывать о жалости и осторожности.

— Вы указали на звезду,— возразил доктор,— и объяснили, что для достижения цели необходимо со всем усердием двигаться в том направлении.

— И что же, вы надеялись, если поспешите, догнать звезду? Эх, вы смело рассуждаете о тварях господних,

а вижу я, вы дитя во всем, что касается их инстинктов и способностей. Что же вы станете делать, если понадобится удирать во весь дух, да притом конец немалый?

— В строении четвероногого имеется кардинальный недочет,— сказал Овид, чей кроткий дух не выдержал груза столь чудовищных обвинений.— Если бы одну пару его ног заменить вращающимися рычагами, животное было бы вдвое менее подвержено усталости — это первая статья, а вторая...

— Какие там рычаги да стати! Загнанный осел есть загнанный осел, и кто с этим не согласен, тот ему родной брат. Что ж, капитан, придется нам выбрать одно из двух зол: либо оставить этого человека, который прошел с нами вместе через много удач и бед, а потому нелегко нам будет на это решиться, либо же поискать укрытия, чтобы дать ослу отдохнуть.

— Почтенный венатор,— взмолился в испуге Овид,— заклинаю вас всеми тайными симпатиями общей для нас обоих природы, всеми скрытыми...

— Ого, со страху он заговорил чуть разумней! В самом деле, это противно природе — бросать брата в беде, и видит бог, никогда еще я не совершал такого постыдного дела. Вы правы, друг, вы правы; мы все должны укрыться — и как можно скорей. Но что же делать с ослом? Друг доктор, вы в самом деле очень дорожите жизнью этой твари?

— Он мой старый и верный слуга,— возразил безутешный Овид,— и мне будет больно, если с ним случится что-нибудь дурное. Свяжем ему конечности и оставим его отдыхать в этом островке бурьяна. Уверяю вас, наутро мы найдем его там, где оставили.

— А сиу? Что станется с ним, если какой-нибудь краснокожий дьявол высмотрит его уши, торчащие из травы, как два лопуха? — вскричал бортник.— В него вонзится столько стрел, сколько булавок в подушечке у швеи, и эти черти еще решат, что подстрелили прародителя всех кроликов! Но могу поклясться, чуть только они отведают кусочек, они поймут, что ошиблись!

Тут вмешался Мидлтон, которому надоел затянувшийся спор. Он нашел компромиссное решение и, так как по своему чину пользовался уважением, то без труда склонил стороны принять его. Бедному Азинусу, кроткому и слишком усталому, чтобы оказывать сопротивление, спу-

тали ноги и уложили его в зарослях сухого бурьяна, после чего его хозяин проникся твердой уверенностью, что через несколько часов найдет его на том же месте. Траппер сильно возражал против такого решения и раз-другой намекнул, что нож вернее пут, но мольбы Овида спасли ослу жизнь, да старик и сам в глубине души был этому рад. Когда Азинуса устроили таким образом, как полагал его хозяин, в полной безопасности, беглецы отправились разыскивать, где бы им самим расположиться на отдых — на то время, пока осел не восстановит свои силы.

По расчетам траппера, с начала побега они проскакали двадцать миль. Хрупкая Инес совсем изнемогла. Эллен была выносливей, но непосильное утомление сказалось и на ней. Мидлтон тоже был не прочь передохнуть, и даже крепкий и жизнерадостный Поль сознался, что отдых будет очень кстати. Только старик как будто не знал усталости. Хоть и непривычный к верховой езде, он, казалось, нисколько не поддался утомлению. Столь близкое, очевидно, к гибели, его исхудалое тело держалось, как ствол векового дуба, который стоит сухой, оголенный, потрепанный бурями, но несгибаемый и твердый, как камень. Он сейчас же принялся подыскивать подходящий приют со всей энергией юности и с благоразумием и опытностью своих преклонных лет.

Заросшая бурьяном лощина, где отряд встретился с доктором и где сейчас оставили осла, вывела их на обширную и плоскую равнину, покрытую на много миль травой того же вида.

— Ага, вот это годится, это нам годится,— сказал старик, когда подошли к границе этого моря увядшей травы.— Знакомое место, я частенько лежал здесь в скрытых яминах по многу дней подряд, когда дикари охотились на буйволов в степи. Дальше мы должны ехать осторожно, чтобы не оставить широкого следа: его могут заметить, а любопытство индейца — опасный сосед.

Он двинулся туда, где жесткая, грубая трава стояла особенно прямо, напоминая заросли тростника. Сюда он вступил сперва один, затем велел остальным следовать за ним гуськом, стараясь попадать в его след. Когда они углубились таким образом ярдов на пятьдесят в самую гущу травы, он наказал Полю и Мидлтону ехать дальше по прямой в глубь зарослей, сам же спешился и по собственному следу вернулся к краю луговины. Здесь он до-

вольно долго провозился, выпрямляя примятую траву и заравнивая отпечатки копыт.

Тем временем остальные продолжали двигаться вперед — довольно медленно, так как ехать было нелегко,— пока не углубились в бурьян на добрую милю. Отыскав здесь подходящее место, они сошли с лошадей и стали устраиваться на ночлег. Траппер к этому времени присоединился к отряду и сразу принялся руководить приготовлениями. На довольно большом пространстве была надергана и срезана трава, из которой соорудили в стороне постель для Инес и Эллен, такую покойную и мягкую, что она могла поспорить с пуховой периной. Немного поев (старик и Поль кое-что припасли), измученные женщины легли отдыхать, предоставив своим более крепким спутникам позаботиться на свободе и о себе. Мидлтон и Поль вскоре последовали примеру жены и невесты, а траппер с натуралистом еще сидели за вкусным блюдом из бизонины, изжаренном накануне, и которое они, по обычаю охотников, ели неразогретым.

Глубокая тревога, так долго угнетавшая Овида и еще не улегшаяся в его душе, отгоняла сон от глаз натуралиста. Старика же необходимость и привычка давно научили полностью подчинять своей воле все телесные потребности. И сейчас, как и его товарищ, он предпочел не спать.

— Если бы люди, живущие в уюте и покое, знали, каким тяготам и опасностям подвергает себя ради них естествоиспытатель,— начал Овид, когда Мидлтон простился с ними на ночь,— они бы воздвигали в его честь серебряные колонны и бронзовые статуи.

— Не знаю, не знаю,— возразил траппер.— Серебра не так уж много, особенно в пустыне, а ваши бронзовые идолы запрещает заповедь божья.

— Да, так смотрел на вещи великий иудейский законодатель. Но египтяне и халдеи, греки и римляне держались обычая выражать свою благодарность в такой именно форме. Многие знаменитые античные ваятели благодаря своему знанию и мастерству превосходили иногда в своих творениях самое природу и явили нам такую красоту и совершенство человеческого тела, какие мы если и встречаем у живых особей нашего вида, то лишь очень редко.

— А умеют наши идолы ходить и говорить, наделены ли они великим даром — разумом? — спросил траппер, и в

голосе его прозвучало негодование.— Я не любитель ваших поселений с их шумом и болтовней, но в свое время мне приходилось навещать города, чтобы обменять меха на свинец и порох, и я частенько видел там восковые куклы со стеклянными глазами и в пышных платьях...

— Восковые куклы! — перебил Овид.— Это ли не кощунство — сравнивать жалкую поделку ремесленника, какого-то лепщика из воска, с чистыми образцами античного искусства!

— А это не кощунство в глазах господних,— возразил старик,— приравнивать работу его созданий к тому, что сотворено его всесильной рукой?

— Почтенный венатор! — снова начал натуралист, когда, как обычно, откашлялся, приступая к важному моменту спора.— Давайте вести наш диспут в дружеском тоне и со взаимным пониманием. Вы говорите о непотребных отбросах, созданных невежеством, тогда как мой духовный взор покоится на тех жемчужинах, которые счастливая судьба дала мне увидеть воочию в сокровищницах славы Старого Света.

— Старый Свет! — подхватил траппер.— Я с детских дней моих только и слышу об этом «Старом Свете» от всех жалких, голодных бездельников, которые стекаются толпами в нашу благословенную страну. Они говорят вам о Старом Свете так, как будто бог не захотел или не смог создать мир в один день! Или как будто не распределял он свои дары равно между всеми — ибо неравны только разум и мудрость тех, кто принимал их и пользовался ими. Они ближе были бы к правде, когда бы говорили: одряхлевший, и поруганный, и кощунственный свет!

Доктор Батцнус, убедившись, что отстаивать свои излюбленные положения против столь недисциплинированного противника — задача не менее трудная, чем если бы он пытался устоять на ногах в объятиях могучего борца, шумно промычал «гм» и, подхватывая затронутую траппером новую тему, перевел спор на другой предмет.

— Когда мы говорим о Новом и Старом Свете, мой почтенный друг,— сказал он,— то понимать это надо не так, что горы и долины, скалы и реки нашего Западного полушария отмечены — в физическом смысле — менее древней датой, нежели те места, где мы находим ныне кирпичи Вавилона; это только означает, что его духовное

рождение не совпадало с его физическим и геологическим возникновением.

— Как же так? — сказал старик, подняв на философа недоуменный взгляд.

— Иначе говоря, в моральном отношении оно моложе других стран христианского мира.

— Тем лучше, тем лучше. Я не большой любитель этой вашей морали, как вы ее зовете, потому что я всегда считал — а я долго жил в самом сердце природы,— что ваша мораль вовсе не самая лучшая. Род людской перекручивает и выворачивает законы божьи и подгоняет их под свою собственную порочность. Слишком много у него досуга, вот он и ухищряется даже заповеди переиначить по-своему.

— Нет, мой почтенный охотник, вы все-таки меня не поняли. Когда я говорю «мораль», я имею в виду не то ограниченное значение этого слова, в каком употребляется его синоним — «нравственность». Под ним я разумею поведение людей в смысле их взаимного повседневного общения, их институты и законы.

— А я все это называю бессмыслицей и суетой! — перебил упрямый противник.

— Хорошо, пусть так,— ответил доктор, отчаявшись что-либо ему втолковать.— Я, возможно, сделал слишком большую уступку,— добавил он тут же, вообразив, что нашел лазейку, которая позволит ему направить спор по другому руслу.— Возможно, я сделал слишком большую уступку, сказав, что наше полушарие в буквальном смысле, то есть по времени своего возникновения, не менее старо, чем то, которое охватывает древние материки Азии и Африки.

— Легко сказать, что сосна ниже ольхи, но доказать это было бы трудно. Можете вы объяснить, какие у вас основания, чтобы так говорить?

— Оснований много, и очень веских,— возразил доктор, полагая, что наконец-то взял верх.— Взгляните на равнины Египта и Аравии: их песчаные пустыни изобилуют памятниками древности; к тому же мы имеем и письменные свидетельства их славы — двойное доказательство их прежнего величия, тем более убедительное, что ныне они лежат, лишенные своего былого плодородия; тогда как мы напрасно ищем подобных же свидетельств, что человек и на нашем континенте достиг когда-то вер-

шины цивилизации, и труды наши остаются невознагражденными, когда мы пытаемся выискивать тропу, которая вела его под уклон, пока он не впал во второе младенчество — в свое современное состояние!

— А что это вам дает? — спросил траппер, который, хоть его и сбивали с толку ученые выражения собеседника, все же прослеживал ход его мысли.

— Подтверждение моей идеи, что природа не создала столь обширные земли для того, чтобы они лежали необитаемой пустыней длинный ряд столетий. Но это только моральный аспект; если же подойти к предмету с точки зрения более точных наук, как геология или...

— А для меня и ваша мораль достаточно точна,— перебил старик.— По мне, она только гордость и безумие. Я мало знаком с баснями о том, что вы зовете Старым Светом,— сам я большую часть своей жизни провел среди природы, глядя ей прямо в лицо и размышляя о том, что я видел, а не о том, что слышал в пересказах. Но никогда мои уши не были глухи к словам божьей книги; и немало долгих зимних вечеров провел я в вигвамах делаваров, слушая добрых моравских братьев, когда они разъясняли племени ленапов историю и учение старых времен. Отрадно было послушать мудрую речь после трудной охоты! Мне было это куда как приятно, и я часто обсуждал потом услышанное с одним делаваром — Великим Змеем,— когда выдавался досужий часок: например, когда мы сидели в засаде, поджидая мингов или же оленя. Помнится, мне довелось слышать, будто Святая Земля некогда была плодородна и, как долина Миссисипи, изобиловала хлебом и плодами; но что потом над ней свершился суд, и теперь она ничем не примечательна, только своей наготой.

— Это верно. Но Египет, да и чуть ли не вся Африка являют еще более разительное доказательство этого истощения природы...

— Скажите мне,— перебил старик,— а правда, что там, в стране фараонов, по сей день стоят здания, высокие, как горы?

— Это так же верно, как то, что животных из класса млекопитающих природа всегда наделяет резцами, начиная с рода homo...

— Это удивительно! И это показывает, как велик господь, если даже его жалкие создания могут творить чудеса! А ведь какое множество людей понадобилось, чтобы

возвести такие здания,— людей большой силы и большого искусства! А в наше время есть такие люди в той стране?

— Увы, таких уже нет! Бо́льшая часть страны сейчас занесена песками, и, если бы не могучая река, она бы и вся превратилась в пустыню.

— Да, реки — великое благо для тех, кто обрабатывает землю: это увидит каждый, если пройдет от Скалистых гор до Миссисипи. Но чем вы, школяры, объясняете, что так изменилась земля и что народы на ней погибали один за другим?

— Это следует приписать нравственному факто...

— Вы правы, всему виной их дурной нрав; да, их испорченность и гордость, а главное — страсть к разрушению. Теперь послушайте, чему научил старика его опыт. Я прожил долгую жизнь, как показывают мои седые волосы, мои иссохшие руки, хоть, может быть, мой язык не усвоил мудрости моих лет. И много я видел людских безумств, потому что природа человеческая везде одна и та же, где ни родись человек — в дебрях лесов или в городе. По слабому моему разумению, желания людей непомерны против их силы. Они, кабы знать дорогу, готовы бы в небо забраться со всем своим уродством — это скажет каждый, кто видит, как они пыжатся здесь на земле. А почему их сила не равна их желаниям? Да потому, что мудрость божья решила положить предел их злым делам.

— Кому же не известно, что известные факты позволяют обосновать теорию, согласно которой порочность является естественным свойством всего рода в целом; но, если взять один какой-то вид и подчинить его весь целиком воздействию науки, то воспитание могло бы искоренить дурное начало.

— Чего оно стоит, ваше воспитание! Одно время я воображал, что могу из животного сделать себе товарища. Не одного медвежонка, не одного олененка выращивал я этими старыми руками, и часто мне чудилось, что он уже превращается в совсем иное, разумное существо, а к чему все это приводило? Медведь начинал кусаться, а олень убегал в лес, как раз когда я самонадеянно воображал, что сумел переделать его природный нрав. Если человека так может ослепить его безумие, что он из века в век непрестанно чинит вред всему живому, а еще больше самому себе, то надо думать, что, как здесь творит он зло, так он

творил его и в тех землях, которые вы зовете древними. Поглядите вокруг: где те бесчисленные народы, что встарь населяли прерии? Где короли и дворцы? Где богатства и могущество этой пустыни?

— А где те памятники, которые доказали бы истину столь туманной теории?

— Не знаю, что вы разумеете под памятниками.

— Творения рук человека! Гордость и Фив, и Баальбека — колонны, катакомбы, пирамиды, лежащие среди песков Востока, как обломки корабля на прибрежных скалах, свидетельством о бурях минувших веков!

— Они исчезли. Время оказалось для них слишком длительным. А почему? Потому что время создано было богом, а они — руками человека. Вот это место, где вы сейчас сидите, заросшее бурьяном, может быть, некогда было садом какого-нибудь могущественного короля. Такова судьба всего земного — созреть и затем погибнуть. Не говорите же мне о мирах, будто они стары! Кощунственно ставить таким образом пределы и сроки для творений всемогущего, как подсчитывает женщина годы своих детей.

— Друг мой охотник, или траппер,— возразил натуралист, откашлявшись, так как его немного смутил мощный натиск собеседника,— ваши выводы, если бы мир их принял, прискорбно ограничили бы устремления разума и сильно сократили бы границы знания.

— Тем лучше, тем лучше. Я всегда считал, что чванливый человек никогда не бывает удовлетворен. Этому служит доказательством все вокруг. Почему нет у нас крыльев голубя, глаз орла и быстрых ног лося, если и впрямь человеку было назначено обладать достаточной силой для выполнения всех своих желаний?

— Известные физические недостатки несомненно имеют место, почтенный траппер, и я согласен, что многое можно было бы изменить к лучшему. Так, в моем собственном порядке[1] фалангакру...

— Жестокий получился бы порядок, если бы вышел из жалких рук — таких, как ваши! Прикосновение такого пальца сразу устранило бы забавное уродство обезьяны! Полно, не человеку с его безумием довершать великий

---

[1] Порядком в научной классификации животных и растений называется группа близко родственных семейств.

замысел бога. Нет такой стати, такой красоты, такой соразмерности, нет таких красок, в какие мог бы облечь свои творения человек и которые не были бы уже даны ему в руки.

— Вы касаетесь теперь другого большого вопроса, по которому велось немало споров! — воскликнул Овид, не пропускавший ни одной четкой мысли в горячих, хоть и догматичных речах старика: ученый доктор питал надежду, что тут-то он и сможет, пустив в ход батарею силлогизмов, сокрушить ненаучные позиции врага.

Однако для продолжения нашей повести нет нужды пересказывать возникший далее сбивчивый спор. Старый философ увертывался от уничтожающих ударов противника, как легко вооруженный отряд успешно уклоняется от натиска регулярных войск, сам при этом изрядно их беспокоя; и прошел добрый час, а ни по одному из затронутых ими многочисленных вопросов спорщики не достигли согласия. Однако диспут действовал на нервную систему доктора, как иное снотворное; и к тому времени, когда его престарелый собеседник нашел возможным склонить голову на свой мешок, Овид, освеженный умственным поединком, пришел как раз в такое состояние, когда мог спокойно уснуть, не терзаемый нечистой силой во образе тетонских воинов с окровавленными томагавками в руках.

Глава XXIII

Спасайтесь, сэр!
Шекспир

Беглецы проспали несколько часов. Первым стряхнул с себя сон траппер, хотя заснул он последним. Поднявшись, едва лишь серый свет проступил в той части звездного неба, которая опиралась на восточный край равнины, он поднял своих товарищей с их теплых постелей и велел им не медля собираться в путь. Покуда Мидлтон делал что мог, чтобы как-то облегчить женщинам предстоящее путешествие, старик и Поль приготовили еду, так как траппер считал полезным подкрепиться в дорогу. С делами управились довольно быстро, и вскоре все сидели за завтраком, который, может быть, и не отличался изысканностью, к какой

привыкла молодая жена Мидлтона, но был зато вкусен и сытен, что, пожалуй, не менее важно.

— Когда мы доберемся до охотничьих угодий пауни,— сказал траппер, подавая Инес сочный кусок дичи на изящной роговой тарелочке собственного изделия,— мы там найдем буйволов жирнее и слаще, и оленей там будет больше, и все божьи дары там будут в изобилии, так что нам ни в чем не придется терпеть нужды. Может быть, нам даже посчастливится убить бобра и полакомиться его хвостом.

— Куда вы думаете направить путь, когда собьете сиу со следа? — спросил Мидлтон.

— Мой совет,— вставил Поль,— выбраться как можно скорей к реке и поплыть вниз по течению. Дайте мне добрый тополь, и я вам за сутки сооружу из него челнок, который вместит нас всех, кроме, конечно, осла. Эллен у меня проворная, но на коне она не ездок, и куда лучше будет пройти на лодке миль семьсот, чем трястись без конца по прерии. Вдобавок на воде не остается следа.

— Вот за это я не поручусь,— возразил траппер.— Мне иной раз думается, что глаз краснокожего и в воздухе разглядел бы след.

— Видишь, Мидлтон,— вдруг радостно воскликнула Инес, на минуту позабыв обо всех опасностях,— какое красивое небо! Оно, конечно, обещает нам счастливые дни.

— Да, небо дивное,— подхватил ее муж.— И дивно хороша эта полоса ярко-красного, а за нею та багровая, еще более яркая. Не часто мне случалось видеть восход солнца такой красоты.

— Восход солнца! — медленно повторил старик и с видом глубокой задумчивости встал на ноги и выпрямился во весь свой длинный рост, всматриваясь в переливчатые и действительно необычайно красивые тона, залившие полнеба.— Восход солнца! Не нравятся мне такие восходы! Беда, беда! Эти злыдни нас обхитрили, и как! Вся прерия в огне!

— Да защитит нас небо! — воскликнул Мидлтон и прижал Инес к своей груди, точно этим мог укрыть ее от гибели.— Нельзя упускать время, старик, каждая секунда стоит дня! Бежим!

— А куда? — спросил траппер и со спокойным достоинством сделал ему знак стоять на месте.— В этих

бескрайних зарослях бурьяна вы как корабль без компаса на шири озер. Один неправильный шаг может нас всех погубить. Редко так бывает, капитан, чтобы опасность, даже самая близкая, не оставляла времени подумать, прежде чем взяться за дело. Лучше мы подождем и поступим, как подскажет разум.

— Мне думается,— сказал Поль Ховер, озираясь вокруг с откровенно встревоженным видом,— если эта сухая трава честно разгорится, то пчелке надобно взлететь повыше, чтоб огонь не опалил ей крылышки. Так что, старый траппер, я соглашусь с капитаном и скажу: живо на коней!

— Ты неправ, вы оба неправы: человек не животное, чтобы следовать только инстинкту и руководиться тем, что он смутно узнал по запаху в воздухе, по шорохам в траве; он должен смотреть и разуметь, а затем решать. Итак, пройдемте со мной немного влево, на пригорок. Оттуда мы и поведем разведку.

Старик властно махнул рукой и пошел, не слушая возражений, к указанному месту, а за ним двинулись и все его встревоженные товарищи. Не столь наметанный, как у траппера, глаз едва ли различил бы такое небольшое возвышение: оно казалось просто участком на луговине, где трава росла выше и гуще. Однако же, когда они туда добрались, низкорослая трава показала, что здесь нет той сырости, которая могла бы вскормить такой же пышный бурьян, как вокруг, и по ней-то старик и разгадал издалека, что она скрывает под собой бугор. Несколько минут они потратили на то, чтобы обломить верхушки травы, которая даже здесь, на сухом пригорке, укрывала с головой Мидлтона и Поля; и теперь они могли свободно обозреть окружавшее их море пламени.

Страшный этот вид не прибавил надежды на благополучный исход. Хотя уже совсем рассвело, яркие краски в небе делались все пламенней, как будто злобная стихия нечестиво вступила в соревнование с солнцем. Здесь и там по краю равнины взвивались вспышки огня наподобие северного сияния, но более ярые, более грозные в своих тонах и переливах. На суровом лице траппера явственней выразилась тревога, но он продолжал все так же бездейственно следить за пожаром, который широкой полосой расстилался вокруг места, где укрылись беглецы, пока не охватил весь горизонт.

Старик посмотрел в ту сторону, где опасность, казалось, подступила ближе всего, и, покачав головой, проговорил:

— Да, мы обманывали сами себя, вообразив, что запутали след. Вот вам доказательство, что тетоны не только знают, где мы залегли, но хотят выкурить нас отсюда, как притаившихся зверей. Видите? Дьяволы подпалили траву вокруг всей низины одновременно и зажали нас в кольцо огня. Мы окружены им, как остров водой.

— На коней — и вскачь! — крикнул Мидлтон.— Не отдать же нам жизнь без борьбы!

— Куда вы двинетесь? Разве тетонский конь, как саламандра [1], может невредимо пройти сквозь огонь? Или вы думаете, бог ради вас покажет чудо, как в былые дни, и пронесет вас неопаленными сквозь печь, которая, видите вы, пылает там внизу, под красным небом? А за стеной огня — сиу: стерегут нас со всех сторон с луками и ножами, или я ничего не смыслю в их дьявольских затеях.

— Пусть выходят всем племенем,— запальчиво ответил капитан,— мы врежемся в самую середину и посмотрим, так ли они храбры!

— Эх, на словах оно хорошо, да что. получится на деле? Спросите бортника, он вас поучит, как в таком деле умнее себя вести.

— Нет, старый траппер,— отозвался Поль и напружил свое могучее тело, точно волкодав, знающий свою силу,— в этом случае я на стороне капитана. Дело ясное: надо обогнать огонь, пока не поздно, хотя бы он заманил нас в вигвам тетона. Эллен, она ведь...

— Что проку... что проку в ваших смелых сердцах, когда нужно сразиться не только с людьми, но и с огнем! Посмотрите вокруг, друзья: как яро валит дым изо всех низин! Он прямо говорит, что отсюда не выйдешь, не проскочив сквозь кольцо огня. Сами смотрите, друзья, смотрите сами и, если вы найдете хоть один-единственный лаз, велите, и я последую за вами.

Беглецы внимательно оглядели все вокруг, но осмотр не рассеял их страха и только подтвердил безнадежность положения. Дым высокими столбами надвигался с равнины и сгущался кругом по всему горизонту в сплошную черную тучу. Красный жар, горевший в ее огромных

---

[1] Саламандры — сказочные духи, живущие в огне.

— Куда вы двинетесь? Разве тетонский конь, как саламандра, может невредимо пройти сквозь огонь?

складках, то зажигал ее толщу отсветом пожара, то перебрасывался в другое место, когда пламя внизу ускользало вперед, оставляя все позади окутанным в грозный мрак и яснее всяких слов показывая неизбежность надвигающейся опасности.

— Как это жестоко! — воскликнул Мидлтон, крепко обняв дрожащую Инес.— В такой час и таким страшным образом...

— Врата рая открыты для всех, кто истинно верит,— прошептала на его груди набожная католичка.

— Такая покорность судьбе может свести с ума! Но мы мужчины и будем бороться за жизнь! Что скажешь, мой храбрый, умный друг: сядем на коней и попробуем пробиться сквозь пламя или останемся на месте и будем смотреть сложа руки, как погибнут страшной смертью те, кто нам всего дороже?

— Я за то, чтобы сняться роем и лететь, пока не стало в улье так жарко, что не усидишь,— ответил бортник, не усомнившись, что Мидлтон обращается именно к нему.— Ну, старый траппер, видишь сам: надо торопиться! Если мы промешкаем еще немного, то ляжем тут, как лежат на соломе пчелы вокруг улья, когда их выкуривают ради меда. Уже слышно завывание огня, а я по опыту знаю: как только пламя дойдет до степной травы, оно побежит так быстро, что тихоходу от него не уйти.

— Ты думаешь,— возразил старик, указывая на окружавшие их заросли сухой и цепкой травы,— что нога человека может по такой тропе обогнать огонь? Мне бы только знать, в какой стороне залегли эти нелюди!

— А вы что скажете, доктор? — растерянно обратился Поль к натуралисту с той беспомощностью, с какой нередко пред лицом разбушевавшихся стихий сильный ищет поддержки у слабого.— Что вы скажете? Не найдется у вас лекарства на такой вот случай, где дело идет о жизни и смерти?

Натуралист стоял, раскрыв свои записи, и смотрел на страшное зрелище так спокойно, как будто пожар в степи был зажжен с целью внести свет в какую-то трудную научную проблему. При вопросе бортника он словно очнулся и, обратившись к своему столь же спокойному товарищу, занятому, правда, совсем другим, к траппер, со странным безучастием к их отчаянному положению спросил:

— Почтенный ловец, вам, наверное, часто доводилось быть свидетелем такого рода явлений с преломлением света...

Поль помешал ему договорить, выбив у него из рук записи с необузданным бешенством, выдавшим полное смятение ума. Не дав им времени затеять ссору, старик, державшийся все время так, точно гадал, что делать дальше, но при этом был скорее озадачен, чем встревожен, вдруг принял решительный вид, как будто отбросил сомнения и уже знал, как лучше всего поступить.

— Время действовать,— сказал он, пресекая ссору, готовую вспыхнуть между бортником и натуралистом.— Пора оставить книги да вздохи и взяться за дело.

— Ты слишком поздно опомнился, жалкий старик! — крикнул Мидлтон.— Огонь в полумиле от нас, и ветер несет его в нашу сторону со страшной быстротой.

— Что там огонь! Не об огне я думаю. Когда б я так же верно мог перехитрить тетонов, как я обману огонь и оставлю его без добычи, нам бы не о чем было тревожиться. По-вашему, это огонь? Поглядели бы вы на то, что мне довелось видеть в восточных горах, когда могучие скалы вокруг дышали пламенем, точно кузнечный горн, вот тогда бы вы знали, что значит бояться огня и радоваться счастью, что ты выбрался из него! Ну, молодцы, за работу, хватит разговаривать. Вон тот клубящийся огонек и впрямь бежит на нас, точно лось рысцой. Беритесь-ка за эту низкую вялую траву и выдергивайте ее вон, чтобы оголить землю, где мы стоим.

— Вы таким ребяческим средством хотите отнять у огня его жертвы? — воскликнул Мидлтон.

Легкая, но победная улыбка пробежала по лицу старика. Он спокойно ответил:

— Ваш дед сказал бы: когда близок враг, солдат должен без спора повиноваться.

Капитан понял укор и тотчас принялся делать то же, что и Поль: без надежды, подчинившись приказу, усердно дергать из земли увядшую траву. Эллен тоже стала помогать им, а вслед за ней и Инес, хотя никто из них не знал, почему и зачем это делается. Человек, когда думает, что наградою за труд будет жизнь, работает изо всех своих сил. За несколько минут на месте, где стояли работавшие, образовалась голая круглая площадка футов двадцать в поперечнике. Траппер отвел женщин

к краю площадки и велел Мидлтону и Полю накинуть на них одеяла поверх тонких, легковоспламеняющихся платьев. Едва те приняли эту меру предосторожности, старик прошел в противоположный край, где трава еще стояла высокой опасной стеной, и, выбрав пук самых сухих стеблей, положил их на полку своего ружья. Они мгновенно вспыхнули от искры. Затем он сунул этот маленький факел в гущу стоячей травы и, отойдя к середине оголенного круга, терпеливо ожидал, что будет.

Огонь жадно ухватился за новое топливо, и в одно мгновение по траве заскользили его раздвоенные язычки: так иной раз корова шарит вокруг языком, выискивая траву повкусней.

— Теперь,— сказал старик, подняв палец и засмеявшись своим странным беззвучным смешком,— вы увидите, как огонь дерется с огнем! Эх, не раз случалось мне выжигать гладкую тропу, когда по лености я не хотел руками расчищать себе дорогу в заросшем логу.

— А это нас не погубит? — изумился Мидлтон.— Разве вы не подвели врага еще ближе, вместо того чтоб избежать его?

— А разве вы так чувствительны к ожогам? У вашего деда кожа была погрубее. Но поживем — увидим; да, мы будем живы и увидим!

Траппера не обманул его опыт. Пламя, разгоревшись, стало распространяться на три стороны, естественно угасая на четвертой, где не находило пищи. Оно ширилось и, возвестив о своем могуществе угрюмым воем, освещало все перед собою, а позади оставляло черную курящуюся землю, еще более нагую, чем если бы здесь прошла коса. Положение беглецов было бы по-прежнему отчаянным, когда бы площадка вокруг них не расширялась по мере того, как ее обегало пламя. Перейдя на то место, где траппер поджег траву, они избавились от чрезмерного жара, а вскоре пламя начало отступать со всех сторон. Их теперь окутывало облако дыма, но огненный поток, неистово катившийся вперед, уже удалялся от них.

Наблюдавшие дивились простому средству, примененному траппером, как царедворцы Фердинанда следили, вероятно, за Колумбом, когда он поставил яйцо; но только их наполняла не зависть, как тех, а глубокая благодарность.

— Поразительно! — сказал Мидлтон, когда понял, что

они спасены от, казалось бы, неминуемой гибели.— Поистине, такую мысль мог подсказать только светлый разум!

— Да, старый траппер,— воскликнул Поль, запустив пятерню в свои густые космы,— не одну пчелу, летящую со взятком, я проследил до ее дупла и кое-что смыслю в природе леса. Но то, что сделал ты,— это все равно, как, не прикоснувшись к шершню, вырвать у него жало!

— Да ладно, чего там! — отмахнулся старик, как будто и не думавший больше о своем успехе с той минуты, как довел дело до конца.— Теперь готовьте коней. Пусть огонь поработает еще с полчаса, а там можно и в путь! Эти полчаса придется выждать, чтоб земля остыла,— ведь тетонские кони не подкованы, и копыта у них нежны, как подошвы у босоногой девчонки.

Мидлтон и Поль, которым после нежданного избавления казалось, что они воскресли к новой жизни, терпеливо выждали назначенный траппером срок, заново уверовав в безошибочность его указаний. Доктор же снова схватился за свои записи, несколько пострадавшие после того, как побывали в золе, и, чтоб утешить себя в этом небольшом несчастье, начал описывать непрестанные колебания света и тени, принимая их за некое неведомое явление природы.

Тем временем ветеран-следопыт, на чей опыт они так бесхитростно положились, стоял и вглядывался в даль, пользуясь каждым мгновением, когда ветер разрывал завесу дыма, огромными клубами обложившего со всех сторон равнину.

— Посмотрите, мальчики, сами,— сказал он наконец,— глаза у вас молодые и окажутся, может быть, зорче моих, хоть было время, когда мудрый и смелый народ считал меня очень зорким, и не зря! Но те дни миновали, и вместе с ними ушел не один испытанный и верный друг!.. Ах, если б мог я по своему произволу изменить распорядок, установленный свыше... но этого я не могу, и такая попытка была бы кощунством, потому что миром управляет разум более мудрый, чем слабый ум человека... Все же, когда бы мог я хоть что-то изменить, я пожелал бы, чтобы люди если они прожили в доброй дружбе долгие годы, и показали себя способными к подлинному товариществу, и совершили друг ради друга немало храбрых дел, и немало перенесли тягот, то пусть им дозволено

будет расстаться с жизнью в тот же час, когда смерть уберет одного и другому станет незачем жить.

— Кого вы там видите — индейцев? — спросил в нетерпении Мидлтон.

— Красная ли кожа или белая — не все ли равно? В лесах дружба и привычка связывают людей так же крепко, как и в городах, а пожалуй, и крепче. Взять хотя бы юных воинов в прерии. Часто двое из них приносят клятву в вечной дружбе и уж держат ее крепко. Смертельный удар, нанесенный одному, становится и для другого смертельным. Я долгие годы провел в одиночестве, если можно назвать одиноким того, кто семьдесят весен и зим прожил среди природы... Да, так я, с такой оговоркой, долго жил в одиночестве... и все же я постоянно убеждался, что общение с человеком мне приятно; и больно мне бывало, когда оно обрывалось, и тем больней, если человек оказывался храбрым и прямым; да, храбрым, потому что в лесах, когда твой спутник — трус,— старик пенароком глянул на натуралиста, углубившегося в свои мысли,— для тебя короткая тропа превращается в длинную; и прямым, потому что хитрость есть скорее инстинкт, присущий животному, а не свойство, возвышающее человеческий ум.

— Но что вы там видели? Не сиу ли?

— К чему идет Америка? И к чему приведут хитрые выдумки ее народа? Только богу известно! В молодые годы мне довелось увидеть одного индейского вождя, который в свои молодые годы увидел, как первый христианин ступил злою своею ногой на землю Йорка! Как обезображена за две короткие жизни красота пустынного этого края! Я впервые увидел свет на берегу Восточного моря, и я отлично помню, что когда я ходил опробовать первое свое ружье, так от порога отцовского дома прошел лесом, сколько может пройти от зари до зари желторотый юнец. И, пройдя этот путь, я ни разу не нарушил ничьих воображаемых прав — потому что тогда еще никто не объявил себя владельцем лесных зверей. Природа лежала тогда в своем великолепии по всему побережью, оставив жадности поселенцев лишь узкую полосу между лесом и океаном. А где я теперь? Будь у меня крылья орла, я утомил бы их, пока пролетел бы десятую часть той дали, что меня отделяет от берега моря; весь край давно захватили города и деревни, фермы и проселки, церкви и школы —

словом, все измышления, вся дьявольщина, придуманная человеком! Я помню время, когда горсточка краснокожих, кликнув клич по границе, приводила в трепет все колонии, и мужчины брались за оружие; им на помощь высылались войска из далекого края, и возносились молитвы, и женщины были в страхе, и мало кто спал спокойно, потому что ирокез вышел на тропу войны или проклятый минго взял в руку томагавк. А сегодня что? Страна высылает свои корабли в чужие страны, чтобы решать их войны с соседями; пушек стало больше, чем было ружей в те дни, и, когда надобно, обученные солдаты — десятки тысяч обученных солдат! — выходят нести свою службу. Такова разница между колониями и штатами, друзья мои; и я, дряхлый, жалкий, каким вы меня видите, я дожил до этого!

— Да, уж ни один разумный человек не усомнится,— сказал Поль,— что ты повидал много лесорубов, старый траппер, срывающих с земли ее красивый убор, и много поселенцев, подбирающихся к самому меду природы!.. Но Эллен что-то беспокоится насчет сиу. И теперь, когда ты вволю выговорился, если ты укажешь нам, куда лететь, рой снимется хоть сейчас!

— А? Что такое?

— Я говорю, Эллен беспокоится; а так как над равниной стоит дым, сейчас, пожалуй, было бы разумно снова двинуться в путь.

— Малый правильно рассудил. Я забыл, что вокруг нас бушует огонь и что сиу окружили нас, как голодные волки, подстерегающие стадо буйволов. Но, когда в моем старом уме просыпаются воспоминания о давних временах, я забываю нужды нынешнего дня. Вы правильно говорите, дети, пора в путь! И вот тут-то и заключается самое тонкое в нашем деле... Нетрудно перехитрить пылающую печь, потому что она — только разъяренная стихия; и не так уж трудно иной раз обмануть серого медведя, когда он учуял твой запах, потому что инстинкт не только пособляет зверю, но и ослепляет его; а вот закрыть глаза тетону, когда он настороже,— на это побольше требуется ума, потому что его чертовской хитрости помогает разум.

Понимая трудность предприятия, старик, однако, приступил к его выполнению со всей уверенностью и быстротой. Закончив осмотр, прерываемый грустными воспоми-

наниями, он подал знак спутникам садиться на коней. Все время, пока бушевал огонь, кони стояли на месте понурые и дрожащие, и сейчас они приняли на себя свою ношу с явным удовольствием; можно было ждать, что побегут они резво. Траппер предложил доктору своего коня, объявив, что сам пойдет дальше пешком.

— Я не больно-то привык путешествовать на чужих ногах,— объяснил он,— и ноги у меня устали от безделья. К тому же, если мы вдруг наткнемся на засаду, что вполне возможно, то конь побежит быстрей с одним человеком на спине, чем с двумя. Ну, а я... не так это важно, проживу ли я днем больше или днем меньше. Пусть тетоны завладеют моим скальпом, если будет на то воля божья; они увидят на нем седые волосы, но ни один человек, сколько ни старайся, не захватит моих знаний и опыта, от которых поседела моя голова.

Так как никто из его нетерпеливых слушателей, казалось, не был расположен спорить, предложение старика было принято молча. Доктор, правда, печально повздыхал об утрате Азинуса; однако, обрадованный, что может продолжать свой путь на четырех ногах, а не на двух, он тоже не стал возражать. Итак, через несколько секунд бортник, всегда любивший, чтобы за ним осталось последнее слово, громко объявил, что все готовы в путь.

— Поглядывайте туда, на восток,— сказал старик, когда, возглавив караван, повел его по угрюмой и еще дымившейся равнине.— Идя по такой тропе, как эта, можно не бояться, что застудишь ноги. Но вы, говорю, поглядывайте на восток и, когда сквозь просветы в дыму увидите белое полотнище, сверкающее как пластинка начищенного серебра, знайте: это вода. Там протекает большая река, и мне недавно почудилось, что я ее вижу; но потом я задумался о другом и потерял ее из виду. Это широкий быстрый поток, каких немало в этой пустыне; потому что здесь можно видеть все богатства природы, кроме одних лишь деревьев. Да, кроме деревьев, а они для земли — что плоды для сада; без них и красота не в красоту, и польза не в пользу. Глядите же в оба, не пропустите эту полосу сверкающей воды; мы не будем в безопасности, пока не оставим ее между нашим следом и быстрыми тетонами.

После такого предупреждения спутники траппера стали жадно высматривать сквозь дым спасительную реку. Все их мысли были заняты только этим, и отряд

продвигался в полном молчании, тем более что старик посоветовал им соблюдать осторожность, потому что теперь они вступили в толщу дыма, клубившегося по равнине, как туман,— особенно там, где огонь встретил на своем пути небольшие болотца.

Так они прошли мили три-четыре, а реки все не было и не было. Вдали еще ярился огонь, и стоило ветру развеять дым пожара, как снова серая пелена затягивала все вокруг. Наконец старик, который уже проявлял беспокойство, показавшее его спутникам, что и его наметанный глаз не много может разглядеть сквозь гущу дыма, вдруг остановился, уткнул ружье в землю и как будто задумался над чем-то, что лежало у его ног. Мидлтон, подъехав к нему, спросил, что его смутило.

— Смотрите,— ответил траппер, указывая на труп лошади, который лежал, наполовину сожженный, посреди небольшой ложбины.— Такова сила степного пожара! Земля тут влажная, и трава росла выше, чем везде вокруг. В этой заросли и захватил бедную лошадь огонь. Смотрите, даже кости видны сквозь ломкую опаленную шкуру... и оскал зубов! Тысяча зим не сделала бы с трупом того, что огонь совершил в одну минуту...

— Такая судьба могла бы постичь и нас,— сказал Мидлтон,— если бы огонь застиг нас во сне!

— Нет, этого я не сказал бы, не сказал бы. Не то что человек не мог бы сгореть, как дерево, нет! Но он разумней лошади и знал бы, как верней избежать опасности.

— Но, может быть, здесь лежал только труп лошади, а то бы и она пустилась бежать?

— А эти следы на сырой земле? Разве не видишь? Вот здесь ступали копыта, а это — или я не грешная душа! — отпечаток мокасина. Хозяин лошади бился изо всех сил, чтобы увести ее отсюда, но инстинкт у животных таков, что при виде пожара они становятся трусливы и упрямы.

— Это хорошо известный факт. Но, если с конем был его хозяин, где же он?

— В этом-то и загадка,— ответил траппер и нагнулся, чтобы ближе рассмотреть отпечатки на земле.— Да, да, ясно: тут между ними двумя шла долгая борьба. Хозяин пытался спасти коня, и, видно, очень жадное было пламя, если он с этим не справился.

— Слушай, старый траппер,— перебил Поль и показал рукой на место, где земля была посуше и трава по-

этому росла не так густо,— говори не «коня», а «двух коней». Вон там лежит еще один.

— Малый прав. Неужели тетоны попались в собственную ловушку? Такое случается нередко; и вот вам пример для всех, кто замышляет зло... Эге, гляньте-ка сюда — железо! Седло и уздечка были работы белого человека. Да, так и есть, так и есть: отряд этих мерзавцев рыскал в траве,— подстерегал нас, покуда их друзья поджигали прерию, а глядите, чем кончилось дело: они лишились своих же лошадей, и им еще очень посчастливилось, если их собственные души не бредут сейчас по тропе, что ведет в индейский рай.

— Они могли прибегнуть к той же уловке, какую применил ты сам.— заметил Мидлтон, когда отряд медленно двинулся дальше, приближаясь ко второму трупу, лежавшему прямо на их пути.

— Едва ли. Ведь не каждый дикарь носит с собой кремень и огниво, и не всегда есть у него доброе, с полкой, ружье, как этот мой старый друг! Добывать огонь двумя палочками — долгое дело, а тут же, на месте, придумывать что-то еще было некогда: видите вы там полоску огня — вспыхивает и бежит, как по рассыпанному пороху, подгоняемый ветром? Пламя тут, верно, прошло всего лишь несколько минут назад, и нам бы сейчас не мешало каждому проверить затравку; я не то чтобы очень уж рвался сразиться с тетонами — боже упаси! — но если придется поневоле вступить в драку, то всегда разумней сделать первый выстрел самому.

— А странное это было животное, старик,— сказал Поль, натянув поводья своего коня и склонившись над вторым трупом, меж тем как остальной отряд уже проскакал в нетерпении мимо.— Право, скажу я, странная лошадь: у нее не было ни головы, не копыт.

— Огонь не ленился,— возразил траппер, не отрывая глаз от гряды клубившегося дыма и стараясь разглядеть сквозь просветы, что делается на горизонте.— Он в одну минуту испек бы целого буйвола, и уж тут рога и копыта обратились бы в белый пепел... Стыдно, стыдно, Гектор, стыдно, старик! Щенку капитана простительно, от него другого и ждать нельзя по его молодым годам и, не в обиду скажу, по отсутствию выучки, но для тебя, мой Гектор, так долго жившего в лесу, до того как выйти в эти степи, для тебя это чистый позор — скалить зубы и так

рычать на труп изжаренного коня, как будто ты хочешь сказать хозяину, что напал на след серого мишки.

— Говорю тебе, старый траппер, это вовсе не лошадь: ни по копытам, ни по голове, ни по шкуре.

— Что такое? Не лошадь, говоришь? У тебя хороший глаз на пчел да на дупла в деревьях, а на... Вот поди ж ты! Ведь малый прав! Как же это я не распознал шкуру буйвола и принял ее за труп лошади? Мало ли что она спеклась и сморщилась! Эх, горе мне!.. Было время, друзья, когда я, завидев зверя издалека, мог бы не только назвать вам его, а и сказать, какой он масти, и сколько лет ему, и самка это или самец.

— Если так, вы пользовались, почтенный венатор, неоценимым преимуществом! — заметил, насторожившись, Овид.— Человек, способный все это различить в пустыне, будет не раз избавлен от труда пройти напрасно долгий конец пешком, а иногда и от трудного осмотра, который окажется бесплодным. Прошу вас, скажите мне, так ли далеко простиралась ваша исключительная способность, что она вам позволяла установить также порядок и genus?

— Не знаю, что вы разумеете под этим вашим «порядком и генусом».

— Да что ты! — перебил бортник несколько пренебрежительным тоном, какой он часто позволял себе в разговоре со своим престарелым другом.— Выходит, старый траппер, ты признаешься в незнании своего родного языка, чего я никак не ожидал от человека твоего опыта и разумения. Порядок — под этим наш товарищ разумеет вот что: идут ли животные большим стадом, наподобие роя, летящего за маткой, или же гуськом, как часто бегут по прерии буйволы. Ну, а генус — это по-нашему гений, слово совсем простое, оно у всех на языке. В нашем округе живет один конгрессмен, и есть еще один человек, очень языкастый, который выпускает у нас газету,— оба хорошие ловкачи, так их обоих называют гениями. Вот что имел в виду доктор, как я его понял. Ведь он что ни скажет, во всем есть важный смысл.

Кончив свое изобретательное разъяснение, Поль бросил взгляд через плечо, который, если правильно его перевести, как бы говорил: «Вот видите, хоть я не часто утруждаю себя такими вещами, я все же не дурак».

Эллен восхищало в Поле что угодно, только не его

ученость. Прямота, бесстрашие, мужество в сочетании с приятной внешностью были сами по себе достаточно привлекательны — девушке не нужно было выискивать в нем еще и тонкий ум. Бедняжка зарделась, как роза, а ее изящные пальчики играли поясом, за который она держалась, чтоб не свалиться с коня. И, словно желая отвлечь внимание прочих от слабости, достаточно неприятной для нее самой, она поспешила сказать:

— Значит, это вовсе и не лошадь?

— Это не больше и не меньше, как шкура буйвола,— продолжал траппер, которому истолкование Поля показалось ничуть не яснее ученых мудрствований натуралиста.— Она вывернута мехом во внутрь; как вы видите, по ней пробежал огонь, но она была свежая, он ее не сжег. Животное было убито недавно, и, возможно, под ней лежат остатки туши.

— А ну, старый траппер, приподними-ка шкуру за уголок,— сказал Поль таким тоном, точно уже чувствовал себя вправе подавать голос на любом совете.— Если там сохранился кусок горба, он, должно быть, неплохо запекся и сейчас придется очень кстати.

Старик от души рассмеялся над причудой своего молодого товарища. Поддев шкуру ногой, он ее приподнял. Вдруг она отлетела в сторону, и скрытый под нею воин-индеец мгновенно вскочил на ноги, готовый встретить любую опасность.

Глава XXIV

Хотел бы я, Хэл, чтобы сейчас можно было лечь спать, зная, что все кончилось благополучно.

Шекспир, «Генрих V»

Беглецы с первого же взгляда узнали в индейце того молодого пауни, с которым они уже однажды встретились. Все, включая пауни, онемели от изумления и с минуту, если не дольше, в недоумении и с недоверием не сводили друг с друга глаз. Однако молодой воин в своем удивлении проявил куда больше сдержанности и достоинства, чем его бледнолицые знакомцы. В то время как Мидлтон и Поль ощущали, как трепет их робких спутниц передается

им самим и зажигает их новой отвагой, индеец переводил огненный взгляд с одного на другого в отряде. Казалось, он не опустил бы глаза перед самым дерзким врагом. Скользнув по всем удивленным лицам, взор его наконец остановился на невозмутимом лице траппера. Первым прервал молчание доктор Батцпус, воскликнув:

— Отряд — приматы; род — человек; вид — человек из прерии.

— Вот тайна и открылась,— сказал старый траппер и закивал головой, точно радуясь, что разгадал нелегкую загадку.— Юноша прятался в траве; огонь застиг его спящим, и он, лишившись своего коня, был принужден спасаться под шкурой только что освежеванного буйвола. Неплохо придумано, раз не было под рукой ни кремня, ни пороха, чтобы выжечь траву вокруг. Скажу по правде, мальчик умен, и в дороге он был бы надежным товарищем. Поговорю с ним ласково, потому что, гневаясь, мы не добьемся ничего путного... Вновь привет моему брату! — продолжал он на доступном индейцу языке.— Тетоны пытались выкурить его, как енота.

Молодой пауни обвел глазами равнину, точно хотел убедиться, какой страшной опасности избежал, но не позволил себе выдать и тени волнения. Сдвинув брови, он ответил на замечание траппера:

— Тетоны — собаки. Когда доходит до их ушей военный клич пауни, они всем племенем воют от страха.

— Верно. Эти дьяволы нас выслеживают, и я рад встретить воина, который держит в руке томагавк и не любит их! Склонен ли брат мой отвести моих детей в свою деревню? Если сиу пойдут по нашей тропе, мои молодые люди помогут ему сразить их.

Пауни вгляделся в лицо каждого из пришельцев, прежде чем почел возможным ответить на столь важный вопрос. Мужчин он разглядывал недолго и, видимо, был вполне удовлетворен. Но взор его, как и при первой встрече, надолго приковала к себе невиданная красота Инес, такая пленительная и такая новая. Временами взгляд его отрывался от нее, привлеченный более понятным и все же необычайным очарованием Эллен, но тотчас возвращался к созерцанию существа, которое его непривычным глазам и пламенному воображению представлялось самим совершенством. Так молодой поэт наделяет неизъяснимой прелестью образы, возникшие в его мозгу.

Никогда не встречал он в родной своей прерии ничего столь прекрасного, столь идеального, столь достойного служить наградой отваге и самоотверженности воина; и, казалось, молодой индеец все полнее отдавался чарам этого редкостного вида женской красоты. Но, заметив, что пристальным взглядом смущает предмет своего восхищения, он отвел глаза и, приложив руку к груди, сказал выразительно и скромно:

— Мой отец будет принят, как гость. Молодые люди моего народа будут охотиться вместе с его сыновьями; вожди будут курить с седоголовым. Девушки пауни будут петь его дочерям.

— А если мы встретим тетонов? — спросил траппер, желая полностью выяснить более существенные условия этого нового союза.

— Враг Больших Ножей испытает на себе удар пауни.

— Хорошо. Теперь моему брату и мне надо держать совет, чтобы нам не идти по кривой тропе: пусть наша дорога к его деревне будет как полет голубя.

Молодой пауни жестом выразил согласие и отошел вслед за траппером в сторону — старик боялся, что безрассудный Поль или рассеянный натуралист начнут перебивать их, мешая переговорам. Совещание длилось недолго, но, так как велось оно в манере индейцев — краткими, многозначительными речениями,— оба быстро узнали все, что их интересовало. Когда они присоединились к остальному отряду, старик нашел нужным открыть товарищам, что́ он выведал у пауни.

— Да, я не ошибся,— сказал он.— Этот красивый юный воин (он хорош собой и благороден, хотя раскраска придала ему, быть может, страшноватый вид), этот красивый юноша сказал мне, что он был в разведке, выслеживая тетонов. Его отряд был не настолько силен, чтобы ударить по ним, когда те в большом числе явились из своих нагорных селений поохотиться на буйволов. В деревню пауни были высланы гонцы за подмогой. Юноша, видно, бесстрашен — он шел по их следу один, пока, как мы сами, не был принужден спрятаться в траве. Но он сказал мне, друзья, кое-что еще — очень важное и для нас печальное: что хитрый Матори, вместо того чтобы схватиться со сквоттером, завязал с ним дружбу и что обе шайки — краснокожих и белых — гонятся за нами по пятам. Они обло-

жили выжженную равнину, чтобы, взяв нас в кольцо, расправиться с нами.

— Откуда он знает, что это верно? — спросил Мидлтон.

— Не возьму в толк!

— Каким образом ему стало известно, что это так и есть?

— Каким образом? Ты думаешь, разведчику, чтобы узнать, что происходит в прерии, нужны газеты и городские глашатаи, как где-нибудь в Штатах? Ни одна сплетница, бегая из дома в дом позлословить о соседях, не разнесет так быстро языком свои новости, как эти люди передают, что им нужно, всяческими знаками, понятными им одним. В этом состоит у них образование; и самое замечательное — что они получают его под открытым небом, а не в школьных стенах. Говорю тебе, капитан: все, что сказал он, правда.

— Могу поклясться,— вставил Поль,— так оно и есть! Это разумно, значит правда.

— Верно, мальчик, верно! Можешь поклясться. Дальше пауни объяснил мне, что мои старые глаза не обманули меня: действительно неподалеку отсюда протекает река — не дальше как в полутора милях. Огонь, вы видите, усерднее всего поработал как раз в той стороне, и нашу тропу заволокло дымом. Пауни тоже согласен, что надо бы нам омыть свой след в воде. Да, мы должны положить реку между собою и глазами сиу, а там с божьей помощью, да и сами не плошая, мы доберемся до деревни Волков.

— Слова не продвинут нас ни на пядь,— сказал Мидлтон.— Едем!

Старик согласился, и отряд приготовился снова пуститься в путь.

Пауни набросил на плечи шкуру буйвола и пошел впереди вожатым, то и дело оглядываясь, чтобы украдкой полюбоваться непостижимой красотой не замечавшей ничего Инес.

За час беглецы дошли до берега потока — одной из сотни рек, которые через притоки Миссури и Миссисипи несут в океан воды этой обширной и еще не заселенной области. Река была неглубока, быстра и бурлива.

Огонь опалил берег до самой воды, а так как струи нагретого воздуха смешивались в утренней прохладе с дымом бушующего пожара, почти вся поверхность реки была укрыта пеленой клубившихся паров. Траппера это обра-

довало, и, помогая Инес сойти у самой воды с коня, он заметил:

— Мерзавцы сами себя перехитрили. Я не очень уверен, что сам не поджег бы степь ради того, чтобы спрятать в дыму свою тропу, когда бы злые черти сиу не взяли этот труд на себя. В дни моей молодости люди делали такие вещи — и с успехом. Ну, леди, ставьте ваши нежные ножки на землю — за последний час вам, робкой горожанке, пришлось, я знаю, натерпеться страху! Эх! Чего только не натерпелись в те давние дни вот такие же молодые женщины, нежные, добродетельные, скромные, от ужасов индейской войны! Сходите же! До того берега всего четверть мили, а дальше след наш будет уже перебит.

Поль тем временем помог сойти с седла Эллен и теперь стоял, печально оглядывая голые берега реки. Ни деревца, ни куста не росло по склонам ее — только здесь и там торчал одинокий пук низкой поросли, такой, что в ней не сыщешь и десятка стеблей, пригодных на трость.

— Послушай, старый траппер,— сердито проворчал он,— легко сказать — выбирайся на тот берег этой малой речки, или ручейка, или как ты там ее называешь... А как я посужу, хорошее нужно ружье, чтобы послать пулю с берега на берег,— то есть послать не зря, а так, чтобы уложить индейца или оленя.

— Верно, парень, верно — хотя вот это мое ружье в час нужды делало свое дело даже и на большем расстоянии.

— Так ты что, думаешь зарядить свое ружье моею Эллен или женой капитана и пальнуть ими через реку? Или ты хочешь, чтобы они, как форель, нырнули в воду с головой?

А что, река глубока и вброд ее не перейти? — спросил Мидлтон, усомнившись, как и Поль, удастся ли благополучно переправить на противный берег ту, которая была ему дороже жизни.

— Когда потоки в горах, питающие реку, переполняются, она, как вы видите это сейчас, становится быстрой и бурной. Но мне доводилось в свое время переходить ее песчаное русло, не замочив колен. Но у нас же есть тетонские лошади; я уверен, что эти брыкливые твари плавают не хуже оленя.

— Старый траппер,— молвил Поль, запустив пальцы в свои кудри, как он делал всегда, когда наталкивался на

трудную задачу,— я в свое время плавал, как рыба, и могу, если нужно, поплыть и сейчас; не боюсь я ни холода, ни ветра. Но что-то мне сомнительно: усидит ли Нелли на коне, когда вода забурлит у нее перед глазами, точно на мельничном колесе? А уж вымокнет она наверняка.

— Эх, малый прав! Придется нам что-нибудь изобрести — без того не переплыть нам реку.— И, оборвав разговор, он повернулся к индейцу и объяснил ему, что женщины не сумеют сами переправиться на тот берег.

Молодой воин внимательно выслушал его, сбросил с плеч буйволову шкуру и принялся сооружать из нее какое-то приспособление, а старик, сразу поняв его намерение, помогал ему по мере надобности.

Шкуру при помощи оленьих сухожилий, которые имели в запасе и пауни и траппер, быстро натянули в виде зонта или перевернутого парашюта. Распорками послужили тонкие палки, не позволявшие ей выгибаться или западать. Когда это простое приспособление было закончено, его спустили на воду и индеец подал знак, что лодка готова. Однако Инес и Эллен не решались доверить свою жизнь этому хрупкому челноку, да и Мидлтон с Полем не позволяли им в него садиться, покуда каждый из них сам не проверил, что суденышко способно выдержать груз и потяжелее. Наконец они оба скрепя сердце согласились, чтобы лодка приняла свою драгоценную ношу.

— А теперь,— сказал траппер,— предоставим пауни перевезти их. Рука у меня далеко не так тверда, как в былые дни, у него же руки и ноги упруги, как ветви гикори. Положимся на ловкость индейца.

И вот нехитрый паром двинулся по воде, а муж и жених должны были волей-неволей взять на себя роль хоть и глубоко взволнованных, но все же праздных наблюдателей. Пауни без колебания выбрал из трех лошадей скакуна дакотского вождя, показав тем самым, что достоинства этого благородного животного ему давно известны, и, вскочив на него, въехал в воду. Потом, зацепив бизонью шкуру концом копья, он повернул легкий челн против течения и, ослабив поводья, смело врезался в поток. Мидлтон и Поль поплыли следом, стараясь держаться настолько близко к лодке, насколько позволяла осторожность. Таким способом воин-пауни быстро и уверенно доставил драгоценный груз на другой берег без малейшего неудобства для пассажирок. Как видно, коню и всаднику было не

впервой совершать такую переправу. Когда они достигли берега, молодой индеец разобрал свое сооружение, накинул шкуру на плечи, взял под мышку палки и вернулся назад, чтобы тем же порядком переправить и остальных на безопасный, как они считали, берег.

— Теперь, друг доктор,— сказал старик, увидав, что индеец плывет назад,— я твердо знаю, что этот краснокожий — верный человек. Он красивый юноша и честный на вид, но и ветры небесные не так обманчивы, как индейцы, когда им взбредет на ум какая-нибудь блажь. Будь он не пауни, а тетоном или одним из тех бессовестных мингов, что лет шестьдесят назад рыскали по лесам Йорка, он сейчас показал бы нам не лицо, а спину. У меня ёкнуло сердце, когда я увидел, что молодец выбрал лучшего коня: ведь ему так же просто было ускакать на нем от нас, как легкокрылому голубю оставить за собой стаю крикливых и тяжелых на лету ворон. Но вы видите, юноша честен, а когда краснокожий вам друг, он будет верен, покуда вы сами поступаете с ним по совести.

— Как далеко отсюда до истоков этой реки? — спросил доктор Батциус, поглядывая на бурливые водовороты, и его лицо выразило явный страх.— На каком расстоянии могут находиться скрытые родники, которые питают ее?

— Смотря по погоде. Поручусь, вы изрядно утомите ноги, пока доберетесь по руслу до Скалистых гор. А в иную пору вы до них дойдете руслом посуху.

— В какие же времена года происходят такие периодические обмеления?

— Если кто через несколько месяцев попробует пойти этим ручьем, он здесь найдет вместо бурного потока зыбучие пески.

Натуралист глубоко задумался. Почтенному ученому, как это естественно для человека, не слишком стойкого духом, опасность такой переправы представлялась страшнее, чем она была на деле, а по мере приближения решающего момента она все возрастала и наконец настолько выросла в его глазах, что он с отчаяния и впрямь подумывал, не пуститься ли ему в обход реки, чтобы не нужно было переправляться через нее столь рискованным способом. Не будем останавливаться на невероятных ухищрениях, какими ужас и страх поддерживали, как всегда, свои зыбкие доводы. Достойный Овид с похвальным прилежанием перебирал их один за другим и уже

Паули зацепил бизоньею шкуру концом копья и повернул легкий челнок против течения.

успел прийти к утешительному заключению, что открыть скрытые истоки столь значительной реки будет, пожалуй, не менее славным делом, нежели добавить новое растение или насекомое к списку уже изученных видов, когда пауни выбрался на их берег. Старик без колебания сел в лодку (как только бизонья шкура снова была превращена в челнок) и, заботливо уложив Гектора у себя в ногах, кивком пригласил своего товарища занять третье место.

Натуралист поставил одну ногу в хрупкое суденышко (как слон или лошадь пробуют прочность моста, прежде чем доверить такой ненадежной поверхности весь груз своего большого тела), но затем в ту самую секунду, когда старик подумал, что он готов усесться, вдруг отступил назад.

— Почтенный венатор,— сказал он печально,— эта лодка абсолютно не научна. Внутренний голос запрещает мне положиться на ее устойчивость!

— Не возьму в толк! — сказал старик, игравший ушами собаки, как иной отец ласково дергает за ухо ребенка.

— Я не склонен таким несообразным образом экспериментировать с водоворотом. Это судно не имеет ни надлежащей формы, ни пропорций.

— С виду оно, правда, не так красиво, как лодка из березовой коры, но и в вигваме можно жить так же спокойно, как во дворце.

— Судно, построенное вразрез со всеми принципами науки, не может оказаться достаточно безопасным. Эта лохань, почтенный мой охотник, развалится, не дойдя до противного берега.

— Вы своими глазами видели, что она уже раз дошла.

— Да, но то была счастливая аномалия. Если бы в законах природы исключения стали приниматься за правило, род человеческий быстро погрузился бы в бездну невежества. Мой почтенный ловец, это приспособление, которому вы готовы доверить свое спасение, в истории разумных изобретений соответствует тому, что в естествоведении должно быть квалифицировано как лузус натурэ, или чудище, игра природы!

Трудно сказать, как долго склонен был бы доктор Батциус продолжать спор, потому что, помимо страха за свою особу, побуждавшего его откладывать переправу, безусловно связанную с известным риском, самолюбие

толкало его затягивать спор. Старик готов был утратить свое невозмутимое спокойствие, но, едва натуралист договорил заключительное слово своей последней тирады, в воздухе разнесся звук, показавшийся сверхъестественным откликом на его мысль. Пауни, со своей обычной невозмутимой сдержанностью выжидавший окончания непонятного спора, вскинул голову, прислушиваясь к неведомому звуку, точно олень, которому таинственный инстинкт подсказывает, что вдалеке, с наветренной стороны, бегут гончие. Но трапперу и доктору была не так уж незнакома природа необычных этих звуков. Натуралист легко различил в них крик своего осла и хотел уже со всей горячностью любящего друга вскарабкаться на крутой откос, когда Азинус сам показался в виду, и совсем недалеко: он мчался во всю прыть, понукаемый нетерпеливым и грубым Уючей, сидевшим на нем.

Взгляды тетона и беглецов скрестились. Тетон издал протяжный, громкий, пронзительный крик, в котором торжество мешалось с угрозой. Этот сигнал положил конец спорам о достоинствах лодки, и доктор поспешно сел рядом со стариком, как будто туман, затемнявший его ум, чудесным образом рассеялся. Миг — и конь молодого пауни уже боролся с потоком.

Лошадь должна была напрячь всю свою силу, чтобы вынести беглецов за пределы достижения стрел, засвистевших в воздухе секундой позже. На крик Уючи высыпали на берег пятьдесят его товарищей, но, к счастью, среди них не было ни одного прославленного воина, носящего в знак отличия карабин. Лодка, однако, еще не добралась до середины реки, когда на берегу показался сам Матори, и ружейный залп, никому не нанесший вреда, показал, как разъярен разочарованный вождь. Траппер не раз и не два поднимал свое ружье, как будто прицеливаясь во врага, но столько же раз опускал его, не выстрелив. Глаза молодого пауни загорелись, как у кугуара, когда он увидел так много воинов из враждебного племени, и на бессильную попытку их вождя он ответил презрительным взмахом руки и военным кличем своего народа. Вызов был слишком дерзок, чтоб его стерпеть. Тетоны всем отрядом ринулись в поток, и в воде замелькали темными пятнами тела коней и всадников.

Преследуемые напрягали все силы, чтобы скорее достичь дружественного берега. Но кони под тетонами

не были утомлены долгой скачкой, как скакун молодого пауни, и они несли на себе только по одному седоку, а потому преследователи подвигались значительно быстрее беглецов. Траппер, прекрасно понимавший всю опасность положения, спокойно переводил глаза с тетонов на молодого своего союзника-индейца, проверяя, не поколебалась ли его решимость, когда сократилось расстояние между ним и неприятелем. Однако пауни не выказал и тени страха или хотя бы озабоченности, естественной в таких обстоятельствах: юный воин только сдвинул брови, и взор его загорелся смертельной враждой.

— Вы очень дорожите жизнью, друг доктор? — спросил старик, и философское спокойствие, с каким это было сказано, напугало его спутника еще больше, чем самый вопрос.

— Не ради нее самой,— ответил натуралист, хлебнув из ладони речной воды, чтобы промочить пересохшее горло,— не ради нее самой, но исключительно постольку, поскольку мое существование представляет ценность для естественной истории. А потому...

— Так-то! — перебил старик, слишком занятый своими мыслями, чтобы вникнуть в слова доктора с обычной своей проницательностью.— Чувство, конечно, естественное, да только низкое и трусливое! А вот смотрю я на молодого пауни: ему жизнь не меньше дорога, чем любому губернатору в Соединенных Штатах, и он ведь может ее спасти или хоть получить какой-то шанс на спасение, если пустит нас плыть вниз по реке. А между тем вы видите, он мужественно держит слово, как подобает индейскому воину. Что касается меня, так я уже стар и готов принять ту участь, какую мне назначил бог; да и ваша жизнь, мне думается, не так уж нужна людям. Будет вопиющим срамом, даже грехом, если этот молодец даст снять с себя скальп ради двоих таких малоценных людей, как мы с вами. А потому я хочу, если на то согласитесь и вы, сказать ему, чтобы он спасался сам, а нас бы оставил на милость тетонов.

— Отвергаю это предложение как противное природе и как предательство в отношении науки! — закричал перепуганный натуралист.— Мы двинемся с чудесной быстротой! И так как это восхитительное изобретение несет нас с непостижимой легкостью, то через несколько минут мы достигнем суши.

Старик внимательно поглядел на него и, покачав головою, сказал:

— Что за штука страх! Он преображает земные твари и разум человека, делая безобразное привлекательным в наших глазах, а прекрасное — неприглядным! Что за штука страх!

Но, оглянувшись на преследователей, они тотчас прекратили спор. Кони дакотов добрались до середины потока, и всадники уже наполняли воздух победными криками. В эту минуту Мидлтон и Поль, отведя женщин в заросли кустов, снова подошли к самому краю воды, угрожая противнику ружьями.

— На коней, на коней! — закричал траппер, как только их увидел.— На коней и вскачь, если дорога вам жизнь тех, кто ищет в вас опоры! В седло, а нас оставьте на волю господню.

— Пригни голову, старый траппер,— ответил Поль.— Сожмитесь оба в вашем гнездышке. Дьявол тетон прямо за вами, пригните головы, дайте дорогу кентуккийской пуле!

Траппер оглянулся и увидел, что рьяный Матори, обогнав свой отряд, в самом деле оказался на одной прямой с их лодкой и бортником, который стоял, готовый исполнить свою угрозу. Когда старик пригнулся, раздался выстрел, и свинец со свистом пролетел над ним к более отдаленной цели. Но у тетонского вождя глаз был не менее быстрый и верный, чем у его врага. За миг до выстрела Матори соскочил с коня и кинулся в воду. Конь заржал в страхе и тоске, погрузился было в поток и, отчаянно рванувшись, выставил над поверхностью половину туловища. Потом он поплыл вниз по течению, окрашивая своею кровью взбаламученную воду.

Тетонский вождь опять показался на реке и, поняв, что конь погиб, в несколько сильных гребков подплыл к ближайшему из своих юношей, который, понятно, тотчас же отдал знаменитому воину своего коня. Все же это происшествие вызвало смятение среди тетонов, которые, казалось, ждали, что предпримет вождь, и не возобновляли попыток добраться до берега. Тем временем лодка достигла земли, и беглецы вновь сошлись все вместе на берегу реки.

Тетоны между тем растерянно кружили в реке, как мечутся иной раз голуби после шалого выстрела в голов-

ную стаю. Как видно, они колебались, стоит ли отважиться штурмовать берег, так грозно защищенный. В конце концов обычная осторожность индейцев взяла верх. Получив неплохой урок, Матори отвел воинов назад на свой берег, чтобы дать передохнуть коням, которые уже плохо слушались узды.

— Теперь забирайте женщин и скачите вон к тому пригорку,— распорядился траппер.— За ним вам откроется вторая речка. Вы войдете в воду, повернетесь к солнцу и пройдете по руслу около мили, пока не достигнете высокой песчаной равнины: там я встречу вас. Живо! На коней! Мы трое — молодой пауни, я и друг мой доктор, который нам известен как бесстрашный воин,— сумеем удержать берег: ведь для этого довольно будет, чтобы нас видели, стрелять всерьез не понадобится.

Мидлтон и Поль сочли излишним спорить. Радуясь, что тыл их прикрыт хотя бы и слабыми силами, они немедля пустили вскачь коней и быстро скрылись в указанном направлении. Прошло минут двадцать — тридцать, а тетоны на другом берегу все еще медлили в нерешительности. Траппер и его товарищи отчетливо видели Матори среди воинов сиу; он отдавал приказы и временами в обуявшей его жажде мести грозил рукой беглецам; однако никаких враждебных действий индейцы пока не предпринимали. Но вот среди сиу поднялся вой, возвестивший, что случилось что-то новое. Вдали показался Ишмаэл со своими увальнями-сыновьями, и вскоре оба отряда вместе спустились к самой воде. Скваттер осмотрел позицию врагов и, как будто желая проверить дальнобойность своего ружья, пустил из него пулю, смертоносную даже и на таком расстоянии.

— Пора нам уходить! — заметил Овид, пытаясь разглядеть свинец, просвистевший, как ему почудилось, над самым его ухом.— Мы рыцарственно удерживали берег достаточно долгое время. В отступлении военное искусство, как известно, выявляется не меньше, чем в наступлении.

Старик оглянулся и, убедившись, что всадники уже скрылись за холмом, не стал возражать. Третью лошадь отдали доктору, наказав ему следовать той же дорогой, что и Мидлтон с Полем Ховером. Когда натуралист сел в седло и поскакал, траппер с молодым пауни украдкой удалились, приняв меры, чтобы враг не сразу заметил их

отход. Вместо того чтобы направиться к пригорку, пересекая равнину, где они были бы на полном виду, они пошли напрямик по лощине, укрывавшей их от глаз врага, и перебрались через речку в том самом месте, где Мидлтону было указано выйти из воды,— как раз вовремя, чтобы присоединиться к всадникам. Доктор развил в отступлении такую быстроту, что уже нагнал своих друзей, так что беглецы снова были в сборе.

Траппер старался высмотреть удобное место, где отряд мог бы устроить привал, как он сказал, часов на пять, на шесть.

— Привал! — встревожился доктор, услыхав столь опасное предложение.— Почтенный ловец, казалось бы, наоборот, надо несколько дней провести в безостановочном бегстве!

Мидлтон и Поль были того же мнения и высказали это каждый на свой лад.

Старик терпеливо их выслушал, но покачал головой, не убежденный возражениями, и отвел все их доводы одним решительным ответом.

— Значит, нам бежать? — спросил он.— Разве может человек перегнать коня? Как вы думаете, тетоны лягут спать или займутся делом — переберутся через реку и станут вынюхивать наш след? Слава богу, мы хорошо омыли его в речке, и, если мы уйдем отсюда умно и осмотрительно, мы собьем их с нашей тропы. Но прерия не лес. В лесу человек может идти и идти, и одна у него забота — что мокасины оставляют след; а здесь, на открытых равнинах, дозорный, поднявшись, к примеру, вон на тот холм, видит далеко вокруг, как сокол, высматривающий с высоты добычу. Нет, нет! Надо, чтобы настала ночь и укрыла нас темнотой, только тогда мы можем покинуть это место. Но послушаем, что скажет пауни: он храбрый юноша и, думается мне, не раз мерился силами с тетонами. Как думает мой брат, мы оставили достаточно длинный след? — спросил он по-индейски.

— Разве тетон рыба и может разглядеть его в этой реке?

— Но мои молодые товарищи думают, что мы должны протянуть его дальше, через всю прерию.

— У Матори есть глаза: он нас увидит.

— Что советует мой брат?

Молодой воин несколько секунд вглядывался в небо и,

казалось, колебался. Затем ответил, как бы придя к твердому решению.

— Дакоты не спят,— сказал он.— Мы должны лежать в траве.

— Вот видите, он того же мнения, что и я,— сказал старик, разъяснив своим белым друзьям ответ индейца.

Мидлтон был принужден смириться, а так как оставаться на ногах было бы просто гибельно, все дружно принялись сооружать безопасное убежище. Инес и Эллен быстро устроились под бизоньей шкурой, где им было и тепло и довольно удобно; над нею наклонили высокие стебли таким образом, чтобы беглый взгляд не мог ничего приметить. Поль и пауни связали лошадей и, повалив их на землю, в густую траву, снабдили их кормом. Покончив с этими делами, мужчины, не теряя ни минуты, подыскали и для себя местечко, где можно было спрятаться и отдохнуть. И снова равнина казалась пустынной и безлюдной.

Старику удалось убедить своих товарищей в необходимости пробыть в укрытии несколько часов. Их спасение зависело от того, останутся ли они незамеченными. Если бы такая простая хитрость, которую трудно было разгадать именно в силу ее простоты, помогла бы им обмануть своих проницательных преследователей, то с наступлением вечера они могли бы снова тронуться в путь, изменив направление, чтобы тем вернее достичь в своем намерении успеха. Успокоенные этими соображениями, беглецы лежали, раздумывая каждый о своем, пока мысли не стали путаться и сон не одолел их всех.

Несколько часов царила тишина, когда вдруг острый слух траппера и пауни уловил легкий возглас удивления, вырвавшийся у Инес. Они быстро вскочили, как будто приготовившись бороться не на жизнь, а на смерть, и увидели, что вся волнистая равнина с ее холмами и ложбинами, и их пригорок, и разбросанные здесь и там заросли кустарника — все покрыто белой сверкающей пеленою снега.

— Эх, только снега нам не хватало! — сказал старик, горестно глядя на эту картину.— Теперь, пауни, я знаю, почему ты так упорно вглядывался в облака; но поздно, слишком поздно! Белка и та оставит след на этом светлом покрове... Ага, принесло и этих чертей, ну конечно! Ложитесь, все ложитесь! Зачем же добровольно отбрасывать единственную возможность спасения, как она ни слаба!

Все немедленно снова спрятались, хотя каждый то и дело украдкой бросал тревожный взгляд сквозь высокую траву, следя за действиями неприятеля. В полумиле от них отряд тетонов кружил на конях, постепенно сужая круги и, видимо, стягиваясь к тому самому месту, где залегли беглецы. Нетрудно было разгадать загадку этого маневра. Снег выпал как раз вовремя, чтобы убедить тетонов, что те, кого они ищут, находятся не впереди, а в тылу у них: и теперь они с чисто индейским неутомимым упорством и терпением разъезжали по равнине, чтобы обнаружить убежище беглецов.

С каждой минутой опасность возрастала. Поль и Мидлтон схватились за ружья, и, когда Матори, неотрывно вглядываясь в траву, наконец приблизился к ним на расстояние пятидесяти футов, они нацелились и оба одновременно спустили курки. Но последовал только щелчок кремня по стали.

— Довольно,— сказал старик и с достоинством встал во весь рост.— Я выбросил затравку! Ваша опрометчивость привела бы нас к неминуемой гибели. Встретим же нашу судьбу, как мужчины. Стоны и жалобы вызовут у индейцев одно презрение.

Когда его заметили, вопль ликования разнесся по равнине, и секундой позже сотня дикарей бешено устремилась к убежищу беглецов. Матори припял своих пленников с обычной сдержанностью индейца. Лишь на одно мгновение его сумрачное лицо зажглось злобной радостью, и у Мидлтона похолодела кровь, когда он уловил, с каким выражением вождь посмотрел на почти бесчувственную, но все еще прелестную Инес.

Тетоны так возликовали, захватив в плен белых, что некоторое время никто не замечал темную, недвижную фигуру их краснокожего товарища. Он стоял в стороне, не удостоив врагов ни единым взглядом, и точно застыл в этой позе величавого спокойствия. Но спустя короткое время тетоны обратили свое внимание и на него. Только теперь траппер впервые узнал — по крикам торжества, по радостному протяжному вою, вырвавшемуся из сотни глоток, и по многократно повторенному грозному имени, звеневшему в воздухе,— что его юный друг не кто иной, как славный и до той поры непобедимый воин — Твердое Сердце.

Глава XXV

Что, помирился ты с прапорщиком Пистолем?
Шекспир, «Генрих V»

Занавес нашей несовершенной драмы должен теперь упасть и вновь подняться уже над другою сценой. Между нею и предыдущей прошло несколько дней, внесших существенную перемену в положение ее участников. Время действия — полдень, место действия — возвышенная равнина, оканчивающаяся крутым спуском в плодородную долину одной из бесчисленных рек этого края. Река берет начало невдалеке от подошвы Скалистых гор и, оросив на большом протяжении равнину, вливает свои воды в еще бо́льшую реку, чтоб они наконец затерялись в мутном потоке Миссури.

Местность значительно оживилась, хотя рука, придавшая такой пустынный вид окружающим землям, наложила и на нее свою печать. Все же растительность производила здесь не столь удручающее впечатление, как по всему бескрайнему простору «волнистой прерии». Чаще вставали здесь и там купы деревьев, а с севера по горизонту длинной зубчатой линией вырисовывался лес. В низине тут и там можно было видеть кое-как посаженные овощи и злаки — из тех, что быстро созревают и могут произрастать на наносной почве без особой ее обработки.

По краю плоскогорья (как мы по праву назовем эту возвышенность) лепились сотни жилищ одной из орд кочевников сиу. Эти легкие хижины ставились без малейшей заботы о порядке. Единственно, что принималось в расчет при выборе места, была близость воды, но, впрочем, и этим важнейшим условием нередко пренебрегали. В то время как большая часть хижин тянулась по краю равнины, над самым обрывом, другие были поставлены подальше, на первом же месте, приглянувшемся их своенравным владельцам. Стойбище не представляло собою военного лагеря и не было защищено от неожиданного нападения ни расположением своим, ни какой-либо оградой. Оно было со всех сторон открыто, со всех сторон доступно, если не считать некоторого естественного препятствия, каким служила река. Словом, вид был такой, как будто, разбив свой

бивак, его обитатели прожили в нем дольше, чем предполагали поначалу, и теперь готовились, как видно, к спешному и даже вынужденному отходу.

Это была временная стоянка некоторой части племени, которое под водительством Матори давно вело охоту на землях, отделявших владения его народа от охотничьих угодий воинственных пауни. Жилищем служили им высокие, конусовидные сооружения из шкур самой простой и незатейливой постройки. У входа в каждое жилище вбит был в землю шест, и на нем висели щит и копье владельца, его лук и колчан со стрелами. Сваленная в беспорядке, тут же, у шеста, лежала разная утварь его жены — или двух и трех его жен, смотря по знаменитости воина,— да здесь и там выглядывал из жестких своих пеленок (сказать точней — из древесной коры) круглолицый, спокойный младенец, подвешенный все к тому же шесту на лямках из оленьей кожи и баюкаемый ветром. Дети побольше весело барахтались и кувыркались, причем даже в этом раннем возрасте сказывалось то верховенство мальчиков над девочками, которое с годами определится во всей своей резкости. Мальчики-подростки держались в низине, где испытывали свою молодую силу, укрощая диких коней своих отцов, между тем как та или другая нерадивая девчонка нет-нет, да бросала свою работу, чтобы исподтишка полюбоваться их яростной, нетерпеливой отвагой.

Итак, перед нами как будто была обычная картина спокойного за свою безопасность становища. Но перед шатрами, над самым обрывом, собралась толпа, казалось взволнованная чем-то необычным. Несколько иссохших и злобных старух, сбившись в кучу, готовились, если будет в том нужда, подать свой голос, чтобы распалить внуков и правнуков на свершение жестоких дел, не менее для них приятных, чем для какой-нибудь римской матроны борьба и смерть гладиаторов. Мужчины разбились на группы, из которых каждая была тем крупней и влиятельней, чем больше славился своими подвигами возглавлявший ее вождь.

Подростки, достигшие возраста, когда их уже можно было допускать к охоте, но еще не настолько окрепшие разумом, чтобы брать их на тропу войны, держались с краю толпы, переняв у тех, кто был для них образцом, важность осанки и сдержанность движений, которые со временем должны были стать отличительной чертой их

собственного облика. Несколько юношей постарше, уже загоравшиеся пылом при военном клике, позволили себе подойти поближе к вождям, но все же не дерзали вступить в круг совета: для них достаточным отличием было уже и то, что им разрешают ловить мудрые слова столь почитаемых воинов. Простые воины вели себя еще самоуверенней и без стеснения мешались в ряды не слишком именитых вождей, хоть и не брали на себя смелость оспаривать суждения кого-либо из признанных храбрецов или высказывать сомнение в разумности мер, предлагаемых наиболее мудрыми советниками племени.

Сами вожди своим внешним видом примечательно разнились между собой. Их можно было разделить на две категории: тех, кто получил влияние благодаря своим подвигам и телесной силе, и тех, кто прославился скорее мудростью, чем воинскими заслугами. Первые были куда многочисленней и обладали большей властью. Их выделяла и горделивая осанка, и суровое выражение лица, вдвойне внушительного благодаря тем доказательствам их доблести, какие грубо начертали на нем руки их врагов. Людей же, приобретших влияние в силу духовного превосходства, было очень немного. Этих отличали живые, быстрые глаза, недоверчивость, сквозившая в движениях, а временами гневность голоса, вдруг прорывавшаяся, когда они подавали свои советы.

В самом центре круга, образуемого этими избранными советниками, возвышалась фигура наружно спокойного Матори. И во внешнем его облике, и в нравственном соединились отличительные свойства всех других вождей. Утверждению его власти способствовали и ум его и сила. На нем не меньше было глубоких рубцов, чем на самых седовласых воинах племени; тело его было в расцвете мощи, отвага неколебима. Это редкое сочетание духовного и физического превосходства всех подчиняло, и самый дерзкий на этом собрании спешил потупить глаза под его угрожающим взором. Отвага и ум утвердили его верховенство, а время его освятило. Он так хорошо научился подкреплять власть разума властью силы, что в обществе на другой ступени развития — там, где его энергия могла бы развернуться шире,— этот тетон, наверное, стал бы завоевателем и деспотом.

Несколько в стороне от толпы расположились люди совсем иного рода. Более рослые и мускулистые, они со-

хранили признаки, унаследованные от саксонских и норманских предков, хотя американское солнце окрасило их кожу в смуглый тон. Для человека, искушенного в такого рода изысканиях, было бы небезынтересно проследить черты различия между отпрысками западных европейцев и потомками обитателей восточной окраины Азии,— сейчас, когда те и другие, в ходе истории став соседями, сблизились между собой также и обычаями, а в немалой степени и нравами. Читатель, возможно, догадался, что речь идет о скваттере и его сыновьях. Они стояли в небрежных позах, ленивые и апатичные (как всегда, когда никакая непосредственная нужда не будила их дремлющую силу), перед четырьмя-пятью вигвамами, которые им уступили по долгу гостеприимства их союзники тетоны. Об условиях этого нежданного союза достаточно ясно говорило присутствие лошадей и рогатого скота, мирно пасшегося у реки под неусыпным надзором бесстрашной Хетти.

Свои фургоны они сдвинули в виде ограды вокруг своих жилищ, выдавая этим, что не совсем доверяют союзникам, хотя, с другой стороны, известный такт или, быть может, беспечность не позволяли им слишком явно выказать это недоверие. Своеобразная смесь безучастного довольства и вялого любопытства дремала на тупом лице каждого из них, когда они стояли, опершись на ружья, и следили за тем, как проходит совет. И все-таки даже самые молодые из них не выказывали ни интереса, ни волнения, как будто все они соревновались в наружном бесстрастии с наиболее флегматичными из своих краснокожих союзников. Они почти не говорили, а когда говорили, то ограничивались короткими презрительными замечаниями по адресу индейцев, которые, на их взгляд, во всем уступали белым. Словом, Ишмаэл и его сыновья блаженствовали, предавшись безделью, хотя при этом смутно опасались грубого предательства со стороны тетонов. Из всей семьи один лишь Эбирам терзался мучительной тревогой.

Всю свою жизнь совершая всяческие подлости, похититель негров под конец настолько обнаглел, что решился на отчаянное дело, уже раскрытое нами читателю. Его влияние на более дерзкого духом, но менее деятельного Ишмаэла было не так велико, и, если бы скваттера не согнали вдруг с плодородной земли, которую он захватил и думал удержать, не считаясь с формами закона, Эбираму

никогда не удалось бы вовлечь зятя в предприятие, которое требовало решительности и осторожности. Мы уже видели и первоначальный успех их замысла, и последующее крушение. Теперь Эбирам сидел в стороне, измышляя, как бы обеспечить за собою выгоду от своего низкого злодейства, что с каждым часом представлялось все менее достижимым: он понимал, чем ему грозит откровенный восторг, с каким Матори поглядывал на его ни о чем не подозревавшую жертву. Оставим же негодяя с его тревогами и кознями и обрисуем положение еще некоторых действующих лиц нашей драмы.

Они занимали другой угол сцены. Справа, на краю становища, лежали распростертые на невысоком бугре Мидлтон и Поль. Им до боли туго стянули руки и ноги ремнями, нарезанными из бизоньей шкуры, и ради утонченной жестокости их поместили таким образом, чтобы каждый в терзаниях товарища видел отражение собственной муки. Ярдах в десяти от них можно было видеть фигуру Твердого Сердца: легкий, стройный, как Аполлон, он стоял, прикрученный к столбу, крепко вбитому в землю. Между ним и теми двумя стоял траппер. У старика отобрали длинное его ружье, сумку и рог, но из презрения оставили ему свободу. Однако стоявшие поодаль пять-шесть молодых воинов с колчанами за спиной и длинными тугими луками через плечо зорко приглядывали за пленными, всем своим видом показывая, как будет бесплодна для немощного старика всякая попытка побега. В отличие от всех других, молча следивших за ходом совета, пленники были увлечены разговором, достаточно для них занимательным.

— Скажите, капитан,— начал бортник с комически озабоченным выражением лица, как будто никакие неудачи не могли подавить его буйную жизнерадостность,— этот проклятущий ремень из сыромятной кожи в самом деле врезался вам в плечо или это мне кажется, потому что у меня самого затекла рука?

— Когда так глубоко душевное страдание, тело не чувствует боли,— ответил более утонченный, хотя едва ли столь же бодрый духом Мидлтон.— Эх, когда б один-другой из моих верных бомбардиров набрел на этот чертов лагерь!

— Да! Или можно б еще пожелать, чтоб эти тетонские жилища обратились в шершневые гнезда и чтобы шершни вылетели и накинулись на толпу полуголых дикарей.

Собственная выдумка развеселила бортника. Он отвер-

нулся от товарища и на минуту забыл о боли, представив себе, что его фантазия претворилась в действительность, и воображая, как шершни сломят своими укусами даже стойкую выдержку индейцев.

Мидлтон был рад помолчать; но старик, прислушивавшийся к их словам, подошел поближе и вмешался в разговор.

— Тут затевается, видно, безжалостное, адское дело,— начал он и покачал головой, как бы показывая, что и он, бывалый человек, не находит выхода в трудном этом положении.— Нашего друга пауни уже привязали к столбу для пытки, и я отлично вижу по лицу и по глазам их верховного вождя, что он распаляет свой народ и на другие мерзости.

— Слушай, старый траппер,— сказал Поль, извиваясь в своих ремнях, чтобы заглянуть в его печальное лицо.— Ты мастак по части индейских языков и умеешь разбираться в дьявольских ухищрениях краснокожих. Пойдика на совет и скажи их вождям от моего имени — от имени Поля Ховера из штата Кентукки,— что если они дадут девице Эллен Уэйд целой и невредимой вернуться в Штаты, то он им охотно позволит снять с него скальп в любое время и на любой манер, какой их лучше всего потешит; или, ежели они не пойдут на такие условия, накинь часа два предварительных пыток, чтобы сделка показалась слаще на их чертов вкус.

— Эх, малый! Они и слушать не станут твоих предложений, раз они знают, что ты все равно как медведь в ловушке и не можешь от них убежать. Но не падай духом, потому что для белого человека, когда он один среди индейцев, цвет его кожи иногда — верная смерть, иногда же — надежный щит. Пусть они нас не любят, а все же благоразумие часто связывает им руки. Когда бы краснокожие народы вершили свою волю, вскоре на распаханных полях Америки выросли бы вновь деревья; и в лесах было бы белым-бело от христианских костей. В этом никто

не усомнится, кто знает, какова любовь краснокожего к бледнолицым. Но они нас считали и считали, пока не сбились со счета, а в здравом уме им все же не откажешь. Так что мы еще не обречены; но, боюсь я, для пауни надежды мало!

Умолкнув, старик медленно направился к тому, о ком были его последние слова, и остановился невдалеке от столба. Здесь он стоял, храня молчание и с тем выражением на лице, с каким приличествовало глядеть на такого славного воина и знаменитого вождя, как его пленный товарищ. Но Твердое Сердце смотрел неотрывно вдаль и, казалось, не думал об окружающем.

— Сиу ведут совет о моем брате,— молвил траппер, когда понял, что, только заговорив, привлечет к себе внимание пауни.

Верховный вождь пауни, спокойно улыбаясь, повернул к нему голову и сказал:

— Они считают скальпы над вигвамом Твердого Сердца!

— Бесспорно, бесспорно! В них закипает злоба, когда они вспоминают, сколько ты сразил тетонов, и для тебя сейчас было бы лучше, если бы ты больше дней провел в охоте на оленя и меньше на тропе войны. Тогда какая-нибудь бездетная мать из их племени могла бы принять тебя к себе взамен своего потерянного сына, и жизнь твоя потекла бы, исполненная мира.

— Разве отец мой думает, что воин может умереть? Владыка Жизни не для того открывает руку, чтобы взять назад свои дары. Когда ему нужны его молодые воины, он их зовет, и они уходят к нему. Но краснокожий, на которого он однажды дохнул, живет вечно.

— Да, эта вера утешительней и смиренней, чем та, которой держится этот бездушный тетон! В Волках есть нечто такое, что открывает для них мое сердце: то же мужество, да, та же честь, что в делаварах. И этот юноша... Удивительно, куда как удивительно!.. И годы его, и взор, и сложение... Они могли бы быть братьями!.. Скажи мне, пауни, ты слышал когда-нибудь в ваших преданиях о могущественном народе, что некогда жил на берегах Соленой Воды, далеко-далеко, у восходящего солнца?

— Земля бела от людей того же цвета, что мой отец.

— Нет, нет, я говорю сейчас не о бродягах, которые пробираются в страну, чтоб отнять ее у законных владель-

цев,— я говорю о народе, который красен... был красен — и от краски, и по природе,— как ягода на кусте.

— Я слыхал, старики говорили, будто какие-то отряды скрывались в лесах под восходящим солнцем, потому что не смели выйти в бой на открытые равнины.

— Ваши предания не рассказывают вам о самом великом, самом храбром, самом мудром народе краснокожих, на какой дохнул когда-либо Ваконда?

Отвечая, Твердое Сердце поднял голову с таким достоинством, с таким величием, что даже узы не могли их принизить:

— Может быть, годы ослепили моего отца? Или он видел слишком много сиу и начал думать, что больше нет на земле пауни?

— Ах, такова суетность и гордость человеческая! — в разочаровании сказал по-английски старик.— В краснокожем природа так же сильна, как в груди любого белого. Ведь и делавар мнил бы себя куда могущественнее какого-то пауни, как пауни кичится, что он-де из князей земли. И так оно было между французами из Канады и англичанами в красных мундирах, которых король посылал, бывало, в Штаты, когда Штатов еще не было, а были беспокойные колонии, вечно подававшие петиции; они, бывало, воюют и воюют меж собой и бахвалятся напропалую подвигами, выдавая их перед миром за свои собственные доблестные победы; и неизменно обе стороны забывали назвать скромного солдата, которому на деле обязаны были победой и который тогда еще не допускался к большому костру народного совета и не часто слышал о своем подвиге после того, как храбро его совершил.

Когда он дал таким образом волю своей дремлющей, но не вовсе угасшей солдатской гордости, помимо его сознания вовлекшей его в ту самую ошибку, которую он осуждал, его глаза, засверкавшие на миг отсветом былого пыла, обратили ласково-тревожный взор на обреченного пленника, чье лицо снова приняло выражение холодного спокойствия; и снова казалось, что мыслями пауни унесся вдаль.

— Юный воин,— продолжал старик с дрожью в голосе,— я не был никогда ни отцом, ни братом. Ваконда назначил мне жить в одиночестве. Он никогда не привязывал мое сердце к дому или полю теми ремнями, которые привязывают людей моего племени к их жилью; будь это

иначе, я не совершил бы таких дальних странствий и не повидал бы так много. Но некогда мне довелось долго пробыть среди народа, который жил в упомянутых тобой лесах. Близко узнав этих людей, я полюбил в них честь и старался перенять их мужество. Владыка Жизни в каждого из нас, пауни, вложил сочувствие к человеку. Я не был никогда отцом, но я знаю, что такое отцовская любовь. Ты похож на юношу, который был мне дорог, и я даже начал тешиться мыслью, что в твоих жилах течет его кровь. Но так ли это важно? Ты правильный человек, я это вижу по тому, как ты верен слову; а честность — свойство слишком редкое, ее не забываешь. Сердце мое тянется к тебе, мой юный друг, и я с радостью сделал бы тебе добро.

Пауни выслушал его слова, такие правдивые в их силе и простоте, и в знак благодарности низко склонил голову. Потом, опять подняв темные свои глаза, он устремил их в ширь степей и, казалось, вновь задумался, далекий от заботы о своей судьбе. Зная, какую твердую опору дает воину гордость в тот час, который он считает последним в своей жизни, траппер с тем спокойствием, которому научился в долгом общении с этим замечательным народом, смиренно ждал, чтобы юный его товарищ высказал свое желание.

Наконец застывший взор пауни словно дрогнул, глаза его засверкали. Он быстро переводил взгляд со старика на горизонт и от горизонта опять на его резкие черты, как будто охваченный вдруг тревогой.

— Отец,— отозвался наконец молодой вождь с доверием и лаской в голосе,— я слышал твои слова. Они вошли в мои уши, и теперь они во мне. У Длинного Ножа с белой головой нет сына; Твердое Сердце из народа пауни молод, но он старший в своей семье. Он нашел кости своего отца на охотничьих полях оседжей и отправил их в поля Добрых духов. Великий вождь, его отец, несомненно увидел их и узнал то, что есть часть его самого. Но скоро Ваконда призовет нас обоих; тебя, потому что ты видел все, что можно видеть в этой стране, и Твердое Сердце, потому что ему нужен воин, который молод. У пауни не будет времени исполнить перед бледнолицым свой сыновний долг.

— Как я ни стар, как ни жалок и слаб против того, чем я был когда-то, я, возможно, доживу, чтобы увидеть,

как зайдет над прерией солнце. Ждет ли мой сын, что доживет и он?

— Тетоны считают скальпы на моем жилище! — ответил юный вождь, и в его печальной улыбке загорелся странный отсвет торжества.

— И они увидят, что их много — слишком много, чтоб оставить жизнь их владельцу, раз уж он попал в их мстительные руки. Мой сын не женщина и без страха глядит на тропу, которую должен пройти. Ему ничего не нужно шепнуть в уши его народа перед тем, как он ступит на нее? Эти ноги стары, но они могут еще отнести меня к излучинам Волчьей реки.

— Скажи Волкам, что Твердое Сердце завязал на своем вампуме узел на каждого тетона! — сорвалось с губ пленника с тою страстностью, которая, вдруг прорвавшись, опрокидывает преграду искусственной сдержанности.— Если он хотя бы одного из них встретит на полях Владыки Жизни, его сердце станет сердцем сиу.

— Ох! Такое чувство было бы опасным спутником для белого человека, готового пуститься в последнее странствие! — пробормотал старик по-английски.— Это не то, чему добрые моравские братья учили делаваров, и не то, что так часто проповедуют в своих поселениях белые — хотя, к стыду всей нашей белой расы, сами они плохо следуют собственной проповеди!.. Пауни, я люблю тебя, но я христианин, я не могу нести такую весть.

— Если мой отец боится, что тетоны услышат его, пусть он тихо шепнет эти слова нашим старикам.

— Юный воин, постыдного страха в бледнолицем не больше, чем в краснокожем. Ваконда учит нас любить жизнь, которую он дает; но любить ее надо, как любят мужчины свои охотничьи поля, и своих собак, и свои карабины, а не безгранично и слепо, как любит мать свое дитя. Когда Владыка Жизни призовет меня, ему не придется дважды выкликать мое имя. Я равно готов отозваться на него и сейчас, и завтра, и во всякий день, какой назначит для того его всемогущая воля. Но что такое воин без своих обычаев? Мои запрещают мне нести такие слова.

Величественным кивком вождь показал, что согласен с этим; и уже казалось, что так нежданно пробудившееся доверие сразу и угаснет. Старик, однако, был слишком растроган своими воспоминаниями, долго дремавшими, но неизменно живыми,— не мог он так просто оборвать раз-

говор. С минуту он раздумывал, потом печально поднял взор на своего молодого товарища и продолжал:

— Каждого воина надо судить по его силам. Я сказал моему сыну, чего я не могу, пусть же он откроет свои уши на то, что я могу сделать. Лось не измерит прерию быстрее, чем эти старые ноги, если пауни доверит мне весть, которую может отнести белый человек.

— Пусть бледнолицый слушает,— ответил индеец после одной секунды колебания, вызванного прежним отказом.— Он останется здесь, пока сиу не сосчитают скальпы своих мертвых воинов. Он переждет, пока они не устанут прикрывать лысые головы восемнадцати тетонов кожей одного пауни; пусть глаза его будут широко открыты, чтобы увидеть место, где они зароют кости воина.

— Это я могу, и я это сделаю, благородный юноша.

— Он отметит место, чтобы всегда его узнать.

— Не бойся, не бойся, я никогда не забуду этого места,— перебил старик, готовый расплакаться перед этим неколебимым спокойствием и готовностью принять свою судьбу.

— Теперь я знаю, что мой отец пойдет к моему народу. У него седая голова, и я знаю, что его слова не улетят, как дым. Пусть он подойдет к моему жилищу и громко назовет имя Твердого Сердца. Ни один пауни не будет глух. Потом пусть мой отец попросит, чтобы дали ему молодого жеребца, на котором еще никто не сидел верхом, но который глаже оленя и быстрее лося.

— Я понял тебя, я понял,— опять перебил внимательно слушавший старик.— Что ты сказал, будет сделано; да, будет сделано хорошо, или я совсем не понимаю, чего желает, умирая, индеец.

— А когда наши юноши передадут моему отцу поводья этого жеребца, приведет он его кривой тропой к могиле Твердого Сердца?

— Приведу ли? Да, я приведу, отважный юноша, хотя бы зима завалила эти равнины сугробами и солнце стало бы прятаться днем, как ночью. Я приведу коня к священному месту и поставлю его так, чтобы его глаза смотрели на закат.

— И мой отец заговорит с ним и скажет ему, что хозяин, растивший его с первых дней, теперь зовет его?

— Скажу, скажу; хотя, видит бог, я стану говорить это коню не с тщеславной мыслью, что животное поймет

мои слова, а только чтобы выполнить все, что требуется в согласии с индейским суеверием... Гектор, собачка моя, что ты думаешь насчет разговора с конем?

— Пусть седобородый скажет это жеребцу на языке пауни,— перебил его обреченный пленник, услышав, что старик говорит с собакой на каком-то незнакомом языке.

— Воля моего сына будет исполнена. Этими старыми руками, хоть и надеялся я, что не доведется им больше проливать кровь ни человека, ни зверя, я убью коня на твоей могиле.

— Хорошо! — сказал молодой пауни, и отсвет удовлетворения пробежал по его лицу.— Твердое Сердце понесется на своем коне в блаженные прерии и предстанет перед Владыкой Жизни как вождь!

Мгновенная разительная перемена, происшедшая с лицом индейца, вдруг заставила траппера перевести взгляд в другую сторону, и тут он увидел, что совещание тетонов кончилось и что Матори, сопровождаемый немногими самыми влиятельными воинами, неторопливо направляется к намеченной жертве.

Глава XXVI

Хоть женщина, не склонна я к слезам...
Но в сердце скрыто горе, и оно
Не затопить грозит, а сжечь огнем.

Шекспир

Футах в двадцати от пленников тетоны остановились, и их предводитель знаком подозвал к себе старика. Траппер повиновался, но, отходя, бросил на пауни многозначительный взгляд, как бы еще раз подтверждая, — и юноша понял, что он не забудет своего обещания. Матори, как только пленник подошел достаточно близко, простер руку и, положив ладонь на плечо насторожившегося старика, стоял и долго смотрел ему в глаза, точно хотел проникнуть взором в его затаенные мысли.

— Всегда ли бледнолицый создан о двух языках? — спросил он, убедившись, что тот выдержал взгляд с неизменной твердостью, так же мало устрашенный гневом вождя в этот час, как и всем, что ему грозило в будущем.

— Честность лежит не на коже, а глубже.

— Это так. Теперь пусть мой отец выслушает меня. У Матори только один язык, у седой головы — много. Может быть, они все прямые и ни один из них не раздвоен. Сиу — только сиу, и не более, а бледнолицый — кто угодно! Он может говорить с пауни, и с конзой, и с омахо и может говорить с человеком из своего же народа.

— В поселениях у белых есть люди, которые знают еще больше языков. Но что в том пользы? У Владыки Жизни есть ухо для каждого языка!

— Седая голова поступил дурно. Он сказал одно, а думал другое. Глазами он смотрел вперед, а мыслью — назад. Он ехал на коне тетонов и загнал его; он друг воина-пауни и враг моего народа.

— Тетон, я твой пленник. Хотя слова мои — белые, они не будут жалобой. Верши свою волю.

— Нет. Матори не сделает белые волосы красными. Мой отец свободен. Прерия открыта для него на все стороны. Но, прежде чем он обратится спиной к тетонам, пусть он получше посмотрит на них, чтобы он мог сказать своему вождю, как велик дакота!

— Я не спешу уйти своей тропою. Ты видишь мужчину с белой головой, тетон, а не женщину: я не побегу во весь дух рассказывать народам прерий, что делают сиу.

— Это хорошо. Мой отец курил трубку на многих советах,— ответил Матори, решив, что достаточно расположил к себе старика и может перейти к своей непосредственной цели.— Матори будет говорить языком своего дорогого друга и отца. Бледнолицые, раз они молоды, станут слушать, когда откроет рот старый человек одного с ними племени. Мой отец сделает пригодным для белого уха то, что скажет бедный индеец.

— Говори громко,— сказал траппер, без труда поняв, что вождь в этих образных оборотах приказывает ему стать его переводчиком.— Говори, мои молодые друзья слушают. Ну, капитан, и ты, друг мой бортник, соберитесь с духом, чтобы твердо, как пристало белым воинам, встретить злые ухищрения дикаря. Если вы почувствуете, что готовы содрогнуться под его угрозами, оглянитесь на благородного пауни, чье время отмерено скупой рукой — скупой, как рука торговца, который, чтоб насытить свою жадность, жалкими крохами отпускает в городах плоды

господни. Один лишь взгляд на юношу придаст вам обоим решимости.

— Мой брат направил глаза на ложную тропу,— перебил Матори снисходительным тоном, показавшим, что вождь не хочет обидеть своего будущего переводчика.

— Дакота будет говорить с моими молодыми товарищами?

— После того, как споет песню на ухо Цветку Бледнолицых.

— Вот негодяй, прости его господь! — вскричал по-английски старик.—Нежность, юность, невинность — на все он готов посягнуть в своей жадности. Но жесткие слова и холодный взгляд не помогут; умнее будет говорить с ним по-хорошему... Пусть Матори откроет рот.

— Разве стал бы мой отец громко кричать, чтобы женщины и дети слышали мудрость вождей? Мы войдем в жилище и будем говорить шепотом.

С этими словами тетон повелительно указал на шатер, яркая роспись которого кичливо изображала самые дерзкие из славных подвигов вождя и который стоял несколько в стороне от прочих, показывая этим, что здесь проживает особо почитаемое племенем лицо. Щит и колчан у входа были богаче, чем обычно, а наличие карабина свидетельствовало о высоком ранге владельца. Во всем остальном шатер отмечала скорее бедность, чем богатство. Домашней утвари было немного, да и по отделке она была проще, чем та, что лежала у входа в самые скромные жилища; и здесь совсем не видно было тех высоко ценимых предметов цивилизованной жизни, какие изредка проникают в прерию через торговцев, бессовестно наживающихся на невежестве индейцев. Все это, когда приобреталось, вождь щедро раздавал своим подчиненным, покупая тем самым влияние, делавшее его полновластным хозяином над ними — над их телом и жизнью: род богатства, несомненно более сам по себе благородный и более льстивший его честолюбию.

Старик знал, что это жилище Матори, и по знаку вождя направился к нему медленным, запинающимся шагом. Но были и другие свидетели, не менее заинтересованные в предстоящих переговорах и не сумевшие скрыть свои опасения. Мидлтон, ревниво приглядываясь и прислушиваясь, понял достаточно, чтобы его душа исполнилась

страшных предчувствий. Он сделал отчаянное усилие и, встав на ноги, громко окликнул удалявшегося траппера.

— Заклинаю тебя, старик, если ты истинно любил моих родных и это не пустые лишь слова, если бога ты любишь, как христианин, не пророни ни слова, которое могло бы оскорбить слух моей...

Ему сдавило горло, связанные ноги не держали, он упал на землю и остался лежать, как мертвец.

Поль, однако, подхватил его мысль и закончил просьбу на свой особый лад.

— Слушай, траппер,— закричал он, тщетно пытаясь в подкрепление своих слов погрозить кулаком,— если ты взялся быть переводчиком, говори проклятому дикарю только такое, что следует произносить белому человеку, а язычнику — слушать. Скажи ему от меня, что если он словом или делом обидит девушку, по имени Нелли Уэйд, я перед смертью прокляну его своим последним дыханием; я буду молиться, чтобы все добрые христиане в Кентукки проклинали его: сидя и стоя; за едой и за питьем, в драке, в церкви и на конных скачках; летом и зимой, и в марте месяце; словом — ведь бывает такое! — я буду его преследовать после смерти, если может дух бледнолицего встать из могилы, вырытой руками краснокожих!

Пригрозив этой страшной местью — единственной доступной ему в его положении,— честный бортник был принужден ждать действия своих слов со всей покорностью, какую может проявить гражданин пограничных западных Штатов, когда он глядит в лицо смерти и вдобавок имеет удовольствие видеть себя связанным по рукам и ногам. Чтобы не задерживать нашей повести, мы не станем приводить те своеобразные наставления, которыми он затем попытался приободрить своего павшего духом товарища, или же странные благословения, какие он призывал на все шайки дакотов,— начиная с тех, которые, по его уверениям, занимались грабежом и убийством на берегах далекой Миссисипи, и кончая племенем тетонов, поминаемых им в самых энергичных выражениях. На этих с его уст неоднократно сыпались проклятия, не менее сложные и выразительные, чем знаменитая церковная анафема, знакомством с которой необразованные протестанты обязаны богословским изысканиям Тристрама Шенди[1]. Но Мидл-

[1] Герой одноименного романа Л. Стерна.

тон, как только немного отдышался, постарался утихомирить разбушевавшегося бортника. Его проклятия, указал он, бесполезны и могут лишь ускорить то самое зло, за которое он грозит своею местью: он только распалит ярость в этих людях, достаточно жестоких и необузданных, даже когда они настроены миролюбиво.

Между тем траппер и вождь дакотов продолжали свой путь к шатру. Старик, пока звучали им вслед слова Мидлтона и Поля, напряженно следил за выражением глаз Матори. Но лицо индейца оставалось недвижным: сдержанный и осторожный, он хорошо владел собой и не давал кипевшим в нем чувствам вырваться наружу. Взгляд его был прикован к скромному жилищу, куда они направлялись; и, казалось, в ту минуту все мысли вождя были заняты предстоящей встречей.

Внутренняя обстановка шатра отвечала его внешнему виду. Он был просторней большинства других, более совершенной формы, сделан из лучше выделанных шкур; но на этом и кончалось превосходство. Невозможно представить себе ничего более простого, более скромного, чем домашний быт могущественного и честолюбивого тетона, желавшего казаться скромным своему народу. Набор отличного оружия для охоты, три-четыре медали, выданные канадскими торговцами и политическими агентами в знак почтения к его рангу (или, скорее, в знак его признания), да несколько самых необходимых предметов обихода — вот и все, что имелось в жилище. Не было здесь и обильных запасов оленьего или бизоньего мяса: хитрый владелец шатра отлично понимал, что щедрость его окупится сторицей, если он будет отдавать свою добычу племени — с тем, что ему ежедневно будут выделять изрядную долю общей. На охоте он так же превосходил других, как и на войне; но никогда не вносилась в его дом целая туша оленя или бизона. И наоборот: чуть ли не от каждого животного, доставляемого в лагерь, отрезался кусок на пропитание семьи Матори. Однако расчетливый вождь редко позволял себе принять в дар больше, чем требовалось на один день: он твердо знал, что люди скорей станут мучиться сами, чем позволят голоду (этому проклятию, вечно висящему над дикарем) зажать в своих когтях главнейшего воина племени.

Прямо под любимым луком вождя, окруженная, как магическим кольцом, копьями, щитами, дротиками и стре-

лами, в свое время сослужившими добрую службу, висела таинственная колдовская сумка. Она была изукрашена вампумами и богато расшита бисером и иглами дикобраза, слагавшимися в самый хитроумный узор, какой только может измыслить индеец. Мы уже не раз отмечали свободомыслие Матори в вопросах веры; но, как ни странно, чем он меньше верил в сверхъестественные силы, тем больше чтил их эмблему. В этом противоречии сказалось все то же фарисейское правило показного благочестия: «Пусть видят люди!»

Владелец шатра еще не вступал в него после возвращения из последнего похода. Как догадывается читатель, шатер был превращен в тюрьму для Инес и Эллен. Жена Мидлтона сидела на простом ложе из душистых трав, покрытых звериными шкурами. За короткое время своего плена она уже так настрадалась, столько прошло перед ее глазами диких и неожиданных событий, что с каждым новым несчастьем, падавшим на ее склоненную голову, она все слабей ощущала тяжесть удара. Щеки ее были бескровны, темные и обычно яркие глаза были затуманены выражением неизбывной тревоги, и вся она как будто исхудала, истаяла. Но при этих признаках физической слабости в ней временами проявлялась такая благочестивая покорность, такая кроткая и святая надежда озаряла ее лицо, что было неясно, жалеть ли надо несчастную пленницу или восхищаться ею. Наставления отца Игнасио были живы в ее памяти, и тихая, терпеливая, набожная девушка безропотно приняла новый поворот своей судьбы, как подчинилась бы предписанной епитимье за грехи, хотя в иные минуты природа властно восставала в ней против такого принудительного смирения.

Совсем иначе вела себя Эллен. Она много плакала, и глаза у нее опухли и покраснели от слез. Щеки ее пылали от гнева, и вся она дышала отвагой и негодованием, к которым, однако, примешивалась изрядная доля страха. Словом, и взор и осанка невесты Поля рождали уверенность, что, если придет счастливая пора и бортник будет наконец вознагражден за свое постоянство, он найдет в своей избраннице достойную подругу жизни — как раз под стать его беспечному и горячему нраву.

В маленькой женской группе была еще одна, третья фигура: самая молодая, самая красивая и до последнего времени самая любимая из жен тетона. В глазах мужа она

обладала несомненной привлекательностью, пока им нежданно не открылась более тонкая прелесть бледнолицей женщины. С этой злосчастной минуты красота, преданность и верность молодой индианки потеряли для него былую пленительность. У Тачичены был пусть не столь ослепительный, как у пленной испанки, но все же светлый для ее расы, чистый и здоровый цвет лица. Карие ее глаза были нежны и лучисты, как у антилопы; голос звонкий и веселый, как песня малиновки, а ее радостный смех был как музыка леса. Среди дакотских девушек Тачичена (или Лань) слыла самой веселой и самой желанной невестой. Ее отец был прославленным воином, а братья уже легли костьми на далеких и страшных тропах войны. Не было числа молодым храбрецам, посылавшим дары в жилище ее родителей, но ни одного из них она не слушала, пока не явился посланец от великого Матори. Правда, она стала его третьей женой, но зато, как знали все, самой любимой. Их союз длился лишь два коротких года, и плод его сейчас лежал у ее ног и мирно спал, завернутый, как полагалось, в мех и бересту — свивальники индейского младенца.

В то мгновение, когда Матори и траппер появились у входа в шатер, молодая жена тетона сидела на грубой скамье, переводя свой кроткий взгляд, изменчивый, как ее чувства,— то нежный, то восторженный,— со своего младенца на те невиданные создания, которые наполнили ее молодой неискушенный ум удивлением и восхищением. Хотя Инес и Эллен были у нее перед глазами целый день, сколько она ни смотрела на них, ее ненасытное любопытство, казалось, лишь росло. Они ей представлялись чем-то

совершенно отличным от женщин прерии — существами иной природы, иных условий жизни. Даже загадка их сложной одежды оказывала свое тайное действие на ее простую душу; но сильнее всего ее пленяла их женская грация, которую одинаково чувствуют все народы. Все же, хотя в простоте души она признавала превосходство чужеземок над скромной прелестью девушек сиу, это не вызывало в ней злобной зависти. Муж сейчас впервые после возвращения из недавнего набега навестил шатер, а он всегда представал ее мыслям как суровый воин, не стыдившийся в часы досуга дать волю более мягким чувствам отца и супруга.

Мы везде старались показать, что Матори, сохраняя отличительные свойства истого воина прерий, в то же время далеко опередил свой народ, немного уже приобщившись цивилизации. Ему часто доводилось иметь дело с канадскими купцами и солдатами пограничных отрядов, и общение с ними опрокинуло многое в тех дикарских представлениях, которые он всосал с молоком матери, но не дало взамен других, достаточно определенных, чтобы от них была какая-то польза. Его суждение было не так верным, как хитрым, а философия больше смелой, чем глубокой. Как тысячи более просвещенных людей, воображающих, что они могут, опираясь только на отвагу, пройти через все испытания жизни, он умел приспособить свою мораль к обстоятельствам и следовал себялюбивым побуждениям. Конечно, эти особенности его характера надо понимать применительно к индейскому быту, хоть нам и нет нужды оправдываться, когда мы отмечаем сходство между людьми, обладающими, по существу, одной и той же природой, как бы ни видоизменилась она в различных условиях жизни.

Невзирая на присутствие Инес и Эллен, в шатер своей любимой жены воин-тетон вошел как хозяин — твердой поступью и с властным выражением лица. Его мокасины ступали бесшумно, но звон браслетов и серебряных побрякушек на гетрах достаточно ясно возвестил о его приближении, когда он откинул у входа в шатер завесу из шкур и предстал его обитательницам. От неожиданной радости с губ Тачичены сорвался легкий крик, но она мгновенно подавила волнение: замужней женщине ее племени не подобало обнаруживать свои чувства. Не отвечая на робкий, брошенный исподтишка взгляд молодой жены, пре-

зрев ее тайную радость, Матори направился к ложу, на котором сидели пленницы, и выпрямился перед ними со всею гордостью индейского вождя. Траппер проскользнул мимо него и стал так, чтоб удобнее было переводить.

Женщины, пораженные, молчали, затаив дыхание. Хоть они и привыкли к виду воинов-индейцев в их грозном боевом снаряжении, так внезапен был этот приход, так дерзок красноречивый взгляд победителя, что обе в смущении и ужасе опустили глаза. Инес первая овладела собой и, обратившись к трапперу, спросила с достоинством оскорбленной аристократки, но, как всегда, учтиво, чему они обязаны этим нежданным визитом. Старик колебался; однако, прокашлявшись, как будто приступая к трудному и непривычному делу, он отважился на такой ответ:

— Леди,— начал он,— дикарь — он дикарь и есть, и вам не приходится ждать, чтобы в голой прерии под буйным ветром соблюдались те же обычаи и приличия, что и в поселениях белых людей. Любезности и церемонии так мало весят — как сказали бы те же индейцы,— что их легко сдувает. Сам я хоть и лесной человек, а я в свое время видел, как живут большие люди, и меня не надо учить, что у них другой уклад, чем у людей, поставленных ниже. В молодости я долго был слугой; не из тех, что мечутся по дому и разрываются на части, угождая хозяину: я состоял при офицере и бродил с ним по лесам, и я знаю, как положено подходить к жене капитана. Если бы мне поручили доложить о таком госте, я бы сперва громко кашлянул за дверью — предупредил бы вас этим, что пришел посторонний человек, а потом бы...

— Дело не в манерах,— перебила Инес, слишком встревоженная, чтобы слушать до конца пространные объяснения старика.— Скажите, чем вызван приход вождя?

— Об этом дикарь скажет вам сам... Дочери бледнолицых хотят знать, почему великий тетон пришел в свое жилище.

Недоуменным взглядом Матори дал понять, что считает такой вопрос ни с чем несообразным. Потом, выждав минуту, он придал себе снисходительный вид и ответил:

— Пой для ушей черноглазой. Скажи ей, что дом Матори очень велик и что он не полон. Она найдет в нем место, и в доме никто не будет выше ее. Скажи светловолосой, что и она может остаться в доме воина и есть его дичь. Матори великий вождь. Его рука щедра.

— Тетон! — возразил траппер и покачал головой, показывая, что решительно не одобряет такую речь.— Слова краснокожего следует окрасить в белое, только тогда они станут музыкой в ушах бледнолицей. Если мои дочери услышат, что сказал твой язык, они закроют уши и глазам их покажется, что Матори — торговец. Теперь слушай, что скажет седая голова, а потом ты скажешь сам. Мой народ — могучий народ. Солнце встает на восточной границе его страны и садится на западной. Его земля полна ясноглазых смеющихся девушек, как эти, которых ты видишь... Да, тетон, я не лгу,— добавил он, уловив, что губы индейца чуть покривились от недоверия,— ясноглазых и приятных с виду, как эти перед тобой.

— Может быть, у моего отца сто жен? — перебил вождь. Он положил палец траппера на плечо и с любопытством ждал ответа.

— Нет, дакота. Владыка Жизни сказал мне: «Живи один; твоим вигвамом будет лес; крышей над ним будут облака». Но хотя я никогда не приобщался к таинству, которое в моем народе связывает мужчину с женщиной, одного с одной, я часто видел, как действует доброе чувство, приводящее их друг к другу. Пройди по землям моего народа, и ты увидишь: дочери страны порхают по улицам города, как веселые многоцветные птицы в пору цветов. Ты их встретишь, поющих и радостных, на больших дорогах страны, и ты услышишь, что леса звенят их смехом. Они очень хороши на вид, и молодые люди с большим удовольствием смотрят на них.

— Уэг! — воскликнул жадно слушавший Матори.

— Да, ты можешь верить тому, что слышишь, это не ложь. Но, когда юноша нашел девушку, угодную ему, он ей это скажет так тихо, что никто другой не услышит. Он не говорит: «Мой дом пуст, и в нем хватит места еще на одного». Он говорит: «Не должен ли я построить дом? И не укажет ли дева, у какого ручья желает она поселиться?» Голос его слаще меда от цвета акации и проникает в уши песней жаворонка. Поэтому, если брат мой хочет, чтоб его слушали, он должен говорить белым языком.

Матори глубоко задумался, не пытаясь скрыть свое смущение. Так унизиться воину перед женщиной — это значило опрокинуть все устои, и, по его твердому убеждению, это умалило бы достоинство вождя. Но Инес сидела

перед ним, сдержанная, властно-неприступная, не зная, с чем он пришел, меньше всего догадываясь о его истинной цели,— тетон невольно поддался воздействию этой непривычной для него манеры. Склонив голову в знак признания своей ошибки, он отступил на шаг и, приняв небрежно горделивую осанку, заговорил с уверенностью человека, чье красноречие возвысило его над другими не меньше, чем бранные подвиги. Не сводя глаз с недогадливой юной жены Мидлтопа, он начал так:

— Я краснокожий, но глаза мои темны. Они были открыты много зим. Они многое видели — они умеют отличить храброго от труса. Мальчиком я не видал ничего, кроме бизона и оленя. Я стал ходить на охоту и увидел кугуара и медведя. Это сделало Матори мужчиной. Он больше не стал говорить со своею матерью. Его уши открылись для мудрости стариков. Старики рассказали ему обо всем — рассказали ему о Больших Ножах. Он ступил на тропу войны. Тогда он был последним — теперь он первый. Какой дакота посмеет сказать, что выйдет впереди Матори на поля охоты пауни? Вожди встречали его у своих дверей и говорили ему: «У моего сына нет очага». Они ему отдавали свои жилища, и отдавали свои богатства, и отдавали своих дочерей. Матори стал вождем, как были вождями его отцы. Он побеждал воинов всех народов, и он мог бы привести себе жен от пауни, и омахов, и конзов; но он глядел не на свое селенье, а на поля охоты. Он думал, что конь милей, чем любая девушка дакотов. Но он нашел среди равнин цветок, и сорвал его, и принес в свой дом. Он забывает, что владеет лишь одним конем. Захватив коней, он их всех отдаст пришельцу, потому что Матори не вор; он хочет удержать только цветок, который он нашел среди равнин. У девушки-цветка ноги очень нежны. Она не дойдет на них до дома своего отца; она останется навсегда в вигваме доблестного воина.

Кончив свою торжественную речь, тетон ждал, пока ее переведут, с видом жениха, вполне уверенного в успехе своего сватовства. Траппер запомнил речь от слова до слова и обдумывал, как ему передать ее таким образом, чтобы в переводе ее главный смысл стал еще более темен, чем был на языке дакотов. Но, едва он раскрыл рот, не желавший раскрыться, Эллен подняла палец и, бросив быстрый взгляд на готовую слушать Инес, перебила его.

— Не утруждайтесь даром,— сказала она.— Что бы ни сказал дикарь, этого нельзя повторять перед белой женщиной!

Инес вздрогнула, покраснела, холодно с легким поклоном поблагодарила старика за его старания и добавила, что хотела бы теперь побыть одна.

— Мои дочери не нуждаются в ушах, чтобы понять великого дакоту,— сказал траппер, повернувшись к ожидавшему ответа Матори.— Его глаз и движение руки сказали достаточно. Они его поняли; они хотят обдумать его речь, потому что дочери великих храбрецов, какими были их отцы, всегда долго думают, прежде чем что-нибудь сделать.

Такое разъяснение, льстившее ораторскому самолюбию Матори и его пылким надеждам, вполне удовлетворило его. Он ответил обычным возгласом согласия и приготовился выйти. Простившись с женщинами в холодной, но полной достоинства манере дакотов, он плотно завернулся в плащ и направился к выходу с видом плохо скрытого торжества.

Но была при этой сцене свидетельница, подавленная, недвижная, никем не замечаемая. Каждое слово, слетавшее с уст супруга, которого она ждала так долго и тревожно, ножом врезалось в сердце его кроткой жены. Вот так же, с такими же речами, пришел он свататься к ней в вигвам ее отца; и, слушая восхваление подвигов самого храброго воина племени, она стала глуха к нежным словам многих юношей-сиу.

Когда тетон повернулся, как мы сказали, к выходу, он неожиданно увидел перед собой свою забытую жену. В скромной одежде, со смиренным видом, подобающим молодой индианке, она стояла прямо на его пути, держа на руках залог их недолгой любви.

Вождь отпрянул, но тут же его лицо приняло прежнее выражение каменного безразличия, так отвечавшее необычайной сдержанности индейца, если даже и было оно усвоено искусственно, и властным жестом отстранил ее.

— Разве Тачичена не дочь вождя? — спросил тихий голос, в котором гордость боролась с тоской.— Разве братья ее не были храбрыми воинами?

— Уходи. Мужчины зовут своего великого вождя. Его уши закрыты для женщины.

— Нет,— возразила просительница,— ты слышишь не голос Тачичены: это мальчик говорит языком своей ма-

тери. Он сын вождя, и его слова должны дойти до ушей его отца. Слушай, что он говорит: «Бывало ли когда, чтобы Матори был голоден, а у Тачичены не нашлось для него еды? Бывало ли когда, чтобы Матори, выйдя на тропу пауни, нашел ее пустой, а моя мать не заплакала бы, горюя вместе с ним? Или когда он приходил со следами их ударов на теле, чтобы она не запела? Какая женщина племени сиу подарила мужу такого сына, как я? Погляди на меня получше, чтобы знать, каков я. У меня глаза орла. Я смотрю на солнце и смеюсь. Пройдет не много времени, и дакоты будут следовать за мною на охоте, а потом и на тропе войны. Почему мой отец отворачивает взгляд от женщины, которая поит меня своим молоком? Почему он так скоро забыл дочь могущественного сиу?»

На одно короткое мгновение отец позволил своим холодным глазам скользнуть по лицу смеющегося мальчика, и тогда показалось, что суровое сердце тетона дрогнуло. Но, отбросив все добрые чувства, чтобы вместе с ними освободиться и от стеснительных укоров совести, он спокойно положил руку на плечо Тачичены и молча подвел ее к Инес. Указав на милое лицо испанки, с добротой и состраданием глядевшей на нее, он помедлил, давая жене оценить красоту, будившую в чистой душе индианки восхищение, столь же сильное, как то опасное чувство, которое пленница внушила неверному мужу. Затем, решив, что жена достаточно налюбовалась, он вдруг поднес к ее лицу висевшее у нее на шее украшение — зеркальце, которое он сам недавно подарил ей в знак признания ее красоты: пусть же теперь она увидит в нем свое темное лицо! Завернувшись в свой плащ, тетон сделал трапперу знак следовать за собой и с надменным видом вышел из хижины, уронив на ходу:

— Матори очень мудр! У какого народа есть такой великий вождь, как у дакотов?

Тачичена, униженная и смиренная, застыла как статуя. Только ее кроткое и всегда веселое лицо подергивалось, отражая напряженную борьбу: как будто готова была оборваться связь между ее душой и более материальной частью ее существа, которая стала ей мерзка своим уродством. Пленницы не поняли, что произошло между нею и мужем, хотя быстрый ум Эллен позволил ей заподозрить правду, тогда как Инес в своем полном неведении не могла найти к ней ключа. Обе они, однако, были готовы излить

на индианку нежное сочувствие, так свойственное женщинам — и так украшающее их,— когда вдруг оно показалось будто излишним. Судорога, кривившая черты Тачичены, исчезла, и ее лицо стало холодным и недвижным, точно изваянное в камне. Сохранилось только выражение затаенной муки, запечатлевшейся на лбу, который горе успело изрезать морщинами. Они уже никогда не сходили в долгой смене весен и зим, счастья и горестей, которые ей приходилось терпеть в ее страдальческой доле дикарки. Так растение, тронутое морозом, хотя бы и ожило после, навсегда сохранит на себе следы иссушающего прикосновения.

Сперва Тачичена сняла все до последнего украшения, грубые, но высоко ценимые, которыми ее так щедро одаривал муж, и кротко, без ропота сложила их перед Инес, как бы в дань победившей сопернице. Сорвала браслеты с рук, а с обуви — сложные подвески из бус, сняла со лба широкий серебряный обруч. Потом остановилась в долгом и мучительном молчании. Но, видимо, решение, раз принятое, уже не могли сломить никакие чувства, противящиеся ему — хотя бы и самые естественные. Вслед за прочим к ногам испанки был положен мальчик, и теперь жена тетона в своем уничижении справедливо могла бы сказать, что пожертвовала всем до конца.

Инес и Эллен в недоумении следили за странными действиями индианки, когда вдруг зазвучал тихий, мягкий, мелодический голос, произнесший на непонятном для них языке:

— Чужие уста скажут моему мальчику, как ему сделаться мужчиной. Он услышит новую речь, но он научится ей и забудет голос матери. Так пожелал Ваконда, и женщина племени сиу не жалуется. Говори с ним тихо, потому что его уши очень маленькие; когда он вырастет большой, твои слова могут стать громче. Не дай ему сделаться девочкой, потому что жизнь женщины очень печальна. Учи его смотреть на мужчин. Покажи ему, как надо поражать тех, кто делает зло, и пусть он никогда не забывает отвечать ударом на удар. Когда он пойдет на охоту, пусть Цветок Бледнолицых,— сказала она в заключение, с горечью повторив метафору, найденную ее вероломным мужем,— тихо шепнет ему на ухо, что мать его была краснокожей и что когда-то ее называли Ланью дакотов.

Тачичена крепко поцеловала сына в губы и отошла в дальний угол хижины. Здесь она натянула на голову свой легкий миткалевый плащ и села в знак смирения на голую землю. Все попытки привлечь ее внимание остались тщетны. Она как будто не слышала уговоров, не чувствовала прикосновений. Раза два из-под дрогнувшего покрова донесся ее голос — что-то вроде жалобного пения, но оно не зазвучало буйной музыкой дикарей. Так, не открывая лица, она сидела долгие часы, пока за завесой шатра свершались события, которые не только внесли решительную перемену в ее собственную судьбу, но надолго оставили след в жизни кочевников сиу.

Глава XXVII

Не надобно мне буянов Самые лучшие люди оказывают мне почет и уважение. Заприте двери! Не пущу я к себе буянов! Не затем я столько лет на свете прожила, чтобы впускать к себе буянов. Заприте двери, прошу вас.

Шекспир, «Генрих IV»

Выйдя из шатра, Матори столкнулся у входа с Ишмаэлом, Эбирамом и Эстер. Скользнув взглядом по лицу великана скваттера, коварный тетон сразу понял, что перемирие, которое он в своей мудрости сумел заключить с бледнолицыми, глупо давшими себя обмануть, может вот-вот нарушиться.

— Слушай ты, седая борода! — сказал Ишмаэл, схватив траппера за плечо и завертев его, точно волчок.— Мне надоело объясняться на пальцах вместо языка, ясно? Так вот, ты будешь моим языком, и, что я ни скажу, ты будешь все повторять за мной по-индейски, не заботясь о том, по нутру краснокожему мои слова или не по нутру.

— Говори, друг,— спокойно отвечал траппер,— твои слова будут переданы так же прямо, как ты их скажешь.

— Друг! — повторил скваттер, окидывая его странным взглядом.— Ладно, это всего лишь слово, звук, а звук костей не переломит и ферму не опишет. Скажи этому вору сиу, что я пришел к нему с требованием: пусть выполняет

условия, на которых мы заключили наш нерушимый договор там, под скалой.

Когда траппер передал смысл его слов на дакотском языке, Матори в притворном изумлении спросил:

— Брату моему холодно? Здесь вдоволь бизоньих шкур. Или он голоден? Мои молодые охотники тотчас принесут в его жилище дичь.

Скваттер грозно поднял кулак и с силой стукнул им по раскрытой ладони, точно хотел показать, что не отступится от своего.

— Скажи этому плуту и лгуну, что я пришел не как нищий, которому швыряют кость, а как свободный человек за своим добром. И я свое получу. А еще скажи ему, что я требую, чтобы и ты тоже, старый грешник, был отдан мне на суд. Счет правильный. Мою пленницу, мою племянницу и тебя — трех человек,— пусть выдаст мне их с рук на руки по клятвенному договору.

Старик выслушал невозмутимо и, загадочно улыбнувшись, ответил:

— Друг скваттер, ты требуешь того, что не всякий мужчина согласится отдать. Вырви сперва язык изо рта тетона и сердце из его груди.

— Ишмаэл Буш, когда требует своего, не смотрит, какой и кому он наносит ущерб. Передай ему всё слово в слово на индейском языке. А когда речь дойдет до тебя, покажи знаком, чтобы и белому было понятно. Я должен видеть, что ты не соврал.

Траппер засмеялся своим беззвучным смехом, что-то пробормотал про себя и повернулся к вождю.

— Пусть дакота откроет уши очень широко,— сказал он,— чтобы в них вошли большие слова. Его друг Длинный Нож пришел с пустой рукой и говорит, что тетон должен ее наполнить.

— Уэг! Матори богатый вождь. Он хозяин прерий.

— Он должен отдать темноволосую.

Брови вождя сдвинулись так гневно, что, казалось, скваттер немедленно поплатится за свою дерзость. Но, тут же вспомнив вдруг, какую повел игру, Матори сдержался и лукаво ответил:

— Для руки такого храброго воина девушка слишком легка. Я наполню его руку бизонами.

— Он говорит, что ему нужна также и светловолосая: в ее жилах течет его кровь.

— Она будет женой Матори. Длинный Нож станет тогда отцом вождя.

— И меня,— продолжал траппер, сделав при этом один из тех красноречивых жестов, посредством которых туземцы объясняются почти так же легко, как при помощи языка, и в то же время повернувшись к скваттеру, чтобы тот видел, что он честно передал все.— Он требует и меня, жалкого, дряхлого траппера.

Дакота с сочувственным видом обнял старика за плечи, прежде чем ответил на это третье и последнее требование.

— Мой друг очень стар,— сказал он,— ему не под силу далекий путь. Он останется с тетонами, чтобы его слова учили их мудрости. Кто из сиу обладает таким языком, как мой отец? Никто. Пусть будут его слова очень мягки, но и очень ясны: Матори даст шкуры и даст бизонов; он даст жен молодым охотникам бледнолицего; но он не может отдать никого из тех, кто живет под его кровом.

Полагая вполне достаточным свой короткий и внушительный ответ, вождь направился к ожидавшим его советникам, но на полдороге вдруг повернулся и, прерывая начатый траппером перевод, добавил:

— Скажи Большому Бизону (так тетоны успели окрестить Ишмаэла), что рука Матори всегда открыта. Посмотри,— и он указал рукой на жесткое, морщинистое лицо внимательно слушавшей Эстер,— его жена слишком стара для такого великого вождя. Пусть он удалит ее из своего дома. Матори его любит, как брата. Он и есть брат Матори. Он получит младшую жену великого тетона. Тачичена, гордость юных дакоток, будет жарить ему дичь, и многие храбрые воины будут смотреть на него завистливыми глазами. Скажи ему, что дакота щедр.

Полное хладнокровие, с каким тетон заключил свое смелое предложение, поразило даже видавшего виды траппера. Не умея скрыть изумление, старик молча смотрел вслед удаляющемуся индейцу; и он не пытался вернуться к прерванному переводу, покуда вождь не скрылся в толпе обступивших его воинов, которые так долго и, как всегда терпеливо, ждали его возвращения.

— Вождь тетонов сказал очень ясно,— начал старик, повернувшись к скваттеру: — он не отдаст тебе знатную даму, на которую, видит бог, ты имеешь такое же право, как волк на ягненка. Он не отдаст тебе девушку, которую

ты называешь своей племянницей, и тут, признаться, я не очень уверен, что правда на его стороне. И, кроме того, друг скваттер, он наотрез отказывается выдать и меня, хотя я жалок и ничтожен. И, по правде сказать, я склонен думать, что он поступает не так уж неразумно, так как я по многим причинам не хотел бы отправиться с тобою вместе в дальний путь. Зато он со своей стороны делает тебе предложение, которое по справедливости и удобства ради ты должен узнать. Тетон говорит через меня — и я тут не более, как его уста, а потому не в ответе за его грешные слова,— он говорит, что эту добрую женщину уже не назовешь пригожей, потому что не в тех она годах, и что ты, должно быть, наскучил такой женой. Поэтому он предлагает тебе прогнать ее из твоего жилья, а когда там будет пусто, он пришлет тебе на ее место самую любимую свою жену, вернее ту, которая была самой любимой,— Быструю Лань, как ее прозвали сиу. Ты видишь, сосед, хотя краснокожий надумал удержать твою собственность, он готов дать тебе кое-что взамен, чтобы ты не остался внакладе.

Ишмаэл мрачно слушал эти ответы на все свои требования, и на его лице проступало постепенно накапливающееся негодование, которое у таких тупо равнодушных людей переходит иногда в самую неистовую ярость. Поначалу он даже сделал вид, что его позабавила эта глупая выдумка: сменить испытанную старую подругу на более гибкую опору — юную Тачичену. Он захохотал, но хохот прозвучал неестественно и глухо. Зато Эстер не увидела в предложении ничего смешного. Она чуть не задохнулась от злости, но, как только перевела дух, завопила истошным, пронзительным голосом:

— Да где ж это видано! Кто поставил индейца заключать и расторгать браки? Посягать на права замужней женщины! Он что думает, женщина — это дикий зверь его прерий и нужно ее гнать из деревни ружьями и собаками? А ну-ка, пусть самая храбрая из его скво выйдет сюда, и посмотрим, что она может. Может она показать вот таких детей, как у меня? Он подлый тиран, этот краснокожий вор, скажу я вам, наглый мошенник! Суется командовать в чужих домах! Чего он смыслит? Что девчонка-попрыгунья, что порядочная женщина,— для него все одно. А ты-то, Ишмаэл Буш, отец семи сыновей и стольких пригожих дочек! Туда же, разинул рот, да вовсе не затем,

чтобы отругать негодяя! Неужто ты опозоришь свою белую кожу, свою семью и страну — смешаешь свою белую кровь с красной и наплодишь ублюдков? Дьявол не раз искушал тебя, муж, но никогда еще он так искусно не ставил тебе свои сети. Ступай отсюда, иди к детям. Ступай и помни: ты не зверь, не медведь, а крещеный человек, и ты, слава тебе господи, мой законный муж!

Рассудительный траппер так и думал, что Эстер поднимет бучу. Было нетрудно предугадать, как взбесится эта кроткая дама, услыхав, что мужу предлагают выгнать ее из дому; и теперь, когда буря разразилась, старик воспользовался случаем и отошел в сторонку, покуда не попался под руку ее менее вспыльчивому, но не в пример более опасному супругу. Ишмаэл предполагал во что бы то ни стало добиться своего, но под бурным натиском супруги он был вынужден изменить свое решение, как нередко поступают и более упрямые мужья; и, чтобы укротить ее бешеную ревность, похожую на ярость медведицы, защищающей своих медвежат, Ишмаэл поспешил убраться подальше от шатра, где находилась, как знали все, невольная виновница разыгравшегося скандала.

— Пусть-ка твоя меднокожая девка выйдет покрасоваться своей чумазой красотой! — кричала между тем Эстер, воинственно размахивая руками.— Посмотрю я, как она посмеет показаться женщине, которая слышала, и не раз, звон церковных колоколов и знает, что такое прочный брак! — И она погнала Ишмаэла с Эбнрамом назад, к их жилью, точно двух мальчишек, прогулявших школу.— Я ей покажу, уж я ей покажу, она у меня пикнуть не посмеет! А вы даже и не думайте околачиваться здесь; чтоб у вас и в мыслях не было заночевать в таком месте, где дьявол расхаживает, как у себя дома, и знает, что ему рады-радешеньки. Эй вы, Эбнер, Энок, Джесс, куда вы подевались? Живо запрягайте! Если наш дурень отец, жалкий разиня, станет пить и есть с краснокожими, они, хитрецы, еще подсыплют ему какого-нибудь зелья! Мне-то все одно, кого бы он ни взял на мое место, когда оно опустеет по закону... Но не думала я, Ишмаэл, что ты после белой женщины польстишься на бронзовую или, скажем, на медную! Да, на медную — ей медяк красная цена!

Наученный горьким опытом, скваттер не пытался утихомирить разбушевавшуюся супругу, жестоко уязвленную в своем женском тщеславии, и лишь изредка прерывал ее

певнятными восклицаниями, убеждая, что он ни в чем не виноват. Но она не унималась и не слушала ничего, кроме собственного голоса, а другие ничего не слышали, кроме ее требований немедленно уезжать.

Предвидя, что в случае крайности ему придется прибегнуть к решительным мерам, скваттер заблаговременно согнал скот и нагрузил фургоны. Таким образом, можно было, не задерживаясь, сняться с места, как того хотела Эстер. Сыновья недоуменно переглядывались, пока мать бушевала, однако не проявили особого любопытства, так как подобные сцены были для них не внове. По приказу отца шатры из шкур, предоставленные им дакотами, тоже побросали в фургоны, чтобы проучить вероломных союзников, после чего караван двинулся в путь на обычный свой манер — медленно и лениво.

Так как фургон был хорошо защищен с тыла шестеркой дюжих молодцов с оружием в руках, дакоты проводили его взглядом, не выдав ни удивления, ни досады. Дикарь что тигр: он редко нападает на противника, когда тот ждет нападения; и если воины сиу замышляли враждебные действия, у них, как у хищного зверя, хватало терпения выждать, затаясь до той поры, когда жертву можно будет свалить с ног одним ударом и наверняка. Впрочем, без сигнала от Матори они ничего бы и не начали, Матори же глубоко затаил свои намерения. Быть может, вождь втайне ликовал, что ему удалось так легко отделаться от союзников с их неприятными требованиями; быть может, он выжидал более подходящей минуты, чтобы показать свою силу; а может быть, поглощенный более важными делами, он просто не мог думать ни о чем другом.

Но Ишмаэл, хотя ему и пришлось пойти на уступку, чтобы утихомирить Эстер, отнюдь не оставил своих первоначальных намерений. Он отошел со своим караваном примерно на милю, держась все время берега реки, и, выбрав удобное для стоянки место на склоне высокого холма, расположился на ночлег. Опять раскинули шатры, выпрягли лошадей, отправили их пастись вместе со стадом в долине под холмом, и всеми этими привычными, необходимыми для ночлега приготовлениями Ишмаэл занимался спокойно, не спеша, как будто не было рядом опасных соседей, которым он не побоялся бросить дерзкий вызов.

А тем временем тетоны готовились к совету, на котором

Местом своего собрания тетоны выбрали площадку у столба, к которому был привязан их главный пленник.

должно было решиться другое безотлагательное дело. Как только им стало известно, что Матори возвращается, захватив в плен грозного и ненавистного вождя паунп, в лагере поднялось ликование. Чтобы никто не помышлял о милосердии к врагу, из шатра в шатер ходили старухи дакотки и всячески разжигали ярость воинов. С одним они заводили речь о сыне, чей скальп, подвешенный над дымным очагом, сушится в хижине паунп, с другим — о его собственных ранах, о позоре проигранных битв; тому напоминали, сколько лошадей и сколько шкур отнял у него враг, а этому — как паунп посрамил его и как должно теперь отомстить.

Наслушавшись таких речей, все явились на совет распаленные до предела, хотя еще было неясно, как далеко они собирались пойти в своей мести. Разумно ли будет расправиться с пленниками? На этот счет мнения сильно расходились, и Матори не спешил приступать к обсуждению, так как не был заранее уверен, к чему оно приведет: будет ли решение совета благоприятно для его собственных планов или же, напротив, помешает им. Пока велись только предварительные совещания, в которых каждый вождь старался выяснить, на какое число сторонников он может рассчитывать, когда волнующий всех вопрос будет обсуждаться на совете племени. Теперь пришло время начинать совет, и приготовления проводились с торжественностью и достоинством, как и подобало в этом важном случае.

С утонченной жестокостью тетоны местом своего собрания выбрали площадку у столба, к которому был привязан их главный пленник. Мидлтона и Поля принесли и связанных положили у ног паунп; потом мужчины стали рассаживаться, каждый занимая место в соответствии со своим правом на отличие. Воины подходили один за другим и садились, располагаясь по широкому кругу, спокойные и важные, как будто каждый приготовился вершить справедливый суд. Были оставлены места для трех-четырех главных вождей; да несколько древних старух, иссохших, как только могли иссушить их годы, холод и зной, и тяготы жизни, и буйство дикарских страстей, проникли в самый передний ряд: ненасытная жажда мести толкнула их на эту вольность, а испытанная верность своему народу послужила ей извинением.

Кроме упомянутых вождей, все были на своих местах. Вожди же медлили приходом в тщетной надежде, что их

единодушие позволит устранить и расхождения между группами их приверженцев: ибо, как ни влиятелен был Матори, а власть свою мог поддерживать, лишь опираясь на мнение стоящих ниже. Когда эти важные особы наконец все вместе вступили в круг, их угрюмые взоры и насупленные лбы достаточно ясно говорили, что и после длительного совещания они не пришли к согласию. Глаза Матори непрестанно меняли свое выражение, то вспыхивая огнем при внезапных движениях чувства, то снова леденея в неколебимой сдержанности, более подобавшей вождю на совете. Он сел на место с нарочитой простотой дема гога; но огненный взгляд, каким он тотчас же обвел молчаливое собрание, выдал в нем тирана.

Когда все наконец собрались, один из престарелых воинов зажег большую трубку племени и покурил из нее на четыре стороны — на восток, на юг, на запад и на север. Это было умиротворяющее жертвоприношение. Завершив ритуал, старец протянул трубку Матори, а тот с напускным смирением передал ее своему соседу, седоволосому вождю. После того как все поочередно затянулись из трубки, установилось торжественное молчание, точно это курение было не только обрядом, но и в самом деле расположило каждого глубоко обдумать предстоящее решение. Затем встал один старый индеец и начал так:

— Орел у порогов Бесконечной реки вышел на свет из яйца лишь через много снегов после того, как моя рука впервые убила пауни. Что говорит мой язык, видали мои глаза. Боречина очень стар. Горы стояли, где стоят, дольше, чем он живет в своем племени, и реки делались полны и пусты раньше, чем он родился; но где тот сиу, который это знает, помимо меня? Сиу услышат, что он скажет. Если иные его слова упадут на землю, они их поднимут и поднесут к своим ушам. Если иные улетят по ветру, мои молодые воины, которые очень быстры, перехватят их. Теперь слушайте. С тех пор как бежит вода и растут деревья, тетон на своей военной тропе находил пауни. Как любит кугуар антилопу, так дакота любит своего врага. Когда волк встречает косулю, разве он ложится и спит? Когда кугуар видит лань у ключа, разве он закрывает глаза? Вы знаете, что нет. Он тоже пьет; но не воду, а кровь! Сиу — быстрый кугуар, пауни — дрожащий олень. Пусть мои дети услышат меня. Они признают, что мои слова хороши. Я кончил.

Глухой, гортанный возглас одобрения вырвался у каждого сторонника Матори, когда они выслушали кровавый совет одного из старейших в народе. Мстительность, глубоко внедрившись в их души, стала отличительной чертой их нравственного облика,—тем отраднее было им слушать иносказательные намеки старого вождя. Матори заранее радовался успеху своих замыслов, видя, как сочувственно большинство собравшихся принимает речь его друга. Все же до единодушия было еще далеко. После речи первого оратора, как требовал обычай, выдержали долгое молчание, чтобы все могли оценить ее мудрость, прежде чем другой вождь возьмет на себя смелость ее опровергнуть. Второй оратор, хотя весна его дней тоже давно миновала, был все же не так стар, как его предшественник. Он понимал невыгоду этого обстоятельства и постарался, по возможности, уравновесить его преувеличенным самоуничижением.

— Я только ребенок,— начал он и украдкой поглядел вокруг, чтобы увериться, насколько его признанная репутация храброго и рассудительного вождя опровергала это утверждение.— Я жил среди женщин в ту пору, когда мой отец был уже мужчиной. Если моя голова седа, то это не потому, что я стар. Тот снег, что падал на нее, пока я спал на тропах войны, примерз к моим волосам, и жаркому солнцу у селений оседжей оказалось не под силу его растопить.

Тихий ропот пробежал по рядам, выразив восхищение теми делами оратора, о которых тот так искусно напомнил. Оратор скромно выждал, когда волнение слегка улеглось, и, ободренный похвалами слушателей, продолжал с возросшей силой:

— Но у молодого воина зоркие глаза. Он может видеть очень далеко. Он рысь. Поглядите на меня получше. Я сейчас повернусь спиной, чтобы вам видеть меня с обеих сторон. Теперь вы знаете, что я ваш друг, потому что я вам показал ту часть моего тела, которую еще не видел ни один пауни. Смотрите теперь на мое лицо — не на этот рубец, потому что сквозь него ваши глаза никогда не заглянут в мой дух. Это щель, прорезанная конзой. Но есть тут две дыры, сделанные Вакондой, и сквозь них вы можете смотреть мне в душу. Кто я? Дакота — и снаружи и внутри. Вы это знаете. Так слушайте меня. Кровь каждого существа в прерии красная. Кто отличит место, где был

убит пауни, от того, где мои молодые охотники убили бизона? Оно того же цвета. Владыка Жизни создал их друг для друга. Он создал их похожими. Но будет ли зеленеть трава там, где был убит бледнолицый? Мои молодые охотники не должны думать, что этот народ слишком многочислен и не заметит потери одного своего воина. Он часто их перекликает и говорит: «Где мои сыновья?» Когда у них не хватит одного человека, они разошлют по прериям отряды искать его. Если они не смогут найти его, они прикажут своим гонцам искать его среди сиу. Братья мои! Большие Ножи не глупцы. Среди нас сейчас находится великий колдун их народа; кто скажет, как громок его голос или как длинна его рука?..

Видя, что оратор, разгоревшись, подошел к самой сути своей речи, Матори нетерпеливо оборвал ее: он вдруг встал и провозгласил, вложив в свой голос и властность, и презрение, и насмешку:

— Пусть мои молодые воины приведут на совет великого колдуна бледнолицых. Мой брат поглядит злому духу прямо в лицо!

Мертвая тишина встретила неожиданную выходку Матори. Она не только грубо нарушила освященный обычаем порядок совета: своим приказом вождь, казалось, бросил вызов неведомой силе одного из тех непостижимых существ, на которых индейцы в те дни смотрели с благоговением и страхом. Лишь очень немногие были настолько просвещенны, чтобы не трепетать перед ними, или настолько дерзновенны, чтобы, веря в их могущество, идти против них. Все же юноши не посмели ослушаться вождя. Овида верхом на Азинусе торжественно вывели из шатра. Новая эта церемония явно была рассчитана на то, чтобы сделать из пленника посмешище. Однако расчет не совсем оправдался: испуганным зрителям «колдун» представился величественным.

Когда натуралист на своем осле вступил в круг, Матори, опасавшийся его влияния и потому постаравшийся выставить его жалким и презренным, обвел глазами собрание, выхватывая то одно, то другое темное лицо, чтобы увериться в успехе своей затеи.

Природа и искусство, соединив свои усилия, сумели так изукрасить натуралиста, что он где угодно стал бы предметом изумления. Его тщательно обрили в наилучшем тетонском вкусе. От густой шевелюры, отнюдь не излишней

в эту пору года, оставили только пзящную «скальповую прядь» на макушке, хотя едва ли бы она сохранилась, если бы в этом случае обратились за советом к самому доктору Бату. На оголенное темя был наложен толстый слой краски. Затейливый рисунок, тоже в красках, вился и по лицу, придав проницательному взгляду глаз выражение затаенного коварства, а педантическую складку рта превратив в угрюмую гримасу чернокнижника. Доктор был раздет до пояса, но для защиты от холода ему на плечи накинули плащ из дубленых оленьих шкур в замысловатых узорах. Точно в издевку над его родом занятий, всевозможные жабы, лягушки, ящерицы, бабочки и прочее, все должным образом препарированные, чтобы со временем занять свое место в его домашней коллекции, были прицеплены к одинокой пряди на его голове, к его ушам и другим наиболее заметным частям его тела. Однако этот причудливый наряд показался зрителям не так смешон, как жуток. К тому же грозные предчувствия придали чертам Овида сугубую строгость и вызывали у него смятение ума, отражавшееся в глазах. Ибо он видел свое достоинство попранным, а себя самого ведо́мым, как он полагал, на заклание в жертву некоему языческому божеству. Пусть читатели явственно представят себе этот образ, и им понятен будет ужас, объявший людей, заранее готовых преклониться перед своим пленником как перед могущественным слугой злого духа.

Уюча провел Азинуса прямо в середину круга и, оставив там их обоих (ноги натуралиста были так крепко привязаны к животному, что осел и его хозяин превратились, можно сказать, в единое целое, являя собою в классе млекопитающих некий новый отряд), отошел на свое место, оглядываясь на «колдуна» с тупым любопытством и подобострастным восторгом.

Зрители и предмет их созерцания были, казалось, одинаково удивлены. Если тетоны взирали на таинственные атрибуты «колдуна» с почтением и страхом, то и доктор Бат озирался по сторонам с тем же смешением необычных эмоций, среди которых, однако, страх занимал едва ли не первое место. Его глаза, в эту минуту получившие странную способность видеть все увеличенным, казалось, останавливались не на одном, а сразу на нескольких темных, неподвижных, свирепых лицах, но ни в одном не находили хотя бы проблеска приязни или сострадания. Наконец

его блуждающий взор упал на печальное и благообразное лицо траппера. С Гектором в ногах старик стоял у края круга, опершись на ружье, которое ему возвратили как признанному другу вождя, и раздумывал о скорбных событиях, каких можно было ожидать после совета, отмеченного столь важными и столь необычными церемониями.

— Почтенный венатор, или охотник, или траппер,— сокрушенно сказал Овид,— я чрезвычайно рад, встречая вас здесь. Я боюсь, что драгоценное время, назначенное мне для завершения великого труда, близится к непредвиденному концу, и я желал бы передать свою духовную ношу человеку хотя и не принадлежащему к деятелям науки, но все же обладающему крохами знания, какие получают даже самые ничтожные дети цивилизованного мира. Ученые общества всего света несомненно станут наводить справки о моей судьбе и, возможно, снарядят экспедиции в эти края, чтобы рассеять все сомнения, какие могут возникнуть по этому столь важному вопросу. Я почитаю за счастье, что кто-то говорящий со мной на одном языке присутствует здесь и сохранит память о моем конце.

Вы расскажете людям, что, прожив деятельную и славную жизнь, я умер мучеником науки и жертвой духовной темноты. Так как я надеюсь, что в последние мои минуты буду неколебимо спокоен и полон возвышенных мыслей, то, если вы еще и сообщите кое-что о том, с какою твердостью, с каким достоинством ученого я встретил смерть, это, возможно, поощрит будущих ревнителей науки на соискание той же славы и несомненно не будет никому в обиду. А теперь, друг траппер, отдавая долг человеческой природе, я в заключение спрошу: вся ли надежда для меня потеряна или все-таки можно какими-то средствами вырвать из когтей невежества сокровищницу ценных сведений и сохранить ее для не написанных еще страниц естественной истории?

Старик внимательно выслушал этот печальный призыв и, прежде чем ответить, казалось обдумал заданный ему вопрос со всех сторон.

— Я так понимаю, друг доктор,— заговорил он веско,— ваш случай как раз такой, когда для человека шансы на жизнь и на смерть зависят только лишь от воли провидения, которому благоугодно изъявить ее через безбожные выдумки хитрого индейского ума. Впрочем, чем бы ни кончилось дело, я не вижу тут особенной разницы, так как ни для кого, кроме вас самих, не имеет большого значения, останетесь вы живы или же умрете.

— Как! Сокрушают краеугольный камень здания науки, а вы полагаете это маловажным для современников и для потомства?— перебил его Овид.— И замечу вам, мой отягченный годами коллега,— добавил он с укоризной,— когда человека волнует вопрос о собственном существовании, то это отнюдь не праздная забота, хотя бы ее и оттеснили на задний план интересы более широкого порядка и филантропические чувства.

— Я так сужу,— снова начал траппер, и наполовину не поняв тех тонкостей, которыми его ученый сотоварищ постарался, как всегда, расцветить свою речь,— каждому только раз дано родиться и только раз умереть — собаке и оленю, индейцу и белому. И не вправе человек ускорить смерть, как он не властен задержать рождение. Но я не скажу, что невозможно что-то сделать самому, чтобы отдалить хотя бы ненадолго свой последний час; а потому каждый вправе поставить перед собственной мудростью вопрос: как далеко он готов пойти и сколько он согласен

вытерпеть страданий, чтобы продлить свою жизнь, и без того уже, быть может, слишком затянувшуюся? Не одна тяжелая зима, не одно палящее лето прошло с той поры, когда я еще метался туда и сюда, чтобы добавить лишний час к восьми десяткам прожитых годов. Пусть прозвучит мое имя — я всегда готов отозваться, как солдат на вечерней перекличке. Я думаю так: если вашу судьбу решать индейцам, то пощады не будет. Верховному вождю тетонов нужна ваша смерть, и он так поведет свое племя, чтобы оно никого из вас не пощадило; и не очень я полагаюсь на его показную любовь ко мне; а потому следует подумать, готовы ли вы к такому странствию; и если готовы, то не лучше ли будет отправиться в него сейчас, чем в другое время? Если бы спросили мое мнение, я, пожалуй, высказался бы в вашу пользу: то есть, я думаю, ваша жизнь была достаточно хорошей — в том смысле, что вы не причиняли никому больших обид, хотя из честности должен добавить: если вы подведете итог всему, что вами сделано, то получится самая малость, такая, что и говорить о ней не стоит.

Выслушав это, столь для него безнадежное суждение, Овид остановил печальный взор на философски спокойном лице траппера и откашлялся, чтобы как-то прикрыть порожденное отчаяньем смятение мыслей. Ибо даже в самых крайних обстоятельствах жалкую природу человека редко покидает последний остаток гордости.

— Я думаю, почтенный охотник,— возразил он,— что, всесторонне рассмотрев вопрос и признав справедливость вашего воззрения, самым верным будет сделать вывод, что я плохо подготовлен к столь поспешному отбытию в последний путь; а потому нам следует принять какие-то предупредительные меры.

— Если так,— сказал осмотрительный траппер,— я сделаю для вас то же, что стал бы делать для самого себя; но, поскольку время для вас уже пошло под уклон, я вам советую скорее приготовиться к своей судьбе, потому что может так случиться, что ваше имя выкликнут, а вы так же мало будете готовы отозваться на призыв, как и сейчас.

С этим дружеским назиданием старик отступил и вернулся в круг, обдумывая, что предпринять ему дальше. Трудно было бы сказать, что в нем сейчас преобладало: энергия и решимость или кроткая покорность судьбе.

Воспитанные всем укладом его жизни и прирожденной скромностью, они причудливо соединились, чтобы лечь в основу этого необычайного характера.

Глава XXVIII

Колдунью эту в Смитфильде сожгут,
А вас троих на виселицу вздернут.

Шекспир, «Король Генрих VI»

Сиу с похвальным терпением ждали конца приведенного выше диалога. Большинство сдерживалось, испытывая тайный трепет перед непостижимым Овидом. И только некоторые вожди, более умные, с радостью воспользовались передышкой, чтобы собраться с мыслями перед неизбежной схваткой. Матори же, далекий от того и от другого, был доволен, что может показать трапперу, насколько он считается с его прихотями; и, когда старик оборвал наконец разговор, вождь бросил на него взгляд, выразительно напомнивший, что переводчик должен оценить такое снисхождение. Воцарилась глубокая тишина. Затем Матори встал, собираясь, видимо, заговорить. Приняв позу, полную достоинства, он внимательно и сурово оглядел собравшихся. Однако выражение его лица менялось, по мере того как он переводил взгляд с приверженцев на противников. На первых он смотрел хотя и строго, но не грозно, вторым же этот взгляд, казалось, обещал всяческие беды, если они посмеют пойти наперекор могучему вождю.

Но и в час торжества благоразумие и хитрость не покинули тетона. Бросив вызов всему племени и тем самым утвердив свое право на главенство, он был как будто удовлетворен, и взор его смягчился. Только тогда среди мертвой тишины вождь наконец заговорил, меняя свой голос в соответствии с тем, о чем вел он речь и к каким прибегал красноречивым сравнениям.

— Кто есть сиу? — начал он размеренно.— Он властитель прерии и хозяин над всеми ее зверями. Рыбы реки с замутненными водами знают его и приходят на его зов. В совете он лиса, взором — орел, в битве — медведь. Дакота — мужчина! — Выждав, пока не улеглись одобрительные возгласы, которыми соплеменники встре-

тили столь лестное для них определение, вождь продолжал: — А кто такой пауни? Вор, крадущий только у женщин; краснокожий, лишенный доблести; охотник, выклянчивающий у других свою оленину. В совете он белка, что скачет с ветки на ветку; он сова, что кружит над прерией ночью; а в битве он — длинноногий лось. Пауни — женщина.

Он снова умолк, потому что из нескольких глоток вырвался вопль восторга, и толпа потребовала, чтобы презрительные слова были переведены тому, против кого была направлена их жалящая насмешка. Прочитав приказ во взгляде Матори, траппер подчинился. Твердое Сердце невозмутимо выслушал старика и, очевидно заключив, что еще не настал его черед говорить, снова устремил взор в пустынную даль. Матори внимательно наблюдал за пленником, и его глаза отразили неугасимую ненависть, питаемую им к единственному в прериях вождю, чья слава превосходила его собственную. Его снедала досада, что не удалось задеть соперника — и кого? — мальчишку! Однако он поспешил перейти к тому, что, как ему представлялось, вернее должно было возбудить злобу соплеменников и толкнуть их на выполнение его жестокого замысла.

— Если бы землю переполнили ни к чему не пригодные крысы,— сказал он,— на ней не стало бы места для бизонов, которые кормят и одевают индейца. Если прерию переполнят пауни, на ней не будет места, куда могла бы ступить нога дакоты. Волк-пауни — крыса, сиу — могучий бизон. Так пусть же бизоны растопчут крыс и расчистят себе место. Братья, к вам обращался с речью малый ребенок. Он сказал, что волосы его не поседели, а замерзли; что трава не растет на том месте, где умер бледнолицый! А знает он цвет крови Большого Ножа? Нет! Мне ведомо, что не знает; он никогда не видел ее. Кто из дакотов, кроме Матори, сразил хоть одного бледнолицего? Никто. Но Матори должен молчать. Когда он говорит, все тетоны закрывают уши. Скальпы над его жилищем добыты женщинами. Их добыл Матори, а он — женщина. Его губы немы. Он ждет празднества, чтобы запеть среди девушек!

Эти слова, полные притворного самоуничижения, встретил шумный ропот, но вождь, не слушая, вернулся на свое место, точно и впрямь решил больше не говорить.

Ропот, однако, возрастал, постепенно охватив все собрание; казалось, в совете вот-вот начнется разброд и смятение. И тогда Матори выпрямился во весь рост и стал продолжать свою речь, на этот раз разразившись яростным потоком обличений, как воин, жаждущий мести.

— Пусть мои молодые воины пойдут искать Тетао! — восклицал он.— Они найдут его продымленный скальп над очагом пауни. Где сын Боречины? Его кости белее, чем лица его убийц. Спит ли Маха в своем жилище? Вы знаете, что прошло уже много лун, как он отправился в блаженные прерии. О, если бы он был здесь и сказал бы нам, какого цвета была рука, снявшая с него скальп!

Так хитрый вождь говорил еще долго, перечисляя имена воинов, которые встретили смерть кто в битвах с пауни, кто в пограничных схватках между спу и теми белыми, что по духовному развитию недалеко ушли от дикарей. Он не давал им времени вспомнить достоинства, а вернее сказать — недостатки отдельных воинов, которых он называл, продолжая быстро перечислять все новые имена; однако так умело подбирал он примеры, так были горячи его призывы, которым его звучный голос придавал особую силу, что каждый из них будил отклик в груди того или другого слушателя.

И вот, когда красноречие вождя достигло еще небывалого жара, в середину круга вышел глубокий старец, с трудом передвигавший ноги под бременем лет, и стал прямо перед говорившим. Чуткое ухо могло бы уловить, как оратор чуть запнулся, когда его пламенный взгляд впервые упал на неожиданно возникшую перед ним фигуру; но изменение тона было так незначительно, что только тот и мог его заметить, кому хорошо были известны отношения между ними двумя. Этот старец некогда славился красотой и стройностью, а его глаза — орлиным взором, неотразимым и пронизывающим. Но теперь его кожа сморщилась, а лицо было изрезано множеством шрамов — из-за них-то полвека назад он и получил от канадских французов прозвище, которое носили столь многие из славных героев Франции и которое затем вошло в язык дикого племени сиу, так как оно отлично выражало заслуги храброго воина. Шепот: «Ле Балафре!» [1],

[1] Le balafré означает по-французски «покрытый шрамами».

пронесшийся в толпе при появлении старца, не только выдал его имя и всеобщее к нему уважение, но и позволил догадаться, что его приход был из ряда вон выходящим событием. Старец, однако, стоял молча и недвижно, а потому волнение быстро улеглось; все взоры вновь обратились на оратора, все уши вновь впивали отраву его одурманивающих призывов.

Лица слушателей все явственней отражали успех Матори. Скоро в угрюмых глазах большинства воинов зажегся злобный, мстительный огонь, а каждый новый хитрый довод за то, чтобы уничтожить врагов, встречался все менее сдержанным одобрением. Окончательно покорив толпу, тетон коротко воззвал к гордости и доблести своих соплеменников и внезапно снова сел.

Замечательное красноречие вождя было вознаграждено бурей восторженных криков, среди которых вдруг послышался глухой, дрожащий голос, словно исходивший из самых глубин человеческой груди и набиравший силу и звучность по мере того, как он доходил до слуха собравшихся. Наступила торжественная тишина, и только теперь толпа заметила, что губы древнего старца шевелятся.

— Дни Ле Балафре близятся к концу,— таковы были первые внятные слова.— Он как бизон, чья шерсть уже не растет. Скоро он покинет свое жилище и пойдет искать другое, вдали от селений сиу. А потому он будет говорить не ради себя, а ради тех, кого он оставляет здесь. Слова его — как плод на дереве, зрелый и достойный стать подарком вождям. Много раз земля покрывалась снегом, с тех пор как Ле Балафре перестал выходить на тропу войны. Кровь его когда-то была очень горячей, но она успела остыть. Ваконда более не посылает ему снов о битвах, и он видит, что жить в мире лучше, чем воевать. Братья, одна моя нога уже сделала шаг к полям счастливой охоты, скоро сделает шаг другая, и тогда старый вождь разыщет следы мокасин своего отца, чтобы не сбиться с пути и явиться на суд Владыки Жизни по той же тропе, по какой уже прошло столько славных индейцев. Но кто пойдет по его следу? У Ле Балафре нет сыновей. Старший отбил слишком много коней у пауни; кости младшего обглодали собаки конзов! Ле Балафре пришел искать молодое плечо, на которое он мог бы опереться, пришел найти себе сына, чтобы, уйдя, не оставить свое жилище пустым. Тачичена, Быстрая Лань тетонов,

слаба и не может служить опорой воину, когда он стар. Она глядит вперед, а не назад. Ее мысли — в жилище ее мужа.

Престарелый воин говорил спокойно, но слова его были ясны и решительны. Их приняли молча. И, хотя кое-кто из вождей, приверженцев Матори, покосился на своего предводителя, ни у кого не достало дерзости возразить такому дряхлому и такому почитаемому герою, тем более что в своем решении он опирался на исконный, освященный временем обычай своего народа. Даже Матори промолчал и ожидал дальнейшего с внешним спокойствием; но яростные огоньки в его глазах показывали, с каким чувством наблюдал он за обрядом, грозившим вырвать у него самую ненавистную из намеченных жертв.

Между тем Ле Балафре медленной и неверной походкой направился к пленникам. Он остановился перед Твердым Сердцем и долго, с откровенным удовольствием любовался его безупречным сложением, гордым лицом, неколебимым взглядом. Затем, сделав властный жест, он подождал, чтобы его распоряжение выполнили, и один удар ножа освободил юношу от всех ремней — и тех, которыми был он связан, и тех, что притягивали его к столбу. Когда юного воина подвели к старику, чтобы тусклые, гаснущие глаза могли рассмотреть его лучше, Ле Балафре снова внимательно его оглядел с тем восхищением, какое физическое совершенство всегда вызывает в груди дикаря.

— Хорошо! — пробормотал осторожный старец, убедившись, что в юноше соединились все качества, необходимые для славного воина.— Это кидающийся на добычу кугуар. Мой сын говорит на языке тетонов?

Глаза пленника выдали, что он понял вопрос, но высокомерие не позволило ему высказать свои мысли на языке врагов. Стоявшие рядом воины объяснили старому вождю, что пленник — Волк-пауни.

— Мой сын открыл свои глаза у вод Волчьей реки,— сказал Ле Балафре на языке пауни.— Но сомкнет он их в излучине реки с замутненными водами. Он родился пауни, но умрет дакотой. Взгляни на меня. Я клен, некогда своею тенью укрывавший многих. Листья все опали, никнут голые ветви. Один зеленый росток еще поднимается от моих корней. Это маленькая лоза, она обвилась вокруг

зеленого дерева. Я долго искал того, кто был бы достоин расти со мною рядом. Я его нашел. Ле Балафре уже не одинок. Имя его не будет забыто, когда он уйдет. Люди тетонов, я беру этого юношу в свое жилище.

Никто не посмел оспаривать право, которым так часто пользовались воины, далеко не столь заслуженные, как Ле Балафре, и формула усыновления была выслушана в глубоком почтительном молчании. Ле Балафре взял избранного им сына за плечо, вывел его на самую середину круга, а затем с торжеством во взгляде отступил в сторону, чтобы зрители могли одобрить его выбор. Матори ничем не выдал своих намерений, очевидно решив дождаться более подходящей минуты, как того требовали свойственные ему осторожность и хитрость. Самые дальновидные среди вождей ясно понимали, что два исконных врага и соперника, столь знаменитые, как их пленник и главный вождь их народа, все равно не уживутся в одном племени. Однако Ле Балафре пользовался таким почетом, обычай, которому он следовал, был так священен, что никто не осмелился поднять свой голос для возражения. Они с живым интересом наблюдали за происходившим, скрыв, однако, свою тревогу под маской невозмутимого спокойствия. Этой растерянности, которая легко могла привести к разладу в племени, нежданно положил конец тот, кому решение престарелого вождя, казалось бы, наиболее благоприятствовало.

Пока длилась описанная выше сцена, в чертах пленника невозможно было прочесть никакого чувства. Он принял приказ о своем освобождении так же безучастно, как раньше приказ привязать его к столбу. Но теперь, когда настала минута объявить свой выбор, он произнес слова, доказавшие, что твердость и отвага, за которые он получил свое славное имя, его не покинули.

— Мой отец очень стар, но он еще многого не видел,— сказал Твердое Сердце так громко, что его должен был

услышать каждый.— Он не видел, чтобы бизон превратился в летучую мышь, и он никогда не увидит, чтобы пауни стал сиу.

Как ни были неожиданны эти слова, ровный, спокойный голос пленника показал окружающим, что его решение твердо. Но сердце Ле Балафре уже тянулось к юноше, а старость не так-то легко отступается от своих чувств. Дряхлый воин обвел соплеменников сверкающим взглядом, оборвав возгласы восхищения и торжества, которые исторгла у них смелая речь пленника и вспыхнувшая вновь надежда на отмщение; затем он снова обратился к своему нареченному сыну, как будто не принимая отказа.

— Хорошо! — сказал он.— Так и должен говорить храбрец, открывая свое сердце воинам. Был день, когда голос Ле Балафре звучал громче других в селении конзов. Но корень седых волос — мудрость. Мой сын докажет тетонам, что он — великий воин, поражая их врагов. Дакоты, это мой сын!

Пауни мгновение стоял в нерешительности, затем, приблизившись к старцу, взял его сухую морщинистую руку и почтительно положил ее себе на голову в знак глубокой благодарности. Затем, отступив на шаг, он выпрямился во весь рост и, бросив на окружающих врагов взгляд, исполненный надменного презрения, громко произнес на языке сиу:

— Твердое Сердце осмотрел себя и внутри и снаружи. Он вспомнил все, что делал на охоте и на войне. Он во всем одинаков. Нет ни в чем перемены. Он во всем пауни. Его рука сразила столько тетонов, что он не может есть в их жилищах. Его стрелы полетят вспять; острие его копья будет не на том конце. Их друзья будут плакать, заслышав его боевой клич, их враги будут смеяться. Знают ли тетоны Волка? Пусть они еще раз посмотрят на него. Его лицо в боевой раскраске; его руки из плоти; сердце его — камень. Когда тетоны увидят, как солнце взошло из-за Скалистых гор и плывет в страну бледнолицых, Твердое Сердце изменится, и духом он станет сиу. А до того дня он будет жить Волком-пауни и умрет Волком-пауни.

Вопль торжества, в котором странно мешались восхищение и ярость, прервал говорившего, ясно возвещая его участь. Пленник выждал, когда шум улегся, и, повернув-

шись к Ле Балафре, продолжал ласковым голосом, как будто чувствуя себя обязанным смягчить свой отказ и не поранить гордости человека, который с радостью спас бы ему жизнь:

— Пусть мой отец тверже обопрется на Лань дакотов,— сказал он.— Сейчас она слаба, но, когда ее жилище наполнится детьми, она будет сильнее. Взгляни,— добавил он, указывая на траппера, с напряженным вниманием прислушивавшегося к его словам,— у Твердого Сердца уже есть седой проводник, чтобы указать ему тропу в блаженные прерии. Если будет у него второй отец, то только этот справедливый воин.

Ле Балафре огорченно отвернулся от юноши и ближе подошел к тому, кто успел опередить его. Оба старика долго с любопытством глядели друг на друга. Годы трудов и лишений наложили маску на лицо траппера; и эта маска и дикий, своеобразный наряд мешали распознать, что он собой представлял. Тетон заговорил не сразу, и нетрудно было догадаться, что он не знает, обращается ли он к индейцу или к одному из тех бледнолицых скитальцев, которые, он слышал, распространились по земле голодной саранчой.

— Голова моего брата бела,— сказал он.— Но глаза Ле Балафре больше не похожи на глаза орла. Какого цвета кожа моего брата?

— Ваконда создал меня подобным тем, кто, как ты видишь, ждет решения дакотов, но солнце и непогода сделали мою кожу темнее меха лисицы. Но что в том! Пусть кора иссохла и виснет лохмотьями, сердцевина дерева крепка.

— Значит, мой брат — Длинный Нож? Пусть он обратит свое лицо к заходящему солнцу и шире откроет глаза. Видит он Соленую Воду за этими горами?

— Было время, тетон, когда я первым из многих различал белое перо на голове орла. Но снега восьмидесяти семи зим своим блеском затуманили мои глаза, и в последние годы я не могу похвалиться зоркостью. Или сиу думает, что бледнолицые — боги и видят сквозь горы?

— Так пусть мой брат посмотрит на меня. Я рядом, и он увидит, что я только глупый индеец. Почему не могут люди из его народа видеть все, если они тянут руки ко всему?

— Я понял тебя, вождь, и не стану перечить твоим сло-

вам, потому что в них, к сожалению, много правды. Но, хоть я и рожден в ненавистном тебе племени, даже мой худший враг, даже лживый минг, не посмел бы сказать, что я хоть раз присвоил себе чужое добро, если только не добыл его в честном бою. И ни разу я не пожелал больше земли, чем господь предназначил человеку для упокоения.

— Однако мой брат пришел к краснокожим искать себе сына?

Траппер коснулся пальцем обнаженного плеча Ле Балафре и, с грустной доверчивостью поглядев в его изрезанное шрамами лицо, ответил:

— Это правда. Но думал я только о пользе самого юноши. Если ты полагаешь, дакота, что я усыновил его, чтобы найти опору в старости, то ты так же несправедлив ко мне, как, по-видимому, мало знаешь о жестоком замысле своих соплеменников. Я сделал его своим сыном, чтобы он знал, что на земле останется кто-то, кто оплачет его... Тише, Гектор, тише! Прилично ли тебе, песик, прерывать беседу стариков своим воем? Пес совсем одряхлел, тетон, и, хотя был хорошо обучен правилам поведения, он, подобно нам, иногда забывает добрые манеры своей молодости.

Дальнейшую их беседу заглушил разноголосый вопль, вырвавшийся из уст десятка древних старух, которые, как мы уже упоминали, пробрались на видное место в первом ряду воинов.

Он был вызван внезапной переменой в поведении Твердого Сердца. Когда старики повернулись к юноше, они увидели, что он стоит в самой середине круга, вскинув голову, устремив глаза вдаль, приподняв руку и выставив ногу вперед, как будто к чему-то прислушиваясь. На миг его лицо осветила улыбка; потом, словно вновь овладев собой, он принял прежнюю позу холодного достоинства. Зрителям почудилась в этом движении презрительная насмешка, и даже вождей она вывела из себя. Женщины же, не в силах сдержать свою ярость, всей толпой ворвались в середину круга и принялись осыпать пленника самой злобной бранью. Они похвалялись подвигами своих сыновей, чинивших немало вреда различным племенам пауни. Они умаляли его славу и советовали ему поглядеть на Матори — вот настоящий воин, не ему чета! Они кричали, что его вскормила косуля и он всосал трусость с молоком матери. Словом, они изливали на невозмутимого пленника

поток язвительных оскорблений, в чем индианки, как известно, большие мастерицы; но, так как подобные сцены описывались уже не раз, мы не станем докучать читателю подробностями.

Следствием этой вспышки могло быть только одно. Печально отвернувшись, Ле Балафре скрылся в толпе, а траппер, на чьем лице отразилось сильное чувство, приблизился к своему молодому другу. Так родные преступника, пренебрегая людским осуждением, нередко подходят вплотную к эшафоту, чтобы поддержать того, кто им дорог, в его смертный час. Простые воины были вне себя от возбуждения, но вожди все еще не подавали знака, который отдал бы жертву в их власть. Матори, однако, давно выжидал такой минуты. Не желая, чтобы его ревнивая ненависть стала слишком явной, он воспользовался настроением своих сторонников и не замедлил бросить им выразительный взгляд, побуждая их приступить к пытке.

Уюча, не спускавший глаз с лица вождя, только того и ждал: он кинулся вперед, точно гончая, спущенная со своры. Растолкав воющих старух, которые уже накинулись на пленника, он укорил их за нетерпеливость; пусть подождут — пытку должен начать воин, и тогда они увидят: пауни заплачет, как женщина!

Жестокий дикарь принялся размахивать томагавком над головою пленника таким образом, что, казалось, вот-вот должен был нанести ему смертельный удар, хотя лезвие ни разу не коснулось даже кожи. Это было обычное начало пытки, и Твердое Сердце, не дрогнув, выдержал испытание. По-прежнему его глаза неотрывно глядели вдаль, хотя блестящий топор описывал сверкающие круги прямо перед его лицом. Потерпев неудачу, бездушный сиу прижал холодное лезвие к обнаженному лбу своей жертвы и начал изображать различные способы скальпирования. Женщины же осыпали пауни злобными насмешками, надеясь увидеть, как сойдет с его лица каменное равнодушие, но пленник, как видно, берег свои силы для вождей и для тех мгновений невыразимой муки, когда его благородный дух мог бы наиболее достойно поддержать его незапятнанную славу.

Траппер с истинно отцовской тревогой следил за каждым движением томагавка и наконец, не сдержав негодования, воскликнул:

— Мой сын забыл свою хитрость. Этот индеец подл и

всегда готов наделать глупостей. Я сам не могу так поступить, ибо моя вера запрещает умирающему воину поносить своих врагов, но у краснокожих другие обычаи. Пусть же пауни скажет жалящие слова и купит легкую смерть. Я знаю, это ему легко удастся, только нужно, чтобы он заговорил прежде, чем мудрость вождей укажет путь глупости дурака.

Взбешенный Уюча, хоть и не понял этих слов, сказанных на языке пауни, тут же повернулся к трапперу, угрожая ему смертью за дерзкое вмешательство.

— Делай со мной, что хочешь,— сказал бесстрашный старик.— Мне все равно, умру ли я сегодня или завтра, хоть это и не та смерть, которой пожелал бы себе честный человек. Погляди на благородного пауни, тетон, и ты увидишь, каким может стать краснокожий, почитающий Владыку Жизни и исполняющий его законы. Сколько твоих соплеменников послал он в дальние прерии! — продолжал траппер, не брезгая благочестивой уловкой: раз опасность угрожает ему самому, рассудил он, то нет греха в том, чтобы похвалить достоинства другого человека.— Сколько воющих сиу сразил он в открытом бою, когда стрел в воздухе было больше, чем хлопьев снега в метель! А назовет ли Уюча имя хоть одного врага, сраженного его рукой?

— Твердое Сердце! — взревел сиу и в ярости повернулся, чтобы нанести своей жертве смертельный удар.

Но рука пленника сжала его запястье. На мгновение они словно застыли в этой позе — Уюча окаменел от неожиданного сопротивления, а Твердое Сердце наклонил голову, но не готовясь встретить смерть, а напряженно вслушиваясь. Старухи испустили вопль торжества, вообразив, что твердость духа наконец оставила пауни. Траппер испугался, как бы его друг не обесчестил себя, а Гектор, как будто понимая, что́ происходит, задрал голову и жалобно заскулил.

Но пауни колебался только секунду. Другая его рука взметнулась вверх; как молния сверкнуло лезвие, и Уюча с рассеченным черепом упал к его ногам. Потом, размахивая окровавленным томагавком, пленник кинулся вперед, и старухи отпрянули в испуге, открыв ему дорогу. Одним прыжком он исчез в лощине.

Тетоны, точно громом пораженные, смотрели вслед отчаянному храбрецу. Из уст всех женщин вырвался пронзи-

тельный жалобный крик, и даже старейших воинов, казалось, охватило замешательство. Однако оно длилось лишь миг. Из сотен глоток вырвался гневный рев, и сотни воинов ринулись вперед, охваченные жаждой кровавой мести. Но властный окрик Матори заставил их остановиться. Вождь, на чьем лице разочарование и ярость боролись с напускной невозмутимостью, приличной его сану, протянул руку в сторону реки, и тайна объяснилась.

Твердое Сердце был уже на полпути к реке, когда из-за холма появился конный отряд вооруженных пауни, подскакавший к самой воде. Еще мгновение, и громкий плеск возвестил, что пленник бросился в реку. Его сильным рукам потребовалось немного времени, чтобы одолеть течение, и вот уже крик с противного берега доказал одураченным тетонам, что враг восторжествовал над ними.

Глава XXIX

И, если пастух еще не схвачен, пусть удирает. Ему грозят такие муки, такие пытки, от которых лопаются кишки у человека и разрывается сердце у чудовища.

Шекспир, «Зимняя сказка»

Нетрудно понять, что побег Твердого Сердца вызвал среди сиу чрезвычайное волнение. Возвращаясь с охотниками в становище, их вождь не забыл ни об одной из тех предосторожностей, к каким прибегают индейцы, чтобы враги не могли отыскать их след. И все же оказалось, что пауни не только его отыскали, но и сумели с великим искусством подобраться к лагерю тетонов с той единственной стороны, где вожди не посчитали нужным выставлять стражу. Дозорные же, прятавшиеся по пригоркам позади становища, узнали о появлении врага последними.

В эту тяжелую минуту было не до размышлений. Матори потому и пользовался столь большим влиянием в племени, что его находчивость и решительность часто помогали найти выход из трудных положений. И на этот раз он снова показал себя достойным своей славы. Не обращая внимания на плач детей, визг женщин, дикие завывания

старух, хотя такая сумятица уже сама по себе легко могла бы сбить с толку человека, не привыкшего действовать в час грозной опасности, он начал властно и хладнокровно отдавать необходимые распоряжения.

Пока воины вооружались, мальчиков отправили в лощину за конями. Женщины поспешно снимали шатры и грузили их на старых одров, уже не годных для битвы. Матери пристраивали младенцев у себя за спиной, а детей побольше отогнали в сторону, точно стадо глупых овец. Хотя кругом стоял настоящий содом, каждый делал свое дело с необыкновенной быстротой и четкостью.

Между тем сам Матори не пренебрегал ни единой обязанностью предводителя племени. С высокого берега, где он расположил свой стан, ему был хорошо виден весь вражеский отряд и каждый его маневр. Лицо тетона загорелось угрюмой улыбкой, когда он убедился, что его силы значительно превосходят неприятеля численностью. Однако, несмотря на это важное преимущество, многое другое заставляло его сомневаться в благоприятном исходе неизбежной схватки. Его племя обитало в северной, менее гостеприимной области и было куда беднее противника лошадьми и оружием — тем, что для западного индейца составляет самое ценное достояние. Пауни все до одного были на конях, и Матори хорошо понимал, что перед ним — отборные воины племени, решившиеся отправиться в такую даль, чтобы спасти своего прославленного героя или отомстить за него. Между тем среди его людей многие привыкли отличаться не в бою, а на охоте; они могли отвлечь на себя часть врагов, но он на них особенно не полагался. Тут сверкающий взгляд вождя обратился на группу самых испытанных воинов, еще ни разу не обманувших его надежд. С ними он мог не уклоняться от битвы, хотя в создавшемся положении и не стал бы сам ее искать, потому что присутствие в тетонском лагере женщин и детей было бы для противника огромным преимуществом.

Впрочем, и пауни, с такой неожиданной легкостью добившиеся своей главной цели, не слишком рвались в бой. Переправляться через реку на глазах у готового дать отпор врага было опасно. Они, наверное, предпочли бы на время удалиться и отложить нападение до глубокой ночи, когда видимая безопасность усыпит бдительность противника. Но сердце их вождя пылало чувством, заставившим его забыть обычные уловки индейской войны. Его жгло

желание смыть свой недавний позор; и, возможно, он полагал, что среди удаляющихся женщин сиу скрывается приз, который был теперь в его глазах ценнее пятидесяти тетонских скальпов. Как бы там ни было, Твердое Сердце, выслушав приветствия своего отряда и передав вождям наиболее важные сведения, начал тут же готовиться к тому, чтобы в предстоящей схватке лишний раз подтвердить свою заслуженную славу, а также удовлетворить тайное желание души. Паупи привели с собой его лучшего охотничьего коня, хоть и не надеялись, что скакун еще понадобится своему хозяину в этой жизни. На спине коня лежали лук, копье и колчан — ведь его собирались заколоть на могиле молодого воина, и по одному этому можно было понять, какую любовь снискал благородный воин у своих соплеменников. Их предусмотрительность освободила бы траппера от выполнения благочестивого долга, который он взял на себя.

Твердое Сердце по достоинству оценил заботливость своих воинов, ибо верил, что вождь, располагая таким оружием и конем, мог с честью отправиться в далекие поля охоты, к Владыке Жизни; тем не менее он ни на миг не усумнился, что все это ему столь же пригодится и теперь. На его суровом лице мелькнуло выражение удовольствия, когда он испробовал гибкость лука и взмахнул прекрасным копьем. Взгляд, которым он удостоил щит, был беглым и равнодушным. Но, когда он вскочил на своего любимого коня, даже привычная индейская сдержанность не могла скрыть его восторг. Он несколько раз проскакал взад и вперед перед своим столь же восхищенным отрядом, управляя конем с той грацией и уверенностью, которым нельзя научиться, если они не дарованы человеку природой; иногда он заносил копье, как будто проверяя твердость своей посадки, а иногда внимательно осматривал карабин, которым его также не забыли снабдить, и в глазах его была глубокая радость человека, который чудом вновь обрел сокровища, составлявшие его гордость и счастье.

И вот тут Матори, закончив необходимые приготовления, вознамерился предпринять решительный маневр. Тетон не сразу решил, что ему делать с пленниками. Вдалеке виднелись палатки скваттера, и опытный воин понимал, что нападение грозит и оттуда и что следует остерегаться не только паупи, открыто выступивших против

него. Первой его мыслью было разделаться с мужчинами при помощи томагавков, а женщин отправить вместе с женщинами своего отряда. Но большинство его воинов все еще трепетало при мысли о «великом колдуне» бледнолицых, и вождь не рискнул перед самой битвой пойти против их суеверий. Тетоны решили бы, что такая расправа с пленниками обрекает их на поражение. Не видя другого выхода, он поманил к себе дряхлого воина, которому поручил охрану женщин и детей, а затем, отойдя с ним в сторону, многозначительно коснулся пальцем его плеча и сказал властно, но с лестным доверием в голосе:

— Когда мои молодые воины бросятся на пауни, дай женщинам ножи. Довольно. Мой отец стар, ему не нужно слушать мудрость мальчика.

Угрюмый старик молча кивнул со злобой в глазах, и больше вождь не тревожился о своем деле. С этой минуты он думал только о том, как отомстить и как поддержать свою воинскую славу. Вскочив на коня, он властным мановением руки приказал своему отряду последовать его примеру и, не церемонясь, оборвал боевые песни и торжественные обряды, которыми иные воины укрепляли свой дух, готовясь к доблестным подвигам. Все повиновались, и отряд молча, в строгом порядке двинулся к берегу.

Теперь врагов разделяла только река. Слишком широкая, она не давала возможности пустить в ход луки, но все же вожди обменялись несколькими бесполезными выстрелами, больше из бравады, чем в расчете нанести врагу урон. Так как в этих бесплодных попытках прошло немало времени, мы пока оставим обоих противников и вернемся к тем нашим героям, которые по-прежнему находились в руках индейцев.

Если нужно уверять читателей, что опытный траппер не упустил ни единой подробности вышеописанной сцены, значит, мы напрасно извели немало чернил и зря ломали перья, которые можно было бы употребить на что-нибудь более полезное.

Как и все остальные, он был поражен неожиданным сопротивлением Твердого Сердца, и было мгновение, когда горечь и досада взяли верх над сочувствием. Простодушный и честный старик при виде слабости юного воина, которого он от души полюбил, почувствовал ту же боль, какую испытывает глубоко верующий родитель, склоняясь над смертным одром безбожника сына. Но, когда оказа-

лось, что его друг отнюдь не потерял голову от страха, бессмысленно пытаясь хоть на минуту отсрочить гибель, но, напротив, с обычным непроницаемым спокойствием индейского воина выждал удобную минуту, а тогда повел себя с мужеством и решимостью, которые сделали бы честь самому прославленному из краснокожих героев, траппера охватила такая радость, что ему лишь с трудом удалось ее скрыть. В суматохе, поднявшейся вслед за гибелью Уючи и побегом пленника, он стал рядом со своими белыми товарищами, решив защищать их любой ценой, если ярость дикарей вдруг обратится на них. Однако появление отряда пауни спасло его от такой отчаянной и безнадежной попытки, и он мог не торопясь следить за ходом событий и обдумывать свой новый план.

Он не преминул заметить, что, хотя все дети и почти все женщины вместе с пожитками всего отряда были куда-то поспешно отправлены — возможно, с наказом укрыться в одной из соседних рощ,— шатер самого Матори остался на месте и оттуда ничего не вынесли. Все же вблизи стояли два отборных скакуна, которых держали мальчики, слишком молодые, чтобы принять участие в схватке, но уже умевшие управляться с конями. Отсюда траппер заключил, что Матори боится кому-либо доверить свои новообретенные «цветы» и в то же время принял меры на случай поражения. От зорких глаз старика не ускользнуло и выражение лица тетона, когда он давал поручение дряхлому индейцу, так же как и злобная радость, с какою тот выслушал кровавый приказ. Все эти таинственные приготовления убедили траппера, что близок решающий час, и он призвал на помощь весь опыт своей долголетней жизни, чтобы найти выход из отчаянного положения. Пока он раздумывал, доктор опять отвлек его внимание жалобным призывом.

— Почтенный ловец, или, вернее сказать, освободитель,— начал опечаленный Овид.— Кажется, наступил наконец благоприятный момент для того, чтобы нарушить неестественную и незакономерную связь, существующую между моими нижними конечностями и корпусом Азинуса. Быть может, если мои ноги будут хоть настолько освобождены, что я смогу ими пользоваться, и если затем мы не упустим удобного случая и форсированным маршем направимся к поселениям, то возродится надежда сохранить для мира сокровища знаний, коих явлюсь я недо-

стойным вместилищем. Ради такой высокой цели, несомненно, стоит провести рискованный эксперимент.

— Не знаю, не знаю,— задумчиво сказал старик.— Всех этих козявок и ползучих гадов, которых развесили на вас, бог сотворил для прерий, и я не вижу, что тут хорошего — посылать их в другие края, где им будет не по себе. К тому же, сидя вот так на осле, вы можете сослужить нам службу, хотя меня не удивляет, что вам-то самому это невдомек — ведь вы, книжники, не привыкли, чтобы от вас был какой-нибудь толк.

— Но какую пользу могу я принести в этих тяжких узах, когда животные функции организма, так сказать, замирают, а духовные и интеллектуальные притупляются в силу тайной симпатической связи, объединяющей дух и материю? Эти две орды язычников, наверное, затевают кровопролитие, и, хотя я не очень к тому расположен, больше будет смысла, если я займусь врачеванием ран, вместо того чтобы тратить драгоценные минуты в положении, унизительном и для души и для тела.

— Пока у краснокожего гремит в ушах боевой клич, он не смотрит на раны, и лекарь ему ни к чему. Терпение — добродетель индейца, но и христианину оно тоже к лицу. Поглядите-ка на этих разъяренных скво, друг доктор. Я ничего не смыслю в нраве дикарей, если они не готовы, проклятые, растерзать нас, чтобы утолить свою кровожадность. Ну, а пока вы будете сидеть на осле да сердито хмурить брови, хоть такое выражение вам и непривычно, они, пожалуй, побоятся колдовства и не посмеют на нас броситься. Я сейчас как генерал перед началом битвы, и мой долг так расположить свои силы, чтобы каждый выполнял задачу, по моему суждению, наиболее для него подходящую. Я немножко разбираюсь в этих тонкостях и готов поручиться, что ваше терпение нам сейчас окажется куда полезней любого вашего подвига.

— Слушай, старик,— крикнул Поль, наскучив неторопливыми и многословными объяснениями траппера,— не оборвешь ли ты две вещи сразу: свой разговор, который, спору нет, приятен за блюдом с дымящимся буйволовым горбом, да эти чертовы ремни, которые, скажу по опыту, никогда приятны не бывают. Один взмах твоего ножа принесет сейчас больше пользы, чем самая длинная речь, когда-либо сказанная в кентуккийском суде.

— Да, суды поистине «счастливые охотничьи поля»,

как говорят краснокожие, для того, кто боек на язык, а другого ничего делать не умеет. Я и сам попал раз в эту берлогу беззаконья, и ведь за сущий пустяк — за оленью шкуру. Бог им прости, они ведь не знали, что делали, и полагались только на свое слабое суждение, так что их бы надо пожалеть. А все же невесело было глядеть, как старика, который всегда жил на открытом воздухе, закон сковал по рукам и ногам и выставил на посмешище перед женщинами и детьми богатого поселка.

— Если ты так смотришь на оковы, мой дорогой друг, так подтверди свои взгляды делом и поскорей освободи нас,— сказал Мидлтон, которому, как и бортнику, медлительность их верного товарища стала казаться не только излишней, но и подозрительной.

— Я бы с радостью разрезал эти ремни, особенно твои, капитан. Ведь ты солдат, и тебе было бы не только любопытно, но и полезно понаблюдать хитрые приемы и уловки сражающихся индейцев. А этому нашему другу все равно, увидит он битву или нет, потому что с пчелами воюют совсем не как с индейцами.

— Старик, эти шутки по поводу нашей беды по меньшей мере неуместны.

— Да, да, твой дед был человек горячий и нетерпеливый, и нечего ждать, чтобы детеныш пантеры ползал по земле, как детеныш дикобраза. А теперь помолчите-ка оба, а я буду говорить будто только о том, что происходит сейчас в лощине. Так мы усыпим их бдительность и заставим закрыться глаза, которые только и высматривают, какую бы учинить пакость или жестокость. Во-первых, вам следует знать, что предатель тетон, по всей видимости, отдал приказ всех нас как можно скорей убить, но только втайне и без шума.

— Боже великий! И ты позволишь, чтобы нас перерезали, как беззащитных овец?

— Тише, тише, капитан. В горячности мало проку, когда нужно действовать не силой, а хитростью. Ах, и молодец наш паупи! Любо-дорого смотреть! Как он сейчас скачет от реки, чтобы заманить врага на свой берег! А ведь и мои слабые глаза видят, что на каждого его воина приходится по два сиу!.. Так вот, я говорил, что торопливость и опрометчивость до добра не доводят. Даже ребенку ясно, как обстоит дело. Между индейцами нет согласия насчет того, как с нами поступить. Одни боятся цвета на-

лей кожи и с радостью нас отпустили бы, а другие глядят на нас, точно голодные волки на лань. Да только когда на совете племени начинаются споры, милосердие редко берет верх. Вон видите этих иссохших и злобных скво... Да нет, вам с земли их не видно. Но они здесь и готовы наброситься на нас, точно разъяренные медведицы, как только придет их час.

— Слушай, почтеннейший траппер,— перебил Поль угрюмо,— ты нам все это рассказываешь для нашего удовольствия или для своего? Если для нашего, то лучше помолчи, я и так от хохота чуть не задохнулся.

— Тише,— сказал траппер, ловко и быстро рассекая ремень, которым правая рука Поля была притянута к телу, и тут же бросив нож рядом с кистью этой руки.— Тише, малый, тише! Нам повезло! Старухи повернулись посмотреть, почему в лощине поднялся такой крик, и нам пока ничего не грозит. А теперь берись-ка за дело, но только осторожно, чтобы никто не заметил.

— Спасибо тебе за одолжение, старый мямля,— пробормотал бортник,— хоть оно маленько запоздало, как майский снег.

— Эх, неразумный мальчишка! — с упреком молвил траппер. Он уже отошел в сторонку и, казалось, внимательно следил за маневрами отрядов на берегах реки.— Неужели ты никогда не поймешь мудрость терпения? Да и ты, капитан. Хоть сам я не из тех, кто принимает к сердцу обиду, а все-таки я вижу: ты молчишь, потому что не желаешь больше просить одолжения у того, кто, по-твоему, нарочно не торопится. Ну конечно, оба вы молоды, гордитесь своею силой и смелостью. И, по-вашему, стоит вам только освободиться от ремней, как вся опасность останется позади. Но кто много видел, тот больше и размышляет. Если бы я, как суетливая женщина, кинулся освобождать вас, старухи сиу увидели бы это, и что бы с вами было? Лежали бы вы под томагавками и ножами, точно беспомощные, хнычущие дети, хоть рост у вас богатырский и бороды, как у мужчин. А ну, капитан, спроси у нашего приятеля бортника, мог бы он сейчас, столько часов пролежав в ремнях, справиться с тетонским мальчуганом, а не то что с десятком безжалостных и разъяренных скво?

— Твоя правда, старик,— подтвердил Поль, шевеля затекшими руками и ногами, уже совсем освобожденными

от ремней.— Ты кое-что в этом понимаешь. Подумать только, я, Поль Ховер, который никому не уступит ни в борьбе, ни в беге, сейчас чуть ли не так же беспомощен, как в тот день, когда впервые явился в дом к старому Полю, который давно уже скончался,— прости ему, господи, все прегрешения, совершенные им, пока он пребывал в Кентукки! Вот моя нога уперлась в землю — если можно верить глазам, а ведь я поклялся бы, что между ней и землей еще целых шесть дюймов. Послушай, приятель, раз уж ты столько сделал, так будь любезен, не допускай этих проклятых скво, о которых ты нам столько рассказал интересного, подойти к нам ближе, пока я не разотру руки и не буду готов с ними встретиться.

Траппер, кивнув в знак согласия, направился к дряхлому индейцу, уже готовому приступить к возложенному на него делу, и предоставил бортнику размять затекшие члены, а затем освободить и Мидлтона.

Матори не ошибся в выборе исполнителя своего кровавого замысла. Это был один из тех безжалостных дикарей, каких в большем или меньшем числе можно найти среди любого племени; они нередко отличаются в войнах, проявляя отвагу, питаемую врожденной жестокостью. Ему было незнакомо рыцарское чувство, в силу которого индейцы прерий считают более славной заслугой взять трофей у сраженного врага, нежели убить его, и радость убийства он всегда предпочитал торжеству победы. Если более честолюбивые и гордые воины кидались в бой, думая только о славе, он под прикрытием какого-нибудь холмика или куста приканчивал раненых, которых пощадили его более благородные соплеменники. Ни одна жестокость, совершенная племенем, не обходилась без его участия, и никто не слышал, чтобы он хоть раз высказался в совете за милосердие.

С нетерпением, которого не могла подавить даже привычная сдержанность, он ждал минуты, когда можно будет исполнить волю великого вождя, без чьего одобрения и могущественной поддержки он никогда бы не осмелился на этот шаг, неугодный слишком многим в племени. Но между враждебными отрядами, того и гляди, должна была завязаться битва, и с тайным злорадством он понял, что настала пора приступить к желанному делу.

Когда подошел траппер, старый индеец уже раздавал ножи злобным старухам, а те, принимая оружие, распе-

вали негромкую монотонную песню о потерях, понесенных их народом в различных стычках с белыми, и о том, как сладостна и благородна месть. Человек, менее привыкший к такого рода зрелищам, только увидев этих ведьм, никогда бы не отважился приблизиться к месту, где они совершали свой дикий и отвратительный обряд.

Каждая старуха, получив нож, неторопливым и размеренным, но неуклюжим шагом начинала кружить вокруг дряхлого индейца, и вскоре они уже все медленно завертелись в магической пляске. Они старались ступать в такт мелодии, сопровождая слова песни соответствующими жестами. Когда они говорили о потерях своего племени, они дергали себя за длинные седые космы или позволяли им в беспорядке рассыпаться по сморщенным шеям. Но стоило хоть одной запеть о том, как сладко отвечать ударом на удар, все вторили ей свирепым воплем и сопровождали его выразительным телодвижением, ясно показывавшим, для чего они старались распалить в себе дикую ярость.

И вот в самый центр этого беснующегося круга вступил траппер с таким невозмутимым хладнокровием, как будто вошел в деревенскую церковь. Его появление старухи встретили новой бурей жестов, которые, если только это было возможно, стали еще более ясными и недвусмысленными. Сделав им знак замолчать, траппер спросил:

— Почему матери тетонов поют злую песню? Еще не привели в их селение пленников пауни, их сыновья еще не вернулись, нагруженные скальпами.

Старухи взвыли в ответ, а две-три фурии, самые разъяренные, даже подскочили к нему, размахивая ножами в опасной близости к его спокойным глазам.

— Перед вами воин, а не беглец из стана Длинных Ножей, чье лицо бледнеет, едва он завидит томагавк,— сказал, не дрогнув, траппер.— Пусть женщины сиу подумают: если умрет один бледнолицый, на месте, где он упал, их встанет сто.

Но старухи в ответ только быстрей завертелись в пляске, а угрозы в их песне зазвучали еще более громко и внятно. Вдруг самая старая и злобная вырвалась из круга и, ковыляя, побежала по направлению к намеченным жертвам, точно хищная птица, когда, покружив над добычей, она камнем падает на нее. Остальные ринулись

вслед за ней нестройной вопящей толпой, боясь лишиться своей доли в кровавой потехе.

— Могучий колдун моего народа! — крикнул старик на языке тетонов.— Открой рот и заговори, чтобы все племя сиу услышало тебя.

То ли Азинус в недавних передрягах постиг ценные свойства своего голоса, то ли его вывел из равновесия вид бегущих мимо старух, чьи вопли были невыносимы даже для ослиного слуха, но как бы там ни было, именно длинноухий сделал то, к чему призывали Овида, и произвел такой эффект, на какой едва ли мог бы рассчитывать натуралист, даже если бы напряг все силы. Странный зверь заговорил впервые со времени своего появления на становище. После столь ужасного предупреждения старухи кинулись врассыпную, точно коршуны, вспугнутые со своей добычи, однако продолжали вопить и, как видно, еще не совсем отказались от задуманного.

Между тем их внезапное появление и сознание неотвратимой опасности куда быстрей погнало кровь в жилах Поля и Мидлтона, чем самое усердное растирание. Бортник уже вскочил на ноги и принял угрожающую позу, обещавшую больше, чем он мог бы совершить на самом деле. И даже капитан приподнялся на колени, готовясь дорого продать свою жизнь. Непостижимое освобождение пленников от пут старухи приписали чарам «колдуна», и это заблуждение сослужило нашим друзьям, пожалуй, не меньшую службу, чем чудесное и своевременное вмешательство Азинуса.

— Вот теперь самое время выйти из засады,— крикнул траппер, подбегая к товарищам,— и вступить в честный бой. Было бы лучше подождать, пока капитан совсем оправится, но уж раз мы выдали нашу батарею, то станем твердо и...

Он умолк, почувствовав, что на его плечо опустилась огромная рука. Он был уже готов поверить, что тут и впрямь действуют чьи-то чары, когда повернулся и увидел, что попал в лапы такого могучего и опасного «колдуна», как Ишмаэл Буш. Сыновья скваттера, держа ружья наготове, вышли один за другим из-за неубранного шатра Матори, что не только объяснило, как удалось врагам зайти с тыла, пока внимание траппера было занято происходившим у реки, но и обусловило полную невозможность сопротивления.

Ни Ишмаэл, ни его сыновья не считали нужным вступать в объяснения. Мидлтона и Поля снова связали в полном молчании и с отменной ловкостью, и на этот раз даже старый траппер разделил их участь. Шатер сорвали, женщин усадили на лошадей, и маленький отряд двинулся обратно к стоянке скваттера. Все это произошло с такой быстротой, что действительно могло показаться колдовством.

Тем временем доверенный Матори со своими кровожадными помощницами, потерпев неудачу, улепетывал по равнине к леску, где укрывались женщины и дети. И, когда Ишмаэл удалился со своими пленниками и добычей, плоскогорье, где совсем недавно бурлила жизнь большого индейского стойбища, стало таким же тихим и безлюдным, как вся бескрайняя пустыня вокруг.

Глава XXX

Но справедливо ль, благородно ль это?

Шекспир

Пока на плоскогорье совершались эти события, воины в лощине тоже не оставались праздными. Мы расстались с отрядами в ту минуту, когда, расположившись по двум противным берегам реки, они следили друг за другом и каждый старался насмешками и бранью принудить неприятеля к какому-либо опрометчивому действию. Однако вождь пауни скоро понял, что коварного врага отнюдь не огорчает эта явно напрасная трата времени. Поэтому он изменил свои планы и отступил от реки, чтобы, как правильно объяснил товарищам траппер, заманить более многочисленный отряд сиу на свой берег. Но вызов не был принят, и для достижения цели Волкам пришлось искать другого средства.

Юный вождь пауни не стал больше терять драгоценные минуты на бесплодные старания увлечь врага за собою в реку и быстро поскакал во главе своих верных воинов вдоль потока, ища более удобного места, где его отряд мог бы без урона внезапно переправиться на другой берег. Как только Матори разгадал его намерение, пешим воинам был подан знак вскочить на коней позади своих

более счастливых собратьев, чтобы вовремя помешать переправе. Поняв, что план его раскрыт, и не желая утомлять лошадей отчаянной скачкой, после которой они были бы уже бесполезны в бою, даже если бы им удалось обогнать перегруженных тетонских скакунов, Твердое Сердце вдруг осадил коня у самой воды.

Местность была слишком открытой, чтобы прибегнуть к какой-нибудь из обычных уловок индейской войны, а время не ждало, и рыцарственный пауни решил ускорить развязку, совершив один из тех подвигов, какими нередко индейские храбрецы обретают дорогую их сердцу славу. Место, которое он избрал, было весьма подходящим для его замысла. Река, почти всюду глубокая и быстрая, здесь широко разливалась, и рябь на воде говорила о малой глубине. В середине потока поднималась широкая песчаная мель, и опытный воин мгновенно понял по ее цвету и виду, что она легко выдержит тяжесть коня. Внимательно осмотрев ее, Твердое Сердце сделал свой выбор. Быстро сообщив остальным о своем намерении, он бросился в поток, и его скакун, то плывя, то ступая по дну, благополучно вынес его на остров.

Опытность Твердого Сердца не обманула его. Когда лошадь, фыркая, вышла из воды, он оказался на широком пространстве сырого, но плотно слежавшегося песка, прекрасно подходившего для любого конного маневра. Скакун, казалось, тоже это понял и нес своего воинственного седока таким упругим шагом, так гордо выгибая шею, что впору бы любому породистому коню, объезженному искуснейшим берейтором. От волнения и у самого́ вождя кровь быстрей побежала в жилах. Зная, что оба племени не спускают с него глаз, он натянул поводья; и если его собственный отряд мог гордиться и торжествовать, любуясь мужеством и красотою всадника, то для врага не могло быть ничего обидней, ничего унизительней этого зрелища.

Появление молодого пауни на отмели тетоны встретили яростным воплем. Они ринулись к воде, в воздух взвилось полсотни стрел, раздались редкие ружейные выстрелы, и несколько смельчаков уже хотели броситься в реку, чтобы наказать врага за дерзкий вызов. Но грозный окрик Матори заставил опомниться готовый выйти из повиновения отряд. Запретив переправу, остановив даже бесплодный обстрел отмели, Матори приказал всем вои-

нам отойти от воды, после чего открыл свои намерения двум-трем из вернейших своих сторонников.

Когда пауни заметили, что тетоны кинулись к реке, двадцать их воинов въехали в поток, но, когда те удалились, они тоже вернулись на свой берег, полагая, что их молодому вождю послужат достаточной поддержкой его испытанное искусство и не раз доказанная храбрость. Приказ Твердого Сердца, отданный им перед переправой, был достоин его беззаветной отваги и твердости духа. До тех пор, пока враги будут выходить против него поодиночке, он будет сражаться один, положившись только на Ваконду и силу собственной руки. Но если сиу кинутся на него кучей, то Волкам следует переправляться к нему в том же количестве — человек на человека, покуда достанет на то численности их отряда. Этот благородный приказ соблюдался свято, и, хотя многие горячие сердца жаждали разделить с вождем опасность и славу, все до единого воины пауни скрывали свое нетерпение под обычной для индейца маской сдержанности. Они жадно следили за происходившим, но ни единый возглас удивления не сорвался с их губ, когда вскоре они поняли, что поступок их вождя может привести не к войне, а к миру.

Матори недолго вел тайную беседу и поспешил отослать своих доверенных к остальному отряду. Затем он въехал в воду и остановился. Тут он несколько раз поднял руки ладонями наружу и сделал еще несколько жестов, которые в этих краях служат выражением дружеских намерений. Потом, словно в доказательство своей искренности, он бросил ружье на берег и, глубже въехав в воду, вновь остановился, чтобы посмотреть, как все это примет молодой пауни.

Коварный сиу не напрасно рассчитывал на благородство и честность соперника. Твердое Сердце, пока в него стреляли, продолжал гарцевать по отмели и с прежней гордой уверенностью ждал нападения всего неприятельского отряда. Когда же он увидел, что в реку въезжает хорошо ему известный вождь тетонов, он торжествующе взмахнул рукой, поднял копье и испустил боевой клич своего племени, вызывая врага на поединок. Но, увидев затем, что тот предлагает перемирие, он, хотя отлично знал все предательские уловки, к каким мог прибегнуть противник, не пожелал выказать страх за свою безопасность и тем самым уступить в мужестве врагу. Поскакав

к дальнему краю отмели, он бросил там ружье, затем вернулся на прежнее место.

Теперь оба вождя были вооружены одинаково. У каждого осталось копье, лук с колчаном, томагавк и нож; да еще кожаный щит, чтобы отразить удар, если другой вдруг решит пустить в ход оружие. Сиу долее не колебался и, подстегнув коня, выехал на отмель с того конца, который учтиво уступил ему противник. Если бы кто-нибудь мог видеть лицо Матори, пока он пересекал протоку, отделявшую его от самого грозного и самого ненавистного из всех его соперников, то, может быть, сквозь непроницаемую маску, сотканную хитростью и бессердечным коварством, он успел бы заметить на этом смуглом лице проблеск тайной радости; однако гордо сверкающие глаза тетона, его раздувающиеся ноздри могли бы внушить такому наблюдателю, что радость эта порождена чувством более благородным, более подобающим индейскому вождю.

Пауни со спокойным достоинством ждал, когда враг заговорит. Тетон проехался взад и вперед, чтобы умерить нетерпение своего коня и вновь принять гордую осанку, которую несколько утратил во время переправы. Затем он проскакал на середину острова и учтивым жестом предложил пауни сделать то же. Твердое Сердце приблизился на расстояние, которое позволяло при нужде и двинуться вперед и отступить, после чего в свою очередь остановился, не сводя с противника горящих глаз. Наступило долгое и напряженное молчание, пока два прославленных вождя, впервые встретившись с оружием в руках, рассматривали друг друга с видом воинов, которые умеют ценить отважного врага, пусть даже ненавистного. Матори, однако, смотрел куда менее суровым и вызывающим взором, чем молодой пауни. Закинув щит за плечо, словно приглашая Твердое Сердце отбросить подозрения, тетон сделал приветственный жест и заговорил первым:

— Пусть Волки поскачут в горы,— сказал он,— и посмотрят на восход и на закат, на страну снегов, и на страну цветов, и тогда они увидят, что земля велика. Разве краснокожие не могут найти на ней места для всех своих селений?

— Был ли случай, чтобы воин Волков пришел в селение тетонов просить у них места для своего жилища? — возразил молодой пауни с гордостью и презрением, кото-

рые не пытался скрыть.— Когда пауни охотятся, разве они посылают гонцов спросить Матори, есть ли в прериях сиу?

— Когда в жилище голод, воин идет искать бизона, который дан ему в пищу,— продолжал тетон, подавляя гнев, вызванный гордой усмешкой юноши.— Ваконда создал больше бизонов, чем индейцев, и он не сказал: «Этот бизон будет для пауни, а тот для дакоты; этот бобр для конзы, а тот для омахо». Нет, он сказал: «Всего вдоволь. Я люблю моих красных детей и дал им большие богатства. Много солнц будет скакать быстрый конь и не доскачет от селений тетонов до селений Волков. От лугов пауни далеко до реки оседжей. Хватит места для всех, кого я люблю». Зачем же одному краснокожему убивать другого?

Твердое Сердце воткнул копье острием в землю и, так же забросив щит за плечо и слегка опираясь на древко копья, ответил с выразительной улыбкой:

— Что же, тетоны устали охотиться и идти по тропе войны? Они хотят жарить оленину, не убивая оленей? Они собираются отрастить волосы на головах, чтобы врагам труднее было находить их скальпы? Напрасно, воин-пауни не придет искать жену среди этих тетонских скво.

Матори, когда услышал это жгучее оскорбление, не сдержался, и его лицо загорелось яростью. Но он сумел овладеть собой и ответил тоном, более подходившим для его непосредственной цели.

— Так и следует говорить о войне молодому вождю,— сказал он со странным спокойствием.— Но Матори видел больше зимних стуж, чем его брат. Когда ночи были длинны и в его жилище приходил мрак, он думал о несчастьях своего народа, пока молодые воины спали. Он сказал себе: «Пересчитай скальпы над своим огнем, тетон. Кроме двух, это все скальпы краснокожих. Разве волк растерзает волка, и разве гремучая змея убьет свою сестру? Знаешь сам, никогда. Вот почему, тетон, ты неправ, когда с томагавком в руке идешь тропой, что ведет к жилищу краснокожего».

— Сиу хочет лишить воина славы! Он скажет своим юношам: «Идите, копайте корни в прерии да ищите ям, чтобы зарыть свои томагавки; вы больше не мужчины!»

— Если язык Матори когда-нибудь так заговорит,— с видом крайнего негодования ответил хитрый тетон,—

пусть женщины сиу отрежут его и сожгут вместе с копытами бизона! Нет,— продолжал он и, словно с искренним доверием, приблизился на несколько шагов к Твердому Сердцу, который, однако, не двинулся с места,— у краснокожих не будет недостатка во врагах. Их больше, чем листьев на деревьях, чем птиц в небесах, чем бизонов в прериях. Пусть мой брат шире откроет глаза: разве он нигде не видит врага, которого хотел бы сразить?

— Давно ли тетон считал скальпы своих воинов, что сушатся в дыму костров пауни? Вот рука, которая сняла их и готова сделать из восемнадцати двадцать.

— Пусть разум моего брата сойдет с кривой тропы. Если вечно краснокожий будет разить краснокожих, кто будет хозяином прерии, когда не останется воина, чтобы сказать — «она моя»? Послушай мудрость стариков. Они рассказывают нам, что в их молодые дни из лесов в стороне восхода приходило много индейцев и наполняло прерии жалобами на грабительство Длинных Ножей. Куда приходят бледнолицые, там для краснокожего нет больше места. Земля для них тесна. Они всегда голодны. Посмотри, они уже здесь!

С этими словами тетон указал на лагерь Ишмаэла, раскинувшийся на виду, и умолк, чтобы посмотреть, какое впечатление произвела его речь на прямодушного врага. Твердое Сердце слушал, словно эти рассуждения породили в его уме много новых мыслей. После минутного молчания он спросил:

— Так что же советуют делать мудрые вожди сиу?

— Они думают, что по следу каждого бледнолицего надо идти, как по следу медведя. Чтобы Длинные Ножи, которые приходят в прерию, не возвращались обратно. Чтобы тропа была открыта для тех, кто приходит, и закрыта для тех, кто уходит. Вон там их много. У них есть лошади и ружья. Они богаты, а мы бедны. Так сойдутся ли пауни на совет с тетонами? А когда солнце уйдет за Скалистые горы, они скажут: «Это для Волка, а это для сиу».

— Нет, тетон, Твердое Сердце никогда не наносил удара странникам. Они приходят в его жилище и едят у него и свободно уходят. Могучий вождь — их друг. Когда мой народ созывает молодых воинов на тропу войны, мокасины Твердого Сердца вступают на нее последними. Но, едва селение скроется за деревьями, он уже впереди всех. Нет, тетон, его рука никогда не подымется на странников.

— Так умри с пустыми руками, глупец! — воскликнул Матори. И, заложив стрелу в свой лук, он прицелился в обнаженную грудь доверчивого врага и отпустил тетиву.

Коварный тетон проделал это так внезапно, так удачно улучил минуту, что пауни не мог защититься обычными средствами. Щит его был заброшен за плечо, стрелу он снял с тетивы, зажав ее в левой руке вместе с луком. Однако зоркий глаз прославленного воина успел уловить первое же предательское движение, а находчивость не покинула его. Он рванул поводья, конь взвился на дыбы и, как щит, заслонил пригнувшуюся фигуру всадника. Но Матори прицелился так точно и послал стрелу с такой силой, что она впилась в шею коня и пронзила ее насквозь.

В мгновение ока Твердое Сердце послал ответную стрелу. Она пробила щит тетона, не задев его самого. Несколько секунд тетивы звенели, не смолкая, и стрелы одна за другой мелькали в воздухе, хотя противникам приходилось думать и о защите. Колчаны скоро опустели, но, хотя кровь уже пролилась, это не охладило пыла битвы, так как раны были незначительны.

Начался конный бой. Противники бросали своих скакунов вперед, круто их поворачивали, подняв на дыбы, снова кидались в атаку и хитро уклонялись от столкновения, кружа, как ласточки над землей. Каждый норовил пронзить другого копьем, из-под копыт летел песок, и иной раз уже казалось, что кому-то не избежать рокового удара, но оба по-прежнему оставались на конях и держали поводья твердой рукой. В конце концов тетон был вынужден спрыгнуть на землю, чтобы увернуться от неотвратимого удара. Пауни сразил копьем его коня и, проскакав дальше, испустил торжествующий клич. Сделав поворот, он уже собрался использовать свое преимущество, когда его раненый скакун зашатался и упал под ношей, которая стала ему не по силам. Матори отозвался грозным воплем на преждевременный победный клич и бросился с ножом и томагавком к поверженному юноше. При всей своей ловкости Твердое Сердце не успел бы вовремя выбраться из-под коня. Он видел, что ему грозит неминуемая гибель. Нащупав нож, он зажал лезвие между большим и указательным пальцами и с удивительным хладнокровием метнул в приближающегося врага. Нож завертелся в воздухе и, вонзившись острием в нагую грудь

Нож вошел в грудь по самую рукоять.

забывшего осторожность тетона, вошел в нее по самую рукоять из оленьего рога.

Матори схватился за нее, как будто колеблясь, извлечь ли нож из раны или нет. На мгновение его лицо искривила неугасимая ненависть и ярость, а затем, точно внутренний голос напомнил ему, что время терять нельзя, он, шатаясь, добрел до края отмели и, войдя по щиколотку в воду, остановился. Хитрость и двуличие, которые так долго омрачали более благородную сторону его природы, были вытеснены из его души неукротимой гордостью, воспитанной в нем с юных лет.

— Нет, Волчонок,— сказал он с угрюмой улыбкой,— скальп могучего вождя дакотов не будет коптиться над костром пауни.

Вырвав нож из раны, он пренебрежительно швырнул его в сторону врага, погрозил рукой победоносному противнику, меж тем как на смуглом его лице, борясь, сменяли друг друга глубокая ненависть и презрение, для которых у него не было слов, и бросился в самую середину быстрого потока. И еще несколько раз с торжеством поднялась над волнами его рука, хотя тело было уже навсегда поглощено водой. Твердое Сердце к этому времени вскочил на ноги. До тех пор молчавшие отряды неожиданно разразились оглушительными криками. Пятьдесят воинов с каждой стороны кинулись в реку, торопясь поразить или защитить победителя, и, по сути дела, бой не кончился, а только завязался. Но молодой вождь был равно слеп ко всем признакам опасности. Он бросился туда, где упал его нож, а потом с легкостью антилопы помчался по отмели, вглядываясь в волны, скрывшие его трофей. Темное пятно крови указало ему нужное место, и, крепче сжав нож, он бросился в реку, твердо решив умереть в ее волнах или вернуться с желанной добычей.

Тем временем на отмели завязалась кровопролитная битва. У пауни кони были лучше, боевой дух, пожалуй, сильней, и, достигнув острова в достаточном числе, они вынудили врага отойти. Затем они устремились к вражескому берегу и выбрались на него, продолжая сражаться. Но здесь их встретили все пешие тетоны, и им самим пришлось отступить.

Бой теперь велся с обычной для индейцев осторожностью. Когда пыл, бросивший оба отряда в смертельную схватку, несколько остыл, воины стали прислушиваться

к голосу вождей, старавшихся напомнить горячим головам об осмотрительности. Вняв мудрым советам, сиу поспешили укрыться — кто в траве, кто за редкими кустами или за невысоким бугром,— и пауни уже не могли очертя голову бросаться вперед, так что обе стороны несли теперь значительно меньший урон.

Так длилось сражение с переменным успехом и почти без потерь. Тетонам удалось пробиться к густой заросли бурьяна, куда враги не могли последовать за ними верхом, так как всадник, если все-таки прорывался туда, становился совершенно беспомощен. Необходимо было выманить тетонов из этого укрытия или битва осталась бы нерешенной. Несколько отчаянных атак были отражены, и приунывшие пауни уже подумывали об отступлении, когда вблизи раздался знакомый клич Твердого Сердца, а секундой позже среди них появился и сам вождь, размахивая скальпом верховного вождя тетонов, точно сулящим победу знаменем.

Его встретили радостными криками, и воины устремились за ним с такой яростью, что, казалось, их натиску невозможно было противостоять. Однако кровавый трофей в руке вождя пауни зажег не только нападающих, но и обороняющихся. В отряде Матори было немало смелых воинов, и тот оратор, который утром на совете выражал столь мирные намерения, теперь с самозабвенным мужеством рвался снять позор с человека, им никогда не любимого, и вырвать его скальп из рук заклятых врагов своего народа.

Исход решила численность. После отчаянной схватки, в которой все вожди показали пример неустрашимости, пауни были вынуждены отступить на открытую часть лощины, теснимые тетонами, а те спешили захватить каждую пядь земли, отдаваемую противником. Если бы сиу остановились у края бурьяна, честь победы, возможно, осталась бы за ними, хотя смерть Матори была для них непоправимой потерей. Однако наиболее горячие воины сиу совершили неосторожность, которая резко изменила ход сражения и нежданно отняла у них так трудно им доставшееся преимущество.

Один из вождей пауни, отступая среди последних, упал, залитый кровью из бесчисленных ран, и стал мишенью для десятка новых стрел. Не помышляя ни о том, чтобы преследовать врага, ни о том, как безрассудны их

действия, тетонские воины с боевым кличем ринулись вперед; каждый горел желанием первым нанести удар по мертвому телу и тем заслужить высокую славу. Навстречу им кинулся молодой вождь пауни с горсточкой испытанных воинов, твердо решивших спасти честь своего народа от такого поругания. Враги схватились врукопашную, кровь полилась рекой. Пауни отступали с телом убитого, а сиу наседали на них сзади, пока не вырвались все из укрытия, оглушительно вопя и грозя уже численным своим перевесом раздавить сопротивление.

И Твердое Сердце, и каждый его товарищ скорей умерли бы, чем бросили тело убитого, и судьба их быстро решилась бы, не явись в этот миг неожиданная помощь. Из рощицы слева послышался крик, а за ним и залп смертоносных ружей. Пятеро или шестеро сиу забились на земле в агонии, а все остальные окаменели, как будто это небо послало свои молнии, чтобы спасти Волков. Затем из рощи вышли Ишмаэл и его молодцы-сыновья и, грозно крича, с искаженными гневом лицами, обрушились на изменивших им союзников.

Это внезапное нападение сломило дух тетонов. Многие из их храбрейших вождей уже погибли, и теперь все простые воины бежали, не слушая приказов оставшихся вождей. Несколько отчаянных храбрецов продолжали пробиваться к роковому символу их чести и нашли благородную смерть под ударами ободрившихся пауни. Второй ружейный залп довершил поражение сиу.

Они теперь бежали в беспорядке к дальнему леску с тем же рвением, с каким лишь несколько минут назад бросались в бой. Пауни кинулись вслед, как стая породистых, хорошо натасканных гончих. Со всех сторон доносился их победный клич и призывы к мести. Иные из беглецов пытались унести с собой тела павших воинов, но настигающая погоня заставила их бросить мертвых ради спасения живых. И только одна попытка оградить честь сиу от поругания, которое их своеобразные понятия связывали с обладанием скальпами павших героев, все же увенчалась успехом.

Читатель помнит, как на утреннем совете один из вождей восстал против воинственной политики Матори. Но после того, как он безуспешно поднял голос за мир, его рука тем усердней делала свое дело в бою. Мы уже упоминали о его доблести, и именно его мужество, его пример

помогли тетонам держаться так стойко, когда они узнали о гибели Матори. Этот воин, который на образном языке своего племени звался Парящим Орлом, последним отказался от надежды на победу. Когда он понял, что залпы из ружей, вселившие ужас в его воинов, лишают их так дорого купленного преимущества, он под упорным обстрелом угрюмо отступил к тайнику, где в густом бурьяне была спрятана его лошадь. Там он застал неожиданного соперника, готового оспаривать его право на коня. Это был Боречина, престарелый воин, сторонник Матори, тот, чей голос громче всех раздавался против мудрых советов Парящего Орла. Старик был ранен стрелой, и смерть его, видно, была близка.

— Я в последний раз шел тропой войны,— мрачно сказал старый воин, когда увидел, что за лошадью явился ее законный владелец.— Неужели Волк-пауни унесет седые волосы сиу в свое жилище, чтобы там над ними глумились женщины и дети?

Парящий Орел схватил его за руку, отвечая на призыв суровым, полным решимости взглядом. Дав это безмолвное обещание, он посадил раненого на своего коня. Затем вывел коня из бурьяна, сам тоже вскочил на него и, привязав товарища к своему поясу, вылетел на равнину, надеясь, что легконогий скакун спасет их обоих. Пауни заметили его почти тотчас же, и несколько воинов помчались вдогонку. Они проскакали уже около мили, но раненый не издал ни стона, хотя к его телесным мукам прибавились муки душевные: он видел, что враги приближаются с каждым скачком своих лошадей.

— Остановись,— сказал он наконец и поднял слабую руку, чтобы товарищ придержал коня.— Пусть Орел моего племени шире раскроет крылья. Пусть он увезет в селение темнолицых белые волосы старого воина.

Этим людям, одинаково понимавшим славу и строго соблюдавшим закон романтической чести, не нужно было много слов. Парящий Орел соскочил с коня и помог сойти Боречине. Старик с трудом опустился на колени и, бросив снизу взгляд в лицо соплеменника — как будто говоря «прощай»,— подставил шею под желанный удар. Несколько взмахов томагавка, круговое движение ножа — и голова отделилась от тела, не почитавшегося столь ценным трофеем. Тетон опять вскочил на своего коня, как раз вовремя, чтобы ускользнуть от стрел, пущенных в него

раздосадованными преследователями. Высоко подняв страшную окровавленную голову, он с криком торжества понесся прочь, летя по равнине, точно у него и вправду были крылья той могучей птицы, в честь которой он получил свое лестное прозвание. Парящий Орел благополучно добрался до своего селения. Он принадлежал к тем немногим сиу, которые вышли живыми из гибельного побоища; и еще очень долго из спасшихся он один мог выступать на советах племени, держа голову так же высоко, как прежде.

Ножи и копья пауни остановили бегство большей части побежденных; победители рассеяли даже пытавшуюся скрыться толпу женщин и детей; и солнце давно ушло за волнистую черту западного горизонта, когда кровавый разгром наконец завершился.

Глава XXXI

Так кто ж купец?
И кто здесь ростовщик?

Шекспир, «Венецианский купец»

Утро следующего дня занялось над более мирной сценой. Резня давно прекратилась. И, когда солнце взошло, его лучи разлились по просторам спокойной и пустынной прерии. Лагерь Ишмаэла еще стоял там же, где и накануне, но по всей бескрайной пустыне не видно было других признаков существования человека. Там и сям небольшими стаями кружили сарычи и коршуны и хрипло кричали над местом, где какой-нибудь не слишком легкий на ногу тетон встретил свою смерть. Только это и напоминало о недавнем сражении. Русло реки, змеившейся в бесконечных лугах, взгляд еще мог далеко проследить по курившемуся над ней туману; но серебряная дымка над болотцами и родниками уже начинала таять, потому что с пылающего неба лилась теплота, и ее живительную силу ощущало все в этом обширном краю, не избалованном тенью. Прерия была похожа на небо после бури — тихое и ласковое.

И вот в такое утро семья скваттера собралась, чтобы принять решение, как поступить с людьми, отданными

в ее власть игрой переменчивого счастья. Все живые и свободные обитатели лагеря с первым серым лучом рассвета были на ногах, и даже самые малые в этом бродячем племени, казалось, сознавали, что настал час, когда должны совершиться события, которым, быть может, предстоит во многом изменить ход их полудикой жизни.

Ишмаэл, расхаживая по лагерю, был серьезен, как и подобает человеку, которому вдруг пришлось взять на себя решение в делах куда более важных, чем обычные происшествия его беспокойных будней. Однако сыновья, так хорошо изучившие непреклонный и суровый нрав отца, поняли, что его угрюмое лицо и холодный взгляд выражают не колебания или сомнения, а твердое намерение не отступать от своих суровых решений, которых он держался, как всегда, с тупым упрямством. Даже Эстер не осталась безучастна к надвигающимся событиям, столь важным для будущего ее семьи. Хотя она хлопотала по хозяйству, как хлопотала бы, верно, при любых обстоятельствах — так земля продолжает вращаться, пока землетрясения разрывают ее кору и вулканы пожирают ее недра,— но голос ее был менее громок и пронзителен, чем обычно, а попреки, сыпавшиеся на младших детей, смягчала материнская любовь, придававшая ее словам какое-то новое достоинство.

Эбирама, как всегда, грызли сомнение и тревога. Он часто останавливал взгляд на непроницаемом лице Ишмаэла, и была в этом взгляде опасливость, выдававшая, что от прежнего взаимного доверия, от прежнего товарищества не осталось и следа. Он, казалось, попеременно предавался то надежде, то страху. Порой его лицо загоралось гнусной радостью, когда он поглядывал на палатку, где находилась его вновь захваченная пленница. И тут же, непонятно почему, оно омрачалось тяжелым предчувствием. В такие минуты он обращал глаза к каменному лицу своего медлительного родственника. Но ни разу он не прочел на этом лице ничего утешительного, а напротив, всякий раз начинал тревожиться еще сильней. Потому что на физиономии скваттера была написана страшная для Эбирама истина: тупая натура его зятя полностью вышла из-под его влияния, и теперь Ишмаэл помышлял только о достижении своих собственных целей.

Так обстояли дела, когда сыновья Ишмаэла, повинуясь приказу отца, вывели из палаток тех, чью участь ему пред-

стояло решить. Приказ распространялся на всех без исключения. Мидлтона и Инес, Поля и Эллен, Овида и траппера — всех привели к самозванному судье и разместили так, чтобы тот мог с подобающим достоинством вынести свой приговор. Младшие дети толпились кругом, вдруг охваченные жгучим любопытством, и даже Эстер оставила стряпню и подошла послушать.

Твердое Сердце, явившись один, без своих воинов, присутствовал при этом новом для него и внушительном зрелище. Он стоял, величаво опершись на копье, а взмыленные бока его коня, щипавшего траву поблизости, показывали, что пауни примчался издалека, чтобы видеть, что произойдет.

Ишмаэл встретил своего нового союзника с холодностью, показавшей, как равнодушно он принял деликатность молодого вождя, который затем и приехал один, чтобы присутствие его отряда не породило тревоги или недоверия. Скваттер не искал его помощи, как не страшился его вражды, и теперь приступил к делу с таким спокойствием, как будто его патриархальная власть признавалась всеми и везде.

Во всякой власти, даже когда ею злоупотребляют, есть что-то величественное, и мысль невольно начинает искать в ее обладателе достоинства, которые отвечали бы его положению, хотя нередко терпит неудачу, и то, что прежде было только ненавистно, тогда становится вдобавок и смешным. Но об Ишмаэле Буше этого нельзя было сказать. Его суровая внешность, угрюмый нрав, страшная физическая сила и опасное своеволие, не признававшее никакого закона, делали его самочинный суд настолько грозным, что даже такой образованный и смелый человек, как Мидлтон, не мог подавить в себе некоторый трепет. Однако у него не было времени, чтобы собраться с мыслями; скваттер, хоть и не привык спешить, но уж если заранее на что решился, то не расположен был терять время в проволочках. Когда он увидел, что все на местах, он тяжелым взглядом обвел пленников и обратился к капитану как к главному среди этих мнимых преступников:

— Сегодня я призван исполнить обязанность, которую в поселениях вы возлагаете на судей, нарочно посаженных решать споры между людьми. Я плохо знаком с судебными порядками, но есть правило, которое известно каждому, и оно учит: «Око за око, зуб за зуб». Я не привык ходить

по судам и уж никак не хотел бы жить на земельном участке, который отмерил шериф; но в этом законе все же есть разумный смысл, и можно им руководиться на деле. А потому торжественно заявляю, что сегодня я буду его держаться и всем и каждому воздам, что ему положено, не больше.

На этом месте Ишмаэл замолк и обвел взором своих слушателей, как будто хотел проверить по их лицам, какое впечатление произвела его речь. Когда его глаза встретились с глазами Мидлтона, тот ответил ему:

— Если надо, чтобы злодей был наказан, а тот, кто никого не обидел, отпущен на свободу, то вы должны поменяться со мной местами и стать узником, а не судьей.

— Ты хочешь сказать, что я причинил тебе зло, когда увел молодую даму из дома ее отца и завез против ее воли так далеко в дикие края,— возразил невозмутимый скваттер, нисколько не рассерженный этим обвинением, но не испытывая, видимо, и угрызений совести.— Я не стану добавлять к дурному поступку ложь и отрицать твои слова. Покуда время шло, я успел на досуге обдумать это дело. И, хотя я не из тех, кто быстро думает и кто умеет или делает вид, что умеет мигом разобраться в сути вещей, а все же я человек рассудительный и, когда дадут мне время поразмыслить, не буду зря отрицать правду. Так что я подумал и решил, что это была ошибка— отнимать дочку у родителя, и теперь ее отвезут туда, откуда ее привезли, со всей заботой, целую и невредимую.

— Да-да,— вставила Эстер,— он правду говорит. Бедность да работа совсем его замучили, а тут еще от шерифа покоя не было. Вот он в дурную минуту и пошел на злое дело. Но он слушал, что я ему говорила, и снова вернулся на честную дорожку. Нехорошо это и опасно — приводить чужих дочерей в мирную и послушную семью.

— А кто тебе спасибо скажет, после того, что ты уже сделал? — пробормотал Эбирам со злобной усмешкой, которую обманутая алчность и страх делали еще отвратительней.— Уж если ты выдал дьяволу расписку, то только из его рук и получишь ее назад.

— Помолчи! — сказал Ишмаэл, простерши могучую руку в сторону шурина, и этот грозный жест сразу заставил того замолчать.— Ты каркал мне в уши, как ворона. Если бы ты в свое время поменьше говорил, я бы не знал этого стыда.

— Раз вы перестали заблуждаться и поняли, где справедливость,— сказал Мидлтон,— то не останавливайтесь на полдороге и, поступив великодушно, приобретите себе друзей, которые могут оградить вас от будущих неприятностей со стороны закона.

— Молодой человек,— перебил его скваттер, угрюмо нахмурившись,— ты тоже сказал достаточно. Если бы я побоялся закона, тебе не пришлось бы сейчас смотреть, как Ишмаэл Буш чинит правосудие.

— Не заглушайте в себе добрых намерений. А если вы задумали причинить вред кому-нибудь из нас, то помните, что рука закона, хоть вы его и презираете, достает далеко: он порой не торопится, но всегда достигает своей цели.

— Да, он правду говорит, скваттер, истинную правду,— вмешался траппер, который, как обычно, не пропустил мимо ушей ни одного слова, сказанного при нем.— Здесь у нас, в Америке, эта рука куда как хлопотлива и частенько тяжело ложится на людей, а ведь тут по сравнению с другими странами человек, говорят, больше волен следовать своим желаниям. И поэтому он тут куда счастливей, и мужественней, и честнее тоже. А знаете, друзья, ведь есть места, где закон до того хлопотлив, что прямо указывает человеку: вот так-то ты будешь жить, вот так-то ты умрешь, а вот так-то распрощаешься с миром, когда тебя пошлют предстать пред судьей небесным. Да, грешно оно, такое посягательство на власть того, кто создал своих тварей вовсе не затем, чтобы их перегоняли, как скотину, с пастбища на пастбище, как только вздумается их глупым и себялюбивым пастырям, берущимся судить об их нуждах и потребностях. Что же это за несчастные страны, где сковывают не только тело, но и разум и где божьи создания, как рождаются младенцами, так до конца и остаются в свивальнике через грешные измышления людей, которые не убоялись присвоить себе право, принадлежащее лишь великому владыке всего сущего!

Пока траппер высказывал эти столь уместные суждения, Ишмаэл ни разу не перебил его, хотя и смотрел на него далеко не дружеским взглядом. Когда старик договорил, скваттер повернулся к Мидлтону и продолжал так, словно его не прерывали:

— Что касается нас с тобой, капитан, так обиды нанесены обоюдно. Если я причинил тебе горе, уведя твою жену — с честным намерением вернуть ее тебе, как только

сбудутся расчеты вот этого дьявола во плоти,— так ведь и ты ворвался в мой лагерь, помогая и способствуя, как выражаются законники про многие честные сделки, уничтожению моей собственности.

— Но ведь я только стремился освободить...

— Мы квиты,— перебил его Ишмаэл, который, решив дело к собственному удовольствию, нисколько не интересовался мнением других.— Ты и твоя жена свободны и можете отправляться куда и когда хотите. Эбнер, развяжи капитана. И вот что: если ты согласен подождать, когда я двинусь обратно к поселениям, то я подвезу вас обоих в повозке. А не хочешь — твое дело, была бы честь предложена.

— Пусть я понесу за мои грехи самую тяжкую кару, если я забуду ваш честный поступок, хотя совесть в вас заговорила и не сразу! — вскричал Мидлтон, бросаясь к плачущей Инес, как только его развязали.— И, друг мой, даю слово солдата, что ваше участие в похищении будет забыто, что бы ни решил я предпринять, когда доберусь до места, где рука правосудия еще не утратила силу.

Угрюмая улыбка, которой скваттер ответил на его заверения, показала, как мало он ценит обещание, данное от души молодым человеком в первом порыве радости.

— Я решил так не из страха и не из милости, а потому что, на мой взгляд, это справедливо,— промолвил он.— Поступай, как тебе кажется правильным, и помни, что мир велик, в нем хватит места и для меня и для тебя, и, может, нам больше никогда не доведется встретиться. Если ты доволен — хорошо, а не доволен — так попробуй рассчитаться, как захочешь. Я не буду просить пощады, если ты меня одолеешь. Теперь, доктор, твой черед. Пора навести

порядок в наших счетах, а то в последнее время они что-то запутались. Мы с тобой заключили честный договор, на веру и совесть, и как же ты его соблюдал?

Безмятежная легкость, с какой Ишмаэл умудрился переложить ответственность за все происшедшее с себя на своих пленников, в сочетании с обстоятельствами, не позволявшими философски рассматривать спорные этические вопросы, сильно смутила тех, кому так неожиданно пришлось оправдываться, когда они в простоте душевной полагали, что их поведение заслуживало только похвалы. Овид, живший всегда в эмпиреях чистой теории, совсем растерялся, хотя, будь он больше искушен в мирских делах, он, возможно, не усмотрел бы в создавшейся ситуации ничего необычайного. Достойный натуралист отнюдь не первым оказался в положении, когда вдруг его призвали к ответу за те самые поступки, какие, на его взгляд, должны были снискать ему всеобщее уважение. Возмущенный таким поворотом дела, он все же постарался не ударить лицом в грязь и выдвинул в свою защиту доводы, какие первыми пришли ему на ум, правда несколько смятенный.

— Действительно, существовал некий компактум, или договор, между Овидом Батом, доктором медицины, и Ишмаэлом Бушем, виатором, или странствующим земледельцем,— сказал он, стараясь выбирать выражения помягче,— и отрицать это я не склонен. Я признаю, что оным договором обуславливалось, или устанавливалось, что некое путешествие будет совершаться совместно, или в обществе друг друга, до истечения известного, точно означенного срока. Но, поскольку срок полностью истек, я заключаю, что, по справедливости, указанное соглашение можно считать утерявшим силу.

— Ишмаэл! — с досадой перебила Эстер.— Не заводи разговоров с человеком, который умеет ломать кости не хуже, чем вправлять их, и пусть этот чертов отравитель убирается восвояси со всеми своими коробочками и пузырьками. Обманщик он, и больше ничего! Отдай ему половину прерии, а себе возьми другую половину. Лекарь, нечего сказать! Да поселись мы в самом что ни на есть гнилом болоте, никто из детей у меня не заболеет, и не буду я говорить разные слова, которые не прожуешь,— обойдусь корой вишневого дерева да капелькою-двумя укрепляющего напитка. Скажу тебе, Ишмаэл: не по

сердцу мне спутники, из-за которых у честной женщины отнимается язык... И ведь такому все равно, порядок у нее в хозяйстве или нет.

Мрачное выражение, не сходившее с лица скваттера, на мгновение смягчилось почти лукавой усмешкой, когда он ответил:

— Одному его искусство не по душе, Истер, а другому оно, может быть, и по душе. Но раз ты желаешь его отпустить, я не стану вскапывать прерию, чтоб затруднить ему путь. Ты свободен, приятель, и можешь возвратиться в поселения. Советую тебе там и оставаться, потому что такие люди, как я, редко заключают сделку, да зато не любят, чтоб ее так легко нарушали.

— А теперь, Ишмаэл, — победоносно продолжала его жена, — чтобы в семье у нас был мир, лад и сердечный покой, покажи-ка тому краснокожему и его дочке, — тут она указала на старика Ле Балафре и овдовевшую Тачичену, — дорогу в их селение, и скажем им на прощанье: «Идите с богом, а нам и без вас хорошо».

— По законам индейской войны они — пленники пауни, и я не могу нарушать его права.

— Берегись дьявола-искусителя, муженек! У него много уловок, и легко попасть в его сети, когда он заманивает тебя своими лживыми видениями! Послушай ту, кому дорого твое честное имя, и отошли ты подальше эту чумазую ведьму.

Скваттер положил на плечо Эстер свою широкую ладонь и, глядя ей прямо в глаза, сказал торжественно и строго:

— Женщина, нам предстоит важное дело, а у тебя блажь на уме. Помни, что́ мы должны совершить, и забудь свою глупую ревность.

— Правда, правда, — прошептала его жена, отходя к дочерям. — Господи, прости меня, что я хоть на минуту об этом забыла!

— А теперь поговорим с тобой, молодой человек. Ты не зря приходил на мою вырубку, будто выслеживая пчелу,— заговорил Ишмаэл, немного помолчав, как бы затем, чтобы собраться с мыслями. — С тобой у меня счеты посерьезней. Ты не только разорил мой лагерь, а еще и выкрал девицу, которая в родстве с моей женой и которую я прочил себе в дочери.

Это обвинение сильней взволновало присутствующих,

чем предыдущие. Сыновья скваттера все, как один, с любопытством уставились на Поля и Эллен, отчего бортник совсем смутился, а девушка, застыдившись, опустила голову.

— Вот что, друг Ишмаэл Буш,— сказал наконец Поль, вдруг обнаружив, что его обвиняют не только в похищении невесты, но и в грабеже.— Я не стану отрицать, что не очень-то вежливо обошелся с твоими горшками и плошками. Но, может быть, ты назовешь их цену, и мы покончим дело миром, забыв про обиды. У меня было не слишком благочестивое настроение, когда мы влезли на твою скалу, ну, и я, понятно, больше бил посуду, чем проповедовал. Но деньгами можно зачинить дыру хоть на каком кафтане. А вот с Эллен Уэйд дело обстоит не так-то просто. Разные люди смотрят на брак по-разному. Иные думают, что стоит ответить «да» и «нет» на вопросы судьи или священника — кто там окажется под рукой,— и готово, получай счастливую семью. А я полагаю так: если девушка на что решилась, нечего ее силком удерживать. Правда, я не говорю, что Эллен то, что она сделала, совершила без всякого принуждения; и она, выходит, ни в чем не виновата — вон как тот осел, который ее увез, и тоже против воли, и это он, поклянусь вам, подтвердил бы, когда бы умел говорить не хуже, чем реветь.

— Нелли,— сказал скваттер, оставив без внимания эту оправдательную речь, которая казалась Полю очень убедительной и остроумной.— Нелли, ты поторопилась уйти от нас в широкий и недобрый мир. Целый год ты ела и спала в моем лагере, и я уже надеялся, что вольный воздух границы пришелся тебе по вкусу и ты пожелаешь остаться с нами.

— Пусть ее поступает, как хочет,— пробормотала Эстер, по-прежнему держась в стороне.— Тот, кто мог бы склонить ее остаться с нами, спит среди холодной голой прерии, и теперь нам ее не переубедить. Женщина к тому же всегда своенравна, и уж если она что забрала в голову, так поставит на своем, как ты сам хорошо знаешь, муженек, а то бы я не была сейчас здесь и не стала бы матерью твоих детей.

Скваттеру, видно, было нелегко отказаться от своих планов в отношении смущенной девушки, и, прежде чем ответить жене, он обратил свой тупой, тяжелый взгляд на равнодушные лица сыновей, будто в надежде, что хоть один из них мог бы занять место погибшего. Поль не пре-

минул уловить этот взгляд и, точнее, чем обычно, отгадав тайные мысли скваттера, решил, что нашел средство устранить все трудности.

— Яснее ясного, друг Буш,— сказал он,— что в этом деле существуют два мнения: твое — в пользу твоих сыновей, и мое — в мою собственную пользу. На мой взгляд, есть только один мирный способ уладить спор — выбирай из своих ребят любого, и мы с ним пойдем погулять в прерию. Кто останется там, тот больше не сможет вмешиваться в чужие семейные дела: а кто вернется, тот пусть уж сам поладит с девушкой.

— Поль! — с упреком, чуть дыша, прошептала Эллен.

— Ничего, Нелли, не бойся,— шепнул в ответ простодушный бортник, которому и в голову не пришло, что волнение его возлюбленной может быть порождено не только опасением за него.— Я примерился к каждому из них, а уж ты можешь положиться на глаз человека, который не раз прослеживал пчелу до ее лесного улья.

— Я ничего насильно навязывать ей не стану,— промолвил скваттер.— Если ее и вправду тянет в поселения, пусть так и скажет. Я ей ни пособлять, ни помехи чинить не буду. Говори же, Нелли, говори свободно, ни за себя и ни за кого другого не бойся. Хочешь ты оставить нас и вернуться с этим молодцом в поселения или же останешься и разделишь с нами то немногое, что есть у нас и что мы тебе предлагаем от чистого сердца?

После такого призыва Эллен больше не могла колебаться. Сперва она смотрела робко, украдкой. Но потом ее лицо залилось румянцем, дыхание участилось, и нетрудно было понять, что ее природная живость и смелость взяли верх над девичьей застенчивостью.

— Вы приютили меня, нищую, всеми брошенную сироту,— сказала она срывающимся голосом,— когда другие, те, кто по сравнению с вами живут, можно сказать, в богатстве, предпочли забыть обо мне. Да наградит вас бог за вашу доброту! Того немногого, что я делала для вас, и всего, что я еще могла бы сделать, не хватит, чтобы отплатить за одно это доброе дело. Мне не по сердцу ваша жизнь. Она не похожа на ту, к какой я привыкла с детства, и я хочу совсем другого. Но все же, если бы вы не похитили эту милую, ни в чем не повинную молодую даму у ее друзей, я бы никогда вас не оставила, пока вы сами не сказали бы: «Иди, и да благословит тебя господь».

— Что дурно, то дурно, об этом спору нет, и все будет исправлено, насколько это можно сделать без опаски. А теперь скажи напрямик: останешься ты с нами или уедешь?

— Я обещала жене капитана,— ответила Эллен, снова потупив глаза,— не покидать ее. И раз уже она видела столько обид от всех, она вправе ждать, чтобы хоть я-то сдержала слово.

— Развяжите молодца,— сказал Ишмаэл, и, когда его распоряжение было исполнено, он поманил к себе сыновей, поставил их в ряд перед Эллен и продолжал: — А теперь скажи без уверток правду. Вот все, что я могу тебе предложить, не считая сердечного приема.

Растерявшаяся девушка смущенно переводила взгляд с одного юноши на другого, пока не остановила глаза на искаженном тревогой лице Поля. И тут чувство восторжествовало над требованиями приличий. Она бросилась бортнику на грудь и подтвердила свой выбор, громко зарыдав. Ишмаэл сделал знак сыновьям отойти и, явно огорченный, хотя и не удивленный таким исходом, сказал твердо:

— Бери ее и обходись с ней честно и ласково. Такую жену всякий с радостью ввел бы в свой дом, и не хотел бы я услышать, что с ней приключилась какая-нибудь беда. Ну, а теперь я рассчитался с вами, надеюсь, по всей справедливости, никого из вас не обидев и не утеснив. Мне осталось задать только один вопрос — спросить у капитана: хочешь ты для обратной дороги воспользоваться моими упряжками или же нет?

— Я слышал, что солдаты из моего отряда ищут меня близ селений пауни,— ответил Мидлтон,— и я думаю поехать с вождем, чтобы соединиться со своими людьми.

— Тогда чем скорее мы расстанемся, тем лучше. Лошадей в лощине много. Выбирай себе любых и оставь нас с миром.

— Мы не можем уехать, пока не будет освобожден этот старик, который более полувека был другом моей семьи. Что он сделал дурного, что его не отпускают на свободу?

— Не задавай вопросов, на которые можно услышать в ответ только ложь,— сказал скваттер угрюмо.— С траппером у меня свои счеты, и нечего вмешиваться в них офицеру американской армии. Уезжай, пока дорога открыта.

— Он дает вам хороший совет, и вам всем полезно к нему прислушаться,— заговорил старик, которого, казалось, ничуть не тревожило его положение.— Племена сиу многочисленны, и кровь проливать им не впове. Никто не знает, как долго будут они медлить с местью. Поэтому я тоже вам скажу: поезжайте и, когда будете пересекать лощины, остерегайтесь, не попадите в пожар, потому что в это время года честные охотники часто жгут траву, чтобы весной у буйволов пастбище было зеленей и слаще.

— Если бы я оставил пленника в ваших руках, пусть даже с его согласия, не узнав сперва, в чем его обвиняют, я забыл бы не только долг благодарности, но и свой долг перед законом; тем более что мы все, быть может, сами того не подозревая, были соучастниками его преступления.

— Довольно с тебя будет узнать, что он вполне заслужил то, что получит?

— Это, во всяком случае, изменит мое мнение о нем.

— Ну, так смотри,— ответил Ишмаэл, поднося к глазам капитана пулю, найденную в одежде убитого Эйзы.— Этим кусочком свинца он поразил сына, которым мог бы гордиться любой отец!

— Я не верю, что он совершил подобный поступок; разве что защищая свою жизнь или будучи вынужден к нему вескими причинами. Не могу отрицать, что он знал о смерти вашего сына, поскольку он сам указал нам на кустарник, где было найдено тело. Но ничто, кроме его собственного признания, не заставит меня поверить, что он умышленно совершил убийство.

— Я жил долго,— начал траппер, когда общее молчание показало ему, что все ждут, чтоб он опроверг это тяжкое обвинение,— и много зла повидал я на своем веку. Не раз я видел, как могучие медведи и быстрые пантеры дрались из-за попавшегося им лакомого куска. Не раз я видел, как наделенные разумом люди схватывались насмерть, и тогда человеческое безрассудство встречало час своего торжества. О себе скажу не хвастая, что, хотя моя рука подымалась против зла и угнетения, она ни разу не нанесла удара, которого мне пришлось бы устыдиться на суде более грозном, чем этот.

— Если мой отец отнял жизнь у своего соплеменника,— сказал молодой пауни, по лицам людей и при виде пули разгадавший смысл происходившего,— пусть он от-

дает себя в руки друзей убитого, как подобает воину. Он справедлив и сам пойдет на казнь, ему не нужны ремни.

— Надеюсь, мой сын, что ты не ошибся во мне. Если бы я совершил то подлое дело, в котором меня обвиняют, у меня бы хватило мужества самому склонить свою голову под карающий удар, как поступил бы любой хороший и честный индеец.— И, взглядом уверив встревоженного пауни в своей невиновности, траппер повернулся к остальным внимательным слушателям и продолжал, переходя на родной язык.— Мне надо поведать вам немногое, и, кто поверит мне, поверит правде, а кто не поверит, только запутается сам и, может быть, запутает своего ближнего. Мы все, друг скваттер, как ты уже, наверное, понял, бродили вокруг твоего лагеря, узнав, что в нем содержится несчастная, насильно похищенная пленница, и намерения у нас были самые простые: вернуть ей свободу, на которую она, по чести и справедливости, имела все права. Остальные спрятались, а меня, как я в этом деле искуснее их всех, послали в прерию на разведку. Вам и в голову не приходило, что за вами шел человек, который видел весь ход вашей охоты. А ведь так оно и было: то я лежал где-нибудь за кустом или в траве, то сползал со склона в лощину, а вы-то и не подозревали, что за каждым вашим движением кто-то следит, точно рысь за оленем на водопое. Да что уж говорить, скваттер! Когда я был в расцвете сил, я, бывало, заглядывал в палатку врага, пока он спал, да-да, спал и видел сны, что находится дома и в полной безопасности. Эх, было бы у меня время рассказать тебе подроб...

— Говори же, как было дело,— перебил его Мидлтон.

— Да, кровавое и подлое это было дело! Я лежал в невысокой траве, когда совсем рядом сошлись двое охотников. Встретились они не по-дружески и говорили не так, как следует говорить путникам в глуши. Но я уже думал, что они расстанутся мирно, как вдруг один приставил ружье к спине другого и совершил то, что иначе не назовешь, как предательским, безбожным убийством. А мальчик был молодец хоть куда — благородный и смелый! Когда порох уже прожег его куртку, он еще минуту продержался на ногах. А потом упал на колени и дрался отчаянно и мужественно, пока не пробился в кусты, как раненый медведь, когда он ищет, где бы укрыться.

— Но почему же, во имя всего святого, ты это до сих пор скрывал? — воскликнул Мидлтон.

— Да неужто ты думаешь, капитан, что человек, который шестьдесят с лишним лет прожил в дебрях и пустынях, не научился молчать? Какой краснокожий воин будет до времени кричать о следах, которые он увидел? Я привел туда доктора — на случай, если бы его сноровка могла пригодиться, да и наш приятель бортник был с нами и тоже знал, что в кустах скрыто мертвое тело.

— Да, это правда,— сказал Поль.— Но я видел, что у старика траппера есть свои причины держать язык за зубами, так и я говорил об этом, как мог меньше, попросту сказать — совсем ничего.

— Так кто же был этот злоумышленник? — настойчиво спросил Мидлтон.

— Если под злоумышленником ты разумеешь того, кто совершил это дело, так вот он стоит, и вечный позор нашему племени, ибо он одной крови с убитым, из одной с ним семьи.

— Он лжет, лжет! — закричал Эбирам.— Я не убийца, я только ответил ударом на удар!

Глухим, страшным голосом Ишмаэл сказал:

— Довольно. Отпустите старика. Мальчики, свяжите вместо него брата вашей матери.

— Не касайся меня! — закричал Эбирам.— Я призову на вас божье проклятье, если вы меня тронете!

Дикий, безумный блеск в его глазах заставил юношей отступить; но, когда Эбнер, самый старший и решительный из них, направился к нему с лицом, искаженным ненавистью, испуганный преступник повернулся, кинулся было прочь и упал ничком на землю — по всей видимости, мертвый. Послышались негромкие, полные ужаса возгласы, но тут Ишмаэл жестом приказал сыновьям унести неподвижное тело в одну из палаток.

— А теперь,— сказал он, поворачиваясь ко всем чужим в его лагере,— настала нам пора каждому пойти своей дорогой. Желаю вам удачи... а тебе, Эллен, хоть, может, ты и не порадуешься такому подарку, я скажу: да благословит тебя бог!

Мидлтон, пораженный тем, что он счел небесным знамением, не стал упорствовать. Покончив с недолгими сборами, все быстро и молча распрощались со скваттером и его семьей, и вскоре пестрое это общество медленно и безмолвно последовало за вождем-победителем к далеким селениям пауни.

Глава XXXII

Я вас молю,
Закон хоть раз своей склоните властью;
Для высшей правды малый грех свершите

Шекспир, «Венецианский купец»

Ишмаэл долго и терпеливо ждал, пока Твердое Сердце со своею разнородной свитой не исчезнет из виду. Только когда дозорный сообщил, что последний индеец из отряда паупи (оставленного им в отдалении, чтобы не смущать бледнолицых, а теперь соединившегося со своим вождем) скрылся за гребнем самого далекого холма, скваттер отдал приказ сниматься со стоянки. Лошади уже давно были заложены, и вскоре вся кладь заняла свои обычные места в фургонах.

Когда сборы были кончены, небольшую крытую повозку, так долго служившую тюрьмой для Инес, подкатили к шатру, где лежало бесчувственное тело похитителя: очевидно, теперь она предназначалась для нового узника. Только сейчас, когда Эбирама вывели наружу, бледного, перепуганного, шатающегося под тяжестью раскрывшейся вины, младшие члены семьи узнали, что он еще жив. Поддавшись суеверному страху, они подумали, что злодея за его преступление постигло грозное возмездие свыше, и теперь он представлялся им скорее потусторонним существом, чем смертным человеком, которому, как им самим, еще предстояло претерпеть последнюю земную муку, перед тем как расстаться с жизнью. Сам преступник находился, видимо, в том состоянии, когда всеподавляющий ужас странным образом сочетается с полной физической апатией. Дело в том, что, пока его тело было сковано оцепенением, мысль продолжала работать, и ожидание страшной участи терзало его безысходным отчаянием. Очутившись на свежем воздухе, преступник огляделся, пытаясь прочитать на лицах окружающих свою близкую судьбу. Но лица были у всех спокойны, ничьи глаза не отражали гнева, который грозил бы немедленной грубой расправой, и жалкий человек понемногу ожил. А к тому времени, когда его посадили в крытую повозку, его изворотливая мысль уже выискивала способ, как он отведет от себя правый гнев родственников или, если не удастся, как уйдет от кары, которая, он знал, будет ужасна.

Покуда шли приготовления, Ишмаэл почти не разговаривал. Жест или взгляд достаточно ясно объясняли сыновьям его волю, да и остальные тоже предпочитали обходиться без слов. Скваттер наконец подал знак выступать, взял под мышку ружье, вскинул топор на плечо и, как всегда, повел караван. Эстер забралась в фургон со своими дочками, сыновья заняли привычные места — кто при стаде, кто при лошадях, и двинулись в путь обычным своим медлительным, но неустанным шагом.

Впервые за долгие дни скваттер повернулся спиной к закату. Он направился в сторону заселенных мест, и самая поступь его ясно говорила детям, научившимся по взгляду понимать решения отца, что их путешествие по прерии близится к концу. Все же пока, за многие часы, в Ишмаэле ничто не проглянуло, что могло бы указать на внезапный или зловещий переворот в его намерениях и чувствах. Он все это время шел один, на милю-полторы впереди своих упряжек, почти ничем не выдавая непривычного волнения. Правда, раз-другой было видно, как исполин останавливался на вершине какого-нибудь дальнего холма — стоял, опершись на ружье и понурив голову; но эти минуты напряженного раздумья бывали не часты и длились не подолгу. Вечерело, и повозки уже давно отбрасывали тени на восток, неуклонно подвигаясь вперед и вперед. Переходили вброд ручьи и реки, пересекали равнины, поднимались и спускались по склонам холмов, но ничто не приносило перемены. Давно освоившись с трудностями путешествий такого рода, скваттер инстинктивно обходил самые неодолимые препятствия, всякий раз вовремя уклонившись вправо или влево, когда характер почвы, или купа деревьев, или признаки близкой реки указывали, что напрямик не пройдешь.

Наконец настал час, когда надо было дать отдых и людям и животным. Ишмаэл с обычной своей предусмотрительностью выбрал подходящее место. Равномерно всхолмленную степь, описанную на первых страницах повести, давно сменила более резко пересеченная местность. Правда, кругом тянулась, в общем, все та же пустынная и бескрайняя ширь — те же плодородные лощины, в том же странном чередовании с голыми подъемами, придающем этому краю вид как бы древней страны, откуда, непонятно почему, ушло все население, не оставив и следа жилищ. Но эти характерные черты волнистой прерии теперь наруша-

лись возникавшими здесь и там обрывами, нагромождением скал, широкой полосою леса.

У подошвы высокой, в сорок — пятьдесят футов, скалы бил источник, и скваттер избрал это место, найдя здесь все, что требовалось для скота. Вода увлажнила небольшой лужок внизу, который в ответ на щедрый дар вырастил скудную поросль травы. Одинокая ветла пустила корни в ило; и, захватив в полное свое владение всю почву вокруг, ветла поднялась высоко над скалой и осенила ее острую вершину шатром своих ветвей. Но так это было прежде — теперь красота ее ушла вместе с таинственным жизненным началом. Точно в насмешку над скудной зеленью вокруг, она высилась теперь величавым и суровым памятником прежнего плодородия. Самые крупные ветви, косматые и причудливые, еще простирались далеко вширь, но седой замшелый ствол стоял оголенный, расщепленный грозой. Не сохранилось ни единого листика. Всем своим видом дерево говорило о бренности существования, о свершении срока.

Ишмаэл, подав знак сыновьям подъехать сюда, бросился на землю и, казалось, задумался о тяжелой ответственности, легшей на него. Почуяв издалека корм и воду, лошади сразу ускорили бег, и вскоре поднялась обычная суматоха привала — с окриками, перебранкой.

У детей Ишмаэла и Эстер не осталось такого глубокого и стойкого впечатления от утренней сцены, чтобы они могли забыть из-за него свои естественные потребности. Но покуда сыновья искали в припасах чего-нибудь посущественней, а младшие ссорились из-за незатейливых сластей, мать и отец проголодавшегося семейства были озабочены другим.

Когда скваттер увидел, что все, вплоть до ожившего Эбирама, занялись едой, он взглядом поманил за собой удрученную жену и пошел к дальнему пологому холму, заграждавшему вид на востоке. Встреча супругов на голом этом месте была для них как свидание на могиле убитого сына. Ишмаэл кивком пригласил Эстер сесть рядом с ним на камне, и какое-то время оба молчали, словно боясь заговорить.

— Мы вместе прошли через долгие странствия, и доброе видали и дурное,— начал наконец Ишмаэл.— Разные были у нас испытания, жена, и не одну мы испили горькую чашу. Но такого еще не бывало ни разу.

— Тяжелый это крест, чтоб нести его бедной, заблудшей, грешной женщине! — отозвалась Эстер, пригнув голову к коленям и наполовину зарыв лицо в одежду.— Тяжелое, непосильное бремя для плеч сестры и матери!

— Да. В том-то и дело! Я с легкостью готовился наказать бродягу траппера, потому что большого добра я от него не видел, а думал — да простит мне бог мою ошибку,— что зла он причинил мне очень много. Теперь же мне не очистить от позора свой дом: выметешь из одного угла, заметешь в другой! Но как же быть? Убили моего сына, а тот, кто это сделал, будет расхаживать на свободе?.. Мальчику не будет в могиле покоя!

— Ох, Ишмаэл! Мы зашли с этим делом слишком далеко! Меньше бы мы говорили, никто бы толком ничего не знал... И на совести было бы у нас спокойней.

— Истер,— молвил муж, остановив на ней укоризненный, но все еще апатичный взгляд.— Был час, когда ты думала, женщина, что это зло совершила другая рука.

— Думала, да! Бог в наказание за мои грехи внушил мне ложную догадку... И все же в его жилах — моя кровь и кровь моих детей! Может быть, мы будем милосердны?

— Женщина,— строго молвил муж,— когда мы думали, что дело сделал старый жалкий траппер, ты не говорила о милосердии!

Эстер не ответила, только сложила руки на груди и сидела несколько минут молча, в раздумье. Потом опять подняла на мужа беспокойный взгляд и увидела, что гнев и тревогу на его лице сменила холодная апатия. Уверившись, что судьба брата решена, и, может быть, сознавая, что наказание будет заслуженным, она бросила думать о заступничестве. Больше они ничего друг другу не сказали. Глаза их встретились на мгновение, затем оба поднялись и пошли в глубоком молчании к лагерю.

Сыновья ждали возвращения отца с обычным для них вялым равнодушием. Скотина была уже согнана в стадо и лошади уже заложены — все было готово, чтобы двинуться дальше в путь, как только он покажет, что так ему угодно. И девочки уже сидели в своем фургоне; словом, ничто не задерживало отъезда, кроме отсутствия родителей этого буйного племени.

— Эбнер,— сказал отец с неторопливостью, характерной для всех его распоряжений,— выведи брата твоей матери из фургона и поставь его передо мной.

Эбирам вышел из заточения, правда весь дрожа, но отнюдь не потеряв надежду умиротворить справедливый гнев своего родственника. Он глядел вокруг, напрасно ища хоть одно лицо, в котором открыл бы проблеск сочувствия, и, чтоб успокоить свои опасения, ожившие к этому времени во всей их первоначальной силе, попробовал вызвать скваттера на мирный, обыденный разговор.

— Лошади измучились, брат,— сказал он.— Поскольку мы уже проехали сегодня хороший конец, может быть, тут и заночуем? Как я погляжу, тебе долго придется шагать, пока сыщется место для ночевки лучше этого.

— Хорошо, что оно тебе по вкусу. Ты, похоже, останешься здесь надолго. Подойдите ближе, сыновья, и слушайте. Эбирам Уайт! — продолжал он, сняв шапку и заговорив торжественно и твердо, от чего даже его тупое лицо стало значительным.— Ты убил моего первенца, и по законам божеским и человеческим ты должен умереть.

При этом страшном и внезапном приговоре преступник содрогнулся, охваченный ужасом. Он почувствовал себя, как человек, который вдруг угодил в объятия чудовища и знает, что ему из них не вырваться. Он и раньше был полон недобрых предчувствий, но у него недоставало мужества глядеть в лицо опасности; и в утешительном самообмане, за каким трус бывает склонен скрыть от самого себя безвыходность своего положения, он не готовился к худшему, а всё надеялся спастись посредством какой-нибудь хитрой увертки.

— Умереть! — повторил он сдавленным, чуть слышным голосом.— Как же так? Среди родных человеку как будто ничто не может грозить!

— Так думал мой сын,— возразил скваттер и, кивком головы приказав, чтобы упряжка, везшая его жену и дочек, двинулась дальше, с самым хладнокровным видом проверил затравку в своем карабине.— Моего сына ты убил из ружья: будет справедливо, чтобы тебя постигла смерть от того же оружия.

Эбирам повел вокруг взглядом, говорившим о смятении ума. Он даже засмеялся, как будто хотел внушить не только самому себе, но и другим, что слова зятя — не более, как шутка, придуманная, чтобы попугать его, Эбирама. Но этот жуткий смех ни у кого не встретил отклика. Все вокруг хранили молчание. Лица племянников, хоть и разгоряченные, уставились на него безучастно, лицо его не-

давнего сообщника выражало твердую решимость. Самое спокойствие этих лиц было в тысячу раз страшней и беспощадней, чем было бы выражение лютой злобы. Та, возможно, еще зажгла бы его, пробудила бы в нем храбрость, толкнула на сопротивление. А так он не находил в себе душевной силы противиться им.

— Брат,— сказал он неестественным торопливым шепотом,— так ли я расслышал тебя?

— Мои слова просты, Эбирам Уайт: ты совершил убийство, и за это ты должен умереть!

— Эстер! Сестра, сестра, ты не оставишь меня! Слышишь, сестра? Я зову тебя!

— Я слышу того, кто говорит из могилы! — донесся хриплый голос Эстер из фургона, проезжавшего в ту минуту мимо места, где стоял убийца.— Это мой первенец громко требует правого суда! Бог милосерд, он смилуется над твоей душой.

Фургон медленно покатил дальше. Эбирам стоял, утратив последнюю тень надежды. Но и теперь он не мог собраться с духом, чтобы твердо встретить смерть, и, если бы ноги не отказались повиноваться ему, он попытался бы убежать. Потом надежда внезапно сменилась полным отчаянием. Он повалился на колени и начал молиться, дико мешая в своей молитве крик о пощаде, обращенный к зятю, с мольбой о божьем милосердии. Сыновья Ишмаэла в

ужасе отвернулись от мерзкого зрелища, и даже суровое сердце скваттера дрогнуло перед му́кой этой жалкой души.

— Пусть бог дарует тебе то, о чем ты просишь,— сказал он,— но отец не может забыть убитого сына.

Тогда начались самые униженные мольбы об отсрочке. Одна неделя, один день, один час выпрашивались с упорством, соответствовавшим той цене, которую они приобретали, когда в их короткое протяжение должна была улечься вся жизнь. Скваттер был смущен и наконец частично уступил молениям преступника. Своей конечной цели он остался верен, но изменил намеченное средство ее достижения.

— Эбнер,— сказал он,— залезь на скалу и глянь во все стороны, нужно увериться, что вблизи никого нет.

Покуда юноша выполнял приказ, по дрожащему лицу преступника бегал отблеск ожившей надежды. Скваттер остался доволен сообщением сына: нигде не видно ничего живого, кроме удаляющихся упряжек; но как раз оттуда бежит вестница и очень торопится. Ишмаэл дождался ее. Это была одна из его дочерей. Со страхом и любопытством в глазах девочка из рук в руки передала отцу несколько листков, выдранных из растрепанной библии, которую Эстер берегла с такой заботой. Скваттер кивком отослал дочку обратно и вложил листки в руки преступника.

— Эстер прислала это тебе,— сказал он,— чтобы ты в свои последние минуты вспомнил о боге.

— Да благословит ее небо! Она всегда была мне доброй, любящей сестрой! Но нужно время, чтобы я это мог прочитать. Время, брат! Дай мне время!

— Времени достанет. Ты будешь сам своим палачом, эта грязная работа минует мои руки.

Ишмаэл тут же приступил к осуществлению своего нового решения. Преступник, уверенный, что ему дадут прожить еще день, а то и много дней, сразу успокоился, хотя и знал, что наказания не избежать: жалкий и малодушный, он принял отсрочку, как помилование. Он сам первый пособлял в жутких приготовлениях, и среди участников этой тяжелой драмы только его голос звучал шутливо и бойко.

Под одним из корявых сучьев ветлы торчал тонкий и плоский уступ. Он высился футах в двадцати над землей, точно нарочно приспособленный для выполнения мысли, которую он же, собственно, и подсказал. На эту маленькую площадку поставили преступника, накрепко связали ему

локти за спиной и ту же веревку, накинув петлей вокруг шеи, протянули к толстому суку. Сук же этот был так расположен, что тело, повиснув, уже не нашло бы опоры для ног. Листки из библии вложили несчастному в пальцы, чтобы он нашел в них утешение, если сможет.

— А теперь, Эбирам Уайт,— сказал скваттер, когда его сыновья, кончив свое дело, спустились со скалы,— я тебя спрашиваю в последний раз, и не шутя — смерть перед тобою в двух видах: этим вот ружьем можно оборвать твою муку; а нет, так рано или поздно через эту веревку ты найдешь свой конец.

— Дай мне пожить! О Ишмаэл, ты не знаешь, как сладка жизнь, когда так близко подошла последняя минута!

— Всё! — сказал скваттер, махнув своим помощникам, чтобы они догоняли стадо и повозки.— А теперь, подлый человек, чтобы было тебе утешение в твой смертный час, я прощаю тебе мои обиды, и пусть тебя судит бог.

Ишмаэл повернулся и пошел по равнине обычным своим неторопливым и тяжелым шагом. Голова его поникла, но ни разу вялая мысль не подсказала ему оглянуться назад. Правда, ему послышалось раз, что его окликнул по имени придушенный голос, но зов не остановил его.

Дойдя до пригорка, где недавно говорил с Эстер, скваттер оказался на границе кругозора, открывавшегося со скалы. Здесь он остановился и решился поглядеть на то место, которое оставил. Солнце уже почти закатилось, и его последние лучи освещали голые ветви ветлы. Он видел ее ствол и разлапую вершину, вычерченную на огненном небе, и даже разглядел еще стоявшую в рост фигуру человека, которого он оставил на гибель. Спустившись с пригорка, он пошел дальше с таким чувством, как будто его неожиданно и насильно разлучили навсегда с недавним сотоварищем. Пройдя еще с милю, скваттер нагнал свой караван. Его сыновья нашли место, подходящее для ночлега, и ждали только, когда отец подойдет и одобрит их выбор. В скупых словах он высказал свое согласие.

Устраивались в молчании, более полном и значительном, чем всегда. Эстер почти не бранила дочек, а когда бранила, то не с криком, как всегда, а помягче, скорее тоном наставления.

Между ним и женой не было никаких объяснений. Только когда Эстер уже собралась уйти на ночь к детям,

муж приметил, что она поглядела украдкой на полку его ружья. Ишмаэл велел сыновьям ложиться спать, объявив, что будет сам сторожить лагерь. Когда все затихло, он вышел в прерию — среди шатров ему точно нечем было дышать. Ночь была такая, что еще усилила чувство гнета, вызванное событиями дня.

Вместе с месяцем поднялся ветер, и временами, когда он с воем мел по равнине, дозорному чудилось, будто в этот вой вплетаются какие-то странные, неземные звуки. Уступая непонятному желанию, Ишмаэл поглядел вокруг, нашел, что лагерь может спать спокойно, и побрел все к тому же пригорку. Отсюда открывался широкий вид на восток и на запад. Кудрявые облака то и дело затягивали холодный месяц, хотя бывали минуты, когда его мирные лучи лились с чистого синего поля, и тогда казалось, что он все вокруг смягчает своей покоряющей кротостью.

Впервые в своей беспокойной жизни Ишмаэл остро почувствовал одиночество. Прерия представилась его глазам беспредельной и мрачной пустыней, а ропот ветра звучал, как перешептывание мертвецов. Вскоре ему послышалось, будто с налетевшим шквалом пронесся мимо него пронзительный крик. Это прозвучало не как зов с земли — крик жутко прорезал воздух где-то в высоте и там смешался с хриплым подвыванием ветра. Скваттер стиснул зубы, а его большая рука так сжала ружье, точно хотела раздавить металл. Все затихло, потом снова шквал и возглас ужаса, пронесшийся как будто прямо ему в уши. Нечаянный отклик сорвался с его собственных губ — так люди вскрикивают иногда от непривычного возбуждения,— и, закинув ружье за плечо, скваттер шагами великана пошел к скале.

Не часто у Ишмаэла кровь двигалась с той быстротой, с какой она бежит по жилам у большинства людей; но теперь он ощущал, что она как будто рвется хлынуть наружу из каждой поры его тела. Как зверь от спячки, пробудилась вся его дремавшая энергия. Ишмаэл шел и все время слышал эти пронзительные крики, то будто звеневшие в облаках, то проносившиеся так близко, точно они стлались по земле. Но вот раздался возглас, который мог быть только явью и ужасней которого не могло бы измыслить никакое воображение. Он, казалось, заполнил собою весь воздух — как бывает молния охватывает ослепительным светом весь зримый горизонт. Было отчетливо названо имя божье в кощунственном соединении с самой дикой руганью.

Скваттер остановился и зажал уши. Потом, когда он отнял руки от ушей, тихий и хриплый, точно сдавленный голос рядом с ним спросил:

— Ишмаэл, муж мой, ты ничего не слышишь?

— Тише!..— остановил муж, положив руку на плечо Эстер и нисколько не удивившись, что жена стоит подле него.— Тише, женщина! Если боишься бога, помолчи.

Настало мертвое молчание. Ветер по-прежнему налетал порывами и стихал, но к его шуму уже не примешивались жуткие крики. Шумел он властно и торжественно, но это были торжественность и величие природы.

— Идем дальше! — сказала Эстер.— Все утихло.

— Женщина, почему ты здесь? — спросил муж. Его кровь текла ровней, и смятение мыслей почти улеглось.

— Ишмаэл, он убил нашего первенца, но не годится, чтобы сын моей матери валялся на земле, как собака.

— Ступай за мной! — сказал скваттер, схватившись опять за ружье, и зашагал к скале.

До нее было еще далеко; но чем ближе к месту казни, тем они медленней шли, уступая тайному страху. Много истекло минут, пока они приблизились настолько, что могли явственно различить очертания предметов.

— Где ты оставил тело? — шепотом спросила Эстер.— Видишь, я прихватила кирку и заступ, чтобы мой брат мог спать в земле!

Месяц выплыл из-за гряды облаков, и Эстер теперь могла проследить, куда указывает палец Ишмаэла. Он указывал на тело человека, качавшееся на ветру под облупленным белесым суком ветлы. Эстер опустила голову и натянула платок на глаза, чтоб не видеть. А Ишмаэл подошел поближе и смотрел на свою работу со страхом, но без угрызений совести. Листки библии рассыпались по земле, и даже кусок уступа отвалился, когда преступник бился в агонии. Но на всем теперь лежала тишина смерти. Временами лицо жертвы, угрюмое, сведенное судорогой, поворачивалось прямо под лучи месяца; потом ветер опять затихал, и тогда роковая веревка черной чертой пересекала яркий диск. Скваттер поднял ружье, долго целился и выстрелил. Пуля перерезала веревку, и тело грузным комом упало на землю.

До сих пор Эстер не двигалась, не говорила. Но сейчас сразу принялась усердно помогать мужу. Могила была вырыта быстро. И тотчас же стали опускать в нее тело. Эстер,

поддерживая безжизненную голову, с отчаянием посмотрела мужу в лицо и сказала:

— Ишмаэл, мой муж, это ужасно: он дитя моего отца, а я не могу поцеловать его мертвого!

Скваттер положил свою широкую руку на грудь мертвеца и сказал:

— Эбирам Уайт, мы все нуждаемся в милосердии; я от души прощаю тебя! И да будет милостив бог в небесах к твоим грехам!

Женщина склонила лицо и припала губами к бледному лбу своего брата в горячем долгом поцелуе. Послышался стук падающих комьев, глухой шум утаптывания земли. Эстер еще стояла на коленях. Ишмаэл ждал с непокрытой головой, пока жена прочитала молитву. И все было кончено.

На другое утро можно было видеть, как упряжки и стадо скваттера потянулись дальше, в сторону поселений. Когда они подошли ближе к обитаемым местам, их караван затерялся среди тысячи других. Из многочисленных отпрысков этой своеобычной четы иные отступились от своей беззаконной, полуварварской жизни, но о главе семьи и его жене никто с той поры ничего не слышал.

Глава XXXIII

До своей деревни пауни добрался, никем не потревоженный. На равнине, которую он неизбежно должен был пересечь, сиу не оставили даже одиночного разведчика, так что Мидлтон со своими друзьями совершил и этот переход так мирно, как если бы они путешествовали где-нибудь по центральным штатам. Ехали с частыми привалами, приноравливаясь к слабым силам спутниц. Казалось, победители после своего торжества утратили все черты жестокости и были готовы предупредить любое желание людей из жадного племени, которое что день, то грубей попирало их права, низводя индейцев Запада, независимых и гордых, до положения беглецов и скитальцев.

Мы не станем подробно расписывать триумфальное возвращение вождя. Все племя, недавно повергнутое в уныние, сейчас тем радостней ликовало. Матери похвалялись доблестной смертью своих сыновей; жены славили

своих мужей, указывая на их раны; а девушки пели песни об отваге молодых храбрецов Скальпы, снятые с павших врагов, выставлялись напоказ, как в более цивилизованных странах — взятые в бою знамена. Старики рассказывали о свершениях предков и добавляли, что слава новой победы затмила все былое; а Твердое Сердце, с юных дней до этого часа неустанно отличавшегося своими подвигами, вновь и вновь единодушно провозглашали самым достойным вождем и самым могучим воином, какого когда-либо дарил Ваконда своим любимейшим детям, Волкам-пауни.

Мидлтон, хотя здесь его вновь обретенное сокровище было в сравнительной безопасности, все же обрадовался, когда, въезжая в деревню со свитой вождя, увидел в толпе своих верных молодцов-артиллеристов, встретивших его громогласным приветствием. Присутствие вооруженного отряда, даже такого маленького, позволяло ему отбросить последние опасения: командуя им, он ни от кого не зависел, обретал достоинство и вес в глазах своих новых друзей и мог спокойно думать о трудностях предстоявшего неблизкого перехода по пустынной стране от деревни Волков-пауни до ближайшего форта соотечественников. Инес и Эллен была предоставлена особая хижина, и даже Поль, когда увидел у ее входа шагавшего взад и вперед часового в американской форме, был рад, что может пошататься на досуге среди индейских хижин, куда он бесцеремонно заглядывал, рассматривая нехитрую утварь, отпуская о ней свои шуточки, а то и серьезные замечания и стараясь с помощью жестов втолковать изумленным хозяйкам, что то или это в домашнем укладе белых куда как лучше.

Совсем по-иному вели себя пауни. Скромность и деликатность Твердого Сердца передались и его народу. Чужеземцам было оказано все внимание, какое могли подсказать индейцу простота его обычая и ограниченность потребностей, но затем никто не позволил себе даже близко подойти к хижинам, отведенным для гостей: им предоставили отдыхать сообразно их привычкам и наклонностям. Но племя предавалось ликованию до поздней ночи; до поздней ночи пелись песни и было слышно, как тот или другой из воинов с крыши хижины рассказывал о подвигах своего народа и славе его побед.

Несмотря на беспокойную ночь, с восходом солнца все жители высыпали из хижин. Восторг, так долго озарявший каждое лицо, теперь сменился выражением чувства, лучше

отвечавшего этой минуте. Всем было ясно, что бледнолицые, вступившие в дружбу с вождем, готовятся окончательно распроститься с племенем. Солдаты Мидлтона в ожидании его прибытия сторговались с одним незадачливым купцом о найме его лодки, которая стояла у берега, готовая принять свой груз; все было налажено, можно было не мешкая пуститься в дальний путь.

Мидлтон не без тревоги ждал этого часа. Восхищение, с каким Твердое Сердце глядел на Инес, так же не ускользнуло от ревнивых глаз мужа, как прежде жадные взгляды Матори. Он знал, с каким совершенством умеют индейцы скрывать свои замыслы, и полагал, что с его стороны было бы преступным небрежением не подготовиться к самому худшему. Поэтому он дал своим людям кое-какие тайные распоряжения, хотя, принимая свои меры, постарался придать им вид подготовки к военному параду, которым он якобы решил ознаменовать свой отъезд.

Однако молодой капитан почувствовал укоры совести, когда увидел, что все племя вышло проводить его отряд до берега без оружия в руках и с печалью на лицах. Пауни обступили чужеземцев и вождя как мирные наблюдатели, полные интереса к предстоящей церемонии. Когда стало ясно, что Твердое Сердце намерен говорить, все замерли, приготовившись слушать, а траппер — исполнять обязанность толмача. Затем юный вождь обратился к своему народу на обычном образном языке индейцев.

Он начал с упоминания о древности и славе народа Волков-пауни. Он говорил об их успехах на охоте и на тропе войны; говорил о том, как они издавна славятся умением отстоять свои права и покарать врагов. Сказав достаточно, чтобы выразить свое почтение к величию Волков и польстить самолюбию слушателей, он вдруг перешел на другой предмет, заговорив о народе, к которому принадлежали его чужеземные гости. Его несчетное множество он уподобил стаям перелетных птиц в пору цветов и в пору листопада. С деликатностью, отличающей воина-индейца, он не позволил себе прямых указаний на алчность, проявляемую многими из бледнолицых в торговых сделках с краснокожими. Но, сознавая, что его племенем все сильней овладевает недоверие к белым, он попробовал умерить справедливое их озлобление косвенными извинениями и оправданиями. Он напомнил, что ведь и сами Волки-пауни

не раз бывали вынуждены изгнать из своих селений какого-нибудь недостойного соплеменника. Ваконда иногда отворачивает свое лицо от индейца. Несомненно, и Великий дух бледнолицых часто смотрит хмуро на своих детей. Тот, кто бывает покинут на милость Вершителя Зла, не может быть ни храбрым, ни доблестным, красна ли его кожа или бела. Он предложил своим молодым людям посмотреть на руки Больших Ножей. Их руки не пусты, как у голодных и нищих. И не наполнены разным добром, как у подлых торговцев. Это руки таких же, как они сами, воинов. В своих руках Большие Ножи несут оружие, которым умело владеют,— они достойны назваться братьями Волков-пауни!

Далее он повел речь о вожде чужеземцев. Их гость — сын их великого белого отца. Он пришел в прерии не затем, чтобы сгонять бизонов с пастбищ или отнимать у индейцев дичь. Дурные люди похитили одну из его жен; она несомненно была среди них самая послушная, самая кроткая и красивая. Пусть все раскроют глаза, и они увидят, что его слова — истинная правда. Теперь, когда белый вождь нашел свою жену, он собирается вернуться с миром к своему народу. Он расскажет соплеменникам, что пауни справедливы, и между их двумя народами утвердится линия вампума. Пусть все племя пожелает чужеземцам благополучно вернуться в свои города. Воины Волков умеют достойно встретить своих врагов, но умеют и очистить от терновника тропу своих друзей.

У Мидлтона заколотилось сердце, когда Твердое Сердце упомянул о красоте Инес, и он обвел быстрым взглядом небольшую шеренгу своих артиллеристов, но с этой минуты вождь, казалось, совсем забыл о прелестной испанке, как будто в жизни ее не видал. Если его и тревожило чувство к ней, он сумел его скрыть под непроницаемой маской. Он пожал руку каждому солдату, не пропустив и самого незначительного из них, но его холодный и сосредоточенный взгляд ни разу ни на миг не обратился на Инес и Эллен. Правда, его необычные старания об удобствах для бледнолицых красавиц несколько удивили молодых воинов, но ничем иным вождь не оскорбил их мужскую гордость, не допускавшую заботы о женщине.

Прощались торжественно, все со всеми. Каждый пауни постарался не обойти вниманием ни одного из чужеземцев, и церемония, понятно, отняла немало времени. Един-

ственное исключение, и то неполное, было допущено в отношении доктора Батциуса. Многие из молодых индейцев, правда, не спешили обласкать на прощание человека столь сомнительной профессии, но достойный натуралист все же нашел некоторое утешение в более мудрой учтивости стариков, которые полагали, что, хотя на войне от «великого колдуна» Больших Ножей, возможно, немного проку, зато в мирное время он может, пожалуй, оказаться полезен.

Когда весь отряд Мидлтона расположился в лодке, траппер поднял небольшой мешок, который все время, пока шло прощание, лежал у его ног, свистом подозвал к себе Гектора и последним занял свое место. Артиллеристы прокричали обычное «ура», индейцы отозвались своим кличем, лодка вышла на стрежень и заскользила вниз по реке.

Последовало долгое и задумчивое, если не грустное молчание. Первым его нарушил траппер, в чьем сумрачном взоре едва ли не явственней, чем у всех других, отразилась печаль.

— Они доблестное и честное племя,— начал он.— Это я смело скажу о них; и я их считаю вторыми только после того славного народа, некогда могущественного, а ныне рассеянного по земле,— после делаваров. Эх, капитан, когда бы вы, как я, видели столько и хорошего и дурного от краснокожих племен, вы бы знали, чего стоит храбрый и простосердечный воин! Я знаю, встречаются люди, которые и думают и прямо говорят, что индеец не многим лучше зверя, живущего на этих голых равнинах. Но нужно самому быть очень честным, чтобы судить о честности других. Спору нет, спору нет, краснокожие знают, каковы их враги, и не очень рвутся выказывать им доверие и любовь.

— Так уж создан человек,— отозвался капитан.— А ваши индейцы, наверное, не лишены ни одного из природных человеческих свойств.

— Конечно, конечно. В них есть все, чем может наделить человека природа. Но тот, кто видел только одного индейца или одно только племя, так же мало знает о краснокожих, как мало он узнал бы о цвете птичьих перьев, если бы не видел других птиц, кроме вороны. А теперь, друг рулевой, направь ка лодку вон к той песчаной косе. Тебе это нетрудно, а мне ты этим окажешь услугу.

— Зачем? — вмешался Мидлтон.— Мы идем сейчас серединой реки, где течение всего быстрее, а если возьмем ближе к берегу, то потеряем скорость.

— Задержка будет недолгая,— возразил старик и сам взялся за кормовое весло.

Гребцы, заметившие, каким влиянием пользуется траппер, не стали перечить желанию старика, и, прежде чем Мидлтон успел возразить, лодка пристала к косе.

— Капитан,— продолжал траппер, развязывая котомку со всей обстоятельностью и как будто даже радуясь оттяжке,— я вам хочу предложить небольшую торговую сделку — правда, не очень выгодную. Но это лучшее, что охотник, когда его рука потеряла свое былое искусство в стрельбе и когда он поневоле сделался жалким траппером, может предложить, перед тем как расстанется с вами.

— Расстанется! — сорвалось с губ у всех, с кем недавно он делил все опасности и кому отдавал столько доброй и спасительной заботы.

— Какого черта, старый траппер! Ты потопаешь пешком до поселений, когда есть лодка? Она пройдет этот путь вдвое быстрей, чем пробежал бы такой же посуху тот осел, которого доктор отдал индейцам.

— До поселений, мальчик? Я уже давно распрощался с городами и селами, где люди только и умеют, что губить и разрушать. Если я живу здесь, в безлесье, так оно таким и создано природой: меня из-за него не гнетут тяжелые думы. Но никто не увидит, чтобы я сам, своею волей, отправился туда, где погрязну в людской испорченности.

— Я никак не думал, что мы расстанемся,— сказал Мидлтон и, ища сочувствия, перевел взгляд на своих друзей, разделявших его огорчение.— Напротив, я надеялся, я даже был уверен, что ты отправишься с нами на Юг, где для тебя — даю святое слово — будет сделано все, чтобы жизнь твоя текла спокойно и приятно.

— Да, мой мальчик, да! Ты постараешься... Но чего стоят людские усилия против козней дьявола? Эх, кабы все зависело от любезных предложений и добрых пожеланий, я много лет назад стал бы членом конгресса или же губернатором штата. Вот так же хотел все для меня сделать твой дед; да и в горах Отсего, я надеюсь, еще живы те, кто с радостью дали бы мне для жилья дворец. Но зачем богатство тому, кому оно не в радость? Теперь мне, наверное, уже недолго осталось тянуть. И я не думаю, что это тяжелый грех, если человек, который честно делал свое дело без малого девять десятков зим и лет, хочет провести в покое свои немногие остатние часы. Если же, по-твоему,

мне не надо было садиться в лодку, коли я решил расстаться с вами,— что ж, капитан, я объясню тебе свою причину без стыда и без утайки. Как ни долго я жил в дебрях и пустынях, а чувства мои, как и кожа, остались чувствами белого человека. И некрасиво это было бы, чтобы Волки-пауни увидели слабость старого воина, когда бы он и впрямь поддался слабости, прощаясь навеки с теми, кого он полюбил по особой причине, хотя и не настолько прилепился к ним душой, чтобы последовать за ними в поселения.

— Слушай, старый траппер,— сказал Поль, прокашлявшись с отчаянной силой, точно хотел дать своему голосу течь со всей свободой,— раз уж ты заговорил о какой-то торговой сделке, у меня к тебе тоже есть дело, и не больше не меньше, как такое: я со своей стороны предлагаю тебе половину моего жилища, и ты меня не обидишь, если займешь даже бóльшую половину; будет тебе самый сладкий и чистый мед, какой можно получить от лесной пчелы; еды будет вдосталь всегда — порой кусок дичины, а при случае и буйволовый горб, раз я теперь знаю цену этому животному; и стряпня будет хорошая и вкусная — раз к ней приложит руки Эллен Уэйд, которая скоро станет зваться Нелли... не скажем кто! А насчет общего обхождения, так оно будет такое, какого может ждать от порядочного человека его лучший друг... или, скажем, отец от сына. Ну, а взамен ты нам будешь иногда, в свободный час, рассказывать про свою молодость, будешь при случае давать полезные советы — понемногу в раз; и будешь дарить нас своим приятным обществом, уделяя нам столько времени, сколько ты сам пожелаешь.

— Ты хорошо сказал... хорошо сказал, парень! — ответил старик, возясь со своей котомкой.— Предложение честное, и не подумай, что я его отклоняю по неблагодарности... нет, но это невозможно, никак невозможно.

— Почтенный вепатор,— сказал доктор Батциус,— на каждом лежит известная обязанность перед обществом и перед всем человечеством. Вам пора вернуться к вашим соотечественникам, чтобы передать им некоторую часть вашего запаса научных сведений, который вы, несомненно, накопили опытным путем, прожив так долго в диких местах, ибо эти сведения, хотя и искаженные предвзятыми суждениями, окажутся полезным наследием для тех, с кем, как вы сами говорите, вам скоро предстоит разлучиться навек.

— Друг мой лекарь,— возразил траппер, твердо глядя доктору в лицо,— нельзя по повадке лося судить о нраве гремучей змеи; и точно так же трудно рассудить, много ли пользы приносит один человек, если слишком думаешь о том, что сделано другим человеком. Вы, как и всякий, наделены своими способностями — следуйте им, у меня и в мыслях не было осуждать вас. Но мне господь назначил делать дело, а не говорить, и потому, я думаю, не будет обиды, если я закрою уши на ваше приглашение.

— Довольно,— перебил Мидлтон.— Я много слышал об этом необыкновенном человеке и многое видел сам. Я знаю, никакие уговоры не заставят его изменить свое намерение. Сперва мы послушаем, о чем ты просишь, друг, и тогда посмотрим, что можно сделать для тебя.

— Тут самая малость, капитан,— ответил старик, сладив наконец с завязками своей котомки.— Малость по сравнению с тем, что́ я, бывало, заготовлял для обмена, но это лучшее, что у меня есть. Тут четыре шкурки бобра — я их добыл за месяц до того, как мы встретились с тобой; и еще тут есть одна — шкура енота; она и вовсе малоценная, но может нам сгодиться на добавку, чтобы сравнять счет.

— И что же ты думаешь делать с ними?

— Я их предлагаю в обмен по всем правилам. Эти мерзавцы сиу (да простит мне бог, что я в мыслях погрешил на конзов!) украли у меня мои лучшие капканы, и мне теперь остается только ловить зверя в самодельные ловушки, а это сулит мне невеселую зиму, если я протяну еще так долго. Вот я и хочу, чтобы вы захватили эти шкурки и предложили их кому-нибудь из траппперов — вам их много встретится на низовьях реки — в обмен на два-три капкана; а капканы вы пошлете на мое имя в деревню пауни. Позаботьтесь только, чтобы на них был выцаранан мой знак: буквы «Н», а рядом ухо гончей и замок ружья. Тогда ни один индеец не станет оспаривать мое право на эти капканы. За такое беспокойство я мало что могу предложить сверх моей великой благодарности, разве что мой друг бортник согласится принять эту самую шкуру енота и взять все хлопоты полностью на себя.

— Если я возьму ее в уплату, то разрази меня...

Полю на рот легла ладонь Эллен, и бортник должен был проглотить конец своей фразы, что́ он сделал с таким волнением, что едва не задохнулся.

— Ну хорошо, хорошо,— кротко сказал старик.— Только я не вижу, что же тут обидного. Шкура енота стóит, конечно, не дорого, но ведь и труд, в обмен за который я ее отдаю, не так уж тяжел.

— Ты не понял нашего друга,— перебил Мидлтон, видя, что бортник смотрит во все стороны, только не в ту, куда надо, и что он решительно не способен оправдаться сам.— Он вовсе не хотел сказать, что отклоняет поручение: он только отказывается от всякой платы. Но тут не о чем больше говорить. На мне лежит обязанность позаботиться, чтобы наш долг тебе был уплачен как следует и чтобы все твои нужды всегда заранее предупреждались.

— Что такое? — сказал старик. Он в недоумении глядел в лицо капитану, точно ждал разъяснения.

— Хорошо, все будет, как ты хочешь. Положи все шкурки к моим вещам. Мы за них поторгуемся, как для себя самих.

— Спасибо, спасибо, капитан! Твой дед был щедрый и великодушный человек. В самом деле, такой щедрый, что справедливый народ, делавары, прозвали его «Открытая Рука». Жаль, что я сейчас не таков, как был, а то я прислал бы твоей супруге набор самых мягких куниц на шубку — просто чтобы вы видели, что я умею отвечать на любезность. Но этого не ждите, потому что я слишком стар и уже не могу давать такие обещания! Будет все, как рассудит бог. Тебе я больше ничего не стану предлагать, потому что хоть я и долго жил в глухих лесах и степях, а все же знаю, как бывает щепетилен джентльмен.

— Слушай, старый траппер,— воскликнул бортник, ударяя ладонью по ладони траппера так гулко, что звук получился чуть тише, чем выстрел из ружья,— скажу тебе две вещи: во-первых, что капитан разъяснил тебе мою мысль так хорошо, как сам я никогда не смог бы; а во-вторых, что если нужна тебе шкура для своей ли нужды или чтоб ее послать кому-то, так есть у меня одна, которой ты можешь располагать: это шкура некоего Поля Ховера!

Старик ответил ему крепким пожатием и до предела раздвинул рот, залившись своим особенным беззвучным смехом.

— А мог бы ты, малец, так крепко стиснуть руку, когда тетонские скво кружили около тебя, размахивая ножами? Да! С тобою и молодость, и сила, и будешь ты счастлив, если не свернешь с честного пути.— Его резкое лицо вдруг

В последний раз они увидели траппера стоящим у самой воды: он оперся на ствол ружья, в ногах у него лежал Гектор.

стало строгим и задумчивым. — Идем сюда, малец,— добавил он, за пуговицу стягивая бортника на берег.

И тут, в сторонке, он сказал ему доверительно:

— Между нами много говорилось о том, как-де приятней и предпочтительней жить в лесах да на окраинах. Я не хочу сказать, будто все, что ты от меня слышал, неверно, но с разными людьми нужно по-разному. Ты взял на себя заботу о доброй и хорошей девушке, и теперь, устраивая свою жизнь, ты должен думать не только о себе, но и о ней. Тебя не очень-то тянет к поселениям, но, по моему немудреному суждению, девушка эта как цветок, и цвести ей под солнцем на расчищенной поляне, а не под ветром в прерии. Поэтому забудь все, что я тебе наговорил, хоть оно и верно, и обратись мыслью к внутренним областям страны.

Поль только и мог ответить пожатием руки, от которого у большинства людей на глазах проступили бы слезы; но крепкая рука траппера выдержала его, и старик лишь рассмеялся и закивал, приняв это пожатие как обещание, что бортник будет помнить его совет. Затем он отвернулся от своего прямодушного и горячего товарища, подозвал к себе Гектора и замялся, собираясь сказать что-то еще.

— Капитан, — начал он наконец, — я знаю, когда бедняк заводит речь о займе, он должен — так уж повелось на свете — говорить очень осторожно; и когда старый человек заводит речь о жизни, то говорит он о том, чего ему, быть может, уже не придется видеть. И все-таки я хочу обратиться к тебе с одной просьбой не столько ради себя, как ради другого существа. Мой Гектор добрый и верный пес, и он давно уже прожил обычный собачий век; ему, как и его хозяину, уже не до охоты — пора на покой. Но и у него есть чувства, как и у людей. С недавних пор он оказался в обществе своего сородича и сильно к нему привязался; и, признаться, мне было бы больно так быстро разлучить их. Скажи, во что ты ценишь свою собаку, и я постараюсь расплатиться за нее к весне — и тем вернее, если благополучно получу те капканы; или, если тебе жалко навсегда расстаться с кобельком, то я попрошу, оставь его мне хоть на эту зиму. Думается, я не ошибусь, когда скажу, что моя собака не дотянет до весны: я в таком деле хороший судья, потому что мне за мой век не раз доводилось видеть смерть друга — будь то собака или человек, белый или индеец, хотя господь по сей час еще не почел своевременным дать приказ своим ангелам выкликнуть мое имя.

— Бери его, бери! — воскликнул Мидлтон.— Все бери, чего пожелаешь!

Старик подозвал кобелька к себе на берег и приступил затем к последним прощаниям. Слов с обеих сторон сказано было не много. Траппер пожал каждому руку и каждому пробормотал что-нибудь дружеское и ласковое. У Мидлтона совсем отнялся язык, и, чтобы скрыть волнение, он сделал вид, будто возится с поклажей. Поль свистнул во всю мочь, и даже Овиду расставание далось нелегко и пришлось прикрыть горесть напускной решимостью философа. Обойдя всех по порядку, старик сам вытолкнул лодку на стрежень и пожелал друзьям быстрого и счастливого плавания. Не сказано было ни слова, не сделано удара веслом, пока течение не унесло путешественников за пригорок, который скрыл траппера от их глаз. В последний раз они его увидели стоящим на косе, у самой воды: он оперся на ствол ружья, в ногах у него лежал Гектор, а кобелек, молодой и сильный, весело носился по песчаной отмели.

Глава XXXIV

Вода в реках стояла высоко, и лодка птицей неслась по течению. Плавание прошло благополучно и быстро. Благодаря стремительному течению, оно отняло втрое меньше времени, чем потребовалось бы на тот же путь, если совершить его по суше. Следуя по рекам, которые, как жилы в теле, все сообщаются с более крупными жизненными артериями, лодка вскоре вошла в русло главной реки Западных штатов и успешно причалила у самых дверей отчего дома Инес.

Нетрудно представить себе радость дона Агустина и смущение достойного отца Игнасио. Первый плакал и возносил благодарения небесам; второй возносил благодарения, но не плакал. Добросердечные провинциалы были так счастливы, что не возникло никаких щекотливых вопросов в связи с нежданным этим возвращением: в обществе установилось согласное мнение, что невеста Мидлтона была похищена каким-то негодяем и возвращена своим друзьям земными средствами. Нашлись, конечно, и скептики, не очень этому поверившие, но своим сомнениям они предавались втихомолку с той гордой и одинокой отрадой, какую

находит скупец, созерцая свои все возрастающие и бесполезные сокровища.

Чтобы доставить достойному священнику занятие по душе, Мидлтон поручил ему соединить браком Поля и Эллен. Бортник согласился на это, так как видел, что все его друзья придают большое значение церковному обряду; но вскоре затем он повез новобрачную в Кентукки под тем предлогом, что надо соблюсти обычай и навестить многочисленных Ховеров. Там он не преминул должным порядком освятить брак у одного своего знакомого судьи, ибо не слишком верил в прочность брачных цепей, скованных чернорясниками папской державы. Эллен, рассудив, что, пожалуй, и впрямь нужны особые меры, чтобы удержать столь необузданного человека в супружеских узах, не стала возражать против этих двойных оков, и все стороны были удовлетворены.

Положение, приобретенное Мидлтоном в городе благодаря женитьбе на дочери такого крупного землевладельца, как дон Аугустин, равно как и личные его заслуги, привлекли к нему внимание начальства. Ему стали часто доверять ответственные посты, что, в свою очередь, возвышало его в мнении общества и делало влиятельным лицом. Бортник был первым, кому он стал оказывать покровительство. Двадцать три года назад в тех областях еще сохранялись патриархальные нравы, и было нетрудно подыскать для Поля занятие, отвечавшее его способностям. Мидлтон и Инес нашли в Эллен ревностную союзницу, сумевшую умно и тактично поддержать их старания, и с течением времени влияние друзей и жены во многом изменило к лучшему характер бортника. Поль Ховер сделался вскоре арендатором земельного участка, потом преуспевающим сельским хозяином, а через некоторое время получил должность в муниципалитете. Этому неизменному жизненному успеху сопутствовало, как нередко можно наблюдать в нашей республике, и духовное облагораживание: человек стремится к образованию, исполняется чувством собственного достоинства. Он поднимался шаг за шагом, и его жена с глубокой материнской радостью видела, что ее детям уже не грозит опасность вернуться к тому состоянию, из которого выбились их мать и отец.

В настоящее время мистер Ховер является членом одного из низших законодательных органов штата, где прожил долгие годы; и он даже славится своими речами, спо-

собными развеселить почтенный и скучный синклит; к тому же они основаны всегда на практическом знании и ценны тем, что помогают разрешению вопросов применительно к местным условиям, а это как раз то, чего частенько не хватает многим хитроумным, тонко разработанным теоретическим рассуждениям, какие можно ежедневно услышать в подобных собраниях из уст иного ретивого законодателя. Однако эти счастливые достижения явились плодом многих усилий и долголетнего труда. Мидлтон соответственно разнице в их образовании был избран в более высокое законодательное собрание. Он и явился тем источником, из которого мы почерпнули бóльшую часть сведений, легших в основу нашей повести. К этим сообщениям о Поле Ховере и о собственной своей неизменно счастливой жизни он добавил небольшой рассказ про свою последующую поездку в прерии. Поскольку этот рассказ дает завершение всему, что ранее прошло перед читателем, мы почли уместным заключить им наш труд.

Через год после описанных событий, поздней осенью, Мидлтон, тогда состоявший еще на военной службе, оказался на Миссури, у излучины неподалеку от селений пауни. Непосредственные служебные обязанности оставили ему свободное время; и вот, поддавшись на уговоры Поля Ховера, который был в его отряде, он решил с ним вместе съездить верхом в прерию — навестить предводителя племени и узнать о судьбе своего друга траппера. Так как Мидлтон по своему посту и чину мог на этот раз взять с собой охрану, поездка прошла, правда, с известными лишениями и тяготами, как всякое путешествие по дикому краю, но без тех опасностей и треволнений, какими было отмечено его первое знакомство с прерией. Подъехав ближе к цели, он отправил в деревню Волков гонца, индейца из дружественного племени, чтобы заранее оповестить друзей о своем прибытии с отрядом, и продолжал путь не торопясь — так как обычай требовал, чтобы весть успела его опередить. К удивлению путешественников, на нее не последовало ответа. Проходил час за часом, миля за милей оставались позади, а все не было никаких признаков, позволяющих ждать почетного или хоть просто дружеского приема. Наконец отряд, во главе которого скакали Мидлтон и Поль, спустился с высокого плато в плодородную долину, где лежала деревня Волков-пауни. Солнце заходило, и полотнище золотого света простерлось над ти-

хой равниной, придавая ей краски и оттенки невообразимой красоты. Еще сохранилась летняя зелень, и табуны лошадей и мулов мирно паслись на широком естественном пастбище под неусыпным надзором мальчиков пауни. Поль высмотрел среди животных характерную фигуру Азинуса. Гладкий, раскормленный, преисполненный довольства, осел стоял, опустив уши, смежив веки, и, как видно, погрузился в раздумье о необычайной приятности своей новой бестягостной жизни.

Следуя своим путем, отряд проехал невдалеке от одного из этих бдительных юных сторожей, которым племя доверило охрану своего основного богатства. Услышав конский топот, мальчик поглядел на всадников, однако не выказал ни любопытства, ни тревоги и тут же опять направил взгляд туда, куда смотрел перед тем,— в ту сторону, где, как знали путешественники, находилась деревня.

— За всем этим что-то кроется,— пробормотал Мидлтон, несколько обиженный. В необычном поведении индейцев он усмотрел нечто оскорбительное не только для своего ранга, но и лично для себя.— Мальчишка слышал о нашем приезде, иначе он непременно помчался бы известить племя. А между тем он едва удостоил нас взглядом. Осмотрите-ка ружья, ребята. Возможно, будет полезно, чтобы дикари чувствовали нашу силу.

— На этот счет, капитан, вы, я думаю, ошибаетесь,— возразил Поль.— Если можно встретить верность в прериях, то вы найдете ее в нашем старом приятеле, Твердом Сердце. Да и нельзя судить об индейце, применяя к нему ту же мерку, что и к белому. Смотрите! Нами вовсе не пренебрегли: вон едут все-таки люди встречать нас, хотя их совсем не много, и они не в параде.

Поль был дважды прав. Вдалеке из-за рощицы выехали несколько всадников и направились по равнине навстречу гостям. Продвигались они медленно, с достоинством. Когда они подъехали ближе, стало видно, что это вождь Волков в сопровождении двенадцати молодых воинов-пауни. При них не было оружия, как не было на них убора из перьев и других украшений, которые индеец, принимая гостя, надевает в знак уважения к нему, а не только как свидетельство собственной своей значительности.

Отряды обменялись приветствиями, дружескими, но довольно сдержанными с обеих сторон. Мидлтон, заботясь как о собственном достоинстве, так и о престиже своего

правительства, заподозрил нежелательное влияние канадских агентов; и, желая поддержать авторитет той власти которую представлял, он мнил себя обязанным высказывать высокомерие, далекое от его истинных чувств. Труднее было разобраться, какие побуждения владели индейцами. Спокойные и величавые, но не холодные, они являли пример любезности, соединенной со сдержанностью, которую тщетно пытался бы перенять иной дипломат самого утонченного королевского двора.

Так держались оба отряда, продолжая свой путь к селению. Пока ехали, Мидлтон успел обдумать все пришедшие ему на ум возможные причины этого странного приема. Хотя при нем был штатный переводчик, пауни выразили свое приветствие таким образом, что обошлось без его услуг. Двадцать раз капитан поднимал глаза на своего былого друга, стараясь прочесть выражение его сурового лица. Однако все попытки, все догадки оставались равно бесплодны. Взор Твердого Сердца был недвижен, спокоен и немного озабочен; но, непроницаемый, он не отражал и тени каких-либо душевных движений. Вождь не заговорил сам и, видно, не был расположен вызвать на разговор гостей. Мидлтону ничего не оставалось, как поучиться выдержке у своих спутников и ждать, когда объяснение придет своим чередом.

Наконец они приехали в деревню, и он увидел, что ее обитатели собрались на открытом месте, выстроившись, как всегда, сообразно с возрастом и положением каждого. В целом они составили круг, в центре которого сидело человек десять — двенадцать главных вождей. Твердое Сердце, приблизившись, взмахнул рукой и, когда круг раздвинулся, проехал в середину вместе со всеми своими спутниками. Здесь они спешились, и, как только увели коней, чужеземцы увидели вокруг тысячу смуглых лиц, важных, спокойных, но озабоченных.

Мидлтон обвел их глазами в нарастающей тревоге. Ни кличем, ни пением, ни возгласами не приветствовал его народ, с которым год назад он расставался с сожалением. Его беспокойство, чтобы не сказать опасения, разделяли и все его спутники. Тревогу в их взглядах постепенно сменила суровая решимость; каждый молча поправил свое ружье и проверил, в порядке ли прочее снаряжение.

Однако хозяева не выказали в ответ тех же признаков враждебности. Твердое Сердце кивком пригласил Мидл-

тона и Поля следовать за ним и подвел их к группе людей, занимавшей центр круга. Здесь они нашли разрешение загадки, породившей в них столь естественные опасения.

В грубом подобии кресла, устроенном так, чтобы тело могло легко сохранять прямое, но покойное положение, сидел траппер. С первого же взгляда его друзья поняли, что старик призван наконец уплатить последнюю дань природе. Глаза остекленели и казались незрячими, потому что в них не отражалась мысль. Лицо несколько осунулось против прежнего, и резче заострились его черты; но этим, если судить по внешним признакам, и ограничивалась как будто вся перемена. Наступающую кончину нельзя было приписать какой-либо определенной болезни: это было постепенное и тихое угасание физических сил. Правда, жизнь еще не покинула тело, но временами она как будто уже совсем готова была отлететь, а потом, казалось, опять возвращалась в недвижное тело, не желая отступиться от прав на это свое вместилище, не подточенное ни пороком, ни болезнью.

Старик был посажен таким образом, чтобы свет заходящего солнца падал прямо на него, на его величавое лицо. Голова его была обнажена, и длинные пряди поредевших седых волос развевались на вечернем ветру. На коленях у него лежало ружье, а прочие охотничьи принадлежности размещены были рядом, у него под руками. В ногах у него лежала собака, припавшая к земле головой, как будто во сне. Поза ее была свободна и естественна, и только со второго взгляда Мидлтон разобрал, что видит не Гектора, а его чучело, которому индейцы искусно и любовно сумели придать совсем живой вид. Его собственная собака играла поодаль с маленьким сыном Тачичены и Матори. Сама мать стояла тут же, держа на руках второго своего младенца, который мог похвалиться происхождением от славного корня, ибо его отцом был не кто другой, как Твердое Сердце. Дед его, Ле Балафре, сидел близ умирающего, и весь его вид говорил, что и ему уже недолго ждать конца. Все остальные в середине круга были тоже глубокие старики, как видно подошедшие поближе, чтобы наблюдать, как справедливый и бесстрашный воин отправляется в свой самый далекий поход.

За свою жизнь, деятельную, отмеченную постоянным самоограничением, старик нашел награду в мирной и тихой смерти. Силы, можно сказать, не изменяли ему до са-

мого конца. А их упадок, когда наступил, был и быстрым и безболезненным. Всю весну траппер еще выходил с племенем на охоту, но к началу лета ноги вдруг отказались служить. Его тело быстро слабело, а с ним и умственные способности. Пауни думали уже, что скоро лишатся мудрого советника, которого научились любить и уважать. Но лампада жизни, чуть мерцая, все не хотела угаснуть. В утро того дня, когда прибыл Мидлтон, к умирающему, казалось. вернулась вся его прежняя сила. Он, как бывало, не скупился на полезные наставления и временами, узнавая, останавливал глаза на ком-либо из друзей. Но это было как бы последнее прощание, с которым обратился к миру живых тот, чей дух уже считали отлетевшим, хотя в теле еще теплилась жизнь.

Подведя своих гостей к умирающему, Твердое Сердце помолчал с минуту — не только для приличия, но и в искренней печали,— затем слегка наклонился и спросил:

— Слышит мой отец слова своего сына?

— Говори,— ответил траппер глухо, но в окружающей тишине его слова прозвучали с отчетливостью, от которой становилось страшно.— Я покидаю селенье Волков и скоро буду так далеко, что твой голос не дойдет до меня.

— Пусть мудрый вождь не тревожится, отправляясь в путь,— продолжал Твердое Сердце, в искреннем горе забывая, что другие ждут, когда и им можно будет обратиться к его названому отцу.— Сто Волков будут очищать его тропу от терновника.

— Пауни, я умираю, как жил, христианином! — снова заговорил траппер с такою силой в голосе, что слушавшие встрепенулись, точно при звуке трубы, когда ее призывы, сперва лишь еле доносившиеся из глухой дали, вдруг свободно разнесутся в воздухе.— Как пришел я в жизнь, так я хочу и уйти из жизни. Человеку моего племени не нужно ни коня, ни оружия, чтобы предстать пред Великим духом. Он знает, какого цвета моя кожа, и сообразно с тем, как был я одарен, будет он судить меня за мои дела.

— Мой отец расскажет моим молодым воинам, сколько сразил он мингов и какие совершал он дела доблести и справедливости, чтобы они научились ему подражать.

— Хвастливый язык не слушают в небе белого человека! — торжественно возразил старик.— Великий дух видел все, что я делал. Глаза его всегда открыты. Что было сделано хорошо, он запомнил; неправые мои дела он не

забудет наказать, хотя наказывает он милосердно. Нет, сын мой, бледнолицый не может петь перед богом хвалы самому себе и надеяться, что бог их примет.

Несколько разочарованный, молодой предводитель племени скромно отступил, пропуская к умирающему воинов, вновь прибывших. Мидлтон взял исхудалую руку траппера и срывающимся голосом назвал себя. Старик слушал, как слушает человек, чьи мысли заняты совсем другим предметом; но, когда дошло до его сознания, кто с ним говорит, в его померкших глазах отразилась радость узнавания.

— Я надеюсь, ты не забыл тех, кому ты оказал большую помощь! — сказал в заключение Мидлтон.— Мне было бы горько думать, что я не удержался в твоей памяти.

— Я мало что забыл из того, что видел,— возразил траппер.— Я у завершения длинной череды тяжелых дней, но нет среди них ни одного, от которого я хотел бы отвести глаза. Я помню и тебя, и всех твоих спутников. И твоего деда, того, что был раньше тебя... Я рад, что ты вернулся в прерию, потому что мне нужен человек, говорящий на моем родном языке, а торговцам в этих краях нельзя доверять. Можешь ты исполнить одну просьбу умирающего старика?

— Скажи только, что,— ответил Мидлтон,— все будет сделано.

— Это далекий путь... чтобы посылать такие пустяки,— продолжал старик; он говорил отрывисто, с остановками — не хватало сил и дыхания.— Путь далекий и тяжелый, но доброту и дружбу забывать нельзя. Есть селение в горах Отсего...

— Я знаю это место,— перебил Мидлтон, видя, что тому все труднее говорить.— Скажи, что нужно сделать.

— Возьми это ружье... сумку для пуль... рог и пошли человеку, чье имя проставлено на замке ружья... один торговец вырезал мне буквы ножом... потому что я давно собирался послать другу... в знак моей любви.

— Будет послано. Чего ты хотел бы еще?

— Мне больше нечего завещать. Свои капканы я отдаю моему сыну-индейцу, потому что он добр и верно держит слово. Пусть он станет предо мной.

Мидлтон объяснил вождю, что сказал траппер, и отошел, уступив ему место.

— Пауни,— продолжал старик, меняя язык, как он это делал обычно, в зависимости от того, к кому обращал он

свои слова, а иногда и в соответствии с выражаемой мыслью,— есть обычай у моего народа, чтобы отец давал благословение сыну, перед тем как закроет навеки глаза. Свое благословение я даю тебе. Прими его. Потому что молитвы христианина никогда не сделают тропу справедливого воина к блаженным прериям ни длинней, ни тернистей! Не знаю, встретимся ли мы когда-нибудь вновь. Есть много различных преданий о месте, где обитают Добрые Духи. Не пристало мне, хотя я стар и опытен, выставлять свое мнение против мнения целого народа. Ты веришь в блаженные прерии, я разделяю веру моих отцов. Если верно и то и другое, мы расстаемся навеки; но если окажется, что под разными словами скрыт один и тот же смысл, то мы еще будем стоять рядом, пауни, пред лицом вашего Ваконды, который будет не кем иным, как моим богом. Можно многое сказать в пользу обеих вер, потому что каждая, видно, хороша для своего народа, и это несомненно так и было предназначено. Боюсь, я был не во всем таков, каким до́лжно быть белому человеку,— недаром мне жаль навсегда расстаться с ружьем и с радостями охоты. Вся вина за это лежит на мне самом — потому что не *он* здесь в ответе. Да, Гектор,— продолжал он, стараясь нащупать уши собаки,— наконец пришло нам время разлучиться, песик, а охота будет долгая. Ты был честной и смелой собакой — и верной! Ты не можешь, пауни, заколоть собаку на моей могиле, потому что христианский пес где пал, там и лежать ему вовек, но из любви к ее хозяину ты будешь добрым к ней, когда я умру.

— Слова моего отца вошли в мои уши,— ответил Твердое Сердце и почтительным жестом выразил свое согласие.

— Слышишь, песик, что обещал вождь? — спросил траппер, стараясь привлечь внимание того, что ему представлялось его собакой.

Не встретив ответного взгляда, не услышав дружеского тявканья, старик попробовал засунуть пальцы между холодных губ. И тогда правда молнией пронзила его мысль, хотя обман еще не раскрылся ему во всей полноте. Откинувшись в своем кресле, он поник головой, как под тяжелым и нежданным ударом. Пока он был в забытьи, два молодых индейца поспешили унести чучело с той тонкостью чувства, которое толкнуло их на благородный обман.

— Собака мертва! — прошептал траппер после долгого молчания.— Собакам, как и человеку, отмерен срок. Гек-

тор честно прожил свою жизнь!.. Капитан,— добавил он, силясь поманить рукой Мидлтона,— я рад, что ты приехал, потому что эти индейцы — они добры и благожелательны, как свойственно их природе, но не те они люди, чтобы как следует похоронить белого человека. И еще я думал об этой собаке у моих ног. Нехорошо, конечно, укреплять людей в мысли, будто христианин может ждать, что встретится на том свете со своей собакой. Но все же не будет большой беды, если зарыть останки такого верного друга подле праха его хозяина.

— Будет, как ты пожелал.

— Я рад, что ты согласен со мной. Так чтобы зря не трудиться, положи ты мою собаку у меня в ногах. Или, уж все одно, положи бок о бок со мной. Охотнику не зазорно лежать рядом со своей собакой!

— Обещаю исполнить твою волю.

Старик долго молчал — видимо, задумавшись. Временами он грустно поднимал глаза, как будто хотел снова обратиться к Мидлтону, но, казалось, какое-то чувство, может быть застенчивость, каждый раз не давало ему заговорить. Видя его колебания, капитан ласково спросил, не надо ли сделать для него что-нибудь еще.

— Нет у меня ни одного родного человека на всем широком свете! — ответил траппер.— Умру я, и кончится на том мой род. Мы не были никогда вождями, но всегда умели честно прожить свою жизнь, с пользой для людей — в этом, надеюсь, нам никто не откажет. Мой отец похоронен у моря, а кости сына побелеют на прериях...

— Скажи, где он был погребен, и тело твое будет покоиться рядом с ним,— перебил его Мидлтон.

— Не нужно, капитан. Дай мне мирно спать там, где я жил,— там, куда не доносится шум поселений! Все же я не вижу надобности, чтобы могила честного человека пряталась, точно индеец в засаде. Я уплатил одному каменотесу в поселениях, чтобы он на могиле моего отца поставил в головах камень с высеченной надписью. Обошлось это мне в двенадцать бобровых шкурок и сделано было на славу — искусно и затейливо! Вот он и говорит каждому, кто бы ни пришел, что лежит под ним тело христианина, звавшегося так-то и так-то; и рассказывает, что делал в жизни этот человек, и сколько прожил лет, и какой он был честный. Когда мы разделались с французами в старой войне, я съездил туда нарочно, чтобы посмотреть, пра-

вильно ли все исполнено, и я рад, что могу сказать: каменотес сдержал свое слово.

— Так ты хотел бы и на свою могилу такой же камень?

— На мою? Нет, нет; у меня нет другого сына, кроме Твердого Сердца, а много ли знает индеец о том, как и что принято у белых людей? К тому же... я и без того перед ним в долгу, я так мало сделал, пока жил в его племени. Ружье, конечно, покрыло бы цену такой штуки... но я знаю, малый с удовольствием повесит его в своей зале, потому что много оленей и много птиц было подстрелено на его глазах из этого ружья... Нет, ружье должно быть послано тому, чье имя вырезано на замке!

— Но есть человек, который любит тебя и с радостью осуществит твое желание, чтобы хоть этим доказать свою привязанность. И он не только сам обязан тебе избавлением от многих опасностей, но еще и принял в наследство неоплатный долг благодарности. Будет и на твоей могиле стоять камень с надписью.

Старик протянул свою иссохшую руку и с чувством сжал в ней руку капитана.

— Я так и думал, что ты будешь рад это сделать, но просить мне не хотелось,— сказал он,— ведь ты мне не родственник. Не ставь на нем никаких хвастливых слов — просто имя, умер тогда-то, стольких-то лет; да что-нибудь из библии. И больше ничего... Тогда мое имя не вовсе пропадет на земле; больше мне ничего не надобно.

Мидлтон обещал, и опять последовала тишина, прерываемая только редкими, отрывистыми словами умирающего. Он как будто закончил свои расчеты с миром и только ждал окончательного призыва, чтобы навек уйти. Мидлтон и Твердое Сердце стали с двух сторон подле него и с печальным вниманием следили, как меняется его лицо. Часа два эти изменения были почти неощутимы. Источенные временем черты умирающего хранили выражение тихого и благородного покоя. Время от времени он заговаривал. И все это долгое время, торжественно напряженное, пауни как один человек не двигались с места с чрезвычайной сдержанностью и терпением. Когда старик говорил, все наклоняли головы, чтобы лучше слышать; а когда он смолкал, они, казалось, думали о его словах, оценивая их мудрость. Пламя догорало. Старик молчал, и были минуты, когда окружающие не знали, жив он или уже отошел.

Около часу траппер оставался почти недвижим. Только

временами его глаза открывались и закрывались. Когда открывались, их взгляд казался устремленным к облакам, что заволакивали западный горизонт, переливая яркими тонами и придавая отчетливость и прелесть красочному великолепию американского заката. И этот час, и спокойная красота этого времени года, и то, что совершалось,— все это соединилось, чтобы наполнить зрителей торжественным благоговением. Вдруг среди мыслей о своем необычайном положении Мидлтон почувствовал, что рука, которую он держал, с невероятной силой стиснула его ладонь, и старик, поддерживаемый своими друзьями, встал на ноги. Он обвел присутствующих взглядом, точно всех приглашая слушать (еще не отживший остаток слабости человеческой!), и, по-военному вскинув голову, голосом внятным каждому, он выговорил одно лишь слово:

— Здесь!

И полная неожиданность этого движения, и вид величия и смирения, так примечательно сочетавшихся в старческом этом лице, и необычная звонкая сила голоса на мгновение смутили всех вокруг. Когда Мидлтон и Твердое Сердце, из которых каждый невольно протянул руку, чтобы старик оперся на нее, снова поглядели на него, они увидели, что тот уже не нуждается в их заботе.

Они печально опустили тело в кресло, а Ле Балафре встал и объявил племени, что старик скончался. Голос дряхлого индейца прозвучал, как эхо из того невидимого мира, куда только что отлетел кроткий дух траппера.

— Доблестный, справедливый и мудрый воин уже ступил на тропу, которая приведет его в блаженные поля его народа! — сказал престарелый вождь.— Когда Ваконда призвал его, он был готов и тотчас отозвался. Ступайте, дети мои, помните справедливого вождя бледнолицых и очищайте ваш собственный след от терновника!

Могилу вырыли под сенью благородного дуба. Она и посейчас тщательно охраняется Волками-пауни, и ее часто показывают путешественникам и заезжим торговцам, как место, где покоится справедливый белый человек. На ней поставили надгробный камень с простою надписью, как того пожелал сам траппер. Мидлтон позволил себе единственную вольность — добавил слова: «Да не дерзнет ничья рука своевольно потревожить его прах».

ШПИОН,

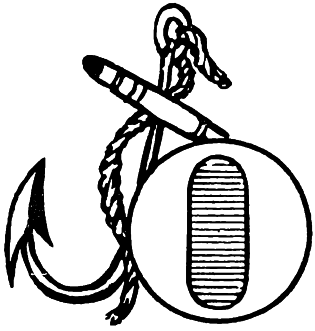
или Повесть о нейтральной территории

Перевод с английского
Э. Березиной и *Е. Шишмаревой*

Редактор *М. Черневич*

Рисунки *И. Ильинского*

Глава I



Его лицо, спокойствие храня,
Скрывало жар души и тайный пыл,
И, чтоб не выдать этого огня,
Его холодный ум на страже был,—
Так пламя Этны меркнет в свете дня.

Томас Кэмпбелл, «Гертруда из Вайоминга»[1]

Однажды вечером на исходе 1780 года по одной из многочисленных небольших долин графства Вест-Честер[2] ехал одинокий всадник. Пронизывающая сырость и нарастающая ярость восточного ветра, несомненно, предвещали бурю, которая, как здесь часто бывает, порой длится несколько дней. Но напрасно всадник зорким глазом всматривался в темноту, желая найти подходящее для себя убежище, где он мог бы укрыться от дождя, уже начавшего сливаться с густым вечерним туманом. Ему попадались только убогие домишки людей низкого звания, и, принимая во внимание непосредственную близость войск, он считал неразумным и даже опасным в каком-нибудь из них остановиться.

После того как англичане завладели островом Нью-Йорк, территория графства Вест-Честер стала ничьей землей, и до самого конца войны американского народа за независимость здесь действовали обе враждующие стороны. Значительное число жителей — то ли в силу родственных привязанностей, то ли из страха,— вопреки своим

---

[1] Перевод стихотворных эпиграфов, за исключением особо оговоренных, выполнен М. Тарасовой

[2] Графство Вест-Честер — одно из графств (областей), находившихся в штате Нью-Йорк, граничило с городом Нью-Йорком, расположенным на острове Манхаттан.

чувствам и симпатиям, придерживались нейтралитета. Южные города, как правило, подчинялись королевской власти, тогда как жители северных городов, находя опору в близости континентальных [1] войск, смело отстаивали свои революционные взгляды и право на самоуправление. Многие, однако, носили маску, которую еще не сбросили к этому времени; и не один человек сошел в могилу с позорным клеймом врага законных прав своих соотечественников, хотя втайне был полезным агентом вождей революции; с другой стороны, если бы открыть секретные шкатулки кой-кого из пламенных патриотов, можно было бы вытащить на свет божий королевские охранные грамоты [2], спрятанные под британскими золотыми монетами.

Заслышав стук копыт благородного коня, каждая фермерша, мимо жилища которой проезжал путник, боязливо приоткрывала дверь, чтобы взглянуть на незнакомца, и, возможно, обернувшись назад, сообщала результаты своих наблюдений мужу, стоявшему в глубине дома наготове к бегству в соседний лес, где он обычно прятался, если ему грозила опасность. Долина была расположена примерно в середине графства, довольно близко от обеих армий, поэтому нередко случалось, что обобранный одной стороной получал обратно свое имущество от другой. Правда, ему не всегда возвращали его же добро; пострадавшему иногда возмещали понесенный им урон даже с избытком за пользование его собственностью. Впрочем, в этой местности законность то и дело нарушалась, и решения принимались в угоду интересам и страстям тех, кто был сильнее.

Появление несколько подозрительного на вид незнакомца верхом на коне, хотя и без военной сбруи, но все же гордом и статном, как и его седок, вызывало у глазевших на них обитателей окрестных ферм множество догадок; в иных же случаях, у людей с неспокойной совестью,— и немалую тревогу.

Изнуренному необычайно тяжелым днем всаднику не терпелось поскорее укрыться от бури, бушевавшей все сильнее, и теперь, когда вдруг полил крупными каплями

---

[1] Континентальные войска — войска национальной армии, сражавшейся за независимость Северной Америки.

[2] Королевские охранные грамоты выдавались английским королем Георгом III (1760—1820) на право заниматься торговлей и приобретать земли в североамериканских колониях.

косой дождь, он решил просить приюта в первом же попавшемся жилье. Ему не пришлось долго ждать; проехав через шаткие ворота, он, не слезая с седла, громко постучался во входную дверь весьма неказистого дома. В ответ на стук показалась средних лет женщина, внешность которой столь же мало располагала к себе, как и ее жилище. Увидев у порога всадника, освещенного ярким светом пылающего очага, женщина испуганно отпрянула и наполовину прикрыла дверь; когда она спросила приезжего, что ему угодно, на ее лице вместе с любопытством отразился страх.

Хотя полузакрытая дверь не позволила путнику как следует разглядеть убранство комнаты, но и то, что он заметил, заставило его снова устремить пристальный взор в темноту в надежде отыскать более приветливый кров; однако, с трудом скрывая отвращение, он попросил дать ему приют. Женщина слушала с явным неудовольствием и прервала его, не дав закончить фразу.

— Не скажу, чтоб я охотно пускала в дом незнакомых: времена нынче тревожные,— сказала она развязно, резким голосом.— Я бедная одинокая женщина. Дома только старый хозяин, а какой от него прок! Вот в полумиле отсюда, дальше по дороге, есть усадьба, уж там-то вас примут и даже денег не спросят. Я уверена, что им это будет куда удобнее, а мне приятнее — ведь Гарви нет дома. Хотела б я, чтоб он послушался добрых советов и бросил скитаться; денег у него теперь порядочно, пора бы ему образумиться и зажить так, как другие люди его лет и достатка. Но Гарви Бёрч делает все по-своему и в конце концов помрет бродягой!

Всадник не стал больше слушать. Следуя совету ехать дальше по дороге, он медленно повернул коня к воротам, плотнее запахнул полы широкого плаща, готовясь снова пуститься навстречу буре, но последние слова женщины остановили его.

— Так, значит, здесь живет Гарви Бёрч? — невольно вырвалось у него, однако он сдержал себя и ничего больше не добавил.

— Нельзя сказать, что он здесь живет,— ответила женщина и, быстро переведя дух, продолжала: — Он тут почти не бывает, а если и бывает, то так редко, что я с трудом узнаю его, когда он удостоит показаться своему бедному старому отцу и мне. Конечно, мне все равно, вернется ли

он когда-нибудь домой... Значит, первая калитка слева... Ну, а мне-то мало дела до того, явится Гарви сюда когда-нибудь или нет...— И она резко захлопнула дверь перед всадником, который рад был проехать еще полмили до более подходящего и более надежного жилища.

Было еще достаточно светло, и путник разглядел, что земли вокруг строения, к которому он подъехал, хорошо обработаны. Это был длинный низкий каменный дом с двумя небольшими флигелями. Протянувшаяся во всю длину фасада веранда с аккуратно выточенными деревянными столбами, хорошее состояние ограды и надворных построек — все это выгодно отличало усадьбу от простых окрестных ферм. Всадник поставил лошадь за угол дома, чтобы хоть немного защитить ее от дождя и ветра, перекинул на руку свою дорожную сумку и постучал в дверь. Вскоре появился старик негр; очевидно, не считая нужным докладывать своим господам о посетителе, слуга впустил его, сперва с любопытством оглядев при свете свечи, которую держал в руке. Негр ввел путника в удивительно уютную гостиную, где горел камин, столь приятный в хмурый октябрьский вечер, когда бушует восточный ветер. Незнакомец отдал сумку заботливому слуге, вежливо попросил старого джентльмена, который поднялся навстречу, дать ему пристанище, поклонился трем дамам, занимавшимся рукоделием, и начал освобождаться от верхней одежды.

Он снял шарф с шеи, затем плащ из синего сукна, и перед внимательными взорами членов семейного кружка предстал высокий, на редкость хорошо сложенный мужчина лет пятидесяти. Его черты выражали чувство собственного достоинства и сдержанность; у него был прямой нос, близкий по типу к греческому; спокойные серые глаза смотрели задумчиво, даже, пожалуй, печально; рот и подбородок говорили о смелости и сильном характере. Его дорожный наряд был прост и скромен, однако так одевались его соотечественники из высших слоев общества; парика на нем не было, и причесывал он волосы, как военные, а в стройной, удивительно складной фигуре сказывалась военная выправка. Внешность незнакомца была столь внушительна и так явно обличала в нем джентльмена, что, когда он снял с себя лишнюю одежду, дамы привстали и вместе с хозяином дома еще раз поклонились ему в ответ на приветствие, с которым он снова к ним обратился.

Хозяин дома был несколькими годами старше путешественника; его манера держаться, платье, окружающая обстановка — все говорило о том, что он повидал свет и принадлежит к высшему кругу. Дамское общество состояло из незамужней особы лет сорока и двух юных девушек по меньшей мере вдвое моложе ее. Краски поблекли на лице старшей леди, но чудесные глаза и волосы делали ее очень привлекательной; очарование придавало ей и милое, приветливое обхождение, каким далеко не всегда могут похвастать многие более молодые женщины. Сестры — сходство между девушками свидетельствовало об их близком родстве — были в полном расцвете молодости; румянец — неотъемлемое свойство вест-честерской красавицы, рдел на их щеках, а глубокие голубые глаза сияли тем блеском, который пленяет наблюдателя и красноречиво говорит о душевной чистоте и покое.

Все три леди отличались женственностью и изяществом, присущими слабому полу этого края, а их манеры показывали, что они, как и хозяин дома, принадлежат к высшему обществу.

Мистер Уортон, ибо так звали владельца уединенной усадьбы, поднес гостю рюмку превосходной мадеры и, налив рюмку себе, снова сел к камину. С минуту он молчал, словно обдумывая, не нарушит ли правила вежливости, задав подобный вопрос незнакомцу, наконец, окинув его испытующим взглядом, спросил:

— За чье здоровье я имею честь выпить?

Путник тоже сел; когда мистер Уортон произносил эти слова, он рассеянно смотрел в камин, потом, обратив пытливый взгляд на хозяина дома, ответил с легкой краской в лице:

— Моя фамилия Харпер.

— Мистер Харпер,— продолжал хозяин с церемонностью того времени,— я имею честь выпить за ваше здоровье и надеюсь, что дождь вам не повредил.

Мистер Харпер молча поклонился в ответ на любезность и опять погрузился в раздумье, казалось вполне понятное и извинительное после долгого пути, проделанного по такой непогоде.

Девушки снова сели за пяльцы, а их тетка, мисс Дженнет Пейтон, вышла, чтобы присмотреть за приготовлениями к ужину для неожиданного гостя. Наступило короткое молчание; мистер Харпер, видимо, наслаждался

теплом и покоем, но хозяин снова нарушил тишину, спросив гостя, не помешает ли ему дым; получив отрицательный ответ, мистер Уортон тотчас же взялся за трубку, которую отложил при появлении незнакомца.

Хозяину дома явно хотелось завязать разговор, однако, то ли из опасения ступить на скользкую почву, то ли не желая прерывать очевидно умышленное молчание гостя, он долго не решался заговорить. Наконец его подбодрило движение мистера Харпера, бросившего взгляд в сторону, где сидели сестры.

— Теперь стало очень трудно,— заметил мистер Уортон, для начала осторожно обходя темы, которые ему хотелось бы затронуть,— получать табак, каким я привык баловать себя по вечерам.

— А я думал, нью-йоркские лавки поставляют вам самый лучший табак,— спокойно отозвался мистер Харпер.

— Н-да, конечно,— ответил неуверенно мистер Уортон и посмотрел на гостя, но сразу опустил глаза, встретив его твердый взгляд.— В Нью-Йорке, наверное, полно табаку, но в эту войну любая, даже самая невинная, связь с городом слишком опасна, чтобы рисковать из-за такого пустяка.

Табакерка, из которой мистер Уортон только что набил свою трубку, стояла открытая почти у самого локтя мистера Харпера; он машинально взял из нее щепотку и попробовал на язык, однако мистера Уортона это встревожило. Ничего не сказав о качестве табака, гость снова впал в задумчивость, и хозяин успокоился. Теперь, когда он добился некоторого успеха, мистер Уортон не хотел отступать и, сделав над собой усилие, продолжал:

— Я желаю от всего сердца, чтобы кончилась эта нечестивая война и мы опять могли бы встретиться с друзьями и близкими в мире и любви.

— Да, очень хотелось бы,— выразительно сказал мистер Харпер и снова вскинул глаза на хозяина дома.

— Я не слыхал, чтобы со времени появления наших новых союзников произошли какие-либо значительные передвижения войск,— заметил мистер Уортон; выбив пепел из трубки, он повернулся к гостю спиной, будто для того, чтобы взять из рук младшей дочери уголек.

— Видимо, об этом еще не стало широко известно.

— Значит, надо полагать, будут сделаны какие-нибудь

серьезные шаги? — спросил мистер Уортон, все еще наклонившись к дочери и в ожидании ответа бессознательно мешкая с раскуриванием трубки.

— Разве поговаривают о чем-нибудь определенном?

— О нет, ни о чем особенном; однако от таких мощных сил, какими командует Рошамбо [1], естественно чего-то ожидать.

Мистер Харпер кивнул головой в знак согласия, но ничего не сказал, а мистер Уортон, раскурив трубку, продолжал:

— Должно быть, на Юге действуют более решительно. Гейтс и Корнваллис там, видимо, хотят покончить с войной [2].

Мистер Харпер наморщил лоб, и на его лице мелькнула тень глубокой печали; глаза на миг зажглись огнем,

[1] Рошамбо — командующий французскими войсками, переброшенными на североамериканский материк для помощи американским колониям в борьбе против Англии.

[2] Уортон намекает на победу английского генерала Корнваллиса, разбившего войско американского генерала Гейтса в сражении при Кемдене в штате Южная Каролина (1780).

обличавшим сильное скрытое чувство. Восхищенный взор младшей сестры едва успел уловить это выражение, как оно уже исчезло; лицо незнакомца стало опять спокойным и исполненным достоинства, неоспоримо показывая, что разум у него преобладает над чувством.

Старшая сестра приподнялась со стула и с торжеством воскликнула:

— Генералу Гейтсу не повезло с графом Корнваллисом, как повезло с генералом Бергойном [1].

— Но ведь генерал Гейтс не англичанин, Сара,— поспешила возразить младшая леди; смущенная своей смелостью, она покраснела до корней волос и принялась рыться в рабочей корзинке, втайне надеясь, что на ее слова не обратили внимания.

Пока девушки говорили, гость смотрел то на одну, то на другую; едва уловимое подергивание губ выдавало его душевное волнение, когда он шутливо обратился к младшей из сестер:

— А могу ли я узнать, какой вывод вы делаете из этого?

Когда у Френсис прямо спросили мнения о вопросе, неосторожно затронутом при постороннем, она покраснела еще гуще, но ответа ждали, и девушка, немного запинаясь, нерешительно сказала:

— Просто... просто, сэр... мы с сестрой порой расходимся в оценке доблести англичан.

На ее детски невинном лице заиграла лукавая улыбка.

— А что же, собственно, вызывает у вас разногласия? — спросил мистер Харпер, отвечая на ее живой взгляд почти отечески мягкой улыбкой.

— Сара считает, что англичане никогда не терпят поражений, а я не очень-то верю в их непобедимость.

Путник слушал девушку с той ласковой снисходительностью, с какой благородная старость относится к пылкой наивной молодости, но промолчал и, повернувшись к камину, снова устремил взор на тлеющие угли.

Мистер Уортон напрасно старался проникнуть в тайну политических взглядов гостя. Хотя мистер Харпер не казался угрюмым, однако он не проявлял и общительно-

[1] Генерал Гейтс под Сараготой заставил капитулировать английского генерала Бергойна со всем его войском (1777). Эта крупная победа американцев сыграла решающую роль во всем дальнейшем ходе войны.

сти, напротив — он поражал своей замкнутостью; когда хозяин дома встал, чтобы проводить мистера Харпера к столу в соседнюю комнату, он ровным счетом ничего не знал из того, что́ в те времена было так важно знать о незнакомом человеке. Мистер Харпер подал руку Саре Уортон, и они вместе вошли в столовую; Френсис следовала за ними, спрашивая себя, не задела ли она чувства гостя своего отца.

Буря разыгралась еще сильнее, и проливной дождь, хлеставший в стены дома, будил безотчетное ощущение радости, какую в ненастную погоду испытываешь в теплой, уютной комнате. Вдруг резкий стук в дверь снова вызвал верного слугу-негра в переднюю. Через минуту он вернулся и доложил мистеру Уортону, что еще один застигнутый бурей путник просит приютить его на ночь.

Как только новый пришелец нетерпеливо постучал в дверь, мистер Уортон с явным беспокойством поднялся с места; он быстро перевел взгляд с мистера Харпера на дверь, словно ожидая, что за появлением второго незнакомца последует что-то связанное с первым. Едва он успел слабым голосом приказать слуге ввести путника, как дверь широко распахнулась, и тот сам вошел в комнату. Заметив мистера Харпера, путник на мгновение замялся, потом несколько церемонно повторил свою просьбу, которую только что передал через слугу. Мистеру Уортону и его семейству новый гость крайне не понравился, однако, опасаясь, что отказ в ночлеге в такую жестокую бурю может привести к неприятностям, старый джентльмен скрепя сердце согласился приютить и этого незнакомца.

Мисс Пейтон приказала подать еще кое-какие кушанья, и пострадавший от непогоды был приглашен к столу, за которым только что отужинало небольшое общество. Сбросив с себя верхнюю одежду, пришелец решительно сел на предложенный ему стул и с завидным аппетитом принялся утолять свой голод. Однако при каждом глотке он обращал тревожный взор на мистера Харпера, который так пристально его разглядывал, что ему невольно становилось не по себе. Наконец, налив в бокал вина, новый гость многозначительно кивнул наблюдавшему за ним мистеру Харперу и довольно язвительно сказал:

— Пью за наше более близкое знакомство, сэр. Кажется, мы встречаемся впервые, хотя ваше внимание ко мне наводит на мысль, что мы старые знакомые.

Должно быть, вино пришлось ему по вкусу, ибо, поставив на стол пустой бокал, он на всю комнату причмокнул губами и, подняв бутылку, несколько мгновений держал ее против света, молча любуясь блеском прозрачного напитка.

— Вряд ли мы когда-либо встречались,— следя за движениями нового гостя, с легкой улыбкой отозвался мистер Харпер; видимо удовлетворенный своими наблюдениями, он повернулся к сидевшей с ним рядом Саре Уортон и заметил: — После развлечений городской жизни вам, наверное, тоскливо в вашем теперешнем жилище?

— О, ужасно тоскливо! — с жаром ответила Сара.— Как и отец, я хочу, чтобы эта ужасная война кончилась скорее и мы снова встретились с нашими друзьями.

— А вы, мисс Френсис, так же горячо жаждете мира, как и ваша сестра?

— По многим причинам, конечно, да,— ответила девушка, украдкой бросив на мистера Харпера застенчивый взгляд. Заметив на его лице прежнее доброе выражение, она продолжала, и умная улыбка озарила ее живые черты: — Но только не ценою потери прав моих соотечественников.

— Прав! — возмущенно повторила ее сестра.— Чьи права могут быть справедливее, чем права монарха! И разве есть долг более настоятельный, чем долг повиноваться тому, кто имеет законное право повелевать?

— Ничьи, конечно, ничьи,— сказала Френсис, смеясь от души; ласково взяв в обе руки руку сестры и улыбнувшись мистеру Харперу, она добавила: — Я уже говорила вам, что мы с сестрой расходимся в политических взглядах, но зато отец для нас беспристрастный посредник; он любит и своих соотечественников, любит и англичан, а потому не берет ни мою сторону, ни сторону сестры.

— Это так,— с некоторым беспокойством заметил мистер Уортер, взглянув сначала на первого гостя, потом на второго.— У меня близкие друзья в обеих армиях, и, кто бы ни выиграл войну, победа любой из сторон принесет мне лишь огорчения; поэтому я страшусь ее.

— Как я полагаю, нет особых оснований опасаться победы янки[1],— вмешался новый гость, спокойно наливая себе еще один бокал из облюбованной им бутылки.

— Войска его величества, возможно, лучше обучены, чем континентальные,— несмело вымолвил хозяин дома,— но ведь и американцы одерживали выдающиеся победы.

Мистер Харпер оставил без внимания как первое, так и второе замечание и попросил проводить его в отведенную ему комнату. Слуге-мальчику велели показать дорогу, и, учтиво пожелав всем доброй ночи, путник удалился. Как только за мистером Харпером закрылась дверь, нож и вилка выпали из рук сидевшего за столом непрошеного гостя; он медленно поднялся, осторожно подошел к двери, отворил ее, прислушался к удалявшимся шагам и, не обращая внимания на ужас и изумление семейства Уортон, снова затворил ее. Рыжий парик, скрывавший черные кудри, широкая повязка, прятавшая половину лица, сутулость, благодаря которой гость выглядел пятидесятилетним стариком,— вмиг все исчезло.

— Отец! Дорогой мой отец! — крикнул красивый молодой человек,— милые мои сестрицы и тетушка! Неужели я наконец с вами?

— Благослови тебя господь, Генри, сын мой! — радостно воскликнул пораженный отец.

А девушки, в слезах, приникли к плечам брата.

Единственным посторонним свидетелем того, как неожиданно объявился сын мистера Уортона, был верный негр, выросший в доме своего хозяина и, словно в насмешку над своим положением раба, названный Цезарем. Взяв протянутую молодым Уортоном руку, он горячо поцеловал ее и вышел. Мальчик-слуга больше не возвращался, но Цезарь снова вошел в гостиную, как раз в ту минуту, когда молодой английский капитан спросил:

— Но кто такой этот мистер Харпер? Он не выдаст меня?

— Нет, нет, масса Гарри! — убежденно воскликнул негр, качая седой головой.— Я видел... Масса Харпер на коленях молился богу. Человек, что молится богу, не будет доносить на хорошего сына, который пришел

---

[1] Янки — презрительное имя, которым англичане называли американцев.

к старому отцу... Скиннер[1] сделает такое, но не христианин!

Не один мистер Цезарь Томсон, как он сам себя величал (немногочисленные знакомые называли его Цезарем Уортоном) так дурно думал о скиннерах. Обстановка, сложившаяся в окрестностях Нью-Йорка, вынуждала командиров американской армии — для выполнения некоторых планов, а также чтобы досаждать неприятелю — принимать на службу людей заведомо преступных нравов. Естественным следствием господства военной силы, которую гражданские власти не сдерживали, были притеснения и несправедливости. Но не такое было время, чтобы заниматься серьезным разбирательством всяческих злоупотреблений. Так выработался определенный порядок, в общем сводившийся к тому, что у своих же соотечественников отнимали считавшиеся личными богатства, прикрываясь при этом патриотизмом и любовью к свободе.

Незаконному распределению земных благ частенько попустительствовали военные власти, и не раз бывало, что какой-нибудь незначительный военный чиновник узаконивал самые беспардонные грабежи, а порой даже убийства.

Не зевали и англичане, особенно там, где под маской верности короне представлялась возможность дать себе волю. Но эти мародеры вступали в ряды английской армии и действовали куда более организованно, чем скиннеры. Долгий опыт показал их вожакам все выгоды организованных действий, и они не обманулись в расчете, если только предание не преувеличило их подвигов. Их отряд получил забавное название «ковбойского»[2] — видимо благодаря нежной любви его солдат к полезному животному — корове.

Впрочем, Цезарь был слишком предан английскому королю, чтобы объединять в своем представлении людей, получавших чины от Георга III, с воинами нерегулярной армии, чьи бесчинства ему не раз доводилось наблюдать

---

[1] Скиннерами (от английского слова skinner — живодер) называли мародеров, которые под предлогом помощи американской армии грабили мирное население нейтральной территории, главным образом — сторонников англичан.

[2] Ковбоями (от английского слова cow boy — коровий пастух) тогда называли мародеров, которые, в отличие от скиннеров, орудовали на стороне англичан

и от чьей алчности его самого не спасали ни бедность, ни положение невольника. Итак, Цезарь не выразил ковбоям вполне заслуженного осуждения, а сказал, что только скиннер способен выдать доброго сына, рисковавшего жизнью, чтобы повидать отца.

Глава II

Познал он радость тихой жизни с ней,
Но смолкло сердце, бившееся рядом,
Навек ушла подруга юных дней,
И стала дочь единственной отрадой.

Томас Кэмпбелл, «Гертруда из Вайоминга»

Отец мистера Уортона родился в Англии и был младшим сыном в семье, парламентские связи которой обеспечили ему место в колонии Нью-Йорк. Как и сотни других молодых англичан его круга, он навсегда обосновался в Америке. Он женился, а единственный отпрыск от этого союза был послан в Англию, чтобы воспользоваться преимуществами образования в тамошних учебных заведениях. Когда юноша закончил в метрополии университет, родители дали ему возможность познакомиться с прелестями европейской жизни. Но через два года отец умер, оставив в наследство сыну почтенное имя и обширное поместье, и юноша вернулся на родину.

В те дни, чтобы сделать карьеру, молодые люди из именитых английских семей вступали в армию или во флот. Большую часть высоких должностей в колониях занимали военные, и нередко можно было встретить в высших судебных органах воина-ветерана, который мечу предпочел мантию судьи.

Следуя этому обычаю, старший мистер Уортон предназначил и своего сына в армию, однако нерешительный характер молодого человека помешал отцу выполнить свое намерение.

Юноша в течение целого года взвешивал и сравнивал превосходства одного рода войск над другими. Но тут умер отец. Беспечная жизнь, внимание, которым был окружен молодой владелец одного из самых больших поместий в колониях, отвлекли его от честолюбивых замыслов. Дело

решила любовь, и, когда мистер Уортон стал супругом, он уже не думал о том, чтобы стать военным. Много лет жил он счастливо в своей семье, пользуясь уважением соотечественников как человек честный и положительный, однако всем его радостям вдруг пришел конец. Его единственный сын, молодой человек, представленный нами в первой главе, вступил в английскую армию и незадолго до начала военных действий вернулся на родину вместе с войсками пополнения, которые военное министерство Англии сочло нужным отправить в восставшие районы Северной Америки. Дочери мистера Уортона были еще совсем молоденькими девушками и жили тогда в Нью-Йорке, ибо только город мог придать необходимый лоск их воспитанию. Его жена прихворывала, и ее здоровье с каждым годом ухудшалось; едва она успела прижать сына к груди, радуясь, что вся семья в сборе, как вспыхнула революция, охватив своим пламенем всю страну от Джорджии до Массачусетса. Болезненная женщина не вынесла потрясения и умерла, когда узнала, что сын уходит в бой и ему предстоит сражаться на Юге с ее же родными.

На всем континенте не было другого места, где бы английские нравы и аристократические понятия о чистоте крови и происхождения не укоренились так прочно, как в районах, примыкавших к Нью-Йорку. Правда, обычаи первых поселенцев — голландцев — несколько смешались с обычаями англичан, но преобладали последние. Преданность Великобритании стала еще крепче благодаря частым бракам английских офицеров с девушками из богатых и могущественных местных семей, влияние которых к началу военных действий чуть было не толкнуло колонию на сторону короля. Впрочем, кое-кто из представителей этих видных семей поддерживал дело народа; упорство правительства было сломлено, и с помощью конфедеративной армии [1] была создана независимая республиканская форма правления.

Только город Нью-Йорк и граничившие с ним территории не признавали новую республику, но и там престиж королевской власти держался лишь силою оружия. При таком положении вещей сторонники короля действовали по-разному — в зависимости от их места в обществе и

[1] Конфедеративная армия — армия федерации штатов Северной Америки.

личных склонностей. Одни с оружием в руках, не жалея сил, мужественно защищали законные, как они считали, права короля и пытались спасти от конфискации свое имущество. Другие уезжали из Америки, чтобы укрыться от превратностей и бедствий войны в стране, которую они напыщенно называли отчизной, надеясь, однако, через несколько месяцев вернуться назад. Третьи, наиболее осторожные, остались дома, не отваживаясь покинуть свои обширные владения, а может быть, из привязанности к местам, где прошла их юность. К числу таких людей принадлежал и мистер Уортон. Этот джентльмен оградил себя от возможных случайностей, тайно поместив все свои наличные деньги в Английский банк; он принял решение не уезжать из страны и строжайше соблюдать нейтралитет, рассчитывая таким образом сохранить свои владения, чья бы сторона ни взяла верх. Казалось, он был всецело поглощен воспитанием своих дочерей, однако родственник, занимавший важный пост при новом правительстве, намекнул ему, что в глазах соотечественников его пребывание в Нью-Йорке, ставшем лагерем англичан, равносильно пребыванию в столице Англии. Мистер Уортон вскоре и сам понял, что в тех условиях это было непростительной ошибкой, и решил ее исправить, немедля покинув город. В Вест-Честере у него было большое поместье, куда он в течение многих лет уезжал на жаркие месяцы; дом содержался в полном порядке, и в нем всегда можно было найти приют. Старшая дочь мистера Уортона уже выезжала, но младшей, Френсис, нужно было еще года два подготовки, чтобы появиться в обществе в полном блеске; во всяком случае, так полагала мисс Дженнет Нейтон. Эта леди, младшая сестра покойной супруги мистера Уортона, покинула отчий дом в Вирджинии и со свойственными ее полу преданностью и любовью взяла на себя заботу об осиротевших племянницах, а потому их отец считался с ее мнением. Итак, он последовал ее совету и, принеся в жертву родительские чувства для блага своих детей, оставил их в городе.

Мистер Уортон отправился в свою усадьбу «Белые акации» с разбитым сердцем — ведь он оставлял тех, кого доверила ему обожаемая жена,— но он должен был внять голосу благоразумия, настойчиво призывавшему его не забывать о своем имуществе. Дочери остались с теткой в великолепном городском доме. Полк, в котором служил

капитан Уортон, входил в состав постоянного гарнизона Нью-Йорка, и мысль, что сын в том же городе, где и дочери, была немалым утешением для отца, постоянно о них беспокоившегося. Однако капитан Уортон был молод и к тому же солдат; он нередко ошибался в людях, а так как очень высоко ставил англичан, то думал, что под красным мундиром[1] не может биться бесчестное сердце.

Дом мистера Уортона стал местом светских развлечений офицеров королевской армии, как, впрочем, и другие дома, удостоившиеся их внимания. Кое-кому из тех, кого посещали офицеры, эти визиты пошли на пользу, многим принесли вред, потому что зародили несбыточные надежды, а для большинства, к несчастью, были губительны. Всем известное богатство отца, а возможно, и близкое соседство отважного брата избавляли от опасений, что беда приключится и с молоденькими дочерьми мистера Уортона; и все же трудно было ожидать, чтобы любезности поклонников, восхищавшихся прелестным личиком и стройной фигурой Сары Уортон, не оставили следа в ее душе. Рано созревшая в благодатном климате красота Сары и ее изысканные манеры сделали девушку общепризнанной первой красавицей города. Казалось, лишь одна Френсис могла бы оспаривать это главенство среди женщин их круга. Впрочем, Френсис недоставало еще полугода до волшебных шестнадцати лет, к тому же мысль о соперничестве и в голову не приходила нежно привязанным друг к другу сестрам. Если не считать удовольствия от болтовни с полковником Уэлмиром, Саре приятнее всего было любоваться расцветающей красотой насмешливой маленькой Гебы[2], которая подрастала рядом с ней, радуясь жизни со всей невинностью молодости и пылом горячей натуры. Может быть, потому, что на долю Френсис не выпадало столько комплиментов, сколько доставалось ее старшей сестре, а может, и по другой причине, но рассуждения офицеров о характере войны производили на Френсис совсем иное впечатление, чем на Сару. Английские офицеры имели обыкновение презрительно отзываться о своих противниках, и Сара принимала пустое бахвальство своих кавалеров за чистую монету. Вместе с первыми политическими суждениями, дошедшими до

[1] Красные мундиры были формой офицеров английской королевской армии.

[2] Геба (греч. миф.) — богиня вечной юности.

слуха Френсис, она услышала иронические замечания о поведении своих соотечественников. Сперва она верила словам офицеров, но один генерал, бывавший в доме мистера Уортона, нередко вынужден был отдавать должное врагу, чтобы не умалить собственных заслуг, и Френсис стала с некоторым сомнением относиться к разговорам о неудачах мятежников. Полковник Уэлмир принадлежал к числу тех, кто особенно изощрялся в остроумии по поводу злополучных американцев, и со временем девушка уже слушала его разглагольствования с большим недоверием, а порой и с возмущением.

Однажды в знойный душный день Сара и полковник Уэлмир сидели на диване в гостиной и, переглядываясь, вели обычный легкий разговор; Френсис вышивала в пяльцах в другом конце комнаты.

— Как будет весело, мисс Уортон, когда в город войдет армия генерала Бергойна! — вдруг воскликнул полковник.

— О, как это будет чудесно! — беззаботно подхватила Сара.— Говорят, с офицерами едут их жены — очаровательные дамы. Вот когда повеселимся всласть!

Френсис откинула со лба пышные золотистые волосы, подняла глаза, заблестевшие при мысли о родине, и, лукаво смеясь, спросила:

— А вы уверены, что генералу Бергойну позволят войти в город?

— «Позволят»! — подхватил полковник.— А кто может ему помешать, моя милочка, мисс Фанни?

Френсис была как раз в том возрасте — уже не ребенок, но еще и не взрослая,— когда юные девушки особенно ревниво относятся к своему положению в обществе. Фамильярное обращение «моя милочка» покоробило ее, она опустила глаза, и ее щеки залил румянец.

— Генерал Старк взял немцев в плен[1],— вымолвила она, сжав губы.— Не сочтет ли и генерал Гейтс англичан слишком опасными, чтобы оставлять их на свободе?

— Но ведь то были немцы, как вы и сказали,— возразил полковник, раздосадованный, что ему приходится

[1] Американский генерал Старк в битве у Бенингтона (1777) взял в плен пятьсот немцев. Немецкие солдаты, которых английский король Георг III покупал у владетельных немецких князей, составляли около трети английского войска, посланного в Америку подавлять восстания колоний.

вступать в объяснения.— Немцы — всего лишь наемные войска, когда же врагу придется иметь дело с английскими полками, конец будет совсем иной.

— Ну конечно,— вставила Сара, ничуть не разделяя недовольства полковника ее сестрой, но заранее радуясь победе англичан.

— Скажите, пожалуйста, полковник Уэлмир,— спросила Френсис, снова повеселев и подняв на него смеющиеся глаза,— лорд Перси, потерпевший поражение при Лексингтоне [1], не потомок ли героя старинной баллады «Чеви Чейз»?

Мисс Фанни, да вы становитесь мятежницей! — сказал полковник, пытаясь за улыбкой скрыть свое раздражение.— То, что вы изволили назвать поражением при Лексингтоне, было лишь тактическим отступлением... вроде...

— ...сражения на бегу...— прервала бойкая девушка, подчеркивая последние слова.

— Право же, молодая леди...

Но раздавшийся в соседней комнате смех не дал полковнику Уэлмиру договорить.

Порыв ветра распахнул двери в маленькую комнату, примыкавшую к гостиной, где беседовали сестры и полковник. У самого входа сидел красивый юноша; по его улыбке можно было видеть, что разговор доставил ему истинное удовольствие. Он тотчас поднялся и, держа шляпу в руках, вошел в гостиную. Это был высокий, стройный молодой человек со смуглым лицом; в его блестящих черных глазах еще таился смех, когда он поклонился дамам.

— Мистер Данвуди! — с удивлением воскликнула Сара.— А я и не знала, что вы здесь. Идите к нам, в этой комнате прохладнее.

— Благодарю вас,— ответил молодой человек,— но мне пора, я должен отыскать вашего брата. Генри оставил меня, как он выразился, в засаде и пообещал вернуться через час.

Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, Данвуди вежливо поклонился девушкам, холодно, даже надменно

---

[1] При Лексингтоне в 1775 году произошло первое крупное сражение, принесшее победу американским борцам за независимость.

кивнул головой полковнику и покинул гостиную. Френсис вышла за ним в переднюю и, густо покраснев, быстро проговорила:

— Но почему... почему вы уходите, мистер Данвуди? Генри должен скоро вернуться.

Молодой человек взял ее за руку. Суровое выражение его лица сменилось восхищением, когда он произнес:

— Вы славно его отделали, моя дорогая кузиночка! Никогда, никогда не забывайте свою родину! Помните: вы не только внучка англичанина, но и внучка Пейтона.

— О,— со смехом отозвалась Френсис,— это не так-то легко забыть — ведь тетя Дженнет постоянно читает нам лекции по генеалогии!.. Но почему вы уходите?

— Я уезжаю в Виргинию, и у меня много дел.— Он пожал ей руку, оглянулся и уже у самой двери добавил: — Будьте верны своей стране — будьте американкой.

Пылкая девушка послала ушедшему воздушный поцелуй и, прижав красивые руки к горящим щекам, побежала к себе в комнату, чтобы скрыть свое смущение.

Явная насмешка, прозвучавшая в словах Френсис, и плохо скрываемое презрение молодого человека поставили полковника Уэлмира в неловкое положение; однако, не желая показывать при девушке, в которую был влюблен, что он придает значение таким пустякам, Уэлмир высокомерно проронил после ухода Данвуди:

— Весьма дерзкий юноша для человека его круга — ведь это приказчик, присланный из лавки с покупками?

Мысль о том, что изящного Пейтона Данвуди можно принять за приказчика, и в голову не могла прийти Саре, и она с удивлением взглянула на Уэлмира. Меж тем полковник продолжал:

— Этот мистер Дан... Дан...

— Данвуди! Что вы... он родственник моей тети! — воскликнула Сара.— И близкий друг моего брата; они вместе учились и расстались только в Англии, когда брат записался в армию, а он поступил во французскую военную академию.

— Вот уж, наверное, его родители зря выбросили деньги! — заметил полковник с досадой, которую ему не удалось скрыть.

— Будем надеяться, что зря,— с улыбкой сказала Сара,— говорят, он собирается вступить в армию мятеж-

ников. Он прибыл сюда на французском корабле, и его недавно перевели в другой полк; быть может, вы скоро с ним встретитесь с оружием в руках.

— Ну что ж, пусть... Желаю Вашингтону побольше таких героев.— И полковник перевел разговор на более приятную тему — о Саре и о себе самом.

Спустя несколько недель после этой сцены армия Бергойна сдала оружие. Мистер Уортон уже начал сомневаться в победе англичан; желая снискать расположение американцев и доставить радость себе, он вызвал дочерей из Нью-Йорка. Мисс Пейтон согласилась поехать с ними. С той поры и до событий, с которых мы начали наше повествование, они жили все вместе.

Генри Уортон шел с главной армией всюду, куда бы она ни направлялась. Раза два под охраной сильных отрядов, действовавших вблизи усадьбы «Белые акации», он тайно и ненадолго навестил своих родных. Прошел год с тех пор, как он виделся с ними, и вот порывистый молодой человек, преобразившись вышеописанным образом, явился к отцу как раз в тот вечер, когда в коттедже нашел приют незнакомый и даже внушающий недоверие человек,— хотя теперь у них в доме чужие бывали очень редко.

— Так вы думаете, что он ничего не заподозрил? — взволнованно спросил капитан, после того как Цезарь высказал свое мнение о скиннерах.

— Как он мог заподозрить что-нибудь, если даже сестры и отец тебя не узнали! — воскликнула Сара.

— В его поведении есть что-то загадочное; сторонний наблюдатель не вглядывается в людей с таким вниманием,— задумчиво продолжал молодой Уортон,— и лицо его кажется мне знакомым. Казнь Андре[1] взбудоражила обе стороны. Сэр Генри[2] грозит отомстить за его смерть, а Вашингтон непреклонен, словно покорил полмира. Попадись я, на свою беду, в руки мятежников, они не преминут воспользоваться этим в своих интересах.

— Но, сын мой,— в тревоге вскричал отец,— ведь ты же не шпион, ты не находишься в расположении мятеж-

---

[1] Андре — майор Андре, адъютант английского главнокомандующего; в 1780 году был повешен американцами за шпионаж.

[2] Сэр Генри — генерал Генри Клинтон, главнокомандующий английской армией на территории Северной Америки с 1778 по 1781 год.

ников... американцев, я хотел сказать... здесь нечего выведывать!

— Я в этом не уверен,— пробормотал молодой человек.— Когда я шел переодетый, я заметил, что их пикеты продвинулись к югу до Уайт-Плейнс. Правда, у меня безобидная цель, но как это доказать? Мой приход сюда могут истолковать как маскировку, за которой скрываются тайные намерения. Вспомните, отец, как обошлись с вами в прошлом году, когда вы послали мне провизию на зиму.

— Тут постарались мои милые соседи,— сказал мистер Уортон,— они надеялись, что мое поместье конфискуют и они по дешевке скупят хорошие земли. Впрочем, Пейтон Данвуди быстро добился нашего освобождения — нас не продержали и месяца.

— Нас? — удивленно повторил Генри.— Разве сестры тоже были арестованы? Ты не писала мне об этом, Фанни.

— Кажется,— вспыхнув, сказала Френсис,— я упоминала, как с нами был добр наш старый друг майор Данвуди; ведь благодаря ему освободили папу.

— Это верно. Но скажи, ты тоже была в лагере мятежников?

— Да, была,— с теплотой сказал мистер Уортон.— Фанни не хотела отпускать меня одного. Дженнет и Сара остались присматривать за усадьбой, а эта девочка была моим товарищем по плену.

— И Фанни вернулась оттуда еще большей бунтаркой, чем раньше,— с негодованием воскликнула Сара,— хотя, казалось бы, муки отца должны были излечить ее от этих причуд!

— Ну, что скажешь в свое оправдание, моя красавица сестренка? — весело спросил Генри.— Не научил ли тебя Пейтон ненавидеть нашего короля больше, чем он сам его ненавидит?

— Никого Данвуди не ненавидит! — выпалила Френсис и, смущенная своей горячностью, тут же добавила: — А тебя он любит, Генри, он не раз говорил мне об этом.

Молодой человек с нежной улыбкой потрепал сестру по щеке и шепотом спросил:

— А говорил он тебе, что любит мою сестренку Фанни?

— Глупости! — воскликнула Френсис и принялась хлопотать около стола, с которого под ее наблюдением быстро убрали остатки ужина.

Глава III

Осенний ветер, холодом повеяв,
Сорвал последнюю листву с деревьев.
И медленно над Лòвманским холмом
Плывет луна в безмолвии ночном
Покинув шумный город, в путь далекий
Отправился разносчик одинокий.

Уилсон

Буря, которую восточный ветер несет в горы, откуда берет начало Гудзон, редко длится меньше двух дней. Когда на следующее утро обитатели коттеджа «Белые акации» собрались к первому завтраку, они увидели, что дождь бьет по стеклам чуть ли не горизонтальными струями; конечно, никому и в голову не могла прийти мысль выставить за дверь в такое ненастье не только человека, но даже животное. Мистер Харпер появился последним; посмотрев в окно, он извинился перед мистером Уортоном, что вынужден из-за непогоды еще некоторое время злоупотреблять его гостеприимством. Казалось, ответ прозвучал столь же любезно, как и извинение, но чувствовалось, что гость примирился с необходимостью, в то время как хозяин дома был явно смущен. Подчиняясь воле отца, Генри Уортон неохотно, даже с отвращением снова изменил свой облик. Он ответил на приветствие незнакомца, который поклонился ему и всем членам семьи, но в разговор ни тот, ни другой не вступали. Правда, Френсис почудилось, что по лицу гостя пробежала улыбка, когда он, войдя в комнату, увидел Генри; но улыбка мелькнула лишь в глазах, лицо же сохранило выражение добродушия и сосредоточенности, свойственное мистеру Харперу и редко его покидавшее. Любящая сестра с тревогой посмотрела на брата, потом она взглянула на незнакомца и встретилась с ним глазами в ту минуту, когда он с подчеркнутым вниманием оказывал ей одну из обычных мелких услуг, принятых за столом. Затрепетавшее сердце девушки стало биться спокойно, насколько это возможно при молодости, цветущем здоровье и жизнерадостности. Все уже сидели за столом, когда в комнату вошел Цезарь; молча положив перед хозяином небольшой пакет, он скромно остановился за его стулом и оперся рукой о спинку, прислушиваясь к разговору.

— Что это такое, Цезарь? — спросил мистер Уортон поворачивая пакет и с некоторым подозрением рассматривая его.

— Табак, сэр. Гарви Бёрч вернулся и привез вам немножко хорошего табаку из Нью-Йорка.

— Гарви Бёрч! — опасливо произнес мистер Уортон и украдкой взглянул на незнакомца.— Разве я поручал ему купить мне табаку? Ну, уж если привез, надо уплатить ему за труды.

Когда заговорил негр, мистер Харпер на мгновение прервал свою молчаливую трапезу; он медленно перевел взгляд со слуги на хозяина и снова углубился в себя.

Известие, которое сообщил слуга, очень обрадовало Сару Уортон. Она стремительно встала из-за стола и приказала впустить Бёрча, однако сразу одумалась и, посмотрев на гостя виноватым взглядом, добавила:

— Конечно, если мистер Харпер не возражает против этого.

Ласковое, доброе выражение лица незнакомца, который молча кивнул головой, было красноречивее самых длинных фраз, и молодая леди, проникшись к нему доверием, спокойно повторила свое приказание.

В глубоких оконных нишах стояли стулья с резными спинками, а великолепные шторы из узорчатой шелковой ткани, украшавшие прежде окна гостиной в доме на Куин-стрит [1], создавали ту невыразимую атмосферу уюта, которая заставляет с удовольствием думать о приближении зимы. В одну из этих ниш метнулся капитан Уортон и, чтобы спрятаться от посторонних глаз, задернул за собою шторы; его младшая сестра с неожиданной для ее живого нрава сдержанностью, молча вошла в другую нишу.

Гарви Бёрч начал торговать вразнос еще с юности — во всяком случае, он часто говорил об этом,— а ловкость, с какой он сбывал свои товары, подтверждала его слова. Он был уроженец одной из восточных колоний; его отец выделялся своим умственным развитием, и это давало соседям основание полагать, что у себя на родине Бёрчи знавали лучшие дни. Однако Гарви ничем не отличался от местных простолюдинов, разве только своей сообрази-

[1] Куин-стрит — в то время один из самых аристократических кварталов Нью-Йорка.

тельностью, а также тем, что его действия были всегда окутаны какой-то тайной. Отец с сыном пришли в долину лет десять назад, купили тот убогий домик, в котором мистер Харпер тщетно пытался найти пристанище, и зажили тихо и мирно, не заводя знакомств и не привлекая к себе внимания. Пока ему позволяли возраст и здоровье, отец обрабатывал небольшой участок земли при доме; сын же усердно занимался мелочной торговлей. Скромность и добропорядочность со временем заслужили им такое уважение во всей округе, что одна девица лет тридцати пяти, отбросив свойственные женщинам предрассудки, согласилась взять на себя заботу об их домашнем хозяйстве. Румянец давным-давно поблек на щеках Кэти Хейнс; она видела, что все ее знакомые — мужчины и женщины — соединились в союзы, столь желанные ее полу, но сама почти потеряла надежду на замужество; однако в семью Бёрчей она вошла не без тайного умысла. Нужда — жестокий властелин, и за неимением лучшей компаньонки отец и сын были вынуждены принять услуги Кэти; впрочем, она обладала качествами, благодаря которым стала вполне сносной домоправительницей. Она была чистоплотна, трудолюбива и честна; зато отличалась болтливостью, себялюбием, была суеверна и невыносимо любопытна. Прослужив у Бёрчей около пяти лет, она с торжеством говорила, что услышала — вернее, подслушала — так много, что знает, какая жестокая участь постигла ее хозяев до переселения в Вест-Честер. Если бы у Кэти был хоть небольшой дар предвидения, она могла бы предсказать и то, что ожидало их в дальнейшем. Из тайных разговоров отца и сына она узнала, что пожар превратил их в бедняков и что из некогда многочисленной семьи остались в живых только они двое. Голос старика дрожал, когда он вспоминал об этом несчастье, тронувшем даже сердце Кэти. Но нет в мире преград для низменного любопытства, и она продолжала интересоваться чужими делами, пока Гарви не пригрозил ей, что возьмет на ее место женщину помоложе; услышав это грозное предостережение, Кэти поняла, что есть границы, которые не следует преступать. С той поры домоправительница благоразумно сдерживала свое любопытство, и, хотя она никогда не упускала возможности подслушать, запасы ее сведений пополнялись очень туго. Тем не менее ей удалось выяснить кое-что, представлявшее для нее немалый

интерес, и тогда, руководимая двумя побуждениями — любовью и алчностью,— она поставила перед собой определенную цель, устремив всю свою энергию на то, чтобы ее добиться.

Порой глубокой ночью Гарви тихонько подбирался к очагу в комнате, служившей Бёрчам гостиной и кухней. Тут-то Кэти и выследила своего хозяина; воспользовавшись его отсутствием и тем, что старик был чем-то занят, она вытащила из-под очага один кирпич и наткнулась на чугунок с блестящим металлом, способным смягчить самое черствое сердце. Кэти незаметно положила кирпич на место и уже больше никогда не отваживалась на такой неосторожный поступок. Однако с той минуты сердце девы укротилось, и Гарви не понял, в чем его счастье, только потому, что не был наблюдателен.

Война не препятствовала разносчику заниматься своим делом; нормальная торговля в графстве прекратилась, но это было ему на руку, и, казалось, он только и думал, что о барышах. Год или два он без помех продавал свои товары, и его доходы росли; между тем какие-то темные слухи набросили на него тень, и гражданские власти сочли необходимым покороче познакомиться с его образом жизни. Разносчик не раз попадал под стражу, но ненадолго и довольно легко ускользал от блюстителей гражданских законов; военные же власти преследовали его более настойчиво. И все-таки Гарви Бёрч не сдался, хотя и вынужден был соблюдать величайшую осторожность, особенно когда находился неподалеку от северных границ страны, или, иными словами, поблизости от американских войск. Он уже не так часто бывал в «Белых акациях», а в своем жилище появлялся столь редко, что раздосадованная Кэти, как мы уже рассказывали, не вытерпела и излила душу незнакомцу. Казалось, ничто не могло помешать этому неутомимому человеку заниматься своим ремеслом. Вот и сейчас, рассчитывая сбыть кое-какой товар, имевший спрос только в самых богатых домах Вест-Честера, он решился в свирепую бурю пройти полмили, отделявшие его дом от усадьбы мистера Уортона.

Получив приказание своей молодой госпожи, Цезарь вышел и через несколько минут вернулся вместе с тем, о ком только что шла речь. Разносчик был выше среднего роста, худощав, но широк в кости и с крепкими мускулами. При первом взгляде на него всякий уди-

вился бы, что он выдерживает на спине тяжесть своей громоздкой ноши; однако Бёрч сбросил ее с удивительным проворством и с такой легкостью, словно в тюке был пух. Глаза у Бёрча были серые, ввалившиеся и беспокойные; в тот краткий миг, когда они останавливались на лице человека, с которым он разговаривал, казалось, что они пронизывают того насквозь.

Впрочем, в его глазах можно было прочесть два разных выражения, говорящих о его характере. Когда Гарви Бёрч сбывал свои товары, его лицо становилось живым и умным, а взгляд на редкость проницательным, но стоило перевести разговор на обыденные житейские темы, как глаза Гарви делались беспокойными и рассеянными. Если же речь заходила о революции и об Америке, он весь преображался. Он долго слушал молча, потом прерывал молчание какой-нибудь незначительной или шутливой репликой, что казалось наигранным, ибо противоречило тому, как он вел себя прежде. Но о войне, как и о своем отце, Гарви говорил только тогда, когда не мог от этого уклониться Поверхностный наблюдатель счел бы, что главное место в его душе занимает жажда наживы, и, если вспомнить все, что мы знаем о нем, трудно представить себе более неподходящий объект для замыслов Кэти Хейнс.

Войдя в комнату, разносчик сбросил на пол свою ношу — теперь тюк достигал ему почти до плеч — и с подобающей вежливостью приветствовал семью мистера Уортона. Мистеру Харперу он молча отвесил поклон, не поднимая глаз от ковра,— капитана Уортона скрывала задернутая штора. Сара, поспешно поздоровавшись, устремила все свое внимание на тюк и несколько минут вместе с Бёрчем молча вытаскивала из него всевозможные предметы. Вскоре стол, стулья и пол были завалены кусками шелка, крепа, перчатками, кисеей и разными разностями, которые обычно продает бродячий торговец. Цезарь был занят тем, что придерживал края тюка, когда из него извлекали товары; иногда он помогал своей госпоже, обращая ее внимание на какую-нибудь роскошную ткань, благодаря своей пестрой расцветке казавшуюся ему особенно красивой. Наконец, отобрав несколько вещей и сторговавшись с разносчиком, Сара весело промолвила:

— Что же, Гарви, вы не рассказали нам никаких новостей? Наверное, лорд Корнваллис опять разбил мятежников?

Разносчик, видимо, не расслышал вопроса. Склонившись над тюком, он достал восхитительные тонкие кружева и предложил молодой леди полюбоваться ими. Мисс Пейтон уронила чашку, которую она мыла; хорошенькое личико Френсис высунулось из-за шторы, откуда раньше был виден только один веселый глазок, и щеки ее запылали такими красками, которые могли бы посрамить яркую шелковую ткань, ревниво скрывавшую фигурку девушки.

Тетка перестала мыть посуду, а Бёрч скоро сбыл изрядную часть своего дорогого товара. Сара и Дженнет так восторгались кружевами, что Френсис не выдержала и тихонько выскользнула из ниши. Тут Сара с ликованием в голосе повторила свой вопрос; впрочем, ее радость была вызвана скорее удовольствием от удачной покупки, чем патриотическими чувствами. Младшая сестра снова села к окну и принялась изучать облака; между тем разносчик, видя, что от него ждут ответа, не спеша сказал:

— В долине поговаривают, будто Тарльтон разбил генерала Самтера на Тайгер-Ривер [1].

Капитан Уортон невольно отодвинул штору и выставил голову, а Френсис, слушавшая разговор затаив дыхание, заметила, как мистер Харпер оторвал свои спокойные глаза от книги, которую он, казалось, читал, и посмотрел на Бёрча; выражение его лица выдавало, что он слушает с пристальным вниманием.

— Вот как! — торжествующе воскликнула Сара.— Самтер... Самтер... Кто он? Я и булавки не куплю, пока вы не расскажете все новости,— смеясь, продолжала она и бросила на стул кисею, которую только что разглядывала.

Несколько мгновений разносчик колебался; он взглянул на мистера Харпера, все еще сосредоточенно смотревшего на него, и его поведение вдруг резко изменилось. Бёрч подошел к камину и без всякого сожаления к начищенной до блеска решетке выплюнул на нее солидную порцию виргинского табака, после чего вернулся к своим товарам.

— Он живет где-то на Юге, среди негров,— отрывисто сказал разносчик.

[1] Английский полковник Тарльтон нанес поражение американцам, которыми командовал генерал Самтер в штате Южная Каролина (1780).

— Он такой же негр, как и вы, мистер Бёрч,— язвительно прервал его Цезарь и в раздражении выпустил из рук края тюка.

— Ладно, ладно, Цезарь, нам теперь не до этого,— успокаивающе проговорила Сара, которой не терпелось услышать еще какие-нибудь новости.

— Черный человек не хуже белого, мисс Салли, если он хорошо себя ведет,— обиженно заметил слуга.

— А часто и гораздо лучше,— согласилась с ним госпожа.— Но скажите же, Гарви, кто он такой, этот мистер Самтер?

Легкая тень недовольства мелькнула на лице разносчика, но быстро исчезла, и он спокойно продолжал, будто раздосадованный негр и не прерывал разговора.

— Как я уже говорил, он живет на Юге, среди цветных (Цезарь тем временем снова взялся за тюк), и недавно между ним и полковником Тарльтоном произошло столкновение.

— И, конечно, полковник его разбил! — убежденно воскликнула Сара.

— Так говорят в войсках, стоящих в Моризании.

— А что говорите вы? — тихим голосом отважился спросить мистер Уортон.

— Я только повторяю то, что слышал,— ответил Бёрч и подал Саре штуку материи.

Девушка молча отбросила ее, очевидно решив узнать все подробности, прежде чем купить еще что-нибудь.

— Однако на равнинах толкуют,— продолжал разносчик, снова обводя глазами комнату и на мгновение останавливая взгляд на мистере Харпере,— что ранен был только Самтер и еще один или двое, а весь отряд регулярных войск [1] расколошматили ополченцы, засевшие в бревенчатом сарае.

— Это маловероятно,— презрительно сказала Сара.— Впрочем, не сомневаюсь, что мятежники прячутся за бревнами.

— По-моему, разумнее заслониться от пуль бревном, чем заслонить собой бревно,— невозмутимо отпарировал Бёрч и снова подал Саре штуку шелка.

---

[1] Войска английской армии называли регулярными в отличие от войск американской армии, созданной из партизанских отрядов и милиции (ополчения) штатов

Мистер Харпер спокойно опустил глаза на книгу, которую держал в руках, а Френсис поднялась со стула и, улыбаясь, обратилась к разносчику таким приветливым тоном, какого он никогда прежде от нее не слышал:

— Нет ли у вас еще кружев, мистер Бёрч?

Кружева были немедленно извлечены из тюка, и Френсис тоже стала покупательницей. Она велела подать торговцу стакан вина; Бёрч с благодарностью осушил его за здоровье дам и хозяина коттеджа.

— Значит, полагают, что полковник Тарльтон разбил генерала Самтера? — спросил мистер Уортон, делая вид, будто склеивает чашку, разбитую его свояченицей в пылу возбуждения.

— Кажется, так считают в Моризании,— ответил Бёрч.

— А еще какие новости, дружище? — спросил молодой Уортон, снова выглядывая из-за шторы.

— Вы слышали, что майора Андре повесили?

Капитан Уортон вздрогнул и, обменявшись весьма многозначительным взглядом с разносчиком, с деланным равнодушием сказал:

— Это произошло, видимо, несколько недель назад.

— А что, казнь наделала много шума? — спросил хозяин дома, занятый склеиванием разбитого фарфора.

— Люди всякое болтают, сами знаете, сэр.

— А не ожидается ли в долине передвижения войск, опасного для путешественников, друг мой? — задал вопрос мистер Харпер и пристально посмотрел на Бёрча.

Несколько пачек лент выпало из рук разносчика; его лицо вдруг утратило свое напряженное выражение, и, глубоко задумавшись, он медленно ответил:

— Регулярная кавалерия выступила некоторое время назад, а когда я проходил мимо казармы де Ланси[1], я видел, что солдаты чистили оружие; неудивительно, если они вскорости и двинутся, ведь виргинская кавалерия[2] уже находится на юге Вест-Честера.

— А много у них солдат? — спросил мистер Уортон в тревоге, бросив возиться с чашкой.

— Я не считал.

Одна лишь Френсис заметила, как изменилось лицо Бёрча, а повернувшись к мистеру Харперу, увидела, что тот опять молча уткнулся в книгу. Френсис подняла ленты, положила их на место и нагнулась над товарами; пышные локоны заслонили ее лицо, вспыхнувшее румянцем, покрывшим даже шею.

— А я думала, что конница южан направилась к Делавару,— сказала она.

— Может, оно и так,— отозвался Бёрч,— я проходил мимо войск на расстоянии.

Между тем Цезарь выбрал себе кусок ситца с ярко-желтыми и красными полосами на белом фоне; полюбовавшись несколько минут материей, он со вздохом положил ее обратно, воскликнув:

— Очень красивый ситец!

— Верно,— сказала Сара.— Хорошее платье вышло бы для твоей жены, Цезарь.

— Да, мисс Салли! — вскрикнул восхищенный слуга.— У старой Дины сердце запрыгало бы от радости — очень хороший ситец.

— В таком платье Дина будет совсем как радуга,— добродушно вставил разносчик.

Цезарь жадными глазами смотрел на свою молодую госпожу, пока она не спросила у Гарви, сколько он хочет за ситец.

— Смотря с кого,— ответил разносчик.

— Сколько? — повторила удивленная Сара.

— Судя по тому, кто покупатель; для моей приятельницы Дины отдам за четыре шиллинга.

— Это слишком дорого,— сказала Сара, выбирая что-то еще для себя.

---

[1] Де Ланси — командир ковбойского отряда.

[2] Виргинская кавалерия — американская кавалерия, сформированная в штате Виргиния.

— Огромная цена за простой ситец, мистер Бёрч! — проворчал Цезарь, снова выронив края тюка.

— Тогда, скажем, три, если вам это больше нравится,— продолжал разносчик.

— Конечно, нравится больше,— с довольной улыбкой проговорил Цезарь и опять раскрыл тюк.— Мисс Салли нравится три шиллинга, если она дает, и четыре — если получает.

Торг был тут же заключен, но, когда ситец измерили, оказалось, что до десяти ярдов, нужных на рост Дины, немного недостает. Впрочем, опытный торговец ловко вытянул материю до желаемой длины, да еще добавил яркую ленту в тон, и Цезарь поспешил уйти, чтобы порадовать обновкой свою почтенную подругу.

Во время легкой суматохи, вызванной завершением сделки, капитан Уортон отважился снова отодвинуть штору и теперь, стоя у всех на виду, спросил у разносчика, начавшего собирать свои товары, когда тот вышел из города.

— На рассвете,— последовал ответ.

— Так поздно? — изумился капитан, но тотчас спохватился и продолжал уже более спокойно: — И вам удалось в такой поздний час пройти мимо пикетчиков?

— Удалось,— коротко ответил Бёрч.

— Наверное, Гарви, вас теперь знают многие офицеры британской армии,— многозначительно улыбаясь, сказала Сара.

— Кое-кого из них и я знаю в лицо,— заметил Бёрч и, обводя комнату глазами, посмотрел на капитана Уортона, потом на миг задержал взгляд на лице мистера Харпера.

Мистер Уортон напряженно вслушивался в разговор; он совсем забыл о своем напускном равнодушии и так волновался, что раздавил куски чашки, которую столь усердно старался склеить. Когда разносчик затягивал на своем тюке последний узел, мистер Уортон вдруг спросил:

— Неужели враг снова начнет нас беспокоить?

— Кого вы называете врагом? — спросил разносчик и, выпрямившись, в упор посмотрел на мистера Уортона, который смутился и тут же опустил глаза.

— Всякого, кто нарушает наш покой,— вставила мисс Пейтон, заметив, что мистер Уортон не знает, что ответить.— Ну, а королевские войска уже двинулись с Юга?

— Весьма вероятно, что скоро двинутся,— ответил Бёрч, подняв с пола свой тюк и собираясь уходить.

— А континентальные войска,— тихим голосом продолжала мисс Пейтон,— скажите, континентальные войска находятся здесь, в Вест-Честере?

Гарви хотел сказать что-то в ответ, но открылась дверь, и появился Цезарь вместе со своей восхищенной супругой.

Короткие курчавые волосы Цезаря поседели с годами, и это придавало ему особенно почтенный вид. Долгое и усердное применение гребенки выпрямило кудряшки надо лбом, и теперь его волосы стояли стоймя, как щетина, прибавляя ему добрых два дюйма роста. Его черная, в молодости лоснистая кожа потеряла блеск и стала темно-коричневой. Глаза, расставленные чересчур широко, были невелики и светились добротой, и лишь изредка, когда он чувствовал себя обиженным, их выражение менялось; впрочем, сейчас они, казалось, плясали от восторга. Нос Цезаря в избытке обладал всеми необходимыми для обоняния свойствами, при этом с редкой скромностью не выпячивался вперед; ноздри были весьма объемисты, однако они не вытеснили щек. Непомерно велик был и рот, но двойной ряд жемчужных зубов примирял с этим недостатком. Цезарь был малого роста, мы сказали бы — он был квадратный, если бы углы и линии его фигуры отличались хоть какой-нибудь геометрической симметрией. Руки у него были длинные и мускулистые, с жилистыми кистями, серовато-черного цвета на тыльной стороне и линяло-розового на ладонях. Но пуще всего разгулялась природа, проявив свой капризный нрав, когда создавала его ноги. Тут уж она и вовсе безрассудно извела материал. Икры находились не сзади и не спереди, а скорее сбоку и слишком высоко, так что казалось непонятным, как у него сгибаются колени. Если считать, что ступни — это фундамент, на котором покоится туловище, то на них Цезарь не имел причин сетовать; впрочем, они были повернуты к центру, и порой могло показаться, что их обладатель ходит задом наперед. Но какие бы недостатки ни обнаружил в его телосложении скульптор, сердце Цезаря Томпсона помещалось на своем месте, и мы не сомневаемся, что размеры его были такими, как это положено.

В сопровождении своей верной спутницы жизни Цезарь подошел к Саре и поблагодарил ее. Сара добродушно

выслушала его, похвалила вкус мужа и заметила, что жене, наверное, материя пойдет. Френсис, лицо которой сияло не меньшим удовольствием, чем улыбающиеся физиономии Цезаря и его жены, предложила сама сшить Дине платье из этого чудесного ситца. Предложение было почтительно и с признательностью принято.

Разносчик ушел, а следом за ним — и Цезарь со своей супругой, но, закрывая дверь, негр не отказал себе в удовольствии произнести благодарственный монолог:

— Добрая маленькая леди, мисс Фанни... заботится о своем отце... и хочет шить платье для старой Дины...

Неизвестно, что еще сказал Цезарь в порыве чувств, ибо он отошел на порядочное расстояние, и, хотя звук его голоса еще доносился, слов уже нельзя было разобрать.

Мистер Харпер уронил книгу, с мягкой улыбкой наблюдая эту сцену, и Френсис восхитило его лицо, с которого глубокая задумчивость и озабоченность не могли согнать выражения доброты, этого лучшего свойства человеческой души.

Глава IV

«Лицо таинственного лорда,
Его манеры, облик гордый,
Его осанка и движенья —
Все вызывало восхищенье;
Он был высокий и прямой,
Как грозный замок боевой,
И сколько мужества и силы
Его спокойствие хранило!
Когда случается беда,
Находят у него всегда
Поддержку, помощь и совет,
И хуже наказанья нет,
Чем заслужить его презренье».
Принцесса крикнула в волненье:
«Довольно! Это наш герой,
Шотландец с пламенной душой!»

Вальтер Скотт

После ухода разносчика все долго молчали. Мистер Уортон услышал достаточно, чтобы его беспокойство еще усилилось, а опасения за сына ничуть не уменьшились. Мистер Харпер невозмутимо сидел на своем месте, а мо-

лодой капитан про себя желал ему провалиться в тартарары; мисс Пейтон спокойно убирала со стола,— всегда благодушная, она теперь испытывала особенное удовольствие от сознания, что ей досталась немалая толика кружев; Сара аккуратно складывала свои обновки, а Френсис с полным пренебрежением к собственным покупкам заботливо помогала ей, как вдруг незнакомец прервал тишину:

— Я хотел сказать, что если капитан Уортон сохраняет свой маскарад из-за меня, то он напрасно тревожится. Будь у меня даже какие-нибудь причины выдать его, я все равно не смог бы этого сделать при нынешних обстоятельствах.

Младшая сестра, побледнев, в изумлении упала на стул, мисс Пейтон опустила поднос с чайным сервизом, который она в эту минуту сняла со стола, а потрясенная Сара словно онемела, позабыв о покупках, лежавших у нее на коленях. Мистер Уортон оцепенел; капитан на мгновение растерялся от неожиданности, потом выбежал на середину комнаты и, сорвав с себя принадлежности своего маскарадного костюма, воскликнул:

— Я верю вам всей душой, довольно играть эту утомительную комедию! Но я все-таки не понимаю, как вам удалось узнать, кто я.

— Право же, вы куда красивее в своем собственном виде, капитан Уортон,— с легкой улыбкой сказал гость.— Я советовал бы вам никогда не пытаться его изменять. Уж одно это,— и он показал на висевший над камином портрет английского офицера в мундире,— выдало бы вас, а у меня были еще и другие основания для догадок.

— Я льстил себя надеждой,— смеясь, отозвался молодой Уортон,— что на полотне я красивее, чем в этом наряде. Однако вы тонкий наблюдатель, сэр.

— Необходимость сделала меня таким,— сказал мистер Харпер, поднимаясь с места.

У двери его догнала Френсис. Взяв его руку в свои и залившись ярким румянцем, она горячо сказала:

— Вы не можете... вы не выдадите моего брата!

На миг мистер Харпер остановился, молча любуясь прелестной девушкой, потом прижал ее руки к своей груди и торжественно ответил:

— Не могу и не выдам.— Он ласково положил ей руку на голову и добавил: — Если благословение чужого человека может принести вам благо, примите его.

Мистер Харпер повернулся и, низко поклонившись, вышел из комнаты с деликатностью, вполне оцененной теми, кого он успокоил.

Прямодушие и серьезность незнакомца произвели глубокое впечатление на все семейство, а его слова доставили всем, кроме отца, большое облегчение. Вскоре принесли одежду капитана, которую вместе с другими вещами доставили из города; молодой человек, освободившись от стеснявшей его маскировки, смог наконец предаться радостям встречи со своими близкими, ради которых он подвергал себя такой большой опасности.

Мистер Уортон ушел к себе заниматься своими обычными делами; с Генри остались одни дамы, и началась увлекательная беседа на темы, особенно для них приятные. Даже мисс Пейтон заразилась весельем своих юных родственников, и в течение часа все наслаждались непринужденным разговором, ни разу не вспомнив о том, что им, быть может, грозит опасность. Вскоре они стали вспоминать город и знакомых; мисс Пейтон, никогда не забывавшая приятных часов, проведенных в Нью-Йорке, спросила Генри об их старом приятеле, полковнике Уэлмире.

— О! — весело воскликнул молодой капитан.— Он по-прежнему в городе и, как всегда, красив и галантен.

Редкая женщина не покраснела бы, услышав имя человека, в которого если еще и не была влюблена, то готова была влюбиться, и к тому же предназначенного ей досужей молвой. Именно это случилось с Сарой; она потупила глаза с улыбкой, которая вместе с румянцем, покрывшим ее щеки, сделала ее лицо еще прелестнее.

Капитан Уортон, не замечая смущения сестры, продолжал:

— Порой он грустит, и мы уверяем его, что это признак любви.

Сара подняла глаза на брата, потом посмотрела на тетку, наконец встретилась взглядом с Френсис, и та, добродушно смеясь, сказала:

— Бедненький! Неужели он влюблен безнадежно?

— Ну что ты, нет... как можно! Старший сын богатого человека, такой красивый, притом полковник!

— Вот уж действительно великие достоинства, особенно последнее! — деланно засмеявшись, заметила Сара.

— Позволь тебе сказать,— серьезно отозвался Генри,— чин полковника вещь весьма приятная.

— К тому же полковник Уэлмир весьма приятный молодой человек,— добавила младшая сестра.

— Оставь, Френсис,— сказала Сара,— полковник Уэлмир никогда не был твоим любимцем, он слишком предан королю, чтобы прийтись тебе по вкусу.

— А Генри разве не предан королю? — тотчас отпарировала Френсис.

— Полно, полно,— сказала мисс Пейтон,— никаких разногласий насчет полковника — он мой любимец.

— Фанни предпочитает майоров! — вскричал Генри, усаживая младшую сестру себе на колени.

— Глупости! — возразила, покраснев, Френсис, стараясь вырваться из объятий смеющегося брата.

— Больше всего меня удивляет,— продолжал капитан,— что, добившись освобождения нашего отца, Пейтон не постарался задержать мою сестренку в лагере мятежников.

— Это могло бы угрожать его собственной свободе,— с лукавой улыбкой ответила девушка, садясь на прежнее место.— Ты ведь знаешь, что майор Данвуди борется за свободу.

— Свобода! — воскликнула Сара.— Хороша свобода, если вместо одного властителя выбирают пятьдесят!

— Право выбирать себе властителей уже и есть свобода.

— И порой дамы были бы не прочь пользоваться такой свободой,— сказал капитан.

— Прежде всего мы хотели бы иметь возможность выбрать того, кто нам по душе. Не правда ли, тетя Дженнет? — заметила Френсис.

— Ты обращаешься ко мне,— вздрогнув, проговорила мисс Пейтон.— Что я понимаю в таких вещах, дитя мое? Спроси кого-нибудь, кто в этом больше разбирается.

— Можно подумать, что вы никогда не были молоды! А рассказы о прелестной мисс Дженнет Пейтон?

— Вздор, все это вздор, моя дорогая,— сказала тетушка, силясь улыбнуться.— Глупо верить всему, что говорят.

— Вы называете это вздором! — с живостью откликнулся капитан.— Генерал Монтроз[1] по сей день провозглашает тосты в честь мисс Пейтон — я сам это слышал

---

[1] Генерал Монтроз — английский генерал.

всего лишь несколько недель назад за столом у сэра Генри.

— О Генри, ты такой же дерзкий, как твоя сестра! Хватит болтать глупости... Пойдемте, я покажу вам свои новые рукоделия, я осмелюсь сравнить их с товарами Бёрча.

Сестры и брат пошли вслед за тетушкой, довольные друг другом и всем миром. Когда они поднимались по ступенькам в комнатушку, где мисс Пейтон хранила всякие мелочи домашнего обихода, она все же улучила минуту и спросила племянника, не беспокоит ли генерала Монтроза подагра, как в былые дни их знакомства.

Горьким бывает разочарование, когда, став взрослыми, мы обнаруживаем, что даже самые любимые нами существа не лишены слабостей. Но, пока сердце юно и мысли о будущем не омрачены печальным опытом прошлого, наши чувства очень возвышенны; мы с радостью приписываем своим близким и друзьям достоинства, к которым сами стремимся, и добродетели, которые нас учили уважать. Доверчивость, с какой мы проникаемся уважением к людям, кажется присущей нашей натуре, а привязанность наша к родным полна чистоты, так редко сохраняющейся в дальнейшие годы. До самого вечера семья мистера Уортона наслаждалась давно не испытанным счастьем; для юных Уортонов это было счастье нежной любви друг к другу, откровенных дружеских излияний.

Мистер Харпер появился лишь к обеду и, сославшись на какие-то занятия, ушел к себе в комнату, как только встали из-за стола. Несмотря на доверие, которое он завоевал, его уход всех обрадовал: ведь молодой капитан мог оставаться со своими родными не больше нескольких дней — причиной тому были короткий отпуск и опасение быть обнаруженным.

Впрочем, радость встречи вытеснила мысли о грозящей опасности. В течение дня мистер Уортон раза два высказывал сомнения насчет неизвестного гостя, беспокоясь, не выдаст ли тот каким-нибудь образом Генри; однако дети горячо возражали отцу; даже Сара, заодно с братом и сестрой, от всей души вступилась за незнакомца, заявив, что человек с такой наружностью не может оказаться неискренним.

— Наружность, дети мои, часто бывает обманчива,— заметил уныло отец.— Уж если люди, подобные майору

Андре, пошли на обман, легкомысленно полагаться на добродетели человека, у которого, возможно, их гораздо меньше.

— Обман! — вскричал Генри.— Но вы забываете, отец, что майор Андре служил своему королю и обычаи войны оправдывают его поведение.

— А разве обычаи войны не оправдывают его казни? — тихим голосом спросила Френсис.

Она не хотела отступаться от того, что считала делом своей родины, и в то же время не могла заглушить в себе сострадание к этому человеку.

— Ни в коем случае! — возразил капитан и, вскочив с места, принялся быстро ходить взад и вперед.— Френсис, ты меня поражаешь! Допустим, что мне суждено сейчас попасть в руки мятежников. Значит, по-твоему, будет справедливо меня казнить... может быть, ты даже придешь в восторг от жестокости Вашингтона?

— Генри,— горестно сказала молодая девушка, бледнея и дрожа от волнения,— ты плохо знаешь мое сердце!

— Прости меня, сестренка, моя маленькая Фанни! — с раскаянием произнес юноша, прижав Френсис к груди и целуя ее лицо, залитое слезами.

— Я знаю, глупо обращать внимание на слова, сказанные в запальчивости,— подхватила Френсис, освобождаясь из рук брата и с улыбкой подпяв на него свои еще влажные от слез глаза,— но очень горько слышать упреки от тех, кого мы любим, особенно... когда думаешь... когда уверена...— ее бледное лицо порозовело и, опустив взгляд на ковер, она тихим голосом произнесла: — что упреки незаслуженны.

Мисс Пейтон встала, подсела к племяннице и, нежно взяв ее за руку, проговорила:

— Не надо так огорчаться. Твой брат очень вспыльчив, ты же знаешь сама, до чего несдержанны мальчишки.

— Если судить по тому, как я себя вел, можете добавить — и жестоки,— сказал капитан и сел рядом с Френсис с другой стороны.— Но смерть Андре всех нас необычайно волнует. Ты его не знала: он был олицетворением храбрости... всяческих достоинств... всего, что заслуживает уважения.

Френсис, чуть улыбнувшись, покачала головой, но ничего не ответила. Заметив тень недоверия на ее лице, Генри продолжал:

— Ты сомневаешься, ты оправдываешь его казнь?

— Я не сомневаюсь в его добродетелях,— мягко сказала девушка,— и уверена, что он заслуживал лучшей участи, но я не могу сомневаться и в справедливости поступка Вашингтона. Я мало знаю обычаи войны и хотела бы знать еще меньше, однако разве могли бы американцы надеяться на успех в своей борьбе, если бы они подчинялись порядкам, с давних пор установленным лишь в интересах англичан?

— А к чему эта борьба? — с возмущением заметила Сара.— Они мятежники, и все их действия незаконны.

— Женщины словно зеркала — в них отражаются те, кто стоит перед ними,— добродушно вставил молодой капитан.— Во Фрепсис я вижу образ майора Данвуди, а в Саре...

— ...полковника Уэлмира,— со смехом, вся пунцовая, прервала младшая сестра.— Сознаюсь, своими убеждениями я обязана майору Данвуди... не правда ли, тетя Дженнет?

— Кажется, это в самом деле его взгляды, дитя мое.

— Признаю себя виновной. А ты, Сара, еще не забыла глубокомысленных рассуждений полковника Уэлмира?

— Я никогда не забываю того, что справедливо,— отозвалась Сара, соперничая цветом лица с сестрой, и встала, словно ей было жарко у камина.

Днем не произошло больше никаких происшествий, но вечером Цезарь объявил, что в комнате мистера Харпера слышались какие-то приглушенные голоса. Незнакомца поместили во флигеле напротив гостиной, где обычно собиралась семья мистера Уортона, и, чтобы уберечь своего молодого господина от опасности, Цезарь установил постоянное наблюдение за гостем. Известие взволновало все семейство, но, когда появился сам мистер Харпер, обращение которого, несмотря на его сдержанность, свидетельствовало о доброте и прямодушии, подозрения у всех, кроме мистера Уортона, скоро рассеялись. Его дети и свояченица решили, что Цезарь ошибся, и вечер прошел без новых тревог.

Назавтра в полдень, когда все сидели за чайным столом в гостиной, погода наконец изменилась. Легкое облако, вписевшее совсем низко над вершинами холмов, с бешеной скоростью понеслось с запада на восток. Однако дождь продолжал яростно стучать в окна и небо на

востоке оставалось темным и угрюмым. Френсис наблюдала за разбушевавшейся стихией, с нетерпением молодости желая поскорее вырваться из томительного плена, как вдруг, словно по волшебству, все затихло. Свист ветра умолк, буря успокоилась. Подбежав к окну, девушка с радостью увидела яркий солнечный луч, озаривший соседний лес. Деревья пылали всем многообразием красок октябрьского убора, а на влажных листьях отражался ослепительный блеск американской осени. Обитатели дома тотчас вышли на южную террасу. Благоуханный воздух был мягок и живителен; на востоке над горизонтом в беспорядке громоздились страшные темные тучи, напоминая отступление разбитой армии. Низко над коттеджем с удивительной быстротой еще неслись на восток клочья тумана, а на западе солнце уже прорвалось сквозь тучи и излучало свое прощальное сияние на открывшийся внизу пейзаж и на блестящую, вымытую дождем зелень. Такие явления можно наблюдать лишь под небом Америки. Они радуют тем более, чем неожиданнее контраст, когда, избавившись от непогоды, наслаждаешься мирным вечером и тихим воздухом, таким, какие бывают в самые мягкие июньские утра.

— Какая величественная картина! — произнес про себя мистер Харпер.— Как она великолепна, как прекрасна! Скорей бы настал такой же покой для моей сражающейся родины, и пусть такой же сияющий вечер завершит день ее страданий!

Только Френсис, стоявшая с ним рядом, слышала эти слова. Она с удивлением посмотрела на него. Мистер Харпер стоял с непокрытой головой, выпрямившись, устремив взор к небу. Глаза его утратили выражение спокойствия, которое, казалось, было его характерной чертой; теперь они светились восторгом, и легкий румянец окрасил его щеки.

«Такого человека нечего бояться,— подумала Френсис.— Только благородным натурам дано так сильно чувствовать».

Раздумья маленького общества прервало неожиданное появление Бёрча; с первыми лучами солнца он поспешил к дому мистера Уортона. Гарви Бёрч шел быстрыми, крупными шагами, не разбирая луж, размахивая руками и выставив вперед голову — обычная походка бродячих торговцев.

— Славный вечер,— начал он и поклонился, не поднимая глаз.— На редкость теплый и приятный для этого времени года.

Мистер Уоргон согласился с его замечанием и участливо спросил, как здоровье отца. Некоторое время разносчик стоял в угрюмом молчании; но, когда вопрос повторили, он ответил, сдерживая дрожь в голосе:

— Отец быстро угасает. Старость и тяжкая жизнь делают свое дело.

Гарви отвернулся, пряча от всех лицо, но Френсис заметила влажный блеск его глаз и дрожащие губы; во второй раз он поднялся в ее мнении.

Долина, в которой была расположена усадьба мистера Уортона, тянулась с северо-запада на юго-восток; дом стоял на косогоре, на северо-западном крае долины. Благодаря тому, что местность за холмом на противоположной стороне круто спускалась к побережью, за вершинами отдаленного леса можно было увидеть Зунд[1]. Море, так недавно яростно бившееся о берег, посветлело и катило длинные спокойные валы, а легкий ветерок, дувший с юго-запада, нежно касался их гребней, будто помогая утихомириться волнению. Теперь можно было разглядеть на воде какие-то темные точки, которые то поднимались, то опускались и исчезали за продолговатыми волнами. Никто, кроме разносчика, этого не заметил. Он сидел на террасе недалеко от мистера Харпера и, казалось, забыл о цели своего прихода. Как только его блуждающий взгляд остановился на этих темных точках, он с живостью вскочил и стал внимательно глядеть на море. Потом он перешел на другое место, с видимым беспокойством посмотрел на мистера Харпера и сказал, подчеркивая каждое слово:

— Регулярные части, должно быть, двинулись с юга.

— Почему вы так думаете? — нервно спросил капитан Уортон.— Дай бог, чтобы это было правдой: мне нужна охрана.

— Эти десять вельботов не шли бы так быстро, если бы их вел обычный экипаж.

— А может быть,— испуганно спросил мистер Уор-

---

[1] З у н д — пролив, отделяющий остров Лонг-Айленд от острова Манхаттан.

тон,— это... это континентальные войска возвращаются с острова?

— Нет, похоже, что регулярные,— многозначительно ответил торговец.

— Похоже? — повторил капитан.— Да ведь видны только точки.

Гарви не отозвался на это замечание; казалось, он обратился к самому себе, тихо проронив:

— Они вышли еще до бури... эти два дня стояли у острова... кавалерия тоже в пути... близ нас скоро начнется сражение.

Произнося свой монолог, Бёрч с явным беспокойством поглядывал на мистера Харпера, но по лицу этого джентльмена нельзя было узнать, представляют ли для него слова Бёрча какой-либо интерес. Он стоял молча, любуясь пейзажем, и, казалось, радовался перемене погоды. Однако, как только разносчик договорил, мистер Харпер обратился к хозяину дома и сказал, что дела не позволяют ему больше откладывать свой отъезд, поэтому он воспользуется прекрасным вечером, чтобы еще до наступления ночи сделать несколько миль пути.

Мистер Уортон выразил сожаление, что им приходится так скоро расстаться, но не посмел задерживать своего приятного гостя и тут же отдал необходимые распоряжения.

Беспокойство разносчика возрастало без всякой видимой причины; он то и дело поглядывал на южную сторону долины, словно ожидал оттуда беды. Наконец появился Цезарь, ведя на поводу великолепного коня, которому предстояло увезти мистера Харпера. Разносчик услужливо помог подтянуть подпругу и привязать к седлу дорожный мешок и синий плащ путешественника.

Но вот приготовления закончились, и мистер Харпер стал прощаться. С Сарой и тетушкой Дженнет он расстался сердечно и просто. Когда же он подошел к Френсис, на лице его появилось выражение какого-то особенно нежного чувства. Глаза повторили благословение, которое недавно вымолвили губы. У девушки вспыхнули щеки и сильно забилось сердце. Хозяин дома и гость напоследок обменялись любезными фразами; капитану Уортону мистер Харпер приветливо протянул руку и внушительно сказал:

Некоторое время разносчик стоял в угрюмом молчании.

— Вы сделали рискованный шаг, который может иметь для вас очень неприятные последствия. Если это случится, я, возможно, смогу доказать свою благодарность вашей семье за доброту ко мне.

— Конечно, сэр,— в страхе за сына, позабыв о вежливости, вскрикнул мистер Уортон,— вы сохраните в тайне то, что узнали, находясь в моем доме!

Мистер Харпер быстро повернулся к старику; суровое выражение, появившееся на его лице, однако, сгладилось, и он мягко ответил:

— Я не узнал в вашем доме ничего такого, чего не знал бы и раньше; однако теперь, когда мне известно, что ваш сын приехал, чтобы повидаться с близкими, он в большей безопасности, чем если бы я этого не знал.

Мистер Харпер поклонился семейству Уортон и, не сказав ничего разносчику, лишь коротко поблагодарил его за услуги, сел на коня, спокойно выехал через небольшие ворота и вскоре исчез за холмом, прикрывавшим долину с севера.

Разносчик следил взглядом за удаляющейся фигурой всадника, пока тот не скрылся из виду, потом облегченно вздохнул, словно избавившись от гнетущей тревоги. Все остальные молча размышляли о неизвестном госте и его неожиданном посещении, а мистер Уортон тем временем подошел к Бёрчу и сказал:

— Я ваш должник, Гарви,— я еще не заплатил за табак, который вы любезно привезли мне из города.

— Если он окажется хуже прежнего,— отозвался разносчик, устремив долгий взгляд туда, где исчез мистер Харпер,— то лишь потому, что теперь это редкий товар.

— Он мне очень нравится,— продолжал мистер Уортон,— но вы забыли назвать цену.

Выражение лица разносчика изменилось: глубокая озабоченность уступила место природной хитрости, и он ответил:

— Трудно сказать, какая ему теперь цена. Я полагаюсь на вашу щедрость.

Мистер Уортон достал из кармана пригоршню монет с изображением Карла III [1], зажал между большим и указательным пальцами три монеты и протянул их Бёрчу. Глаза разносчика засверкали, когда он увидел серебро;

[1] Карл III — испанский король (1759—1788).

перекинув во рту с одной стороны на другую солидную порцию привезенного им товара, он невозмутимо протянул руку, и доллары [1] с приятным звоном посыпались ему на ладонь. Однако разносчику мало было мимолетной музыки, прозвучавшей при их падении; он покружил каждую монету по каменной ступеньке террасы и только потом доверил их громадному замшевому кошельку, который так проворно исчез с глаз наблюдателей, что никто не мог бы сказать, в какой части одежды Бёрча он скрылся.

Успешно выполнив столь существенную часть своей задачи, разносчик поднялся со ступеньки и подошел к капитану Уортону; держа под руки своих сестер, капитан что-то рассказывал, а они с живейшим интересом слушали его. Пережитые волнения потребовали нового запаса табака, без которого Бёрч не мог обходиться, и, прежде чем приступить к менее важному делу, он отправил в рот еще одну порцию. Наконец он резко спросил:

— Капитан Уортон, вы уезжаете сегодня?

— Нет,— коротко ответил капитан, нежно посмотрев на своих очаровательных сестер.— Неужели вы хотели бы, мистер Бёрч, чтобы я так скоро покинул их, когда, быть может, мне никогда больше не придется радоваться их обществу?

— Брат! — воскликнула Френсис.— Жестоко так шутить!

— Я полагаю, капитан Уортон,— сдержанно продолжал разносчик,— что теперь, когда буря улеглась и скиннеры зашевелились, вам лучше сократить свое пребывание дома.

— О,— воскликнул английский офицер,— несколькими гинеями я в любое время откуплюсь от этих негодяев, если они мне встретятся! Нет, нет, мистер Бёрч, я останусь здесь до утра.

— Деньги не освободили майора Андре,— холодно сказал торговец.

Сестры в тревоге повернулись к брату, и старшая заметила:

— Лучше последуй совету Гарви. Право же, в этих делах нельзя пренебрегать его мнением.

— Конечно,— подхватила младшая,— если мистер Бёрч, как я думаю, помог тебе пробраться сюда, то ради

[1] Здесь речь идет об испанских долларах, имевших тогда хождение в Америке.

твоей безопасности и ради нашего счастья послушайся его, дорогой Генри.

— Я пробрался сюда один и один сумею вернуться назад,— настаивал капитан.— Мы договорились только, что он достанет мне все необходимое для маскировки и скажет, когда будет свободен путь; однако в этом случае вы ошиблись, мистер Бёрч.

— Ошибся,— отозвался разносчик, насторожившись,— тем больше у вас оснований вернуться нынче же ночью: пропуск, который я добыл, мог послужить только раз.

— А разве вы не можете сфабриковать другой?

Бледные щеки разносчика покрылись необычным для него румянцем, но он промолчал и опустил глаза.

— Сегодня я ночую здесь, и будь что будет,— упрямо добавил молодой офицер.

— Капитан Уортон,— с глубокой убежденностью и старательно подчеркивая слова, сказал Бёрч,— берегитесь высокого виргинца с громадными усами. Насколько мне известно, он где-то на юге, недалеко отсюда. Сам дьявол его не обманет; мне удалось провести его только раз.

— Пусть он бережется меня! — заносчиво сказал капитан.— А с вас, мистер Бёрч, я снимаю всякую ответственность.

— И вы подтвердите это письменно? — спросил осмотрительный разносчик.

— А почему бы и нет? — смеясь, воскликнул капитан.— Цезарь! Перо, чернила, бумагу — я напишу расписку в том, что освобождаю от обязанностей моего верного помощника Гарви Бёрча, разносчика и так далее и тому подобное.

Принесли письменные принадлежности, и капитан очень весело, в шутливом тоне, написал желаемый документ; разносчик взял бумагу, бережно положил ее туда, где были спрятаны изображения его католического величества, и, отвесив общий поклон, удалился прежней дорогой. Вскоре Уортоны увидели, как он прошел в дверь своего скромного жилища.

Отец и сестры были так рады задержке капитана, что не только не говорили, но отгоняли даже мысль о беде, которая могла с ним стрястись. Однако за ужином, поразмыслив хладнокровно, Генри изменил свое намерение. Не желая подвергаться опасности, выйдя из-под защиты родительского крова, он послал Цезаря к Бёрчу, чтобы

условиться о новой встрече. Негр вскоре вернулся с неутешительным известием — он опоздал. Кэти сказала ему, что за это время Гарви прошел уже, наверное, несколько миль по дороге на север, «он покинул дом с тюком за спиною, когда зажгли первую свечу». Капитану ничего больше не оставалось, как запастись терпением, рассчитывая, что утром какие-нибудь новые обстоятельства подскажут ему правильное решение.

— Этот Гарви Бёрч со своими многозначительными взглядами и зловещими предостережениями сильно беспокоит меня,— заметил капитан Уортон, очнувшись от раздумья и отгоняя мысли об опасности своего положения.

— Почему в такие тревожные времена ему позволяют свободно расхаживать взад и вперед? — спросила мисс Нейтон.

— Почему мятежники так просто отпускают его, я и сам не понимаю,— ответил племянник,— но ведь сэр Генри не даст волосу упасть с его головы.

— Неужели? — воскликнула Френсис, заинтересовавшись.— Разве сэр Генри Клинтон знает Бёрча?

— Должен знать, во всяком случае.

— А ты не считаешь, сынок,— спросил мистер Уортон,— что Бёрч может тебя выдать?

— О нет. Я думал об этом, прежде чем доверился ему: в деловых отношениях Бёрч, по-видимому, честен. Да и зная, какая ему грозит опасность, если он вернется в город, он не совершит такой подлости.

— По-моему,— сказала Френсис в тон брату,— он не лишен добрых чувств. Во всяком случае, они порой проглядывают у него.

— О,— с живостью воскликнула старшая сестра,— он предан королю, а это, по-моему, первейшая добродетель!

— Боюсь,— смеясь, возразил ей брат,— что его страсть к деньгам сильнее любви к королю.

— В таком случае,— заметил отец,— пока ты во власти Бёрча, ты не можешь считать себя в безопасности — любовь не выдержит испытания, если предложить денег алчному человеку.

— Однако, отец,— развеселившись, сказал молодой капитан,— ведь есть же любовь, которая способна выдержать любое испытание. Правда, Фанни?

— Вот тебе свеча, не задерживай папу, он привык в это время ложиться.

Глава V

Сухой песок и грязь болота —
И день и ночь идет охота,
Опасный лес, обрыв крутой,—
Ищейки Пёрси за спиной
Пустынный Эск сменяет топи,
Погоня беглеца торопит,
И мерой мерит он одной
Июльский зной и снег густой,
И мерой мерит он одной
Сиянье дня и мрак ночной.

Вальтер Скотт

В тот вечер члены семейства Уортон склонили головы на подушки со смутным предчувствием, что их привычный покой будет нарушен. Тревога не давала сестрам уснуть; всю ночь они почти не сомкнули глаз, а утром встали, совсем не отдохнув. Однако, когда они бросились к окнам своей комнаты, чтобы взглянуть на долину, там царила прежняя безмятежность. Долина сверкала в сиянии чудесного тихого утра, какие часто выдаются в Америке в пору листопада,— вот почему американскую осень приравнивают к самому прекрасному времени года в других странах. У нас нет весны; растительность не обновляется медленно и постепенно, как в тех же широтах Старого Света,— она словно распускается сразу. Но какая прелесть в ее умирании! Сентябрь, октябрь, порой даже ноябрь и декабрь — месяцы, когда больше всего наслаждаешься пребыванием на воздухе; правда, случаются бури, но и они какие-то особенные, непродолжительные, и оставляют после себя ясную атмосферу и безоблачное небо.

Казалось, ничто не могло нарушить гармонию и прелесть этого осеннего дня, и сестры спустились в гостиную с ожившей верой в безопасность брата и в собственное счастье.

Семья рано собралась к столу, и мисс Пейтон с той педантичной точностью, какая вырабатывается в привычках одинокого человека, мягко настояла на том, чтобы опоздание племянника не помешало заведенному в доме порядку. Когда явился Генри, все уже сидели за завтраком; впрочем, нетронутый кофе доказывал, что никому из близких отсутствие молодого капитана не было безразлично.

— Мне кажется, я поступил очень умно, оставшись,— сказал Генри, ответив на приветствия и усаживаясь между сестрами,— я получил великолепную постель и обильный завтрак, чего не было бы, доверься я гостеприимству знаменитого ковбойского отряда.

— Если ты мог уснуть,— заметила Сара,— ты счастливее меня и Френсис: в каждом ночном шорохе мне чудилось приближение армии мятежников.

— Что ж, сознаюсь, и мне было немного не по себе,— засмеялся капитан.— Ну, а как ты? — спросил он, повернувшись к младшей сестре, явной его любимице, и потрепал ее по щеке.— Ты, наверное, видела в облаках знамена и приняла звуки эоловой арфы мисс Пейтон за музыку мятежников?

— Нет, Генри,— возразила девушка, ласково глядя на брата,— я очень люблю свою родину, но была бы глубоко несчастна, если бы ее войска подошли к нам теперь.

Генри промолчал; ответив на любящий взгляд Френсис, он посмотрел на нее с братской нежностью и сжал ее руку.

Цезарь, который тревожился вместе со всей семьей и поднялся на заре, чтобы внимательно осмотреть окрестности, а теперь стоял, глядя в окно, воскликнул:

— Бежать... бежать, масса Генри, надо бежать, если любите старого Цезаря... сюда идут кони мятежников! — Он так побледнел, что его лицо стало почти белым.

— Бежать! — повторил английский офицер и гордо выпрямился по-военному.— Нет, мистер Цезарь, бегство не мое призвание! — С этими словами он неторопливо подошел к окну, у которого, оцепенев от ужаса, уже стояли его близкие.

Примерно в миле от «Белых акаций» по одной из проезжих дорог цепочкой спускались в долину человек пятьдесят драгун. Впереди, рядом с офицером, ехал какой-то человек в крестьянской одежде и указывал рукой на коттедж. Вскоре от отряда отделилась небольшая группа всадников и понеслась в этом направлении. Достигнув дороги, лежавшей в глубине долины, всадники повернули коней к северу.

Уортоны по-прежнему неподвижно стояли у окна и затаив дыхание наблюдали за всеми движениями кавалеристов, которые тем временем подъехали к дому Бёрча, мигом окружили его и сразу же выставили с десяток ча-

совых. Два или три драгуна спешились и скрылись в доме. Через несколько минут они снова появились во дворе; с ними была Кэти, и по ее отчаянной жестикуляции можно было понять, что дело шло отнюдь не о пустяках. Разговор со словоохотливой экономкой длился недолго; тут же подошли главные силы, драгуны передового отряда сели на коней, и все вместе понеслись галопом в сторону «Белых акаций».

До сих пор никто из семейства Уортон не нашел в себе достаточно присутствия духа, чтобы подумать, как спасти капитана; только теперь, когда беда неминуемо надвигалась и нельзя было медлить, все начали поспешно предлагать разные способы укрыть его, но молодой человек с презрением отверг их, считая для себя унизительными. Уйти в лес, примыкавший к задней стороне дома, было поздно — капитана не преминули бы заметить, и конные солдаты несомненно догнали бы его.

Наконец сестры дрожащими руками натянули на него парик и все прочие принадлежности маскарадного костюма, бывшие на нем, когда он пришел в дом отца. Цезарь на всякий случай хранил их под рукой.

Не успели наскоро покончить с переодеванием, как по фруктовому саду и по лужайке перед коттеджем рассыпались драгуны, прискакавшие с быстротой ветра; теперь и дом мистера Уортона был окружен.

Членам семейства Уортон оставалось только приложить все усилия, чтобы спокойно встретить предстоящий допрос. Кавалерийский офицер соскочил с коня и в сопровождении двух солдат направился к входной двери. Цезарь медленно, с большой неохотой открыл ее. Следуя за слугой, драгун направился в гостиную; он подходил все ближе и ближе, и звук его тяжелых шагов все громче отдавался в ушах женщин, кровь отливала от их лиц, а холод так сжимал им сердце, что они едва не потеряли сознание.

В комнату вошел мужчина исполинского роста, который говорил о его недюжинной силе. Он снял шляпу и поклонился с любезностью, никак не вязавшейся с его внешностью. Густые черные волосы в беспорядке падали на лоб, хотя и были посыпаны пудрой по моде того времени, а лицо почти закрывали уродовавшие его усы. Однако его глаза, хотя и пронизывающие, не были злыми, а голос, правда низкий и мощный, казался приятным.

Когда он вошел, Френсис осмелилась украдкой посмотреть на него и сразу догадалась, что это тот самый человек, от чьей прозорливости их так настойчиво предостерегал Гарви Бёрч.

— Вам нечего бояться, сударыни,— после короткого молчания сказал офицер, оглядев окружавшие его бледные лица.— Мне надо задать вам лишь несколько вопросов, и, если вы на них ответите, я немедленно покину ваш дом.

— А что это за вопросы? — пробормотал мистер Уортон, поднявшись с места и с волнением ожидая ответа.

— Останавливался ли у вас во время бури посторонний джентльмен? — продолжал драгун, в какой-то степени и сам разделяя явное беспокойство главы семьи.

— Этот джентльмен... вот этот... находился с нами во время дождя и еще не уехал.

— Этот джентльмен! — повторил драгун и повернулся к капитану Уортону. Несколько секунд он разглядывал капитана, и тревога на его лице сменилась усмешкой. С комической важностью драгун подошел к молодому человеку и, низко ему поклонившись, продолжал: — Сочувствую вам, сэр, вы, наверное, жестоко простудили голову?

— Я? — с изумлением воскликнул капитан.— Я и не думал простужать голову.

— Значит, мне показалось. Я так решил, увидев, что вы покрыли такие красивые черные кудри безобразным старым париком. Извините меня, пожалуйста.

Мистер Уортон громко застонал, а дамы, не зная, что, собственно, известно драгуну, в страхе застыли на месте. Капитан невольно протянул руку к голове и обнаружил, что сестры в панике убрали под парик не все его волосы. Драгун все еще с улыбкой смотрел на него. Наконец, приняв серьезный вид, он обратился к мистеру Уортону:

— Значит, сэр, надо понимать, что на этой неделе у вас не останавливался некий мистер Харпер?

— Мистер Харпер? — отозвался мистер Уортон, почувствовав, что с души у него свалилась огромная тяжесть.— Да, был... я совсем позабыл о нем. Но он уехал, и, если его личность чем-нибудь подозрительна, мы ничем не можем вам помочь — мы ничего о нем не знаем, он мне совершенно не знаком.

— Пусть его личность вас не беспокоит,— сухо заметил драгун.— Так, значит, он уехал... Как... когда и куда?

— Он уехал так же, как и явился,— ответил мистер Уортон, успокоенный словами драгуна.— Верхом, вчера вечером, и отправился по северной дороге.

Офицер слушал с глубоким вниманием. Его лицо осветилось довольной улыбкой, и, как только мистер Уортон замолчал, он повернулся на каблуках и вышел из комнаты. На этом основании Уортоны решили, что драгун собирается продолжать поиски мистера Харпера. Они увидели, как он появился на лужайке, где между ним и его двумя подчиненными завязался оживленный и, по-видимому, приятный разговор. Вскоре нескольким кавалеристам был отдан какой-то приказ, и они во весь опор разными дорогами умчались из долины.

Уортонам, с напряженным интересом следившим за этой сценой, не пришлось долго томиться в неизвестности — тяжелые шаги драгуна возвестили о том, что он возвращается. Войдя в комнату, он снова вежливо поклонился и, приблизившись к капитану Уортону, как прежде, с комической важностью сказал:

— Теперь, когда моя главная задача выполнена, я хотел бы, с вашего позволения, разглядеть ваш парик.

Английский офицер неторопливо снял с головы парик, протянул драгуну и, подражая его тону, заметил:

— Надеюсь, сэр, он вам понравился?

— Не могу этого сказать, не погрешив против истины,— ответил драгун.— Я отдал бы предпочтение вашим черным как смоль кудрям, с которых вы так тщательно стряхнули пудру. А эта широкая черная повязка, наверное, прикрывает ужасную рану?

— Вы, видимо, тонкий наблюдатель, сэр. Что ж, судите сами,— сказал Генри, сняв шелковую повязку и открыв ничуть не поврежденную щеку.

— Честное слово, вы хорошеете на глазах! — невозмутимо продолжал драгун.— Если бы мне удалось убедить вас сменить этот ветхий сюртук на великолепный синий, который лежит рядом на стуле, я был бы свидетелем самого приятного из всех превращений с той поры, как сам превратился из лейтенанта в капитана.

Генри Уортон очень спокойно сделал то, о чем его просили, и перед драгуном предстал очень красивый, изящно одетый молодой человек.

Драгун с минуту смотрел на него с присущей ему насмешливостью, потом сказал:

— Вот и новое лицо на сцене. Обычно в таких случаях незнакомые люди представляются друг другу. Я — капитан Лоутон из виргинской кавалерии.

— А я, сэр, капитан Уортон из шестидесятого пехотного полка его величества,— сухо поклонившись, сказал Генри, к которому вернулась его обычная уверенная манера держаться.

Выражение лица капитана Лоутона мгновенно изменилось, от его напускного чудачества не осталось и следа. Он посмотрел на капитана Уортона, который стоял выпрямившись, с надменностью, говорившей, что он не намерен больше таиться, и самым серьезным тоном промолвил:

— Капитан Уортон, мне жаль вас от всей души!

— Если вам его жаль,— в отчаянии воскликнул старый Уортон,— так зачем его преследовать, дорогой сэр! Он не шпион, только желание повидаться с близкими заставило его изменить свой внешний вид и уйти так далеко от своего полка в регулярной армии. Оставьте его с нами! Я с радостью вознагражу вас, я заплачу любые деньги!

— Сэр, только беспокойство за сына может извинить ваши слова,— высокомерно сказал капитан Лоутон.— Вы забыли, что я виргинец и джентльмен! — Обратившись к молодому человеку, он продолжал: — А вы, капитан Уортон, разве не знали, что наши пикеты уже несколько дней стоят здесь, на юге долины?

— Я узнал об этом, только когда поравнялся с ними, но уже было поздно возвращаться,— хмуро ответил молодой человек.— Я пришел сюда, как сказал отец, чтобы повидаться с родными; я думал, что ваши части стоят у Пик-

скилла, невдалеке от нагорья, иначе я не отважился бы на такой поступок.

— Возможно, что все это истинная правда, но дело Андре заставляет нас быть настороже. Когда в предательстве замешано командование, защитники свободы обязаны быть бдительными, капитан Уортон.

В ответ на это замечание Генри молча поклонился, а Сара решилась сказать несколько слов в защиту брата. Драгунский офицер учтиво, даже сочувственно выслушал ее и, чтобы избежать бесполезных и неприятных для него просьб, успокоительно сказал:

— Я не командир отряда, сударыня. Майор Данвуди решит, как поступить с вашим братом; при любых обстоятельствах с ним обойдутся вежливо и мягко.

— Данвуди! — воскликнула Френсис, и бледность сменилась румянцем на ее испуганном лице.— Слава богу, значит, Генри спасен!

Капитан Лоутон смотрел на нее со смешанным выражением восхищения и сострадания, потом, недоверчиво покачав головой, добавил:

— Будем надеяться. С вашего разрешения, предоставим ему разобраться в этом деле.

Еще недавно бледное от беспокойства лицо Френсис засияло надеждой. Мучительный страх за брата уменьшился, но все же ее бросало в дрожь, она дышала часто и прерывисто, ею овладело необычайное волнение. Она подняла взгляд от пола, посмотрела на драгуна и тут же опять уставилась на ковер — она явно хотела что-то сказать, но не находила в себе силы вымолвить слово. Мисс Пейтон внимательно наблюдала за племянницей. Держась с большим достоинством, она спросила:

— Это значит, сэр, что мы скоро будем иметь удовольствие видеть майора Данвуди?

— Немедленно, сударыня,— ответил драгун, отводя восхищенный взгляд от лица Френсис.— Гонцы, которые сообщат ему о случившемся, уже в дороге, а получив известие, он тотчас явится сюда в долину, если только по каким-нибудь особым причинам его посещение не доставит кому-нибудь неудовольствия.

— Мы всегда рады видеть майора Данвуди.

— Конечно, он всеобщий любимец. Могу я по этому случаю велеть моим солдатам спешиться и подкрепиться? Ведь они из его эскадрона.

Мистеру Уортону не понравилась эта просьба, и он отказал бы драгуну, но старику очень хотелось его задобрить, да и что толку отказывать в том, что, возможно, взяли бы силой. Итак, он подчинился необходимости и распорядился, чтобы желание капитана Лоутона было выполнено.

Офицеров пригласили позавтракать вместе с хозяевами; покончив со своими делами вне дома, они охотно приняли приглашение. Бдительные воины не забыли ни одной из мер предосторожности, которых требовало их положение. На отдаленных холмах кругом ходили дозорные, оберегая своих товарищей, и те, благодаря привычке к дисциплине и равнодушию к удобствам, могли наслаждаться покоем, несмотря на грозившую им опасность.

За столом мистера Уортона было трое чужих. Офицеры огрубели от каждодневной тяжелой службы, но у всех были манеры джентльменов, поэтому, хотя уединение семьи и было нарушено вторжением посторонних, правила приличия соблюдались со всей строгостью. Дамы уступили свои места гостям, и те без излишних церемоний принялись за завтрак, отдавая должное гостеприимству мистера Уортона.

Наконец капитан Лоутон, усиленно налегавший на гречневые лепешки, на миг остановился и спросил хозяина дома, нет ли сейчас в долине разносчика Гарви Бёрча, который иногда там бывает.

— Только иногда, сэр,— с опаской ответил мистер Уортон.— Он бывает здесь редко, а я его вовсе не вижу.

— Вот странно! — произнес драгун, пристально глядя на смущенного хозяина.— Ведь он ваш ближайший сосед и, казалось бы, должен был стать своим человеком в вашем доме, да и дамам было бы удобно, если бы он заходил к вам почаще. Я уверен, что за муслин, который лежит на стуле у окна, заплачено вдвое больше, чем спросил бы у вас Бёрч.

Мистер Уортон в замешательстве обернулся и увидел, что кое-какие покупки еще разбросаны по комнате.

Младшие офицеры с трудом удержались от улыбки, но капитан с таким усердием снова принялся за свой завтрак, что, казалось, он не рассчитывал еще раз когда-нибудь поесть вдоволь. Однако необходимость в подкреплении из кладовой Дины вызвала еще одну передышку, и капитан Лоутон не преминул ею воспользоваться.

— Я собирался побеспокоить мистера Бёрча в его уединении и утром побывал у него дома,— сказал он.— Если бы я его застал, то отправил бы в такое местечко, где ему не пришлось бы изнывать от скуки, во всяком случае на некоторое время.

— Что же это за место? — спросил мистер Уортон, полагая, что следует поддерживать разговор.

— Гауптвахта,— сдержанно ответил драгун.

— А в чем провинился бедный Бёрч? — спросила капитана мисс Пейтон, подавая ему четвертую чашку кофе.

— «Бедный»! — воскликнул драгун.— Ну, если он бедный, значит, король Георг плохо вознаграждает за услуги.

— Его величество,— заметил один из младших офицеров,— задолжал ему, наверное, титул герцога.

— А конгресс — веревку,— присовокупил капитан Лоутон, принимаясь за новую порцию лепешек.

— Я огорчен, что один из моих соседей навлек на себя немилость нашего правительства.

— Если я его поймаю,— крикнул драгун, намазывая маслом еще одну лепешку,— он у меня будет качаться на суку березы!

— Он послужит недурным украшением для собственного дома, если будет висеть на акации у входа,— добавил младший офицер.

— Как бы там ни было,— продолжал драгун,— он попадется мне раньше, чем я стану майором.

Офицеры — это было совершенно очевидно — не шутили, и говорили они языком, каким свойственно выражаться людям их грубой профессии, когда они раздражены, и Уортоны решили, что благоразумнее переменить тему. Ни для кого из них не было секретом, что Гарви Бёрч на подозрении у американской армии и что его не оставляют в покое. О том, как он неоднократно оказывался за решеткой и так же часто ускользал из рук американцев при весьма загадочных обстоятельствах, слишком много толковали в округе, чтобы можно было это забыть. В сущности, раздражение капитана Лоутона в немалой степени было вызвано последним необъяснимым побегом разносчика, когда капитан поручил караулить его двум самым верным своим солдатам.

Примерно за год до описываемых событий Бёрча видели у штаб-квартиры американского главнокомандующего, как раз в то время, когда ежечасно ждали важных

передвижений войск. Как только об этом доложили офицеру, которому была доверена охрана дорог, ведущих к американскому лагерю, он тотчас послал вдогонку за разносчиком капитана Лоутона.

Знакомый со всеми горными переходами, неутомимый при исполнении своих обязанностей, капитан ценою огромных усилий и трудов выполнил возложенную на него задачу. С небольшим отрядом он остановился передохнуть на одной ферме, собственноручно запер пленника в отдельной комнате и оставил под охраной двух солдат, как уже было сказано выше. Потом припоминали, что недалеко от караульных какая-то женщина усердно хлопотала по хозяйству; особенно старалась она угодить капитану, когда тот со всей основательностью уселся ужинать.

И женщина и разносчик исчезли; найти их не удалось. Обнаружили только короб, раскрытый и почти пустой, а маленькая дверца, ведущая в комнату, смежную с той, в которой заперли разносчика, была распахнута настежь.

Капитан Лоутон никак не мог примириться с тем, что его одурачили. Он и прежде яростно ненавидел врага, а это оскорбление уязвило его особенно глубоко. Капитан сидел в мрачном молчании, размышляя о побеге своего бывшего пленника и машинально продолжая поглощать завтрак, хотя прошло уже порядочно времени и он мог бы наесться досыта. Вдруг по долине прокатился звук трубы, игравшей воинственную мелодию. Капитан мгновенно встал из-за стола и крикнул:

— Джентльмены, по коням, это Данвуди! — и в сопровождении младших офицеров выбежал из дома.

Все драгуны, кроме часовых, оставленных караулить капитана Уортона, вскочили на лошадей и понеслись навстречу своим товарищам. Лоутон не забыл принять все необходимые меры предосторожности — в этой войне нужна была удвоенная бдительность, так как враги говорили на одном языке и не отличались друг от друга ни видом, ни обычаями. Приблизившись к отряду кавалерии, вдвое большему, чем его отряд, так, что уже можно было различить лица, капитан Лоутон пришпорил коня и через минуту оказался подле своего командира.

Лужайку перед домом мистера Уортона снова заполнили кавалеристы; соблюдая те же предосторожности, вновь прибывшие поспешили разделить со своими товарищами приготовленное для них угощение.

Глава VI

Великими победами своими
Прославлены навеки полководцы,
Но только тот действительно герой,
Кто, восхищаясь женской красотой,
Способен с ее чарами бороться.
Мур

Дамы семейства Уортон собрались у окна и с глубоким вниманием наблюдали за описанной нами сценой.

Сара смотрела на своих соотечественников с улыбкой, полной презрительного равнодушия; ей не хотелось отдавать должное даже внешнему виду людей, вооружившихся, как она считала, во имя дьявольского дела — мятежа. Мисс Пейтон любовалась великолепным зрелищем, гордая тем, что это были воины отборных полков ее родной колонии; а Френсис волновало лишь одно чувство, захватившее ее всю целиком.

Отряды не успели еще соединиться, как острый глаз девушки выделил из всех прочих одного всадника. Даже лошадь этого молодого воина, казалось ей, сознавала, что она несет на себе человека необыкновенного. Копыта чистокровного боевого коня едва касались земли — такой легкой и плавной была его поступь.

Драгун сидел в седле с непринужденным спокойствием, показывавшим, что он уверен в себе и в своей лошади; в его высокой, стройной, мускулистой фигуре ощущались и сила и ловкость. Именно этому офицеру рапортовал Лоутон, и они въехали бок о бок на лужайку перед домом мистера Уортона.

Командир отряда на мгновение задержался и окинул взглядом дом. Несмотря на разделявшее их расстояние, Френсис разглядела его черные блестящие глаза; сердце ее забилось так сильно, что у нее перехватило дыхание. Когда всадник соскочил с коня, она побледнела и, почувствовав, что у нее подгибаются колени, должна была присесть на стул.

Офицер наскоро отдал распоряжения своему помощнику и быстро пошел по лужайке к дому. Френсис встала и покинула комнату. Он поднялся по ступенькам террасы и только коснулся входной двери, как она уже распахнулась перед ним.

Френсис уехала из города еще совсем юной, и ей не пришлось приносить в жертву тогдашней моде свою природную красоту. Ее роскошные золотистые волосы не были истерзаны щипцами парикмахера: они падали на плечи естественными, как у детей, локонами и обрамляли лицо, сиявшее очарованием молодости, здоровья и простодушия. Глаза ее говорили красноречивее всяких слов, но губы молчали; она протянула вперед свои сложенные руки, и ее склоненная в ожидании фигурка была так прелестна, что Данвуди на миг безмолвно застыл на месте.

Френсис молча проводила его в комнату напротив той, в которой собрались ее родные, живо обернулась к нему и, вложив обе свои руки в его руку, доверчиво промолвила:

— О Данвуди, как я счастлива, что вижу вас, счастлива по многим причинам! Я привела вас сюда, чтобы предупредить, что в соседней комнате друг, которого вы не ожидаете здесь встретить.

— Каковы бы ни были причины,— воскликнул молодой человек, целуя ее руки,— я очень рад, что мы с вами наедине, Френсис! Испытание, которому вы подвергли меня, жестоко; война и жизнь вдалеке друг от друга могут вскоре разлучить нас навеки.

— Мы должны подчиняться необходимости, она сильнее нас. Но теперь не время для разговоров о любви; я хочу сказать вам о другом, более важном деле.

— Но что может быть важнее неразрывных уз, которые сделают вас моей женой! Френсис, вы холодны ко мне... к тому, кто в дни суровой службы и в тревожные ночи ни на миг не забывал ваш образ.

— Дорогой Данвуди,— растроганная до слез Френсис опять протянула ему руку, и ее щеки снова загорелись ярким румянцем,— вы знаете мои чувства... Кончится война, и ничто не помешает вам взять эту руку навеки... Но, пока в этой войне вы противник моего единственного брата, я никогда не соглашусь связать себя с вами узами более тесными, чем узы нашего родства. Вот и сейчас мой брат ждет вашего решения: вернете ли вы ему свободу или пошлете на верную смерть.

— Ваш брат! — вздрогнув и побледнев, вскрикнул Данвуди.— Объяснитесь... что за страшный смысл кроется в ваших словах?

— Разве капитан Лоутон не сказал вам, что сегодня

утром он арестовал Генри? — еле слышно продолжала Френсис, устремив на жениха взгляд, полный тревоги.

— Он доложил мне, что задержал переодетого капитана шестидесятого полка, не сказав, где и когда,— так же тихо ответил майор и, опустив голову, закрыл лицо руками, пытаясь скрыть свои чувства.

— Данвуди, Данвуди! — теряя всю свою уверенность, воскликнула Френсис, вдруг охваченная мрачным предчувствием.— Что означает ваше волнение?

Когда майор поднял лицо, выражающее самое глубокое сострадание, она продолжала:

— Конечно, конечно, вы не выдадите своего друга, вы не допустите, чтобы мой брат... ваш брат... умер позорной смертью.

— Френсис! — с мукой в голосе воскликнул молодой человек.— Что я могу сделать?

— Сделать! — повторила Френсис, глядя на него безумными глазами.— Неужели майор Данвуди отдаст в руки врагов своего друга... брата своей будущей жены?

— О, не говорите со мной так сурово, дорогая мисс Уортон... моя Френсис! Я готов отдать жизнь за вас... за Генри... но я не могу нарушить свой долг, не могу забыть о своей чести. Вы первая презирали бы меня, если бы я так поступил.

— Пейтон Данвуди,— произнесла Френсис, и ее лицо покрылось пепельной бледностью,— вы говорили мне... вы клялись, что любите меня..

— Я люблю вас! — горячо сказал молодой человек.

Но Френсис знаком остановила его и продолжала дрожащим от негодования голосом:

— Неужели вы думаете, что я стану женой человека, обагрившего руки кровью моего единственного брата!

— Френсис, вы разрываете мне сердце! — сказал майор и замолчал, чтобы совладать с собою; потом, силясь улыбнуться, добавил: — В конце концов, может быть, мы напрасно терзаем себя опасениями. Возможно, что, когда я узнаю все обстоятельства, окажется, что Генри военнопленный, и только; тогда я смогу отпустить его на честное слово.

Нет чувства более обманчивого, чем надежда, и, видимо, молодости принадлежит счастливое преимущество наслаждаться всеми радостями, какие она может принести. А чем больше мы сами достойны доверия, тем более

склонны доверять другим и всегда готовы думать, что произойдет то, на что мы уповаем.

Смутная надежда молодого воина была выражена скорее взглядом, чем словами, но кровь снова прилила к щекам подавленной горем девушки, и она промолвила:

— О, конечно, нет никаких оснований для сомнения. Я знала... знаю... вы никогда не оставите нас в нашей страшной беде!

Френсис не смогла справиться с охватившим ее волнением и залилась слезами.

Одна из самых приятных привилегий любви — это обязанность утешать тех, кого мы любим; и, хотя проблеск надежды, мелькнувший перед ним, не очень успокоил майора Данвуди, он не стал разочаровывать милую девушку, прильнувшую к его плечу. Он вытирал слезы на ее лице, и к ней вернулась вера в безопасность брата и в покровительство жениха.

Когда Френсис оправилась и овладела собой, она поспешила проводить майора Данвуди в гостиную и сообщить родным приятную новость, которую уже считала достоверной.

Майор неохотно пошел за ней, предчувствуя беду, но через несколько мгновений он был уже в кругу родственников и старался собрать все свое мужество, чтобы с твердостью встретить предстоящее испытание.

Молодые офицеры поздоровались сердечно и искренне. Капитан Уортон держался так, точно не случилось ничего, что могло бы поколебать его самообладание.

Между тем неприятная мысль, что он сам в какой-то мере причастен к аресту капитана Уортона, смертельная опасность, грозившая его другу и надрывавшие сердце слова Френсис породили в душе майора Данвуди тревогу, которую, несмотря на все свои старания, он не мог скрыть. Остальные члены семейства Уортон приняли его тепло и по-дружески — они были к нему привязаны и не забыли об услуге, которую он недавно им оказал; к тому же выразительные глаза и зардевшееся лицо девушки, вошедшей вместе с ним, красноречиво говорили, что они не обманутся в своих ожиданиях. Поздоровавшись с каждым в отдельности, Данвуди кивком головы приказал уйти солдату, которого осторожный капитан Лоутон приставил к арестованному молодому Уортону, потом повернулся к нему и приветливо спросил:

— Скажи мне, Генри, при каких обстоятельствах ты переодился в тот костюм, в котором тебя застал здесь капитан Лоутон, и помни... помните, капитан Уортон, что ответы вы даете совершенно добровольно.

— Я это сделал, майор Данвуди,— серьезно ответил английский офицер,— чтобы иметь возможность навестить своих близких, не подвергаясь опасности попасть в плен.

— Но вы переоделись только тогда, когда увидели, что приближается отряд Лоутона?

— Да, да,— с жаром вмешалась Френсис, в тревоге за брата забыв обо всех подробностях,— мы с Сарой переодели Генри, когда показались драгуны; его узнали лишь благодаря нашей неловкости.

Данвуди слушал объяснения Френсис, глядя на нее с любовью, и лицо его просветлело.

— Вероятно, вещи, которые вы дали ему, были у вас в доме,— продолжал Данвуди,— вы схватили в последнюю минуту то, что попалось вам под руку?

— Нет, все это было на мне, когда я уходил из Нью-Йорка,— с чувством собственного достоинства сказал капитан Уортон.— Я раздобыл эти вещи для определенной цели и намеревался сегодня в таком же виде вернуться в город.

Увлеченная горячим чувством, Френсис стояла между братом и женихом, но, когда истина блеснула в ее сознании, она с ужасом отпрянула и опустилась на стул, глядя на молодых людей безумными глазами.

— А пикеты... отряды на равнинах? — побледнев, спросил Данвуди.

— Я прошел мимо них переодетый. Я показал им пропуск, который я купил, а так как на нем стоит подпись Вашингтона, надо полагать, что он поддельный.

Данвуди выхватил из рук капитана бумагу и некоторое время молча смотрел на подпись. Постепенно воинский долг заставил его забыть обо всем остальном; повернувшись лицом к пленнику, он спросил, испытующе глядя на него:

— Капитан Уортон, кто вам дал эту бумагу?

— Я полагаю, такой вопрос вы не имеете права задавать, майор Данвуди.

— Извините, сэр, возможно, что мои чувства завели меня слишком далеко.

Мистер Уортон, который с глубоким волнением прислушивался к разговору, нашел в себе силы спросить:

— Ведь эта бумага не может иметь серьезного значения, майор Данвуди: на войне постоянно прибегают к таким уловкам.

— Подпись не подделана,— разглядывая буквы, тихим голосом сказал драгун.— Неужели среди нас скрывается предатель? Кто-то злоупотребил доверием Вашингтона: вымышленное имя написано не той рукой, которой написан пропуск. Капитан Уортон, мой долг не позволяет мне отпустить вас на честное слово — вам придется отправиться со мною в нагорье.

— Другого я и не ожидал, майор Данвуди.

Драгун медленно повернулся к сестрам, и Френсис опять приковала к себе его взгляд. Она поднялась со стула и стояла, с мольбой протягивая к нему сложенные руки. Не в силах сдержать свое волнение, молодой человек порывисто сказал, что вынужден на время отлучиться, и покинул комнату. Френсис вышла за ним следом, и, подчиняясь ее взгляду, Данвуди опять вошел в комнату, где происходил первый разговор.

— Майор Данвуди,— едва слышно произнесла Френсис, жестом предлагая ему сесть.

Ее бледные щеки стали покрываться румянцем, вскоре залившим все лицо. Несколько мгновений она боролась с собой, потом продолжала:

— Я уже призналась, что вы мне очень дороги, и даже сейчас, когда вы причиняете мне такие жестокие страдания, я не хочу этого скрывать. Поверьте, единственная вина Генри в том, что он поступил опрометчиво. Наша родина не может быть несправедливой.

Она опять умолкла и почти задыхалась, то бледнея, то краснея; потом кровь бросилась ей в лицо, и она тихо добавила:

— Майор Данвуди, я обещала стать вашей женой, как только на родине воцарится мир. Отпустите брата под честное слово, и я сегодня же пойду с вами к алтарю, отправлюсь в ваш лагерь и, сделавшись вашей женой, научусь переносить все тяготы солдатской жизни.

Данвуди схватил руку, которую девушка в порыве чувств протянула ему, на мгновение прижал ее к груди, потом встал и, глубоко взволнованный, принялся ходить взад и вперед по комнате.

— Умоляю вас, Френсис, ни слова больше, если вы не хотите разбить мне сердце!

— Значит, вы отказываетесь от моей руки? — поднявшись, сказала она с достоинством, но ее бледность и дрожащие губы говорили о том, какая сильная борьба происходит в ней.

— Отказываюсь! Разве я не молил вашего согласия, не молил со слезами? Разве оно не венец всех моих желаний на земле? Но жениться на вас при таких обстоятельствах было бы бесчестием для нас обоих. Будем надеяться, что наступят лучшие времена. Генри должны оправдать, быть может, его даже не станут судить. Я буду для него самым преданным заступником, не сомневайтесь в этом и верьте мне, Френсис, Вашингтон благоволит ко мне.

— Но этот пропуск, злоупотребление доверием, на которое вы ссылались, ожесточат Вашингтона против моего брата. Если бы мольбы и угрозы могли поколебать его суровое представление о справедливости, разве погиб бы Андре? — С этими словами Френсис в отчаянии выбежала из комнаты.

С минуту Данвуди стоял как оглушенный, потом вышел, намереваясь оправдать себя в глазах девушки и успокоить ее. В передней, разделявшей обе гостиные, он натолкнулся на оборванного ребенка, который, быстро оглядев его, сунул ему в руку клочок бумаги и тут же исчез. Все это произошло мгновенно, и взволнованный майор успел лишь заметить, что посыльный был бедно одетым деревенским мальчуганом; в руке он держал городскую игрушку и смотрел на нее с такой радостью, словно сознавал, что честно заработал награду за выполненное поручение. Данвуди опустил глаза на записку. Она была написана на обрывке грязной бумаги, малоразборчивым почерком, однако ему удалось прочитать следующее: «Регулярные подходят — кавалерия и пехота».

Данвуди вздрогнул. Позабыв обо всем, кроме обязанностей воина, он поспешно покинул дом Уортонов. Быстро направившись к своему эскадрону, он увидел на одном из отдаленных холмов мчавшегося галопом конного часового; прогрохотало несколько выстрелов, и в следующее мгновение раздался призывный трубный звук: «К оружию!» Когда майор достиг своего эскадрона, там все было в движении. Капитан Лоутон верхом на лошади, пристально глядя на противоположный край долины, отдавал прика-

зания музыкантам, и его могучий голос гремел так же сильно, как и медные трубы.

— Громче трубите, ребята, пусть англичане знают, что тут их ждет конец — виргинская кавалерия не пропустит их дальше!

Отовсюду начали стекаться разведчики и патрульные; один за другим они быстро рапортовали командиру, и он отдавал четкие приказания с уверенностью, исключающей и мысль о неповиновении. Только раз, повернув коня в сторону луга, раскинувшегося против «Белых акаций», Данвуди решился бросить взгляд на дом, и его сердце сильно забилось, когда он увидел фигуру женщины: она стояла заломив руки у окна той комнаты, где он виделся с Френсис. Расстояние было слишком велико, чтобы разглядеть ее черты, но майор не сомневался, что это была его невеста. Бледность скоро сошла с его лица, и взгляд утратил выражение печали. Когда Данвуди подъезжал к месту, где, как он думал, должна была произойти битва, на его загорелых щеках появился румянец. Солдаты, смотревшие в лицо своего командира, как в зеркало, отражающее их собственную участь, с радостью увидели, что он полон воодушевления и в его глазах горит огонь, как это всегда бывало перед боем. После возвращения дозорных и находившихся в отсутствии драгун численность кавалерийского отряда достигла почти двухсот человек. Кроме того, была еще небольшая группа крестьян, обычно служивших проводниками; они были вооружены и в случае надобности вливались в отряд в качестве пехотинцев; теперь они по приказу майора Данвуди разбирали заборы, которые могли помешать движению кавалерии. Пехотинцы быстро и успешно справились с этим делом и вскоре заняли место, отведенное им в предстоящем бою.

От своих разведчиков Данвуди получил все сведения о неприятеле, необходимые ему для дальнейших распоряжений. Долина, на которой майор намеревался развернуть военные действия, понижалась от подножия тянувшихся по обеим ее сторонам холмов до середины; здесь она переходила в пологий естественный луг, на котором извивалась небольшая речушка, порой разливавшаяся и удобрявшая его. Эту речку можно было легко перейти вброд; только в одном месте, где она сворачивала на восток, ее берега были обрывисты и мешали движению

конницы. Тут через речку был переброшен простой деревянный мост, такой же, как тот, что находился в полумиле от «Белых акаций».

Крутые холмы, окаймлявшие долину с восточной стороны, местами врезались в нее скалистыми выступами, чуть ли не вдвое сужая ее. Тыл кавалерийского эскадрона находился поблизости от группы таких скал, и Данвуди приказал капитану Лоутону отойти с двумя небольшими отрядами под их прикрытие. Капитан повиновался угрюмо и нехотя; впрочем, его утешала мысль о том, какое страшное действие произведет на врага его внезапное появление со своими солдатами. Данвуди хорошо знал Лоутона и послал его именно туда, так как опасался его горячности в бою, но в то же время не сомневался, что он будет тут как тут, как только понадобится его помощь. Капитан Лоутон мог забыть об осторожности только в виду неприятеля; во всех других случаях жизни выдержка и проницательность оставались отличительными чертами его характера (правда, когда ему не терпелось вступить в бой, эти качества ему порой изменяли). По левому краю долины, где Данвуди предполагал встретить неприятеля, примерно на милю тянулся лес. Туда отошли пехотинцы и заняли позицию неподалеку от опушки, откуда было удобно открыть рассеянный, но сильный огонь по приближающейся колонне англичан.

Конечно, не следует думать, что все эти приготовления остались незамеченными обитателями «Белых акаций»; напротив, эта картина вызывала в них самые разнообразные чувства, какие только могут волновать сердца людей. Один мистер Уортон не ждал для себя ничего утешительного, каков бы ни был исход сражения. Если победят англичане, его сын будет освобожден, но какая судьба ждет его самого? До сих пор ему удавалось держаться в стороне при самых затруднительных обстоятельствах. Его имущество чуть было не пошло с молотка из-за того, что сын служил в королевской, или, как ее называли, регулярной, армии. Покровительство влиятельного родственника, занимавшего в штате видный политический пост, и собственная неизменная осторожность уберегли мистера Уортона от такой беды. В душе он был убежденным сторонником короля; однако, когда прошлой весной, после возвращения из американского лагеря, раскрасневшаяся Френсис объявила ему о своем намерении выйти замуж

за Данвуди, мистер Уортон дал согласие на брак с мятежником не только потому, что желал своей дочери счастья, но и потому, что больше всего ощущал потребность в поддержке республиканцев. Если бы теперь англичане спасли Генри, общественное мнение сочло бы, что отец с сыном действовали заодно против свободы штатов; если же Генри останется в плену и предстанет перед судом, последствия будут еще ужаснее. Как ни любил мистер Уортон богатство, своих детей он любил еще больше. Итак, он сидел, наблюдая за движением войск, и рассеянное, безучастное выражение лица выдавало слабость его характера.

Совершенно иные чувства волновали сына. Капитана Уортона поручили охране двух драгун; один из них ровным шагом ходил взад и вперед по террасе, другому велели находиться неотлучно при пленнике. Молодой человек наблюдал за распоряжениями Данвуди с восхищением, к которому примешивались серьезные опасения за своих друзей. Особенно ему не нравилось, что в засаде засел отряд под командой капитана Лоутона, — из окон дома было отчетливо видно, как тот, желая умерить свое нетерпение, шагает перед рядами своих солдат. Генри Уортон несколько раз окидывал комнату быстрым испытующим взглядом, в надежде найти возможность бежать, но неизменно встречал глаза часового, устремленные на него с бдительностью Аргуса. Со всем пылом молодости Генри Уортон рвался в бой, однако вынужден был оставаться пассивным зрителем сцены, в которой с радостью стал бы действующим лицом.

Мисс Пейтон и Сара смотрели на приготовления к битве, испытывая самые разнообразные чувства, и наиболее сильным из них была тревога за капитана; но, когда

женщинам показалось, что близится начало кровопролития, они с присущей им пугливостью ушли подальше, в другую комнату. Не такой была Френсис. Она вернулась в гостиную, где недавно рассталась с Данвуди, и с глубоким волнением следила из окна за каждым его шагом. Она не замечала ни грозных сборов к битве, ни перемещения войск — перед глазами у нее был лишь тот, кого она любила, и она глядела на него с восторгом и в то же время цепенея от ужаса. Кровь прилила к ее сердцу, когда молодой воин проехал перед солдатами, воодушевляя и ободряя каждого; через минуту она вся похолодела при мысли, что отвага, которой она так восхищается, быть может, разверзнет могилу между ней и любимым. Френсис не отрывала от него глаз, пока у нее хватало сил.

На лугу, слева от дома мистера Уортопа, в тылу войска, стояло несколько человек, занятых совсем другим делом, чем все остальные. Их было трое: двое взрослых мужчин и мальчик-мулат. Главным среди них был высокий мужчина, такой тощий, что он выглядел великаном. Безоружный, в очках, он стоял возле своей лошади и, казалось, уделял одинаковое внимание сигаре, книге и тому, что происходило на равнине перед его взором. Этим людям Френсис и решила послать записку, адресованную Данвуди. Торопясь, она набросала карандашом: «Зайдите ко мне, Пейтон, хотя бы на минутку». Из подвала, где помещалась кухня, вышел Цезарь и стал осторожно пробираться вдоль задней стены коттеджа, чтобы не попасться на глаза шагавшему по веранде стражу, который весьма решительно запретил кому бы то ни было выходить из дому. Негр протянул записку высокому джентльмену и попросил передать ее майору Данвуди. Тот, к кому обратился Цезарь, был полковым хирургом, и у африканца застучали зубы, когда он увидел на земле инструменты, приготовленные для будущих операций. Однако сам доктор, казалось, посмотрел на них с большим удовольствием, когда, оторвав взгляд от книги, приказал мальчику отнести записку майору; потом он не спеша опустил глаза на раскрытую страницу и снова углубился в чтение. Цезарь медленно направился к дому, но тут третий персонаж, судя по одежде — младший чин в этом хирургическом ведомстве, сурово спросил, «не желает ли он, чтоб ему оттяпали ногу». Вероятно, вопрос напомнил Цезарю, для чего существуют ноги, ибо он пустил их в ход

с такой прытью, что очутился у террасы одновременно с майором Данвуди, который приехал верхом. Дюжий часовой, стоявший на посту, вытянулся и, пропуская офицера, взял на караул, но едва закрылась дверь, как он повернулся к Цезарю и сурово сказал:

— Слушай, черномазый, если ты еще раз выйдешь из дома без спросу, я сделаюсь цирюльником и этой бритвой сбрею твои черные уши.

Не дожидаясь еще одного предупреждения, Цезарь быстрехонько скрылся на кухне, бормоча какие-то слова, среди которых чаще всего слышались: «живодеры», «мятежники» и «мошенники».

— Майор Данвуди,— обратилась Френсис к своему жениху,— возможно, я была несправедлива к вам... если мои слова показались вам резкими...

Девушка не смогла совладать со своим волнением и залилась слезами.

— Френсис,— пылко воскликнул Данвуди,— вы бываете резки и несправедливы, только когда сомневаетесь в моей любви!

— О Данвуди,— промолвила она рыдая,— вы скоро отправитесь в бой, и ваша жизнь будет в опасности, но помните, что есть сердце, счастье которого зависит от вашего благополучия. Я знаю, вы отважны, будьте же благоразумны...

— Ради вас? — восхищенно спросил молодой человек.

— Ради меня,— ответила Френсис едва слышно и упала ему на грудь.

Данвуди прижал ее к сердцу и хотел что-то сказать, но в эту минуту с южного края долины донесся трубный звук. Майор нежно поцеловал свою невесту в губы, разжал обнимавшие его руки и поспешил к месту боя.

Френсис бросилась на кушетку, спрятала голову под подушку и, натянув на лицо шаль, чтобы ничего не слышать, лежала, пока не смолкли крики сражающихся и не заглох треск ружей и топот лошадиных копыт.

Глава VII

Стоите, вижу я, как своры гончих,
На травлю рвущиеся.

Шекспир, «Король Генрих V»[1]

В начале войны с восставшими колониями англичане воздерживались от применения кавалерии. Причиной тому были: отдаленность страны от метрополии, каменистая, невозделанная почва, густые леса, а также возможность быстро перебрасывать войска с одного места на другое благодаря неоспоримому господству Англии на море. В ту пору в Америку был отправлен только один полк регулярной кавалерии.

Однако в тех случаях, когда это диктовалось требованиями военного времени и командиры королевской армии считали это необходимым, конные полки и отдельные отряды формировались на месте. В них нередко вступали люди, выросшие в колониях; иногда же пополнение набиралось из линейных полков, и солдаты, отложив в сторону мушкет и штык, учились владеть саблей и карабином. Таким путем один вспомогательный полк гессенских стрелков[2] превратился в запасный корпус тяжелой конницы.

Против англичан выступили храбрейшие люди Америки. Кавалерийскими полками континентальной армии большей частью руководили офицеры с Юга. Патриотизм и непоколебимая отвага командиров передавались рядовым — этих людей заботливо отбирали, помня о задачах, которые им предстояло выполнить.

Пока англичане без всякой для себя пользы ограничивались тем, что занимали кое-где большие города или делали переходы через местности, где нельзя было добыть никаких военных припасов, легкая кавалерия их врага действовала на всей территории страны. Американская армия терпела беспримерные лишения, но офицеры кавалерии, чувствуя свою силу и сознавая, что они борются за правое дело, всячески старались обеспечить свои войска всем необходимым. Американская конница имела

---

[1] Перевод Е. Бируковой.

[2] Гессенские стрелки.— Большая часть немецких наемных солдат в английской армии, отправленной в Америку, была из немецкого герцогства Гессен-Касселя.

хороших лошадей, хорошую пищу и поэтому добивалась выдающихся успехов. Возможно, в то время во всем мире нельзя было сыскать армии, которая могла бы сравниться с немногочисленными, но отважными, предприимчивыми и стойкими отрядами легкой кавалерии, служившей континентальному правительству.

Солдаты майора Данвуди уже не раз проявляли свою доблесть в схватке с неприятелем; сейчас им не терпелось опять ударить по врагу, которого они почти всегда побеждали. Это желание скоро исполнилось: едва их командир успел снова сесть на коня, как, огибая подножие холма, закрывавшего долину с юга, показались враги. Через несколько минут Данвуди смог уже разглядеть их. В одном отряде он увидел зеленые мундиры ковбоев, в другом — кожаные каски и деревянные седла гессенцев. По численности они примерно равнялись воинской части, которой командовал Данвуди.

Дойдя до открытого места близ дома Гарви Бёрча, неприятель остановился; солдаты выстроились в боевом порядке, очевидно готовясь к нападению. В эту минуту в долине появилась и колонна английских пехотинцев; она двинулась к берегу речки, о которой уже упоминалось.

В решающие минуты хладнокровие и рассудительность майора Данвуди не уступали его обычной безоглядной отваге. Он тотчас же понял преимущества своего положения и не преминул ими воспользоваться. Колонна, которую он вел, стала медленно отходить с поля, и молодой немец, командовавший вражеской конницей, боясь упустить возможность легкой победы, дал приказ к наступлению. Редко какие солдаты бывали такими отчаянными, как ковбои; они стремительно кинулись вперед, не сомневаясь в успехе — ведь враг отступал и в тылу стояла своя пехота; за ковбоями следовали гессенцы, но медленнее и более ровным строем. Вдруг громко и раскатисто затрубили виргинские трубы, им ответили трубачи отряда, скрывавшегося в засаде, и эта музыка поразила англичан в самое сердце. Колонна Данвуди в полном порядке, сделав крутой поворот, развернулась, а когда была дана команда к бою, из укрытия вышли солдаты капитана Лоутона; командир ехал впереди, размахивая саблей над головой, и его громкий голос заглушал пронзительные звуки труб.

Такого наступления ковбои выдержать не могли. Они

рассыпались по всем направлениям и удирали с такой прытью, на какую только были способны их кони — отборные вест-честерские скакуны. Лишь немногих настигла рука врага, однако тем, кого поразило оружие их соотечественников-мстителей, не суждено было выжить, чтобы рассказать, от чьей руки они пали. Главный удар обрушился на бедных вассалов германского тирана. Злополучные гессенцы, приученные к строжайшему повиновению, храбро приняли бой, но натиск горячих коней и мощные удары противников разбросали их по долине, подобно тому как ветер раскидывает опавшие листья. Многих растоптали в прямом смысле этого слова, и вскоре Данвуди увидел, что поле очищено от неприятеля. Близость английской пехоты помешала ему преследовать врага, и те немногие гессенцы, которым удалось уцелеть, нашли спасение за ее рядами.

Более изворотливые ковбои небольшими группами рассеялись по различным дорогам и устремились к своей старой стоянке возле Гарлема [1]. Немало людей, которые встретились им на пути, жестоко пострадали, лишившись скота и домашнего скарба, ибо, даже удирая, ковбои приносили только беду.

Трудно было ожидать, чтобы в «Белых акациях» не заинтересовались исходом событий, разыгравшихся так близко от них. Действительно, беспокойство переполнило сердца всех обитателей дома, начиная от кухни и до гостиной. Страх и отвращение удерживали дам от наблюдения за боем, однако волновались они изрядно. Френсис все еще лежала в той же позе, горячо и бессвязно молясь за своих соотечественников, но в глубине души она отождествляла свой народ с милым образом Пейтона Данвуди. Ее тетка и сестра были менее стойки в своих симпатиях; теперь, когда Сара своими глазами увидела ужасы войны, предвкушение победы англичан уже не доставляло ей большого удовольствия.

На кухне сидели четверо: Цезарь со своей супругой, их внучка — черная-пречерная девица лет двадцати, и мальчик, о котором уже говорилось раньше. Негры были последними из тех чернокожих, что достались мистеру Уортону вместе с усадьбой в наследство от предков по материнской линии, первых колонистов-голландцев. Остальные

[1] Гарлем — часть Манхаттана. Теперь негритянский квартал в Нью-Йорке.

за эти годы вымерли. Мальчика — он был белым — мисс Пейтон взяла в дом для исполнения обязанностей ливрейного лакея.

Став под прикрытие дома, чтобы уберечься от шальной пули, Цезарь с любопытством следил за схваткой. Часовой, находившийся в нескольких шагах от него на террасе, тонким чутьем дрессированной ищейки учуял появление негра. Позиция, благоразумно занятая Цезарем, вызвала у часового презрительную усмешку; он выпрямился и с бравым видом повернулся всем телом в сторону, где шел бой. Поглядев с невыразимым презрением на Цезаря, солдат невозмутимым тоном сказал:

— Ну и дорожите же вы своей прекрасной особой, мистер Негритос!

— Пуля одинаково убивает черного, как и белого, — сердито пробормотал негр, бросив довольный взгляд на свое прикрытие.

— Проверить, что ли? — спросил часовой и, спокойно вытащив из-за пояса пистолет, прицелился в Цезаря.

У негра застучали зубы, когда он увидел наведенный на него пистолет, хотя он и не поверил в серьезность намерений драгуна. В эту минуту колонна Данвуди начала отходить, а королевская конница двинулась в атаку.

— Ага, мистер Кавалерист,— порывисто сказал негр, вообразив, будто американцы и в самом деле отступают,- почему ваши мятежники не дерутся?.. Видите... видите... как солдаты короля Георга гонят майора Данвуди! Хороший джентльмен, только регулярных ему не разбить.

— Провались они, твои регулярные! — с бешенством крикнул драгун.— Потерпи минутку, черномазый, ты увидишь, как капитан Джек Лоутон выйдет из-за того холма и разгонит ковбоев, словно диких гусей, потерявших вожака.

Цезарь думал, что отряд Лоутона спрятался за холмом из тех же побуждений, какие заставили его самого укрыться за стеной, но вскоре слова драгуна подтвердились, и негр с ужасом увидел, что королевская конница в беспорядке бежит.

Часовой стал громко выражать свой восторг по случаю победы виргинцев; его крики привлекли внимание другого часового, охранявшего Генри Уортона, и тот подбежал к открытому окну гостиной.

— Гляди, Том, гляди,— радостно крикнул с террасы

первый часовой,— капитан Лоутон обратил в бегство кожаные колпаки, этих гессенцев! А вот майор убил лошадь под офицером... Черт подери, лучше бы он убил немца и оставил лошадь в живых!

Вдогонку за удиравшими ковбоями гремели пистолетные выстрелы, и пуля разбила оконное стекло в нескольких шагах от Цезаря. Поддавшись великому соблазну, не чуждому и нашей расе — уйти подальше от опасности, негр покинул свое ненадежное убежище и тотчас поднялся в гостиную.

Лужайка, раскинувшаяся перед «Белыми акациями», не была видна с дороги; ее окаймлял густой кустарник, под прикрытием которого в ожидании своих всадников стояли связанные вместе лошади двух часовых.

Победители-американцы теснили отступавших немцев, пока те не оказались под защитой огня своей пехоты. В это время два ковбоя, отставшие от товарищей, ворвались в ворота «Белых акаций», намереваясь скрыться позади дома, в лесу. Мародеры почувствовали себя на лужайке в полной безопасности и, увидев лошадей, поддались искушению, перед которым лишь немногие из них могли бы устоять — ведь был такой удобный случай поживиться скотиной. Дерзко, с решительностью, которая вырабатывается долгой привычкой, они почти одновременно бросились к желанной добыче. Ковбои усердно распутывали связанные поводья, когда часовой, стоявший на террасе, заметил их. Он выстрелил из пистолета и с саблей в руке кинулся к лошадям.

Стоило Цезарю появиться в гостиной, как стороживший Генри часовой удвоил свою бдительность и подошел к пленнику ближе, но крики товарища снова привлекли его к окну. Разразившись проклятиями, солдат перевесился через подоконник, надеясь своим воинственным видом и угрозами вспугнуть мародеров. Генри Уортон не мог устоять перед представившейся ему возможностью бежать. В миле от дома находились три сотни его товарищей, во все стороны мчались лошади без седоков, и Генри, схватив своего ничего не подозревавшего стража за ноги, выбросил его из окна на лужайку. Цезарь выскользнул из комнаты и, спустившись вниз, задвинул засов входной двери.

Солдат упал с небольшой высоты; он быстро оправился и обрушил весь гнев на пленника. Однако влезть через

Генри схватил своего стража за ноги и выбросил его из окна на лужайку.

окно обратно в комнату, имея перед собой такого противника, как Генри, было невозможно, а когда он подбежал к входной двери, то обнаружил, что она заперта.

Его товарищ громко звал на помощь, и, забыв обо всем остальном, ошеломленный солдат бросился ему на выручку. Одна лошадь была немедленно отбита, но вторую ковбой уже успел привязать к своему седлу, и все четверо скрылись за домом, свирепо размахивая саблями и проклиная друг друга на чем свет стоит. Цезарь отпер дверь и, указывая на лошадь, которая спокойно щипала траву на лужайке, крикнул:

— Бежать... сейчас же бежать, масса Генри.

— Да,— воскликнул молодой человек, вскакивая в седло,— теперь действительно время бежать, мой друг.

Он торопливо кивнул отцу, который в безмолвной тревоге стоял у окна, протянув руки к сыну, словно благословляя его.

— Храни тебя господь, Цезарь, поцелуй сестер,— добавил Генри и с быстротой молнии вылетел за ворота.

Негр со страхом следил за ним, видел, как он выскочил на проезжую дорогу, свернул вправо и, бешено проскакав вдоль отвесной скалы, вскоре исчез за ее уступом.

Теперь Цезарь снова запер дверь и, задвинув засов за засовом, до отказа повернул ключ; все это время он разговаривал сам с собой, радуясь счастливому спасению молодого господина:

— Как ловко ездит... Цезарь сам учил его немало... Поцелуй молодую леди... мисс Фанни не позволит старому негру поцеловать свою румяную щечку.

Когда исход сражения к концу дня определился и пришло время хоронить мертвых, к их числу присоединили двух ковбоев и одного виргинца, которых нашли на лужайке за коттеджем «Белые акации».

На счастье Генри Уортона, в минуту его побега зоркие глаза того, кто его арестовал, разглядывали в подзорную трубу колонну пехотинцев, все еще занимавших позицию на берегу речки, куда теперь в поисках дружеской защиты устремились остатки гессенской кавалерии. Генри Уортон несся на чистокровном виргинском скакуне, который мчал его через долину с быстротой ветра, и сердце юноши уже радостно билось при мысли о счастливом освобождении, как вдруг в его ушах громко прозвучал знакомый голос:

— Превосходно, капитан! Не жалейте кнута и, не доезжая до моста, поверните влево!

Генри в изумлении оглянулся и увидел своего бывшего проводника Гарви Бёрча: он сидел на крутом уступе скалы, откуда открывался широкий вид на долину. Тюк, сильно уменьшившийся в размерах, лежал у его ног; разносчик весело помахал шляпой проскакавшему мимо английскому офицеру. Генри воспользовался советом этого загадочного человека и, заметив хорошую тропу, которая вела к проезжей дороге, пересекавшей долину, свернул на нее и вскоре был уже напротив места расположения своих друзей. Через минуту он проехал по мосту и остановил лошадь возле своего старого знакомого, полковника Уэлмира.

— Капитан Уортон! — воскликнул удивленно английский офицер.— В синем сюртуке и на коне мятежников! Уж не свалились ли вы с облаков в таком виде и в таком наряде?

— Слава богу,— с трудом переводя дыхание, ответил ему молодой человек.— Я цел, невредим и вырвался из рук врагов: всего лишь пять минут назад я был пленным и мне грозила виселица.

— Виселица, капитан Уортон! О нет, эти изменники королю никогда не осмелились бы совершить второе убийство. Неужели им мало того, что они повесили Андре! А за что они грозили вам подобной участью?

— Меня обвиняют в том же преступлении, что и Андре,— ответил капитан и коротко рассказал собравшимся о том, как он попал в плен, какая опасность ему угрожала и каким образом ему удалось бежать.

К тому времени, когда Генри закончил рассказ, позади колонны пехотинцев столпились бежавшие от неприятеля немцы, и полковник Уэлмир громко крикнул:

— От всей души поздравляю вас, мой храбрый друг; милосердие — добродетель, незнакомая этим изменникам, и вам повезло вдвойне, что вы ускользнули от них целым и невредимым. Надеюсь, вы не откажетесь мне помочь, а скоро я предоставлю вам возможность с честью поквитаться с ними.

— Не думаю, полковник, что люди, которыми командует майор Данвуди, стали бы оскорбительно обращаться с пленным,— слегка покраснев, возразил молодой капитан,— его репутация выше подобных подозрений; кроме

того, я считаю неблагоразумным переходить через речку на открытую равнину в виду виргинской кавалерии, еще возбужденной только что одержанной победой.

— По-вашему, разгром случайного отряда ковбоев и этих неповоротливых гессенцев — подвиг, которым можно гордиться? — с презрительной улыбкой спросил полковник Уэлмир.— Вы так говорите об этом, капитан Уортон, словно ваш хваленый мистер Данвуди — ибо какой он майор? — разбил гвардейский полк вашего короля.

— Позвольте заметить, полковник Уэлмир, будь на этом поле гвардейский полк моего короля, он столкнулся бы с противником, с которым опасно не считаться. А мой хваленый мистер Данвуди, сэр,— кавалерийский офицер, гордость армии Вашингтона,— горячо возразил Генри.

— Данвуди! Данвуди! — с расстановкой повторил полковник.— Право же, я где-то видел этого джентльмена раньше.

— Мне говорили, что вы встретились с ним однажды в городе у моих сестер,— скрывая усмешку, сказал Генри.

— Ах да, припоминаю такого молодого человека. Неужели всемогущий конгресс этих взбунтовавшихся колоний доверяет командование подобному воину!

— Спросите командира гессенской конницы, считает ли он майора Данвуди достойным такого доверия.

Полковник Уэлмир был не лишен той гордости, которая заставляет человека отважно держаться перед лицом врага. Он давно служил в английских войсках в Америке, но сталкивался лишь с молодыми рекрутами и местными ополченцами. Они нередко дрались, и даже храбро, но так же часто пускались наутек, не спустив курка. Этот полковник имел обыкновение судить обо всем по внешности, он не допускал и мысли, чтоб американцы могли одержать победу над людьми в таких чистых штиблетах, так мерно чеканящих шаг, умеющих с такой точностью заходить флангом. Ко всему этому они — англичане, и, значит, им всегда обеспечен успех. Уэлмиру почти не приходилось бывать в боях, не то он давно уже расстался бы с этими вывезенными из Англии понятиями — они укоренились в нем еще глубже благодаря легкомысленной обстановке гарнизонного города. С надменной улыбкой он выслушал пылкий ответ капитана Уортона и спросил:

— Неужели вы хотите, чтобы мы отступили перед

этими спесивыми кавалеристами, ничем не омрачив их славы, которую вы, кажется, считаете заслуженной?

— Я хотел бы только предостеречь вас, полковник Уэлмир, об опасности, которой вы подвергаетесь.

— Опасность — неподобающее солдату слово,— с усмешкой продолжал британский полковник.

— И солдаты шестидесятого полка так же мало боятся опасности, как и те, что носят мундир королевской армии!— с запальчивостью воскликнул Генри Уортон.— Отдайте приказ к наступлению, и пусть наши действия говорят сами за себя.

— Наконец-то я узнаю своего молодого друга! — успокоительно заметил полковник Уэлмир.— Но, быть может, вы сообщите какие-нибудь подробности, которые пригодятся нам в наступлении? Вам известны силы мятежников, есть ли у них части в засаде?

— Да,— ответил молодой человек, все еще раздосадованный насмешками полковника,— на опушке леса справа от нас — небольшой отряд пехотинцев, а кавалерия — вся перед вами.

— Ну, она долго здесь не продержится! — вскричал полковник и, обращаясь к офицерам, которые его окружили, сказал: — Джентльмены, мы перейдем через реку, выстроившись в колонну, и развернем фронт на противоположном берегу, иначе нам не удастся заставить этих храбрых янки подойти поближе к нашим мушкетам. Капитан Уортон, я рассчитываю на вашу помощь в качестве адъютанта.

Молодой капитан покачал головой — здравый смысл подсказывал ему, что это опрометчивый шаг; однако он приготовился мужественно исполнить свой долг в предстоящем испытании.

Пока происходил этот разговор — неподалеку от англичан и на виду у американцев,— майор Данвуди собрал рассеявшихся по долине солдат, велел заключить под стражу пленных и отошел на позицию, которую занимал до первого появления неприятеля. Довольный достигнутым успехом и рассчитывая, что англичане достаточно осторожны, чтобы не дать ему случай разбить сегодня их еще раз, он решил вызвать из леса пехотинцев, а затем, оставив на поле боя сильный отряд для наблюдения за неприятелем, отойти со своими солдатами на несколько миль в облюбованное им место для стоянки на ночь.

Капитан Лоутон с неодобрением слушал рассуждения своего начальника; он достал свою неизменную подзорную трубу, чтобы посмотреть, нельзя ли все-таки еще раз успешно атаковать врага, и вдруг вскрикнул:

— Что за чертовщина, синий сюртук среди красных мундиров! Клянусь Виргинией, это мой переряженный приятель из шестидесятого полка, красавчик капитан Уортон,— он ускользнул от двух моих лучших солдат!

Не успел он произнести эти слова, как подъехал драгун — тот, что остался в живых после стычки с ковбоями,— ведя на поводу их лошадей и свою собственную; он доложил о смерти товарища и о бегстве пленника. Так как к капитану Уортону был приставлен тот драгун, которого убили, а второго нельзя было винить за то, что он бросился спасать лошадей, порученных его охране, то капитан Лоутон выслушал его с огорчением, но не рассердился.

Это известие совершенно изменило планы майора Данвуди. Он сразу понял, что побег Уортона может набросить тень на его собственное доброе имя. Приказ отозвать пехотинцев был отменен, и Данвуди стал наблюдать за врагом, ожидая с таким же нетерпением, как и пылкий Лоутон, малейшей возможности атаковать неприятеля.

Всего лишь два часа назад Данвуди казалось, что самый жестокий удар судьба ему нанесла, когда случай сделал Генри его пленником. Теперь он готов был поставить на карту свою жизнь, лишь бы снова задержать своего друга. Все остальные соображения отступили перед муками уязвленного самолюбия, и, возможно, он превзошел бы капитана Лоутона в безрассудстве, если бы в это мгновение полковник Уэлмир и его солдаты не перешли мост и не вышли на открытую равнину.

— Смотрите! — в восторге крикнул капитан Лоутон, показывая пальцем на движущуюся колонну.— Джон Булл[1] сам идет в мышеловку!

— Так и есть! — с жаром отозвался Данвуди.— Вряд ли они развернутся на этой равнине: Уортон, наверное, предупредил их о нашей засаде. Но, если они это сделают...

[1] Джон Булл (по-английски «Джон Бык») — так насмешливо прозвал англичан писатель-сатирик Джонатан Свифт (1667—1745).

— ...из их войска не уцелеет и десятка солдат,— прервал его капитан Лоутон, вскочив на коня.

Вскоре все стало ясно: англичане, пройдя небольшое расстояние по ровному полю, развернули фронт с такой старательностью, которая сделала бы им честь во время парада в Лондонском Гайд-парке.

— Приготовиться! На коней! — крикнул майор Данвуди.

Капитан Лоутон повторил последние слова, да так зычно, что они прозвенели в ушах Цезаря, стоявшего у открытого окна в доме мистера Уортона. Негр в ужасе отскочил; он уже не думал больше, что капитан Лоутон трус, и теперь ему чудилось, что он все еще видит, как капитан вышел из засады, размахивая саблей над головой.

Англичане подходили медленно и в полном порядке, но тут американская пехота открыла сильный огонь, который начал беспокоить части королевской армии, находившиеся ближе к лесу. По совету подполковника, старого вояки, Уэлмир отдал двум ротам приказ выбить из прикрытия американских пехотинцев. Перегруппировка вызвала легкое замешательство, чем Данвуди и воспользовался для наступления. Местность была как будто нарочно выбрана для действий кавалерии, и англичане не могли отразить натиск виргинцев. Чтобы американские солдаты не попали под выстрелы своих же товарищей, спрятавшихся в засаде, удар был направлен на дальний берег реки, против леса, и атака увенчалась полным успехом. Полковник Уэлмир, сражавшийся на левом фланге, был опрокинут стремительным нападением врага. Данвуди подоспел вовремя, спас его от сабли одного из своих солдат, поднял с земли, помог сесть на коня и сдал под охрану ординарцу. Выбить пехотинцев из засады Уэлмир поручил тому самому вояке, который предложил эту операцию, и тогда опасность была бы немалой для нерегулярных американских отрядов. Но свою задачу они уже выполнили и теперь двинулись по опушке леса к лошадям, оставленным под охраной на северном крае долины.

Американцы обошли англичан слева и, ударив с тыла, на этом участке обратили их в бегство. Однако второй английский командир, следивший за ходом битвы, мгновенно повернул свой отряд и открыл сильный огонь по драгунам, которые подходили, чтобы начать атаку. В этом отряде был и Генри Уортон, вызвавшийся выбить пехотинцев

из леса; раненный в левую руку, он был вынужден держать поводья правой. Когда мимо него под воинственную музыку трубачей с громкими криками проскакали драгуны, разгоряченная лошадь Генри перестала слушаться, бросилась вперед, встала на дыбы, и раненному в руку седоку не удалось справиться с ней. Через минуту Генри Уортон волей-неволей мчался рядом с капитаном Лоутоном. Драгун одним взглядом оценил смешное положение своего неожиданного спутника, но тут оба врезались в линию англичан, и он успел только крикнуть:

— Конь знает лучше, чем его седок, чье дело правое! Добро пожаловать в ряды борцов за свободу, капитан Уортон!

Как только наступление кончилось, капитан Лоутон, не теряя времени, снова взял под стражу своего пленника, а увидев, что тот ранен, приказал отвести его в тыл.

Виргинцы не больно церемонились и с отрядом королевской пехоты, которая почти целиком оказалась в их власти. Заметив, что остатки гессенцев снова отважились выйти на равнину, Данвуди пустился в погоню, быстро догнал их слабых, плохо кормленных лошадей и вскоре разбил немцев наголову.

Между тем, воспользовавшись дымом и сумятицей боя, значительной части англичан удалось зайти в тыл отряду своих соотечественников, которые, сохраняя порядок, все еще стояли цепочкой перед лесом, но вынуждены были прекратить стрельбу, боясь попасть в своих. Подошедшим было велено растянуться второй линией под прикрытием деревьев. Тут капитан Лоутон приказал молодому офицеру, который командовал конным отрядом, стоявшим на месте недавнего сражения, ударить по уцелевшей линии англичан. Приказ был выполнен с такой же быстротой, как и отдан, но стремительность капитана помешала сделать необходимые для успеха атаки приготовления, и кавалеристы, встреченные метким огнем неприятеля, в смятении отступили. Лоутон и его молодой товарищ были сброшены с лошадей. По счастью для виргинцев, в эту критическую минуту появился майор Данвуди. Он увидел беспорядок в рядах своего войска; у ног его в луже крови лежал Джордж Синглтон, молодой офицер, которого он любил и очень ценил; упал с лошади и капитан Лоутон. Глаза майора загорелись. Он проскакал между своим эскадроном и неприятелем, громко призывая

драгун выполнить свой долг, и голос его проник им в самое сердце. Его вид и слова произвели магическое действие. Смолкли крики, солдаты быстро и точно выстроились, прозвучал сигнал к наступлению, и виргинцы под предводительством своего командира с неудержимой силой понеслись через долину. Вскоре поле боя было очищено от врагов; уцелевшие бросились искать убежища в лесу. Данвуди медленно вывел драгун из-под огня скрывавшихся за деревьями англичан и приступил к печальной обязанности подбирать убитых и раненых.

Сержант, которому было поручено доставить Генри Уортона к хирургу, торопился выполнить это распоряжение, чтобы как можно скорее вернуться на поле битвы. Они не добрались и до середины долины, как капитан заметил человека, внешность и занятие которого невольно привлекли его внимание. Лысая голова этого чудака была непокрыта, хотя из кармана бриджей торчал обильно напудренный парик. Сюртук он снял и до локтя засучил рукава сорочки; испачканные кровью одежда, руки и даже лицо изобличали его профессию; во рту у него была сигара; в правой руке он держал какие-то странные инструменты, а в левой — обгрызенное яблоко, от которого он иногда откусывал, вынимая изо рта упомянутую сигару. Он стоял, погрузившись в созерцание лежавшего перед ним бездыханного гессенца. Неподалеку, опершись на мушкеты и устремив взгляд в сторону боя, стояли трое или четверо пехотинцев; с ними рядом, судя по инструментам в руке и окровавленному платью, был помощник хирурга.

— Вот это доктор, сэр,— сухо сказал Генри Уортону его провожатый,— он мигом забинтует вам руку.

Подозвав к себе солдат, он что-то шепнул им, показывая на пленного, и вихрем понесся к своим товарищам.

Генри подошел к забавной фигуре и, увидев, что на него не обращают внимания, хотел попросить, чтобы ему оказали помощь, но тут доктор прервал молчание и заговорил сам с собой:

— Ну, теперь не сомневаюсь — этого человека убил капитан Лоутон. Я в этом так уверен, будто собственными глазами видел, как он нанес удар. Сколько раз я внушал ему, чтоб он выводил врагов из строя, но не губил их! Бессмысленное уничтожение рода человеческого жестоко; к тому же, нанося подобные удары, Лоутон делает ненуж-

ной помощь врача, а это значит, что он не уважает свет науки.

— Не найдется ли у вас свободной минутки, сэр,— обратился к доктору Генри Уортон,— чтобы уделить внимание этой пустяковой ране?

— А! — вскричал хирург, встрепенувшись, и оглядел Генри с ног до головы.— Вы откуда, с поля сражения? И много там дела, сэр?

— Много,— ответил Генри, с помощью хирурга снимая сюртук.— Тревожное время, смею вас заверить.

— Тревожное,— повторил доктор, усердно занимаясь перевязкой.— Вы очень порадовали меня, сэр: пока люди тревожатся, в них есть жизнь, а пока не угасла жизнь, есть и надежда. А вот случай, когда мое искусство бесполезно. Я только что вставил мозги в череп одному пациенту, но мне сдается, он был мертвецом раньше, чем я его увидел. Занятный случай, сэр; я вам покажу — он тут недалеко, за изгородью, вместе с другими трупами, их там порядочно... Ага, пуля скользнула по кости, не раздробив ее. Вам повезло, что вами занимается опытный хирург, а не то вы могли бы лишиться руки.

— Неужели? — с некоторым беспокойством воскликнул Генри.— Я не думал, что рана настолько серьезна.

— Нет, рана не серьезна, но у вас такая подходящая для операции рука, что новичок мог бы не устоять перед искушением оттяпать ее.

— Черт возьми! — крикнул капитан.— Разве кому-нибудь может доставить удовольствие уродовать себе подобных?

— Сэр,— с важностью заметил хирург,— ампутировать руку по всем правилам науки — операция, которая доставляет удовольствие. Не думаю, чтоб молодой хирург устоял перед таким соблазном; увлеченный делом, он не стал бы обращать внимания на разные мелочи.

Разговор прервали драгуны, медленно приближавшиеся к месту своей прежней стоянки; среди них были и легко раненные солдаты, которые просили поскорей оказать им помощь.

Генри Уортона взяли под конвой, и молодой человек с тяжелым сердцем снова направился к дому отца.

В этих схватках англичане потеряли около трети своей пехоты. Уцелевшие собрались в лесу. Понимая, что их позиция почти неуязвима и атаковать их бессмысленно,

майор Данвуди оставил на поле сильный отряд под командованием капитана Лоутона, приказав следить за всеми передвижениями англичан и не упускать возможности нанести им урон, прежде чем они сядут на свои суда.

Майору сообщили, что другой неприятельский отряд выступил со стороны Гудзона, и он счел своим долгом быть наготове, чтобы разрушить замыслы и этих вражеских сил. Капитану Лоутону он строго-настрого запретил атаковать врага, пока для этого не представится удобный случай.

Лоутон был ранен в голову и упал с лошади, оглушенный скользнувшей по его черепу пулей; на прощанье Данвуди шутя сказал ему, что если он еще раз будет так неосторожен, то люди подумают, будто у него не все дома.

Англичане выступили налегке, без обоза, ибо должны были лишь уничтожить несколько складов с провизией, заготовленной, как полагали, для американской армии. Теперь они отходили через лес в горы и, двигаясь по тропам, недоступным для кавалерии, направились к своим судам.

Глава VIII

Пожар пылал и меч сверкал,
Так длилось много дней,
И дети в пламени войны
Теряли матерей.
Потеря близких, мор и беды —
Вот какова цена победы.

Саути

Гул сражения не достигал больше ушей встревоженных обитателей дома мистера Уортона. Наступила томительная тишина. Френсис, в одиночестве у себя в комнате, все еще старалась не слушать шума и тщетно призывала к себе свое мужество, чтобы пойти узнать об ужасавшем ее исходе битвы. Луг, на котором виргинцы атаковали вражескую пехоту, был расположен не дальше чем в миле от «Белых акаций», и, когда замолкали мушкетные выстрелы, оттуда доносились крики сражавшихся. Когда Генри удалось бежать, мистер Уортон прошел в комнату, где укрывались его свояченица и старшая дочь, и

все трое с трепетом стали ждать вестей. Наконец, не в силах больше выносить мучительную неизвестность, Френсис присоединилась к своим близким; вскоре они послали Цезаря узнать, что творится за пределами дома и чьи победные знамена развеваются над лугом. Отец коротко рассказал изумленным дочерям и мисс Пейтон, при каких обстоятельствах бежал Генри. Не успели они опомниться от удивления, как открылась дверь, и сам Генри вошел в комнату; его сопровождали два солдата, а следом за ними появился и Цезарь.

— Генри... сын мой, сын мой! — вскрикнул, протягивая руки, потрясенный отец, не в состоянии подняться с места от волнения.— Что я вижу! Ты снова в плену... твоя жизнь в опасности?

— Мятежникам посчастливилось больше, чем нам,— ответил молодой человек, силясь улыбнуться.— Я храбро бился за свою свободу, но преступный дух мятежа вселился даже в коней: лошадь, на которой я ехал, против моей воли — могу вас в этом заверить — понесла меня в самую гущу солдат Данвуди.

— И тебя опять задержали? — спросил отец, испуганно взглянув на вооруженных спутников сына.

— Именно так. Мистер Лоутон, который так далеко видит, тотчас же задержал меня.

— А почему не вы его, масса Генри? — с досадой вскрикнул Цезарь.

— Это легче сказать, чем сделать,— улыбаясь, ответил молодой капитан,— тем более,— добавил он, посмотрев на часовых,— что эти джентльмены постарались лишить меня возможности пользоваться правой рукой.

— Ты ранен! — в один голос воскликнули встревоженные сестры.

— Всего лишь царапина,— успокоительно сказал брат и в доказательство своих слов вытянул раненую руку,— но в самую критическую минуту она подвела меня.

Цезарь бросил негодующий взгляд на солдат, словно именно они были повинны в этом, и вышел из комнаты. Капитан в нескольких словах рассказал все, что знал о событиях злополучного дня. По его мнению, исход дела еще не был решен, ибо, когда его увели с поля боя, виргинцы отступали.

— Они заманивали белку,— неожиданно вмешался

один из стражей,— и не забыли оставить славного пса, чтоб он схватил зверька, когда тот спустится с дерева.

— Да,— резко добавил его товарищ,— капитан Лоутон пересчитает носы уцелевшим, прежде чем они доберутся до своих вельботов.

Во время этого разговора Френсис стояла, держась за спинку стула; замирая от страха, она ловила каждое слово и то бледнела, то краснела; ноги у нее подкашивались. Наконец, сделав отчаянное усилие, она спросила:

— Кто-нибудь из офицеров ранен... с той или другой стороны?

— Да,— грубовато ответил часовой.— Молодые южане так горячатся в бою, что редко кого-нибудь из них не сшибают. Один раненый сказал мне, будто капитан Синглтон убит, а майор Данвуди...

Больше Френсис ничего не слышала: потеряв сознание, она упала на стул, стоявший у нее за спиной. Заботы родных помогли ей прийти в себя, а капитан встревоженно спросил:

— Но ведь майор Данвуди не ранен?

— За него можно не беспокоиться,— ответил часовой, не обращая внимания на волнение семейства Уортон.— «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», как говорится; если бы пуля могла попасть в майора Данвуди, его давно бы уже не было на свете. Я хотел сказать, что майора ужасно огорчила смерть капитана Синглтона. Знай я, что леди так интересуется майором, я говорил бы осторожнее...

Френсис живо вскочила с места; щеки ее пылали от смущения, и, опираясь на руку тетки, она уже собиралась покинуть комнату, как вдруг появился сам Данвуди. В первую минуту взволнованная девушка ощутила безграничную радость, но тут же отступила назад, испуганная незнакомым ей выражением лица майора. Суровость боя оставила тень на его чертах, глаза смотрели сосредоточенно и строго, нежная улыбка, озарявшая при встрече с невестой его смуглое лицо, сменилась мрачной озабоченностью. Казалось, его душой владело одно всепоглощающее чувство. Он сразу же приступил к делу.

— Мистер Уортон,— начал он очень серьезно,— в такое время не к месту излишние церемонии. Боюсь, что один из моих офицеров смертельно ранен, и, рассчитывая на ваше гостеприимство, мы принесли его в ваш дом.

— Я счастлив, сэр, что вы это сделали,— сказал мистер Уортон, сразу уразумев, как для него важно расположить к себе американцев.— Нуждающиеся в моей помощи всегда желанные гости в моем доме, а друг майора Данвуди — вдвойне.

— Благодарю вас. сэр,— ответил Данвуди поспешно,— и за себя и за того, кто не в силах сам поблагодарить вас. С вашего разрешения, мы тотчас же отнесем раненого в комнату, там врач его осмотрит и скажет свое мнение о его состоянии.

Так и было сделано. У Френсис болезненно сжалось сердце, когда ее жених вышел, ни разу не взглянув на нее.

В женской любви есть преданность, не терпящая соперничества. Вся нежность души и вся сила воображения подчинены этой тиранической страсти; а если отдаешь себя целиком, то ждешь взамен того же. Френсис провела долгие мучительные часы, терзаясь беспокойством за Данвуди, а теперь он встретил ее без улыбки, расстался без слова привета. Пылкость ее чувств не ослабела, но надежда поколебалась. Когда мимо Френсис пронесли почти бездыханное тело друга Данвуди, девушка бросила взгляд на того, кто, казалось, отнял у нее любовь.

Она увидела мертвенно-бледное лицо, услышала затрудненное дыхание, и образ смерти мелькнул перед нею в самом страшном ее обличье. Данвуди шел подле Синглтона. Держа его за руку, он строго наказывал людям, несшим раненого, двигаться с осторожностью; словом, проявлял заботливость, на какую в таких случаях способна только нежная дружба. Отвернув голову в сторону, Френсис неслышно прошла вперед и растворила перед ними дверь. Девушка решилась поднять свои кроткие голубые глаза на лицо майора лишь тогда, когда, пройдя мимо, он коснулся ее платья; но он не ответил на ее взгляд, и Френсис, невольно вздохнув, направилась к себе в спальню, чтобы побыть одной.

Капитан Уортон дал слово своим караульным не делать больше попыток к бегству; потом, чтобы помочь отцу, он взял на себя обязанности хозяина дома. Выйдя в коридор, он встретил хирурга, так ловко перевязавшего ему руку; тот направлялся в комнату раненого офицера.

— А! — воскликнул ученик Эскулапа [1].— Я вижу, вы

[1] Эскулап (римск. миф.) — бог врачебного искусства.

Френсис увидела мертвенно-бледное лицо, услышала затрудненное дыхание...

чувствуете себя неплохо... Но погодите, нет ли у вас булавки? Впрочем, не надо, у меня есть своя. Не простудите рану, а не то кому-нибудь из моих юнцов придется возиться с вами.

— Упаси бог! — пробормотал капитан, старательно поправляя свою повязку.

В эту минуту на пороге показался Данвуди и громким голосом нетерпеливо крикнул:

— Скорей, Ситгривс, скорее! Этак Джордж Синглтон истечет кровью.

— Как, Синглтон? Господи помилуй! Так это Джордж... бедный маленький Джордж! — с искренним волнением воскликнул доктор и поспешил к постели больного.— Слава богу, он жив, а если не угасла жизнь, есть и надежда. Это первый пациент с серьезным ранением за нынешний день, которого мне принесли не убитым. Капитан Лоутон учит своих солдат наносить такие бесцеремонные удары... Бедняга Джордж... Черт возьми, это же мушкетная пуля!

Юный страдалец, взглянув на жреца науки со слабой улыбкой, попытался протянуть ему руку. В его взгляде и жесте была мольба, глубоко тронувшая хирурга. Он снял очки, чтобы вытереть навернувшиеся на глаза непривычные слезы, и со всей серьезностью приступил к своим обязанностям врача. Однако, пока делались необходимые приготовления, он дал волю своим чувствам и все время бормотал:

— Если только ранила пуля, я никогда не теряю надежды; можно рассчитывать, что рана не смертельна, но бог ты мой, солдаты Лоутона рубят почем зря направо и налево... Как часто они рассекают то шейную, то сонную артерию, а то и вовсе бьют по голове и выпускают мозги; а все эти раны так плохо поддаются лечению... Чаще всего пациент умирает прежде, чем успеешь за него взяться. Мне только один раз удалось приладить мозги на место, а сегодня я три раза пытался это сделать, и все без толку. Сразу видно, когда в бою сражались солдаты Лоутона: они рубят почем зря.

Друзья капитана Синглтона, собравшиеся у его постели, так привыкли к повадкам своего хирурга, что не обращали внимания на его монологи и не отвечали на них; они терпеливо ждали минуты, когда он приступит к осмотру больного. Данвуди смотрел в лицо врача так, словно хотел проникнуть ему в душу. Больной содрог-

нулся, когда ему ввели зонд, а физиономия хирурга расплылась в улыбке.

— На этом участке прежде не было ранения...— пробормотал он.

Сняв очки и отбросив в сторону парик, Ситгривс весь ушел в работу. Данвуди стоял в напряженном молчании, держа обеими руками руку страдальца и не сводя глаз с доктора. Наконец Синглтон слабо застонал, и хирург, быстро выпрямившись, громко сказал:

— Да, немалое удовольствие проследить за пулей, которая, так сказать, прошла зигзагами через человеческое тело, не повредив ни одного важного для жизни органа; но, когда солдаты капитана Лоутона...

— Скажите,— прервал его Данвуди,— есть ли какая-нибудь надежда? Вы можете найти пулю?

— Проще простого найти то, что держишь в руке, майор Данвуди,— невозмутимо ответил хирург, готовя перевязку.— Она прошла, как выразился бы этот грамотей капитан Лоутон, кружным путем, а вот его солдаты рубят саблей наотмашь, хоть я обучал его сотням способов наносить удары по науке. Сегодня, например, я видел лошадь с почти отрубленной головой.

— Это моя работа,— сказал Данвуди,— я убил эту лошадь.— Его щеки опять порозовели, и темные глаза заблистали надеждой.

— Вы! — воскликнул хирург, в изумлении выронив бинт.— Вы! Но ведь вы же знали, что это лошадь.

— Подозревал, не отрицаю,— с улыбкой отозвался майор, поднося питье к губам своего больного друга.

— Такие удары, нанесенные человеку, смертельны,— продолжал доктор, занимаясь своим делом,— они сводят на нет пользу, которую приносит нам свет науки, и бессмысленны в битве — ведь требуется всего-навсего вывести врага из строя. Сколько раз, майор Данвуди, просиживал я в ожидании, пока капитан Лоутон сражался, но мои надежды никогда не оправдывались — не было ни единого случая, достойного упоминания: или жалкие царапины, или убитые; сабля — мрачное оружие в неопытных руках! Да, майор Данвуди, немало часов я загубил, стараясь втолковать сию истину капитану Джону Лоутону.

Нетерпеливый Данвуди молча показал на раненого, и хирург стал работать быстрее.

— Ах, бедняга Джордж, такой трудный случай, но...

Его прервал вестовой, доложивший, что присутствие командира необходимо на поле битвы. Данвуди пожал руку своему другу и, отойдя от кровати, знаком подозвал к себе доктора.

— Как вы полагаете,— спросил он шепотом, когда они вдвоем направились к выходу,— он будет жить?

— Будет!

— Слава богу! — воскликнул молодой человек и поспешил вниз.

Он зашел на минуту в гостиную, где, как обычно, собралось все семейство Уортон. Теперь лицо майора сияло улыбкой, и он сердечно, хотя и торопливо поздоровался со всеми. Бегство и возвращение капитана Уортона не привлекли его внимания; казалось, он считал, что капитан и не уходил оттуда, где они расстались перед боем. На поле сражения они не встретились. Английский офицер гордо отошел к окну и ни словом не прерывал Данвуди.

После всех переживаний этого бурного дня Френсис и Сара очень устали; обе они молчали, а беседу поддерживала лишь мисс Пейтон.

— Есть ли надежда, кузен, что ваш друг выживет? — спросила она и, приветливо улыбаясь, подошла к своему родственнику.

— Конечно, есть, конечно, дорогая мисс Пейтон! — с радостью ответил майор.— Ситгривс сказал, что рана не смертельна, а он никогда меня не обманывал!

— Это известие радует меня не меньше, чем вас,— человек, который дорог вам, майор Данвуди, не может не вызывать теплых чувств в сердцах ваших друзей.

— Добавьте — так заслуженно дорог,— горячо сказал молодой человек.— Синглтон — добрый гений нашего полка, его любят все; он такой мягкий, справедливый, благородный, кроткий, как ягненок, и нежный, как голубка... однако на поле битвы Синглтон превращается в льва.

— Вы говорите о нем, как о возлюбленной, майор Данвуди,— улыбаясь, заметила мисс Пейтон и бросила взгляд на младшую племянницу, которая, побледнев, сидела в углу, прислушиваясь к разговору.

— Я и вправду люблю его, как невесту! — пылко воскликнул взволнованный майор.— Но он нуждается в заботе и покое, теперь все зависит от ухода за ним.

— Поверьте, сэр,— с достоинством сказала мисс Пей-

тон,— под этой крышей у него ни в чем не будет недостатка.

— Извините меня, дорогая мисс Пейтон,— вы — сама доброта, но Синглтону сейчас нужна забота, которая многим мужчинам могла бы показаться докучливой. В такие трудные минуты и так тяжко страдая, воин порой нуждается в женской нежности.

При этих словах он взглянул на Френсис с таким выражением, что у нее опять сжалось сердце. Вспыхнув, она поднялась со стула и сказала:

— Все внимание, какое возможно оказать человеку постороннему, будет оказано вашему другу.

— Ах,— покачав головой, воскликнул майор,— холодное «постороннему» убьет его! Ему нужно ежеминутно облегчать страдания, ходить за ним нежно и любовно.

— Это обязанности жены или сестры.

— Сестры! — повторил Данвуди, и кровь бросилась ему в лицо.— Да, сестры! У него есть сестра; она могла бы появиться здесь завтра с восходом солнца...— Он замолчал, задумался, с беспокойством посмотрел на Френсис, потом тихо добавил: — Это необходимо Синглтону, и это должно быть сделано.

Женщины не без удивления заметили, что выражение лица майора изменилось. Наконец мисс Пейтон сказала:

— Если сестра капитана Синглтона от нас неподалеку, то я и мои племянницы охотно приглашаем ее приехать.

— Так надо, иначе поступить нельзя,— сказал Данвуди с нерешительностью, которая не вязалась с тоном, каким он только что говорил.— Нужно послать за ней сегодня же вечером.

Словно желая переменить тему, он подошел к капитану Уортону и тихо промолвил:

— Генри Уортон, честь для меня дороже жизни, но я знаю, мне нечего беспокоиться, раз она в ваших руках! Оставайтесь здесь без охраны, пока мы не уйдем из Вест-Честера, а это произойдет через несколько дней.

Отчужденность в поведении молодого Уортона исчезла, и, взяв протянутую Данвуди руку, он с теплотою ответил:

— Я не обману ваше великодушное доверие, Пейтон, даже если буду уверен, что ваш Вашингтон повесит меня, как повесил Андре.

— Генри, Генри Уортон,— с укором сказал Данвуди,— вы плохо знаете человека, который командует нашей

армией, иначе не бросили бы ему такого упрека! Но меня призывают мои обязанности, и я должен покинуть дом, где мне хотелось бы остаться и где вы не можете чувствовать себя очень несчастным.

Пройдя мимо Френсис, Данвуди, как бывало, взглянул на нее с нежной улыбкой, и ужасное впечатление, произведенное на нее женихом, когда он вернулся с поля битвы, несколько сгладилось.

В числе ветеранов, которые в это тревожное время, позабыв о своем стариковском покое, стали на защиту родины, был и полковник Синглтон. Он родился в Джорджии и с ранних лет нес солдатскую службу. Как только началась война за свободу, он предложил родной стране свои услуги; из уважения к нему они были приняты. Однако преклонный возраст и слабое здоровье мешали старику участвовать в сражениях, и ему поручали важные посты, на которых он мог верно и бдительно служить своим соотечественникам, не подвергаясь тяготам военных походов. В последний год ему была доверена охрана дорог, ведущих в нагорье; сейчас он вместе с дочерью находился в горах, на расстоянии однодневного перехода от места, где Данвуди сражался с неприятелем. Раненый офицер, о котором мы упоминали, был единственным сыном полковника. Вот к нему-то и собирался Данвуди послать вестового с грустным известием о ранении молодого капитана и с приглашением от семейства Уортон, на которое мисс Синглтон, конечно, должна была отозваться и не мешкая приехать ухаживать за братом.

Майор Данвуди выполнил эту обязанность, но с большой неохотой: казалось, его тревога и смущение еще усилились. Он отправился в поле, где стояли его отряды,— за деревьями уже было видно, как остатки английского войска в полном порядке и с большой осторожностью отступают по горному кряжу к своим судам. Отряд драгун под командованием капитана Лоутона держался неподалеку от их фланга, нетерпеливо выжидая удобного случая, чтобы нанести удар. Вскоре и американцы и англичане исчезли из виду.

На небольшом расстоянии от «Белых акаций» лежала деревушка, где скрещивалось несколько дорог и откуда поэтому было удобно разъезжать по окрестностям. Здесь не раз располагалась на постой американская кавалерия, а во время разъездов по долине — и легкие конные отряды.

Майор Данвуди первый оценил преимущества этой стоянки, и сейчас, когда нужно было задержаться в Вест-Честере до получения приказа от командования, он, конечно, не забыл о ней. Сюда было велено отойти солдатам, взяв с собой раненых; уже приступили и к печальной обязанности хоронить убитых. Распоряжался всеми этими делами наш молодой воин, как вдруг новое обстоятельство привело его в смущение. На поле битвы он увидел полковника Уэлмира, который сидел в одиночестве, задумавшись о своих злоключениях; его размышления прерывались лишь учтивыми приветствиями проходивших мимо американских офицеров. Данвуди, обеспокоенный раной своего друга, ни разу не вспомнил о полковнике и теперь, подойдя к нему, извинился за то, что о нем еще не позаботились. Англичанин холодно выслушал вежливые слова Данвуди и пожаловался на ушибы, полученные будто бы тогда, когда его лошадь, случайно споткнувшись, упала. Данвуди, видевший, как один из его драгун довольно бесцеремонно сбросил с лошади полковника, с легкой улыбкой предложил ему врачебную помощь, а так как хирург находился в «Белых акациях», оба туда и направились.

— Полковник Уэлмир! — воскликнул с изумлением молодой Уортон, когда они вошли в дом.— Значит, судьба обошлась жестоко и с вами! Но мы рады вам, хотя было бы куда приятнее, если бы наша встреча произошла при более счастливых обстоятельствах.

Мистер Уортон принял новых гостей со свойственной ему настороженностью, и Данвуди тут же ушел навестить своего друга. Больной, по-видимому, чувствовал себя лучше, и майор сообщил врачу, что в комнате внизу другой раненый дожидается его искусства. Этих слов было достаточно, чтобы доктор оживился; схватив свои инструменты, он поторопился к новому пациенту. В дверях гостиной он столкнулся с выходившими оттуда дамами. Мисс Пейтон на минуту остановила его, чтобы справиться о здоровье капитана Синглтона, а Френсис, взглянув на забавную фигуру лысого эскулапа, улыбнулась своей прежней лукавой улыбкой; не обратила на него внимания лишь Сара, слишком взволнованная неожиданной встречей с британским офицером. Читатель уже знает, что полковник Уэлмир был старым знакомым семейства Уортон, однако Сара давно уехала из Нью-Йорка, и этот джентльмен почти забыл о ней; ее же воспоминания были гораздо

живее. В жизни каждой женщины приходит пора, когда ее сердце, как говорится, созрело для любви; в этом блаженном возрасте детство отступает перед расцветом молодости, наивное сердце бьется, предвкушая радости, которым не дано сбыться, а воображение рисует идеальные образы, подсказанные собственными, ничем не омраченными грезами. Сара покинула город именно в этом счастливом возрасте и увезла с собой картину будущего, правда еще туманную, однако в уединении «Белых акаций» эта картина обрела более яркие краски, и на ее переднем плане поместился полковник Уэлмир. Неожиданность встречи поразила девушку; а когда полковник всем поклонился, она, повинуясь знаку своей наблюдательной тетушки, поднялась и вышла из комнаты.

— Значит, сэр,— заметила мисс Пейтон, выслушав отчет хирурга о здоровье его молодого пациента,— мы можем надеяться, что он поправится?

— Несомненно, сударыня,— ответил доктор, стараясь из уважения к дамам водворить на голову свой парик,— при заботливом и хорошем уходе — несомненно.

— Об этом можете не беспокоиться,— с сердечностью сказала мисс Пейтон.— Все, что у нас есть,— в его полном распоряжении, кроме того, майор Данвуди послал за сестрой больного.

— За его сестрой! — повторил доктор, и взгляд его стал многозначительным.— Ну, если майор послал за ней, значит она приедет.

— Ведь ее брат опасно ранен, как же ей не приехать!

— Конечно, сударыня,— коротко ответил доктор и с низким поклоном посторонился, чтобы пропустить дам.

Слова и тон Ситгривса не остались незамеченными младшей из сестер — она была вся внимание, когда при ней называли имя Данвуди.

— Сэр,— крикнул хирург, войдя в гостиную и обращаясь к единственному находившемуся там человеку в красном мундире,— мне сказали, что вы нуждаетесь в моей помощи. Слава богу, что не капитан Лоутон был вашим противником, а не то вам уже не нужна была бы никакая помощь.

— Очевидно, произошла ошибка,— высокомерно сказал Уэлмир,— майор Данвуди хотел прислать мне хирурга, а не какую-то старую бабу.

— Это доктор Ситгривс,— поспешил вставить Генри

Уортон, с трудом сдерживая смех.— Многочисленные обязанности помешали ему сегодня позаботиться о своем костюме.

— Прошу прощения, сэр,— сказал полковник, неуклюже стаскивая с себя мундир и показывая свою, как он выразился, раненую руку.

— Сэр,— сухо заметил Ситгривс,— если диплом Эдинбургского университета, практика в ваших лондонских госпиталях, ампутация нескольких сот рук и ног, всевозможные операции, осененные светом науки, а также чистая совесть и полномочия Континентального конгресса могут сделать человека хирургом, то хирург к вашим услугам.

— Прошу прощения, сэр,— церемонно повторил полковник,— капитан Уортон уже указал мне на мою ошибку.

— За что приношу капитану Уортону благодарность,— сказал доктор и начал раскладывать свои инструменты с невозмутимостью, от которой полковнику стало холодно.

— В какое место вы ранены, сэр?.. Всего только эта пустяковая царапина на плече! Каким образом вас ранили?

— Мятежный драгун ударил меня саблей,— с надменным видом ответил полковник.

— Не может быть! Даже прикосновение сабли кроткого Джорджа Синглтона не оказалось бы таким безобидным.— Ситгривс достал из кармана кусочек пластыря и залепил ранку на плече офицера.— Вот и все. Этого достаточно для вашей цели, сэр; уверен, что больше от меня ничего не потребуется.

— Какова же, по-вашему, моя цель, сэр?

— Отправить депешу, чтоб вас занесли в списки раненых,— спокойно ответил доктор,— и можете добавить, что перевязала вам раны старая баба — любая старуха вполне справилась бы с этим!

— Удивительно странная манера разговаривать! — пробормотал полковник.

Тут вмешался капитан Уортон. Он объяснил доктору, что полковник Уэлмир неудачно выразился, потому что был рассержен и страдал от боли. Капитану отчасти удалось умаслить оскорбленного хирурга, и тот в конце концов согласился продолжить осмотр раненого, у которого оказались лишь ссадины от падения. Ситгривс быстро залепил их пластырем и исчез.

Отдохнув и собравшись с силами, кавалеристы начали готовиться к отходу на намеченную позицию, а капитан Данвуди занялся размещением пленных. Ситгривса он решил оставить в доме мистера Уортона для наблюдения за Синглтоном. Генри попросил также позволения оставить в «Белых акациях» под честное слово и полковника Уэлмира. Данвуди охотно согласился, а так как остальные пленные были простыми солдатами, их, не мешкая, собрали и под сильным конвоем отправили в тыл. Вскоре тронулись в путь и драгуны. Пехотинцы разделились на небольшие группы и в сопровождении конных патрулей рассыпались по всей окрестности, чтобы образовать цепь от вод Зунда до Гудзона.

Простившись с обитателями «Белых акаций», Данвуди на мгновение задержался возле дома; ему не хотелось уходить, и он думал, что причиной тому было беспокойство о раненом друге. Сердце, еще не огрубевшее в битвах, быстро пресыщается славой, если она куплена ценою человеческих жизней. Теперь, когда улеглось возбуждение этого горячего дня и молодой человек остался один, он почувствовал, что есть на свете иные узы, кроме тех, что связывают воина непреклонными законами чести. Сознание долга не ослабело в нем, однако он ощутил, как силен соблазн. Кровь уже не кипела в нем, как во время боя. Суровое выражение его глаз мало-помалу смягчилось, и мысль о победе не давала удовлетворения, которое вознаградило бы за принесенные ей жертвы. Окидывая последним взглядом дом мистера Уортона, Данвуди помнил лишь о том, что там осталось все самое дорогое его сердцу. Там он покинул друга юности, задержанного при обстоятельствах, грозивших его жизни и доброму имени. Там лежал тяжело раненный кроткий товарищ по оружию, сохранявший нежность и мягкость даже в жестоких утехах войны. Образ девушки, в тот день уже не владевший безраздельно сердцем Данвуди, снова возник перед ним, и обаяние Френсис изгнало из его мыслей ее соперницу — славу.

Последний запоздалый воин скрылся за северным холмом, и майор неохотно повернул свою лошадь в том же направлении. В эту минуту Френсис, терзаемая беспокойством, тихонько вышла на террасу. Стоял ясный, тихий день, на безоблачном небе ослепительно сияло солнце. Шум, еще так недавно нарушавший покой долины, сме-

нился мертвой тишиной; казалось, людские страсти никогда не омрачали светлый пейзаж, открывшийся глазам девушки. Над полем висело одинокое облачко — то был сгустившийся дым битвы, но и оно постепенно растаяло, и над мирными могилами погибших не осталось и следов недавнего сражения. Волновавшие Френсис противоречивые чувства, тревожные переживания этого полного событий дня представлялись ей теперь обманом расстроенного воображения. Она оглянулась и увидела исчезающую вдалеке фигуру того, кто был таким важным действующим лицом в этой картине. Иллюзия рассеялась: девушка узнала любимого человека; действительность воскресила в ней воспоминания, и они заставили ее уйти в комнату с такой же печалью в сердце, какую уносил с собой из долины Данвуди.

Глава IX

Окинув горы быстрым взглядом,
Он притаился. Где-то рядом
Раздался вдруг протяжный крик —
Враги спешили,— в тот же миг
Он быстро пересек поляну
И, продолжая неустанно
Бежать, спасаясь от удара,
Достиг долины Юэм-Ва́ра.

Вальтер Скотт

Отряд капитана Лоутона неотступно следовал за отходившими к своим судам англичанами, но удобного случая для нападения на них не представлялось. Опытный офицер, заменивший полковника Уэлмира, слишком хорошо знал силы американцев, чтобы спуститься со скалистых высот, пока не приблизился морской берег. Прежде чем предпринять этот опасный спуск, он построил своих солдат в плотное каре, внешние стороны которого ощетинились штыками. Горячий капитан Лоутон прекрасно понимал, что при таком построении противника кавалерии не удастся его атаковать, и ему волей-неволей приходилось идти за англичанами, не имея возможности остановить их медленное, но верное движение к побережью. Небольшая шхуна, сопровождавшая их от Нью-Йорка, стояла неподалеку, и ее пушки были наведены на берег. У капитана

Лоутона хватило рассудительности понять, что было бы безумием бороться с отрядом, сочетавшим силу с дисциплиной, и англичане беспрепятственно погрузились на свои суда. Драгуны до последней минуты оставались на берегу, потом неохотно повернули назад, к своему главному корпусу.

Отряд Лоутона снова появился на южном крае долины, когда уже начало темнеть и вечерний туман становился все гуще. Удобства ради всадники двигались медленно, растянувшись цепочкой. Капитан ехал впереди бок о бок с лейтенантом Томом Мейсоном, и они беседовали по душам; тыл замыкал молодой корнет, мурлыкая песенку и думая о том, как приятно будет после утомительного дня растянуться на соломе.

— Так она и вас покорила? — спросил капитан.— Она с первого взгляда произвела на меня впечатление; это лицо не скоро забудешь. Клянусь, Том, такой выбор делает честь вкусу майора.

— О, этот выбор сделал бы честь всему нашему полку! — с восторгом воскликнул лейтенант.— Такие голубые глаза могут легко пристрастить человека к более деликатным занятиям, чем наши. Сознаюсь, я вполне допускаю, что такая красотка даже меня могла бы заставить бросить палаш для штопальной иглы и сменить мужское седло на дамское.

— Да это бунт, сэр, это бунт! — крикнул, смеясь, капитан.— Как, Том Мейсон осмеливается соперничать с блестящим, веселым, обожаемым и вдобавок богатым майором Данвуди?! Вы лейтенант кавалерии, у которого только и есть, что лошадь, да и та не из лучших! А вот ваш капитан — тот крепок, как дуб, и живуч, как кошка!

— Однако,— возразил, улыбаясь, лейтенант,— и дуб можно расколоть, а старая кошка подохнет, если будет часто так бешено кидаться в атаку, как вы сегодня утром. А что, если вас несколько раз стукнет такая кувалда, какая опрокинула вас сегодня на спину?

— И не вспоминайте, дорогой Том! При одной мысли об этом у меня трещит башка,— ответил капитан Лоутон, пожимая плечами.— Я называю это — вызывать прежде времени ночь.

— Ночь смерти?

— Нет, сэр, ночь, которая следует за днем. Я увидел

мириады звезд, чего никогда не увидишь при свете дня. Наверное, я остался в живых, к вашему удовольствию, только благодаря толстой треуголке, хоть я и живуч, как кошка.

— Весьма обязан вашей треуголке,— сухо сказал Мейсон, — а может, и изрядной толщине вашего черепа.

— Ладно, Том, ладно! Вы признанный шутник, и я не стану притворяться, что сержусь на вас,— добродушно сказал Лоутон.— Лейтенанту капитана Синглтона, очевидно, повезло сегодня больше, чем вам.

— Надеюсь, мы оба будем избавлены от неприятности получить повышение ценою смерти товарища и друга,— мягко заметил Мейсон,— ведь Ситгривс сказал, что Синглтон останется жив.

— От всего сердца надеюсь на это! — воскликнул Лоутон.— Я еще не встречал такого смелого безбородого юнца, как он. Меня удивляет, однако, что солдаты устояли, хотя мы с Синглтоном упали одновременно.

— Мне бы следовало поблагодарить вас за комплимент,— сказал, смеясь, лейтенант,— да скромность не позволяет. Я пытался остановить их, но безуспешно.

— Остановить! — рявкнул капитан.— Разве остановишь солдат во время атаки?

— Я полагал, что они бегут не туда, куда надо.

— Вот как! Значит, наше падение заставило их сделать крутой поворот?

— Может быть, и так, а может, они повернули, боясь, как бы самим не упасть. Однако, пока майор Данвуди нас не собрал, в наших рядах был удивительный беспорядок.

— Данвуди! Да ведь майор гнал немцев что было мочи!

— Значит, тогда он уже прогнал их. Майор примчался с двумя отрядами, проскакал между нами и неприятелем и с тем грозным видом, какой у него всегда бывает в пылу сражения, выстроил нас так быстро, что мы и ахнуть не успели. Вот тогда-то,— с живостью добавил лейтенант,— мы и загнали Джона Булла в кусты. Ну и славная была атака! Мы их били в хвост и в гриву, пока не разгромили.

— Черт побери! Какое зрелище я пропустил!

— Вы проворонили все от начала до конца.

— Да,— со вздохом сказал капитан,— для меня и бедняги Синглтона все это пропало. Однако, Том, что скажет

этой белокурой девице сестра Джорджа Синглтона, когда приедет в белый коттедж?

— Ничего не скажет. Она повесится на своих подвязках,— заявил лейтенант.

— Я отношусь с должным уважением к начальству, но чтобы два таких ангела достались одному человеку — это более чем несправедливо, если только он не турок и не индус.

— Да, да,— тотчас откликнулся капитан,— майор вечно проповедует молодежи мораль, но сам он порядочный повеса. Вы заметили его слабость к этому перекрестку в долине? Если бы я дважды останавливался со своим отрядом в одном и том же месте, все поклялись бы, что там поблизости какая-то юбка.

— Ну, вас-то весь корпус знает.

— Ладно, Том, привычка чернить людей неизлечима, однако...— Капитан вдруг рванулся вперед и стал всматриваться в темноту.— Что там за зверь бежит через поле справа от нас?

— Это человек,— сказал Мейсон, пристально глядя перед собой.

— Судя по горбу, это дромадер,— добавил капитан, не спуская глаз со странного силуэта. Внезапно свернув с дороги, он закричал: — Это Гарви Бёрч! Взять его живым или мертвым!

Только Мейсон и несколько ехавших впереди драгун разобрали слова капитана, но его возглас услышал весь отряд. Человек десять во главе с лейтенантом понеслись вслед за неистовым Лоутоном, да с такой быстротой, что у преследуемого не осталось никакой надежды на спасение.

Пока не стемнело, Гарви Бёрч благоразумно сохранял свою позицию на утесе, где его заметил проезжавший мимо Генри Уортон. С этой высоты разносчик видел все, что происходило в тот день в долине. С бьющимся сердцем наблюдал он за отходом частей, которыми командовал Данвуди, и нетерпеливо ожидал ночи, когда можно будет отправиться домой, не подвергаясь опасности. Когда стемнело, он пустился в дорогу. Однако он не прошел и четверти пути, как его чуткое ухо уловило топот приближающихся коней. Доверившись сгущающейся тьме, Бёрч все же пошел дальше. Он двигался быстро, пригибаясь к земле, в надежде, что его не заметят. Капитан

Лоутон был увлечен разговором с лейтенантом, и его глаза не бегали, как обычно, по сторонам; между тем разносчик, угадав по звуку голосов, что самый страшный его враг проехал мимо, забыл об осторожности и выпрямился, чтобы идти быстрее. В тот миг, когда его фигура выросла над затененной землей, его обнаружили, и началась погоня. Бёрч понял, что беда неминуема; кровь застыла у него в жилах, ноги его подкосились, и на мгновение он почувствовал себя совершенно беспомощным. Но только на мгновение. Бросив тюк и машинально подтянув пояс, разносчик пустился бежать. Он знал, что стоит ему очутиться на опушке леса, и преследователи уже не увидят его. Это ему удалось, и он напряг все свои силы, чтобы проскользнуть в чащу, но тут несколько драгун, проскакав на небольшом расстоянии слева, отрезали ему путь. Когда они приблизились, Бёрч бросился на землю, и они пронеслись, не заметив его. Однако долго оставаться в таком положении было чересчур опасно. Он поднялся, все еще держась в тени деревьев; он слышал, как драгуны призывали друг друга искать хорошенько, и что есть духу помчался вдоль опушки, в сторону, противоположную той, куда двигались солдаты.

Шум погони слышали все, но никто, кроме драгун, гнавшихся за Бёрчем, толком не понял приказа Лоутона. Задние так и не знали, что от них требуется, а молодой корнет, замыкавший тыл, нетерпеливо расспрашивал соседнего драгуна, в чем, собственно, дело, как вдруг неподалеку от них какой-то человек одним прыжком перескочил через дорогу. В ту же секунду по долине прогремел зычный голос капитана Лоутона:

— Это Гарви Бёрч! Взять его живым или мертвым!

Огонь пятидесяти пистолетных выстрелов осветил местность, и со всех сторон вокруг головы разносчика просвистели пули. Отчаяние сжало сердце беглеца, и он горестно воскликнул:

— Травят, как дикого зверя!

Жизнь со всеми ее тяготами представилась ему невыносимым бременем, и он уже готов был сдаться. Однако природа взяла верх: Бёрч имел все основания опасаться, что, если его схватят, его не ожидает даже видимость суда — однажды он уже был приговорен к смерти и избежал ее лишь благодаря хитрой уловке, но теперь, всего вероятнее, утреннее солнце озарит своими лучами его

позорную казнь. Эта мысль, а также приближающийся топот коней заставили его сделать над собой усилие, и он снова побежал. К счастью для Бёрча, перед ним оказались случайно уцелевшие среди разрушений войны обломки стены и примыкающий к ней деревянный забор. Разносчик едва успел перекинуть через него свои усталые ноги, как к другой стороне забора подскакали двадцать его преследователей. Однако лошади отказывались взять в темноте этот барьер — они становились на дыбы, и всадники посылали им проклятия. Во время этой сумятицы Бёрч разглядел холм, на вершине которого он мог бы оказаться в полной безопасности. Сердце разносчика радостно забилось, но тут снова прогремел голос Лоутона, приказавшего своим солдатам расступиться. Приказание было выполнено, и бесстрашный воин карьером поскакал к забору, вонзил в коня шпоры и перемахнул через преграду. Восторженное «ура» и громкий топот достаточно ясно говорили Бёрчу, как велика опасность. Казалось, последние силы покинули его, и участь его была уже решена.

— Стой, или смерть тебе! — прозвучало у Гарви над головой.

Он бросил испуганный взгляд через плечо и увидел на расстоянии шага от себя человека, страшнее которого для него никого не было. При свете звезд он разглядел поднятую руку и грозную саблю. Сердце Гарви сжалось от страха, усталости и отчаяния, и он упал Лоутону под ноги. Лошадь споткнулась о распростертое тело разносчика и вместе с всадником рухнула на землю. С быстротой молнии Гарви вскочил и вырвал саблю у ошеломленного драгуна. Жажда мщения — естественная человеческая страсть, и очень немногие отказывают себе в удовольствии поступить с обидчиком так, как тот поступил бы с ним; однако кое-кто знает, что куда сладостнее воздавать добром за зло.

Все пережитые Бёрчем обиды с поразительной ясностью пронеслись перед его мысленным взором. На мгновение злой демон овладел им, и он взмахнул могучим оружием; однако оно тут же опустилось, не причинив никакого вреда офицеру, который уже пришел в себя, но был безоружен. И разносчик исчез за выступом благодетельной скалы.

— Сюда, на помощь капитану Лоутону! — крикнул

Мейсон, подскакав вместе с десятком солдат.— Слезайте с лошадей и ищите в этих скалах, негодяй прячется где-то здесь поблизости.

— Стойте! — проревел сконфуженный капитан, с трудом поднимаясь на ноги.— Любому, кто сойдет с лошади,— смерть. Том, дружище, помогите мне снова сесть на Роноки.

Изумленный лейтенант молча выполнил эту просьбу, а драгуны словно приросли к седлам от удивления — казалось, они со своими лошадьми составляют одно целое.

— Боюсь, что вы сильно ушиблись,— за неимением хорошего табака покусывая кончик сигары, участливо заметил Мейсон, когда они опять выехали на дорогу.

— Кажется, да,— ответил капитан, переводя дух и с трудом произнося слова.— Хотел бы я, чтобы тут был наш костоправ и проверил, все ли ребра у меня целы.

— Ситгривса оставили в доме мистера Уортона наблюдать за капитаном Сипглтоном.

— Значит, там переночую и я. В такие тяжелые времена нечего соблюдать церемонии. Вы помните, Том, этот старый джентльмен проявлял как будто теплые чувства ко всему нашему корпусу. Разве можно проехать мимо дома такого близкого друга, не завернув к нему?

— А я проведу солдат в деревню Четыре Угла; если мы все остановимся у мистера Уортона, в округе наступит голод.

— Боже упаси! Гречневые лепешки симпатичной мисс Пейтон пойдут мне больше на пользу, чем сутки в госпитале.

— Ну, если вы способны думать о еде, вы не умрете,— смеясь, сказал Мейсон.

— Если бы я не был способен есть, я бы наверняка умер,— мрачно ответил капитан.

— Капитан Лоутон, — подъехав к командиру, спросил ординарец,— мы сейчас проезжаем мимо дома этого шпиона-разносчика, — прикажете подпалить?

— Нет! — крикнул капитан так громко, что разочарованный сержант вздрогнул.— Ты что — поджигатель? Ты способен хладнокровно сжечь дом? Только попробуй! Рука, которая поднесет к нему хоть одну искру, сделает это в последний раз.

— Вот это голос! — клюя носом, пробормотал корнет, ехавший позади.— Есть еще жизнь в капитане, хоть он и свалился с лошади!

Лоутон и Мейсон ехали молча. Они уже добрались до ворот усадьбы мистера Уортона, а Мейсон все еще размышлял об удивительной перемене, произошедшей с капитаном после того, как он упал с лошади. Отряд отправился дальше, а капитан и лейтенант спешились и в сопровождении вестового медленно пошли к дому.

Полковник Уэлмир уже удалился в отведенную ему комнату, мистер Уортон с сыном заперлись вдвоем, а дамы хлопотали за столом, угощая доктора чаем,— к этому времени он успел осмотреть одного пациента, лежавшего в постели, и удостовериться в том, что второй пациент безмятежно спит. Нескольких дружелюбных вопросов мисс Пейтон было достаточно, чтобы сердце хирурга раскрылось,— тут обнаружилось, что он знал всю ее многочисленную родню в Виргинии и полагал даже, что встречался с нею самой. Добродушная мисс Пейтон улыбнулась, подумав, что, если бы она хоть раз увидела такого чудака, она бы уже не могла его забыть. Как бы там ни было, это предположение развеяло чувство неловкости, и между ними завязалась непринужденная беседа; племянницы только слушали, впрочем и сама тетушка говорила немного.

— Как я уже вам заметил, мисс Пейтон, именно из-за вредоносных испарений с низин плантация вашего брата оказалась непригодной для людей, что же касается четвероногих...

— Господи, что это такое? — вскрикнула мисс Пейтон и побледнела, услышав выстрелы, направленные в Бёрча.

— Это больше всего похоже на сотрясение атмосферы, вызванное огнестрельным оружием,— ответил хирург и совершенно невозмутимо отхлебнул чаю.— Я предположил бы, что это возвращается отряд Лоутона, если бы не знал, что капитан никогда не пользуется пистолетом и ужасно злоупотребляет саблей.

— Боже милостивый! — взволнованно воскликнула мисс Пейтон.— Неужели он кого-нибудь ранит?

— Ранит? — с живостью повторил доктор.— Да это верная смерть — Лоутон наносит самые безрассудные удары, какие можно себе представить. Чего только я ему ни говорил, ничего не помогает.

— Но ведь капитан Лоутон — это тот офицер, которого мы видели сегодня утром, и он ваш друг,— тут же сказала Френсис, заметив, что тетка перепугалась не на шутку.

— Ничего дурного я не вижу в дружбе с ним; человек он славный, только не желает усвоить, как надо рубить саблей по науке. Все профессии, мисс Пейтон, имеют право на существование, а что станется с хирургом, если его пациенты будут умирать прежде, чем он успеет их осмотреть!

Доктор пустился в рассуждения о том, возвратится или не возвратится отряд, но тут энергичный стук в дверь вызвал новую тревогу у женщин. Машинально положив руку на пилу, с которой он носился весь день в тщетном ожидании ампутации, доктор спокойно заявил дамам, что защитит их в случае опасности, и пошел открывать дверь.

— Капитан Лоутон! — воскликнул он, увидев драгуна, который, опираясь на плечо младшего офицера, с трудом переступил через порог.

— Это вы, мой дорогой костоправ? Какая удача, что вы здесь и можете исследовать мой костяк! Только бросьте, пожалуйста, эту злодейскую пилу.

Мейсон в нескольких словах объяснил хирургу, при каких обстоятельствах капитан получил ушибы, а мисс

Пейтон любезно предложила сделать для него все необходимое. Пока приготовляли комнату и доктор важно отдавал распоряжения, капитан по приглашению дам отдыхал в гостиной. На столе стояло блюдо с кушаньем более существенным, чем те, какие обычно подаются к чаю, и оно не замедлило привлечь к себе внимание драгуна. Мисс Пейтон вспомнила, что сегодня офицеры, очевидно, ели только один раз — утром за ее столом,— и сердечно пригласила их снова подкрепиться. Долго настаивать не пришлось; через несколько минут оба драгуна с комфортом сидели за столом и занимались делом, которое прерывалось лишь тогда, когда капитан морщился от боли, вызванной каким-нибудь неловким движением. Впрочем, эти перерывы не очень-то ему мешали, и капитан успел справиться со своей серьезной обязанностью, когда появился хирург и объявил, что в комнате на втором этаже все уже готово.

— Вы ужинаете! — воскликнул изумленный врач.— Вам что, умереть захотелось, капитан Лоутон?

— Нет, не в этом цель моих честолюбивых стремлений, но именно поэтому я запасся материалом, необходимым для поддержания жизни,— сказал капитан и, встав из-за стола, вежливо пожелал спокойной ночи дамам.

Хирург что-то недовольно проворчал и вышел вслед за капитаном и Мейсоном из столовой.

В те времена в каждом американском доме была так называемая «парадная комната»; эту комнату благодаря тайным заботам Сары отвели полковнику Уэлмиру. Кровать английского офицера была покрыта стеганым пуховым одеялом, особенно приятным в морозную ясную ночь для ушибленных рук и ног. В массивном серебряном кубке, украшенном фамильным гербом Уортонов, было палито на ночь питье; впрочем, великолепные фарфоровые кружки выполняли то же назначение и в комнатах обоих американцев. Сара, конечно, бессознательно отдала молчаливое предпочтение английскому офицеру, но капитану Лоутону, если бы не его ушибы, не нужны были ни мягкая постель, ни кубок и все прочее, кроме питья, ибо он привык проводить ночи не раздеваясь, а частенько и не слезая с седла. Когда он расположился в небольшой, однако весьма удобной комнате, доктор Ситгривс приступил к осмотру. Только он дотронулся до тела пациента, как тот нетерпеливо вскрикнул:

— Сделайте одолжение, Ситгривс, положите куда-нибудь свою ужасную пилу, а не то мне придется взять для самозащиты саблю. От одного вида вашей пилы у меня в жилах стынет кровь.

— Непонятный страх перед столь полезным инструментом у человека, так часто подвергающего свое здоровье и свою жизнь опасности, капитан Лоутон.

— Спаси меня боже от нее! — вздрогнув, ответил драгун.

— Но не станете же вы презирать свет науки и не откажетесь от хирургической помощи, если понадобится прибегнуть к пиле.

— Откажусь!

— Откажетесь?

— Да, пока я жив и способен себя защищать, я не допущу, чтобы меня пилили, как воловью тушу! — крикнул непоколебимый драгун.— Но я хочу спать. Сломаны у меня ребра или нет?

— Нет.

— А какая-нибудь кость?

— Нет.

— Том, не подадите ли вы мне кувшин? — Проглотив залпом питье, капитан неторопливо повернулся спиной к своим друзьям и добродушно крикнул: — Доброй ночи, Мейсон! Доброй ночи, доктор Гален! [1]

Капитан Лоутон глубоко уважал хирургические таланты своего приятеля, но относился весьма недоверчиво к действию лекарств на человеческие недуги. Он не раз утверждал, что человек с полным желудком, смелым сердцем и чистой совестью может выдержать любые передряги и устоять перед любыми превратностями судьбы. Смелое сердце ему даровала природа, и, по правде говоря, он неизменно стремился к тому, чтобы первое и третье условия его кредо были также выполнены. Он любил говорить, что смерть поражает последними глаза, а предпоследними — челюсти. И в пояснение добавлял, что тут явственно сказывается умысел самой природы: пусть человек сам решает, какую пищу отправить в свое святилище — рот; а уж если кусок невкусный, пеняй на самого

---

[1] Гален — римский врач, живший во II веке до н. э. и вплоть до средних веков считавшийся большим авторитетом в области медицины.

себя. Доктор хорошо знал взгляды капитана, и, когда тот бесцеремонно повернулся к нему и Мейсону спиной, он посмотрел на своего пациента с презрительным сожалением, заботливо, чуть ли не благоговейно сложил в сафьяновый чемоданчик свои пузырьки с лекарствами, победоносно повертел в руках пилу и, не удостоив ответом прощальные слова драгуна, вышел из комнаты. Мейсон прислушался к дыханию капитана и, поняв, что слов «доброй ночи» тот все равно не услышит, поспешил откланяться дамам; потом вскочил в седло и во весь опор понесся к Четырем Углам, где разместился отряд.

Глава X

Когда душа отходит в мир иной
И закрываются глаза навеки,
Душа взывает к жалости людской
И просят слез закрывшиеся веки.

Грей

Владения мистера Уортона раскинулись по обе стороны дома, который он занимал, и бо́льшая часть его земли лежала невозделанной. То тут, то там виднелись отдельные постройки, но в них никто не жил, и они быстро разрушались. Близость к обеим враждующим армиям почти вытеснила из графства занятия земледелием. Хозяину не имело смысла затрачивать время и труд на то, чтобы заполнять свои закрома, которые могли опустошить первые же проходящие мимо фуражиры. Все стремились взять с земли лишь необходимое для скудного пропитания — все, кроме тех, кто жил в непосредственной близости к одной из сражающихся сторон и мог чувствовать себя в безопасности от набегов легких отрядов другой. Для этих фермеров война была золотой нивой; особенно выгодна она была тем, кто имел связи с королевской армией. Мистеру Уортону не было нужды обрабатывать свои поля, чтобы обеспечить семью, он охотно перенял осторожную практику тех дней и ограничился выращиванием продуктов сельского хозяйства, которые долго не залеживались, или же таких, какие нетрудно было скрыть от

пронырливых фуражиров. Вот почему на арене военных действий не осталось ни одного жилого дома, кроме того, что принадлежал отцу Гарви Бёрча. Этот дом стоял между тем местом, где произошло столкновение американской кавалерии с неприятелем, и полем, где драгуны атаковали отряды полковника Уэлмира.

День сражения был для Кэти Хейнс богат событиями. Осмотрительная домоправительница сохраняла в своих политических взглядах строгий нейтралитет. Ее друзья поддерживали дело борцов за свободу, сама же девица уповала на то, что для нее, как и для женщин с более блестящими видами на личное счастье, настанет время, когда понадобится принести любовь к родине в жертву семейному очагу. Однако, несмотря на всю свою мудрость, эта милейшая особа в иные минуты мучилась сомнениями, на какую чашу весов ей следует бросить груз своего красноречия, чтобы без ошибки ратовать за дело, которому сочувствует разносчик. Его слова и образ жизни были так непонятны, что часто, когда она оставалась с ним наедине и уже совсем готова была обрушить обличительную речь на Вашингтона и его последователей, благоразумие сковывало ей уста, и в ее мозгу снова рождались сомнения. Что говорить, поведение этого загадочного существа, за которым она так внимательно наблюдала, могло сбить с толку даже человека с более широким кругозором и лучшим знанием жизни и людей, нежели Кэти.

Сражение на Уайт-Плейнс показало осторожному Вашингтону преимущества врага в организованности, вооружении и дисциплине. Главнокомандующему американской армией предстояло преодолеть многие трудности ценою больших усилий и постоянной бдительности. Он отвел войска в горы северной части Вест-Честера, отбил атаки королевской армии, а сэр Уильям Хау[1] вернулся в опустевший город Нью-Йорк, завоевание которого не дало ему никаких преимуществ. Впоследствии враждующие армии не мерились больше силами в границах Вест-Честера, хотя что ни день, там снова появлялись партизаны

[1] Уильям Хау — английский генерал; до 1778 года был главнокомандующим английской армией на территории Северной Америки.

и случалось, что на утренней заре жители узнавали о бесчинствах, совершенных под покровом ночи.

Разносчик делал свои переходы главным образом в часы, когда люди спят. Нередко вечером солнце расставалось с ним в одном конце графства, а утром встречало в другом. Тюк был его неизменным спутником, и те, кто внимательно следил за Бёрчем, когда он продавал свои товары, полагали, что его единственной целью была нажива. Порой его видели неподалеку от нагорья склоненным под тяжестью своей ноши, порой — вблизи реки Гарлем шагающим легкой походкой, обратив лицо к заходящему солнцу. И всегда он появлялся неожиданно и лишь на краткий миг. В другое время его не видели — разносчик исчезал на долгие месяцы, и никто не знал, куда он отправился.

Сильные отряды охраняли Гарлемские возвышенности, а северный берег острова Манхаттана щетинился штыками английских часовых; тем не менее Бёрч сновал туда и обратно, но его не замечали, и никто не причинял ему вреда. Он часто появлялся и у линии американских войск, однако с гораздо большими предосторожностями. Часовые, охранявшие горные ущелья, не раз говорили о странной фигуре, пробиравшейся мимо них в вечернем тумане. Рассказы об этом доходили до офицеров, и, как мы уже упоминали, разносчик дважды попадался в руки американцам. В первый раз он ускользнул от капитана Лоутона вскоре после ареста; во второй — его приговорили к смерти. На утро казни клетка оказалась открытой, а птичка улетела. Это непостижимое бегство произошло, когда Бёрч находился под надзором любимого офицера Вашингтона, а на карауле стояли солдаты, которых считали достойными охранять самого главнокомандующего. Таких уважаемых людей нельзя было заподозрить ни в измене, ни в том, что их подкупили, и среди рядовых укоренилось мнение, будто разносчик знается с нечистым. Кэти с негодованием отвергала такие предположения; размышляя об этих событиях, она приходила к заключению, что нечистая сила не платит золотом. Не платит, думала экономка, и Вашингтон; бумажные ассигнации и обещания — вот что мог раздавать своим слугам командующий американскими войсками. После заключения союза с Францией в Америке появилось больше серебра, но, хотя Кэти никогда не упускала случая заглянуть в замшевый

кошелек Бёрча, она ни разу не обнаружила ни одной монеты с изображением Людовика[1] между хорошо знакомыми ей монетами с портретом Георга III. Словом, тайный клад разносчика со всей очевидностью доказывал, что его запасы золота получены от англичан.

Американцы часто наблюдали за домом Бёрча с целью арестовать его, но всегда безуспешно; тот, кого подозревали в шпионаже, тайными путями узнавал об их намерениях и неизменно разрушал их планы. Однажды, когда сильный отряд континентальной армии целое лето стоял на постое в деревне Четыре Угла, сам Вашингтон распорядился денно и нощно не спускать глаз с дверей дома Бёрча. Приказ исполнялся в точности, но за все это время разносчик ни разу не появился; отряд отозвали, и на следующий день Бёрч вернулся домой. Вследствие подозрительной репутации сына постоянно беспокоили и отца. Однако, несмотря на самую тщательную слежку за стариком, к нему невозможно было придраться, а его имущество было столь ничтожно, что так называемые «патриоты» сдерживали свой пыл — не стоило усердствовать ради конфискации или покупки таких жалких владений. Старость и печали грозили в любой час избавить отца Гарви Бёрча от дальнейших преследований; масло иссякло в светильнике его жизни. Горестно расставались в последний раз отец и сын, но они покорились тому, что́ оба считали своим долгом. Старик скрывал от соседей, что дни его сочтены, и все еще надеялся увидеться с сыном перед смертью. Волнения минувшего дня и все усиливающийся страх, что Гарви опоздает, приблизили событие, которое старику хотелось отдалить. Ночью ему стало так плохо, что Кэти Хейнс испугалась и отправила случайно забежавшего к ним во время боя мальчика к мистеру Уортону с просьбой прислать кого-нибудь побыть с ней. Отпустить можно было только Цезаря. Отзывчивая мисс Пейтон нагрузила слугу съестными припасами и подкрепляющими сердце снадобьями и отправила его на помощь Кэти. Впрочем, умирающему старику не были уже нужны лекарства, и, казалось, его волновало лишь желание повидаться с сыном. Шум, сопровождавший погоню за Бёрчем, был слышен в доме, но никто из нахо-

---

[1] Людовик — французский король Людовик XVI (1774—1792).

дившихся там не догадывался о его причине; Кэти и Цезарь знали, что отряд американской кавалерии отошел к югу, и вообразили теперь, будто он возвращается на свою прежнюю стоянку. Они слышали, как кавалеристы медленно проехали мимо, однако экономка, уступив благоразумным наставлениям негра, сдержала свое любопытство и не вышла из дома. Старик лежал с закрытыми глазами; Кэти и Цезарь думали, что он спит. В доме Бёрча были две большие и две маленькие комнаты. Одна большая комната служила кухней и гостиной, во второй лежал больной старик. Одна маленькая была святилищем Кэти, во второй хранилась провизия. В центре дома высилась огромная кирпичная печь, разделявшая большие комнаты, и в каждой из них был соответствующих размеров очаг. В то время, о котором мы ведем рассказ, яркий огонь горел в очаге на кухне, а возле его громадной пасти сидели Цезарь и Кэти. Африканец внушал экономке, что нужно быть осторожным, и рассуждал о том, как опасно праздное любопытство.

— Лучше не искушать сатану,— сказал Цезарь и так закатил глаза, что белки заблестели в отсвете пламени.— Я сам раз чуть не потерял ухо из-за маленького любопытства; от него много несчастий. Если бы не любопытство, белые люди не ехали бы в Африку, а черные жили бы у себя дома... Скорей бы Гарви пришел!

— Очень неуважительно с его стороны не быть дома в такое время,— строго сказала Кэти.— А что, если отец захочет в последние минуты составить завещание — кто напишет ему такую важную, серьезную бумагу? Гарви очень неуважительный и пустой человек.

— А может, он уже написал эту бумагу?

— Ничего удивительного, если и написал,— ответила экономка: — ведь он целые дни смотрит в библию.

— Очень хорошая книга,— торжественным тоном заявил негр.— Мисс Фанни читает ее Дине.

— Ты прав, Цезарь, библия — самая лучшая книга! У того, кто читает ее так часто, как отец Гарви, наверное есть на то особые причины. Это понятно всякому здравомыслящему человеку.

Кэти поднялась со стула, тихонько прокралась к комоду в комнате больного старика, вынула из ящика тяжелую библию в толстом переплете с массивными медными застежками и вернулась к Цезарю. Книгу быстро

раскрыли и принялись перелистывать. Кэти не была большим грамотеем, а Цезарь и вовсе не знал букв. Экономка некоторое время разыскивала слово «Матфей», а когда нашла, с гордостью показала его внимательно следившему за ней Цезарю.

— Хорошо, теперь читай по порядку,— сказал негр, глядя через плечо домоправительницы и держа длинную тонкую свечу из желтого сала так, чтобы ее слабый свет падал на книгу.

— Ладно, но придется начать с самого начала,— отозвалась Кэти, аккуратно перелистывая страницы в обратную сторону. Наконец, перевернув две сразу, она нашла густо исписанный лист.— Вот,— сказала Кэти, задрожав от нетерпения,— вот эти слова. Я ничего бы не пожалела, лишь бы узнать, кому он завещал большие серебряные пряжки для башмаков...

— Читай,— коротко сказал Цезарь.

— «...и черный ореховый комод...» Гарви не нужна такая мебель, раз он не женится...

— Почему не нужна? Ведь была же она нужна отцу.

— ...и шесть серебряных столовых ложек... Гарви всегда ест оловянной ложкой!

— Может, он это здесь все сказал без многих слов,— заметил многозначительно Цезарь, указывая кривым темным пальцем на раскрытую страницу.

Итак, последовав совету Цезаря и побуждаемая собственным любопытством, Кэти принялась за чтение. Стремясь скорее добраться до наиболее интересной для нее части, она начала сразу с середины:

— «Честер Бёрч, родившийся сентября первого, 1755 года»,— прочитала Кэти с запинками, не делавшими большой чести ее учености.

— Так что он ему дает?

— «Абигайл Бёрч, родилась июля двенадцатого, 1757 года»,— тем же тоном продолжала экономка.

— Ей, верно, отдает ложки.

— «Июня первого, 1760 года. В этот страшный день кара разгневанного бога поразила мой дом...»

Мучительный стон, донесшийся из соседней комнаты, заставил Кэти невольно закрыть книгу, а Цезарь задрожал от испуга. Никто из них не решился пойти взглянуть на больного, но оба слышали, что он по-прежнему тяжело дышит. Все же Кэти не отваживалась снова открыть

библию и, осторожно защелкнув застежки, молча положила книгу на стол. Цезарь опять уселся в кресло и, смущенно оглядевшись вокруг, заметил:

— Видно, пришел его час.

— Нет,— торжественно сказала Кэти,— он проживет до прилива или пока не запоет первый петух.

— Бедняга! — продолжал негр, придвигаясь еще ближе к огню.— Я надеюсь, он будет лежать тихо, когда умрет.

— Нисколько не удивлюсь, если наоборот: говорят, человек, беспокойный при жизни, не знает покоя и в гробу.

— Джонни Бёрч по-своему очень хороший человек. Все не могут быть священниками; если все будут священниками, кто же будет паствой?

— Ах, Цезарь, только тот хорош, кто поступает хорошо! Ну скажи, для чего зарывать честно нажитое золото в землю?

— Господи! Верно, для того, чтобы скиннеры его не нашли. Но, если он знает, где золото, почему он его не выкопает?

— Должно быть, на это есть причины, но тебе их не понять,— ответила Кэти и придвинула стул, чтобы ее платье прикрыло магический кирпич, под которым втайне хранил свое богатство Бёрч; не удержавшись, чтобы не сказать о своем секрете, хоть ей и не хотелось выдавать его, Кэти добавила: — Шероховатое снаружи часто содержит гладкое внутри.

Не сумев проникнуть в скрытый смысл этой загадки, Цезарь огляделся по сторонам, и вдруг его блуждающие глаза остановились и зубы застучали от страха. Кэти тотчас заметила, как изменилось лицо негра, и, повернувшись, увидела, что на пороге стоит разносчик.

— Он жив? — спросил Бёрч дрожащим голосом, видимо страшась услышать ответ.

— Жив,—ответила Кэти и, проворно поднявшись, услужливо предложила свой стул.— Он не умрет до рассвета или пока не кончится прилив.

Разносчик ничего не замечал. Услышав, что отец жив, он на цыпочках прошел в комнату умирающего. Отца и сына связывали далеко не обычные узы. Друг для друга они были самыми дорогими в мире людьми. Если бы экономка прочитала еще несколько слов, написанных на ли-

стке, она узнала бы печальную историю их несчастий. Одним ударом они лишились близких и достатка, и с того дня, где бы они ни были, за ними по пятам следовали горе и гонения. Подойдя к постели, Гарви наклонился над больным и, задыхаясь от волнения, прошептал ему на ухо:

— Вы узнаете меня, отец?

Старик медленно открыл глаза, и довольная улыбка мелькнула на его бледном лице; по контрасту с ней печать смерти казалась особенно ужасной. Разносчик поднес к запекшимся губам отца укрепляющее лекарство, которое он принес с собой, и на несколько минут к больному вернулись силы. Он заговорил, медленно и с трудом. Любопытство сковало Кэти уста, на Цезаря такое же действие произвел благоговейный страх, а Гарви едва дышал, прислушиваясь к словам отлетающей души.

— Сын мой...— глухо произнес старик.— Скоро, дитя мое, ты останешься в одиночестве. Я хорошо тебя знаю и предвижу, что ты будешь странником всю свою жизнь. Надломленный тростник может уцелеть, но никогда не выпрямится. В тебе самом те качества, которые поведут тебя по верному пути; продолжай, Гарви, так, как ты начал, ибо нельзя пренебрегать своим долгом и...

Шум в соседней комнате прервал слова умирающего, и встревоженный разносчик поспешил узнать, в чем дело; следом за ним пошли Кэти и Цезарь. Один лишь взгляд, брошенный на фигуру, показавшуюся в дверях, со всей очевидностью сказал Гарви, зачем явился этот человек и какая участь ожидает теперь его самого. Пришелец был не стар годами, но черты его лица изобличали душу, многие годы одержимую дурными страстями. На нем было платье из самой убогой материи и до того изодранное, что, казалось, он намеренно хотел выглядеть бедняком. Волосы его поседели раньше времени, а запавшие угрюмые глаза бегали по сторонам, уклоняясь от встречи со смелым, честным взором. Резкие и беспокойные движения, вся его манера держаться свидетельствовали о низменной натуре, вызывали отвращение у окружающих и были во вред ему самому. Это был хорошо известный вожак одной из мародерских банд, которые рыскали по графству и, прикидываясь патриотами, совершали множество преступлений, начиная с мелких краж и кончая убийствами. За ним стояло еще несколько человек, одетых не лучше его;

их лица выражали полное равнодушие и тупую бесчувственность. У всех были мушкеты со штыками — обычное снаряжение солдат-пехотинцев. Гарви знал, что сопротивляться бесполезно, и спокойно подчинился мародерам. В один миг с него и с Цезаря содрали приличное платье, а взамен дали лохмотья, снятые с двух самых гнусных бандитов. Разносчика и негра поставили в разные углы комнаты и, угрожая мушкетами, приказали отвечать правду на все вопросы.

— Где твой тюк? — прежде всего спросили разносчика.

— Послушайте,— дрожа от волнения, проговорил Бёрч,— в комнате рядом лежит мой отец, он умирает. Позвольте мне пойти к нему принять его благословение и закрыть ему глаза, и вы получите все, да — все.

— Отвечай на вопросы, или мушкет отправит тебя туда, куда собирается этот выживший из ума старик! Где твой тюк?

— Я ничего не скажу, пока меня не пустят к отцу,— твердо сказал разносчик.

Мучитель со злобой поднял руку, готовясь привести свою угрозу в исполнение, но один из дружков остановил его:

— Что ты делаешь! Ты забыл о награде? Скажи, где твое добро, Бёрч, и мы отпустим тебя к отцу.

Бёрч тотчас же повиновался, и одного мародера послали за добычей. Тот вскоре вернулся и, бросив на пол тюк, заявил, что он легок, как перышко.

— Ага,— крикнул вожак,— а где золото, вырученное за товары, которые в нем находились? Отдай нам золото, мистер Бёрч; мы знаем, что оно у тебя есть, не станешь же ты брать никчемные бумажные деньги.

— Вы нарушаете свое обещание,— сказал Бёрч.

— Давай золото! — свирепо рявкнул главарь и прижал к груди разносчика штык с такой силой, что из нее брызнула кровь.

В эту минуту из соседней комнаты донесся легкий шум, и Гарви умоляюще воскликнул:

— Пустите меня... пустите меня к отцу, я вам все отдам!

— Клянусь, я отпущу тебя, если ты отдашь золото,— сказал скиннер.

— Вот, берите этот мусор,— крикнул Бёрч, бросая ко-

шелек, который он умудрился спрятать, несмотря на то что сменил одежду.

Разбойник с дьявольским смехом поднял кошель с пола.

— Ага, только с отцом ты увидишься на небесах!

— Чудовище, неужели у тебя нет никаких чувств, ни веры, ни совести!

— Послушать его, так не подумаешь, что веревка уже была у него на шее,— смеясь, вмешался один из мародеров.

— Можете не беспокоиться, мистер Бёрч, если старик и тронется в путь на несколько часов раньше, вы последуете за ним не позднее, чем завтра в полдень.

Эти безжалостные слова не произвели впечатления на Бёрча. Затаив дыхание, он прислушивался к каждому звуку в комнате отца. Наконец он услышал свое имя, произнесенное глухим, прерывающимся голосом. Больше Бёрч не мог выдержать и закричал:

— Отец! Тсс!.. Отец!.. Я иду! Я иду!..

Он метнулся, оттолкнув караулившего его скиннера, но тотчас же другой бандит пригвоздил его к стенке. По счастью, быстрое движение спасло разносчика от грозившего ему смертью удара — штык проткнул только его платье.

— Нет, мистер Бёрч,— сказал скиннер,— мы слишком хорошо знаем, какой ты ловкий мошенник, и не пустим тебя. Золото, где твое золото?

— Оно у вас,— ответил разносчик, судорожно пытаясь освободиться.

— Да, кошелек у нас, но у тебя есть еще деньги. Король Георг щедро платит, а ты оказал ему немало ценных услуг. Где твой клад? Не отдашь — не видать тебе отца!

— Поднимите камень, на котором стоит эта женщина,— порывисто крикнул разносчик,— поднимите камень!

— Он бредит, он бредит! — завопила Кэти, невольно ступив ногой на другой камень.

Его тут же вытащили, но под ним была лишь земля.

— Он бредит, вы свели его с ума! — вся дрожа, причитала экономка.— Станет ли такой разумный человек, как Бёрч, прятать золото под очагом.

— Замолчи ты, глупая женщина! — крикнул Гарви.— Поднимите камень в углу, и вы найдете для себя богатство, а меня сделаете нищим.

— И все будут вас презирать,— горько заметила Кэти.— Разносчик без товара и денег — презренный человек.

— Себе на веревку ему хватит,— сказал скиннер.

Не мешкая долго, он послушался Гарви и вскоре вытащил из тайника немалый запас английских гиней. Деньги живо высыпали в мешок, не обращая внимания на жалобы Кэти, уверявшей, что ей не заплачено жалованье и что по праву хотя бы десять гиней принадлежат ей.

Очень довольные богатой добычей, которая превзошла все их ожидания, бандиты собрались уйти и решили забрать с собою разносчика, чтобы сдать его американским войскам и потребовать за это обещанную награду. Все было готово, и они уже хотели потащить Бёрча силой, ибо он отказался двинуться с места, как вдруг перед ними выросла фигура, испугавшая даже самых храбрых. Крики сына подняли старика с постели, и, еле держась на ногах, он вышел из своей комнаты. Он закутался в простыню, глаза его были неподвижны, щеки ввалились — казалось, это явился выходец с того света. Даже Кэти и Цезарь подумали, что видят дух старого Бёрча; они опрометью бросились вон из дома, а следом за ними ринулись и перепуганные скиннеры. Возбуждение, придавшее силы умирающему, быстро прошло, и сын, подхватив его на руки, понес обратно в постель.

Наступившая реакция ускорила конец. Остекленевшие глаза старика смотрели на сына, губы шевелились, но голоса его не было слышно. Гарви наклонился и вместе с последним вздохом принял от отца предсмертное благословение. Впоследствии жизнь разносчика почти всегда бывала отравлена нуждой и несправедливостью; однако самые жестокие страдания и злоключения, бедность и клевета, постоянно преследовавшие его, не вытеснили воспоминания об этом благословении; оно озаряло своим светом картины прошлого, утешало в самые горестные минуты отчаяния; оно поддерживало надежду на лучшее будущее и укрепляло в Гарви сознание, что он преданно и верно выполнил священный долг сыновней любви.

Цезарь и Кэти бежали так стремительно, что им было не до размышлений. Впрочем, они вскоре инстинктивно отстали от скиннеров. Остановившись, экономка торжественным тоном сказала:

Крики сына подняли старика с постели, и, еле держась на ногах, он вышел из своей комнаты.

— О Цезарь, разве не ужасно, что старик встал раньше, чем его опустили в могилу! Видно, деньги его растревожили. Говорят, душа капитана Кида бродит возле того места, где он в прежнюю войну зарыл золото.

— Цезарь не думал, что у Джонни Бёрча такие громадные глаза,— стуча зубами от страха, сказал негр.

— Я уверена, что всякий живой человек расстроится, потеряв так много денег. Теперь Гарви ничто, он самый презренный, никчемный бедняк. Хотела бы я знать, на что он надеется. Кто захочет теперь пойти к нему в экономки?

— Может быть, дух унес Гарви тоже,— заметил Цезарь, придвинувшись поближе к своей спутнице.

Но воображением Кэти владела уже новая мысль. А что, если грабители с перепугу бросили свою добычу? Поразмыслив и потолковав немного, Кэти и Цезарь решили вернуться обратно, чтобы выяснить это важное обстоятельство, а если удастся, узнать и о том, какая судьба постигла разносчика. Медленно, с большими предосторожностями они направились к страшному месту, а когда вышли на дорогу, по которой отступали скиннеры, предусмотрительная Кэти в поисках оброненного золота вглядывалась в каждый камешек. Однако, хотя разбойники, напуганные стариком и криком Цезаря, удирали сломя голову, они не выпустили из рук клада, вцепившись в него мертвой хваткой. Увидев, что в доме все спокойно, Кэти наконец отважилась туда войти. Разносчик с тяжелым сердцем выполнял последние печальные обязанности перед покойным. Несколько слов открыли Кэти, что она заблуждалась и старый Бёрч действительно умер, но Цезарь до конца дней своих продолжал изумлять чернокожих обитателей кухни глубокомысленными рассуждениями о духах и рассказами о том, каким жутким был призрак Джонни Бёрча.

Опасность заставила разносчика сократить даже тот короткий срок, в течение которого, по американскому обычаю, близкие остаются с умершими, и с помощью Кэти и негра грустные хлопоты были быстро закончены. Цезарь вызвался заказать гроб и пошел к плотнику, живущему в двух милях от Бёрчей; тело старика, облаченное в его обычную одежду, покрыли простыней и стали ждать возвращения негра.

Скиннеры во всю прыть побежали в лес, находившийся

неподалеку от дома разносчика; благополучно укрывшись под его сенью, они произвели смотр своим насмерть перепуганным силам.

— Какой дьявол вселился в ваши трусливые душонки? — в сердцах крикнул главарь, тяжело переводя дух.

— Об этом можно спросить и тебя,— мрачно отозвался один из бандитов.

— Вы так испугались, будто нас нагнал отряд де Ланси! Здорово же вы улепетываете, джентльмены!

— Мы следуем за своим предводителем.

— Так пойдемте за мной назад, схватим этого мошенника и потребуем за него награду.

— Превосходно, но к тому времени, когда мы вернемся к его дому, чернокожий плут приведет туда этого бешеного виргинца. Ей-богу, я охотнее встречусь с полсотней ковбоев, чем с ним одним.

— Болван! — закричал разъяренный главарь.— Разве ты не знаешь, что кавалеристы Данвуди стоят в деревне Четыре Угла, в добрых двух милях отсюда?

— Плевал я на то, где стоят драгуны, но я могу поклясться, что капитан Лоутон вошел в дом старого Уортона — я сам это видел, когда выжидал подходящей минуты, чтобы увести из конюшни коня английского полковника.

— Ну и что ж, пусть является: разве пуля не прихлопнет драгуна с Юга так же, как и солдата из Старой Англии?

— Что верно, то верно, но не желаю я лезть в осиное гнездо. Прихлопнешь одного драгуна, а потом ни одной ночи не сможешь заниматься своим делом.

— Ладно,— пробормотал вожак, углубляясь со своей шайкой в лес,— этот дурень разносчик останется хоронить старого черта, а потом должен будет позаботиться о продаже своего имущества. Во время погребения его нельзя будет даже пальцем тронуть, не то все старухи и священники Америки поднимутся против нас, но завтра ночью мы с ним расквитаемся.

С такой угрозой скиннеры отошли к одной из своих постоянных стоянок, чтобы с наступлением темноты снова заняться грабежом, не опасаясь ареста.

Глава XI

О горе! Горький, горький, горький день!
Плачевный, самый горький день из всех,
Какие приходилось видеть мне!
Проклятый, страшный, ненавистный день!
Нет, мир не знал таких ужасных дней.
О горький день! О горький день!

Шекспир

В коттедже «Белые акации» одни спали, другие бодрствовали, но никто из членов семейства Уортон не подозревал о событиях, происходивших в доме Бёрча. Скиннеры всегда нападали так неожиданно, что их жертвы не могли рассчитывать на помощь соседей; нередко из опасения навлечь на себя беду те даже не выражали сочувствия пострадавшим. Новые обязанности подняли дам с постели на час раньше обычного; капитан Лоутон, несмотря на сильные боли, не отступил от своего неизменного обычая и встал, проспав только шесть часов. Таково было одно из немногих правил заботы о здоровье, в котором капитан и полковой хирург кавалерии сходились во взглядах. Последний провел ночь у постели капитана Синглтона, так и не сомкнув глаз. Время от времени он заходил в комнату раненого англичанина, но Уэлмир, страдавший скорее нравственно, чем физически, встречал медика весьма нелюбезно. Один раз доктор отважился на мгновение тихонько прокрасться в комнату к своему упрямому другу, но только он решился пощупать ему пульс, как храбрый воин разразился во сне такими страшными проклятиями, что доктор благоразумно отступил, вспомнив ходившую в полку поговорку: «Капитан Лоутон одним ухом спит, другим слышит». Когда солнце, поднявшись из-за гор, рассеяло клубы тумана, окутавшего низину, дамы и капитан Лоутон встретились в гостиной.

Мисс Пейтон посмотрела из окна в сторону дома разносчика и выразила беспокойство о здоровье больного старика; вдруг из густого облака, стлавшегося над землей и постепенно таявшего в веселых лучах солнца, вынырнула фигура Кэти, быстрым шагом направлявшейся к коттеджу «Белые акации». Лицо экономки выражало необычайное горе, и сердобольная хозяйка отворила перед ней дверь гостиной с искренним желанием утешить ее в печали, казалось, такой глубокой. Взглянув на взвол-

нованное лицо Кэти, мисс Пейтон уверилась в своем предположении; она ощутила удар в сердце, который всегда поражает чувствительных людей, когда они неожиданно узнают о вечной разлуке даже с самыми далекими знакомыми, и тотчас спросила:

— Он ушел от нас, Кэти?

— Нет, мэм,— с большой горечью ответила взбудораженная девица,— пока нет, но теперь пусть он уходит, когда ему вздумается, ведь самое худшее уже случилось. Они не оставили даже денег на новую одежду, чтоб он мог прикрыть свое тело, а та, что на нем, далеко не из лучших, скажу я вам, мисс Пейтон, уж это истинная правда!

— Как,— воскликнула изумленная хозяйка дома,— неужели у кого-нибудь хватит духу ограбить человека в таком несчастье!

— Хватит духу? — задыхаясь, повторила Кэти.— Уж такие-то люди не знают жалости. Именно ограбить в несчастье! Уверяю вас, мэм, в этом чугунке лежало сверху пятьдесят четыре золотых гинеи, а кто знает, сколько там было под ними! Я не трогала их, да и не хотела трогать,— говорят, что чужое золото липнет к рукам... но, уж наверное, там было не меньше двухсот гиней, не считая того, что он хранил в замшевом кошельке. Зато теперь Гарви все равно что нищий, а нищий, мисс Дженнет,— это самое что ни на есть презренное существо в целом свете.

— Бедных надо жалеть, а не презирать,— возразила мисс Пейтон, все еще не вполне понимая, как велико бедствие, постигшее этой ночью ее соседей.— Но как себя чувствует старик? Его очень расстроила эта потеря?

Непритворное огорчение на лице Кэти уступило место выражению напускной печали:

— К счастью, он освободился от земных забот. Звон золотых монет поднял его с постели, и бедняга не вынес потрясения. Петух пропел через два часа десять минут после смерти старика, а чтобы сказать точно...

Излияния Кэти прервал доктор. Подойдя к ней, он с большим интересом стал расспрашивать, чем страдал покойный. Окинув взглядом своего нового знакомца, домоправительница машинально оправила платье и ответила:

— Тревожные времена и потеря состояния свели его в могилу; он угасал с каждым днем, и все мои заботы и

труды пропали даром... А кто заплатит мне за них теперь, когда Гарви совсем разорился?

— За добрые дела вас вознаградит господь,— сочувственно сказала мисс Пейтон.

— Да,— прервала ее Кэти, принимая благочестивый вид, тотчас же сменившийся выражением, говорившим, что ее гораздо больше волнуют мирские заботы,— но Гарви не выплатил мне жалованья за три года, с кого же я получу теперь? Братья сто раз говорили мне, чтоб я стребовала с него свои деньги, но я думала, что счеты между родными сводятся очень просто.

— Так вы, значит, родственница Бёрча? — спросила мисс Пейтон, когда Кэти умолкла.

— .Я...— немного замявшись, ответила экономка,— я считала, что мы все равно что родственники. Не знаю, имею ли я право на дом и на сад, хоть и говорят, что имущество Гарви теперь, конечно, конфискуют.

Эти слова Кэти были обращены к капитану Лоутону. Он сидел молча, не двигаясь, и, насупившись, смотрел на нее из-под густых бровей своими проницательными глазами.

— Может быть, этот джентльмен знает — его, кажется, заинтересовал мой рассказ.

— Сударыня,— ответил драгун с низким поклоном,— вы сами и рассказ ваш на редкость интересны (Кэти не могла сдержать улыбку), но мои познания сводятся лишь к тому, что я умею вывести эскадрон на поле боя и командовать им. Я посоветовал бы вам лучше обратиться к доктору Арчибальду Ситгривсу, джентльмену с универсальными знаниями и беспримерному филантропу. Он само милосердие и смертельный враг неосторожных сабельных ударов.

Доктор поднялся и, тихо насвистывая какую-то песенку, принялся разглядывать склянки, стоявшие на столе, а экономка, повернувшись к нему, продолжала:

— Должно быть, сэр, женщина не имеет своей доли в наследстве мужа, если она с ним не обвенчана?

Доктор Ситгривс положил себе за правило не пренебрегать ни одной отраслью знаний; вот почему он, помимо своей профессии, понемногу разбирался во всем. Однако, оскорбленный ироническим тоном приятеля, он сначала решил промолчать, потом, изменив вдруг свое намерение, с добродушной улыбкой сказал:

— Полагаю, что не имеет. Если смерть предшествовала бракосочетанию, боюсь, что у вас нет возможности бороться с ее суровыми законами.

Для Кэти ответ прозвучал утвердительно — кроме слов «смерть» и «бракосочетание», она ничего не поняла. Именно на эти слова она и ответила, потупив глаза:

— Я думаю, он ждал только смерти старика, чтобы жениться, но теперь Гарви — презренный человек или, что то же самое, торговец без товара, без дома и без денег. Ну скажите, может ли человек в таком положении найти себе жену? Как вы думаете, мисс Пейтон?

— Я редко задумываюсь о таких вещах,— с достоинством сказала мисс Пейтон.

Во время этого диалога Лоутон с комической серьезностью изучал лицо и манеры экономки; боясь, как бы такой забавный разговор не иссяк, драгун, сделав вид, что все это ему очень любопытно, спросил:

— Так вы полагаете, что преклонный возраст и слабое здоровье были причиной смерти старого джентльмена?

— И тревожные времена. Тревоги доводят больного человека до крайности, вот почему — я так думаю — его час настал; а когда приходит время умирать, тут уж никакие лекарства не помогут.

— Позвольте мне возразить вам на это,— прервал ее доктор,— мы все должны умереть, это верно, но нам дозволено обращаться к свету науки и с ее помощью предотвращать опасность, пока...

— ...мы не умрем secundum artem! [1] — воскликнул драгун.

На это замечание доктор не соблаговолил ответить, но, считая, что он уронит свою профессиональную честь, если разговор не будет продолжен, добавил:

— Возможно, что в данном случае разумное лечение задержало бы процесс. Кто наблюдал за больным?

— Пока никто,— поспешила ответить экономка.— Я надеюсь, до процесса не дойдет, он высказал свою последнюю волю в завещании.

Доктор не обратил внимания на улыбки дам и продолжал расспрашивать:

— Без сомнения, весьма благоразумно подготовиться к смерти. Но я спрашиваю, под чьим наблюдением находился старик во время болезни?

[1] По всем правилам искусства (лат.).

— Под моим,— с важностью ответила Кэти,— но скажу вам прямо, мои труды пущены на ветер: Гарви теперь человек настолько презренный, что его особа не может послужить достаточным вознаграждением.

То, что оба не понимали друг друга, не мешало продолжению диалога, ибо каждый толковал слова собеседника по-своему. Итак, Ситгривс двинулся дальше:

— А какие меры вы принимали?

— Хорошие, конечно,— довольно сухо ответила экономка.

— Доктор спрашивает, какие вы давали лекарства,— заметил капитан Лоутон с выражением лица, которое было бы вполне уместно на похоронах покойного.

— Я лечила его главным образом настойками,— с улыбкой сказала Кэти, поняв свою ошибку.

— Лекарственными травами,— подхватил медик.— Что ж, в руках людей необразованных это безопаснее более сильных средств. Но почему никто не вел профессионального, так сказать, регулярного наблюдения за больным?

— Я уверена, Гарви и так достаточно натерпелся от регулярных за то, что слишком интересовался ими,— ответила экономка.— Он все потерял и теперь должен скитаться по свету; а я проклинаю тот день, когда переступила порог его дома.

— Доктор Ситгривс имел в виду не солдат регулярной армии, а регулярное посещение врача,— вставил драгун.

— О! — воскликнула домоправительница, снова поправляя себя.— По очень простой причине: нельзя было достать доктора, поэтому я сама ухаживала за стариком. Был бы поблизости доктор, мы бы, конечно, пригласили его; сама я обожаю лечиться, хоть Гарви и говорил, будто я убиваю себя лекарствами, но я уверена, что ему все равно, жива я или мертва.

— В этом вопросе сказывается ваш здравый смысл,— заметил доктор, подойдя ближе к Кэти, которая сидела, протянув руки и ноги к благодатному огню ярко горящего камина и стараясь устроиться как можно удобнее, несмотря на все свои заботы и тревоги.

— Вы, видимо, разумная, скромная женщина, и кое-кто, имевший все возможности приобрести правильный взгляд на вещи, может позавидовать вашему уважению к знаниям и свету науки.

Экономка не вполне поняла смысл этой фразы, но догадалась, что ей сделали комплимент; она осталась очень довольна словами хирурга и, еще больше оживившись, воскликнула:

— Про меня всегда говорили, что я и сама могла бы стать врачом. Пока я еще не поселилась у отца Гарви, меня называли доктором в юбке.

— Более справедливо, чем вежливо, сказал бы я,— заметил медик; восхищенный уважением Кэти к лекарскому искусству, он на мгновенье забыл, что она женщина.— При отсутствии более просвещенных советчиков скромная матрона своим опытом может весьма успешно помешать развитию болезни; а как огорчительно, сударыня, когда приходится сталкиваться с невежеством и упрямством!

— Вот именно, я это хорошо знаю по опыту! — обрадованно закричала экономка.— В таких делах Гарви упрям, как бессловесное животное. Можно было бы ожидать, что мои заботы об его отце, прикованном болезнью к постели, научат упрямца не относиться с презрением к хорошему уходу. О, когда-нибудь Гарви поймет, что значит иметь в доме заботливую женщину, хотя я уверена, он сам теперь слишком презренный человек, чтобы у него был дом.

— Еще бы, представляю себе, какую горькую обиду вы испытывали, имея дело с подобным своевольцем! — отозвался хирург, с упреком взглянув на своего приятеля.— Но вы должны подняться выше подобных суждений и с состраданием смотреть на невежество, которое их порождает.

Экономка, не поняв всего, что сказал хирург, с минуту молчала; однако в его словах она почувствовала участие и доброту и, стараясь сдержать свою обычную словоохотливость, ответила:

— Сколько раз я твердила Гарви, что он часто ведет себя недостойно, а вчера он убедился, как я была права. Конечно, суждения таких неверующих, как он, не имеют большого значения. Просто страшно подумать, как он иногда поступает! Вот, например, когда он с презрением выкинул иглу...

— Что? — прервал ее хирург.— Неужели он осмелился отнестись с презрением к игле? Такая уж мне выпала участь — каждодневно встречаться с подобными людьми,

которые еще более преступным образом не уважают света науки.

При этих словах Ситгривс повернулся лицом к Лоутону, но капитан наклонил голову, и доктор не увидел, с каким трудом тот сохраняет серьезный вид. Восхищенная Кэти, внимательно слушавшая доктора, прабавила:

— Кроме того, Гарви не верит в приливы.

— Не верит в приливы! — с изумлением повторил целитель телесных ран.— Этот человек не доверяет своим органам чувств? Может быть, он сомневается во влиянии луны?

— Вот именно! — воскликнула Кэти в восторге, что встретила ученого человека, который разделяет ее излюбленные взгляды.— Если бы вы послушали Гарви, вы подумали бы, что он вовсе не верит в существование месяца.

— Беда в том, сударыня, что неверие и невежество сопутствуют друг другу. Когда разум отвергает полезные сведения, он незаметно для себя начинает тяготеть к суевериям и таким взглядам на явления природы, которые не только противоречат истине, но и расходятся с основными принципами человеческих знаний.

Кэти почувствовала такое благоговение к этим словам, что не решалась ответить наобум, а хирург несколько минут молчал, погруженный в философское самосозерцание; наконец он сказал:

— Я даже представить себе не мог, что человек в здравом уме способен сомневаться в таких явлениях, как приливы, но я знаю, до чего опасно предаваться упрямству,— ведь это может привести к самым ужасным ошибкам.

— Вы, значит, думаете, что явление может влиять на приливы? — совсем запутавшись, наугад сказала Кэти.

Мисс Пейтон встала и знаком попросила племянниц помочь ей убрать посуду в буфет в соседней комнате; в это время на мрачном внимательном лице Лоутона на миг блеснуло оживление, которое он усилием воли погасил, и оно исчезло столь же внезапно, как и появилось.

Поразмыслив, верно ли он понял слова своей собеседницы, хирург решил, что следует поощрить такую любовь к науке, несмотря на отсутствие образования.

— Вы имеете в виду луну. Многие философы не могли решить, в какой степени она действует на приливы; однако, я полагаю, человек, не верящий в то, что она вызы-

вает приливы и отливы на море, сознательно отталкивает от себя свет науки.

Слово «отлив» было незнакомо Кэти, поэтому она решила благоразумно промолчать, но она сгорала от любопытства — уж очень ей хотелось знать, о каком могущественном свете так часто упоминает доктор,— и она спросила:

— Не называется ли в наших краях северным сиянием свет, про который вы говорите?

Из сострадания к невежеству экономки Ситтривс собрался было прочитать пространную лекцию о значении света науки, но ему помешало бурное веселье Лоутопа. Капитан слушал эту беседу с редким самообладанием, но тут его прорвало. Он хохотал до упаду, пока боль в костях не напомнила ему, что он свалился с лошади; никогда прежде по его лицу не текли такие крупные слезы. Наконец, воспользовавшись минутной паузой, уязвленный хирург сказал:

— Заблуждения необразованной женщины в вопросе, по поводу которого многие годы спорили люди науки, у вас вызывают лишь смех, но вы имели возможность убедиться, что эта почтенная матрона не считает свет... не считает зазорным прибегать к помощи инструментов, способствующих облегчению телесных страданий. Вы не можете отрицать, сэр, что она упомянула об игле.

— Еще бы,— в восторге крикнул драгун,— об игле, которой она штопает разносчику штаны!

Кэти поднялась с явным недовольством и тут же поспешила уверить его, что у нее были более возвышенные занятия.

— Игла служила мне не для штопки, а для важного дела.

— Объяснитесь, сударыня,— нетерпеливо сказал хирург,— пусть этот джентльмен поймет, как мало у него оснований торжествовать.

Кэти некоторое время молчала, стараясь подобрать слова, которые украсили бы ее рассказ. Вот в чем была его сущность. Маленький мальчик, которого комитет призрения бедных поместил в дом Бёрча, однажды напоролся на длинную иглу и сильно поранил себе ногу. Кэти обильно смазала эту иглу жиром, завернула в шерстяную тряпку и спрятала в некий магический уголок камина. Боясь ослабить действие заговора, ранку на ноге маль-

чика она даже не промыла. Когда разносчик вернулся домой, он испортил весь ее прекрасный метод лечения, прежде всего выбросив иглу. Эту историю Кэти закончила рассказом, к каким ужасным последствиям привело вмешательство Гарви.

— Не мудрено, что мальчишка умер от столбняка!

Доктор Ситгривс высунулся в окно, видимо любуясь прелестным утром, и старался изо всех сил избежать убийственного взгляда капитана Лоутона; непреодолимое любопытство все же заставило его посмотреть на приятеля. Каждой черточкой своего лица драгун, казалось, выражал сострадание к судьбе ребенка, однако ликование в его глазах задело смущенного мужа науки за живое и, пробормотав несколько слов о необходимости проведать своих пациентов, он быстро удалился.

Мисс Пейтон с глубоким участием стала расспрашивать Кэти о том, что произошло в доме разносчика. И Кэти со всеми подробностями рассказала о событиях прошлой ночи, а та терпеливо выслушала ее. Экономка не забыла остановиться на размерах денежных потерь Гарви и отчаянно бранила его за то, что он выдал секрет, который можно было так легко сохранить.

— Будь я на его месте, мисс Пейтон,— продолжала Кэти, переведя дух,— я скорее лишилась бы жизни, чем открыла им тайну. Самое большее — они бы только убили его тело, теперь же всякий может сказать, что они убили и тело и душу, или — а это ничуть не лучше — сделали его презренным бродягой. Уж не знаю, на что он надеется, кто захочет стать его женой и кто будет вести его хозяйство! Ну, а я слишком дорожу своим добрым именем, чтобы согласиться жить в доме холостяка, хотя, по правде говоря, он теперь не бывает дома. Я решила сказать ему сегодня же, что ни на один час не задержусь после похорон, если он не сделает мне предложения; только вряд ли я выйду за него замуж, пока он не остепенится и не бросит скитаться.

Добрая хозяйка коттеджа «Белые акации» не прерывала потока слов изливавшей свои чувства экономки, а потом задала два-три тонких вопроса, доказывавших, что ей знакомы извилины человеческой души, раненной стрелой Купидона, лучше, чем можно было этого ожидать. Из ответов Кэти мисс Пейтон ясно поняла, что Гарви не имел никакого намерения предложить Катарине Хейнс

свою руку и разоренное имущество; поэтому она заметила, что ей самой нужна теперь помощница в хозяйстве и что Кэти могла бы переехать в «Белые акации», если разносчику больше не понадобятся ее услуги. После предварительных коротких переговоров об условиях, начатых хитрой экономкой, они быстро пришли к соглашению. Не преминув еще раз посетовать по поводу своих собственных тяжелых убытков и глупости Гарви, а также выразить интерес к его дальнейшей судьбе, Кэти удалилась, чтобы сделать необходимые приготовления к похоронам, назначенным на этот же день.

Во время разговора двух женщин Лоутон из деликатности вышел. Тревога за капитана Синглтона привела его в комнату, где лежал раненый. Характер этого юноши, как мы уже говорили, привлекал к нему симпатии всех офицеров полка. Он не раз доказал на деле, что его редкая кротость отнюдь не проистекала от недостатка решимости, и почти женственная мягкость его лица и манер не мешала ему пользоваться уважением даже самых суровых вояк-партизан.

Майор Данвуди любил его, как родного брата, а покорность, с какой он подчинялся распоряжениям Ситгривса, сделала его любимцем и доктора. Офицеры американской кавалерии, раненные во время отчаянно смелых атак, неизбежно попадали в руки своего хирурга. В таких случаях сей муж науки отдавал пальму первенства в послушании капитану Синглтону, а капитана Лоутона ставил на последнее место. Часто с неописуемой наивностью доктор совершенно серьезно заявлял, что когда к нему приносят раненых офицеров, то самое большое удовольствие он испытывает при виде Синглтона и никакого — при

виде Лоутона. Первый обычно отвечал на комплимент добродушной улыбкой, второй благодарил за порицание, мрачно кланяясь. И вот сейчас торжествующий драгун и оскорбленный в своих лучших чувствах врач встретились в комнате капитана Синглтона — в таком месте, где их интересы не сталкивались. Некоторое время оба они старались своими заботами облегчить участь больного, потом доктор ушел в отведенную ему комнату; через несколько минут, к его удивлению, в дверях показался Лоутон. Победа капитана была столь полной, что он мог себе позволить быть великодушным, и, для начала сбросив мундир, он беспечно крикнул:

— Ситгривс, не соизволит ли свет вашей науки оказать небольшую помощь моим телесным повреждениям?

Хирург уже находил «свет науки» невозможной темой для разговора, однако, бросив украдкой взгляд на приятеля, он с изумлением увидел, что тот подготовился к осмотру с серьезностью, редко свойственной ему в таких случаях; вместо того чтоб вознегодовать, доктор вежливо спросил:

— Капитану Лоутону нужна моя помощь?

— Взгляните сами, доктор,— мягко сказал драгун,— мое плечо, кажется, окрашено во все цвета радуги.

— Вы не ошиблись,— заметил доктор, очень осторожно и с непревзойденным искусством исследуя указанную часть тела.— По счастью, кости не сломаны. Просто удивительно, как вам удалось уцелеть!

— Ведь я гимнаст еще с юности, и мне не страшно разок-другой свалиться с лошади. Однако, Ситгривс,— любовно добавил он, показывая на старый рубец,— эту свою работу вы помните?

— Великолепно помню, Джек: вы получили пулю, храбро сражаясь, и она была неплохо извлечена. Но не положить ли нам мази на ваше плечо?

— Разумеется,— ответил капитан с неожиданной покорностью.

— А теперь, мой мальчик,— придя в восторг, сказал доктор, смазывая ушибы,— скажите, не лучше ли было бы, дорогой, сделать это еще вчера ночью?

— Весьма возможно.

— Так вот, Джек, если бы вы позволили пустить вам кровь сразу, как только я вас увидел, это принесло бы вам неоценимую пользу.

— Никакого кровопускания,— решительно сказал драгун.

— А ведь и сейчас еще не поздно. Впрочем, небольшая доза мази славно подсушит ранки.

Капитан промолчал и только заскрипел зубами, и мудрый доктор переменил тему.

— Жаль, Джек, что вы не поймали того мошенника,— ведь, стараясь его поймать, вы подвергали себя опасности.

Капитан Лоутон ничего не ответил, а хирург, накладывая на плечо повязку, продолжал:

— Если бы у меня было хоть малейшее желание лишать людей жизни, я с удовольствием повесил бы этого изменника.

— Я полагал, ваше дело лечить, а не убивать,— сухо заметил капитан.

— Да, но донесения этого шпиона были причиной наших тяжких потерь, и я не могу относиться к нему с философским спокойствием.

— Вам не следовало бы питать злобных чувств ни к кому из своих ближних,— возразил Лоутон таким тоном, что хирург уронил булавку, которой собирался сколоть бинты.

Он взглянул в лицо пациенту, словно сомневаясь, действительно ли перед ним капитан Джон Лоутон. Удостоверившись, однако, что с ним говорит его старый приятель, Ситгривс оправился от изумления и продолжал:

— Ваша доктрина справедлива, и в целом я под ней подписываюсь... Но, дорогой мой Джон, не мешает ли вам эта повязка?

— Нисколько.

— В принципе я согласен с вами, но, так же как материя делима до бесконечности, нет и правил без исключения... Вам удобно, Лоутон?

— Очень.

— Лишать человека жизни, когда можно достигнуть цели менее суровыми мерами, не только жестоко по отношению к жертве, но порой несправедливо к окружающим... Да, Джек, если бы вы только.. двиньте слегка рукой... если бы вы только... надеюсь, вам стало удобнее, дорогой друг?

— Гораздо.

— Если бы вы научили своих солдат более осмотрительно наносить сабельные удары, дорогой Джон, цель все

равно была бы достигнута, а мне вы доставили бы великую радость.

Доктор тяжко вздохнул, высказав наконец то, что давно было у него на душе, а драгун невозмутимо надел мундир и, уходя, спокойно проговорил:

— Вряд ли чьи-нибудь солдаты наносят удары более старательно, чем мои. Они обыкновенно рассекают череп от макушки до челюсти.

Разочарованный эскулап собрал свои инструменты и с тяжелым сердцем направился в комнату полковника Уэлмира.

Глава XII

Мне эти руки, поднятые к небу,
Напоминают молодые ветви,
Дрожащие от ветра в летний вечер,
Да, в этой хрупкой, нежной оболочке
Живет могучий, непреклонный дух.
Возвысившись, он ярко озаряет
Прекрасные глаза сияньем неба.

Дуо

Появление новых и столь разных гостей в «Белых акациях» порядком прибавило забот и хлопот мисс Дженнет Пейтон. К утру все понемногу пришли в себя, кроме молодого драгунского офицера, в котором принимал такое горячее участие Данвуди. Драгун был ранен очень серьезно, хотя доктор продолжал утверждать, что его рана не смертельна. Капитан Лоутон, как мы упоминали, уже встал; проснулся и Генри Уортон — его сон потревожил лишь страшный кошмар, будто ему ампутирует руку хирург-новичок. Убедившись, что это только сон, молодой человек поднялся с постели, чувствуя себя совсем молодцом; к тому же доктор Ситгривс избавил его от всяких опасений, уверив, что не пройдет и двух недель, как он будет совершенно здоров.

Полковник Уэлмир не показывался все утро; он завтракал у себя в комнате и, невзирая на многозначительные улыбки ученого мужа, заявил, что болен и не в силах подняться с постели. Предоставив полковнику переживать свои горести в одиночестве, доктор отправился выполнять более благодарную обязанность — посидеть часок возле

Джорджа Синглтона. Едва он переступил порог, как заметил легкий румянец на лице своего пациента; быстро подойдя к нему и кончиками пальцев прикоснувшись к его пульсу, доктор знаком велел молодому человеку молчать.

— Пульс бьется чаще — это симптом начинающейся лихорадки,— пробормотал хирург.— Однако глаза стали яснее, а кожа — более влажной. Нет, нет, мой дорогой Джордж, вам надо лежать спокойно и не разговаривать...

— Полно, дорогой Ситгривс,— сказал драгун, взяв его за руку,— у меня нет никакой лихорадки; взгляните, есть ли на моем языке то, что Джек Лоутон называет «инеем»?

— Уж чего нет, того нет,— ответил доктор, засовывая ложку ему в рот и глядя в глубь горла, словно он хотел проникнуть во внутренности своего пациента.— Язык чистый, и пульс становится медленнее. Кровопускание пошло вам на пользу. Чудодейственное средство, особенно для южан. А этот безумец Лоутон упал прошлой ночью с лошади и наотрез отказался пустить себе кровь. Однако, Джордж, ваше ранение делается случаем из ряда вон выходящим,— продолжал хирург, рассеянно сбросив с себя парик,— пульс бьется мягко и ровно, кожа стала влажной, а глаза горят и щеки раскраснелись. О, мне надо хорошенько разобраться в этих симптомах!

— Спокойнее, дорогой друг, спокойнее,— сказал молодой человек, откидываясь на подушку; румянец, так испугавший хирурга, почти сошел с его лица.— Мне кажется, что, вынув пулю, вы сделали все, что от вас требовалось. У меня ничего не болит, я только ослабел, поверьте мне.

— Капитан Синглтон,— с жаром воскликнул его друг,— вы слишком самонадеянны, коль пытаетесь уверить врача, что у вас нет болей! Если бы мы не могли сами судить о таких вещах, к чему нам был бы свет науки? Стыдитесь, Джордж, стыдитесь! Даже этот своенравный Джон Лоутон не поступает так неблагоразумно!

Больной улыбнулся и мягко отстранил руку хирурга, начавшего было снимать с него бинты; краска снова выступила на его щеках, когда он спросил:

— Скажите мне, Арчибальд (когда доктора называли по имени, сердце его обычно смягчалось), что за небесный дух проскользнул ко мне в комнату, когда я лежал, притворившись спящим?

— Если какой-нибудь дух небес или земли вздумает

вместо меня лечить моих пациентов, я отучу его совать нос в чужие дела! — запальчиво крикнул Ситгривс.

— Но, дорогой мой, никто не совал нос в ваши дела и не собирался совать; взгляните,— капитан показал на свои повязки,— все в том же виде, в каком вы оставили... этот дух скользнул по комнате с грацией феи, с легкостью ангела.

Убедившись, что к повязкам никто не прикасался, доктор снова неторопливо уселся возле больного и, надев парик, спросил с прямотой, которая сделала бы честь лейтенанту Мейсону:

— А этот дух был в юбке, Джордж?

— Я видел только небесные глаза, пунцовые щечки... плавную походку, легкие движения,— ответил молодой человек, с горячностью, излишней, по мнению доктора, принимая во внимание состояние больного.

Доктор зажал ему рот рукою, чтобы заставить его замолчать, и сказал:

— Это была, наверное, мисс Дженнет Пейтон, весьма достойная леди, походка у нее... гм... почти такая же, как вы описали, глаза очень добрые, а что до пунцовых щек, то, осмелюсь сказать, когда она занята делами милосердия, на ее лице появляется такой же яркий румянец, какой украшает лица ее молоденьких племянниц.

— Племянниц? Так у нее есть племянницы? Нет, ангел, которого я видел, может быть дочерью, сестрой, племянницей... только не теткой.

— Тсс, Джордж, тсс! От таких разговоров у вас снова участится пульс. Лежите спокойно и приготовьтесь к встрече с собственной сестрой, она будет здесь не позднее чем через час.

— Как, Изабелла? Но кто послал за ней?

— Майор.

— Как заботлив Данвуди! — прошептал молодой человек и, утомившись, снова откинулся на подушки и замолчал, выполняя распоряжение доктора.

Утром, когда капитан Лоутон появился в гостиной, члены семейства Уортон начали наперебой расспрашивать его, как он себя чувствует. Об удобствах же английского полковника позаботился кто-то невидимый. Сара намеренно избегала входить к нему в комнату, однако она знала, где стоит у него каждый стакан, и своими руками налила питье во все графины, стоявшие у него на столе.

В те времена, к которым относится наше повествование, народ Америки не был единодушен во взглядах на общественный строй своей страны. Сара считала своим долгом отстаивать порядки, установленные ее предками — англичанами; впрочем, у девушки были и другие, более веские причины оказывать молчаливое предпочтение английскому полковнику. Его образ первый поразил ее юное воображение, к тому же он был наделен многими из тех соблазнительных качеств, которые способны покорить сердце женщины. Правда, ему не хватало блистательных достоинств Пейтона Данвуди, зато самоуверенности было хоть отбавляй. Все утро Сара бродила по дому, не сводя нетерпеливого взгляда с комнаты Уэлмира, и, хотя ей очень хотелось узнать, как он себя чувствует, она не отваживалась спросить кого-нибудь об этом, чтобы не выдать своего особого интереса к нему. Наконец Френсис с прямотой невинности обратилась к доктору Ситгривсу с вопросом, который так волновал ее сестру.

— Состояние полковника Уэлмира,— серьезно ответил медик,— я бы сказал, всецело зависит от его собственного желания. Захочет — скажется больным, захочет — может объявить себя здоровым. В этом случае, юная леди, ему не нужно мое искусство врача; ему бы лучше всего обратиться за советом к сэру Генри Клинтону; впрочем, по милости майора Данвуди связь с этим лекарем стала несколько затруднительной.

Френсис улыбнулась, отвернув лицо, а Сара с величием оскорбленной Юноны выплыла из гостиной. Не найдя успокоения у себя в спальне, она снова стала расхаживать по длинной галерее, куда выходили все комнаты коттеджа, и увидела, что дверь в комнату Синглтона открыта. Юноша был один и, казалось, спал. Сара тихонько вошла к нему; в течение нескольких минут она, едва сознавая что делает, прибирала на столиках, где были еда и лекарства, и, возможно, представляла себе, будто оказывает эти небольшие услуги другому. Ее природный румянец разгорелся еще ярче от насмешливых слов доктора, не погас и блеск ее глаз. Услышав приближающиеся шаги Ситгривса, девушка быстро спустилась по внутренней лестнице к Френсис. Сестры вышли подышать свежим воздухом на террасу; прогуливаясь рука об руку, они вели такой разговор.

— В докторе, которого оставил здесь Данвуди, есть

что-то неприятное,— начала Сара.— Мне бы хотелось, чтоб он скорей уехал.

Френсис промолчала, но посмотрела на сестру смеющимися глазами; Сара, однако, сразу поняла их выражение и быстро добавила:

— Но я совсем забыла, что он из твоего прославленного виргинского корпуса и говорить о нем надо с почтением.

— Как бы почтительно ты о нем ни говорила, дорогая сестра, вряд ли ты преувеличишь его заслуги.

— В твоих глазах, конечно,— с горячностью отозвалась Сара.— Однако не кажется ли тебе, что мистер Данвуди злоупотребляет правами родственника, превратив дом нашего отца в лазарет?

— Мы должны быть благодарны судьбе, что среди больных этого лазарета нет наших близких.

— А твой брат?

— Верно, верно,— сказала Френсис, покраснев до корней волос,— но он не прикован к постели и считает, что его рана не слишком высокая плата за радость побыть с нами. Только бы,— добавила она, и губы ее задрожали,— развеялось ужасное подозрение, которое пало на него из-за того, что он приехал домой! Тогда я тоже примирилась бы с его раной.

— Вот они, плоды мятежа для нашей семьи: брат ранен, в плену и, может быть, станет жертвой мятежников; наш покой нарушен; отец в отчаянии, а усадьба — под угрозой конфискации за преданность отца королю.

Френсис молча шла рядом с сестрой. Когда ее взгляд падал на северный край долины, он задерживался на ущелье, где дорога внезапно терялась в горах; каждый раз, поворачивая обратно, девушка замедляла шаг и не сводила глаз с этого места, пока сестра нетерпеливым движением не заставляла ее продолжать прогулку. Наконец вдали показался одноконный кабриолет; осторожно пробираясь между камнями, усеявшими петлявшую по долине проселочную дорогу, он направился к «Белым акациям». Глядя на приближающийся экипаж, Френсис то бледнела, то краснела; когда же она различила фигуру женщины, сидевшей рядом с негром в ливрее, у нее от волнения подкосились ноги, и ей пришлось опереться на Сару. Через несколько минут путешественники подъехали к дому. Ворота широко распахнул ехавший за экипажем драгун —

тот самый, которого майор Данвуди послал к отцу капитана Синглтона. Мисс Пейтон и сестры вышли навстречу гостье и приняли ее радушно. Френсис, однако, не могла оторвать испытующего взгляда от ее лица. Гостья была молодая, тоненькая, хрупкая и очень хорошо сложена. Большие, широко открытые черные глаза смотрели пристально, порой даже немного диковато. Вопреки моде того времени, ее пышные черные волосы не были напудрены, и они блестели, как вороново крыло. Локоны, падавшие на щеки, придавали ее мраморно-белой коже почти мертвенный оттенок. Доктор Ситгривс помог гостье выйти из кабриолета; подойдя к террасе, она устремила на него взволнованный взгляд.

— Ваш брат вне опасности и желает вас видеть, мисс Синглтон,— сказал хирург.

Изабелла Синглтон залилась слезами. Френсис смотрела на нее с каким-то тревожным восхищением, потом с сестринской горячностью бросилась к ней и, нежно взяв за руку, повела в приготовленную для нее комнату. В сердечном порыве Френсис было так много искренности и простодушной прелести, что мисс Пейтон, не желая мешать девушкам, проводила их лишь взглядом и доброй улыбкой. Эта сцена произвела такое же впечатление и на других; вскоре все разошлись, чтобы заняться своими повседневными делами.

Изабелла беспрекословно подчинилась мягкому жесту Френсис. В комнате, куда та привела ее, гостья долго плакала на плече нежно успокаивающей ее новой подруги, и Френсис подумала, что столь сильное душевное волнение вызвано не только ранением брата. Мисс Синглтон рыдала горько и безудержно, однако, сделав над собой усилие, поддалась ласковым уговорам и перестала плакать. Она встала, повернула голову к Френсис, и ее лицо осветилось улыбкой. Извинившись за свою чрезмерную чувствительность, она попросила проводить ее в комнату раненого.

Брат и сестра встретились тепло, но сестра казалась более сдержанной, чем можно было ожидать, судя по сильному волнению, которое она проявила всего лишь несколько минут назад. Она нашла, что брат выглядит лучше, чем рисовала ей пылкая фантазия, и что состояние его, видимо, не столь опасно. Мисс Синглтон повеселела, и ее отчаяние сменилось чуть ли не радостью. Ее

прекрасные глаза зажглись новым блеском, и она так обворожительно улыбнулась, что Френсис, которая, уступив ее настоятельным просьбам, вошла вместе с нею в комнату больного, с изумлением глядела на столь изменчивое лицо девушки и невольно любовалась ею.

Как только Изабелла высвободилась из объятий брата, он бросил пристальный взгляд на Френсис, и, может быть, впервые мужчина, посмотревший на прелестное личико нашей героини, разочарованно отвел от нее глаза. Капитан, казалось, совсем растерялся; он потер лоб, словно пробудился от сна, задумался, а потом спросил:

— Где же Данвуди, Изабелла? Этот чудесный малый неутомим, когда делает людям добро. После такого тяжелого дня, как вчерашний, он раздобыл мне ночью сиделку, одно присутствие которой способно поднять меня с постели.

Выражение лица мисс Синглтон снова изменилось, она обвела комнату каким-то диким взглядом, встревожившим Френсис, наблюдавшей за ней с неослабным интересом.

— Данвуди! Разве его здесь нет? Я думала, что увижу его у постели моего брата.

— У него есть обязанности, призывающие его в другое место. Говорят, англичане отошли от Гудзона и нападают на отряды нашей легкой кавалерии; если бы не это, Данвуди ни за что не разлучился бы надолго со своим раненым другом. Но, Изабелла, как ты взволнована встречей со мной, ты вся дрожишь!

Девушка не ответила. Она протянула руку к столику, на котором стояло питье для капитана; внимательно следившая за ней Френсис тотчас угадала ее желание и подала ей стакан воды. Немного успокоившись, Изабелла сказала:

— Конечно, у него есть свои обязанности. В горах говорили, что королевский отряд находится на берегу реки; а ведь драгуны были всего лишь в двух милях отсюда, когда я проезжала мимо них.

Последние слова мисс Синглтон произнесла почти шепотом; казалось, она говорила сама с собой, а не со своими собеседниками.

— Они выступили в поход, Изабелла? — взволнованно спросил брат.

— Нет, по-видимому, они расположились на биваке.

Раненый удивленно посмотрел на сестру. Потупив

глаза, она сидела с отсутствующим видом, но это ему ничего не объяснило. Он перевел взгляд на Френсис. Пораженная его встревоженным лицом, она встала и торопливо спросила, не нужно ли ему чего-нибудь.

— Извините меня за бесцеремонность,— сказал молодой офицер, пытаясь приподняться,— но я попросил бы вас позвать сюда на минуту капитана Лоутона.

Френсис тотчас передала капитану просьбу Синглтона и, не в силах побороть свое любопытство, вернулась и села на прежнее место рядом с Изабеллой.

Когда капитан вошел в комнату, раненый нетерпеливо спросил:

— Лоутон, есть у вас сведения о майоре?

Глаза Изабеллы теперь устремились на Лоутона. Он непринужденно, с солдатской простотой поздоровался с ней.

— Он два раза присылал ординарца справиться, как мы тут поживаем в лазарете.

— А почему он не приехал?

— Это вопрос, на который может ответить только он сам: здесь, в Вест-Честере, командует Данвуди. Вы ведь знаете, что красные мундиры выступили; с этих англичан нельзя спускать глаз.

— Да, это так,— протянул Синглтон, словно убежденный доводами капитана.— А почему вы бездельничаете, когда там так много дела?

— Моя правая рука не в блестящем состоянии, к тому же Роноки утром прихрамывал. Я мог бы привести еще одну причину, да боюсь вызвать недовольство мисс Уортон.

— Пожалуйста, говорите, не стесняйтесь меня! — сказала Френсис, и в ответ на добродушную улыбку драгуна ее милое лицо осветилось лукавой усмешкой.

— В таком случае, скажу прямо: запах вашей кухни не позволяет мне покинуть это царство раньше, чем я окончательно не удостоверюсь, что здешняя земля родит прекрасные плоды.

— О, тетя Дженнет изо всех сил старается не уронить честь гостеприимного дома моего отца,— смеясь, ответила девушка.— Однако, уклоняясь от участия в ее трудах, я рискую навлечь на себя немилость,— пойду-ка и предложу ей свою помощь.

Френсис отправилась искать свою тетку, глубоко задумавшись над необычным характером и крайней чувстви-

тельностью новой знакомой, которую случай привел в «Белые акации».

Раненый офицер следил взглядом за Френсис, с детской грацией выходившей из комнаты; когда за ней затворилась дверь, он сказал:

— Не часто можно встретить такую тетку и племянницу, Джек; эта девушка похожа на фею, а тетка — на ангела.

— Вы, как я вижу, выздоравливаете, если уже восторгаетесь женским полом.

— Я был бы неблагодарным и бесчувственным человеком, если бы не воздал должное прелести мисс Пейтон.

— Она, конечно, славная, по-матерински добрая леди, а насчет ее прелести, так это дело вкуса. При всем моем уважении к ее житейскому опыту и благоразумию мне бы она могла понравиться, будь она помоложе.

— Но вряд ли ей больше двадцати,— с живостью возразил Синглтон.

— Это смотря по тому, как вести счет; ежели начать с вершины жизни и идти назад, весьма возможно, что и двадцать; но, ежели считать, как полагается, с рождения, то и все сорок.

— Ты принял старшую сестру за тетку,— вставила Изабелла, приложив свою красивую руку к губам больного.— Помолчи, тебе вредно волноваться!

В комнату вошел доктор Ситгривс. Его несколько встревожило лихорадочное состояние пациента, и он подтвердил слова Изабеллы. Капитан Лоутон отправился выразить соболезнование Роноки, который пострадал прошлой ночью, сделав сальто-мортале вместе со своим седоком. К великой радости драгуна, ординарец сообщил, что лошадь последовала примеру хозяина и дело пошло на поправку; после нескольких часов беспрерывных растираний ее ноги вновь обрели, по выражению Лоутона, способность «систематически передвигаться». Драгун велел оседлать Роноки, намереваясь присоединиться к кавалеристам, стоявшим на постое в деревне Четыре Угла,— правда, не раньше, чем он отведает вкусные яства на предстоящем пиршестве.

Тем временем Генри Уортон зашел навестить Уэлмира, и благодаря его утешениям к полковнику вновь вернулось хорошее расположение духа. Он решил подняться с постели и уже был готов встретиться с противником, о ко-

тором отзывался с полным пренебрежением, хотя, как показали события, не имел на то никаких оснований. Уортон прекрасно знал, что причиною их беды — так оба они называли свое поражение — была опрометчивость полковника, но он добродушно приписывал все лишь несчастной случайности; из-за нее-то англичане лишились в бою своего командира и в их отряде произошло смятение.

— Короче говоря, Уортон,— сказал полковник, спустив одну ногу с кровати,— то, что случилось, можно объяснить стечением ряда досадных обстоятельств; даже ваша лошадь вдруг понесла, и вам не удалось передать манору мой приказ ударить во фланг мятежников.

— Совершенно верно.— ответил капитан и подтолкнул к кровати полковника туфлю,— если бы нам удалось открыть по ним сильный огонь, мы обратили бы в бегство этих бравых виргинцев.

— Да, да, и в два счета! — крикнул полковник, спустив вторую ногу.— К тому же нам пришлось выбивать пехотинцев из засады, а это и дало виргинцам возможность обрушиться на нас.

— Еще бы! — согласился капитан, отправляя вторую

туфлю вслед за первой.— Уж майор Данвуди никогда такой возможности не упустит.

— Мне кажется, что, если бы можно было начать все сначала,— продолжал полковник вставая,— мы весьма основательно изменили бы положение. Впрочем, и сейчас мятежники могут бахвалиться лишь тем, что взяли меня в плен,— ведь им так и не удалось вытеснить нас из леса.

— Конечно, не удалось бы, если бы даже они и попытались это сделать,— заметил капитан и бросил Уэлмиру остальные принадлежности его костюма.

— Ну, это одно и то же,— возразил полковник, начав одеваться.— В военном искусстве самое главное — найти тактику, которая устрашает врага.

— Ну конечно, вы же помните, как в одной из атак мы разбили их наголову.

— Верно, верно! — с воодушевлением воскликнул полковник.— Будь я там, я воспользовался бы нашим перевесом, и мы поменялись бы с янки ролями!

С этими словами Уэлмир проворно закончил свой туалет и вскоре предстал перед обитателями коттеджа. Он снова был преисполнен самого высокого о себе мнения и нисколько не сомневался, что попал в плен по причинам, неподвластным человеческой воле.

Когда в доме узнали, что полковник Уэлмир выйдет к столу, все стали готовиться к торжественному обеду еще более усердно. Сара, ответив на приветствие этого джентльмена, начала сердечно расспрашивать, не беспокоят ли его раны, затем она поторопилась на кухню, чтобы советом и делом принять участие в подготовке к пиршеству — развлечению, столь часто украшавшему сельскую жизнь в те времена и, пожалуй, сохранившемуся в обиходе и до наших дней.

Глава XIII

„Я сяду и поем,
Будь даже эта трапеза последней.

Шекспир, «Буря»[1]

Аромат, привлекший внимание капитана Лоутона, начал проникать во все уголки коттеджа, и кое-какие особенно соблазнительные запахи, поднимавшиеся из подземных владений Цезаря, сообщили драгуну приятную уве-

[1] Перевод М. Донского.

ренность в том, что его обоняние, не менее острое в таких случаях, чем его зрение — в других, его не подвело. Чтобы полнее наслаждаться ароматами поблизости от их источника и не дать ни одной струйке испарений, насыщенных пряностями Востока, унестись к небесам, минуя его нос, капитан устроился у окна над кухней. Однако, прежде чем занять эту выгодную позицию, он не забыл достойно подготовить к званому обеду собственную персону, конечно в меру возможностей своего скромного гардероба. Кавалерийский мундир всегда открывал ему доступ в самые лучшие дома; правда, этот предмет одежды уже несколько потускнел от бесцеремонного с ним обращения и долгой службы, но для такого торжественного случая его тщательно вычистили и отутюжили. Голова капитана, которую природа украсила черными, как смоль, волосами, теперь блистала снежной белизной, а его жилистая рука, так искусно владевшая саблей, выглядывала из-под кружевной гофрированной манжеты почти с девичьей робостью. Вот, пожалуй, и все изменения в туалете капитана, если не считать более чем празднично сверкавших сапог и шпор, искрившихся в лучах солнца, хотя они и были сделаны из самого обыкновенного железа.

Цезарь расхаживал по комнатам, и на его лице было еще более важное выражение, чем накануне, когда он выполнял свой печальный долг перед покойным Бёрчем. Послушный приказу своей хозяйки, он рано вернулся от гробовщика, куда его послал утром разносчик, и тотчас же принялся за неотложные дела. Обязанности Цезаря были теперь так значительны, что он мог лишь урывками делиться впечатлениями об удивительных событиях прошедшей знаменательной ночи со своим черным собратом, явившимся в «Белые акации» вместе с мисс Синглтон. Впрочем, не упуская ни одной свободной минуты, Цезарь успел рассказать столько глав из своего повествования, что у гостя от изумления глаза полезли на лоб. Врожденная страсть к чудесам могла бы завести слишком далеко этих негров, если б не вмешалась мисс Пейтон и не приказала Цезарю отложить конец его истории до более подходящего времени.

— Ох, мисс Дженнет! — покачивая головой, воскликнул Цезарь, вновь переживая все то, что ему хотелось рассказать.— Ох, и страшно было увидеть Джонни Бёрча на ногах, когда он уже помер!

На том и кончилась беседа. Впрочем, Цезарь твердо решил вознаградить себя в дальнейшем, что́ он и сделал, рассказывая об этом необычайном событии подолгу и по многу раз.

С духом старика Бёрча было, таким образом, улажено, и дела в ведомстве мисс Пейтон потекли как по маслу. К тому времени, когда полуденное солнце совершило свой двухчасовой путь от меридиана, началось церемониальное шествие из кухни в гостиную во главе с Цезарем. Он шел в авангарде, держа с ловкостью эквилибриста индейку на своих вытянутых морщинистых ладонях.

За ним следовал вестовой капитана Лоутона; не сгибая колен, он широко шагал, словно приноравливался к поступи своего коня; в руках у него был жирный окорок истинно виргинского происхождения — дар брата мисс Пейтон из Аккомака [1]. Солдат, которому было доверено столь ароматное блюдо, не спускал с него глаз с чисто военной привычкой к дисциплине. Когда он достиг места назначения, трудно было сказать, где было больше сока — у него ли во рту или в аккомакском беконе.

Третьим вы увидели бы слугу полковника Уэлмира; в одной руке он пес блюдо с фрикасе из цыплят, а в другой — пирожки с устрицами.

Следующим выступал помощник доктора Ситгривса; недолго думая он схватил громадную суповую миску,— вероятно, она больше всего напоминала ему знакомые предметы его ремесла,— и не выпускал ее, пока пар от супа совсем не затуманил стекла его очков — знак его медицинской профессии. Когда он дошел до гостиной, то вынужден был опустить свою ношу на пол и снять очки; лишь тогда он увидел, как можно было пробраться между столами, заставленными фарфором и грелками для посуды.

Далее шествовал солдат, приставленный к капитану Синглтону. Словно соразмеряя свой аппетит со здоровьем раненого капитана, он нес всего лишь двух жареных уток; однако их дразнящий аромат заставил его раскаяться в том, что он совсем недавно уничтожил один завтрак, приготовленный для него самого, и другой — для сестры капитана.

Шествие замыкал белый мальчик-слуга, один из по-

---

[1] Аккомак — городок в штате Виргиния.

стоянных домочадцев коттеджа; он стонал под тяжестью блюд со всевозможной зеленью, которыми нагрузила его сбившаяся с ног кухарка, не рассчитавшая его слабых сил.

Но этим далеко не исчерпывались приготовления к приему гостей. Едва Цезарь поставил на стол индейку, которая всего лишь неделю назад летала в горах Детчеса, даже не мечтая так скоро возглавить столь роскошный стол, как он тотчас же, словно заведенный, повернулся на каблуках и снова отправился на кухню. Его пример заразил остальных; прежним строем они торжественно проследовали друг за другом сперва на кухню, потом обратно в гостиную.

Благодаря такому идеальному порядку в дополнение к прочей снеди на стол были водворены стаи голубей и перепелок, все виды вальдшнепов и целые косяки камбалы и морского окуня.

В третий раз процессия доставила к столу основательные порции картофеля, лука, свеклы, шинкованной капусты, риса,— словом, всего того, что еще требовалось для отменного обеда.

Стол ломился от изобилия, присущего американской кухне. Окинув весьма одобрительным взглядом эту выставку яств и передвинув каждое блюдо, поставленное не его руками, Цезарь пошел докладывать хозяйке дома, что благополучно выполнил доверенное ему дело.

Примерно за полчаса до описанного нами кулинарного парада дамы исчезли столь же непостижимым образом, как исчезают ласточки перед наступлением зимы. Но вот настала весна их возвращения, и все общество собралось в комнате, которая называлась гостиной только потому, что в ней не было обеденного стола и стоял диван, обитый пестрой тканью.

Добрая мисс Пейтон не только считала, что празднество заслуживает из ряда вон выходящих приготовлений в ее кулинарном ведомстве, но и позаботилась достойным образом принарядить свою собственную особу ради гостей, которых она с радостью принимала.

На голове у мисс Пейтон красовался чепчик из тончайшего батиста, отделанный широким кружевом, откинутым назад, чтобы был виден букетик искусственных цветов, приколотый над ее красивым лбом.

На ее волосах лежал такой толстый слой пудры, что

трудно было сказать, какого они цвета; строгость прически в какой-то мере смягчали слегка завитые кончики волос, придававшие лицу женственную нежность.

Платье из тяжелого шелка лилового цвета было низко вырезано на груди; туго облегающий корсаж из той же ткани подчеркивал красоту фигуры. Широкая юбка говорила о том, что в те времена не скупились на материю для туалетов. Небольшие фижмы оттеняли красоту ткани, и фигура мисс Пейтон казалась еще более величественной.

Природа наградила эту леди немалым ростом, а каблуки на туфельках из того же шелка, что и платье, делали ее выше еще чуть ли не на два дюйма.

Рукава, узкие до локтя, падали ниже широкими свободными складками; благодаря батистовым воланам, отделанным дрезденскими кружевами, ее руки, сохранившие правильную форму и белизну, казались удивительно нежными. Три нитки крупного жемчуга обвивали ее шею; грудь, видневшуюся в вырезе лифа, мисс Пейтон, не забывая о своих сорока годах, прикрыла кружевным платочком.

В этом наряде она стояла прямая и статная, с горделивой осанкой, свойственной женщинам того времени, и, право же, могла бы повергнуть в прах целый рой современных красавиц.

Сара была одета с таким же вкусом: ее голубое атласное платье, отличавшееся от тетушкиного лишь материей и цветом, не менее выгодно обрисовывало ее стройную фигуру. В двадцать лет незачем прибегать к тому, что подсказывает благоразумие в сорок, и глубокий вырез в атласном платье Сары лишь чуть-чуть прикрывало фишю из тончайших кружев. Шея и покатые плечи блистали всей своей естественной красотой. Как и тетка, Сара надела в три ряда жемчуг, в ушах у нее были жемчужные серьги. Она была без чепчика, а откинутые назад волосы открывали прелестный лоб, гладкий, как мрамор, и белый, как снег. Несколько непокорных завитков красиво падали на шею; надо лбом, словно корона, высилась гирлянда из искусственных цветов.

Мисс Синглтон доверила брата заботам доктора Ситривса; ему удалось заставить своего пациента спокойно уснуть, сперва избавив его от лихорадочного жара, охватившего больного после свидания с сестрой. Радушная хозяйка уговорила мисс Синглтон присоединиться к осталь-

ному обществу, и теперь Изабелла сидела рядом с Сарой, почти такая же нарядная, как и соседка. Впрочем, Изабелла не напудрила свои черные локоны. Необычайно высокий лоб, огромные блестящие глаза, а может быть, и бледность лица придавали ей задумчивый вид.

Последней по счету, но отнюдь не по очарованию на этой выставке женской красоты была младшая дочь мистера Уортона. Френсис, как мы уже говорили, покинула Нью-Йорк, не достигнув того возраста, когда женщины начинают следовать моде. В эту пору кое-кто уже решился повести наступление на устаревшие обычаи, так долго стеснявшие прекрасный пол, и юная Френсис отважилась положиться на то, что даровала ей природа. Правда, не во многом, но это немногое было безупречно. В течение утра она не раз собиралась уделить больше, чем обычно, внимания своей внешности. Но всякий раз она обращала пристальный взгляд на север и неизменно отказывалась от своего намерения.

В назначенный час наша героиня появилась в гостиной в небесно-голубом шелковом платье, сшитом почти так же, как и платье сестры. Пышные волосы стягивала на затылке длинная узкая черепаховая гребенка желтого цвета, едва заметная на свободно падающих золотистых локонах. На платье ее не было ни складочки, ни морщинки; оно сидело как влитое, так что можно было подумать, будто лукавая девушка превосходно знает, чем может похвастать. Шемизетка из роскошных дрезденских кружев придавала ее лицу особенную нежность. На голове у Френсис не было никаких украшений, но на шею она надела золотую цепочку с великолепным сердоликом.

На мгновение, лишь на мгновение, Лоутон увидел выглянувшую из-под платья прелестную ножку в голубой туфельке с бриллиантовой пряжкой. Драгун невольно вздохнул, подумав, как должна быть грациозна эта ножка в плавном менуэте, хотя ее и невозможно вообразить себе в стремени.

Но вот на пороге комнаты показался Цезарь и сделал глубокий поклон, в продолжение многих столетий означавший: «кушать подано». Мистер Уортон в своем суконном фраке с громадными пуговицами церемонно подошел к мисс Синглтон и, низко склонив напудренную голову, предложил девушке руку, а она протянула ему свою.

Доктор Ситгривс с такой же почтительностью предло-

жил руку мисс Пейтон; милостиво приняв ее, леди немного задержалась, чтобы надеть перчатки.

Сара наградила полковника Уэлмира улыбкой, когда он подошел к ней с тем же церемонным поклоном; Френсис по-девически застенчиво подала кончики своих тонких пальцев капитану Лоутону.

Понадобилось немало времени и хлопот, чтобы разместить всех за столом, не нарушив правил этикета и законов старшинства, но наконец, к великому удовольствию Цезаря, все расселись. Он отлично знал, что кушанья не становятся вкуснее, если долго стоят на столе, и понимал, как неприятно есть остывший обед, но при всем своем философском складе ума не мог постигнуть, какое важное значение имеет для общества соблюдение привычного ритуала.

Первые десять минут все за столом, кроме капитана Лоутона, были довольны собой и друг другом. Впрочем, и капитан был бы вполне счастлив, если бы излишняя чопорность хозяина дома и мисс Пейтон не помешала ему сразу же приступить к своему любимому занятию — отведывать разные блюда и выбирать их себе по вкусу.

Наконец обед начался, и рвение, с каким все приступили к еде, красноречивее всяких слов говорило о кулинарном искусстве Дины. Потом стали пить за здоровье дам, и так как вино было превосходное, а бокалы объемистые, то драгун отнесся к перерыву в еде вполне благодушно. Он так боялся кого-нибудь задеть или отклониться от какого-нибудь правила этикета, что, отдав долг вежливости своей ближайшей соседке, продолжал пить за прекрасный пол, пока каждая из дам не преисполнилась уверенности, что он не оказал предпочтения другой. Можно ли было не извинить капитана Лоутона, так долго не пробовавшего хорошего вина, что он поддался соблазну и то и дело прикладывался к рюмке?

Мистер Уортон принадлежал к числу нью-йоркских политиков, главным занятием которых до войны было собираться вместе для глубокомысленных рассуждений о знамениях времени. Их вдохновляла некая влага, выжатая из винограда, растущего на южных склонах гор острова Мадейры, и попадавшая в колонии Северной Америки через Вест-Индию с небольшой остановкой в западном архипелаге, имевшей целью проверить благодатные свойства его климата. Мистер Уортон вывез из своих нью йоркских

погребов солидные запасы такой влаги, и теперь перед капитаном стояла бутылка с вином, сверкавшим в косых лучах солнца, как янтарь.

Хотя мясные и овощные блюда следовали одно за другим в полном порядке, уход их со сцены был подобен отступлению ополченцев. Казалось, что на еду набросились мифические гарпии: остатки этого богатого пира хватали, швыряли, опрокидывали, сгребали в кучу, а когда наконец все исчезло, двинулась новая процессия яств. На столе появилась целая гора всяких сластей и того, что подается обычно вместе с ними.

Мистер Уортон наполнил вином бокал дамы, сидевшей от него справа, и, пододвинув бутылку гостю слева, с низким поклоном сказал:

— Мисс Синглтон, окажите нам честь и произнесите тост.

Хотя было принято обращаться к даме с подобными просьбами, Изабелла вздрогнула. Стараясь собраться с мыслями, она сначала покраснела, потом побледнела, и ее смущение привлекло к ней всеобщее внимание. Наконец она сделала над собой усилие и с таким видом, словно ни какое другое имя не пришло ей в голову, тихо сказала:

— За здоровье майора Данвуди.

Все охотно выпили за его здоровье, только полковник Уэлмир едва пригубил бокал и стал выводить на столе узоры, размазывая пролитое вино. Затем, прервав наступившее молчание, он громко сказал, обращаясь к капитану Лоутону:

— Полагаю, сэр, что армия мятежников повысит в чине этого майора Данвуди за то, что он использовал выгоды, которые доставила ему приключившаяся со мною беда.

Драгун полностью удовлетворил свой аппетит и теперь не мог стерпеть ни малейшей обиды ни от одного смертного, если не считать Вашингтона и своего непосредственного начальника. Налив себе вина из полюбившейся ему бутылки, он с полным спокойствием сказал:

— Прошу прощения, полковник Уэлмир, но майор Данвуди служит Соединенным Штатам Америки, служит верой и правдой. Такой человек не мятежник. Я надеюсь, что он и в самом деле получит повышение — прежде всего потому, что он этого заслуживает, а еще и потому, что у нас следующий за ним по званию — это я. Не знаю, что

вы называете «бедой», если не разумеете столкновение с виргинской кавалерией.

— Не все ли равно, как выразиться,— надменно отозвался полковник.— Я сказал так, как мне подсказывает долг перед моим королем. Но разве вы не считаете, что потеря командира — это беда для его отряда?

— Конечно, иногда бывает и так,— многозначительно ответил драгун.

— Мисс Пейтон, не окажете ли и вы нам честь произнести тост! — воскликнул встревоженный хозяин дома, желая прекратить этот диалог.

Мисс Дженнет с достоинством наклонила голову, и легкий румянец выступил на ее лице, когда она вымолвила:

— За здоровье генерала Монтроза.

— Нет слова более неопределенного, чем беда,— вмешался в разговор доктор, не обращая внимания на тонкий маневр мистера Уортона.— Многие люди называют бедой одно, тогда как другие — совсем иное. Беда не приходит одна; сама жизнь — беда, ибо она приносит всякие беды; смерть — тоже беда, ибо она сокращает радости жизни.

— Беда, что у нас за офицерским столом не подают такого вина,— прервал его драгун.

— Не откажите произнести тост; вино, кажется, вам понравилось,— вставил мистер Уортон.

Капитан Лоутон наполнил бокал до краев и выпил за «скорый мир или за победоносную войну».

— Я принимаю ваш тост, капитан Лоутон,— сказал доктор,— хотя не согласен с вашим представлением о военных действиях. По моему скромному мнению, кавалерию следует держать в арьергарде, чтобы она закрепляла победу, а не посылать вперед, чтобы ее завоевывать. Вот каково естественное назначение кавалерии, если дозволено применить такое определение к противоестественному роду войск, ибо история учит, что кавалерия больше всего приносит пользы, когда ее держат в резерве.

Столь поучительное рассуждение напомнило мисс Пейтон, что пора встать из-за стола. Она поднялась и вышла из комнаты вместе с племянницами. Почти тотчас же встали и мистер Уортон с сыном и, извинившись, сказали, что их ждут в доме умершего соседа.

Доктор извлек из кармана сигару и сунул ее, по своему обыкновению, в уголок рта, что нисколько не мешало ему разговаривать.

— Только приятное сознание, что переносишь страдания в обществе таких милых дам, как те, которые только что покинули нас, может облегчить и плен и раны,— галантно заметил английский полковник, проводив до двери хозяек дома и усаживаясь на прежнее место.

— Сочувствие и доброта благотворно влияют на организм человека,— глубокомысленно заметил доктор, стряхивая кончиком мизинца пепел с сигары.— Физические и моральные ощущения тесно связаны между собой, но чтобы лечить... чтобы вернуть здоровье, нарушенное болезнью или вследствие несчастного случая, недостаточно влияния никем не управляемых симпатий. При этих условиях свет...— Доктор вдруг встретился взглядом с Лоутоном и остановился; раза три затянувшись сигарой, он попытался закончить фразу: — При этих условиях знание, которое проистекает от света...

— Продолжайте, сэр...— сказал полковник Уэлмир, потягивая вино.

— Смысл моих слов сводится к тому,— закончил доктор, повернувшись спиной к Лоутону,— что хлебными припарками не срастить сломанную руку.

— Тем хуже — ведь это самое безобидное употребление хлеба, если только его не съели! — воскликнул драгун.

— Я обращаюсь к вам как к человеку просвещенному, полковник Уэлмир,— снова заговорил доктор. (Уэлмир поклонился.) — Вы, конечно, заметили, какое ужасное опустошение произвели в ваших рядах виргинцы под командованием сего джентльмена. (Уэлмир снова нахмурился.) Так вот, когда сабельные удары обрушились на ваших несчастных солдат, они лишились жизни, не имея надежды на помощь науки; зияющие раны были нанесены им с полным пренебрежением к искусству самого опытного хирурга. Я торжественно обращаюсь к вам, сэр: скажите, пожалуйста, разве ваш отряд не был бы разбит с тем же успехом, если бы, вместо того чтобы лишиться головы, все солдаты потеряли бы, например, по правой руке?

— Ваше торжественное обращение, сэр, несколько преждевременно,— вставил Уэлмир.

— Разве бессмысленная жестокость на поле боя хоть на шаг продвигает вперед дело свободы? — продолжал доктор, оседлав своего конька.

— Насколько мне известно, джентльмены из армии

мятежников ничуть не способствуют делу свободы,— возразил полковник.

— Не способствуют делу свободы! Боже мой, за что же тогда мы боремся?

— За рабство, сэр. Да, именно за рабство. Вместо доброго и снисходительного монарха вы возводите на трон тираническую чернь. В чем же логика вашей хваленой свободы?

— Логика! — Услышав такой уничтожающий выпад против дела, которое он всегда считал святым, доктор растерянно огляделся.

— Да, сэр, у вас нет логики. Ваш конгресс мудрецов выпустил манифест, провозгласивший всеобщее равенство в политических правах.

— Да, это верно, и составлен манифест очень толково.

— Против этого я не спорю, но если то, что написано в манифесте, правда, так почему вы не отпускаете на свободу своих невольников?

Это возражение, которое соотечественники полковника считали самым неопровержимым доводом против многих краснореча фактов, казалось, прозвучало еще более убедительно благодаря тону, каким оно было высказано.

Каждый американец испытывает унижение, когда ему приходится защищать свою страну от обвинений в несправедливости ее законов. Подобное же чувство овладевает честным человеком, когда он вынужден отводить от себя какое-нибудь позорное обвинение, хоть он и уверен в своей правоте. В сущности, Ситгривс обладал здравым смыслом, и теперь, когда его задели, он принялся отстаивать свои взгляды со всей возможной серьезностью.

— Для нас свобода — означает иметь решающий голос в совещаниях конгресса, который нами правит. Мы считаем недопустимым подчиняться воле короля, чей народ живет в трех тысячах миль от нас, не имеет и не может иметь с нами общих политических интересов. Я уже не говорю о притеснениях, которым мы подвергаемся, но ребенок вырос и получил право на привилегии совершеннолетнего. В таких случаях есть только один заступник за права нации — это сила, и к ее помощи мы теперь прибегаем.

— Может быть, такие теории годятся для ваших целей,— с усмешкой сказал Уэлмир,— но не кажется ли

вам, что они противоречат взглядам и обычаям цивилизованных народов?

— Нет, они соответствуют обычаям всех народов,— отпарировал хирург, отвечая улыбкой на улыбку и на кивок капитана Лоутона, который весьма одобрительно относился к здравому смыслу своего приятеля, хотя и не выносил его медицинских поучений.— Кто позволит, чтоб им управляли, когда он может управлять собою сам? Разумен только один взгляд на вещи: каждое общество имеет право на самоуправление, если, конечно, оно не нарушает законов бога.

— А вы не нарушаете этих законов тем, что держите своих собратьев в рабстве? — внушительно спросил полковник.

Хирург выпил стаканчик вина, произнес «гм» и снова ринулся в бой.

— Сэр,— сказал он,— невольничество появилось в давние времена и, видимо, не зависит ни от формы правления, ни от религии; все цивилизованные государства Европы держат или держали своих собратьев в рабской зависимости.

— Для Великобритании вам придется сделать исключение! — заносчиво воскликнул полковник.

— О нет, сэр,— уверенно продолжал доктор, чувствуя, что война теперь перебросилась на вражескую территорию,— я не могу сделать исключение для Великобритании. Ее сыны, ее корабли и ее законы ввели рабство в наших колониях, и ответственность за это должна пасть на нее. Здесь нет ни пяди земли, принадлежащей Англии, где бы негры не были рабами. В Англии нет невольников, но там есть избыток рабочей силы, и часть рабочих влачит нищенское существование. То же самое происходит во Франции и в большинстве европейских стран. Пока мы мирились с нашим положением колоний, о рабстве в нашей стране не говорили; теперь же, когда мы решили добиться свободы, в которой нам отказывают несправедливые законы метрополии, нас упрекают в том, в чем сама же Англия повинна. Освободит ли ваш король рабов своих подданных, если ему удастся подчинить себе новые штаты, или же он осудит белых на такую же неволю, в какой он так долго и спокойно соглашался видеть негров? Да, у нас существует рабство, но мы в конце концов найдем средство от него избавиться, иначе совершится еще большее зло, чем

то, от которого мы страдаем. Мы будем двигаться вперед, и вместе с нашими успехами придет и освобождение рабов; и наконец на нашей прекрасной земле не останется ни одного человека, чье положение заставило бы его усомниться в божьей милости.

Заметив, что разговор становится щекотливым, англичанин встал и ушел в другую комнату к дамам. Он подсел к Саре и нашел себе более приятное развлечение, рассказывая ей о светских событиях Нью-Йорка и вспоминая тысячи забавных случаев из жизни их прежних общих знакомых. Мисс Пейтон за чайным столом угощала гостей печеньем и с удовольствием слушала болтовню полковника, а Сара то и дело склоняла пылающее личико к рукоделию, смущенная комплиментами своего кавалера.

Описанный нами спор помог установить полное перемирие между доктором и капитаном Лоутоном, а когда доктор побывал у Синглтона, приятели простились с дамами и сели на коней. Они отправились в деревню Четыре Угла. Ситгривс решил навестить раненых, а Лоутон — присоединиться к своему отряду. Но у ворот их задержало происшествие, о котором мы расскажем в следующей главе.

Глава XIV

Я не увижу этих локонов седых
И милых сердцу кротких глаз твоих,
Но ты обрел покой — я слез не лью,
Ты в чистой вере прожил жизнь свою,
Ты в бедности доволен был судьбой,
И добротой овеян образ твой.

Краббе

Мы упоминали уже, что, по американским обычаям, мертвых оставляют с живыми недолго, а необходимость позаботиться о своей безопасности заставила разносчика сократить это и без того короткое время. В суматохе и волнениях минувшей ночи смерть старшего Бёрча ни на кого не произвела большого впечатления; но все же его ближайшие соседи не замедлили собраться, чтобы отдать последний долг покойному. Вот эта скромная похоронная процессия, двигавшаяся по дороге, остановила драгуна и доктора. На грубо сколоченных носилках четыре человека несли гроб, а еще четверо шли впереди, готовые сменить

Гарви Берч поднял глаза и увидел совсем близко от себя своего заклятого врага.

своих товарищей. За гробом, рядом с Кэти Хейнс, лицо которой выражало безутешную скорбь, шел разносчик, а за ними — мистер Уортон с сыном. Шествие замыкали несколько старух и стариков и стайка мальчишек. Капитан Лоутон сидел на лошади, погрузившись в суровое молчание. Когда процессия поравнялась с ним, Гарви Бёрч вдруг поднял глаза и увидел совсем близко от себя своего заклятого врага. Первой мыслью разносчика было бежать, однако он овладел собой и устремил взгляд на гроб отца; сердце у него замерло, но он прошел мимо драгуна твердым шагом. Лоутон неторопливо обнажил голову и не надевал своей треуголки, пока перед ним не прошли мистер Уортон и Генри; потом он медленно, все так же молча последовал вместе с доктором за похоронной процессией.

Из кухни, помещавшейся в подвале коттеджа, выпырнул Цезарь и присоединился к шествию. Торжественное выражение словно застыло на его лице, хотя он весьма скромно держался на почтительном расстоянии от всадников. Старик повязал руку повыше локтя ослепительно белой салфеткой — заманчивая возможность появиться на кладбище в трауре, принятом среди невольников, представилась ему впервые со времени приезда из Нью-Йорка. Цезарь всегда любил строго соблюдать правила приличия, к тому же ему хотелось показать своему черному другу из Джорджии, как принято вести себя на похоронах в Нью-Йорке. Он с полным успехом осуществил свое намерение. Правда, вернувшись домой, ему пришлось выслушать наставление мисс Пейтон, которая мягко объяснила ему, что и когда бывает уместно. Она нашла, что он поступил похвально, явившись на похороны, но салфетку мог бы и не повязывать, ибо выполнение такого обряда излишне на похоронах человека, не имевшего лакея.

Кладбище было расположено во владениях мистера Уортона, который несколько лет назад отвел для него участок земли, огороженный каменным забором. Однако никого из семейства Уортон там не хоронили. До пожара, вспыхнувшего в тот день, когда британские войска завладели Нью-Йорком, позолоченная дощечка на стене в церкви Тринити, превратившейся вскоре в пепел, возвещала о добродетелях покойных родителей мистера Уортона: их кости тлели под мраморной плитой аристократической гробницы в одном из приделов этого храма. Шествие свернуло с проезжей дороги в поле, где находились мо-

гилы простых смертных, и капитан двинулся было вслед за ним, но доктор вовремя напомнил ему, что им надо в другую сторону.

— Скажите, капитан Лоутон, какой из принятых способов избавления от бренных останков людей вы предпочитаете? — спросил доктор, когда они отъехали от небольшой процессии, сопровождавшей гроб.— В некоторых странах труп оставляют на съедение диким зверям; в других — его вешают, чтоб субстанция разлагалась в воздухе; есть такие края, где умерших сжигают на костре; в иных странах их опускают в недра земли; у каждого народа свой способ погребения. Какой же из них предпочитаете вы?

— Все они неплохи,— ответил драгун, следя взглядом за кучкой людей, от которых они с доктором недавно отделились,— впрочем, чем быстрее хоронят покойников, тем раньше освобождается место для живых. А вам какой больше всего нравится?

— Последний — тот, что принят у нас, ибо три прочих исключают всякую возможность анатомировать трупы; при нашем способе гроб может быть вполне благопристойно предан земле, хотя бы до этого останки послужили благородным целям науки. Ах, капитан Лоутон, такая приятная возможность выпадает на мою долю гораздо реже, чем я надеялся, когда вступал в армию.

— А сколько раз в году вы получаете подобное удовольствие? — спросил капитан, отводя взгляд от кладбища.

— Десять или двенадцать. Честное слово, не больше. Лучший улов бывает тогда, когда наш отряд действует самостоятельно; если же мы идем вместе с армией, так много юнцов-медиков требуют своей доли, и мне редко достается приличный экземпляр. Эти юноши жадны, как коршуны, и расточительны, как моты.

— Только десять или двенадцать! — удивленно отозвался драгун.— Да ведь я один поставляю вам такое количество пациентов.

— Ах, Джек,— мягко сказал доктор, с величайшей деликатностью ступая на эту скользкую почву,— я редко могу воспользоваться пациентами, которых поставляете мне вы,— они ведь вконец обезображены. Поверьте мне как другу, Джек, ваша система в корне неправильна: вы бесцельно лишаете врагов жизни и при этом так уродуете тела, что их нельзя даже использовать для единственного дела, на какое они пригодны.

Драгун молчал, считая это наиболее верным средством поддерживать мирные отношения. Когда они огибали холм, скрывавший из виду долину, доктор повернул голову, в последний раз взглянул на кладбище и, подавив вздох, сказал:

— Было бы у нас время и подходящие условия, мы могли бы ночью унести с кладбища тело этого человека, умершего естественной смертью. Покойный, наверное, был отцом той леди, которую мы видели сегодня утром.

— Доктора в юбке! Той, у которой цвет лица подобен северному сиянию,— заметил драгун с улыбкой, смутившей его спутника.— Нет, эта леди не дочь умершего джентльмена, она была при нем лишь служителем медицины, а Гарви, имя которого она рифмовала с каждым словом своего сказа, и есть знаменитый разносчик-шпион.

— Что! Тот человек, который сшиб вас с лошади?

— Никто никогда меня с лошади не сшибал, доктор Ситгривс,— серьезно ответил драгун.— Я упал потому, что случилось несчастье с Роноки. Всадник и конь оба поцеловали землю.

— Горячий поцелуй, если судить по ссадинам на вашей коже. Тысячу раз сожалею, что мы не знаем, где прячется этот болтливый негодяй!

— Он шел за телом своего отца.

— И вы упустили его! — воскликнул доктор, осаживая свою лошадь.— Немедленно назад, и схватим его! А завтра его повесят, Джек, и я вскрою труп этого проклятого шпиона!

— Спокойнее, спокойнее, дорогой мой Арчибальд. Неужели вы способны арестовать человека, когда он выполняет свой последний долг перед умершим отцом? Предоставьте это мне. Даю слово, что он получит по заслугам.

Досадуя, что мщение откладывается, доктор что-то недовольно проворчал, но, чтобы не уронить свою репутацию человека, соблюдающего приличия, вынужден был согласиться, и они продолжали путь к Четырем Углам, увлеченные разговором о том, что́ нужно людям для их благополучия.

Бёрч был скорбно-сосредоточен, как подобает в таких случаях близким покойнику мужчинам, а Кэти взяла на себя роль опечаленной представительницы слабого пола. Иные люди могут изливать свои чувства в слезах, только находясь в соответствующем обществе,— такой склонно-

стью обладала и добродетельная старая дева. Обведя взглядом небольшую группу присутствующих, она заметила, что женщины смотрят на нее с напряженным ожиданием, и это тотчас на нее подействовало: Кэти искренне заплакала, завоевав немалую симпатию зрительниц и даже славу женщины с нежным сердцем. Лицо сына дрогнуло, когда на гроб его отца упал первый ком земли, своим гулким, мрачным звуком напоминая, что все люди смертны. Разносчик согнулся, словно от невыносимой боли; пальцы его безжизненно висящих рук задрожали, а выражение лица говорило, что сердце его разрывается от горя. Однако он быстро справился с собой, выпрямился, глубоко вздохнул и, подняв голову, огляделся; казалось, он даже улыбается от сознания, что так хорошо владеет собой. Могилу скоро засыпали; два небольших камня, положенных по краям, указывали ее границы; отдавая последнюю дань старым обычаям, могильный холмик украсили дерном, который своей поблекшей зеленью напоминает о судьбе умерших. И вот церемония окончилась. Соседи, помогавшие при выполнении печального обряда, стояли, обнажив голову, и выжидающе глядели на Бёрча — теперь он по-настоящему почувствовал, что остался один на всем белом свете. Он снял шляпу и, собравшись с силами, проговорил:

— Друзья и соседи, благодарю вас за то, что вы помогли предать земле тело моего умершего отца.

После того как были произнесены эти общепринятые слова, наступила торжественная тишина и все молча разошлись. Несколько человек проводили разносчика и Кэти, но у дверей дома почтительно покинули их. Впрочем, один человек, которого в округе важно называли «делец», вошел вместе с ними. Сердце Кэти забилось в предчувствии беды, однако хозяин, очевидно ожидавший этого визита, вежливо подал гостю стул. Разносчик подошел к двери, окинул внимательным взором долину, но тут же вернулся и сказал:

— Солнце уже спустилось за вершину восточного холма, времени у меня в обрез. Вот документы на дом и на землю. Все сделано по закону.

«Делец» взял бумагу и принялся медленно читать, так как был человеком осторожным, а также потому, что, к несчастью, его плохо учили в детстве. Пока он с трудом вникал в смысл бумаги, Гарви собрал кое-какие вещи, намереваясь присоединить их к тем, которые должны были вместе с ним покинуть дом. Кэти уже успела спро-

сить разносчика, оставил ли покойный завещание; теперь она с полным безразличием смотрела, как Гарви положил библию на дно нового тюка, который она сшила для него. Однако, когда он аккуратно положил туда же шесть серебряных ложек, Кэти вдруг охватило возмущение при виде такого явного урона, нанесенного ей, и она сказала:

— Вам могут понадобиться ложки, когда вы женитесь, Гарви.

— Я никогда не женюсь.

— Но незачем давать поспешные зароки, даже самому себе. Наперед никогда нельзя знать, какой тебе может представиться случай. Для чего холостяку столько ложек? Я считаю, что долг каждого обеспеченного человека — жениться и заботиться о своей семье.

В те времена, когда Кэти высказывала эти взгляды, богатство женщины ее сословия обычно составляли корова, кровать и несколько простынь, наволочек и одеял своей работы; у тех же, к кому судьба была особенно благосклонна, имелось еще полдюжины серебряных ложек. Многое из всего этого расчетливая старая дева приобрела своим собственным трудом, и можно представить себе ее негодование, когда она увидела, что ложки, которые она привыкла считать своими, тоже очутились в громадном тюке разносчика. Последние слова Бёрча отнюдь не утешили ее. Однако Гарви, не обращая внимания ни на ее недовольство, ни на высказанное ею мнение, продолжал укладывать вещи в тюк, который вскоре вырос почти до своих обычных размеров.

— Я не очень-то спокоен насчет этой бумаги,— сказал «делец», разобравшись наконец в содержании документа.

— Почему же?

— Боюсь, что суд не признает ее законной. Мне известно, что два ваших соседа собираются завтра утром пойти и потребовать конфискации вашего дома. Хорош буду я, если уплачу сорок фунтов и останусь ни с чем.

— Лишить прав могут только меня,— возразил разносчик.— Заплатите мне двести долларов, и дом будет ваш. Вы всем известны как виг [1], и вас-то уж не станут беспокоить.

В и г а м и в эпоху, описанную в романе, в североамериканских колониях называли сторонников восставших колонистов.

Разносчик говорил с горечью, которая удивительным образом уживалась со старанием как можно более выгодно продать свое имущество.

— Согласитесь на сто, и ударим по рукам,— сказал покупатель и осклабился, полагая, что добродушно улыбается.

— Ударим по рукам? — с удивлением повторил разносчик.— Я полагал, что мы уже заключили сделку.

— Сделка еще не заключена, пока мне не вручили бумагу и вам не выплатили деньги.

— Бумага у вас.

— Я оставлю ее у себя, если вы сбавите цену,— сказал покупатель и хихикнул.— Ну, полтораста долларов, ведь это не малая цена. Вот деньги у меня с собой.

Разносчик выглянул в окно и со страхом увидел, что близится вечер. Он знал, что подвергается опасности, оставаясь в доме после наступления темноты, но ему трудно было смириться с мыслью, что его так нагло грабят, после того как сделка была заключена по всем правилам. Видя, что он колеблется, покупатель встал и заявил:

— Что ж, может быть, вы сторгуетесь с кем-нибудь другим до утра, завтра ваши бумаги уже ничего не будут стоить.

— Соглашайтесь, Гарви,— вмешалась Кэти; она не могла устоять перед английскими гинеями, которые покупатель выложил на стол.

Ее голос вывел разносчика из раздумья; казалось, он вдруг вспомнил о чем-то.

— Хорошо,— сказал он и, повернувшись к Кэти, положил часть денег ей в руку,— если бы у меня была другая возможность расплатиться с вами, я скорее согласился бы все потерять, чем позволил бы так обобрать себя.

— Вы и без того можете все потерять,— пробормотал «делец» и, злобно улыбнувшись, вышел из дома.

— Да,— произнесла Кэти, проводив его взглядом,— он знает, чего вам недостает, Гарви: он, как и я, считает, что теперь, когда старый джентльмен скончался, вам нужен друг, который бы заботился о вас.

Занятый приготовлениями в дорогу, разносчик пропустил мимо ушей этот намек. Старая дева, однако, не унималась. Она поняла, что мечте, которую она лелеяла так много лет, не суждено осуществиться, и мысль о разлуке причинила ей большое огорчение; к тому же она никак не

ожидала, что способна на сочувствие к нищему и всеми покинутому человеку.

— Где вы теперь будете жить, где вы найдете другой дом? — спросила Кэти.

— Господь пошлет мне дом.

— Но он может вам не понравиться.

— Бедняк не должен привередничать.

— Уж про меня никак не скажешь, что я привередлива,— быстро отозвалась экономка.— Хоть я и люблю, чтоб в доме были приличные вещи и все стояло на своем месте, но я, пожалуй, согласилась бы покинуть эти края. Не сказала бы я, что мне очень нравится, как люди живут в этой долине.

— Долина эта прекрасна,— горячо сказал Гарви,— а люди повсюду одни и те же. Но мне теперь все равно; все места для меня одинаковы и все лица чужие.

Штука материи, которую он укладывал, выпала у него из рук, и он опустился на сундук, смотря вперед невидящим взглядом.

— Что вы, что вы! — возразила Кэти, придвигая свой стул поближе к разносчику.— Что вы, Гарви, мое-то лицо уж во всяком случае для вас не чужое.

Бёрч медленно посмотрел на Кэти и увидел в ее чертах больше чувства и меньше себялюбия, чем это бывало обычно. Он нежно взял ее за руку, и выражение страдания несколько сгладилось на его лице.

— Да, добрая женщина, вы, конечно, мне не чужая, вы можете быть справедливой ко мне. Когда люди будут меня поносить, вы, по доброте сердечной, скажете что-нибудь в мою защиту.

— Я заступалась за вас и всегда буду заступаться,— с жаром ответила Кэти,— я буду защищать вас до последней капли крови, пусть только посмеют поносить вас! Вы правильно сказали, Гарви, я справедлива и хорошо к вам отношусь. Что за беда, если вам нравится король! Мне часто доводилось слышать, что он, в сущности, неплохой человек, плохо только то, что в Англии нет религии; все говорят, что тамошние священники — сущие дьяволы!

Охваченный глубокой душевной тоской, разносчик начал ходить взад и вперед по комнате, в глазах его мелькало что-то безумное. Никогда Кэти не видела его таким, и ее пугала какая-то странная величавость в его размеренном шаге.

— Пока жил мой отец,— не в силах больше сдерживать свои чувства, прошептал Гарви,— на свете был человек, читавший в моем сердце. О, как отрадно было, вернувшись после тайных скитаний, полных опасностей, после всех перенесенных несправедливых обид услышать похвалу, принять его благословение! Но он умер,— Гарви остановился и диким взглядом посмотрел туда, где обычно сидел его отец.— Кто же будет знать о моей правоте?

— О Гарви, Гарви!

— Да, есть один человек, который узнает, должен узнать меня, прежде чем я умру. Как ужасно умереть, оставив после себя лишь опозоренное имя!

— Не говорите о смерти, Гарви,— сказала экономка; оглядевшись по сторонам, она подбросила дров в очаг, чтобы пламя дало побольше света.

Волнение Гарви, вызванное событиями минувшего дня и уверенностью, что его ждут новые беды, улеглось: у этого необыкновенного человека чувства подолгу господствовали над разумом. Заметив, что тьма уже окутала все кругом, разносчик поспешно закинул на плечи свой тюк и ласково взял Кэти за руку.

— Мне жаль расставаться с вами, добрая женщина,— сказал он,— но час наступил, и я должен уходить. Все, что здесь осталось, принадлежит вам, мне ничего больше не нужно, а вам эти вещи могут пригодиться. До свиданья, мы еще увидимся...

— В аду,— вдруг раздался голос.

И разносчик в отчаянии опустился на сундук, с которого он только что поднялся.

— Как, еще один тюк! И здорово же вы успели его набить, мистер Бёрч.

— Неужели тебе мало зла, которое ты совершил! воскликнул, вскочив на ноги, разносчик, к которому снова вернулась твердость духа.— Разве мало того, что ты омрачил последние минуты умирающего и ограбил меня? Чего тебе еще надо?

— Твоей крови,— с холодной злобой сказал скиннер.

— Ради денег! — горестно воскликнул разносчик.— Ты, как Иуда, хочешь разбогатеть ценою крови!

— Цену за нее дают немалую. Пятьдесят гиней — почти столько золота, сколько потянет чучело из твоего трупа, мой джентльмен!

— Вот пятнадцать гиней,— поспешно сказала Кэти,—

этот комод и кровать принадлежат мне; если вы обещаете оставить Гарви в покое только на час, они будут ваши.

— На час,— оскалив зубы, повторил скиннер и алчно посмотрел на деньги.

— Только на час, вот берите!

— Стойте, не доверяйте этому негодяю! — крикнул разносчик.

— Плевал я на ее доверие! — с жестокой радостью отозвался мародер.— Деньги в надежных руках, а твою наглость я уж как-нибудь стерплю за пятьдесят гиней, которые мне дадут, когда я притащу тебя на виселицу!

— Идем! — гордо сказал разносчик.— Отведи меня к майору Данвуди, он, может быть, окажется добрым и справедливым человеком.

— А для чего мне идти в такую даль, да еще в такой позорной компании? К тому же этот мистер Данвуди отпустил на все четыре стороны двух или трех тори [1]. Отряд капитана Лоутона стоит в полумиле, и его расписка годится так же, как расписка майора, чтобы мне выдали награду. Как вам нравится мысль поужинать сегодня вечером с капитаном Лоутоном, мистер Бёрч?

— Отдайте мои деньги или отпустите Гарви! — завопила в испуге экономка.

— Ваша взятка маловата, почтенная леди, разве что у вас найдутся еще депежки в кровати.

Мародер ткнул штыком в матрац и распорол его, глядя со злорадным удовольствием, как рассыпалась по комнате солома.

— Если есть еще в нашей стране закон, я найду на вас управу! — крикнула Кэти, в тревоге за свою новую собственность забыв об опасности, грозящей ей самой.

— На нейтральной территории закон на стороне того, у кого сила, а мой штык длиннее вашего языка; так уж лучше придержите его, не то как бы вам не остаться в убытке.

В темноте за дверью стояло несколько скиннеров, среди них маячила фигура человека, казалось не желавшего, чтобы его заметили. Однако, когда кто-то подбросил дров в очаг, вспышка пламени осветила его лицо, и Бёрч узнал в нем покупателя своих скромных владений. Он перешеп-

---

[1] Тори — в эпоху, описанную в романе, в североамериканских колониях так называли сторонников Англии.

тывался с мародером, стоявшим рядом с ним, и это навело Гарви на мысль, что его жестоко одурачили и негодяй был в стачке со скиннерами. Но было поздно возмущаться, и Гарви Бёрч твердым шагом двинулся за своими преследователями, словно его ждал триумф, а не виселица. Когда они шли через двор, вожак шайки, споткнувшись о бревно, упал и слегка ушибся.

— Окаянный чурбан! — в ярости воскликнул он, вскочив на ноги.— В такую темень далеко не уйдешь. Киньтека головню в ту кучу пакли, чтоб было посветлей!

— Стойте, вы подожжете дом! — закричал «делец».

— Тем лучше будет видно,— ответил скиннер и бросил горящую головню в кучу сухого мусора.

В одну минуту дом запылал.

— Теперь пошли в горы, пока пламя освещает нам дорогу.

— Злодеи! — завопил «делец» в отчаянии.— Вот она, ваша благодарность, вот награда за то, что я помог вам поймать разносчика!

— Коли ты собираешься нас оскорблять, то лучше отойди подальше от огня; при таком ярком свете я не промахнусь! — крикнул вожак шайки.

В следующее мгновение он выстрелил, но, к счастью, не попал ни в онемевшего от страха «дельца», ни в столь же перепуганную экономку, которая из довольно зажиточной женщины сразу превратилась в нищую. Благоразумие подсказало обоим, что лучше отступить, и побыстрей. На другое утро на том месте, где был дом разносчика, торчала лишь громадная труба, уже упомянутая в нашем повествовании.

Глава XV

Ревнуют не затем, что есть причина,
А только для того, чтоб ревновать
Сама собой сыта и дышит ревность.

Шекспир, «Отелло»[1]

Тихая, ясная погода, стоявшая после описанной нами бури, как это часто бывает в американском климате, неожиданно испортилась. К вечеру с гор подул холодный,

[1] Перевод Б. Пастернака.

порывистый ветер, а внезапный снегопад не оставил сомнений, что на дворе ноябрь — пора, когда летнюю жару сменяет зимняя стужа. Френсис стояла в своей комнате у окна; глубокая печаль, с какой она наблюдала за медленно проходившей похоронной процессией, была, очевидно, вызвана не только этим зрелищем. Что-то в скорбном погребальном обряде отвечало ее чувствам. Когда Френсис оглянулась, она увидела деревья, сгибавшиеся под напором ветра, с такой силой мчавшегося по долине, что сотрясались даже постройки; ветер срывал листья с ветвей и уносил их в беспорядочном вихре, а лес, еще так недавно сиявший на солнце разнообразными красками, на глазах терял свою красоту. Вдалеке, на возвышенностях, можно было разглядеть фигуры кавалеристов, охранявших горные проходы, которые вели к расположению американских войск; они склонялись над седлами и плотнее закутывались в плащи, спасаясь от жестокого ветра, проносившегося над просторами пресноводных озер.

Френсис смотрела, как медленно опускали деревянный гроб, как он скрылся во тьме могилы, и после этого зрелища все кругом показалось ей еще более унылым. Подле спящего капитана Синглтона находился его вестовой, а Изабеллу убедили уйти в ее комнату отдохнуть после долгого ночного путешествия. Кроме двери, выходившей в общий коридор, в комнате мисс Синглтон была еще одна дверь, ведущая в спальню сестер Уортон. Заметив, что эта дверь приоткрыта, Френсис подошла к ней с добрым намерением узнать, хорошо ли устроилась гостья. К своему удивлению, девушка увидела, что та, кого она думала застать спящей, не только не спит, но даже не собирается ложиться. Черные волосы, во время обеда лежавшие тугими косами вокруг ее головы, теперь были распущены и пышными волнами падали на плечи и грудь, придавая несколько дикое выражение чертам Изабеллы; мраморную белизну ее лица подчеркивали жгучие черные глаза, взгляд которых был прикован к портрету, который она держала в руке. Френсис чуть не потеряла сознание, когда случайное движение Изабеллы позволило ей увидеть, что то был портрет человека в хорошо знакомом ей мундире виргинского полка. Едва дыша, Френсис инстинктивно приложила руку к сердцу, чтобы умерить его биение: ей показалось, что она узнает образ того, кто так глубоко запечатлелся в ее воображении. Она сознавала, что не-

скромно вторгается в чужую священную тайну, но волнение мешало ей говорить, и она опустилась на стул, не в силах оторвать взгляд от гостьи. Изабелла же не замечала трепещущей свидетельницы ее переживаний и прижимала портрет к губам с жаром, изобличавшим пылкую страсть. Френсис едва успевала следить за тем, как изменялось лицо красивой гостьи: одно чувство быстро вытеснялось другим, столь же сильным и столь же волнующим. Однако выражение печали и восхищения на лице Изабеллы было сильнее других. О печали говорили слезы; они падали крупными каплями на портрет и так неудержимо текли по щекам, что, казалось, были вызваны глубоким горем. В каждом жесте Изабеллы сказывалась пламенная натура, и каждое новое чувство всецело овладевало ее сердцем. Ярость ветра, налетавшего на дом, отвечала душевной тревоге Изабеллы. Наконец она встала и направилась к окну. Теперь она скрылась из глаз Френсис, которая уже собиралась подняться и подойти к ней, как вдруг звуки трепетной песни приковали ее к месту. Мелодия была очень странная, и голос не отличался силой, но такого выразительного исполнения Френсис никогда не слыхала. Она стояла затаив дыхание, пока песня не была пропета до конца.

Тяжелый туман над замерзшим ручьем
Навис седой пеленой,
И ветер шумит над пустынным холмом,
Где дуб чернеет нагой.
Затихла природа в преддверии сна,
Но грудь моя вновь беспокойством полна

Внезапно обрушился страшный шторм
На мой свободный народ,
Но выстоял он под жестоким напором,
И враг сюда вновь не придет.
Борьба была долгой, и наши герои
В решительный бой нас вели за собою.

Ревет, завывая от ярости, вьюга,
И дуб чернеет нагой,
Но кажется мне, будто солнце юга
Струит свой убийственный зной.
Пусть ветер холодный гудит над горами,—
Бушует в душе моей грозное пламя.

Песня глубоко запала в душу Френсис, а слова вместе с воспоминаниями о событиях последних дней пробудили в груди впечатлительной девушки незнакомую ей прежде тревогу. Когда отзвучали последние звуки мелодии, Изабелла отошла от окна, и взгляд ее упал на бледное лицо восхищенной Френсис. Девушки одновременно вспыхнули, голубые глаза хозяйки на миг встретились с черными блестящими глазами гостьи, и обе смущенно опустили взор; однако они бросились навстречу друг другу и взялись за руки, хотя ни одна из них не отваживалась взглянуть в лицо другой.

— Внезапная перемена погоды и беспокойство за брата навеяли на меня грусть,— проговорила Изабелла тихим, дрожащим голосом.

— Говорят, теперь он вне опасности,— заметила Френсис так же смущенно.— Вот если бы вы видели вашего брата, когда его привез майор Данвуди...

Френсис замолчала, словно почувствовала себя виноватой, хотя и не знала, в чем. Подняв глаза, она увидела, что Изабелла пристально вглядывается в нее, и кровь снова прилила к ее щекам.

— Вы сказали — майор Данвуди,— едва слышно произнесла Изабелла.

— Да, он был с капитаном Синглтоном.

— Вы знакомы с Данвуди? Вы часто с ним видитесь?

Френсис снова решилась посмотреть на Изабеллу и снова встретила ее испытующий взгляд — казалось, гостья хотела проникнуть в самую глубину ее сердца.

— Говорите, мисс Уортон, майор Данвуди вам знаком?

— Он мой родственник,— ответила Френсис, испуганная тоном гостьи.

— Родственник! — повторила Изабелла.— Близкий родственник? Говорите, мисс Уортон, умоляю вас!

— Наши матери двоюродные сестры,— нерешительно произнесла Френсис.

— И он ваш жених? — с жаром спросила гостья.

Этот откровенный вопрос неприятно задел Френсис. Подняв глаза, она несколько надменно посмотрела на гостью, но лишь только увидела бледные щеки и дрожащие губы Изабеллы, как ее возмущение тут же прошло.

— Это правда, я догадалась? Отвечайте же, мисс Уортон! Умоляю вас, из сострадания к моим чувствам скажите мне... вы любите Данвуди?

Трогательная мольба, прозвучавшая в голосе мисс Синглтон, обезоружила Френсис, и, закрыв свое горящее лицо руками, она в смущении опустилась на стул.

Несколько минут Изабелла молча ходила взад и вперед по комнате; наконец, справившись со своим волнением, она подошла к Френсис, которая сидела не поднимая глаз, чтобы скрыть испытываемую ею неловкость, взяла ее за руку и, явным усилием воли сохраняя самообладание, сказала:

— Простите, мисс Уортон, если непреодолимое волнение заставило меня забыть о приличиях... серьезнейший повод... жестокая причина...

Она замялась. Френсис подняла голову, их взгляды снова встретились. Они обнялись, прижавшись друг к другу пылающими щеками. Объятие длилось долго, оно было искренним и пылким, но ни одна из девушек не заговорила, а когда их руки разжались, Френсис молча ушла в свою спальню.

Пока в комнате мисс Синглтон разыгрывалась эта удивительная сцена, в гостиной обсуждались вопросы исключительной важности. Хозяйке пришлось немало поломать голову, прикидывая, как использовать остатки описанного нами обеда. Хотя немало кусков дичины нашло себе место в карманах вестового капитана Лоутона, а кое-чем запасся даже помощник доктора, не надеясь задержаться надолго на таком прекрасном постое, все же провизии осталось так много, что заботливая мисс Пейтон не знала, как разумнее ею распорядиться. Вот почему Цезарь и его госпожа уединились и долго совещались по этому важному вопросу; вот почему полковник Уэлмир был всецело предоставлен гостеприимству Сары Уортон. Когда обычные темы для разговора были исчерпаны, полковник с некоторым смущением, часто сопутствующим сознанию собственных ошибок, слегка коснулся событий прошедшего дня.

— Когда мы впервые встретились с этим мистером Данвуди в вашем доме на Куин-стрит, кто мог бы подумать, что он станет знаменитым воякой! — сказал полковник Уэлмир, пытаясь за улыбкой скрыть свое огорчение.

— Знаменитым, если вспомнить, какого сильного противника он победил,— щадя чувства полковника, заметила Сара.— Конечно, этот несчастный случай был для вас неудачей во всех отношениях. Если бы он не произошел, победу, как обычно, одержала бы королевская армия.

— Зато благодаря этому несчастному случаю я попал в такое прелестное общество. Удовольствие от пребывания здесь вознаграждает меня за душевные и физические раны,— добавил полковник, и голос его прозвучал необычайно сладко.

— Надеюсь, ваши раны неглубокие,— сказала Сара и, желая скрыть румянец, заливший ее щеки, наклонилась над лежавшим у нее на коленях рукоделием, словно собираясь перекусить нитку.

— Совсем неглубокие в сравнении с душевными ранами,— тем же сладким голосом ответил полковник.— Ах, мисс Уортон, в такие минуты как никогда дорожишь дружбой и сочувствием.

Кто не испытал подобных чувств, тот вряд ли способен представить себе, как может в течение недолгого получаса разгореться любовь увлекающейся женщины, особенно если все вокруг нее к этому располагает. Разговор, коснувшийся дружбы и сочувствия, так увлек Сару, что она не решилась вымолвить ни слова и остановить полковника. Она только подняла на него глаза, и восхищение, с каким он смотрел на ее красивое лицо, показалось ей столь же красноречивым и приятным, как самые пылкие речи.

Целый час они оставались наедине, и, хотя наш джентльмен не сказал ровно ничего такого, что опытная женщина приняла бы за признание в любви, многие его слова очаровали Сару, и впервые после ареста брата она ушла в свою комнату с радостью в сердце.

Глава XVI

Бокалами, полными до ободка,
В бокалы ударим, ребята.
Солдат не младенец, а жизнь коротка,
За ваше здоровье, солдаты!

Шекспир, «Отелло»[1]

Мы уже упоминали, что отряд драгун расположился на постое в излюбленном месте своего командира. Там под прямым углом скрещивались две дороги, и деревенька,

[1] Перевод Б. Пастернака.

состоявшая из нескольких ветхих домишек, называлась по этой причине Четыре Угла. Как это издавна повелось, в доме, наиболее приличном на вид, помещался, выражаясь языком того времени, «Постоялый двор для людей и лошадей». На грубой дощечке, прибитой к столбу, напоминавшему виселицу, когда-то красовалась такая вывеска. Теперь же на ней было нацарапано красным мелком: «Собственный Отель Элизабет Фленеган» — плод остроумия какого-то досужего шутника драгуна. Женщина, которая неожиданно возвысилась, получив почетное звание хозяйки «отеля», обычно исполняла обязанности маркитантки, прачки и, по выражению Кэти Хейнс, доктора в юбке. Бетти была вдовой солдата, убитого в бою. Как и ее муж, она родилась в далекой Британии. В поисках счастья, оба они давным-давно переселились в колонии Северной Америки. Бетти постоянно следовала за войсками, и, хотя они лишь в редких случаях задерживались где-либо больше двух суток, нагруженная товарами маленькая тележка проворной женщины неизменно появлялась в лагере, что всегда обеспечивало ее хозяйке дружеский прием. Бетти располагалась на месте почти со сверхъестественной быстротой и тотчас принималась за торговлю. Иногда лавкой ей служила тележка, а иногда солдаты наспех сколачивали навес из первого попавшегося под руку материала. Теперь же Бетти заняла пустовавший дом и, заткнув окна грязными солдатскими штанами, чтобы внутрь не проникал пронзительный ветер, устроила, по ее выражению, «шикарное жилье». Солдат расквартировали в соседних сараях, а офицеры поселились в «Отеле Фленеган», который они в шутку называли своей штаб-квартирой. В отряде все до единого знали Бетти. И она звала каждого по имени или прозвищу — в зависимости от ее собственной причуды. Она была всеобщей любимицей этих воинов-партизан, хотя те, кто не свыкся с ней и не знал ее добродетелей, совершенно ее не выносили. В числе ее слабостей можно было назвать чрезмерное пристрастие к спиртным напиткам, крайнюю неопрятность и полное пренебрежение к соблюдению приличий в выражениях; зато ей были присущи такие достоинства, как безграничная любовь к своей новообретенной родине, безупречная честность в торговых делах и редкостное добродушие. Кроме того, к заслугам Бетти следует добавить изобретение напитка, в наши дни хорошо знакомого всем патриотам, странствующим зимой

по коммерческим и политическим центрам нашего великого государства,— напитка под названием «коктейль». Элизабет Фленеган, в прямом смысле слова взращенная на основном ингредиенте этого зелья, научилась у своих клиентов-виргинцев всюду применять мяту, начиная от вкусной лекарственной настойки до горячительной смеси, о которой идет речь. Таким образом, воспитание и обстоятельства прекрасно подготовили Бетти к совершенствованию ее изобретения, которое со временем приобрело мировую славу. Вот какова была хозяйка «отеля».

Невзирая на ледяные порывы северного ветра, она высунула из двери цветущее лицо, чтобы встретить своего любимца, капитана Лоутона, и его спутника — доктора Ситгривса, своего начальника в области врачевания.

— Клянусь надеждой на повышение, я рад видеть вас, моя нежная Элизабет! — воскликнул драгун, соскакивая с седла.— Коварные испарения пресных вод Канады пропизали меня насквозь, и от холода у меня разболелись кости, но один взгляд на ваше пылающее личико бодрит, как рождественский камин.

Ну, ну, капитан Джек, вы же известный любезник,— отозвалась маркитантка, беря под уздцы лошадь драгуна.— Ступайте живо в дом, радость моя, там вы разом согреете себе душу и тело; ведь тут заборы не такие крепкие, как у нас в горах.

— Я вижу, вы успели уже наложить контрибуцию на заборы. Что ж, моим косточкам не повредит огонь в камине,— спокойно ответил капитан,— а что касается моей души, так я успел хлебнуть из хрустального графинчика на серебряном подносе, и вряд ли меня потянет на ваше виски раньше, чем через месяц.

— Коли вы намекаете на золото и серебро, так их у меня нету, хотя малость континентальных денег и найдется,— сказала Бетти недовольно,— зато есть такое питье, что заслуживает алмазной посудины.

— Что она хочет этим сказать, Арчибальд? — спросил капитан.— Вид у этой бабы такой, будто она чего-то не договаривает!

— По всей вероятности, излишнее употребление спиртных напитков затуманило ей мозги,— заметил доктор; он не спеша перенес левую ногу через луку седла и соскочил с лошади на правую сторону.

— Вот-вот, этого я и ждала от вас, драгоценный док-

тор, хотя все в отряде слезают с другой стороны,— подмигнула Бетти капитану.— Знаете, пока вас тут не было, я на славу угостила ваших раненых.

— Какая дикость, какое варварство,— воскликнул насмерть перепуганный доктор,— давать тяжелую пищу людям, которых трясет лихорадка! Женщины, о женщины, вы способны погубить искусство самого Гиппократа![1]

— Еще чего! — хладнокровно ответила Бетти.— Стоит ли поднимать шум из-за глотка водки; и дала-то я всего один галлон на двадцать человек — заместо сонных капель, чтобы бедняги скорей уснули.

Лоутон и его спутник вошли в дом, и первое, что бросилось им в глаза, объяснило загадочный смысл многообещающего заявления Бетти. Посредине «бара» — самой большой комнаты в доме — стоял длинный стол, сбитый из досок, содранных со стены какой-то пристройки, а на нем красовался скудный набор глиняной посуды. Из кухни, находившейся рядом, доносился запах кушаний; но главной приманкой служила солидных размеров бутыль, которую Бетти поместила на возвышении, как предмет, достойный особого внимания. Лоутон не замедлил выяснить, что этот сосуд до краев наполнен янтарным соком, выжатым из виноградных лоз, и прислан майору Данвуди из «Белых акаций» его другом, капитаном королевской армии Уортоном.

— Поистине королевский дар! — с улыбкой заметил младший офицер, сообщивший, откуда взялось вино.— Майор угощает нас в честь победы, а главные расходы, как и полагается, несет неприятель. Ей-богу, глотнув такого напитка, мы в два счета смогли бы прорваться в штаб-квартиру сэра Генри и самого этого рыцаря захватить в плен.

Драгунский капитан был не прочь весело завершить так приятно начавшийся для него день. Вскоре его окружили товарищи и стали наперебой расспрашивать о последних событиях, а доктор тем временем с замиранием сердца отправился проведать своих раненых. Во всех каминах трещал огонь; яркое пламя, отбрасываемое пылающими дровами, избавляло от необходимости зажигать свечи. Здесь собралось человек двенадцать — всё люди

---

[1] Гиппократ (460—377 до н. э.) — знаменитый древнегреческий врач.

молодые, но испытанные в боях; партизанская грубоватость в обращении и языке странным образом сочеталась у них с манерами джентльменов. Одежда на них была опрятная, хотя и простая; неиссякаемой темой разговора служили подвиги и достоинства их лошадей. Одни пытались уснуть, растянувшись на скамьях, стоявших у стен, другие расхаживали по комнатам, третьи сидели и с увлечением спорили о повседневных делах. Иногда дверь в кухню растворялась, и шипенье сковород вместе с соблазнительным запахом еды тотчас же прерывало все занятия; в эти мгновения даже те, кто дремал, приоткрывали глаза и поднимали головы, чтобы узнать, как подвигаются приготовления к обеду. Данвуди, сидевший в одиночестве у камина, в раздумье смотрел на огонь, и никто из офицеров его не тревожил. Он заботливо справился у Ситгривса о здоровье Синглтона, и все выслушали ответ доктора в почтительном молчании, но, как только доктор замолчал, а Данвуди снова сел, почувствовали себя, как обычно, непринужденно и свободно.

Миссис Фленеган собирала на стол без особых церемоний. Цезарь был бы глубоко возмущен, если бы увидал, что

такому большому обществу важных особ блюда подавались без всякого порядка, да к тому же удивительно похожие одно на другое. За стол офицеры, однако, усаживались строго по чинам — несмотря на вольность обхождения, правила военного этикета соблюдались в армии во все времена чуть ли не с религиозным благоговением. Драгуны так проголодались, что им и в голову не приходило привередничать. Не то было с капитаном Лоутоном. Кушанья, поданные маркитанткой, вызывали в нем отвращение. Он не утерпел и бросил вскользь несколько замечаний насчет тупых ножей и грязных тарелок. Добродушие и привязанность к капитану некоторое время сдерживали Бетти, и она не отвечала обидчику, пока, положив в рот кусок обугленного мяса, он не спросил тоном избалованного ребенка:

— Интересно бы знать, что это за животное было при жизни, миссис Фленеган?

— А что вы скажете, коль это была моя буренушка? — отозвалась маркитантка с горячностью, вызванной отчасти неудовольствием ее любимца, а отчасти огорчением, что она лишилась коровы.

— Как! — заревел капитан, чуть не подавившись куском, который он собирался проглотить.— Старушка Дженни!

— Черт побери! — воскликнул другой офицер, выронив нож и вилку.— Та самая, что проделала с нами всю джерсийскую кампанию?

— Она самая,— ответила хозяйка «отеля» с выражением глубокой скорби на лице.— Эта кроткая скотинка могла прокормиться воздухом, да и не раз кормилась, когда другой пищи не было. Конечно, это ужасно, джентльмены, сожрать такую верную подружку.

— И это все, что от нее осталось? — осведомился Лоутон, показывая ножом на стоявшее на столе недоеденное мясо.

— Нет, капитан,— лукаво ответила маркитантка,— я продала две ляжки солдатам; но не такая я дура, чтоб сказать молодцам, что они купили старого друга, и испортить им аппетит.

— Ну и ведьма! — крикнул Лоутон, притворившись сердитым.— От такой еды мои драгуны свалятся с ног, они будут бояться англичан, как виргинский негр — надсмотрщика.

— М-да,— пробормотал лейтенант Мейсон и, сделав горестную мину, отложил вилку и нож,— у меня челюсти более чувствительны, чем у иного человека сердце. Они положительно отказываются жевать останки старой приятельницы.

— Хлебните-ка маленько этого подарочка,— примиряюще сказала Бетти и, налив в чашку солидную порцию вина, стала медленно смаковать его, словно выполняя обязанности дегустатора.— Фу ты, да ведь в нем нету никакой крепости!

На этот раз лед был сломан. Данвуди подали стакан вина, и, поклонившись товарищам, он выпил при общем глубоком молчании. Пока осушались первые стаканы, соблюдался обычный церемониал, произносились патриотические тосты, прочувствованные речи... Однако вино оказало свое неизменное действие; не успел смениться второй часовой, как весселье уже было в полном разгаре, забылись связанные с ужином огорчения и тревожные мысли.

Доктор Ситгривс выходил к раненым и опоздал, ему не досталось ни кусочка мяса Дженни, но свою долю вина, подаренного капитаном Уортоном, он получил.

— Спойте же нам, спойте, капитан Лоутон! — в один голос закричали несколько драгун, заметив, что тот не в таком хорошем настроении, как обычно.— Тише, капитан Лоутон будет петь!

— Джентльмены,— сказал Лоутон; от вина его глаза немного затуманились, однако голова оставалась крепкой,— меня не назовешь соловьем, но так и быть, спою, чтоб вас не обидеть.

— Послушайте, Джек,— сказал Ситгривс, покачиваясь на стуле,— вспомните песню, которой я вас научил, и... но погодите, у меня в кармане бумажка со словами этой песни.

— Постойте, дорогой доктор, постойте,— возразил с полным спокойствием драгун, наливая себе стакан,— я вечно путаю мудреные имена. Лучше, джентльмены, я вам спою песню своего собственного скромного сочинения.

— Тише, капитан Лоутон будет петь! — закричали сразу несколько человек.

Капитан запел звучным красивым голосом на мелодию известной застольной песни:

Пускай стаканы звенят, звенят,
Пускай стаканы звенят.
Опасность близка,
А жизнь коротка,
И выпить хочет солдат.

Пускай вино течет в стакан,
Сегодня пей и пой,
Сегодня весел ты и пьян,
А завтра — снова в бой.
Сражаясь каждый день с врагом,
Не знаем мы, когда умрем.
Старушка Фленеган,
Скорей наполни мой стакан,
Мы выпьем и опять нальем,
За Бетти Фленеган.
Когда владеет лень тобой,
Когда покой по вкусу,
Дрожи, когда грохочет бой,
И называйся трусом.
Бесстрашно мчимся мы верхом,
И нам опасность нипочем.
Старушка Фленеган,
Скорей наполни мой стакан,
Мы выпьем и опять нальем,
За Бетти Фленеган.
Нам всем отчизна дорога,
Мы за нее умрем,
И чужеземного врага
Встречаем мы огнем.
Своей рискуя головой,
Освободим мы край родной.
Старушка Фленеган,
Скорей наполни мой стакан,
Мы выпьем и опять нальем,
За Бетти Фленеган.

Все подхватили припев, да с таким жаром, что шаткий дом содрогнулся от пола до крыши. Всякий раз, когда упоминалось имя Бетти, она выходила вперед и, к великому удовольствию певцов и немалой радости для себя, в точности выполняла все, о чем говорилось в песне. Напиток, которым хозяйка запаслась, был куда более выдержан и при-

ходился ей больше по нраву, чем безобидный подарок капитана Уортона, так что она без труда могла разделять веселье своих гостей. Лоутону все дружно зааплодировали, за исключением, впрочем, медика; во время первого исполнения припева он с негодованием классика вскочил со скамьи и принялся расхаживать по комнате. Крики «браво» и «брависсимо» на время всё заглушили, потом стали замирать, а когда совсем смолкли, доктор обратился к певцу:

— Меня поражает, капитан Лоутон, что джентльмен и храбрый офицер в такие тяжелые времена не находит для своей музы более подходящей темы, чем грубое обращение к этой пользующейся дурной славой маркитантке, грязнуле Элизабет Фленеган. Мне кажется, богиня свободы могла бы вдохновить вас на более благородную мысль, а страдания нашей родины подсказать тему более достойную.

— Вот как! — с угрозой подступая к доктору, вскричала Бетти.— Это кто же называет меня грязнулей? Ах, вы, мистер Клизма! Мистер Пустомеля!..

— Довольно,— сказал Данвуди, лишь слегка возвысив голос, однако в комнате тотчас воцарилась мертвая тишина.— Уйдите, Бетти! Доктор Ситгривс, сядьте, пожалуйста, и не мешайте веселью.

— Продолжайте, продолжайте,— произнес доктор и выпрямился с чувством собственного достоинства.— Я полагаю, майор Данвуди, что мне известны правила приличия и законы доброго товарищества.

Бетти быстро отступила в собственные владения, хотя и не совсем крепко держалась на ногах; она привыкла всегда подчиняться приказаниям начальства.

— Майор Данвуди окажет нам честь и споет любовную песню,— сказал Лоутон и поклонился своему командиру с почтительным видом, который он порой умел на себя напускать.

Майор мгновение колебался, но потом очень мило исполнил такую песню:

Одним по вкусу южный зной
И свет, что льется над землей
Сверкающим потоком.
Но ничего прекрасней нет,
Чем тихий северный рассвет

И блеск луны далекой
Иного радует тюльпан
Ему оттенок редкий дан,
Как пламя золотое,
Но тот, в чей свадебный венок
Любовь вплетает свой цветок,—
Тот, право, счастлив вдвое.

Голос Данвуди всегда производил большое впечатление на слушателей, и, хотя последовавшие аплодисменты были менее бурными, чем те, какими наградили капитана Лоутона, они казались куда более лестными.

— Если бы вы еще немного больше овладели классическим стилем, сэр,— сказал доктор, хлопавший вместе со всеми,— то при вашей изысканной фантазии вы сделались бы недурным поэтом-любителем.

— Тот, кто критикует, должен уметь и творить,— улыбаясь, ответил Данвуди.— Покажите же нам, доктор, образец стиля, которым вы восхищаетесь.

— Песню, доктор Ситгривс! Спойте песню! — весело закричали все сидевшие за столом.— Классическую оду, доктор Ситгривс!

Медик с достоинством поклонился, допил свой стакан вина и несколько раз откашлялся, чем доставил немалое удовольствие трем или четырем молодым корнетам, сидевшим в конце стола.

Наконец он приступил к делу и надтреснутым голосом фальшиво спел такую песню:

Когда стрела любви коснулась
Твоей груди украдкой,
Внезапно сердце встрепенулось
От этой боли сладкой,
К любви попал ты в тяжкий плен,—
Тебя не вылечит Гален.

— Ура! — крикнул Лоутон.— Арчибальд затмил самих муз. Его стих струится, как лесной ручеек при лунном свете, а в голосе слышатся и трели соловья, и крики совы.

— Капитан Лоутон! — вскричал раздосадованный хирург.— Презирать свет классических знаний — одно, но вызывать презрение своим невежеством — это уж совсем другое!

Тут раздался громкий стук в дверь, и шум сменился полной тишиной; драгуны инстинктивно схватились за оружие, готовясь к самому худшему. Дверь открыли, и вошли скиннеры, таща за собой разносчика, сгибавшегося под тяжестью своего тюка.

— Кто тут капитан Лоутон? — спросил главарь шайки, с некоторым удивлением озираясь кругом.

— Я к вашим услугам! — сухо отозвался драгун.

— Тогда передаю вам с рук на руки разоблаченного изменника: это Гарви Бёрч, разносчик-шпион.

Лоутон вздрогнул, посмотрев в лицо своему старому знакомому, потом опустил глаза и, повернувшись к скиннеру, спросил:

— А вы кто такой, кто дал вам право так бесцеремонно говорить о своих ближних? Прошу прощения, сэр,— он поклонился Данвуди и добавил: — Вот наш командир, и извольте обращаться к нему.

— Нет,— мрачно заговорил скиннер,— я передаю разносчика вам и от вас требую награды.

— Ты Гарви Бёрч? — спросил Данвуди, подойдя к разносчику с таким властным видом, что скиннер немедленно отступил в угол комнаты.

— Да, я,— спокойно ответил Бёрч.

— Ты изменил нашей родине,— сурово продолжал майор.— Известно ли тебе, что я обязан казнить тебя сегодня ночью?

— Господь не велел отправлять к нему души с такой поспешностью,— торжественным тоном сказал Бёрч.

— Ты прав,— ответил Данвуди.— Тебе продлят жизнь на несколько коротких часов, но, так как ты совершил самое гнусное преступление в глазах солдата, то и кара будет солдатская; завтра ты умрешь.

— Да свершится воля божья.

— Я потратил немало времени, чтоб схватить этого мошенника,— сказал скиннер, подойдя чуть поближе.— Надеюсь, вы дадите мне расписку, чтоб я мог получить награду,— ведь за него обещали заплатить золотом.

— Майор Данвуди,— обратился к командиру дежурный офицер, входя в комнату,— патруль доложил, что неподалеку от вчерашнего поля сражения сгорел дом.

— Это сгорела лачуга разносчика,— пробормотал вожак бандитской шайки,— мы и черепицы на ней не оставили; теперь ему некуда сунуться. Давно бы спалили мы

этот сарай, да он нам был нужен как приманка, чтоб изловить хитрую лису.

— Вы, как видно, здорово изобретательный «патриот»,— заметил Лоутон.— Капитан Данвуди, я поддерживаю требование этого достойного джентльмена и прошу, чтоб мне поручили наградить его и его дружков.

— Не возражаю. А ты, несчастный, готовься к участи, которая постигнет тебя завтра еще до захода солнца.

— Жизнь мало прельщает меня,— ответил Гарви и, подняв глаза, медленно обвел взглядом незнакомые лица драгун.

— Идемте, достойные сыны Америки! — сказал Лоутон.— Идемте за мной, вы получите свою награду!

Разбойники, нимало не мешкая, последовали за капитаном в отведенное для его солдат помещение.

Не в характере Данвуди было глумиться над поверженным врагом, и, подумав немного, он добавил несколько мягче:

— Ведь тебя уже судили, Гарви Бёрч, и было доказано, что ты слишком опасный враг свободы Америки, чтобы можно было оставить тебя в живых.

— Доказано! — вздрогнув, повторил разносчик и выпрямился, точно тюк, висевший у него за плечами, ничего не весил.

— Да, доказано! Тебя обвиняют в том, что ты бродил поблизости от континентальной армии, собирая сведения о ее передвижениях, и сообщал их неприятелю, тем самым помогая англичанам расстраивать планы Вашингтона.

— И вы полагаете, что Вашингтон подтвердил бы это?

— Конечно, подтвердил бы; даже правосудие Вашингтона и то обвинило бы тебя.

— Нет, нет и нет! — крикнул разносчик таким голосом и с таким выражением, что Данвуди был поражен.— Вашингтон видит, что прячется за лживой личиной тех, кто прикидывается патриотами. Разве сам он не поставил свою жизнь на карту? Если для меня уготована виселица, не угрожала ли и ему подобная участь? Нет, нет и нет... Вашингтон никогда не сказал бы: ведите его на виселицу.

— Может быть, у тебя есть доказательства, несчастный, которые убедили бы главнокомандующего в твоей не-

виновности? — спросил майор, придя в себя от изумления, вызванного словами разносчика.

Бёрч дрожал, волнуемый противоречивыми чувствами. Лицо его покрылось мертвенной бледностью. Он вытащил из-за пазухи жестяную коробочку и открыл ее — там лежал маленький клочок бумаги. Мгновение глаза разносчика были прикованы к этой бумажке, затем он протянул ее Данвуди, но вдруг отдернул руку и сказал:

— Нет... Это умрет вместе со мной. Я помню условия моей службы и не куплю жизнь тем, что нарушу их... это умрет вместе со мной.

— Отдай бумагу, и, быть может, тебя помилуют! — воскликнул Данвуди, полагая, что документ откроет ему что-нибудь важное для дела свободы.

— Это умрет вместе со мной,— повторил Гарви, и его бледное лицо озарилось каким-то удивительным сиянием.

— Схватить изменника, вырвать у него тайну! — закричал майор.

Приказ поспешили исполнить, но разносчик оказался проворнее: он мигом проглотил бумажку. Офицеры, пораженные, замерли, а доктор воскликнул:

— Держите его, я дам ему рвотного.

— Не надо,— рассудил Данвуди, останавливая рукой доктора,— если его преступление велико, таким же будет и наказание.

— Ведите меня,— произнес Гарви и, сбросив с плеч тюк, с непостижимым достоинством пошел к дверям.

— Куда? — удивленно спросил Данвуди.

— На виселицу.

— Нет,— сказал майор, сам ужаснувшись своему решению.— Долг повелевает мне приказать казнить тебя, но, конечно, не так поспешно. Подготовься к ужасной смерти, она произойдет завтра, в девять часов утра.

Данвуди шепотом отдал распоряжение младшему офицеру и знаком велел разносчику удалиться. Так кончилось веселье за столом.

Офицеры разошлись, и вскоре воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелыми шагами часового, ходившего взад и вперед по мерзлой земле перед «Отелем Флеганеган».

Глава XVII

Есть люди, чьи подвижные черты
Не могут утаить движений сердца:
У них надежда, жалость и любовь,
Как в зеркале, находят отраженье.
Но трезвый опыт учит нас скрывать
Тепло души за маской лицемерной,
Необходимой в этом мире лживом.

Дуо

Офицер, которому Данвуди доверил разносчика, передал своего поднадзорного сержанту охраны. Подарок капитана Уортона не преминул оказать испытанное действие на молодого лейтенанта: все предметы вокруг покачивались и подпрыгивали у него перед глазами, и это навело его на мысль, что не мешало бы подкрепиться сном. Наказав сержанту не сводить глаз с арестованного, он закутался в плащ, растянулся на скамье перед камином и вскоре обрел желанный покой.

Позади дома тянулся грубо сколоченный сарай; в глубине его была отгорожена небольшая каморка, служившая кладовой для мелких земледельческих орудий. Однако в те времена беззакония все, что имело какую-нибудь ценность, быстро растаскивали; когда же появилась Бетти Фленеган и окинула зорким взглядом этот уголок, она сразу же решила устроить там склад для своих пожитков и убежище для собственной особы. Туда же снесли запасы оружия и кое-какое имущество отряда. Все эти сокровища находились под надзором часового, который шагал взад и вперед по сараю, охраняя тыл штаб-квартиры. Другой солдат, стороживший неподалеку от дома и присматривавший за лошадьми офицеров, мог наблюдать за наружной стеной. Сарай был без окон и лишь с одной дверью, поэтому предусмотрительный сержант рассудил, что лучшего места для узника не найти — пускай себе сидит здесь до часа казни. Сержант Холлистер пришел к такому решению по многим причинам; одной из них было отсутствие маркитантки, которая пристроилась возле очага на кухне и любовалась во сне отрядом виргинцев, атакующим неприятеля, причем свист, исходивший из ее носа, она принимала за звуки горна. Вторая причина проистекала из взглядов сержанта на жизнь и на смерть, благодаря которым этот ветеран

слыл в своей среде редким образчиком благочестия и добродетели. Ему было уже за пятьдесят, и половину своей жизни он провел в армии. Не раз ему приходилось видеть, как люди неожиданно умирают; впечатление, которое производило на него это зрелище, резко отличалось от того, какое оно обычно производило на других, и в своем отряде он считался не только самым степенным, но и достойным наибольшего доверия солдатом. В награду за верность капитан Лоутон назначил его своим ординарцем.

В сопровождении Бёрча сержант молча подошел к кладовой, которая должна была стать местом заключения; открыв одной рукой дверь, другой он поднял фонарь, чтобы осветить разносчику его тюрьму. Сержант уселся на бочонок с любимым напитком Бетти, жестом предложил Бёрчу сесть на второй и поставил фонарь на пол. Некоторое время он внимательно смотрел на узника, а потом сказал:

— Судя по вашему лицу, вы встретите смерть как храбрый человек. Я привел вас в такое место, где вас никто не потревожит и вы сможете спокойно собраться с мыслями.

— Ужасное место для прощания с жизнью,— заметил Гарви, оглядывая с безучастным видом жалкую комнатушку.

— Не все ли равно,— возразил старый вояка,— где человек выстраивает свои мысли, чтобы произвести им последний смотр перед судом на том свете. У меня тут есть книжечка, я всегда ее почитываю, когда мы собираемся в бой, и полагаю, что в трудные минуты жизни она приносит большое утешение.

С этими словами он вытащил из кармана библию и протянул ее разносчику. Бёрч взял книгу с должным почтением, но вид у него был рассеянный и глаза блуждали. из чего сержант заключил, что страх подавил все другие его чувства. И тогда, чтобы утешить разносчика, он повел такую речь:

— Если что-нибудь мучает вас, теперь самое время снять с души эту тяжесть... Если вы причинили кому-нибудь зло, поверьте слову честного драгуна, я протяну вам руку помощи, чтоб восстановить справедливость.

— Редкий человек не причинил кому-нибудь зла,— отозвался разносчик, снова бросив на своего стража рассеянный взгляд.

— Что верно, то верно... все мы грешны, но бывает, иногда сделаешь такое, о чем потом сожалеешь. Ведь не хочется умирать с тяжелым грехом на совести.

Гарви уже успел основательно разглядеть помещение, где ему предстояло провести ночь, но не нашел никаких путей к бегству. Надежда — чувство, которое последним покидает человеческое сердце, вот почему Гарви вдруг пристально посмотрел на сержанта. Он так уставился на его загорелое лицо, что тот опустил глаза перед этим испытующим взором.

— Меня учили складывать бремя грехов к стопам спасителя,— ответил разносчик.

— Оно, конечно, так,— согласился драгун,— но справедливость надо восстанавливать, пока не поздно. С тех пор как началась война, для страны настали времена, полные жестоких событий, и многие лишились своей кровной собственности. Моя чувствительная совесть с трудом примиряется, даже если отбирают чужое добро по закону.

— Эти руки,— сказал Гарви, протягивая свои худые, костлявые пальцы,— долгие годы трудились, но никогда не грабили.

— Вот и хорошо, если так,— произнес добродетельный солдат,— теперь это приносит вам, конечно, большое утешение. Есть три великих греха, и если ни один из них не лежит на совести, то человек, милостью божьей, может надеяться выдержать испытание и попасть на небо; эти грехи: грабеж, убийство и дезертирство.

— Благодарение богу,— с жаром воскликнул Гарви,— я никогда не лишал жизни своего ближнего!

— Когда убиваешь в честном бою, выполняешь только свой долг. Ежели дело неправое, вина за убийство, знаете сами, падает на нацию, и человек наказывается здесь, на земле, вместе со всем народом; но преднамеренное убийство в глазах господа бога почти то же самое, что дезертирство.

— Я никогда не был солдатом и потому не мог дезертировать,— сказал разносчик и с удрученным видом заслонил лицо рукой.

— Но дезертир не только тот, кто бросает знамя полка, хотя это, конечно, худший случай измены; дезертир и тот, кто бросает родину в трудное для нее время.

Разносчик закрыл лицо обеими руками. Он весь дрожал. Сержант с подозрением посмотрел на него, но добро-

душе пересилило неприязнь, и он продолжал гораздо мягче:

— Все же я думаю, этот грех может быть прощен, если искренне раскаяться в нем; не все ли равно, как и когда умереть? Главное — умереть христианином и не трусом. Советую вам помолиться, потом отдохнуть, это придаст вам и мужества и благочестия. Нет никакой надежды на прощение: полковник Синглтон строго-настрого распорядился казнить вас, как только вас захватят. Да... да... ничто не может спасти вас.

— Вы верно сказали! — воскликнул Гарви.— Слишком поздно... Я сам уничтожил свою единственную возможность на спасение, но *он-то* в конце концов восстановит мое доброе имя.

— О чем это вы? — спросил сержант, у которого вдруг пробудилось любопытство.

— Да так, ни о чем,— ответил разносчик и опустил голову, чтобы не встретиться глазами с внимательным взглядом сержанта.

— А кто такой «он»?

— Никто,— отрезал Гарви.

— «Ни о чем» да «никто» теперь не помогут,— заключил сержант, поднимаясь.— Ложитесь-ка на постель миссис Фленеган и сосните малость, утром я вовремя вас разбужу; от всей души хотел быть вам полезным, уж очень мне не по нутру, когда человека вешают, словно пса.

— Но вы могли бы спасти меня от позорной смерти,— сказал Гарви, вскакивая и хватая драгуна за руку.— О, чего бы только я не дал вам за это в награду.

— А как спасти? — спросил сержант, глядя на него с удивлением.

Вот,— вымолвил разносчик, доставая из-за пазухи несколько гиней,— это мелочь в сравнении с тем, что я дам, если вы поможете мне бежать.

— Будь вы даже тот, чье изображение вычеканено на золотых монетах, я все равно не пошел бы на такое преступление,— ответил драгун с негодованием и бросил деньги на пол.— Будет вам, несчастный, примиритесь-ка лучше с господом; только это может помочь вам теперь.

Сержант взял фонарь и ушел с возмущенным видом, оставив разносчика во власти печальных дум о своей неминуемой участи. Отчаяние охватило Гарви, и он бес-

сильно опустился на соломенный тюфяк маркитантки, а сержант в это время отдавал распоряжения часовым. Свои наставления солдату, охранявшему Бёрча в сарае, Холлистер закончил такими словами:

— Ты ответишь своей жизнью, если он сбежит. Пусть до утра никто не входит в чулан и не выходит оттуда.

— Но,— возразил солдат,— мне приказано впускать и выпускать маркитантку, когда только ей вздумается.

— Так и быть, ее можешь пускать, но смотри, как бы негодяй разносчик не удрал, спрятавшись у нее в юбках.— И сержант продолжал обход, отдавая такие же распоряжения часовым, охранявшим сарай.

После ухода сержанта в каморке заключенного сначала было тихо, потом караульный услышал тяжелое дыхание, вскоре перешедшее в мерный храп крепко спящего человека. Солдат расхаживал перед дверью, дивясь подобному равнодушию к жизни, которое позволяет предаваться спокойному сну на пороге могилы. Впрочем, к этим размышлениям не примешивалась жалость: имя Гарви Бёрча с давних пор было всем ненавистно в отряде. Кроме сержанта, выказавшего участие к узнику, вероятно, никто из драгун не обошелся бы с ним так добродушно, и каждый из них точно так же отверг бы предложенную им взятку, хотя, быть может, по причинам и не столь возвышенным. Убедившись, что разносчик наслаждается сном, которого сам он был лишен, караульный почувствовал нечто вроде досады; его раздражало такое явное проявление безразличия к казни — самой суровой военной каре за измену делу свободы Америки.

Драгун не раз порывался насмешками и бранью пробудить от сна разносчика, но втайне сознавал жестокость такого постыдного поступка, да и привычка к дисциплине останавливала его.

Размышления часового прервала маркитантка; она появилась в дверях кухни и, едва держась на ногах, принялась на чем свет стоит поносить офицеров, которые так расшумелись, что не дали ей поспать у очага. Из ее ругательств часовой кое-как понял, в чем было дело, но все его усилия объясниться со взбешенной женщиной оказались тщетными, и он впустил ее в каморку, так и не растолковав, что там уже кто-то есть. Сначала послышался шум, свидетельствовавший о том, что грузное тело Бетти опустилось на кровать, затем наступила тишина, нарушаемая

лишь ровным дыханием разносчика, а через несколько минут он уже опять захрапел, словно никто и не потревожил его. Тут как раз пришла смена. Часовой был уязвлен неуважением разносчика к смерти. Передав сменившему его товарищу приказание сержанта, он сказал, уходя:

— Можешь согреваться пляской, Джон. Слышишь, шпион-разносчик настроил свою скрипку; не успеешь оглянуться, как и Бетти заведет шарманку.

Шутка вызвала громкий смех у караульных. В эту минуту дверь каморки отворилась, и снова показалась Бетти. Слегка пошатываясь, она направилась к кухне.

— Стой! — крикнул часовой, схватив ее за платье.— Уж не спрятала ли ты шпиона у себя в кармане?

— Разве не слышишь, как этот жулик храпит у меня в комнате, болван ты эдакий! — воскликнула Бетти, вся дрожа от ярости.— Так-то вы обращаетесь с почтенной вдовой — впустили к ней в комнату мужчину, лоботрясы!

— Подумаешь! Не все ли тебе равно, если завтра его повесят. Слышишь, он и сейчас уже спит, а завтра уснет навек.

— Убери лапы, разбойник! — завопила маркитантка, оставив в руках у солдата бутылку, которую ему удалось вырвать у нее.— Уж я найду на вас управу, я спрошу капитана Джека, он ли приказал поместить в мою комнату виселыника-шпиона! На мою вдовью кровать, ворюга ты этакий!

— Тише, старая ведьма,— со смехом сказал солдат, на минуту отрываясь от бутылки, чтобы перевести дыхание.— Этак ты разбудишь джентльмена... Неужели ты можешь потревожить последний сон человека?

— Я пойду разбужу капитана Джека, разбойник окаянный, я приведу его сюда! Уж он-то наведет порядок, всем вам не поздоровится за оскорбление одинокой вдовы!

С этими словами, только вызвавшими у часовых смех, Бетти обошла сарай и нетвердой походкой отправилась искать защиты у своего любимца — капитана Лоутона. Однако ни капитан, ни маркитантка этой ночью тут больше не появлялись, и ничто уже не нарушало покоя разносчика: к удивлению всех караульных, он по-прежнему громко храпел, показывая этим, что мысль о виселице ничуть его не волнует.

Глава XVIII

О, Даниил здесь судит! Даниил!
Почет тебе, о мудрый судия!

Шекспир, «Венецианский купец»[1]

Скиннеры поспешно следовали за капитаном Лоутоном к месту расположения кавалерийского отряда. Отчаянная храбрость, с какой капитан Лоутон служил своему делу, презрение к опасностям, которым он сам подвергался, сражаясь с врагом,— все это в соединении с исполинским ростом и суровым лицом создало ему репутацию страшного человека, не похожего на других офицеров. Его неустрашимость принимали за свирепость, а горячность — за склонность к жестокости. Напротив, несколько милосердных поступков майора Данвуди, а вернее, его неподкупная справедливость дали кое-кому повод считать его чрезмерно снисходительным. Лишь в очень редких случаях общественное мнение осуждает или одобряет человека действительно по заслугам.

В присутствии Данвуди главарь шайки скиннеров ощущал неловкость, какую обычно испытывает порок перед лицом истинной добродетели; но едва лишь он вместе с Лоутоном вышел из «отеля», как сразу решил, что Лоутон одного с ним поля ягода и при случае может быть полезен. В обращении капитана была какая-то сумрачность, обманывавшая большинство людей, не знавших его близко. Недаром в отряде многие говорили: «Капитан смеется только тогда, когда собирается кого-нибудь наказать». Подойдя к Лоутону поближе, мародер завел такой доверительный разговор:

— Всегда полезно уметь отличать друзей от врагов.

На это вступление капитан ответил лишь неопределенным звуком, что́ разбойник истолковал как знак одобрения.

— Майор Данвуди, видать, на хорошем счету у Вашингтона,— продолжал скиннер; в его тоне слышалось, однако, сомнение.

— Некоторые так думают.

— В Вест-Честере многие патриоты хотели бы, чтобы кавалерией командовал другой офицер. А что до меня, так

[1] Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

я бы мог оказать немало услуг Америке, ежели бы меня и моих молодцов порой прикрывали войска. Такие услуги, что в сравнении с ними поимка разносчика — сущие пустяки.

— Вот как! Какие же это услуги?

— А такие, что были бы не менее выгодны офицеру, чем нам,— ответил скиннер, бросив на капитана многозначительный взгляд.

— И что вы можете сделать? — несколько нетерпеливо спросил Лоутон и ускорил шаг, чтоб спутники не услышали разговора.

— А вот что: мы могли бы даже под дулами пушек славно поживиться неподалеку от расположения королевской армии, если бы виргинская кавалерия защитила нас от солдат де Ланси и прикрыла отступление, чтоб нам не отрезали путь со стороны Кингс Бриджа [1].

— А я-то думал, что ковбои там все прибрали к рукам.

— Понемногу и прибирают, но им приходится с нами делиться. Я был там два раза и заключил с ними соглашение; в первый раз они поступили по совести, но во второй напали на нас и всю добычу захватили себе.

— Какой бесчестный поступок! Неужто порядочный человек станет связываться с такими негодяями?

— Приходится вступать в соглашение кое с кем из них, а не то мы можем завалиться; но, конечно, бесчестный человек хуже последней скотины. А как по-вашему, майору Данвуди можно доверять?

— В делах чести, вы хотите сказать?

— Конечно. Знаете, ведь все были хорошего мнения об Арнольде [2], пока не поймали майора королевских войск.

— Не думаю, чтоб майор Данвуди согласился продать своих, как это собирался сделать Арнольд, и вряд ли ему можно довериться в таком щекотливом деле, как ваше.

— Я тоже так думаю,— заметил скиннер с самодовольным видом, говорившим о том, что он в восторге от своей проницательности. Они подошли к довольно богатому фермерскому дому. Обширные строения во дворе были по тем временам совсем в хорошем состоянии. В сараях разме-

---

[1] Кингс Бридж (по-англ. «королевский мост») — мост, соединявший Манхаттан с Вест-Честером.

[2] Арнольд — американский генерал, собиравшийся выдать англичанам важную военную тайну; был разоблачен, когда задержали английского шпиона Андре.

стились солдаты; под длинным навесом, защищавшим от пронизывающего северного ветра, стояли лошади и спокойно жевали сено. Они были оседланы; и их можно было быстро взнуздать. Извинившись перед своими спутниками, Лоутон на минуту вошел в дом. Он вернулся, держа в руке обыкновенный конюшенный фонарь, и повел скиннеров в большой фруктовый сад, с трех сторон окружавший постройки. Мародеры молча шли за капитаном, полагая, что он ищет уединенное место, чтобы продолжить столь интересный разговор, не опасаясь быть услышанными.

Тут-то главарь шайки возобновил беседу, надеясь еще больше расположить к себе капитана и произвести на него впечатление человека с головой.

— А как вы думаете, возьмут колонии в конце концов верх над королем? — спросил он с важным видом политика.

— Возьмут ли колонии верх? — повторил капитан запальчиво, однако сдержался и продолжал спокойно: — А как же иначе? Если французы помогут нам оружием и деньгами, мы прогоним королевские войска не позже чем через шесть месяцев.

— Я тоже на это надеюсь. Тогда у нас будет свободное правительство, и мы, борцы, получим награду.

— Еще бы! — воскликнул Лоутон.— Ваши права неоспоримы. А всех этих подлых тори, которые живут припеваючи у себя дома и хлопочут только о своих фермах, по заслугам заклеймят позором. У вас, конечно, нет фермы?

— Пока что нет, но худо будет, если я не обзаведусь домиком до заключения мира.

— Верно. Тот, кто блюдет свои интересы, соблюдает интересы родины; превозносите свои заслуги, ругайте почем зря тори, и ставлю свои шпоры против ржавого гвоздя, что вам предложат в Вест-Честере должность клерка.

— А не кажется ли вам, что люди из отряда Пауллинга [1] сваляли дурака, не дав уйти адъютанту генерала? — уже отбросив всякую осторожность, спросил скиннер, обманутый простотой обращения Лоутона.

— «Сваляли дурака»! — с горьким смехом вскричал Лоутон.— Еще бы: король Георг заплатил бы им куда

[1] Сторожевой отряд из трех человек под начальством Пауллинга, задержавший английского шпиона Андре, отказался отпустить его на свободу за взятку.

больше, чем конгресс,— ведь он богаче! Он даровал бы им и дворянство! Но, слава богу, в нашем народе живет замечательный дух. Люди, у которых нет ни гроша за душой, действуют так, словно в награду за верность получат все богатства Индии. Не все же такие мерзавцы, как ты, не то мы давно были бы уже рабами Англии!

— Как! — отскочив, воскликнул скиннер и навел мушкет на грудь Лоутона.— Меня предали, вы мне враг!

— Негодяй! — крикнул Лоутон, и его сабля, зазвенев в ножнах, вышибла мушкет из рук скиннера.— Попробуйка еще раз прицелиться в меня, и я разрублю тебя пополам.

— Так вы не заплатите нам, капитан Лоутон? — спросил мародер, дрожа всем телом, потому что он увидел, как конные драгуны молча окружили его шайку.

— Не заплатим? Ну как же, свое вы получите сполна! Вот деньги, которые полковник Синглтон прислал за поимку шпиона.— И Лоутон с презрением бросил к ногам мародера мешок с золотом.— Сложите оружие, негодяи, и проверьте, все ли здесь на месте.

Перепуганные бандиты выполнили приказ, и, пока они с жадностью считали гинеи, несколько солдат незаметно для них выбили кремни из их мушкетов.

— Ну как, не надули вас? — нетерпеливо спросил капитан.

— Нет, все деньги тут,— ответил главарь.— Теперь мы, с вашего позволения, разойдемся по домам.

— Стой! Свое обещание мы выполнили, а теперь восстановим справедливость. Мы заплатили вам за поимку шпиона, но накажем вас за поджоги, грабежи и убийства. Хватайте их, ребята, и всыпьте каждому по сорок горячих.

Приказ не пришлось повторять. Со скиннеров мигом сорвали одежду и всех привязали недоуздками к яблоням. Обнажились сабли, и на землю, словно по волшебству, упало пятьдесят веток; самые гибкие из них тут же разобрали драгуны, которые вызвались наказать грабителей. Капитан Лоутон отдал команду, и в саду началось настоящее столпотворение. Голос вожака заглушал крики остальных, как видно по вине капитана Лоутона, напомнившего солдату, который сек этого бандита, что тот имеет дело с командиром и должен оказать ему особую честь. Экзекуция была произведена быстро и четко, по всем правилам, если не придавать значения тому, что каратели начали от-

считывать удары лишь после десятого или двенадцатого, так как, по их словам, сначала им надо было приноровиться. Закончив успешно операцию, солдаты по приказанию Лоутона позволили скиннерам одеться, а сами сели на коней, ибо отряд отправлялся в дозор к югу от Вест-Честера.

— Вот видишь, приятель,— сказал капитан Лоутон вожаку,— в некотором смысле я могу и прикрыть тебя, когда надо. Если мы будем чаще встречаться, тебя всего покроют рубцами, может и не очень почетными, зато вполне заслуженными.

Скиннер промолчал. Он схватил мушкет и велел своим дружкам поторапливаться. Они с мрачными лицами пошли по направлению к поросшим густым лесом холмам, которые высились неподалеку. Взошла луна и ярко осветила драгунский отряд. Тут мародеры неожиданно повернули назад, прицелились и нажали курки. Маневр был замечен, и солдаты, услышав щелканье спущенных курков, ответили на тщетную попытку открыть огонь издевательским смехом, а капитан крикнул во весь голос:

— Ага, я знал, какие вы мошенники, и велел выбить кремни.

— Зря не выбили и тот, что у меня в подсумке,— отозвался главарь, и в то же мгновенье раздался выстрел. Пуля оцарапала капитану ухо, но он только покачал головой и, засмеявшись, сказал:

— Промазал почти на милю!

Один драгун заметил приготовления скиннера, который отстал от шайки во время неудачной попытки отомстить, и тотчас после выстрела пришпорил коня. До леса было совсем недалеко, но, чтобы удрать от скакавшего за ним драгуна, разбойнику пришлось бросить и мушкет и мешок с деньгами. Солдат вернулся с добычей и хотел отдать деньги капитану, но тот отказался их взять и велел хранить, пока мародер не явится за своею собственностью. Впрочем, если бы он и явился, не очень-то легко было бы судебным властям новых штатов заставить драгун возвратить деньги, так как, не дожидаясь долго, сержант Холлистер честно разделил их между своими драгунами. Патрульные отправились в дозор, а капитан медленно пошел к себе, собираясь отдохнуть. Вдруг он заметил между деревьями фигуру, быстрыми шагами направлявшуюся в ту сторону леса, где скрылись мародеры.

Круто повернув, бдительный воин подошел к ней. Легко представить себе удивление капитана, когда в таком месте и в такой поздний час он увидел маркитантку.

— Что вы тут делаете, Бетти? Бродите во сне или грезите наяву? — вскричал драгун.— И вы не боитесь встречи с духом старушки Дженни на ее любимом пастбище?

— Ах, капитан Джек,— сказала Бетти, произнося слова с присущим ей сильным ирландским акцентом; она так качалась, что не в силах была поднять голову.— И вовсе не Дженни мне нужна и не ее дух, а целебная травка для раненых. Ее надо сорвать, когда первые лучи луны упадут на землю, не то от нее не будет никакого проку. Травка растет вон там, под скалой, я хочу поспеть, пока заклинанье имеет силу.

— Безумица! Вам бы в постели лежать, а не бродить среди скал. Еще свалитесь, того и гляди, и все кости себе переломаете. Да и скиннеры убежали в ту сторону; если встретитесь с ними, они вас вздуют как следует в отместку за расправу, которую я им учинил. Шли бы лучше назад, матушка, да выспались как следует, утром мы трогаемся в путь.

Бетти не послушалась этого совета. Описывая кривые, она продолжала брести по склону холма; при упоминании о скиннерах она на мгновение остановилась, но тотчас же двинулась дальше и вскоре исчезла среди деревьев.

Когда Лоутон подошел к «отелю», стоявший у входа часовой спросил, не встретилась ли ему миссис Фленеган; он добавил, что она прошла мимо, осыпая проклятиями своих мучителей, и все допытывалась, где капитан. Лоутон с удивлением выслушал часового. Казалось, его осенила какая-то новая мысль; он было направился к фруктовому саду, но тут же вернулся назад; потом он стал шагать взад и вперед перед дверью, наконец быстро вошел в дом, не раздеваясь бросился на кровать и вскоре крепко уснул.

Тем временем мародеры благополучно добрались до вершины холма и, рассыпавшись в разные стороны, скрылись в лесной чаще. Увидев, что в этом месте можно не опасаться нападения — кавалеристы не взобрались бы на такую высоту,— вожак свистнул и собрал весь свой отряд.

— Так вот,— начал один из разбойников, когда они разложили костер, чтобы согреться, ибо холод пробирал

все сильнее,— нашим делам в Вест-Честере крышка, надо убираться отсюда. Виргинская конница скоро здесь так разойдется, что нельзя будет и пос высунуть.

— Я пущу из него кровь,— пробормотал вожак,— даже если это будет стоить мне жизни.

— Что и говорить, в лесу ты герой! — вскричал другой мародер, злобно расхохотавшись.— Чего же ты, меткий стрелок, промахнулся на расстоянии в тридцать ярдов!

— Мне помешал драгун, который погнался за мной, не то я прихлопнул бы этого капитана Лоутона. К тому же я дрожал от холода, и моя рука потеряла твердость.

— Скажи лучше — дрожал от страха, и ты не соврешь. Зато мне уж, видно, никогда не станет холодно — спина горит, будто к ней приложили тысячу решеток для пытки огнем.

— И ты готов все это стерпеть, может быть, даже поцелуешь розгу, которой тебя отстегали?

— Не так-то просто ее поцеловать. Розга, которой меня отстегали, разлетелась вдребезги на моих плечах, и не найти такого кусочка, чтоб на нем поместились губы. Но уж лучше я потеряю половину своей шкуры, чем всю, да еще и уши в придачу. А так оно и будет, если мы еще раз разозлим этого бешеного виргинца. Видит бог, я хоть сейчас отдал бы ему столько кожи, что хватило бы на охотничьи сапоги, лишь бы вырваться живым из его рук! Знали бы мы раньше, лучше б нам держаться майора Данвуди — тому хоть меньше известно про наши дела, чем Лоутону.

— Замолчи ты наконец, пустомеля! — гаркнул разъяренный главарь.— От твоей болтовни пухнет голова! Мало того, что нас ограбили и избили,— приходится еще терпеть твои глупости! Достань-ка лучше провизию, если что-нибудь осталось в мешке, и заткни себе глотку едой.

Приказание было выполнено. Разбойники с громкими криками и стонами — так сильно у них болели спины — взялись за приготовления к скудному ужину. В расщелине скалы ярким пламенем горел костер; понемногу все стали приходить в себя после поспешного бегства и собираться с мыслями. Наевшись и сбросив с себя лишнюю одежду, чтобы перевязать раны, скиннеры начали строить планы мести. Они толковали битый час, но выполнение их

замыслов было связано с такой опасностью и требовало такого мужества, что, естественно, эти планы были отвергнуты. Нечего было и думать о том, чтобы застигнуть драгун врасплох,— они всегда были начеку; не было надежды и встретить капитана без его солдат — он всегда был занят делом или передвигался со своим отрядом с такой быстротой, что столкнуться с ним можно было только случайно. К тому же мародеры никак не могли рассчитывать, что встреча кончится удачно именно для них. Драгунский капитан славился своей ловкостью, и, хотя земли Вест-Честера были изрезаны высокими холмами и речками, бесстрашный воин делал отчаянные переходы, и даже каменные стены не могли задержать атак южной кавалерии. Мало-помалу разговор принял иное направление, и наконец мародеры остановились на плане, который мог не только утолить их жажду мести, но и кое-чем вознаградить за хлопоты. Дело обсудили во всех подробностях, назначили час, уговорились, как действовать,— словом, предусмотрели все, что требовалось для осуществления злодейского замысла.

Вдруг где-то близко раздался громкий голос:

— Сюда, капитан Джек, вот где эти негодяи! Они сидят у костра... Скорее сюда, смерть грабителям! Слезайте с коней и стреляйте!

Этих угрожающих слов было достаточно, чтобы все мудрые рассуждения вылетели у скиннеров из головы. Они мигом вскочили на ноги и помчались в глубь леса, а так как они заранее условились о месте встречи, то сразу разбежались во все стороны. Некоторое время слышался шум и голоса, но скиннеры умели быстро исчезать, и вскоре все звуки замерли вдали.

Тут из темноты вынырнула Бетти Фленеган; с полным спокойствием она стала собирать провизию и одежду — все то, что побросали скиннеры, потом уселась и с большим удовольствием поужинала. С часок она сидела, подперев голову руками и глубоко задумавшись; затем отобрала себе по вкусу кое-какие вещи и двинулась в чащу. Пламя костра отбрасывало мерцающий свет на ближайшие скалы, пока не догорела последняя головня, но скоро наступила тишина, и все вокруг погрузилось во мрак.

Глава XIX

Сомненья наполняют грудь,
От скорбных мыслей не уснуть,
Остаться — смерть, уйти — безумье,
Скорее прочь, оставь раздумья.

Лапландская любовная песня

Товарищи майора Данвуди крепко спали, позабыв обо всех волнениях и опасностях, но сам майор был встревожен и то и дело просыпался. Истомленный беспокойно проведенной ночью, Данвуди поднялся со своей жесткой постели, на которую бросился накануне как был, в одежде, и, не разбудив никого, вышел из дому, надеясь, что свежий воздух принесет ему облегчение. Мягкие лучи луны уже начали бледнеть в свете раннего утра; ветер стих, а легкий туман предвещал еще один из тех теплых дней, которые в этом непостоянном климате со сказочной быстротой сменяют бурю. Час, назначенный для выступления отряда, еще не настал, и Данвуди, предоставив своим воинам отдыхать, побрел в сторону сада, где ночью драгуны выпороли скиннеров, размышляя о своем сложном положении, в котором долг столкнулся с любовью. Хотя он нисколько не сомневался в чистых намерениях Генри Уортона, однако он не был уверен, что военный трибунал разделит это мнение; Данвуди не только мучила мысль о судьбе Генри — он прекрасно понимал, что смертный приговор навсегда лишит его надежды на брак с сестрой осужденного. Накануне вечером Данвуди отправил нарочного к полковнику Сингглтону с донесением о взятии в плен английского капитана; написав, что считает его невиновным, майор спрашивал у начальника, как поступить с пленным. Приказ полковника вот-вот должен был прийти, и, по мере того как приближалась роковая минута, которая могла лишить друга его покровительства, волнение Данвуди все возрастало. В таком душевном смятении он прошел через сад и задержался у холмов, под защиту которых бежали скиннеры. Все еще не отдавая себе отчета, где он оказался, Данвуди хотел было повернуть назад, но тут его остановил повелительный окрик:

— Стой, или смерть тебе!

Данвуди, пораженный, обернулся и увидел неподалеку от себя, на выступе скалы, человека, целившегося в него

из мушкета. Дневной свет еще только разгорался, и трудно было что-нибудь разглядеть в окружающем мраке; однако пристальнее всмотревшись в силуэт незнакомца, Данвуди, к своему удивлению, узнал разносчика. Он мгновенно понял, какая опасность ему угрожает, но, не желая просить о пощаде или бежать, если бы это и было возможно, с твердостью сказал:

— Если хочешь меня убить — стреляй, пленником твоим я не стану.

— Нет, майор Данвуди,— ответил разносчик, опуская ружье,— я не собираюсь ни убивать вас, ни брать в плен.

— Тогда чего же ты хочешь, загадочное существо? — спросил майор, с трудом заставляя себя поверить, что перед ним человек, а не призрак, созданный воображением.

— Чтобы вы не думали обо мне дурно,— с чувством сказал разносчик.— Мне хотелось бы, чтоб все хорошие люди судили меня по справедливости.

— Разве тебе не все равно, как судят о тебе люди? Ты, кажется, недосягаем для их суда.

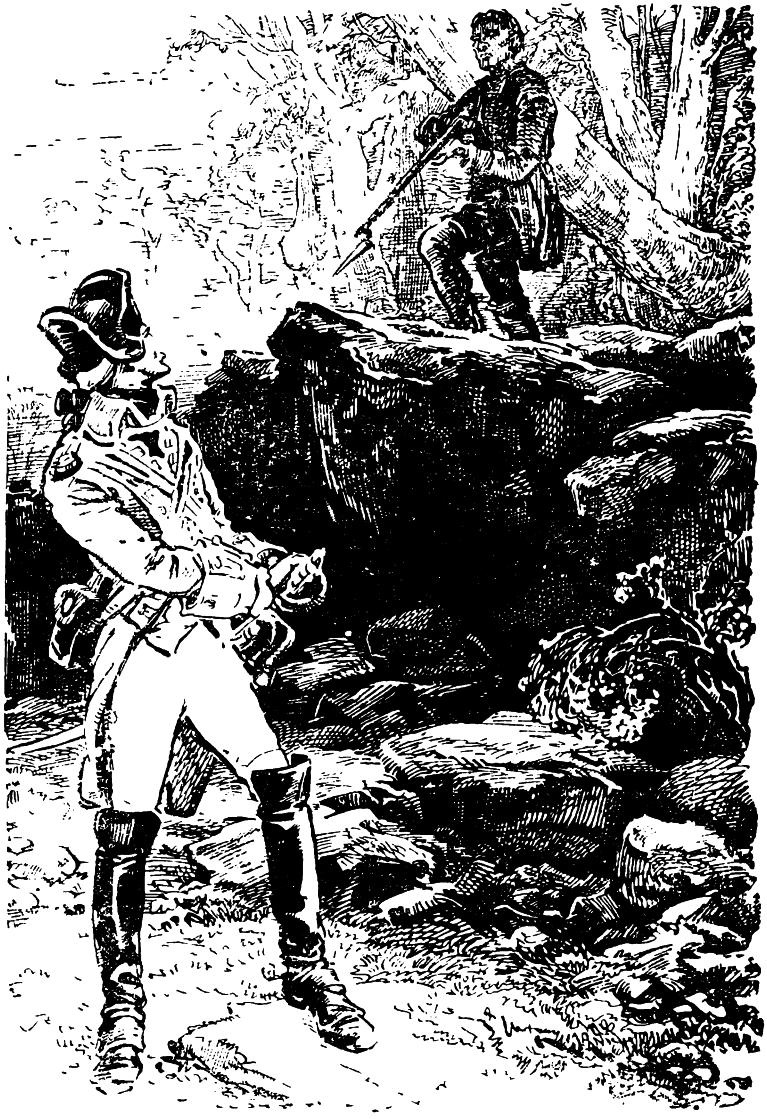
— Когда господь находит нужным, он сохраняет жизнь своим слугам,— торжественным тоном произнес разносчик.— Несколько часов назад я был вашим пленником и мне угрожала виселица, теперь вы в моей власти, но вы свободны, майор Данвуди. В этих скалах прячутся люди, которые не обойдутся с вами так милостиво, как я. Какой толк был бы вам от вашей сабли, если у меня в руках ружье? Послушайтесь совета того, кто никогда не делал и не сделает вам зла: не подходите к лесной опушке один и пешком.

— У тебя, наверное, есть друзья, которые помогли тебе бежать, и они не так великодушны, как ты?

— Нет... нет... я совсем одинок... Меня знают только бог и *он*.

— Кто — он? — спросил майор с нескрываемым интересом.

— Никто,— овладев собой, ответил разносчик.— Но у вас иная судьба, майор Данвуди. Вы молоды и счастливы, есть люди, которые вам дороги, они недалеко отсюда. Тем, кого вы любите больше всего, угрожает опасность... У них в доме и за его стенами. Удвойте осторожность, усильте дозоры и молчите... Если я скажу больше, вы при вашем недоверии ко мне заподозрите ловушку. Охраняйте тех, кто вам всего дороже!



В силуэте незнакомца Дансуди, к своему удивлению, узнал разбойника.

С этими словами он выстрелил в воздух и бросил ружье к ногам Данвуди. Когда дым рассеялся и Данвуди, едва придя в себя от удивления, посмотрел на скалу, там никого не было.

Конский топот и трубные звуки вывели молодого офицера из оцепенения, в которое повергла его эта странная сцена. Выстрел услышали дозорные и подняли тревогу. Данвуди поспешил вернуться в лагерь, где застал всех под ружьем, наготове к выступлению; отряд ждал только своего командира. Офицер, распоряжавшийся приготовлениями к казни шпиона, приказал сорвать вывеску «Отель Фленеган», и столб был превращен в виселицу. Данвуди сказал, что выстрелил он сам из ружья, видимо брошенного удиравшими скиннерами,— он уже знал о том, как капитан Лоутон расправился с ними,— а о своей встрече с разносчиком решил промолчать.

Офицеры предложили майору совершить казнь над шпионом прежде, чем отряд тронется с места. Данвуди все еще казалось, что ему привиделся сон. Однако он пошел с группой офицеров вслед за Холлистером к темнице разносчика.

— Ну, сэр,— сказал майор часовому, караулившему у двери,— надеюсь, пленник в целости и сохранности?

— До сих пор дрыхнет,— ответил солдат,— да так храпит, что я чуть не прослушал тревогу.

— Отвори дверь и выведи его.

Дверь тут же отворили, и, к величайшему удивлению честного сержанта, в каморке оказался немалый беспорядок; на кровати валялся сюртук разносчика, а большая часть гардероба Бетти была раскидана по полу. Сама она крепко спала в том самом наряде, в каком ее видели в последний раз,— недоставало только неизменной черной наколки, украшавшей ее голову днем, а ночью, как все думали, служившей ей чепчиком. Шум и восклицания разбудили маркитантку.

— Вам чего, завтракать захотелось? — протирая глаза, спросила она.— Вид у вас такой, будто вы готовы слопать меня живьем. Потерпите малость, соколики мои, и я такое жаркое вам подам, что пальчики оближете.

— Жаркое! — вскричал сержант, забыв о своих религиозных воззрениях и о присутствии офицеров.— Мы тебя зажарим, чертовка! Это ты помогла треклятому разносчику бежать?

— Ах, чтоб ты провалился заодно с этим окаянным разносчиком! Это я-то чертовка, мистер сержант? — завопила Бетти, которую нетрудно было вывести из себя.— Что еще за разносчики такие, кто бежал, куда бежал? А я тут при чем? Я могла бы стать женой торговца и ходила бы в шелку, кабы у меня хватило ума выйти за Соуни Мак-Твила, а не таскаться следом за бессовестными драгунами, у которых нет никакого уважения к одинокой вдове.

— Негодяй бросил мою библию,— сказал сержант, поднимая с пола книгу.— Вместо того чтоб ее читать да готовиться к смерти, как подобает христианину, он замышлял побег.

— А кому охота дожидаться, пока его повесят, как собаку! — вскричала Бетти, начиная понимать, что случилось.— Не всякому на роду написан такой конец, как вам, мистер Холлистер.

— Молчать! — приказал Данвуди.— В этом деле, джентльмены, надо как следует разобраться. Здесь нет другого выхода, кроме двери, и разносчик мог выйти лишь в том случае, если часовой помог ему бежать или уснул на посту. Позвать всю стражу!

Часовые были уже свободны, но любопытство удерживало их возле сарая; все они в один голос стали уверять, что никто из кладовой не выходил. Только первый часовой признался, что мимо него прошла Бетти, и в свое оправдание сослался на приказ не задерживать ее.

— Ты лжешь, разбойник ты эдакий, лжешь! — вскричала Бетти, прислушавшись к объяснениям.— Ты хочешь опозорить почтенную вдову. Как ты смеешь говорить, будто я шатаюсь в полночь по лагерю! Да я всю ночь проспала тут, как невинный младенец!

— Смотрите, сэр,— сказал сержант, почтительно обратившись к Данвуди,— в моей библии что-то написано, а раньше там ничего не было, у меня ведь нет семьи, я не записывал семейных событий и не потерпел бы маранья в такой священной книге.

Один офицер прочитал вслух:

— *Заявляю, что ежели мне удастся освободиться, то лишь благодаря помощи господа, и я смиренно вверяю себя его покровительству. Мне пришлось взять кое-что из платья этой женщины, и в своем кармане она найдет вознаграждение. Написанное я удостоверяю своей подписью. Гарви Бёрч.*

— Как,— завопила Бетти,— этот вор обобрал одинокую вдову! Повесьте его... Поймайте и повесьте его, майор, коль есть правда и справедливость в нашей стране!

— Загляните-ка в свой карман,— сказал один молодой офицер, безмятежно наслаждавшийся этой сценой.

— Фу ты черт! — воскликнула маркитантка, доставая из кармана гинею.— Что за сокровище этот разносчик! Пошли ему господь долгие годы и бойкой торговли! Спасибо, что взял мое тряпье, а если его когда-нибудь повесят, то я скажу, что на свободе гуляют преступники почище его.

Данвуди повернулся к выходу и увидел капитана Лоутона. Сложив руки на груди, тот в глубоком молчании наблюдал за происходившим. Сосредоточенный вид капитана, обычно порывистого и стремительного, поразил Данвуди. Взгляды их встретились, и, отойдя в сторону, оба несколько минут о чем-то тихо переговаривались. Потом Данвуди пошел в «отель» и отпустил часовых. Сержант Холлистер остался один на один с маркитанткой, а так как гинея с лихвой возмещала понесенный Бетти урон, настроение у нее было превосходное. Она уже давно с нежностью поглядывала на ветерана и про себя вознамерилась покончить со своим щекотливым положением в отряде, сделав сержанта преемником своего покойного супруга. С некоторых пор сержанту, видимо, льстило оказываемое ему предпочтение, и Бетти, подумав, что ее запальчивость могла обидеть поклонника, решила непременно загладить свою вину. К тому же при всей ее грубости и неотесанности она обладала женским чутьем, которое подсказывало ей, что в минуты примирения женщина укрепляет свою власть над мужчиной. Итак, чтобы умилостивить сержанта, она налила стаканчик своей любимой смеси и поднесла ему со словами:

— Маленькая перебранка промеж друзей — сущий пустяк, сами знаете, сержант; я больше всего ругала Майкла Фленегана, когда крепче всего любила его.

— Майкл был хороший человек и храбрый вояка,— заметил сержант, осушив стакан.— Он пал, когда наш эскадрон прикрывал его полк с фланга; я в тот самый день проезжал мимо его тела. Бедняга! Он лежал на спине, и лицо у него было такое спокойное, точно он умер натуральной смертью, после того как целый год пил без просыпу.

— О, Майкл был истинный пропойца, можете не сомневаться; когда двое таких, как мы с ним, наваливались на выпивку, все запасы кончались. Но вы, мистер Холлистер, человек непьющий и рассудительный и были бы мне настоящим помощником.

— Ах, миссис Фленеган, мне так хочется поговорить с вами о том, что камнем лежит у меня на сердце, и я готов вам открыться, ежели вы удосужитесь выслушать меня.

— Выслушать! — нетерпеливо воскликнула Бетти. — Да я могу слушать вас целый день, сержант, хотя бы из-за этого офицерам не пришлось проглотить больше ни кусочка. Но выпейте еще чутóк, дорогой, это придаст вам храбрости.

— Я уж и так осмелел,— отклоняя угощение, сказал ветеран.— Как вы думаете, Бетти, я и вправду запер вчера в этой комнате шпиона-разносчика?

— Кого же еще, коль не его, милок?

— А нечистого!

— Как, самого дьявола?

— Да, самого Вельзевула, прикинувшегося разносчиком, а те, кого мы припяли за скиннеров, были его бесенятами.

— Конечно, дорогой сержант, это вы верно говорите; когда скиннеры шляются по Вест-Честеру, они сущие бесы.

— Миссис Фленеган, я хочу сказать, это были настоящие бесы во плоти; только дьявол мог знать, что нам не терпится арестовать разносчика Бёрча, вот он и принял его обличье, чтобы попасть к вам в комнату!

— А на кой я могла ему понадобиться! — крикнула в сердцах Бетти.— Мало тут в отряде дьяволов, чтобы являлся еще один из преисподней пугать одинокую вдову!

— Счастье ваше, Бетти, что ему было дозволено уйти. Ведь он вышел через дверь, приняв ваш вид, а это показывает, какая вас ждет судьба, если вы не измените свою жизнь. Я видел, как он задрожал, когда я дал ему святую книгу. Разве стал бы добрый христианин писать что-нибудь в библии, кроме пометок о рождении, смерти и других таких летописей, как вы думаете, дорогая Бетти?

Маркитантке понравилось деликатное обращение ее избранника, но рассердили намеки на ее образ жизни. Од-

нако она сдержала гнев и с присущей ее соотечественникам живостью отпарировала:

— Неужто дьявол заплатил бы за платье, да еще с лихвой, а?..

— Деньги эти, без сомнения, фальшивые,— заметил солдат, несколько сбитый с толку доказательством честности того, о ком он был самого низкого мнения.— Он и меня соблазнял блестящей монетой, но господь дал мне силу устоять.

— Моя золотая монета, кажись, настоящая, да я все равно обменяю ее нынче у капитана Джека. Ему нипочем и дьяволы и черти!

— Бетти, Бетти,— отозвался сержант,— не говорите так неуважительно о нечистом! Он всегда тут как тут и разозлится на вас за ваши слова.

— Еще чего! Коли у него есть хоть малость души, он не обидится на бедную одинокую вдову, если она подковырнет его словечком; я уверена, ни один христианин не был бы на меня в обиде.

— Но у нечистого нет души, ведь он хочет погубить род человеческий,— сказал сержант, с ужасом оглядываясь назад,— лучше всего водить дружбу со всеми. Никто не знает наперед, что может случиться. Право же, человек не мог бы выйти отсюда и незаметно пройти мимо часовых; это грозное предостережение для вас, Бетти, а вы...

Тут разговор прервали: явился солдат с приказом немедленно подавать завтрак, и маркитантка рассталась с сержантом; она — втайне надеясь, что проявленное им участие носит более земной характер, чем он хотел показать; он — решив приложить все усилия, чтобы вырвать душу маркитантки из когтей нечистого, который слоняется по лагерю в поисках жертв.

Во время завтрака примчалось несколько гонцов; один доставил донесение о численности и цели вражеской экспедиции, которая расположилась на берегу Гудзона; другой привез распоряжение полковника Синглтона отправить капитана Уортона под конвоем драгун к первому посту в горах. Это письмо, или, вернее, строгий приказ, не допускавший никаких возражений, вконец огорчил Данвуди. Образ Френсис, отчаявшейся и глубоко несчастной, постоянно стоял у него перед глазами; сотни раз готов он был сесть на коня и поскакать к «Белым акациям», но какое-то безотчетное чувство удерживало его. Небольшой

эскорт под командованием офицера отправился в коттедж за Генри Уортоном, чтобы доставить его к месту назначения; с тем же офицером Данвуди передал Генри письмо, в котором ободрял своего друга, уверяя, что тому нечего опасаться и что сам он будет неустанно хлопотать за него. Лоутон с частью драгун был оставлен в деревне при раненых; основной же отряд сразу после завтрака покинул лагерь и выступил к Гудзону. Данвуди несколько раз повторил Лоутону свои наставления, снова и снова перебирая в уме каждое слово разносчика и стараясь проникнуть в их загадочный смысл, но не пришел ни к какому выводу, а откладывать свой отъезд у него больше не было повода. Вдруг он вспомнил, что не распорядился насчет полковника Уэлмира и, вместо того чтобы двинуться за отрядом, поддался искушению и повернул коня на дорогу, ведущую к «Белым акациям». Лошадь Данвуди была быстра, как ветер,— казалось, не прошло и минуты, как перед ним открылась уединенная долина. Когда он спускался по склону холма, вдали промелькнули фигуры Генри Уортона и сопровождавших его драгун, цепочкой проходивших в ущелье, которое вело к постам в горах. Это зрелище взбудоражило Данвуди, и он поскакал еще быстрее; он круто обогнул выступ скалы и вдруг натолкнулся на ту, которой были заняты его мысли. Френсис издали следила за конвоем, уводившим ее брата, а когда он скрылся из виду, она почувствовала, что лишилась самого дорогого для нее на свете. Необъяснимое отсутствие Данвуди и потрясение, вызванное разлукой с Генри при таких ужасных обстоятельствах, сломили ее мужество; она опустилась на придорожный камень и зарыдала так, что, казалось, ее сердце вот-вот разорвется. Данвуди соскочил с коня, закинул поводья ему на шею и в одно мгновение очутился подле плачущей девушки.

— Френсис... моя Френсис! — вскричал он.— Зачем так отчаиваться! Пусть вас не пугает положение брата. Как только я выполню порученное мне дело, я кинусь к ногам Вашингтона и умолю его освободить Генри. Отец нашей родины не откажет в такой милости одному из своих любимых питомцев.

— Благодарю вас, майор Данвуди, за сочувствие к моему бедному брату,— сказала дрожащая Френсис; она встала, вытерла слезы и с достоинством добавила: — Но вы не должны так говорить со мной.

— Не должен! Разве вы не моя невеста... с согласия вашего отца, тети, брата... И разве сами вы не дали согласия, моя дорогая Френсис!

— Я не хочу становиться между вами и другой женщиной,— возможно, она имеет больше прав на вашу привязанность.

— Никто, клянусь, никто, кроме вас, не имеет на меня прав! — горячо воскликнул Данвуди.— Одной вам принадлежит мое сердце.

— У вас такой большой опыт, и вы так успешно им пользуетесь, что вам ничего не стоит обманывать нас, доверчивых женщин,— произнесла Френсис, делая отчаянное усилие улыбнуться.

— Так говорят только с негодяем, мисс Уортон. Когда я обманывал вас? Каким опытом пользовался, чтобы покорить ваше чистое сердце?

— Так почему же майор Данвуди с некоторых пор стал избегать дом отца своей невесты? Разве он забыл, что в этом доме один его друг прикован к постели, а другой — поражен глубокой печалью? Неужели он не помнит, что там живет его будущая жена? Не боится ли он встречи с другой, которая могла бы предъявить на него права? О, Пейтон, Пейтон, как жестоко я в вас ошиблась! Со слепой доверчивостью молодости я видела в вас олицетворение благородства, отваги, великодушия и верности.

— Я понимаю, Френсис, что ввело вас в заблуждение! — воскликнул Данвуди, и кровь бросилась ему в лицо.— Но вы несправедливы ко мне. Клянусь тем, что мне дороже всего на свете, вы несправедливы ко мне!

— Не клянитесь, майор Данвуди,— прервала его Френсис, и в ее кротких глазах вспыхнуло выражение женской гордости,— прошло то время, когда я верила клятвам.

— Мисс Уортон, неужто вы хотели бы, чтобы я, словно фат, хвастался тем, что могло бы вернуть мне ваше расположение, но уронило бы меня в собственных глазах?

— Не обольщайтесь, вернуть мое расположение не так легко, сэр,— сказала Френсис, сделав несколько шагов в сторону дома.— Мы говорим друг с другом в последний раз... Но отец... быть может, отец пожелает увидеться с родственником моей матери.

— Нет, мисс Уортон, теперь мне нельзя войти в его

дом, я сейчас не ручаюсь за себя. Вы гоните меня, Френсис, и я в полном отчаянии. Я иду в очень опасный поход и могу погибнуть. Если судьба будет ко мне сурова, отдайте справедливость хотя бы моей памяти. Помните — до последнего вздоха я буду желать вам счастья.

С этими словами он сунул ногу в стремя, но девушка остановила его взглядом, казалось проникшим в самую глубину его души.

— Пейтон, майор Данвуди,— сказала она,— неужели вы можете забыть, что служите святому делу? Долг перед богом, перед родиной должен удерживать вас от опрометчивых поступков. Вы нужны родине, кроме того...— Голос ее задрожал, и она умолкла.

— Кроме того? — повторил молодой человек и бросился к ней, протягивая руки.

Но Френсис уже справилась с волнением; она холодно отстранила его и снова пошла к дому.

— Так вот мы как расстаемся! — не помня себя от горя, крикнул Данвуди.— Неужели вы так презираете меня, что можете быть ко мне столь жестокой! Нет, вы никогда не любили меня и хотите оправдать свое непостоянство, упрекая меня в том, чего вы не желаете объяснить!

Френсис замерла на месте и устремила на жениха взор, полный такой душевной чистоты, что пристыженный Данвуди готов был на коленях молить о прощении; приказав ему жестом молчать, она сказала:

— В последний раз выслушайте меня, майор Данвуди! Очень горько вдруг узнать, что есть кто-то лучше тебя, и я это недавно испытала. Вас я ни в чем не виню... ни в чем не упрекаю, даже в мыслях. Я недостойна вас, даже если бы имела право на ваше сердце. Такая робкая, слабая девушка, как я, не может дать вам счастья. Да, Пейтон, вы родились для великих и славных дел, отважных, блистательных подвигов, и вы должны соединить свою судьбу с подругой, похожей на вас,— с такой, что способна побороть в себе женскую слабость. Я была бы для вас обузой, которая тянула бы вас вниз, меж тем как с другой спутницей вы сможете воспарить к вершинам земной славы. Такой женщине я добровольно, хотя не могу сказать, что с радостью, уступаю вас; и молю бога, страстно молю, чтоб с ней вы были счастливы.

— Прелестная фантазерка! — воскликнул Данвуди.—

Вы не знаете ни себя, ни меня. Только такую нежную, кроткую, беззащитную женщину, как вы, могу я любить. Не обманывайтесь ложными представлениями о великодушии, которое сделает меня несчастным.

— Прощайте, майор Данвуди,— сказала взволнованная девушка и на миг остановилась, чтобы перевести дыхание,— забудьте, что когда-то знали меня. И помните о своем долге перед нашей истекающей кровью родиной. Будьте счастливы!

— Счастлив! — с горечью повторил молодой офицер, глядя вслед легкой фигурке, которая скользнула в калитку и исчезла за кустарником.— Нечего сказать — счастлив!

Он вскочил в седло, пришпорил коня и скоро догнал свой эскадрон, медленно двигавшийся по горной дороге к берегам Гудзона.

Как ни тяжело было Данвуди после столь неожиданного исхода его свидания с невестой, ему все же было несравненно легче, чем ей. Острым взором ревнивой любви Френсис без труда открыла, что Изабелла Синглтон неравнодушна к Данвуди. Застенчивая, стыдливая, она не могла и вообразить себе, что Изабелла испытывает неразделенную страсть. Пылкой Френсис было чуждо притворство, и она сразу заметила, что молодой человек смотрит на нее с восхищением. Но Данвуди пришлось долго и упорно искать ее расположения, доказывать ей свою нежную преданность, прежде чем он добился взаимности. Ответная любовь была безраздельной, всепоглощающей. Удивительные события последних дней, изменившееся поведение жениха, его загадочное к ней равнодушие и, главное, романтическая влюбленность Изабеллы пробудили в душе Френсис новые чувства. Ужасаясь при мысли, что Данвуди ей неверен, она в то же время со скромностью, свойственной чистым натурам. стала сомневаться в собственных достоинствах. В минуты самоотречения ей казалось, что она способна с легкостью уступить своего жениха другой, более достойной его женщине, но может ли воображение заглушить голос сердца! Едва Данвуди скрылся, как наша героиня ощутила всю глубину своего несчастья, и если обязанности командира несколько отвлекали Данвуди от мыслей о своем горе, то у Френсис не было этого утешения; заботы, которых требовала от нее привязанность к отцу, не приносили ей облегчения.

Отъезд сына едва не лишил мистера Уортона последней капли энергии, и понадобилась вся сила любви дочерей, чтобы поддержать в нем еле теплившуюся жизнь.

Глава XX

На похвалы, на лесть ее ловите,
Чернавку божьим ангелом зовите,—
На то мужчине и дается речь,
Чтоб мог он в сети женщину завлечь.

Шекспир, «Два веронца»[1]

Приказав капитану Лоутону остаться с сержантом Холлистером и двенадцатью драгунами охранять раненых и тяжелый обоз, Данвуди не только выполнил распоряжения, отданные ему в письме полковником Синглтоном, но и позаботился о своем пострадавшем от ушибов товарище. Напрасно Лоутон клялся, что он в силах выполнить любую задачу, и уверял, что его солдаты не пойдут в атаку за Томом Мейсоном с такой охотой и рвением, как за ним самим,— его начальник остался непоколебим, и раздосадованный капитан вынужден был скрепя сердце подчиниться. Перед выступлением Данвуди повторил ему свою просьбу хорошенько следить за обитателями «Белых акаций» и оберегать их; а в случае, если поблизости будет замечено что-нибудь подозрительное, майор приказал капитану покинуть лагерь и перебраться с отрядом в усадьбу мистера Уортона. Слова разносчика заронили в сердце Данвуди смутную тревогу за обитателей коттеджа, хотя он и не представлял себе, какая им может грозить опасность и откуда ее следует ожидать.

Вскоре отряд ушел, а капитан остался. Он шагал взад и вперед перед «отелем», проклиная в душе судьбу, которая обрекла его на бесславную праздность как раз в ту минуту, когда появилась надежда на встречу с врагом. Изредка он отвечал на вопросы Бетти, а та, сидя у окна, то и дело пронзительным голосом спрашивала его о подробностях бегства разносчика: оно все еще казалось ей непостижимым. Тут к капитану подошел доктор Ситгривс;

[1] Перевод В. Левика.

все это время он занимался своими пациентами, которых разместили довольно далеко от постоялого двора, и не подозревал ни о том, что без него произошло, ни об уходе отряда.

— Куда девались часовые, Джон? — спросил он, с удивлением озираясь вокруг.— И почему вы остались один?

— Ушли, все ушли! Данвуди увел их к реке. А нас с вами оставили охранять раненых и женщин.

— Я очень рад,— сказал доктор,— что у майора Данвуди хватило благоразумия не перевозить раненых. Эй вы, миссис Элизабет Фленеган, дайте-ка мне чего-нибудь поесть, я очень голоден! И поскорей, мне еще предстоит вскрывать труп.

— Эй вы, мистер доктор Арчибальд Ситгривс,— отвечала тем же тоном Бетти, высовывая в разбитое кухонное окошко свое краснощекое лицо,— вы, как всегда, опоздали; здесь можно закусить только шкурой Дженни да еще тем трупом, о котором вы говорите.

— Женщина,— ответил доктор в сердцах,— вы, верно, принимаете меня за людоеда! Как вы смеете так разговаривать со мной? Уймите ваш мерзкий язык и дайте поскорей что-нибудь подходящее для пустого желудка.

— И вы думаете, что обед тотчас же выскочит на стол, будто ядро из пушки? — ответила Бетти, подмигивая капитану.— А я говорю, что вам придется поголодать, пока я не приготовлю для вас кусок шкуры Дженни. Ребята слопали все подчистую.

Тут в разговор вмешался Лоутон и, желая восстановить мир, стал уверять доктора, что уже послал людей за провиантом для отряда.

Это заявление немного утихомирило хирурга, а вскоре он и вовсе забыл про голод и объявил, что немедля приступит к вскрытию трупа.

— А чей же это труп? — спросил Лоутон.

— Разносчика,— ответил Ситгривс, взглянув на столб, с которого сняли вывеску.— Я велел Холлистеру установить помост на такой высоте, чтобы шея не сместилась, когда труп опустится вниз, и теперь постараюсь сделать из него самый хорошенький скелетик во всех Северных Штатах. У парня много достоинств и кости хорошо сочленены. Уж я превращу его в настоящего красавчика. Я давно мечтал послать что-нибудь в этом роде на память

моей старой тетушке в Виргинию — она была очень добра ко мне, когда я был еще мальчишкой.

— Черт возьми! — воскликнул Лоутон.— Неужели вы собираетесь послать старой леди кости мертвеца?

— А почему бы и нет? — ответил доктор.— Разве есть в природе что-нибудь совершеннее тела человека? А скелет можно назвать его первоосновой. Но что же вы сделали с трупом?

— Он тоже исчез.

— Как исчез? Кто посмел унести мою собственность?

— Не иначе, как сам дьявол,— заметила Бетти.— Погодите, вас он тоже скоро унесет, не спросивши у вас разрешения.

— Помолчи-ка ты, ведьма! — сказал Лоутон, давясь от смеха.— Как ты смеешь так разговаривать с офицером?

— А зачем он назвал меня мерзкой Элизабет Фленеган? — закричала маркитантка и с презрительной гримасой прищелкнула пальцами.— Друга я помню целый год, а врага не забуду целый месяц.

Однако доктора не трогали ни дружба, ни вражда миссис Фленеган: он думал только о своей потере, и Лоутону пришлось наконец объяснить своему приятелю, что́ без него произошло.

— И это счастье для вас, драгоценный мой доктор,— воскликнула Бетти, когда капитан закончил рассказ.— Сержант Холлистер столкнулся с ним лицом к лицу и уверяет, что это был дьявол, а вовсе не разносчик, или, вернее, тот торговец, что разносит повсюду ложь, воровство и прочий непотребный товар. Хороши бы вы были, кабы вздумали потрошить самого сатану, если б только майору удалось его повесить. Да, нелегко бы вам пришлось, уж наверное обломали бы свой нож!

Ситгривс потерпел двойное разочарование: ему не удалось ни пообедать, ни заняться любимым делом, и он заявил, что в таком случае отправится в коттедж и посмотрит, как чувствует себя капитан Синглтон. Лоутон вызвался его сопровождать, они сели на лошадей и вскоре выехали на дорогу; однако доктору пришлось выслушать еще немало насмешек Бетти, прежде чем ее голос замер вдали. Некоторое время всадники ехали молча, но Лоутон видел, что его спутник сильно помрачнел, обманувшись в своих ожиданиях и попав на острый язычок маркитантки, а потому постарался его развлечь.

— Вчера вечером вы начали петь прелестную песню, Арчибальд,— сказал он,— но вас прервали люди, которые привели разносчика. Намек на Галена был очень кстати.

— Я так и знал, что песня вам понравится, Джек, когда винные пары вылетят у вас из головы. Поэзия — благородное искусство, хотя ей недостает ясности точных наук и полезности естественных. Рассматривая поэзию с точки зрения жизненных потребностей человека, я скорее назвал бы ее средством размягчающим, чем подкрепляющим.

— Однако в вашей оде было много пищи для подкрепления ума.

— Мою песню ни в коем случае нельзя назвать одой; я считаю ее классической балладой.

— Весьма возможно,— заметил капитан,— но, прослушав лишь один куплет, трудно определить характер всего произведения.

Тут доктор невольно начал откашливаться и прочищать горло, вовсе не думая о том, к чему он делает эти приготовления. Капитан устремил темные глаза на приятеля и, видя, что тот все еще не успокоился и недовольно вертится в седле, продолжал:

— Кругом тишина и дорога пустынна, почему бы вам теперь не закончить свою песню? Никогда не поздно наверстать упущенное.

— Дорогой мой Джон, если я могу рассеять этим заблуждения, которым вы предаетесь в силу привычки и по легкомыслию, то с большой радостью исполню вашу просьбу.

— Сейчас мы подъедем к скалам по левой стороне дороги, там эхо усилит ваш голос, и мое удовольствие еще увеличится,— заметил Лоутон.

Получив такое поощрение и считая, что он и вправду с большим вкусом сочиняет стихи и поет, доктор весьма серьезно приготовился выполнить свою задачу. Он еще раз откашлялся и как бы настроил свой голос, а затем не мешкая принялся за дело, к тайной радости Лоутона:

Когда стрела любви...

— Тш-шш-шш!..— внезапно прервал его капитан.— Что это за шорох среди скал?

— Наверное, это трепещет мелодия. Мощный голос подобен дыханию ветра,— ответил доктор и продолжал:

Когда стрела любви...

— Слушайте!..— закричал Лоутон, останавливая лошадь.

Он не успел промолвить и слова, как вдруг к его ногам упал камень и, никому не причинив вреда, скатился с дороги.

— Это дружеский выстрел! — воскликнул капитан.— Ни снаряд, ни сила удара не говорят о злых намерениях.

— Удар камнем обычно причиняет только контузию,— заметил доктор, тщетно оглядываясь по сторонам, чтобы увидеть, чья рука метнула этот безобидный снаряд.— Уж не метеорит ли упал с неба? Кругом, кроме нас с вами, нет ни души.

— Ну, за этими скалами мог бы спрятаться целый полк,— возразил капитан и, спрыгнув с коня, поднял камень.

— Э, да тут, кажется, есть и объяснение тайны,— сказал он, увидев записку, искусно привязанную к обломку скалы, так неожиданно упавшему к его ногам; развернув ее, Лоутон прочел следующие довольно неразборчиво написанные строки:

Пуля летит дальше камня, и в скалах Вест-Честера есть кое-что поопаснее, чем целебные травы для раненых солдат. А ведь и самый добрый конь не взберется на крутую скалу.

— Ты сказал правду, странный человек,— заметил Лоутон,— отвага и ловкость не спасут нас от тайных убийц, которые прячутся в скалистых ущельях.— И, снова вскочив на коня, он громко крикнул: — Спасибо, неизвестный друг! Мы не забудем твоего предупреждения.

Из-за выступа скалы на мгновение показалась худая рука и тут же скрылась. Больше ничего не было ни видно, ни слышно — двух приятелей окружала глубокая тишина.

— Вот удивительное происшествие! — сказал изумленный доктор.— И какое загадочное послание!

— Ну, это просто глупая шутка какого-нибудь деревенщины, вообразившего, будто двух виргинцев можно запугать подобной чепухой,— ответил капитан, спрятав записку в карман.— Но позвольте сказать вам, мистер

Арчибальд Ситгривс, что вы только что собирались распотрошить чертовски честного парня.

— Я собирался вскрыть труп разносчика, одного из самых опасных шпионов нашего врага; и должен заметить, что считаю великой честью для подобного человека, если он может послужить на пользу науке.

— Возможно, что он шпион... да, вернее всего, шпион,— сказал Лоутон задумчиво,— но сердце у него не злопамятное, а душа сделала бы честь истинному солдату.

Пока капитан произносил эту тираду, доктор стоял, устремив на него рассеянный взгляд; между тем зоркие глаза Лоутона уже успели разглядеть впереди группу высоких скал, которые огибала дорога.

— Преграду, недоступную для конских копыт, могут преодолеть человеческие ноги! — воскликнул капитан.

Снова спрыгнув с седла, он перескочил через невысокую каменную ограду и начал так быстро взбираться на холм, что вскоре был уже на вершине и с высоты птичьего полета мог рассмотреть упомянутые нами скалы, со всеми их ущельями. Как только капитан поднялся наверх, он увидел какого-то человека, который тотчас скользнул между камней и скрылся по другую сторону холма.

— Вперед, Ситгривс, пришпорьте коня! — закричал капитан, бросаясь вниз, не разбирая дороги.— Подстрелите негодяя, пока он не сбежал!

Доктор тотчас исполнил первую часть приказания: не прошло и минуты, как он увидел впереди вооруженного мушкетом человека, перебегавшего дорогу с явным намерением укрыться в густом лесу.

— Остановитесь, мой друг, подождите, пожалуйста, пока не подъедет капитан Лоутон! — закричал наш доктор, глядя, как тот улепетывает с такой быстротой, что за ним не угнаться и лошади.

Однако эти слова, казалось, только усилили страх беглеца, и он помчался еще быстрей, пока не достиг лесной опушки; тут он вдруг обернулся, выстрелил в своего преследователя и мгновенно пропал в чаще. Пока Лоутон спустился на дорогу, вскочил в седло и прискакал к товарищу, беглец уже исчез.

— В какую сторону он побежал? — спросил офицер.

— Джон,— ответил спокойно врач,— не забывайте, что я принадлежу к тем, кто не участвует в сражениях.

— Куда сбежал этот негодяй? — закричал Лоутон нетерпеливо.

— Туда, куда вы не пуститесь за ним,— в лес. Но повторяю, Джон: не забывайте, что я не участвую в сражениях.

Раздосадованный капитан, убедившись, что враг исчез, повернулся к доктору и бросил на него гневный взгляд; но мало-помалу лицо его смягчилось, сурово сдвинутые брови распрямились, резкие складки разгладились и в сердитых глазах снова зажглись искорки смеха, которые так часто в них мелькали. Доктор с достоинством сидел на лошади, выпрямив свое тощее тело и высоко вскинув голову, как человек, возмущенный несправедливым обвинением.

— Почему вы дали этому негодяю сбежать? — спросил капитан.— Если б я только достал его своей саблей, вы получили бы хороший труп для вскрытия.

— Я ничего не мог поделать,— ответил доктор, указывая на изгородь, перед которой он остановил свою лошадь.— Мошенник перепрыгнул через ограду, а я остался по эту сторону, как видите. Он не пожелал слушать мои уговоры и не обратил никакого внимания на то, что вы хотели побеседовать с ним.

— Этакий невежа, что и говорить! Но почему вы не перескочили через забор и не задержали его? Смотрите, в нем не хватает нескольких перекладин — даже Бетти Фленеган могла бы перебраться через него верхом на корове.

Только тут доктор оторвал взгляд от места, где скрылся беглец, и посмотрел на товарища. Однако он все так же гордо держал голову, когда ответил:

— По моему скромному разумению, капитан Лоутон, ни миссис Элизабет Фленеган, ни ее корова не могут служить примером для доктора Арчибальда Ситгривса: было бы сомнительной честью для науки, если бы доктор медицины безрассудно сломал себе обе ноги, ударившись о перекладины какой-то загородки.

И с этими словами доктор вытянул свои нижние конечности, придав им почти горизонтальное положение,— поза, в которой он и вправду не мог бы преодолеть никакое препятствие; но капитан не стал смотреть на это наглядное доказательство невозможности действовать и сердито возразил:

— Какие глупости! Тут вас ничто бы не задержало.

Я мог бы перескочить через этот забор с целым взводом в полном вооружении, даже не пришпорив коня. Когда мы ходили в атаку на пехоту, мы не раз брали барьеры куда опаснее вашего забора!

— Я попросил бы вас помнить, капитан Джон Лоутон, что я отнюдь не берейтор вашего полка, не сержант, обучающий солдат, и не взбалмошный корнет; нет, сэр, говорю это с должным уважением к чинам, установленным Континентальным конгрессом, и я не ветреный капитан, который так же мало ценит свою жизнь, как и жизнь своих врагов. Я только бедный, скромный ученый, сэр, всего лишь доктор медицины, недостойный питомец Эдинбургского университета и хирург драгунского полка; только и всего, капитан Джон Лоутон, смею вас уверить.

Закончив свою речь, доктор повернул лошадь и двинулся по направлению к коттеджу «Белые акации».

— Увы, вы говорите правду,— проворчал капитан.— Будь со мной самый плохонький всадник из моего отряда, я изловил бы мерзавца и отдал бы хоть одну жертву правосудию. Но право, Арчибальд, ни один человек не может хорошо ездить верхом, так широко расставив ноги, словно колосс Родосский [1]. Вы не должны стоять все время на стременах: сжимайте посильнее бока лошади коленями.

— Хотя я отношусь с должным уважением к вашей опытности, капитан Лоутон,— ответил доктор,— однако не считаю себя неспособным судить о мускульной силе, будь то в коленях или в другой части человеческого тела. И, если даже образование у меня довольно скромное, я все же отлично знаю, что чем шире основание, тем прочнее держится постройка.

— Значит, вы хотите загородить всю дорогу, на которой могли бы уместиться шесть всадников в ряд, и потому вытягиваете ноги в стороны подобно косам на древних колесницах? [2]

Упоминание о древнем обычае немного смягчило возмущенного доктора, и он ответил уже не так высокомерно:

---

[1] Колосс Родосский — бронзовая фигура греческого бога солнца Гелиоса, изваянная в 280 году до н. э. и имевшая 32 метра высоты, стояла в Родосской гавани. Раньше полагали, что эта статуя стояла с расставленными над входом в гавань ногами, образуя как бы ворота, через которые могли проходить корабли.

[2] В древности иногда к осям боевых колесниц прикрепляли косы, чтобы резать ими врага при вращении колес.

— Вы должны отзываться с почтением об обычаях наших предков, ибо, хотя они и были несведущи в вопросах науки и особенно в хирургии, им принадлежит немало блестящих догадок, которые нам пришлось только развивать. И я не сомневаюсь, сэр, что Гален оперировал воинов, раненных именно теми косами, о которых вы упоминали, хотя мы и не встречаем подтверждения этому у современных писателей. О, эти косы, наверное, наносили ужасные раны и, без сомнения, причиняли немало затруднений медикам того времени.

— Иногда тело бывало перерезано пополам, и лекарям приходилось проявлять все свое мастерство, чтобы соединить куски в одно целое. Но я не сомневаюсь, что при их учености и великом искусстве им это удавалось.

— Как! Соединить человеческое тело, разрезанное на две части острым инструментом, и вдохнуть в него жизнь?

— Ну да, части тела, разрезанного косой, вновь соединяли в одно для выполнения военных задач.

— Но это невозможно, совершенно невозможно! — воскликнул доктор.— Напрасно человеческое искусство пыталось бы бороться с законами природы, капитан Лоутон. Вы только подумайте, дорогой мой, ведь в таком случае разрезали все артерии, все внутренние органы, разрывали все нервы, сухожилия, и вдобавок, что еще существенней...

— Довольно, довольно, доктор Ситгривс. Вы убедили бы даже члена враждебной вам школы. Теперь ничто не заставит меня добровольно подвергнуть себя подобному непоправимому расчленению.

— Разумеется, мало радости получить рану, которая по природе своей неизлечима.

— Я тоже так думаю,— сухо заметил Лоутон.

— А как вы полагаете, что приносит в жизни больше всего радости? — вдруг спросил доктор.

— Как на чей вкус.

— Вовсе нет! — вскричал доктор.— Всего радостнее убеждаться или чувствовать, как свет науки, действуя заодно с силами природы, побеждает всевозможные болезни. Однажды я нарочно сломал себе мизинец, для того чтобы срастить перелом и следить за его излечением. Это был лишь небольшой опыт, вы понимаете, милый Джон, и все же, с трепетом наблюдая, как срастается кость, как искусство человека действует заодно с природой, я пережил такую радость, какой никогда не испытывал в жизни.

А если б поврежден был более важный член, например нога или рука, насколько сильнее было бы испытанное мной удовольствие!

— А еще лучше — шея,— заметил капитан.

Тут они подъехали к усадьбе Уортона, и их довольно бессвязный разговор прервался. Никто не вышел им навстречу, не пригласил их войти, и капитан направился прямо в комнату, где, как он знал, обычно принимали гостей. Он отворил дверь, но остановился на пороге, удивленный открывшейся ему картиной. Прежде всего его взгляд упал на полковника Уэлмира: наклонившись к раскрасневшейся Саре, он что-то так горячо говорил ей, что они оба не заметили прихода посторонних. Острый взгляд капитана сразу схватил кое-какие многозначительные подробности этой сцены, и он тут же разгадал тайну молодых людей. Он уже собирался тихонько удалиться, не выдавая своего присутствия, но тут Ситгривс отстранил его и стремительно вошел в комнату. Доктор направился прямо к креслу Уэлмира и, схватив его за руку, воскликнул:

— Что это? Пульс учащенный и неровный, лицо красное, глаза блестят. Явные признаки лихорадки. Надо сразу же принять меры.

С этими словами доктор, привыкший действовать быстро и не раздумывая — обычай многих врачей на войне,— тут же вытащил ланцет и взялся за приготовления, свидетельствовавшие о том, что он намерен немедля приступить к делу.

Но полковник Уэлмир, быстро овладев собой, встал со своего места и надменно сказал:

— Не беспокойтесь, сэр, в комнате душно, вот почему меня бросило в жар. К тому же я и так слишком многим

обязан вашему искусству и не хочу вас больше утруждать. Мисс Уортон подтвердит, что я совсем здоров, а я могу вас заверить, что никогда не чувствовал себя лучше и счастливей.

Последние слова были сказаны с особым пылом и, должно быть, доставили удовольствие мисс Саре, ибо ее щеки снова зарделись. Доктор, следивший за взглядом своего пациента, тотчас же это заметил.

— Прошу вас, сударыня, дайте мне руку,— сказал он, подойдя к ней с поклоном.— Тревога и бессонница, должно быть, отразились на вашем хрупком здоровье, и я вижу кое-какие симптомы, которыми не следует пренебрегать.

— Простите, сэр,— ответила Сара, как истая женщина быстро справившись со своим смущением,— тут слишком душно, я выйду и извещу мисс Пейтон о вашем приходе.

Бесхитростного, вечно погруженного в свои мысли доктора ничего не стоило обмануть, но Саре пришлось еще поднять глаза на Лоутона, чтобы ответить на его поклон, когда он, почтительно склонив голову, растворил перед нею дверь. И этот взгляд ему все объяснил. У Сары хватило выдержки, чтобы со спокойным достоинством выйти из комнаты, но едва она осталась наедине с собой, как сразу бросилась в кресло и предалась смешанному чувству стыда и радости. Слегка уязвленный упрямством английского полковника, Ситгривс еще раз предложил ему свои услуги, но снова получил отказ и отправился в комнату молодого Синглтона, куда Лоутон ушел еще раньше.

Глава XXI

О Генри, если ты попросишь,
Как мне противиться судьбе?
Как мне согласьем не ответить
И руку не отдать тебе?

«Уорквортский отшельник»

Бывший питомец Эдинбургского университета нашел, что его пациент быстро поправляется и совсем избавился от лихорадки. Изабелла, которая была, если это только возможно, еще бледней, чем в день приезда, не отходила от постели брата и с любовью ухаживала за ним, а оби-

тательницы коттеджа, несмотря на множество забот и волнений, не забывали выполнять обязанности гостеприимных хозяек. Френсис чувствовала сильное влечение к опечаленной гостье, хотя и не могла отдать себе отчета, чем вызван этот глубокий интерес. В воображении она бессознательно соединила судьбу Данвуди с судьбой Изабеллы и с романтическим пылом великодушного сердца считала, что оказывает услугу своему бывшему жениху, окружая нежным вниманием его избранницу. Изабелла с благодарностью принимала ее заботы, однако ни одна из девушек ни разу не заговорила о тайной причине своей грусти. Мисс Пейтон, не отличавшаяся большой наблюдательностью, замечала лишь то, что всем бросалось в глаза, и ей казалось, что положение Генри Уортона вполне объясняет и бледность Френсис и слезы, часто туманившие ее взор. А отчего Сара кажется менее озабоченной, чем сестра, это понимала даже ее недальновидная тетка. Любовь — высокое чувство и, овладев непорочным женским сердцем, озаряет все, чего ни коснется. Мисс Пейтон искренне горевала, думая об опасности, нависшей над племянником, но она знала, что жестокая война — вечная помеха любви, и не следует упускать минуты счастья, если они порой выпадают в такое тяжелое время. Так прошло несколько дней, в течение которых ничто не нарушало ни мирной жизни обитателей коттеджа, ни обычных занятий отряда драгун, стоявшего в деревне Четыре Угла. Семейство Уортон поддерживала уверенность в невиновности Генри и надежда на дружескую поддержку Данвуди, а в отряде с нетерпением ждали известий о столкновении с врагом, что могло произойти с часу на час, и приказа о выступлении. Однако капитан Лоутон напрасно ожидал этих событий. Как ему сообщал в письме майор Данвуди, неприятель, узнав о поражении посланного ему в подмогу отряда, отступил к форту Вашингтон, где и отсиживается, все время угрожая нанести американцам удар в отместку за свою неудачу. Майор приказывал Лоутону быть бдительным и в заключение хвалил его за верную службу, за рвение и непоколебимую отвагу.

— Я чрезвычайно польщен, майор Данвуди,— пробормотал капитан и, отбросив полученное письмо, принялся шагать взад и вперед по комнате, чтобы немного охладить свое раздражение.— Что и говорить, вы подобрали подходящего стража! Итак, посмотрим, в чем состоит моя

служба: я должен охранять выжившего из ума нерешительного старика, который сам не знает, за нас он или за наших врагов; четырех женщин, из которых три довольно милы, но отнюдь не жаждут моего общества, а четвертая хоть и приветлива, но уже далеко шагнула за сорок; нескольких негров; болтливую экономку, у которой на уме только золото да побрякушки, суеверия да приметы, и, наконец, беднягу Джорджа Синглтона. Ну что ж, если товарищ попал в беду, ему надо помочь, и я постараюсь сделать все, что могу.

Закончив свой монолог, капитан уселся на стул и принялся насвистывать, чтобы убедить себя, будто ему на все наплевать, как вдруг, неосторожно протянув ногу в высоком сапоге, он толкнул флягу, в которой хранился весь его запас водки. Он ловко подхватил флягу и, когда ставил ее на место, заметил на скамье записку. Распечатав ее, он прочитал: «Луна не взойдет раньше полуночи — вот лучшее время для темных дел». Ошибки быть не могло: записку писала та же рука, что недавно спасла его от спрятавшегося убийцы, и капитан глубоко задумался об этих двух предостережениях, стараясь понять, почему разносчик взялся охранять своего злейшего врага, как он делал это все последнее время. Лоутону было известно, что Бёрч — английский шпион. Он передал английскому главнокомандующему план передвижения американского отряда — это было точно доказано на суде в присутствии Лоутона. Правда, благодаря счастливой случайности предательство Бёрча не имело роковых последствий: Вашингтон отдал приказ об отводе этого отряда незадолго до появления англичан и им не удалось его отрезать, однако это нисколько не умаляло преступления. «Быть может,— подумал драгун,— разносчик хочет заручиться моей дружбой на случай, если его снова поймают? Но так или иначе, в первый раз он не убил меня, а во второй — спас от смерти. Постараюсь и я быть таким же великодушным и молю бога, чтобы долг никогда не противоречил моим чувствам».

Капитан не знал, кому грозит беда, о которой сообщалось в записке,— жителям коттеджа или ему самому,— но скорей склонялся к последнему и потому решил с наступлением темноты не ездить без некоторых предосторожностей. Всякому человеку, живущему в мирной стране, среди тишины и порядка, казалось бы непонятным равно-

душие, с каким капитан обычно относился к угрожавшим ему опасностям. Он гораздо больше думал о том, как захватить врагов, нежели о том, как избежать их ловушек. Однако размышления его были прерваны доктором, вернувшимся после очередного визита в «Белые акации». Ситгривс передал Лоутону приглашение от хозяйки дома, которая просила капитана оказать ей честь и прийти в коттедж пораньше, сегодня же вечером.

— Эге! — воскликнул драгун.— Видно, они тоже получили письмо.

— Думаю, что это весьма вероятно,— заметил доктор.— У них сейчас капеллан королевской армии. Он приехал для обмена ранеными и привез с собой приказ полковника Синглтона о выдаче ему раненых англичан. Но, по-моему, ничего не может быть глупее, чем возить раненых с места на место.

— Вы говорите, там капеллан? Что же он — пьяница, бездельник, обжора, способный уничтожить запасы целого полка, или, скорее, человек, который относится серьезно к своим обязанностям?

— Он очень почтенный и добропорядочный джентльмен, отнюдь не склонный к чревоугодию, судя по внешним признакам,— ответил доктор,— и молитву перед едой читает по всем правилам.

— Он останется у них ночевать?

— Да, конечно. Он дожидается еще каких-то официальных бумаг. Но поспешим, Джон, у нас очень мало времени. Я еще должен навестить двух-трех раненых англичан, которых завтра увезут, и пустить им кровь, чтобы предупредить воспаление... Через минуту я вернусь.

Капитан Лоутон быстро натянул на свое богатырское тело парадный мундир, доктор тоже не заставил себя ждать, и они вместе направились к коттеджу. Несколько дней отдыха пошли на пользу и Роноки и его хозяину. Теперь Лоутон, проезжая мимо памятной скалы и осаживая своего быстрого скакуна, горячо желал, чтобы перед ним оказался давешний вероломный враг верхом на коне и с оружием в руках. Но они не встретили на пути ни врагов, ни каких-либо препятствий и доехали до «Белых акаций» к тому времени, когда лучи заходящего солнца озарили долину и позолотили верхушки облетевших деревьев. Капитан всегда с первого взгляда улавливал все подробности происходящей перед ним сцены, если они не были тща-

тельно скрыты, и, едва ступив на порог, он сразу заметил больше, нежели Ситгривс увидел бы за целый день. Мисс Пейтон приветствовала вошедших с улыбкой, которая выражала не только обычную учтивость, но свидетельствовала и о более глубоких чувствах. Френсис в волнении ходила по комнате с глазами, полными слез, а мистер Уортон встречал гостей, стоя у двери в бархатном камзоле, который сочли бы уместным и в самой нарядной гостиной. Полковник Уэлмир был в мундире королевской гвардии, а Изабелла Синглтон — в светлом платье, хотя выражение ее лица отнюдь не соответствовало праздничному наряду. Сидевший с ней рядом брат внимательно наблюдал за всем происходящим, глаза у него блестели, щеки разгорелись, и он нисколько не походил на больного. Он уже третий день, как поднялся с постели, и доктор Ситгривс с удивлением уставился на своего пациента, даже позабыв пожурить его за неосторожность. Один капитан Лоутон держался со спокойным достоинством человека, на крепкие нервы которого не может оказать влияние никакая неожиданность. Он любезно поклонился маленькому обществу, и все ответили ему тем же; потом, обменявшись двумя-тремя словами с каждым из присутствующих, он подошел к врачу, который стоял в сторонке в полной растерянности, стараясь прийти в себя от удивления.

— Джон,— шепнул он капитану с внезапно проснувшимся любопытством,— что означает это торжество?

— То, что ваш парик и мои черные волосы следовало бы присыпать горстью муки из запасов Бетти Фленеган; но теперь уже слишком поздно, и нам придется вступить в бой с тем оружием, какое у нас есть.

— Смотрите-ка, вот и капеллан в полном облачении. Что он будет делать?

— Обменивать раненых,— ответил капитан.— Раненные Купидоном должны встретиться с этим божеством, свести с ним счеты и произнести брачные обеты, чтобы больше не страдать от его стрел.

Тут доктор приложил палец к носу, начиная понемногу догадываться, к чему клонится дело.

— Просто стыд и позор, что мы позволяем побитому герою, да еще нашему врагу, похитить один из самых прелестных цветов, взращенных на нашей земле,— проворчал Лоутон.— Такой цветок достоин украсить грудь лучшего человека!

— Если он не окажется более покладистым мужем, чем был пациентом, боюсь, Джон, что у его жены будет очень беспокойная жизнь.

— Ну и пускай! — ответил возмущенный капитан.— Если уж она выбрала себе мужа среди недругов своей родины, пусть ее избранник покажет ей, каковы добродетели этих пришельцев.

Разговор их прервала подошедшая мисс Пейтон, которая сообщила им, что они приглашены на бракосочетание ее старшей племянницы с полковником Уэлмиром. Оба джентльмена поклонились, а добрая тетушка, всегда стоявшая на страже благопристойности, добавила, что это давнее знакомство, а отнюдь не внезапно вспыхнувшее чувство. В ответ Лоутон снова поклонился, еще церемоннее прежнего, а доктор, любивший поговорить с почтенной леди, заметил:

— У разных людей разум устроен по-разному. У одних впечатления ярки, но мимолетны, у других они глубоки и долговременны; некоторые философы считают, что между физическим и духовным складом всякого живого существа можно установить определенную связь, я же думаю, сударыня, что одни больше поддаются влиянию обычаев и общества, а другие повинуются законам природы.

Мисс Пейтон молча наклонила голову, как бы соглашаясь с этим замечанием, и с достоинством удалилась, чтобы привести в комнату племянницу. Наступило время, когда, по американскому обычаю, жених и невеста должны давать друг другу брачные обеты. Следом за тетушкой в гостиную вошла Сара, вся раскрасневшаяся от волновавших ее чувств. Уэлмир бросился ей навстречу и взял ее руку, которую она протянула ему, отвернув головку. Казалось, полковник только сейчас по-настоящему понял, какую важную роль предстояло ему сыграть в готовящейся церемонии. Прежде у него был рассеянный и встревоженный вид, теперь же на лице появилось выражение спокойной уверенности в своем счастье, и все остальное, видимо, потеряло значение, когда перед ним засияла красота его невесты. Гости встали, и капеллан уже открыл священную книгу, но тут все заметили отсутствие Френсис. Мисс Пейтон отправилась на поиски младшей племянницы и нашла ее в спальне, всю в слезах.

— Полно, милочка, пойдем, дело только за тобой,— ласково сказала тетка, взяв девушку под руку.— Поста-

райся успокоиться и подобающим образом почтить твою сестру и ее жениха.

— А он... Стоит ли он ее?

— Ну может ли быть иначе! — ответила мисс Пейтон.— Ведь он истинный джентльмен и храбрый воин, хоть и потерпел неудачу. Конечно, дорогая моя, у него есть все достоинства, которые могут составить счастье женщины.

Френсис, тревожась в душе, собралась с силами и, спустившись вниз, присоединилась к обществу. Между тем священник, чтобы заполнить время неловкого ожидания, задал несколько вопросов жениху и на один из них получил весьма неудовлетворительный ответ. Уэлмиру пришлось сознаться, что он не запасся обручальным кольцом; а между тем, как заявил капеллан, без кольца невозможно совершить свадебный обряд. Священник обратился к мистеру Уортону, и тот подтвердил правильность его слов; впрочем, старик ответил бы отрицательно, если бы почувствовал, что от него ждут отрицательного ответа. Несчастье с сыном нанесло владельцу «Белых акаций» такой тяжелый удар, что он утратил последние остатки своей и без того слабой энергии и теперь так же легко согласился с возражениями священника, как прежде принял поспешное предложение Уэлмира. Это препятствие поставило всех в тупик; тут в комнату вошли мисс Пейтон и Френсис. Доктор Ситгривс подошел к тетушке и, подводя ее к креслу, сказал:

— Сударыня, оказывается, неблагоприятные обстоятельства помешали полковнику Уэлмиру обзавестись всеми украшениями, которые обычай, древние правила и церковные законы считают необходимыми для всякого желающего вступить в брак.

Мисс Пейтон окинула спокойным взглядом смущенного жениха и, решив, что он одет достаточно парадно, принимая во внимание военное время и неожиданность этого брака, обернулась к доктору и вопросительно посмотрела на него, как бы прося объяснения.

Ситгривс понял ее молчаливый вопрос и тотчас пустился в рассуждения.

— У нас принято считать,— сказал он,— что сердце расположено в левой части тела и что органы, находящиеся с левой стороны, более тесно связаны с этим средоточием жизни, если можно так его назвать, нежели те

которые помещаются справа. Однако это заблуждение, и объясняется оно незнанием анатомии человеческого тела. Исходя из этого ошибочного мнения, считают, будто безымянный палец на левой руке обладает особой силой, которой лишены все остальные окончания этого дланевидного органа, а потому во время брачной церемонии его заключают в обруч или кольцо, словно для того, чтобы приковать чувство брачной цепью, хотя его гораздо прочнее приковывает женское обаяние.

Закончив эту речь, доктор с чувством прижал руку к сердцу и склонился в поклоне чуть не до земли.

— Я не уверена, сэр, что правильно поняла вашу мысль,— сказала мисс Пейтон, и ее непонятливость была вполне извинительна.

— Нет кольца, сударыня, а для бракосочетания необходимо кольцо.

Как только доктор ясно выразил свою мысль, мисс Пейтон поняла, в какое они попали затруднительное положение. Она обернулась и поглядела на своих племянниц: в глазах Френсис она прочитала тайное торжество, чем была весьма недовольна, а на лице Сары — глубокое смущение, причина которого была тетке вполне понятна. Ни за что на свете не стала бы она нарушать ни одного правила, предписанного приличиями. Все три женщины тут же невольно вспомнили, что обручальное кольцо покойной миссис Уортон мирно покоится среди других драгоценностей, спрятанных в тайнике, который был устроен давно, чтобы спасти семейные богатства от грабителей и мародеров, рыскающих по всему графству. В этом тайном погребе прятали на ночь столовое серебро и все, что было ценного в доме; не один год пролежало там и это забытое всеми кольцо. Однако с незапамятных времен было принято, чтобы венчальное кольцо приносил жених, и ни за какие блага в мире мисс Пейтон не согласилась бы отступить от старых обычаев в этом торжественном случае; разумеется, лишь до тех пор, пока жених не искупил бы нанесенного им оскорбления должной дозой тревоги и раскаяния.

Итак, все три скрыли существование этого кольца: тетка — из женского такта, невеста — из стыдливости, а Френсис — радуясь, что это замешательство так или иначе отсрочит свадьбу сестры. Доктор Ситгривс первый нарушил неловкое молчание.

— Сударыня, если простое колечко, принадлежавшее моей покойной сестре...— Он на минуту запнулся и продолжал: — Если такое колечко сочтут достойным подобной чести, его будет нетрудно достать: оно лежит у меня на квартире в Четырех Углах, и я не сомневаюсь, что оно придется на пальчик, который в нем так нуждается. Я нахожу большое сходство между... гм... моей умершей сестрой и мисс Уортон, я разумею — в строении тела. А ведь в анатомии обычно сохраняются все пропорции — это наблюдается у всех живых существ.

Мисс Пейтон взглядом напомнила полковнику Уэлмиру, в чем состоит его долг, и он, вскочив со стула, горячо поблагодарил доктора и сказал, что тот окажет ему величайшую услугу, если пошлет за кольцом. Хирург церемонно поклонился и вышел, чтобы выполнить свое обещание и послать кого-нибудь в деревню. Тетушка не задержала его, однако ей не хотелось, чтобы посторонние принимали участие в ее семейных делах, и потому, выйдя вслед за доктором, она попросила отправить за кольцом Цезаря, а не кого-нибудь из людей Ситгривса. Кэти Хейнс было велено привести негра в соседнюю комнату, и мисс Пейтон вместе с доктором направились туда, чтобы дать ему нужные наставления.

Мистер Уортон дал согласие на поспешную свадьбу Сары с Уэлмиром, да еще в такое время, когда жизнь члена его семьи была в опасности, лишь потому, что боялся, как бы беспорядки в стране не помешали влюбленным когда-либо встретиться вновь, а также из тайного страха, что ему не пережить гибели сына и с его смертью дочери останутся без покровителя. Хотя мисс Пейтон и поддержала желание брата воспользоваться случайным приездом священника, однако она не считала нужным оповещать о предстоящей свадьбе соседей, даже если б у нее и было на это время; поэтому теперь ей казалось, что она сообщает экономке и старому слуге глубокую тайну.

— Цезарь,— начала она, улыбаясь,— я должна тебе сообщить, что твоя молодая госпожа, мисс Сара, сегодня вступает в брак с полковником Уэлмиром.

— Кажется, я понял это раньше,— заметил Цезарь, добродушно посмеиваясь.— Старый негр видит, когда молодая мисс что-то держит на уме.

— Правда, Цезарь, ты гораздо больше замечаешь, чем можно ожидать. Ну, раз уж ты догадался, по какой при-

чине нам понадобились твои услуги, выслушай указания этого джентльмена и в точности выполни все, что он скажет.

Цезарь почтительно повернулся к доктору, который начал так:

— Цезарь, твоя госпожа уже сообщила тебе о важном событии, которое скоро совершится в этом жилище; но нам не хватает обруча или кольца, чтобы надеть его на палец невесте. Таков старинный обычай, он сохранился в свадебном обряде многих ветвей христианской церкви, и даже священник при возведении в сан епископа не может обойтись без кольца, как ты, конечно, понимаешь.

— Быть может, масса доктор повторит еще разок свои слова,— попросил старый слуга, голова которого сдала в ту самую минуту, когда Ситгривс так одобрительно отозвался о его понятливости.— Я, наверное, сумею заучить это на память со второго раза.

— Нельзя выжать масла из камня, Цезарь, а потому я сокращу свое объяснение. Отправляйся в Четыре Угла и отвези эту записку сержанту Холлистеру или миссис Элизабет Фленеган; кто-нибудь из них передаст тебе необходимый нам залог супружеской любви, и ты вернешься с ним домой.

Письмо, переданное доктором в руки черного посланца, содержало следующие строки:

Если у Кайндера прошел жар, то покормите его. Уотсону выпустите еще три унции крови. Обыщите госпиталь, не пронесла ли туда эта Фленеган спиртного. Джонсону перемените повязки и смените на дежурстве Смита. С подателем сего письма пришлите мне кольцо, которое висит на цепочке моих часов,— я оставил их, чтобы больным вовремя давали лекарства.

Арчибальд Ситгривс,
доктор медицины, хирург драгунского полка.

— Цезарь,— сказала Кэти, когда осталась с негром наедине,— положи кольцо в левый карман, он ближе к сердцу, и не вздумай примерять кольцо на свой палец — это приносит несчастье.

— Примерять кольцо? — воскликнул негр, растопыривая свои узловатые пальцы.— И вы думаете, колечко мисс Салли налезет на палец старого Цезаря?

— Это неважно, налезет или нет,— ответила экономка,— но надевать чужое обручальное кольцо после свадьбы — дурная примета, а уж перед свадьбой это еще опасней.

— Говорю вам, Кэти, я и не думал надевать никакого кольца.

— Тогда ступай, Цезарь, да смотри не забудь про левый карман. А когда поедешь мимо кладбища, непременно сними шляпу. Да поторапливайся: я уверена, ничто так не изводит человека, как ожидание свадьбы, когда он уже совсем приготовился жениться.

С такими напутствиями Цезарь вышел из дому и вскоре прочно сидел в седле. Как и все представители его народа, Цезарь смолоду привык ездить верхом и был отличным наездником, но, когда ему перевалило за шестой десяток, его африканская кровь маленько поостыла. Ночь была темная, и резкий ноябрьский ветер уныло завывал в долине. Поравнявшись с кладбищем, Цезарь снял шляпу со своей поседевшей головы и стал с суеверным ужасом озираться по сторонам, ожидая, что вот-вот увидит что-нибудь потустороннее. Было достаточно светло, чтобы разглядеть какое-то вполне земное существо, пробиравшееся среди могил, должно быть, с намерением выйти на проезжую дорогу. Рассудок и любовь к философии не способны бороться с непосредственными впечатлениями, а бедный Цезарь был лишен поддержки даже этих ненадежных союзников. Но так как он прочно сидел на упряжной лошади мистера Уортона, то не раздумывая припал к ее спине и отпустил поводья. Холмы, деревья, скалы, заборы, дома замелькали мимо него с быстротой молнии, и негр только начал соображать, куда и зачем он несется очертя голову, как лошадь его уже выскочила на перекресток и перед ним вырос полуразрушенный «Отель Фленеган» во всем своем неприглядном обличье. Увидев в окне веселый огонек, негр сразу понял, что перед ним человеческое жилье, и к нему тут же вернулся прежний страх перед кровожадными виргинцами. Однако он должен был выполнить поручение, а потому, спешившись, привязал к ограде свою взмыленную лошадь и осторожно подкрался к окну, чтобы разведать обстановку.

Перед пылающим камином сидели сержант Холлистер и Бетти Фленеган, предаваясь обильным возлияниям.

— Говорю вам, дорогой мой,— сказала Бетти, на ми-

нуту отрывая губы от кружки,— нельзя поверить, чтоб это был кто-то другой, а не разносчик. Ну скажите, где же был запах серы, куда девались хвост и копыта? К тому же, сержант, нехорошо говорить одинокой женщине, будто она пустила в свой дом сатану.

— Это неважно, миссис Фленеган, лишь бы вы потом избежали его клыков и когтей,— ответил старый вояка и хлебнул из кружки изрядный глоток.

Этого разговора было достаточно, чтобы убедить Цезаря, что парочка у камина вряд ли опасна для него. У негра уже начали стучать зубы от холода, и его невольно потянуло в эту теплую комнату. Он осторожно подошел к дому и тихонько постучался в дверь. Появление в дверях Холлистера с обнаженной саблей в руке, грубым голосом спросившего, кто стучит, нимало не успокоило взволнованных чувств негра; но страх придал ему силы кое-как объяснить свой приход.

— Входи,— сказал сержант и, вытащив негра на свет, подозрительно уставился на него.— Входи и давай сюда письмо. Ты знаешь пароль?

— Не знаю, что это такое,— сказал Цезарь, трясясь от страха.— Масса послал меня и говорил много вещей, но я очень мало понимал.

— Кто послал тебя с этим поручением?

— Сам масса доктор, и негр скакал галопом, он всегда быстро выполняет приказы доктора.

— Да, это доктор Ситгривс, вечно он забывает пароль! Поверь мне, приятель, будь это капитан Лоутон, уж он не послал бы тебя сюда мимо часового, не сказав тебе пароля; ты легко мог получить пулю в башку, и, право, это не доставило бы тебе удовольствия. Хоть ты и черный, но я не из тех, кто считает, будто у негров нет души.

— Конечно, у негра такая же душа, как и у белого,— сказала Бетти.— Подойди сюда, старина, и погрей свои старые кости у нашего огонька. Я уверена, что гвинейский негр так же любит тепло, как солдат — водку.

Цезарь молча послушался. Между тем разбудили мальчишку-мулата, спавшего на скамейке в той же комнате, и отправили его с письмом доктора в тот дом, где помещались раненые.

— Возьми,— сказала Бетти, протягивая Цезарю кружку с напитком, который был для нее лучшим наслаждением в жизни.— Отпей-ка глоток: это согреет твою чер-

ную душу и грешное тело и придаст тебе храбрости на обратном пути.

— Повторяю вам, Элизабет, — заметил сержант,— души у негров точно такие же, как и у нас. Сколько раз добрый мистер Уайтфилд говорил при мне, что на небе не придают никакого значения цвету кожи. Поэтому мы можем смело полагать, что у этого негра душа такая же белая, как у меня или у самого майора Данвуди.

— Конечно, она такая же! — воскликнул Цезарь с излишней горячностью: его храбрость заметно усилилась после того, как он отведал напитка миссис Флеиеган.

— Как бы то ни было, а у майора очень хорошая душа,— заметила маркитантка.— Душа у него добрая и к тому же смелая; вы тоже подтвердите мои слова, сержант, ведь правда?

— Что касается душ, то о них может судить лишь тот, кто стоит выше самого Вашингтона,— ответил сержант,— но я могу сказать, что майор Данвуди не из тех джентльменов, кто говорит: «Ступайте вперед, ребята», а из тех, кто говорит: «Идите за мной, ребята». И, если у бедного драгуна не хватает шпоры или мундштука, либо порвалась сбруя, майор всегда достанет серебряную монету, чтобы покрыть нехватку, и притом частенько из собственного кармана.

— Так почему же вы прохлаждаетесь тут, когда тем, кто ему так дорог, грозит ужасная опасность? — закричал вдруг чей-то резкий голос.— На коней, на коней и мчитесь к капитану! Хватайте оружие и скачите скорей, не то будет поздно!

Это неожиданное вторжение привело в замешательство трех собутыльников. Цезарь, не раздумывая, отошел поближе к камину и остался там, не обращая внимания на пылающий огонь, который, наверное, изжарил бы белого человека. Сержант Холлистер мигом повернулся на месте и схватил саблю, клинок которой ярко сверкнул при свете пламени; но тут он увидел, что на пороге двери, ведущей во двор, стоит разносчик, и стал медленно отступать к позиции, занятой негром, ибо военный инстинкт велел ему сосредоточивать силы в одном месте. Бетти осталась одна возле шаткого стола. Она долила в кружку изрядную порцию напитка, известного среди солдат под названием «вырви глаз», и протянула ее разносчику. У маркитантки уже давно выступили слезы пьяного умиления, и, добродушно поглядев на Бёрча, она закричала:

— Ей-богу, хорошо, что вы зашли, мистер разносчик, или мистер Бёрч, или мистер Вельзевул, или как вас там зовут! Во всяком случае, вы честный дьявол, и я рада, если мое платье пришлось вам впору. Подойдите сюда и станьте поближе к огню; сержант Холлистер вас не тронет, он побоится, как бы вы потом не отплатили ему с лихвой,— ведь правда, дорогой мой сержант?

— Уходи отсюда, нечестивец! — крикнул старый вояка, все теснее прижимаясь к Цезарю и отдергивая от огня то одну, то другую опаленную жаром ногу.— Уходи отсюда с миром! Здесь нет людей, готовых тебе служить, и зря ты пристаешь к этой женщине. Есть высшая благодать, которая спасет ее от твоих когтей.— Сержант перестал говорить вслух, но губы у него продолжали беззвучно шевелиться, и изредка в его тихом бормотанье слышались отдельные слова молитвы.

Голова у Бетти была как в тумане, и она плохо поняла, что хотел сказать ее собутыльник, но тут у нее мелькнула новая мысль, и она воскликнула:

— А если даже он пришел за мной, что за беда, скажите на милость? Разве я не одинокая вдова и не вольна распоряжаться собой? Хоть вы и толковали мне о своих нежных чувствах, сержант, но я их что-то не вижу. Во всяком случае, мистер Вельзевул может беседовать со мной, о чем захочет. И думаю, он будет рад, если я выслушаю его.

— Женщина, помолчи,— сказал разносчик,— а вы, нелепый человек, хватайте оружие, прыгайте в седло и ска-

чите на помощь своему офицеру, если вы достойны дела, которому служите, и не хотите опозорить свой мундир.

Тут разносчик внезапно скрылся из глаз с такой быстротой, что опешившая троица не могла сообразить, в какую сторону он убежал.

Узнав голос старого друга, Цезарь выскользнул из своего угла и без всякого страха подошел к тому месту, где Бетти все время занимала твердую позицию, хотя в голове у нее была полная сумятица.

— Я хочу остановить Гарви,— сказал негр.— Если нам по дороге, я хочу ехать с ним. Я не верю, что Джонни Бёрч убил собственного сына.

— Бедный глупый негр! — воскликнул старый солдат, переводя дух и снова обретая дар речи.— Неужели ты думаешь, что это было существо из плоти и крови?

— Плоти у Гарви мало, это правда, но у него очень умная голова,— возразил негр.

— Ладно, погодите-ка, сержант,— заговорила Бетти,— будьте хоть раз благоразумны и послушайте, что вам говорит знающий человек: созовите своих молодцов и поезжайте к капитану Джеку; вспомните, что он велел вам быть готовым и скакать к нему по первому сигналу.

— Да, но не по приказу нечистого! Пусть мне прикажет капитан Лоутон, лейтенант Мейсон или корнет Скипуит, и никто быстрей меня не вскочит в седло!

— Но сколько раз вы хвастались мне, что ваши солдаты не испугаются и самого дьявола?

— Конечно, не испугаются в честном бою и при свете дня, но безрассудно и опасно искушать сатану в такую ночь: слышите, как ветер свистит в ветвях? А теперь прислушайтесь хорошенько — это воет сам злой дух!

— Я видел духа,— проговорил Цезарь, так сильно тараща глаза, что, казалось, он мог бы разглядеть даже бесплотное существо.

— Где? — прервал его сержант, невольно хватаясь за рукоятку сабли.

— Нет, нет,— ответил негр,— я видел, как Джонни Бёрч вышел из гроба. Он вышел прежде, чем его похоронили

— Ага, значит, и правда он провел очень греховную жизнь,— сказал Холлистер.— Праведные души спокойно дожидаются страшного суда, но грешной душе дурные дела не дают покоя ни в этой, ни в загробной жизни.

— Но что же будет в этой жизни с капитаном Джоном? — закричала Бетти в сердцах.— Значит, вы не хотите слушать ни его приказаний, ни нового предупреждения? Тогда я запрягу свою кобылу и сама отправлюсь к нему; уж я расскажу ему, как вы тут перетрусили при виде какого-то покойника или Вельзевула, и доложу, что ему нечего ждать от вас помощи! Никак не возьму в толк, кто же будет командовать солдатами завтра утром, да только не Холлистер, уж это как пить дать!

— Ладно, Бетти, ладно,— сказал сержант, бесцеремонно положив руку ей на плечо,— уж если кому-то надо скакать ночью по лесу, пусть это будет тот вояка, чей долг — собрать солдат и показать им пример. Авось бог смилостивится и пошлет нам врагов из плоти и крови!

Опрокинув еще стакан, сержант подкрепил свое решение, принятое только из страха рассердить капитана, и созвал двенадцать драгун, оставленных под его началом. Тут появился и мальчик с кольцом, которое Цезарь старательно спрятал в жилетный карман над сердцем; затем негр сел на лошадь, закрыл глаза, покрепче ухватился за гриву, помчался во весь опор, еле живой от страха, и пришел в себя, лишь когда его конь остановился у двери в теплую конюшню, из которой недавно отправился в путь.

Драгуны же, получив приказ выступать, двигались значительно медленней, ибо ехали с большими предосторожностями, чтобы неожиданно не наткнуться на самого дьявола.

Глава XXII

Заставь навек умолкнуть тяжкий стыд,
Будь вероломным, вкрадчивым и льстивым
И в добродетель преврати порок.

Шекспир, «Комедия ошибок»

Общество, собравшееся в гостиной мистера Уортона, чувствовало себя весьма неловко все время, пока отсутствовал Цезарь. Конь его проявил такую удивительную резвость, что на поездку за четыре мили и на возвращение после описанных выше происшествий ушло всего около часа.

Разумеется, мужчины старались развлекать общество, чтобы томительные минуты пролетели как можно быстрей, однако долгое ожидание счастья отнюдь не возбуж-

дает веселья. Невесте и жениху в таких случаях издавна разрешается молчать, но на этот раз их друзья, видимо, были тоже склонны последовать этому примеру. Неожиданная отсрочка радостного события больше всех раздражала английского полковника, и, сидя рядом с Сарой, он то и дело менялся в лице; а невеста, казалось, воспользовалась этой задержкой, чтобы набраться сил перед ожидаемой церемонией. Наконец среди общего молчания доктор Ситгривс обратился к мисс Пейтон, с которой он уселся рядом:

— Брак, сударыня, перед лицом бога и людей считается священным установлением, и можно сказать, что в наше время он не противоречит законам природы и нравственности. Древние народы, освящая многоженство, нарушали предначертания природы и обрекали тысячи людей на нищету, но с развитием науки в обществе распространились мудрые правила, по которым мужчина может иметь только одну жену.

Уэлмир злобно посмотрел на доктора, и лицо его выразило сильную досаду, ясно говорившую о том, каким несносным он считает этот разговор; а мисс Пейтон возразила с легким замешательством, словно боясь коснуться запретной темы:

— Я считала, сэр, что нашими правилами морали в этом вопросе мы обязаны христианской религии.

— Вы правы, сударыня, в писаниях апостолов сказано, что мужчины и женщины равно подчиняются этому закону. Однако в какой мере многоженство несовместимо с чистотой жизни? Мы, вероятно, обязаны осуждением этого обычая мудрости святого Павла, который был весьма силен в науке и, должно быть, вел частые беседы по этому вопросу с Лукой, а тот, как известно, много занимался медициной...

Трудно сказать, как далеко полет прихотливой фантазии занес бы Ситгривса, увлеченного этой темой, если б его не прервали. Лоутон, который до сих пор внимательно наблюдал за всеми, не произнося ни слова, вдруг резко спросил:

— Скажите, полковник, какое наказание полагается в Англии за двоеженство?

Уэлмир вздрогнул, и губы у него побелели. Однако, быстро овладев собой, он ответил с учтивостью, приличествующей счастливому жениху:

— Смертная казнь, чего и заслуживает подобное преступление.

— Да, смертная казнь с последующим вскрытием трупа,— подхватил хирург.— Закон редко упускает случай извлечь пользу из преступника. Однако двоеженство — отвратительное преступление!

— Вы полагаете, что двоеженство хуже безбрачия? — спросил Лоутон.

— Конечно, хуже,— невозмутимо ответил простодушный хирург.— Тот, кто пребывает в одиночестве, может посвятить жизнь науке и, вместо того чтобы производить себе подобных, распространять полезные знания. Но негодяй, который злоупотребляет кротостью и доверчивостью, свойственными женскому полу, совершает тяжкий грех и еще усугубляет его низким обманом.

— Не думайте, сэр, что женщины будут очень благодарны вам за то, что вы приписываете им природную мягкость и легковерие.

— Капитан Лоутон, физическая природа мужчины значительно крепче женской. Его нервы менее чувствительны, весь организм менее гибок и более устойчив; что же удивительного, если женщина склонна искать опору в мужчине?

Казалось, у Уэлмира иссякло терпение: не в силах больше слушать столь неуместный разговор, он вскочил и принялся в раздражении шагать по комнате. Священник, терпеливо дожидавшийся возвращения Цезаря, из сочувствия к жениху переменил тему беседы, а спустя несколько минут появился и черный гонец. Он вручил записку доктору Ситгривсу, ибо мисс Пейтон решительно запретила Цезарю впутывать ее в порученное ему дело. В записке коротко сообщалось о том, что приказания доктора выполнены, а кольцо послано с негром. И Цезарь немедля передал кольцо доктору. С минуту хирург стоял, разглядывая золотое колечко, и облако грусти омрачило его лицо. Он, видимо, забыл, для чего и где находится, и заговорил сам с собой:

— Бедная Анна! Твое юное сердце было весело и невинно, когда этому кольцу предстояло скрепить твой брачный союз, но, прежде чем настал час обряда, господь взял тебя в свою обитель. С тех пор прошли годы, сестра моя, но я не забыл тебя, милый друг моего детства! — Тут доктор подошел к Саре, не замечая, что все смотрят на него,

надел кольцо ей на палец и продолжал: — Та, кому оно предназначалось, уже давно лежит в могиле, а юноша, который преподнес ей этот дар, вскоре последовал за ее святой душой. Возьмите это кольцо, мисс Сара, и дай бог, чтобы оно принесло вам такое счастье, какого вы заслуживаете.

Сара была глубоко тронута горячим порывом доктора, но тут Уэлмир подал ей руку, подвел к священнику, и венчанье началось. При первых словах торжественного обряда в комнате наступила мертвая тишина. Служитель божий приступил к молитвам и поучениям, затем выслушал взаимные обеты верности жениха и невесты, за которыми следовало перейти к обмену кольцами. Но в суматохе и волнении кольцо забыли снять с пальца Сары, на который его надел доктор Ситгривс, и произошла легкая заминка. Только священник собрался возобновить прерванный обряд, как в комнату проскользнул посторонний и внезапно остановил его. То был разносчик. Глаза Бёрча смотрели с горькой иронией, а рука протянулась к священнику, словно запрещая ему продолжать венчание.

— Как может полковник Уэлмир терять здесь драгоценное время, когда жена его пересекла океан, чтобы повидаться с ним? Ночь длинна, луна освещает дорогу, за несколько часов он мог бы добраться до города! — проговорил Бёрч.

Ошеломленный этим неожиданным вмешательством, Уэлмир несколько секунд не мог прийти в себя. Вторжение Бёрча и его странные слова не испугали Сару; но, чуть оправившись от удивления, она перевела вопрошающий взгляд на лицо того, кому только что поклялась в верности, и прочла на нем жестокое подтверждение всего, что сказал разносчик. Комната закружилась у нее перед глазами, и она упала без сознания на руки своей тетки. Женщинам присуща врожденная чуткость, и порой она побеждает все другие чувства. Дамы окружили потерявшую сознание невесту и тотчас унесли ее,— в гостиной остались одни мужчины.

Воспользовавшись всеобщим смятением, разносчик скрылся с такой быстротой, что никто не успел и подумать о преследовании. Уэлмир словно застыл посреди комнаты, и все взоры устремились на него в зловещем молчании.

— Это ложь, гнусная ложь! — воскликнул он, ударив себя по лбу.— Я всегда отвергал домогательства этой жен-

щины, и законы моей страны не заставят меня признать ее права.

— Но что говорят божеские законы и ваша совесть? — спросил Лоутон.

— Хорошо, сэр,— высокомерно ответил Уэлмир, отступая к выходу.— Мое положение дает вам сейчас преимущество, но придет время...

Он был уже у дверей, когда его остановил легкий удар по плечу: капитан Лоутон с многозначительной улыбкой знаком приглашал его следовать за собой. Сейчас Уэлмир готов был уйти куда угодно, лишь бы избежать полных презрения и ненависти взглядов, направленных на него со всех сторон. Молча дошли они до конюшни, и тут Лоутон крикнул:

— Выведите Роноки!

Тотчас появился солдат, ведя под уздцы оседланную лошадь. Лоутон спокойно закинул поводья на шею коню, вынул пистолеты из седельных сумок и сказал:

— Эти пистолеты не раз служили правому делу и бывали только в достойных руках, сэр. Они принадлежали моему отцу. Он с честью пользовался ими в войне с Францией и отдал их мне, чтобы я сражался за родину. Что ж, разве я не послужу родине, если уничтожу негодяя, который хотел погубить одну из прекраснейших ее дочерей?

— Я отплачу вам за нанесенные мне оскорбления! — вскричал Уэлмир, схватив протянутый ему пистолет.— И да падет кровь на голову того, кто захотел ее пролить.

— Аминь! Но погодите минуту, сэр. Вы сейчас свободны, в кармане у вас пропуск, подписанный Вашингтоном, и я уступаю вам первый выстрел! Если я погибну, вам достанется лошадь, которая спасет вас от любых преследователей, и я советую вам скакать отсюда без промедления, иначе даже Арчибальд Ситгривс возьмется за оружие, а уж от драгун не ждите пощады.

— Вы готовы? — спросил Уэлмир, скрежеща зубами от злобы.

— Станьте здесь, Том, и посветите нам. Ну, пли!

Уэлмир выстрелил, и от эполета капитана отлетел кусочек золотого шнура.

— Теперь мой черед,— сказал Лоутон, хладнокровно поднимая пистолет.

— Нет, мой! — крикнул чей-то голос, и оружие было выбито из руки капитана.— Клянусь самим дьяволом, ведь

это бешеный виргинец! Сюда, ребята, держите его! Вот неожиданная удача!

Застигнутый врасплох и обезоруженный, Лоутон, однако, не потерял присутствия духа. Он понимал, что попал в такие руки, от которых нечего ждать пощады, и, когда на него набросились четверо скиннеров, напряг всю свою богатырскую силу. Трое из них схватили его за руки и за горло, стараясь удержать, чтобы скрутить веревками. Но он оттолкнул одного с такой яростью, что тот отлетел к стене и, оглушенный ударом, остался лежать на земле. Тут четвертый поймал капитана за ноги, и Лоутон, не в силах бороться с целой оравой, упал на землю, увлекая за собой всех своих противников. Схватка была короткая, но жестокая; мародеры осыпали драгуна проклятиями и гнусными ругательствами, тщетно призывая на помощь товарищей, которые неподвижно стояли вокруг, тараща глаза и не смея приблизиться. Слышалось чье-то тяжелое дыхание, ему вторили глухие стоны полузадушенного человека; вдруг кто-то вскочил на ноги и отбросил вцепившихся в него людей.

Уэлмир и вестовой капитана убежали: полковник спрятался в конюшне, а солдат бросился за подмогой, унося с собой фонарь, и все погрузилось во мрак. Поднявшийся с земли человек вскочил в седло не замеченного скиннерами коня, из-под копыт брызнули искры, и в их мимолетной вспышке все увидели, что капитан Лоутон несется как ветер к большой дороге.

— Он сбежал, разрази его гром! — закричал главарь шайки, задыхаясь от ярости.— Стреляйте, сбейте его с лошади! Стреляйте, не то будет поздно!

Раздались выстрелы, и все замерли, прислушиваясь; но напрасно скиннеры надеялись услышать шум падения могучего тела.

— Он не свалится, даже если мы его ухлопали,— сказал один из разбойников.— Я видел, как эти виргинцы сидят в седле, получив две-три пули в бок: они даже мертвые не падают с лошади.

Свежий порыв ветра донес стук копыт мчавшегося в долину коня, и, судя по его ровному бегу, можно было сказать, что им правит твердая рука.

— У них лошади хорошо обучены и всегда останавливаются, если всадник упадет,— заметил один из скиннеров.

— Коли так, он цел и невредим! — закричал главарь, в бешенстве ударив прикладом мушкета об землю.— Ну, скорей за дело! Не пройдет и получаса, как тут появится их ханжа сержант вместе с драгунами. Счастье еще, если они не бросились сюда на наши выстрелы! Живо по местам и поджигайте дом с четырех углов, черный пепел славно заметает темные дела.

— А что нам делать с этим чурбаном? — спросил другой скиннер, толкая ногой все еще не очнувшегося товарища, которого Лоутон отбросил к стене.— Если хорошенько растереть его, он, пожалуй, отойдет.

— Пусть валяется,— злобно сказал главарь.— Будь он не тряпка, а мужчина, этот чертов драгун был бы теперь в моих руках. Входите же в дом и поджигайте комнаты. Здесь есть чем поживиться — всем хватит и денег и серебряной посуды. И карманы набьем, и отплатим за все!

Мысль о серебре была весьма соблазнительна, и скиннеры, бросив своего товарища, подававшего лишь слабые признаки жизни, шумной толпой кинулись к дому. Уэлмир поспешил воспользоваться случаем, вывел из конюшни свою лошадь и, никем не замеченный, выбрался на проезжую дорогу. С минуту он колебался, ехать ли ему к посту, где, как он знал, разместилась охрана, и попытаться спасти семейство Уортон или же, воспользовавшись свободой, полученной им благодаря обмену ранеными, вернуться в королевскую армию. Стыд и сознание своей вины заставили его выбрать последнее, и он направился в Нью-Йорк, терзаясь при мысли о своей низости и страшась предстоящей встречи с разъяренной женщиной, на которой он женился во время своей последней поездки в Англию. Теперь, когда она ему надоела, он решил не признавать ее прав.

Среди всеобщего смятения и тревоги за Сару никто не обратил особого внимания на исчезновение Лоутона и Уэлмира, тем более что состояние мистера Уортона требовало и забот врача и утешений священника. Неожиданно раздавшиеся выстрелы предупредили собравшихся, что им грозит новая опасность, а минуту спустя в комнату ворвалась шайка скиннеров во главе со своим предводителем.

— Сдавайтесь,— закричал он,— руки вверх, слуги короля Георга,— и приставил дуло мушкета к груди Ситгривса,— не то я выпущу из вас всю верноподданническую кровь!

— Тише, тише, мой друг,— ответил доктор,— вы, несомненно, лучше умеете наносить раны, чем их лечить. Оружие, которое вы так небрежно держите в руках, весьма опасно для жизни.

— Сдавайся или получишь весь заряд!

— Кому и зачем я должен сдаваться? Я не участвую в боях. Переговоры об условиях капитуляции вам следует вести с капитаном Лоутоном. Впрочем, я полагаю, что в этом вопросе он не очень покладист.

Тем временем главарь шайки оглядел всех собравшихся и пришел к заключению, что тут нечего опасаться сопротивления, а так как ему не терпелось поскорей завладеть своей долей добычи, он отбросил мушкет и вместе со своими сообщниками принялся запихивать в мешки столовое серебро. Странное зрелище представляло теперь жилище мистера Уортона. Женщины хлопотали вокруг все еще не очнувшейся Сары в дальней комнате, на которую мародеры не обратили внимания. Ошеломленный мистер Уортон сидел, слушая слова утешения, которые говорил ему священник, но был не способен их понять. Синглтон лежал на диване, дрожа от слабости и не замечая того, что творится кругом, а доктор давал ему лекарства и поправлял повязки с хладнокровием, которое ничто не могло поколебать. Цезарь и вестовой капитана Синглтона спрятались в лесу позади дома, а Кэти Хейнс бегала по коттеджу и поспешно складывала в узел ценные вещи, но со щепетильной честностью отбрасывала все, что не было ее неоспоримой собственностью.

Однако вернемся к отряду, оставшемуся в Четырех Углах. Когда драгуны по приказу старого вояки вооружились и сели на коней, маркитанткой овладело неудержимое желание присоединиться к ним и разделить славу и опасности этого похода. Мы не беремся утверждать, пришла ли она к такому решению из страха остаться одной или желая поспешить на помощь своему любимцу, но так или иначе, когда Холлистер подал команду выступать, все услышали пронзительный голос Бетти, закричавшей:

— Погодите минутку, дорогой сержант, пускай ребята запрягут мою телегу, и я двинусь вместе с вами. Уж кого-нибудь подстрелят, не иначе, и тогда я отвезу его домой.

Хотя сержант в душе был очень рад всякой отсрочке похода, который его ничуть не привлекал, он все же выразил неудовольствие такой задержкой.

— Только пушечное ядро может выбить из седла одного из моих молодцов,— сказал он,— но я не думаю, чтобы нас встретили пушечным или даже пушкетным огнем, ведь эта битва — просто выдумка дьявола. Итак, Элизабет, вы можете ехать с нами, ежели вам охота, но телега ваша нам не понадобится.

— Ну, сержант, милый мой, вот вы и солгали,— ответила Бетти, которая все еще находилась под влиянием винных паров.— Разве пуля не сбила с лошади капитана Синглтона всего дней десять назад? И даже самого капитана Джека: разве он не лежал на земле кверху лицом, что твой мертвец? Еще ребята подумали, будто он убит, повернули оглобли и давай улепетывать от регулярных войск.

— Сами вы лжете! — сердито закричал сержант.— И тот солжет, кто скажет, что мы не выиграли битву.

— Убежали ненадолго, я ничего не говорю,— продолжала Бетти.— Майор Данвуди повернул вас назад, и тогда вы всыпали регулярным. А все же капитан упал, а ведь лучшего ездока не сыщешь в целом свете; так что видите, сержант, моя телега может пригодиться. Ну-ка, пусть двое из вас запрягут мою кобылу, а уж завтра я не пожалею вам виски. Да подложите кусок шкуры Дженни под седелку, лучшей подстилки не найти при здешних скверных дорогах.

Сержант дал согласие, и экипаж миссис Фленеган был быстро приведен в полную готовность.

— Мы не можем предвидеть, нападут ли на нас с фронта или с тыла,— сказал Холлистер,— а потому пусть пятеро едут впереди, а остальные сзади, и в случае, если нас оттеснят к деревне, они прикроют отступление. Какая ужасная обязанность для неученого человека, Элизабет, командовать отрядом в такую минуту! Больше всего я хотел бы, чтоб тут оказался кто-нибудь из офицеров. Пока же вся моя надежда на господа.

— Да ну вас, как вам не стыдно! — ответила Бетти, с удобством устраиваясь в телеге.— Нет тут поблизости никаких врагов, дьявол их забери! А ну-ка, вперед, да поживей. Я пущу свою кобылу рысью, а вы марш-марш, не то увидите, капитан Джек вам спасибо не скажет!

— Хоть я и не умею вести переговоры с духами или сражаться с мертвецами, миссис Фленеган,— сказал сержант,— я все же недаром участвовал в прошлой войне да

еще пять лет воюю в нынешней и знаю, как следует охранять обоз. Разве Вашингтон не велит всегда прикрывать тылы? Я сам знаю свои обязанности, уж не обозной крысе меня учить! Слушаться моих приказаний, по местам, ребята!

— Ладно, как хотите, только двигайтесь наконец! — закричала Бетти в нетерпении.— Негр уже давно там. Вот увидите, попадет вам от капитана за опоздание!

— А ты уверена, что тот, кто привез нам письмо, был и вправду негр? — спросил сержант и занял место между двумя взводами, где он мог разговаривать с Бетти и в то же время быть наготове, чтобы отразить нападение как с фронта, так и с тыла.

— Нет, ни в чем я не уверена, мой милый. Но почему твои парни еле трусят рысцой и не пришпорят лошадей? Даже моя кляча рвется вперед, ведь в этой проклятой долине совсем не жарко, к тому же мы не похоронное шествие...

— Потихоньку да полегоньку, миссис Флеген, и с осторожностью: безрассудная отвага не делает человека хорошим командиром. Если нам повстречается злой дух, уж он, вероятнее всего, захочет напасть на нас врасплох. Лошади не очень ловки в темноте, а я не хочу потерять свое доброе имя, милая моя.

— Потерять доброе имя! А разве капитан не может потерять тем временем свое имя да еще и жизнь в придачу?

— Стой! — крикнул вдруг сержант.— Кто это там крадется слева, у подножия скалы?

— Да никого там нет, разве только душа капитана Джека явилась сюда, чтобы подогнать вас и заставить шевелиться побыстрей.

— Бетти, ты слишком легкомысленна для такого серьезного похода. А ну, выходи-ка кто-нибудь вперед и осмотри это место. Сабли наголо! Сомкните строй!

— Тьфу ты! — воскликнула Бетти.— Ты кто, круглый дурак или просто трус? А ну-ка, ребята, сойдите с дороги, я в один миг доскачу до того места на своей кобыле и не побоюсь никаких духов.

Между тем посланный на разведку к скалам вернулся и сказал, что там ничто не угрожает отряду, и все снова двинулись вперед, но медленно и с большой осторожностью.

— Смелость и осторожность — лучшие украшения солдата, миссис Фленеган,— сказал сержант,— но одна без другой ничего не стоят.

— Осторожность ничего не стоит без смелости — вы это хотели сказать? Да, верно, я и сама так думаю. Но посмотрите, как лошадь тянет поводья.

— Терпение, о женщина... Но что это? Слышите? — воскликнул Холлистер, насторожившись (впереди раздался выстрел Уэлмира).— Готов поклясться, что стреляли из настоящего пистолета, и притом кто-то из нашего полка. Вперед, сомкните ряды! Миссис Фленеган, я вынужден вас покинуть.

Услышав столь хорошо знакомый ему звук, сержант вновь обрел свое мужество и, отдав приказ, стал во главе своих солдат с самым воинственным видом, чего, однако, Бетти не разглядела из-за темноты. Вскоре ветер донес до них залп мушкетных выстрелов, и сержант скомандовал:

— Вперед, марш!

Через минуту на дороге послышался конский топот: навстречу им скакал всадник, да с такой скоростью, будто дело шло о жизни и смерти. Холлистер остановил свой отряд, а сам выехал вперед, чтобы встретить незнакомца.

— Стой! Кто едет! — закричал он.

— А, Холлистер, это ты? — воскликнул Лоутон.— Как всегда, наготове и на своем посту. А где же отряд?

— Он здесь, сэр, и последует за вами хоть на край света.— Почувствовав, что он освободился от ответственности, Холлистер готов был с юношеским пылом броситься на врага.

— Прекрасно,— ответил капитан, подъезжая к отряду.

Он сказал солдатам несколько ободряющих слов и повел их в долину почти с такой же скоростью, с какой только что прискакал. Жалкая кляча маркитантки осталась далеко позади; оказавшись не у дел, Бетти отъехала к краю дороги и предалась размышлениям.

«Сразу видно, что теперь их ведет капитан Джек; они несутся за ним, как стая негритят на деревенский праздник. Привяжу-ка я лучше свою кобылу к этому забору, а сама пойду поглядеть, что там у них делается: зачем подвергать опасности глупое животное».

А солдаты ехали за Лоутоном, ни о чем не раздумывая и ничего не опасаясь. Они не имели понятия, предстоит ли им стычка с ковбойским отрядом или с одной из

частей королевской армии, но они знали, что идут за мужественным офицером, известным своей отвагой, а такие качества всегда вызывают доверие беззаботных солдат.

Подъехав к воротам «Белых акаций», капитан остановил свой отряд и приготовился к нападению. Соскочив с коня, он приказал спешиться восьмерым драгунам и, повернувшись к Холлистеру, приказал:

— Стой тут с отрядом и охраняй лошадей. Если кто-нибудь попытается пройти, задержите его, а не послушается — зарубите...

Тут из слуховых окон и из-под кедровой крыши дома вдруг вырвались яркие языки пламени, и все вокруг осветилось, как днем.

— Вперед! — крикнул капитан.— Вперед! И никому не давать пощады, пока не свершится правосудие!

В голосе его звучали такая сила и решимость, что даже у злодеев, бесчинствовавших в коттедже, дрогнули сердца. Главарь скиннеров выронил из рук награбленную добычу и на миг замер, охваченный страхом, а затем кинулся к окну и спустил выдвижную раму. В эту минуту в комнату вбежал Лоутон с обнаженной саблей в руке.

— Умри, злодей! — крикнул он и разрубил голову одному из мародеров.

Однако главарь шайки выскочил в окно и избежал возмездия. Услышав крики женщин, Лоутон взял себя в руки и послушался уговоров священника, молившего капитана позаботиться о безопасности семьи Уортон. Еще один разбойник столкнулся с драгунами и был убит, а остальные бросились наутек и успели спастись.

Поглощенные заботами о Саре, окружавшие ее женщины не заметили ни появления скиннеров, ни пожара, хотя в доме уже бушевало пламя, грозя каждую минуту разрушить стены. Наконец, услышав крики Кэти и перепуганной жены Цезаря, а также топот и шум, доносившиеся из другой половины дома, мисс Пейтон и Изабелла поняли, что им грозит какая-то опасность.

— Боже милостивый,— воскликнула встревоженная тетушка,— в доме творится что-то ужасное, боюсь, как бы не началось кровопролитие!

— Но там некому сражаться,— возразила Изабелла, еще более бледная, чем мисс Пейтон.— Доктор Ситгривс самый мирный человек, и я не думаю, что капитан Лоутон способен забыться до такой степени...

— Все южане вспыльчивы и горячи,— заметила мисс Пейтон,— и даже ваш брат, несмотря на слабость и болезнь, сегодня весь день казался раздраженным и сердитым.

— Боже упаси! — воскликнула Изабелла и, вдруг ослабев, опустилась на постель возле Сары.— По натуре он кроток, как ягненок, но если вспылит, то становится страшнее льва.

— Мы должны вмешаться: наше присутствие умерит их пыл и, быть может, спасет кому-нибудь жизнь.

И мисс Пейтон, желая выполнить то, что она считала своим долгом женщины и хозяйки дома, двинулась к двери с гордым видом оскорбленной невинности, а Изабелла последовала за ней. Комната, в которую отнесли Сару, находилась во флигеле, соединенном с главным зданием длинным и темным коридором. Теперь коридор был ярко освещен, и в его дальнем конце метались какие-то фигуры, с такой быстротой, что невозможно было разглядеть, чем они заняты.

— Пойдемте к ним,— сказала мисс Пейтон твердым голосом, которому противоречила бледность ее лица.— Они должны отнестись с уважением к женщинам.

— Да, должны! — воскликнула Изабелла и пошла вперед.

Френсис осталась одна возле сестры. Несколько минут стояла тишина, как вдруг в комнатах наверху раздался ужасный треск, и в открытую дверь ворвался такой яркий свет, что все засверкало, словно в солнечный полдень. Сара сразу села на своей постели, бросая вокруг дикие взгляды, и прижала руки ко лбу, словно стараясь прийти в себя.

— Так я на небе, а ты — светлый небесный дух! О, какое дивное сияние! Да, я знала, счастье мое было слишком прекрасно для земной жизни. Но мы снова встретимся с ним! Да, да, мы встретимся вновь!

— Сара! Сара! — в ужасе вскричала Френсис.— Сестра моя, любимая сестра! Не улыбайся так безумно! Это я. Неужели ты меня не узнаешь? Ах, ты разрываешь мне сердце!

— Тише,— сказала Сара, жестом останавливая ее,— он отдыхает, не тревожь его. Скоро он придет за мной в могилу. Разве в могиле могут быть две жены? Нет, нет, нет — одна... только одна, только одна.

Френсис уткнулась лицом в колени сестры и в отчаянии горько заплакала.

— Ты льешь слезы, светлый ангел? — ласково спросила Сара.— Значит, и на небе бывают огорчения? Но где же Генри? Ведь его казнили, и он должен быть здесь. А может быть, они придут вместе. О, как радостна будет наша встреча!

Френсис вскочила и принялась ходить взад-вперед по комнате. Сара следила за ней с детским восхищением во взоре.

— Ты похожа на мою сестру. Наверное, все добрые и любящие души похожи друг на друга. Скажи мне, была ли ты когда-нибудь замужем? Отдала ли свое сердце человеку, которого полюбила больше отца, брата и сестры? Если нет, я жалею тебя, бедняжка, хоть ты и попала на небо.

— Молчи, молчи, Сара, умоляю тебя! — закричала Френсис, бросаясь к ее постели.— Молчи, или ты убьешь меня! Молчи, или я умру тут, у твоих ног.

Снова раздался страшный треск, и весь дом дрогнул до основания. Это обвалилась часть кровли, и пламя, вырвавшись на волю, залило ярким светом весь сад вокруг коттеджа, так что сквозь окна все стало видно снаружи, как днем. Френсис подбежала к окну и увидела кучку растерянных людей на лужайке. Среди них были ее тетушка и Изабелла. Они с отчаянием указывали на горящее здание и, видимо, умоляли драгун войти в него. Теперь только Френсис поняла, какая им грозит опасность. С диким криком бросилась она в коридор, сама не зная, куда бежит.

Густой, удушливый столб дыма преградил ей путь. Она остановилась, задыхаясь, теряя сознание, но тут какой-то человек подхватил ее на руки и сквозь тучи искр и пепла вынес на свежий воздух. Через минуту девушка очнулась и, увидев, что обязана жизнью Лоутону, бросилась перед ним на колени с криком:

— Сара! Сара! Сара! Спасите мою сестру, и да благословит вас бог!

Силы оставили ее, и она без чувств упала на траву. Капитан указал на нее Кэти и, поручив девушку ее заботам, снова бросился к дому. Пламя уже лизало деревянную веранду и оконные рамы, а весь фасад коттеджа дымился. Проникнуть в дом можно было, лишь преодолев

многие опасности, и даже беззаветно смелый Лоутон приостановился в раздумье. Но только на одно мгновенье и тут же ринулся сквозь палящий жар и густой дым, стараясь отыскать дверь; однако, проплутав с минуту вслепую, он выскочил назад на лужайку. Глубоко вдохнув свежего воздуха, он опять попытался войти в дом, и опять безуспешно. Он бросился в третий раз и вдруг столкнулся с человеком, шатавшимся под тяжестью бесчувственного тела. Здесь было не место и не время для разговоров и расспросов; капитан схватил обоих в свои могучие объятия и вынес из дыма. К своему удивлению, Лоутон обнаружил, что он вытащил хирурга и одного из убитых скиннеров.

— Арчибальд! — воскликнул капитан.— Во имя господа, зачем вы вздумали спасать этого злодея? Его черные дела взывают к небу!

Доктор, избежавший неминуемой гибели, был так ошеломлен, что не мог сразу ответить; однако, отерев влажный лоб и откашлявшись, чтобы очистить легкие от дыма, которого он наглотался, доктор заговорил жалобно:

— Увы, все кончено! Если б я мог вовремя остановить кровотечение из шейной артерии, он был бы спасен; но жара вызвала кровоизлияние, и, конечно, наступила смерть. Ну как, есть еще раненые?

Вопрос его повис в воздухе: Френсис унесли к другой стороне дома, где собрались ее друзья, а Лоутон снова скрылся.

Тем временем огонь разгорелся еще ярче, удушливый дым рассеялся, и капитан наконец отыскал дверь в коттедж; но только он переступил порог, как столкнулся с человеком, который нес на руках потерявшую сознание Сару. Не успели они отойти на лужайку, как из окон вырвалось яркое пламя и огонь охватил все здание.

— Слава создателю! — воскликнул спаситель Сары.— Как ужасно умереть такой смертью!

Капитан отвернулся от горящего здания и взглянул на говорившего — к его удивлению, то был не один из его солдат, а снова разносчик.

— Как, опять шпион! — вскричал он.— Клянусь небом, вы вечно появляетесь передо мной, как привидение!

— Капитан Лоутон,— сказал Бёрч, вдруг ослабев и прислонясь к ограде сада, к которой они отошли, спасаясь от огня,— я снова в вашей власти, ибо не в состоянии ни бежать, ни сопротивляться.

Какой-то человек нес на руках бесчувственную Сару.

— Свобода Америки для меня дороже жизни,— ответил капитан,— но родина не может требовать, чтобы ее сыны забывали о благодарности и чести. Бегите, несчастный, пока никто вас не заметил, или я уже буду не в силах вас спасти.

— Да пошлет вам бог удачу и победу над врагами,— сказал Бёрч, сжав руку драгуну словно железными тисками; такой силы от него никак нельзя было ожидать, судя по тощей фигуре.

— Постойте! — сказал Лоутон.— Одно слово: кто вы? Тот ли, кем кажетесь, или вы...

— Шпион короля,— прервал его Бёрч, отворачиваясь и пытаясь высвободить свою руку из схватившей ее руки капитана.

— Тогда бегите, жалкое создание! — сказал драгун, отпуская его.— Не знаю, корысть или заблуждение совратили это благородное сердце.

Яркое пламя пылающего дома освещало широкий круг, но едва Лоутон успел произнести последние слова, как длинная фигура разносчика скользнула в тень и растворилась во мраке.

Глаза капитана некоторое время были устремлены туда, где только что стоял этот загадочный человек, затем он перевел взгляд на Сару, все еще лежавшую без чувств, нагнулся, взял ее на руки и понес, словно уснувшего ребенка, к ее родным.

Глава XXIII

Настало время для печали,
Поблекли светлые черты.
Увы, цветы весны увяли,
Исчезли юные мечты!
О, как жесток
Судьбы поток,
О, как изменчивы года!
Неужто все покинут скоро
Ее, лишенную опоры,
Покинут навсегда?

«Грот Дианы»

Обгорелые стены — вот все, что осталось от коттеджа; они стояли черные, закопченные, без террас и без украшений, лишь напоминая о недавнем времени, когда здесь

царило довольство и спокойствие. Кровля и все деревянные перекрытия обрушились, и слабый отблеск догорающих углей озарял зияющие окна. Поспешное бегство скиперов позволило драгунам дружно заняться спасением мебели и вещей, и теперь они лежали сваленные в кучи на лужайке, довершая мрачную картину разорения. Порой из дома вырывался яркий столб света, и на заднем плане четко вырисовывались фигуры Холлистера и неподвижно сидевших в седле солдат, а рядом с ними — кобылка миссис Фленеган с опущенными поводьями, мирно щипавшая траву у дороги. Сама же Бетти подошла к сержанту и с необыкновенным хладнокровием наблюдала за всем, что творилось вокруг. Не раз она пыталась ему внушить, что, коли битва окончена, пора приступать к дележу добычи, но сержант, ссылаясь на полученный им приказ, был стоек и непоколебим.

Увидев Лоутона, который вышел из-за угла здания с Сарой на руках, Бетти отступила и скрылась среди солдат. Капитан опустил Сару на диван, вытащенный из горящего дома двумя драгунами, и отошел, оставив ее на попечении дам. Мисс Пейтон и Френсис бросились к Саре, чтобы принять ее из рук капитана; не помня себя от радости, что она спасена, они на минуту забыли обо всем. Но ее блуждающий взгляд и пылающие щеки сразу напомнили им, что произошло.

— Сара, дитя мое, милая моя девочка, ты спасена,— говорила тетушка, обнимая свою ничего не сознающую племянницу,— и да благословит бог твоего спасителя!

— Смотрите,— сказала Сара, тихонько отстраняя тетку и показывая на пламенеющие развалины,— окна освещены в честь моего приезда. Так всегда встречают новобрачную. Он говорил мне о такой встрече. Прислушайтесь — вот зазвонили в колокола!

— Здесь нет ни новобрачной, ни свадьбы, ничего, кроме горя! — закричала Френсис, казавшаяся почти такой же безумной, как и ее сестра.— О боже, верни ей разум, верни ее нам!

— Тише, тише, глупая девушка,— ответила Сара, с жалостью улыбаясь ей.— Не могут все быть счастливы в один и тот же час. Скажи, разве у тебя нет ни брата, ни мужа, который утешил бы тебя? Ведь ты красавица и скоро найдешь себе жениха. Но смотри,— и она понизила голос до шепота,— смотри, чтоб у него не было другой

жены: страшно подумать, что может случиться, если окажется, что он дважды женат.

— От горя у нее помутился рассудок! — ломая руки, вскричала мисс Пейтон.— Моя девочка, моя красавица Сара помешалась!

— Нет, нет, нет! — воскликнула Френсис.— У нее горячка, она бредит. Но она выздоровеет, она должна выздороветь!

Мисс Пейтон с радостью ухватилась за эту надежду, и тотчас велела Кэти привести доктора Ситгривса. Кэти вскоре отыскала медика: он был занят тем, что настойчиво выпытывал у здоровых и невредимых драгун, какие они получили увечья, а затем внимательно рассматривал каждую царапину и каждый синяк. Услышав просьбу мисс Пейтон, он с готовностью последовал за Кэти и через минуту был уже подле больной.

— Какое печальное завершение столь счастливо начавшегося вечера, сударыня! — заметил доктор с сочувствием.— Но войне всегда сопутствуют многие несчастья, хотя, несомненно, она часто ведется за дело свободы и способствует совершенствованию знаний и искусства хирургии.

Мисс Пейтон была не в силах произнести ни слова и лишь с отчаянием указала ему на свою племянницу.

— Это горячка,— сказала Френсис.— Посмотрите, какой у нее остановившийся взгляд и как горят ее щеки.

Доктор постоял несколько мгновений, пристально вглядываясь в девушку, а потом молча взял ее за руку. Серьезное и сосредоточенное лицо хирурга редко выражало сильное волнение; он умел обуздывать свои чувства, и в его чертах обычно не отражалось то, что испытывало сердце. Однако на этот раз от внимательных взоров сестры и тетки не укрылась его тревога. Подержав с минуту обнаженную до локтя и украшенную драгоценностями руку Сары, он отпустил ее и, прикрыв глаза ладонью, с печальным вздохом отвернулся.

— У нее нет горячки, сударыня. Излечить ее могут лишь время и заботливый уход; только это поможет ей, коли будет на то воля божья.

— А где же негодяй, виновник этого ужасного несчастья? — воскликнул Синглтон, отталкивая руку вестового, хотевшего его поддержать, и приподнимаясь с кресла, в котором он полулежал от слабости.— К чему нам

победы над врагами, если они и после поражения способны наносить нам такие раны!

— Неужели вы думаете, наивный юноша,— отозвался Лоутон с горькой улыбкой,— что англичане признают за колонистами право на чувства? Для Англии Америка — лишь сателлит, который должен идти туда же, куда и она, подражать ей во всем и своим сиянием усиливать блеск старшей сестры. Вы, видно, забыли, что для колониста великая честь пострадать от руки истинного британца.

— Но я не забыл, что у меня есть сабля,— возразил Синглтон, снова бессильно падая в кресло.— Неужели здесь не нашлось смелой руки, чтобы отомстить за эту прелестную мученицу и воздать негодяю за горе ее седовласого отца?

— Для такого дела, сэр, не было недостатка ни в сильных руках, ни в горячих сердцах,— пылко ответил драгун,— но часто удача благоприятствует виновному. Клянусь небом, я отдал бы самого Роноки, лишь бы встретиться в бою с этим обманщиком!

— Ну нет, дорогой капитан, вам никак нельзя расставаться с вашим конем,— вмешалась Бетти.— Это не какая-нибудь клячонка, ведь такого рысака ни за какие деньги не достанешь! Его ничем не собьешь с ног, а скачет — что твоя белка!

— Глупая женщина, пятьдесят лучших коней, вскормленных на берегах Потомака [1], были бы ничтожной платой за возможность снести голову такому негодяю.

— Послушайте,— вмешался тут доктор,— ночная сырость отнюдь не полезна Джорджу, да и нашим дамам тоже; их следует отвести в такое место, где они могли бы воспользоваться заботами врача и подкрепиться. Здесь же ничего не осталось, кроме дымящихся развалин да вредных испарений с болота.

На это благоразумное замечание нечего было возразить, и Лоутон отдал необходимые распоряжения, чтобы перевезти все общество в Четыре Угла.

В эпоху, о которой идет речь, в Америке было еще мало каретных мастеров, к тому же они были весьма неискусны, и все сколько-нибудь сносные кареты изготовлялись в Лондоне. Когда мистер Уортон покинул Нью-Йорк, он был одним из очень немногих владельцев экипажей и

---

[1] Потомак — река на северо-востоке США.

упряжных лошадей; а когда сей джентльмен удалился в свой загородный дом, мисс Пейтон и его дочери последовали за ним в той самой тяжелой карете, которая прежде торжественно громыхала по извилистой Куин-стрит или же величественно катилась по широкому Бродвею. Сейчас эта колымага преспокойно стояла на том самом месте, где ее поставили по приезде, а что касается лошадей, то лишь почтенный возраст спас этих любимцев Цезаря от конфискации ближними неприятельскими частями. С тяжелым сердцем черный слуга помогал драгунам закладывать карету. Этому громоздкому экипажу с выцветшей обивкой, обтрепавшимися сиденьями и облупившимся кузовом явно следовало бы снова попасть в руки умелому мастеру, который когда-то придал ему блеск и изящество. Из-под герба Уортонов, на котором был изображен лежащий лев, проступал пышный герб прежнего владельца — геральдическая митра, говорившая о его высоком духовном сане. Кабриолет, в котором приехала мисс Синглтон, тоже уцелел, ибо огонь не коснулся ни сараев, ни конюшни. Мародеры, конечно, собирались увести с собой и всех лошадей, но неожиданное нападение Лоутона не только помешало им выполнить это намерение, но расстроило и другие их планы. Теперь на месте пожара была выставлена стража под командой Холлистера, который, убедившись, что противники его оказались самыми обычными смертными, занял свою позицию с отменным хладнокровием и принял разумные меры предосторожности против внезапной вылазки врага. Он отвел свой маленький отряд на такое расстояние от догоравших развалин, что солдаты скрылись в темноте и в то же время, при довольно ярком свете тлеющих углей, могли разглядеть всякого, кто вздумал бы выйти на лужайку и заняться грабежом.

Одобрив действия сержанта, капитан Лоутон велел все приготовить к отъезду. Мисс Пейтон, обе ее племянницы и Изабелла поместились в карете, а тележке миссис Фленеган, на которую погрузили кровать и множество одеял, выпала честь везти капитана Синглтона и его вестового. Доктор Ситгривс занялся мистером Уортоном и сел вместе с ним в кабриолет. Куда же девались в эту богатую событиями ночь остальные обитатели «Белых акаций»,— неизвестно, из слуг нашелся один Цезарь, если не считать экономки. Рассадив таким образом все общество, Лоутон отдал приказ выступать. Сам он на несколько ми-

нут задержался на лужайке, чтобы собрать разбросанную повсюду серебряную посуду и другие ценные вещи, боясь, как бы они не соблазнили его солдат; когда же он решил, что на земле не осталось больше ничего способного поколебать их честность, он вскочил в седло с мужественным намерением прикрывать тыл.

— Стойте! Стойте! — раздался вдруг женский голос.— Неужто вы бросите меня здесь одну на растерзание убийцам! Моя ложка, наверное, расплавилась в огне, и, если в этой несчастной стране есть справедливые законы, мне должны возместить убытки!

Лоутон обернулся на этот голос и увидел вышедшую из развалин женскую фигуру, нагруженную громадным узлом, не уступавшим по размерам знаменитому тюку разносчика Бёрча.

— Кто это? — спросил капитан.— Ты, видно, родился из пепла, словно Феникс... Ба! Клянусь душой Гиппократа, ведь это тот самый доктор в юбке, который знаменит своим лечением иглой. Итак, почтенная особа, что означают ваши крики?

— Крики? — повторила Кэти, с трудом переводя дух.— Мало того, что я лишилась серебряной ложки, вдобавок меня хотят еще оставить одну в этом гиблом месте, где меня ограбят, а может, и убьют разбойники! Гарви так со мной не обращался. Когда я жила у Гарви, ко мне всегда относились с уважением, правда, он слишком хорошо хранил свои тайны и слишком плохо прятал деньги, но меня не обижал.

— Значит, сударыня, вы были из числа домочадцев мистера Гарви Бёрча?

— Вы можете смело сказать, что я была его единственным домочадцем,— ответила женщина.— В доме не было никого, кроме Гарви, меня и старого хозяина. Может, вы знали старика?

— Нет, не имел этого счастья. И долго вы прожили в семье мистера Бёрча?

— Не помню точно, но уж не меньше девяти лет. Да только мне не было от этого никакого проку.

— Возможно. Я тоже не вижу, какой прок это могло вам принести. Но скажите, вы не замечали каких-либо странностей в характере и поступках этого мистера Бёрча?

— Странности слишком слабое слово для его необъяс-

нимого поведения! — возразила Кэти, понизив голос и оглядываясь по сторонам.— Он был необыкновенно беспечный человек, для него гинея значила не больше, чем для меня пшеничное зерно. Но помогите мне добраться до мисс Дженнет, и я расскажу вам много чудес про Гарви и его жизнь.

— Ну что ж! — заметил капитан в раздумье.— Тогда позвольте мне взять вас за руку повыше локтя. Я вижу, кости у вас крепкие, да и кровь, должно быть, не застаивается.— С этими словами он подхватил старую деву и так быстро повернул, что у нее на миг потемнело в глазах, а когда она пришла в себя, то увидела, что сидит очень прочно, если и не очень удобно, на крупе его коня.

— Теперь, сударыня, утешайтесь мыслью, что под вами конь не хуже, чем у Вашингтона. Он крепко стоит на ногах, а скачет что твоя пантера.

— Спустите меня на землю! — закричала Кэти, пытаясь вырваться из железных объятий капитана, но в то же время боясь упасть.— Так не сажают даму на лошадь! К тому же я не могу ездить верхом без дамского седла.

— Погоди, сударыня,— ответил Лоутон,— мой Роноки никогда не оступается на передние ноги, но иногда встает на дыбы. И он совсем не привык, чтоб его дубасили каблуками по бокам, как по турецкому барабану в день полкового смотра. Стоит раз его пришпорить, и он помнит об этом две недели. Право, очень неразумно так колотить его: это строгий конь, он не любит насилия.

— Спустите меня вниз, говорю вам! — визжала Кэти.— Я упаду и разобьюсь. Мне тут не удержаться, разве вы не видите — у меня полные руки вещей!

— И верно,— сказал драгун, заметив, что он втащил ее на коня вместе с огромным узлом и другими пожитками.— Вы, видно, принадлежите к интендантскому сословию. Но я могу обхватить вашу тонкую талию своей портупеей и пристегнуть вас к себе.

Кэти была так польщена комплиментом, что не стала спорить, и он привязал ее к своему могучему стану, а затем пришпорил коня и помчался с такой быстротой, что дальнейшие протесты были бы бесполезны. Проскакав некоторое время с резвостью, которая была совсем не по вкусу старой деве, Роноки догнал тележку маркитантки, ехавшей осторожно по каменистой дороге, чтобы не растревожить раны капитана Синглтона. События этой бур-

ной ночи сначала вызвали у него нервное возбуждение, но вскоре оно сменилось упадком сил, и теперь капитан лежал, заботливо укутанный в одеяла своим вестовым, и молча раздумывал о недавних происшествиях. Во время быстрой скачки беседа Лоутона с его спутницей оборвалась, но, когда лошадь пошла спокойным шагом, капитан возобновил расспросы:

— Значит, вы долго жили в одном доме с Гарви Бёрчем?

— Больше девяти лет,— ответила Кэти, переводя дух и радуясь, что тряска кончилась.

Как только маркитантка услышала густой бас капитана, она отвернулась от кобылы, которой правила, сидя на передке, и при первой же возможности вмешалась в разговор.

— Коли так, голубушка, уж вы, верно, знаете: правда ли, что он сродни Вельзевулу? — спросила она.— Это говорил сам сержант Холлистер, а про него никто не скажет, что он дурак.

— Какой гнусный наговор! — гневно воскликнула Кэти.— Нет на свете разносчика добрее Гарви. Никогда он не возьмет с друга лишнего фартинга за платье или фартук. Хорош Вельзевул! Зачем же он читает библию, если водится с сатаной?

— Во всяком случае, он честный дьявол. Я уж говорила — гинеи у него не фальшивые. Но сержант считает, что с ним дело нечисто, а у мистера Холлистера учености хоть отбавляй.

— Ваш сержант просто дурак! — запальчиво вскричала Кэти.— Если бы Гарви не был так нерасчетлив, он мог бы стать богатым человеком. Как часто я твердила ему, что, кабы он занимался только своей торговлей и пускал барыш в дело да еще женился и обзавелся своим хозяйством, а не путался с регулярной армией и со всякими чужаками, он зажил бы припеваючи. Уж тогда он заткнул бы за пояс и вашего сержанта Холлистера.

— Еще чего! — возразила Бетти и добавила философским тоном: — Вы забываете, что Холлистер наполовину офицер и по чину идет сразу вслед за корнетом. Но разносчик и впрямь молодчина: сегодня ночью он первый поднял тревогу и, как знать, удалось ли бы капитану Джеку спасти свою голову, кабы не подошло подкрепление.

— Что вы сказали, Бетти? — воскликнул капитан, на-

клоняясь к ней с седла.— Это Бёрч сообщил вам о грозившей нам опасности?

— Он самый, моя радость! А уж как я торопила ребят, пока они не двинулись в путь! Не скажу, чтоб я очень испугалась, что вы не справитесь сами с мародерами, но, когда я узнала, что и дьявол за вас, я уж совсем успокоилась. Одно меня удивляет: почему в таком деле, где замешан Вельзевул, нам досталось так мало добычи.

— Я должен поблагодарить вас за помощь и признаться, что чувствую себя вашим должником.

— Вы это о добыче? Но я и не думала о ней, пока не увидала, что на земле валяются не только обгоревшие и поломанные вещи, но и целые, совсем новехонькие. А ведь недурно было бы завести для отряда хоть одну перинку!

— Клянусь небом, вы подоспели вовремя! Если б Роноки не мчался быстрее их пуль, они бы меня свалили. Этого коня я ценю на вес золота!

— Ну, это, пожалуй, слишком накладно. Золото — вещь тяжелая, и в Штатах его не так уж много. Кабы негр с налитыми кровью глазами не торчал перед сержантом и не пугал его болтовней о привидениях, мы приехали бы вовремя и перебили бы этих разбойников, а тех, кто уцелел, забрали бы в плен.

— Все и так обошлось хорошо, Бетти,— сказал Лоутон.— Я верю, что наступит день, когда эти злодеи получат по заслугам, а если они и не предстанут перед судом, то будут осуждены своими же честными согражданами. Придет время, когда Америка научится отличать патриотов от разбойников.

— Говорите потише,— заметила Кэти,— еще есть немало людей, которые очень много о себе воображают, а сами водятся со скипнерами.

— Коли так, они воображают о себе гораздо больше, чем другие воображают о них! — воскликнула Бетти.— Вор — это вор, что ни говори, крадет ли он ради короля Георга или ради конгресса.

— Я так и знала, что скоро быть беде,— заметила Кэти.— Солнце вчера село в черную тучу, а наша собака выла весь вечер, хотя я накормила ее своими руками; к тому же не прошло недели, как я видела во сне, что зажглась тысяча свечей и пироги сгорели в печке.

— Ну, а я редко вижу сны,— сказала Бетти.— Если совесть у тебя спокойна, а брюхо набито, ты спишь, как

невинный младенец. В последний раз я видела сон, когда ребята насыпали мне колючек в постель, и мне привиделось, будто драгун капитана Джека чистит меня скребницей заместо Роноки. Да все это чепуха, коли у тебя цела шкура и здоров желудок, так я считаю.

— Ну, знаете,— и Кэти выпрямилась с таким достоинством, что чуть не спихнула Лоутона с седла,— ни один человек никогда не посмеет дотронуться до моей постели; это неприлично и недопустимо.

— Чушь! — закричала Бетти.— Когда ездишь за конным отрядом, приходится сносить веселые шутки. Что сталось бы со Штатами и со свободой, если б некому было дать ребятам чистую рубаху или каплю виски для подкрепления? Спросите капитана Джека, госпожа Вельзевул, станут ли солдаты драться, коль у них не будет чистых рубашек, чтоб отпраздновать победу.

— Я женщина незамужняя, и моя фамилия Хейнс,— ответила Кэти,— а потому прошу вас в разговоре со мной не давать мне унизительных кличек.

— Будьте снисходительны к некоторой бойкости языка миссис Флепеган, сударыня,— вмешался капитан.— Капля виски, о которой она говорила, бывает порой довольно велика, а потому, находясь среди солдат, Бетти привыкла к вольности в обращении.

— Что вы, дорогой капитан,— воскликнула Бетти,— зачем останавливать эту бедную женщину? Говорите, что вам угодно, милая моя, у вас не такой уж глупый язык, и в голове тоже не пусто! Смотрите-ка, вот тут сержант остановил свой отряд сегодня вечером, думая, что вокруг бродят злые духи. Тучи так черны, как душа Арнольда, и даже звезды не мерцают в небе, черт возьми! Хорошо, что моя кобыла привыкла ходить в темноте и чует дорогу, как гончая — след.

— Теперь уж скоро взойдет луна,— заметил капитан.

Он подозвал ехавшего впереди драгуна, отдал ему кое-какие распоряжения и велел хорошенько заботиться о Синглтоне; затем, сказав несколько ободряющих слов самому раненому, пришпорил Роноки и, обогнав телегу, поскакал вперед, да так быстро, что Кэтрин Хейнс тотчас растеряла все свои философские соображения.

— Счастливого пути, храбрый всадник! — крикнула маркитантка ему вдогонку.— Если повстречаете мистера Вельзевула, то придержите коня и скажите ему, что вы

подобрали его супругу. Я думаю, он не станет долго чесать с ней язык. Ладно, ладно, хоть мы и спасли ему жизнь — он сам это сказал,— однако все же не послал нам добычи.

Капитан так привык к болтовне и крикам Бетти, что не стал ей отвечать. Несмотря на необычную ношу на спине, Роноки продолжал скакать галопом и пробежал расстояние между телегой Бетти и каретой мисс Пейтон так быстро, как того хотелось капитану, что отнюдь не доставило удовольствия его спутнице. Лоутон нагнал карету невдалеке от сторожевого поста; в ту же минуту из-за плотных туч появилась луна и осветила все кругом.

По сравнению с изящной и комфортабельной усадьбой «Белые акации» «Отель Фленеган» казался просто лачугой. В полах, неприкрытых коврами, и в грубо сколоченных стенах зияли щели, на окнах не было занавесок и добрая половина зеленоватых стекол была выбита, а дырки заделаны досками или бумагой. Капитан Лоутон постарался сделать все, что было в его силах, чтобы получше устроить гостей, и, прежде чем они прибыли, в комнатах уже пылали камины. Драгуны, которым капитан поручил заняться этими приготовлениями, собрали кое-какую мебель, так что мисс Пейтон и ее спутницы, войдя в дом, увидели, что их ожидает некое подобие жилого помещения. Мысли Сары все еще блуждали неведомо где, и во время поездки ее больное воображение придавало всему окружающему тот смысл, какой отвечал ее заветным желаниям.

— Невозможно облегчить страдания души, которая вынесла подобный удар,— сказал Лоутон, обращаясь к Изабелле.— Только время и божья воля способны излечить ее. Однако мы можем еще сделать кое-что в доме и устроить всех поудобнее. Вы дочь солдата и, наверное, попадали в такие положения; помогите же мне уберечь всех от холода.

Мисс Синглтон сразу согласилась ему помочь, и, пока Лоутон старательно затыкал снаружи щели и выбитые стекла, Изабелла пыталась соорудить нечто вроде занавесок.

— Я уже слышу стук телеги,— сказал капитан в ответ на ее вопрос, где брат.— Это Бетти; не бойтесь, у нее доброе сердце, она устроит беднягу Джорджа не только в безопасности, но и с удобством, можете мне поверить.

— Благослови ее бог за заботы, и всех вас тоже! — горячо откликнулась Изабелла.— Доктор Ситгривс пошел к ним навстречу.. Но что это там блестит при лунном свете?

Прямо против окна, у которого они остановились, стоял сарай, и острые глаза Лоутона тотчас разглядели в тени блестящий предмет, на который она указывала.

— Это ружье! — крикнул драгун и бросился к Роноки, стоявшему еще под седлом у дверей.

Лоутон двигался с быстротой мысли, но не успел сделать и шага, как грянул выстрел и мимо просвистела пуля. В доме послышался крик, и капитан вскочил в седло — все это произошло в одно мгновение.

— На коней! За мной! — прогремел капитан, и, прежде чем удивленные драгуны поняли причину тревоги, Роноки перемахнул с седоком через ограду, за которой скрылся неведомый враг. Беглец был на волосок от смерти, но скалы оказались снова слишком близко, и разочарованный Лоутон увидел, как его противник скрылся в расселине, куда конь не мог последовать за ним.

— Клянусь жизнью Вашингтона,— пробормотал капитан, пряча саблю в ножны,— я разрубил бы его пополам, если б он был не такой проворный. Но мое время еще придет!

С этими словами он повернул назад с невозмутимым видом человека, готового в любую минуту отдать свою жизнь за родину. Непонятный шум в доме заставил его поспешить, и, когда он подошел к двери, насмерть перепуганная Кэти сообщила ему, что предназначавшаяся ему пуля попала в грудь мисс Синглтон.

Глава XXIV

И кажется ему — он на свиданье
И снова слышит голос дорогой.
Он ощущает легкое дыханье
Подруги, отошедшей в мир иной

Томас Кэмпбелл, «Гертруда из Вайоминга»

Чтобы разместить дам, драгуны наспех приготовили две смежные комнаты: дальняя должна была служить спальней. По просьбе Изабеллы ее тотчас перенесли туда

и положили на грубо сколоченной кровати рядом с ничего не сознающей Сарой. Когда мисс Пейтон и Френсис кинулись к Изабелле на помощь и увидели, что ее бледные губы улыбаются, а лицо спокойно, они подумали, будто пуля ее не задела.

— Слава богу! — воскликнула тетушка, дрожа от волнения.— Когда раздался выстрел и вы упали, я страшно испугалась. Право, мы пережили слишком много ужасов, хорошо, что хоть этого мы избежали!

Изабелла все еще улыбалась, прижимая руку к груди, но лицо ее так помертвело, что у Френсис застыла кровь.

— Где Джордж, он далеко отсюда? — спросила Изабелла.— Скажите ему... Пусть он скорее придет ко мне... Я хочу еще раз повидать своего брата.

— О боже, этого я и боялась! — вскричала мисс Пейтон.— Но вы улыбаетесь, неужто вы ранены?

— Мне хорошо, я счастлива,— промолвила Изабелла.— Это избавление от всех страданий.

Сара, лежавшая без движения, приподнялась и устремила на девушку безумный взгляд. Она наклонилась над Изабеллой и отвела ее руку от груди. Рука была вся в крови.

— Смотрите,— сказала Сара,— разве кровь еще не смыла вашу любовь? Обвенчайтесь с ним, дитя мое, и тогда никто не вырвет его из вашего сердца. Но только,— прибавила она шепотом, поникнув головой,— если другая не заняла раньше вашего места; тогда умрите и ступайте на небо... На небе ведь не бывает жен.

Бедная помешанная закрыла лицо простыней и за весь вечер больше не проронила ни слова. В эту минуту вошел Лоутон. Он бестрепетно встречал любую опасность и привык к ужасам партизанской войны, но теперь был не в силах хладнокровно смотреть на лежащую перед ним невинную жертву. Капитан склонился над хрупкой фигурой раненой девушки, и в его суровых глазах отразился весь жар его души.

— Изабелла,— произнес он, помолчав,— я знаю, вы обладаете не женским мужеством.

— Говорите,— ответила она серьезно.— Если вам нужно что-нибудь сказать мне, говорите без опаски.

Капитан отвернулся и проговорил:

— Тот, кто получил такую рану, обречен.

— Я не боюсь умереть, Лоутон,— ответила Изабелла.— Благодарю вас за то, что вы не усомнились во мне; я сразу почувствовала, что рана смертельна.

— Вас не должны были касаться эти события,— продолжал драгун,— довольно того, что Британия вызывает на поле брани наших юношей; но, когда такие нежные создания становятся жертвами войны, я начинаю питать отвращение к своему ремеслу.

— Выслушайте меня, капитан Лоутон,— сказала Изабелла, приподнимаясь с трудом, но отказываясь от чужой помощи.— С ранней юности и до последних дней я жила в лагерях и гарнизонах, стараясь скрашивать досуг моего старого отца. Неужели вы думаете, что я променяла бы эту жизнь, полную опасностей и лишений, на спокойное, легкое существование? Нет! В мой последний час меня утешает сознание, что я сделала в жизни все, что по силам женщине.

— Кто может проявить малодушие при виде такого мужества? Я видел сотни обливавшихся кровью воинов, но никогда не встречал такой силы духа.

— Увы, сильна только душа,— сказала Изабелла,— моя женская природа лишила меня той стойкости, кото-

рая мне всего дороже. Но к вам, капитан Лоутон, природа была более благосклонна: вы отдали ваше отважное сердце и твердую руку на служение правому делу, и я знаю, они не изменят ему до конца. А Джордж и...— губы ее дрогнули, она умолкла и опустила глаза.

— И Данвуди? — закончил капитан.— Вы хотели сказать — Данвуди?

— Не называйте его имени,— молвила Изабелла, снова опускаясь на свое ложе и закрывая лицо.— Идите, Лоутон, подготовьте бедного Джорджа к нежданному удару.

Лоутон печально глядел, как судорога пробегала по ее телу, прикрытому тонким покрывалом, а потом вышел, чтобы поговорить с ее братом. Встреча Синглтона с сестрой была очень горестна; на одну минуту Изабелла поддалась охватившему ее горячему чувству, но, зная, что часы ее сочтены, первая опомнилась и овладела собой. Она решительно потребовала, чтобы, кроме брата, в комнате остались только капитан Лоутон и Френсис. Несмотря на многократные просьбы врача, она отказалась принять его помощь, и он, скрепя сердце, был вынужден удалиться.

— Приподнимите меня,— сказала умирающая,— и дайте еще раз взглянуть на любимое лицо.

Френсис молча исполнила ее просьбу, и Изабелла с сестринской нежностью посмотрела на Джорджа.

— Осталось недолго, мой дорогой, через несколько часов все будет кончено.

— Не умирай, Изабелла, любимая моя сестра! — вскричал молодой человек, не в силах совладать со своим горем.— Ах, отец, бедный мой отец!..

— Да, моя смерть нанесет ему рану. Но он солдат и христианин. Мисс Уортон, я хочу поговорить с вами о том, что волнует вас, пока у меня есть еще силы.

— Не надо,— мягко ответила Френсис,— поберегите себя; я не хочу, чтобы, желая меня утешить, вы подвергали опасности жизнь, столь дорогую для... для... многих.— Голос ее прерывался от волнения, ибо Изабелла затронула самую больную струну в ее сердце.

— Бедная, чувствительная девушка! — сказала Изабелла, ласково глядя на нее.— Вся жизнь у вас впереди, зачем же я буду разрушать счастье, которое она может вам дать! Мечтайте о нем, милое невинное дитя! И, даст бог, не скоро настанет день, когда развеются ваши грезы.

— Ах, мне осталось так мало в жизни для счастья! — сказала Френсис, пряча свое лицо.— Все, что я любила, лишь ранило мне сердце.

— Нет,— остановила ее Изабелла,— вы должны любить жизнь, у вас есть то, что всего важнее для сердца женщины. Но вам мешает заблуждение, рассеять которое может только смерть.— Утомившись, она замолкла, а ее слушатели ждали затаив дыхание, пока, собравшись с силами, она не заговорила вновь, еще более кротким голосом, положив свою руку на руку Френсис.

— Мисс Уортон, если есть на свете душа, близкая Данвуди и достойная его любви, то это ваша.

Горячая краска залила лицо Френсис, и она подняла на Изабеллу глаза, в которых просияла глубокая радость; но, увидев, что девушка угасает, Френсис подавила это чувство, и головка ее вновь склонилась над постелью раненой. Изабелла следила за ее лицом, и в глазах у нее отражались жалость и восхищение.

— Такие же чувства испытала и я,— продолжала Изабелла.— Но теперь, мисс Уортон, Данвуди принадлежит вам одной.

— Будь справедлива к себе, сестра! — воскликнул Джордж.— Не надо ради романтического увлечения забывать о себе самой.

Изабелла выслушала его с выражением нежного внимания, а затем, медленно покачав головой, промолвила:

— Не романтическое увлечение, а стремление к правде заставляет меня говорить. Ах, сколько пережила я за один час! Мисс Уортон, я родилась под горячим солнцем юга, и мои чувства дышали зноем его лучей, я была создана лишь для пылкой страсти.

— Не говори так, прошу тебя, не говори! — вскричал ее глубоко взволнованный брат.— Вспомни, как преданно ты любила нашего старого отца, как бескорыстна и нежна была твоя привязанность ко мне!

— Да, правда,— проговорила Изабелла, и улыбка кроткой радости осветила ее лицо.— С этой мыслью я уйду в могилу.

Несколько минут она молчала; ни Френсис, ни Джордж не прерывали ее размышлений, но скоро, словно очнувшись, она заговорила вновь:

— Видно, мои чувства будут владеть мной до послед-

него вздоха. Америка и ее свобода были моей первой страстью, а потом...— Она снова замолчала, и Френсис подумала, что Изабелла борется со смертью, но, собравшись с силами, она продолжала: — К чему мне таиться на краю могилы? Данвуди был моей второй и последней страстью. Но,— и она закрыла руками лицо,— он отверг мою любовь.

— Изабелла! — воскликнул ее брат и, вскочив с места, принялся в смятении шагать по комнате.

— Видите, как мы становимся рабами нашей гордыни и светских предрассудков; Джордж страдает, узнав что его любимая сестра не сумела стать выше чувств, внушенных ей природой.

— Не говорите так,— прошептала Френсис,— вы приводите в отчаяние нас обоих! Не говорите, умоляю вас!

— Я должна говорить, чтобы оправдать Данвуди, и поэтому, брат, ты должен выслушать меня. Ни единым словом, ни единым поступком Данвуди никогда не давал мне повода думать, будто он хочет быть для меня больше, чем другом. Нет! Мало того; в последнее время я со стыдом замечала, что он избегает моего общества.

— Неужели он посмел? — гневно вскричал Синглтон.

— Успокойся, брат, и слушай,— продолжала Изабелла, приподнимаясь в последнем усилии.— Тут нет его вины, и вот в чем его оправдание. Мисс Уортон, мы обе выросли без матери, но у вас была тетка, кроткая, любящая, рассудительная, и благодаря ей вы одержали победу. О, как много теряет девушка, с юных лет лишенная воспитательницы! Я открыто выказывала те чувства, которые вас приучили скрывать. Могу ли я хотеть жить после этого?

— Изабелла, бедная моя Изабелла! Ты просто бредишь!

— Еще одно слово, ибо я чувствую, как моя горячая кровь слишком быстро струится из раны, и знаю, что это непоправимо. Ценят только ту женщину, которой надо добиваться, она таит от всех свои душевные волнения, и блаженны те, чьи переживания так чисты, что им не надо лицемерить, ибо только они могут быть счастливы с такими людьми, как... как Данвуди.— Голос ее ослабел, и, замолчав, она снова упала на подушку. Синглтон вскрикнул, и все окружили ее постель. Но смерть уже коснулась ее чела; у нее хватило силы лишь взять руку Джорджа и

на миг прижать к своей груди, но пальцы ее тут же разжались, по телу пробежал легкий трепет, и она угасла.

До сих пор Френсис казалось, что она несчастна лишь потому, что ее брату угрожает смертельная опасность, а сестра потеряла рассудок; но облегчение, которое принесли ей предсмертные слова Изабеллы, показало, что еще одна печаль тяготила ее сердце и усиливала горе. И ей сразу открылась вся правда: она оценила мужественную деликатность Данвуди, и его достоинства еще возросли в ее глазах; теперь Френсис горько сожалела, что чувство долга и ложная гордость заставили ее думать о нем хуже, чем он того заслуживал, и она укоряла себя за то, что своим поведением оттолкнула его и вынудила уйти с тоской, а может быть, и с отчаянием в душе. Однако молодости несвойственно терять всякую надежду, и среди множества огорчений Френсис втайне сумела найти крупицу счастья, которая придала ей новые силы.

Наутро после этой трагической ночи на безоблачном небе встало яркое солнце, словно смеясь над ничтожными горестями всех, кого оно согревало своими лучами. Лоутон приказал пораньше оседлать Ронока и, как только солнце осветило верхушки холмов, был уже готов. Отдав нужные распоряжения, он молча вскочил в седло и, с горьким сожалением взглянув на узкое ущелье, где скрылся скиннер, отпустил поводья и медленно двинулся в долину.

На дороге стояла мертвая тишина, нигде не осталось и следа от ночных событий, ничто не нарушало прелести ясного утра. Пораженный этим контрастом между природой и жизнью человека, бесстрашный драгун спокойно проехал мимо опасных ущелий, даже не помышляя о том, что́ ему здесь может угрожать; он оторвался от своих размышлений, лишь когда его гордый конь, втянув в себя свежий утренний воздух, заржал, приветствуя лошадей из отряда сержанта Холлистера.

Здесь, конечно, все говорило о ночной схватке, но капитан взглянул вокруг с равнодушием человека, привычного к подобным зрелищам. Не тратя времени на бесплодные сожаления, он сразу приступил к делу.

— Видел ты кого-нибудь? — спросил он сержанта.

— Ни одного существа, которое стоило бы задержать,— ответил Холлистер.— Только раз мы вскочили на лошадей, когда услышали выстрел вдалеке.

— Так, так,— сказал Лоутон мрачно.— Ах, Холлистер, я отдал бы своего коня за то, чтоб ты оказался между негодяем, выстрелившим в ту минуту, и дурацкими утесами, которые торчат здесь со всех сторон, как будто их разбросали нарочно, чтобы нигде не могло ступить копыто!

— Когда приходится воевать при дневном свете и с людьми из плоти и крови, я дерусь не хуже другого; но не могу сказать, чтобы мне доставляло удовольствие сражаться с теми, кого не берет ни пуля, ни кинжал.

— Что за глупые бредни! Неужто ты веришь этой чепухе, преподобный Холлистер?

— Мне не понравилась темная фигура, которая с самого рассвета шаталась по лесной опушке, а ночью два раза прошла по лужайке при свете костра, и не иначе, как с дурными намерениями.

— Ты говоришь вон о том темном пятне, которое чернеет под кленом возле утеса? Оно и вправду шевелится.

— Но оно не похоже на земное существо,— сказал сержант, с ужасом глядя вперед,— оно только скользит, но никто из охраны не видел у него ног.

— Будь у него хоть крылья, я его словлю. Стойте на месте и ждите меня.— Не успел капитан произнести эти слова, как Роноки уже мчался по долине, словно стараясь выполнить обещание хозяина.

— Вот проклятые утесы! — вскричал драгун, заметив, что беглец, которого он преследует, приближается к скалистому кряжу; однако то ли по неопытности, то ли со страху, но странное существо миновало это удобное убежище и бросилось на открытую равнину.

— Человек или дьявол — теперь ты мой! — закричал Лоутон, выхватив саблю из ножон.— Стой и проси пощады!

Беглец, по-видимому, решил подчиниться приказу: услышав этот грозный окрик, он кинулся на землю и остался лежать без движения, похожий на бесформенный черный тюк.

— Что это такое? — воскликнул Лоутон, подъезжая к нему.— Уж не парадное ли платье добрейшей мисс Пентон? Оно, видно, бродит вокруг места своего рождения и тщетно разыскивает свою огорченную госпожу!

Тут он привстал на стременах, наклонился вперед и приподняв кончиком сабли край шелковой одежды, обна-

ружил под ней почтенного служителя божия, сбежавшего накануне из горящего коттеджа в своем священном облачении.

— Не мудрено, что Холлистер испугался: кавалеристы всегда боялись армейских капелланов.

Теперь священник немного пришел в себя и разглядел, что перед ним знакомое лицо. Слегка смущенный проявленной им трусостью и недостойной его сана позой, в какой его застали, он поспешил подняться на ноги и дать кое-какие объяснения. Лоутон слушал капеллана с добродушной улыбкой, хотя и не вполне доверял его словам; затем, сообщив ему о положении в долине, капитан из учтивости сошел с седла, и они вместе направились к отряду.

— Я так мало знаком с формой мятежников, сэр, что был не в состоянии разобрать, принадлежат ли эти люди, которых вы называете драгунами, к шайке грабителей или нет.

— Вам незачем оправдываться, сэр,— заметил, улыбаясь, капитан,— вы, как служитель божий, не обязаны разбираться в военных мундирах. Знамя, под которым вы служите, у нас все признают.

— Я служу под знаменем его королевского величества Георга Третьего,— ответил капеллан, отирая со лба капли холодного пота. — Но, право, мысль о том, что тебя могут оскальпировать, способна напугать такого новичка, как я.

— Оскальпировать! — повторил Лоутон, невольно останавливаясь от удивления, но тут же, овладев собой, спокойно добавил: — Если вы имеете в виду эскадрон виргинских драгун Данвуди, то я должен вам сообщить, что обычно вместе с кожей они сносят и кусок черепа.

— О, я не имел в виду таких джентльменов, как вы, вас я не боюсь,— заметил капеллан с заискивающей улыбкой,— я боюсь только туземцев.

— Туземцев! Я имею честь быть одним из них, уверяю вас, сэр.

— Прошу вас, поймите меня правильно — я имел в виду индейцев; тех, кто только и делают, что грабят, убивают и разрушают.

— И скальпируют?

— Да, сэр, и скальпируют,— ответил капеллан, с некоторым подозрением посматривая на капитана.— Я говорю о диких краснокожих индейцах.

— И вы думаете встретить этих дикарей с украшениями в носу на нейтральной территории?

— Конечно. Мы считаем в Европе, что внутренняя Америка кишит такими племенами.

— И вы полагаете, что находитесь в самой глубине Америки? — воскликнул Лоутон, останавливаясь, и взглянул в лицо священнику с таким неподдельным изумлением, что его нельзя было заподозрить в притворстве.

— Разумеется, сэр, я считаю, что мы в глубине Америки.

— Постойте,— сказал Лоутон, указывая на восток.— Вы видите вдали такую широкую поверхность моря, что ее нельзя измерить взглядом? За ней лежит Англия, которую вы считаете достойной владеть половиной земного шара. Вы видите отсюда вашу родину?

— Невозможно разглядеть что-либо на расстоянии в три тысячи миль! — воскликнул удивленный капеллан, подозревая, что у его собеседника слегка помутился рассудок.

— Да, очень жаль, что силы человека значительно уступают его честолюбию. Теперь взгляните на запад. Посмотрите на другую водную гладь, которая отделяет берега Америки от Китая.

— Я вижу одну землю,— ответил священник дрожа,— здесь не видно никакой воды.

— Да, невозможно разглядеть что-либо на расстоянии в три тысячи миль! — повторил Лоутон и зашагал вперед.— И если вы боитесь дикарей, то ищите их среди солдат вашего короля. Их верность поддерживают лишь ром да золото.

— Быть может, я ошибался,— сказал капеллан, поглядывая украдкой на громадную фигуру и усатое лицо своего спутника,— но, наслушавшись разных слухов дома и не ожидая встретить здесь таких врагов, как вы, я бросился бежать при вашем появлении.

— Это было неразумно с вашей стороны,— сказал капитан,— ведь Роноки быстро догнал бы вас, да к тому же, сбежав от Сциллы, вы попали бы к Харибде [1]; в здеш-

---

[1] Между Сциллой и Харибдой — выражение, употребляющееся в значении: оказаться между двумя враждебными силами. В древнегреческой мифологии Сцилла и Харибда — два чудовища, жившие по обеим сторонам узкого морского пролива и губившие всех, кто проплывал мимо.

них лесах и среди скал прячутся те самые враги, которых вы боитесь.

— Дикари? — воскликнул капеллан, невольно ускоряя шаг и обгоняя капитана.

— Хуже, чем дикари: люди, которые под видом патриотов рыщут по округе, грабят все, что ни попадется под руку, и убивают жителей с такой жестокостью, перед которой бледнеют зверства индейцев; эти разбойники вечно твердят о свободе и братстве, но в сердце у них только жадность и злоба. Молодцы эти называются скинперами.

— Я слышал, как о них говорили в нашей армии,— заметил испуганный священник,— но считал, что это и есть туземцы.

— Вы были несправедливы к индейцам.

Они приблизились к поляне, где их ждал Холлистер, который с удивлением уставился на пленника, пойманного капитаном. Лоутон отдал распоряжение, и его люди тотчас принялись собирать всю уцелевшую мебель, чтобы увезти ее отсюда; а капитан со своим почтенным спутником, которому дали свежую лошадь, направился к месту расположения драгунского отряда.

По желанию Сингглтона тело его сестры должны были перевезти в форт, которым командовал их отец, и все занялись приготовлениями к дороге. Раненые англичане были отданы на попечение капеллану, и в середине дня, когда все было готово к отъезду, Лоутон подумал, что пройдет всего несколько часов, и он останется в деревне один со своим отрядом.

Капитан стоял у дверей и в мрачном молчании глядел в ту сторону, где он вчера преследовал беглеца; вдруг он услышал конский топот и в то же мгновение увидел драгуна из своего эскадрона, который мчался по дороге, как видно, с чрезвычайно важным поручением. Когда драгун подскакал, от его лошади шел пар, а сам он казался утомленным, как после целого дня тяжелой работы. Не говоря ни слова, он подал Лоутону письмо и повел свою лошадь в конюшню. Капитан узнал руку майора Данвуди и тотчас прочитал следующее:

С радостью сообщаю вам, что по приказу Вашингтона следует перевезти семью Уортона из «Белых акаций» в нагорье. Родным разрешено увидеться с капитаном Уортоном, и сразу после того, как будут выслушаны их показания, состоится суд. Прошу вас

сообщить им об этом приказе и не сомневаюсь, что вы сделаете это с должной деликатностью. Английский отряд движется вверх по Гудзону; как только Уортоны будут в безопасности, выступайте и возвращайтесь в свою часть. Когда мы снова соединимся, нам предстоит немало работы: как стало известно, сэр Генри поручил командование английским отрядом храброму офицеру. Все рапорты направляйте коменданту Пикскилла, так как полковник Синглтон вызван в главный штаб и назначен председателем суда, который будет разбирать дело бедного Уортона. Получен новый приказ повесить разносчика, если удастся его захватить, но он подписан не главнокомандующим. Выделите несколько человек для охраны дам и выступайте как можно скорей.

Искренне ваш
Пейтон Данвуди.

Это письмо сразу изменило все планы. Если отец Изабеллы покинул свой пост, уже не было нужды везти туда тело его дочери, и Синглтон скрепя сердце согласился, не откладывая, предать земле останки сестры. Был выбран красивый, уединенный уголок у подножия скал и сделаны все приготовления, какие позволили время и место. Собралось несколько окрестных жителей, кто из любопытства, кто из сочувствия, а мисс Пейтон и Френсис горько поплакали над могилой. Заупокойную службу читал тот самый священник, который только накануне совершал совсем другой торжественный обряд. Лоутон склонил голову и прикрыл рукой глаза, когда вслед за словами молитвы раздался стук первого кома земли о крышку гроба.

Вести, сообщенные в письме Данвуди, вдохнули новые силы в семейство Уортон, а старый Цезарь опять захлопотал возле лошадей. Вещи, сохранившиеся после пожара, были доверены честному соседу, и наконец вся семья с бесчувственной Сарой и вместе с ранеными американскими солдатами двинулась в путь под охраной четырех драгун. За ними выехал и капеллан с ранеными английскими солдатами — он спешил доставить их к берегу моря и передать на дожидавшийся там военный корабль. Лоутон с удовольствием наблюдал за этим разъездом. Как только последний солдат скрылся из виду, он приказал трубить поход. Все разом пришло в движение. Кобылка миссис Фленеган была тут же запряжена в телегу, долговязая фигура Ситгривса снова закачалась в седле, а драгуны вскочили на лошадей, радуясь своему освобождению. Лоутон отдал приказ выступать; бросив

гневный взгляд на место, где скрылся скиннер, и с грустью поглядев на могилу Изабеллы, он выехал на дорогу во главе отряда; за ним в мрачном раздумье следовал доктор, а сержант Холлистер и Бетти Фленеган прикрывали тыл. Свежий южный ветер теперь свободно гулял по опустевшему «Отелю Фленеган», со свистом врываясь в разбитые окна и открытые двери дома, где еще так недавно звучали то соленые шутки и раскаты смеха храбрых вояк, то печальные сетования женщин.

Глава XXV

Зефир весны не достигает гор,
Зима заводит с маем долгий спор,
Пустынны скалы без ковра цветов,
И только слышен шторма злобный рев.

Голдсмит

В ту пору дороги в Вест-Честере были еще хуже, чем в других графствах страны. Об их плачевном состоянии мы уже упоминали на страницах нашего рассказа, поэтому читатель легко представит себе, какая трудная задача выпала на долю Цезаря, когда он взялся править тяжелой каретой английского прелата по извилистой горной дороге, поднимавшейся на один из наименее известных перевалов Гудзонской возвышенности.

В то время как Цезарь и его лошади выбивались из сил, ехавшие в карете были так поглощены собственными заботами, что не думали о том, как тяжело приходится их слугам. Теперь воображение Сары не создавало больше диких видений, но, приходя понемногу в себя, она становилась все более замкнутой, а прежняя живость и возбуждение мало-помалу сменялись мрачной печалью. Бывали минуты, когда ее встревоженным спутникам казалось, будто к ней начинает возвращаться рассудок. Но эти мимолетные проблески сознания вызывали на ее лице выражение такого глубокого горя, что родные принуждены были с болью в сердце желать, чтобы болезнь и дальше избавляла ее от мучительных мыслей. День прошел почти в полном молчании, а на ночь путники разместились в нескольких деревенских домиках.

Утром общество разделилось. Раненых американцев повезли к реке, чтобы отправить на судах из Пикскилла к верховьям Гудзона, в американские лазареты.

Синглтона на носилках отправили в ту часть нагорья, где расположился штаб его отца и где капитан мог завершить свое лечение; карета мистера Уортона и следовавший за ней фургон с экономкой и кое-какими уцелевшими вещами поехали туда, где томился в неволе Генри Уортон, ожидавший приезда родных, чтобы предстать перед судом, на котором должна была решиться его судьба.

Между проливом Лонг-Айленд и Гудзоном, на сорок миль вверх по течению, тянется полоса земли, покрытая высокими холмами и изрезанная долинами. Дальше местность постепенно понижается, становится ровнее, мягче и переходит в прелестные равнины и луга Коннектикута. Но, если вы приближаетесь к Гудзону, пейзаж становится все более диким и замыкается суровой горной грядой. Здесь кончалась нейтральная территория. Королевские войска занимали две высоты, господствующие над южной частью текущей среди гор реки, а все остальные горные проходы были в руках американцев.

Мы уже говорили, что континентальная армия часто выдвигала заставы далеко на юг, преграждая долины, и ее передовые отряды не раз занимали деревушку Уайт-Плейн. Но случалось также, что американцы перебрасывали свои передовые посты к северным границам этой области, и тогда, как мы видели, покинутая территория попадала в руки грабителей, которые бродили между двумя армиями, не служа ни в одной из них.

Путешественники выбрали не большую дорогу, соединявшую два главных города этого штата, а уединенную и мало кому известную тропу, которая поднималась в горы возле восточной границы, пересекала их и снова спускалась в долину в нескольких милях от Гудзона.

Уставшие лошади мистера Уортона были не в силах втащить тяжелую колымагу на длинный и крутой подъем; поэтому двое драгун, по-прежнему сопровождавшие путешественников, раздобыли еще пару крестьянских лошадей, не посчитавшись с желаниями их владельцев. С помощью этого подкрепления карета с Цезарем на козлах снова двинулась в путь, медленно и с большим трудом взбираясь на гору. Чтобы немного развеять грусть на свежем воздухе, а также чтобы лошадям было полегче,

Френсис выскочила из кареты у подножия горы. Она увидела, что Кэти последовала ее примеру и тоже собирается взойти по крутой дороге пешком. Солнце еще не зашло, и драгуны сказали, что с вершины можно разглядеть вдалеке цель их путешествия. Френсис пошла вперед легким шагом, свойственным молодости, а Кэти двигалась позади, немного поотстав от нее, и вскоре они потеряли из виду громоздкую карету, которая медленно ползла в гору, то и дело останавливаясь, чтобы дать передохнуть лошадям.

— Ах, мисс Фанни, в какое ужасное время мы живем! — заметила Кэти, когда они обе остановились перевести дух.— Впрочем, я сразу поняла, что нас ждут большие несчастья, как только увидела кровавые полосы в облаках.

— Кровь льется на земле, Кэти, но вряд ли можно найти кровь в облаках.

— Вы думаете, в облаках не бывает крови? Еще как бывает! — воскликнула Кэти.— Бывают и кометы с огненными хвостами. Разве люди не видели на небе вооруженных воинов в тот год, когда началась война? А в ночь накануне битвы на равнине гром гремел совсем как пушечная пальба. Ах, мисс Фанни, боюсь я, что ничего хорошего не выйдет из восстания против помазанника божия!

— Конечно, сейчас происходят ужасные события,— ответила Френсис.— Они могут смутить самые смелые сердца. Но что же делать, Кэти? Храбрые и свободолюбивые люди не могут подчиняться насилию, и я боюсь, что такие события неизбежны, когда идет война.

— Если б я видела хоть что-нибудь, за что стоило бы сражаться,— продолжала Кэти, стараясь поспеть за своей молодой госпожой,— я бы не так огорчалась. Но сначала говорили, будто король хочет забрать весь чай для своей семьи, потом — будто он потребовал, чтобы колонии отдавали ему все свои доходы. А это уж достаточный повод для войны, и я считаю, что никто — будь то король или сам бог — не имеет права забирать все доходы у другого. Теперь же говорят, будто все это враки, а дело в том, что Вашингтон хочет сам стать королем. Просто не знаешь, кого слушать и чему верить.

— Не верьте никому — все это пустая болтовня. Я вовсе не говорю, что сама понимаю все причины войны, Кэти, но мне кажется неестественным, чтобы такой стра-

ной, как наша, управляла другая страна, да еще такая далекая, как Англия.

— То же самое говорил, бывало, Гарви своему покойному отцу,— заметила Кэти и, подойдя поближе к девушке, прибавила, понизив голос:— Сколько раз я слышала, как они разговаривали по ночам, когда все соседи спали. Уж они такое говорили, что вы бы своим ушам не поверили! Да, по правде сказать, Гарви был большой чудак, совсем как тот ветер, о котором говорится в священной книге, что никто не мог сказать, откуда он налетел и куда умчится.

Френсис внимательно посмотрела на свою собеседницу, как видно желая узнать еще что-нибудь о разносчике.

— О жизни Гарви ходят темные слухи,— сказала она,— и я была бы очень огорчена, если бы они подтвердились.

— Все это клевета, тут нет ни слова правды! — закричала Кэти сердито.— Гарви так же связан с сатаной, как вы или я. И я уверена, что если б он продался дьяволу, то уж постарался бы сорвать с него побольше денег; хотя, коли говорить правду, он всегда был слишком прост и нерасчетлив.

— Нет, нет,— возразила Френсис, улыбаясь,— у меня нет таких оскорбительных подозрений на его счет; но не продал ли он себя земному господину, и притом столь привязанному к своему острову, что не может быть справедливым к нашей стране?

— Его королевскому величеству? — спросила Кэти.— Но, мисс Фанни, ведь ваш собственный брат, тот, что сидит в тюрьме, тоже служит королю Георгу.

— Это верно,— согласилась Френсис,— но служит ему не тайно, а открыто, честно и смело.

— Говорят, что и он шпион, а чем один шпион лучше другого?

— Это неправда. Никогда мой брат не пойдет на обман. Он не способен совершить бесчестный поступок с низкой целью получить деньги или высокий чин.

— Что ж тут такого? — сказала Кэти, немного смущенная горячностью Френсис.— Я считаю, что коли ты работаешь, то должен получать за это плату. Во всяком случае, Гарви не из тех, кто отказывается от заработанных денег. И, должна вам сказать, мне думается, что король Георг и посейчас у него в долгу.

— Значит, вы говорите, что он связан с британской армией? — спросила Френсис.— Должна признаться, бывали минуты, когда я этому не верила.

— Боже мой, мисс Фанни, Гарви странный человек — никому не понять, что́ у него на уме. Хотя я прожила у него в доме много лет, я никогда не могла разобрать, принадлежит ли он к «верхним» или к «нижним» [1]. В ту пору, когда взяли в плен Бергойна, Гарви вернулся домой и вел долгие разговоры со старым хозяином, но хоть убейте меня, я не могла бы сказать, радуются они или огорчаются. А в тот день, когда знаменитый британский генерал — право, я так расстроилась от всех этих бед и несчастий, что его имя вылетело у меня из головы...

— Андре,— подсказала Френсис.

— Да, да, Эндрю... Когда его повесили на площади, старый хозяин чуть с ума не спятил — он не смыкал глаз ни днем, ни ночью, пока Гарви не возвратился домой. В тот раз он привез немало золотых гиней. Да только скиннеры все отобрали, и теперь он стал нищим или, вернее, жалким бедняком, что, впрочем, одно и то же.

Френсис ничего не ответила на эти слова. Она продолжала подниматься на гору, углубившись в свои мысли. История Андре напомнила ей о положении ее собственного брата.

Вскоре они одолели трудный подъем; дойдя до вершины, Френсис присела на камень, чтобы полюбоваться видом и отдохнуть. Внизу, у ее ног, открывалась глубокая лощина с редкими возделанными участками, погруженная в сумрак ноябрьского вечера. Напротив высилась гора, и на ее суровых склонах громоздились лишь дикие скалы да низкорослые дубы, которые свидетельствовали о том, какая скудная почва их взрастила.

Чтобы судить о красоте этого края, его следует увидеть сразу после осеннего листопада. Тогда он особенно хорош, ибо ни скудная листва, покрывающая летом деревья, ни зимние сугробы не прячут от глаз резких очертаний гор. Эти уединенные места дики и мрачны; их своеобразная красота не меняется вплоть до марта, когда свежая зелень смягчает, но не украшает пейзаж.

---

[1] Сторонники американцев назывались партией «верхних», а сторонники англичан — партией «нижних». Эти названия произошли от расположения их войск по течению Гудзона.

День стоял серый, холодный, легкие облака все время заволакивали горизонт. Казалось, они вот-вот рассеются, но тут же набегали снова, и Френсис напрасно старалась поймать последние лучи заходящего солнца. Но вот одному лучу все же удалось пробиться сквозь тучи: он ярко осветил подножие горы, на которую смотрела Френсис, легко скользнул вверх по склону, пока не достиг ее вершины, и на минуту замер, окружив темную громаду золотым сиянием. Свет был так ярок, что все незаметные прежде подробности рельефа сразу выступили ясно и отчетливо. С некоторым трепетом Френсис неожиданно проникла в тайны этого уединенного места и пристально рассматривала открывшуюся перед ней картину, как вдруг среди редких деревьев и беспорядочно нагроможденных скал увидела нечто вроде грубой постройки. То была низенькая, сколоченная из темных бревен хижина, и девушка ее бы не заметила, если б не более светлая крыша и не блеснувшее случайно на солнце окно. Френсис была поражена, обнаружив человеческое жилище в таком диком месте, но изумление ее еще возросло, когда неподалеку от него она разглядела какую-то фигуру. Это несомненно был человек, но со странным, уродливым туловищем. Он стоял на краю утеса чуть повыше хижины, и девушка решила, что он, должно быть, следит за экипажами, поднимающимися в гору. Однако расстояние было так велико, что Френсис не могла хорошенько его разглядеть. С минуту девушка затаив дыхание всматривалась в темный силуэт и уж подумала, что ей почудилось и перед ней просто выступ на утесе, как вдруг этот выступ зашевелился и быстро скрылся в хижине, рассеяв все ее сомнения. То ли Френсис была под впечатлением разговора, который только что вела с Кэти, то ли она и вправду заметила какое-то сходство, но мелькнувшее странное существо сразу напомнило ей разносчика Бёрча, согнувшегося под своим тюком. Она продолжала рассматривать таинственное жилище, но луч света потух, и в тот же миг послышались звуки трубы, отдаваясь эхом в ущельях и долинах. Испуганная девушка вскочила, услышав вблизи конский топот: из-за скалы показался отряд драгун в хорошо знакомых ей мундирах Виргинского полка и остановился невдалеке от нее. Снова раздались веселые звуки горна, и не успела Френсис прийти в себя от изумления, как Данвуди, опередив отряд, соскочил с коня и подошел к ней.

Он смотрел на нее серьезно и участливо, но в его обращении чувствовалась некоторая натянутость. В нескольких словах он объяснил девушке, что за отсутствием капитана Лоутона получил приказ явиться сюда с отрядом драгун и дождаться суда над Генри, который назначен на завтра. Данвуди беспокоился, благополучно ли Уортоны миновали горные перевалы, и выехал им навстречу. Френсис дрожащим голосом объяснила ему, почему она опередила остальных, и сказала, что ее отец будет здесь через несколько минут. Стесненность в обращении майора невольно передалась и ей, так что появление кареты принесло обоим облегчение. Данвуди помог Френсис сесть в экипаж, сказал несколько ободряющих слов мистеру Уортону и мисс Пейтон и, снова вскочив в седло, направился к Фишкилской долине, которая открылась взорам путников словно по волшебству, как только они обогнули высокую скалу. Не прошло и получаса, как они подъехали к воротам фермы, где Данвуди позаботился подготовить помещение для семейства Уортон и где Генри тревожно ожидал их приезда.

Глава XXVI

От страха не бледнели эти щеки,
И руки огрубели от оружья,
Но твой рассказ, правдивый и печальный,
Меня гнетет и мужества лишает
Я весь дрожу от странного озноба,
И слезы по моим глубоким шрамам
Бегут из глаз солеными ручьями.

Дуо

Родные Генри Уортона были так твердо уверены в его невиновности, что не могли понять, какая опасность ему угрожает. Однако чем больше приближался день суда, тем Генри становился тревожнее; просидев накануне со своей опечаленной семьей до глубокой ночи, он встал наутро после неспокойного и короткого сна, ясно сознавая всю серьезность своего положения и понимая, как мало у него возможностей сохранить жизнь. Высокий чин Андре, значительность задуманных им планов, а также видное положение связанных с ним лиц привлекли к его казни гораздо больше внимания, чем к другим подобным событиям.

А между тем шпионов ловили очень часто, и военные власти, не откладывая, подвергали их суровому наказанию. Эти факты были хорошо известны и Данвуди и заключенному, вот почему приготовления к суду вызывали у обоих сильную тревогу. Однако они ничем не выдавали своего беспокойства, так что ни мисс Пейтон, ни Френсис не догадывались, как основательны были их опасения. Усиленная охрана была расставлена вокруг фермы, где содержался узник, на ведущих к ней дорогах стояли караулы, а от дверей его комнаты не отходил часовой. Уже был назначен состав суда для разбора дела Генри и решения его судьбы.

Наконец наступила минута, когда все участники предстоящего расследования были в сборе. Френсис, вошедшая в зал суда вместе со своими родными, оглядела присутствующих, и у нее перехватило дыхание. Трое судей, в парадных мундирах, сидели поодаль за столом с важным видом, соответствующим данному случаю и их высокому званию. В центре сидел человек преклонного возраста, весь облик которого носил отпечаток долгих лет военной службы. То был председатель суда, и Френсис, окинув быстрым недоверчивым взглядом его помощников, повернулась к нему, думая, что только человек с таким доброжелательным выражением лица может стать спасителем ее брата. В чертах старого ветерана проглядывало что-то мягкое и снисходительное, резко отличавшееся от суровой холодности его сотоварищей, и это привлекло к нему Френсис. На нем был парадный мундир, как того требовал в подобных обстоятельствах военный устав; но, хотя он держался строго по-военному, его пальцы бессознательным движением непрерывно теребили кусок крепа, обвивавший эфес сабли, на которую он слегка опирался, и во всей его фигуре было что-то старозаветное. В нем чувствовалась внутренняя тревога, хотя его мужественное лицо оставалось торжественным и не выдавало сострадания, которое вызывал в нем этот процесс. Помощниками его были офицеры из восточных полков, которые охраняли крепость Вест-Пойнт и примыкающие к ней горные проходы. Это были люди среднего возраста, и мы тщетно стали бы искать в их лицах следы страстей или волнений: казалось, человеческие слабости им чужды. Они держались с суровой, холодной сдержанностью. Если черты их не выражали ни свирепости, ни пугающей жестокости, то не

было в них и участия, способного вызвать доверие. То были люди, издавна привыкшие слушаться лишь строгих приказаний рассудка, и все их чувства, казалось, полностью подчинялись ему.

Перед этими вершителями его судьбы и предстал Генри Уортон, которого ввели в зал под конвоем. Едва он вошел, наступила глубокая, зловещая тишина, и у Френсис застыла в жилах кровь при виде мрачной торжественности этого собрания. Обстановка суда не отличалась пышностью и не подействовала на ее воображение, но суровая бесстрастность этой сцены показала ей, как серьезно дело ее брата, и она поняла, что на карту поставлена его жизнь. Двое членов суда с холодным вниманием разглядывали человека, которого они собирались допрашивать, но председатель по-прежнему рассеянно осматривался вокруг, и мускулы его лица конвульсивно подергивались, свидетельствуя о волнении, несвойственном человеку его возраста и положения. Это был полковник Синглтон, который только накануне узнал о трагической участи Изабеллы, но, несмотря на свое горе, твердо выполнял долг, порученный ему родиной. Воцарившаяся в комнате тишина и множество глаз, устремленных на него с выражением ожидания, наконец заставили его опомниться, и, сделав усилие, он овладел собой.

— Подведите подсудимого,— сказал он тоном человека, привыкшего отдавать приказания, и сделал знак рукой. Часовые опустили штыки, и Генри Уортон твердым шагом вышел на середину зала. Все смотрели на него — одни с волнением, другие с любопытством. Френсис почувствовала за спиной тяжелое, прерывистое дыхание Данвуди и на мгновение с благодарностью обернулась к нему, но ее внимание тотчас снова сосредоточилось на брате, и в сердце остался лишь страх за него.

В глубине комнаты разместились члены семьи владельца фермы, а позади них выглядывали черные как уголь лица негров с блестевшими от любопытства глазами. Среди невольников виднелось и потускневшее, печальное лицо Цезаря.

— Говорят, что вы Генри Уортон,— начал председатель,— капитан шестидесятого пехотного полка его британского величества.

— Да, сэр, это так.

— Мне нравится ваша правдивость, сэр; она свиде-

тельствует о благородных чувствах истинного солдата и должна произвести благоприятное впечатление на суд.

— Следует предупредить подсудимого,— сказал один из судей,— что он обязан говорить лишь то, что считает нужным, и, хотя у нас тут военный суд, мы признаем законы всех свободных государств.

Молчавший член суда одобрительно кивнул головой на это замечание, и председатель продолжал, внимательно сверяясь с протоколом предварительного следствия, который он держал в руках.

— Против вас выдвинуто обвинение, что двадцать девятого октября вы, офицер вражеской армии, прошли через пикеты американских войск возле Уайт-Плейна, переодевшись в чужое платье, а потому вас подозревают в действиях, враждебных Америке, и хотят подвергнуть наказанию, как шпиона.

Мягкий, но решительный тон председателя, медленно и четко излагавшего сущность обвинения, звучал очень внушительно. Обвинение было выражено так ясно, доказательства так просты, улики столь очевидны, а наказание столь заслуженно, что, казалось, невозможно его избежать.

Однако Генри ответил просто и серьезно:

— То, что я прошел через ваши пикеты в чужом платье, верно, но...

— Стойте! — прервал его председатель.— Законы войны и так достаточно строги, вам незачем ничего добавлять и тем усугублять свою вину.

— Подсудимый может взять обратно свои слова, если захочет,— заметил первый судья.— Его признание лишь подтверждает обвинение.

— Я не отрекаюсь от правдивых показаний,— гордо сказал Генри.

Два члена суда выслушали его молча и бесстрастно, на их суровых лицах не мелькнуло и тени торжества. Теперь председатель как будто стал проявлять больше интереса к происходящему.

— Ваши чувства благородны, сэр,— заметил он,— и я жалею, что молодой солдат в своем рвении мог зайти так далеко, что стал обманщиком.

— Обманщиком! — воскликнул Уортон.— Я считал, что действую благоразумно, стараясь не попасть в плен к моим врагам.

— Говорят, что вы Генри Уортон,— начал председатель...

— Солдат должен встречаться с врагом только открыто, с оружием в руках, капитан Уортон. Я служил двум королям Англии, а теперь служу моей родине, но никогда не приближался к неприятелю иначе, как при свете дня и с честной уверенностью, что он меня видит.

— Вы можете объяснить, что побудило вас зайти на территорию, занятую нашими войсками, переодевшись в чужое платье? — спросил первый судья, слегка скривив рот.

— Я сын престарелого джентльмена, который сидит здесь перед вами,— ответил Генри.— Чтобы повидаться с отцом, я не побоялся подвергнуть себя опасности. Кроме того, ваши войска редко спускаются в низины, и само название «нейтральная территория» дает право обоим противникам свободно проходить по этой земле.

— Однако это название не утверждено законом — оно появилось лишь в военной обстановке. Но, куда бы ни двигалась армия, она везде утверждает свои правила, а первое из них — умелая защита от врага.

— Я не казуист, сэр,— ответил молодой человек,— я только знал, что мой отец имеет право на мою любовь, и, принимая во внимание его возраст, готов был пойти на еще больший риск, лишь бы доказать ему свою привязанность.

— Весьма похвальное чувство! — воскликнул председатель.— Кажется, джентльмены, дело предстает в другом освещении. Признаюсь, вначале оно казалось мне весьма мрачным; но никто не может осудить сына за желание повидаться с родителями.

— А есть у вас доказательства, что вы ставили себе только эту цель?

— Да, вот они,— ответил Генри, и в душе у него блеснул луч надежды,— вот мои доказательства: мой отец, моя сестра, майор Данвуди — все они это знают.

— В таком случае,— сказал бесстрастный судья,— мы еще можем оправдать вас. Но нужно произвести дальнейшее расследование дела.

— Несомненно,— с охотой подтвердил председатель.— Пусть подойдет мистер Уортон-старший и даст присягу.

Старый отец собрался с духом и, подойдя неверными шагами, выполнил все формальности, требуемые судебной процедурой.

— Вы отец обвиняемого? — спросил Синглтон мягко, немного помолчав из уважения к чувствам свидетеля.

— Он мой единственный сын.

— Что вы знаете о его посещении вашего дома двадцать девятого октября?

— Он пришел, как уже сказал вам, чтобы повидаться со мной и со своими сестрами.

— Он был одет в чужое платье? — спросил первый судья.

— Да. Он не был в мундире своего полка.

— Чтобы повидаться с сестрами,— с волнением повторил председатель.— У вас есть и дочери, сэр?

— Да, у меня две дочери, и обе они здесь.

— На нем был парик? — вмешался первый судья.

— Я как будто заметил у него на голове что-то вроде парика.

— А как давно вы не видались с сыном? — спросил председатель.

— Год и два месяца.

— Он был в широком плаще из грубого сукна? — спросил судья, просматривая материалы обвинения.

— Да, он был в плаще.

— И вы думаете, он пришел только для того, чтобы повидаться с вами?

— Да, со мной и с моими дочерьми.

— Смелый юноша,— шепнул председатель суда своему молчаливому коллеге.— Я не вижу большого зла в этой выходке. Он поступил неосторожно, но благородно.

— Вы уверены, что ваш сын не получал никакого поручения от сэра Генри Клинтона и что поездка к родным не была лишь предлогом, чтобы скрыть его истинную цель?

— Как я могу знать об этом? — ответил испуганный мистер Уортон.— Разве сэр Генри доверил бы мне такое дело?

— Известно ли вам что-нибудь об этом пропуске? — И судья протянул ему бумагу, которая осталась у Данвуди после ареста Уортона.

— Нет, даю слово, мне ничего не известно о нем! — воскликнул старик и отшатнулся от бумаги, словно она была заразной.

— Вы клянетесь?

— Клянусь!

— Есть у вас еще свидетели, капитан Уортон? Этот не может быть вам полезен. Вас задержали при обстоятельствах, которые могут стоить вам жизни, и вам остается только самому доказать свою невиновность. Обдумайте все хорошенько и не теряйте спокойствия.

Было что-то пугающее в бесстрастии этого судьи, и Генри побледнел. Заметив сочувствие полковника Синглтона, он чуть не позабыл о грозившей ему опасности, но суровый и сосредоточенный вид двух других судей напомнил ему, какая ждет его участь. Он замолк и лишь бросал умоляющие взгляды на своего друга. Данвуди понял его и вызвался выступить как свидетель. Он дал присягу и пожелал рассказать все, что знает. Но его показания не могли изменить существа дела, и Данвуди вскоре почувствовал это. Сам он знал очень немного, да и это немногое скорее шло во вред Генри, чем на пользу. Показания Данвуди были выслушаны в полном молчании, и безмолвный судья в ответ лишь покачал головой, но так выразительно, что всем стало ясно без слов, какое впечатление они произвели.

— Вы тоже считаете, что у обвиняемого не было иной цели, кроме той, в которой он признался?

— Никакой, я готов поручиться собственной жизнью! — горячо воскликнул Данвуди.

— Вы можете присягнуть в этом?

— Как я могу дать присягу? Один бог читает в сердцах людей. Но я знаю этого человека с детства: он был всегда правдив. Он выше лжи.

— Вы говорите, что он бежал и был снова взят в плен с оружием в руках? — спросил председатель.

— Да, и был ранен в бою. Вы видите, он и сейчас еще не вполне владеет рукой. Неужели вы полагаете, сэр, что он бросился бы туда, где рисковал снова попасть к нам в руки, если бы не был уверен в своей невиновности?

— А как вы думаете, майор Данвуди, Андре сбежал бы с поля боя, если бы близ Территауна [1] разгорелось сражение? — спросил бесстрастный судья.— Разве молодость не жаждет славы?

— И вы называете это славой? — воскликнул майор.— Позорную смерть и запятнанное имя!

---

[1] Территаун — город в штате Нью-Йорк, где был задержан Андре.

— Майор Данвуди,— ответил судья с непоколебимой важностью,— вы поступили благородно. Вам пришлось выполнить тяжелый и суровый долг, но вы справились с ним, как честный человек и верный сын своей родины; и мы должны поступить точно так же.

Все собравшиеся в зале суда с величайшим вниманием следили за допросом. Отдаваясь безотчетному чувству, которое мешает нам разбираться в причинах и следствиях, бóльшая часть слушателей считала, что если даже Данвуди не удалось смягчить сердца судей, то это уж никому не удастся. Тут из толпы выдвинулась нескладная фигура Цезаря; его выразительное лицо, на котором была написана глубокая печаль, так резко отличалось от физиономий остальных негров, глазевших на все с пустым любопытством, что обратило на себя внимание молчаливого судьи. Он впервые разжал губы и произнес:

— Пусть негр пройдет вперед.

Теперь было поздно отступать, и Цезарь, не успев собраться с мыслями, оказался перед офицерами американской армии. Допрашивать негра предоставили тому судье, который его вызвал, и он приступил к делу с подобающей строгостью:

— Знаете ли вы подсудимого?

— Еще бы не знать,— ответил Цезарь таким же внушительным тоном, как и судья, задавший вопрос.

— Когда он снял парик, он отдал его вам?

— Цезарю не нужен парик,— проворчал негр,— у него свои хорошие волосы.

— Передавали вы кому-нибудь письма или, может, выполняли какие-нибудь другие поручения, когда капитан Уортон был в доме вашего хозяина?

— Я всегда делал, что велит хозяин.

— Но что он велел вам делать?

— Как когда: то одно, то другое...

— Довольно,— сказал с достоинством полковник Синглтон,— вы получили благородное признание джентльмена,— что́ можете вы услышать нового от этого невольника? Капитан Уортон, вы видите, о вас создается неблагоприятное мнение. Можете вы представить суду других свидетелей?

У Генри оставалось очень мало надежды. Появившаяся было вера в благополучный исход дела понемногу таяла, но тут у него мелькнула неясная мысль, что милое личико

сестры окажет ему поддержку, и он устремил на побледневшую Френсис умоляющий взгляд. Она встала и нерешительно направилась к судьям; однако бледность ее сразу сменилась ярким румянцем, и она подошла к столу легкой, но решительной походкой. Френсис откинула густые локоны со своего гладкого лба, и судьи увидели такое прелестное и невинное лицо, которое могло бы смягчить и более жестокие сердца. Председатель на минуту прикрыл глаза рукой, словно пылкий взгляд и выразительные черты Френсис напомнили ему другой образ. Но он тотчас овладел собой и сказал с жаром, который выдавал его скрытое желание ей помочь:

— Вероятно, брат сообщил вам о своем намерении тайно повидаться со своей семьей?

— Нет, нет! — ответила Френсис, прижимая руку ко лбу, словно стараясь собраться с мыслями.— Он ничего не говорил мне — мы не знали об этом, пока он не пришел к нам. Но разве надо объяснять благородным людям, что любящий сын готов подвергнуться опасности, лишь бы повидаться с отцом, да еще в такое трудное время и зная, в каком положении мы находимся?

— Но было ли это в первый раз? Он никогда раньше не говорил о том, что придет к вам? — спрашивал полковник, наклоняясь к девушке с отеческой мягкостью.

— Говорил, говорил! — воскликнула Френсис, заметив, что он смотрит на нее с участием.— Он пришел к нам уже в четвертый раз.

— Я так и знал,— сказал председатель, с удовлетворением потирая руки.— Это отважный, горячо любящий сын, и ручаюсь, джентльмены,— пылкий воин в бою. В каком костюме приходил он к вам раньше?

— Ему не надо было переодеваться: в ту пору королевские войска стояли в долине и свободно пропускали его.

— Значит, теперь он в первый раз пришел не в мундире своего полка? — спросил полковник упавшим голосом, избегая пристальных взглядов своих помощников.

— Да, в первый раз! — воскликнула девушка.— Если в этом его вина, то он провинился впервые, уверяю вас.

— Но вы, наверное, писали ему и просили навестить вас; уж конечно, молодая леди, вы хотели повидать вашего брата,— настаивал полковник.

— Разумеется, мы хотели его видеть и молили об этом бога — ах, как горячо молили! Но, если б мы держали связь с офицером королевской армии, мы могли бы повредить нашему отцу и потому не смели ему писать.

— Выходил ли он из дому по приезде и встречался ли с кем-нибудь, кроме родных?

— Ни с кем. Он никого не видел, за исключением нашего соседа — разносчика Бёрча.

— Кого? — вскричал полковник, внезапно побледнев, и отшатнулся, словно его укусила змея.

Данвуди громко застонал, стиснул голову руками и, вскрикнув: «Он погиб!» — выбежал из комнаты.

— Только Гарви Бёрча,— повторила Френсис, растерянно глядя на дверь, за которой исчез майор.

— Гарви Бёрча! — словно эхо проговорили все судьи.

Два бесстрастных члена суда обменялись быстрыми взглядами и испытующе уставились на обвиняемого.

— Для вас, джентльмены, конечно, не новость, что разносчика Гарви Бёрча подозревают в том, что он служит королю,— сказал Генри, снова выступив вперед.— Он был приговорен вашим судом к тому же наказанию, какое, я вижу, грозит и мне. Поэтому я хочу объяснить вам, что с его помощью я только добыл себе платье, в котором прошел через ваши дозоры; но пусть меня ждет смерть, я до последнего вздоха буду твердить, что намерения мои были так же чисты, как слова невинной девушки, стоящей здесь перед вами.

— Капитан Уортон,— проговорил торжественно председатель суда,— противники свободы Америки находят множество хитрых способов подорвать наше могущество. И среди наших врагов нет более опасного, чем этот разносчик из Вест-Честера. Это шпион — ловкий, коварный, проницательный, ему нет равных среди людей его породы. Сэр Генри не мог придумать ничего лучше, чем установить связь между ним и своим офицером для последней попытки спасти Андре. Без сомнения, молодой человек, это знакомство может оказаться роковым для вас.

Благородное негодование, отразившееся на лице старого ветерана, встретило полную поддержку в суровых взорах его товарищей.

— Я погубила его! — вскрикнула Френсис, в ужасе ломая руки.— Вы тоже отвернулись от нас? Тогда он погиб!

— Молчите, невинное дитя, молчите! — сказал полковник в сильном волнении.— Вы никого не погубили, не приводите всех нас в отчаяние.

— Неужели любить своих близких — преступление? — пылко продолжала Френсис.— Неужели Вашингтон — великодушный, справедливый, беспристрастный Вашингтон — судил бы так жестоко? Обождите, пусть Вашингтон сам рассудит это дело.

— Это невозможно,— ответил председатель, прикрывая рукой глаза, как будто стараясь не видеть прелестную девушку.

— Невозможно? Ах, отложите суд хотя бы на неделю! На коленях молю вас, ведь и вы сами тоже будете нуждаться в милосердии в тот час, когда человеческое могущество становится бессильным. Молю вас, дайте ему хоть один день!

— Невозможно,— повторил полковник еле слышным голосом.— Мы выполняем строгие предписания, и так мы уже дали ему слишком долгую отсрочку.

Он отвернулся от стоявшей на коленях девушки, но не мог или не захотел вырвать у нее свою руку, которую она сжимала с отчаянной горячностью.

— Уведите арестованного,— сказал один из судей офицеру, охранявшему Генри.— Полковник Синглтон, мы удалимся из зала?

— Синглтон, Синглтон! — как эхо, повторила Френсис.— Значит, вы сами отец и можете понять, что значит горе отца: вы не станете, не захотите ранить и без того кровоточащее сердце. Выслушайте меня, полковник Синглтон, как господь бог выслушает ваши предсмертные молитвы, и пощадите моего брата!

— Уведите ее,— сказал полковник, пытаясь осторожно высвободить свою руку.

Но никто не двинулся с места. Френсис силилась прочесть выражение его лица, но он отвернулся, а она все не отпускала его.

— Полковник Синглтон! Еще совсем недавно ваш сын был тоже в смертельной опасности. Его приютили под крышей моего отца; в нашем доме он нашел покровительство и заботливый уход. Представьте себе, что этот сын — ваша гордость и утешение, что он единственный покровитель ваших младших детей, и тогда, если сможете, осудите моего брата!

— Какое право имеет Хис [1] делать из меня палача! — с болью вскричал старый воин и вскочил — кровь прилила к его лицу, вены на висках вздулись от волнения.— Но я забылся, идемте, джентльмены, мы должны выполнить этот тяжелый долг.

— Нет, нет, не уходите! — закричала Френсис.— Можете ли вы так спокойно отнять сына у отца, брата у сестры? И этого требует дело, которое я так горячо любила? И это люди, которых я привыкла глубоко уважать? Но вы, кажется, медлите, вы слушаете меня, вы сжалитесь и простите его!

— Выходите, джентльмены,— сказал полковник, указывая на дверь; он выпрямился с величественным видом, тщетно пытаясь смирить свои чувства.

— Постойте, выслушайте меня! — воскликнула Френсис, судорожно схватив его за руку.— Полковник Синглтон, вы же отец — будьте милосердны! Сжальтесь над сыном! Сжальтесь над дочерью! Ведь и у вас была дочь. У меня на груди она испустила свой последний вздох. Вот эти руки в смертный час закрыли ей глаза... Да, да, эти руки, которые сейчас с мольбой сжимают ваши, оказали ей последние услуги. Неужто теперь мне придется оказать их и моему несчастному брату, которого вы хотите осудить!

Старого воина охватило сильное волнение, но он поборол себя, и лишь тяжелый стон вырвался из его груди. Гордясь этой победой над собой, он огляделся кругом, но тут им овладел новый приступ горя, и он склонил свою убеленную семьюдесятью зимами голову на плечо горячей просительницы. Верный меч, старый товарищ во многих кровавых битвах, выпал из его ослабевшей руки, и он воскликнул:

— Да благословит вас за это господь! — и громко зарыдал.

Долго не мог справиться полковник Синглтон с бушевавшими в нем чувствами, но наконец, взяв себя в руки, передал потерявшую сознание Френсис ее тетке и, с непреклонным видом повернувшись к своим товарищам, сказал:

— Теперь, джентльмены, нам надлежит выполнить

---

[1] Вильям Хис — генерал-майор, командовавший американскими войсками в Вест-Честере.

наш долг офицеров. Своим чувствам мы предадимся потом. Какое решение вы приняли по делу подсудимого?

Один из судей вручил ему приговор, который он написал, пока полковник говорил с Френсис, и заявил, что такого же мнения придерживается и второй член суда.

В бумаге коротко сообщалось, что Генри Уортон был пойман как шпион, когда он переходил линию американских войск, переодевшись в чужое платье. По военным законам за это полагается смерть, и суд приговаривает капитана Уортона к казни через повешение; приговор должен быть приведен в исполнение не позже девяти часов следующего утра.

Применять самую суровую кару, даже к врагу, было не принято без утверждения главнокомандующего, а во время его отсутствия — без санкции заменяющего его офицера. Главный штаб Вашингтона помещался в Нью-Виндзоре, на западном берегу Гудзона, а потому можно было вполне успеть получить от него ответ.

— Срок очень короткий,— сказал полковник, держа в руке перо и медля без видимой причины.— Меньше суток — и за это время такой молодой человек должен успеть приготовиться к смерти!

— Королевские офицеры дали Хэлю[1] всего один час,— ответил член суда.— Мы же даем положенный срок. Но Вашингтон может продлить его и даже помиловать виновного.

— Тогда я сам поеду к Вашингтону! — воскликнул полковник, возвращая подписанную им бумагу.— Если заслуги такого старого воина, как я, что-нибудь значат и генерал согласится выслушать меня, я спасу этого юношу!

С этими словами он уехал, горя великодушным желанием помочь Генри Уортону.

Решение суда было с должной осторожностью сообщено заключенному. Отдав нужные распоряжения дежурному офицеру и отправив в главный штаб курьера с донесением, два члена суда сели на лошадей и с тем же бесстрастным видом поборников высшей справедливости, с каким они держались на суде, отправились в свои воинские части.

---

[1] Хэль — американский офицер, повешенный англичанами за шпионаж.

Глава XXVII

Что? Не было отмены приговора,
И Клавдио умрет?

Шекспир, «Мера за меру»[1]

После того как Генри был сообщен приговор, он провел несколько часов в кругу семьи. Мистер Уортон в беспомощном отчаянии оплакивал предстоящую безвременную гибель сына, а очнувшаяся после обморока Френсис испытывала такую острую душевную боль, что сама смерть показалась бы ей облегчением. Одна мисс Пейтон еще сохранила крупицу надежды или хотя бы присутствие духа, необходимое, чтобы подумать о том, что следует предпринять при подобных обстоятельствах. Относительная сдержанность доброй тетушки отнюдь не свидетельствовала о недостатке любви к племяннику, но ее поддерживала бессознательная вера в Вашингтона. Она родилась в одной с ним колонии, и хотя его ранний уход в армию, а ее частые отлучки в дом сестры, где она вскоре обосновалась, мешали их встречам, однако она слышала о его семейных добродетелях и знала, что в частной жизни он не проявлял такой непоколебимой суровости, какой отличался на политическом поприще. В Виргинии он слыл твердым, но справедливым и доброжелательным хозяином, и теперь мисс Пейтон с гордым чувством думала о том, что ее земляк командует армиями и держит в руках судьбы Америки. Она знала, что Генри не совершил преступления, за которое его осудили, и с присущей всем невинным сердцам простодушной верой в правду не могла представить себе, как можно с помощью разных хитросплетений и произвольных толкований закона наказать невинного человека. Однако даже ее наивным надеждам суждено было вскоре угаснуть при виде спешных приготовлений к исполнению рокового приговора. К полудню отряд ополченцев, расположившихся на берегу реки, снялся с места и подошел к ферме, где находилась наша героиня со своей семьей; солдаты разбили палатки с очевидным намерением дождаться здесь следующего утра, чтобы придать больше торжественности казни британского шпиона.

Данвуди уже выполнил все полученные им приказа-

[1] Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

ния и мог вернуться к своему эскадрону, который нетерпеливо дожидался возвращения командира, чтобы выступить навстречу вражескому отряду, медленно продвигавшемуся по берегу реки и прикрывавшему группу фуражиров, действовавших в тылу. Майор приехал на ферму в сопровождении нескольких драгун из отряда Лоутона, полагая, что их показания понадобятся на суде; ими командовал лейтенант Мейсон. Однако признание капитана Уортона сделало излишними всякие новые свидетельства.

Данвуди не хотелось видеть горе родных Генри, он боялся под их влиянием утратить мужество и все это время в сильной тревоге одиноко бродил невдалеке от их жилища. Подобно мисс Пейтон, он не терял надежды на милосердие Вашингтона, но порой им овладевали жестокие сомнения, и его душу терзало отчаяние. Он хорошо знал суровость военных законов и привык видеть в своем генерале лишь строгого военачальника, а не снисходительного человека. Да и недавний ужасный пример со всей ясностью доказал, что Вашингтону чужды подобные слабости: он не пощадит никого в угоду собственному добросердечию. Данвуди нервно шагал между деревьями фруктового сада, то предаваясь самым мрачным сомнениям, то вновь находя проблеск надежды, когда к нему подошел Мейсон в полной походной форме.

— Я подумал, что вы могли позабыть о донесениях, доставленных нам утром с низовьев реки, сэр, и потому взял на себя смелость приказать отряду быть готовым к выступлению,— спокойно сказал лейтенант, сбивая саблей в ножнах головки растущих вокруг полевых цветов.

— О каких донесениях? — вздрогнув, спросил Данвуди.

— Я имел в виду лишь сообщение о том, что в Вест-Честер вступил Джон Булл с целой вереницей фургонов, а уж если ему удастся их нагрузить, то нам останется только искать провиант за горами. Этим обжорам англичанам приходится туговато в Йорк-Айленде, и, когда им удается вырваться оттуда, они заметают все подчистую, так что какая-нибудь наследница-янки не наберет даже соломы, чтобы набить себе тюфяк.

— Где обнаружил их дозорный? Это донесение совсем вылетело у меня из головы.

— На высотах позади Синг-Синга,— ответил лейтенант, не выказывая никакого удивления.— Дорога там

похожа на сенной рынок, а все свиньи вокруг жалобно хрюкают, когда зерно везут мимо них к Кингс-Бриджу. Ординарец Джорджа Синглтона, который привез эту новость, уверяет, будто наши лошади держат совет, не следует ли им спуститься в долину, а то потом им вряд ли придется скоро набить себе желудки. Если мы позволим англичанам вывезти их добычу, то сами не найдем ни одной жирной свиной туши, чтобы зажарить к рождеству.

— Оставьте, лейтенант Мейсон, не повторяйте глупостей этого ординарца,— с досадой воскликнул Данвуди,— и пусть он научится ждать приказаний старших.

— Прошу за него прощения, майор Данвуди,— ответил Мейсон,— видно, он заблуждался, как и я. Мы оба думали, что генерал Хис приказал нам нападать на врага и досаждать ему, как только он высунет нос из своей норы.

— Прекратите, лейтенант Мейсон,— сказал майор,— или мне придется напомнить вам, что вы получаете приказы только от меня.

— Я знаю, майор Данвуди, отлично знаю. И мне очень жаль, что память вам изменила и вы забыли, как я всегда беспрекословно выполняю их.

— Простите меня, Мейсон! — воскликнул Данвуди и сжал обе руки лейтенанта.— Да, да, вы храбрый и исполнительный офицер. Простите мою вспыльчивость... Но это злосчастное дело... Есть ли у вас друг?

— Что вы, майор,— прервал его лейтенант,— это вы простите меня и мое искреннее усердие! Я знал, какие были даны приказы, и боялся, как бы мой начальник не навлек на себя неприятности. Но оставайтесь здесь, и пусть только кто-нибудь посмеет сказать хоть слово против нашего полка, как все сабли тотчас сами выскочат из ножен; да и англичане совсем недавно двинулись в дорогу, а от Кротона до Кингс-Бриджа не ближний путь. Что бы там ни было, а я уверен — мы настигнем их прежде, чем они успеют добраться до места.

— Ах, скорей бы возвращался курьер из главного штаба! — воскликнул Данвуди.— Такое ожидание невыносимо!

— Ваше желание исполнилось! — крикнул Мейсон.— Вон скачет курьер, и похоже, что он везет добрые вести. Дай бог, чтоб так оно и было! Что до меня, то мне совсем не хотелось бы увидеть, как храбрый парень ни за что запляшет на веревке.

Данвуди пропустил мимо ушей это прочувствованное заявление, ибо не успел лейтенант произнести и половины фразы, как майор перескочил через ограду и остановился перед гонцом.

— Какие вести? — закричал Данвуди, как только тот осадил коня.

— Хорошие! — ответил курьер, без колебаний доверяясь такому всем известному офицеру, как майор Данвуди, и, протянув ему пакет, добавил: — Но вы можете сами прочитать, сэр.

Данвуди не стал тратить время на чтение: он радостно бросился в комнату заключенного. Часовой его знал и пропустил, ничего не спросив.

— О Пейтон,— вскричала Френсис, когда он вбежал к ним,— вы похожи на посланца небес! Неужели вы несете весть о помиловании?

— Идите сюда, Френсис, подойди, Генри, сюда, милая кузина Дженнет! — воскликнул молодой человек и дрожащими руками сломал печать.— Вот письмо, посланное капитану охраны... Но слушайте...

Все замерли в глубокой тревоге. Но вдруг они увидели, как радость на лице Данвуди сменилась выражением ужаса, и горечь обманутой надежды еще усилила их отчаяние. В пакете лежал судебный приговор, а внизу были написаны простые слова:

УТВЕРЖДАЮ *ДЖ. ВАШИНГТОН.*

— Он погиб! Он погиб! — вскрикнула Френсис, падая на руки тетки.

— Мой сын! Мой сын! — простонал отец.— На земле нет милосердия, пусть же небо сжалится над ним! И да будет Вашингтон навсегда лишен того сострадания, в котором он отказывает моему неповинному сыну!

— Вашингтон! — растерянно повторил за ним Данвуди, с ужасом оглядываясь вокруг.— Да, Вашингтон сам подписал бумагу, это его рука, здесь стоит его имя, он утвердил страшный приговор...

— Жестокий, жестокий Вашингтон! — вскричала мисс Пейтон.— Привычка к крови сделала его другим человеком!

— Не осуждайте его,— возразил Данвуди,— так поступил генерал, а не человек. Клянусь жизнью, ему самому больно, когда он вынужден наносить такие удары.

— Как я в нем ошиблась! — воскликнула Френсис.— Он не спаситель своей родины, а холодный и безжалостный тиран. Ах, Пейтон, Пейтон, как неверно описали вы мне его характер!

— Тише, дорогая Френсис, ради бога, успокойтесь. Не говорите так о нем. Ведь он стоит на страже закона.

— Да, вы правы, майор Данвуди,— сказал Генри, придя в себя после ужасного удара, лишившего его последней надежды, и приблизился к отцу.— Даже я, приговоренный к смерти, не осуждаю его. Мне было оказано все снисхождение, на какое я мог надеяться. На пороге могилы я не могу быть несправедливым. В такую минуту, когда дело Вашингтона только что подверглось опасности из-за предательства, меня не удивляет непреклонность его решений. Теперь мне остается лишь приготовиться встретить мою неизбежную казнь, которая свершится так скоро. А к тебе, Данвуди, у меня есть одна просьба.

— Какая? — с трудом проговорил майор.

Генри обернулся и, указывая на горько оплакивающих его родных, продолжал:

— Будь сыном этому старцу, поддержи его в минуту слабости, защити от гонений, которые может вызвать наложенное на меня позорное клеймо. Среди правителей этой страны у него не много друзей — пусть же твое влиятельное имя останется среди них.

— Обещаю.

— Не оставь и эту беспомощную невинную девушку,— продолжал Генри, указывая на Сару, не понимавшую, что происходит вокруг.— Я надеялся воздать по заслугам тому, кто причинил ей зло,— и лицо его вспыхнуло от

негодования,— но это дурные мысли, и сейчас мне грешно думать о мести. Под твоим покровительством, Пейтон, она найдет приют и участие.

— Обещаю,— прошептал Данвуди.

— Наша добрая тетя и так имеет на тебя права, и я не буду говорить о ней. Но вот самый драгоценный дар,— и, взяв за руку Френсис, он с глубокой братской любовью посмотрел ей в лицо.— Прижми ее к своей груди и помни, что на твоем попечении сама невинность и добродетель.

В горячем порыве майор быстро протянул руку, чтобы принять бесценное сокровище, но Френсис отшатнулась от него и спрятала лицо на груди у тетки.

— Нет, нет, нет! — прошептала она.— Ни один человек, способствовавший гибели моего брата, не может быть мне близок.

Несколько минут Генри смотрел на нее с нежным сожалением, а затем продолжал разговор, который, как все чувствовали, был особенно важен для него.

— Значит, я ошибался. Я думал, Пейтон, что моя сестра поняла и оценила твои достоинства, твою благородную преданность делу, которое ты защищаешь, твои заботы о нашем отце, когда он попал в плен, твою дружбу ко мне — словом, оценила все великодушие твоего сердца.

— О да, так и было,— прошептала Френсис, все крепче прижимаясь лицом к груди мисс Пейтон.

— Дорогой Генри,— сказал Данвуди,— я думаю, что сейчас нам не стоит этого касаться.

— Ты забываешь,— возразил Генри с грустной улыбкой,— что мне еще надо сделать очень много, а времени осталось совсем мало.

— Я боюсь,— промолвил Данвуди, и лицо его вспыхнуло огнем,— что у мисс Уортон создалось превратное мнение обо мне и потому ей было бы слишком тягостно исполнить твое желание, но это мнение уже невозможно изменить.

— Нет, нет, нет! — вскричала Френсис с живостью.— Нет, Пейтон, вы оправданы. С последним вздохом она развеяла мои сомнения.

— Великодушная Изабелла!..— прошептал Данвуди.— Но будет, Генри, пощади теперь свою сестру, пощади и меня.

— Я говорю из жалости к самому себе,— возразил Генри, ласково освобождая Френсис из объятий тетки.— Как можно в наше время оставлять двух таких прелестных девушек без покровителя? Кров их разрушен, и вскоре скорбь лишит их и последнего защитника,— тут Генри с тревогой взглянул на отца.— Разве могу я умереть спокойно, зная, какие им угрожают опасности?

— Ты забываешь обо мне,— проговорила мисс Нейтон, содрогнувшись при мысли о свадебном обряде в такую минуту.

— Нет, дорогая тетя, я не забыл о вас и никогда не забуду, пока мне не изменит память. Это вы забываете, в какое время и среди каких опасностей мы живем. Добрая хозяйка этого дома уже послала за служителем божиим, который облегчит мне переход в иной мир. Френсис, если ты хочешь, чтобы я умер спокойно, чтобы тревоги улеглись в моей душе и я мог обратить все свои помыслы к богу, ты позволишь этому священнику соединить тебя с Данвуди.

Френсис ничего не ответила, но покачала головой.

— Я знаю, ты не сможешь радоваться и быть счастливой еще долго, быть может, много месяцев. Но получи хоть право носить его имя и дай ему неоспоримое право защищать тебя...

И снова девушка решительно покачала головой.

— Ради этой беззащитной страдалицы,— молвил Генри, указывая на Сару,— ради тебя самой и ради меня, милая сестра...

— Молчи, Генри, или ты разобьешь мне сердце! — воскликнула Френсис в глубоком волнении.— Ни за что на свете не произнесу я брачного обета в такую минуту, иначе я буду несчастна всю жизнь!

— Ты его не любишь,— с упреком сказал Генри.— Ну что ж. Я не стану уговаривать тебя поступить против твоего сердца.

Френсис закрыла лицо одной рукой, а другую протянула Данвуди и сказала горячо:

— Теперь ты несправедлив ко мне, как прежде был несправедлив к себе.

— Тогда обещай мне,— сказал Генри, немного помолчав в раздумье,— что, как только пройдет острота твоего горя, ты на всю жизнь отдашь руку моему другу.

— Обещаю,— ответила Френсис и тихонько отняла

у Пейтона руку, которую он тотчас выпустил, даже не осмелившись поднести к губам.

— А теперь, дорогая тетушка,— продолжал Генри,— будьте добры, оставьте меня ненадолго с моим другом. Мне надо дать ему несколько печальных поручений, и я хотел бы избавить вас и сестру от душевной муки, которую вызовут у вас мои слова.

— У нас есть время еще раз побывать у Вашингтона,— сказала мисс Пейтон, направляясь к двери, и добавила с чувством собственного достоинства: — Я сама съезжу к нему; конечно, он не откажется выслушать уроженку его колонии! Ведь наши семьи состоят в дальнем родстве.

— А почему бы нам не обратиться к мистеру Харперу? — спросила Френсис, впервые вспомнив слова, сказанные перед уходом их недавним гостем.

— Харперу? — повторил Данвуди и с быстротой молнии повернулся к ней: — Харперу? Разве вы знаете его?

— Это ни к чему,— сказал Генри, отводя друга в сторону.— Френсис хватается за всякую надежду с горячностью любящей сестры. Выйди, любовь моя, и оставь нас вдвоем.

Но Френсис прочитала в глазах Данвуди такое смятение, что, казалось, приросла к полу. Она постаралась овладеть собой и продолжала:

— Он прожил с нами два дня и был у нас, когда арестовали Генри.

— И вы... вы знаете его?

— Нет,— ответила Френсис, немного оживляясь при виде глубокого интереса Данвуди,— мы его не знаем; он заехал к нам в ненастную ночь и пробыл у нас в доме, пока не кончилась буря. Но он выказал Генри большое участие и обещал ему свою помощь.

— Как! — воскликнул пораженный Пейтон.— Он знает и вашего брата?

— Конечно, именно по его совету Генри скинул парик и чужое платье.

— Но, верно, он не знал,— продолжал Данвуди, побледнев от волнения,— что Генри офицер королевской армии?

— Напротив. Разумеется, знал,— ответила мисс Пейтон,— и даже говорил нам, что Генри поступил крайне неосторожно.

Данвуди поднял роковую бумагу, которая выпала у него из рук и все еще лежала на полу, и принялся внимательно разглядывать ее. Казалось, что-то в этом письме поставило его в тупик, и он задумчиво провел по лбу рукой. Глаза родных были устремлены на него в мучительной тревоге — все боялись снова поддаться возродившейся надежде и вновь испытать жестокое разочарование.

— Что он говорил? Что обещал? — произнес наконец Данвуди в лихорадочном нетерпении.

— Он велел Генри обратиться к нему в случае опасности и обещал отблагодарить сына за гостеприимство отца.

— Он сказал это, зная, что Генри британский офицер?

— Именно это он, несомненно, имел в виду, говоря об опасности.

— В таком случае, ты спасен! — громко крикнул Пейтон, не в силах сдержать восторг.— Да, спасен, теперь я спасу тебя! Никогда Харпер не нарушает своего слова.

— Но обладает ли он достаточной властью? — спросила Френсис.— Может ли он изменить твердое решение Вашингтона?

— Да, может! — воскликнул Данвуди.— Если кто-нибудь может, то это он, только он! Влияние Грина, Хиса и молодого Гамильтона не может сравниться с властью Харпера! Но повторите мне,— и, бросившись к своей невесте, Данвуди крепко сжал ее руки,— повторите, что он сказал. Он дал вам слово?

— Ну да, конечно, Пейтон. Он дал торжественное обещание помочь Генри, зная все его затруднения.

— Тогда успокойтесь,— воскликнул Данвуди и на миг прижал девушку к своей груди.— Успокойтесь — Генри спасен!

И, не вдаваясь в объяснения, он выбежал из комнаты, покинув ошеломленную семью Уортона. Все застыли в молчании, спрашивая себя, что же это значит, и вскоре услышали топот коня, выскочившего на дорогу с быстротой стрелы, выпущенной из лука.

После внезапного отъезда Пейтона его взбудораженные друзья долгое время обсуждали, удастся ли ему добиться успеха. Однако своей уверенностью он вдохнул в них некоторую бодрость. Каждый чувствовал, что для Генри снова затеплилась надежда, и это всех оживило и подняло их упавший дух. Один Генри не поддавался

общему настроению. Положение его было так ужасно, что он не мог о нем забыть. Он был обречен томиться в неведении несколько часов и знал, что это ожидание несравненно тягостнее, чем даже уверенность в неминуемой смерти. Иное дело Френсис. Влюбленная девушка беззаветно верила Данвуди и не терзала себя сомнениями, которые все равно не могла бы рассеять. Считая, что ее жених способен сделать все, что только в силах выполнить человек, и сохранив живое воспоминание об участии и доброжелательстве Харпера, она всецело отдалась вновь вспыхнувшей надежде.

Мисс Пейтон была более сдержанна и не раз предостерегала племянницу, чтоб та не предавалась неумеренному восторгу, пока еще нет твердой уверенности в том, что ее ожидания действительно сбудутся. Однако при этом на губах мисс Дженнет порой мелькала легкая улыбка, противоречившая ее наставлениям.

— Но почему, милая тетя,— весело возразила Френсис на одно из ее замечаний,— вы хотите, чтобы я подавила в себе радость, которую чувствую при мысли о спасении Генри? Ведь вы сами столько раз говорили, что люди, стоящие во главе нашей страны, не могут осудить невинного человека.

— Конечно, я считала, что этого не может быть, дитя мое, и думаю так по-прежнему; но люди должны уметь сдерживать свою радость так же, как и печаль.

Тут Френсис вспомнила признание Изабеллы и, со слезами благодарности взглянув на свою добрейшую тетушку, ответила:

— Вы правы. Но есть такие чувства, которые не повинуются рассудку... Ах, смотрите, вон собираются чудовища во образе людей, чтобы поглядеть на смерть своего ближнего! Они окружают поле, как будто это зрелище для них все равно что военный парад.

— Для наемного солдата смерть и вправду значит немногим больше,— сказал Генри, пытаясь забыть нависшую над ним опасность.

— Ты смотришь так внимательно, милочка, как будто придаешь большое значение этому военному параду,— заметила мисс Пейтон, видя, что ее племянница не отрывает от окна пристального и задумчивого взгляда.

Но Френсис ничего не ответила.

Она стояла у окна, откуда был ясно виден горный

проход, по которому они пересекли высокую гряду, а прямо перед ней возвышалась гора, на вершине которой она заметила таинственную хижину. Каменистые склоны были бесплодны и суровы. Их преграждали огромные и, казалось, неприступные скалистые барьеры, кое-где поросшие низкорослыми дубами с облетевшей листвой. Ферма была не больше чем в полумиле от подошвы горы, и сейчас внимание Френсис привлекла фигура человека, который внезапно появился из-за резко очерченной скалы и тут же снова скрылся за ней. Человек несколько раз повторил этот маневр, и, судя по его действиям, можно было заключить, что это беглец, старающийся хорошенько разглядеть передвижения отряда и ознакомиться с положением дел в долине. Несмотря на дальность расстояния, Френсис тотчас решила, что это Бёрч. Быть может, такое впечатление сложилось у нее отчасти под влиянием внешнего облика незнакомца, но главным образом благодаря воспоминанию о фигуре, виденной ею недавно на вершине этой горы. Френсис была уверена, что это тот же самый человек, хотя теперь у него и не было горба, который она тогда приняла за тюк разносчика.

В ее сознании образ Гарви был так тесно связан с таинственным поведением Харпера, что после всех тревог, пережитых со времени приезда на ферму, она решила скрыть от родных свои наблюдения. Поэтому Френсис сидела молча, раздумывая о вторичном появлении разносчика и стараясь уловить, какая может быть связь между этим непонятным человеком и судьбой ее семьи. Несомненно, он немного смягчил тяжелый удар, обрушившийся на Сару, и вообще никогда не вел себя как враг ее близких.

Френсис долго смотрела на склон в тщетной надежде еще раз увидеть скрывшуюся темную фигуру и наконец повернулась к родным. Мисс Пейтон сидела подле Сары, которая как будто начинала кое-что понимать, но оставалась по-прежнему безучастной и к радости и к горю.

— Мне кажется, милочка, ты уж достаточно ознакомилась с военными маневрами,— заметила мисс Пейтон.— Впрочем, это весьма полезно для жены офицера.

— Я еще не жена офицера,— возразила Френсис, покраснев до ушей.— И у нашей семьи, право, мало причин желать второй свадьбы.

— Френсис! — воскликнул ее брат, вскочив с места, и

принялся в волнении шагать взад и вперед по комнате.— Прошу тебя не касаться этой раны в моем сердце. Пока еще неизвестно, чем решится моя судьба, и я не хотел бы ни к кому испытывать вражды.

— Так пусть же кончится эта неизвестность! — вскричала Френсис, бросаясь к двери.— Вон идет Пейтон с радостной вестью о твоем помиловании!

Не успела она произнести эти слова, как дверь отворилась и вошел майор. Глядя на него, трудно было сказать, добился ли он чего-нибудь: лицо его выражало лишь недовольство и досаду. Он пожал руку, от всей души протянутую ему Френсис, но тотчас же отошел и устало опустился на стул.

— Ты ничего не добился? — спросил Генри, и сердце у него дрогнуло, но он сохранил внешнее спокойствие.

— Вы видели Харпера? — побледнев, закричала Френсис.

— Нет, не видел. Я переправился через реку с одного берега, а он, как видно,— с другого, и мы разминулись. Я тотчас же вернулся назад и несколько миль следовал за ним по западному горному проходу, но вдруг он исчез непонятно куда. Я приехал к вам, чтобы успокоить вас и еще раз уверить, что сегодня же ночью я непременно увижу его и привезу Генри освобождение.

— Но вы повидали Вашингтона? — спросила мисс Пейтон.

Данвуди несколько мгновений смотрел на нее с рассеянным видом, и она повторила вопрос. Тогда он сдержанно ответил:

— Главнокомандующий покинул свою штаб-квартиру.

— Но, Пейтон,— воскликнула Френсис, вновь охваченная ужасом,— если они не встретятся сегодня, будет уже поздно. Ведь Харпер не сможет один нам помочь.

Молодой человек медленно обернулся к ней, внимательно посмотрел на ее встревоженное лицо и задумчиво сказал:

— Вы говорили, что Харпер обещал помочь Генри?

— Конечно, обещал сам, без нашей просьбы, в благодарность за наше гостеприимство.

Данвуди покачал головой с озабоченным видом:

— Мне не нравится слово «гостеприимство» — оно слишком неопределенно: Харпера могло обязать лишь что-

нибудь более значительное. Я боюсь, не было бы тут ошибки. Расскажите мне еще раз обо всем, что у вас произошло.

Френсис в волнении поспешила исполнить его просьбу. Она рассказала, как незнакомец приехал в «Белые акации», как его приняли в их доме, и описала все последовавшие затем события, стараясь не упустить ни малейшей подробности, насколько позволила ей память. Когда она передавала беседу своего отца с нежданным гостем, майор усмехнулся, но промолчал. Затем Френсис рассказала о появлении Генри и обо всем, что случилось на другой день. Она остановилась на том, как настойчиво Харпер убеждал ее брата сбросить чужое платье, и с удивительной точностью вспомнила все, что он говорил о том, как опрометчив совершенный Генри поступок. Она даже повторила странную фразу, сказанную их гостем ее брату: «Теперь вы даже в большей безопасности, когда я узнал, кто вы такой». Со свойственным молодости горячим увлечением Френсис рассказала, какое участие принял Харпер в ней самой, и передала подробности его прощания со всеми членами семьи.

Вначале Данвуди слушал ее лишь с серьезным вниманием, но мало-помалу лицо его все больше светлело от удовольствия. Когда Френсис вспомнила о своих беседах с гостем, он улыбнулся с гордостью, а когда она закончила свой рассказ, воскликнул в восторге:

— Он спасен! Он спасен!

Но тут его прервали, а кто — мы узнаем из следующей главы.

Глава XXVIII

Сова летает по ночам,
А жаворонок — днем,
Отважный сокол — в небесах,
А голубь — под окном.

Дуо

Во всякой стране, населенной, как наши Штаты, людьми, покинувшими родную землю и любимый домашний очаг и пострадавшими за свои религиозные убеждения, свято соблюдаются все обряды и обычаи, сопровожда-

ющие смерть человека, если только этому не препятствуют особые обстоятельства. Сердобольная хозяйка фермы строго следовала всем предписаниям пуританской церкви, к которой она принадлежала. Священник, читавший проповеди в ближнем приходе, внушил ей сознание ее греховности, и она верила, что только этот пастырь может своими поучениями подготовить к смерти Генри, которому так мало осталось жить. Она знала, что ожидание смерти всегда очень страшно, и, лишь только Генри был вынесен судебный приговор, велела Цезарю оседлать одну из лучших лошадей на ферме и тотчас скакать за этим пастырем. Фермерша распорядилась, не посоветовавшись ни с Генри, ни с его родными, и объяснила причину отсутствия Цезаря, лишь когда он понадобился для каких-то домашних услуг. Молодой человек сначала и слышать не хотел, чтобы подобный духовный наставник напутствовал его перед смертью; однако, по мере того как рвутся наши связи с жизнью, предрассудки и привычки утрачивают свое влияние, и в конце концов Генри вежливо поклонился доброжелательной хозяйке, благодаря ее за заботы.

Черный слуга вскоре вернулся, и из его довольно сбивчивых объяснений можно было заключить, что служитель божий должен явиться не позже чем в конце дня. Приход хозяйки дома и был причиной того перерыва, о котором мы упомянули в предыдущей главе. По ходатайству Данвуди, дежурный офицер отдал приказ часовому, стоявшему у двери в комнату Генри, в любое время пропускать к нему членов его семьи, в том числе и Цезаря, который мог ему понадобиться. Однако всякий другой посетитель должен был подвергнуться строгому допросу. Майор включил и себя в число родственников британского офицера и от имени всей семьи дал слово, что никто не будет делать попыток его освободить. Между хозяйкой дома и капралом охраны произошел теперь короткий разговор у двери в комнату заключенного, которую часовой распахнул, предвосхитив решение своего начальника.

— Неужели вы откажете в духовном утешении своему ближнему, осужденному на смерть? — спросила фермерша с горячим чувством.— Неужели вы готовы ввергнуть его душу в адское пламя, тогда как служитель божий может указать ей прямую и ближнюю дорогу на небо?

— Вот что я скажу вам, добрая женщина,— ответил

капрал, легонько отстраняя ее.— Право, моя спина совсем не похожа на дорогу, ведущую прямо в рай. И как я буду смотреть в глаза моему начальнику, если не выполню его приказаний? Ступайте-ка вниз да спросите разрешения у лейтенанта Мейсона, а тогда можете вводить к арестанту хоть целый полк попов! Еще и часу не прошло, как мы сменили на посту ополченцев, и я не хочу, чтобы про нас говорили, будто мы несем службу хуже, чем какая-то пехтура.

— Пропустите эту женщину,— сказал Данвуди строго: он только теперь заметил, что на посту стоит солдат из его отряда.

Капрал отдал честь своему офицеру и молча отступил. Солдат взял на караул, и хозяйка вошла к Генри.

— Внизу дожидается преподобный отец,— сказала она,— он приехал облегчить вашу душу, готовую расстаться с телом, и заменит нашего духовника, ибо тот отлучился, чтобы выполнить обряд, который нельзя отложить: он хоронит старого мистера Х.

— Просите его войти,— ответил Генри с лихорадочным нетерпением.— Но пропустит ли его часовой? Я бы не хотел, чтобы друга вашего священника без всякого почтения задержали на пороге как подозрительного человека.

Теперь все смотрели на Данвуди, который, взглянув на часы, вполголоса обменялся несколькими словами с Генри и быстро вышел из комнаты. Френсис последовала за ним. Генри высказал майору свое желание повидаться также с другим священником по собственному выбору, и майор обещал прислать пастыря из города Фишкила, через который он должен был проехать на пути к парому, где хотел дождаться возвращения Харпера. Вскоре на пороге появился Мейсон. Он охотно согласился выполнить просьбу хозяйки, и преподобного отца пригласили войти.

Вошедший за Цезарем священник, за которым следовала и фермерша, был человек средних лет; вернее, он перевалил за вершину жизни и уже спускался вниз по склону. Он был выше среднего роста; впрочем, может, он только казался высоким из-за чрезмерной худобы; все черты его резкого и строгого лица как будто застыли в суровой неподвижности. Должно быть, радость и милосердие никогда не смягчали его нахмуренного чела, омраченного ненавистью ко всем человеческим порокам. Черные косматые брови нависали над ввалившимися глазами, смотревшими сквозь зеленые стекла громадных очков с такой свирепостью, словно возвещали о приближении страшного суда. Все в нем дышало фанатизмом и беспощадным стремлением карать. Черные с проседью волосы, разделенные прямым пробором, падали длинными прядями ему на плечи, прикрывая щеки, словно темные шторы. На этой отталкивающей голове красовалась большая треугольная шляпа, надвинутая на самый лоб и затенявшая всю физиономию. Одет он был в черный порыжевший сюртук, такого же цвета штаны и чулки, а на ногах носил тусклые башмаки, наполовину скрытые громадными пряжками. Священник важно вошел в комнату, сухо кивнул всем головой и молча, с достоинством уселся на поданный ему негром стул. Несколько минут никто не прерывал зловещего молчания; Генри, сразу проникшийся к посетителю неприязнью, тщетно старался ее преодолеть, а странный пастырь то и дело испускал тяжелые вздохи и стоны, которые, казалось, грозили разорвать слабую связь между его возвышенной душой и ее безобразной оболочкой. Старый мистер Уортон, глядевший на эти мрачные приготовления с тем же чувством, что и его сын, увел Сару из комнаты. Священник отнесся к его уходу с насмешливым пренебрежением и принялся напевать всем известный псалом тем унылым, гнусавым голосом, каким принято петь псалмы в Восточных штатах [1].

— Цезарь,— заметила мисс Пейтон,— подай джентльмену что-нибудь подкрепляющее: после такой поездки он в этом, наверное, нуждается.

— Я черпаю силы не из земных источников,— проговорил священнослужитель глухим, замогильным голо-

[1] Восточными здесь названы штаты Новой Англии, в то время населенные пуританами, не признававшими католических обрядов.

сом.— Сегодня я уже трижды служил моему господу и не ослабел; однако будет благоразумнее поддержать эту бренную плоть, ибо сказано: «Трудящийся достоин награды за труды свои».

И, раскрыв громадную пасть, он влил в нее изрядную толику поданного ему коньяку и проглотил его с такой же легкостью, с какой простой смертный обычно склоняется к греху.

— Я опасаюсь, сэр, что усталость помешает вам выполнить обязанности, которые, по доброте сердечной, вы взяли на себя.

— О женщина! — с силой воскликнул пришелец.— Кто может сказать, что я когда-либо уклонялся от выполнения долга? Но «не судите, да не судимы будете», и не воображайте, будто смертный может познать промысел божий.

— Что вы! — кротко возразила мисс Пейтон, которую немного коробили его речи.— Я никогда не сужу ни поступков, ни намерений моих ближних, а тем более предначертаний всевышнего.

— Это похвально, женщина, весьма похвально! — крикнул священник, вскинув голову с высокомерным презрением.— Смирение приличествует твоему полу и положению, иначе твоя слабость приведет тебя к грехопадению, и тогда «бездна разверзнется перед тобой».

Мисс Пейтон, пораженная странным поведением этого пастыря, но привыкшая говорить почтительно обо всем, что касается религии, хотя порой было бы лучше промолчать, ответила:

— Есть высшая сила, которая всегда готова помочь нам в добрых делах, если мы призываем ее с верой и смирением.

Священник угрюмо взглянул на нее и, состроив постную мину, продолжал таким же неприятным тоном:

— Не всякий, кто взывает к милосердию, будет услышан. Пути господни неисповедимы, и на земле «много званых, но мало избранных». Легче говорить о смирении, нежели смириться душой. Хватит ли у тебя смирения, о жалкий червь, чтобы отречься от себя и тем прославить господа? А если нет, то убирайся прочь, как мытарь и фарисей!

Такой жестокий фанатизм был необычен в Америке, и мисс Пейтон начала опасаться, не поврежден ли у посе-

тителя рассудок, однако, вспомнив, что его послал очень известный и почитаемый священнослужитель, она отогнала это подозрение и сказала сдержанно:

— Быть может, я ошибаюсь, считая, что бог милосерд ко всем, но это утешительная вера, и я не хотела бы ее утратить.

— Милосердие даруется только избранным! — воскликнул ее собеседник с необыкновенной горячностью.— Вы же находитесь в «долине греха, осененной смертью». Разве вы не поклонница суетных церемоний, введенных тщеславной церковью, которую хотят утвердить здесь наши тираны, вместе с законами о гербовом сборе и пошлиной на чай? [1] Отвечай мне, о женщина, и помни, что небо слышит твои слова,— разве ты не принадлежишь к этим идолопоклонникам?

— Я поклоняюсь богу моих предков,— ответила мисс Пейтон, делая Генри знак, чтобы он молчал,— и не создаю себе иных богов, несмотря на мое невежество.

— Да, да, я знаю вас, все вы люди самодовольные, преданные папе, любители церемоний и обрядов и почитатели книжных проповедей. Неужели ты думаешь, женщина, что святой Павел читал по написанному, когда обращался с проповедью к верующим?

— Боюсь, что я мешаю вам,— сказала мисс Пейтон, вставая с места.— Лучше я оставлю вас наедине с моим племянником и пойду помолюсь одна, хотя мне и хотелось присоединиться к его молитвам.

С этими словами она вышла из комнаты вместе с фермершей, которая была немало удивлена и огорошена неумеренным пылом своего нового знакомого; и, хотя добрая женщина думала, что мисс Пейтон и все ее единоверцы стоят на прямом пути к гибели, она все же не привыкла

[1] В 1765 году английский парламент издал закон о гербовом сборе (налог, взимающийся путем обязательного употребления гербовой бумаги при составлении официальных документов или же наклеивания на них гербовых марок) в своих колониях в Северной Америке. Закон этот вызвал бурный протест у местного населения и через год был отменен. В 1773 году английский парламент принял «чайный закон», по которому чай, ввозимый из Англии в Америку, освобождался от пошлины, но был обложен небольшим налогом. Колонисты отказались покупать чай; в декабре 1773 года группа бостонцев напала на английский корабль и выбросила в море находившийся на нем груз чая. Это так называемое «Бостонское чаепитие» непосредственно предшествовало войне за независимость Северной Америки.

слушать такие резкие и оскорбительные предсказания об ожидающей их участи.

Генри с трудом подавлял в себе возмущение этим ничем не вызванным нападением на его кроткую и безобидную тетушку; однако, как только дверь захлопнулась за ней, он дал волю своим чувствам.

— Должен сознаться, сэр,— горячо воскликнул он,— что, принимая служителя божия, я надеялся увидеть христианина, человека, сознающего свои слабости и потому снисходительного к слабостям других. Вы ранили кроткое сердце добрейшей женщины, и, по правде сказать, мне совсем не хочется, чтобы к моим молитвам присоединился такой беспощадный заступник.

Священник стоял, с достоинством выпрямив свою тощую фигуру, и проводил выходящих женщин взглядом, полным презрительной жалости. Он выслушал запальчивое замечание капитана совершенно равнодушно, не обратив на него никакого внимания. Вдруг в комнате раздался какой-то новый голос:

— Такие разоблачения довели бы многих женщин до обморока; впрочем, мои слова и так оказали нужное действие.

— Кто здесь? — вскрикнул Генри, с удивлением озираясь вокруг и отыскивая того, кто это сказал.

— Это я, капитан Уортон,— сказал Гарви Бёрч и, сняв зеленые очки, открыл свои проницательные глаза, блестевшие из-под наклеенных бровей.

— Боже милостивый — Гарви!

— Молчите,— серьезно ответил разносчик.— Это имя не следует произносить, и, уж во всяком случае, не здесь, в сердце американской армии.

С минуту Бёрч молчал, оглядываясь вокруг с волнением, лишенным низкого чувства страха, и продолжал мрачно:

— Одно это имя привлечет тысячу палачей, и, если меня снова схватят, у меня останется очень мало надежды на спасение. Я затеял сейчас весьма опасное дело, но я не могу спать спокойно, зная, что невинному человеку грозит собачья смерть, тогда как я мог бы его спасти.

— Нет,— возразил Генри, и лицо его вспыхнуло от благодарности.— Если вам угрожает такая ужасная опасность, уходите так же, как вы сюда пришли, и предоставьте меня моей участи. Данвуди сейчас принимает

решительные меры, чтобы спасти меня; и, если ему удастся в течение этой ночи встретить мистера Харпера, то я, наверное, буду на свободе.

— Харпера! — повторил разносчик, так и застыв с поднятыми руками, ибо собирался вновь надеть зеленые очки.— Что вы знаете о Харпере? И почему вы думаете, что он вам поможет?

— Он сам обещал мне. Разве вы забыли недавнюю встречу с ним в доме моего отца? Тогда он обещал мне свою помощь.

— Помню. Но разве вы знаете, кто он... то есть, почему вы думаете, что он в силах вам помочь? И почему вы уверены, что он помнит данное вам слово?

— Если есть на свете человек, чье лицо — воплощенное благородство, доброта и честность, то это Харпер,— ответил Генри.— К тому же у Данвуди есть могущественные друзья в мятежной армии, и мне лучше дождаться решения моей судьбы, сидя на месте, чем обрекать вас на верную смерть, если вы будете обнаружены.

— Капитан Уортон,— сказал Бёрч серьезно и настойчиво, с опаской озираясь вокруг,— если я не спасу вас, никто вас не спасет. Ни Харпер, ни Данвуди не сохранят вам жизнь. Если вы не уйдете отсюда со мной в течение часа, завтра утром вы умрете на виселице, как убийца. Да, таковы у нас законы: тому, кто сражается, убивает и грабит, оказывают всякие почести, а тому, кто служит своей родине как шпион, будь он самый верный, самый бескорыстный человек, достается всеобщее презрение, и его казнят, как самого подлого преступника.

— Вы забываете, мистер Бёрч,— с возмущением возразил молодой человек,— что я не подлый тайный шпион, который обманывает и предает! Ведь я не совершил преступления, в котором меня обвиняют.

Бледное, худое лицо разносчика вспыхнуло огнем, но кровь тут же отхлынула от его щек, и он спокойно ответил:

— Я сказал вам правду. Сегодня поутру я встретил Цезаря, ехавшего по вашему поручению, и мы составили вместе с ним план побега, который спасет вас, если нам удастся его выполнить, иначе вы погибли. И я повторяю еще раз: кроме меня, никакая сила в мире, даже сам Вашингтон, не в состоянии вас спасти.

— Я согласен,— сказал Генри, убежденный его серь-

езным тоном и поддаваясь страху, вновь проснувшемуся в его душе.

Разносчик зна́ком велел ему молчать и, подойдя к двери, открыл ее с тем же бесстрастным, суровым видом, с каким недавно вошел в комнату.

— Послушай, друг, никого не впускай сюда,— сказал он часовому,— мы будем молиться и хотим быть одни.

— Не думаю, чтобы кто-нибудь вздумал помешать вам,— ответил солдат, насмешливо прищурив глаза,— но, если родным заключенного придет в голову войти к нему, я не имею права их останавливать; я получил приказ и должен его выполнять, к тому же мне, ей-богу, все равно, попадет ли англичанин в рай или нет.

— Дерзкий грешник! — воскликнул мнимый пастырь.— Неужели ты не знаешь, что такое страх божий? Говорю тебе, если ты хочешь избежать наказания в день страшного суда, не впускай сюда никого из этих идолопоклонников, да не помешают они молениям праведных.

— Хо-хо-хо! Из вас вышел бы достойный начальник для сержанта Холлистера! От ваших проповедей он онемел бы во время переклички. А ну-ка, потише,— коли вы поднимете здесь такой шум своими разглагольствованиями, что заглушите нашу сигнальную трубу и ребята, сидя за грогом, прозевают сигнал и пропустят вечерний сбор, уж вам не поздоровится, верьте моему слову! Если вам так хочется побыть с ним одному, то вставьте свой нож в дверной замок. Или вам нужен целый кавалерийский полк, чтобы охранять ваш молельный дом?

Разносчик послушался этого совета и тотчас запер дверь, приняв меры предосторожности, которые ему подсказал драгун.

— Вы переигрываете,— заметил Уортон, боявшийся, что все откроется,— и проявляете слишком большое рвение.

— Для пехотинца или ополченца из Восточных штатов это, может, и было бы чересчур заметно,— сказал Гарви, развязывая узел, который ему подал Цезарь,— но с этими драгунами надо держаться смело. Робкий человек, капитан Уортон, ничего у них не добьется. Однако подойдите сюда: вот черная оболочка для вашего красивого лица,— и он вынул черную маску из пергамента и надел ее на Генри.— Хозяин и слуга должны на время поменяться местами.

— По-моему, он ни капли не похож на меня,— сказал Цезарь, с отвращением разглядывая своего преобразившегося молодого господина.

— Погоди минутку, Цезарь,— ответил разносчик со свойственным ему порой скрытым юмором.— Надо еще прикрыть ему голову шерстью.

— Так еще хуже, чем было! — воскликнул раздосадованный слуга.— Разве цветной человек походит на овцу? Никогда у меня не была такая губа, Гарви: эта губа толстая, как сосиска.

Немало труда положили заговорщики, чтобы с помощью разных ухищрений изменить наружность капитана Уортона, но, когда все было закончено, они добились под умелым руководством Бёрча такого полного превращения, что заметить подделку мог бы только необыкновенно проницательный наблюдатель.

Темной маске придали такую форму, что она передавала не только цвет, но и все особенности африканского лица, а искусно сделанный из черной и белой шерсти парик почти не отличался от черных с проседью волос Цезаря; даже сам он одобрил его и нашел, что эта прекрасная подделка отличается от образца только качеством материала.

— Во всей американской армии лишь один человек мог бы узнать вас, капитан Уортон,— сказал разносчик, с удовлетворением осматривая дело своих рук,— но он не встретится у нас на пути.

— Кто же это?

— Тот, кто вас задержал! Он разглядел бы вашу белую кожу даже сквозь деревянную обшивку. А теперь скиньте оба все, что на вас надето, и поменяйтесь платьем.

Цезарь, получивший подробные наставления от разносчика еще во время утренней встречи, принялся быстро сбрасывать свою грубую одежду, в которую молодой человек начал облачаться, не в силах отделаться от некоторого неприятного чувства.

В поведении разносчика проглядывала странная смесь осмотрительности и юмора; первую черту порождало ясное сознание угрожавшей им опасности и необходимости принимать все меры, чтобы ее избежать, вторую же — понимание комизма создавшегося положения.

Бёрч действовал быстро и хладнокровно, что объясня-

лось его давнишней привычкой к такого рода рискованным предприятиям.

— А теперь, капитан,— сказал он и, взяв пучок шерсти, начал набивать чулки Цезаря, которые Генри уже успел натянуть себе на ноги,— необходимо изменить форму ваших икр. Когда вы сядете верхом на лошадь, вы выставите ноги напоказ, а у наших южан острый глаз: стоит им взглянуть на ваши тонкие икры, как они сразу скажут, что эти ноги никогда не принадлежали негру.

— Ловко! — сказал Цезарь и улыбнулся, растянув рот до ушей.— Штаны масса Генри мне в самый раз.

— Тебе, но не твоим ногам,— заметил разносчик, спокойно продолжая заниматься костюмом Генри.— Теперь наденьте его куртку, капитан. Даю слово, в таком наряде вы могли бы отправиться прямо на бал-маскарад. А ты, Цезарь, натяни на свои кудри этот напудренный парик, садись тут, смотри в окно и не поворачивайся, сколько бы ни отворялась дверь, а главное — молчи, не говори ни слова, или ты все погубишь.

— Как видно, Гарви думает — этот негр не может держать язык за зубами! — проворчал Цезарь, садясь на указанное ему место.

Теперь все было готово, и разносчик настойчиво повторил наставления обоим участникам предстоящей сцены. Он убеждал капитана забыть о военной выправке и на время перенять робкую походку слуги своего отца, а Цезарю он снова приказал молчать и не шевелиться как можно дольше, пока будет возможно. Закончив все приготовления, он отворил дверь и громко позвал часового, отошедшего в дальний конец коридора, чтобы до него не долетали молитвы и слова утешения, которые предназначались только для заключенного.

— Позовите сюда хозяйку,— сказал Гарви с той же суровостью, какую он раньше напускал на себя,— и пусть она придет одна. Заключенный погрузился в благочестивые размышления, и нельзя их прерывать.

Цезарь закрыл лицо руками, и солдат, заглянув в комнату, решил, что арестант и вправду глубоко задумался. Бросив на священника насмешливый взгляд, часовой громко позвал хозяйку. Она поспешила на призыв и вошла с тайной надеждой, что ей удастся услышать предсмертные покаяния грешника.

— Сестра моя,— произнес пастырь внушительным то-

ном,— имеется ли в вашем доме книга «Последние минуты христианина, совершившего преступление, или Мысли о вечности для тех, кто осужден на насильственную смерть»?

— Я никогда не слышала об этой книге,— ответила опешившая хозяйка.

— Это не удивительно: есть много книг, о которых вы не слыхали. Но бедный осужденный не может умереть с миром, если не получит утешений из этой книги. Один час чтения «Мыслей» стоит всех проповедей, прослушанных за целую жизнь.

— Боже мой, что за сокровище эта книга! Где же ее напечатали?

— Впервые ее напечатали в Женеве на греческом языке, а затем ее перевели и издали в Бостоне. Эта книга, сестра моя, должна быть у каждого христианина, особенно у того, кто присужден к повешению. Велите сейчас же оседлать лошадь для этого негра, он поедет со мной к моему собрату, и я пришлю сюда эту книгу, пока еще не поздно. Успокойся, брат мой, теперь ты на верном пути к спасению!

Цезарь слегка заерзал на стуле, однако сумел овладеть собой и не отнял от лица рук, на которых были надеты перчатки. Хозяйка фермы ушла, чтобы выполнить разумное требование священника, и заговорщики были снова предоставлены самим себе.

— Пока все сошло хорошо,— сказал Гарви,— но гораздо труднее будет обмануть офицера, командующего караулом; этот лейтенант служит под начальством капитана Лоутона и научился у него разбираться в таких вещах. Помните, капитан Уортон,— продолжал он внушительно,— наступает минута, когда все будет зависеть от вашего хладнокровия.

— Моя участь не может быть хуже, чем она есть, мой отважный друг, но ради вас я сделаю все, что в моих силах.

— А кто может терпеть бóльшие невзгоды и преследования, чем я? — воскликнул разносчик, и на лице его мелькнуло горестное выражение, которое часто омрачало его черты.— Но я обещал *ему* спасти вас, а я никогда не нарушаю данного *ему* слова.

— *Ему?* О ком вы говорите? — спросил Генри с проснувшимся любопытством.

— Ни о ком.

Тут вернулся часовой и объявил, что лошади ждут у крыльца. Гарви взглянул на капитана и пошел вперед, но перед уходом еще раз попросил хозяйку оставить узника одного, чтобы тот мог на покое усвоить данную ему так поздно благотворную пищу духовную.

Стоявший у дверей часовой уже успел рассказать товарищам о странностях священника, и, когда Гарви и Уортон вышли во двор, они увидели с дюжину слонявшихся без дела драгун, дожидавшихся фанатического пастыря, чтобы посмеяться над ним, но делавших вид, будто они осматривают лошадей.

— Прекрасный конь,— сказал зачинщик этой проделки,— только он слегка отощал! Видно, вы задаете ему немало работы, выполняя вашу святую задачу.

— Моя задача, быть может, тяжела и для меня и для этого верного животного, но зато близится день расплаты, когда мне воздастся за мои лишения и труды,— ответил Бёрч, ставя ногу в стремя и собираясь сесть в седло.

— А разве вы работаете за плату, как и мы? — крикнул другой солдат.

— А как же! Всякий трудящийся достоин награды за труды свои.

— Послушайте, нам хотелось бы, чтоб вы сказали небольшую проповедь. У нас как раз выдалась свободная минута, и вы представить себе не можете, сколько добра принесет ваше короткое поучение таким грешникам, как мы; вот, станьте сюда, на эту колоду, и выберите проповедь из любой книги.

Драгуны, предвкушая предстоящую забаву, собрались вокруг разносчика, а он, выразительно взглянув на капитана, который уже сел на лошадь, отвечал:

— Я готов, ибо таков мой долг. Но ты, Цезарь, поезжай вперед и отвези мою записку. Бедный заключенный ждет святой книги, а часы его сочтены.

— Да, да, вперед, Цезарь, и поторапливайся! — закричали сразу несколько голосов, и солдаты еще теснее столпились вокруг воображаемого проповедника, собираясь хорошенько повеселиться.

Разносчик втайне опасался, как бы бесцеремонные солдаты не схватили его за платье и не сдвинули шляпу и парик,— тогда он был бы разоблачен, а потому решил исполнить их просьбу. Взобравшись на колоду, он бросил

несколько тревожных взглядов на капитана, сидевшего на лошади, не двигаясь с места, раза два откашлялся и начал говорить:

— Я хочу обратить ваше внимание, дорогие братья, на то место во второй книге Самуила, где говорится: «И король оплакал Абенера и вопросил: умер ли Абенер понапрасну? Руки твои были не связаны, ноги не закованы: ты пал, как человек падает от руки разбойника. И весь народ возрыдал над ним»... Цезарь, я сказал тебе, отправляйся вперед и привези книгу, о которой я говорил. Твой хозяин томится и стенает от желания прочесть ее.

— Какой прекрасный текст! — закричали драгуны.— Валяйте дальше и дайте послушать проповедь этому беловолосому негру — ему это так же полезно, как и всем.

— Что вы здесь делаете, бездельники? — раздался вдруг голос Мейсона, неожиданно появившегося после небольшой прогулки: он ходил на вечернюю перекличку ополченцев, чтобы немного поразвлечься.— А ну-ка, все по местам, и смотрите, чтобы к моему обходу каждая лошадь была вычищена и у всех лежала свежая подстилка!

Голос офицера прозвел поистине магическое действие, и никакой проповедник не мог бы найти более безмолвной паствы, хотя он мог бы пожелать, чтобы она была более многочисленна, ибо не успел Мейсон договорить, как подле разносчика осталась лишь одинокая фигура Цезаря. Бёрч воспользовался случаем и тотчас сел на лошадь, однако он постарался при этом сохранить торжественную медлительность движений, ибо замечание драгуна о худобе его скакуна было вполне справедливо, а тут же рядом стояли под седлом с десяток упитанных драгунских коней, готовых в любую минуту принять седоков и броситься в погоню.

— Ну как, удалось вам взнуздать того бедного малого, сэр,— спросил Мейсон,— и подготовить к последней поездке в царство божие?

— Речи твои греховны, нечестивый человек! — воскликнул проповедник, воздев кверху руки и устремив глаза к небу, словно в священном ужасе.— Я уезжаю от тебя и спасаюсь от греха, как Даниил спасся из львиного рва.

— Ну и уезжай, лицемерный псалмопевец, жалкий ханжа, мошенник в рясе! — с гневом ответил Мейсон.— Клянусь жизнью Вашингтона, всякого честного человека возмущает, что такое жадное воронье, как ты, опустошает

страну, за которую он проливает кровь. Попадись ты мне только на виргинской плантации, я бы живо заставил тебя обирать гусениц с табачных кустов вместе с индюшками!

— Я покидаю тебя и отрясаю прах с моих ног, чтобы ни одна пылинка из этого вертепа греха не осквернила одежды праведника!

— Уезжай скорей, не то я сам выбью пыль из твоего сюртука, грязный пройдоха! Вздумал читать проповеди моим солдатам! Хватит с них и того, что Холлистер морочит им голову своими поучениями; эти негодяи скоро станут такими сердобольными, что не решатся поднять руку на врага и оцарапать ему кожу. А ты постой! Куда это ты отправился, черномазый, в такой богобоязненной компании?

— Он едет,— поспешно ответил пастырь вместо своего спутника,— за священной книгой, которая очистит от скверны его молодого господина, чья грешная душа быстро станет белой, если бы даже лицо у него было такое же черное, как у этого негра. Неужели вы откажете умирающему в духовном утешении?

— Нет, нет, судьба этого бедняги и так слишком печальна... А каким отменным завтраком накормила нас его гостеприимная тетушка! Но слушайте, господин Обличитель, если этому молодому человеку предстоит умереть secundum artem, то пусть уж его напутствует настоящий священник, и мой вам совет: чтоб ваша тощая фигура никогда больше не появлялась среди нас, иначе я без всяких церемоний спущу с нее шкуру.

— Я покидаю тебя, безбожник и нечестивец! — ответил Бёрч, медленно отъезжая от него, чтобы не уронить свое достоинство, и направился к дороге, сопровождаемый Цезарем.— Но оставляю тебе мое осуждение и увожу от тебя надежду на радостное очищение от грехов!

— Будь ты проклят! — пробормотал драгун ему вслед.— Этот кащей сидит на лошади, как палка, а ноги у него торчат в стороны, словно углы его треуголки. Хотел бы я встретиться с ним подальше в горах, где не так строго соблюдают законы, уж я бы...

— Капрал, капрал! Начальник охраны! — закричал часовой, стоявший у двери заключенного.— Капрал! Подите сюда!

Лейтенант спустился по узкой лестнице, ведущей к комнате арестанта, и спросил часового, в чем дело.

Солдат стоял у приоткрытой двери и с подозрением разглядывал пленного офицера. Увидев подошедшего лейтенанта, он с должной почтительностью отступил от двери и сказал задумчиво, слегка смущенный:

— Я и сам не знаю, в чем дело, сэр. Но у арестанта какой-то странный вид. С тех пор как ушел проповедник, он сам на себя не похож. Однако,— продолжал солдат, внимательно глядя на узника через плечо офицера,— это может быть только он. Та же напудренная голова и та же заплата на мундире, которую сделали в тот день, когда его ранили в стычке с врагом.

— Значит, ты поднял весь этот шум только потому, что тебе почудилось, будто этот бедный офицер не наш арестант, так, что ли? Кто же другой здесь может быть, черт возьми?

— Я не знаю, кто это может быть,— угрюмо ответил солдат,— но только он стал меньше и толще, если это он; и, посмотрите сами, сэр, он весь трясется, как в лихорадке.

Это была истинная правда. Цезарь в страхе слушал этот короткий разговор и, порадовавшись удачному бегству своего молодого хозяина, естественно, начал тревожиться при мысли о том, как это бегство отразится на его собственной особе. Молчание, наступившее за последним замечанием часового, нисколько не успокоило его взволнованных чувств. Лейтенант Мейсон продолжал разглядывать подозрительную фигуру заключенного, и Цезарь заметил это, бросив вбок тревожный взгляд сквозь слегка растопыренные пальцы, которыми он по-прежнему закрывал себе лицо, чтоб его не узнали. Капитан Лоутон сразу разгадал бы обман, но Мейсон был далеко не так проницателен, как его командир. Поэтому он повернулся к солдату и презрительно сказал, понизив голос:

— Этот анабаптист, методист, квакер или как его там зовут, словом мошенник псалмопевец, совсем напугал беднягу рассказами о кипящей сере и вечном пламени. Пойду-ка к нему и подбодрю его разумной беседой.

— Я слыхал, что от страха люди белеют,— сказал солдат, делая шаг назад и так тараща глаза, что они чуть не вылезли у него на лоб,— но сейчас королевский капитан, кажется, почернел!

Дело в том, что Цезарь не слышал замечаний говорившего вполголоса Мейсона, а так как страх его все усили-

вался и он хотел знать, что ему грозит, то он осторожно сдвинул парик с одного уха, чтобы лучше слышать, забыв при этом, что цвет кожи может его выдать. Часовой, не сводивший глаз с заключенного, тотчас это заметил. Тут и Мейсон обратил внимание на это обстоятельство и, отбросив всякую деликатность по отношению к несчастному собрату по оружию или, вернее, забыв обо всем, кроме позора, грозящего его отряду, кинулся в комнату и схватил за горло насмерть перепуганного негра; а Цезарь, поняв, что они разглядели цвет его кожи, и зная, что теперь ему не миновать разоблачения, едва услышал громкие шаги Мейсона, как тотчас вскочил со стула и забился в угол.

— Кто ты такой? — закричал Мейсон, стукая старого негра головой о стенку при каждом вопросе.— Кто ты, черт тебя подери, и где английский офицер? Отвечай же, негодяй! Говори, чучело, не то я вздерну тебя на виселицу!

Цезарь держался стойко. Ни угрозами, ни тумаками лейтенанту не удалось вырвать у него ни слова, пока тот не изменил тактику и, подняв ногу в тяжелом сапоге, не нанес невольнику сильный удар в самое чувствительное место — в голень. Тут даже твердокаменный человек не мог бы потребовать, чтобы Цезарь дольше терпел такие мученья, и бедняга сдался.

— Что вы, масса! Вы думаете, я ничего не чувствую? — закричал он.

— Боже праведный! Да ведь это старый слуга-негр! — воскликнул Мейсон.— Ах ты, плут, где твой хозяин? Кто этот проповедник? — И он хотел возобновить нападение.

Но Цезарь завопил, прося пощады и обещая рассказать все, что знает.

— Кто этот проповедник? — повторил драгун, поднимая свою ужасную ногу и держа ее наготове для нового удара.

— Гарви, Гарви! — кричал Цезарь, прыгая с ноги на ногу и пытаясь увернуться от сапога.

— Какой Гарви? — нетерпеливо вскричал лейтенант.— Говори, черная образина! — И, дав волю ноге, угрожавшей негру, с размаху отвесил ему тяжелый удар.

— Бёрч! — завопил Цезарь, падая на колени; и крупные слезы покатились по его лоснящемуся лицу.

— Гарви Бёрч! — как эхо, повторил лейтенант и, отшвырнув старого слугу, бросился вон из комнаты.

— К оружию! К оружию! Пятьдесят гиней за голову шпиона-разносчика! Не давать пощады ни тому, ни другому! На коней! К оружию! Вперед!

Поднялась суматоха: драгуны, спеша и толкаясь, бросились толпой к лошадям, а Цезарь поднялся с пола и принялся осматривать полученные им повреждения. К счастью для него, на этот раз ему расшибли только голову, и он решил, что дешево отделался.

Глава XXIX

Напялив шляпу на парик,
Пустился Джи́лпин в путь,
Не думал он, что сможет вмиг
Так дело повернуть.

Купер

Чтобы скрыться в горах, разносчику и капитану надо было проехать с полмили по открытой дороге, которая была отлично видна из дверей дома, недавно служившего Генри тюрьмой: она тянулась вдоль плодородной долины, доходившей до самого подножия гор, вздымавшихся впереди отвесными скалистыми уступами; здесь дорога резко поворачивала вправо и, петляя по извилистым ущельям, исчезала среди горных склонов.

Желая подчеркнуть расстояние, отделяющее священнослужителя от невольника-негра, Гарви ехал впереди, сохраняя спокойный, важный вид, соответствующий его роли. Справа возле дороги были раскинуты палатки, где отдыхали пехотинцы, о которых мы говорили выше, а неподалеку от них мерным шагом расхаживали часовые, охранявшие лагерь.

Первым побуждением Генри было пустить лошадь галопом, чтобы поскорей ускакать от них и избавиться от смертельной тревоги за свою жизнь. Но едва он рванулся вперед, как разносчик тотчас остановил его.

— Стойте! — закричал он и, быстро повернув свою лошадь, преградил ему путь.— Вы что́, хотите погубить и себя и меня? Не забывайте — негр должен ехать позади

своего хозяина. Вы, кажется, видели драгунских кровных скакунов: они стоят оседланные и взнузданные на солнышке перед домом. Долго ли продержится ваша жалкая голландская кляча, если за ней помчатся сытые кони виргинцев? Каждый фут, выигранный нами до начала погони, стóит целого дня жизни. Поезжайте спокойно за мной и не вздумайте оглядываться назад. Эти драгуны хитры, как лисицы, и кровожадны, как волки!

Генри с трудом подавил свое нетерпение и послушался разносчика. Но воображение его все время рисовало страшные картины, и ему чудился шум погони, хотя Бёрч, который иногда оборачивался, как будто для того, чтобы отдать ему распоряжение, уверял его, что пока все спокойно.

— Однако,— заметил Генри,— Цезаря несомненно должны скоро узнать. Не лучше ли нам сразу пустить лошадей в галоп? Пока драгуны будут раздумывать, почему мы так несемся, мы успеем добраться до опушки леса.

— Вы, видно, плохо знаете их, капитан Уортон,— возразил Бёрч.— Смотрите, вон на нас глядит их сержант, и вид у него такой, словно он чует, что тут дело нечисто. Он уставился на меня и следит, будто притаившийся тигр, готовый к прыжку. Когда я стоял на колоде, он уже начал в чем-то меня подозревать. Нет, нет, придержите вашу лошадь — мы должны ехать медленно, спокойно. Я вижу, он уже положил руку на луку своего седла. Если он вскочит на коня — мы пропали. Пехотинцы могут застрелить нас из мушкетов.

— А теперь что он делает? — спросил Генри, сдерживая лошадь и в то же время прижимая каблуки к ее бокам, чтобы быть наготове, если придется броситься вскачь.

— Он отвернулся от своего коня и смотрит в другую сторону. Теперь можете ехать рысцой... Не спешите, но спешите. Поглядите на часового, вон там в поле, чуть впереди: он уставился на нас — глаз не спускает.

— Пехотинцы меня не пугают,— нетерпеливо сказал Генри,— они могут только нас застрелить, а вот драгуны могут снова взять меня в плен. Слушайте, Гарви, я слышу топот позади нас. Вы ничего там не видите?

— Гм! — пробормотал разносчик.— Кое-что вижу, но не там, а в чаще, слева. Поверните-ка слегка голову, посмотрите сами и сделайте нужные выводы.

Генри живо воспользовался этим разрешением, по-

смотрел влево, и кровь застыла у него в жилах: они проезжали мимо виселицы, сооруженной, несомненно, для него самого. Он отвернулся, не скрывая ужаса.

— Это предостережение, чтобы вы были осторожны,— сказал разносчик назидательным тоном, каким он часто говорил теперь.

— Какое страшное зрелище! — воскликнул Генри и на мгновение прикрыл глаза рукой, словно стараясь отогнать грозное видение.

Разносчик, слегка обернувшись назад, сказал с болью и горечью:

— И, однако, капитан Уортон, вы смотрите на виселицу издали, и вас освещают лучи заходящего солнца, вы дышите свежим воздухом, и перед вами выступают зеленые холмы. С каждым шагом вы удаляетесь от проклятой перекладины, и каждое темное ущелье, каждый дикий утес может дать вам приют и скрыть вас от мстительных врагов. Я же видел плаху там, где ничто не сулило избавления. Дважды бросали меня в тюрьму, и много ночей я томился в оковах, ожидая, что утренняя заря принесет мне позорную смерть, и холодный пот покрывал мое иссохшее тело. А когда я подходил к крошечному окошку с железной решеткой, откуда в темницу проникал свежий воздух, и хотел обрести утешение, взглянув на природу, которую бог сотворил для всех, даже для самых отверженных своих созданий, перед моими глазами вставала виселица, и это видение терзало меня, как нечистая совесть — умирающего грешника. Четыре раза я был в их власти, не считая сегодняшнего дня; и дважды я считал, что пришел мой смертный час. Тяжело расставаться с жизнью, когда ты счастлив и любим, капитан Уортон, но еще ужаснее встречать смерть в полном одиночестве, ни у кого не видя жалости; знать, что ни один человек не подумает об ожидающей тебя судьбе; помнить, что через несколько часов тебя выведут из темницы, которая кажется тебе желанной при мысли о том, что́ тебя ждет; представлять себе, как при свете дня люди будут разглядывать тебя, словно дикого зверя, а потом ты покинешь земную обитель, осыпанный насмешками и оскорблениями твоих ближних,— вот, капитан Уортон, что значит настоящая смерть.

Потрясенный Генри слушал речь своего спутника, который говорил с необычной для него горячностью. Каза-

лось, оба забыли о грозившей им опасности и о взятых на себя ролях.

— Неужели вы так часто смотрели в глаза смерти?

— Вот уже три года за мной охотятся здесь в горах, как за диким зверем! — ответил Гарви.— Один раз меня уже подвели к виселице, я взошел на помост, и меня спасли только внезапно появившиеся королевские войска. Приди они на четверть часа позже, и я бы погиб. Я стоял, окруженный толпой равнодушных мужчин, любопытных женщин и детей, глазевших на меня, как на мерзкое чудовище. Когда я начинал молиться богу, меня оскорбляли, повторяя россказни о моих преступлениях, и, оглядываясь вокруг, я не находил ни одного дружеского лица, ни одного человека, который пожалел бы меня,— ни одного! Все проклинали меня и называли негодяем, продавшим за деньги свою родину. Солнце, казалось, сияло ярче, чем всегда, но для меня оно сияло в последний раз. А поля весело зеленели кругом, и мне думалось, что лучше не может быть и в раю. Ах, какой желанной казалась мне жизнь в ту минуту! То был страшный час, капитан Уортон, такого вам еще не довелось пережить! У вас есть родные и друзья, они скорбят о вас, у меня же не было никого, кроме отца,— он один горевал бы обо мне, если б узнал о моей гибели. Но здесь я не видел ни участия, ни сострадания, никто не пытался облегчить мои муки. Я даже думал, что и *он* забыл о моем существовании.

— Как, неужели вы думали, что сам бог забыл о вас, Гарви?

— Господь никогда не забывает своих слуг,— проникновенно возразил Бёрч, выказывая искреннее благочестие, хотя недавно только притворялся благочестивым.

— Про кого же вы сказали «он»?

Тут разносчик выпрямился в седле с чопорным видом, снова превратившись в пастыря, которого он изображал. Огонь, горевший в его глазах, угас, а взволнованное выражение сменили сухая сдержанность и непреклонность, и он ответил так, словно разговаривал с негром:

— На небесах людей не различают по цвету кожи, брат мой, и потому выполняйте данное вам серьезное поручение, а позже дадите мне подробный отчет.— Тут он понизил голос и продолжал: — возле дороги стоит последний часовой. Если жизнь вам дорога, не оглядывайтесь назад.

Генри вспомнил о своем положении и тотчас принял смиренную позу, соответствующую его роли. Вскоре он забыл о неожиданной горячности разносчика, ибо думал лишь об угрожавшей ему опасности, и его вновь охватила затихшая было тревога.

— Что вы видите, Гарви? — воскликнул он, заметив, что разносчик с мрачным лицом внимательно смотрит на покинутую ими ферму.— Что происходит возле дома?

— То, что я вижу, не сулит нам ничего хорошего,— ответил лжесвященник.— Теперь вы должны владеть в совершенстве всеми своими органами чувств, сбросьте с себя парик и маску и киньте их на дорогу; впереди нам бояться некого, но те, что остались позади, готовят нам беспощадную погоню!

— Тогда не будем даром терять время! — вскричал капитан, бросая на землю маску и парик.— До поворота остается всего четверть мили, почему не поскакать во весь опор?

— Спокойнее, капитан. Они подняли тревогу, но драгуны не бросятся за нами без офицера, если не увидят, что мы удираем от них. Вот он вышел, идет к конюшне... Теперь переходите на рысь; вот с десяток солдат вскочили в седла, но офицер задержался, чтобы подтянуть подпругу... они надеются незаметно подкрасться к нам... вот и офицер в седле. Теперь скачите, капитан Уортон, коли вам дорога жизнь, и не отставайте от меня! Если задержитесь — все пропало!

Разносчику не пришлось повторять свой совет. Как только Бёрч пустил лошадь вскачь, капитан бросился следом за ним, отчаянно погоняя свою несчастную клячу. Бёрч сам выбрал себе коня, и, хотя он далеко уступал откормленным драгунским скакунам, все же был не в пример лучше жалкого пони, которого сочли вполне достойным возить Цезаря Томпсона. Стоило этой лошадке сделать несколько прыжков, как Генри увидел, что спутник быстро удаляется от него, а бросив испуганный взгляд назад, он убедился, что враги так же быстро его нагоняют. Несчастье кажется нам вдвое тягостней, когда мы вынуждены переносить его в одиночестве, и капитан в отчаянии закричал разносчику, чтобы тот его не покидал. Гарви тотчас придержал коня и обождал, пока капитан на своем пони не поравнялся с ним. Когда лошадь разносчика пустилась вскачь, треугольная шляпа и парик

свалились у него с головы, и это превращение, происшедшее на глазах у драгун, окончательно разоблачило беглецов; солдаты подняли оглушительный крик, и нашим всадникам показалось, что он раздался у них прямо за спиной, так ясно были слышны эти вопли и так сильно уменьшилось расстояние между беглецами и преследователями.

— Не лучше ли нам соскочить с лошадей,— спросил Генри,— и добежать до холмов пешком, по полям влево от дороги? Ограда задержит драгун.

— Этот путь ведет прямо к виселице,— ответил разносчик.— Драгуны скачут вдвое быстрее, чем мы, а ограда задержит их не больше, чем нас — рытвины в поле. До поворота совсем недалеко, а за ним в лес идут две дороги. Солдаты могут там задержаться, пока решат, по какой дороге скакать за нами, и мы выиграем немного времени.

— Но моя клячонка уже задыхается. Ей не проскакать и полумили! — крикнул Генри, подгоняя пони концом повода.

Тут Гарви подстегнул ее несколько раз тяжелым хлыстом.

— Пусть она пробежит только четверть мили — этого нам довольно,— сказал разносчик.— С нас хватит даже четверти мили — и мы спасены, если вы будете слушаться меня.

Немного успокоенный хладнокровием и уверенностью своего спутника, Генри продолжал молча погонять свою лошадь. Через несколько минут беглецы достигли желанного поворота и, огибая низкие кусты, бросили взгляд назад, на растянувшихся вдоль дороги драгун. У Мейсона и сержанта были более резвые кони, они далеко опередили остальных и скакали гораздо ближе, чем Гарви мог ожидать.

У подножия холмов, на некотором расстоянии от темного ущелья, вившегося между горами, росла густая молодая поросль на месте прежнего леса, срубленного на топливо. Увидев этот подлесок, Генри снова предложил разносчику сойти с коней и спрятаться в нем; но Бёрч решительно отказался. Упомянутые им две дороги проходили недалеко от поворота, образуя острый угол, и разбегались в разные стороны, так что издали была видна лишь небольшая их часть. Разносчик выбрал левую дорогу, но вскоре свернул вправо по тропинке между деревьями,

пересек правую дорогу и начал подниматься вверх по склону, расположенному прямо перед ним. Эта уловка спасла беглецов. Доскакав до развилки, драгуны бросились влево по следам копыт, но проскочили мимо тропинки, куда свернули беглецы, и лишь позже заметили, что следы копыт кончились. Когда усталые и запыхавшиеся лошади Генри и Бёрча взбирались на подъем, беглецы услышали внизу громкие голоса драгун, кричавших отставшим товарищам, чтобы они сворачивали на правую дорогу. Тут Генри снова предложил разносчику бросить лошадей и спрятаться в чаще.

— Нет, нет, еще рано,— ответил Бёрч тихо.— Эта дорога доходит до самой вершины и так же круто спускается вниз. Сначала взберемся на гору.

Наконец они добрались до долгожданной вершины и оба соскочили с лошадей. Генри сразу скрылся в густой чаще, покрывавшей склоны горы, а Гарви задержался и несколько раз сильно ударил обеих лошадей хлыстом; они помчались вниз по дороге, спускавшейся по ту сторону горы, и тогда разносчик присоединился к Генри.

Бёрч вошел в лес осторожно, стараясь, по возможности, не ломать веток и не шуметь. Едва он успел спрятаться в зарослях, как на вершину выехал драгун и крикнул вниз:

— Я только что видел, как одна из их лошадей скрылась за поворотом!

— За ними! Пришпорьте коней, вперед, ребята! — закричал Мейсон.— Апгличанина пощадите, но разносчика сбейте с лошади и прикончите на месте!

Генри почувствовал, как Гарви крепко сжал ему руку, прислушиваясь к этим возгласам. Тотчас вслед за ними раздался стук копыт, и мимо проскакал десяток всадников с такой быстротой и яростью, что беглецы ясно увидели, как плохо бы им пришлось, если б они понадеялись на своих утомленных лошадей.

— А теперь,— сказал разносчик, выглядывая из укрытия, и немного помолчал, соображая, куда идти, — теперь каждый выигранный шаг — для нас двойной выигрыш, потому что, пока мы будем взбираться наверх, они будут спускаться вниз. Пошли!

— А вы не думаете, что они выследят нас и окружат гору? — заметил Генри, вставая и подражая осторожному,

по быстрому шагу разносчика.— Вспомните, ведь у них есть не только кавалерия, но и пехота. А мы в этих горах умрем с голоду.

— Не бойтесь, капитан Уортон,— твердо ответил Гарви.— Это еще не та гора, на которую я хотел попасть, но жизнь сделала меня опытным проводником в этих дебрях. Я проведу вас в такое место, куда не посмеет пойти за нами ни один человек. Смотрите, солнце уже садится за западные вершины гор, а луна взойдет только через два часа. Как вы думаете, кто решится преследовать нас темной ноябрьской ночью среди этих скал и обрывов?

— Слушайте! — воскликнул вдруг Генри.— Драгуны что-то кричат друг другу. Должно быть, они нас потеряли.

— Взойдите на вершину этой скалы, и вы их увидите,— сказал разносчик, спокойно усаживаясь на землю, чтобы передохнуть.— Смотрите, они как будто заметили нас: вон указывают на вас пальцами. Один из них выстрелил из пистолета, но это ни к чему — расстояние слишком велико даже для мушкета.

— Сейчас они погонятся за нами,— нетерпеливо закричал Генри,— бежим!

— Об этом им и думать нечего,— возразил разносчик, срывая черпику, покрывавшую чахлую почву вокруг, и принялся невозмутимо жевать ее вместе с листьями, чтобы освежить рот.— Как они влезут сюда в тяжелых сапогах со шпорами и с длинными саблями на боку? Нет, нет, они могут только вернуться обратно и послать за нами пехоту, а кавалерийские лошади и днем проходят через эти ущелья, дрожа от страха. Ну, теперь идите за мной, капитан Уортон; нам предстоит тяжелый переход, но зато я приведу вас в такое место, куда никто не посмеет сунуться ночью.

С этими словами они двинулись в путь и вскоре затерялись среди скал и ущелий высокой горы.

Расчеты Гарви оказались совершенно правильными. Мейсон и его отряд бросились вниз, думая, что преследуют беглецов, но, спустившись, обнаружили у подножия горы лошадей без седоков. Они потратили некоторое время, обшаривая ближний лес и отыскивая дорогу, по которой они могли бы продолжать погоню на своих конях, как вдруг один из драгун увидел разносчика и Генри на описанной выше скале.

— Сбежал! — пробормотал Мейсон, с яростью глядя на Гарви.— Сбежал, а мы опозорены! Клянусь небом, никогда Вашингтон не доверит нам охранять ни одного подозрительного тори, если мы допустим, чтобы этот негодяй одурачил весь наш отряд! А вон сидит и чертов англичанин и смотрит на нас со снисходительной улыбкой! Мне кажется, я вижу отсюда, как он усмехается. Так, так, милейший, ты неплохо устроился, признаюсь, это куда лучше, чем болтаться в воздухе, но ты еще не добрался до берегов Гарлема, и я постараюсь перехватить тебя раньше, чем ты донесешь сэру Генри обо всем, что видел у нас,— даю слово солдата!

— Разрешите мне выстрелить и пугнуть разносчика,— попросил один драгун, вынимая пистолет из кобуры.

— А ну-ка, сгони птичек с ветки, посмотрим, куда они полетят.

Солдат выстрелил из пистолета, и Мейсон продолжал:

— Клянусь святым Георгием, эти негодяи, кажется, смеются над нами! Однако надо отправляться домой, иначе они начнут скатывать камни нам на голову, и королевские газеты сообщат, будто двое сторонников короля обратили в бегство целый полк мятежников. Они печатали и не такие небылицы!

Драгуны хмуро последовали за своим офицером, а он направился к штаб-квартире, раздумывая о том, как же теперь организовать погоню. Уже смеркалось, когда отряд Мейсона въехал во двор фермы, где перед домом собралось много офицеров и солдат, делившихся самыми преувеличенными слухами о бегстве шпиона. Мрачные драгуны, повесив голову, рассказали товарищам о своем неудачном походе, а большинство офицеров окружило Мейсона, чтобы решить, что же теперь делать. Мисс Пейтон и Френсис, сидевшие никем не замеченные у окна над головами собравшихся, с глубоким волнением слушали все эти толки.

— Надо что-то предпринять, и как можно скорей,— заметил командир полка, раскинувшего палатки перед фермой.— Этот английский офицер, без сомнения, недавно помог врагам нанести нам тяжелый удар. К тому же его бегство задевает нашу честь.

— Давайте обыщем лес! — закричали сразу несколько голосов.— К утру они будут в наших руках.

— Тише, тише, джентльмены,— остановил их полков-

пик,— никто не может ходить ночью по горам, если не знает проходов. К тому же там не обойтись без кавалерии, а я думаю, что лейтенант Мейсон не захочет действовать, не получив приказа от своего майора.

— Да, конечно, я не посмею,— ответил Мейсон, серьезно покачав головой,— если вы не возьмете на себя ответственность, приказав мне выступать. Но майор Данвуди вернется через два часа, и мы еще успеем передать сообщение нашим патрулям до рассвета; они устроят облаву и обыщут всю местность между двумя реками, а жителям мы пообещаем награду, так что беглецы не смогут ускользнуть, если только им не удастся добраться до своих, которые, говорят, уже вышли к Гудзону.

— Весьма недурной план! — воскликнул полковник.— Он вполне может удаться. Но пошлите гонца за Данвуди, не то он просидит у переправы так долго, что будет уже поздно; хотя беглецы, наверное, проведут ночь в горах.

Мейсон согласился, и к Данвуди был тут же послан курьер с сообщением о том, что пленник бежал и майору необходимо вернуться, чтобы возглавить погоню. Условившись о дальнейших действиях, офицеры разошлись.

Услышав о бегстве Генри, мисс Пейтон и Френсис едва поверили своим ушам. Они обе твердо надеялись, что Данвуди добьется успеха, и сочли поступок юноши крайне неосторожным; однако теперь было уже поздно думать об этом. Слушая разговоры офицеров, они поняли, как плохо придется Генри, если его снова поймают, и дрожали от страха, узнав, какие серьезные меры собираются предпринять для его поимки. Впрочем, мисс Пейтон старалась успокоить себя и убедить племянницу, что беглецы будут идти всю ночь и успеют добраться до нейтральной территории прежде, чем всадники сообщат горным патрулям об их бегстве. Отсутствие Данвуди казалось ей очень обнадеживающим, и бесхитростная тетушка обдумывала разные планы, чтобы подольше задержать майора и дать как можно больше времени племяннику. Но у Френсис было совсем другое на уме. Теперь она не сомневалась, что человек, которого она видела в горах, был Бёрч, и была почти уверена, что ее брат не станет спускаться в долину к врагам, а задержится на ночь в таинственной хижине.

Френсис и мисс Пейтон долго спорили, обсуждая положение дел, но в конце концов добрая тетушка сдалась

на убеждения племянницы. Она крепко обняла девушку, поцеловала в похолодевшие щеки и горячо благословила, разрешив ей уйти и совершить подвиг сестринской любви.

Глава XXX

Затерянный в краю глухом,
Устало я бреду,
Все пусто, все мертво кругом,
И все сулит беду.

Голдсмит

Уже спускалась темная, холодная ночь, когда Френсис Уортон с сильно бьющимся сердцем, но легкими шагами прошла через маленький садик позади фермы, служившей тюрьмой ее брату, и направилась к подножию горы, где недавно видела человека, которого приняла за разносчика. Было еще довольно рано, но темнота угрюмого ноябрьского вечера, наверное, испугала бы юную девушку и заставила вернуться обратно, если бы ее не увлекал такой горячий порыв. Не останавливаясь, не раздумывая, она мчалась вперед, словно все опасности были ей нипочем, не задерживаясь, даже чтобы перевести дыхание, пока не пробежала половину дороги до скалы, на которой, как ей показалось в то памятное утро, она увидела Бёрча.

Уважение к женщине — вот самое верное доказательство цивилизованности страны, и, пожалуй, ни один народ не может так гордиться своим отношением к женщине, как американцы. Френсис не опасалась спокойных и положительных пехотинцев, ужинавших возле дороги напротив поля, через которое она бежала. Это были ее земляки, и она знала, что ополченцы из Восточных штатов, составлявшие этот отряд, относятся почтительно к женскому полу. Но она гораздо меньше доверяла легкомысленным и бесшабашным кавалеристам-южанам. Настоящие американские солдаты редко оскорбляли женщин, однако Френсис была очень чувствительна и боялась даже тени обиды. Поэтому, как только она услышала позади стук копыт медленно идущей по дороге лошади, она боязливо спряталась в рощице на пригорке, с которого, журча, сбегал ручеек.

Дозорный — ибо то был один из них — проехал мимо,

не разглядев ее: она вся сжалась, стараясь сделаться как можно незаметнее, а он продолжал свой путь, мурлыкая себе под нос песенку и, должно быть, вспоминая какую-нибудь красотку, оставшуюся на берегах Потомака.

Френсис с тревогой прислушивалась к затихающему топоту копыт, а когда он совсем замер вдали, решилась осторожно выйти из своего убежища; но, пройдя несколько шагов по полю, она вновь остановилась, испуганная мрачным, зловещим пейзажем, и задумалась о том, что она затеяла. Опустив капюшон своего плаща, она оперлась о какое-то деревце и посмотрела на вершину горы — далекую цель ее путешествия. Гора вздымалась над долиной, как громадная пирамида, но сейчас был виден только ее контур. Вершина едва выделялась на фоне более светлых туч, а между ними кое-где проглядывали звезды и, блеснув на миг, снова скрывались в клубах густого тумана, который ветер гнал значительно ниже облаков.

Если она вернется назад, Генри и разносчик, наверное, проведут ночь на этой горе, считая, что здесь они в безопасности; и Френсис устремила пристальный взор на вершину в тщетной надежде, что там мелькнет огонек и поможет ей найти дорогу. Обдуманное и, как ей казалось, непоколебимое решение офицеров вновь захватить беглецов еще звучало у нее в ушах и гнало ее вперед; но уединенность этих мест, поздний час, опасность восхождения на гору и неуверенность, удастся ли ей найти хижину, или, что было бы еще страшнее, не окажется ли она занятой неизвестными ,и, может быть, опасными постояльцами,— все это побуждало ее вернуться назад.

Темнота сгущалась и с каждой минутой все больше поглощала окружающие предметы, грозные тучи теснились вокруг вершины, и контуры ее все расплывались, пока она совсем не скрылась из глаз; Френсис откинула назад свои густые локоны, чтобы они не мешали ей слышать и видеть, но понемногу гора совсем исчезла во мраке. Вдруг Френсис заметила вдалеке огонек. Он мерцал в той стороне, где, как ей казалось, стояла хижина; свет то вспыхивал, то пропадал — возможно, то было пламя костра. Вскоре и это видение пропало; горизонт прояснился, и из тучи выглянула вечерняя звезда, как будто выдержав тяжелую борьбу, чтобы пробиться к жизни. Девушка все глядела на черный силуэт горы, высившейся слева от сияющей планеты; внезапно длинный луч мягкого света лег

на фантастические очертания дубов, карабкавшихся по склонам, медленно скользнул вниз, и плавно взошедший месяц осветил всю темную громаду. Теперь, с помощью благожелательного светила, озарившего долину, наша героиня могла бы пуститься в трудный путь, однако она медлила. Девушка не только увидела впереди цель, к которой стремилась, но и все препятствия, какие ей предстояло преодолеть.

Френсис стояла в сомнении, то поддаваясь робости, свойственной ее полу и возрасту, готовая отказаться от своего замысла, то решая спасти брата, несмотря ни на какие опасности; она с тревогой взглянула на восток, где зловещие тучи грозили снова погрузить всю долину во мрак, и отскочила как ужаленная! Даже от змеи она не отпрянула бы с таким ужасом, как от того предмета, на который она невольно облокотилась: то были два высоких столба с перекладиной, а внизу — грубый помост; это сооружение без слов сказало ей, для чего оно предназначено. Веревка была уже прилажена и висела на железном кольце, качаясь туда-сюда в ночном мраке. Френсис больше не колебалась — она не побежала, а перелетела как птица через лужайку и вскоре была уже у самой подошвы горы, где надеялась отыскать тропинку, ведущую к вершине. Здесь ей пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Она воспользовалась этим и осмотрелась вокруг. Подъем был крут, но она отыскала овечью тропу, которая вилась среди скал и деревьев и могла немного облегчить ей путь. Бросив назад испуганный взгляд, мужественная девушка собралась с духом и двинулась вверх. Наша юная героиня черпала силы в своем благородном решении и поднималась по склону упругим, легким шагом. Вскоре она вышла из лесистой полосы на открытый и более пологий откос, где поселенцы вырубили деревья, чтобы расчистить место для пашни. Но то ли война, то ли скудость почвы вынудили их забросить отвоеванное у чащи поле, и теперь оно снова поросло вереском и кустарником, словно плуг никогда не прокладывал здесь глубокие борозды и не вспахивал питавшей растения почвы.

Френсис подбодрили эти следы человеческого труда, и она двинулась по пологому склону с новой надеждой на успех. Теперь тропинка разделилась на множество разбегавшихся во все стороны ответвлений, и Френсис рас-

судила, что не стоит идти по ним. На первом же повороте она покинула тропинку и стала взбираться прямо вверх, выбирая, как ей казалось, самый короткий путь. Вскоре девушка миновала расчищенное место, но тут дорогу ей преградили густой лес и высокие скалы, громоздившиеся на обрывистых склонах. Френсис заметила тропку, которая вилась по краю лужайки и скрывалась среди высокой травы и росших повсюду кустов, однако ни одна дорожка не шла прямо к вершине горы. Клочья шерсти, висевшие на кустиках вереска, ясно говорили о том, кто проложил эти тропки, и Френсис справедливо предположила, что человек, спускавшийся с горы, должен был тоже знать их и они значительно облегчали ему путь.

Устав, девушка присела на камень, чтобы отдохнуть и поразмыслить.

Тучи расступились, и месяц мягко освещал всю долину, раскинувшуюся у ее ног.

Прямо под горой тянулись ровные ряды белых палаток пехоты. В окне мисс Пейтон горел огонек, и Френсис ясно представила себе, как тетушка вглядывается в темную гору, а сердце у нее трепещет от тревоги за племянницу.

Фонари поблескивали возле конюшен, где, как она знала, стояли верховые лошади; и при мысли о том, что драгуны уже готовятся к ночному походу, она снова вскочила и бросилась вперед.

Нашей героине оставалось еще пройти больше четверти мили, хотя она уже преодолела около двух третей подъема. Но теперь перед ней не было ни тропинки, ни каких-либо следов, указывающих путь. К счастью, гора, как и большинство гор этой цепи, имела коническую форму, и Френсис могла быть уверена, что, идя все время вверх, она в конце концов выйдет к хижине, стоящей на самой вершине. Больше часу боролась она со множеством препятствий, вставших у нее на пути — не раз выбивалась из сил, не раз чуть не срывалась в пропасть,— но наконец все-таки добралась до небольшой площадки на верхушке горы.

Изнемогая от усилий, непривычных для ее хрупкого организма, она бросилась на камень, чтобы передохнуть и собраться с силами для предстоящей встречи. На это ушло всего несколько мгновений — она тотчас встала и принялась разыскивать хижину.

Все окрестные горы были ясно видны в ярком свете месяца, и Френсис могла указать с высоты, где проходит дорога, поднимавшаяся из долины. Проследив взглядом за линией дороги, Френсис нашла то место, откуда она в первый раз увидела таинственное жилище; она знала, что хижина стоит прямо против этого места.

Холодный ветер свистел в оголенных ветвях корявых и узловатых дубов; Френсис тихонько пробиралась вперед, еле шурша опавшими листьями и стараясь выйти туда, где она надеялась найти потайное убежище; но кругом не было ничего, хоть отдаленно напоминающего человеческое жилье. Тщетно вглядывалась она в каждую расщелину в утесах, в каждый скалистый выступ, надеясь отыскать наконец лачугу разносчика. Она не видела ни хижины, ни следов человека. Мысль о полном одиночестве леденила душу оробевшей девушки, и, подойдя к краю скалы, она нагнулась, чтобы взглянуть, не видны ли в долине какие-нибудь признаки жизни, но тут ее вдруг ослепил яркий луч света и обдало струей теплого воздуха.

Как только Френсис пришла в себя от изумления, она поглядела вниз, на небольшую площадку, и увидела, что стоит как раз над хижиной, которую искала. В крыше было проделано отверстие для дыма, и, когда ветер отогнал густые клубы, девушка увидела, что в грубом каменном очаге прыгает яркий, веселый огонь. К хижине вела извилистая тропинка, огибавшая скалу, на которой стояла Френсис, и, спустившись по ней, она приблизилась к двери.

Три стены этого странного дома — если можно так его назвать — были сложены из бревен и поднимались немного выше человеческого роста, четвертой служила скала, к которой прилепилась лачуга. Крыша была покрыта древесной корой, разложенной длинными полосами до самой скалы; щели между бревнами были замазаны глиной, но местами она отвалилась, и ее заменили сухими листьями, чтобы защитить хижину от ветра. В передней стене было всего одно окошко с четырьмя стеклами, но сейчас его тщательно прикрыли доской, чтобы свет от очага не пробивался наружу. Остановившись и оглядев это диковинное жилище, которое, как Френсис была уверена, служило кому-то тайным убежищем, она посмотрела в щелку, чтобы узнать, каково оно внутри. В хижине не было ни лампы, ни свечи, но пылавшие в очаге сухие сучья отбра-

сывали такой яркий свет, что при нем можно было бы читать. В углу лежал соломенный тюфяк, а на нем были небрежно брошены два-три одеяла, как будто кто-то недавно укрывался ими. На колышках, вбитых в трещины скалы и в щели бревенчатых стен, висело множество всевозможной одежды — мужской и женской, для разного роста и сложения, общественного положения и возраста. Тут мирно уживались рядом английские и американские военные мундиры; на одном и том же колышке висело полосатое ситцевое платье, какие обычно носили деревенские жительницы, и густо напудренный парик — короче говоря, в этом гардеробе было столько разнообразных нарядов, что можно было бы одеть целый приход.

В углу у скалы, против горящего очага, стоял открытый буфет, в котором виднелись две-три тарелки, кружка и остатки пищи. Перед очагом стоял стол со сломанной ножкой, сколоченный из грубо отесанных досок, а перед ним — единственный стул, вот и вся обстановка этой лачуги, не считая кое-каких кухонных принадлежностей. На столе лежала закрытая книга, судя по ее переплету и толщине — должно быть, библия. Однако внимание Френсис приковал к себе находившийся в хижине человек. Он сидел за столом, опершись головой на руку, скрывавшую его лицо, и был поглощен чтением каких-то бумаг. Возле него на столе лежала пара необычных, богато отделанных кавалерийских пистолетов, а между его коленями высовывался эфес шпаги тонкой чеканки, на который он небрежно опустил другую руку. Рослая фигура этого неожиданного посетителя хижины и его атлетическое телосложение нисколько не напоминали ни Гарви, ни ее брата, и девушке не надо было разглядывать его одежду, чтобы сразу убедиться, что это не тот, кого она искала. На незнакомце был застегнутый до подбородка, плотно облегавший его сюртук, рейтузы из буйволовой кожи и военные сапоги со шпорами. Зачесанные кверху волосы не закрывали ему лица и, согласно моде того времени, были обильно напудрены. Рядом, на каменном полу, лежала круглая шляпа, вероятно сброшенная им со стола, чтобы освободить место для развернутой карты и разных бумаг.

Для нашей героини это был весьма неприятный сюрприз. Твердо уверенная, что дважды виденный ею на горе человек несомненно разносчик и что именно он помог ее брату бежать, она не сомневалась, что застанет его вместе

с братом в этой хижине, а теперь хижина оказалась занятой посторонним. Френсис пристально смотрела в щелку, не зная, что ей делать: то ли уйти, то ли подождать в надежде, что позже появится и Генри, как вдруг незнакомец, сидевший в глубокой задумчивости, убрал руку, которой прикрывал глаза, и девушка сразу узнала строгое, но приятное и доброе лицо Харпера.

В голове у нее мигом пронеслись слова Данвуди о его влиянии и могуществе, мелькнули воспоминания о его добром, отеческом отношении к ней, об обещании помочь ее брату, и, распахнув дверь, девушка бросилась к его ногам и, обнимая ему колени, закричала:

— Спасите его! Спасите его! Молю вас, спасите моего брата! Вспомните ваше обещание и спасите его!

Когда дверь отворилась, Харпер встал, и его рука потянулась к пистолету, но движения его были спокойны, и он тут же остановился. Наклонившись, он откинул капюшон, закрывавший Френсис лицо, и воскликнул с изумлением и неудовольствием:

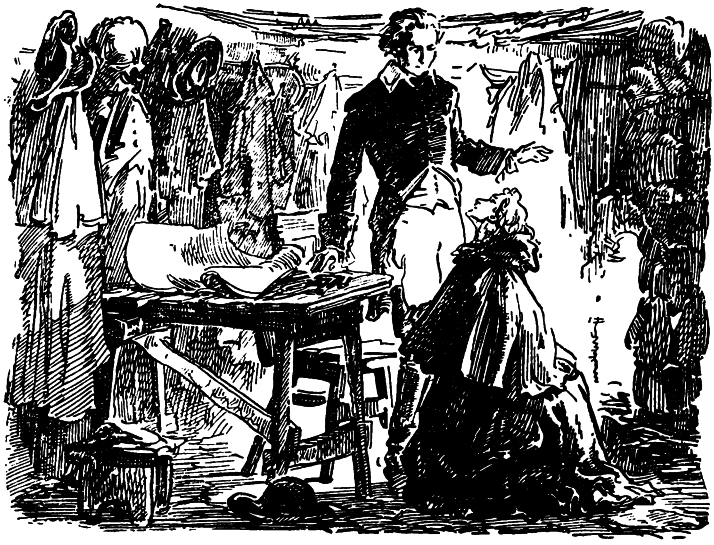
— Как, мисс Уортон? Не может быть, чтобы вы пришли сюда одна!

— Совсем одна! Со мной нет никого, кроме вас и господа бога. Его святым именем молю вас — вспомните ваше обещание и спасите моего брата!

Харпер ласково поднял девушку и, усадив на стул, попросил успокоиться и объяснить ему, что привело ее сюда. Френсис тотчас чистосердечно рассказала ему все и объяснила, как она попала в это уединенное место одна, в такой поздний час.

Всегда трудно проникнуть в мысли человека, так хорошо умеющего владеть своими чувствами, как Харпер, но теперь, когда он слушал бесхитростный и пылкий рассказ молодой девушки, в его умных глазах блеснул теплый огонек, и черты его замкнутого лица смягчились. С глубоким вниманием выслушал он описание бегства Генри и блужданий Френсис по лесу и в продолжение всего рассказа глядел на нее с горячим участием и снисходительностью. Ее опасения, как бы брат не задержался слишком долго в горах, казалось, встревожили и его, ибо, когда она кончила, он раза два молча прошелся взад-вперед по хижине, погрузившись в раздумье.

Френсис колебалась, не зная, что еще добавить, и рука ее бессознательно гладила рукоятку одного из пистолетов;



бледность ее встревоженного личика сменилась ярким румянцем, когда после недолгого молчания она снова заговорила:

— Конечно, мы можем положиться на дружбу майора Данвуди, но у него такие строгие взгляды на честь, что... вопреки его чувствам... его желанию нам помочь... он, наверное, сочтет своим долгом снова захватить в плен моего брата. К тому же он думает, что это ничем не грозит Генри, потому что полагается на вашу помощь.

— На мою помощь? — спросил Харпер, с удивлением глядя на нее.

— Да, на вашу помощь. Когда мы рассказали ему о вашем добром участии, он уверил нас, что вы пользуетесь большим влиянием и если дали обещание, то наверняка добьетесь прощения для Генри.

— А еще что он вам сказал? — спросил Харпер с некоторым беспокойством.

— Больше ничего, он только повторил, что Генри нечего опасаться. А теперь он разыскивает вас.

— Мисс Уортон, в прискорбной борьбе между Англией и Америкой я играю немаловажную роль, было бы бесполезно это отрицать. И побег вашего брата удался по-

тому, что я знал о его невиновности и помнил свое обещание. Однако майор Данвуди ошибается, полагая, будто я могу открыто добыть Генри прощение. И все же я могу вмешаться в его судьбу и даю вам слово, что имею некоторое влияние на Вашингтона и приму меры, чтобы вашего брата снова не взяли в плен. Но и вы должны тоже дать мне обещание: скройте от всех нашу встречу и держите в тайне все, что было здесь сказано, пока я не разрешу вам говорить об этом.

Френсис обещала Харперу молчать, и он продолжал:

— Скоро сюда придет разносчик с вашим братом, однако британский офицер не должен видеть меня, иначе Бёрч может поплатиться жизнью.

— Никогда! — горячо воскликнула Френсис.— Генри никогда не поступит так низко и не выдаст человека, спасшего ему жизнь!

— Мисс Уортон, мы не играем в детскую игру. Жизнь и судьба многих людей висят на волоске, и ничего нельзя оставлять на волю случая. Если бы сэр Генри Клинтон узнал, что разносчик видится со мной, да еще при таких подозрительных обстоятельствах, несчастный Бёрч немедленно ответил бы собственной головой. Поэтому, если вы цените человеческую жизнь и желаете спасти вашего брата, будьте осторожны и молчите. Расскажите им обоим все, что вы слышали на ферме, и убедите их немедленно уйти отсюда. Если им удастся проскользнуть до утра мимо наших последних постов. то дальше уж я позабочусь, чтобы никто их не перехватил. А у майора Данвуди найдутся дела поважней, чем подвергать опасности жизнь своего друга.

С этими словами Харпер заботливо свернул карту, которую он изучал, и положил в карман вместе с бумагами, лежавшими на столе. Он еще был занят этим делом, когда на скале у них над головой раздался необычно громкий голос Бёрча:

— Подите-ка сюда, капитан Уортон, и вы увидите палатки, освещенные луной. Пускай они теперь скачут на своих лошадях, у меня есть укромный уголок, где мы спрячемся с вами и просидим сколько захотим.

— Где ж этот уголок? Признаться, последние два дня я почти не ел и теперь умираю с голоду.

— Гм! — откашлялся разносчик и заговорил еще

громче.— Гм! Гм! Из-за этого тумана я совсем охрип. Двигайтесь потихоньку, будьте осторожны, не поскользнитесь, а то как раз угодите на штык часового внизу. Подниматься в гору тяжеленько, а вниз можно скатиться в один миг.

Харпер прижал палец к губам, напоминая Френсис о ее обещании, взял пистолеты и шляпу, чтобы не оставлять никаких следов своего пребывания в хижине, и отошел в дальний угол; там он отодвинул несколько платьев, открыл вход в небольшую пещеру, вошел в нее и, опустив платья, скрылся. При ярком свете очага Френсис заметила, что то была естественная ниша в скале, где лежали лишь кое-какая домашняя утварь.

Легко себе представить, как были удивлены разносчик и Генри, когда они увидели в хижине Френсис. Не тратя времени на объяснения или вопросы, пылкая девушка бросилась на шею брату и залилась слезами. Но разносчика, по-видимому, волновали совсем иные чувства. Прежде всего он взглянул на огонь и убедился, что в него недавно подбросили дров, потом выдвинул небольшой ящик в столе и с тревогой обнаружил, что он пуст.

— Вы здесь одна, мисс Фанни? — спросил он с беспокойством.— Неужели вы пришли сюда одна?

— Одна, как видите, мистер Бёрч,— ответила Френсис, высвобождаясь из объятий брата, и бросила на скрытую пещеру выразительный взгляд, который был тотчас перехвачен и понят проницательным разносчиком.

— Но зачем и каким образом ты сюда попала? — воскликнул удивленный Генри.— И откуда ты узнала об этой хижине?

Френсис поспешила вкратце рассказать обо всем, что произошло на ферме после бегства брата и как она решила его разыскать.

— Однако,— заметил Бёрч,— почему вам вздумалось искать нас здесь, в то время как мы были на другой стороне горы?

Тут Френсис поведала ему, как она увидела блеснувшее окно хижины и фигуру разносчика в тот день, когда ехала через горный перевал, а потом снова заметила его на другой день и как она сразу решила, что именно здесь беглецы будут искать убежища на ночь.

Бёрч пристально всматривался в лицо девушки, слушая ее бесхитростный рассказ о том, как она случайно

проникла в его тайну, а когда она замолчала, вскочил и, схватив палку, ударил по стеклу и выбил его.

— Это была единственная роскошь, какую я себе позволил,— сказал он,— но даже и этим маленьким удобством пользоваться небезопасно! Мисс Уортон,— добавил он с той горечью, которая не раз сквозила в его словах, и подошел к ней,— в этих горах за мной охотятся, как за диким зверем, но, когда я выбиваюсь из сил и прячусь в этом убежище, каким бы оно ни было бедным и жалким, я все же могу провести здесь спокойную ночь. Неужели вы сделаете жизнь затравленного человека еще более ужасной?

— Никогда! — с жаром закричала Френсис.— Я никому не выдам вашей тайны.

— Даже Данвуди? — тихонько спросил разносчик, и его пытливые глаза, казалось, заглянули девушке в душу.

Френсис на минуту опустила голову, но тут же вновь подняла свое вспыхнувшее личико и горячо воскликнула:

— Никогда, никогда, Гарви! Пусть бог услышит мою клятву!

Разносчик как будто успокоился; он отошел в глубь хижины и, улучив минуту, когда Генри отвернулся, проскользнул между платьями в пещеру.

Френсис и ее брат, полагавший, что Гарви вышел в дверь, продолжали обсуждать создавшееся положение. Вскоре Генри согласился, что им следует немедленно уходить, чтобы опередить Данвуди, который, повинуясь своему долгу, не откажется от преследования беглеца. Генри вынул записную книжку и, вырвав из нее листок, набросал на нем несколько строк, а потом сложил его и протянул сестре.

— Френсис,— сказал он,— сегодня ночью ты доказала, что ты необыкновенная девушка. Если ты любишь меня, передай эту записку Данвуди, не читая ее, и помни, что два часа отсрочки — для меня спасение.

— Я все сделаю, будь спокоен, но зачем вам задерживаться? Бегите сейчас же, не теряйте драгоценных минут!

— Ваша сестра права, капитан Уортон,— сказал Бёрч, незаметно вернувшийся в комнату.— Мы должны выходить немедля. Возьмем еду с собой и подкрепимся на ходу.

— Но кто же позаботится об этой самоотверженной девушке? — воскликнул капитан.— Я не могу покинуть ее одну в таком глухом месте.

— Оставь меня, не бойся! — отвечала Френсис — Я спущусь вниз так же, как поднялась наверх. Не сомневайся во мне, ты еще не знаешь, как много во мне мужества и силы.

— Это правда, я не знал, на что ты способна, дорогая моя, но теперь, когда я оценил твое сердце, могу ли я бросить тебя одну? Ни за что!

— Капитан Уортон,— сказал Бёрч, распахивая дверь,— если у вас несколько жизней, вы можете играть ими, у меня же всего одна, и я должен ее беречь. Уходить ли мне одному или вы пойдете со мной?

— Иди, иди, Генри, дорогой! — вскричала Френсис, обнимая его.— Иди же, подумай о нашем отце, подумай о Саре.— И, не дожидаясь ответа, она ласково вытолкнула брата за дверь и заперла ее.

Тут между Генри и разносчиком разгорелся короткий, но жаркий спор; однако Бёрч, видимо, убедил капитана, и Френсис затаив дыхание услышала удаляющиеся шаги беглецов, поспешно сходивших с откоса.

Как только шаги затихли вдали. Харпер вышел из своего убежища.

Он молча взял Френсис за руку и вывел из хижины. Казалось, он хорошо знает дорогу; он уверенно провел девушку на скалу над хижиной, пересек площадку на вершине горы и стал спускаться вниз, заботливо указывая ей на препятствия, попадавшиеся у них на пути, и охраняя ее, чтоб она не ушиблась.

Идя рядом со своим странным спутником, Френсис чувствовала, что ее сопровождает выдающийся человек: твердость его поступи и уверенность движений свидетельствовали об отважном и решительном характере. Выйдя на дорогу по другую сторону горы, они быстро двинулись вперед, не подвергаясь опасности. Френсис потратила на этот подъем больше часу, теперь же они спустились за десять минут и вышли на уже описанный нами очищенный от леса участок. Харпер свернул тут на овечью тропу и, быстро пройдя лужайку, подошел к спрятанному в кустах коню под богатым военным седлом. При виде хозяина благородное животное фыркнуло и стало бить землю копытом, а Харпер подошел и вложил пистолеты в седельные кобуры.

Затем, повернувшись к Френсис, он взял ее за руку и сказал:

— Мисс Уортон, сегодня вы спасли вашего брата. Я не могу объяснить вам, почему на этот раз я не в состоянии прийти ему на помощь. Однако, если вам удастся задержать кавалеристов на два часа, он будет в полной безопасности. После всего, что вы совершили, я думаю, вы справитесь и с этой задачей. Бог не дал мне детей, милая леди, но, если бы по его святой воле мой брак не остался бездетным, я молил бы его послать мне такое сокровище, как вы. И все же вы — мое дитя: все жители этой обширной страны — мои дети, и я должен заботиться о них. Примите же благословение человека, который надеется встретить вас в более счастливые дни.

И с этими словами, произнесенными так торжественно, что они проникли в самое сердце Френсис, он положил руку ей на голову. Простодушная девушка подняла на него свой взор. Капюшон снова соскользнул с ее волос, и луна осветила ее прелестное личико. По щекам у нее скатились две слезинки, а чистые голубые глаза с благоговением смотрели на Харпера.

Он наклонился, запечатлел у нее на лбу отеческий поцелуй и добавил:

— Любая из этих овечьих троп выведет вас в долину. Здесь мы должны расстаться: у меня много дел и мне предстоит далекий путь. Вспоминайте меня, но только в ваших молитвах.

Тут он сел на коня и, махнув шляпой, стал спускаться с горы, пока не скрылся за деревьями. С облегченным сердцем Френсис бросилась вперед и, выбрав первую тропинку, сбегавшую вниз, через несколько минут уже очутилась в долине, в целости и сохранности. Когда она уже вышла в поле и тихонько пробиралась к дому, она услышала вдали стук копыт и, вздрогнув, подумала, что порой следует гораздо больше опасаться людей, чем полного одиночества. Забившись в уголок за изгородью неподалеку от дороги, она замерла, вглядываясь в проезжавших. Мимо нее проскакал небольшой отряд драгун, но не в форме Виргинского полка, а за отрядом ехал человек, завернувшись в широкий плащ; она сразу признала в нем Харпера. Позади скакал негр в ливрее, а двое юношей в военных мундирах замыкали кортеж. Вместо того чтобы выехать на дорогу, ведущую к лагерю, они вдруг круто свернули влево и скрылись в горах.

Спрашивая себя, кто же этот неизвестный могущест-

венный друг ее брата, Френсис прокралась через поле, со многими предосторожностями проскользнула к ферме и наконец бесшумно вошла в дом, никем не замеченная, живая и невредимая.

Глава XXXI

Прочь, лицемерье робкое! На помощь
Приди ко мне, святое простодушье!
Твоей женой я стану, если ты
Меня захочешь взять.

Шекспир, «Буря»[1]

От мисс Пейтон Френсис узнала, что Данвуди еще не вернулся. Однако, желая избавить Генри от внушений назойливого фанатика, он уговорил весьма почтенного священника той же церкви, что и семейство Уортон, переправиться через реку и оказать последнюю услугу узнику. Этот служитель божий недавно приехал и уже с полчаса вел поучительную беседу с любезной тетушкой, которая всячески избегала упоминания о происшедших в доме событиях.

Мисс Пейтон в волнении засыпала Френсис вопросами о том, как удался ее романтический поход, но девушка ответила лишь, что дала слово молчать, и посоветовала добрейшей тетушке следовать ее примеру. Однако во время беседы с мисс Дженнет улыбка порхала вокруг хорошеньких губок племянницы, и это убедило тетку, что все идет хорошо. Она стала уговаривать Френсис подкрепиться после столь утомительного путешествия, но тут раздался стук копыт въезжавшего в ворота коня, возвестивший о приезде майора. Посланный Мейсоном гонец нашел Данвуди возле переправы, где он нетерпеливо дожидался возвращения Харпера. Узнав о бегстве друга, майор тотчас бросился к месту его заключения, и в груди у него закипели тысячи противоречивых чувств. Сердце Френсис отчаянно забилось, когда она услышала его приближающиеся шаги. Прошел всего один час из тех двух, что были необходимы для благополучного бегства ее брата, как сказал разносчик. Даже влиятельный Харпер, при всем

[1] Перевод М. Донского.

своем желании помочь Генри, считал очень важным задержать виргинцев по меньшей мере на два часа. Не успела Френсис собраться с мыслями, как Данвуди вошел в одну дверь, а мисс Пейтон, со свойственной женщинам деликатностью, выскользнула в другую.

Лицо майора раскраснелось и выражало разочарование и досаду.

— Как это неосторожно и как неблагородно с его стороны! — воскликнул он, бросаясь в кресло.— Бежать в ту минуту, когда я заверил его, что теперь он спасен! Право, Френсис, я все больше убеждаюсь, что вам доставляет удовольствие сталкивать наши чувства с нашим долгом.

— Быть может, мы по-разному понимаем наш долг,— ответила девушка, подходя к нему и прислоняясь к стене,— но чувства у нас одинаковые, Пейтон. Вы, наверное, тоже радуетесь бегству Генри.

— Но ему не грозила опасность! Харпер дал обещание, а на его слово можно положиться. Ах, Френсис, Френсис! Если бы вы знали этого человека, вы никогда не усомнились бы в нем и не поставили бы меня в такое трудное положение!

— В какое положение? — спросила Френсис, глубоко сочувствуя ему, но стараясь воспользоваться любым предлогом, чтобы оттянуть время.

— Как — в какое положение? Разве я не буду вынужден теперь провести эту ночь в седле и охотиться за Генри, когда я так надеялся сегодня лечь в постель со счастливым сознанием, что сделал все, чтобы его спасти! Вы заставляете меня поступать так, словно я ваш враг, меня, который готов отдать за вас последнюю каплю крови! Повторяю, Френсис, он был неправ, он поступил неблагородно и сделал ужасную ошибку!

Френсис, наклонившись к Данвуди, одной рукой застенчиво взяла его за руку, а другой ласково откинула ему кудри с пылающего лба.

— А зачем вам ехать за ним, милый Пейтон? — спросила она.— Вы уже так много сделали для вашей родины, она не может требовать от вас еще и этой жертвы.

— Френсис! Мисс Уортон! — воскликнул молодой человек, вскакивая и начиная в волнении шагать взад-вперед по комнате; на щеках его сквозь загар проступила краска, а глаза засверкали от возмущения.— Этой жертвы требует не родина, а моя честь. Ведь Генри бежал из-под

охраны моих солдат. Если б не это, быть может, я избежал бы необходимости ответить ударом на удар. Впрочем, если виргинцев можно провести обманом и хитростью, то кони у них резвы, а сабли остры. Пусть только взойдет солнце, и мы посмотрим, кто осмелится сказать, будто красота сестры послужила прикрытием для бегства брата. Да, да,— прибавил он с горьким смехом,— хотел бы я услышать, как какой-нибудь негодяй посмеет тогда намекнуть, будто я изменил своему делу!

— Ах, Пейтон, дорогой Пейтон,— воскликнула Френсис, отступая перед его гневным взглядом,— от ваших слов у меня леденеет кровь! Неужели вы хотите убить моего брата?

— Я готов умереть за него,— ответил Данвуди, и взгляд его смягчился,— и вы это знаете, но я предвижу, какое ужасное подозрение навлечет на меня его поступок. Что подумает обо мне Вашингтон, когда узнает, что я стал вашим мужем?

— Если только это заставляет вас так жестоко поступать с Генри,— проговорила Френсис дрожащим голосом,— пусть наша свадьба не состоится, и Вашингтону нечего будет узнавать.

— И вы думаете, что утешили меня, Френсис?

— Ах, дорогой Пейтон, я не хотела сказать ничего жестокого или несправедливого, но не придаете ли вы нам обоим слишком большое значение в глазах Вашингтона, когда этого нет на деле?

— Я уверен, что главнокомандующему небезызвестно мое имя,— ответил майор с некоторой гордостью.— Да и вы из скромности умаляете свое значение. Я верю вам, Френсис, когда вы говорите, что жалеете меня, и я должен доказать, что достоин ваших чувств... Однако я теряю драгоценные минуты. Мы должны сегодня же ночью перевалить через горы и успеть отдохнуть перед завтрашним походом. Мейсон уже готов и ждет моего приказа. Френсис, я покидаю вас с тяжелым сердцем; пожалейте меня, но не тревожьтесь за вашего брата: хотя он должен снова попасть в плен, ни один волос не падет с его головы.

— Постойте, Данвуди, умоляю вас! — вскричала Френсис, задыхаясь от волнения, ибо она видела, что часовая стрелка еще далеко не дошла до желанного часа.— Прежде чем вы отправитесь выполнять вашу тяжелую обязанность, прочитайте эту записку. Генри оставил ее для

вас, считая, конечно, что обращается к другу своего детства.

— Френсис, я понимаю ваши чувства, но надеюсь, придет время, когда вы будете справедливее ко мне.

— Это время уже пришло,— молвила Френсис, протягивая ему руку, не в силах дольше выказывать ему недовольство, которого не испытывала.

— Откуда у вас эта записка? — воскликнул молодой человек, пробегая ее глазами.— Бедный Генри, ты и вправду мой друг! Если кто-нибудь желает мне счастья, то один ты!

— О да, это правда! — горячо подхватила Френсис.— Он желает вам счастья от всей души. Верьте тому, что он пишет, каждое его слово — правда.

— Я верю ему, любимая моя Френсис, но он ждет от вас подтверждения его слов. Ах, если б я мог так же верить в вашу привязанность!

— Вы можете, Пейтон,— ответила Френсис, глядя на жениха с невинной доверчивостью.

— Тогда прочитайте это письмо и подтвердите слова Генри,— прервал ее Данвуди и протянул записку.

Френсис взяла ее и с удивлением прочитала:

Жизнь слишком драгоценна, чтобы доверять ее случаю. Я ухожу, Пейтон, никто не знает об этом, кроме Цезаря, и я прошу вас — будьте снисходительны к нему. Однако меня гнетет тяжелая забота. Не оставьте моего старого, больного отца. Ему придется расплачиваться за мнимое преступление сына. Не оставьте и моих беспомощных сестер, брошенных мной без покровителя. Докажите, что вы любите всех нас. Пусть священник, которого вы привезете с собой, соединит вас сегодня же с Френсис и сделает вас сразу братом, сыном и супругом.

Записка выпала у Френсис из рук, девушка подняла глаза и взглянула на Данвуди, но тут же в смущении снова опустила их.

— Достоин ли я такого доверия? Пошлете ли вы меня сегодня ночью на поиски моего брата или офицер Конгресса будет преследовать офицера королевских войск?

— А разве вы будете менее ревностно выполнять ваш

долг, если я стану вашей женой, майор Данвуди? Разве мое согласие улучшит положение Генри?

— Я повторяю вам, Генри ничто не угрожает. Слово Харпера служит тому порукой. Но я хочу показать всему миру, как новобрачный из чувства долга не побоялся арестовать брата своей жены,— сказал Пейтон, быть может слегка лукавя перед самим собой.

— И вы думаете, мир поймет такие тонкие чувства? — спросила Френсис с сомнением, однако ее тон зародил в душе влюбленного горячую надежду.

По правде сказать, для Френсис это было великим искушением. Конечно, ей казалось, что у нее нет иной возможности задержать Данвуди до истечения рокового часа. Ведь сам Харпер недавно сказал ей, что не может открыто помочь Генри и все зависит от того, будет ли отсрочена погоня,— эти слова не выходили у нее из головы. Быть может, у нее также промелькнула мысль, что, если Пейтон настигнет ее брата и тот подвергнется наказанию, ей придется навсегда расстаться с женихом. Очень трудно проникнуть в человеческие чувства, а в нежном женском сердце они вспыхивают и исчезают с быстротой молнии.

— Почему вы колеблетесь, дорогая Френсис? — вскричал Данвуди, следивший, как меняется выражение ее лица.— Через несколько минут я мог бы получить права супруга и охранять вас.

У Френсис закружилась голова. С тревогой взглянула она на часы, но стрелки, казалось, медлили на циферблате, нарочно терзая ее.

— Говорите, Френсис,— прошептал Данвуди.— Могу ли я позвать нашу добрую тетушку? Решайте, время не ждет.

Она попыталась отвечать, но ей удалось прошептать лишь несколько невнятных слов, которые ее жених, пользуясь извечной привилегией влюбленных, истолковал как согласие. Он повернулся и бросился к двери, когда его возлюбленная вновь обрела дар речи.

— Постойте, Пейтон! Я не могу произнести торжественный обет с нечистой совестью. Я видела Генри после побега и знаю, что для него важнее всего выиграть время. Вот вам моя рука. Если вы, зная, какие последствия может повлечь задержка, не оттолкнете ее, я добровольно даю ее вам.

— Оттолкнуть вашу руку! — воскликнул восхищенный Пейтон.— Я принимаю ее, как самый драгоценный дар, посланный мне небом. Нам на все хватит времени. Переход через горы займет два часа, а завтра к полудню я вернусь от Вашингтона с прощением для вашего брата, и своим присутствием Генри оживит наше свадебное торжество.

— Тогда обождите меня здесь десять минут,— промолвила Френсис, радуясь тому, что с души ее свалилась тяжесть, и окрыленная надеждой на спасение Генри,— я скоро вернусь и произнесу обеты, которые навеки свяжут меня с вами.

Данвуди задержался на миг, чтобы прижать ее к груди, и тотчас побежал передать свою просьбу священнику.

Мисс Пейтон выслушала Френсис с бесконечным удивлением и некоторым неудовольствием. Такая поспешная свадьба нарушала все правила и обычаи. Тем не менее Френсис кротко, но твердо заявила, что не изменит своего намерения; она уже давно получила согласие родителей на этот брак и несколько месяцев по своей воле откладывала его. Теперь она дала обещание Данвуди и хочет его выполнить; больше она ничего не сказала, боясь, как бы нечаянно не упомянуть о Бёрче или Харпере и не повредить им обоим. Не привыкшая спорить и к тому же очень любившая Пейтона, тетушка приводила лишь слабые возражения, которые сразу разбивались о твердое решение племянницы. Мистер Уортон, утративший всякую волю, полностью подчинялся обстоятельствам и не посмел возражать человеку, имеющему такое влияние в американской армии, как Данвуди.

Итак, через десять минут девушка вернулась в комнату вместе с отцом и тетушкой. Данвуди и викарий уже ждали их.

Молча и без показной застенчивости Френсис вручила жениху обручальное кольцо своей матери, и, после того как мистер Уортон и она сама приготовились к церемонии, тетушка разрешила приступить к венчанию.

Часы находились как раз перед Френсис, и она не раз бросала на них тревожные взгляды; но вскоре торжественные слова молитвы поглотили все ее внимание, и мысли сосредоточились на брачных обетах, которые она произносила. Но вот свадебный обряд окончился, и, когда

священник благословил новобрачных, пробило девять часов. Прошли два часа, которые Харпер считал столь важными для беглеца, и Френсис почувствовала, как у нее с сердца скатился тяжелый камень.

Данвуди заключил ее в объятия, много раз благодарил кроткую тетушку и с жаром пожимал руки мистеру Уортону и священнику. Вдруг среди горячих поздравлений раздался резкий стук в дверь, и на пороге появился Мейсон.

— Драгуны в седле,— сказал лейтенант,— и, с вашего разрешения, я думаю выступать. Я поведу солдат: на вашей резвой лошади вы догоните нас, когда сочтете нужным.

— Да, да, дорогой друг, выступайте! — воскликнул Данвуди, с радостью хватаясь за этот предлог, чтобы немного задержаться.— Я догоню вас на первом привале.

Лейтенант ушел, чтобы выполнить приказ майора, за ним вышли мистер Уортон и священник.

— Теперь, Пейтон,— сказала Френсис,— вы и вправду отправитесь на розыски вашего брата. И я уверена, мне незачем напоминать вам, чтоб вы пощадили Генри, если, к несчастью, найдете его.

— Скажите — к счастью,— вскричал молодой офицер,— и я уверен, что тогда он будет танцевать на нашей свадьбе! Ах, если б я мог убедить его в правоте нашего дела! Ведь мы сражаемся за его родину, и я дрался бы за нее с еще большим жаром, Френсис, если б он был рядом со мной!

— Не говорите так, мне страшно думать об этом!

— Не буду вас пугать,— ответил Пейтон.— Однако теперь мне надо вас покинуть. Чем скорее я уеду, дорогая, тем скорее вернусь к вам.

Но тут послышался топот копыт: к дому подъехал всадник, и не успел Данвуди попрощаться с молодой женой и с тетушкой, как часовой ввел в комнату офицера. Он был в форме адъютанта, и майор сразу понял, что он из штаба Вашингтона.

— Майор Данвуди,— сказал офицер, поклонившись дамам,— главнокомандующий велел мне передать вам этот приказ.— И, выполнив поручение, гонец немедленно удалился, сославшись на неотложные дела.

— Вот видите, все неожиданно обернулось по-другому! — вскричал майор.— Но я понимаю, что произошло:

Харпер получил мое письмо, и вы можете убедиться, какое он имеет влияние!

— Эти новости касаются Генри? — воскликнула Френсис, подбегая к нему.

— Послушайте и судите сами:

Сэр, по получении сего выступайте с вашим эскадроном и к десяти часам утра будьте на Кротонских высотах, где вы должны построить драгун перед неприятельским отрядом, посланным для прикрытия фуражиров. Вы найдете там отряд пехоты, который послужит вам подкреплением. Мне сообщили о бегстве английского шпиона, но поимка его менее важна, чем дело, которое я вам поручаю. А потому отзовите ваших людей, если они были посланы в погоню за ним, и постарайтесь остановить продвижение врага.

Ваш покорный слуга Джордж Вашингтон.

Слава богу! — вскричал Дапвуди.— Я избавился от обязанности ловить Генри и могу с честью выполнить свой долг.

— Но будьте осторожны, дорогой Пейтон,— промолвила Френсис, смертельно побледнев,— помните, что теперь у вас есть новые обязанности, и берегите свою жизнь.

Молодой человек с восхищением поглядел на прелестное бледное личико и, прижав девушку к сердцу, ответил:

— Я буду беречь себя ради вас, чистая душа!

Френсис разрыдалась, припав к его груди, но он вырвался из ее объятий и вышел.

Мисс Пейтон увела племянницу, считая необходимым перед отходом ко сну дать ей несколько наставлений относительно ее будущих супружеских обязанностей. Френсис терпеливо выслушала тетушку, хотя и не вполне усвоила ее урок. Мы очень сожалеем, что предание не донесло до нас этих ценных поучений, но, несмотря на все наши изыскания, нам удалось лишь узнать, что в них было не больше смысла, чем в рассуждениях холостяка о воспитании детей.

А теперь нам придется на время покинуть обеих леди и вернуться к капитану Уортону и разносчику Бёрчу.

Глава XXXII

Последнего лишен он слова —
Веревка для него готова!

Роукби

Разносчик и его спутник вскоре спустились в долину. Там они остановились, прислушиваясь, но не уловили ни звука, свидетельствующего о том, что погоня уже началась, и вышли на большую дорогу. Бёрч, обладавший крепкими ногами, привыкшими к долгой ходьбе, прекрасно знал все горные проходы и шел впереди крупным, размеренным шагом, свойственным людям его профессии; ему недоставало лишь тюка с товарами, а в остальном он сохранял свой обычный деловой вид. Когда они приближались к одному из многочисленных американских постов, разбросанных в горах, они делали крюк и скрывались от часовых, бесстрашно ныряя в лесную чащу или взбираясь на крутой откос, казавшийся на первый взгляд неприступным. Разносчику был знаком каждый поворот горных тропинок, он твердо помнил, где можно перебраться через глубокое ущелье и где перейти вброд быструю речку. Раза два Генри казалось, что дальше пройти уже невозможно, однако его умелый проводник так хорошо изучил эту местность, что находил выход из любого затруднения. Пройдя часа три быстрым шагом, они вдруг свернули с дороги, отклонявшейся на восток, и двинулись на юг, прямо через горы. Разносчик объяснил Генри, что они пошли по этому направлению, чтобы избежать встречи с американскими частями, охраняющими южные склоны гор, а также чтобы сократить путь. Поднявшись на вершину небольшой горы, Гарви уселся возле ручейка и, раскрыв мешок, который он нес за плечами вместо обычного тюка с товаром, предложил своему спутнику разделить с ним скромную трапезу.

Все это время Генри не отставал от Бёрча, но не столько благодаря своей выносливости, сколько подгоняемый тревогой, вполне естественной в его положении. Делать привал в такую минуту, когда конный отряд мог отрезать им путь через нейтральную полосу, показалось ему неразумным. Он высказал свои опасения и постарался убедить разносчика продолжать путь.

— Лучше последуйте моему примеру, капитан Уортон,— возразил Бёрч, принимаясь за свой скудный ужин.— Если драгуны уже выехали, то никакой пешеход не сможет от них уйти; если же нет, то скоро им поручат такое дело, что мысли о нас с вами тотчас вылетят у них из головы.

— Вы сами говорили, что для нас важнее всего задержать их на два часа, а если мы здесь замешкаемся, то утратим полученное нами преимущество.

— Два часа прошли, и теперь майор Данвуди меньше всего думает о преследовании двух беглецов, ибо на берегу реки его ждут сотни врагов.

— Тише! — прервал его Генри.— Какие-то всадники скачут у подножия горы. Я слышу, как они переговариваются и хохочут. Тш-ш... Вот голос самого Данвуди. Он разговаривает с товарищами, да так весело, словно ничто его не тревожит. Я мог бы ожидать, что он будет огорчен, узнав, в какую беду попал его друг. Наверное, Френсис не успела передать ему мою записку...

Услышав первое восклицание капитана, Бёрч встал с места и тихонько подошел к крутому обрыву, прячась в тени утесов, чтобы его не могли заметить снизу, и пристально всматриваясь в проезжающий отряд. Он глядел ему вслед и прислушивался, пока быстрый топот копыт не замер вдали, а затем спокойно вернулся на место и с неподражаемым хладнокровием продолжал прерванный ужин.

— Вам предстоит далекий и трудный поход, капитан Уортон,— сказал он,— берите пример с меня и подкрепитесь на дорогу. Когда мы пришли в хижину над Фишкилом, вы были голодны, неужели усталость прогнала ваш аппетит?

— Тогда мне казалось, что я в безопасности, но известия, принесенные сестрой, так встревожили меня, что теперь я не могу есть.

— Однако сейчас у вас меньше причин тревожиться, чем было все время с того вечера, когда вы отказались принять мою помощь и скрыться со мной, из-за чего и попали в плен,— возразил Бёрч.— Майор Данвуди не такой человек, чтобы шутить и смеяться, зная, что другу его угрожает опасность. Идите-ка лучше сюда да поешьте, и ни одна лошадь нас не догонит, если мы сможем отшагать без передышки еще четыре часа и если солнце взойдет не раньше положенного ему времени.

Самообладание разносчика подбодрило и его спутника. Решив слушаться указаний Бёрча, Генри последовал его совету и принялся за незатейливый ужин, в котором качество несомненно уступало количеству. Покончив с едой, они снова двинулись в путь.

Генри следовал за своим проводником, слепо подчиняясь его воле. В течение двух часов они с трудом пробирались по опасным хребтам и ущельям, без всякой дороги, находя нужное направление лишь по месяцу, который то скрывался в набегавших облаках, то снова заливал землю ярким светом. Наконец горы стали понемногу снижаться, переходя в неровные каменистые холмы, и наши путники, покинув голые, бесплодные скалы и обрывы, вышли к плохо обработанным полям на нейтральной территории.

Теперь разносчик шел с большей осторожностью, всячески стараясь избежать встречи с летучими отрядами американских войск. Что до регулярных постов, он хорошо знал их местоположение и потому не опасался неожиданно натолкнуться на них. Двигаясь по холмам и долинам, он то выходил на большую дорогу, то снова покидал ее, как будто инстинктивно чувствуя опасность. Его походка не отличалась изяществом, он мерил дорогу громадными шагами, наклонив вперед свое тощее тело, но казалось, что он не делает никаких усилий и не знает усталости.

Месяц зашел, и на востоке прорезалась слабая полоска света. Капитан Уортон уже не мог скрывать, что силы его на исходе, и спросил, не добрались ли они до такого места, где можно без опасений попросить приюта в какой-нибудь ферме.

— Поглядите сюда,— ответил разносчик, указывая на гору неподалеку.— Видите — на ее вершине шагает человек. Повернитесь так, чтобы он оказался на свету. Теперь взгляните: он пристально смотрит на восток — это часовой королевских войск. На этой горе размещено двести солдат регулярной армии, и уж они, наверное, спят, не выпуская оружия из рук.

— Так пойдем же к ним! — вскричал Генри.— И все опасности останутся позади.

— Тише, тише, капитан Уортон,— ответил сухо разносчик.— Недавно вы были среди трехсот королевских солдат, и, однако, нашелся человек, который сумел вырвать вас у них. Разве вы не видите темный силуэт на

другой горе, вон там, против первой, над кукурузным полем? Там находятся эти... мятежники, как называем их мы, верные слуги короля. Они ждут только рассвета, чтобы сразиться за эти земли.

— Если так, я присоединюсь к солдатам моего короля,— вскричал пылкий юноша,— и разделю их участь, что бы их ни ожидало.

— Вы забываете, что отправитесь в бой с веревкой на шее. Нет, нет, я обещал человеку, которого не могу обмануть, что доставлю вас живым и невредимым в безопасное место, и, если вы не забыли, сколько я для вас сделал и чем рисковал, капитан Уортон, вы пойдете за мною в Гарлем.

Молодой человек почувствовал, что обязан подчиниться, и неохотно последовал за разносчиком, повернувшим к городу. Вскоре они уже подошли к Гудзону. Немного поискав на берегу, Бёрч нашел небольшой челнок, как видно хорошо ему знакомый. Путники сели в него и быстро переправились на другую сторону реки, южнее Кротона [1]. Бёрч объявил, что теперь они в полной безопасности: здесь королевские войска сдерживают континентальную армию, не подпуская к Гудзонову заливу, и англичане настолько сильны, что даже летучие отряды американцев не решаются приближаться к низовьям реки.

Во время всего этого опасного побега разносчик проявил редкое хладнокровие и присутствие духа, которые, казалось, невозможно было поколебать. Словно все лучшие качества его натуры достигли высшего совершенства и ему стали чужды человеческие слабости. Генри слушался его, как ребенок, и теперь был вознагражден: сердце его запрыгало от радости, когда он узнал, что ему больше нечего бояться и он может быть спокоен за свою жизнь.

Крутой и трудный подъем вывел их на восточный берег Гудзона, который в этих местах значительно выше морского побережья. Немного отойдя от большой дороги, разносчик вошел в тенистую кедровую рощу, где бросился на плоский камень и заявил своему спутнику, что наконец настало время отдохнуть и подкрепиться.

Уже совсем рассвело, и даже отдаленные предметы

---

[1] Кротон — местность в Вест-Честере на восточном берегу Гудзона.

были видны совершенно отчетливо. Внизу тянулась на юг прямая линия Гудзона и убегала вдаль, насколько хватал глаз. На севере виднелись изломанные очертания высоких гор, вздымавших к небу свои могучие вершины, а ниже густой туман скрывал водную гладь реки, и по этому белому покрову можно было проследить ее путь среди гор и холмов, конические верхушки которых громоздились друг над другом, как будто кто-то нарочно разбросал их здесь, тщетно пытаясь преградить быстрое течение. Вырвавшись из каменных тисков, река, словно обрадованная победой в борьбе с великанами, разливалась широким заливом, который украшала кайма из невысоких плодородных берегов, скромно спускавшихся к этому обширному бассейну. На противоположном, западном берегу утесы Джерси сбились таким тесным строем, что их прозвали «палисадами»; они поднимались на несколько сотен футов, как будто защищая богатую, раскинувшуюся позади них равнину от нападения неприятелей; однако река, точно презирая этих врагов, гордо текла у подножия утесов в неудержимом стремлении к океану. Луч восходящего солнца скользнул по легкому облачку, повисшему над безмятежной рекой, и вся сцена сразу ожила и заиграла красками, непрерывно меняясь и принимая новые формы и очертания. Каждое утро, как только солнце вставало и прорывало завесу тумана, на реке появлялись стаи белых парусов и медлительных лодок, которые сразу оживляли пейзаж, свидетельствуя о близости столицы большого и процветающего государства; но Генри и разносчик при свете солнца увидели лишь реи и высокие мачты военного корабля, стоявшего на рейде в нескольких милях от них. Стройные мачты выступили из тумана еще до того, как он начал рассеиваться, и над одной из них слегка трепетал длинный вымпел на дувшем вдоль реки ветерке. Когда же туман начал расходиться, перед путниками мало-помалу показались черный корпус, многочисленные снасти, большой парус и мачты с широко расставленными реями.

— Вот здесь, капитан Уортон,— сказал разносчик,— безопасное убежище для вас. Если вы укроетесь на палубе этого судна, Америка к вам не дотянется. Его прислали сюда для прикрытия отряда фуражиров и поддержки действующей армии. Офицеры регулярных войск любят слушать пальбу со своих кораблей.

Не считая нужным возражать на ироническое замечание своего спутника, а быть может, просто не обратив на него внимания, Генри с радостью принял предложение Бёрча, и было решено, что, как только они немного передохнут, Уортон постарается пробраться на судно.

Наши беглецы принялись усердно утолять свой голод, как вдруг они услышали вдалеке звуки ружейной стрельбы и замерли, прервав свое весьма важное занятие. Сначала раздалось несколько отдельных выстрелов, за ними последовала оживленная и длительная ружейная перестрелка, а потом прокатились один за другим несколько залпов.

— Ваше пророчество сбылось! — воскликнул Генри, вскакивая на ноги.— Наши войска схватились с мятежниками. Я готов отдать шестимесячное жалованье, лишь бы увидеть эту битву!

— Гм,— ответил его спутник, спокойно продолжая жевать,— на битвы хорошо любоваться издали. Что до меня, то мне сейчас больше по вкусу вот эта свиная грудинка, хоть она и холодная, чем горячий огонь континентальных войск.

— Залпы довольно сильны для такого небольшого отряда; но мне кажется, они ведут беспорядочный огонь.

— Это коннектикутские ополченцы ведут рассеянный огонь,— сказал разносчик, поднимая голову и прислушиваясь,— они даром не трещат, у них каждый выстрел попадает в цель. А залпами стреляют регулярные, вы ведь знаете — англичане всегда палят по команде... если только могут.

— Мне не нравится эта стрельба, которую вы называете рассеянным огнем,— заметил капитан, с тревогой вглядываясь в даль.— Она скорее напоминает барабанный бой, нежели выстрелы летучего отряда.

— Нет, нет, я не говорил, что это летучий отряд,— возразил Бёрч, встав на одно колено и переставая есть.— Когда ополченцы крепко стоят на месте, с ними не справятся и лучшие полки королевской армии. Каждый солдат спокойно делает свое дело, как будто он на работе, к тому же все они стреляют обдуманно и не палят в облака, когда надо попадать в людей на земле.

— Вы так говорите, сэр, словно желаете им успеха! — гневно сказал Генри.

— Я желаю успеха только правому делу, капитан

— Вот здесь, капитан Уортон,— сказал разносчик,— безопасное убежище для вас.

Уортон. Надеюсь, вы так хорошо знаете меня, что не можете сомневаться, какой стороне я сочувствую.

— О, всем известно, что вы на стороне короля, мистер Бёрч. Но, кажется, залпы прекратились.

Оба внимательно прислушивались. Беспорядочная стрельба стала реже, но вскоре вновь послышались тяжелые залпы.

— Они взялись за штыки,— заметил разносчик.— Регулярные пустили их в ход, и мятежники отошли.

— Да, мистер Бёрч, штык — вот истинное оружие британского солдата. Он любит сражаться штыком.

— Ну, а по-моему,— возразил разносчик,— невозможно любить сражаться таким ужасным оружием. Насколько мне известно, ополченцы придерживаются того же мнения, ибо у половины из них нет этих отвратительных тычков. Боже мой, капитан, я хотел бы, чтобы вы разок сходили со мной в неприятельский лагерь и послушали, какие лживые рассказы повторяют там о Банкер-Хилле [1] и о Бергойне! Слушая их, можно подумать, будто для этих людей штыковой бой — самое приятное занятие.

Насмешливое лицо разносчика приняло самое невинное выражение, и раздосадованный Генри решил ничего не отвечать.

Теперь слышались лишь отдельные беспорядочные выстрелы, изредка прерываемые громкими залпами. Оба беглеца стояли, с тревогой вслушиваясь в эти звуки, как вдруг неподалеку показался вооруженный мушкетом человек, который осторожно подкрадывался к ним, прячась в густой тени кедровника, покрывавшего склоны горы. Генри первый заметил подозрительного незнакомца и тотчас указал на него своему спутнику. Бёрч вздрогнул и невольно сделал движение. как будто хотел бежать, но тут же спохватился и продолжал стоять в мрачном молчании, пока незнакомец не остановился в нескольких ярдах от них.

— Я друг,— сказал тот, опуская на землю приклад ружья, но, как видно, боясь подойти поближе.

— Идите-ка вы обратно,— сказал ему Бёрч,— отсюда

---

[1] Банкер-Хилл — одна из высот, господствующих над Бостоном, где американцы в 1775 году отразили три ожесточенные атаки противника и оставили поле боя лишь после того, как у них иссякли запасы пороха.

до регулярных войск рукой подать, а драгун Данвуди нет поблизости, так что вам сегодня не удастся меня захватить.

— Будь проклят Данвуди со своими драгунами! — закричал главарь шайки скиннеров (ибо то был он).— Боже, спаси короля Георга и пошли ему скорую победу над мятежниками! Если вы укажете мне безопасную дорогу к пристанищу ковбоев, мистер Бёрч, я хорошо вам заплачу и навсегда останусь вашим другом.

— Дорога так же открыта для вас, как и для меня,— ответил Бёрч, отворачиваясь от него с плохо скрытым отвращением.— Если вы хотите присоединиться к ковбоям, вы сами знаете, где их найти.

— Но я побаиваюсь идти к ним один. А вас здесь все хорошо знают, и вам ведь не повредит, если вы возьмете меня с собой и проводите к ним.

Тут в разговор вмешался Генри и, потолковав со скиннером, согласился взять его с собой при условии, что тот отдаст им свое оружие. Скиннер тотчас принял условие, и Бёрч поспешно завладел его ружьем; однако, прежде чем положить его на плечо и отправиться в дорогу, разносчик тщательно осмотрел, заряжено ли оно, и с удовольствием убедился, что в него вложен хороший сухой патрон с пулей.

Как только договор был заключен, все трое двинулись вперед. Идя вдоль берега реки, Бёрч держался пути, где никто не мог их увидеть, пока они не остановились прямо против фрегата; тут разносчик подал условный знак, и к ним с корабля выслали ботик. Прошло немало времени, пока моряки со множеством предосторожностей решились пристать к берегу; Генри наконец удалось уговорить командовавшего ими офицера взять его на борт, после чего беглец благополучно присоединился к своим товарищам по оружию. Прощаясь с Бёрчем, капитан отдал ему свой кошелек, довольно туго набитый по тем временам. Разносчик принял подарок и, улучив минуту, когда скиннер отвернулся, незаметно сунул его в потайной карман, приспособленный, чтобы прятать подобные сокровища.

Когда ботик отчалил от берега, Бёрч повернулся и глубоко вздохнул, как человек, у которого с души свалилась огромная тяжесть, а затем снова направился в горы своими громадными размеренными шагами. Скиннер после-

довал за ним — так шли они вместе, бросая друг на друга подозрительные взгляды, и оба сохраняли непроницаемое молчание.

По дороге вдоль реки ехали фургоны; иногда их сопровождали конные отряды, охранявшие добычу, захваченную во время набегов на деревни и отправляемую в город.

У разносчика были особые соображения — он старался избегать встреч с этими отрядами и отнюдь не искал их покровительства. Несколько миль Бёрч прошел по самому берегу реки, и все это время, несмотря на многократные попытки скиннера завязать с ним приятельскую беседу, продолжал упорно молчать, крепко сжимая в руках ружье и недоверчиво поглядывая на своего спутника; потом он вдруг свернул на большую дорогу, собираясь, видимо, двинуться прямо через горы на Гарлем. В эту минуту из-за ближнего холма выехал конный отряд и оказался возле Бёрча прежде, чем тот его заметил. Отступать было уже поздно, но, приглядевшись к солдатам, Бёрч обрадовался встрече, подумав, что она, быть может, избавит его от опостылевшего ему спутника. Отряд состоял из восемнадцати или двадцати всадников в драгунских мундирах и на драгунских седлах, однако в них совсем не чувствовалось военной выправки. Впереди ехал плотный человек средних лет, черты которого выражали много безрассудной отваги и очень мало ума, как того и требовало его ремесло. На нем был офицерский мундир, однако одежда его не отличалась щегольством, а движения — изяществом, свойственными обычно джентльменам, носящим форму королевской армии. Его крепкие ноги, казалось, не гнутся, и, хотя он прочно и уверенно сидел в седле, поводья он держал так, что его поднял бы на смех самый захудалый наездник из виргинцев. Как и ожидал разносчик, начальник отряда тотчас его окликнул, и голос у него оказался таким же неприятным, как и внешность.

— Эй, джентльмены! Куда вы так спешите? Уж не послал ли вас Вашингтон шпионить за нами?

— Я скромный разносчик,— ответил Гарви мягко,— и спустился с гор, чтобы закупить в городе новых товаров.

— А как ты думаешь пробраться в город, мой скромный разносчик? Ты, верно, считаешь, что мы заняли форты у Кингс-Бриджа специально для того, чтобы такие

бродячие мошенники, как ты, могли ходить взад-вперед в город и из города?

— Я надеюсь, что мой пропуск позволит мне войти туда,— ответил разносчик, с самым равнодушным видом протягивая ему бумагу.

Офицер — ибо таковым он считался — прочел ее и бросил на Гарви удивленный и любопытный взгляд. Затем он повернулся к солдатам, загородившим по его приказу разносчику дорогу, и крикнул:

— Зачем вы задержали этого человека? Пропустите его, пусть идет себе с миром. А ты кто такой? О тебе в пропуске ничего не сказано!

— Нет, сэр,— ответил скиннер, с подобострастным видом снимая шляпу.— Я бедный обманутый человек, служивший в мятежной армии, но, благодарение господу, я понял свои заблуждения и решил искупить прежние ошибки, записавшись в армию помазанника божия.

— Тьфу ты, да это дезертир, скиннер! И готов поклясться, он жаждет примазаться к ковбоям! В последней схватке с этими негодяями я еле отличал моих солдат от врагов. Нам еще не хватает мундиров, а что касается людей, то эти мошенники так часто перебегают из одной армии в другую, что их лица вас просто сбивают с толку. Ну что ж, вперед! Уж мы постараемся так или иначе пристроить тебя к делу.

Как ни был неприветлив этот прием, однако если судить о чувствах скиннера по его поведению, то он был им просто восхищен. Он с готовностью направился к городу и был так рад избавиться от суровых взглядов и устрашающих вопросов грубого начальника, что отбросил всякие другие соображения. Но человек, выполнявший обязанности сержанта в этом летучем отряде, подъехал к своему командиру и завел с ним тихий и, по-видимому, секретный разговор. Они беседовали шепотом, то и дело бросая на скиннера испытующие взгляды, и вскоре тот решил, что ему оказывают особое внимание. Ему был даже приятен такой интерес, тем более что он заметил на губах офицера улыбку, хотя и довольно суровую, однако все же выражавшую удовольствие. Эта пантомима продолжалась все время, пока всадники ехали по лощине, и закончилась, лишь когда они поднялись на гору. Тут капитан и сержант, приказав отряду остановиться, сошли с лошадей. Оба взяли из седельной сумки по пистолету,

что само по себе не вызывало ни тревоги, ни подозрений, ибо в то время все принимали такие меры предосторожности, а затем велели разносчику и скиннеру следовать за ними. Вскоре они подошли к месту, где гора нависала над рекой, почти отвесно обрываясь вниз. На краю этого обрыва стоял заброшенный, полуразвалившийся амбар. В кровле его недоставало многих досок, а широкие ворота были выломаны: одна створка лежала перед строением, а другая — на середине крутого склона, куда ее, видимо, забросило ветром.

Войдя в этот неприютный сарай, ковбойский офицер спокойно вытащил из кармана короткую трубку, которая от долгого употребления приобрела не только цвет, но и блеск черного дерева, табакерку и небольшой кожаный мешочек, где хранились огниво, кремень и трут. С помощью этих приспособлений он вскоре разжег трубку и вставил ее в рот — без этого старого товарища он был не в состоянии думать, уж такова была его давнишняя привычка. Как только столб дыма поднялся у него над головой, капитан протянул руку сержанту, а тот вынул из кармана короткую веревку и передал своему командиру. Капитан продолжал пускать густые клубы дыма, пока они совсем не скрыли его лицо, а сам пристально осматривал стены постройки. Наконец, вытащив трубку изо рта и глотнув чистого воздуха, он снова сунул ее обратно и принялся за дело. Наверху, под крышей сарая, проходила толстая поперечная балка, как раз перед выходившими к югу воротами, откуда открывался вид на реку, убегавшую вдаль к Нью-Йоркскому заливу. Через эту балку капитан перекинул один конец веревки и, поймав его, соединил с другим, который держал в руке. Неподалеку стоял на полу старый, рассохшийся бочонок без дна, как видно брошенный тут за негодностью. Сержант по знаку офицера поставил его под балкой. Все эти приготовления делались с отменным хладнокровием и теперь, по-видимому, закончились к полному удовлетворению начальника.

— Подойди сюда,— спокойно сказал он скиннеру, который молча наблюдал за всеми его действиями, словно сторонний зритель.

Тот повиновался. И, только когда с него сорвали шейный платок и отбросили в сторону, скиннер почувствовал некоторую тревогу. Однако он сам столько раз прибегал

к подобным приемам, чтобы вырвать у противника признания или добычу, что отнюдь не испытывал того ужаса, какой почувствовал бы новичок в такую страшную минуту. С тем же непоколебимым спокойствием, с каким делались все эти приготовления, ему накинули на шею петлю, бросили на бочонок кусок доски и велели влезть на него.

— Но бочонок может упасть,— возразил скиннер, только теперь начиная дрожать.— Я вам расскажу все, что вы пожелаете, даже как вам подстеречь наш отряд возле Понда. Вам незачем затевать всю эту канитель, я все выложу сам — ведь отрядом командует мой собственный брат.

— Мне не нужно никаких сведений,— ответил его палач (ведь теперь он и вправду действовал как палач) и, снова перебросив конец веревки через балку, слегка подтянул ее, так что скиннер почувствовал опасность своего положения; затем, закрепив веревку, он еще раз закинул ее конец так высоко, чтоб его никто не мог достать.

— Ваша шутка заходит слишком далеко,— с упреком воскликнул скиннер, вставая на цыпочки и тщетно пытаясь вытащить голову из петли.

Но офицер был достаточно опытен и ловок, чтобы не дать ему возможности выскользнуть.

— Куда ты девал лошадь, которую украл у меня, мошенник? — проворчал капитан, выпуская клубы дыма в ожидании ответа.

— Она пала во время погони,— поспешно ответил скиннер,— но я укажу вам место, где можно найти коня еще резвей и лучшей породы.

— Лжец! Я сам достану себе коня, если мне понадобится. Лучше бы ты обратился к богу, ибо пришел твой смертный час.— И с этим утешительным напутствием он крепко ударил своим высоким сапогом по бочонку, и клепки его разлетелись в разные стороны, а скиннер завертелся в воздухе. Руки у него не были связаны, он ухватился за веревку и изо всех сил подтянулся кверху.

— Будет, капитан,— сказал он заискивающим голосом, хотя уже начал хрипеть, а ноги его дрожали.— Хватит вам шутить, вы уж достаточно посмеялись надо мной. Руки у меня устали, и я долго не продержусь.

— Слушайте-ка, господин разносчик,— обратился ка-

питан к Бёрчу тоном, не допускавшим ослушания,— вы мне тут не нужны. Вот вам бог, а вот порог — марш отсюда! И только посмейте тронуть этого пса — живо повиснете на его месте, хотя бы двадцать сэров Генри ждали ваших услуг.

С этими словами он вышел из сарая и направился к дороге вместе с сержантом, а разносчик бросился вниз, к берегу реки.

Но, едва Бёрч добежал до кустов, которые помогли ему скрыться от ковбоев, как почувствовал непреодолимое желание увидеть, чем кончится эта жестокая сцена.

Оставшись один, скиннер принялся со страхом озираться вокруг, стараясь угадать, куда скрылись его мучители. Кажется, в первый раз у него в уме мелькнула страшная мысль, что ковбои серьезно решили его прикончить. Он стал молить, чтобы они отпустили его, бессвязно обещая сообщить им какие-то очень важные сведения, и перемешивал свои жалобы с вымученными шутками, не желая верить, что положение его и вправду так ужасно, как кажется. Но, когда он услышал удаляющийся топот лошадей и, глядя по сторонам, увидел, что некому прийти ему на помощь, он задрожал всем телом, а глаза его от ужаса выкатились из орбит. Он делал отчаянные усилия, чтобы дотянуться до балки, однако так обессилел от прежних попыток, что это ему не удалось; тогда он попробовал перегрызть веревку зубами, но тоже безуспешно, и наконец повис всей тяжестью на вытянутых руках. Теперь он уже не кричал, а вопил:

— Помогите! Перережьте веревку! Капитан! Бёрч! Добрый разносчик! Долой Конгресс! Сержант! Помогите, ради господа бога! Ура королю! О боже, боже! Смилуйтесь, помогите! Помогите! Помогите...

Голос его замирал. Он попытался просунуть одну руку между веревкой и шеей, и это ему отчасти удалось, но другая рука сорвалась и повисла вдоль туловища. По телу его пробежала долгая судорога, и вскоре на веревке висел уже страшный труп.

Бёрч смотрел на эту сцену как завороженный. Когда послышались последние крики скиннера, он заткнул себе уши и бросился со всех ног на дорогу. Долго крики о помощи звучали у разносчика в голове, и прошла не одна неделя, прежде чем это ужасное зрелище изгладилось у него из памяти.

Отряд ковбоев безмятежно двигался по дороге, как будто ничего и не случилось, а тело скиннера висело, тихонько покачиваясь на ветру, висело долго, пока в сарай случайно не забрел какой-то бродяга.

Глава XXXIII

Пусть на твоей могиле
Всегда растут цветы,
Друзья тебя любили —
Для них не умер ты.

Холлек

Пока происходили описанные выше события, капитан Лоутон, выйдя из деревни Четыре Угла, медленно и осторожно вел свой маленький отряд навстречу неприятелю. Он так успешно маневрировал, что ему вскоре удалось провести врага, тщетно пытавшегося его окружить; в то же время капитан ловко скрыл малочисленность своего отряда и держал противника под страхом нападения американской армии. Такой осмотрительной тактики Лоутон придерживался, следуя строгому приказанию, полученному им от своего командира. Когда Данвуди покидал отряд, было известно, что англичане не спеша продвигаются вперед, и майор приказал Лоутону кружить возле них, пока он сам не вернется назад вместе с пехотным полком, который поможет ему отрезать врагу отступление. Капитан буквально следовал этому приказу, но все время мучился от нетерпения, ибо при своем горячем нраве выходил из себя всякий раз, когда его не пускали в атаку.

Во время этих переходов Бетти Фленеган неустанно следовала за отрядом, пробираясь между скалами Вест-Честера в своей тележке, и то спорила с сержантом о нравах и обычаях злых духов, то вступала в схватки с доктором по поводу разных способов лечения, и не проходило часу, чтоб между ними не возникало недоразумений. Однако теперь пришло время покончить со спорами, ибо приближалась минута, когда американцы должны были помериться силами со своими врагами. Отряд ополченцев из Восточных штатов вышел из укрытий и двинулся на неприятеля.

Встреча Лоутона со вспомогательным отрядом пехоты произошла в полночь, и капитан немедленно начал совещание с командиром пехотинцев. Выслушав мнение капитана, презрительно отозвавшегося о доблестях противника, начальник пехотного отряда решил не дожидаться прихода Данвуди с его конницей и напасть на англичан, чуть только рассветет и можно будет разглядеть расположение их войск. Когда было принято это решение, Лоутон покинул дом, где происходило совещание, и присоединился к своему небольшому отряду.

Драгуны капитана привязали коней неподалеку от большого стога сена и улеглись под его защитой, собираясь ненадолго соснуть. Доктор Ситгривс, сержант Холлистер и Бетти Фленеган устроились в сторонке, расстелив несколько попон на плоском камне. Лоутон, завернувшись в плащ, растянулся во всю длину своего богатырского тела возле хирурга и, облокотившись на руку, погрузился в глубокие размышления, следя глазами за плывшим по небу месяцем. Сержант сидел, вытянувшись в струнку из уважения к доктору, а маркитантка то поднимала голову, чтобы высказать одно из своих излюбленных изречений, то вновь опускала ее на ящик с джином, тщетно пытаясь уснуть.

— Таким образом, сержант,— говорил Ситгривс, продолжая начатую беседу,— если вы наносите противнику удар саблей снизу вверх, то ваш удар не получает дополнительной силы от веса вашего тела и потому менее губителен, хотя все же содействует целям войны, ибо выводит врага из строя.

— Что за глупости! — заметила маркитантка.— Не верьте ему, сержант. Разве грех убить врага во время битвы? И разве регулярные щадят наших ребят? Спросите вот капитана Джека, сможет ли наша страна добиться свободы, если наши ребята не будут драться что есть мочи. Для этого я и даю им столько виски!

— Конечно, нельзя предполагать, что такая невежественная женщина, как вы, миссис Фленеган, способна понять тонкости хирургической науки,— ответил доктор с таким презрительным спокойствием, что его слова еще сильнее уязвили Бетти.— Не можете вы разбираться и в сабельных ударах, и потому обсуждение вопроса о правильном употреблении этого оружия не имеет для вас ни теоретического, ни практического значения.

— А мне нет дела до всей этой болтовни. Одно я знаю: битва — не забава и нечего раздумывать, как ты бьешь и куда ты бьешь, лишь бы попасть во врага.

— Завтра у нас, кажется, будет горячий денек, капитан Лоутон? — спросил доктор.

— Да, это более чем вероятно,— ответил капитан.— Эти ополченцы то ли со страху, то ли по неопытности очень плохо дерутся, и настоящим солдатам приходится отдуваться за них.

— Уж не больны ли вы, Джон? — воскликнул доктор и, взяв руку капитана в свою, по привычке пощупал ему пульс; но спокойные, равномерные удары говорили о полном здоровье, и физическом и духовном.

— У меня болит сердце, Арчибальд, когда я думаю о безумии наших командиров, считающих, что можно вступать в бой и одерживать победы с помощью парней, которые машут ружьями словно цепами, зажмуривают глаза, когда спускают курок, а равняясь, выстраиваются в зубчатую линию. Мы полагаемся на этих людей и даром проливаем кровь наших лучших воинов.

Доктор слушал, пораженный. Его удивлял не столько смысл, сколько тон этих слов. Обычно перед битвой капитан был полон задора и оживления, в отличие от неизменного хладнокровия во всех других случаях. Но сегодня в голосе его слышалось уныние, а в манерах проглядывала усталость, что резко противоречило его всегдашнему поведению. Хирург на минуту замолчал, думая, как бы ему воспользоваться этим изменением в настроении капитана, чтобы убедить его драться по придуманной им системе, а затем сказал:

— Разумнее всего, Джон, посоветовать полковнику стрелять по врагам с дальнего расстояния: пуля на излете выводит врага из строя...

— Нет! — нетерпеливо вскричал капитан.— Пусть эти бездельники опалят себе усы о дула английских мушкетов, если только удастся заставить их подойти к ним поближе... Но хватит об этом! Скажите, Арчибальд, вы верите, что луна — такой же мир, как наша земля, и что на ней есть такие же живые существа, как и мы?

— Весьма вероятно, Джон. Мы знаем размеры луны, и если провести аналогию, то можно предположить, что она обитаема. Но мы не знаем, удалось ли жителям луны достигнуть того же совершенства в науках, что и людям,

ибо это в большой степени зависит от условий жизни ее общества и в немалой степени — от ее физического состояния.

— Мне нет дела до их учености, Арчибальд, но меня поражает могущество той силы, что создала подобные миры и управляет их движением. Не знаю почему, но меня невольно охватывает печаль, когда я гляжу на это светящееся тело с темными пятнами — морями и горами, как вы уверяете. Мне представляется, что там находят приют отлетевшие души.

— Глотните-ка немножко виски, дорогой,— сказала Бетти, снова поднимая голову и протягивая ему собственную фляжку,— ночная сырость студит кровь, да к тому же разговоры с проклятыми ополченцами претят горячему человеку. Глотните капельку, дорогой, и вы спокойно проспите до утра. Я сама накормила Роноки: чуяло мое сердце, что завтра ему придется немало поскакать.

— Смотрите, над нами раскинулось безбрежное небо,— продолжал Лоутон тем же тоном, не обращая внимания на замечание Бетти,— и бесконечно жаль, что такие ничтожные червяки, как люди, в угоду своим страстям портят это великое творение.

— Истинная правда, дорогой Джон; на земле для всех хватает места, все могли бы жить в мире и радоваться, если бы каждый довольствовался своей долей. Однако у войны есть некоторые преимущества: в частности, война содействует быстрому распространению знаний по хирургии...

— А вон звезда,— продолжал Лоутон, не желая прерывать свою мысль,— ее лучи стараются пробиться сквозь летящие облака. Быть может, это тоже мир, населенный разумными существами вроде нас. Как вы думаете, они тоже знают войны и кровопролития?

— Осмелюсь сказать, сэр,— заметил сержант Холлистер, невольно прикладывая руку к треуголке,— в священной книге сказано, что, когда Иисус Навин сражался с врагами, бог приказал солнцу остановиться. Я полагаю, он сделал это для того, сэр, чтобы тот мог при свете дня напасть на противника с фланга, или, быть может, ударить ему в тыл, или сделать еще какой-нибудь маневр. Если уж сам бог пришел ему на помощь, стало быть, сражаться не грешно. Хотя я часто удивлялся, слыша, что прежде бились на колесницах, вместо того чтобы

снаряжать отряды драгун, которые наверняка могли бы лучше прорвать линию пехотинцев и даже остановить эти боевые телеги и, внезапно наскочив, изрубить их на куски вместе с лошадьми.

— Вы не знаете, как были устроены древние колесницы, сержант Холлистер, и потому неправильно судите о них,— ответил доктор.— Они были снабжены острыми косами, торчащими из колес, и могли изрезать на куски и разметать отряд пехотинцев. Я не сомневаюсь, что, если бы сделать подобные приспособления на тележке миссис Фленеган, она и теперь могла бы внести полное смятение в ряды противника.

— Не хватает только, чтоб моя кобыла отправилась к врагам! Они бы тотчас застрелили ее,— проворчала Бетти, высовываясь из-под попоны.— Когда мы ловили грабителей — еще в те времена, когда мы гонялись за ними по всему Джерси,— мне приходилось тащиться позади всех, потому что сам черт не заставил бы мою кобылу и шагу ступить, когда впереди гремели выстрелы. Капитан Джек на своем Роноки сам справится с красными мундирами, уж он обойдется без меня и моей клячи.

Тут с высоты, занятой англичанами, прокатился долгий барабанный бой, возвестивший, что наступление начинается, и тотчас со стороны американцев ему ответил сигнал тревоги. Послышались воинственные звуки трубы виргинцев, и через минуту обе горы — одна занятая англичанами, а другая американцами — ожили и запестрели вооруженными солдатами.

Заря занималась, и противники готовились наносить и отражать удары. По численности американцы превосходили неприятеля, но по дисциплине и вооружению преимущество было явно на стороне англичан. Приготовления к бою были быстро закончены, и, как только взошло солнце, ополченцы двинулись вперед.

Неровности почвы затрудняли действия кавалерии, а потому драгунам было приказано лишь дожидаться победы и постараться закрепить ее. Вскоре Лоутон посадил своих всадников в седло и, оставив их под командой Холлистера, поехал вдоль линии пехотинцев, одетых в разношерстное платье, недостаточно вооруженных и стоявших толпой, лишь отдаленно напоминавшей военное построение. Насмешливая улыбка скользнула по лицу капитана, когда он умелой рукой направил Роноки вдоль их

неровных рядов. Тут послышалась команда выступать, и, объехав пехоту с фланга, Лоутон двинулся следом за ней. Чтобы сблизиться с противником, американцы должны были спуститься в небольшой овраг, пересечь его, а затем подняться на гору.

Спуск вниз был проведен довольно четко, когда же пехотинцы подошли к подножию горы, навстречу им стройными шеренгами двинулись королевские войска, прикрытые с флангов горными склонами.

Как только вражеские силы выступили вперед, ополченцы открыли по ним меткий огонь, и поначалу англичане смешались. Однако их офицеры быстро восстановили порядок, и солдаты вскоре принялись выпускать залп за залпом по американцам.

Некоторое время продолжался упорный, сокрушительный обстрел, а потом англичане взялись за штыки. Ополченцы были недостаточно дисциплинированны, чтобы выдержать такой натиск. Ряды их дрогнули, остановились, и вскоре все войско распалось на отдельные части и небольшие группы, которые начали отступать, беспорядочно отстреливаясь.

Лоутон молча наблюдал за сражением и не разжимал губ, пока поле боя не покрылось толпами бегущих ополченцев. Но тут, увидев, что войскам его родины грозит позор, капитан вскипел. Пришпорив Роноки, он поскакал по склону горы и закричал во всю силу своих богатырских легких, стараясь остановить отступающих. Он указывал ополченцам на врагов и спрашивал их:

— Куда вы? Вот в какую сторону надо бежать!

В голосе его звучала такая насмешка, такое бесстрашие, что бегущие начали останавливаться, потом собираться в отряды, и вскоре, заразившись примером драгуна, они вновь обрели мужество и стали просить его повести их на врага.

— Так вперед же, друзья! — загремел капитан, поворачивая коня: он был недалеко от фланга англичан.— Вперед, молодцы, и стреляйте вовсю! Подпалите англичанам брови!

Солдаты бросились за ним, но ни с той, ни с другой стороны не слышалось выстрелов, пока противники не сошлись вплотную. Вдруг английский сержант, спрятавшийся за скалой и взбешенный храбростью офицера, презиравшего английское оружие, выскочил из своего укры-

тия и, остановившись в нескольких ярдах, навел на капитана мушкет.

— Только выстрели — и тебе конец! — крикнул Лоутон и, дав шпоры коню, прыгнул вперед.

Этот прыжок и тон Лоутона испугали англичанина: он нажал на собачку дрожащей рукой. Роноки взвился вверх, но тут же рухнул на землю и вытянулся бездыханным трупом у ног своего убийцы. Лоутон вскочил и оказался лицом к лицу с врагом. Тот выставил вперед штык, тщетно пытаясь проткнуть драгуну сердце. Но капитан встретил штык ударом сабли и отбросил его на пятьдесят футов вверх, выбив целый сноп огненных искр. В следующее мгновение сраженный англичанин упал, содрогаясь, на землю.

— Вперед! — закричал Лоутон, увидев, что из-за скалы появился вражеский отряд, открывший сильный огонь.— Вперед! — повторил он, гневно потрясая саблей.

И вдруг его громадное тело медленно опрокинулось назад как подкошенное — так падает могучая сосна, срубленная под корень топором. Но, падая на землю, он еще раз взмахнул саблей и низким голосом произнес:

— Вперед!

Шедшие за ним солдаты остановились, охваченные ужасом, затем повернулись и побежали, оставив территорию королевским войскам.

Преследование неприятеля отнюдь не входило в намерения английского командира, ибо он отлично знал, что к американцам скоро подойдет сильное подкрепление; поэтому он велел только подобрать раненых, а затем, построив солдат в каре, приказал им отступать к стоянке кораблей. Спустя полчаса после гибели Лоутона и англичане и американцы покинули поле боя.

Когда жителей колоний призвали под ружье, командованию, естественно, пришлось послать в воинские части врачей, знакомых с хирургией, однако в те времена они были еще довольно невежественны. Доктор Ситгривс питал к этим лекарям такое же презрение, как Лоутон — к ополченцам. Теперь наш доктор бродил по полю, неодобрительно поглядывая на своих собратьев, занятых несложными операциями; однако, не найдя среди отступавших отрядов своего товарища и друга, он поспешил к тому месту, где стоял Холлистер с драгунами, чтобы узнать, вернулся ли Лоутон, и, разумеется, получил отри-

цательный ответ. Хирург в сильной тревоге, не обращая внимания на опасности и совсем не думая о том, что может угрожать ему на пути, торопливо зашагал через поле в тот конец, где, как он знал, произошла последняя схватка. Однажды ему довелось спасти своего друга от смерти при подобных же обстоятельствах, и он шел, втайне радуясь своему искусству, как вдруг увидел вдали Бетти Фленеган; она сидела на земле и держала на коленях голову человека, которого доктор тотчас узнал по росту и одежде,— это мог быть только капитан. Когда хирург подошел, его не на шутку встревожил вид маркитантки. Ее черный чепец валялся в стороне, а поседевшие пряди волос в беспорядке падали на лицо.

— Джон, дорогой Джон! — тихонько сказал доктор, осторожно взяв капитана за запястье, и тут же отпустил его безжизненную руку, внутренним чутьем угадывая истину.— Джон, дорогой мой, куда вы ранены? Позвольте мне помочь вам!

— Вы говорите с бездыханным телом,— промолвила Бетти, покачиваясь из стороны в сторону и машинально перебирая рукой черные кудри капитана.— Ничего он больше не услышит, и не помогут ему ни ваши бинты, ни ваши лекарства. Ох, горе нам, горе! Что станется теперь с нашей свободой! Кто будет воевать и добиваться победы?

— Джон,— твердил хирург, не в силах поверить собственным глазам,— дорогой Джон, отвечайте мне, скажите что-нибудь, молвите хоть слово, только отвечайте! О боже мой, он умер! Зачем я не умер вместе с ним!

— Какой толк теперь жить и воевать, когда они погибли оба: и он и его конь! — воскликнула Бетти.— Глядите, там лежит бедное животное, а тут — его хозяин! Нынче утром я сама задала корму его коню; и последний съеденный Джеком ужин был тоже приготовлен моими руками. Ох, горе, горе! Кто бы мог подумать, что нашего капитана ухлопают эти регулярные!

— Джон, дорогой мой Джон! — повторял доктор, судорожно всхлипывая.— Твой час настал, а сколько более осторожных людей пережили тебя! Но нет среди них никого добрей, никого храбрей. Ты был мне верным другом, Джон, любимым другом. Философ не должен горевать, но тебя, Джон, я буду оплакивать, ибо горечь наполняет мое сердце!

Доктор закрыл лицо руками и несколько минут сидел рыдая, не в силах справиться со своим горем, а Бетти изливала свою печаль в потоке слов, раскачиваясь всем телом и поглаживая пальцами одежду своего любимца.

— Кто же будет теперь подбадривать ребят? — говорила она.— Ох, капитан Джек, вы были душой нашего полка, и с вами мы не знали, что такое опасность! Ох, никогда-то он не был привередой, никогда не бранил бедную вдову, если у нее пригорал ужин или запаздывал завтрак!.. Хлебните глоточек, дорогой, может быть, это оживит вас. Ох, нет, никогда он уж больше не глотнет из фляжки! Взгляните, сердце мое, вот доктор, над которым вы столько потешались, он так горюет, бедняга, словно готов умереть вместо вас... Ох, он погиб, он погиб, а вместе с ним погибла и наша свобода!

На дороге, проходившей недалеко от того места, где лежал капитан, послышался громкий топот копыт, и тотчас появился весь виргинский эскадрон во главе с майором Данвуди. До него уже дошла весть о гибели Лоутона, и, увидев распростертого капитана, он остановил драгун и, спешившись, подошел к нему. Внешне Лоутон нисколько не изменился, но во время битвы суровые складки про-

легли у него между бровей и застыли навек. Он лежал, спокойно вытянувшись, словно во сне. Данвуди взял его за руку и с минуту молча смотрел на него; но вскоре черные глаза майора загорелись огнем и на его побледневших щеках вспыхнули красные пятна.

— Я отомщу за него его же мечом! — вскричал он, пытаясь вынуть оружие из руки капитана, но ему не удалось разжать застывшие пальцы.— Так пусть же их похоронят вместе. Ситгривс, позаботьтесь о нашем друге, а я отомщу за его смерть.

Майор поспешно вскочил на коня и двинулся вслед за врагом.

Пока Данвуди стоял возле погибшего, весь эскадрон смотрел на тело капитана Лоутона, который был всеобщим любимцем. Это зрелище глубоко взволновало драгун и зажгло в них жажду мести. Солдаты и офицеры, утратив хладнокровие, необходимое для успешного проведения военной операции, яростно пришпорили коней и помчались вслед за своим командиром.

Англичане, выстроившись в каре, посредине которого шли раненые,— кстати сказать, их было совсем не много,— медленно отступали по неровному, каменистому склону, когда их настигли драгуны. Построив конницу в колонну, Данвуди скакал во главе отряда, горя желанием отомстить и надеясь, врезавшись в каре, рассеять англичан одним ударом. Но неприятель знал, в чем его сила: крепко стоя на месте, он встретил кавалеристов штыками. Лошади виргинцев отпрянули, всадники пришли в замешательство, а задние ряды англичан открыли по ним сильный огонь и сшибли с лошади майора и нескольких драгун. Отбившись от врага, англичане продолжали правильное отступление.

Тогда серьезно, но не смертельно раненный Данвуди запретил своим всадникам преследовать неприятеля, ибо в этой неровной гористой местности их попытки были обречены на неудачу.

Теперь драгунам оставалось лишь выполнить печальный долг. Они медленно отошли в горы, увозя с собой раненого командира и убитого капитана. Лоутона они похоронили возле укреплений одного из горных постов, а Данвуди поручили нежным заботам его огорченной жены.

Прошло несколько недель, прежде чем майор Данвуди понравился настолько, что его можно было увезти домой.

Сколько раз за эти недели благословлял он минуту, давшую ему право на заботливый уход его прелестной сиделки! Она не отходила от его постели, нежно ухаживая за ним, собственноручно выполняла все предписания, назначенные неутомимым Ситгривсом, и муж с каждым часом все сильнее любил и уважал ее.

По приказу Вашингтона американские войска вскоре ушли на зимние квартиры, а Данвуди вместе с чином подполковника получил отпуск и разрешение отправиться на родину для окончательного выздоровления. Итак, все семейство Уортон удалилось с арены войны и, пригласив с собой капитана Синглтона, отправилось в спокойное и уютное имение майора Данвуди. Однако перед отъездом из Фишкила они получили письмо, написанное незнакомой рукой и сообщившее им, что Генри здоров и благополучен, а также, что полковник Уэлмир покинул континент и отправился на свой родной остров, потеряв уважение всех порядочных людей в королевской армии.

Да, то была счастливая зима для Данвуди, а на хорошеньких губках Френсис вновь заиграла улыбка.

Глава XXXIV

Среди сверкающих огней,
Среди шелков и соболей
В костюме скромном он стоял,
И на него смотрел весь зал

«Дева озера»

Начало следующего года американцы вместе со своими союзниками провели в серьезных приготовлениях, чтобы раз и навсегда покончить с войной. На Юге Грин вел с Роудоном [1] кровопролитные бои, которые покрыли славой полки английского военачальника, однако кончились полной победой американского, ясно доказав, который из двух генералов обладал бóльшими талантами.

Союзные армии постоянно угрожали Нью-Йорку. Держа английское командование в непрерывной тревоге за безопасность этого города, Вашингтон добился того, что

[1] Грин — один из выдающихся американских генералов эпохи борьбы за независимость; Роудон — английский генерал.

неприятель не мог посылать подкреплений Корнваллису и не помог ему добиться успеха.

Когда подошла осень, все указывало на то, что наступил решительный момент. Французские войска, пройдя по нейтральной территории, сблизились с королевской армией, угрожая ей нападением возле Кингс-Бриджа и согласуя свои действия с крупными силами американцев. Союзники не давали покоя английским постам, подходили вплотную к Джерси и постоянно грозили атаковать королевские войска. Приготовления союзников говорили о том, что ожидаются осада и штурм. Тем временем сэр Генри Клинтон, перехвативший несколько писем Вашингтона, отсиживался за укреплениями и из осторожности отказывал Корнваллису, просившему о помощи.

В конце ненастного сентябрьского дня большая группа офицеров собралась возле двери здания, находившегося в самом центре американских войск, угрожавших Джерси. Возраст, мундиры и важная осанка многих из этих воинов говорили об их высоком положении. Но одному из них все оказывали особое уважение, слушали его с особой почтительностью, и было ясно, что он здесь самый главный. Одежда его была проста, но ее украшало множество знаков военных отличий. Он сидел верхом на благородном коне темно-гнедой масти, а вокруг несколько молодых офицеров в блестящих мундирах, как видно, ждали его приказаний и поручений. Те, к кому он обращался, тотчас снимали шляпы, когда же он говорил, все слушали его с глубоким вниманием, свидетельствующим о гораздо большем почтении, чем требует воинский устав. Наконец генерал снял шляпу и спокойно поклонился окружающим. Все поклонились ему в ответ и начали расходиться; с ним остались только личная свита и адъютант. Сойдя с седла, генерал отошел на несколько шагов и заботливо оглядел своего коня, а затем, бросив быстрый, но выразительный взгляд своему адъютанту, вошел в дом. Адъютант последовал за ним.

Войдя в комнату, как видно заранее приготовленную для него, генерал опустился в кресло и некоторое время сидел, погрузившись в размышления, как человек, привыкший советоваться с самим собой. Все это время адъютант стоял, ожидая приказаний. Наконец генерал поднял глаза и сказал обычным для него спокойным голосом:

— Пришел ли человек, которого я хотел повидать?

— Да, ваше превосходительство, он ждет вашего приказа.

— Приведите его сюда, пожалуйста, и оставьте нас одних.

Адъютант молча наклонил голову и вышел. Через несколько минут дверь приоткрылась, и в комнату проскользнул человек. Ни слова не говоря, он скромно остановился у входа. Генерал не слышал, как он вошел, и сидел, глядя на огонь, в глубоком раздумье. Прошло несколько минут, и он произнес вполголоса, как бы обращаясь к самому себе:

— Завтра мы должны поднять завесу и раскрыть наши планы. Да поможет нам небо!

Тут вошедший слегка шевельнулся, и генерал, обернувшись, увидел, что он не один. Генерал молча указал посетителю на камин, и тот подошел поближе, хотя был так плотно закутан — видимо, больше для маскировки, чем для защиты от холода,— что не мог озябнуть. Учтивым движением руки генерал указал ему на стул, но посетитель, скромно поклонившись, отказался сесть. Снова последовало молчание. Наконец генерал встал и, открыв шкатулку, стоявшую на столе перед ним, достал небольшой, но, видимо, тяжелый мешочек.

— Гарви Бёрч,— сказал он незнакомцу,— пришло время порвать всякую связь между нами. Отныне мы должны навсегда стать чужими.

Разносчик откинул капюшон плаща, скрывавший ему лицо, и с минуту пристально вглядывался в своего собеседника. Затем опустил голову на грудь и промолвил:

— Как вам будет угодно, ваше превосходительство.

— Это необходимо. Когда я занял пост, на котором теперь нахожусь, я счел своим долгом подобрать многих людей, которые, как и вы, служили мне орудием для получения сведений. Вам я доверял больше, чем всем остальным; я давно заметил в вас любовь к истине и верность своим принципам и могу с радостью сказать, что ни разу в вас не обманулся. Вы один знаете моих тайных агентов в этом городе, и от вашей самоотверженности зависит не только их благосостояние, но даже сама жизнь.

Он помолчал, словно раздумывая, как бы воздать разносчику по заслугам, и продолжал:

— Мне кажется, вы один из очень немногих людей, ни разу не изменивших нашему делу, и, хотя вас считали

шпионом наших врагов, вы ни разу не выдали им сведений, которые вас просили не разглашать. Только я, один я в целом свете, знаю, что вы действовали из глубокой любви к свободе Америки.

Слушая эту речь, Гарви понемногу поднимал опущенную на грудь голову и выпрямлялся, а на щеках его все ярче проступал румянец. Когда генерал замолчал, лицо Гарви разгорелось от волнения, он стоял, вскинув голову и гордо выпрямив стан, но скромно потупив глаза.

— Теперь я должен отплатить вам за ваши услуги. До сих пор вы упорно откладывали день расплаты, и долг мой стал очень велик — я не хочу преуменьшать опасности, которым вы подвергались. Здесь сто дублонов; вы знаете, как бедна наша страна, и поймете, чем вызвана скудость этого вознаграждения.

Разносчик поднял глаза на говорившего, но, когда тот протянул ему деньги, отступил, отказываясь взять мешочек.

— За вашу верную службу, за все опасности, которые вам угрожали, это очень мало, я понимаю,— продолжал генерал,— но это все, что я могу вам уделить. Быть может, когда закончится война, я смогу увеличить это скромное вознаграждение.

— Неужели вы думаете, ваше превосходительство, что я рисковал жизнью и опозорил свое имя ради денег?

— Тогда ради чего же?

— Что привело ваше превосходительство на поле боя? Ради чего вы всякий день и всякий час подвергаете смертельной опасности вашу драгоценную жизнь, участвуя в битвах и походах? Стоит ли говорить обо мне, если такие люди, как вы, готовы пожертвовать всем ради нашей родины? Нет, нет, я не возьму у вас ни доллара, бедная Америка сама в них нуждается!

Мешочек выскользнул из рук генерала и упал к ногам разносчика, где пролежал забытым до конца этой беседы.

— Мною руководят многие соображения, однако вам они неизвестны. Мы с вами в разном положении: меня все знают как командующего армией, а вам придется до самой могилы слыть врагом своей родины. Не забывайте, что маску, скрывающую ваше истинное лицо, вам не позволят снять еще много лет, а быть может — никогда.

Бёрч снова опустил голову, но это движение не выражало согласия.

Разносчик поднял глаза на говорившего, но, когда тот протянул ему деньги, отступил, отказываясь взять мешочек.

— Ваша молодость уже позади, вы скоро состаритесь. Чем вы станете добывать себе пропитание?

— Вот чем,— ответил разносчик, протягивая руки, огрубевшие от работы.

— Но они когда-нибудь вам откажут; примите помощь, которая поддержит вас в старости. Вспомните, чем вы рисковали и какие трудности вам пришлось преодолеть. Я уже говорил вам, что судьба многих видных людей зависит от вашего молчания. Как я докажу им, что они могут на вас положиться?

— Скажите им,— ответил Бёрч, шагнув вперед и, сам того не замечая, наступив на мешочек с деньгами,— скажите, что я не взял золота.

Суровые черты генерала смягчила добрая улыбка, и он крепко пожал руку разносчика.

— Да, теперь я хорошо узнал вас! И, хотя причины, заставлявшие меня прежде подвергать опасности вашу жизнь, существуют и сейчас и не позволяют мне открыто восстановить ваше доброе имя, я могу втайне оставаться вашим другом. Обращайтесь ко мне всякий раз, как вас настигнет нужда или болезнь, и, пока господь бог не оставит меня своими милостями, я с радостью поделюсь с человеком, который питает такие высокие чувства и совершает такие благородные поступки. Если когда-нибудь вы утратите силы и впадете в бедность, а нашей стране улыбнется счастье и наступит долгожданный мир, отыщите двери того, кого вы столько раз встречали под именем Харпера, и он без краски стыда узнает вас и воздаст вам по заслугам.

— Мне очень мало надо в этой жизни,— промолвил Гарви,— и, пока бог дает мне здоровье и честный заработок, я ни в чем не буду нуждаться; но дружба вашего превосходительства для меня такое сокровище, которое я ценю выше всего золота английского казначейства.

Несколько минут генерал стоял в глубоком раздумье. Затем подошел к столу, взял листок бумаги, написал на нем несколько слов и протянул разносчику.

— Я верю, что провидение предназначило нашей стране великую и славную судьбу, когда вижу, какой высокий патриотизм живет в сердцах самых скромных ее граждан,— сказал он.— Для такого человека, как вы, должно быть ужасно сойти в могилу с клеймом врага свободы; но вы знаете, что, открыв свое истинное лицо, вы

погубите несколько жизней. Сейчас невозможно оказать вам справедливость, однако я без страха вверяю вам этот документ. Если мы больше не встретимся с вами, он может послужить вашим детям.

— Моим детям? — воскликнул разносчик.— Могу ли я дать семье свое опозоренное имя!

С глубокой грустью слушал генерал взволнованную речь Гарви и снова потянулся к золоту, но, взглянув в лицо своему собеседнику, остановился. Угадав его намерение, Бёрч покачал головой и продолжал более мягко:

— Вы и вправду дали мне сокровище, ваше превосходительство, и оно будет в целости и сохранности. Есть люди, которые могут подтвердить, что я ставил ни во что свою жизнь, когда надо было сохранить ваши тайны. Я не потерял ту бумагу, как говорил вам, а проглотил ее, когда виргинцы схватили меня. То был единственный раз, что я обманул ваше превосходительство, первый и последний. Да, конечно, это сокровище для меня... Быть может,— продолжал он с печальной улыбкой,— после моей смерти люди узнают, кто был моим другом, а если нет — что ж, обо мне некому пожалеть.

— Не забывайте,— сказал генерал в сильном волнении,— что во мне вы всегда найдете тайного друга; но я не могу открыто признать вас.

— Знаю, знаю,— ответил Бёрч,— я знал это еще в ту пору, когда взялся за эту работу. Я, наверное, никогда больше не увижу ваше превосходительство. Да пошлет вам бог свое святое благословение! — Он замолчал и тихонько двинулся к двери.

Генерал с горячим участием смотрел ему вслед.

Разносчик еще раз обернулся, поглядел на спокойное, но властное лицо генерала, и в глазах его отразились почтение и печаль. Потом он низко поклонился и вышел.

Американская и французская армии под руководством своего славного командира выступили против англичан, сражавшихся во главе с Корнваллисом, и кампания, начавшаяся с неудач, закончилась блестящей победой американцев. Вскоре Великобритании стала в тягость эта война, и она признала независимость Соединенных Штатов.

Годы шли за годами. Многие участники войны и их

потомки с гордостью вспоминали о подвигах, совершенных во имя дела, принесшего их родине так много всяческих благ. Но имя Гарви Бёрча затерялось среди множества имен других агентов, о которых было известно, что они втайне действовали против законных прав своих сограждан. Однако образ разносчика часто вспоминался могущественному генералу, который один знал его истинную историю и неоднократно приказывал наводить о нем тайные справки, стараясь узнать его дальнейшую судьбу; но только один раз ему удалось напасть на след. Генералу сообщили, что некий разносчик, по внешности схожий с Бёрчем, но под другим именем, бродил по новым поселкам, которые возникали в отдаленных районах, и мужественно боролся с надвигавшейся старостью и нуждой. Смерть генерала прервала дальнейшие поиски, и долгое время никто не слышал о разносчике.

Глава XXXV

В деревне этой и права и честь
Умеют от тирана защищать,
И скромный Кромвель здесь,
должно быть, есть,
И Мильтон, не умеющий писать.

Грей

Прошло тридцать три года после описанной выше беседы, и американская армия вновь выступила против английских войск, но теперь военные действия развернулись не на берегах Гудзона, а близ Ниагары [1].

Вашингтон уже давно покоился в могиле, и тело его превратилось в прах. Время быстро стирает все злобные чувства, как политическую вражду, так и личную зависть, и его имя с каждым днем сияло все ярче, а его прямота и справедливость с каждым часом ценились все больше — не только на родине, но и во всем мире. Теперь он стал признанным героем века разума и просвещения. И пылкие сердца многих юношей, бывших гордостью

[1] Действие этой главы происходит в 1814 году, когда Соединенные Штаты были вовлечены в войну с Англией (1812—1815), вновь пытавшейся подчинить себе американские колонии. Война окончилась полной победой Америки.

нашей армии в 1814 году, начинали биться сильней, когда произносили имя великого американца, и загорались горячим желанием прославиться подобно ему. Однако ни в чьем сердце подобные стремления не были жарче, чем в груди молодого офицера, который вечером 25 июля этого кровавого года стоял на плоской скале и наблюдал великий водопад. Юноша был высок и хорошо сложен, в самом расцвете сил и энергии; его блестящие черные глаза смотрели пытливо и весело. Когда он глядел на бурный поток, разбивавшийся у его ног, во взоре его светились смелость и упорство, говорившие о горячей и восторженной натуре. Однако гордое выражение лица смягчала шаловливая улыбка тонко очерченного и прекрасного, как у женщины, рта. В лучах заходящего солнца светлые кудри юноши отливали золотом, а когда легкий ветерок от водопада отбрасывал их со лба, то, судя по белизне его кожи, можно было заключить, что только солнце и ветер придали смуглый оттенок этому здоровому молодому лицу. Рядом с красивым юношей стоял другой офицер, и по интересу, с каким оба рассматривали водопад, было ясно, что они впервые видят это чудо западного мира. Они долго стояли в полном молчании, как вдруг спутник описанного нами молодого офицера вздрогнул и, указывая саблей на пропасть у них под ногами, воскликнул:

— Взгляни, Уортон, вон человек переплывает реку под самым водопадом в челноке не больше ореховой скорлупки!

— Я вижу ранец у него за плечами. Должно быть, это солдат,— заметил его товарищ.— Пойдем встретим его у пристани, Мейсон, и узнаем, какие новости он привез.

Они потратили немало времени, чтобы добраться до места, куда пристало суденышко.

Вопреки ожиданиям молодых людей, в челноке оказался человек преклонного возраста и, по-видимому, не имеющий отношения к армии. Ему было лет семьдесят, но об этом свидетельствовали скорей его поредевшие серебристые волосы, падавшие на морщинистый лоб, нежели сухое тело, не казавшееся дряхлым. Он шел сгорбившись, но, должно быть, в силу привычки, а не от слабости, ибо мускулы у него, видно, лишь окрепли за полвека неустанной работы. Одежда его была бедна; множество разнообразных заплат говорило о бережливости хозяина. На

спине он нес довольно жалкий тюк, который и ввел в заблуждение офицеров. Обменявшись с ним приветствиями, молодые люди подивились, что такой пожилой человек не боится подплывать к водоворотам у самого водопада, а он слегка дрожащим голосом спросил у них, какие вести из сражающихся армий.

— На днях мы разбили красные мундиры в равнинах Чиппевы,— ответил тот, которого звали Мейсоном.— С тех пор мы играли в прятки с их кораблями. А теперь идем снова туда, откуда начали, и, уж поверьте, зададим им перцу.

— Быть может, у вас есть сын среди солдат? — спросил его товарищ гораздо более мягким, приветливым тоном.— Если так, скажите мне, как его зовут и в каком он служит полку, и я отведу вас к нему.

Старик покачал головой и, проведя рукой по своим серебряным волосам, ответил кротко и смиренно:

— Нет, я совсем один на свете.

— Тебе следовало бы добавить, капитан Данвуди,— воскликнул беззаботный Мейсон,— что ты отведешь его к сыну, если тебе удастся найти и полк и солдата, потому что добрая половина нашей армии уже двинулась в путь и, очень возможно, стоит теперь под стенами форта Джорджа, если только у меня правильные сведения.

Тут старик вдруг остановился и стал переводить пристальный взгляд с одного офицера на другого. Заметив это, они тоже остановились.

— Я не ослышался? — спросил незнакомец, защищая глаза рукой от лучей заходящего солнца.— Как вас назвал этот офицер?

— Меня зовут Уортон Данвуди,— ответил, улыбаясь, молодой человек.

Незнакомец жестом попросил юношу снять шляпу, и, когда тот исполнил эту просьбу, его шелковистые кудри разлетелись и открылось красивое, приветливое лицо.

— Вот так и вся наша страна! — горячо воскликнул старик.— Она с каждым днем расцветает, да благословит ее бог!

— Что ты так пристально смотришь на него, лейтенант Мейсон? — спросил со смехом капитан Данвуди.— Ты не казался таким удивленным, даже когда глядел на водопад!

— Что мне водопады! На них должны бы любоваться в лунную ночь твоя тетушка Сара и этот славный старый холостяк — полковник Синглтон. А таких малых, как я, этим не удивишь, меня гораздо больше занимают подобные встречи.

Необыкновенная горячность незнакомца, едва вспыхнув, тут же угасла. Однако он прислушивался к разговору молодых людей с глубоким интересом. Данвуди, став немного серьезнее, возразил:

— Ладно, ладно, Том, не смейся над моей милой тетушкой; ведь она — сама доброта, и я слышал, что в молодости она пережила большое несчастье!

— А я слышал,— ответил Мейсон,— что полковник Синглтон каждый год в день святого Валентина предлагает ей руку и сердце — об этом болтают в Аккомаке,— а кое-кто добавляет, что твоя бабушка Дженнет поддерживает его.

— Бабушка Дженнет! — со смехом воскликнул Данвуди.— Вот тоже добрая душа! Да только вряд ли она думает о чьей-нибудь свадьбе, с тех пор как умер доктор Ситгривс! Прежде поговаривали, будто он ухаживал за ней, да, видно, дело не пошло дальше взаимных любезностей. Вообще я думаю, что все эти слухи возникли из-за дружбы моего отца с полковником Синглтоном. Ты же знаешь, они с ним старые товарищи по полку, как и с твоим отцом.

— Конечно, знаю; но, пожалуйста, не говори мне, что этот старый холостяк так часто бывает в поместье генерала Данвуди только ради того, чтобы поболтать с ним о старых битвах. В прошлый мой приезд к вам желтолицая длинноносая экономка твоей матери увела меня в кладовую и уверяла, что полковник — очень выгодная партия, как она выразилась, и что его плантации в Джорджии приносят весьма неплохой доход, — ей-богу, я позабыл, сколько она насчитала.

— Весьма возможно,— заметил капитан.— Кэти Хейнс отлично умеет считать.

Молодые люди замолчали и оглянулись на незнакомца, не зная, следует ли им распрощаться с ним.

Старик ловил каждое их слово с напряженным вниманием. К концу разговора по его серьезному лицу пробежала легкая улыбка. Он покачал головой, провел рукой по лбу и, казалось, задумался о былых временах. Мейсон,

не обратив внимания на выражение лица старика, продолжал:

— Мне кажется, эта экономка уж слишком себялюбива.

— Но ее себялюбие никому не вредит,— возразил Данвуди.— Самая ее неприятная черта — это враждебность к неграм. Она говорит, что за всю свою жизнь чувствовала расположение только к одному негру.

— К кому же это?

— К слуге моего покойного дедушки Уортона, по имени Цезарь. Ты, наверное, его не помнишь: он умер в тот же год, что и его хозяин, когда мы еще были детьми. Кэти каждый год справляет по нему панихиду, и он, право, это заслужил. Я слышал, что он помог моему английскому дяде — так мы называем генерала Уортона,— когда тот попал в беду во время прошлой войны. Мама всегда говорит о нем с большой любовью. Когда она вышла замуж, Кэти и Цезарь приехали с ней в Виргинию. Моя мать...

— ...сущий ангел! — докончил старик с такой горячностью и верой, что молодые люди вздрогнули от неожиданности.

— Разве вы знали ее? — с удивлением воскликнул Данвуди, вспыхнув от удовольствия.

Но ответ незнакомца был заглушен внезапным и сильным грохотом артиллерии, а за ним последовали частые ружейные залпы, и воздух наполнился гулом оживленной и упорной перестрелки. Офицеры встрепенулись и бросились к своему лагерю, а их новый знакомый последовал за ними. Волнение и тревога перед готовящейся битвой помешали продолжению разговора, и все трое, торопясь к месту боя, лишь перебрасывались замечаниями о причине схватки и возможности крупного сражения. Во время этого короткого и поспешного перехода капитан Данвуди дружески поглядывал на старика, который шагал за молодыми людьми с удивительной для его возраста легкостью; сердце юноши потеплело от хвалебных слов незнакомца, ибо он преданно любил свою мать. Вскоре офицеры пришли в свою часть, и капитан, крепко пожав руку старику, попросил, чтобы тот непременно разыскал его на следующее утро и пришел к нему в палатку. На этом они расстались.

В американском лагере все говорило о предстоящем

сражении. В нескольких милях слышалась такая громкая пушечная и ружейная пальба, что ее не мог заглушить даже рев водопада. Вскоре все войско пришло в движение и выступило для поддержки полков, уже начавших бой. Однако ночь спустилась прежде, чем резервные и нерегулярные полки достигли Ландис-Лена — дороги, ведущей от реки и пересекавшей невысокий конусообразный холм неподалеку от большого Ниагарского шоссе. На вершине этого холма англичане установили пушку, а у его подножия оборонялись остатки славной шотландской бригады, которая долгое время вела неравный бой и показала чудеса храбрости. Одной колонне американских войск было приказано выстроиться в линию параллельно дороге и атаковать этот холм. Ударив на англичан с фланга и пустив в ход штыки, американцы овладели пушкой. К ним тотчас присоединились товарищи, и неприятель был сброшен с холма. Но английскому генералу немедленно прислали сильное подкрепление, а его войска были так отважны, что не могли примириться с поражением. Они предприняли несколько кровопролитных атак, стараясь отбить свое орудие, однако вскоре были отброшены назад и понесли тяжелые потери. Во время одного из последних боев полный молодого задора капитан, о котором мы уже говорили, вывел своих солдат далеко вперед, чтобы рассеять дерзкий вражеский отряд. Он добился успеха, но, вернувшись в свой полк, заметил, что среди его людей нет Мейсона. После того как была отражена последняя атака, американским войскам был дан приказ возвращаться в лагерь. Британских солдат уже нигде не было видно, и американцам велели подобрать всех раненых, каких можно унести. Уортон Данвуди, в тревоге за своего друга, схватил горящий факел и, взяв с собой двух солдат, отправился сам отыскивать его там, где он мог упасть. Вскоре они нашли Мейсона на склоне холма: лейтенант сидел с завидным спокойствием, но не мог ступить на ногу — она была сломана. Увидев товарища, Данвуди бросился к нему со словами:

— Дорогой Том! Я так и знал, что найду тебя впереди всех, возле самого неприятеля!

— Тише, тише, со мной надо обращаться осторожно,— ответил лейтенант.— К тому же ты ошибся, какой-то храбрый малый подобрался к врагу еще ближе, чем я, только не знаю, кто это. Он выскочил из дыма перед моим взво-

дом, стараясь захватить кого-то в плен, но не вернулся назад. Вон он лежит на вершине холма. Я много раз окликал его, но, кажется, он уж никогда не ответит.

Данвуди поднялся на холм и, к своему удивлению, увидел старого незнакомца.

— Это тот старик, что знал мою мать! — закричал он.— Ради нее мы похороним его с почетом. Возьмите это тело и отнесите в наш лагерь. Пусть его кости покоятся в родной земле.

Солдаты подошли, чтобы поднять тело. Старик лежал на спине, и факел ярко осветил ему лицо. Глаза его были закрыты словно во сне. Запавшие с годами губы были слегка сжаты, но не от боли, скорее казалось, что он чуть улыбается. Подле него лежал солдатский мушкет; руки его были прижаты к груди, и в одной из них он сжимал какой-то предмет, блестевший, как серебро. Данвуди нагнулся и, отведя его руку, увидел, что пуля пробила ему грудь и попала прямо в сердце. В руке старик бережно держал жестяную коробочку, пробитую роковой пулей: как видно, последним усилием он достал ее из кармана на груди. Данвуди открыл ее и, найдя в ней бумагу, с удивлением прочитал:

Серьезные политические обстоятельства, от которых зависела жизнь и благосостояние многих людей, принуждали меня хранить в тайне то, что теперь раскроет эта записка. Гарви Бёрч многие годы верно и бескорыстно служил своей родине. Если люди не воздадут ему по заслугам, да наградит его господь!

Джордж Вашингтон

Это был шпион с нейтральной территории. Он умер, как и жил, преданным сыном своей родины и мучеником за ее свободу.

КОНЕЦ

ПОСЛЕСЛОВИЕ К РОМАНУ «ПРЕРИЯ»

Предчувствие близкой смерти Натти Бампо должно было возникнуть у читателя, когда в конце романа «Пионер» одряхлевший и измученный Кожаный Чулок оставляет поселок колонистов, поместье судьи, снова и снова пытаясь найти утерянную свободу и душевный покой в еще нетронутых лесах. Но, прочитав эту последнюю книгу эпопеи, мы убеждаемся, что старому охотнику больше некуда бежать. Не в лесах, вырубленных колонистами, а в степных пространствах прерий скитается некогда знаменитый следопыт. Сейчас он траппер, который, не надеясь на твердость своей руки и зоркость глаза, охотится, расставляя западни. Да, восьмидесятишестилетний Натти уже не тот непревзойденный стрелок, которого когда-то называли Длинным Карабином и Соколиным Глазом. Но его благородные чувства, готовность к самопожертвованию, отвращение к ненужной жестокости, уважение к людям любого цвета кожи остались все те же. Ведь и Мидлтон, и прекрасная Инес, и Поль, и его невеста, наконец ученый чудак Батциус — все они обязаны своей жизнью старому трапперу: теперь, на склоне лет, он не может принести в дар людям свою силу, ловкость, зоркость следопыта, но он отдает им свой огромный опыт, и прежде всего — опыт общения с индийскими племенами, накопленный в течение долгой жизни.

Не изменилось также его наивное, упорное непонимание происходящих событий: в 1805 году, когда английские колонии уже давно стали буржуазным государством — Соединенными Штатами Америки, старик все еще надеется уйти в мир природы, свободный от пороков цивилизации. «Я пришел,— говорит он,— на эти равнины, чтобы не слышать звуки топора, потому что надеюсь, что дровосеки не последуют сюда за мной».

Но мы знаем, что судьба сталкивает траппера как раз с теми людьми, которые воплощают в себе грубость, жадность и ничем не ограниченное своеволие приобретателей и захватчиков. Это скваттер Ишмаэл Буш и его огромное семейство, по существу лишенные каких бы то ни было моральных устоев, безжалостно расправляющиеся с людьми, которые могли бы помешать им захватывать свободные земли.

И хищник Ишмаэл Буш, и благородный Натти — оба часто говорят о свободе, осуждают законы, установленные вновь образованным государством. Но у них на это разные причины. Натти Бампо считает, что леса, озера, реки Америки принадлежат всем, и те, кто живут в близости к матери-природе, имеют право свободно пользоваться ее дарами. Жадные, эгоистичные Буш, Эбирам Уайт против законов, ибо они мешают им в их погоне за наживой. Ведь не только земля, звери, рыба становятся добычей Буша и его семьи. Прекрасная Инес — это тоже добыча, которую захватил Эбирам с согласия Ишмаэла в надежде получить от ее отца и мужа богатый выкуп. Мысли и чувства Буша бесконечно далеки от душевного мира траппера.

Буш по-своему отважен, обладает сильной волей. Способен преодолеть препятствия на пути к цели; в редких случаях он даже обнаруживает стремление разрешать некоторые вопросы, основываясь на своих представлениях о справедливости. Вспомним, как он отпустил тех, с кем он смертельно враждовал и кто вряд ли мог надеяться на справедливый суд жестокого скваттера.

Что же касается Эбирама Уайта, то в нем ничего нет, кроме подлости, отвратительных низких страстей, неизбежных при той жажде наживы, которая владеет его душой.

Читатель с неослабевающим вниманием следит за опасными приключениями героев «Прерии». Фенимор Купер и в этой книге остается художником, полным богатейшего воображения, и мастером занимательного повествования. Но читателя привлекает не только авантюрный сюжет. В этом романе, как и в других произведениях Купера, чувствуются жизненная основа изображаемых конфликтов и присущее писателю стремление к справедливости.

Купер живо воссоздает быт и нравы индейских племен, тщетно пытавшихся противостоять пришельцам,

вытесняющим их с родных земель. И, так же как и в других романах о Кожаном Чулке, написанных и ранее и позднее «Прерии», писатель с уважением относится к несгибаемому упорству прежних хозяев огромных американских пространств, к их мужеству и поразительной выдержке, когда они оказываются перед лицом смерти. Как горд и героичен вождь племени пауни Твердое Сердце! Понимая неизбежность своей гибели, он не теряет самообладания, чувства собственного достоинства, защищая тем самым честь своего племени перед издевающимися над ним врагами. Купер не скрывает своего восхищения стойкостью и благородством людей, которые и в его времена, и в наши дни считаются в буржуазной Америке представителями «неполноценной расы».

В романе немало печальных, трагических эпизодов, таких, как, например, картина страшной казни, которую с такой жестокой изобретательностью придумал Ишмаэл Буш для Эбирама Уайта, оказавшегося убийцей его сына.

Но чувство юмора не оставляет автора и в этой книге. У нас вызывает улыбку своеобразная манера Поля определять все происходящее словами, связанными с жизнью пчел. Далекий от реальной действительности чудак доктор Батциус, искренне преданный науке, смешон своим педантизмом, столь неуместным в условиях дикой природы.

Юмористические эпизоды, чаще всего связанные с чудаком Батциусом, дают как бы разрядку после мрачных картин, нередко возникающих перед читателем на страницах «Прерии».

Старый траппер живет в большой мере воспоминаниями о далеком прошлом, которое представляется ему полным героического содержания. К тому же в лице молодого Мидлтона это прошлое с особой настойчивостью напомнило о себе. Оно перенесло траппера в те далекие времена, о которых Купер рассказал в «Последнем из могикан». Волнующее и романтическое совпадение! Ведь Мидлтон оказался внуком того английского офицера, Хейворда, который в «Последнем из могикан» вместе с Натти, Ункасом и другими прошел через столько испытаний, спасая дочерей полковника Мунро. Хейворд стал мужем одной из них — Алисы. Мы живо представляем себе душевное волнение старого траппера, когда он узнает, что племя рано погибшего Ункаса, «последнего из могикан»,

и его собственным именем два поколения благодарной семьи Хейворда называли несколько своих представителей,— ведь Натти Бампо так скромно расценивал всегда то добро, которое он делал людям, жертвуя собой, нередко рискуя жизнью.

Роман, заключающий историю Кожаного Чулка, подводит итоги не только жизни героя, но и всей эпохе колонизации Америки. Необычайно трогательно и торжественно умирает Натаниэл Бампо, нашедший последний приют у преданного ему вождя племени пауни. Но, если бы он прожил еще какое-то время и продолжал свой путь на запад по пустынным равнинам прерий, он не мог бы спастись от идущих за ним по пятам колонистов, занимающих свободные земли.

Быстро растущая буржуазная Америка побеждает тот патриархальный мир, в котором чувствовал себя счастливым Натти. Он так и не смог осознать грандиозность исторических перемен, совершающихся в его стране, не мог понять их неизбежность. Этот чистый, мужественный, чуждый эгоизму, стяжательству, расовому высокомерию человек не мог примириться с отрицательными сторонами буржуазного прогресса, с теми пороками капиталистического общества, которые сейчас, через полтораста лет, в еще большей степени присущи буржуазному миру и глубоко враждебны нашим идеалам.

Мы закрываем последнюю книгу о Кожаном Чулке с теплым чувством к ее герою и с уважением к выдающемуся художнику, создавшему его.

П. Эйшискина

ПОСЛЕСЛОВИЕ К РОМАНУ «ШПИОН»

Роман «Шпион» занимает важное место в писательской биографии Фенимора Купера. Хотя это не первое его произведение, но, в сущности, именно «Шпион» следует считать подлинным началом его литературной деятельности.

Этому роману предшествовала книга «Предосторожность» (1820), которую Купер написал на пари, взявшись доказать, что может сочинять не хуже некоторых популярных тогда авторов, чьи книги в часы досуга он читал вслух

с женой и дочерью. Роман был написан в подражание семейно-бытовым романам из английской провинциальной жизни. Для большей убедительности книга была выдана за сочинение англичанина.

Вот как описывал сам Купер результаты его первого литературного опыта: «Когда роман появился в печати, друзья автора стали упрекать его за то, что он, американец по сердцу и по рождению, подарил миру книгу, до известной степени питавшую воображение его молодых и неопытных соотечественников картинами, взятыми из общества, столь не похожего на то, среди которого они жили. Хотя автор отлично знал, что им руководила случайность, он захотел избавиться от таких обвинений. Понимая, что поправить дело можно только одним способом, он решил издать другую книгу, которая не могла бы вызвать никаких упреков. Ее темой он избрал патриотизм».

Среди соседей Куперов был старый друг семьи, Джон Джей. Бывая в его доме, молодой Фенимор слышал от него много интересных рассказов о войне за независимость, которую американские колонии вели против Англии (1775—1783). Не все население американских колоний поддерживало борьбу за независимость. Были среди поселенцев и сторонники сохранения власти Англии над страной.

«В те времена Америка была еще слишком молода,— пишет Купер о временах войны за независимость.— Англичане усердно пользовались внутренними раздорами... Обнаружились попытки англичан поднять весь корпус провинциальных войск (то есть войск местных колониальных властей, состоявших из американцев.— *А. А.*), слить их вместе с полками, пришедшими из Европы, и таким путем заставить покориться молодую республику. Конгресс назначил тайный специальный комитет с целью разрушить опасный замысел. М-р *** (Джон Джей.— *А. А.*), рассказчик нижеприведенной истории, был председателем этого комитета.

При исполнении новых обязанностей, выпавших на его долю, м-ру *** пришлось прибегнуть к помощи агента, услуги которого мало чем отличались от дела обыкновенного шпиона...

Легко понять, что такие обязанности были сопряжены с опасностью для жизни. Не только англичане могли разоблачить агента, но он каждодневно рисковал попасть в

руки самих американцев, которые относились несравненно строже к своим соотечественникам, нежели к европейцам, совершавшим подобные преступления. Действительно, агент м-ра *** несколько раз бывал арестован местными властями, и однажды разгневанные соотечественники приговорили его к смерти на виселице. Только поспешные тайные приказания тюремщику спасли этого человека от позорной смерти. Ему дали возможность бежать, и не вымышленная, а настоящая опасность в значительной мере помогла ему играть в глазах англичан принятую им на себя роль...

Через год м-р *** был назначен на очень высокий и почетный пост при одном европейском дворе. Покидая свое место в конгрессе, он обрисовал вышеописанные обстоятельства и, скрыв имя своего агента, попросил конгресс наградить человека, который принес республике столько пользы, подвергая свою жизнь великой опасности. Было постановлено выдать агенту значительную сумму денег, а вручение награды поручено председателю тайного комитета.

М-р *** принял меры, чтобы повидаться с агентом. Они встретились в полночь в лесу. Тут м-р*** осыпал своего собеседника похвалами за верность и ловкость, объяснил, что их сношения должны окончиться, и, наконец, предложил ему денег. Тот решительно отказался взять награду. «Родина нуждается во всех своих средствах,— сказал он,— а я могу работать и так или иначе прокормить себя». Все уговоры оказались тщетны; патриотизм составлял главную черту характера этого замечательного человека. М-р *** расстался с ним, унес золото, а вместе с тем и глубокое уважение к патриоту, так долго совершенно бескорыстно подвергавшему свою жизнь опасности во имя их общего дела...»

Читатель без труда узнал в рассказе Джона Джея основу сюжета романа «Шпион», написанного и опубликованного в 1821 году, когда Куперу было тридцать два года. Молодой писатель сразу завоевал этим произведением признание своих соотечественников, и вскоре его имя стало известно в Европе.

Для правильной оценки патриотизма Купера следует иметь в виду, что в ту эпоху США представляли собой одно из первых в мире буржуазно-демократических государств. В. И. Ленин писал: «История новейшей, цивили-

зованной Америки открывается одной из тех великих, действительно освободительных, действительно революционных войн, которых было так немного среди громадной массы грабительских войн... Это была война американского народа против разбойников англичан, угнетавших и державших в колониальном рабстве Америку...»

Купер жил уже после этой войны, когда в США утвердились новые буржуазные порядки. Он видел, что между героическим прошлым и будничным существованием США в начале XIX века было огромное различие. Роман и был написан как бы в упрек современности. Такая позиция с самого начала определяет Купера как благородного романтика, враждебно относящегося к обществу стяжателей и эгоистов.

Искусству исторического романа Купер учился у создателя этого жанра — шотландца Вальтера Скотта (1771—1832). Купер был его младшим современником. Исторические романы были тогда еще новинкой в литературе. Первый из них появился лет за семь до «Шпиона». Куперу нельзя ставить в упрек, что он воспользовался некоторыми приемами, введенными Вальтером Скоттом. Наоборот, следует удивляться проницательности Купера, который при малом литературном опыте сумел оценить новаторство «шотландского чародея» и усвоить уроки его творчества.

Построение романа «Шпион» повторяет важнейшие композиционные приемы Вальтера Скотта. Сюжетом является острый драматический момент борьбы между Англией и ее американскими колониями. Для того чтобы показать оба лагеря, Купер находит героя, который обстоятельствами своей судьбы вынужден общаться с людьми, принадлежащими к каждой из борющихся сторон. В обрисовке обоих лагерей Купер стремится к объективности. И здесь и там — люди с их обычными житейскими интересами, благородными чертами и слабостями. Все они озабочены преимущественно своими личными делами. Этим создается фон для Гарви Бёрча, героя, полного самоотверженности и ставящего благо страны выше личных интересов и даже выше своей жизни.

Как и в романах Вальтера Скотта, у Купера немало романтических элементов — любовных историй, приключе-

---

[1] В. И. Ленин, Собр. соч., изд. 2-е, т. XXIII, стр. 176.

ний, случайностей. Живость картины, созданной Купером, определяется в значительной мере тем, что герои не играют в исторических деятелей, а ведут обычное существование, и история вторгается в личную судьбу почти каждого из них.

В романе Купера не председатель комитета конгресса Джон Джей, а сам генерал Вашингтон руководит деятельностью смелого агента республиканских войск. Купер мастерски вводит в действие фигуру руководителя американской армии, боровшейся за независимость. Купер стремился не столько передать индивидуальные особенности Вашингтона, сколько создать у читателей впечатление, что перед ними действительно человек, стоящий во главе большого исторического движения. Подлинный Вашингтон был, по-видимому, менее величествен, чем он изображен у Купера, но для писателя он важен как деятель, воплощавший волю своего народа, что и придавало ему значительность.

Положение, в какое поставил себя Гарви Бёрч, открывало возможность для остро драматической постановки проблемы противоречий между понятиями о нравственности отдельной личности и требованиями государственной необходимости. В самом деле, ведь Гарви Бёрч во имя патриотических целей пользуется низменными приемами обмана. Но Купер как бы снимает это противоречие. Вместо того чтобы развить его и сделать центральной моральной проблемой книги, он сглаживает острые углы. В сущности, эта проблема и не возникает в романе. Гарви Бёрча оправдывает не только то, что он служит родине, но и то, что он не причиняет личного вреда никому. К тому же поведение его всегда столь мужественно и благородно, что он пробуждает у читателя самую искреннюю симпатию. Поэтому, хотя в романе много драматических ситуаций, они носят лишь внешний характер. Глубокого морального конфликта в романе нет.

Мы не стали бы говорить об этом, если бы в последующем Купер не вернулся к данной теме и не поставил ее по-новому. Читатель, который обратится к роману Купера «Браво», найдет там более драматичное и более острое раскрытие сходной темы.

А. Аникст

СОДЕРЖАНИЕ

Прерия. Перевод *Н. Д. Вольпин* 5

Шпион. Перевод Гл. I — XIX *Э. А. Березиной* 411
Гл. XX—XXXV *Е. М. Шишмаревой* . . 625

Н. Эйшискина. Послесловие к роману «Прерия» 807

А. Аникст. Послесловие к роману «Шпион» 810

КУПЕР Д. ФЕНИМОР

Избранные сочинения

Том III

ПРЕРИЯ

*

ШПИОН, ИЛИ ПОВЕСТЬ
О НЕЙТРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ

* * * * * * * * *

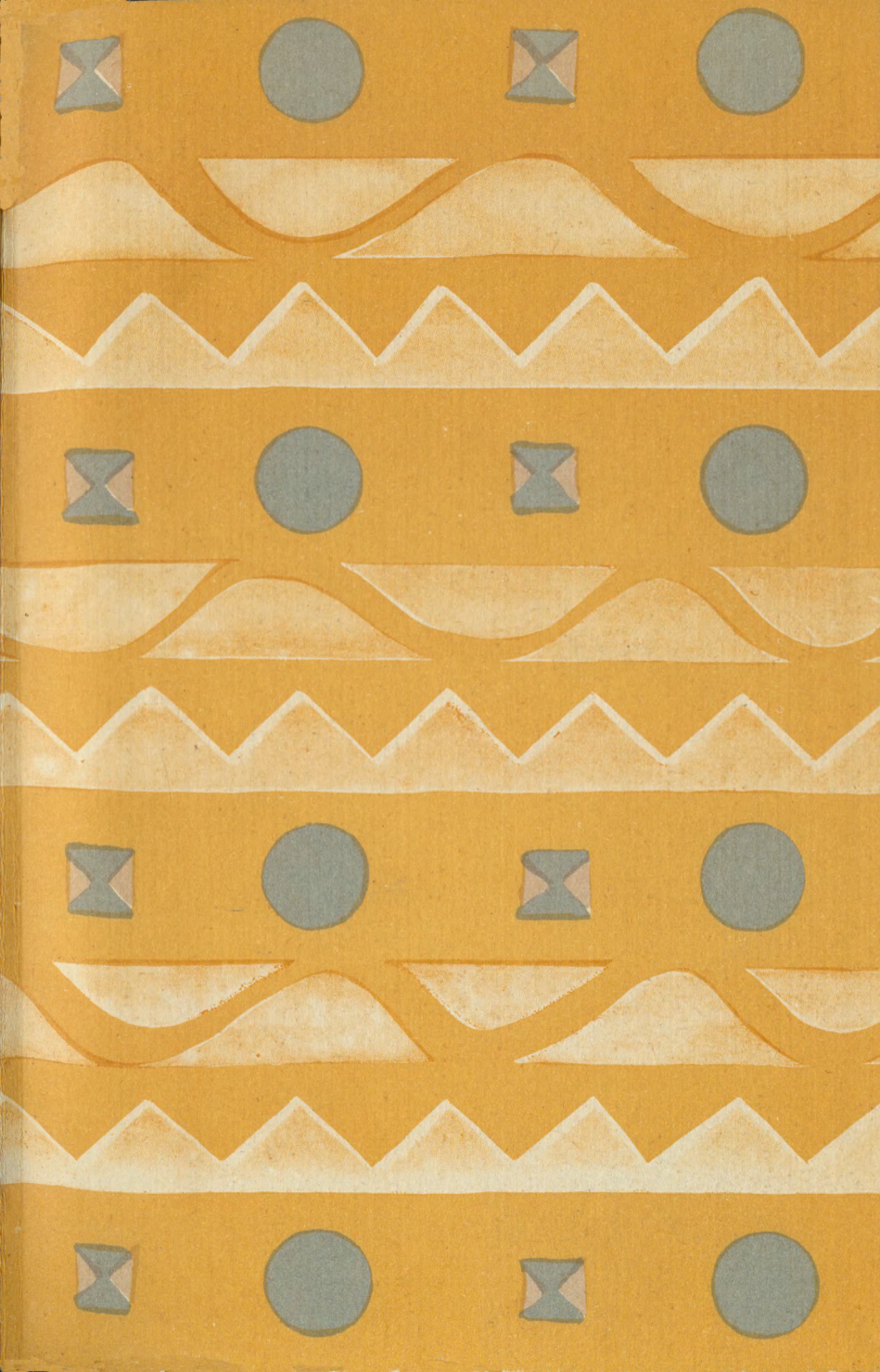
Ответственный редактор *О. А Лаврова*
Консультант по художественному
оформлению *С М. Алянский*
Технический редактор *С Г. Маркович*
Корректоры
Т. П Лейзерович и *Л. М. Николаева*

Сдано в набор 5/III 1962 г Подписано к печати 31/VIII 1962 г Формат 84×108$^{1}/_{32}$ — 25,5 п л =41,82 усл п л (45,45 уч -изд л). Тираж 300 000 (100 001—300 000) экз
Цена 1 р 61 к.

Детгиз Москва, М Черкасский пер , 1.

* * * * *

Набрано в типографии «Красный пролетарий», Краснопролетарская ул , 16
Отпечатано с матриц на Фабрике детской книги Детгиза Сущевский вал, 49.
Заказ № 2395.



1р. 64к.

ДИТТИВ